

ПОСОЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ КРСУ
ВЛАДИМИРСКОЕ ОБЩЕСТВО
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

II том

"ЗАЧЕМ НАМ ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ..."

РУССКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
ХРЕСТОМАТИЯ - УЧЕБНИК. МАТЕРИАЛЫ.



УДК 82/821.0
ББК 83.3 Р.
3-39

Рецензенты: канд. филол. наук И.В. Деева, зав. каф. ист. и теор. литер. КРСУ, доцент Б.Т. Койчуев.

Рекомендовано к печати Советом факультета международных отношений и НТС КРСУ

"ЗАЧЕМ НАМ ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ..." РУССКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ ХРЕСТОМАТИЯ - УЧЕБНИК.
МАТЕРИАЛЫ.

Идея и предисловие: А.С. Кацев;

Сост.: А.С. Кацев, Я.А. Моше, при участии Е.Д. Куприяновой.

ISBN 978-9967-05-717-3

Работа создана в помощь изучающим литературу русского зарубежья, необычна и отличается от аналогичных работ. Ее охват – от посланий князя Курбского до наших дней – дает возможность представить многообразие русской литературы, существующей за границами отечества. Различные тематические и стилевые группы произведений представляют мозаику художественной словестности разных потоков эмиграции.

Где возможно, представляется биография автора, произведение и различные отклики о нем или интервью с писателем.

Данная работа поможет лучше представить и понять русскую литературу, развивающуюся в диаспоре.



Издано при поддержке Посольства Российской Федерации

34603020101-11

УДК 82/821.0
ББК 83.3 Р.

ISBN 978-9967-05-717-3

© А. С. Кацев Составление Предисловие Примечания 2011

Содержание

Предисловие.....	
Хатуль мадан	
Дина Рубина	
Биография	
<i>Кое-что из иврита.....</i>	
<i>Вывеска.....</i>	
Интервью.....	
Олег Юрьев	
Биография	
<i>Полуостров Жидятин.....</i>	
Алекс Тарн	
Биография	
<i>Протоколы сионских мудрецов.....</i>	
Леон Агулянский	
Биография	
<i>С высоты птичьего полета.....</i>	
<i>Врачебная ошибка</i>	
<i>На что жалуемся</i>	
<i>Венское лето.....</i>	
Илан Рисс	
Биография	
<i>Жид</i>	
<i>Первый приз</i>	
<i>Мсть</i>	
Александр Хургин	
Биография	
<i>Ночной ковбой.....</i>	
<i>Деньрождения.....</i>	
Интервью.....	
Лев Ларский	
Биография	
<i>Здравствуй, страна героев.....</i>	
Феликс Кривин	
Биография	
<i>Из зарубежных произведений.....</i>	
Михаил Фельдман	
Биография	
<i>Стихи</i>	
<i>Песни без музыки. Феликс Кривин о М.Фельдмане.....</i>	
Рената Муха	
Биография	
<i>Стихи</i>	
<i>Рената. Дина Рубина о Р. Мухе.....</i>	
Интервью.....	
Аркадий Белинков	
Биография	
<i>Так ярый ток, оледенев</i>	
Периодические издания	
<i>Примечания.....</i>	

Предисловие

Различные по-именования часто говорят о распространенности того или другого явления «Эмигрантская литература», «литература русского зарубежья», «русская литература рассеяния», «русская литература в диаспоре» и т.д., и т.п. Авторы, произведения, судьбы авторов и произведений как произведения. За каждым культурный феномен. Если обратить внимание на истоки, то яркой вспышкой мелькнут письма А.Курбского И.Грозному, в которых протестный мотив определяющ. Он-то и станет одним из присущих данной литературе качеств. Были ли более ранние произведения, которые можно было отнести к аналогичной литературе? Скорее всего, да. Но они требуют поиска и определения. Произведения, созданные вне метрополии, в которых в той или иной степени проявляется национальная и социальная культурная идентификация. Можно спорить, почему А.Герцен - писатель русского зарубежья, а Н.Гоголь - нет.

Можно определять границы бытования литературы русского зарубежья и глубину воздействия на литературу метрополии и литературу государства, в котором создавалась литература диаспоры. И даже возможно ли существование литературы диаспоры на языке страны, в которой эта диаспора сосуществует. Вопросов много, как много писателей и книг, составляющих понятие, «литература русского зарубежья».

Одна книга не может, да и не должна включать все произведения, подходящие «по формату», поэтому субъективность в подборе материала, конечно же, проявила себя. Вошли одни авторы, другие подразумевались, третьи еще ждут своего места и времени.

Конечно же, не удалось избежать фрагментарности и пунктирности в представлении явления. Но, получив о нем представление, читатель начнет свой поиск, и у него сложится своя «литература русского рассеяния», и не надо ахать: «А имярек не вошел, а этого стихи вы упустили, а этого - статью».

Данная книга не антология, жанр «хрестоматия-учебник Материалы». Исходя из него, и формировалось содержание, в котором была осуществлена попытка представить литературу в многожанровости и многостильи, тематически ностальгирующую и тематически осваивающую новую реальность в теоретическом представлении тех, кто осмысливал ее вдали от границ Отечества и практическом воплощении тех, кто воссоздал потерянную и возвращенную Родину.

А. С. Кацев

Хатуль мадан

Когда рухнул «железный занавес», перестройка, демократия и гласность почти утвердились на территории бывшего Советского Союза, потянулись на историческую родину в землю обетованную, тысячи семей переселенцев. А по израильским законам каждый юноша и девушка должны отслужить в армии...

В те времена русскоговорящих интервьюеров в израильских военкоматах еще не было, а русские призывники уже были. Из-за того что они в большинстве своем плохо владели ивритом, девушки-интервьюеры часто посылали их на проверку к так называемым офицерам душевного здоровья (по специальности - психологам), чтобы те на всякий случай проверяли, все ли в порядке у неразговорчивого призывника. Кстати, офицер душевного здоровья - «кцин бриют нефеш» - сокращенно на иврите называется «кабан». Хотя к его профессиональным качествам это, конечно же, отношения не имеет.

Офицер душевного здоровья в военкомате обычно проводит стандартные тесты: «нарисуй человека, нарисуй дерево, нарисуй дом». По этим тестам можно с легкостью исследовать внутренний мир будущего военнослужащего. Ведь что хорошо - тесты универсальные и не зависят от знания языка. Уж дом-то все способны нарисовать.

И вот к одному офицеру прислали очередного русского мальчика, плохо говорящего на иврите. Офицер душевного здоровья поздоровался с ним, придвинул лист бумаги и попросил нарисовать дерево.

Русский мальчик плохо рисовал, зато был начитанным. Он решил компенсировать недостаток художественных способностей количеством деталей. Поэтому изобразил дуб, на дубе - цепь, а на цепи - кота.

Понятно, да?

Офицер душевного здоровья придвинул лист к себе. И что он видит?! На листе изображена козявка, не очень ловко повесившаяся на ветке. В качестве веревки козявка использовала цепочку. (Изображение самоубийства в тесте вообще очень плохой признак.)

— Это что?- ласково спросил «кабан».

Русский мальчик напрягся и стал переводить. «Кот» на иврите - «хатуль». «Ученый» - «мад'ан», с русским акцентом - «мадан». Мальчик не знал, что применительно к коту слово «ученый» звучало бы иначе - кот не является служащим академии наук, а просто много знает, то есть нужно было подобрать другое слово. Но другое не получилось. Мальчик почесал в затылке и ответил на вопрос офицера:

— Хатуль мадан.

Офицер был израильтянином. Поэтому приведенное словосочетание значило для него что-то вроде «кот, занимающийся научной деятельностью». Хатуль мадан. Почему козявка, повесившаяся на дереве, занимается научной деятельностью и в чем заключается эта научная деятельность, офицер понять не мог.

— А что он делает? - напряженно спросил офицер.

— А это смотря когда, - обрадовался мальчик возможности блеснуть интеллектом. - Вот если идет сюда (от козявки в правую сторону возникла стрелочка), то поет песни. А если сюда (стрелочка последовала налево), то рассказывает сказки.

— Кому? - прослезился «кабан».

Мальчик постарался и вспомнил:

— Сам себе.

Окончательно сбитый с толку офицер задумался. Тут что-то было не так. Кот- академик поет и рассказывает сказки в отсутствие зрителей. Но ведь так не бывает. «Кабан» попытался еще раз понять и задал уточняющий вопрос:

— И как часто он это делает?

— Что? - не понял мальчик.

— Ну, как же, песни и сказки.

— И днем, и ночью, - бодро ответил мальчик...

На сказках, которые без сна и отдыха рассказывает сама себе повешенная козявка, офицер душевного здоровья почувствовал себя плохо. Он назначил с мальчиком еще одно интервью и отпустил его домой. Картинка с дубом осталась на столе.

Когда мальчик ушел, «кабан» позвал секретаршу: ему хотелось свежего взгляда на ситуацию. Секретарша офицера душевного здоровья была умная, адекватная девушка. Но она тоже недавно приехала из России. Босс показал ей картинку. Девушка увидела на картинке дерево с резными листьями и животное, похожее на кошку, идущую по цепи.

— Как ты думаешь, это что? - спросил офицер.

— Хатуль мадан, - ответила секретарша.

Спешно выставив девушку и выпив холодной воды, «кабан» позвонил на соседний этаж, где работала его молодая коллега, и попросил проконсультировать по поводу сложного случая.

— Вот, - вздохнул усталый профессионал. - Я тебя давно знаю, ты нормальный человек. Объясни мне, пожалуйста, что здесь изображено?

Коллега тоже была из России...

Она опытным взглядом оценила картинку и отрапортовала:

— Похоже на хатуль мадан!

Но тут уже «кабан» решил не отступать.

— Почему? - тихо, но страстно спросил он свою коллегу. - ПОЧЕМУ вот это - хатуль мадан???

— Так это же очевидно! - коллега ткнула пальцем в рисунок. - Видишь эти стрелочки? Они означают, что, когда хатуль идет направо, он поет. А когда налево...

Трудно сказать, сошел ли с ума армейский психолог и какой диагноз поставили мальчику. Но сегодня уже почти все офицеры душевного здоровья знают: если призывник на тесте рисует дубы с животными на цепочках, значит, он из России. Там, говорят, все образованные. Даже кошки.

Дина Рубина

Дина Ильинична Рубина (19.09.1953, Ташкент) стала профессиональным писателем неожиданно для себя в 16 лет. Девочку из Ташкента напечатал центральный молодежный журнал, и читатели, почти такие же, как она, безошибочно почувствовали иронико- доверительную интонацию ее прозы, которая говорила и в которой говорили на языке среды, рождавшей романтиков и диссидентов, живущей по стихийно сформированному кодексу чести и избегающей высокопарностей и банальностей.

Уже в первых повестях. Рубина предстала художником. Она рисовала Словом, и поэтому найденные и воссозданные ею художественные подробности так афористичны

Азия, а точнее Ташкент, а еще точнее автобиографически- лирическая семья повествовательницы стала знаком для знакомства с провинциально - теплой Азией, которую, как., оказалось, без Дины Рубиной и не понять. И вслед за появлением ее произведений родился стереотипический символ - Ташкент - Дина Рубина.

Будут множиться толстые и тонкие журналы, на страницах которых найдут приют ее произведения, будет углубляться трагико- иронический тон ее прозы, произойдет смета Отечества, Рубина из советской станет израильской писательницей (1990).

Ее публикуют на двадцати языках и на библиотечных полках не застаивается десяток ее книг, а она все так же скрывает хрупкость и незащищенность души своей героини где дерзостью, где сарказмом, где метким и сольным русским словом.

В жанре путешествий написано не одно произведение Рубиной.. Только в иных. перед читателями предстают «города и страны, параллели и меридианы, а в других - глубь веков, национальная идентификация, а то и детство. И все это замешано на юморе, который вдруг да и вышибает слезу.

И каждое новое произведение разглаживает морщины и сбрасывает годы у тех, кто обрел своего писателя с первыми ее публикациями и сближает с юностью, которая увидела в ней свою уже сегодня.

Кое-что из иврита

Предотъездный ажиотаж в Москве вокруг многочисленных, курсов по изучению иврита.

Не помню - кто из моих приятелей оборонил после первого занятия: «Как вообще сознание русскоязычного человека может воспринять язык, на котором неприлично звучащее слово «ялда» означает – «девочка»?

И вот - приезд. Иерусалим, обязательный «ульпан» - курсы иврита...

Что там «ялда», доложу я вам (которая, кстати, через каких-нибудь два-три урока бегло и просто произносится всеми как «елла»)! Что там невинная «ялда», повторяю, если наш преподаватель - неулыбчивая религиозная женщина, а парике, в глухом, под подбородок платье с длинным рукавом (в июле), каждые три минуты бодро повторяет непристойное слово «схует», от которого напрягается и переглядывается вся группа.

Вдруг Хана прервала свою речь, по-видимому, заподозрив, что мы не все понимаем.

— Как будет по-русски «схует»? - спросила она на иврите, оглядывая класс. Повисло секундное молчание, и один из пенсионеров, бывший доктор исторических наук, сказал в тишине мрачно:

— Так и будет...

И все расхохотались.

Впоследствии выяснилось, что Хана, добрейшей души человек, рассказывая о непростой жизни в этой стране, просто советовала всем нам хорошенько изучить свои права (они же «схует») с тем, чтобы во всеоружии вступить в борьбу с пресловутым чудовищем - вездесущей израильской бюрократией.

И просто неловко вспомнить, как по приезде в Иерусалим я отказалась от прекрасной съемной квартиры - редкая удача, наплыв алии, все квартиры нарасхват - только по одной причине дом, в котором маклер предлагал нам снять эту квартиру, стоял на улие Писга.

Я представила, как сообщаю свой адрес московским друзьям и как, посылая письма, они выводят на конверте: Pisga-sireet.

Нет-нет, сказала я маклеру, эта квартира мне не подходит.

Вид из окна, знаете ли, спальни, не очень, знаете ли, не фонтан...

(Между прочим, «писга» означает - «вершина». Я потом жила в поселении, которое называлось «Вершины» - во множественном числе - «Псагот». И ничего. Очень любила это место.)

Но в по-настоящему идиотское положение я попала месяца два спустя после приезда.

У меня заболел зуб, и приятели порекомендовали хорошего зубного врача, не забыв предупредить меня, что Фирочка (именно так) - женщина религиозная, в высшей степени деликатная, прекрасно воспитанная и щепетильная до чопорности.

Таким образом мне намекали, чтобы у Фирочки я не давала воли своему языку и своей свободной манере выражаться. Какой там выражаться, отмахнулась я, рта не могу раскрыть, всю ночь по стенкам гуляла.

Фирочка и вправду оказалась приятнейшей особой - с круглым опрятным улыбочивым лицом, ласковым тихим голосом и убаюкивающей речью.

«Откроем ротик... — бормотала она нежно, колдуя над моим зубом, — так... сейчас откроем зубик... положим ватку с лекарством... поставим пломбочку... полощите ротик...» и т. д.

Я расслабилась. Я, можно сказать, совсем ослабла. Размякла. Ангелы, кроткие ангелы реяли надо мной, и один из них - в белом халате - нежно оведал меня крылами...

Наконец я покинула кресло. То, что у зубного врача может быть совсем не больно, само по себе было ошеломляющей новостью. Все еще пребывая в сферах небесных, я достала из сумки чековую книжку, ручку и, почти без усилия, придав голосу интонацию кротости, приличествующей этому религиозному дому, спросила:

— Сколько я должна вам выписать, Фирочка?

Не меняя лучезарного выражения на лице, Фирочка ласково сказала:

— Можете выписать дохуя...

Моя рука над чековой книжкой окаменела. Разом умолкла музыка небесных сфер. Все смешалось в доме Облонских.

Повторяю - я далеко не ханжа. Я, можно сказать, человек циничный, крепкое слово ценю и употребляю, но... В нужном контексте, помилуйте, в соответствующем окружении близких людей, и главное - к месту. Так скачать, ложка к обеду.

Не поднимая глаз от бланка чековой книжки, я сказала суховато:

— Ну... столько у меня нет. Но если вы назовете определенную сумму, то я выпишу чек.

Взглянув на Фирочку, я впервые в своей жизни увидела физическое воплощение литературного штампа «алая краска залила её лицо». Фирочка стала даже не багровой - фиолетовой. Крупные капли пота выступили на ее высоком опрятном лбу. Я испугалась за ее давление.

— Боже мой! Боже мой! — вскрикнула она, всплеснув руками. — Что вы подумали? Чек «дахуй» - это значит - «отсроченный чек»... а вы подумали... в моем доме!..

Бедная! Движимая религиозным чувством сострадания, она хотела сделать скидку неимущей репатриантке. Хорошая штука - отсроченный чек. Выписываешь его сию минуту, а деньги со счета в банке уходят через месяц или два.

Словом, я оскандалилась.

Мои приятели сказали на это, сама виновата, мы тебя предупреждали, что дом приличный, а ты со своими замашками...

Что касается отсроченного чека - тут я уже навсегда держу ухо востро, и меня провести не так просто. И вообще - как услышу незнакомое словосочетание на иврите, в котором явственно слышны знакомые русские слоги или даже слова, я стараюсь помалкивать или, по крайней мере, реагировать осторожно. Правда, и тут случались накладки.

Однажды в поликлинике, в очереди к врачу со мной разговорился старичок, одинокий репатриант. То-се, - как всегда, разговоры у эмигрантов, особенно пожилых, особенно одиноких, особенно неимущих, крутятся обычно вокруг темы «где еще что можно получить».

Он говорил, я вежливо слушала вполуха.

Он рассказывал о благотворительной столовой, в которой бесплатно кормят стариков-эмигрантов.

Этим же вечером нас пригласили в гости. Семья адвокатов, в Израиле лет уже тридцать, люди респектабельные.

За ужином речь шла о колоссальных благотворительных суммах, перечисляемых сюда американскими еврейскими общинами. О том, как суммы контролируются и на что идут. Словом, как всегда - о злоупотреблениях израильских чиновников.

Тогда я встряла, как обычно со мною бывает, - нектати. Полезла защищать этих чертовых чиновников. А вот, говорю, есть, мол, благотворительная столовая.

Хозяин дома небрежно так пожал плечами, закуривая.

— А, - говорит, — да. Тамхуй.

Черт меня потянул за язык.

— Что, - спрашиваю сочувственно, - плохо кормят?

— Да нет, почему - плохо? Кормят хорошо. Только это не выход из положения.

Тогда я и сообразила, что слово «тамхуй», собственно, и означает — «благотворительная столовая»

(Обыгрывая непристойность для русского уха звучания некоторых слов в иврите, можно было бы привести немало примеров. Чего стоит, например, одно только слово «ибуд» («потеря»). А производное от него - «ибадти» («я потерял»)?

Но мне не хотелось бы приводить их здесь только ради легкой усмешки читателя. В любом языке есть слова, воспринимаемые с трудом носителями других языков. Важно то, как влияет на человека чужая языковая среда а совершенно новой реальности.

А месяца через три после приезда я попала в совсем уже запредельную ситуацию. С моим хорошим приятелем — историком и журналистом Мишей Хейфецем мы ехали в автобусе в Тель-Авив, на писательский семинар. Сидели через проход друг от друга и, надо полагать, громче принятого разговаривали. Впереди нас сидел почтенный господин лет шестидесяти, который время от времени оборачивался и внимательно на нас с Мишей поглядывал.

В один из таких его оборотов, когда на нас вновь остановился пристальный изучающий взгляд, Миша улыбнулся и спросил доброжелательно:

— Ата (ты) - мудака?

Я онемела.

Во-первых, это неожиданное, неоправданное, чудовищное хамство по отношению к пожилому человеку так было несвойственно Мише!

Во-вторых, непонятна была Мишина доброжелательная улыбка, сопровождающая хамский текст, - она усиливала циничность оскорбления.

И, в-третьих - откуда израильтянин вообще мог знать это исконно российское словечко? Почему Миша уверен, что тот его знает!?

На какую-то долю секунды я почувствовала дурноту нереальности происходящего.

И в этот момент, так же доброжелательно улыбнувшись, почтенный господин охотно откликнулся на иврите.

— С чего это вдруг я - мудака? Я вовсе не мудака.

И отвернувшись, уставился в окно на дивный пейзаж, бегущий вдоль шоссе.

— Так вот, - увлеченно продолжал Миша Хейфец, как ни в чем не бывало, снова обращаясь ко мне, - я, значит, иду в архив ИФЛИ..

— Миша... - пролепетала я, впервые в жизни ощущая буквально, что значит выражение «поехала крыша», - Миша, за что ты обозвал этого человека?

— Кого? - изменившись в лице, спросил Миша. - Как - обозвал?

— За что ты обозвал его мудаком?

Хейфец напрягся и... расхохотался.

— «Муд'аг!» — повторял он, хохоча, — «муд'аг» — «обеспокоен!»! Я спросил его - не обеспокоен ли он чем-то. Он ответил: с чего это вдруг мне беспокоиться?

Однако живешь-живешь и привыкаешь... Более того - постепенно теряешь чувствительность «русского уха» к звучанию слова, начинаешь прилагать немислимые усилия, чтобы не засорять речь привычными названиями на иврите. И это, поверьте, действительно требует значительных усилий, потому что иврит - как язык - более «удобен» в употреблении, сжат, краток, емко.

Отрывок из Пятикнижия на иврите занимает на странице, скажем, три-пять строк; перевод на русский того же отрывка занимает почти всю соседнюю страницу.

Гораздо проще, рассказывая о знакомом, - которого на службе перевели в статус постоянного работника со всеми вытекающими из этого статуса льготами, - сказать «он получил «квиют», чем вот так (как я - двумя строками выше) объяснять это по-русски.

Гораздо быстрее сказать «мисрад-клита», чем «министерство абсорбции новых репатриантов». Посопротивляешься с полгода, а потом и рукой махнешь. Жизнь плотная, не до разговоров, ну его - так проще. Вот и слышишь то и дело в автобусе разговор двух, вполне российского происхождения, особ:

— Я говорю «ме наэлю» (начальнику)- пока я не подпишу «хозе» (договор) со всеми «гнаим» (условиями) - я работать не стану. Я без «лицуим» (денежные компенсации при увольнении), без оплаченных «несиот» (поездки на работу), без «битуах лемуи» (национального страхования) и без «купот-гимсл» (пенсионных касс) не буду работать!

До отъезда мне несколько раз попадались книги ивритских писателей, переведенные на русский язык. Одна была из жизни мошава - сельскохозяйственного поселения. Жители мошава назывались «мошавники». Я содрогалась. Как же не чувствует переводчик, думала я, что это слово ассоциируется в русскоязычном сознании сразу с тремя стоками: «мошенник», «шавка» и «мошонка»!

Прошло четыре года, и я совершенно спокойно слушаю в последних известиях и про мошавников, и про киббуцников. Да что там - абсолютно не моргнув глазом перевариваю какое-нибудь «мемшала мехуевст» (правительство обязано).

Я даже привыкла наконец к тому, что имя моей дочери Евы звучит в настоящем, первородном варианте как «Хава». Мне уже не слышится в звучании этого имени словечко провинциальных лабухов - «хавать». Я уже не морщусь, когда звонит ее одноклассница и спрашивает Хаву. Я просто вежливо отвечаю, что Хавы нет дома. Больше не ассоциирую. Сознание отсекает. Сознание раздваивается и живет отдельной - русской жизнью

— дома, на работе (я - редактор русской газеты), в кругу близких друзей.

Мимо меня течет густая плотная река жизни на иврите. По необходимости я вступаю в эту реку и осторожно плыву меткими неуверенными гребками, никогда не заплывая на глубину - боюсь утонуть.

Вот и сейчас — сижу за компьютером, а в соседней комнате ссорятся на древнееврейском дочь и сын. Они долго и подробно выясняют отношения, прибегая к сложным словесным выкрутасам (большинства из них я не понимаю и не вдаюсь); это совершенно не похоже на русскую ругань — иные принципы словообразования. И я уже не расстраиваюсь, я смирилась - у них свой язык, у меня - свой. Как говорит мой муж ядовито: «за этим, кажется, и ехала, голубушка?»

Кстати, есть слова в иврите до смешного похожие и по смыслу и по звучанию на русские. Например, слово «нудник», означающее просто - «зануда». Израильтянин, мой сосед, прогуливая своего кобелька, не обделяющего вниманием ни одной суки, говорит горделиво:

— У (он) романтик ве (и) нудник!

Что касается настоящего русского мата в полнокровной повседневной жизни израильтян, то он тоже имеет место. Да и как же иначе - страну эту строили главным образом выходцы из России, люди, поди, не чуждые традиции ядреного русского слова. А условия жизни в Палестине начала века, губительный ее климат и непростые, мягко говоря, взаимоотношения евреев с арабским населением очень и очень располагали к широкому употреблению глубинного матерного пласта русского фольклора.

Правда, с течением времени смысл того или иного выражения сместился, как-то смазался, поух.

Например, очень распространенное здесь выражение «лех кебени мат- означает всего-навсего что-то вроде «иди к черту».

В Тель-Авиве даже есть ресторанчик - «Кебенимат».

Не была там ни разу. Не знаю - что подают.

Вывеска

Вот вы говорите: некоторые особенности нашей жизни. Да, они имеются. Определенный, так сказать, риск быть развеванным по ветру в единое, говоря высоким стилем, мгновение...

А я вот наоборот, хотите — расскажу о счастливых случаях?

Это происходило как раз прошлой осенью, когда очередной арабский патриот был готов взорвать собственную задницу, чтобы ухлопать пятерых евреев.

Но, как писал в предсмертной записке один повесившийся парикмахер из Бердичева: «Всех не перебреешь».

Так вот, в один из этих осенних взрывов угодила мама. И вы не поверите — как удачно. Она потом недели две всем знакомым без конца рассказывала — спокойно так, обстоятельно, — как ей невероятно повезло.

Я ей всегда говорю: ну чего ты надо не надо на этот рынок шастаешь! У тебя, вон, магазин за углом, и кошелки тащить недалеко. Нет, ей обязательно надо на рынок ехать — в этот крик, гомон, тесноту и толкучку, в эти восточные песни и восточную ругань...

С другой стороны, ей скучно, она ж на пенсии, педагог с тридцатитрехлетним стажем, бессменный классный руководитель седьмых классов. А с седьмыми классами советской школы никакой восточный базар не сравнится.

Словом, поехала она в очередной раз на рынок за какой-то мелочишкой. За помидорами кажется.

Так вот, эти помидоры ее и спасли.

Она уже шла с кошелками к выходу — тому, что в открытом ряду со стороны улицы Яффо, но задержалась у помидоров. С одной стороны — и так уже руки оттянуты, с другой стороны — жаль, красивые такие

помидоры, и недорого... Вот те три минуты, которые она стояла и не могла решить – брать или не брать эти благословенные помидоры, ее и спасли. В тот момент, когда старик стал взвешивать ей два кило, тут и бабахнуло впереди, как раз где она должна была бы в ту секунду находиться. Взлетело на воздух покореженный полмира – так маме показалось. Но это еще не все.

Орущая тьма народу диким табуном прянута назад, хлынула в узкие боковые улочки рынка. И тут второй раз рвануло, и как раз – впереди, куда все ринулись, опять шагов за пятьдесят от мамы...

А у нее – так она рассказывает – наступило вдруг странное спокойствие. Абсолютное, незыблемое. Уверяет, что совсем не испугалась, только ноги стали бесчувственными. И на этих ватных ногах она пошла искать свои кошелки, которые не помнила, где бросила.

На месте взрывов уже все оцеплено, уже «амбулансы» ревут, уже религиозные эти ребята из «хебра кадиша» части тел собирают. А мама моя, значит, абсолютно спокойная, – вокруг гуляет, ищет кошелки. И только ног не чувствует, а так – все в порядке.

Кстати, люди по-разному на испуг реагируют. На близость смерти. Там одна старуха, вполне солидная, в очках в золотой оправе, кружилась вокруг себя, как в фуэте, не останавливаясь. Спрашивается: в обычной жизни могла б она так покружиться? У нее же наверняка давление, сердце, радикулит какой-нибудь. Кружится и кружится, как балерина, и всех отталкивает, кто ее остановить хочет. А другая – молодая женщина – совершенно целая, только вся как будто в саже, и на ней лохмотья обгорелые, а сама без единой царапины, только какая-то чумная, – сидит, молчит и не отвечает, где она живет и кто она; полицейские даже растерялись, на каком языке к ней обращаться.

Кругом, повторяю, все оцеплено, солдаты со всех сторон бегут... Вот что у нас молодцы так молодцы: как где рванет, сразу и полицейские, и солдаты, и «амбулансы» – словно из-под земли. Это – положительная сторона вопроса, как ни крутите.

И тут мама в этой безумной воющей хаотической ситуации набредает на Валеру Каца.

Валера Кац – наш приятель, врач, каждую среду ездит на рынок за своим любимым карпом. Там рыбная лавка есть на углу между третьим и четвертым поперечным рядом, ее один иракец держит. Веселый такой парень, молодой. Если надо, он вам ее и почистит, и нарежет, так что можно из голов уху варить или рыбный холодец... Чистит рыбу и все шутит, шутит, рассказывает что-то... Причем на всех языках, он и по-русски много слов знает. Бывает, подходишь к нему, а он издали кричит: «Карпион резыт, чистыт, варит-жарит, пожалуйста!» Хороший парень... был...

Валера как раз велел ему карпа почистить и говорит: слушай, у меня время стоянки кончается, ничего, если я тут у тебя кошелки под прилавком оставлю, сбегаю на минуту к машине? Тот ему в ответ о чем, мол, речь. Вот, ставь сюда свои сумки, что с ними может случиться!

Валера повернулся, отошел буквально шагов на пятьдесят, и тут за его спиной рвануло, и он от грохота упал. Понимаете – продавец с не дочиненным карпом, и лавка, и кошелки, с которыми ничего не могло случиться, все – в тар - тарары... Вы скажете, что о кошелках негоже вспоминать, когда столько людей погибло? Это правда... Я, кому ни рассказываю, все время об эти кошелки, и об этого карпа, об эти мамыны помидоры спотыкаюсь... Мне говорят: господи, при чем тут карп! А я думаю – вот в этом и есть безумие нашей жизни, что простые, милые, необходимые всем живым людям вещи, слова и понятия теряют простой естественный смысл и – как на войне – перестают иметь значение. А жаль... Например, эти мамыны помидоры, – после того как мы ее но всем больницам полдня искали, – они мне долго снились...

А через неделю рвануло на Бен-Иегуде. Передавали, что их трое было, переодетые: один – в женской одежде, другой – в одежде старика, а про третьего не знаю, как-то смутно сообщали.

Вот я их себе представляю, как они ноги взрывчаткой обкладывали, и как йотом эти ноги поверх крыш летели, и как тот, который бабой нарядился, лифчик взрывчаткой набивал... у меня, как подумаю, как представляю эти все приготовления... ум за разом заходит...

У моей подруги Таньки младший сынок как раз в это время пошел на Бен-Иегуду шуарму покупать. Его за домашний обед не усадишь, ни супа тебе, ни борща не ест, шуарму ему подавай. Вернулся в тот день домой из школы, выклянчил у матери мелочь и убежал... А через полчаса передают террористический акт в самом центре столицы.

Танька выскочила из дому и помчалась как безумная. Прибежала на Бен-Иегуду, разбросала всех полицейских, пробилась через три заслона, кричала: «Там мой мальчик!!» – и колотила полицейских кулаком по спине, по груди, по рукам, она же бешеная. Когда дорвалась до последнего заслона, увидела наваленные тела, – забилась. Ее огромный полицейский хватил куда, говорит? Она каркнула, как ворона: «Мой ребенок!!» Он облапил ее, сунул голову себе под мышку, словно шею хотел свернуть, и с такой болью сказал, с такой черной горечью: «Ты что, не понимаешь, геверэт, – поздно уже. Поздно. Слишком поздно». Тогда она обмякла в его руках, завывала тоненько, подскочил другой полицейский, и они поволокли Таньку под руки вниз по Бен-Иегуде, подальше от места взрыва.

Но, вот такое счастье: мальчик, Элька, спасся. Его спас хозяин шуарменной, мужик, как все у нас, – армейский, хоженый. Когда неподалеку раздался первый взрыв, он, вместо того чтобы выбежать наружу, глянуть, где рвануло, – вместо этого загнал всех, кто в кафешке находился, Эльку с шуармой в руках – в туалет в глубине зальчика, буквально затолкал и двери закрыл. И в эту минуту рвануло как раз у входа, стекла посыпались, покореженная дверь на воздух взлетела...

Ну, Танька на другое утро, конечно, пришла в эту шуарменную, спасибо сказать мужику. Он с перевязанной правой рукой, держа веник левой подметал осколки и мусор. Постояли, поговорили, Танька поплакала. Потом пошла, пожертвовала за спасение сына сто восемьдесят шекелей! в эту организацию, ну, фонд такой, который калекам помогает, коляски, там, костыли всякие раздает – у них офис как раз недалеко, на улице Пророков находится. А восемнадцать шекелей она в ладони зажала, стала подходящего

нищего искать. Вы спросите – почему восемнадцать? Потому, что по гематрии это – числовое значение слова «хай» – «живой». Так полагается за спасенную Богом жизнь жертвовать восемнадцать, или, если у вас имеется, в десять, в сто раз больше – нищему или на доброе какое дело... В общем, как кому нравится...

Значит, идет она по Бен-Иегуде, зажав в руке восемнадцать шекелей – сумма для уличного подаяния немислимая. И ни одного нищего не находит. Попрятались после вчерашнего. Народ у нас хоть и привычный ко всему, но все же впечатлительный.

А надо сказать, среди разномастной толпы еврейских нищих у нас и переодетые арабы попадают, потому как им лучше, чем кому бы то ни было, известно: жестокие проклятые евреи дают охотнее и чаще, чем мусульманские братья. Так что вот, встречаются у нас арабы еврейские нищие

Ну, идет она и повторяет про себя: Господи, только бы не араб попался! Только бы не араб!

Наконец видит: сидит на углу немолодой нищий, с черной кипой на голове, ясно, религиозный. Она подошла, вмяла в ладонь ему деньги и пошла. Краем глаза видела, как еще какой-то человек с ее нищим двумя словами перекинулся. Подала она, значит, Божьему человеку и идет дальше как сомнамбула. И тут он ее окликает. Она вернулась: «Что ты сказал? Я не слышу». А он спрашивает: «Ты в себе, мол?» И протягивает на ладони деньги, потому что, повторяю, для уличного подаяния восемнадцать шекелей – это целый капитал.

Она говорит ему как во сне: «Бери, бери, у меня вчера ребенок здесь спасся».

Повернулась и пошла своей дорогой. Ее нагоняет тот самый человек, который с нищим словами перекинулся, и говорит как бы между прочим: «Я его давно знаю... Он раньше, в молодости, арабом был, потом прошел гиюр, стал евреем. Я его лет тридцать уже знаю, он человек хороший...»

Я это для чего рассказываю? Для того, что не наше это дело – условия небу ставить. Делай, как тебе совесть и разум велют, а там уж начальство распорядится – куда и на что средства распределить. Ну, понятно, не только деньги, а вообще – все, что нашу жизнь делает осмысленной и незряшной.

И вот, все они – как закрою глаза – все вокруг меня медленно кружатся: и старуха та, в замедленном танце, и спартански спокойная мама с помидорами, на ватных ногах, и Валера Кац с невзорванной рыбой-карп, и немая женщина в обгорелых лохмотьях: они передо мною не такие, как в жизни, а как на картине художника-примитивиста, например Пиросмани – плосковатые, грубо раскрашенные. И у них над головами – тень террориста в рваном лифчике парит.

Вроде как и не картина, а вывеска.

Такая вот вывеска нашей здесь жизни.

Дина Рубина

"Боюсь быть сентиментальной"

Однажды она купила бестолково написанный путеводитель, после чего... написала повесть о любви. А в другой раз услышала историю про внезапный снегопад и... написала роман о циркачке. Необъяснимо, но факт!

Уже почти двадцать лет Дина Рубина живет за границей, в Израиле, - при этом не перестала быть русским писателем. Мало того, влюбила этого читателя в свой новый "дом" - каким-то чудесным образом героев ее книг начинаешь очень быстро чувствовать людьми близкими, родными, вне зависимости от национальности. А впрочем, никаких чудес, "просто" талант.

– ...Как вас зовут?

– О, да это же родное для меня имя! Несколько лет назад я увезла отсюда девочку - практически третьего своего ребенка.

– ??????

– Карина - это дизайнер моего сайта и сайта моего мужа, художника Бориса Карафёлова. Она очень талантливый человек! И нашла меня сама. Написала однажды на мой рабочий адрес (я три года работала в Москве) примерно следующее: "Уважаемая Дина Ильинична! Вы известный писатель, а у вас нет сайта... Это страшная ошибка, потому что, если писателя нет в Интернете, его нет нигде". Я ей легкомысленно ответила: "Деточка, меня не интересует ваш Интернет со всеми вашими сайтами". Она возразила: "Вы не правы. Позвольте мне сделать страничку...". В итоге мне понравилась и страничка, и сама девочка. Она стала нам близким человеком. А потом, когда нам пришло время уезжать в Иерусалим, она сказала: "Хочу с вами!". Я очень испугалась, потому что у нее здесь замечательная мама, бабушка... "Я не люблю большой город", - убеждала она, на что я заметила, что Иерусалим не так уж и мал. Но мы живем действительно в маленьком городе Маале-Адумиме, на водоразделе Иудейских гор и Иудейской пустыни. И я решилась! Просто взяла ее в последний свой отпуск в Израиль, чтобы она посмотрела и сравнила свои представления о стране с реальностью,- это ведь не всегда совпадает. Она не раздумала - и в 2003 году мы привезли ее с собой в Израиль. Сейчас Карина - уже солидный человек, работает в Иерусалиме, в Музее памяти жертв катастрофы - Яд ва-Шем.

– При вас, однако, не осталась.

– Ну, она уже взрослая девочка! И моя дочь, и мой сын тоже не остались при мне. Да, все они рядом - в том же городке, но уже отдельно. Это нормально.

– Читатели часто пишут вам на сайт?

– Часто. Пишем очень много. Я не могу отвечать пространно, хотя благодарна всем, кто пишет. Человек, который прочел мою книгу (во- первых, купил, во-вторых, открыл, а потом еще и сел к компьютеру, чтобы

написать мне письмо), - да я готова боготворить его! Как правило, отвечаю, обращаясь лично: "Уважаемый... мне очень приятно... вот для таких, как вы, писатели и пишут свои книги". Хотя на самом деле писатель пишет не для читателя - он пишет, потому что пишет, потому что это способ жить, способ самовыражения. А вот когда книга уже вышла - конечно, мне очень интересно, что думает тот или иной человек, который окупился в мир, мною созданный.

— *Но нередко людей интересует личная жизнь автора, а не произведения - как быть в таких случаях?*

— По-моему, это слова Набокова: "Ни клочка моей личной жизни не достанется исследователям!". Я тоже против того, чтобы раскапывали личную жизнь. Я бы, например, не хотела, чтобы это делали с моей, хотя она у меня самая обыкновенная и самая что ни на есть мирная. Если, скажем, сейчас мне бы вдруг открылась дата моего ухода, то что бы я сделала в первую очередь (иногда я задаю себе такой вопрос)? Бросилась бы к адвокату, чтобы написать завещание, или принялась бы доделывать нечто важное?.. Скорее всего, первым делом я кинулась бы к компьютеру

- уничтожить все начатое, незавершенное, несовершенное... Огромное количество писем...

— *Вы начали писать очень рано и сразу имели успех. Как вам кажется, насколько важны для писателя опыт, житейская мудрость? Или все-таки, не это определяет результат?*

— Мне повезло в том смысле, что в детстве я была страшная врунья, и, думаю, весь мой аппарат создан для того, чтобы сочинять. Я все время что-то придумывала, так что воображение у меня пригодно к этой профессии, а дальше уже, с течением жизни, все мы чего-то добиваемся

- как портниха, начинавшая с подмастерья... Я просто надеюсь, что, поскольку очень долго крою и сметаю эти "матери", уже что-то умею. Вот и все.. Такая же профессия, как и остальные.

— *Что запускает "механизм", благодаря которому на свет появляется новое творение?*

— Никто еще эту формулу не вывел. Слава Богу! Каждый раз иначе получается. Это может быть песня, может - фраза, случайно брошенная... Или мелодия из открытого окна... Два силуэта расстающихся людей... История, рассказанная походя, мельком - да просто услышанная в метро! Посыл может быть самый разный. И это очень близко к так называемому культурному шоку. Ты вдруг видишь картинку, что-то щелкает, это как моментальный снимок. И ты уже не в силах от этого отделаться - носишь в себе как некий зародыш. И он бывает закапсулирован долгие годы, пока наконец не встретится с определенной клеткой, которая оплодотворит этот "законсервированный" образ. И он начинает жить! Это очень интересные вещи. Я вам расскажу, например, из чего родилась повесть "Высокая вода венецианцев", считающаяся одной из самых удачных моих вещей. Мы просто путешествовали по Италии, и у нас в первый же день в Риме украли замечательный (толстенный!) путеводитель по стране! В итоге мы были вынуждены в каждом городе (а у нас был прекрасный маршрут - Рим, Флоренция, Венеция) покупать местный путеводитель. Что такое путеводитель местного издательства? Как их пишут? Как правило, берут итальянский оригинал, нанимают студента факультета славистики, и тот за небольшие деньги переводит его на соответствующий язык, который условно можно назвать русским. И вот мы покупали такие путеводители и пользовались ими, все время чертыхаясь... После целого дня беготни я лежала в номере - уже без ног совершенно - и перелистывала путеводитель, намечая день. Перевернула страницу и прочла: "Вода венецианцев". Закричала мужу: "Ты представляешь, что они вытворяют? Как они перевели "ежегодное сезонное венецианское наводнение"?! "Высокая вода венецианцев!..". Когда я произнесла эту фразу, я поняла, что это название повести. Мне оставалось только придумать содержание, главными были магия, аура слов "высокая... вода... венецианцев". Я поняла, что здесь должны быть любовь, искусство, Венеция. И мне оставалось только вернуться домой и написать эту повесть - я ее написала.

— *Как-то раз вы сказали, что Сергей Довлатов работал исключительно на топливе реалий своего ближайшего окружения. А вы?*

— Любой писатель работает на топливе ближайшего окружения. Либо он делает материал таковым - близким себе. Вот, к примеру, вышедший год назад роман "Почерк Леонардо". Он написан на абсолютно чужом материале: там нет ничего, ни единой строки из моей собственной жизни в отличие от предыдущего романа "На солнечной стороне улицы" - по нему сейчас, кстати, будет снимать сериал одна израильская кинокомпания. Так вот, в "Почерке Леонардо" присутствует цирк, к которому я не имею никакого отношения, каскадерство - на него я вообще смотрю с опаской, мотоциклы, к коим не подхожу... Фаготист, город Киев, где я была проездом два раза,- все чужое. Но в процессе написания книги это стало настолько моим, что говорить о цирке я сейчас могу совершенно свободно; я знаю все модели мотоциклов, знаю, что такое профессия каскадеров, и так далее, вплоть до оптики и зеркальных шоу. Писатель так или иначе все делает своим. Все мое: к чему наклонилась, что подобрала, что увидела, за чем потянулась, - все мое, если это переработано, пропущено через себя и воплощено в художественную реальность.

— *А почему вы взяли за чужую для вас тему?*

Это длинная история, но скажу коротко. Когда очень долго находишься в каком-то материале, как правило, хочется от него отстраниться, отойти. В романе "На солнечной стороне улицы" главная героиня - художница (вы же понимаете, это совершенно мой материал - у меня отец - художник, муж - художник, друзья)... Это город Ташкент, в котором я родилась и который знаю как свои пять пальцев... Так вот, по окончании работы мне захотелось отплыть от этой станции как можно дальше... Все происходит интуитивно. Художественное произведение приходит окликом, шепотом, музыкой - чем угодно. Оно так и пришло ко мне - совершенно случайной историей, рассказанной за завтраком у моей сестры на кухне, в Бостоне. Историей про то, как некий музыкант добирался в ближайший город на репетицию и его застала чудовищная снежная буря. Стали падать деревья, службы не были готовы к сюрпризам природы, и он со своим фаготом остался

сидеть в машине. И чтобы его ценнейший вишневый фагот не потрескался, стал его разогревать, то есть играть на нем весь свой репертуар.

Несколько часов он сидел в машине - в этом медленном снегопаде. И я вдруг услышала эту музыку во время снегопада и поняла, что это мой герой. Зачем он едет, чего хочет, что с ним станет, - еще не знала, но это было то зерно, из которого родился роман. А потом уже "подтянулась" и героиня... И все, что с ними происходит, - это как снежный ком, как обвал, как камнепад...

— *Фраза из вашего произведения: "...их, прошлые чувства, привязанности и любви, - все то, чем набиты заплечные мешки, всякой судьбы"... А в автобиографии к "детям и мужьям" добавляете "прочее жизненное барахло". Игра со словами или вы и впрямь довольно цинично относитесь к этому "багажу"?*

— Я человек, вообще играющий словами, - это моя профессия. Кроме всего прочего, я всегда до ужаса боюсь быть сентиментальной - считаю, что это вредит прозе. Поэзии еще так сляк - да, собственно, и поэзии вредит. Так вот, я боюсь быть сентиментальной, а кроме того, и судьбы тоже боюсь, и всякого сглаза - поэтому всегда стараюсь самое сокровенное держать поближе к себе и поменьше об этом говорить, поменьше хвастаться. Например, у меня дочь вышла замуж год назад, и появились совершенно очаровательные свадебные фотографии, которые я, естественно (нормальный позыв матери), стала посылать по электронке друзьям. И стали приходить письма: "Ах, какая она красавица, какой красавец он!..". И я вдруг внутренне съежилась и решила - не надо больше посылать. Не надо дразнить обстоятельства и судьбу - пусть это будет семейным делом. Все мои семейные дела со мной, и если я говорю о них, то стараюсь быть предельно ироничной, спокойной и считаю нужным не заострять на этом внимание.

— *А что в ваших "мешках, судьбы", Дина Ильинична?*

— У меня очень простая судьба. Сын - от первого брака, дочь - от второго... Борис Карафёлов - помимо того, что муж и друг мой большой, самый близкий, - еще и угнетаемый мною художник, потому что оформляет много обложек моих книг. Вернее, даже не оформляет, а просто рисует картинку. Мой редактор в издательстве, Надежда Кузьминична, давно поняла, что Борю можно использовать. И она таким ангельским голоском звонит мне из Москвы туда, в Иудейскую пустыню, и говорит: "Диночка! Вы помните, что в мае у нас выходит такая-то книжка? Вы Боречку уже начинаете терзать?..". И вот с утра он отправляется в мастерскую, а я ему осторожно так (понимая, что он уже теряет терпение, что он идет к своим холстам - настоящим большим масляным холстам) говорю: "Боря, ты помнишь, что надо сделать картинку?" И вот он на бумаге рисует, как выражается Надя, какой-то "помазай". И эти "помазай" украшают мои книжки.

Вот это все мое - ношу с собой. Дети уже взрослые. Сын Дима давно отслужил в армии, работает в крупном торговом заведении менеджером. Дочь Ева тоже отслужила, занимается в университете, будет археологом - во всяком случае, уверяет в этом.

— *А как, родственники относятся к вашему творчеству? С пылу, с жару, свеженькое проглатывают?*

— Не могу сказать, что прям уж так проглатывают. Ведь дети у меня уже люди другой культуры, они читают на иврите, на английском, хотя и на русском тоже, но это уже некая работа - читать по-русски. Например, недавно обо мне снимали фильм, приехали к нам домой... Мы сидели за столом, пили чай, и у Евы спросили: "Ты читаешь мамины книги?" - "Могу, - ответила она (мы привезли ее в четырехлетнем возрасте), - но это мучительный процесс". И все расхохотались. Тем не менее это реальность... Первым меня читает муж. Родителям же я предпочитаю давать мои вещи уже в книге, потому что все-таки это люди, которые большую часть жизни прожили с абсолютной верой в печатное слово. И вообще, я обратила внимание, что рукописи надо давать только редакторам, то есть людям, которые знают, из чего произрастает книга и как она будет выглядеть.

— *Все остальные (друзья тоже) воспринимают книгу книгой, только открыв первую страницу отпечатанного издания. Когда работаете, толчея в доме, те же родственники не мешают?*

— Ну, смотря, какие родственники. Конечно же, мешают. В общем-то сейчас я уже обзавелась даже собственным кабинетиком (кокетливо), собственным столом и креслом. А раньше - понятно, что мы жили обычной советской жизнью, в обычной хрущевке - у меня был совершенно замечательный кабинет... в ванной. Это было очень удобно: пишущая машинка ставилась поверх стиральной, и я сидела и часами в ванной отстукивала свои... вполне, как выясняется теперь, неплохие вещи. К примеру, повесть "На Верхней Масловке", по которой года два назад в России сняли фильм, была написана в ванной моей московской квартиры, на Бутырском хуторе!

— *Понятно, что какие-то моменты своей жизни вы прячете от глаз людей посторонних. А от родных?*

— Я вообще человек довольно закрытый - я ведь по гороскопу Дева. Не люблю быть нараспашку... И потом, близкие, они ведь самых разных рангов. Скажем, есть близкие-близкие, например дети. Кто может быть ближе детей? И тем не менее кое-что я предпочитаю держать от них на безопасном расстоянии. Не потому что хочу скрыть что-то криминальное, а потому, что я оберегаю их покой и свой тоже. И есть родители, которым уже по 84 года и которых тоже надо уже от многого оберегать. Огорчения я на них никогда не вываливаю: все хорошо, все замечательно. К тому же у нас в семье такой порядок - чудовищный на самом деле: когда я уезжаю и мне звонят из дома, то всегда бодрим голосом сообщают, что все прекрасно! А потом приезжаешь и обнаруживаешь, что собаку на последнем издыхании поволокли к ветеринару, что дочь подвернула ногу, сын еще что-то сделал... И начинаешь расхлебывать эту кашу. В отъезде никогда не знаешь, что в действительности происходит дома. Но это некий закон семьи: если человек уехал и ничем уже не может помочь, надо, чтобы он спокойно занимался своими делами на расстоянии.

— *Читаешь вас и хочется взять билет в Ташкент, побывать в Израиле... Для вас Израиль - вторая родина или вы иначе это формулируете?*

— Нет, я уже как-то даже говорила: Израиль - это мой дом. Там живут моя семья, мой народ, и мне очень тепло, хорошо там, свободно, но я занимаюсь русской литературой, пишу на русском языке и отдаю себе отчет, что подавляющее большинство моих читателей живут здесь. Израиль - это такая моя дача... Ну не совсем - я, конечно, не так выразилась. Мне очень близка эта страна, я болею всеми ее бедами и тяжелыми временами, там мои дети хлебнули и армии, и всего на свете. Значит, все-таки дом - это я правильно обозначила.

— *А что тогда Россия? Или не стоит?*

— Почему же не стоит? Было бы странно, если бы писатель не мог формулировать свои переживания. А Россия - это оставленный дом. Я это воспринимаю абсолютно так же, как расставание с любимым человеком. С некогда любимым человеком. С тем, от которого у тебя, например, ребенок. Вы же не можете сказать, что это уже совершенно чужой человек! Он, может быть, и чужой, но все равно вас с ним связывает самое близкое, что может быть, - общий ребенок. Вот меня связывает с Россией общий язык. Друзья, конечно же. Хотя не могу отрицать, что многое мне здесь уже чуждо. И очень многое неуютно. Мне неуютны эти пространства. Я все время стенаю и говорю друзьям: не могу жить в формате этого города, хотя много лет прожила в Москве! Я не могу уже объять эти пространства и этот огромный конгломерат людей. Уже привыкла жить в другом пространстве и, мало того, при другом эмоциональном градусе человеческого общения. Я не говорю о друзьях я о мгновенных точечных контактах. Это может быть в салоне связи, куда я зашла пополнить запас, по телефону в разговоре с барышней из госучреждения - эмоциональная окраска голоса совсем другая; в общении с техником, который вызван... И так далее. Правда, я все равно "растопливаю" этих людей, и они уже ведут себя иначе, но вот это первое желание отгородиться от человека, первое "але", которое я слышу, - это другое. Я уже привыкла к совершенно другой интонации - к презумпции дружелюбия, скажем так. Если у себя в Израиле я сажусь к таксисту, я сразу начинаю с ним разговаривать, и мы находим общие точки зрения или не соглашаемся друг с другом, но тот самый градус общения гораздо теплее... Может быть, в России на людей влияют гигантские пространства, которые отчуждают. Пространство - и в то же время страшная теснота огромных городов, огромного спрута метро. Эти артерии, по которым ты передвигаешься, стараешься быть в толпе, но в то же время отдельно от нее. На самом деле - интересная тема для создания какого-то художественного произведения... А я живу в Иудейской пустыне. Вы знаете, какие холмы открываются с моего балкона, какие пространства! Какая ширь! Я абсолютно уверена, что в каком-то российском городке - с такими же холмами зелеными - градус общения теплее, чем в Москве.

— *Если сравнивать с временами вашего отъезда, сейчас ситуация в плане отчуждения усугубилась или наоборот?*

— Лет семь назад казалось, что ситуация изменилась к лучшему. А сейчас... Молодежь гораздо свободнее, раскованнее, это так. Но теперь, по-моему, происходят немножко другие изменения. Молодежь становится более чиновной, более формальной. Я не имею в виду представителей свободных профессий. Я говорю об огромном количестве молодых чиновников - целый чиновный планктон какой-то развился. Они похожи друг на друга - у них одинаковые стрижки, костюмы, они при галстуках... И в Америке существует этот класс. Есть такая шутка в Израиле: если вы видите двух людей - человек в расстегнутой рубашке с сальным пятном на брюках - это министр, а сзади - человек в костюме и при галстуке - его водитель. Так оно и есть: чем человек масштабнее (не по занимаемой должности, а по внутреннему содержанию), тем больше свободы он себе позволяет. Чем мельче, тем больше придерживается каких-то условностей, которые якобы сделают его личностью.

— *Вы сказали об Израиле: писателю и художнику там делать нечего. Поясните.*

— Российскому писателю и российскому художнику там, конечно, есть что делать - можно сидеть и писать, но Израиль - страна очень маленькая, а значит, очень-очень титановая, родственная. Между прочим, там замечательные литература, проза, интересное искусство, архитектура. Сейчас наконец поднимается кино, которое было слабым. Мы приехали туда со своим багажом и своим восприятием. А надо вам сказать, что во всех странах, в отличие от России, хотя сейчас это и здесь проявляется, население любит поглощать и воспроизводить свою собственную литературу. Американцы - американских писателей, французы - французских. И израильтяне не выпадают из этого правила. Израильские писатели выходят очень большими тиражами. У меня тоже есть перевод на иврит, но и не более того.

— *А еще вы говорили, что стали в Израиле совсем другим писателем. Но что, собственно, изменилось? И почему?*

— Стиль. Совершенно другой стиль, другое отношение к жизни. Мгновенная близость к гибели, например. Реальная! Израиль на самом деле - очень уютная страна, и степень личной безопасности там гораздо выше, чем в России. Условно говоря, возвращаясь в четыре утра домой, при виде компании подростков, которая спрашивает у вас, который час, вы не думаете о том, что они могут иметь в виду что-то другое. Или, скажем, если я там и взорвусь в автобусе, это будет гибель страшная, но менее оскорбительная, чем если бы меня ударили бутылкой по голове в подъезде и отняли три рубля. Каждый человек вправе выбрать чисто гипотетически возможную гибель... И потом, этот яркий тамозный свет - ослепляющий свет пустыни, солнца, - он вообще влияет на отношение к жизни. И эти ветра, и этот маленький городок на хребте перевала - еще как влияют! Писатель очень зависит от окружающего пространства. И я никогда не поверю, что бывает иначе. Разве только он не хочет меняться вообще, как Бунин Иван Алексеевич, потому что в эмиграции тот писал "Темные аллеи". Так вот, если я пишу об Израиле, это абсолютно другая стилистика в отличие от той, что использую в книгах о России.

— Вы даете себе такую характеристику: "Я тяжелый человек, со скабрёзным характером, тяжёлым взглядом и острым языком". Однако есть мнение, что настоящий художник, - всегда эгоист, иначе он и не художник, вовсе. Согласны?

— Абсолютно! Смотря о каком эгоизме идет речь... Представим, что художник погружен во внутреннюю работу над произведением, а в это время ему задают какой-то бытовой вопрос. Он же просто не услышит! Если это называть эгоизмом, то любой художник - эгоист.

— Помимо пристрастий "валяться на диване с книжкой" и путешествовать, иные у вас имеются?

— (Смеется). Давайте уж не будем все обо мне рассказывать... Я очень люблю копаться на блошиных рынках. Для меня большое наслаждение найти какое-нибудь ситечко, вроде того, которое Остап Бендер обменял у Элочки Людоедки на гамбсовский стул. Я очень вещный человек, которому приятно взять в руки вещь, сделанную кем-то с любовью. Почувствовать энергию этого человека - он наделяет ее душой, и в этом ее ценность. Поэт Игорь Губерман, с которым мы не просто коллеги, а друзья, близкие люди, может позвонить мне и сказать: "Старуха, приезжай ко мне, я покажу тебе такую вещицу!". И будет восторженно говорить о какой-нибудь старой пивной кружке. А я буду с наслаждением слушать. Он мне всегда и говорит: "Мы же с тобой барахольщики!.."

Олег Юрьев

Олег Юрьев (р. 1959, Ленинград) - поэт, драматург и прозаик, известный не только в России (стране его происхождения и литературного языка) и в Германии (где он в настоящее время живет), но и в других европейских странах (переводы, помимо немецкого, на польский, чешский, украинский и французский). В Германии неоднократно ставились его пьесы («Мириам», «Маленький погром в стационарном буфете», «Песенка песенок») и вышли три книги прозы.

Полуостров Жидятин

Глава 1

Как покойник питается, так он и выглядывает

— Слышь, Семёновна, такое чего расскажу... — отпадёшь, старая, тут же, вот те крест... Того мальчонка знаешь, зашморканного? ну того, с пакгауза который — по три раза на дню за «Пионерской правдой» ко мне шляется... Ну да знаешь — тихенький такой!.. Так вот: считай, уже недельник, его тут не было, с гаком... или того доле, И НИКТО ЕГО НЕ ВИДЕЛ... — и продавщица Верка, большим лицом белея, обширной причёской желтея из сумеречной глубины ларька «Культтовары. Продукты. Керосин», ногтем мизинца (в пику заостренным и в черву уклеенным фольговыми сердечками) протолкнула шматок зернисто-чёрного зельца (на торце дрожаще преткнувшийся и тут же заросший) сквозь горло трёхлитровой банки из-под берёзового сока (наклонённое к ней с внешнего прилавка, окованного радужно-синеватой жестью). — И вообще чего-то не видать... Тебе куском или порезать?... Не иначе как эти, пакгаузные-то жидята, закололи... — к, паске ихней И она, поддёрнув марлевые нарукавники, торжественно расширила на мгновение утратившие голубизну глаза. Невидим за лысым платком и драповой спиной Семёновны, я присел на корточки и, стараясь облачками дыхания не пятнать сияющие задники её галош, сызнова начал удавливать и ущёлкивать обведённые длиннопетлистыми разводами крепления моих курносых лыжек «Карелочка». Крепления скользили, срывались и больно били по замороженным пальцам.

По комнате катит (наполняя глаза и наполняясь краями вещей) косая голубоватая полоса, раздвоенная и удвоенная настенным зеркалом. Над моей насморочной переносицей (вогнуто блеснувшей между чуть загнутых вовнутрь толстых рогов подушки). Поверх кроватной спинки (заражая верх её решетки никелированным блеском; но дырочки от бесповоротно свинченных шариков — черны). Сквозь островерхое бойничное окно (снизу до трети заклопненное занавесочкой — матовой, неровно и мелко вздутой). С чугунного моря, подковой облёгшего всё ещё заснеженный берег. От стоящей у последнего закругления советских морей ордена Боевого Красного Знамени авиаматки «Повесть о настоящем человеке» (эту страшную книгу мне читала позапрошлым летом двоюродная бабушка Циля — о безном лётчике, который съел ёжика). У кормы авиаматки — почти что невидимый в световом паре около луча и во внезапной черноте, когда луч минет, — маленький как лодочка неэскадренный миноносец «Тридцатилетие Победы». Через месяц его переименуют в «Сорокалетие», но это пока военная тайна; когда в окружной комендатуре на Садовой мы получали пропуска в погранзону, то давали подписку ничего такого не видеть и не слышать. Я не давал — как несовершеннолетний пацанчик, сказал дежурный по округу. За меня подписалась Лилька, она уже большая. Практически взрослая — у неё уже есть настоящие груди с сосками как кончики маленьких копчёных сосисок и муж, Яков Маркович Перманент.

Дверь в кухню слева, понизу и поверху очёркнута светом. За дверью что-то сопит, присвистывает и охает. Потом на секунду замирает и с отшорохом сладко-болезненно чмокает: Яков Маркович Перманент слушает «голос». «Ничего не понимаю, Лилькин! Чёрт знает что такое! Ни шута оно не фурычит! Давно уже богослужение должно было начаться, по Би-Би-Си!» — говорит Яков Маркович Перманент, поднимая от хозяйского радиоприемника «Сакта» — но не оборачивая — своё красноватое лицо с тесным выпуклым лбом и суженной книзу бородкой от середины щёк, такой слитной, светлой и твёрдой, будто её некогда намылили и так и оставили — не сбритую, но и не ополоснутую.

— Здесь же никогда не глушат, в глуши этой запредельной — не хватало ещё тут глушить! Нет, что-то случилось! Ясно как божий день, опять там что-то случилось!

Он снова сгибается — в три или больше погибелей — на ёкнувшей табуретке и касается надлобным зачёсом жёлто-матерчатого, простроченного поперечными шерстинками переда «Сакты». Борода, подгибаясь кончиком, скользит по прокуренным клавишам, маленькие пальцы с чистыми продолговатыми ногтями ожесточённо прокрутывают то влево, то вправо запятнанную влажными полукружьями ручку настройки. По шкале с освещёнными изнутри чёрточками, цифрами, именами иностранных и наших городов мечется стоймя красная нитка. «Тише ты, мальчика разбудишь», — равнодушно просит Лилька в его окутанный пепельными локонами затылок, поднимает вверх смуглую, тесно осыпанную разновеликими родинками руку в обвалившемся рукаве и несколько раз быстро трётся скулой о сборчатое предплечье. Чугунная форточка дровяной плиты приоткрыта, оттуда вылетают сухие длинные искры и падают, исчезая, на жестяную подложку. В гигантской кастрюле (с красными письменными буквами «п/з ПЖ» по боку) плюётся и булькает борщ на неделю. Рядом, в эмалированной мисочке, взятой с собой из Ленинграда, третий раз переваривается куриный бульон для Перманента. *Как мужчина может кушать такого супа? горячится двоюродная бабушка Фира, когда обсуждает с Бешменчиками Лилькиного мужа: Это же писи сиротки Хаси! Настоящий суп — это боршит! С мясом! — Как покойник питается, так он и выглядит*, отвечают умные Бешменчики. Мне холодно под семью военными одеялами, в бесконечно высокой комнате, раскочанной голубоватыми полосами с моря. Я напрягаю икры и с силой вытягиваю вперёд пальцы ног. Остывшая грелка лежит на животе, как царевна-лягушка.

Там, в кухне, по вспученным доскам весело шаркает (замшевыми тунгусскими тапками с меховыми шариками на высоких подъёмах) Лилька, тускло звякает поварёшка о худую кастрюльную латунь, фырчит и не фурчит в светлофанерном кожухе доисторическая хозяйская «Сакта». Яков-то Маркович самоочевидно и сам уж не рад, что сюда нас заволок, в такую запредельную глушь, в пограничную зону за Выборгом, где даже не глушат, — да ещё на полный срок весенних каникул. Мы ж не знали, что весной, когда спускает снег и подаётся лёд, здесь, в глубокой России, особенно на берегу, начинает свинцово пахнуть какой-то прошлогодней дрянью: пачками газеты «Красная звезда», 30 за зиму слежавшимися в серые вихрастые брикеты, полуоттаявшими коровьими лепёхами, прошлогодними конскими яблоками, заячьими орешками и смертью. Марта девятого числа, в субботу, он замешал у нас на последнем уроке классную и целый час не по программе рассказывал о взятии Петром Первым бывшей шведской крепости Орешек. Домой пришлось идти вместе — по щёлкающему троллейбусными проводами, чмокающему в подошвах набухших бот, косо почирканному хлопчатому, на лету исчезающим снегом Невскому — молча. Но Невский ничем не пахнул, разве только слегка — автобусным выхлопом, слабо — гуталином из ассирийских будочек и прерывисто — жареным животным маслом из пирожковых, чебуречных и пышечных. Не поцеловавшись с зажмурившейся и поднявшей подбородок Лилькой, Перманент пробежал сразу в гостиную, к телевизору — в затуманенных золочёных очках, которые протирал изнутри подушечками больших пальцев, в развевающемся пальто с заискренными снегом плечами, в разваленных по молнии сапожках, оставляющих на паркете жидкие чёрные подковки. По первой программе — симфонический оркестр в профиль, приоткрыв рот и скосив глаз, смотрит вверх пюпитров и, двигая — кто рукой, кто щекой, — вслушивает увертюру к опере «Хованщина», по ленинградской — он же и она же, тремя с половиной тактами позже, по третьей — вдруг — пустынные скалы, откуда, треща, вереща и сыпля пухом, пером и помётом, слитно взлетают какие-то неразличимые птицы. Диктор за кадром пёрхнул и вкусно, придыхающе закончил: «...НО ЧЕРНОГОЛОВЫЕ ХОХОТУНЫ ДОЛГО НЕ ЖИВУТ НА ЭТИХ НЕОБИТАЕМЫХ ОСТРОВАХ». Всё, Перманент выключил телевизор и сутоло осел на тахту: *Кранты! Значит, и Черненкока - тоже ку-ку. ...В случае чего может начаться кое-чего. Погромы и помолнии... Слава Богу, уже хоть каникулы на носу. Лилькин, знаешь? — давай-ка звони дяде Якову, прямо сейчас, пока ещё он на службе — пусть в пожарном порядке заказывает нам пропуска на Жидятин.* «Каникулы на носу» — это оставалось ещё две недели. Я сел в кухне к столу, взял из плетёной корзинки скибку, как говорит двоюродная бабушка Бася, чёрного хлеба по четырнадцать копеек и затёр её набело щекочущей пальцы солью, — а он там, в заслуженной гостининой, всё ходил и ходил вокруг Лильки, поворачивающей за ним пушистую белую голову с гладко-блестящими меховыми бровями, такими высокими, что выше не поднимаются даже от изумления (только кожа мучительно сморщивается на круглом маленьком лбу), с полуоткрытыми губами, такими алыми, что кажутся всегда накрашены (за что её с четвёртого класса безвинно ругали на всех родительских собраниях и педсоветах), с запаздывающими волнами у косых скул (*стрижка «каскад», чёлочку наверх, ушки пока закроем, три шестьдесят в кассу и рубль мастеру в фирменном салоне на Герцена*) и всё что-то объяснял, объяснял своим высоким голосом, густеющим и приостанавливающимся на окончаниях фраз. Вкусное, придыхающее слово «междущарствие»... Ему лучше знать, он же преподаёт в выпускных классах историю и обществоведение. Если бы на каникулы приехала мама из Коми, я бы лучше остался с ней в городе. Но отчима лягнул мерин похоронной команды, и она не смогла отлучиться с химии. Ещё три с половиной года. Марианна Яковлевна, мать Перманента, очень интеллигентная женщина с усами, заведующая родовспоможением Снегирёвской больницы, в пожарном порядке сделала ему, и мне заодно, больничный до начала каникул, а Лилька, та всё одно дома и только что для стажа числится младшим лаборантом в НИИ хлебопекарной промышленности, поскольку опять провалилась в театральные институт кинематографии и готовится к следующему разу. Отчим обещал устроить ей национальное направление из Коми. Но тут давно уже и каникулы закончились, сегодня шестое уже апреля, я точно знаю, что шестое... а мы всё ещё здесь, так всё и сидим, ждём у моря погоды — на Перманентово счастье в нашей школе объявился под конец каникул карантин по кокандскому коклюшу: к военруку Карлу Яковлевичу приехали из Салехарда племянница с дочкой, и он от них заразился, а сам ходил спать, по домашнему недостатку места, в военный кабинет — на топчан для искусственного дыхания под

плакатом «Средства химического поражения»; о том по своим каналам в Горздраве прознала Марианна Яковлевна и сразу же отбила нам на Жидятин телеграмму-молнию. Уж до пасхи-то точно, Лилькин, пасхато практически на носу... А там — пускай всё ещё немножечко утрясётся, кто его знает, этого Торбачёва-Шморбачёва, куда его клонит — всё-таки Андропова человек... а мне уже, кстати, давным-давно хотелось хоть разик настоящую венозную отстоять, по-настоящему, — как говорится, со свечкой в руке, с Евангелием в башке... «Пасха на носу» — это ещё остаётся недельник с гаком, в посёлке ещё ни одна собака яйца не красила... Но отчего-то он вернулся сегодня из церкви намного раньше обычного, стуча и отплевываясь, долго отстёгивал лыжи в сенях пакагуза, ещё дольше разматывал жёлтый шарф с чёрными длинными кистями, обвивающий его чёрно и толстосуконный бушлат (в три широких оборота: от стоячего вокруг бородки воротника — между двухрядных пуговиц с якорьками — до комсоставского ремня с потухшей пряжкой, который мне подарил позапрошлым летом дядя Яков, сын двоюродной бабушки Цици, кавторанг хозяйственной службы)?

«Спишь? — надо мной (разом затмевая зазеркальный/ заоконный чёрно-бело-голубой барабан) наклоняется бессветный шалаш из свисших волос, щекочущих щёки. — Морсу хочешь?» Я не хочу морсу, он холодно липнет к дыханию. «Чаю?» Я не хочу и чаю, он жжёт внутренность горла и воняет морской травой. Я хочу новую грелку к ногам и поскорее заснуть. Она присаживается боком на щёлкнувшие с отзвоном пружины кровати и приставляет мне ко лбу и к глазам свою недосжатую ладонь, ещё пышущую борщовым паром. Отдёргивает — ресницы щекочутся. Если бы сегодня пополудни мой нос не заложился козявками (в глубине носоглотки густослякотными, кровянисто-зелёными, а ближе к выходам ноздрей зачерстевшими до чёрных корочек), то я бы услышал от тыла её ладони слабоудушливый запах маминых польских духов «Быть может», которых отчим четыре года назад привёз с гастролей в городе Цыганомань Калмыкской АССР два ящика — всё, что было в тамошнем парфюмерном магазине. Калмыки их не употребляют — чересчур дорогие и чересчур сладкие. В той калмыцкой Цыганомани, рассказывал отчим, не только что пить, но даже и есть нечего, простого хлеба даже нет 32

— сплошная икра зернистая и паюсная, да квояля осетрина оковалками. И «Быть может». Она вздыхает. Кровать вздыхает звонче. Шажками двух осторожно покалывающих пальцев — будто циркулем «козья ножка» — ищет под самым нижним одеялом грелку, от ног вверх — я с извивом передёргиваюсь, грелка скатывается с живота; отыскивается. Дверь, было за нею захлопнувшись, снова с кратким скрежетом приоткрывается. Удлиняющийся треугольник кухонного света вдвигается в комнату и смешивается надо мной с голубоватым с моря. Из скрипичного футляра, неглубоко под кроватью лежащего на полу, к месту их пересечения тянется помятый угол «Каприсов» Паганини, М., «Музгиз», 1947 г. — как у матроса-балтийца из-под бушлата забрызганный чёрной кровью треугольник тельняшки. Двубашенный хозяйский буфет поблёскивает в застеклённой середине разнообразной парадной посудой. Когда нас нету дома, Раиса Яковлевна, хозяйка, приходит и пересчитывает тарелки и блюда с синим кузнецовским клеймом на исподу, и чёрные петровские стопки. Их три. Они здесь всегда жили, даже при царе и белофиннах. Шёпотом: «Тише, не спит же ещё. Яник, кончай, — как маленький, ей-богу. Хочешь, я воды согрею, всё равно на грелку надо, какая разница сколько греть — после ужина оботрёшься. Кто их знает, когда они ещё баню соберутся топить; Яшка с малым и дров-то не кололи...»

— Ничего, в Ленинграде помоемся. Автобус завтра в девять семнадцать от военморгородка, а в шестнадцать ноль-ноль мы уже отмокаем в родимой ванне, как пламенный друг народа крейсер мой бедный «Марат»! — недовольно отзывается Перманент сквозь треск и завыванье помех, но руку убирает.

— ...Ты что, прямо уже завтра назад хочешь? А я почему узнаю это только сейчас?! Что же борщ... и так дальше? — Ой, а междуцарствие?

Голос у неё делается вкрадчивый, мягкий, скандальный. Ей нравится, что ещё три года назад она была ученица Язычник, что, подняв к полуциркульному классному потолку озабоченное круглое лицо и сцепив под передничком руки в свободных маминых кольцах, рассказывала кивающему из-за стола в окошко Якову Марковичу про переход количества в качество и обратно, а сейчас как не фиг делать может ему голову намылить. Вдруг она вскидывается раскаянно: «Ты это что, из-за мальчика, да? Что он болен? Так ему с ангиной тоже неизвестно ещё, хорошо ли четыре часа в автобусе?.. А до остановки как? На лыжах что ли, с его температурой? Или его на санках? ...А что я бабушке Цици скажу? Вещи собирать...» Про «качество и количество» я ещё, правда, не всё знаю, зато «отрицание отрицания» — это плюс, потому что плюс — это перечёркнутый минус.

— Тише ты, дура, тише! При чем тут здесь? Я сегодня в церкви совершенно случайно кое-что такое слышал... ну неважно, одним словом: скоро тут может стать очень, очень неприятно. ...Вещи, какие можно, оставим пока — дядя Яков подкинет, как в Ленинград поедет. — И его голос снижается до неслышимости.

— Чушь собачья! — заявляет Лилька и в один шаг с оборотом отступает к плите.

А отчего не возвращалась ещё с работы хозяйка? Я б услышал скрип лестницы, как она, переставляя со ступеньки на ступеньку матерчатые кошёлки, заткнутые газетой «Красная звезда», подымается вслед за ними, медленно и грузно, к себе на второй этаж. Она на заставе вольнонаёмная повараха. Полуидиот Яша, улыбаясь, красными костяшками полусогнутых пальцев деликатно подталкивает её снизу в поясницу и бормочет-поёт: *Ах матка, ах матка, ступенька, гляди,, сказал кочегар кочегару... и: Сеструхи, насытьте братишке борща, - сказал кочегар кочегару...* Наш дядя Яков Бравоживотовский, кавторанг хозяйственной службы, устроил его на полставки в гараж — катать баки с соляной и двигать туда- сюда бронебойные ворота с выпуклыми звёздами, крашенными бронзовой краской. За это они нам сдают. К себе на базу ВМФ дядя Яков не мог, потому что Яша с тридцать девятого года и, значит, жил под финской оккупацией, а в погранзону у них допуск как у жителей. На заставе ужин в восемь — значит, давно начался, а посуду ей мыть не надо: у всех пограничников собственные котелки, неизводимо пахнущие солидолом, и алюминиевая

ложка за сапогом—в личное время они сами оттирают её с помощью песка и снега. Если у них мальчик пропал, чего же в милицию не заявляют? Или они заявили? В зашлагбаумном посёлке её зовут Райка-Жидячиха, но она русская, это у них фамилия такая странная: «Жидята» — как «опята». Я у них наверху ещё ни разу не была — одна из трёх её старых дочек всегда дома. Две другие днями возятся в дощатой временке сбоку от пакагуза, где у них летняя кухня и живут блёклые куры с молчаливой козой, варят там что-то, стирают или куют, а едва как стемнеет, поднимаются к себе на второй этаж и больше никогда не сходят, и зелёные ставни с вырезными сердечками у них постоянно закрыты. Там, наверху, они иногда неразборчиво что-то поют; наверное, пьяные. Сейчас — нет, только иногда переходят, как слоны, с места на место, роняя мне в постель полумесяцы штукатурки. Поэтому я за оба лета так их и не выучился различать и не знаю, чей он из них сын: все три веснушчатые, белёсые, в подрезанных солдатских сапогах, с толстокостыми замёрзшими коленками, в негнущихся серых платьях, в вязаных кофтах, застёгнутых до подбородка, и в подвёрнутых за уши холщовых платках. Если мне в школе скажут «жид», я с разлёта стучу по хлебалу. Как не фиг делать. Если «еврей» — тоже, потому что они это имеют в виду. На последнем развороте журнала, где список, есть столбец «национальность» — меня легко там отыскать, я самый последний, на букву «Я». Все давно и так знают. Пуся-Пустынников из нашего класса так откровенно и сказал: А ещё еврей называется, когда я в туалете хотел за пятьдесят копеек продать пласт жевачки, который мне подарила двоюродная бабушка Фира, потому что невестка Бешменчиков была с профсоюзной экскурсией в Польше, а какой-то намертво причёсанный третьеклассник с синевой под глазами спросил: а она дуется? а я ответил: не знаю, потому что не пробовал; тогда он застегнул ширинку и ушёл к себе на урок, а Пуся-Пустынников, который сидел на подоконнике и, снимая белым кривым мизинцем табачинки с языка, курил сигарету «Астра» без фильтра, презрительно хлопнул себя пухлой ладонью по широкому белобровому лбу и так и сказал: А ещё еврей называется. Все фоняки так думают, что все евреи от природы умеют делать гешефты, говорит двоюродная бабушка Бася. *Дрек мит фефер они умеют делать, а не гешефты! Твой отчим, — мало ему было, клязьмеру несчастному, в оркестре Бадхена играть на треугольнике, — так, он тоже решил, что он да умеет делать гешефты...* Бедная, бедная Женичка... Яков Маркович называет маму — когда я не слышу — что она «декабристка». Но это же, кажется, по истории СССР положительно!? Кроме того, она оставила на меня тысячу рублей, и двоюродная бабушка Фира, которая была до пенсии замдиректора по сбыту объединения «Красный пекарь» («Пресный какарь», шутит Перманент) выдаёт Лильке по сколько-то ежемесячно на одежду, питание и досуг. Тыща рублей, мамочки родные! — таких денег даже сразу и не вообразишь; как выглядят «червонец» и «четвертной», я издали знаю, но купюру больше «тройка» ни разу в руках не держал. Однажды я видел восьмеро сложенную пятидесятирублёвую — это когда по секрету от двоюродной бабушки Цили дядя Яков показывал мне свою «заначку» под правым погоном летнего парадного кителя.

Начинают дробно дрожать губы и плечи. Мне холодно под семью пограничными одеялами — бесшёрстными, серыми, с двумя узкими чёрными полосами вдоль коротких концов на каждом. Четыре на семь — итого двадцать восемь полос. Вдруг мне кажется: кто-то неслышно заходит в пакагуз с улицы, не зажигает в сенях света, стоит, покачиваясь на носках неопределённым сгущением — выбирает, куда дальше: вверх, к хозяевам... прямо, к Перманенту и Лильке на кухню... или налево, сюда, ко мне. У него лицо как у волка, чёрная шляпа и длинная седая борода. Я так и представлял, когда был маленький, ещё в коммунальной квартире, до того, как мы обменялись с доплатой, — но там-то коридор длинный- длинный, с тремя поворотами и расширением на месте бывшей комнаты Кириницаиных, которую не могли решить кому отдать и сломали; и когда мама с отчимом уходили на кухню разговаривать с соседями, а Лилька, стулом с распыленным школьным платьем отгородившись от трёх сросшихся шаров уличного фонаря и свесив с раскладушки белую лягушечью ногу, спала уже — как убитая — между долгоовальным обеденным столом (всегда накрытым жёлто-зелёной скатертью в тканых ромбах) и моей затенённой (в изголовье буфетом, а в изножье пианино) тахтой, я всегда представлял его, как он отталкивает снизу плечом кем-то (вдруг мной? — обжигающий прочирк в подложечке) неплотно захлопнутую парадную дверь, входит в треугольную прихожую, где лыжи, сундуки и барабанная установка со страшно фосфоресцирующей славянской вязью на главном барабане, потом поворачивает мимо Фишелевых, полуотдельно живущих у выхода, и, светясь глазами, неотвратимо приближается на слегка цокающих когтях по бесконечно бессветному коридору с дальним отсветом кухни в самом конце — мимо всех тёмных дверей, подчёркнутых светом изнутри, мимо всех смутно лучащихся замочных скважин — мимо Настеньки (это не ласково, а иронически), у которой я украл стеклянный шарик с комода и был страшный скандал, — мимо сумасшедшей (чем — не понимаю) Любви Давыдовны с умирающим (от чего — не знаю) мужем Петуховым, — мимо алкоголика Мишки, который в добела стёртом кожаном пальто, доставшемся ему в блокаду, и в навечно заляпанных слякотью гамашах без галош стоит сейчас внизу на Колокольной улице с проще одетыми друзьями, — мимо РЫБКИНЫХ, у которых единственный на квартиру балкон-лоджия и сын Рафа играет в вокально-инструментальном ансамбле «Русичи», и — наконец — мимо заслуженного малооперного артиста республики Винниченко (я видел, как он танцует в «Докторе Айболите» партию жирафа, выглядывая из плексигласового окошка посередине жирафьей шеи, ломко покачивающейся и сморщивающейся при прыжочках). Всё ближе, ближе... — сейчас я услышу его шаги и его дыхание у самой нашей двери. Или это мама идёт поглядеть, как мы с Лилькой спим? «Куда тебе грелку, к ногам?»

Подсовывает к ногам тупо обжёгшую грелку сквозь прутья кровати спинки. Помедлив, обходит просторную кровать и осторожно полуложится поверх всех одеял со мною рядом — затылок упёрт в железную перекладину, руки перетягивают одна на другую халатные пазухи; ноги в шерстяных рейтузах спущены от середины бёдер к полу. «Э, миленький, да тебя всего колотит! Ну ничего, ничего, терпи, казак, атаманом будешь! — завтра мы уже слава богу с утречка домой; приедем моментально врача вызовем, как не

фиг делать. Горло-то болит?» Горло не болит. Не надо сглатывать тугие волокнистые слюни — тогда справа не болит. Я хочу посмотреть наверх и назад, на её лицо — живое, а не в треугольном, бликами заезженном зеркале передо мною на стене, — и устанавливаю голову внутри подушки на самое темя, со сладостным напряжением шейных мышц и туго сводящихся лопаток: подушечки углы надо мной соединяются, и я не вижу её волос, надутого газовым светом с моря, и её будто вырезанного из чёрной матовой бумаги остального безобъёмного профиля: быстрого приподнятого носа, крупных приоткрытых губ и маленького заострённого подбородка. Обваливаюсь

— кровать звенит и качает нас с нею, углы подушки снова расходятся. Когда я три года назад ездил в Одессу к двоюродной бабушке Басе, там, в подземном переходе на улице Советской Армии, один еврей вырезал с натуры профили по пятьдесят копеек за пару — правда, сперва на листке, медленно оборачивающемся своим зигзагообразным разрезом вокруг лязгающего ножничного перекрестья, прорезался только один профиль

— готовый, он разнимался на два. На четыре, если считать оборотные, отходные, метко планирующие к ногам еврея, в мусорное ведёрко из синей заусенчатой пластмассы. Отчим купил в порту три мешка индийского чая (с ними его по возвращении в Ленинград и забрали в заднем дворе «генеральского гастронома» на Невском проспекте, где у него была знакомая товаровед Берта Ильинична, через пару дней умершая от страха на очной ставке в ОБХСС). Он почему-то называл их «цибиками», и на время гощения затарил к двоюродной бабушке Басе на антресоли; та всё туда одобрительно поглядывала со своего полосатого кресла под художавой пальмой, мелко сглатывала зеленоватое бессарабское вино, курила огромную сигару, не помещающуюся в её стяннутый волосатыми морщинами рот, и ругательски ругала Лилькиного мужа, Перманента, хотя никогда его не видела, поскольку за месяц до того не смогла поехать в Ленинград на свадьбу, по толщине и неподвижности. *Литвак*. говорила она, кашляя: *Литвак, тью! Те же литваки,, у них же ж поголовно нито кин сейхл. Двум поросям похлёбку не разнесут! Тью! А за себя пословно думают, целое я тебе дам! Шо ж ты от того пословно кровной своей дытиночки не отчичыла, а, Эвгэния? Мама смущённо кивала, а отчим, прищёлковая плетёными сандалетами, ходил по комнате и рассеянно улыбался Васиным антресолям. Он был тоже литвак, но это его не огорчало.*

Перманент, отчаявшись насчёт «голосов», одним утробно чавкнувшим вжимом переключается на средние волны. По «Маяку» передают «Миллион, миллион, миллион алых роз». Лилька со звоном и тёплым ветром вскакивает, быстро-мелко одёргивает на мне качающиеся одеяла и бежит. Позапрошлым летом, когда мы здесь первый раз были на даче, эту песню пел перед ларьком «Культтовары. Продукты. Керосин» какой-то худой мужик в майке и чем-то часто запятнанных тренировочных шароварах с вывернутыми карманами. В каждой (несоразмерно остальному телосложению долгой и толстой) руке он держал за горло по бутылке азербайджанского вина «Агдам» и пыля притопывал сапогами в известковых разводах. Его кепка съезжала от этого на глаза, и тогда он дёргал назад плешивой головой, как баклан. Время от времени он останавливался, обрывал пение и говорил кому-нибудь проходящему: *В в том магазине, бля буду, продавищица — вылитая Алка Пугачёва. Ну бля буду!* Затем наклонялся вовнутрь ларька и хрипло шептал: *Веронька, красулечка, Алка Пугачёва! Ну сделай, роднуля, мне, мальчонке, миньета с проглотом!* И тоненько-тоненько смеялся. *Пошёл нахуй, старый пидор*, равнодушно отвечала из глубины ларька продавищица Верка. Этот мужик по фамилии Субботин до нашего хозяйского полудиота Яши служил в автогараже погранзаставы по найму. Через недельник с гаком его арестовали, потому что на воскресном киносеансе в клубе Балтфлота он задушил с заднего ряда сидевшего между мной и хозяйским малым и что-то всё время рассказывавшего Костика, сына капитана первого ранга Черезова, дяди Якова начальника по базе ВМФ. Костик высунул язык, заколотил ногами в спинку поехавшего переднего сиденья и умер, а когда сапожники включили свет из-за возмущённых криков сидевших перед нами матросов с «Тридцатилетия Победы», мужик разжал на Костиковой шее свои жёлтые руки с ракушечными ногтями и сказал: *Христа ради, извиняй, пацанчик. Обознался, значит.* На всех пальцах у него были нататуированы синеватые перстни, оттуда, наклоняясь, росли седые волосики. С Костиком этим меня за пять минут до сеанса познакомила двоюродная бабушка Циля, вынесшая нам из кассы билеты. *С еврейми сидеть не буду!* сказал Костик, но проходивший мимо капитан первого ранга Черезов отчеканил, не останавливаясь: *Ты сын русского офицера, Константин, и будешь сидеть с любым говном, с которым я тебе скажу. Пардон, Цецилия Яковлевна, такая шпана растёт, понимаете.* И ушёл — прижимая обеими руками боковые волосы к неуставно непокрытой голове — по направлению к ларьку. На похоронах в четыре тубы и три кларнета играли «Амурские волны», два матроса на ремнях опустили короткий, обёрнутый алым сатином фоб в глинистую землю, похожую на сырую халву. Каперанг Черезов в парадной форме с кортиком выстрелил в воздух из пистолета, снял фуражку и закрыл ею — белой изогнутой тульей наружу — лицо. Дядя Яков молча откозырнул и повел меня за руку по узкой, гладкой после дождя и рябеющей после нас дорожке: между одинаковых усечённых пирамидок из светло-красного жидятинского гранита, со свежебагровыми жестяными звездами на верхушках и свежепозолоченными надписями на обращённых к выходу гранях (у калитки я оглянулся и прочитал: *Старшина первой статьи Абдулкадыров Ш. Ш. 1908— 1940*). Бабушка Циля, держась, чтоб не оскользнуться, за дяди Якова китель, боком подшагивала сзади. Ещё дальше — Лилька в единственном платье, какое было с собой: синее в белых зигзагах. Наверх, на голые обгорелые плечи в веснушках и родинках, она надела кожаный перманентовский пиджак; сам же Перманент ожидал за оградой, спиной к кладбищу, лицом к морю, где уже наискосок прорезался *золотой позвоночник^заката*, как я в этой связи написал в грустном стихотворении, посланном, по сю пору безответно, в центральную пионерскую газету «Пионерская правда». Яков Маркович до смерти боится мёртвых. Поэтому он интересуется духовностью и любит ходить в церковь. *Надеется, в случае чего воскресят*, иронизируют Бешменчики. В Ленинграде он не может ходить, там все священники капитаны КГБ, а он на *идеологической работе*, и через два с половиной

года подходит его очередь подавать в партию, чтобы его назначили завучем, когда биологичка Ленина Фёдоровна выйдет на пенсию. Но здесь, в посёлке за шлагбаумом, в запредельной глуши, где даже не глушат, настоятель — настоящий деревенский батюшка, простой и милый, но глубокий; к нему даже из Ленинграда ездят многие интеллигентные женщины причащаться святых тайн или что-то в этом роде. Когда мы приехали на увеличенные больничным каникулы (было как раз воскресенье, семнадцатое), они толстоногой толкливой стайкой высказнули поперёд нас из автобуса — в изумрудных пальто с полуседыми лисьими воротниками, в чёрно-красных павловопосадских платках, свободно повязанных вокруг шаровидных причёсок, — и, подворачиваясь, побежали по твердому снегу к церкви, маленькой, квадратной, с одной-единственной обколупанной луковкой. Отец Георгий уже стоял в дверях, набросив на рясу стёганный жёлтый полушубок, помахи́вал из-под него рукой и, добродушно улыбаясь, говорил кому-то вовнутрь церкви: *Тлянь, Семёновна, а вон и епархия пархатая моя притаранилась во благовременье. Ну, сталоть, перекурим — и начнём благословясь...*

«МИЛЛИОН, МИЛЛИОН, МИЛЛИОН АЛЫХ РОЗ...» Лилька, задевая предметы, кружится в кухне по тесным проходам: между застеленным расцарапанной клеёнкой столом и длинной железной плитой с рыжими потёками, между полуторным диваном в цветочек (где спал я до ангины, а сегодня они будут) и застеленным расцарапанной клеёнкой столом, между застеленным расцарапанной клеёнкой столом и посудным шкафом из вздутой побелённой фанеры... — подпекает, подпрыгивает, взмахивает руками и халатными полами, её полукруглые побелённые волосы летят. Перманент глядит на неё от поющей «Сак ты» — неодобрительно, но безотрывно. Продольно-продолговатые, прозрачно-выпуклые глаза за стёклышками затенённых очков неподвижны, рот приоткрылся и показал наружу волнисто-напряжённый кончик узкого языка. *Права Баська, настоящий лйтвак, ну что ты будешь тут делать,* говорит двоюродная бабушка Фира: *С ними же, с теми лйтваками недоделанными, всегда так: все нормальные люди им какие-то слишком простые и какие-то слишком шумные. — Как покойник питается, так он и выглядывает,* невпопад отвечает Бешменчики. Песня закончилась. Лилька фомко падает спиной на диван, задирая вверх велосипедные ноги в серых рифлёных рейтузах и спадающих тунгусских тапочках с меховыми шариками. Начинается передача «СТРАНА СКОРБИТ ПО КОНСТАНТИНУ УСТИНОВИЧУ ЧЕРНЕНКО». «Тише, тише ты... Ученица Язычник, тихо!» — вскрикивает Яков Маркович и весь обращается в бородатое ухо. Он умеет читать между строк и слышать между слов. Ему надо всё знать, потому что он хочет стать настоящим писателем, как Валентин Пикуль, и по библиотечным дням ходит в Публичную библиотеку собирать материалы к книге о Надежде Константиновне Крупской для серии «Пламенные революционеры», под рабочим названием «Надежда умирает последней». У Марианны Яковлевны есть в Москве, в Политиздате, рука — сослуживец Перманента-старшего, земля ему пухом, по фронтовой газете «За Родину, за Сталина!» (на последнем слове голос Марианны Яковлевны понижается до неслышимости, как у двоюродной бабушки Фиры на слове «еврей»). Лилька на диване осторожно опускает расставленные ноги. Её лицо на мгновение сделалось сухим и усталым — серым, почти мёртвым, как на следующий день после свадьбы, когда она пришла к нам с проспекта Мориса Тореза, где они поселились пока у Марианны Яковлевны, — и исчезла. Мама с отчимом бегали по квартире, перекликаясь и тяжело скрипя паркетом, но первый нашёл её я: пошёл в санузел и — уже сидя на горшке, с уже неостановимым журчанием — бесцельно глянул в окно. — Под окном же, в сумеречном свете со двора, она лежала в ванне вот с таким вот лицом, до подбородка укрытая пышной, серой, едва колыхаемой её дыханием плесенью. Пластмассовую рыбку из-под пенного средства «Бадузан» производства ГДР она держала мордой вниз в по локоть вывешенной за край ванны руке. С рыбки кусками капало на кафель. Я фрагментарно дописал, но боялся подняться. Она же не поворачивала ко мне головы в пластиковой розовой шапочке до бровей, усеянной мелкими декоративными бантиками, какие делают в Тбилиси подпольные частники из левого полихлорвинила; мама с отчимом в глубине квартиры умолкли, вдруг сделалось слышно, как мельчайшие радужно-фиолетовые ячейки, пощёлкивая и попукивая будто тихий дождик, безостановочно лопаются вокруг её развёрнутых толстых коленок и расплывшихся в огромные бархатнобурые круги сосков. ...Дверь в кухню размахивается; с треском захлопывается; я замечаю, что больше не зябну. Жар от плиты, весь вечер собиравшийся в смежной с кухней стенке и на моей стороне только даром накалявший паутинно-волнистое зеркало и незастеклённую серо-чёрно-жёлтую картину «Панорама Гельсингфорса. Приложение к журналу «Нива» на 1913 год», отрывается, наконец, от стеной плоскости и начинает распускаться по всей комнате, где от того не сделалось светлей, но всё, что в ней есть, уточнило внезапно свои очертания и как бы уменьшилось: буфет, стул с клубками одежды, тумбочка с узкой гранёной вазой (где слегка наклонясь стоит мохнатая как шмель камышина), ослепительные спинки кровати, чёрно-бело-голубое окно с берегом, морем и авиаматкой «Повесть о настоящем человеке», мои руки, которые я вынул из-под седьмого одеяла и крест-накрест положил поверх первого. Всё от меня как будто отделилось: кажется, сейчас я увижу своё лицо со стороны, с высоты — отдельное, уменьшенное, незнакомое. Какие-то стали звучать в голове слова отдельно от значения: я повторяю, сперва беззвучно, затем беззвучным шёпотом слово «галоши» и уже не знаю сразу, что оно значит, приходится вспоминать — чем дальше, тем дольше. *Нет, что оно значит,* я знаю, но что оно это *значит* — с ходу не могу понять и поверить. Это оттого, что я нерусский, русский язык мне не настоящий родной. Он у меня не в крови, а в мозгу. «Галоши» или «колоши»?

— До следующего пленума всё равно ничего не выяснится, — говорит Яков Маркович «Сакте». — Как бы междуцарствие, понимаешь... Что это, слышала, нет? с той стороны в окно стучали? Не ходи, не ходи туда, подожди... показалось, наверное... — Они долго молчат.

В верху зеркала — над занавеской, в верхней, треугольной части окна

— что-то разведённо-чёрное, горбатое, ступенчатое быстро катится по снежному пляжу наискосок слева. Значит, от заставы — она от пакгауза справа, за маскировочным лесом, если прямо смотреть на море. Я, кажется, уже почти что вижу кто это: это, должно быть, наш хозяйский полуидиот Яша, старательно

наклонясь и как всегда рывками вывёртывая на сторону колени, бежит и толкает на таком бегу финские санки со своей матерью, многократно обёрнутой шальями Раисой Яковлевной — и со всеми её заткнутыми «Красной звездой» кошёлками. Господи, наконец-то, сколько ж можно! А может, их малой уже и сам собой отыскался, сидит там на корточках, упершись подошвами в полость, а руками сзади держась за её голенища? Или его поймала в Выборге военная милиция и вернула по месту прописки. Русские дети часто сбегают, потом многие находятя. Иногда их убивают, вырезают сердце, печень и почки и продают в Америку и в Финляндию. Но это никакие не евреи; глупости, что это делают евреи, — Бешменчики объясняли: такое всё выдумывают бескультурные люди, алкоголики, хулиганы, черносотенцы. Они сами не понимают, чего говорят.

Глава 2

Мужчины писают стоя

Шпион хотел просочиться в Финляндию сквозь петровскую канализацию. Сорок пять лет назад его забросили в СССР, и теперь он уходил на пенсию. Ефрейтор Макарычев с восточноевропейской овчаркой Куусиненом учуяли его сверху во дворе пакгауза и начали предупредительно стрелять в землю. Приподнимая решётчатую крышку подгибающимся хендехохом, шпион высунул из люка, куда стекается дождь и Лилька сливает помой. Он без помощи рук всходил по зазеленой лесенке, ляггал железными зубами и всем телом икал. От одежды его и волос клочками отделялся пар. С переда штанов капало чёрное. *От самого Выборга он шёл под землей — без света, по колено в ржавой воде и в костной гнили, питаясь только печеньем «Юбилейное» и лимонадом «Буратино».* Ефрейтор Макарычев подковырнул его в грудь дулом автомата АКМ и спросил: «Ну что, обосцался, гадёныш?» Овчарка наклонила голову, засмеялась. И ты что же, Язычник, намекаешь, будто был очевидцем описанной сцены? Я вот как позвоню сестрице твоей, артистке погорелого театра. Наврал — получишь двойку, а не дай бог правда — кол. Сочинение «Какя провёл летние каникуль» — не место для извращённых фантазий, а ужтем более для разбалтывания государственных тайн. Не говоря уже о нелитературных выражениях. Наша классная — дура, я же не давал подписки.. Давала Л илька., она уже большая, практически взрослая, у неё есть настоящие груди и муж,

Яков Маркович Перманент. Если хочет, пускай ей ставит кол.

Нет, всё-таки это никак не могут быть они. В зеркальных бликах и в противоположном перемещении корабельных лучей мало что на отсвечивающем снегу видно, но слишком уж быстро катятся финские сани (если это, конечно, сани, а не тень самолёта, заходящего в засвеченное море на посадку) — наверное, с мотором или на оленней тяге, как у Деда Мороза. Даже хозяйский полуидиот Яша, на полуострове Жидятин самый сильный и неустанный человек, который — сжав до слезоточения глаза и надув индеевские небритостью щёки — приподымает в обнимку узкую, тёмно-малиновую, редкоперепончатую бочку с соляркой, и тот бы их до такой скорости в жизни не раскатил. Скорей всего, это просто патруль: бежит по побережью дежурной ходкой; только вот, интересно, пограничный это патруль или флотский? Пограничные ловят нарушителей границы в обе стороны, а флотские — матросов третьего года службы, сплывающих после отбоя в самовол. Матросы третьего года ховают свои резиновые десантные лодочки в левом маскировочном лесу, прикрывающем базу ВМФ с тыла, пережидают прожекторный луч внутри ещё с финской войны расколотых скал и бегут-бегут-бегут — подхватив полы маскхалатов и закусив ленточки бескозырок, бегут-бегут, пригибаясь и проваливаясь в слабеющем насте *по самое здрасьте*, — через иссиня-белое поле бегут сюда, вглубь полуострова, и дальше — дальше на материк. Опасаясь Жидятин мимо пакгауза они проскользают едва слышными тенями, а там уже совсем легко, *проще, чем в бане писать* — сперва на коньках по грязному, волосатому перламутру ещё не отмерзших болот, а потом цепочкой по одному — периметром вдоль «колючки», за которой, свистящей полосой темнее ночи, мчит курьерский поезд Москва–Хельсинки. Запорошённого постового в пирамидальной плаш-накидке (стоящего, как погасшая ёлка, у шлагбаума на выезде с погранзоны) они подкупают тельняшками и таким способом проникают в посёлок. Там сегодня в клубе Балтфлота на последнем сеансе для гражданских «В джазе только девушки». Самовольные матросы переодеваются у знакомых девушек в гражданские платья и — покачиваясь и подворачиваясь на заострённых ногах — нагло под ручку гуляют с ними в кино по ослепительно освещённой фонарём улице имени XXI V-го съезда. Хотя отличников боевой и политической подготовки туда и так водят по воскресным и праздничным дням, после помывки, — с песней «Врагу не сдаётся наш бедный "Марат"» или что-то в этом роде. У погранцов, у тех на заставе свой собственный красный уголок, там по субботам крутят «В джазе только девушек». И сегодня, наверно, тоже крутили, после ужина. Каперанга Черезова сын, покойный Костик, рассказывал за секунду до того, как его удушили, что пять лет назад в показательном пушсовхозе «Первомайский», в двух автобусных остановках на юго-восток по выборгскому шоссе, показывали «Чапаева». И совершенно случайно это оказалась копия для Политбюро, где Чапаев не тонет, а выплывает. Л. И. Брежнев ездил тогда мыться с Урхо Калеви Кекконеном в финской бане и на обратном пути потерял в Первомайском шесть платиновых бобин. Через день спохватились, приехали из Выборга на чёрной «Волге» и всё забрали. ...Если патруль флотский, значит, они уже возвращаются с обхода к себе на базу ВМФ (поглядишь в окно, — там то, что движется, движется от правого маскировочного леса к левому; а глянешь в настенное зеркало — наоборот). Если пограничный — значит, только что сменились и выступили на охрану священного северо-западного рубежа нашей Родины.

Когда патрули на маршруте пересекаются, случается «махалово». Побеждают, конечно же, пограничники — у них есть собака Куусинен, обгрызающая ленточки с бескозырок.

Мне хочется встать с кровати и что-нибудь сделать, такая мной внезапная овладела бодрость. Но встать страшно — внутри ног и рук стало так легко и так кислотовато-безвкусно, и так ещё немного щекотно, как будто меня с четырёх концов налили минеральной водой «Полюстрово», чьи тёмно-зелёные, пыльные на пологих оплечьях бутылки (*имя же им — легион*) стоят в слегка заржавленных, плоских и мелкозубчатых касочках по всем нижним стеллажам ларька «Культтовары. Продукты. Керосин», и эта полуболотная вода во мне беззвучно и неощутимо лопаётся своими тесными пузырьками (перебегающими, прилегая, по изнанке кожи) и всё тяжелеет и тяжелеет и сбегается с четырёх сторон к низу живота, которого одну секунду назад ещё никакого не существовало. Там, в кухне, начали ужинать. Лилька, мучительно вымыкая последние остатки алых роз из только что пышного, а теперь на мгновенье почти костлявого горла, пылесосно всосавшегося передней кожей в шею над вьёмом ключиц (у женщин ведь нет кадыка, и их замшевые горла, нежно перерезанные поперечными морщинками, обычно дрожат и колеблются как хотят), переправляет от плиты судорожно подныривающую в воздухе перманентовскую миску с серповидным нагаром на днище и с двумя алыми перекрещёнными вишенками по боку, приземляет её на стол, нежданно однозвучно и твёрдо, и тут же принимается ожесточённо трясти мягкими ладонями перед своим лицом (они изнутри — что изморозью — беспорядочно расчёрканы короткими неглубокими линиями, которых не смогла ещё прочесть ни одна цыганка на Финляндском вокзале). При этом она старается обдуть их горячим дыханием из сложенного «курьей жопкой» рта — *рота* как говорит хозяйка, Раиса Яковлевна, — но промахивается по взмахивающим. А Перманент, одним махом использовав всю скользкость ягодиц, переворачивается на ёкнувшей табуретке и с глубоким до сиплого вздохом берется за алюминиевую ложку со слепо выбитыми вдоль черенка буквами «п/з ПЖ». В самой глубине хлебательной впадины там проделана круглая дырочка, так что ему приходится лечь грудью на стол, нижней губой подстелить закруглённо вывернутый наружу край миски и молниеносными тычками перехлюпывать в себя свою, как говорит двоюродная бабушка Фира, пешаахэс. Бульон, волнуясь и теснясь, прожурчивает через дырочку на вздрагивающую сизо-пупырчатую мякоть страховочной губы, но перетряхом с краёв ложки запрыскивает и обе обочины гладкой бородки. Поэтому Яков Маркович пропускает её поминутно сквозь кулак, а ладонь затем под столешницей вытирает о лощёную штанину отчимовских домашних «техасов». Из другой руки он то и дело роняет со звонким стуком ложку на клеёнку и после того несколько раз ожесточённо растирает большой палец об указательный. Почему русские люди умеют брать горячее и не обжигаться? — например, полуидиот Яша тычком ладони гасит лужицу мазута, самовозгоревшуюся на цементном полу гаража, а три его сестры у себя в летней кухне голыми руками переворачивают на дымящейся наковальне ножи, подковы и гвозди, и даже ихний малой, уж на что белообрый пацанчик типа «глиста» или «сопля голландская», но тоже туда же — запросто наслоняя ладонью пальцем вынимает уголёк из плиты, чтобы прикурить от него свою сыпкую гнутую «беломорину»; — а мы, евреи, всё почему-то никак не обучимся!.. Лилька неподвижно расширенным рыжим глазом смотрит, как в её борще золото всплывает из пурпура, и, мерцая, окружает тускнеющими по расширению кольцами белые и лиловые неравногранные звёзды. Пар, подымаясь к её лицу, возводит горё благоухание имбиря, кориандра и базилика. Я бы, может, даже и сбегал бы сейчас по маленькому, но как же я через них в сени? — они как раз кушают, а я как погляжу на них, проходя, и во мне испарится всё хотение пйсать! И кажется: ещё чьё-то присутствие чувствую я в жидятинском доме, чужое — не наше и не их: не то кто-то неизвестно кто уже здесь, не то того гляди явится, и что-то неизвестно что будет. Или нет. Я тихонечко сию, свеся ноги с кровати, — законный свет, как бензожатка из телепередачи «Сельский час», колесит, оборачиваясь вокруг себя, по комнате, убирает чёрный хлеб темноты, сразу же вырастающий за его спиной снова; по полу дует; я с силой поджимаю пальцы в опустошающихся с носка махровых полосатых носках. Раздвоенный блеск оглаживает снаружи синюю, в этот момент смертельно белеющую резину моих сапожек («в третьей позиции» под закиданным клубками одежды стулом), но внутри у них сырая зернистая темень *всегда*. А что, если я во дворе напорюсь на хозяев? — в случае, если они вдруг как раз явятся? *Явятся, если не удавятся...* Наш, то есть их двор — в сущности, это весь полуостров между двух маскировочных лесов и отсюда до берега — потому что забора вокруг пакгауза нету: Главное Политическое Управление не разрешает. Туалет, построенный, как все деревенские туалеты, в виде колоссального скворечника (до мельчайших деталей соответствуя прообразу, лишь только передняя плаха с круглым отверстием летка убрана вовнутрь и плашмя положена над выгребной ямой), стоит метрах в ста от пакгауза посреди чиста поля входом к нам — дверь с вырезанным в ней сердечком полусвисла на одной нижней петле, а на скошенной назад крыше укреплено к морю лицом круглое металлическое зеркало — вспомогательный ориентир маневрирующим на рейде кораблям. Полуидиот Яша хочет засадить воображаемый двор вишневым садом, если Главное Политуправление разрешит, и даже обозначил уже границы тремя отдельностоящими деревьями и нерегулярными кустиками. Деревья пока не выросли, заснеженные саженьцы торчат из вспухлостей наста, будто полуседые волоски из бородавок. Но они ж не думают в самом деле, что это мы с Перманентом и Лилькой их малбго украли?! Смешно, в самом деле, на кой он нам сдался? *...Врагу не сдаётся, наш вещей «Олег», сказал кочегар кочегару...*

«Ты чего это сел? Тебе лучше, да? Хочешь чего-нибудь? Может, тебе борщу насыпать?» Это она прошлым летом подслушала у местных и теперь сама так говорит, как бы для стёбу: *насыпать*. Правильно надо: *наложить борщу ...или борща? Она подходит ближе, локтями и сдвоено-стеснённо выкатившейся за-над вырез халата мерцающей грудью опирается на изножную спинку кровати, схватывает себя под волосами за уши и, вручную поднимая и поворачивая голову, рассеянно взглядывает поверх моей до рогатости всклокоченной макушки — в море, в поле, в окно. У кого глаза круглые, у тех они в случае чего сужаются. «...Нет? Ну, захочешь — скажешь... Кстати, давно уже тебе стричься надо... Выздоровеешь, сразу пойдём к*

Маргарите...» И она быстро выходит, на ходу выдёргивая из себя халат, вработанный миндалевидными ягодицами глубоко внутрь. Собственно, я даже хочу борща. Или борщу. Но писать, кажется, больше.

В Ленинграде у нас в квартире в сортире висит на вбитом в дверь гвоздике толстый эстонский пупс, спустивший штаны. Двоюродная бабушка Фира мне рассказала по секрету, что это моя единственная память о папе. Едва я только что родился, как он нас с Лилькой и мамой бесчувственно бросил, женился на гойке и уехал с ней в Израиль. И всё своё унес с собой, за исключением этого пупса, потому что малолетняя Лилька намертво заперлась в санузле и безостановочно там рыдала, время от времени спуская воду. Перманент говорит, что лично бы он не смог существовать в этом Израйиле, во-первых, потому что там жарко, а он человек европейской культуры, а во-вторых, потому что там все евреи — и милиционеры евреи, и сантехники евреи, и даже премьер-министр еврей. Не знаю, чем уж ему это так мешает — у нас тоже много евреев, например, Муслим Магомаев — еврей, и академик Капица, который ведёт телепередачу «Очевидное — невероятное», то же самое — как рассказывали Бешменчики, когда я у них и у двоюродной бабушки Фиры встречал Новый Год в Доме ветеранов хлебобулочной промышленности. У нас, конечно, по большей части не жарко. Когда Израиль на нас нападёт и еврейские корабли придут в Финский залив, неужели в самом деле папа будет стрелять в дядю Якова или в меня, если я к тому времени вырасту и сделаюсь офицером флота? Он бы мог подумать об этом, когда уезжал.

Жена министра лёгкого и пищевого машиностроения РСФСР тоже а *идише*. Дома я часто гляжу на складчато-розовые пластмассовые попины пупса и думаю, какой же я, в сущности, несчастный мальчик. Почти никто на всём белом свете не знает, что я не только какаю, но и писаю сидя. А иначе никак не выходит — у меня выходит двумя струйками, которые, слегка расходясь по выходе, снова потом сходятся и опять расходятся и тем создают зону разбрызга, а Лилька потом ругается, что я якобы не смотрю, куда писаю. А я смотрю. ...Если долго сидеть, на коленях от локтей остаются морщинистые красные пятнышки. *ММужчины писают стоя*, сказал мичман Цыпун, дядя Якова правая рука по хозяйственной части на базе ВМФ, когда дядя Яков от него категорически потребовал, чтобы в офицерских гальянах царили флотская чистота, райское сияние и полное благорастворение воздуха сей к адмиральской инспекции. Но мичман Цыпун — самый хитрожопый мичман в целом Балтийском флоте, хитрый, как три китайца; говорят, он на самом-то деле никакой не украинец из Казахстана, за пять кругосветок пожелтевший от тропической лихорадки и круглосуточно от врождённой хитрости прищуренный (левый глаз прищурен больше, и косая широкая бровь над ним выше и гуще), а самый настоящий тайный китаец по имени Пун Цы, быть может даже — китайский шпион. Так он велел матросу второго года службы Кицлеру, с малого сторожевого корабля «Полномочный» откомандированному в распоряжение береговой хоз и политчасти на предмет лозунгов и стенных газет (а также во избежание поголовной — и ниже — татуировки личного состава неравнолапыми якорьками и небывальными трёхгрудыми русалками с изгибистым кольчужным хвостиком): нарисовать на регулярных расстояниях друг от друга во всех унитазах и по всему мочесборному жёлобу злбное безлобое лицо президента Рейгана — вполборота размером с пятак — и герметично заклеить его кружочками, выпиленными из самого тонкого оргстекла. Офицеры и приравненный к ним вольнонаёмный персонал стали дружно целиться, кто «под яблочко», кто «по центру», и адмиральская инспекция прошла *на ять*. *Жили-были три китайца — Як, Як-Цыдрак, Як-Цыдрак-Цыдрак-Цидрони...* Но потом Рейгана пришлось смыть, чтобы не осложнять международную обстановку.

Может, это пара волков — там, у берега? Чего ж не воют?

...Или пьяницы из посёлка окружают пакгауз, чтобы сделать нам с Перманентом и Лилькой со всех сторон *погром*? Смешно, честное слово, смешно даже! — *по дороге на Берлин вьётся белый пух перин*, поёт в хоре старых большевиков Куйбышевского района Перманентова мамаша, усатая Марианна Яковлевна, заведующая родовспоможением Снегирёвской больницы. Но сама-то она не старая ещё большевичка, ей партстажа недостаёт лет ещё эдак одиннадцать с гаком; просто им там было меццо-сопрано нужно, а у неё есть хорошее. *Что-то в комнате светлей стало — это сыночка вошла!* во всю его полноту возглашает она восходящим речитативом, когда по Седьмым ноября и Девятым мая Яков Маркович приводит нас к ней на проспект Мориса Тореза празднично обедать и она, раскачивая в противотакт своему торопливому шарканью стёкшие из-под скул щёки и кривоватую сиренево-седую башню на голове, на лязг его ключей выплывает в прихожую, что увешана застеклёнными фотографиями урождённых уродцев, двухголовых и хвостатых (почти все с размашистыми автографами снизу вверх наискосок). Ты, *кажется, деточка, ещё пополнила немножко*, ласково говорит она Лильке. — *Великая любительница сводничать и разводничать, кусок змеи, одним словом*, называет её двоюродная бабушка Циля, служившая с ней во время финской войны в одном походном лазарете. Всегда бывает рыба в кларе и к чаю торт «Сюрприз», вафельный с бледно-жёлтой присыпкой. Глянуть бы с той стороны, сзади: нет ли и там кого подозрительного? — но в обоих этажах пакгауза на материк выходит одно-единственное окошко: у нас из кухни, а в нём всё равно сейчас темно, *каку негра в жопе*, как бы сказал дядя Яков, научившийся этому выражению у мичмана Пун Цы; — только две зашлагбаумные шестизэтажки вдалеке за болотом сдержанно светятся редкими окнами да в смутном шарике мигает фонарь, что к позапрошлым ноябрьским установлен на улице имени XXIV съезда. А Перманент с Лилькой в окно и не глядят — подхлюпывая и подсвистывая, хлебают себе свои супешники — бледно-жёлтый с медузными пузырьками и интенсивно-красный со сметанными бельмами — из обжигающих дырявых ложек. «Да никого там нету, боже ты мой!!! Или, возможно, патруль... или шпион... — выдыхает Перманент между сглотами, по всей длине передёргивающими его вытанутую к ложке острогорлую шею. — Какая ж ты, Язычник, дёрганая сегодня, как нерусская, ей-Богу. Да не будет ничего, не боюсь. В наше время такого ничего не бывает — тут везде армия, милиция, всё на свете!» (Это он намекает на нашего школьного военрука, подполковника в отставке Карла Яковлевича Носика, который так кипит, когда кто-нибудь на строевой подготовке сбивает шаг или же не укладывается в зачётное время с разборкой и сборкой автомата

Калашникова по норме ГТО: *Вы что как нерусские, всё на свете?!)* — «А чего же мы тогда в Ленинград наманежились, как нерусские, ни свет ни заря? — ядовито спрашивает Лилька, поджимая левый угол рта, густо измазанного красным. — Или сыночка по мамочке соскучилась?» — «На всякий случай», — твёрдо отвечает Перманент.

Если в течение через полчаса они не закончат есть, я как пить дать описаюсь. Вот будет Лильке подарочек на моё день-рождение — стыд и позор, тринадцать лет стукнуло, а пишется, как маленький! Хочешь, деточка, я тебе чудного доктора дам, из Свердловской больницы — он у Людмилы Сенчиной камни выводил, с большим успехом! А она сама знаешь с кем.

Завтра приедем — в почтовом ящике от мамы из Коми телеграмма с зайчиком: «поздравляем сынулю днем рождения расти большой умный горячо целуем мама папаяша». У Лильки в серванте под простынями и полотенцами с осени ещё лежат для меня фирменные джинсы «Врангель» или даже «Леви Страус» со всеми лейбочками, с медным zipperом и с двойной прострочкой на задних карманах в виде «дубль-ве» (если это «Врангель») или в виде простого латинского «вэ» (если это, не сглазить бы, «Левис»), Папа из Израиля вдруг ни с того ни с сего взял и прислал их прошлой осенью двоюродной бабушке Басе для передачи мне. Один негро-финн иудейского вероисповедания, совершавший круиз на теплоходе «Максим Горький», согласился их свезти до Одессы. Проходя мимо Хайфы у него слетела на прогулочной палубе чёрная широкополая шляпа, и он за ней следом прыгнул в Средиземное море, потому что это была очень ценная шляпа, подаренная ему лично любавичским цадиком Шнеерсоном, а папа с борта своего ракетно-сторожевого катера «Иона-пророк- Алеф-бис» негро-финна и шляпу выудил и согласно международной конвенции о спасении на водах возвратил на советский лайнер. Болик и Лёлик, двоюродной бабушки Баси сыновья, ездили той же осенью в Ленинград на заочную сессию в Холодильном институте и заодно захватили посылочку. Но я об этом ничего не знаю — и никогда не узнаю. Лилька скажет, что это от бабушки Баси и всех одесских родственников. Носить их можно будет только в театр и в гости; ничего, уже скоро Девятое мая, мы пойдём к Марианне Яковлевне кушать рыбу в кляре. Перманент, конечно же, подарит книгу «Как жили наши предки- славяне» тысяча девятьсот пятьдесят шестого года издания, он уже её принёс с Мориса Тореза и надписал учительским красивым почерком снизу вверх наискосок, красными чернилами. ...Но если мы завтра ни свет ни заря уезжаем, как же тогда я получу настоящий капитанский бинокль от дяди Якова? Или он потом довезёт, когда снова поедет в Ленинград в командировку за гвоздями, горбыльком и штакетником? Потом может и забыть, у него ж голова не Дом Советов, если верить двоюродной бабушке Циле, которой виднее; придётся ждать до летних каникул... Я снова укладываюсь на постель и двигаю по ней ногами, будто плыву на спине. ...А что, интересно, подарит сама Лилька? Она засмеялась, сделала вверх-вниз ресницами мимо меня и сказала, что всё, что захочу. А если я луну с неба захочу!?!.. Одежда взбиваются, вздымаются, наматываются на ноги, не пускают плыть. Не хочу я больше зырить в это их окно уродское — ни так, ни обратно, через пыльно- волнистое настенное зеркало. Чего я там, в самом деле, не видел? — сортира? авианосца? маскировочных лесов? — слава богу, у нас тут, в погранзоне «Полуостров Жидятин», ничего не меняется, всё остаётся как есть. За этим следят Вооружённые Силы и Военно-Морской Флот. И пограничные войска, конечно, которые, однако же, относятся к Министерству не Обороны, а Внутренних Дел, вместе с пожарниками и милицией. Но им на это лучше даже не намекать

— обижаются, как девочки, и говорят, что они якобы госбезопасность. Позапрошлым летом я тут действительно ещё ничего толком не знал и вообще думал, что за капитан-лейтенантом следует капитан-капитан и это про него поётся в песне: *капитан-капитан, улыбнитесь, ведь улыбка это флаг корабля*. Теперь-то я всё знаю — и порядок службы, и кто за кем следует, и что к чему относится, и где что спрятано, в смысле замаскировано, и все военные корабли по именам, и пограничных собак. Но это всё без исключения государственные военные тайны, а мы давали подписку о неразглашении. Я-то, кстати, как раз не давал, как несовершеннолетний пацанчик, да я уж ничего не разглашу, это ясно как божий день — даже за мильон. Даже за мильем терзаний... Интересно, а меня сейчас никто не слышит случайно, как я тут думаю? Вдруг они там в Америке или в Финляндии насобачились подслушивать мысли? Тогда им и шпионов уже никаких не надо — подключился к головным волнам несчастного большого ребёнка, который не может заснуть из-за ангины и подряд всё думает, — и нате вам, пожалуйста, *пожалуйста бриться*: из прибора безостановочно выползает узкая жёлтая лента, наподобие телеграфной, и, изворачиваясь-перепутываясь, заполняет шуршащими кольцами всю ихнюю шпионскую контору. Но если б они такое сделали, наши тогда бы тоже изобрели им назло какие-нибудь глушители или отражатели и расставили бы их вдоль всех государственных границ — тогда никаких бы мыслей от нас за кордон не уходило. Вот была бы у меня своя такая машинка, которая распечатывает мысли — тогда бы я всё записывал, что себе думаю перед сном и когда долго сижу в туалете (Что ты вообще себе думаешь? часто спрашивают меня двоюродные бабушки, особенно Фира, когда им кажется, что я, например, мало занимался на скрипке и вообще *разбрызанный*, и что у меня, как утверждает перманентовский кусок змеи, Марианна Яковлевна, какая-то якобы *подвижная психика*), затем бы я вычёркивал государственные секреты и нелитературные выражения — и в результате у меня получались бы целые книги как «Капитанская дочка», «Цусима» или «Повесть о настоящем человеке», и притом безо всякой этой писанины, которая так отталкивает в домашних заданиях; от неё же и у настоящих писателей пальцы — большой и указательный (с продолговатыми ямками на подушечках) и средний (с засинённой чернилами бесчувственной мозолькой слева над ногтем) — несомненно, под вечер немеют и ноют; мою бы книгу напечатали в журнале «Новый мир», и я бы стал самый молодой член Союза писателей.

Нет, всё-таки надо сходить, как говорят Жидята, *до ветру*, не то дело погано кончится. Одеваться... обуваться... через кухню («куда-куда... — туда!»)... через сени, громыхая об уложенные вдоль стен дровяные чурочки, о мятые ведра с глазастой картошкой и о дробно звякающие ящики с распрямлёнными гвоздями и ржавыми подковами... ещё метров сто по двору на несмазанных лыжах... У левого крыла

пакгауза — маленькая баня, сложенная из отвалившихся от пакгаузной кладки тёмноокрасных голландских кирпичиков (Пётр Первый привёз их сюда *назло надменному соседу* в двух трофейных галерах и заложил собственноручное основание *запасному магазину*, который тогда стоял прямо на берегу; море потом, как видите, отступило, рассказывает заставский замполит старший лейтенант Чутьчев, когда приводит очередное пополнение на историко-революционную экскурсию). А у правого крыла — дощатая летняя кухня. ...В Ленинграде, наверно, всё уже потихоньку начинает таять, течь, плавиться — обнажать и смывать накопившийся за зиму мусор. Летний сад и все другие сады замыкают амбарными замками на оттайку/просушку, улицы пустынные, просторны, черны и дымятся свежей влажностью, которую вдохнуть — счастье; последние горки жёлтого и сиреневого в чёрных точках и прожилках снега лежат по обочинам, дожидаясь последних снегоуборочных машин, а здесь, на финской границе, — русская зима, белым-бело во все пределы, снег и лёд; костный, звонкий, проникающий холод, как ни оденься и как ни обуйся. А что, если там, в сортире, в смрадной темноте, кто-нибудь *есть*? Сидит невидимым орлом, сверкая глазами, и как зарычит, когда я со страшным прерывистым скрежетом потяну на себя перекошенную дверку. ...Могла бы под кровать ночной горшок или бидон какой больному брату подставить, или что-нибудь типа того, не в антикварную же скрипку мне *отливать*, только и думает, что о своём борще, что хорошо бы, дескать, туда ещё маслинки докинуть, но где ж её тут достанешь, в такой-то глуши запредельной: у Верки в «Культтоварах» нету, одни гадкие — гладкие и зелёные, как сопля — афганские оливки, а из Ленинграда взять не догадались, в панике после черненкоиной смерти! *Богатые пьют кофе-гляссе, бедные ходят ссать на шоссе*, сказал бы мичман Цыпун, научившийся этому выражению от срочнотрудового кожного художника Яшки Кицлера. ...А вдруг я от того, что писаю сидя, постепенно сделаюсь женщиной?! Внезапно мне становится под ложечкой жарко, между лопаток пробегают одна за одной несколько длинных потно-ледяных мурашек, и я сызнова сажусь на кровати по-турецки, как узбек. Писька у меня постепенно втянется внутрь, и на её месте окажется дырочка. Или же сама писька останется, но под нею постепенно прорежется женская щёлка, как у многих уродцев у Марианны Яковлевны на фотографиях? Я хочу проверить, не началось ли уже это, но сейчас же выдёргиваю из трусов руку в пещеристой горячей мокрости. Дверь распахивается, вгоняя в комнату кухонный свет и борщовый пар. «Ну как дела, Паганини? Лучше?» — Перманент трусцой пробегает к моему изголовью, чтобы позаглядывать поверх занавески, подпрыгивая сбоку на цыпочках. Я вижу в зеркале его пляшущий взрытый затылок. Вдруг он прекращает прыгать и решительно рвёт занавескин угол. Из рамы вылетает правая нижняя кнопка и наводит множество звону в остеклении буфета. Перманент прижимается к оконной раме щекой, его согнутая спина и круглый отставленный задик надолго замирают — он смотрит из-за угла в даль. А в дверном проёме молча стоит Лилька — упершись бедром, слегка согнув в колене дальнюю от косяка ногу, ближнюю же выпрямив до уходящей в пол кривости; каждая из рук поскрёбывает противоположную подмышку. Не знаю, что она там делает своим невидимым в контражуре лицом, полуокружённым и перечёркнутым белыми лучающимися волосами (*В контражуре! Опять злоупотребляешь иностранными словами, Язычник! Русский язык мы портим! — то есть ты портишь. За это — только тройка...*) — наверно, она там одними глазами — сузившимися, побледневшими — улыбается в спину Якову Марковичу: он ей нравится. «Ничего, старичок, всё будет тип-топ, мы с тобой ещё набомбим фирмы, вагон и маленькую тележку набомбим!» — наконец, выпутывается из занавески узкое, узкобородое, блестящее узкими очками лицо. *Король Дроздобород* какой-то. И он поспешно выходит. Лилька с хрустом затискивает за ним дверь (сам он всегда оставляет все двери настежь, даже в уборную — такое у него свойство) — и сразу же встревоженное шу-шу-шу на кухне, ещё и к столу не сели. Нет, вряд ли поселковые пойдут Жидятам помогать на нас нападать, хотя бы те их и попросили. Не любят они Жидят и называют их за глаза «чухна белоглазая» и «белофинские паразиты», потому что после Великой Отечественной войны посёлок (которого ещё не было, так как прежняя белофинская деревня сгорела от прямой наводки с моря) заселили сплошь хохлами с Украины и *скобарями* из *Псковской области*, кроме одной довоенной семьи, Субботиных, которые позже — значительно позже — вернулись из эвакуации, а может, и не из эвакуации; Жидята же здесь всегда были, и ту войну, и эту, и сразу после, и *несмотря ни на всё* старую Жидячиху, когда она была ещё молодая, взяли работать на заставу и отдали ей в бессрочную аренду пакгауз, через который перелетело. Нас они, правда, тоже не любят — *ленинградцев и москвичей вся Россия ненавидит*, объяснял ефрейтор Макарычев, когда в ходе великой мерилиновской махаловки медленно вмазывал Яшку Кицлера в новый, ещё чёрный и парно-крупитчатый асфальт у клуба Балтфлота, — но, естественно, не до такой степени. Мне, например, сегодня утром поселковые пацаны ничего не сказали, когда я по поручению Якова Марковича прикатил на выборочное шоссе *побомбить фирму*, как он это называет — то есть нафарцевать у финских туристов парочку библий. Сам он не может — он на идеологической работе, и вообще это детское дело, подлавливать хельсинкский автобус на стоянке и разыскивать в придорожных прилесках разбредшихся по нужде *фиников*. Интересно, что мужчины как правило становятся перед берёзками, а женщины присаживаются за ёлочки. Поселковый пацан, фарца малолетняя, учил меня Перманент, остороженько подходит сзади, изо всей силы хлопает мужского финика по плечу (женских лучше не трогать, а то они вздрагивают, напускают себе в сапоги и невероятно сердятся) и с криком *пурукуми*, что по-фински означает *жевачка*, моментально отскакивает, чтобы не быть поражённым поворачивающейся струёй — рассыпающейся, позолоченной сквозь ветви солнцем. Но я должен делать не так. По-скольку *как бы междуцарствие* и контроль временно ослаб, я должен прямо подойти к автобусу со стороны шоссе и тихо сказать в каждое окно: *Ай вонт э холи байбл инарашен*. Если откуданибудь выкинут библию или что-нибудь ещё, я должен сказать фенкью вери мач и закинуть в это окошко значок. Тогда это будет не фарцовка, а дружба между народами. *Зачем вам, Яков Маркович?* спросил я: *У вас же уже есть одна библия, которую мы в позапрошлом году взяли почитать у двоюродной бабушки фирмы — дореволюционного издания и сзади наперёд, на правых страницах еврейские буквы, а на левых*

по-русски.. Он ничего не отвечал, только подмигивал из-за золотого очка и сыпал мне в руку колкую горсть октябрятских звёздочек. — Ещё один гешефтмахер нашёлся, с содроганием сказала Лилька: Я с тобой в Коми не поеду, не рассчитывай, у меня ребёнок на руках и квартира. Он засмеялся, сглатывая, и высказался в том смысле, что две библии — это уже ей югославские сапоги. Не поеду, не поеду, и так и знай! Ищи себе другие декабристы! А ты его не смей слушаться! Не в школе! Понял? Я разложил по карманам октябрятские значки с золотисто-пушистым Володей Ульяновым, под слегка потёчной эмалью заключённым в пятиконечную звёздочку, и заторопился, чтобы не опоздать к автобусу, а потом ещё до закрытия ларька успеть в посёлок (по субботам раньше): купить «Пионерскую правду», если завезли. Когда был Ленин маленький с кудрявой головой, он тоже бегал в валенках по горке снеговой... Разлетелся, разбежался, размахался палками — вот и наглотался горячим горлом холодного воздуха. Может, пацаны, фарца малолетняя, меня и не заметили, поэтому ничего не сказали; — когда я подошёл к шоссе, хельсинкский автобус уже как раз сворачивал на стоянку и они все разбежались по исходным позициям; только их белые головы и тускло-малиновые курточки, которые из финского нейлона шьют цыганки в показательном пуш- совхозе «Первомайский», мелькали за деревьями. И я был в такой же — продавщица Верка одну оставила двоюродной бабушке Циля за червонец сверху по блату. Все дети и подростки в районе их носят, только хозяйский малой ещё ходит, как сын полка, в жёлтом пограничном полушубке, но он, никто не знает почему, никогда не фарцует. Может, его пацаны не пускают? За такой полушубок плюс ремень со звездой, сказал Яков Маркович, финики дают журнал «Плейбой» с голыми женщинами, или пять банок финского пива, или полблока фирменных сигарет. Пуся-Пустынников из нашего класса тоже ходит фарцевать, к гостинице «Европейская», и меня с собой приглашал, но я не согласился (Зассал, трухлявый удручённо заметил Пуся) — там милиционеров как собак нерезанных, и все в штатском. В смысле, не в американском, а в гражданском. То есть переодетые. Ему- то что, он всё равно на учёте в детской комнате милиции и пойдет в ПТУ, а потом в колонию и в тюрьму, а я должен быть как еврей особенно осторожным.

Снова заколотала «Сакта», разыскивая «голосий». Теперь будут долго- долго пить чай, с бутербродами с колбасой «деликатесной» из мяса степных животных и с грузинским сыром «сулгуни». Не ешь колбасы «деликатесной», учили меня Бешменчики: козлёночком станешь. Ешь сыр «сулгуни», если больше нечего. Это они, конечно, в переносном смысле, на самом деле от колбасы «деликатесной», серо-розовой со слюдяными звёздками и мраморными полумесяцами, ничего такого не делается, ест же её полудиот Яша целыми батонами, и ничего ему не делается, только щёки начинают сально просверкивать сквозь редкую белую небритость, лоб морщится под зачёсанными с висков к середине светлопепельными прядями, а глаза в углах увлажняются и краснеют. Он ест её всегда по воскресеньям, судорожно-прямо воссев на груди тёмно-красных голландских кирпичей у входа в летнюю кухню; поперёк расставленных коленей — резальная машинка с надписью красной масляной краской «п/з ПЖ» вдоль лезвия падающего ножа. В каждом тончайшем колбасном кружке, сложивши его вдвое и вчетверо, он сперва проедает улыбающиеся и печальные рожицы, как на Театре Комедии в Елисеевском гастрономе, разноугольные звёздочки, клеверные трёх и четырёхлистники и другие элементы орнамента, а затем, запрокинув голову в растопыренную ушанку, с высоты прямой руки роняет подготовленные таким образом кружки «деликатесной» к себе в бескадыкое горло. И, жуя, поёт: Ах матка, ах сука, давай колбасы, сказал кочегар кочегару... Яков Маркович подозревает, что предубеждение против степных животных у Бешменчиков от местечковых суеверий. Тут, я думаю, он прав; уж скорее с полуболотного «Полюстрова» сделаешься козлёнком, или чем похуже — я от него всегда икаю и меня начинает пучить. Местечко, откуда суеверия, сейчас называется «посёлок городского типа Язычно Красноказачьего района Днепропетровской области», бабушка Циля показывала мне его в клубе Балтфлота на карте СССР, выложенной народными умельцами из желудей и шишек. Бешменчики и наш с Лилькой покойный дедушка с маминой стороны, и все восемь двоюродных бабушек, из которых осталось три — Бася, Фира и Циля, а также при культе личности незаконно репрессированный папин отец, председатель Комитета еврейской бедноты, однофамилец и дальний родственник (Аз охн взй родственник! Чтoб у меня было столько горя, какой он родственник! Капцан, голь-шмоль перекатная, в двадцать третьем году приходил нас разъевреивать, а мердэр, до сих пор сердится бабушка Фира) — все они в своё время переехали оттуда в большие города, такие как Ленинград, Одесса, Томск и Якутск, работать и учиться. При царе наш пра- прапрадедушка был в этом посёлке городского типа знаменитый человек, начальник всех евреев, все его знали, от Львова и до Невеля, — он был Нафтали-Бер бен Яков, молчаливый языченский цадик, Все думали, он немой и парализованный, а его мысли сам пророк Илья записывает ночами под немую диктовку и на рассвете раскидывает листки по двору, но когда в 1905-м году его усадили в тележку, запряжённую меринком по кличке Вильгельми- на (которого через восемнадцать лет вместе с тележкой реквизирует в пользу Комевбеда дедушка с папиной стороны), чтобы срочно вывезти из Язычно в Екатеринослав и тем спасти от подученных реакционными черносотенцами революционных крестьян, он, улыбаясь, сказал на древнееврейском языке: Тпру-у, приехали, махнул рукой и умер. В этот день ему как раз исполнилось сто четыре года. Нафтали-Бер заговорил на смертном одре, передавали друг другу евреи от Либавы до Дербента и гадали, что означают его последние слова. Но никто так и не догадался — быть может, кроме Ильи-пророка. Смешное имя «Нафтали-Бер», как «нафталин». Древнееврейский — это не такой язык, как простой еврейский, на каком бабушка Фира разговаривает с Бешменчиками, чтоб я их не понял. Там такие же буквы, как в журнале «Советиш Геймланд», и тоже сзаду наперёд, но слова совсем другие. Вообще, всё это, мне кажется, как-то у них излишне запутано. Раз в троллейбусе я подслушал разговор двух русских мужиков — с работы, но не особенно датых; тогда как раз израильская военщина что-то наделала, кажется, на кого-то напала или чего-то такое. Видая, Серый, еврей-то какие боевые, оказывается. Кто б мог подумать!Такиметут этих чучмекoв сраных по кочкам,сказал один мужик, постукивая по третьей, международной странице газеты

«Ленинградская правда» согнутым указательным пальцем в сетке угольно зачернённых трещинок. *Ой, не сечёшь, Толян,* сонно отозвался второй из-под кепки: *То ж не эти евреи, не наши. То — древние!* А как же папа с его гойкой?! Они что, тоже уже древние?! Перманент на это только посмеивается и непонятно говорит: Да.

Перманент посмеивается и непонятно говорит: «Да». — «Ну как знаешь», — обиженно отвечает Лилька. Если в окошко — они точно услышат, как струя стучит и плещет о зачерствелый снег. Даже с «Сактой», передающей «Полевую почту "Юности"»: «ДЛЯ ЕФРЕЙТОРА- ПОГРАНИЧНИКА, ОТЛИЧНИКА БОЕВОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ВИТАЛИЯ МАКАРЫЧЕВА ГАЛЯ КОЛОМИЙЦЕВА ИЗ ЧИМКЕНТА ПРОСИТ ПЕРЕДАТЬ ПЕСНЮ КОМПОЗИТОРА РАЙМОНДА ПАУЛСА НА СТИХИ ПОЭТА АНДРЕЯ ВОЗНЕСЕНСКОГО "МИЛЛИОН АЛЫХ РОЗ". ПОЁТ ПЕВИЦА АЛЛА ПУГАЧЕВА». Разве если чуть погромче сделают. Я выгибаю поясницу, вжимаю одну в другую ноги наверху и напрягаюсь вокруг. А если в вазу с камышиной, то ещё неизвестно, сколько в неё помещается, в толстостенную, узкую — не перельётся ли через край, на половицы или, того хуже, на напольный редковязанный коврик из чередующихся тускло-зелёных и блёклосиних концентрических овалов? В письке по нарастающей становится невыносимо — почти больно и одновременно как-то остро-щекотно... не знаю как... Я переворачиваюсь на живот и с силой вжимаюсь в кровать, которая подаётся вниз и не даёт упора — не смогу сейчас больше удерживаться, конец! *Держись, братишка... Моряк,, не плачет, никогда не плачет, есть у него другие интересы...* Но тут — слава те господи! — за окном, над морем, в черноте пограничных небес зарождается тройной полый звук, нарастает, сливается, наполняется гудом, превращается в грохот. С орденоносной авиаматки «Повесть о настоящем человеке» стартует звено самолётов-перехватчиков под командой капитана третьего ранга Амбарцумяна. Наверно, какой-то неопознанный летающий объект вторгся в воздушное пространство нашей Родины. Я вскакиваю на ещё пуце прогнувшейся и вдогонку взлетевшей кровати, толчком распахиваю окно и вспрыгиваю на перекладину затрясшейся изголовной спинки. Занавеска вся почти отцепилась, на одной лишь верхней левой кнопке вывисает наружу. Металлический холод заткнул мне дыхание, налегает на грудь, примораживает к кроватным трубкам пятки и голени, а к круглым бронзовым ручкам оконных рам — сырые ладони; ослепляет. Ф-ф-ф-ф-у... *слава-те-Иоссноподу!* Кажется, снежное поле мелко вздрагивает, как будто картинка справа налево передёргивается. Море — чёрное — неподвижно. В сахарном поле шевелится свет, но живого там никого. Ни тени, кроме как от сортира. Пусто. Грохот начинает отдаляться, таять, стихать. Повезло: секундой раньше — и я бы не успел закончить: струя слишком долго разворачивала, пробрызгивала глухо слипшуюся крайнюю плоть. Вместе с тишиной я опрокидываюсь на спину, створки окна звучно захлопываются, прилетев за руками. А занавеска осталась на улице — вьётся, расправляясь и скручиваясь, стучится о стёкла, мокрая. Пружины кровати подбрасывают меня снова и снова, со стихающим отзвоном слабеюще скрежеща. Тишина, только в потолке тяжёло скрипучие, медленные шаги жидятинских сестёр. Чего они там делают? «Э-э, ты чего там делаешь? — из кухни, поверх роз и внутристаканного звяканья ложек, кричит Лилька. — Нормально всё?» Ничего... всё нормально... — я счастлив.

Глава 3

Сиськи Мерилин, или Цыганский шоколад

...Географии опять нет, потому что её вообще нет. Её заменяет завуч Ленина Фёдоровна, у которой перед торжественным собранием, посвященным шестидесятилетнему Великому Октябрю революции, в хоре старых большевиков Куйбышевского района каждый божий день спевка, так что биологии тоже никакой нет, и надолго, а от физкультуры у меня было освобождение после ежеосенней ангины, ещё две целых недели. Пуся, правда, звал *побомбить малёхо* у гостиницы «Европейская» *фирму*, но я пошёл другим путём — по щёлкающему троллейбусными проводами, чмокающему в подошвах набухших бот, косо почирканному хлопчатому, на лету исчезающему снегом Невскому — в невыносимо натопленный, потно и винно припахивающий вчерашним последним сеансом кинотеатр «Колизей». «В джазе только девушки», в зале только мальчики, человек шесть. Мерилин робко пляшет в вагонном проходе, с игрушечной гитарой, втиснутой под нечеловеческие груди, с плоской фляжкой, ненадёжно заткнутой за чулочную сбрую над коленкой. Мне душно в расстёгнутом мокроволосом пальто. Я смеюсь, чтобы не заплакать. Мне неловко перед собой и остальными пятью, хоть те и дремлют глубоко внизу, в первых рядах амфитеатра (между коленей стиснуты кулаки, в кулаках — шерстистые кепки, трубочкой свёрнутые); иногда вскидываются и опадают наждачными подбородками, упёртыми в воротца ключиц, — с неравномерным зубным подщёлком. Мерилин, ты давно умерла и похоронена, похоронена и сгнила, сгнила и рассыпалась. Когда ты, сводя чашечки плечей, наклоняешься к нам несгибаемым верхом туловища, я слышу кондитерский запах смерти с экрана. Я люблю тебя, Мерилин — твои сиськи, твои толстые, кроткие ноги, пергидрольную белизну твоих волос и святые парикмахерские глаза — всё твоё, отмеченное проклятием полубессмертия на растресканном полотне. Я люблю это горячо.

Ну до чего ж *та ещё дура-Лилька*. перетопила, сил просто нет — того гляди, на смежной с кухней стенке треснет и осыпется зеркало, заполненное заоконным мельканием, а заржавая рамка «Панорамы Гельсингфорса» (вспомнил! — *литография акад. Солнцева, бесплатное приложение подписчикам «Нивы» на 1913 годъ!*) напрочь распаяется в крестовинах, и штриховая серо-чёрно-жёлтая картина — извиваясь и шурша — выскользнет-выскользнет-выскользнет на пол. А вдруг дровяных калабашек, что сложены вдоль прохода в сенях, не хватит на остаток ночной протопки? — новых-то Яшка с малым пока не кололи! Нет, судя

по всему, не зря двоюродная бабушка Фира горячо шепчет, высывая из-за букинистической пальмы в оплетённом горшке свою круглую голову, розовато-белую на просветах между мельчайшими плотными завитками причёски — голову, как бы равномерно обложенную тонким слоем холодной вермишели, — не зря она шепчет, что *дурьнде этой легкомысленной двум поросям похлёбку не разнести, а тоже туда же, замужпобежала! Тю!..* Мне жарко и колко поверх скомканных пограничных одеял. Кожа на ладонях отдельно горит. Губы шелушатся. Горло слева не сглотнуть. Глаза высохли и стали слишком малы для саднящих, для опухнувших век. *Ничего, научиться ещё, не боги горшки обжигают,* замечают рассудительные Бешменчики: *Ребёночек,родится, кин айн нуре ништ, всему научится; каквсе, так, и она. — Как,же, родится! Я вас умоляю, шейне майсе нур а курце! Что от такого... воблика. .. может вообще родиться?! Одни Аборты Яковличи какие-нибудь!* окончательно воспаляется бабушка Фира и хочет добавить ещё что-то, о чём потом пожалеет, но остальные посетители телевизионной комнаты на втором этаже Дома ветеранов хлебобулочной промышленности поочерёдно оборачиваются к пальме и с оборотом последнего хором шикают — начинается информационная программа «Время», уже и заставка пошла на взволнованных позывных. У наших- то Жидят, надо полагать, вообще телевизора нет, даже чёрно- белого — никакой антенны на крыше пакгауза я не видел, когда прошлым летом туда лазил, для каникулярного задания по биологии «Птицы и звери Ленинградской области» смотреть на летучих мышей, которые как нарочно куда-то все улетучились. И как они только так живут, *без ничего,* — и не скучно им в этой запредельной глуши, где даже нет летучих мышей, без ничего жить? Или это Яков Маркович пошутил насчёт летучих мышей и они в этих широтах не летучие? Говорят, здесь видно финское телевидение — там показывают «В джазе только девушки» на финском языке; ну так что ж с того, Жидята-то наши его с самых белофинских времён должны знать — тихой ночью между взлётами с авиаматки бывает слышно, как хозяйка Раиса Яковлевна перебазаривается у себя наверху с дочками на каком-то скачуще-тягучем *кюлле-мюлле,* чтоб в случае чего мы ни в коем случае ничего не допоняли; — по-каковски бы, как не по-фински!? Лильке-то с Перманентом здесь телевизора хоть по- волчьей вой, да не с кем, но Лилька с Перманентом в этом вряд ли когда сознаются — *культурным людям не бывает скучно,* любит повторять Марианна Яковлевна, чья интеллигентность доходит до того, что она баклажаны называет «армянскими огурцами». Яков Маркович, тот хоть в церковь каждый день на лыжах бегаёт и, опасаясь междуцарствия, ловит последние известия по радио, а Лилька, бедная, сидит куча кучей на кухне, сосёт барбариски и читает книгу «Моя жизнь в искусстве», в позапрошлом году принесённую для подготовки к вступительным экзаменам с Мориса Тореза. ...Двоюродные бабушки называют баклажаны просто «синенькие».

— Не спит же ещё, Яник, ты что? — роняя останки бутерброда в стакан и вокруг, радостно-возмущённо шипит Лилька и где-то под столом пытается выковырнуть из своего халата маленькую перманентовскую ступню в лыжном носке с почерневшей пяткой.

Что, если я не дождусь до Ленинграда и умру здесь от ангины, *как Хаим, никем не замечаем?* Лилька войдёт ни свет ни заря будить к отъезду, а я лежу навзничь, в застывшем каплями смертном поту — синенький, задохшийся, рот полуоткрыт, как у полуидиота Яши. Она скажет: *слава богу, пропотел наконец-то,* и тут до неё дойдёт, и она сядет на пол — держась за кровать, в сложноволокнистых рассветных потёмках белея головой и ногами. Но я этого уже не увижу. Меня с силой передёргивает от отсутствия в будущем мире, от того, что там всё есть как есть, только меня нет как не было. В глазах — газированными пузырьками — слёзы. Я сильно вздыхаю сильно раскрытым ртом, разорвав в его углах щекотные, склизкие нити. Волосы болят, хоть не могут; с рикошетом к затылку стреляет в правом виске. И всё, что я *думаю,* тоже исчезнет незаписанное, и мне никогда не сделаться самым молодым писателем, даже если изобретут такую машинку, не говоря уже, что никогда никого не отпилить, не отпалить и не отпиндулить. Так и останусь *мальчиком невинным.* Пусе-Пустынникову известно, что только если от лобка до пупка проросла полоса волосиков, то, значит, ты уже созрел. Это называется «лестницей на яблоньку» или «блядской дорожкой». У меня ещё такой нет. У него, наверняка, тоже — он гладкий, вздутый, розовокожий; у таких оволосение позднее и скудное. Ни у кого в нашем классе нет, кроме как у Исмаила Мухамедзянова с минусовым, что у скворечника, затылком и широкофюзеляжным лицом, сложенным из крупных приплюснутых шишек. Он нам эту лестницу или дорожку показывал (хотя его никто не просил) на чердаке дома номер четыре по Поварскому переулку, где мы после уроков играли в «трясучку» и «орлянку», — действительно, пяток каких-то тараканьих ножек прилип к его желтоватому животу с выдавленным и неровно засохшим чирьем над пуповой котловиной и с нечётко четвертованным оттиском пуговицы под. Пуся позвенел в ладонном гнёздышке выигранными у нас серебром и жёлудью, звучно обсосал снизу доверху внутренность своего пышногорла и харкнул навесом в середину чьего-то заволновавшегося на бельевой бечёвке пододеяльника, в самый центр ромбовидного выреза. И прибавил, что этого, дескать, ещё недостаточно: следовало бы ещё проверить, достаёт ли оттянутая вниз пиписька до жопной дырочки — как он выразился, до срачка. Если достаёт, вот тогда точно да, *пожалуйста бритесь.* Побагровевшие в процессе показа скульпные Исмаилкины шишки сызнава стали пятнисто обесцвечиваться, он боком отшагнул за косую балку, куда от узкого окошка в крыше не достигал медленно вращающийся пылевой конус, и, затискивая кулаками рубашку под ремень, так отнёсся к нам, что достаёт не достаёт, в настоящий момент времени это неважно, потому как всё равно — *пионеры не ебутся.* Вот когда нас примут в комсомол, тогда, конечно, да, — пожалуйста бритесь! А если Пусю за все его художества не примут в комсомол, как постоянно грозится классная? — что ж ему тогда, навечно *целонкой* оставаться, так что ли? ...Знаменитый дореволюционный учёный профессор Мечников, который открыл девственную плеву, был тоже еврей... *Татары коней через жопу ебут,* холодно сказал Пуся. Исмаил Мухамедзянов бросился на него из-за балки, но запал носком ботинка в выбоину чердачного настила и с множественно-глухим стуком упал. Древесная труха

(пополам с растёртым нашими подошвами голубиным помётом) облаком обстала его рыжую плоскостопную голову. Из ноздрей извились две кровавые дорожки. *Нам, татарам, одна хрен*, сказал Пуся, *что водка, что пулемёт, лишь бы с ног шибало*. Исмаилка Мухамедзянов оглядывался по сторонам и медленно обводил прыщеватым с исподу, обызвествлённо- сиреневым языком верхнюю губу, при намекании обнаруживающую в разных местах разрозненные короткие праусики. Он никогда нам всем этого не забудет.

Обеими руками я ухватываюсь сзади над головою за спинку кровати — она хорошо холодит, но все её трубки и прутья скоро согреваются и как бы превращаются в продление горящих ладоней. К чему бы прислониться лбом и щеками? ...Интересно, у хозяйского малого выросла уже эта *блядская дорожка от лобка до пупка* или ещё нет? Подобные блондинистые шкилеты бывают ранневолосатые. Яков Маркович прошлым летом предлагал Райке-Жидячихе: *почему бы ребятам вместе не помыться, чего ж даром-то пар тратить?* Хозяйка приостановилась (не остановилась, а как бы вполоборота застыла в шаге — древнеегипетский барельеф из Эрмитажа с цинковым тазиком пёстро-крупитчатого куриного корма у низом выпяченного живота; поверх множества юбок — серая шаль редкой и толстой вязки), помолчала, неподвижно глядя сквозь Перманента на съезжающий к авианосцу свежесвежёванный закат, затем издала неопределённый звук — что-то между сплёвом и свистом — и пошла себе дальше по своей древнеегипетской надобности. Вот за это их и не любят в посёлке — *ломаются, как пятикопеечные пряники, фон-бароны засратые! Шибко много об себе понимают!* Конечно, ни в какую баню я бы с ним всё равно не пошёл — в баню! ещё чего не хватало! — да меня бы и Лилька не пустила, она меня только двоюродным бабушкам доверяет мыть, да и то потом — потеряв наслонявленным указательным пальцем сзади по шее и под лопатками, проверив, шероховаты ли локти, и раздвинув на свету все восемь ножных междупальчий, где обычно заседают такие чёрные, легко сворачивающиеся в шарик чешуйки, — саркастически хмыкает. В совсем общей бане, с людьми, я всё же один раз почти что мылся: отчима тогда сажали *по чайному делу* и бедная мама сутки напролёт *моталась как, заведённая Или как заводная?* После и вместо работы она бегала к адвокатам и от следователя по фамилии Чайкофский (и по служебному прозвищу «Жидовский Рассадник», так как он вёл ещё *кофейное дело* Гурфинкеля и Гарфункеля), искала по учреждениям кого замазать (чтобы отчима отмазать — никого не нашла) и по продуктовым магазинам твёрдокопчёную колбасу для передач (то же самое), и вообще чуть ли не поселилась в приёмном помещении Крестов — в *предбаннике допра*, как это по-довоенному называется у Бешменчиков; спасибо хоть, ночевать доходила домой. В общем, *ни вздохнуть, ни пёрнуть!* — так она говорила устало, по приходе сев на кухне к столу, прикрыв милые, близорукие глаза синевато-паутинными веками и протянув ко мне для расстёгивания обе узкие ноги в заляпанных слякотью замшевых югославских сапожках с запинаящей молнией. Двоюродная бабушка Фира, временно переселённая из Дома ветеранов хлебулочной промышленности, будить меня в школу и кормить ещё соглашалась, но мыть отказывалась категорически (*Этот ребёнок, вы ещё с ним наплачетесь, до ста двадцати. Ты ему да, он тебе нет, ты ему чёрное, он тебе белое, всё аф цулдхес, настоящий цулбхешник, до ста двадцати!*), а свеженевообрачные Лилька с Перманентом жили тогда за трескучей китайской ширмой на Мориса Тореза, так что в Некрасовские бани неподалёку от Мальцевского рынка (Бешменчики говорят наоборот) по маминой просьбе свёл меня наш балтфлотский снабженец дядя Яков Бравоживотовский, поднаехавший как раз с Жидятина за гвоздями, горбыльком и штакетником. Я плакал и не хотел в мыльную, не говоря уже о парнбй, прикрывался шайкой из синевато-радужной жести и боялся красных полужидких мужчин с прилипшими к костистым плечам листьями. *Ты, брат, не просто сачок, ты даже не сак! — ты, брат, целый Сак!* — восклицал дядя Яков, почёсывая длинный морщинистый и путано-волосатый мешочек, где, как в бильярдной лузе, тесно и косо лежали его яйца. В результате он махнул на меня рукой с расплывшимся неравнолапым якорем пониже сгиба и ушёл париться, звякая о кафель привязанным к лодыжке номерком от одёжного ящика, будто он не моряк, а кавалерист, — а я остался в переодевалке с шайкой, прислонённой к сраму. Мама и набежавшая с Мориса Тореза Лилька полночи потом на дядю Якова (он же тем временем со всасывающим свистом давил в гостиной *четыреста восемьдесят* на вислом брезенте гостевой раскладушки) ругательски, но приглушённо ругались и в четыре руки перемывали моё сонное недомытое тело. *С тела вода, с мальчика. худоба*, сказала мама и почему-то заплакала. Вот поэтому дядя Яков, сколько его ни упрасивал поддержанный двоюродной бабушкой Цилей Перманент, никогда не берёт меня к себе на базу ВМФ мыться — говорит, что такой плаксивый жидовский ребёнок, как я, опозорит его перед всем офицерским корпусом. Бабушка Циля считает, что у них там, в офицерской бане, происходит *полнейший Содом и Томорра, пьяное безобразие и моральное разложение, сплошной упадок. Римской Империи*, и что *из-за этого* он меня не берёт, а не почему-нибудь. Лилька только улыбается и походя щекочется.

Как должны быть счастливы те, у кого день-рождение приходится на последнее воскресенье июля, на День Военно-Морского Флота! Прибрежные скалы начищены до медного сияния, осока наточена до окончательного блеска, камыши умыты и расчёсаны на косой пробор, корабли опутаны флажками и фонариками наподобие новогодних ёлок, оркестр в парадной форме стоит день-дёнской на плацу военморгородка и безостановочно бацает «На сопках Маньчжурии», «Амурские волны» и «День Победы порохом пропах» — *песню про пах*, как шутит дядя Яков. Матросы в хрустящей одежде сходят на берег и — *открывши сто Америку* чеканя шаг, поворачивая напряжённые лица направо — маршируют мимо пакгауза (во дворе никого, один только Яшка хозяйский: сидит перед летней кухней в ушанке и ватнике, несмотря на июльское солнце, и в лёгных очках, смотря на июльское солнце — запрокинутой, ловит ртом фигурно проеденные кружки «деликатесной»; перед сортиром ходит, потупясь, курица; пузырясь, мокнет бельё в тазике у входных дверей; на подоконнике кухни лениво передувается стрелчатый полушарием Лилькина книжка «Моя жизнь в искусстве», туда-сюда-обратно). А дальше — «по команде вольно»: болотом,

оскользаясь на новенькой, химически пахнущей свежееоскальпированным деревом гати — в своих бескозырках и белых рубашках с прямоугольными отложными воротничками (у старослужащих на брюках надставлен размашистый клёш) схожие все как один с моей фотокарточкой пятилетнего возраста, сделанной в фирменном детском фотоателье на улице Некрасова, — сегодня для них в клубе Балтфлота праздничным сеансом «В джазе только девушки». А после сеанса — махаловка с погранцами, уже поджидающими у выхода; они всегда махаются, как встретятся, поскольку никак не могут согласиться друг с другом в вопросе про Мэрилин Монро, кто она: «королёк» или «сиповка». Моряки стеной стоят за первое, пограничники — за второе, и получается *стенка на стенку*. У всех срочнослужащих (кроме на судах вахтенных и заступивших в караул на кордоне) этим вечером полная свобода до отбоя — офицеры не только что с нашей заставы, но и с четырёх застав, то есть со всего погранотряда, приглашены по окончании торжественного митинга на базе ВМФ в финскую баню, а сверхсрочный контингент — старшины, прапоры и мичман — спервоначала гуляет медленно вдоль моря с толстыми жёнами, одетыми в платья из разноцветного гонконгского шёлка, которым тайно торгует китаец Цыпун (из-за валунов завистливо смотрят цыганки, поверх множества пёстрых юбок у них — редкие верёвочные шали), а как стемнеет, идут на плац — степенно вальсировать в мелькающей темноте. Без секунды полночь сутулый мичман Пун Цы, оставшийся вне бани за старшего по званию и давно уже стоящий на пирсе к берегу спиной, задумчиво встряхивая бёдрами, резко обернётся, поднимет над своею слегка скособоченной головой правую руку с пистолетом системы Макарова (левая — ещё копается в тугоухой флотской ширинке) и на краю внезапной тишины оглушительно прошепчет замолкшему оркестру и остановившимся парам: *Я депутат Балтики — я в неё ссал!* И — фейерверк. ...А чего такое бывает в ночь с шестого на седьмое апреля, сегодня?! Практически ничего, *гурништмит ништ*, как выражаются двоюродные бабушки Циля, Фира и Бася, Бешменчики, Муслим Магомаев, изобретатель девственной плевы профессор Мечников и даже дядя Яков Бравоживотовский, хоть он и русский офицер, интендант второго ранга, военный интеллигент, — словом, все евреи, за исключением литваков, у которых бы получалось *горнит мит нит*, что без плотной и мягкой, хорошо облегающей язык буквы «ш» совершенно не звучит; поэтому они молчат.

«Нет, Лилькин, как-то у меня сегодня на сердце беспокойно: уже апрель, а идеологического пленума нет как нет, консерваторы в Политбюро проталкивают Романова, а тут ещё эти, аборигены сиволапые: устроят ещё нам, не дай Бог, какое-нибудь тут дело Бейлиса-Шмейлиса, а заодно, может, ещё и Дрейфуса-Шмейфуса — ...твоим дяде Якову с бабушкой Цилей!» Его ладонь, лежавшая на белом лилькином животе, вдоль нижней выпятившейся складки (большой палец с удлинённым полированным ногтем заложен в крутой заворот пупка), ползком высвобождается из-под резинки рифлёных рейтуз и с нажимом переносится к лоснящемуся узковыпуклому лбу. Марианна Яковлевна с петербургским акцентом рассказывала Бешменчикам про этот лоб ещё на свадебном банкете в ресторане «Москва» на углу Невского и Владимирского проспектов, над кафетерием «Сайгон», напротив Соловьёвского гастронома: *У нашего Янечки с раннего ещё детства замечался такой пытливый ум, такой пытливый ум... — вы не поверите, товарищчи: он ещё в пятом классе все мои специальные книжки от корочки до корочки прочёл, мы с мужем думали даже, быть ему знаменитым гинекологом. Но гуманитарный уклон победил — это в Марика... Ну, не в деньгах. счастье... Лилька с сочувственно-серьёзным лицом подхлопывает пару раз глазами наверх, потом съезжает (в два вывинчивающих вращения таза) со вздрагивающих перманентовских коленей. Переваливаясь с бедра на бедро, подтаскивает кверху рейтузы, застёгивает на халате три нижние пуговицы спереди, с хлопчатым треском одёргивается и — назад, к стакану в броненосном подстаканнике с гербами и бляхами, допивать остывший чаёчек и заедать его мелко-звёздчато обкусанным бутербродом с сулугуни. Перманент же не оставляет одну рукой продольно натирать себе лоб, другую — попеременно задёргивать на «техасах» заевшую молнию и при этом вглядываться в законную электрическую продресь. «Весь вопрос в том, какую позицию займёт Громыко!» Снова шаги наверху; заглушённый женский голос — это наверняка одна из сестёр: то ли поёт чего-то, то ли ругается.*

Великую мерилиновскую махаловку прошлого лета я наблюдал с бетонной крыши «Культтоваров. Продуктов. Керосина», совместно с местными, аборигенскими, пацанами и пацанками; их атаман Вовка Субботин — коломенская верста с физиономией вяземского пряника — брал по пятнарику с рыла за вход, точнее, за всход по приставной лесенке, принесённой им из родительского сарая. Взрослые поселчане располагались на ящиках внизу; — женщины (особенно же выходная продавщица Верка, которая по этому случаю *причепурилась, какшалава* болели за моряков, а мужчины симпатизировали пограничникам. Священник отец Георгий в свеженаглаженной встопорщенной рясе помахивал рукой в дверях церкви и, добродушно улыбаясь, говорил кому-то вовнутрь: *Глянь, Семёновна, какие орлы, а? чудо-богатыри-то какие, спаси их Господь и сохрани на суше и на море!* Пустырь между церковью и ларьком заняли полукружьем мужские цыгане, все от мала до велика в одинаковых бурых пиджаках в косую полоску и в огромных морщинистых сапогах, ослепительно начищенных самодельной ваксой. Целый их табор, словленный в семьдесят пятом или шестом году на Выборгском горвокзале, был тогда оброён во вторую шестизэтажку зашлагбаумного посёлка, с целью поголовного перевода на осёдлость, но через пару лет, после того, как они, оснастив телеги полозьями и оклеив копыта коней наждачной бумагой, попытались по льду залива заблудиться в Финляндию, их переместили подальше от госграницы, в показательный пушсовхоз «Первомайский». Цыган устроили работать в обдирные цеха, а цыганок — на малое подсобное предприятие по пошиву прозодежды. Все в посёлке сперва изумлялись, что их за такие дела отправили не в Коми АССР, а в «Первомайский», но потом пришли к заключению, что власти испугались ЮНЕСКО, в которое цыгане, как известно, чуть что, сразу пишут жалобы, выставляясь обиженным нацменьшинством. В погранзону они, тем не менее, регулярно приходят по выходным и праздничным дням, хотя пропусков их, конечно, и лишили, —

продают офицерским и сверхсрочным жёнам меха и кожи, *мягкую рухлядь*, как исторически говорит Перманент, и подковывают трёх своих пожилых лошадей (каурую, просто бурую и бурую в сивых от старости яблоках) у трёх пожилых сестёр Жидята за летней кухней. За трёху. Когда бело-сине-чёрное смешалось перед колоннадой клуба Балтфлота с защитно-зелёным и всё восклубилось позолоченно-серым, цыганские мужики разом хлопнули себя по голенищам кожаными кнутиками, а мужские цыганята перекатали из одной щеки в другую колоссальные куски твердокаменной массы, которая ломом продаётся в ларьке «Культтовары. Продукты. Керосин» и называется обиходно «цыганский шоколад». Победили, конечно же, моряки, потому что все пограничные собаки были в наряде или, положив, как львы, морду на лапы, отсыпались в своих огороженных колючей проволокой будочках, но Яшке Кицлеру досталось-таки от ярого во гневе Макарычева *будь здоров не кашляй*. Здоровее, наевшись свежего асфальту, Кицлер не сделался, но и не откинул, как ожидалось в публике, копыта, коньки и салазки, а, догнав уходящего ефрейтора, с криком *моряк-рребёнка не обидит!* — заехал ему по спине пряжкой намотанного на запястье ремня. Макарычев удивлённо обернулся, но оборзевший Яшка уже обогнул его и бежал далеко впереди по улице имени XXIV съезда, без следа растворяясь в начинающихся сразу же за фонарём ясных июльских сумерках. Ефрейтор рванул было вослед, но поехал подошвой по одному из нескольких уже несколько зачерствевших конских яблок (они выпали, зеленые, двумя часами раньше из-под фонтанно вздутного хвоста одной очень старой цыганской лошади по имени Вильгельмина Семёновна), едва-едва что удержался на ногах и остановился, взмахивая и расшаркиваясь, как птичка. Вокруг лежали вповалку тела его заставских товарищей, на телах сидели верхом победоносные балтийцы и казали козу офингаленным погранцовским глазам. Пыль медленно оседала, переслоённая с закатом. *Велика Россия, а наступить некуда!* сказал Макарычев, уравновесясь, и плюнул. Позже они с Кицлером через парламентёров сошлись на том, что под макарычевской левой лопаткой по следу от пряжки будет бесплатно нататуирован якорь (первый в кицлеровской практике равнолапый) и тем окончательно скреплено перемирие.

А, может, мало этого какие-нибудь цыгане украл? Почему никто не думает на цыган? — цыгане часто воруют детей, всем такое известно: воспитывают их у себя в своих цыганских идеалах, а потом посылают на улицу гадать и побираться. На Финляндском вокзале (Пуся-Пустынников, тренируя словарный запас для *зоны и химии*, называет его по фене *финбаном*), от выхода из метро «Площадь Ленина» до выборгской электрички, Лилька всегда держит меня влажно и цепко за руку, чтоб не украли цыганки, — они там по перрону так и шастают, болтая внутри полурасстёгнутых кофт длинными тёмно-жёлтыми грудями, на которых гроздьями висят прикусившиеся цыганские, а может, и ворованные младенцы. Лилька почти бежит вдоль поезда, почти не сгибая колен, будто занимается «спортивной ходьбой» — бёдра, наподобие маятника, быстро перемещаются из стороны в сторону; голова с полуоткрытым красным ртом откинута назад, на середине беловолосого облачка, там, где чёрное начало корней — плоская круглая шапка с закинутой наверх светло-зелёной сеточкой. Я отстаю с её рукой, оглядываюсь. Сзади подпрыгивает Перманент с чемоданами, стучащими о перрон. Конечно, курьерский поезд Москва—Хельсинки довёз бы нас до Жидятина раза в два скорее любых электричек, но он поблизости от запретзон не останавливается, поскольку возит шпионов и диверсантов. Да и билеты дёроги. Когда мы с мамой и отчимом ездили плацкартным в Одессу к двоюродной бабушке Басе, я всё время думал, почему у поезда изнутри звук дробный, а снаружи сплошной и почему он, в какую бы сторону ни ехать, всегда едет в одну и ту же сторону. Это одна из вещей, какие я решу и опишу, когда вырасту. Ещё я напишу по книжке про жизнь каждой из двоюродных бабушек — и живых, и которые уже умерли, и отдельно — про родную бабушку Эсю, мамину маму, которую в сорок восьмом или девятом году алкоголики-хулиганы-черносотенцы выкинули из двадцать восьмого трамвая на углу Невского и Владимирского проспектов, рядом с Соловьёвским гастрономом, напротив ресторана «Москва» — двоюродная бабушка Фира водила меня по секрету от мамы и отчима смотреть на место, где раскололась Эсина голова; теперь я всегда боюсь на него наступить, когда прохожу мимо. Надо будет только дать им всем другие имена и отчества, какие-нибудь русские, потому что Бешменчики говорят, что про евреев нельзя печатать книжки без особого разрешения ЦК КПСС, иначе могут случиться погромы.

Когда закончилась *великая мерилиновская махаловка* прошлого лета, победители ушли со знакомыми девушками гулять в леса (МИЛЛИОН, МИЛЛИОН, МИЛЛИОН АЛЫХ РОЗ, разъединяясь, расстраиваясь и затихая, долетало оттуда), а побеждённые стали рапидом подыматься с земли и обстукиваться по коленям пилотками. Цыгане уселись в телеги и, чмокая, уехали (цыганки ихние, нагадавшие *расширенному женсовету* «свидание в казённом доме» и «червоного вальта в марьяжной постели» и за-бомбившие туда же массу мягкой рухляди, в основном артикулов «кролик бытовой» и «нутрия улучшенная», давным-давно уже, поджидаячи своих мужей, сыновей и братьев, сидели с мешками денег на левой обочине выборгского шоссе). Поселковые мужики из-под ларька было зарычали приглашающе и болтанули на дне длинногорлых фугасов вспенёнными опивками «Агдама», но тут — откуда ни возьмись, как *сивка-бурка, вещая каурка* — в простыне и очках, подвзбрыкивая на камешках и травяных остях костистыми когтистыми ступнями, прискакал старший лейтенант Чутьчев, распаренный замполит погранзаставы, и с криком *стройсь* стал выводить подразделение из посёлка. Осиротевшие мужики в последний раз заглотнули, как затрубили, нежно поставили пустые *флаконы* в проложенные сеном гнёздышки приларёчных ящиков и тоже стали разбредаться кто куда, поддержанные жёнами, у кого были. Только продавщица Верка осталась сидеть перед ларьком, интересуясь, не нарисует ли капитан первого ранга Черезов, да аборигенские пацаны и пацанки по приставной лесенке по-слезали с крыши, чтобы карманными фонариками высветить на поле боя форменные кокарды, пуговицы, пуговицы, погоны и чего там ещё им могло обломиться по их фарцовый надобности. Зубы... А я спуститься не успел, так как Вовка Субботин улыбаясь убрал лестницу и куда-то понёс. Старший лейтенант Чутьчев выстроил погранцов парами, зашёл, прихрамывая, с заду и скомандовал «шагом — марш». Подразделение в разнобой топнуло, охнуло и в пронизанном закатом облаке встало. Самый маленький боец,

закрывающий Дима Выгодман, полутораметровый без кепки еврей из Кутаиси, обернулся и спросил с лёгким грузинским акцентом: *Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться?* — Обращайтесь, покорно разрешил Чутьчев, ещё плотнее заволакивая простыней. — *Мы тут, товарищ старший лейтенант, интересуемся с ребятами, а правда, что американские спецслужбы Мериллинку нашу Монриху замочили на хер?* — Правда, сказал дрожащий от перепада температур замполит. — *Такую блондинку?* возмутился Дима Выгодман, сам беленький и хилый, но видящий себя толстым черноусым грузином: *А как, товарищ старший лейтенант, как они её?* — *Как-как,.. — молча!...Отравленной клизмой, ёбтытэ!* навзрыд рывкнул старшой (тоже беленький и хилый, но на данный момент не видящий себя никем, кроме как полуголым замполитом, мечтающим о немедленном возвращении в военно-морскую финско- римскую баню, где за истёкшее время мог запросто кончиться четырёхзвёздочный молдавский коньяк «Белый аист»). Он взмахнул свободной от фибульной службы рукой и усугубил на «бегом — марш». Пограничники, прихрамывая, убежали. Солнце зашло за Хельсинки, но неглубоко, и сразу же изготовилось ко скорому восходу, к возвращению к нам, в Советский Союз. А я кружил и кружил по крыше ларька, подпрыгивал, вытигивал шею и не решался позвать на помощь Верку, так как не знал её отчества. И ещё отец Георгий сидел на ступеньках, докуривая третью папиросу. Он курит «Любительские», кисленькие. При каждой затяжке с папиросина кончика как из душа сыпались искры на его сведённые по- женски колени. Пацаны и пацанки с фонариками поползали, пересекаясь и сливаясь лучами, но скоро у них сели батарейки и они пошли к себе домой в шестиэтажки: вечерять кефиром со смуглым вчерашним бубликом и глядеть из кухонных окон на меня, смутно бегающего над Веркиным ларьком — в призматические бинокли, раздвижные подзорные трубы и свинчатые артиллерийские прицелы. Ночь была хотя и белая, но уже ночь. Лилка наверняка злится и волнуется, не зная куда бежать — в баню за приглашённым по дяди Якова протекции Перманентом или за мной в посёлок. Чья-то сгорбленная тень неслышимо вытиснулась на четвереньках из дверей церкви, осторожно проползла, притискивая что- то к груди подбородком, за спиной отца Георгия и, кувыркнувшись с крыльца вбок, исчезла в серебряном вереске, качающемся полувокруг церкви на бледном лунном ветру. Неужели же малой? Нет, не может быть! сейчас все они должны, как всегда, быть дома — в пакгаузе, у себя наверху, — скрипеть и шуршать там, что-то неразборчивое петь, непонятное разговаривать. Я тихонько крикнул: *Спасите*. Отец Георгий оглянулся, освещая себе затяжкой, но позади уже ничего не было, кроме глубоко чернеющей входом церкви. Внизу хрипло засмеялась Верка. ...А может, он съел смертельную жевачку, которую иностранцы дают нашим детям? По виду как настоящая жевачка, в упаковке и всё, а внутри спрессованная стекломасса, в кровь раздирающая внутренность рта. Мельчайшие стеклянные осколки впиваются в дёсны и начинают незаметно двигаться к сердцу по артериям и венам. Когда первый осколочек впивается в сердце, ребёнок в страшных корчах-судоргах умирает. Может, малой лежит сейчас где-нибудь в сугробе у шоссе и всё его сердце, будто изморозью, запорошено измельчённым стеклом, а мы его тут ищем как ненормальные! Сперва надо удостовериться: если где-нибудь на обёртке пласта мельчайшими буквами написано «ССД», что значит «смерть советским детям», то эту жевачку жевать нельзя! Перед моими закрытыми глазами мельтешат на чёрной подложке частые сверкающие точки, кружатся, замедляются, расплываются, постепенно складываются в мерцающий плотный узор — густо набитый, рыже-сине-зелёный, блёкло- переливающийся, как на старом персидском ковре у Марианны Яковлевны в спальне на Мориса Тореза. Ещё, пожалуй, я напишу книжку «Фронтовые подружки» о Марианне Яковлевне и двоюродной бабушке Циля, как они во время финской войны служили в одном медсанбате и выносили из леса красноармейцев, подстреленных «кукушками» с елей и сосен. Высокие балтийские звёзды на чёрной подложке кружились сверху, замедлялись, складывались в плотный мерцающий узор предассвета. Красноармеец на скачущей по слезалому снегу волокуше стонал, вздёргивался, далёко пахнул горячими кровью и калом. Две хрупкие девушки в летних шинелях на два размера больше пятились, таща каждая за свою оглоблю. В любую секунду мог упасть выстрел белофинского снайпера. *Сестрички*, прохрипел раненый, в углу рта пенный розовый пузырь: *Сестрички!* — *Что, родной ?* наклонилась к нему двоюродная бабушка Циля. — *Умираю, сестрички, за Родину, за Сталина.... — Потерпи, потерпи, родненький,* наклоняясь над ним, торопливо говорила двоюродная бабушка Циля: *До медсанбата ещё немножечко осталось, совсем чуть-чуть, самая малость, тебя там военмедики. вытянут!* Марианна Яковлевна, тяжело дыша, пока что отдыхала на пеньке. *Сестрички, бросьте меня здесь, всё равно мне копец... сами выбирайтесь... только выполните одно моё предсмертное желание... — Какое желание?* спросила с пенька Марианна Яковлевна. — *Сделайте мне, сестрички, кто-нибудь миньета с проглотом, а то я так целочкой и помру...* Марианна Яковлевна с возмущением отказалась, сказав, что она комсомолка, а двоюродная бабушка Циля сделала, но красноармейца в лесу не кинула, доволокла до медсанбата, и он не умер, врачи его вытянули; он на двоюродной бабушке Циля поженился и стал отцом нашего дяди Якова, главного снабженца на Жидятинской базе Балтфлота, а Марианне Яковлевне пришлось довольствоваться толстым и лысым литературным критиком Перманентом-старшим, с которым она познакомилась уже после Великой Отечественной войны в кинотеатре «Колизей» на трофейном фильме «Девушка моей мечты». Или нет, это двоюродная бабушка Циля с возмущением отказалась, а Марианна Яковлевна — наоборот, и вышла за того красноармейца (оказавшегося будущим критиком Перманентом-старшим), хотя сама же не хотела его тащить в медсанбат, говорила: *бездёжный.... — тот ещё змеи кусок...* — а бабушка Циля прошла все фронты и познакомилась с дяди Якова отцом, капитаном юридической службы в отставке по инвалидности покойным Бравоживотовским, в кинотеатре «Колизей» на «Девушке моей мечты» с трофейной артисткой Марикой Рокк в главной роли. *Это не вы — девушка моей мечты, товарищ старший сержант? А «За Будапешт» у вас есть?* спросил отставной капитан юридической службы Исаак Яковлевич Бравоживотовский, навечно отставленным мизинцем лакированного трофейного протеза поддевая в стрекочущей темноте одну из бессчётных медалей, что плашмя светились на бабушки-Циля- ной груди. Она

дала ему по руке и жестоко ушиблась. Вот таким образом они познакомились. Когда мы проходили «Капитанскую дочку», классная Светлана Емельяновна так объясняла, что для исторических романов одного таланта недостаточно, нужно ещё много знать, овладеть теорией исторического материализма, изучить документальные источники — свидетельства очевидцев, дневники и воспоминания, старые газеты, письма, фотографии; А. С. Пушкин всё это изучал, когда писал «Капитанскую дочку», а Новиков-Прибой — когда «Цусиму», и Валентин Пикуль тоже изучает, прежде чем усесться за писание. Кроме жизни бабушек, я бы ещё мог вагон и маленькую тележку понаписать всякого такого, ещё глубже в глубь истории углубиться, даже не хуже Валентина Пикуля — если бы у меня только была та семейная книга, которую в тысяча девятьсот двадцать третьем году мой дедушка Язычник с папиной стороны реквизирует у Язычников с маминой стороны в посёлке городского типа Язычно (вместе с меринком Вильгельминой, домом, кузнецовским сервисом на двенадцать персон плюс гамбургское серебро и исцарапанная скрипка, сданная в конце шестнадцатого века в наш генуэзский ломбард) — в эту книгу было всё записано, что случилось с моей семьёй (по маминой линии) за ближайшие полтысячи лет, или больше; то есть, конечно, надо бы не саму эту книгу найти, её писали от руки все прапрапра и так далее — очень малоразборчиво по-вет-хоеврейски. Но дедушка с папиной стороны позже, уже после того, как его назначили председателем Леневаекции, перевёл её с этого древнего и малоразборчивого языка (сам-то он разбирал, конечно, худо-бедно — недаром его средневековые языческие изуверы ещё ребёнком заставляли ходить в хедер, два целых года, иначе семье не давали пособия на бедность; потом плюнули и сплавил с глаз долой в Екатеринослав, учеником к кожевнику Арону Кожевникову, а там уже он вырос в сознательного пролетария и стал профессиональным революционером-ленинцем) на современный русский (которым он в свою очередь как следует быть овладел, совместно со стрельбой из маузера и кубанской джигитовкой, будучи эскадронным, а затем полковым комиссаром в Первой Конармии Будённого). Перевод опубликовали в издательстве «Academia» под названием «Очерки саморазрушительного мракобесия. История семьи Каган-Толедано-Язычник от изгнания евреев из Испании до первой русской революции», в пер. и с поел. тов. Я. Ш. Язычника, Л., 1932 г. К сожалению, когда дедушку незаконно репрессировали по нацистско-сионистскому заговору и за шпионаж в пользу Финляндии, эту книгу отовсюду изъяли и никуда не вернули, даже после реабилитации; может, там ещё какие-нибудь ошибочки остались, не знаю точно. Яков Маркович считает, что она наверняка есть в спецхране Публички, но туда нужен допуск, подписанный минимум Идеологическим отделом обкома, а сопливых так и так не пускают. Один экземпляр (его чекисты не заметили, потому что он дедушкиной домработницей Сильвией Карловной Хямляйнен был подложен под заднюю ножку комода, для устойчивости) папа нашёл много лет спустя, при распродаже оставшейся по наследству от Сильвии Карловны мебели, и противозаконно увез со своей гойкой в Израиль, спрятавши от пулковских таможенников под переплёт «Повести о настоящем человеке» писателя Бориса Полевого, М., «Молодая гвардия», 1968. А скрипку не удалось вывезти, она оказалась национальное достояние и не подлежала — я на ней с бывшей женой нашего бывшего коммунального соседа Винниченки, бывшим концертмейстером Малого оперного театра Жакелиной Яковлевны Голод раз в неделю учу частным образом «Каприсы» Паганини. У меня у самого сейчас в горле такое ощущение, как будто я съел ёжика. Особенно справа. Страшно раскрыть глаза — полосатое голубое мелькание с моря давит до боли и на закрытые; хоть и холодное, но прижигает; и невыносимо уплотняется мерцающий подвечный узор, — что ж будет, если глаза раскрыть? Да их просто взрежет — узор взорвётся и лопнет! Рассыпется салютом.

А вдруг не я, а как раз Лилька умрёт — ну я знаю от чего?! мало ли?! хотя бы и кирпич на голову свалится!!! — до того ещё, как с зоны вернутся мама с отчимом?.. Но всё равно я с Перманентом на Мориса Тореза жить не поеду, и в Дом ветеранов к двоюродной бабушке Фире и Бешменчикам то же самое. Буду в нашей квартире как перст один, три ещё с половиной года — грязный, голодный, весь в двойках и колах, один... Почему как, перст?

...Чушь, чушь, чушь! — что с ней делается, с коровиной такой здоровенной!.. — вот приедем в Ленинград, мне наша участковая врач Попенченко Сарра Яковлевна пропишет щекотный и потный горчичный порошок в носки, и жёлтое фурацилиновое полоскание три раза в день, чередуя с дегтярной календулой и затхлой ромашкой, и пить аспирин с амидопирином после еды; через недельку я вылечусь, и Лилька поведёт меня к своему мастеру на улицу Герцена, стричься «под канадочку» перед школой. В субботний день с сестрой моей мы вышли со двора... Парикмахерши не говорят «стричься», только «подстригаться», такой у них профессиональный язык. Ну как можно «пить таблетки», курам на смех — они ж твёрдые! Это не по-русски! — русский язык мы портим! У мастера Маргариты из салона на улице Герцена язык малиновый, мокро-блестящий, русский — она его высовывает и прикусывает, когда разглядывает меня в громадном, обрамлённом красноватым гранитом зеркале — и себя заодно, — покачивает из стороны в сторону волосами (открывая и закрывая ввинченные в мочки крошечные алмазные запонки), вхолостую прищёлкивает кривоногими ножничками над моими ушами (пламенеющими и коченеющими поверх простынного куколя); у неё под белым халатом мягкий узкий живот, круто уходящий вниз, в начало ног — я знаю этот уход затылком, — и тёплые сухие руки, равнодушно поворачивающие мне голову за щёки и темя. По хребту сбегает мурашки, вокруг сосков и за подложечкой всё холодеет; мир отстраняется от меня, уменьшается, глуховатые непроницающие звуки доходят как бы издалека. ...А ты корову заведи! пробирая меня филировочными, подкидывает она нелюбимой коллеге Анжеле за плечную гранитную перегородку: Молочко будет, парное... — Где же, её здесь держать... Глупая маленькая Анжела в рыжих перьях растеряна и ожидает обиды, хотя завела самый невинный разговор, что, дескать, в угловом гастрономе ей не досталось пастеризованного молока в пакетах по шестнадцать копеек. — Ну тогда козу. Козу можно в ванной, как раз нормально по размеру... — Ну... я не умею... У мамы моей была коза, а я не умею... пробует отшутиться Анжела, уже подозревая, но не

прозревая молниеносный, хотя негромогласный удар. — *Научишься. Подстригать же ты тоже не сразу научилась. Сюда пришла — не умела же. Ничего, почти научилась.* Анжела, дождавшись своей обиды, затравленно замолкает. Чьё-то отдалённое сопрано подливает ненужного масла: *А она родилась уже, умея!* — Ага, подхватывает Маргарита, спокойная. На её скулах шевелятся кружки ало-матовой, туго натянутой кожи: *Так^и родилась — в одной руке ножницы, в другой сушилка.. А в ногах клиент... И помолчав с секунду, доборматывает—только для себя, не рассчитывая на слушателей, включая и меня: Как,у Юдифи Ну давай сеструху свою, сделаем ей что ли каре с усами, во имя отца и сына и святого духа.* Она свежо, тепло и сильно дует мне за шиворот, затем, подгоняя кресло коленом, начинает выворачивать из сыплющей резаными волосами простыни моё ознобное туловище. На пороге предбанника уже переминается с вытянутой шеей Лилька, взбивает кончиками растопыренных пальцев белое электричество по бокам головы. «Ну как ты? Лучше? — спрашивает она, входя. — Сладенького-то чего-нибудь хочешь, к дню рождения?» Идёт на меня, позвякивая ложечкой в стакане, как поезд. «Жалко только, в глуши нашей запредельной нету ничего такого, хорошего... Барбариски одни, да лжешоколад ещё этот дурацкий...»

В одном доме жили цыгане: мать, отец и брат с сестрой, цыганёнки. Однажды родителей не было дома, и брат с сестрой пригласили одного мальчика из их деревни в гости, с ночёвкой. Спать, сказали, ляжешь на чердаке, только смотри, не ложись на кровать, застеленную красным покрывалом, спи на полу. Ночью мальчик лёг на пол и не может заснуть — ему и жёстко, и дует, и половицы скрипят. И он лёг на кровать с красным покрывалом. Только он лёг, провалился в широкую трубу, на дне которой были острые колья. Он на них накололся. А на следующий день его старшая сестра купила по дороге в школу пирожок, с мясом у цыганки., стала есть, а в пирожке человеческий ноготь, где лаком для ногтей нарисовано сердечко, пронзённое стрелой. А это она сама своему брату для шутки нарисовала. Полиция пришла к этим цыганам и нашла трубу от чердака до подвала, а в подвале машины для рубки мяса, и весь пол застелен КРАСНЫМИ ПОКРЫВАЛАМИ, рассказывал позапрошлым летом в клубе Балтфлота покойный Костик, каперанга Черезова сын — в неосвещённом перерыве между киножурналом «Хочу всё знать» и чёрно-белой музыкальной кинокомедией производства США «В джазе только девушки» — перед тем, как его удушили.

Глава 4

Дурная голова ногам покою не даёт «Слаа-те-Госсподи, пропотел всё-таки, горе луковое... — надо мной наклоняется бессветный шалаш из беспросветно свисших волос. — Морсу хочешь? Что?» Я лежу на мгновенье зажмурившийся от маленькой внезапной темноты над моим лицом, мокрый — мокрый от скрипучих головных колечек до полурастворивших ступни носков. Или носок? «Яник, слышишь?! Мальчик пропотел наконец!!!» — «Очень хорошо, значит — ...» — глухая Перманентова трель с кухни. «ГРОБ С ТЕЛОМ КОНСТАНТИНА УСТИНОВИЧА ЧЕРНЕНКО ПЕРЕНОСИТСЯ С ЛАФЕТА НА ПОСТАМЕНТ...» Что значит, бесследно перекрыло радио — размеренно-скорбный баритон. Лилька у притолоки чикает туда-сюда собачьей переключателя (но с чего бы вдруг зажечься электричеству, когда оно в этой комнате ещё прошлым летом перегорело — всё из-за того, что Яков Маркович ночи напролёт читал в постели желтую дореволюционную книгу, обёрнутую газетой «Ленинградская правда», да так, Шестова с пятого на десятое... объяснял он тогда Лильке; а новой лампочки у Чутьчева- старлея, замполита и пока по хозяйности, днём с огнём не выпросишь, неохотно объясняет хозяйка Раиса Яковлевна: все лампочки нужны для собачьих будок, потому что восточноевропейские овчарки без света плохо засыпают и это вредит их бегкости и нюхкости). Лилька протирает тылами обеих ладоней глаза и, по-паучиному легонько касаясь стены кончиками пальцев, приставным несгибаемым шагом (...лёгкие жёсткие руки, грузные гладкие ноги...) боком подтягивается к двухрядному двубашенному буфету, чтобы оттуда снизу вытащить последнюю ненадёванную пару кремowego турецкого белья с начёсом и вафельное полотенце с расплывшимся по рифлению серым штампом «п/з ПЖ». «А где же оно? Был же ещё гарнитур турецкий с начёсом, бабушка Циля у Верки брала... Я же в прошлом году специально за ним к дяде Якову на службу ходила... Ладно, присядь пока чуть-чуть... прошу как человека, да?.. — осторожно, вот так вот, так... Пока оботрёмся везде хорошенечко, а там подумаем...» Зазвенев и поплыв опустелой головой, я сажусь на сбитой до матрацных пятен постели — и сейчас же уваливаюсь набок, за борт, но Лилька (молниеносным совокупным движением) обрушивается на кровати край / роняет себе в подол взмахнувшее концами полотенце / обеими руками подцепляет меня под мышками. Ртом и ноздрями я влепляюсь в гладкий, пахнущий яблоком и сыром, в пружинистый вѐм у неё между ключицей и шеей. «Потерпи, родненький, немножко ещё, буквально чуть-чуть: день простояли — осталось ночь продержаться: утром уже уедем... А там, кстати, — сюрприз!.. Кое-что! Понимаешь?! Кстати, ты по маленькому хочешь, или по большому? Принести горшок? Ну, не-хочешь-как-хочешь...» Быстрые пальцы отлепляют мне от кожи ледяную фуфайку, наворачивают её, укорачивая, вверх, — но я не могу эти жёсткие ногти в молочных пятнышках счастья, эти острые пальцы в стёртых маминных кольцах ни глазом разглядеть, ни почувствовать кожей: обе её широкопалые, слегка подвёрнутые внутрь кисти будто утонули у меня промеж рёбер или же растворены моим жиденьким детским потом по самые их рогатые запястья. «Что-то ты у меня не писаешь и не какаешь, ну прямо как ангел. Курки-яйки-хендехох!» Я послушно подымаю руки сквозь все эти тонко щекотные, тускло мерцающие, чёрно- белые волосы. «...ВЫ СЛУШАЕТЕ РАДИОСТАНЦИЮ «ГОЛОС РОДИНЫ». ПО ПРОСЬБЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКА ЯКОВА НИКОЛАЕВИЧА ВАЙНШТЕЙНА ИЗ ТРИНИДАДА- И-ТОБАГО МЫ ПОВТОРНО ПЕРЕДАВАЛИ ЗАПИСЬ ТРАНСЛЯЦИИ С ПОХОРОН ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС ТОВАРИЩА КОНСТАНТИНА УСТИНОВИЧА ЧЕРНЕНКО. ГОВОРИТ МОСКВА. МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ ДВАДЦАТЬ ДВА ЧАСА ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ МИНУТ...» Извилисто- завывающий треск.

Яков Маркович катанул (ребром ладони наудачу) ручку настройки — ему хочется поймать начало последних известий по настоящему «голосу», не по нашему. «Чёрт его знает что такое... Это же не междуцарствие уже даже, а хованщина какая-то, семибоярщина! Слышишь, Лилькин? Они уже там опять за рыбу деньги про Черненко- покойника — это неслучайно, это уж как пить дать! Очевидно, сталинисты берут верх! Днепропетровская секция!» — «Может, не поедем пока, раз так? — без оборота отзывается от меня Лилька. — Ему уже лучше, а в школе всё одно кокандский коклюш».

— Куда ни кинь... — пхекнув короткой очередью, размышляет Яков Маркович, — а на пороге судьбоносных решений в народе-нашем- богоносце особенно обострённо проявляется и вообще присущее ему софийное начало... Лилькин, знаешь, что я подумал? — я смотаюсь коротёнько на заставу, к Чутьчеву, — может, он как замполит знает чего... ...вдруг, кстати, *этот* уже нашёлся, малой?.. Не помнишь случайно, мы куда «андроповку» затаривали? там наверху, в буфете, где документы, — не там? А может, он Макарычева с Куусиненом сюда пошлёт в ночной поиск, мы их на коврик положим, у двери. Одну же поллитру мы точно из Ленинграда, кажется, брали — на компрессы там... вообще на всякий-який... не помнишь случайно, где она делась?

Лилька бросает мне на влажную голую грудь полотенце, вяло обнимающее жёсткими рубчатými концами, и, мельком затмивши свет, выбегает на кухню ругаться. Дурная голова ногам покоя не даёт, сказали бы Бешменчики осуждающе. «*Дурная голова ногам покоя не даёт*», — задорно говорит для начала руки-в-боки Лилька. Я обваливаюсь затылком в подушку, меня длительно-звонко сотрясает вместе с постелью. Передо мной и выше меня подскакивает мой бледный живот с подпрыгивающим полотенцем на нём. Между тем Перманент уже сыскал за «Сактой» поллитру «на всякий-який» (или, как он говорил, когда паковал, *на Христово разговеньице*), вращая, обтёр её спирально об локоть и зачем-то, не прекращая вращения, проникновенно разглядывает на свет, будто рассчитывая в сытой водочной зелени обнаружить какой-никакой кораблик, типа как их делает в часы досуга мичман Цыпун — например, трёхмачтовый трёхтрубный броненосец «Память Азова» или первый в мире ледокол «Ермак» с крошечной фигуркой двухбородого адмирала Макарова на носу. Ещё *рукастый, как три китайца*, мичман строит действующие модели дирижаблей из бледных «ваковских» гондонов (их, когда в начале квартала поступают с райбазы, по благу оставляет ему продавщица Верка, «чирик» сверху за килограмм брутто). В его квартире в военморгородке нету никакой мебели — всё забрала, уходя, алчная китайка-жена, Казимира Витаусовна, — только пыльные бутылки с корабликами вдоль всех стен, приклеены к обоям синей пузырчатой изолентой; вернувшийся со службы Цыпун сколачивает об порог *говнодавы* — скошенные вовнутрь чёрствые флотские ботинки, вешает на дверную ручку пустую кобуру и фуражку с «крабом», садится в центре комнаты по-турецки на сухо посверкивающую грудку искусственного гонконгского шёлка и что-то тонкоголосое, непрерывающееся часами поёт; вокруг его головы, покачиваясь от пения, висят тысячи маленьких бледных дирижаблей.

А как всё-таки пишется: «гАндон» — или же всё-таки «ГОНдон»? Как пишется то, что никогда не пишется? Когда я прошлым летом был на первую смену в пионерлагере НИИ хлебопекарной промышленности, кто-то фиолетовыми чернилами приписал слово «гавно» к моей фамилии на машинописном списке, вкнопленном в дверь мальчиковой палаты (разыскать меня было легко, я был самый последний по списку, на букву «Я»), Получилось: «*Язычник. гавно*». Мне сразу же показалось, что нужно через «о», — я кратко оглянулся, вынул из нагрудного кармана болгарской «бобочки», как бы сказала бабушка Циля, или «фуфайки», как бы сказала Марианна Яковлевна, или «футболки», как бы сказал я, огрызок простого карандаша «Архитектор», перечеркнул косой черточкой «а» и сверху надписал «о». Теперь я уже сомневаюсь, правильно ли я это сделал, может, русским детям всё же лучше знать, как на их родном языке пишется «говно»? Но с «а» выглядело некрасиво. После же того, как наш третий отряд со счётом 3—4 *профукал* в чемпионате лагеря по футболу четвертому (и всё из-за того, что в моих раздетых глазах пот смешался со слезами и я не только что не *подкувал* ни одного из нападающих противника и не *залудил* ни одной *сочной поливы с пыра*, но и всё время путал и толкал свою собственную команду, а *пузырь* отскакивал у меня постоянно *какнеродной*), мои новые вьетнамские кеды были на тихом часе выкинуты из окошка палаты в молочай, лопухи и репейник, чтобы все члены команды, встав на подоконник коленями, по очереди в них посикали. Через двое суток приехала Лилька и не дожидаясь окончания смены забрала меня на полуостров Жидятин. Третий отряд — это шестой класс, а четвертый отряд — пятый: отряды движутся навстречу классам, не совпадая временем движения по сезону. В лагерной каптёрке, когда забирал чемоданы, я обул чьи-то чужие кеды; они были мне коротки и, пока мы с Лилькой в стрекочущем светлом сумраке шли на станцию Лисий Нос, стёрли до мяса подогнутые пальцы вокруг ногтей. А дома я нашёл на тёмно-серой, пористо-влажной, кисленько пахнущей изнанке левого кеда, рядом с клеймом «Красного треугольника», расплывшуюся фиолетовую надпись «Яшенька Певзнер, 3-й отр.» и, когда никто из домашних не видел, затёр её тёмно-розовой чернильной резинкой в слитную полосу. Но носить эти кеды было больно ногтям, и Лилька, дивясь, чего я так быстро расту ступнями, отдала их хозяйке для малбго. ...Учил же меня Пустынников-Пуся в школьном дворе на большой перемене останавливать мяч, чтоб не отскакивал *как, неродной* и не прокатывал *между полог*, но я так и не смог это искусство освоить — строго к моменту подкатывания таким образом приподнимать перед ступни (опирая её на край пятки под углом примерно 63°), чтобы мячик наглухо застревал между подошвой и асфальтом. *Сам да виноват*. В глазах начинает горячить и пощипывать, сейчас в ближних к носу углах проклюнутся слёзы и медленным зигзагом поползёт рот. А я-то почём знаю — замешивают евреи что-нибудь такое в свою мацу или не замешивается у нас в неё ничего такого!? Я и видеть-то никогда не видал, как её делают, эту мацу, и из каких продуктов: мацу покупают готовую в Большой хоральной синагоге на Лермонтовском проспекте — трёхкилограммовыми пакетами по два с половиной кило; там установлена специальная мацевальная машина, привезённая с разрешения ЦК КПСС из Америки или Финляндии. Месяца за два до еврейской пасхи Бешменчики вызывают такси на шесть

утра и едут *по мацу* на всех наших, на всю *мешинуху*, как они говорят, — за это им ничего не будет как персональным пенсионерам; даже из партячейки в Доме ветеранов хлебобулочной промышленности их уже не выгнать ни под каким соусом, они там на своём этаже сами парторг и культмассовый сектор. *Наши Маценаты*, шутят про них Яков Маркович. Да откуда мне знать, *ёксель-моксель-минарет*, чего они там в своей Большой хоральной синагоге туда такое добавляют для хрумкости и поджаристости?! — мне ведь тоже не всё рассказывают! Это вот Пуся, как все «феньки», думает: раз я *еврейчик*, так всё должен знать, что у нас, как и из чего делается, — а с какой радости? Однажды я таки спросил двоюродную бабушку Фиру, что такое «миква» и купалась ли она в ней, когда жила со своими родителями в посёлке городского типа Язычно Днепропетровской области, и голая ли? — бабушки-фирины щёки из мягкой тесножатой кожи цвета крем-брюле, вдоль и поперёк прошитой лежачими белыми волосиками, пятнисто покраснели и на окончаниях брылей мелко закачались; она глядела в сторону и неразборчиво бормотала, что, дескать, не понимает, чего я такое говорю и откуда у меня в голове завелась такая *а нарескайт*. Откуда у меня в голове заводится такая *а нарескайт*, того я и сам понять не могу. *Александр Васильевич Суворов ненавидел «немогузнаек» и «канништферштанов»*, рассказывает на политзанятиях замполит и и.о. начзаставы старший лейтенант Чутьчев. Приедем в Ленинград, надо будет у Бешменчиков спросить, когда в этом году еврейская пасха. Русская где-то через неделю. Когда я был маленький, ещё в коммунальной квартире, до того, как мы с доплатой обменялись на отдельную, соседи Винниченки в субботу перед пасхой варили целый день в луковой шелухе финские яички по 90 копеек десяток, а на следующее утро дарили нам четыре штуки. А мы им — мацу. Русские люди красят на пасху крутые яйца и, целуясь, стучают ими друг друга по лбу. У кого первого треснула скорлупа — тот проиграл. Яйцо-победитель отвозят на кладбище и закапывают в могилу к самому любимому родственнику. На вкус крашеные яйца почти что ничем не отличаются от некрашеных. Ещё кушают кекс «Первомайский» и переваренную творожную массу с изюмом, которые в этом случае называются кулич и пасха. Что ещё делают, я точно не знаю, но точно уж ничего такого, что собирается делать Яков Маркович — *со свечкой в руке, с Евангелием в башке!*; до обмена мама с отчимом каждый год ходили к Винниченкам в комнату отмечать с ними православную пасху, но ничего похожего потом не рассказывали. *Чего-чего — да ничего такого*, сказал отчим наутро, вынимая из небритого рта чайничий носик, каплющий по майке: *ну сели,, ну подкололи груздя за скользкое, а чего дальше делать, совершенно неясно, — не чокаться же за здоровье Иисуса Христа...* Когда они через три с половиной года возвратятся из Коми, я их подробнее порасспрашиваю, если они ещё помнят. Отчим там, на химии, работает завклуба и по совместительству художественным руководителем похоронного оркестра. Он там царь и бог и всё может иметь, даже нацнаправление для Лильки в ЛГИТМиК, потому что Болик и Лёлик, сыновья двоюродной бабушки Баси, ездили в Коми АССР из Одессы устанавливать и вводить в эксплуатацию импортную холодильную установку для столовой и морга и подвезли в ней незаметно триста цибигов индийского чая «со слонами», какой продают в одесском порту индусские матросы — они его сносят на берег поголовно заматанным в шестизажные чалмы, сбоку заколотые золотыми якорями. Уголовники пьют на ночь слишком много слишком крепкого чая, а потом до подъёма не могут заснуть — ворочаются на нарах и разговаривают о певице Алле Пугачёвой, о том, что б они с ней сделали, *хором и оою*, если б она сейчас случайно зашла к ним в барак. Лилька заходит снова и, приставивши сгорбленным козырьком левую руку ко лбу, долго-долго глядит в окно на своего мужа Перманента, направо (а я в зеркале вижу — налево) — наискосок убегающего по лунному насту. Шарф его вьётся сзади, как кормовой вымпел, локти равномерно ходят в противотакт лыжам, он со спины уменьшается. «Правда, отчаянный у нас Яник?» Он отчаянный, это правда — он кладёт перед сном свои очки в импортной золочёной оправе (у Марианны Яковлевны есть знакомая по хору дама в Леноптике) прямо на крышку буфета, даже не опасаясь, что в случае землетрясения они свалются на пол и разобьются. Лыжня перед ним внезапно разьежжается, оставив в расширении прыщеватый рябиновый кустик из тех, что в прошлом году высаживал хозяйский полуидиот Яша для обозначения северо-западной границы будущего сада. Перманент подбирает палки под мышки, с наклоном и широко раскоряченными коленками приседает, и в таком виде подскакивает, прихлопнув лыжами, — но всё равно кустик прохлёстывает его *по самому здрасьте*, сгибается, затем, распрямляясь, выпрыгивает сзади за ним — и остаётся дрожаще качаться. Лилька как всегда ахает и с белой, стираемой темнотой улыбкой под ещё не опущенной ладонью оборачивается; мятобокый цвета хаки котелок с уксусным раствором повешен на свободную руку и запаздывающей дугой доплывает; в котелке косо колыхается кусок крупнозернистой губки. Хорошо, что она не видит, а я в настенном зеркале вижу: вдалеке, но уже ближе, снова что-то такое, кажется, появилось... или почудилось?., или это кто-то..? — нет, кто-то, и он движется сюда, к нам — к пакагузу. У него лицо как у волка, чёрное пальто до середины икры и чёрная шляпа с обвислыми полями; длинная седая борода, раздвоенная ветром, с обеих сторон отдувается далеко за плечи. Выпрямившись, заложив руки за спину, не шевелясь, он сам собой летит навстречу Перманенту по той же лыжне, но без никаких лыж. Интересно, кто кому уступит дорогу?

Лилька заслоняет зеркало и, вобрав в себя весь причитающийся ему законный свет, наклоняется. Волнуясь по бокам лица волосяными крюками (один как приклеенный неподвижно торчит надо лбом), а под халатом вздуто-раздвоенным основанием груди, она начинает меня обтирать. Лоб её старательно морщится, под восково-голубыми косыми скулами уплотняются всосанные тени. Каждый раз, как она тянется к тумбочке обмакнуть и отжать губку, из-за левой халатной пазухи высовывается один сосок, похожий на кончик маленькой копчёной сосиски, какие отчим привозил из Прибалтики, когда ездил туда с оркестром Бадхена на летние гастроли по открытым эстрадам и курзалам. Он называл это «чёс». Я верчусь, смеюсь и приподнимаюсь на затылке и пятках. Через время она со стоном разгибается и, шлёпая как пингвин по бокам ластами, несколько раз двигает туловищем в разные стороны, чем с разных сторон приоткрывает настенное зеркало, — но в снежном поле уже никого нет: ни Якова Марковича, ни кого другого. И куст не качается. Луч

с моря внезапно упёрся в задник сортира и остановился; поле разом стемнело. В стемневшей комнате редко сверкают стеклянные, деревянные, кожные и железные проблески и отдельно – сдвоенно, мокро – белки Лилькиных глаз. Когда ей было столько лет, сколько мне, она, чтобы хорошо росли сиськи, постоянно съедала горбушки от черного круглого хлеба за четырнадцать копеек. Это помогло.

Может, там, на поле, за береговыми скалами из красноватого жидятинского гранита (сейчас антрацитного с отблеском, а через мгновение на мгновенье ослепительно-соляного), приземлился «неопознанный летающий объект» и из него вышел этот в шляпе – перекарабкался через валун и пошёл сюда наискосок? Как же его профукала наша воздушная оборона?! Опять майор Кадырчук, начПВО погранрайона, ловил с бодуна мышей и прошляпил – как позапрошлым летом того цыгана, что на бензопиле «Дружба» перелетел с лесоповала в Финляндию. В этот раз халатному майору не отговориться, что у него, дескать, радар не фурычит из-за того, что на железнодорожной станции Брест-Перевалочная наш хитрый как жид дядя Яков, сын двоюродной бабушки Цили, перехватил для базы ВМФ все посланные чехами запчасти – новый комплект уже недельник с гаком как поступил к нему на станцию слежения морским путём из ЧССР. Теперь Кадырчук как бог свят загермит на китайскую границу, будет там сшибать из рогатки воздушные змеи, перепархивающие Амур с корзинками, полными маленьких маоцзедуновских цитатников. *Над Амуром тучи ходят хмуро, край суровый тишиной обьят.... Обьят... странное слово... Обьят...* Почти все слова с твёрдым знаком, если долго вслушиваться, какие-то странные, почти непристойные: разъять, объект, объём... У нас тоже стало тихо, даже у Жидят на втором этаже, сколько бы их там ни осталось, ни половица не скрипнет, ни дверная петля не лязгнет и ни кровать не вздохнёт... – заснули они все там, что ли, – пожилые жидятинские сёстры, так сегодня и не дождавшиеся своей матери Раисы Яковлевны с полоумным братом полудиотом Яшей? И малого. ...А капитан первого ранга Черезов получается опять молодец и схватит орден Красной Звезды, «Звёздочку», на грудь, потому что авиаматка-то «Повесть о настоящем человеке» инопланетянина как раз засекала за (а со своей точки зрения перед) пакаузным сортиром, хоть и не обязана была – тактическое внимание флота сконцентрировано сейчас на американском броненосце» Мэрилин Монро», который/которая днём и ночью курсирует в нейтральных водах, перегораживая собой всё судоходство в юго-восточной части Краснознаменного Балтийского моря. А над ней над ним, в чёрном нейтральном небе, в его звёздно-пещеристом теле, неустанно кружат носатые «МИГи» Амбарцумяна. Неужели действительно начинается война с инопланетянами? Тогда каперанга Черезова наверняка подняли уже по «тревоге № 1» в зашлагбаумной квартире у продавщицы Верки, где он по средам и субботам ночует – с того времени, как его жена, покойного Костика мать, оказалась лесбиянкой (*размужней*, фольклорно выразилась ласковая субботинская старуха Семёновна) и убежала в Вильнюс вместе с бывшей мичманшей Цыпун Казимирой Витаусовной, международным мастером спорта по спортивной ходьбе. Чтоб не зашмонала военная милиция на Выборгском горвокзале, они наклеили будённовские усы из военной морской самодеятельности и переоделись в цыганские сапоги, пиджаки и кепки. Поселковую школу пришлось тогда временно закрыть – до тех пор, пока на базу и заставу не подшлют из военучилищ свежего лейтенантского пополнения, а с ним и новых учителей-жён. *Жили-были три китайки — Цыта, Цыта-дрипа и Цыта-дрипа-лим-помпони...* Если нет заносов, поселковые дети бегают по Выборгскому шоссе учиться в показательный пушсовхоз «Первомайский», с цыганятами. Лилька по новой наклоняется с губкой: «Так, теперь здесь». Интересно, этот её сосок шероховатый или гладкий, и мельчайшие вспухлые пупырышки на нём твёрдые или мягкие? Отчего на нём столько тончайших трещинок? Раз она к день-рожденью обещала всё, что хочу, даже луну с неба, – может, можно его потрогать всего один разик указательным пальцем? Или мизинцем. Она вдруг садится на краю кровати; выпрямившись, тесно запахивается; затягивает полы аж за спину и перевязывает пояс халата наново, с такою силой и тугостью, как будто хочет перерезать себя попереёк пополам. Её ладонь твёрдо и жёстко ложится на низ моего живота, не на самый, а выше, где должна скоро вырасти *лестница на яблоньку*, она же *блядская дорожка*: «Труссы-то, смотри, совсем отсырели. А у меня никаких нет на смену, я только завтра стирать хотела, после бани... Ладно, оденешь пока мои рейтузики, ничего ужасного. Они тёпленькие. И кофту мою мохеровую, малиновую. Ну, давай ноги, ноги-то подымай свои, и не вертись, – ох-ты-боже-ты-мой, что ж ты делаешь?.. мне же так не стащить!.. Ты чего? Стесняешься, что ли? Меня?! Вы посмотрите на него – какие нежности при нашей бедности! Глупенький, ты что? что я, пипетки твоей несчастной не видела? – я же сестра тебе родная, практически как мать! И отец!» Я, защищаясь, машу ногами, отбрыкиваюсь. С глухим страшным хряском – будто бы даже с треском – обе мои пятки вколачиваются ей в грудь, одна пониже правой ключицы, другая, через долю секунды, под левый сосок; – задохнувшись, она откачивается к изноженной спинке, задом-бокком сползает на корточки с ходящей на месте кровати, несколько раз оттуда снизу (как громкая темная лягушка с ослепительно – до платиновой голубизны – белой головой) открывает и закрывает неосвещённый рот, четыре раза подряд икает, встаёт, страшно хрустнув под халатом менисками, и – полосато мелькая замазанным слезами лицом, клокочуще свистя раздувающимся горлом, втискивая себе сиськи с обеих сторон к середине и кверху – выбегает на кухню. Даже дверью не бацнула.

Из кухни слышно всхлипывание и неразборчивое, обиженное бормотание с подвывом. Так она в детстве тихонечко подвывала в ванной, когда обнаруживала, воротясь из школы, что я равномерно объел все её горбушки с чёрного круглого по четырнадцать копеек. *А чего она сама, как, эта ?!!* Длинно чиркает, коротко шипит и прерывисто загорается спичка. Последняя из спрятанной от меня за «Сакту» пачки болгарских сигарет «Вега» (которые я из всех болгарских недолюбиваю за сладковатый, наводящий изжогу привкус) принимает в себя огонь и моментально наращивает растрёпанный пёстро-пепельный кончик с косо торчащей из него обугленной щепочкой. Её рот окружается плоским вьющимся дымом. Она курит не в затылку.

Перманент-то, *ясно какбожий день*, добрался уже – уже наверняка на заставе у Чутьчева, у корешбана своего по Герценовскому институту (только тот, когда его после вузовской отсрочки призвали на

действительную, и половины «курса молодого бойца» не успел освоить, как подал на ускоренные политработники – понял, что второй половины этого курса ему живым не пройти (а Якова Марковича нашего, того в армию вообще не приняли, даже рядовым в стройбат, не то что в ВДВ или в подводники – отбраковали по зрению и плоскостопию: у Марианны Яковлевны нашёлся в медкомиссии Ленокруга однополчанин по финской войне)). Они наверняка уже *квасят* в «ленинской комнате». «Кого-кого не видел? А, этих? Не, старик, этих – сегодня вообще не было. Жидячиха отгул брала, аж до вторника – и за себя и за своего парня. Ну тот-то недоразвитый, чёрт бы ещё с ним, гараж одна хрен пустой стоит, с тех пор, как начзаставы с княгиней, с Равилей Бешбармаковной, под Новый год в Выборг на мотосанях отбыли, на Пугачихин концерт в Доме офицеров... но Раиске этой вашей, понимаешь, гримзе старой, мумии этой египетской, помирать буду – западла такого не забуду! – торопливо-рассеянно рассказывает старший лейтенант Чутьчев и сосредоточенно-медленно разбулькивает перманентовскую водку в стаканы – *до поверхностного натяжения* (слава богу, значит, компресса мне уже делать не будут). – Я тут сегодня, понимаешь, как слуга царю, отец солдатам, рубал уже с орлами кирзовую хавку – бронебойку, понимаешь. А на завтра – рыба океаническая с сагой... Брр, ёбтыть..!» «Ленинская комната» на заставе это примерно как наш класс в школе, только она равнобедренно-треугольная – и вид не на улицу Марии Ульяновой с вывеской «Плиссе-гофре» и стеклянной дощечкой «Изготовление ключей» на парадной закованного в серебристый снег противоположного дома, а на чёрное Балтийское море с опущенной светом орденосной авиаматкой «Повесть о настоящем человеке» и маленьким как лодочка миноносцем «Тридцатилетие Победы» у её кормы. Изрезанные глубокими словами парты расходятся вдоль бёдер к основанию, где, под кривым рулоном падающего киноэкрана, на трёх железных ножках стоит трёхстворчатый складень с портретами всех членов и кандидатов в члены Политбюро ЦК КПСС (наклеены в четыре яруса на центральной панели складня; покойный К.У. Черненко вручную обведён – слегка волнисто – потёчной чёрной тушью). На левой створке нарисован типографским способом красный крейсер «Аврора», плывущий, скося назад трубы, из левого нижнего угла в правый верхний и окружённый синими облаками или охлопьями залпа, на правой – «Социалистические обязательства Н-ской части на 1985 г.», их весь прошлый август славянской вязью с художественными до неразличимости заглавными буквами выводил флотский художник Яшка Кицлер, одолженный с этой целью сроком на трое суток у мичмана Цыпуна – за бочку солярки и двадцать боезапасов к АКМ. Замполит рассказывает на политзанятиях строго секретно, что такие складни у нас до сих пор ещё делаются по образу и подобию походных иконостасов, бывших на вооружении ещё в царской армии, причём на той же самой фабрике наглядной агитации и культтоваров № 1 в городе Загорский Посад Московской области. Фабрика до революции принадлежала купцу первой гильдии Якову Бенционовичу Перельмантелю (*чисто случайно не родственничек тебе, а, Яшинский? Ну ты чего, чего ты, как этот? – я же так просто, пошутил...*), а ныне, как всё и вся у нас в стране, кроме родимых пятен «Плисс-се-гофре» и «Изготовления ключей», – общенародная собственность. Ещё чистка обуви и шнурки от ботинок у нас пока в ассирийских руках. В углу у дверей стоит прислонённое Боевое Знамя части – как швабра, но в полотняном чехле. Старлей просовывает древко сквозь дверную ручку и упирает в косяк, чтобы никто внезапно не вошёл, затем возвращается к одиноко стоящему под экраном учительскому столу, где на развороте газеты «Красная звезда» широко раскинулся ихний заедон – банка тушёнки в солидоле, два солёных огурца, четвертушка купленного в зашлагбаумном посёлке чёрного круглого по четырнадцать копеек и несколько тёмно-лиловых наморщенных ягод рябины, выбранных у Перманента из лыжных штанов. «Ну, Яхуйл, вздрогнули, что ли?» Чутьчев выдыхает и осторожно поднимает к оттопыренной нижней губе заизвесткованный до стирания граней стакан: «За всё хорошее». ...Ну и ладно, а чего она?! Сама как это самое, а думает – я ей этот самый?! И пусть ревет на здоровье, если хочет. Ничего ей, коровизне такой здоровенной, не делается! А если ждёт, что я буду извиняться, так пусть хоть до морковкина загiveness ждёт, как бы сказал дядя Яков, по долгу службы снабжения искусный в образной народной речи. Хорошо ещё, у меня нос заложен и я не слышу этого крематорского запаха «Беги» из кухни. «В ЭФИРЕ СУББОТНЯЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА «ВАШ МАГНИТОФОН». СЕГОДНЯ В НАШЕЙ ПРОГРАММЕ ЛУЧШИЕ ПЕСНИ АЛЛЫ ПУГАЧЁВОЙ. ЗАПИШИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НАЗВАНИЯ ПЕСЕН. НОМЕР ОДИН: «МИЛЛИОН АЛЫХ РОЗ», МУЗЫКА РАЙМОНДА ПАУЛСА, СЛОВА АНДРЕЯ ВОЗНЕСЕНСКОГО. НОМЕР ДВА: «АРЛЕКИНО»...» Ну, я обтекаю, сказал бы Пустынников-Пуся, – *везёт же ей, как, покойнице*. Обтекает он не в прямом смысле, а в смысле «торчит» или «тащится». Обтекает ли он в прямом смысле, не знаю – об этом мы с ним не разговаривали.

– Снимай немедленно трусы свои несчастные и бросай под кровать! И оботрись там как следует! Идиотина! Полотенцем! Можно подумать, хозяйство твоё кого интересует, боже же ж ты мой?! Тоже мне, капризы Паганини! Он мне ещё ноги распускает, псих! Всё маме напишу!

Пуся говорит, *каждому мужику на жизнь полагается ровно 10 000 раз, включая онанизм*. Если прожить условно до 113 лет, то на оставшиеся 100 лет приходится по сто раз в год, то есть приблизительно раз в три дня, не считая выходных и общегосударственных праздников. Это ж чёртова бездна, пускай Пуся не говорит, что если дрочить, то к двадцати пяти годам будет полный «нестояк». Пусть сам посчитает. ...А хоть бы даже и сделалось ей что-нибудь, коровизне, я же не нарочно, она же первая начала! ...А вдруг я ей лёгкое отбил и теперь она заболит чем-нибудь и умрёт? Под ложечкой у меня продольным росчерком прожигает, сердце несколько раз тяжело тикает в шее. Тогда выйдет, что это я её убил, что я *сестробицца*... – и меня отправят в колонию особого режима для малолетних сестробиц, в Коми АССР, а мама с отчимом в это время по спецразрешению как раз подъедут с химии в Ленинград, чтобы получить её из морга и отвезти в крематорий – сжигать. В горкрематории я был позапрошлой зимой, когда сжигали покойного мужа Марианны Яковлевны, Якова Марковича покойного отца, покойного Марка Яковлевича. Изнутри и снаружи было похоже на аэропорт «Пулково», только чище и малолюднее. Мы постояли не

раздеваясь в зале ожидания, от Союза писателей сказали речь, что в лице Марка Яковлевича Яковлева советская литературная критика понесла тяжёлую утрату. Потом по трансляции заиграло, как будто его глушили, «Вы жертвою пали в борьбе роковой», и гроб вместе с цветами медленно уехал в печку. Назавтра им её выдадут на руки из-под надписи «Выдача прахов» выпуклыми коваными буквами, ввинченными прямо в шероховатую крематорскую стену (в коричневой керамической вазочке с туго завинчивающейся крышечкой — протянут на улицу из стенового окошка с узким прилачком, окованным радужно-синеватой жестью) — и они поедут на такси *подхоранивать* её к Перманенту-старшему на кладбище 9-го января, в уголок старых большевиков. В нашу семейную могилу на еврейском кладбище по проспекту Александровской фермы уже не подхоранивают даже прямых родственников — *Кладбище и так. перенаселено*, сказал Бешменчикам директор, когда они по телефону интересовались просто так, на всякий-який. Ничего с ней не делается — кашляет, потому что курит, курица! Не фиг курить, коли не умеешь! *У кого уши красные, тот, значит, дрожит. А у кого шинобель длинный — у того и член тоже...* И опять всё врёт Пуся. Наверняка он и про Исмаилку Мухамедзянова всё врёт, что когда у того в ноябре было день-рождение и он притолкал в школу детскую коляску, до верха полную ломаного цыганского шоколада, но домой к себе, в своё татарское семейство, как всегда никого не позвал, а потом недели две вообще не появлялся, так это потому, что у них, у татар, как раз в тринадцать лет праздник обрезания — садовыми ножницами отстригают кусочек кожи с конца, а затем, тщательно перемешивая, варят этот кусочек в праздничном плове или как он у них называется, а все татарские друзья и родственники снимают ботинки и садятся на пол его кушать... Дикий какой-то обычай, хорошо, что у нас такого нет! ...А вот, например, если во сне бессознательно обспускаешься, считается это за раз? Сколько же тогда получилось бы? Раз... два... прошлая суббота... Здесь, на жидятинском военно-морском кладбище, где позапрошлым летом хоронили капитана первого ранга Черезова сына Костика, места ещё полным-полно, целый ряд у дальней ограды практически не занят. Срочнослужащих старшин и матросов обычно запаивают в цинк и увозят захоранивать по месту призыва.

«...Не-е, старичок, этого нюанса тебе как лицу гражданской национальности не прорюхать! Армия, брат, не любовью стоит, но долгом воинским! Забодал тоже, понимаешь: солдаты любят! Как прыщ на жопе они меня любят! — нагибаясь к «Красной звезде» в мокрых крошках и свинцовых потёках и ещё пуще оттопыривая заизвесткованную нижнюю губу (хотя её встреча со стаканом уже произошла), — возмущённо- жалостно выдыхивает Чутьчев. — Замполит у нас хороший, замполит у нас один. Соберемся после бани и физды ему дадим!.. Вот как они нас любят! Повернись к ним только в беде и в бою филенной частью, к вундер-богатырям нашим юбер- человеческим... Вот пуля пролетела — и ага! Молча! Нет, стариканчик, никого они, скобари, не любят, кроме как сиповку свою, Мурлин Мурло пергидрольное, чёрно- белое производства США. Каждую субботу трухают на неё на первый-второй рассчитайсь фонтаном повзводно, у меня уже весь экран в малафье, аж скоробился! а новый ты поди выдой у завхоза-ж-ж...адюги — до Девятого, говорит, мая даже не проси, старшой, такая, блядь, разнарядка. Не, ну командира-то, они ещё, конечно, туда-сюда ссали — Юмашева- Рюмашева нашего грёбаного, покуда он без вести не пропал, с Равилёй и мото-санями: тот, если что, мог и в рог задвинуть... чего ж ты хочешь — злой татарин, елды-мулды... А я, брат, замполит-айболит, приходи ко мне лечиться и корова и волчица... Вертели они меня... Вот такая, Яхуидзе ты моё сердечное, жизнёночка у нас тут, на границе нашей безграничной Родины, вытанцовывается! Понйл? Ну ничего, как сказал Борису Глеб: тяжело в мучении, легко в раю. ...Что? Не-е, старик, извини что хочешь, а Куусинена не могу. Ты только не обижайся, старикашкин, святой истинный крест, гад буду, но Куусинена — не могу. У Куусинена третьи сутки мигрень. Его Макарычев в Первомайский повёл, к цыганам — отпаивать заговорённой водой. Ты лучше скажи: вот Верка рыжая из «Культтоваров», знаешь, ну у которой вот такой вот полевой стан — от тайги до британских морей!? — ты бы ей, например, палочку кинул? Например! Я бы кинул!»

Большим пальцем правой ноги я как можно выше подкидываю полурасплавившиеся трусы и перехватываю их, в падении полурасправившиеся, на подставленные руки. Подношу к лицу, растопырив изнутри обо все десять пальцев. Вдыхаю. Отбрасываю. Смутнобелая бабочка медленно снижается, хромо взмахивая и заворачивая под кровать. Дядя Яков, когда передрагивает бёдрами над мочесборным жёлобом в офицерском гальюне на базе ВМФ, приговаривает всякий раз с непонятным мне удовлетворением: *как ни ссы, а последняя капля в трусы*. Если потереть под кожей на головке с то на пальце окажется слезавшееся слоистое белое, похожее по виду на сулугуни, а по запаху скорее на «рокфор». В брошюре «Тебе, юноша» издательства «Ээсти раамат», которых отчим привез с гастролей в Хаапсалу четыре пачки и до посадки не успел толкнуть (в подворотне у магазина «Старая книга» на Литейном проспекте) «книжному жучку» Рудольфу Яковлевичу Зайдману, написано, что эта естественная вещь выделяется крайней плотью и называется «смегма». Или «гмегма»? Что-то такое, звучало как-то по- геологически. Или издательства «Калеви»? Трусы складчато приземлились на скрипичный футляр, в районе грифа. Среди и поверх желтоватых *последних капель* слитные пятна от спущёнок серо- бесцветны, но, засохшие, они жёстче, чем остальная материя, и быстрее сереют, проявляя структуру волокон. Лилька отщёлкивает окурок в печку и отходя пинает чугунную дверку тунгусской пяткой. Скрипогрохот. Придвинув лицо к окну, глядит на полностью погасшие шестизэтажки зашламбаумного посёлка. Лишь фонарь на улице имени XXIV съезда всё ещё светится. Отходит, останавливается посреди кухни, оглядывается мельком на мою дверь, поднимает обе руки и медленно пропускает сквозь пальцы короткие белые пряди ото лба до затылка. Красный её рот с кроличьими, но прямыми зубами — до того красный, что его никогда не надо красить помадой! — слегка как всегда приоткрыт. Она встряхивает и поматывает головой. Ещё раз оглядывается, теперь на окно, и вдруг, быстро развязывая на животе, дробно-вращательными движениями плечей скидывает на пол халат. Халат, шурша, сползает толчками по рукам и оседает вокруг тапок сборчатым полукружием. Остаётся по пояс голая, в серо-шерстяных рифлёных рейтузах. Поперёк живота у неё две длинные красные морщины, круглая

мохнатая родинка на спуске от пупка, большие короткие груди беззвучно хлопаются друг о друга и отпрыгивают. Мелко подсакивая поочерёдно на каждой из ослепительно-пухлых ног, она стаскивает рейтузы (превращая их тем из удвоенно-длинной нательной одежды в две сморщенные шерстяные дырочки) — прямо по переду тёмнопурпурных трусов молодёжного фасона «плавки» (из импортной «недельки» производства ПНР) оказывается тонкими золотыми буквами с косым росчерком написано: «PIONTEK». Снова оглядывается, широко раскрывая глаза и поднимая выше некуда брови; наконец, кивает вспоминая и, отодвинув коленом вставший на задние ноги Перманентов табурет, отшагивает к этажерке с «Сактой» — там на нижней полке сине-бело-синим зиккуратом: лыжный костюм «Адидаас» (Яков Маркович сторговал на галерее Гостиного Двора у знакомого ему по учёбе в Педагогическом институте имени Герцена фарцовщика Яшки по фамилии Опенёк, или, как тот сам себя называл, аттестуясь балтийским немцем, фон Опенек, и подарил ей на прошлое день-рождение со словами *сегодня носит «Адидаас», а завтра Родину продаст*), жёлтые кольчужно-жёсткие носки, за три рубля купленные у хозяйки Раисы Яковлевны Жидята (она их сама вяжет из шерсти, счёсанной с Куусинена и других пограничных собак, и красит красящей жидкостью «Фантазия» в желаемые заказчиком цвета — розовый, жёлтый, фиолетовый или голубой), вязаные цыганские рукавицы с Кузнечного рынка и пёстрый финский шлем с пунпоном «астрочка» (это я ей его выменял у Пустынникова-Пуси на книжку «Тебе, девушка» издательства «Эсти раамат» — их отчим привез с гастролей в Хаапсалу тоже четыре пачки и тоже не успел в подворотне у магазина «Старая книга» на Литейном проспекте толкнуть «книжному жучку» Рудольфу Яковлевичу Зайдману). Садится у этажерки на корточки, с двумя короткими вздохами сверху и снизу. Круглые лопатки, выпуклая лесенка позвоночника, выемка посередине поясицы. Попа, как перевёрнутый рисунок кроткого толстого сердца; алый треугольник трусов — будто ей там снизу повязан пионерский галстук. *Как повяжут галстук, береги его...* Подгребают к левому боку всю лыжноодежную пирамидку скопом. Распрямляется, локтём левой руки подтаскивая её себе под мышку, а сгибом правой опираясь на низ «Сакты» — прямо на слоново-жёлтые клавиши переключения диапазонов, которые все с треском утапливаются и утягивают за собой «А ТЫ ТАКОЙ ХОЛОДНЫЙ, КАК АЙСБЕРГ В ОКЕА- ПРР-ФРР- ХЕ...», потом, щёлкая, хрипя и подсвистывая, выскакивают по очереди вместе с на разные лады свистящим молчанием. На втором этаже у Жидят кто-то вдруг тяжело и медленно переходит потолок по диагонали, что-то журчите жестяным дон-дон-дон о доньшко. Надо мною вздрагивает и начинает качаться на твёрдо-изогнутом проводе негорячая лампочка с голубоватой искрой авианосного света внутри. Что они там, с ума посходили, что ли? двенадцать уже почти! ...Врывается почти полностью одетой для лыж, с рукавицами подмышкой и с шапкой в кулаке: «Ты чего это тут голый валяешься, чучело? С ума сошёл? Давно не тряся? Ну-ка давай надевай всё, накрывайся и спи. Двенадцать уже почти! Завтра вставать ни свет ни заря. Тоже мне, нашёлся!!!» Я поднимаю вверх колени и делаю грибочек над пахом из обеих переплетённых пальцами ладоней. Она щурится, вытягивая вперед шею и отводя пунпоном волосы с глаз: «Я только к дяде Якову и бабушке Циле смотаюсь, минут через двадцать буду. И Яник должен скоро вернуться. ...А этот тоже деятель, копается там! За смертью его посылать! ...Свет в кухне я оставляю. Когда вернусь, чтоб уже переодетый спал — и причём мёртвым сном младенца! На!» Делает нерешительный шаг к кровати, поднимает глаза к бровям, отступает, швыряя в меня вынутыми из-за спины рейтузами и кофтой, запоздало машущими во вращательном полёте всеми своими штанинами и рукавами, и, ожесточённо хлопнув дверью, выходит. Со стенки падает картина «Панорама Гельсингфорса. Приложение к журналу «Нива» на 1913 год», хорошо, что незастеклённая — рамку хозяйский полудиот Яша может сколотить заново, напевая: *Зараза-жилличка сломала ты всё, сказал кочегар кочегару...* Подрагивая закоронным светом, в буфете тоненько звенит посуда. Луч с авиаматки опять уже, оказывается, окатывает ребристое поле между маскировочными лесами. Лилька, наведшая по сенной поленичке грохоту, втискивается в кривые ботинки, навечно привинченные к лыжам «Комсомолец Карелии». ...Всё же «пУНпон» или всё-таки «пОМпон»? Длинный взыв в оставленной «Сакте». Неожиданно отчётливо, что твой «Маяк»: «ВЫ СЛУШАЕТЕ «КОЛЬ ИСРАЭЛЬ», «ГОЛОС ИЗРАИЛЯ» ИЗ ИЕРУСАЛИМА. У МИКРОФОНА КИРА ЯЗЫЧНИК. В ЭФИРЕ НАША ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «НАВСТРЕЧУ МЕССИИ»... » Как же, Язычник! Чтоб я так был здоров, какая она Язычник! Это моего сбежавшего папы гойка, мадам Казарченко, да! — устроилась там работать на «Голосе Израиля» диктором, с её-то дикцией! *Вы бы послушали этого «рэ»!* Бешменчики говорят: *они уже там что, совсем сказались??уже не могли ин дер идише мединэ кого-нибудь покартавей найти ?* Она служила старшим технологом на объединении «Красный пекарь», а папа был экономистом в её отделе. Двоюродная бабушка Фира до сих пор не может успокоиться, что устраивала его к себе на «Красный пекарь», подлеца, — ещё ходила унижалась перед генеральным директором, перед отделом кадров, перед первым отделом. *А никейвеА шик- се!* сердится двоюродная бабушка Фира, когда мама не слышит, а я как *а клейнер* не считаюсь. Бешменчики вздыхают сочувственно. У папиной гойки простуженно-прочувствованный голос, слегка затихающий на концах фраз: «...ЕСЛИ ПРИШЁЛ МЕССИЯ, А ЕВРЕЙ САЖАЕТ ДЕРЕВО, ПУСТЬ ЕВРЕЙ ДАЛЬШЕ САЖАЕТ ДЕРЕВО...» -советует она из «Сакты» пустой кухне пакагуза.

...На стучащих и скрежещущих лыжах «Карелочка» я бежал сквозь прищосейный перелесок к пакагузу. Слева, где сердце, через внутренний карман тускло-малиновой курточки, какие из финского нейлона шьют в пушсовхозе «Первомайский», толклась об живот карманная библия, из форточки хельсинкского автобуса выкинутая в обмен на октябратский значок и в своей дерматиновой обложке похожая на «Карманный календарь-ежедневник». В приоткрытом рту вертелась льдистый слюнный сгусток: царапал изнанку щёк, горловину горла — как горошина в судейском свистке, но без свиста. Крошечное солнышко уже садилось за Хельсинки, но у отклонённых туда же деревьев зеленели- золотились только лишь затылки верхушек — стволы темнели. Чьи-то едва различимые тени бесшумно ныряли между стволами рассыпным полукругом: то

ли зашлабгаумные пацаны во главе с Субботиным Вовкой имели мне вставить пистон, чтоб ихних фиников не мацал, то ли это были бывшие погрансобаки (под Новый год, когда потерялся командир заставы с женой и старший лейтенант Чутьчев четверо суток без просыпу водил по болотам поисковую команду, все они, кроме Куусинена, оторвали постромки и теперь в состоянии между волком и собакой живут по всему запретзонуному лесомассиву вдоль Выборгского шоссе. Разучились лаять, обучились выть и недавно почти что задрали цыганского мерина Вильгельмину Семёнову. Хорошо ещё, тот был заговорён от задёра и...) *...забирай тетрадку, Язычник, и никому эту галиматью не показывай.. А лучше сожги и пепел спусти в унитаз! Разве это сочинение «Какая провёл весенние каникулы»? Это же самодонос какой-то! Ей-богу, если бы Яков Маркович не выцыганилу меня, у дурищи бесхарактерной, рекомендации в партию, сама бы пошла в органы и попросила разобраться, что у вас там... А чего? ничего... всё нормально... Просто Светлана-классная у нас – дурища, сама признаётся... У неё всё галиматья, кроме «Капитанской дочки», «Цусимы» и «Повести о настоящем человеке».*

Глава 5

Бедному жениться и ночь коротка

Журавлиным несгибаемым шагом Лилька уходит налево (а в зеркале я вижу сквозь ресницы, как сквозь волны радужно-колючей проволоочки, направо) – к маскировочному лесу, прикрывающему базу ВМФ со стороны материка. Голубоватая светополоса от авианосца, возмещающая уклонение лыжни собственным движением туда же, сохраняет бегущую на месте лыжницу внутри себя: пунпон подпрыгивает, под ним лыжный шлем как бы дышит своим сужением, локти ходят в противотакт лыжам, в плечах она становится всё меньше, оставаясь ниже всё та же, как бы даже укрупняясь. Издали вполборота похоже на старую цыганскую лошадь и одновременно на её круп. В расширении лыжни перед ней – колченогий куст персидской сирени, из тех, что в прошлом году высаживал полудиот Яша в обозначение северо-западной границы будущего вишневого сада. Или «вишневого»? Оставляет палки волочиться на брезентовых петельках вокруг кистей, освобождёнными кулаками с наклоном упирается в раскоряченные коленки, отталкивается и, выстрелив вверх руки с запаздывающими палками, подсакивает на косолапых лыжах – но невысоко: куст прохлёстывает ей между здесь, – так ей и надо! – сгибается, затем в два приёма вытаскивается сзади – и остаётся дрожаще качаться, надломленный. Вдоль всего позвоночника – от шеи до копчика – передёргивает внезапным холодом. Или «до кобчика»? Кто птица Ленинградской области, отряда хищных, семейства соколиных? Я подволакиваю к переносице какое ближе из семи пограничных одеял, но теплее от этого не становится – но темнее и бездыханнее. Эти её рейтузы, когда натянешь, достают почти что до самой груди, у них два отдельных тепла – свое шерстяное и её кожное; между штанин (по шву и в глубине рифлений) они влажноватые и – не будь у меня насморка – немного пахли бы сушёной таранькой. Малиновая мохеровая... мАхеровая кофта, какими в Одесском порту торгуют из-под полы шотландские матросы (в клетчатых юбочках по вывернутые волосатые коленки, в набекрененных беретах с короткошёрстными помпонами), в рукавах коротка, но на фуди отлегает пустой мохнатой складкой. Кофту она не носит, говорит: *щекотится*. Ладони обжигает морозом. Остальная кожа пылает между моим ледяным мясом и её едва что тёплыми пухом и шерстью поверхностно-тонко, не отогревая ни топы, ни этих. Я начинаю сызнова длинно вздрагивать и в противотакт этому вздрагиванью стискивать сыпкие, скрипкие зубы то на том, то на этом крае челюстей. «Тёточка Циля, я только на минуточку, – кричит из прихожей Лилька. – Вы не спите ещё?» Вернемся в Ленинград, надо будет идти подрезать «уздечку» под языком – у меня «обратный прикус».

Когда вырасту, я стану моряком и писателем, как Новиков-Прибой. Проклятую гемузскую скрипку я отдам сыну Перманента и Лильки, если он к тому времени родится. Пусть играет «Каприсы» Паганини, сводя Жакелину Яковлевну Голод с ума. *Деточка, я хочу тебе сделать замечание: прижимай подбородочек, получше — инструмент антикварный,, стоит безумных дене^* Пусть сходит – нам она не тётка, как всегда шутит папа-Яша, отчим (в юности он у неё учился игре на треугольнике). *Как, там нетётка Голод, всегда приписывает он к маминим письмам из Коми АССР, всё такая же ЗВЕРЕПАЯ?* Нет, не буду я играть *аф дем фидл, хотя это везде кусок, хлеба, хоть в Коми, хоть в Нью-Йорке, хоть на Луне,* – я напишу лучше о буднях Н-ской военно-морской базы Дважды Краснознамённого Балтийского флота книгу под названием «Полуостров Ж.» – очень хорошее название для военно-патриотической книги, есть в нём такая скромная досафовская величественность. Уже даже в самом слове «ДОСААФ» звучит что-то почти библейское, какой-то библейский холод – «Иосаф», «Саваоф», «Осо- авиахим»... В книге будет рассказываться, как финские или израильские шпионы приплыли на катере в одну нашу пограничную зону где-то далеко на северо-западе и украли одного мальчика из местных, чтобы узнать у него порядок службы, и кто за кем следует, и что к чему относится, и где что спрятано, в смысле замаскировано, и все военные корабли по именам, и пограничных собак. Мальчика все ищут, с овчарками, с радарыми, все в прикордонном посёлке – и военные, и штатские – сильно волнуются и посильно помогают розыску. И все его сёстры, накинув на ночные рубашки заледенело развевающиеся плащ-накидки, в сбитых кирзовых сапогах на босу ногу бегут-бегут-бегут по снежной кромке нефтяного Балтийского моря – аукая, с факелами... «Да нет же, тёточка Циля, не беспокойтесь, я не раздеваюсь даже, у меня мальчик там. Ну разве полчашечки!» Двоюродная бабушка Циля, оттягивая на низ многоскладчатого живота тельняшку, а под его наинижнюю, самую могущественную складку подтаскивая и подсовывая верх синетрикоотажных тренировочных шароварчиков (прорезиненные ушки их отвёрнутых до колена штанин волнисто свисают сзади на бледную изнанку подворота), поднимается (в росте почти не увеличившись) из-за коробчатого кухонного стола, где они с дядей Яковом, кавторангом интендантской службы в будённовско- ассирийских усах, в жёлтой

футболке с потёкше-передёрнутым олимпийским Мишкой между полных грудей (оволосённых в виде двухглавого орла, выглядывающего на ключицах седыми курчавыми головками — *стыдно, Язычник, уж. от тебя-то я не ожидала!* — *ДВУХ-зОлОвый телёнок, но ДВУ-гЛАвый орёл!*) и в пижамных штанах, просторно исполосованных по вертикали нежно-розовой узкой полоской, пишут «пулю» на сон грядущий — «сочинку с гусаром» по одной тридцать второй копеечки вистик. Бегом отомкнувший Лильке дверь, дядя Яков уже *обратно* сидит за кухонным столом — отбивает дуло «казбечины» о посеребрённый портсигар с выдавленным на крышке крейсером «Аврора», скося назад трубы плывущим из левого нижнего угла в правый верхний, — и подозрительно-зорко смотрит в капитанский бинокль на прикуп. Переносной транзисторный радиоприёмник «Спидола» шуршит у его локтя. Пока двоюродная бабушка Циля ходит за чистой чашкой (и ушки от треников вяло постёгивают её, то и дело приостанавливающуюся для вдоха и выдоха, в низкие вздутые икры), дядя Яков, по- родственному приобнимая вокруг поясицы, присаживает Лильку к себе на матрачное колено. «Ну как жизнь молодая? Бьёт ключом и всё по голове?» — спрашивает дядя Яков. «ВЫ СЛУШАЕТЕ НА ВОЛНАХ РАДИОСТАНЦИИ «РЫБАК БАЛТИКИ» ПЕРЕДАЧУ «ДЛЯ ТЕХ, КТО В МОРЕ». ПО ПРОСЬБЕ ВЕТЕРАНА ФИНСКОЙ И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙН ЦЕЦИЛИИ ЯКОВЛЕВНЫ ЯЗЫЧНИК-БРАВОЖИВОВОТОВСКОЙ ПЕРЕДАЁМ ПЕСНЮ «МИЛЛИОН АЛЫХ РОЗ» КОМПОЗИТОРА РАЙМОНДА ПАУЛСА НА СТИХИ ПОЭТА АНДРЕЯ ВОЗНЕСЕНСКОГО. ПОЁТ АЛЛА ПУГАЧЁВА!» — тихо говорит «Спидола» не мужским голосом и не женским, а каким-то плывуще-русалочьим сквозь замедленные шуршание и треск.

Сжимаясь, дробно вздрагивает живот; напрягаясь, вытягиваются струною ступни и икры — сейчас запоют. Мне щекотно и холодно в Лилькиной холодно-щекотной нательной одежде, связанной и сваленной из мёртвых шерстяных червяков, — даже и под семью пограничными одеялами щекотно и холодно — под бесшёрстными, серыми, с двумя узкими чёрными полосами вдоль коротких концов на каждом, а между полос — полустёршийся фиолетовый штамп: «п/з ПЖ» в лежащем овале. Я подтягиваю к груди колени с заложенными под них ладонями, поднимаю плечи к щекам, скрещиваю зубы, свожу и развожу лопатки. Того гляди явится-не-удавится Перманент, качаясь и заплетаясь на своих длинных лыжах «Советская Карелия». *А ид а тикер эргер ви а гой а стахановец, загадочно говорят Бешменчики. Если только его не похитят на обратном пути инопланетяне, прошляпленные майором Кадырчуком. Покойный литературный критик Перманент-старший по секрету рассказывал гостям на Лилькиной с Яковом Марковичем свадьбе в ресторане «Москва», что внутри Луны есть ещё одна планета, поменьше, и на ней находится база «летающих тарелок», откуда они к нам летают, что под видом якобы детской сказки описано у писателя Н. Носова в книге «Незнайка на Луне», которая поэтому больше не переиздаётся, и у директора «Детгиза», его приятеля и одноклассника по Институту красных журналистов в Витебске, были неприятности с органами. Внутреннее устройство Луны — это наша государственная тайна. Неприятелю оно тоже известно: когда американцы туда высаживались, у места спуска сидели рассыпным полукругом на камешках инопланетяне всех пород и неподвижно смотрели на спускаемый аппарат — как суслики, тушканчики и луговые собачки; Ёбтыть, сказал как там его звали, американец этот спущенный: *А это ещё кто такие? А. те ему хором телепатически: Чтoб это было в последний раз, ПОНЯЛ?!* И это тоже государственная тайна, но уже не наша, а штатская. В смысле американская. А ещё некоторые люди самовозгораются, идут на лыжах пьяные по маскировочному лесу, пшик из бушлата столб огня кверху—и пустая, даже не согретая пламенем одежда оседает на зады ещё движущихся вперёд лыж, а шапка опаздывает, падает в пустой исполосованный снег. ...Лестница скрипнула, нет? ВВЕРХ ИЛИ ВНИЗ? Если придут Жидята делать погром, у меня на тумбочке есть длинная гранёная ваза из тяжёлого стекла, а под кроватью скрипка. Пуся-Пустынников из нашего класса не может без смеха слышать словосочетание «спускаемый аппарат»; красной ладонью в царапинах и цыпках он плашмя хлопает Исма- ила Мухамедзянова по передку и два раза со сдержанным иканием повторяет: *спускаемый аппарат, спускаемый аппарат. Ну, ребя, я уссываюсь!* Все в мальчишковой уборной на третьем этаже *так, и легли*, за исключением перегнувшегося и попятившегося Мухамедзянова. Учился бы я «Каприсам» у Жакелины Яковлевны Голод не на скрипке, а, к примеру, на виолончели или на басовой балалайке, мог бы сейчас спокойно лежать под кроватью в футляре и дожидаться, пока они там всё погромят и уйдут, *несолоно хлебавши*. Но запираются ли такие футляры изнутри и пролезает ли сквозь замочную скважину дыхательная соломинка, как у подводных запорожцев?*

— Чего, кстати, пацанчик-то ваш? — интересуется старший лейтенант Чутьчев. — Чего сегодня у чухны надыбал? «Плейбойчик», скажем, есть? Или акафисты преподобного Иннокентия Таврического с золотым обрезом?

Перманент, отведа назад и чуть склонив к левому плечу продолговатую голову с мыльным гребешком на подбородке (гребешок местами потемнел и слегка с боков встрепался от стёкших на него по усам капель «андроповки»), из-за засвеченных очечных стёкол смотрит расширенными зрачками поверх и мимо замполита — на маленькое застеклённое фото Министра Обороны Маршала Советского Союза Д. Ф. Устинова в простенке между окон «ленинской комнаты», набухше полных катящегося голубого, и неподвижного чёрного, и мигающего жёлтым Балтийского моря. «Яшук, ты чего? Совсем окосел, сокол? Женщинам и детям больше не наливать?» — спрашивает Чутьчев. — «Висит косо, — сообщает Перманент своим высоким равнодушным голосом. — Надо чуть-чуть нижний угол налево двинуть. ...Ну библия есть. Ветхий и Новый Завет с параллельными местами и картой Святой Земли. В синодальном переводе». — «В синодальном переводе?» — «Да, в синодальном». — «Нет, старик, не уговаривай. Всё равно не могу. Куусинена — не могу. У него мигрени. И блохи. ...И подумаешь, карта! Карт у меня у самого в планшете хоть жопой ешь! А что такое «с параллельными местами?»» «...Ну, конечно, бедному жениться и ночь коротка, — укоризненно говорит двоюродная бабушка Циля. — Куда ж ты смотрела раньше, мишугиня? Температура есть? Компрэсс делали? Так он не пойдёт завтра в кино? Жалко, такой хороший фильм будет. Я уж и билетик ему отложила...» Лилька, утвердивши, после некоторого ёрзанья, свои (под обвисшей адидасовской шерстью до

косточек раздавленные) попины поперёк дяди Якова полосатых коленей, также и въёмом прислоняемой левой деки вписалась, наконец, в твердое закругление его живота и как раз дозаталкивает бутерброд с колбасой «деликатесной» из мяса степных животных большим пальцем в угол утянутого к уху рта: «Да не волнуйтесь вы так, тётечка Циля. Ему уже лучше, честное слово! — он пропотел, теперь спит. А в случае чего там Яник!» — «Малёнок — жёлтый — птыц! — с грузинским акцентом говорит дядя Яков. — Напатэл-са — ы спыт!» Он выпукло смотрит сбоку-сзади в бинокль на Лилькину оттопыренную бутербродным ломом щёку, на припухлый ободок её круглого уха, шевелящегося — как бы извивающегося — под белыми завитками, на качающуюся мочку с пустой короткой прорезью, на короткую блестящую шею, прошитую очередями мельчайших тёмно-малиновых родинок и «в ёлочку» застеленную поверх точечной чёрной щетинки редко-золотистым подшёрстком. От его слов и дыхания мягко подпрыгивают толстые белые локоны на затылке, обнажая подростную темноту корней — и, медленно накрывая её, опускаются по местам. *Наверх. вы, товарищи,, все по местам,, последний парад наступает... Родной волос у неё, как говорит парикмахерская мастер Маргарита, цвета простого карандаша — волосу тебя хороший,, густой... раньше, наверно, вился.* Нет, это в паггаузной лестнице всё та же шестая ступенька продолжает рассыхаться — уже позапрошлым летом начала, и сколько же раз говорила полуидиоту Яше его мать Раиса Яковлевна, хозяйка паггауза: *плохую ступеньку поди почини, сказал кочегар кочегару*, а он так и не собрался, всё сад сажал и, морщина лоб, сидел с колбасой на голландских кирпичиках. Нет, никого там не всходит и никого там не сходит. Все верхние сёстры слава уже богу спят как убитые. Но эти-то, эти — почему они ещё не вернулись? Может, поехали с утра на финских санях в Выборг, в районную комендатуру — подавать на нас заявление, что мы якобы... — и запропали в болотах? ...А капитан того вражеского катера — как раз папа того мальчика, которого похитили. Он — белофинн, много лет назад улетевший на бензопиле «Дружба» в Финляндию — или в Израиль? — и воротился теперь под покровом ночи, чтобы узнать государственные тайны и выкрасть своего сына вместе с антикварной скрипкой, которая национальное достояние и стоит безумных денег. До рассвета он должен успеть уйти в нейтральные воды, где его поджидает американский броненосец, потому что на рассвете изменится с дежурства начПВО погранрайона майор Кадырченко — нет, лучше Кадырчуха, — которого вражеская разведка подкупила двумя номерами журнала «Плейбой» и акафистами преподобного Иннокентия Таврического с золотым обрезом. Ночь неудержимо уходит, а сын ничего не говорит. Можно было бы такое кино снять на киностудии имени Горького (Перманент собирается, с прицелом на эту студию, писать историко-революционный киносценарий «Надежда умирает последней»; там в худсовете один есть член, его покойного отца-критика сослуживец по «За Родину, за Сталина!», намекала Марианна Яковлевна) и начать показывать это кино в клубе Балтфлота и в «ленинской комнате» погранзаставы вместо «В джазе только девушки» — действительно, сколько же можно одно и то же, всё одно и то же, всё одно и то же самое, в самом деле?! На отличников боевой и политической подготовки стекает уже с экрана страшный, кондитерский запах смерти. А меня так от этой вечной Мерилин Монро уже просто тошнит! — просто передёргивает и сводит челюсти от этих её скачущих невозмутимо сисек, от этих её толстых, заходящих одна за другую ног, от пергидрольной белизны неподвижных волос, от диких, раскосых парикмахерских глаз — от всего её, отмеченного проклятием полубессмертия на растресканном полотне. Интересно только, «сиповка» она всё-таки или «королёк»? *Она «костянка», тускло улыбаясь и сплёвывая с крыши на утихающую махаловку, говорит никуда и никому Вовка Субботин.* Его лицо в июльских сумерках как безносый рентгеновский снимок — смутно белеют волосы и скулы, но глубоко чернеют глаза, щёки и рот; передо ртом малиново вздыхает уголёк сигарки. Когда я был маленький и мама разрешала мне писать сидя в ванне, никто и никогда бы меня не оставил больного в ночи одного!

Перекрестив на груди руки, прижав локти к окончаниям рёбер, я всовываю ладони себе под мышки и перекачиваюсь на бок, чтобы только не сделаться таким плоским под тяжестью семи пограничных одеял, как они все: подмышки обжигает холодом, ладони жаром. Перед глазами медленно вращается, то темнея, то светлея, объёмный с тускло-светящейся золотизной и проголубью крап — как отдельное узкое небо в неразлично перемешанных звёздах. Одна звезда не такая, как другие — кажется ниже и неподвижно подрагивает в расплывчатом облачке. Тот, кто шёл сюда, уже подходит ко входу в паггауз. У него лицо как у волка, чёрная шляпа и длинная седая борода. Он ставит тупоносый, облепленный болотной проресью сапог на первую, полусъеденную грунтом ступеньку крыльца (одна лапа длинного пальто тяжело обваливается с поднятого колена) и, откинув назад голову (но шляпа за спину не сваливается и не освещается лицо), глядит (всходя по сужающейся к узкому пёстрому небу мелкочаистой петровской кладке взглядом таким сосредоточенно-острым, что кажется перекрещённым) высоко наверх, на низкие окна Жидят. В одном одна ставня и подлежащая створка распахнуты наружу, за тюлевой занавесью и сквозь вырезные сердечки остальных, захлопнутых ставен подрагивают в пересечениях жёлтых, белых и чёрных кругов разнодольные разное дальние свечи. На подоконнике, перед неравномерно светящейся сетчатой шторой, стоит гранёный стакан, до поверхностного натяжения налитый чем-то багровым. Он делает ещё шаг (поднимается и оскользает вторая лапа, сбитый вовнутрь полукруглый каблук оскользается и осекается о кирпичную выбоину посередине ступеньки). Пошатнувшись, невидимой слабой рукой ухватывается за дверную ручку за заусенчатое закругление заржавой Вильгельминовой подковы, до середины вогнанной рожками во входную дверь. Если оцарапаться, может быть сэпсис, говорит двоюродная бабушка Циля, когда нас навещает одолжить привезённой из Ленинграда мацой: *Дикость, скобарство, бескультурие! Трудно, что ли, ручку ошкурить? Никакого понятия о гигиене! — Хазер блайт а хазер!* соглашается дядя Яков Бравоживо-товский, еврейский интендант Балтики: *Лично я бы откомандировал всехэтихСак-Исакъшей паггаузныхкЦыпуну на недельку, всем ихним святым семейством — гальюны драить! Трудотерапия,*

понимаешь- знаешь! — *Терапевт... Штаны подтяни, терапевт*, иронически шевеля одною из разваренных кукурузных щёк, говорит двоюродная бабушка Циля. «Да чего ты жидишься-то, Я шок? Как этот, в самом деле! Для земели, для корешбана закадычного ему паршивенькую какую-то библию жалко, в ледерине, — тыфу! Как же, последняя она у него — разогни лучше и не загибай, жила! — наклоняясь через стол взгорбленными зелёными погонами, жарко дышит старший лейтенант Чутьчев. — ...Нет, Куусинена, исходя из вышеизложенного, конечно, не могу. А ящик тушёнки — могу. Плюс три боезапаса к АКМу. Ты шевельни, шевельни мозгой, стариканчик, — какие времена того гляди начнутся судьбоносные, как оно ещё всё обернётся? Сечёшь?.. »

Когда мы завтра вернёмся в Ленинград и я через неделю выздоровею... когда я через неделю выздоровлю, я сяду на Суворовском проспекте в десятый троллейбус и поеду на Васильевский остров, в Дом ветеранов хлебобулочной промышленности, Косая линия, 10. Двоюродная бабушка Фира накормит меня на первое — куриным бульоном с кнедликами из мацовой муки, на второе — котлетами из райкомовского фарша, на третье единственным, что она берёт в ветеранской столовой — чёрным, божественно-затхлым, пронзительно-приторным компотом из сухофруктов, а Бешменчики расскажут про междуцарствие, как оно всё на самом деле на текущий момент **выглядывает** — Бешменчики умеют читать между строк в центральной «Правде» и слушать между слов закрытые политинформации в Василеостровском райкоме. **Мы-то своё отжили худо-бедно**, скажут они: а у тебя, выюнош, вся жизнь молодая перед собой. Через годика три того гляди снова выпускать начнут, и как раз Женечка из Коми вернётся (Декабристка! скажет двоюродная бабушка Фира, входя с качающимся компотом в трёхлитровой банке из-под берёзового сока.), вы не тяните — едите сразу же, как от папаши твоего следующий вызов придёт. Со скрипачкой нигде не пропадёшь, хоть в Нью-Йорке, хоть на Луне. Балабатым-то наши уже сами уже не знают, чего делают, здесь скоро всё начнёт совсем кончатся — и вся старая жизнь с концами кончится, надо будет всю жизнь начинать сначала, как в другой стране. А если всё равно новое, то уж лучше совсем новое, чем старое перелицованное... — А выкреста-Яшку вашего, цацу эту, можете здесь оставить, если ехать не захочет, Марьянке на развод. Добра пирога! — добавит двоюродная бабушка Фира, вышлёпывая в нестерпимо сверкающий линолеумом коридор к этажному холодильнику — за мохноспинными, на раскус надувными «эклерами» от «Норда».

Когда вернёмся в Ленинград и я выздоровею, в школе у нас как раз отменится карантин по кокандскому коклюшу — военрук Карл Яковлевич с топчана для искусственного дыхания вернётся к себе домой, а его племянница с дочкой, так и не побывав на «Авроре» и в Эрмитаже, — обратно в Салехард. В мальчиковой уборной на третьем этаже, когда все, запулив по звонку разнокалиберные окурки в прожжённый потолок, разбегутся в свои классы, я торопливо расскажу Пусе, как я тут на каникулах одну местную ляльку заклеил — настоящую взрослую продавщицу из ларька «Культтовары. Продукты. Керосин», между двух передних зубов фашист проползёт: ну вылитая Алла Пугачёва, вот с такими ушами! — и в обеденный перерыв мы с ней под прилавком сосались. Сосались, сосались и всё ништяк, а потом я ей как вставил по самые помидоры! Ну ништяк, я тащусь! Есть такая ма-аленькая птичка, тоже с больши-ими ушами, и зовут её... — а как её зовут, ты и сам знаешь, Язычник, не маленький! скажет Пуся, но тревожно посмотрит на меня крохотным белым глазом. Бережно захабарённую о подокольник сигарету «Астра» он бережно опустит в нагрудный карман своей синей школьной курточки с небережно оборванными наплечными хлястиками, спрыгнет шумно и брызгливо — на шашечницу сортира и небольно тыкнет меня в предплечье красными костяшками бледного кулачка: Ну лады. Язычок, хорош трындеть, трясти надо — пошли на литру... ёбарь-ты-наш-перехватчик... сверхзвуковой... — а то Светлана опять развоняется, как хорёк на закате. Нет, перед школой Лилька ещё должна свести меня в салон на улицу Герцена стричься, то есть подстригаться, не то Светлана развоняется, как хорёк на закате, что я хиппи. Подзатылочное углубление в шее обожжёт раздвоенным холодом Маргаритиных ножниц, и по всему телу побегут мурашки с пупырышками. Но мельче, быстрее и острее, чем сейчас.

Когда мы вернёмся в Ленинград, если там ничего дай бог не случилось, не дай бог, пока мы на Жидятине пережидали междуцарствие; — тот, который после покойного К. У. Черненко Генеральный секретарь (Гробачёв?.. Грибачёв?.. Карабачаев? ...я ещё даже портрета его не видел, как он из себя выглядит: когда мы уезжали с больничными и на каникулы, на всех углах ещё висели скуластые беловолосые К. У. Черненко с черными ленточками на правых и левых нижних углах...) — он всё-таки того человек, лысого... который был перед, в роговых очках: он, может, снова захочет ввести культ личности и всё такое, и всех лиц еврейской национальности — в Биробиджан; или же наш секретарь обкома Г. В. Романов (такой антисемит, настоящий хулиган, рассказывали Бешменчики, они с ним на праздновании шестидесятилетия Великой Октябрьской революции в Смольном чокались) захочет ввести культ личности в Ленинграде и Ленинградской области, как сообщало Би- Би-Си, пока его так сильно не глушили (даже здесь уже глушат, в такой глуши запредельной и в холоде — как, *пить* дать это неслучайно!), а Генеральный секретарь на него из Москвы пошлёт дивизию Дзержинского... надо будет спросить дядю Якова, за кого в таком случае будут Ленинградский военный округ и Балтийский флот. Если не введут культа личности, Биробиджана и комендантского часа, и будет ходить общественный транспорт, Перманент сразу же усвишет на Мориса Тореза мыться в ванне и менять бельё, а я лягу на тахту в гостиной и начну смотреть телевизор — и «Служу Советскому Союзу», и «Сельский час», и «Телевизионный ёж», и все новости, и все концерты популярной классической музыки, и все документальные и художественные фильмы какие есть, если какие будут. Лилька мне и то, и сё, и зайчиком, и не хочу ли я чаёчку, и как у там меня горлышко, и не холодно ли мне и не жарко ли — и так и будет бегать полувокруг тахты, тряся мясами и волосами, а я буду лежать на тахте неподвижно-молча, оперев затылок в твёрдый скользкий подлокотник, и сквозь её

мелькание читать неподвижными зрачками уползающие наверх титры: «Телепередачу «Ребятам о зверятах» вела заслуженная артистка РСФСР Нелли Широких». Это фамилия пусть и диковатая, не на -ов и не на -ин, но тоже чисто русская, сибирская, хотя тётя Нелли Широких *сама-то еврейка*, уверяет Марианна Яковлевна (у неё на Лентелерадио есть по Пицунде, по Дому творчества журналистов, знакомая дама из доэфирного контроля), *а фамилия, она по мужу, по педерасту (Ростиславу)*. Ну, это у меня не считается, по мужу или не по мужу — я считаю во всех титрах только настоящие нерусские фамилии: Хиль, Магомаев, Кикабидзе, Кобзон. Когда больше десяти на передачу, я победил. Единственное только, что меня смущает: какие фамилии на -кий и на -ич точно русские, а какие нет, и считать ли за нерусские все на -енко, на -чук и -юк, на - уха, -юха и -еня, а также на -ун, как Цыпун, хоть он и китаец? *«Ассистент оператора — Иннокентий Путята»*. Такие-то я теперь знаю какие они — как раз русские, даже *древнерусские*, типа как наши пакгаузные Жидята. Которые на -ник — те все точно нерусские. Все на -ник, кого я знаю, — евреи, хотя бы частично — Салганик, Цырюльник, Гуральник, Шверник Мичман Цыпенчук с озверелым китайским лицом и задранном в потолок «макаровым» врывается в радарную, за его левым плечом, которое ниже правого, — смущённый Яшка Циклер с автоматом Калашникова модернизированным. Пули со смущённым центром тяжести, отскакивая, как пингпоновые шарики, от осыпающихся стен и приборов, мечутся вокруг головы лупоглазого майора Кадырчени. «Кажы швыдко, Иадюка, и Иде тот зашморканный пацанчик жидивьский!? Ну!?» — бешено выкрикивает мичман и твердой рукою опускает на предателя воронёный ствол. По центру морщинистой кирпично-жёлтой перепонки между его большим и указательным пальцами выколот голубенький якорь, поджавший круглую лапку. Поза его плечом Циклер, отдувая от ноздрей заляпанные соплями ленточки, пытается укротить припадочно трясущийся и стреляющий автомат, который заело наоборот. «Не розумию, пане...» — Кадырчени привстаёт на полусогнутых, из его рывками поднимаемых рук выпадает толстая краснокожаная книжечка с золотым обрезаем — и, как китайская крыша с отогнутыми вверх уголками, встаёт на приборной доске на расхлоп. В обеих... в обоих её скатах-обложках по светло-алой пористой коже сытым золотом вытиснены одинаковые длинные кресты, похожие на недорисованные якоря. *Со смущённым центром тяжестисти...* С болезненной отдачей в левое ухо я всмаркиваю внутрь себя всё, что всмаркивается, сглатываю, задержав дыхание, отгибаю носом уголок нижнего одеяла — и сквозь освобождённую левую ноздрю сразу же набирается на полное горло воздуху. По векам косым углом прокатывает переливающаяся голубизна. Носогорло на мгновение замораживается — немо и резко, как новокаином, когда в позапрошлом году удаляли аденоиды, — потом так же резко освобождается; изнутри справа снова набухает несъедобная каучуковая сопля. Слева снаружи с оттяжкой — как часы — щёлкает в шее кровь. Гортань морозно-ободранно горит. «Я же знаю — у тебя, горе ты луковое, и спирту даже нет на компресс! Твой же шмендрик в рот не берёт, или!?» — восклицает двоюродная бабушка Циля. Дядя Яков тяжело подкидывает Лильку коленями, вжимающе ловит за бока (делая больше талии, чем когда бы то ни было) и укоризненно, одышливо бормочет в темноту корней, в подзатылочный золотистый подшёрток: «Говорил я тебе, выходи за военного, даже билеты на курсантские танцы в Дом офицеров доставал — а ты кого нашла? — Шкраба очкарого! Такая, понимаешь-знаешь, оказия, а у мужика, понимаешь-знаешь, даже спиритуса нету! Тоже мне, дежурный по апрелю! Ну, — как бы сказала тётка Бася — бачилы очи, шо купувалы. На Балтфлот теперь не жалься! Мы всё, что могли — зробили!» — «Дядечка Яков, что ж вы моего родного мужа так стибаете? Как ещё обижусь и ещё как!» — весело-тягуче угрожает Лилька, своей уже волей подпрыгивая на его коленях, но не оборачиваясь. «Не трогай девочку, интэндант! — грозно останавливается двоюродная бабушка Циля. — Ей с ним жить, не тебе! ...А ты не жестикулируй ногами, Вера Холодная! Слезай с него, с бурбона охамевшего, я тут как раз отлила себе в медпункте капелюшечку... на компрессик».

У Генерального Секретаря в тайной комнате в ЦК КПСС есть такой Генеральный Секретер, в нём за обычной полированной дверцей — ещё одна, железная, а за ней — красная кнопка. Если он на неё нажмет, наши ракеты полетят на Америку, Финляндию и Израиль, и начнётся третья мировая война. Но ключ к Генеральному Секретеру есть только у одного Секретного Генерала атомных войск, без него до кнопки никак, не добраться, а кто он и где — никто не знает: это и есть Генеральный Секрет! рассказывал Исмаилка Мухамедзянов на чердаке дома номер четыре по Поварскому переулку. У него дедушка Герой Советского Союза *это про его жизнь сняли телефильм «Семнадцать мгновений весны»*, он был разведчиком в ставке Гитлера и штурмбанфюрером СС, а теперь староста мусульманской мечети на Кировском проспекте. Наверное, это он собственноручно отстригал Исмаилке крайнюю кожу с конца, а затем четыре Исмаилкины бабушки, дедушкины нелегальные на три четверти жёны, замешивали её в праздничный бешбармак.

На губах у меня уже не осталось плёнки — и губное мясо бы вывалилось и вылилось на подушку, когда бы не замёрзло. Зубы до корней выступили из дёсен и ноют, хотят быть прикушены — но это не зубное, это простудное. К зубному-то всё равно надо будет идти, когда я выздоровлю — в поликлинику на улицу Чайковского — подрезать «уздечку» под языком, из-за которой у меня приоткрытый рот и обратный прикус. Мы с Лилькой там уже перед каникулами были, но, когда меня положили на стол-каталку и захотели сделать заморозку в нижней десне, я заизвивался и замахал непривязанными ногами; одной из них я ударил в поддыхало знакомого хирурга Марианны Яковлевны, а другой — медицинскую сестру в грудь. Медсестра хлопнула шприцем об пол и выбежала из предбанника операционной, хрустя и сдирая халат; знаковый хирург Марианны Яковлевны перегнулся, попятился и отказался делать операцию — сказал, что в жизни таких сволочных детей ещё не видел и чтоб меня больше никогда не приводили. Пусть ходит с полуоткрытым ртом, как полудиот! Привет ММарианночке Яковлевне! Теперь придётся брать с собой двоюродную бабушку Фиру и Бешменчиков, чтоб они помогали меня держать, и нести медицинской сестре новый флакон духов «Быть может» производства ПНР, а врачу — ещё одну бутылку четырёхзвёздочного молдавского коньяка «Белый аист», какой из Одесского порта привозят

цыгане — через коктейльные соломинки они его пересасывают из цистерн винноналивного судна «Советская Молдавия» в старые резиновые грелки, типа как остывшая моя, кладут цыганок и цыганят с грелками во всех местах, будто они больные, на застеленные серыми пограничными одеялами телеги и, прицокивая мерину Вильгельмине и другим лошадям, бесконечным цугом через всю нашу безграничную Родину тащатся по окольным просёлкам среди черствящих в чёрной мокроте кормовых, зерновых и гречишных; по лесным, заплывшим звериной слюной дорогам; по только им ведомым гатям, переправам и бродам; при падении напряжения электрической сети продираясь сквозь дыры в колючей проволоке; и, со старой цыганской картой, прорисованной лиловым химическим карандашом в жёсткой лошадиной мездре, по мирно стрекочущим на закате минным полям — через всю нашу безграничную от Чёрного моря до Балтийского Родину, от юго-западной государственной границы до северо-западной: домой, в показательный пушсовхоз «Первомайский», где «Белый аист» переплёвывается в пустые поллитры, купленные у продавщицы Верки в ларьке «Культтовары. Продукты. Керосин» по пятнадцать копеек штука из-под прилавка; переплёвывать коньяк — чисто мужская работа, цыганки с цыганятами ею не занимаются, у них есть своё — гадать, нищенствовать, воровать (также и детей).

И у Лильки всегда рот полутоткрыт, как у полуидиота, но подрезать уздечку она пока что не может, так как ей нужен как раз такой рот для поступления в ЛГИТМиК: в этом году набирает режиссёр И. О. Горбачёв, он как раз такие рты любит. ...Вспомнил, нового Генерального секретаря тоже зовут: не ГРИБачёв, не ГРОБачёв, а ... «Ну, говори, какой порядок службы, и кто за кем следует, и что к чему относится, и где что спрятано, в смысле замаскировано, и все военные корабли по именам, и пограничных собак!» Но мальчик молчит, глядит, отвернувшись, за борт катера — в чёрную балтийскую воду. Чёрный еврейский финн в тёмных очках, что сидит на корме у мотора сутуло и молча с автоматом «Узи» поперёк коленей, взглядывает на фосфорический циферблат под обшлагом бесшумной штормовки, спускает с невидимо оттопыренной губы ослепительно-белую слюнку в невидимо чмокнувшее Балтийское море и что-то такое говорит отцу мальчика на ихнем тягучем *кюлле-мюлле*. Мальчик понимает, что ночь на исходе — они должны его или здесь убить, или забрать с собой в Финляндию, где у них стоит в ЦРУ такая машина, которая считает прямо с мозга государственные тайны.

Лилька сползает с дяди Якова полосатых колен, приподнимая по очереди бедро, потом другое, подтягивает шаровары, затем одной рукою отаскивает кофту по пояснице вниз, а другою — с быстрым жужжанием замыкающейся молнии — поддёргивает кофтино горло вдоль своего собственного наверх: до самого кончика носа. «Нй вот», — полутотвернувшаяся двоюродная бабушка Циля, по мере возможности изгибаясь и по мере невозможности в мелкую притопку проворачиваясь вокруг своей оси, приподняла на бедре тельняшку и просунула два пальца под резинку треников, за рифлёный толстошерстяной чулок, множеством плотных матерчатых защёлок пристёгнутый к гигантскому перламутрово-розовому поясу. Из-за чулка, с верхней ноги в синих петлях и жёлто-коричневых извивах она вынимает дюралевую фляжку цвета хаки — плоскую, продольно вогнутую с нательной стороны — и протягивает её Лильке. «На вот, на компресс», — повторяет она, встряхнув серебряно-сиреневыми короткими волосами. Лилька нерешительно принимает гладкую тёплую фляжку и вертит её в руках, примеряясь, куда бы засунуть. В лыжном костюме у неё карманов нет. «Ну, я пошёл,

— говорит Перманент, раздвоенно глядя перед собой на стол, но не поднимаясь. — Засиделся я у тебя, старикашка. Завтра вставать ни свет ни заря». — «Вот ты, Янкель, всегда так, сколько я тебя знаю. Всегда кайф ломаешь. Сидим же, выпиваем, как люди, всё нормально... А ты вдруг, как этот!.. Одним словом, мы им, русские, всё, а они нам, русским, в сапог серут! Ну подброшу я тебя потом, ей-богу! Вернётся Макарычев - и подброшу! Только ещё флакончик зачистного очистим, запряхём Куусинена — и поедем. ...Что значит «не могу»?! А через «не могу»?! ...Так, а это ещё кого чёрт принёс? Войдите, мать вашу за ногу! Да не ломись ты, ёксель-моксель-минарет! — зная части сломаешь! Товарищ ефрейтор, какого беса... Что-о?» «Да куда ж ты в ночь попрёшься, шалая ты девка?! — быстро смешивая карты, говорит дядя Яков с табуретки.

— Там же мужики пьяные, волки, чёрты что! Ночуй у нас на пуфике, а с ранья я машину вызову, подберём твоих малахольных — и я вас прямо до Питера домчу, раз вы всяким таким глупостям верите обывательским и вражеской пропаганде. Мне всё равно надо за гвоздями, горбыльком и штaketником». И он жёлтым языком подталкивает кверху свой слегка опустившийся левый ус и по очереди мигает обоими жёлтыми глазами в направлении чёрного телефона без наборного диска, что, рядом с соломенной хлебницей и палехской солонкой, стоит на холодильнике «Юрюзань» и через коммутаторную соединяет дядю Якова с мичманом Цыпуном и капрангом Черезовым. Телефон звонит, дрожа трубкой. Лицо дяди Якова принимает военное выражение. ...Вдоль колючей проволоки с нашей стороны, цепочкой по одному крадутся от поднятого шлагбаума чёрные тени в светлых барашковых шапках — у каждой подмышкой что-то длинное, завернутое в овчину. С той стороны проволоки — свистящей полосой темнее ночи мчит курьерский Хельсинки—Москва, боковым ветром от него ещё пуще *пригинает* сутулые тени, отгибает уши у шапок. Считать их — не пересчитать, имя им — дивизион. *Поженился Як, на Цыте, Як-цыдрак. на Цыте-дрине, Яксыдрак-цыдраксыдрони на Цыте-дрине-лимпомпони...*

...Странная, низкая, расплывшаяся звезда стоит над полуостровом, не такая, как остальные — попадая в голубую волну от авиаматки, она не растворяется, не исчезает вместе с другими, но жест-корёбро загорается маленьким жёстким серебром, ещё пуще твердеет в настенном зеркале. Я опускаю один за одним и подворачиваю все семь уголков серых пограничных одеял, у меня под ними потный холод, всклокоченная пустота, мелькающий мрак. В попе у меня грязное пространство, а в носу некрасиво от плаканья. Ночи осталось немного. Когда я завтра скоро проснусь, Лилька и Перманент уже будут дома и мы сразу уедем домой. Хозяйский малой тогда уже тоже нашёлся, сидит рядом с полуидиотом Яшей на голландских

кирпичах у летней кухни и глядит не шурясь на блёклое финское солнце. Телеграмма из Коми с зайчиком лежит в почтовом ящике, джинсы – в серванте под простынями. Луч с авиаматки медленно приближается к шпионскому катеру. «Ну, сынку, сыграй-ка нам с Якко какой-нибудь «Капризен» Паганини, а мы подивимся, чему тебя научили твои большевики!»

Тот, кто взошёл на крыльцо, стоит неподвижно в снях, не зажигает света, чуть покачивается на носках неопределённым сгущением тьмы в темноте – выбирает, куда дальше: вверх, к хозяевам... прямо, в кухню к Перманенту и Лильке... или налево, сюда, ко мне. У него лицо как у волка, чёрная шляпа и длинная седая борода. Узкими зрачками, блестящими сквозь припухлые веки, он видит нескладно уложенные вдоль стен ребристые дровяные чурочки, видит мятые ведра с глазастой картошкой, видит полупустые ящики из мохнатой фанеры с распрямлёнными гвоздями и ржавыми подковами внутри и с красными, разомкнутыми в сочленениях буквами «п/з ПЖ» снаружи. Дверь в кухню слева, понизу и поверху очёркнута светом. За дверью что-то сопит, присвистывает и охает, потом замирает и возвещает бархатистым баритоном с нерусской растяжкой: «...СЛУШАЕТЕ ПРЯМУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ ИЗ КАТЕДРАЛЬНОГО СОБОРА ИМЕНИ СВЯТОГО ПАВЛА В ЛАНДОНЕ...» Потом, чпокнув и свистнув, взлетает голосом торжественно-женским: «ДАРАГИЕ СЯБРЫ! УСЕ ЛУЧШЕЕ У НАШЕЙ ЖИЗНИ СВЯЗАНО С ПИСНЕЙ. А ПАСЯМУ СЕДНЯШНЮЮ ПЕРЯДАЧУ МЫ ПАСВЯЩАЕМ ЕЙ!» У меня в комнате потный холод, скомканная пустота, прокатанный заоконной голубиной мрак; ничто больше не шевелится. Он беззвучно вздыхает и ставит ногу на первую ступеньку ведущей на чердак к Жидятам лестницы.

Лестницы бывают двоякого рода: 1) якобы лестницы и 2) лестницы для всякого-якого.

И даже шестая ступенька не скрипнула.

«МИЛЛИОН, МИЛЛИОН, МИЛЛИОН АЛЫХ РОЗ» – с утроенной громкостью заводит «Сакта». Но я её не слышу.

Алекс Тарн

Алекс Тарн (Алексей Тарновицкий) родился в 1955 году в Арсеньеве (Приморский край). С детства жил в Ленинграде. Репатрировался в 1989 году. Автор книги стихов «Антиблок» (1991) и шести книг прозы, вышедших в Москве. Живет в поселении Бейт-Арье

С двухлетнего возраста и до отъезда в Израиль (в 1989 г.) жил в Ленинграде. Закончил 30-ю физико-математическую школу, затем Институт Точной Механики и Оптики (ЯИТМО) по специальности «Вычислительные Машины». В СССР не публиковался. Всерьез начал заниматься литературой лишь в 2003 году. Принадлежит к литературному кругу «Иерусалимского Журнала».

Первый роман Тарна «Протоколы Сионских Мудрецов», вышедший в 2004 году с предисловием Асара Эппеля в московско-иерусалимском издательстве «Гешарим — Мосты Культуры», номинировался на «Русского Букера».

Роман «Пепел» («Бог не играет в кости») был включен в 2007 году в длинный список литературной премии «Большая Книга», а позднее вошел и в финальную шестерку «Русского Букера — 2007».

Роман "Гириуни" вошел в десятку лучших романов русскоязычного зарубежья по списку "Русской Премии" за 2009 год.

Повесть "Последний Каин" стала лауреатом Литературной премии им. Марка Алданова за 2009 год.

Помимо прозы, Алекс Тарн занимается поэтическими переводами, является автором нескольких пьес, литературных сценариев, эссе и публицистических статей в израильской русскоязычной периодике.

Протоколы сионских мудрецов

На выходе из самолета Бэрл протянул руку хорошенькой стюардессе и широко улыбнулся. «Не плачь, Клава, - сказал он по-русски. - Еще увидимся». Девушка не врубилась в непонятный текст, отчего ее профессиональная улыбка вышла несколько растерянной. Сложенная лодочкой робкая голландская ладошка потонула в необъятной бэрловой лапше

«Цель визита?» - «Бизнес». Чиновник шлепнул печать, и Бэрл ступил в кондиционированные чертоги Схипольского аэропорта. Бутылка «Мартеля», предусмотрительно запасенная в Бен - Гурионе и безвозвратно иссякшая где-то над Альпами, не улучшила его настроения - пасмурного, в тон февральской северо-европейской погоде. Сидя в поезде, мчавшем его в направлении амстердамского вокзала, Бэрл спрашивал себя: в чем, собственно, дело? В чем, собственно, дело, парень, какого хрена свинячьего ты кукишься?

Задача выглядела ясной на все сто, и в то же время оставляла столь любимую Бэрлом свободу маневра. Место? Бэрлу нравился Амстердам, безопасная, праздничная однообразность его разноцветных домов, концентрические полукружия его каналов, темные полукружия под глазами его веселых, безразличных, обкуренных обитателей. Время? Время, конечно, можно было бы подобрать получше. Например, июнь с его шумными фестивалями, живописной космополитической толпой и бесстыжими парочками всех комбинаций на многострадальной траве Вондель - парка. Или, скажем, сентябрь - цветочные парады, утомленное пресыщение ранней осени, желтизна первых листьев на воде каналов. А февраль... что февраль? - дождь и все тут, даже газоны Вондель-парка закрыты на просушку - то ли от дождя, то ли от спермы, щедро пролитой

на них за отвязное лето. С другой стороны, дома зима выдалась на удивление сухой, так что Бэрл определенно соскучился по дождю.

И тем не менее, какое-то неприятное предчувствие не покидало его, назойливо копошась где-то в затылке, занудно поднывая в самом низу живота. Что за ерунда! На вокзале Бэрл прямоиком проследовал в камеру хранения. Небольшой, но тяжелый чемодан ждал его в условленном месте. Пошарив во внешнем кармашке, Бэрл извлек оттуда пластиковую карточку-ключ в конвертике отеля «Мемфис». «Ну вот, дурочка, - сказал он сам себе - А ты боялась...» Настроение и впрямь пошло на поправку, и весело насвистывая, дабы поддержать положительную тенденцию, Бэрл вышел на засеянную мелким зимним дождиком привокзальную площадь веселого города Амстердама.

Он отпустил такси на Музейной площади, за нескольких кварталов до отеля. На счастье, лобби «Мемфиса» было забито ордой азиатских туристов: не то корейцы, не то китайцы в одинаковых двцветных куртках, обвешанные тоннами кинофотовидеоаппаратуры, сварливо распределялись по номерам Швейцар-суринамец, и чемоданные мальчики уже давно перешагнули порог чувствительности и теперь переживали азиатов как стихийное бедствие, уйдя в себя и уставясь в пространство с выражением безграничной покорности судьбе. Не привлекая в этой суете ничьего внимания, Бэрл поднялся на второй этаж и открыл дверь своего номера.

Острый запах опасности ударил в ноздри еще до того, как рука с пистолетом взметнулась ему навстречу. Шестым чувством просчитав чье-то присутствие сзади, он успел присесть одновременно с чудовищным ударом, обрушившимся на затылок, нейтрализовав таким образом большую часть фатальной разрушительной силы. Следуя инерции падения, Бэрл отпустил чемодан и, стараясь производить как можно больше грохота, всей своей стодесятикилограммовой массой рухнул в закуток между столом комодом. И затих, оценивая ситуацию сквозь прикрытые веки.

Бэрл рассчитывал на то, что шум от их совместного с чемоданом падения собьет противника с ритма, и это позволит ему выиграть столь необходимые секунды. И впрямь, нападавшие замерли, напряженно прислушиваясь и на время выключив Бэрла из зоны первоочередного внимания. Их было двое, худощавых бородатых парней не оставляющей никаких сомнений наружности.

«Только куфии не хватает, - подумал Бэрл. - Суки драные...» Он ощущал странное, даже веселое спокойствие. В этой комнате ему повезло уже дважды. Во-первых, его не убили сразу, а значит, будут дополнительные шансы. Во-вторых, ему удалось с наименьшими потерями сымитировать тяжелую отключку, что сулило просто-таки блистательные перспективы, тем более, что парни отнюдь не выглядели профессионалами.

Выйдя из первого оцепенения, они наконец обрели дар речи. Арабской речи... «Идиот, - придушенно прошипел первый, высокий араб с десятком золотых цепочек под расстегнутым воротом белой шелковой рубашки. - Это называется «тихо»? Ты же уверял, что сделаешь его без лишнего шума...»

«Да ладно тебе, Махмуд, - нервно хихикнул второй, в джинсах и футболке «Аякса». - Ничего страшного. От китаезов такой гвалт, что хоть бомбу взрывавай - никто не дернется. Зато смотри, как я этого бегемота вырубил!» Он гордо взмахнул здоровенной бейсбольной битой.

«Еще как повезло...» - радостно отметил про себя Бэрл.

Махмуд подошел к телефону и набрал номер. Теперь он говорил по-английски. «Брат? Мы встретили гостя... Да, все в порядке. Как у тебя? Тихо? Ладно, оставайся пока там».

Он подошел к Бэрлу и присел перед ним на корточки, уткнув пистолетный ствол с глушителем под тяжелую бэрлову челюсть. «Эй ты, погань еврейская, - прошипел он, на этот раз на иврите. - Просыпайся, скотина!»

«Э, да парень, оказывается, полиглот», - подумал Бэрл, но глаз не открыл.

«Принеси-ка водички, - не оборачиваясь, сказал Махмуд. - Говорят, бегемоты только в воде разговаривают».

Бросив биты на кровать, парень в джинсах отправился в ванную. На спине его футболки красовалось знаменитое «Гуллит».

«Собака, - подумал Бэрл - Какое имя марает.» Затем Бэрл думать перестал, ибо Махмуд наконец-то повернулся к нему виском, провожая взглядом уходящего «Гуллита». Самое время было воскресать. Сокрушительный удар лбом обрушился на махмудову височную кость. Так великий Гуллит бодал мячи загоняя их в сетки ворот соперников мимо отваливших удивленные челюсти вратарей. Махмуд не стал исключением

- он тоже отвалил челюсть, закатил глаза и обмяк

Бэрл поднял пистолет, как раз, чтобы приветствовать вышедшего из ванной «Гуллита».

«Поставь стакан на стол, мразь, - сказал он по-арабски. - Разольется, паркет жалко».

«Гуллит» икнул и поставил стакан. Бэрл выстрелил дважды. Затем он повернулся к бесчувственному Махмуду.

«Ты, я помню, водички просил, братан? - Бэрл аккуратно выплеснул на Махмуда принесенную покойным «Гуллитом» воду. - пей, дорогой...»

Махмуд дернулся и открыл глаза. Его мутило, он с трудом сфокусировал взгляд на приветливой бэрловой физиономии.левой рукой Бэрл сгреб араба за рубашку вместе с бесчисленными цепками и встряхнул. «Говори», - только и сказал он и приготовился слушать.

Подгонять Махмуда не требовалось. Он говорил, косясь на две ровные симметричные дырочки во лбу привалившегося к стене «Гуллита», он тараторил, захлебываясь от честного непреодолимого желания рассказать все, даже самые мельчайшие подробности, так что Бэрлу приходилось время от времени ласково, но твердо останавливать эти потоки информации, когда они разливались на совсем уж

неинтересных направлениях. Оба они знали, что Махмуд умрет, как только ему нечего будет больше сказать, и это знание наполняло махмудову душу острой сосущей тоской, ужасом и неутолимой потребностью говорить, говорить, говорить - без конца.

«Погоди-ка секундочку, - сказал Бэрл, будто вспомнив что-то. - Позвони-ка своему человеку вниз. Скажи, чтоб поднимался»

Махмуд с готовностью схватил трубку. Он говорил вполне естественно, даже подмигнул Бэрлу - мол, смотри, как мы с тобой его разыгрываем Бэрл кивнул. Положив трубку на рычаг, он протянул руку и погладил Махмуда по голове.

«Молодец, братан, так держать»

Махмуд ободренно улыбнулся, и Бэрл, протянув вторую руку, резким движением сломал ему шею. Он сделал это так быстро, что бедняга даже не успел понять, что произошло, так и оставшись сидеть с приклеенной жалкой улыбкой на твердеющем лице, с безумной и робкой надеждой, застывшей в остеклевших глазах, отразивших последний акт драмы - короткую возню у двери и еще одну смерть, смерть преданного им товарища.

Бэрл запер входную дверь и, сделав глубокий вдох, заглянул в ванную. Девушка была там. Она стояла так, как мерзавцы пристроили ее стоять - наперевес через край ванны, на коленях, со связанными ногами, с кляпом во рту, с руками, прикрученными к вентиляционному кронштейну на противоположной стене. Тут же был кусок двужильного оголенного на концах провода, воткнутый в розетку для электробритвы. На белой, бессильно провисшей спине пламенели язвы сигаретных ожогов... Девушка мотнула слипшейся каштановой гривой и замычала. Это вывело Бэрла из оцепенения.

Развязывая узлы и осторожно перетаскивая на кровать бесчувственное тело, Бэрл не переставал напряженно просчитывать варианты. Судя по всему, девица была из группы обеспечения. Видимо, ее задача ограничивалась съемом этого номера и передачей ключа другому помощнику, тому, что оставил для Бэрла чемодан в камере хранения. Передав ключ, она должна была исчезнуть на пару-тройку дней. Ни у нее, ни у ее напарника не было и тени понятия о смысле и целях этих действий. Они не знали и не могли знать Бэрла, как, собственно, и он не знал их. Так что подонки зря мучили девочку - при всем желании ей было нечего им рассказать.

Непонятно другое - где произошла засветка? Предсмертная исповедь Махмуда об этом умалчивала. Да и что мог он знать, Махмуд, мелкая сошка... Небось, кайфует сейчас в своем мусульманском раю, пускает слюни, взгромоздившись на первую из положенных ему семидесяти девственниц, царапает ее в кровь своими золотыми цацками... Впрочем, кое-чем он все-таки помог. Во-первых, назвал имя босса, того, кто посадил в засаду махмудову группу. Абу-Айяд - старый знакомый матерый волчара... Во-вторых - рассказал о другой группе, ушедшей за девушкиным напарником. Это наводило на грустные мысли не только о судьбе последнего, но и о чемодане. Бэрл готов был поклясться, что слежки за ним не было ни на вокзале, ни на пути в отель. С другой стороны, навряд ли они опустили бы его просто так, без всякого сопровождения, полагаясь лишь на его неременный приход в «Мемфис». Следовательно, сопровождение находилось в чемодане, пластиковое такое сопровождение, все в разноцветных красивых проводочках... Помимо всего прочего, молчание Махмуда должно было уже обеспокоить его революционное начальство. По всему выходило, что надо сматывать удочки и поскорее.

Бэрл открыл минибар и удовлетворенно хмыкнул. Весь ассортимент был в наличии. Хоть чем-то вы хороши, братья- мусульмане - выпивку никогда не расходуете! Коньяки были представлены «Мартелем» - уже треть по счету бэрлово везение. Ох, надолго ли? Бэрл принял коньяк залпом, как лекарство и, захватив две другие бутылочки, подошел к девушке.

«Эй, подружка, - он осторожно потряс ее за плечо - Кончай с этим пляжным настроением, так ведь и совсем обгореть недолго». Бэрл открыл второй «мерзавчик» и аккуратно влил его в запекшийся полуоткрытый рот. Девушка дернулась и, рывком приподнявшись, вперилась в Бэрла диким взглядом загнанной лисицы.

«Шалом, сестричка, - быстро сказал он на иврите - Поехали домой. Все кончилось. Домой».

Он повторял слово «домой», как заведенный, на все лады и со всеми интонациями, пока она не кивнула.

«Ну вот и хорошо, вот и ладно. Только сначала мы должны заняться твоей спиной. А нет ли у тебя тут крема какого?»

Неожиданно она снова кивнула: «Есть от загара в сумочке...»

«От загара?!» Бэрл хрюкнул, подавляя приступ неуместного смеха, но тщетно - невероятное напряжение последней четверти часа неудержимо рвалось из него наружу лавиной гомерического хохота, и уже не сопротивляясь ему, он рухнул на пол между безучастными «Гуллитом» и Махмудом и заржал, захлебываясь и повизгивая, так, как не ржал еще никогда за всю свою непростую тридцатилетнюю жизнь. Она смотрела на него, катающегося по полу между трупами ее мучителей, и страх сменялся в ней недоумением, затем - обидой и, наконец, подхваченная вулканическими извержениями бэрлового гогота, она засмеялась сама, неуверенным, маленьким целебным смехом.

С трудом овладев собой, Бэрл делал помогающий в таких случаях глубокий вдох, когда она крикнула ему с кровати: «Что ты ржешь, идиот? Что ты видишь смешного во всем этом, кретин?»

По сути, она, конечно, была более чем права, учитывая ситуацию с тремя еще теплыми трупами, адской машиной в чемодане и Абу-Айядом на подходе, не говоря уже об исчезнувшем напарнике и сожженной

сигаретными окурками спине. Все это вместе и даже каждая деталь в отдельности не располагали к веселому настроению. Тем не менее, Бэрл, уже совсем было справившийся со смехом, зашелся по-новой.

«Дура... - задушенно выдавил он. - От загара... в феврале... в Амстердаме... зачем, мать твою? в феврале.»

И снова он накатывал тяжело груженные эшелоны смеха, впрочем, все более и более замедлявшие ход, пока, наконец, дробный стук их колес не сменился предвещающим близкую остановку медленным дра-бэд-даном с оттяжкой.

И пока он, все еще похрюкивая, вытирал мокрые от слез глаза, она вдруг осознала свою наготу, полную наготу, в чем мать родила двадцать один год тому назад, в чем оставили ее два этих подонка, гадские педики, педики, фаготы сраные, они даже изнасиловать ее не смогли, бэдуны, не встал, и они мстили ей за это туша об нее окурки и тыча в пятки электрическим проводом. Забытая на кровати бейсбольная бита легла ей в руку легко и удобно. Первым ударом она выбила Махмуду нижнюю челюсть Это было классно. Наотмашь - хрясть... И еще... и еще разочек. Она ощущала, как веселая истерическая сила рождается в ней с каждым ударом, пузырится, растет... хрясть... падлы.

Бэрл, сидя на полу, с серьезным и сочувственным выражением наблюдал за процессом обезличивания борцов за свободу Палестины. К этому примешивалось новое чувство - он вдруг осознал, что любит ее, дикой, неистовой, голой, ладно скроенной Валькирией, или как там - Брунхильдой, или... а черт, что за дребедень... время-то, время-то уходит... Он привстал, счастливо миновал молодецкий отмах биты, и ухватил Валькирию за плечи: «Ну все, все... эк ты раздухарилась... отдохни чуток».

Она выронила биты и, разом обмякнув, повисла у него на руках. Она всхлинула - раз, другой, как первые капли ливня, потом чаще и чаще, сплошным захлебывающимся разговором и - зарыдала-заплакала, по- детски захватывая воздух, лепеча, жалуясь, повизгивая, скуля, как придавивший лапу щенок. Бэрл повернул ее к себе и гладил по голове, приговаривая что-то невразумительно-шипящее: «ну что ты... что ты... что ты... »

Она и перестала плакать, как ливень - разом, с редкими судорожными всхлипами тут и там.

«Что? - спросил он, поняв наконец, что она говорит какой-то осмысленный текст, а вовсе не всхлипывает, как это ему казалось по инерции. - Что ты сказала?»

«Крем в сумочке... Ты хотел крем... от загара... » И они оба рассмеялись почти счастливым смехом, легким, как смех влюбленных.

«Ложись на живот», - сказал он неожиданно севшим голосом. Она медленно отстранилась от него и подошла к кровати. Не глядя на Бэрла, она ощущала на своих бедрах и ягодицах его потяжелевший взгляд. Этот взгляд, как грубая горячая ладонь, ложился на ее тело, глядя и обжигая, и саднящая боль от сигаретных ожогов, казалось, только усиливала эту нарастающую тягучую ласку.

Бэрл откупорил третий «мерзавчик». Он вылил водку в горсть и, помедлив, выплеснул ее на распростертую перед ним, напряженно ожидающую спину.

«А-ах...» Оба знали, что в этом стоне было меньше боли, чем наслаждения. Бэрл выдавил крем на обе ладони и возложил их на бушующую перед ним стихию. Он знал, что каждая лишняя минута, проведенная в этой комнате, может оказаться смертельной; он почти физически слышал тиканье механизма в валяющемся под столом чемодане; он представлял себе Абу-Айяда с десятком молодых, подъезжающих на двух мерседесах, кроватные маски мертвых арабов скалились на него с пола - но он так же знал, что другая, намного более мощная сила подчиняет его себе в эту минуту, управляет его руками, распирает его чресла.

Она выскользнула из-под его ладоней, как волна из-под борта лодки, опрокинула его на спину, выплеснулась на грудь, затопила лицо в омуте волос. Он чувствовал ручьи ее рук, текущие по его телу - везде сразу, вытягивающие его навстречу этому сладкому и вихрящемуся водовороту, и он весь потянулся туда, навстречу, и пропал и пропал и пропал...

А она соскальзывала вверх по крутой спирали через невероятную череду взрывов и судорог к последнему ослепительному пику, сияющему в ее черно-белом, мерно раскачивающемся мозгу. Уже почти добравшись до него, она вдруг изогнулась дугой и, обернувшись, поймала глазами остекленевший махмудовский взгляд. И тогда уже, как будто получив последний толчок от глазющего на нее мертвеца, она наконец зашла, забила в бесконечной пульсирующей вибрации, сотрясающей оба их истекающих любовью тела.

«Как тебя зовут, валькирия?» - спросил Бэрл, когда комната перестала качаться и плыть перед глазами, и вещи мира медленно, но верно начали возвращаться на свои места.

«Ноа, - соврала она. - А тебя?»

«Моше, - соврал он, по кусочкам собирая себя. - Надо бы нам сматываться, Ноа. Странно, что мы еще живы...»

Пока она одевалась, собирая уцелевшие вещи, Бэрл колдовал над чемоданом. Телефон зазвонил, когда, вооружившись полотенцами, они обходили номер, тщательно стирая возможные отпечатки.

«Все, - сказал Бэрл. - Уходим. У нас есть не более минуты.»

Перед тем, как захлопнуть дверь, он пристроил к ней нехитрую конструкцию из стула, поясных ремней и чемодана.

Спустившись по служебной лестнице, они оказались на улице и быстро двинули в сторону парка. Они уже садились в такси, когда эхо сильного взрыва донеслось со стороны отеля.

«Что такое, бижу? - удивленно обратился Бэрл к водителю- африканцу. - Страдаете газами? Еще бы, глючные грибы - тяжелая пища...»

На набережной Амстеля Бэрл нашел телефонную будку и набрал номер. «Красный код», - сказал он по-английски в безмолвную трубку. Долгое молчание было ему ответом. Затем мужской голос спросил: «Где?» Бэрл ответил и отсоединился.

Через десять часов они сходили с трапа лондонского рейса в аэропорту Бен-Гурион. На выходе из самолета Бэрл задержался около стюардессы.

«Что ты ей сказал?» - спросила «Ноа», поджидавшая его внизу.

«Чтоб не плакала», - ответил Бэрл и ухмыльнулся.

2

«...и ух-мыль-нул-ся». Точка! Вот оно как, государи вы мои милостивые... Еще одну главу отбуцкал, отстругал, отбомбил. Еще семьсот зеленых американских тугриков в бездонную прорву моего дырявого кармана. Спасибо тебе, Бэрл, лапочка, детище мое ненаглядное, за хлеб, за башли. И подружке твоей безымянной спасибо отдельное, и Махмуду, и даже быстро продырявленному «Гуллиту»... Надо бы выпить по этому поводу. Шломо сунул ноги в раздолбанные тапки и зашлепал на кухню.

Дважды в месяц он отсылал по электронной почте несколько страничек приключений своего нестибаемого Бэрла. Кому отсылал? А черт его знает... Черт его знает, кто скрывался под безличной комбинацией цифр и знаков этого интернетовского адреса. Да и кому какая разница, если ровно через два дня на шломин перегруженный овердрафтом счет капали благословенные доллары. Капали, как капли воды в пересохшее горло. Как валерьянка сердечнику. Как водка алкоголику. В общем - кайф.

Если уж начинать с самого начала, то примерно год тому назад Шломо получил первое и пока единственное послание от своего неизвестного благодетеля. Скорее всего, получил его не только Шломо, но и сотни других мелких литработников из бесчисленных русскоязычных изданий, рассеянных сейчас, слава Богу, по всему свету. Послание содержало простое и понятное предложение - текст в обмен на деньги. Конечно, если текст окажется Благодетелю по вкусу.

Видимо, эта необычная для подобных писем простота и заставила его отнестись к предложению более-менее серьезно. Как правило, ведь получаешь по несколько раз на дню всякие красочные многословные простыни с идиотскими заголовками типа «Ваше будущее - в ваших руках» или «Сделайте ваш первый миллион» или еще чего в том же духе. Только, мол, вышлите нам рупь-два или шекель-три, а еще лучше - доллар-четыре в качестве вступительного взноса...

Нет, никакого такого жульничества в письме Благодетеля не содержалось. Текст в обмен на бабки, да и только. Ну разве что еще одно небольшое условие: полный, решительный и бесповоротный отказ от любых авторских прав. Как с младенцем от донорской мамы: родила, отдала, забыла. И пусть его ходит- гуляет дите где-то по белу свету - сначала в коляске, потом своими ножками, а то и в белом лимузине с лазурными занавесками - чур не искать, справок не наводить... Да может, и помер он уже, ребеночек, на втором месяце от дифтерита - кто знает? Кому надо, тот и знает, только не мамаша-донор. Этой - заказано.

Тяжело, а? Мамаше-то, может и тяжело, а вот Шломо - нисколечко. Потому как свои претензии на мировую славу он похоронил давно, не помнил даже, когда. Скорее всего, и не было у него таких претензий с самого рождения. Точно, не было. Не в его характере. Как есть он мелкий журналюга... да, в общем, и не журналюга даже, скорее - корректор, невеликая такая, легко- заменяемая техническая деталька в невеликом, легкозаменяемом механизме мелкой русскоязычной газетенки. В общем, не было у Шломо проблем с этим условием. Хотя иногда смерть как хотелось узнать - что с ним происходит, с Бэрлушкой ненаглядным, там

- на другом конце провода? Небось, тискают его из номера в номер в каком-нибудь «Урюпинском Вестнике» или в «Питтсбургском Русачке», а то и в «Русопятом Новозеландце» или еще в какой параше... Бог весть, и слава Богу.

Так рассуждал себе Шломо, да и, по совести говоря, выбора у него не было - уж больно он тогда с деньгами зашился. Думал даже сменить свою работу в редакции на что-нибудь более денежное и менее вонючее

- скажем, на должность уборщика в общественном туалете. Катка тогда снова потеряла работу, доченька дорогая как раз демобилизовалась и бредила путешествием в Латинскую Америку, машина сломалась, чеки возвращались, с потолка и из носа текло... короче, жизнь раем не казалась. Вот и схватился Шломо за благодетелево предложение, как пьяная шалава за соломинку. Так родился Бэрл. Вышел он молодцом на загляденье, просто вылитый Джеймс Бонд, аккурат для Урюпинска. Причем, чем гаже тогда было автору, тем круче мочил Бэрлушка своих супостатов. Такая вот интересная закономерность.

В общем, отправил он тогда Благодетелю первую порцию. А через пару дней пришел перевод. Так все и закутилось.

Шломо в задумчивости стоял на кухне, прикидывая варианты. Для виски было еще рановато, не говоря уже о коньяке. Водка?.. джин?.. текила?.. в девять утра все это решительно не канало. По - собачьи склонив голову набок, Шломо тщательнее вслушался в себя... нет, даже портвейн не подходил. Оставалось пиво. Но пива как раз таки не было! Вздохнув, он полез в холодильник за кефиром.

Шломо Вельский проживал в земном пупе - Золотом Иерусалиме, а точнее - в одной из самых потных складок пупа, известной под названием «Мерказуха». Этот памятник архитектуры победившего сионизма более всего походил бы на муравейник, когда бы Великий Бог Зданий, смягчив свое каменное сердце, даровал ему чуть больше порядка и чуть меньше суеты, крикливой и бестолковой. Мерказуха была построена в новом иерусалимском квартале Гило в конце 70-х с благородной целью первоначальной

абсорбции репатриантов. Подойдя к делу вполне идеологически, авторы проекта решили воплотить идею Алии архитектурными средствами. Прежде всего, они трактовали алию как сугубо индивидуальное в духовном плане дело, что отразилось в наличии отдельного выхода на улицу для каждой репатриантской семьи. Понятно, что реализация этого принципа в условиях большого четырехэтажного здания требовала огромного количества внешних лестниц. Но это не пугало вдохновенных архитекторов, тем более что обилие устремленных в синь иерусалимского неба ступенек прямо ассоциировалось с идеей алии как восхождения, а для особо образованных в еврейском вопросе порождало глухую, но многозначительную внутреннюю переключку со знаменитой лестницей Иакова. В итоге получилось, что и говорить, кучеряво. Как известно, главным строителем древнего Израиля был царь Ирод. Возможно, поэтому многие жители Мерказухи именовали создателей своего жилища емким словом «ироды»...

Пока Мерказуха была молода, ей многое прощалось - и лестницы в том числе. Да и не предназначалась она для постоянного обитания. Слегка оперившись и научившись худо-бедно чирикать на иврите, репатриантские семьи выпархивали из нее, как из гнезда, навстречу своему светлому сионистскому будущему. А затем и вообще, как сказал поэт, «грязнули всякие хренации». Русские вошли в Афганистан, мир, пожимая плечами, учил нелепые слова «баб-рак», «кар-маль»... кончилась репатриация. Опустела Мерказуха, обветшали, осыпались бетонные ступеньки знаменитых лестниц, заржавели железные перила, зашуршали мышки под задыбевшим линолеумом пустых комнат; только зимние ливни навещали их через прохуdivшуюся крышу, да нахальный западный ветер стучал в окно полуотвалившейся трисой. Прошла жизнь, отшумела, как крепдешинное платье последней москвички, и поникла бедная Мерказуха, как нестарая еще вдова в безмужнем военном захолустье.

И когда казалось, что уже все - конец бедняжке, уже загорелые строительные подрядчики причмокивали толстыми губами на хороший участок, уже здоровенный амбал-бульдозер точил на нее свой хищный нож на соседнем пустыре - как - оп... вновь крутанулось над нами непонятное колесо, дернулись приводные ремни, скрипнули шестеренки, кто-то качнул лысым, чертом меченым лбом, кто-то начал, по-ставропольски упирая на первый слог, процесс, и процесс пошел, и пошел, и пошел... Началась Большая Алия 90-х. Мерказуху подремонтировали на скорую руку, залатали видимые миру раны, и загудела она пуще прежнего.

В числе прочих прибыл туда и Слава Вельский с женой Катей и десятилетней дочерью Женькой. Впрочем, к моменту прибытия в Мерказуху его уже звали Шломо. Произошло это по причине пересыхания горла у чиновника министерства абсорбции, заполнявшего в аэропорту бланки славинных документов. Чиновник был лыс, прокурен и сер от бессменных ночных вахт - олимовские рейсы прибывали тогда с головокружительной частотой. Мучительно отпершиваясь, он потянулся к стоявшей перед ним чашке остывшего кофе и, глотнув разок-другой, откинулся на спинку стула, позволяя себе минутное расслабление. Теперь, после того, как он отключил свой канцелярский автопилот, в нем даже появилось что-то человеческое.

«Значит, Вячеслав Бельский, - протянул он, насмешливо глядя на Славу. - Ты что, из бояр? Это твой дедок с Иваном Грозным переписывался?» «Нет, - жалобно ответил ему совершенно измученный и оттого также находившийся на автопилоте Слава.

— Нет. Из Бельц мы, оттого и Бельские. А с Грозным Курбский переписывался. Курбский, а не Бельский»

«О'кей, - прервал его израильтянин и вернул чашку на место.

— Не переписывался, и ладно. Да если и переписывался не мое это дело. Максимум - ШАБАК спросит» Он улыбнулся «Пусть будет Бельский. Но «Слава» - это уже чересчур, особенно в сочетании с Бельским. Давай запишем тебя «Шломо» а? Самое то, по-моему... Ну?»

Рука его зависла над бланком. Слава мучительно соображал. Неясные клочки мыслей прыгали в его гудящей голове по полотну огромного плаката, на котором аршинными буквами значилось: «ХОЧУ СПАТЬ!!»

«Ну что, решайте! - нетерпеливо подогнал его чиновник, переходя отчего-то на «вы». - Люди ждут». Знакомая формула вывела Славу из ступора, и он послушно кивнул. Ручка коршуном упала на бланк. Новоиспеченный Шломо дурак дураком вышел к жене и дочке. Сначала он комплексовал: как, мол, друзьям сказать, то да се. А потом привык. Какая, в общем, разница? Хоть горшком назови, только в печь не ставь.

В печь - не в печь, а в Мерказуху-то он угодил. Да так в ней и остался. Все как-то недосуг было съезжать на съемную квартиру, да и денег лишних не наблюдалось. А как пошла на убыль Большая Волна, и цены на жилье подскочили чуть ли не втрое тут и подкатились власти к уцелевшим обитателям Мерказухи с заманчивым предложением Мол, не купить ли вам люди добрые, занимаемые вами квартирки, да по бросовой цене?

Подумал Шломо, подумал, да и согласился. И то - какая ни есть конура, а своя. Да и прижились они тут как-то, все вокруг привычное, каждый угол знакомой собакой пахнет Люди вокруг все свои, родные - Софья Марковна, Гриша с Ксюшей, Сеня... да мало ли.

Шломо допил свой кефир и стал собираться.

Час пик уже миновал, дети загнаны на школьные лавки, но утро еще держалось на пустых улицах Гило во всей своей зимней прозрачной иерусалимской свежести Шломо кивнул знакомому шоферу и сел у окошка. Пришепетывая пневматикой и припадая на передние колеса, автобус спускался с крутой гиловской горы в сторону Пата. Черный поджарый BMW-кабриолет, торопясь «украсть» светофор, резко обогнал их справа, срезал угол взвизгнул, хлопнул и, накагив на перекресток в последнее желтое мгновение, исчез в направлении Малхи.

«Видал этого придурка? - сказал шофер, призывая Шломо в свидетели. - Совсем сдурели, ездят, как хотят. И полиции нет на него, обрати внимание. Стоят где-нибудь, маньяки втюхивакл почем зря рапорты честной шоферне...»

И досадливо замолчал, вспомнив сокровенное.

3

Бэрл торопился на встречу. На спуске с Гило какая-то дура тормозила его по левому ряду. Пришлось обгонять автобус справа. Срезав угол, он успел проскочить светофор почти вовремя и погнал дальше, в направлении Малхи.

Прошло уже почти 14 часов с момента его возвращения после амстердамского провала. Как и было предусмотрено чрезвычайной инструкцией, он расстался с «Ноа» до паспортного контроля, намеренно задержавшись, чтобы исключить любую возможность зрительного контакта со встречавшими ее людьми. Самого Бэрла не встречали. Взяв такси до Центрального автовокзала в Тель-Авиве, он погулял там с четверть часа и рейсовым автобусом вернулся в Иерусалим. Когда он добрался, наконец, до своей постели в доме на улице Шамир, сил у него осталось ровно на то, чтобы скинуть ботинки. Он заснул, не раздеваясь, ему снилась вывороченная шея Махмуда, голая «Ноа» с бейсбольной битой в руке и незнакомый утопленник на дне амстердамского канала.

Мудрец позвонил в половине девятого.

«Шалом, Бэрл, - сказал он, сильно картавя и растягивая гласные. - Как Ваша голова?»

«Не страшно, Хаим, - ответил Бэрл. - Мальчишки всегда набивают шишки. Но вы не волнуйтесь: мамочка прикладывает к моим синякам холодные пятаки и жалеет своего бедного крошку».

Мудрец хмыкнул: «Я так понимаю, что большую порцию жалости вы получили еще там».

Бэрл промолчал. С другого конца провода донесся неприятный смешок: «Э-э, да дело, видимо, серьезнее, чем я полагал...»

«Послушайте, Хаим, - сказал Бэрл, слегка выведенный из равновесия. - У меня нет ни малейшего понятия, о чем именно вы сейчас говорите. Этот факт, вкупе с некоторыми другими недавними событиями, наводит меня на мысль о том, что не вредно было бы нам потолковать о том о сем... и как можно скорее».

«Конечно, конечно, Бэреле, - заторопился Мудрец, - собственно, затем- то я и звоню...»

«Тогда какого же болта ты мне сейчас мозги компостируешь, старый ты мудозвон?!» - мысленно заорал Бэрл, но вовремя сдержался. Нет уж, жирно будет, такого удовольствия старому хрену он не доставит...

Он перевел дыхание и спросил: «Через час вас устроит?»

«Договорились», - ответил Мудрец несколько разочарованно.

Когда Бэрл подъехал к террасе ресторанчика в промышленной зоне на Гар-а-Хоцвим, Мудрец уже сидел там, меланхолически двигая по столу стакан тыквенного сока. Бэрл сел и заказал «Хейникен» Рассказ его занял не более десяти минут. Закончив, он залпом допил пиво и махнул повторить.

Мудрец молчал, изредка смачивая губы в своем стакане, маленький плюгавый старичок лет семидесяти, с венчиком пегих волос, окаймляющих обширную лысину. На седловине мясистого кривоватого носа плотно сидели массивные очки с неправдоподобно толстыми стеклами. Стекла были какие-то особенные, фигурные, с дополнительными накладками, и оттого спрятанные за ними глаза Мудреца превращались в далекие неуловимые точки, прыгающие туда-сюда в рамке роговой оправы.

«Вы знаете, Бэрл, - сказал он наконец. - Мы таки имеем не маленькую проблему. Вас в Амстердаме ждали, а это означает, что кто-то дал им информацию. Это во-первых».

Мудрец снял очки и потер переносицу. Обнаружились карие глаза навывкате. Лишенные многослойной стеклянной брони, они выглядели по-детски незащитными.

«Во-вторых, - продолжил Мудрец, - вас не убили сразу, значит, рассчитывали вытрясти из вас кое-что новое. О чем это говорит?»

Он вернул очки на привычную позицию, и теперь его зрачки снова суетились, как две сумасшедшие белки Бэрл молчал. Он вообще предпочитал не отвечать на дурацкие вопросы. Общение с Мудрецами требовало немало терпения и выдержки, прежде всего из-за их преклонного возраста Бэрл вздохнул и присосался к горлышку бутылки, всем своим видом показывая, что сотрудничать он не намерен. Не дождавшись ответа, Мудрец с неудовольствием хмыкнул.

«Я скажу вам, молодой человек, о чем это говорит. Это говорит о том, что утечка произошла во внешнем круге. Разумеется, возможно, затронута и внутреннее кольцо, но вероятность этого невелика. Иначе вы бы уже плавали в Амстеле лицом вниз». Последнюю фразу старик произнес с видимым удовольствием.

«Фу, как мелко», - подумал Бэрл. Он зевнул и посмотрел на небо. «К вечеру дождь обещали, - рассеянно заметил он. - У вас как - кости не ломит? Я слышал, что к девяноста годам старики чувствуют изменение погоды лучше любого барометра...»

«Боюсь, что вам не суждено удостовериться в этом на личном опыте, - парировал Мудрец и обиженно нахохлился. - Вы и до моих-то шестидесяти семи не дотянете»

«Врет, собака, - подумал Бэрл. - Наверняка ему под семьдесят пять». Внезапно ему стало смешно - нашел с кем заводиться. Он примиряюще улыбнулся. «Ладно, Хаим, не будем ссориться, Давайте-ка лучше прямо к делу, чего там петлять вокруг да около»

Мудрец погрузился еще больше. «Видите ли, Бэрл, - произнес он, потупившись и глядя в сторону - Дело и в самом деле неприятное. С одной стороны, вовлечено не так уж много людей. Во внешнем круге операция касалась всего пятерых, из них двое - исполнители...»

«Кстати, что со вторым?» - прервал его Бэрл.

«Мертв, как и следовало ожидать, - кивнул старик - Сегодня утром полиция обнаружила тело...»

Он вздохнул и выложил на стол дискетку. «Вот досье на всех пятерых».

Бэрл молча сунул дискетку во внутренний карман куртки.

«Поверь. Бэреле, - продолжил Мудрец, - мне крайне неприятно возлагать на тебя эту грязную работу, но обстоятельства не позволяют использовать кого-нибудь другого. Ты уже засвечен в этом деле, тебе и разгребать».

«Полномочия?» - спросил Бэрл, ощущая непонятный подъем не вязавшийся с похоронным настроением Мудреца.

Старик вздохнул. «Я вижу, ты не совсем меня понял. У нас нет времени на выяснение вопроса - кто именно из пятерых является источником. Поэтому Совет не будет возражать против любого решения, даже если пострадают невинные».

«Секундочку, - сказал Бэрл, не веря своим ушам. - Вы хотите, чтобы я убрал всех четверых? Даже если они свои в доску?»

Мудрец поднял голову и распрямылся. Теперь его прыгающие зрачки скакали прямо по бэрловому лицу.

«Да, - сказал он твердо. - Да. Именно так, уважаемый Бэрл. Если вы хотите видеть Протокол, я могу вам его представить».

Некоторое время оба молчали. Затем Мудрец протянул руку и вынул газету из висящей на спинке стула сумки. Он развернул ее на нужном месте и протянул Бэрлу.

«Не знаю, успели ли вы просмотреть сегодняшние газеты. взгляните...»

Бегло просматривая газетный лист, Бэрл не сразу обратил внимание на маленький заголовок в углу. «Смерть в Амстердаме» Ну-ка ну-ка...

«Вчера, около семи часов вечера, французский финансовый магнат Жак Фредж был доставлен в больницу с тяжелым инфарктом. Сообщается, что он умер, не приходя в сознание. Ливанец по происхождению, Фредж приобрел скандальную известность своими связями с торговлей оружием и открытым финансированием террористических организаций.

Обвиняли его и в причастности к отмыванию исламских наркоденок из Афганистана, Ливана и Сирии...»

Бэрл вопросительно посмотрел на Мудреца. Тот кивнул.

«Ваш клиент. В Амстердаме у вас был дублер, как всегда. Вы же знаете, мы никогда не кладем все яйца в одну корзину. Нельзя было позволить Фреджу заключить эту сделку.»

Это не было для Бэрла особенной новостью. Он и сам нередко исполнял роль дублера, не зная об этом до самой последней минуты. И так, дело сделано. И слава Богу. Он испытывал смешанное чувство ревности и облегчения от сознания того, что его личный провал не повлиял, в конечном счете, на результат.

Мудрец смущенно кашлянул, выводя его из раздумья.

«Я только хотел напомнить тебе об этом, Бэреле. У тебя всегда есть дублер. Всегда. И в этом деле - тоже». Он ткнул пальцем в направлении кармана бэрловой куртки, где лежала дискета.

«Сделай то, что надо и побыстрее, иначе это сделают за тебя. Мы не можем рисковать». Мудрец встал.

Бэрл лихорадочно соображал «Подождите, Хаим, - остановил он старика. - Я могу попросить вас об одном одолжении? Дайте мне неделю. Всего лишь одну неделю».

«Зачем тебе неделя, ингеле? - мягко спросил Мудрец - Что ты успеешь, один, за эту неделю?»

«Если я найду вам источник, не надо будет убирать остальных, - сказал Бэрл, глядя в сторону - Зачем вам лишняя кровь?»

«Остальных... - эхом отозвался Мудрец - И ее, в первую очередь...»

Он покачал головой и взял сумку.

«Три дня. Я даю тебе три дня. Поверь мне, и это - чересчур. Ты ведь прекрасно знаешь, во что обходятся нарушения Протокола... Но имей в виду - на четвертый день в дело включается дублер».

Подшаркивая, он обошел стол и погладил Бэрла по плечу. «До свидания, ингеле. Постарайся не совершать глупостей».

Бэрл остался сидеть на террасе, задумчиво вертя в руке пустую пивную бутылку. Наконец он поднялся, положил на стол банкноту и медленно пошел к выходу. Бармен окликнул его изнутри: «Эй, приятель!»

Бэрл обернулся. «Не грусти, все образуется», - крикнул бармен и жизнерадостно заржал.

Бэрл покрутил головой. Видать, и впрямь, дело - не фонтан. Он вошел внутрь кафе и сел у стойки. Бармен, ухмыляясь, глядел на него. Кафе было пусто в этот неопределенный час между завтраком и ланчем.

«А есть ли у тебя «Мартель», бижу? - спросил Бэрл. - налей - ка мне порцайку».

«Квартиру у него покупаешь? - осведомился бармен, наливая коньяк в широкий низкий бокал. - Не стоит. Я у этого деда даже пердячий газ покупать бы не стал, хотя это, вроде, единственный качественный продукт, который он может предложить».

И он снова заржал, по-лошадиному качая головой и постукивая по стойке короткопалыми верхними конечностями.

«Это почему же?» - спросил Бэрл, пересиливая раздражение.

«Да ведь сразу видно - жук он! - сказал бармен, отсмеявшись».

Жучила, каких мало. Ты бы у него под пальтом проверил - у него ведь там, небось, панцирь, как у скарабея. А глазки-то, глазки, так и бегают... и каждый сам по себе. Жук, одно слово»

Бэрл молча допил коньяк и потянулся за салфеткой. Так же молча он сложил салфетку вдвое и широким жестом припечатал ее к стойке прямо перед барменом. «Получи, бижу, - сказал он, вставая со стула и направляясь к выходу. - Сдачи не надо».

«Эй, приятель, - завопил бармен, опомнившись. - А кто платить будет?»

«Ты что, сдурел? - нахмурился Бэрл. - А это что?» Он указал на салфетку.

«Это ты шутишь так, да? Это же не деньги!»

Бэрл вразвалку вернулся к стойке и взял бармена за локоть.

«Послушай, бижу, - сказал он почти ласково. - Я согласен, что это не деньги. Но и то, что ты налил мне в стакан, тоже трудно назвать «Мартелем». Посмотри мне в глаза, бижу, и скажи, что я не прав. Ну? Что же ты молчишь, большеротый?»

Бармен и в самом деле не находил слов, разевая рот, но не издавая ни звука. Доводы Бэрла звучали достаточно веско, но еще убедительнее была железная хватка бэрловых пальцев на нервных узлах локтевого сустава.

«Надеюсь, ты не обидишься, бижу, если я истолкую твоё молчание как знак согласия?» - спросил Бэрл и ослабил хватку. Бармен поспешно кивнул.

«Вот и славно, - заключил Бэрл, отпуская барменский локоть - Но предупреждаю тебя на будущее, бижу. Если ты еще раз нальешь мне местную бурду вместо «Мартеля», это меня очень разочарует. Очень. Будь здоров».

Бармен молча смотрел ему вслед. Он видел как Бэрл пересек террасу, спустился по ступенькам на улицу, сел в свой кабриолет, как он тронул и, педантично остановившись на «стопе», вырулил на главную дорогу. Лишь после того, как черный задок машины окончательно скрылся из виду, бармен взял оставленный Бэрлом бокал и задумчиво взвесил его в руке. Потом он облизнул губы и тихо сказал одно только слово: «дерьмо».

Потом он подумал и добавил еще тише: «Тебя бы на мое место, дерьмо, со всеми этими сраными налогами, дерьмо, посмотрел бы я, как ты крутился бы. Дерьмо».

Вернувшись домой, Бэрл включил компьютер. Ее звали Дафна, эту «Ноа». Дафна Шахар, 21 год, город Ашдод; два года службы в пограничных войсках; учится на подготовительных курсах в Тель-Авивском университете.

Ее напарник, Гай Царфати, 26 лет, житель Пода, демобилизованный лейтенант «Голани»; после армии больше года болтался по Латинской

Америке: в настоящее время - без определенных занятий. Был без определенных занятий.

Оба они, Дафна и Гай, подрабатывали в частной сысковой конторе «Стена». Владельцами «Стены» числились два других героя досье - Ави Коэн, 37 лет и Арик Зисман, 42, оба - выходцы из элитных боевых частей, у обоих - по несколько лет работы в израильской полиции, Зисман к тому же в течение трех лет подвизался в качестве военного советника в Нигерии.

Пятый, Исраэль Лейбович, 69, уроженец Польши, чудом уцелевший в Катастрофе, проживал в Хайфе на скромную пенсию бывшего кладовщика Электрической Компании.

Покончив с досье, Бэрл плеснул себе коньяку и вышел на балкон. Грея бокал в руках, он обмозговывал ситуацию. Как и следовало ожидать, схема была простой и эффективной. Лейбович получал задание от Мудрецов, скорее всего, не напрямую, а через одного или двух посредников. Затем он передавал детали агентству «Стена». Ави и Арик задействовали своих дешевых агентов. Учитывая простоту задачи - тут снять гостиничный номер, там оставить конверт в камере хранения, все выглядело достаточно невинно, и не вызывало никаких опасений у будущей студентки и ее несчастливого напарника. Скорее всего, хозяева «Стены» толкали им какую-нибудь ляльку о слежке за обманщицей-женой... Бэрл покачал головой, представив себе изумление Дафны при виде вломившихся в комнату арабов...

Впрочем, и Ави с Ариком знали немногим больше. Правда, в отличие от Дафны и Гая, они могли догадываться об истинных целях операций. Постфактум, по сообщениям газет, типа сегодняшней «Смерти в Амстердаме»... Бэрл вздрогнул. Вот оно! Для Исраэля, Арика и Ави операция прошла успешно. Они не должны были знать, что, на самом деле, задачу выполнила дублирующая группа. Нельзя ли сыграть на этом?

Бэрл опустил лицо к бокалу. Теплая щекочущая виноградная волна хлынула в его ноздри. Он закрыл глаза. План уже наклеивался у него в голове, как первый стук робкого мягкого клюва по внутренней поверхности яйца.

4

Шломо ждал Сашку Либермана на углу Кошачьей площади. Они договорились пообедать в расположенном неподалеку грузинском ресторанчике. Сашка опаздывал, и Шломо нервничал, поминутно поглядывая на часы. Обеденный перерыв подходил к концу. Обычно такие мелочи мало волновали работников «Иерусалимского Вестника», но неделю назад в газете сменился очередной редактор - пятый за последние два года, и это естественным образом вызвало прилив дисциплинарной активности. Шломо вздохнул. С другой стороны, договариваясь с Сашкой, смешно было рассчитывать на какие-то временные рамки, так что - кончай мохать, парень, лучше покорись судьбе, целее будешь. Шломо еще раз вздохнул и покорился. И действительно, сразу как-то полегчало. Он еще раз прошелся по маленькой площади, разглядывая молодую веселую тусовку вокруг лотков с бусами, браслетами и прочей культовой молодежной бранзулеткой.

Ему вдруг вспомнился Питер семидесятых и дымный «Сайгон», где прошла их с Сашкой прекрасная юность; подружек с болгарскими сигаретками «Родопи» на отлете изящного одрихэпбернского жеста; их

самих, небрежно перекатывающих по углам презрительного рта круто заломленную «Беломорину»; крашенные джинсы-самопалы, битлов, сухое вино, белые ночи, кухонные споры, самиздат, дикие молодые пьянки с приключениями «Эй, Славик!» - окликнул его сашкин голос, окликнул оттуда, из щемящих глубин тридцатилетней давности, с угла Невского и Владимирского.

«Эй, Славик!» - Шломо вздрогнул и обернулся. Конечно... какой, к черту, угол Невского... Вот он Сашка, собственной персоной, во плоти и крови, поспешает вниз по улице Йоэль Моше Соломон, вот он выкатывается на Кошачью площадь, пыхтя и виновато разводя руками, издали бормоча пока не слышные Шломо слова оправдательной речи по поводу своего получасового опоздания. «...крыли все движение на Яффо... очередной подозрительный предмет... пришлось пешком, даже бежал три квартала. Ну привет, чувак...» Они расцеловались.

Как это происходило всегда, при виде Сашки шломина злость стыдливо скукожилась и убежала прятаться. Их знакомство началось лет тридцать тому назад, в восьмом классе сосновополянкой школы, куда Сашка пришел, переехав вместе с родителями из коммуналки на Герцена. Единственные евреи в классе, они быстро сошлись, но вехой, отмечающей начало их настоящей дружбы, оба считали драку осенью 73-го, когда на перекуре в школьном дворе Мишка Соболев сказал им с растяжкой, через слово сплевывая сквозь редко поставленные зубы: «Ну что, жида, пригорюнились? Щас-то вам болты ваши обрезанные поотрывают...» И все вокруг засмеялись, включая девочек. В Земле Израиля грохотала Война Судного Дня, и советская пресса радостно хоронила «сионистское государство».

Сашка полез в драку, не раздумывая. Шломо присоединился к нему вторым номером, не очень, впрочем, понимая, зачем он совершает столь безрассудное, ввиду явного неравенства сил, действие. Как и следовало ожидать, их побили, не сильно, но унижительно, на глазах у всей школы. Когда они отмывали в туалете грязь, кровь и сопли с разбитых лиц, Сашка сказал глухо: «У меня там сейчас старший брат. Танкист». И снова сунул под кран свою кактусообразную курчавую голову. Так в шломину жизнь вошел Израиль, страна, существование которой он никогда до того не связывал с собой лично.

Потом они поступили в один и тот же вуз на избранную из практических родительских соображений специальность, не имевшую никакого отношения ни к уму ни к сердцу обоих. На последнем году, как раз перед дипломом, Шломо женился по беспамятной любви на красавице Кате Блейхман, со второго курса факультета машин и приборов. Женился еще и потому, что проект под названием «Женька», свет очей и радость жизни, уже наклюнулся в недрах неосмотрительного Каткиного живота.

Потом пошла обычная безысходная советская бодяга: жилищный вопрос, безденежье, тупое и бесплодное инженерство, безденежье, мучительные перемещения в потном набитом метро, безденежье, летние халтуры, тяжкий и выматывающий быт. На этом этапе пути друзей несколько разошлись. Холостой Сашка ударился в религиозный сионизм, бегал от КГБ, учил иврит, щеголял в не снимаемой ни при каких обстоятельствах кепочке и демонстративно отказывался от пива в Песах. Шломо же было как-то не до того. Слушая друга с подобающим уважением и даже время от времени кивая, он, тем не менее, в принципе не мог представить себе обстоятельств, оправдывающих добровольный отказ от пива.

Смешно, но в Израиле Шломо оказался прежде Сашки. Решение об отъезде он принял, по своему обыкновению, рывком, не отвлекаясь на долгие раздумья и взвешивания. Так он в свое время женился, так, еще раньше, прыгнул на Мишку Соболева в той приснопамятной драке. «Есть решения, к которым идешь всю жизнь, - так объяснял Шломо свою преступную легкомысленность. - Что уж тут обдумывать - и так все ясно». Все смотрели на него, как на идиота. В самом деле, кто ж едет в Израиль без мотоцикла?.. без пианино, на худой конец?..

В противоположность своему легковесному другу, Сашка готовился к отъезду долго и обстоятельно. Главной причиной задержки была необходимость жениться. Все в один голос утверждали, что ехать в Израиль одному совершенно не с руки. И хотя в свои тридцать три года был Сашка парень хоть куда, трудно жениться закоренелому холостяку. К тому же дело сильно осложнялось тем, что, в дополнение к обычным параметрам, невеста должна была иметь хотя бы минимальное понятие об иудейских религиозных обычаях. Помыкавшись около года, Сашка, наконец, женился. Дорога на Землю Предков была открыта.

В аэропорту Бен-Гурион его встречал родной Славка с чужим именем, чужой старший брат с именем родным и команда старых безымянных знакомцев по родным подпольным кружкам, все в кипах и при прежнем сионистском задоре. Сашка почувствовал себя витязем на распутье. Он пожил с месяцок у брата в Кфар - Сабе, кернул как следует со Шломо в Мерказухе, да и перебрался к своим кружковцам, в дальнее поселение Долев, к северу от Рамаллы, навстречу новой неизведанной жизни, ставшей, тем не менее, логическим продолжением прежнего диссидентства.

С тех пор они виделись нечасто. Когда Сашка, шумный, загорелый, кипастый, в клетчатой поселенческой рубахе навывпуск и с потертым «Узи» через плечо заявлялся к старому другу в Мерказуху, вслед за ним в железные двери мерказушного апартаментов зазскакивали непрошенные, незнакомые прежде недоразумения, отчего-то катастрофически мешавшие нормальному общению. Прежний отказ от пива в Песах трансформировался у нового Сашки в кашрут по всей форме. Так что застолья не получалось. А много ли пообщаешься без бутылка с закусоном? Ездить же в Долев - еще двадцать раз подумаешь... Путь неблизкий, да и страшновато как-то с непривычки. В те времена машины еще не обстреливали, но камни уже кидали, а то и бутылку с зажигательной смесью схлопочешь. Неприятно. Да и, честно говоря, Сашкина боевая подруга не очень-то Вельским показалась. Чужая какая- то... и губы на них, некошерных, поджимает. В общем, в гости не ходили, больше перезванивались.

Разве что шломина газетенка с грехом пополам удерживала этот почти развязавшийся узел. Дело в том, что Сашка пописывал. Забросив, как и Шломо, свою совковую инженерность, он прилепился к какому-то национально-религиозному издательству, редактируя на американские спонсорские деньги всевозможные

брошюры и книжки, подобные тем, что передавались в свое время из рук в руки в подпольных еврейских кружках. Параллельно с этим он состоял внештатным корреспондентом сразу нескольких «русских» газет, сея разумное, доброе, вечное на их обильно удобренных антигеморройной рекламой страницах. Сашкины статьи были напряженно-патриотичны. Он ругал правительство, причем, если левому доставалось по определению, то правому - за недостаточную правость; он разоблачал лживость и двуличие; он грозно клеймил, он едко высмеивал, он остро полемизировал; не было такой маски во всем политическом израильском балаганчике, которую бы не сорвала его безжалостная рука...

Шломино участие в политической полемике ограничивалось областью грамматики и синтаксиса. По многолетней привычке он относился к общественным процессам, как к погоде, со спокойным, наблюдающим фатализмом. Процесс выборов всегда был для него мучителен - в самом деле, имеет ли смысл голосовать за дождь? или за солнце? В итоге он, как правило, голосовал за тех, кто обещал меньше всего решительных перемен к лучшему. Правя сашкины статьи для «Иерусалимского Вестника», он особо не вникал в их привычное содержание. На вопросы - как понравилось - отвечал обычно, что да, понравилось, только вот на его, шломино, вкус, следовало бы смягчить излишнюю резкость высказываний, чему, впрочем, Сашка не следовал никогда.

Так они и жили, пока, наконец, поток сашкиных опусов не оборвался резко и необъяснимо. Поначалу Шломо, не читавший никаких газет, полагал, что Сашка отдает предпочтение другим изданиям, обходя «Вестник» по каким-то своим, одному ему известным соображениям. Лишь много позже, когда общие знакомые стали недоуменно осведомляться, куда это запропал Саша Либерман, он понял, что происходит какой-то нестандарт и позвонил Сашке. В ответ на заданный в лоб вопрос Сашка, помолчав, ответил: «Кризис жанра. Потом расскажу...» - и перевел на другое.

И вот сегодняшним утром, придя в редакцию и включив компьютер, Шломо обнаружил почту от Сашки. Почта содержала файл со статьей и короткий сопроводительный текст в три слова: «Позвони, когда прочтешь».

Прочтя статью, Шломо не стал звонить. Он поискал сигареты и, не найдя их на привычном месте, пошел стрелять у выпускающего редактора. «Что, опять? - удивился выпускающий. - Ты ж уже год как бросил...»

«И в самом деле...» - вспомнил Шломо и вернулся к своему компьютеру. Избегая смотреть на экран, он начал наводить тщательный флотский порядок на вверенном ему столе.

«Шломо! - звенящим шепотом сказала секретарша Леночка. - Шломо! Что случилось?» Шломо не реагировал. Впервые за шесть лет работы он убирал свой стол, ставший притчей во языцех именно по причине своей принципиальной, уникальной, фантастической никогда-не-убираемости. Леночка смотрела на него с: ужасом, как на инопланетянина. Закончив уборку, Шломо сел за» стол и произвел последние взаимные перестановки калькулятора, словаря и стаканчика для ручек. Потом немного подумал и переставил их еще раз, в обратном порядке. Потом он затаил и просто сидел минуту-другую, глядя на пустую поверхность стола, как тяжелоатлет, ухватившийся за гриф штанги и собирающий всего себя в единый комок воли перед последним, решающим штурмом. Затем, невероятным физическим усилием оторвав взгляд от помоста, он вытолкнул его на экран монитора, где по-прежнему красовалась статья его лучшего друга Сашки Либермана.

Он прочитал текст еще дважды и позвонил. Сашка снял трубку. «Славик? - угадал он. - Славик? Ну не молчи, говори что-нибудь...»

И впрямь, подумал Шломо, надо бы что сказать. Как-никак.

Он сказал: «Ты...» Потом сделал паузу и прибавил нецензурный глагол.

Сашка несколько нервно рассмеялся: «Эк тебя прорвало!»

«Да уж... - дар речи медленно возвращался к Вельскому. - Да уж...»

«Послушай, чувак, какой-то ты заторможенный сегодня - сказал Сашка, беря инициативу. - Давай-ка победаем вместе? В «Кенгуру». Что скажешь? В два, на Кошачьей площади. А? Обещаю ответить на все вопросы...»

«Да уж, - сказал Шломо. - В два».

Иерусалимские кафе переживали не лучшие времена. После серии терактов на центральных улицах люди предпочитали сидеть дома. Шломо и Сашка были единственными посетителями в этом популярном некогда ресторанчике. Они уже переговорили о здоровье, о женах, детях, перемыли косточки общим знакомым, посетовали на экономический спад... Оставалось поговорить о погоде. Нетерпеливый Сашка сломался первым.

«О'кей, Славик, - сказал он, будто отодвигая занавеску. - Давай не будем о погоде... Что ты думаешь о статье?»

«Не знаю, - сразу ответил Шломо. - Я просто не знаю, что мне об этом думать. Если все это, конечно, не шутка. Если это не хитроумная пародия на левую публицистику. Мол, смотрите, до какого абсурда можно дойти...»

«Что же показалось тебе абсурдным?» - Сашкин взгляд знакомо взерошился, как всегда перед началом принципиального, по его мнению, спора.

«Ну как... - протянул Шломо, сосредоточиваясь. - Возможно, слово «абсурд» тут действительно не подходит, но, по крайней мере, о полном выпаде из консенсуса можно говорить точно. Смотри - сейчас даже многие арабы не приравнивают сионизм к расизму. А по-твоему выходит, что это - близнецы-братья...»

Сашка потрянул головой: «Конечно, Славочка, а как же иначе? Это ведь как дважды два! Расизм - это разделение по расовому признаку, так? Это - раз. Сионизм - это государство только для евреев, а чтоб

другие - ни-ни, так? Это - два. Что получается? - Расизм в чистом виде! Разве не так? Ну скажи, разве не так?»

Шломо мучительно скривился и пожал плечами.

«Что же ты молчишь? - возбужденно додавливал его Сашка.

— Разве за это мы боролись в совке? Мы там за права человеческие боролись, а не за «евреи - прямо, арабы - налево»... Ну?»

«Не знаю, - ответил Шломо. - Это ты тогда за права боролся. Я боролся за существование. Я тогда выживал, Катке с Женькой молоко таскал в клювике... »

«Неважно», - перебил Сашка, но Шломо остановил его:

«Отчего же неважно? Может, в этом-то и дело, Сашок? В выживании? Видишь ли, с точки зрения выживания все эти высокие материи как-то не канают. Нет, я тебя, конечно, понимаю - права личности и все такое... Но это все как-то умозрительно, а кровь - она вот, живая, на ощупь - липкая...»

«Что ты такое говоришь! - всплеснул руками Сашка. - Ты сам-то слышишь, что ты несешь? Права личности и все такое? Да как ты можешь? Да если хочешь знать, нет ничего важнее...»

Его понесло. Запрокинув лоб и тыча в пространство указательным пальцем, он говорил о светлых, истинных ценностях, о слезинке ребенка, о стихийном людском братстве; он вопрошал: по ком звонит колокол? - и, разумеется, отвечал; он клеймил низких, равнодушных филистеров, с чьего молчаливого согласия... и еще, и еще - все дальше и дальше от Шломо, вниз по широкой реке красноречия, плавно и сильно текущей в кисельных берегах его возбужденного воображения. Шломо смотрел на друга, не слушая уже, а только впитывая его всей силой набухающего в сердце сострадания.

«Боже мой, - думал он. - Боже мой, что же будет... Что же с ним будет... Что будет...»

Вдруг он осознал, что Сашка уже давно молчит и смотрит на него выжидающе, видимо ожидая ответа на какой-то безнадежно пропущенный, прослушанный вопрос. Глядя в сторону, чтобы скрыть подступающие слезы, Шломо сказал: «Ну ладно, Бог с ним, с сионизмом. Но как ты дошел до того, что иудаизм - религия фашистов? Ты, верующий человек, с кипой на голове? Ну не дикость ли?» Он поднял взгляд на Сашку и осекся. Тот сидел напротив, улыбаясь с видом фокусника, демонстрирующего публике загаданного туза. Сашка снял свою вечную кепочку и, держа ее в одной руке, другою указывал на свою курчавую шевелюру. Кипы на его голове не было. Шломо застонал и закрыл глаза.

«Как же ты не понимаешь... - продолжал Сашка, улыбаясь светлее солнца. - Тут нельзя наполовину. Видишь ли, я сравнил иудаизм с фашизмом по основным параметрам. И что ты думаешь? Результаты просто поразительные. Они практически совпадают, даже в малом.

Смотри: фашизм мистичен, апеллирует к древней традиции, культивирует вождизм, национализм и ксенофобию, не терпит критики, подавляет плюрализм. То же самое, в точности, можно сказать и об иудаизме! Ну ты ведь читал, в статье все это раскрыто подробно. Разве не убедительно?»

«Если честно, то - нет, не убедительно, - устало ответил Шломо. - Можно возразить тебе многое по каждому пункту в отдельности. Даже мне, профану в этих делах, видны натяжки и преувеличения. Что уж говорить о специалистах - дай им только в руки этот текст, и они камня на камне не оставят от всей твоей аргументации, пункт за пунктом. По-моему, ты просто увлекся... »

Сашка молчал, насупившись. Шломо вздохнул. «Ты твердо намерен это опубликовать?» Сашка кивнул. Он сидел, зажав в кулаке свою кепочку

- упрямый обиженный сорокапятилетний ребенок. Шломо встал и пошел к стойке. Когда он вернулся с графинчиком чаи и двумя стопками, Сашка сидел все в той же позе, упрямо и вызывающе уставившись в стену напротив. Шломо налил. «Не думаю, что это кошерно, - сказал он шутливо.

- Ну да тебе теперь ведь все равно». Сашка не улыбнулся. Они выпили, как было заведено у них издавна - по две, вагон с прицепом. Помолчали. Шломо налил еще.

«Я вот чего не понимаю, - сказал он. - Разъясни ты мне, дураку. Как ты дальше жить собираешься? У тебя же все приводные ремни к этому делу присобачены: работа, дом, друзья, семья наконец... Куда ты теперь пойдешь, горе ты мое луковое? Ты с женой уже разговаривал?»

Сашка мотнул отрицательно.

«Ну вот. Она же тебя выпрет, дурака, как пса паршивого. У тебя же двое детей малых, Саня... Ну что ты киваешь, как китайский болванчик? Скажи что-нибудь...»

Сашка вдруг быстро выпил, налил и выпил. Раз-два, вагон с прицепом. Потом он обратился к Шломо невидящее, мокрое от слез лицо и судорожно вздохнул.

«Эх, Славик, ты думаешь, я всего этого не знаю? Я просто не могу больше, понимаешь? Я просто не могу». Он сгреб салфетку и высморкался. Графинчик кончился.

Самолет опаздывал. Катя, хотя и знала об этом, приехала в аэропорт намного раньше времени, как будто рассчитывая приблизить тем самым долгожданную встречу с Женькой. Она загнала свой старенький «Уно» на полупустую стоянку Бен-Гуриона.

Еще два-три года назад здесь приходилось ездить кругами, ожидая, когда уже кто-нибудь освободит тебе место. Война решила проблему парковки кардинально.

Шломо должен был подъехать на автобусе из Иерусалима, и Катя, держа остановку в поле зрения, пристроилась с книжкой на свободной скамейке. Подошел автобус. Шломо вышел последним и огляделся, крутясь вокруг собственной оси, подобно собирающейся улечься собаке.

«Эй! - крикнула Катя. - Эй!.. Слава!» Он еще немного подергал головой и наконец сфокусировался в ее направлении.

«Ничего себе, - подумала Катя, глядя на приближающегося преувеличенно твердой походкой мужа. - Это в честь чего же мы так набрались?»

Подойдя вплотную, Шломо церемонно кивнул, поцеловал ее руку бережным мокрым поцелуем и лишь после этого плюхнулся на скамейку.

«Катенька, - объявил он решительно. - Если б ты знала, как я тебя люблю!»

«Я знаю, Славик, - сказала она и погладила его по щеке, - Что случилось, ласточка? Где это ты так нагрузился?»

«Сашка. - сказал он. - Ты себе не представляешь... Просто катастрофа...» Он замолчал, крутя головой из стороны в сторону с каким-то особенно безнадежным выражением. «Нет. Я тебе потом все расскажу. Давай лучше Женечку встретим, - он беспокойно оглянулся, ища часы. - А чего это мы здесь сидим-то? Разве не пора?»

«Сиди уже, - рассмеялась она. - Алкаш ты мой ненаглядный. Рейс опаздывает на два с половиной часа. Так что давай, выкладывай - чего это там с Сашкой твоим произошло».

Шломо вздохнул и начал выкладывать. Катя слушала, кивая головой.

«Ты знаешь, меня все это почему-то не удивляет, - отрезала она сердито. - Я всегда знала, что мудака он, твой Саша. И сволочь». В отличие от аполитичного Шломо, Катя имела о происходящем вполне определенное мнение.

«Подожди, Катя, - сказал Шломо, страдая. - Почему ты отказываешь ему в праве на инакомыслие? Почему сразу - сволочь?»

«Почему? Ты еще спрашиваешь почему? Да потому что нас взрывают на улицах! Потому что Гило, в котором, между прочим, живет твоя собственная семья, обстреливают из Бейт-Джаллы наобум святых из крупнокалиберных пулеметов! Потому что твоя собственная дочь подвергается ежедневной опасности, надевая армейскую форму! Подлец он и предатель... »

«Катя, Катя, подожди, - прервал ее Шломо. - При чем тут наша дочь? Она демобилизовалась год тому назад».

«Ну и что? Ты забыл, как мы ночами не спали, как ждали ее звонков из этого чертового Бейт-Эля? Как нас в дрожь бросало от шагов на лестнице? Какая сволочь!»

Шломо понял, что спорить бесполезно. «Хорошо, - сказал он. - Будь по-твоему. Хотя я по-прежнему не вижу никакой связи между обстрелами Гило и сашкиными взглядами на сущность сионизма. Оставим их, эти взгляды. Речь идет о моем старинном друге, который вот-вот окажется на улице безо всяких средств к существованию. Это ты понимаешь?»

«Погоди-ка... - вдруг поняла Катя. - Ты хочешь притащить его к нам жить? В наши две с половиной комнаты? Именно сейчас, когда Женечка возвращается? Ты что - сбрендил?» Она даже встала и прошла туда- сюда параллельно скамейке с уронившим голову на руки мужем.

«Уму непостижимо...» Она сердито всплеснула руками и села. Шломо молчал. Катя вздохнула. «Ладно, Бельский, что уж с тобой сделаешь. Все равно ты мне плешь проешь с этим идиотом... Пусть приходит. Но руки я ему не подам, так и знай».

Шломо кивнул. «Спасибо, Катюня. И за что мне такое счастье с женой выпало? Другой такой, как ты, нету».

«Это верно, - печально согласилась она. - Такую дуру еще поискать. Пойдем хоть кофе попьем... »

Потом, когда они уже стояли в зале прибытия, нетерпеливо и радостно высматривая Женьку, к ним подошла высокая худая очкастая женщина в элегантном брючном костюме и с огромным количеством дутых золотых браслетов.

«Прошу прощения, - сказала она церемонно. - Вы, видимо, родители Жени?» Она произнесла «Дженьи».

«Да, - ответила Катя. - А вы, конечно, мама Гиля? Очень приятно познакомиться».

Гиль был Женькиным бой-френдом, с которым она тусовалась вот уже два года, включая эту поездку по Латинской Америке. Шломо улыбчиво закивал, мучительно соображая, что бы такое сказать, как вдруг новая знакомая сама вывела его из затруднения.

«Вот они, вот они... выходят!» - воскликнула она и рванула навстречу умопомрачительно молодой, сногшибательно красивой и неправдоподобно загорелой паре, враскачку вплывающей в зал во всем великолепии своих разноцветных косичек, деревянных индейских бус, костяных гребней и где только не рваных джинсов. Не добежав двух шагов, гилева мамаша раскинула руки, отчего ее браслеты издали согласный, торжественно- фанфарный звон, и театрально воскликнула на весь зал: «Добро пожаловать в ад!».

Шломо изумился и пошел целовать Женьку.

5

Машину он брал в занюханном прокатном бюро в Ришоне. Клерк скользнул взглядом по предъявленным Бэрлом водительским правам на имя Шимона Барталя и попросил кредитную карточку. Бэрл замялся.

«Послушай, бижу, - смущенно сказал он. - У меня нет кредитки».

«Сожалею, - сказал клерк, напрягшись. - Мы выдаем машины только по предъявлению кредитной карточки».

Бэрл покашлял, демонстрируя полное замешательство: «Видишь ли, бижу, я не могу позволить себе кредитку. Я - игрок. Сам понимаешь, кто же заходит в казино с кредиткой в кармане...»

В глазах клерка мелькнуло сочувственное понимание. «О'кей, - сказал он. - Но и вы должны нас понять, господин Барталь. Нам тоже нужен какой-нибудь залог на тот или иной пожарный случай...»

«Нет проблем, - сказал Бэрл, широко улыбнувшись. - Я внесу залог наличными. Десять тысяч вас устрают?»

Клерк моргнул. «Послушай, бижу, - сказал Бэрл. - Кончай ты с этим триллером. Я всего-то хочу доехать до Эйлата со своей несчастной подружкой, просадить всю свою наличку и мирно вернуться в Тель-Авив. Назови свою цену или я просто уйду».

«Подождите секундочку, пожалуйста», - сказал клерк и ушел советовать за занавеску.

«Пятнадцать», - объявил он, вернувшись.

Бэрл обиделся. «Борзеть-то не надо, да? Что я вам - фраер? Не хотите, как хотите... » Он сгреб свои документы со стола.

«Подождите...» - остановил его клерк.

Спустя полчаса Бэрл уже выезжал на перекресток Бейт-Даган в слегка раздолбанном, но еще живом «Опель Вектра». Ленивый послеполуденный трафик выплюнул его с Аялона в районе бульвара Роках. Проехав еще пару светофоров, Бэрл припарковался напротив задних ворот Тель-Авивского университета.

Она вышла около четырех, одна, и направилась к автобусной остановке. Бэрл тронул машину. Подъехав к остановке, он открыл правую дверь и спросил, обращаясь в пространство: «Кто-нибудь может объяснить мне, как проехать в Пардес Кац?»

«А стоит ли, приятель? - улыбнулся бойкий паренек с волосами до плеч. - Пардес Кац - поганое местечко. Езжай лучше в Кфар-Шмариягу...»

«Погоди, Галь, - прервал его другой. - Человек серьезно спрашивает, а ты...» Он начал долго и обстоятельно объяснять, перечисляя светофоры, повороты и ориентиры. Бэрл, не слушая, кивал. Он покосился на молчащую Дафну и едва заметно подмигнул. Это вывело ее из ступора.

«Мне как раз туда надо, - сказала она, подходя к двери. - Если хочешь, я могу показать дорогу».

«Слава Богу, проснулась», - подумал Бэрл.

Они выбрались на Аялон и теперь медленно продвигались на север в обычной для этого часа пробке. Оба молчали, глядя прямо перед собой, поглощенные острым чувством взаимоприсутствия.

«Говори уже что-нибудь, - хрипло сказала она наконец. - Например, куда ты меня везешь? Не то чтобы это имело какое-то значение...»

«Как твоя спина?» - спросил он, игнорируя ее вопрос.

«Заживает. Хотя с рюкзаком придется повременить неделю-другую».

«Я надеюсь, что с кремом для загара нет проблем», - сказал он и искоса взглянул на нее - впервые с того момента, как она села в машину.

Они расхохотались, празднуя исчезновение этого невыносимого, звенящего напряжения, заложившего уши и затруднявшего дыхание, когда каждое движение выглядело невозможным в своей чрезмерной интимности.

«Что ты привязался к этому крему? Он просто остался там с лета. Неужели трудно понять - у какой женщины есть время перебирать свою сумочку ежедневно?»

«Ежедневно? - ухмыльнулся Бэрл. - На дворе февраль, дорогая».

«Дорогая? - изумилась она. - Дорогая? Послушайте, уважаемый. Я не отрицаю, что позавчера трахнула вас с определенным, даже, как мне показалось, взаимным удовольствием. Последнее обстоятельство, - я имею в виду взаимность - видимо, не позволяет вам подать на меня в полицию жалобу за изнасилование. Но с чего вы взяли, что имеете право обращаться ко мне, как будто мы уже двадцать лет женаты? Дорогая... Подумать только!» Она возмущенно фыркнула и отвернулась к окну, глядя счастливыми невидящими глазами на проплывающие мимо зеленые пустыри, домики, изгороди, на весь этот прекрасный и ласковый мир, танцующий медленное болеро в такт ее светлой раскачивающейся радости.

Бэрл смутился, поняв, что взял не ту ноту. «Ну насчет двадцати лет - это ты, пожалуй,хватила, - сказал он, пытаясь отшутиться. - Двадцать лет назад тебя еще грудью кормили».

«Сукин ты сын, - думала Дафна, уткнувшись в свое окно. - Сукин ты сын. Сегодня кормление грудью предстоит тебе. Уж я об этом позабочусь... Господи, что я несу?» Она ужаснулась откровенной непристойности своих мыслей. Но это был какой-то веселый, даже радостный ужас. Вслух она спросила: «Нам еще долго?»

«Почти приехали», - ответил Бэрл. Как и Дафна, он чувствовал мощный, оглушающий резонанс их тяжелого притяжения, темную, засасывающую воронку, в которой, медленно кружась и искривляясь, исчезало шоссе с разноцветными коробками машин, придорожные столбы, ясные, педантичные линии его прежней жизни. Теперь, при помощи какой-то чудом уцелевшей части сознания глядя сверху на эту воронку, на себя самого, — бесповоротно и сладко тонущего в ее властном неотвратимом кружении, он понимал, что единственным движущим мотивом всех его последних действий было желание увидеть ее, коснуться ее, спрятать, укрыть, защитить. Это было неправильно, преступно, против всех правил.

У Бэрла никогда не было недостатка в женщинах. Фактурная внешность, щедрость и бойко подвешенный язык без особого труда поставляли ему короткие, ни к чему не обязывающие связи, в которых обе стороны с той или иной степенью откровенности использовали друг друга для столь необходимой время от времени разрядки. Помимо разрядки, это даже доставляло удовольствие, вполне сравнимое с гурманским обедом или трансляцией хорошего футбольного матча.

Что же произошло на этот раз? Отчего он видит ее, эту совершенно незнакомую девчонку, видит, даже не глядя в ее сторону, каким-то особым звериным периферическим зрением, нюхом, физическим осязанием окружающей ее ауры? Почему именно этот острый локоть, это ломкое запястье, этот темный каштановый

завиток над упрямой скулой рождает в нем тянущее, щекочущее, влекущее чувство, эту тяжесть в паху, это сладкое сверление в сердце? Такое происходило с ним впервые в жизни.

«Со мной такое впервые в жизни, - вдруг сказала она, обращаясь к окну. - А ты наверно думаешь, что я нимфоманка. Ну и черт с тобой, думай что хочешь. Кто ты мне? - никто. Я даже не знаю, как тебя зовут...»

Бэрл взял ее руку и поцеловал в ладонь. Они съехали с трассы и продолжили по проселку. На указателе «Бейт-Нехемия» Бэрл свернул и затормозил у шлагбаума. Сонный сторож с древним карабином через плечо обошел машину и сунулся к бэрлову окошку.

«Привет, бижу, - сказал Бэрл. - Где тут у вас циммеры?» Сторож махнул рукой.

Потом они лежали неподвижно, прислушиваясь к затихающему рыку и топоту зверя, временно оставившего их в покое.

«Кто ты? - прошептала она в его подмышку. - Почему?»

«Слушай меня внимательно, девочка, - сказал Бэрл. - ты поживешь здесь с недельку. Может, меньше. Пока я не устрою наши дела». Она кивнула.

«Нет, - сказал Бэрл. - Я хочу быть уверенным, что ты поняла». Он вытащил ее голову из подмышки и посмотрел в неожиданно глубокие колодца зрачков под припухшими веками. «Тебе угрожает большая опасность, слышишь?» Она опять кивнула. «Ты должна сидеть тут безвылазно, никаких звонков, ничего. Ферштейн?»

Дафна снова кивнула и спросила шепотом: «А ты? Ты будешь здесь?»

«Нет. Говорю тебе, я должен уладить кое-что. А ты пока тихонечко посидишь тут, хорошо?»

Она с сомнением качнула головой: «Прямо не знаю, как справлюсь. Ты меня так разогнал, что мне придется завести любовника».

Бэрл рассмеялся. «Ладно. Я приведу тебе стадо козлов. Только смотри, не затрахай их до смерти».

«Ах ты, кобелина, - возмущенно воскликнула Дафна. - Соблазнил бедную девушку, а теперь в кусты? Козлами думаешь отделаться?»

«Кто... кого... соблазнил, - выкрикивал Бэрл, задыхаясь от смеха и безуспешно пытаясь заслониться от сыплющегося на него града ударов. - Кто... кого... »

Зверь возвращался, топоча кровью в пульсирующих висках, обжигая своим жарким дыханием их ищущие друг друга губы...

В Тель-Авив Бэрл вернулся в десятом часу вечера. Уже совсем стемнело, и нервозный деловой трафик сменился другими, ленивыми, разгульными, опасными ритмами ночного средиземноморского города.

Частное сыскное агентство «Стена» помещалось в даунтауне Рамат- Гана, на шестнадцатом этаже одного из больших офисных зданий за алмазной биржей.

Днем этот район кишит клерками в красных галстуках, длинноногими секретаршами, длиннопёсными алмазными дилерами, посыльными, студентами мелких колледжей и прочим сверхзанятым служилым людом.

Ближе к ночи вся эта публика бесследно исчезает, разъезжаясь по домам, поближе к зануде-телевизору, домашним тапкам и теплому супружескому боку. Запираются двери кондиционированных офисов, гаснут стеклянные стены небоскребов, замирает дневная жизнь даунтауна. Какие-нибудь час-другой опустевшие улицы еще притворяются, что, мол, вот и замерло все до рассвета... но не тут-то было. Вместе со сгущающимися сумерками из неприметных полуподвалов выползает наружу другая, нагловатая в своей бесстыжей откровенности реальность.

А может, слово «другая» здесь как раз-таки не к месту? Может, следует просто говорить «реальность», или еще лучше - «истинная реальность», в противоположность надуманной, лживой, фальшивой маске дневной галстучной благопристойности... Как бы то ни было, тут и там загораются разноцветные рекламы пип-шоу и бинго-клубов; с веселым скрежетом поднимаются железные трисы бильярдных; красные фонарики ночные запевают свою качающуюся песню над дверьми массажных кабинетов равнодушные громилы занимают места перед стальными решетками подпольных игорных домов...

И вот уже - шур-р-р - выпорхнула из такси первая ночная бабочка тут же заплатив таксисту натурой; остановилась на минутку подправить помаду на губах трудового рта, одернула - не вниз - вверх - кроткую кожаную юбку, вскинула голову в презрительном развороте и пошла, пошла, поплыла особенной, медленной, тянущейся походкой, моментально превращающей прозаический дневной тротуар в сверкающую грехом ночную панель. А вот и местная гиена - гнойноглазый сутенер, в умопомрачительном пиджаке и сверкающих кожаных полусапожках, натянутый как струна, с выкидным ножом в рукаве.

Все вроде в сборе... нет, кого-то не хватает... Ба, да вот и они - полицейский патруль, крутя чоколакой, проезжает по улицам, тщательно избегая темных тупиков, все в том же общем медленном ритме менуэта, перебрасываясь шутками со знакомыми девочками, шугая чужих, следя за своими - чтоб не борзели.

Ну и, понятно - клиент... Хотя клиент, он клиент и есть, ничего особенного: кто просто глазеет, а кто и покупает. Покупают тоже, как в супермаркете - кто выбирает товар, приценивается, семь раз отмеряет, хотя, казалось бы - что тут на хрен мерить? - а кто хватает, как окунь - быстро, жадно, лишь бы хапнуть...

Шуршит по даунтауну ночная жизнь, свивается кольцами, блестит тусклой змеиной чешуей - до утра, до первого света.

Под утро гаснут разноцветные гирлянды, грохоча, опускаются железные ставни, закрываются витринные окна полуподвалов. Последние одиночные гуляки вываливаются из стрип-клубов, карточные игроки с

опрокинутыми лицами шуряты навстречу ненужному новому дню, бледные ошалевшие тинэйджеры выbleвывают под забором последствия сигаретного отравления... и все ловят такси - скорее, домой, к подушке... Эй, шеф, куда же ты? Но шеф-то знает куда, вон она, его клиентка, ночная ударница, вусмерть уставшая, до ушей затраханная, вон она на углу, ждет его, качается на шестидюймовых шпильках... ахалан, Моти, братишка, вези скорей домой, сил нету. А дома - шприц - и в койку, до вечера...

Зевающий патруль проезжает последний раз по затихшим улицам, сгоняя с углов неконвенциональных свехурочниц, и - вовремя, как раз вовремя - вон, смотрите, уже побежал первый клерк, размахивая кожаным портфельчиком, бодрый, как пионер; за ним - еще и еще, галстук вьется по ветру... а вон и посыльный на тустусе... и адвокат на «Вольво»... Еще какие-нибудь полчаса, и зашумит-забегает деловой даунтаун, как вчера, как завтра, как всегда. А ночного удавищи - как не бывало. Эй, змей, откликнись, ты где, горыныч? - молчит, и нет ни следа, ни чешуйки... Разве что рассеянный бородач в лапсердаке и черной шляпе, выходя с подземной стоянки, поскользнется на присохшем к ступенькам презервативе, оглянется посмотреть, да и сплюнет с возмущением. Тьфу... прости Господи... И то - пакость-то ведь какая.

Бэрл неторопливо вошел в пустое лобби кивнул ночному сторожу и направился прямо к почтовым ящикам на противоположной стене. Спиною чувствуя взгляд охранника, он вынул связку ключей и сунул подходящую отмычку в замочную скважину первой же попавшейся ячейки. Как он и предполагал, смешной замочек имел скорее декоративное назначение. Бэрл вытащил пачку счетов и рекламных флайеров с полминуты постоял, разглядывая их и озабоченно покачивая головой, и лишь затем направился к лифтам. Старик сторож продолжал есть его глазами

«Эй, бижу, ты так во мне дырку просверлишь, - улыбнулся Бэрл. - Я новый помощник адвоката Яари». Он протянул старику руку «Шимон. Очень приятно»

Старик кивнул: «Добрый вечер, господин Шимон. Вы ожидаете кого-нибудь? Я хотел бы запереть входную дверь»

«Нет проблем, бижу, - разрешил Бэрл. - Я ненадолго - вот только разберу пару писем. Сколько можно вкалывать, правда? Жить-то когда будем?»

С французским замком во входной двери частного агентства «Стена» не пришлось возиться многим дольше, чем с почтовой ячейкой адвоката Яари. Это был маленький двухкомнатный офис с крохотной прихожей. Ребята и в самом деле работали вдвоем, даже без секретарши. Бэрл прошелся по ящикам столов, быстро прочесал картотеку, наугад дернул несколько папок из небольшого стеллажа. Все выглядело вполне невинно. Бэрл и сам не знал, что именно он рассчитывал обнаружить - просто так, абы-что, какую-никакую зацепку, кочку на ровной как стол поверхности его тотального, бесследного неведения.

Компьютер был только у младшего, Ави. Экран засветился и послушно распахнул перед Бэрлом все богатое содержимое единственного диска - без паролей, без криптованных файлов и прочей необязательной чепухи. Положительно, ребятам было нечего скрывать. Впрочем, одна деталь как раз привлекала внимание - по крайней мере наполовину диск был забит всевозможными карточными игровыми программами. Десятки вариантов одного только «Блэк Джека» Ави и впрямь мог считаться истинным любителем карт.

Бэрл открыл браузер и просмотрел историю последних подключений к Интернету. Гм... недлинный список на девяносто процентов содержал сайты интернетовских букмекеров и казино. Это явно становилось интересным. Бэрл выключил компьютер. Он уже собирался уходить, когда взгляд его упал на скомканный рекламный флайер со следами губной помады. Бэрл развернул бумажку. На лицевой стороне крупными буквами было написано: «Клуб стриптизерш МУЛЕН РУЖ! »... лучшие. зажигательные... участие зрителей, и так далее. На обороте флайера русскими буквами, неровно выведенными яркой фосфоресцирующей помадой, значилось: «ЖАННА»

Стриптиз-клуб помещался в трех кварталах от офиса. Представление еще не началось, клуб был пуст, билетер и бармен перекуривали у входа.

«Вам двадцатки поменять?» - осведомился билетер, продавая Бэрлу билет.

«Зачем?» - удивился Бэрл. Билетер с барменом переглянулись.

«Вы у нас еще не были? - спросил бармен, улыбаясь. - Тогда просто поверьте мне на слово - двадцатки вам весьма пригодятся...»

Бэрл пожал плечами и разменял пару сотенных. «Кому же еще верить, как не тебе, бижу, - ласково сказал он бармену. - А как насчет того, чтобы плеснуть мне коньячку на доньшко?»

Бармен почесал в затылке. «Могу предложить только паршивый бренди, - сказал он честно. - Но мой тебе совет - возьми лучше пиво. Мы тут по части выпивки слабоваты. Мы тут как-то все больше по сиськам».

Они подошли к стойке, где уже стояли две девицы в купальных халатах.

«Познакомься, - сказал бармен. - Жанна. Джессика».

Жанна была высокой шатенкой с огромной грудью и неправильным прикусом. Она мило улыбнулась и кивнула, загребая воздух передними зубами.

«Счастлив встрече, - сказал Бэрл, залезая на табурет. - Выпьем что-нибудь, девочки?»

«Спасибо, не сейчас, - ответила Джессика, окидывая Бэрла профессионально оценивающим взглядом. - Нам выступать скоро...»

«Пойдем, Ирка, - сказала она по-русски, обращаясь к «Жанне». - Я еще не вмазала... »

Бэрл взял свое пиво и сел за столик у стены.

Зал понемногу наполнялся. Ввалилась шумная компания развязных юнцов человек в двадцать - праздновать чей-то уход в армию. Бочком- бочком просочилась и тесно пристроилась у самой сцены бригада мрачных, придавленных румын - гастарбайтеров. Прочие рассаживались маленькими группами - по двое, по трое. Были и одиночки, один из них - парень явно арабской внешности, обысканный на входе с пристрастием.

Ударил оглушающая музыка, и на сцену, покачивая бедрами, стали выходить «артистки» - шесть девушек в бикини. Представление началось. Бэрлу быстро стало скучно - он не находил ничего интересного в страстных обвиваниях шеста и художественном раздвигании нижних конечностей. Вдобавок у него начала болеть голова от духоты и табачного дыма. Он вышел на улицу подышать. Билетер клевал носом на стуле у входа.

«Ну как, нравится? - приветствовал он Бэрла. - Наше шоу - лучшее на Ближнем Востоке. Приезжают аж из Иордании!»

«Что сказать тебе, бижу? - ответил Бэрл. - Это и в самом деле нечто. Я сам себе завидую. Вот вышел немного поостыть - боюсь обмочиться от возбуждения».

Он сделал несколько шагов по направлению к углу здания и скорее почувствовал, чем услышал приглушенную арабскую речь. Силуэты двоих мужчин угадывались в темноте тупика, за мусорными баками «Эге... - подумал Бэрл. - Это что ж за каша тут заваривается?» Он вернулся в зал.

Первая часть представления закончилась, девушки спустились в зал и расхаживали между столиками. Бэрл не успел занять свое место, как подошедшая сзади Джессика решительно плюхнулась к нему на колени.

«Это что ж такое, Джессика? - спросил он, предугадывая, впрочем, развитие событий. - Ты что, на мне ездить собралась? Я что тебе, лошадь?»

Джессика жестоко улыбнулась и расстегнула лифчик. «Двадцать шекелей», - сказала она, борцовской хваткой вцепляясь в Бэрлову шею. Бэрл беспомощно оглянулся. Он был не единственной жертвой. Все полуголые «артистки» уже оседлали своих избранников из публики и интенсивно отработывали номер. Он поискал глазами Жанну. Она была рядом за соседним столиком. Утопив голову маленького пожилого мужинки в своих необъятных прелестях, Жанна плотоядно утюжила его от коленок к животу и обратно.

«Смертоубийство - ужаснулся Бэрл - Она ж его задушит на хрен...» Джессика дернула его за шею требуя внимания. «Послушай, красивая,

- сказал Бэрл, стараясь звучать мужественно. - Я дам тебе сорок, только слезь с меня, ради Бога...»

«Ты что, гомо?» - разочарованно протянула Джессика.

«Да как-то не по мне вся эта гимнастика, - сказал Бэрл. - Я больше танцы люблю».

«Можно и танцы, - оживилась Джессика - Персональный танец в кабинете - сто шекелей. Только предупреждаю сразу - у нас не трахаются. Это на гражданке: «потрогал - женись», а у нас тут все наоборот - трогать можешь, а жениться - ни-ни...» Она рассмеялась. «Ну что, пошли?»

Бэрл смущенно кашлянул «Э-э. Во-первых, вот тебе твой сороковник, - сказал он, вынимая из кармана две смятые бумажки. - Во-вторых, нельзя ли мне как-нибудь Жанну заполучить?»

«Жанну... Чем же я-то тебе не приглянулась? - обиженно сказала Джессика. - Я и танцую лучше. Ладно, ладно, не объясняй, понимаю, ты, видно, из тех, что на вымя западают. Давай еще двадцатку - устрою тебе Жанну, так и быть. » Она соскочила с Бэрла и, засовывая деньги в сапог, пошла к Жанне. Та уже оставила свою первую жертву и теперь орлиным взором высматривала нового претендента. Пошептавшись с Джессикой, она махнула Бэрлу, указывая в сторону боковой двери.

«Кабинет» представлял собою крохотный закуток с единственным стулом и магнитофоном на полке. Жанна усадила Бэрла на стул и начала возиться с кассетой.

«Послушай, Ирочка, - сказал Бэрл. - Ты, случаем, не из Днепропетровска?»

«С чего это ты взял? - удивилась она. - Вот ведь сучки! Ну никогда кассету назад не отмотают!»

«Вот такой я проницательный. Это у меня профессиональное. Я ведь, если хочешь знать, сыщик. Частный, конечно...»

«Хреновый из тебя сыщик, - усмехнулась Жанна и включила музыку. - С Харькова я...» Она начала неуклюже раскачиваться в такт Джо Дассену.

«Откуда ты знаешь, какие сыщики бывают? Из кино разве что», - поддразнил ее Бэрл.

«Прямо уж... - протянула она, закатывая глаза, чтобы лучше войти в ритм. - Вас тут как собак нерезанных. У меня даже постоянный клиент есть - сыщик. Сыщички-хренищички... Как ни ищи, других таких титек все равно не сыщешь».

Обеими руками она приподняла свои сокровища и шумно задышала, имитируя страсть.

«Тут ты права, - подтвердил Бэрл. - А что это значит - «постоянный клиент», Ируня? Он что тут, каждую ночь околачивается?» «Когда деньги есть, - простонала Жанна, водя руками по своему широкому украинскому телу. По задумке, эти движения должны были носить эротический характер. В революционной жанниной интерпретации они более походили на ловлю блох. - Он ведь в карты играет, мудило, тут недалеко, на соседней улице. Как часам к трем просадится вчистую, так сюда идет - мол, пожалей, Жанночка, дурную мою голову. Вот я и жалею- ю-ю...» Она перешла на следующую ступень страсти, включающую стоны и подвывания.

Несмотря на известную нестандартность жанниного спектакля, Бэрл выглядел совершенно удовлетворенным. Расплачиваясь, он сказал: «Мой тебе совет, Ируня - смени ты имя. Почему именно Жанна? Айседора тебе куда больше подходит».

Ави Коэн вошел в зал около двух. Все выдавало в нем завсегда: он похлопал по плечу бармена, сунул голову в служебку, Подарил звучный шлепок ягодицам пробега вшей мимо «артистки», обнял соскочившую с очередного клиента Жанну... Но не это привлекло главное внимание Бэрла. Следуя многолетней привычке никогда не забывать о ситуации в целом, даже сосредотачиваясь на отдельном ее фрагменте, он обнаружил интересную вещь. Помимо него, в зале находился еще кто-то, не спускавший с Коэна глаз - это был тот самый, давешний араб, с понтом обысканный в самом начале вечера. Вот он встал со своего места и, пройдя через зал, тронул Коэна за плечо. Вот Коэн обернулся, с видимым неудовольствием оторвавшись от ощупывания пышных форм Иры- Жанны-Айседоры. Вот араб сказал ему что-то на ухо... Коэн кивнул и снова повернулся к Жанне. Араб пошел к выходу.

Бэрл быстро поднялся и прошел в туалет. Задвинув щеколду он встал на унитаз и приблизил голову к приоткрытой фрамуге, выходящей в тупик сбоку от здания. По его расчетам, там в настоящий момент должны были находиться не только Мусорные баки.

«Сейчас выйдет, - говорили по-арабски. - Спрячьтесь и не высовывайтесь. И нож, Зияд, дай мне мой нож...»

Бэрл вынул из наплечной кобуры пистолет и навернул глушитель. Он услышал звук приближающихся шагов.

«Что случилось, Надир? - это был, видимо, Ави Коэн. - Я же говорил, я сам тебя найду, когда будет что-нибудь новенькое. Пока - нет. Но если ты уже здесь, не одолжишь ли мне тыщонку- другую в счет будущего?» «Я здесь, чтобы кое-что выяснить, Ави, - ответил прежний голос с тяжелым арабским акцентом. - Разве ты не читаешь газет?»

Коэн выругался с явно наигранным удивлением: «Так это был все- таки ваш клиент, этот банкир? Искренне сожалею... » В его голосе было услышать все, что угодно, только не сожаление... «Но я-то тут при чем? Мне вы платили за что? - за двух курьеров. Их и получили - какие претензии?»

«Там была засада, Ави. Мы потеряли пятерых. Абу-Айяд чудом остался жив. Что ты скажешь на это?»

В дверь туалета постучали. Бэрл после секундного колебания спрыгнул на пол и пошел открывать. В конце концов, он уже слышал более чем достаточно. Его начал бить охотничий азарт. На улице он сказал билетеру- охраннику: «Кто-то заперся там в сортире и не хочет выходить. Ты бы, чем спать тут...» Он не успел закончить фразу, как билетер был уже внутри. Бэрл в два прыжка оказался у входа в тупик. Открывшаяся ему картина, в общем, выглядела вполне подходящей - Ави Коэн булькал на земле перерезанным горлом, один из арабов сидел рядом с ним на корточках, вытирая нож, двое других стояли вблизи. Тем не менее, Бэрл немедленно вскинул пистолет и приступил к еще большему улучшению ситуации. Спустя несколько секунд двое арабов стремительно догоняли Коэна по дороге в преисподнюю; третий лежал в глубокой отключке. Времени на раздумье не было - билетер вот-вот должен был вернуться. Бэрл взвалил на плечи бесчувственное тело и бегом ринулся к своему «Опелю». Он успел захлопнуть багажник как раз вовремя.

6

Под утро прошел наконец долгожданный дождь, и теперь процеженный через его сито зимний иерусалимский воздух был особенно вкусен. Шломо добил очередную главу и вышел на лестницу. Время подъезжало к часу, так что с известной степенью осторожности можно было предположить, что Сеня - сосед Бельских сверху - уже проснулся после своих ночных компьютерных бдений. В настоящий момент Сеня жил один и пробавлялся случайными заработками программиста- надомника. По личным причинам, усугубленным общим экономическим кризисом, он с трудом сводил концы с концами, и Шломо лелеял надежду пристроить Сашку к нему на временное жительство.

Дверь в сенину квартиру была приоткрыта. Сам хозяин в махровом халате сидел на диване, поджав под себя ногу и курил, бессмысленно щурясь на выключенный телевизор.

«Сеня, привет. Проснулся? К тебе можно?» - спросил Шломо и не дожидаясь ответа, уселся между телевизором и Сеней, рассчитывая таким образом пересечь воображаемую линию его взгляда. Сеня промышал что- то нечленораздельное и мучительно закашлялся.

Шломо прикинул свои шансы. По опыту он знал, что многоступенчатый процесс сениного пробуждения занимает от часа до полутора. Процесс этот обычно начинался с момента, когда, не отрывая головы от подушки и даже не продирая глаз, Сеня протягивал руку за первой сигаретой «Нельсон», игравшей в данном случае роль кислородной подушки. Вдохнув живительного дыма, он садился на кровати и некоторое время курил, вслушиваясь в себя и поджидая первый приступ кашля.

Кашель подкатывал с мощью грузового поезда. Эту вроде бы неуправляемую враждебную энергию Сеня, в полном соответствии с рекомендациями восточных школ единоборств, рационально использовал в полезном направлении. Так, с помощью кашля он продирает глаза - если уж так или иначе они вылезали из орбит... С помощью кашля он сбрасывал с кровати ноги - улучив момент, когда все тело начинало сотрясаться в едином кашляющем резонансе. Наконец, кашель способствовал первичному умыванию лица посредством обильного слезоточения. С какой стороны ни посмотри - ничего, кроме пользы, от кашля не было, так что временами Сеня с ужасом думал, что же произойдет, если в одно прекрасное утро кашель вдруг откажется служить...

Затем Сеня, используя преимущество открытых глаз, находил пепельницу, гасил уже давно обжигавшую пальцы сигарету и немедленно закуривал новую. Переход на следующий этап, будь то возврат ко сну или прогулка к унитазу, требовал осознанного физического усилия, на что Сеня, как правило, был в этот момент

еще совершенно не способен. Это вынуждало его снова ждать внешнего толчка, который обычно приходил в виде властного зова мочевого пузыря.

И снова Сеня использовал враждебную энергию в мирных целях. Он боролся с пузырем до последнего, доводя себя до необходимости направляться в туалет бегом. Это заменяло ему утреннюю пробежку и таким образом экономило время. Помимо всего прочего, невыразимое чувство облегчения поставляло положительный ответ на вопрос - а надо ли было, в принципе, просыпаться не напрасны ли все эти адовы муки? Вот видишь, - говорил он сам себе, поглаживая живот, где затихал в благодарном трансе страдалец-пузырь, - вот видишь? А не встал бы с постели - хрен бы получил такое огромное, ни с чем не сравнимое наслаждение...

Приободренный первыми успехами, Сеня выбрасывал в унитаз сигарету, закуривал новую и отправлялся на диван. Там разворачивалось главное сражение. В истории оно проходило под названием «дайте-мне-прийти-в-себя», ибо таковы были единственные слова, которые он мог в эти моменты произносить, да и то лишь ближе к промежуточному финишу. Какие именно тектонические процессы протекали на этом этапе в сенином организме, обмякшем на поджатой левой ноге, не мог бы сказать никто включая самого Сеню. Просто он вдруг обнаруживал, что язык начинает повиноваться, доказательством чего служит первое внятное «дайте мне прийти в себя», что картинка перед глазами стабилизируется, как будто повинуюсь отвертке настройщика, что ноги носят, а руки в состоянии держать не только сигарету, но и, скажем, ложку. А значит можно было вставать, делать кофе, принимать душ, звонить по телефону, начинать жить.

Тщательно прослушав сенино мычание, Шломо попытался определить степень его близости к знаменитой формуле. Судя по последнему, вполне четко различимому «бя», ждать уже было не долго. Шломо включил телевизор, дабы что-то раздражало бессмысленный сенин взгляд, и отправился на кухню делать кофе. Чайник уже закипал, когда с дивана донеслось долгожданное «Дайте мне прийти в себя!», и почти годный к употреблению Сеня прошлепал мимо него в ванную.

В прошлом году Сене исполнилось шестьдесят. Рожденный в блокадном Ленинграде смертельным декабрём 41-го, он каким-то невероятным образом пережил ту войну, включая прямое попадание авиабомбы в их дом, как раз в момент, когда мать сунула ему грудь с немногими каплями молока. Бездна разверзлась посередине комнаты, пол накренился, и, одной рукой прижимая к груди ребенка, а другой - вцепившись в спинку кровати, она аккуратно съехала с третьего этажа вместе с остатками того, что прежде звалось номером 4 по улице Гоголя угол Кирпичного, там, где пивной ларек - всякий знает.

Скорее всего, именно эта история сыграла решающую роль в формировании сениной личности. Во-первых, с той поры он всегда ел быстро и жадно, как будто и в самом деле опасаясь внезапной бомбежки. Во-вторых, завидев любую женскую грудь, он испытывал непреодолимую потребность вцепиться в нее как можно крепче. И если первая странность была вполне простительной, да, собственно говоря, и странностью-то в те трудные годы не считалась, то второе обстоятельство выглядело серьезной помехой для стандартного жизненного пути семейного человека. Едва достигнув подросткового возраста, Сенечка превратился в полового гангстера, неутомимого охотника за грудями. Свой первый успех он отпраздновал в средней группе пионерлагеря, на зависть старшим слюнятям трахнув собственную пионервожатую, и с тех пор не останавливался ни на минуту.

Невзрачный, маленького росточка, с кудлатой головой философа и сатира, он обладал той таинственной и редкой повадкой «ззановы, заставляющей любую красавицу по первому требованию сдавать свои бастионы, вернее, свои груди в простертые руки неутомимого победителя. До семи ли тут, скажите на милость. Впрочем, по молодости лет Сеня женился, родил дочку, но брак этот не просуществовал и года. Еще бы - мог ли наш индеец удовлетвориться двумя вдоль и поперек изученными супружескими грудями, в то время как вокруг, почти без охраны только руку протяни - парами расхаживали десятки, сотни, тысячи вожделенных объектов всех форм и размеров? И он снова вышел на тропу свободной охоты.

Даже возраст, казалось, был не властен над неутомимым Чингачгуком. Каких только грудей не перебивало в его мерказушной квартирке! Некоторые их обладательницы годились Сене во внуки. И все же... То ли кончилась мера, отмеренная ему Верховным Весовщиком, то ли еще что, только, еще не перевалив через шестьдесят, он вдруг разом потерял интерес к любимому занятию. И не то что пошли на спад его прославленные половые параметры - нет, с этим как раз таки все обстояло не хуже, чем прежде. А вот интерес - пропал. Сеня покрутился еще с полгода - чисто по инерции, а потом плюнул, отправил воясы последнюю пару грудей и зажил один, не считая телевизора.

Третьим и главным последствием сениного падения на развалины знаменитого пивного ларька стало четкое осознание того факта, что жизнью своей он обязан невероятной случайности описываемой миллионными долями процента. Собственно говоря, он должен был принять смерть еще тогда, в нежном возрасте мягких черепных костей, не от бомбы, так от потолочной балки, от случайного кирпича, от удара, вызванного свободным падением с десятиметровой высоты, да мало ли от чего... подумайте, ну что тут объяснять...

И тем не менее, он жил, ходил в школу, отвечал у доски дрался на переменках с Колькой Балуевым, быстро и жадно ел пустую картошку и, подкравшись сзади, дергал за сиськи старших дворовых девчонок. Все эти действия можно было рассматривать как случайные, неучтенные, даже в некотором смысле незаконные, в отличие от солидных, практически обоснованных платформ бытия других детей, того же, скажем, Кольки. Его Сени, не должно было тут быть, ходить, драться, есть, дергать за сиськи. Он был призраком - вот оно, правильное слово. Призраком.

И как призрак, он никому ничего не был должен. Вот так. Третьеклассником он бесстрашно хамил ужасному завучу 210-й школы, завучу, перед которым плакали, а то и мочились в штаны самые отъявленные сорвиголовы из старших классов. А когда пришла пора джаза, стилига и пластинок «на костях», то именно у

него были самые узкие брюки, самые толстые подошвы и самый напомаженный кок во всей компании, что хилила тогда по Броду

В институте и позже, на работе, он жил, как хотел - легкий веселый, остроумный - центр любой компании, ничем и никому необязанный. К советскому инженерству тех времен глагол «работать» подходил весьма прилизательно. Слово «служить» выглядело намного точнее при описании того уникального бытия восьми до четырех тридцати, заполненного долгими перекурами бурными служебными романами, дикими пьянками по любому поводу и вовсе без повода, обменом культурными впечатлениями беготней по окрестным магазинам, игрой в шахматы, в домино, карты - всем, чем угодно, только не «работой». В этой непростой совершенно неформальной среде Сеня был бесспорным лидером. Именно таким, блестящим и таинственным неформалом увидели его впервые желторотые Славка и Сашка, по воле бы распределенные в сенину контору после защиты диплома.

А потом, как известно, все развалилось. Особых причин уезжать у Сени не было. С другой стороны, почти все друзья и близкие, а значит - привычная среда обитания - либо уже разъехались, либо уже собирались. Поневоле собрался и Сеня. Несмотря на то, что тогда еще можно было выбирать, он выбрал Израиль - Америка пугала его именно непривычной и всеобъемлющей формализованностью, в то время как Страна Евреев оставляла некоторые надежды на сохранение прежнего образа жизни.

С тех пор, в течение всех своих тринадцати израильских лет, он упорно отказывался от любых формальных рамок, тут и там навязываемых ему новой жизнью - к примеру, здесь требовалось «работать», а не «служить», что уже накладывало неприемлемые ограничения на его свободную, никому ничем не обязанную личность. Эта упорная, неравная, непрекращающаяся борьба с хамской недружелюбной действительностью заслуживала подлинного уважения, тем более, что пока в этой борьбе побеждал Сеня. Он ухитрялся существовать, перебиваясь случайными программистскими халтурками и чтением лекций на курсах компьютерного ликбеза. Впрочем, действительность не отчаивалась, твердо зная, что поражений у нее может быть сколько угодно, в то время как Сеня не в состоянии позволить себе ни одного...

«Сеня! - крикнул Шломо в закрытую дверь ванной. - Кофе готов, вылезай уже, сколько можно...»

«Дайте мне придти в себя», - невнятно донеслось из-за двери. Шломо насторожился, пытаясь определить причину подозрительной невнятности. Иногда процесс Сениного пробуждения впадал в деградацию, вплоть до возврата в постель. К счастью, на сей раз причины были другими - дверь распахнулась, и бодрый Сеня появился на пороге, интенсивно вытирая полотенцем свою бизонью кудлатую башку.

«Ну, - сказал он, усаживаясь на диван и закуривая. - Кто-то что-то говорил про кофе?» Шломо беспрекословно подал.

«Сенечка, - начал он вкрадчиво. - У меня есть к тебе маленькая просьба...»

«Ум-м-м?» - донеслось с дивана.

«Видишь ли, у Сашки могут возникнуть некоторые проблемы с жильем, причем в самое ближайшее время».

«Еще бы, - хмыкнул Сеня. - После вчерашней статьи в «Вестнике» лично я выпер бы его с этой планеты, не то что - с квартиры.» Жмурясь и гримасничая, он начал расчесывать бородатую щеку. «Ты завтракал?»

«Ты же знаешь, я - ранняя пташка», - ответил Шломо.

«Тогда сделай мне яичницу, - сказал Сеня. - Из трех яиц».

Шломо распахнул холодильник. «Тут нет яиц, Сеня!»

Сеня почесал живот. «И бутерброд с маслом», - сказал он, немного подумал и добавил: «И с сыром!»

Шломо вздохнул и выбежал наружу. Торопливо спустившись к себе, он быстро сварганил яичницу с колбасой, намазал пару бутербродов и, загрузив все на поднос, вернулся вверх. Сеня, поджав ногу, сидел на диване перед чашкой остывшего кофе и курил, щурясь на телевизор. Шломо поставил поднос на журнальный столик.

«На стол», - поправил его Сеня, не отрываясь от телевизора. На экране жизнерадостная тетка в сарафане объясняла по- немецки кулинарные рецепты.

«Сеня, - сказал Шломо спокойно. - Пошел ты на...»

«Ты груб», - констатировал Сеня. Кряхтя, он сполз с дивана, погасил сигарету и, взяв поднос с яичницей, пошел к столу. На полпути он остановился и спросил, обращаясь к тетке в сарафане: «Разве я просил яичницу с колбасой? И почему бутерброды без сыра?» Тетка молча шинковала сочную немецкую капусту. Шломо улыбался. Не дождавись ответа, Сеня сел за стол и начал есть, быстро и жадно.

Заглотив последний кусок, он откинулся на спинку стула и закурил, поставив оба локтя на стол и задумчиво глядя сквозь приоткрытую дверь на умытые горней росой кварталы Иерусалима. Шломо ждал. Сеня докурил сигарету до самого фильтра и сказал: «Вчера смотрел фильм, не помню названия. Шкодный такой фильм, с Умой Турман. Так вот, она там...»

«Сеня, падла, - сказал Шломо беззлобно. - Сашке жить негде».

«Что значит - негде? - удивился Сеня. - Я же тебе десять раз говорил - пусть живет у меня. Так вот, Ума Турман...» Он закурил и начал пересказывать виденный вчера фильм. Шломо смотрел на него, не слушая, а просто любя до слез, как любят только домашних собак и самых близких людей.

7

«Вы знаете, Бэрл, - сказал Мудрец задумчиво. - С годами учишься находить Бога в самых малых вещах. В глотке воды или воздуха. В мокром листе. В чем-нибудь взгляде. Даже в пластмассовой игрушке». Он рассмеялся дробным мелким смешком.

«Знавал я одного юридического - из тех косматых оборванных существ, что ходили в Польше из деревни в деревню, круглый год босиком - по камням, по снегу, по осенней грязи - куда там йогам... Так вот, отчего-то он терпеть не мог пластмассовых игрушек. Бывало, как увидит, что ребенок в песочнице с пластмассовой формочкой возится, так подбежит, схватит формочку-то, да и забросит куда подальше. Ребенок, конечно - в плач, мамы - в крик, папы - в тычки, а он, бедняга, им всем объясняет: мол люди добрые, нету Бога в пластмассовой игрушке; в этом вот железном сопочке - есть, и в кубике этом деревянном - тоже есть, а вот в том синеньком ведрке - нет, и не ищите...»

Они медленно шли по мокрой после недавнего дождя тельавивской набережной по направлению к Яффо. Бэрл напряженно молчал. Ему были хорошо знакомы эти отвлеченные философствования Мудреца, скрывающие за собой аналитическую мыслительную работу совершенно в другом направлении. Полчаса тому назад, за столиком в кафе Капульского Бэрл завершил свой рассказ об агентстве «Стена», о скурвившемся Ави Коэне и о сильно помятом, но пока еще живом связнике Надири, ждущем своего часа в подвале дома на улице Шамир. Путешествие в циммеры кибуца Бейт-Нехемия он опустил как не относящееся к делу. Выслушав, Мудрец помолчал, а затем предложил подышать свежим воздухом. С тех пор он говорил только о Боге и погоде. Они уже подходили к «Дельфинарию», а Бэрл все еще не услышал от своего собеседника ничего путного. Это слегка беспокоило его, но он не вмешивался в пустые разглагольствования Мудреца, зная, что это может только отдалить результат.

«К сожалению, это знание приходит только с годами, - уныло сказал Мудрец. - Вам, молодой человек, мои слова наверняка кажутся пустым разглагольствованием...»

«Отчего же, - язвительно ответил Бэрл. - Ваш юридический, несомненно, предвидел грядущую зависимость Европы от арабской нефти и старался втолковать это именно детям, как будущим аналитикам свободного мира».

Старик вздохнул. «Вот видите... Вы знаете, Бэрл, в чем ваша проблема? - В излишней эмоциональной вовлеченности. И дело не только в том, что эмоциональная вовлеченность мешает почувствовать Бога маленьких вещей. Она просто мешает жить. Мешает видеть. Куда вы спрятали вашу мейделе?»

Бэрл встал, как вкопанный. Удар был нанесен настолько внезапно, что пробил все заранее заготовленные редуты. Мудрец тоже остановился и смотрел на него в упор, скача сумасшедшими зрачками по растерянному бэрлову лицу.

«Я так полагаю, Хаим, - произнес Бэрл, собравшись, - что вы спрашиваете об этом из чистого любопытства. Теперь, когда картина ясна, нет никакой необходимости следовать прежней программе. Коэн мертв, а остальных можно оставить в покое».

«Вы так полагаете? - резко прервал его старик. Его голос приобрел неприятную скрипучесть. - Откуда такая уверенность, что второй парень из «Стены» не замешан? А старик из Хайфы? Даже если он чист, как бело-голубой талит, где гарантии, что на него не выйдут новые друзья Ави Коэна? Поймите: все чего касался Коэн - трефа, сколько бы вы не пытались навести на это кошер. Все, включая вашу Дафну».

Бэрл молчал, подавленный очевидной и непрекаемой правотой Мудреца. «Послушайте, Хаим, - сказал он наконец. - Видимо, вы правы насчет моей эмоциональной вовлеченности. Проблема в том, что в данном, конкретном, случае вы требуете от меня слишком многого. Война есть война, и вы не можете сказать, что я когда-нибудь позволял себе забыть об этом. Я никогда и не о чем не просил вас. Никогда. А сейчас - прошу. Оставьте девушку в покое. Я ее вам не отдам».

Старик взял его под руку. «Не городи чепуху, мой мальчик. Ты не сможешь прятать ее вечно. Да и кроме того - разве дело в нас? Мы ищем ее только затем, чтобы она не попала в головы Абу-Айяда. Вот уж кто действительно начнет охотиться за нею через неделю-другую. Особенно после того, как узнает о смерти владельцев «Стены» и об исчезновении Надиры...»

«Владелец? - остановил его Бэрл. - Второй компаньон, скорее всего, ни в чем не замешан. Жив-здоров, чего и вам желает...»

«Погиб... - скорбно прервал его Мудрец. - Погиб в автокатастрофе сегодня утром. Упал со своим «Харлеем» на спуске от Арада к Мертвому морю...»

Бэрл молчал.

«Предупреждая ваш вопрос относительно вашего нового знакомого из Хайфы, - продолжил старик все так же скорбно, - Господин Исраэль Лейбович умер сегодня ночью в своей постели от тяжелого инсульта. Как видите, смерть не выбирает - косит и старых и молодых, во сне и на мотоцикле...»

Бэрл молчал.

«Я признаю, что обещал вам три дня. Но, во-первых, они истекли сегодня утром; во-вторых, если быть до конца честным, вы просили их только для вашей Дафны, в-третьих - и в-главных - Протоколы обязательны к исполнению...»

Мудрец беспокойно покосился на молчащего Бэрла. «Слушайте, Бэрл, - сказал он с нотками раздражения в голосе. - Вам прекрасно известны правила. Никто из входящих во внутренний круг, включая членов Совета, не вправе позволять себе подобных историй. Ни у кого из нас нет семей, чересчур близких друзей, чересчур любимых женщин. Мы обречены на одиночество. Мы на войне. Мы солдаты. Почему же вы ведете себя подобно обиженному ребенку?»

Бэрл молчал.

Замолчал и старик. Они уже почти дошли до Яффо; слева показались обветшалые постройки турецкого периода; ветер доносил запахи рыбы, дыма и горелого мусора.

«Пожалуй, мне пора», - сказал Бэрл.

«Вам будет пора, когда я сочту это необходимым, молодой человек», - сварливо ответил Мудрец. Еще немного помолчав, он, как будто решившись, махнул рукой и продолжил: «Ладно, черт с вами. Вот вам

единственный вариант разрешения страданий молодого Вертера. Во-первых, вы достаете мне Абу-Айяда. Живым. После этого вы объясняете вашей девушке ситуацию и отдаете ее нам. Мы прячем ее на два года от всего мира, включая, естественно, вас. Я бы даже сказал - от вас в первую очередь. Прячем инсценировав смерть, так что родителям придется плакать так или иначе. Вы, со своей стороны, обещаете не искать с ней контакта в течение этих двух лет. Ни под каким видом».

«А потом?» - глупо спросил Бэрл.

Мудрец воздел руки к небу «Боже милосердный! Сначала проживите их, эти два года, вы, влюбленный баран! А потом поговорим. Впрочем, я искренне надеюсь, что вы к тому времени поумнеете. Шарик в штанах обладают короткой памятью, хотя размерами и больше шариков в голове».

Бэрл кивнул. «Спасибо вам, Хаим. Это щедрое предложение. Я согласен».

«Подождите радоваться, - проворчал старик. - Я должен еще получить согласие Совета на изменение Протокола. Но это уже моя головная боль. Давайте пока поговорим об Абу-Айяде».

Они повернули назад, в сторону Тель-Авива.

Бэрл выехал из Офарима в полной темноте. Поселение уже спало; охранник на выезде, не глядя, открыл ворота. Бэрл свернул налево, в направлении Халамиша. На расстоянии нескольких километров от Офарима помещалась Шукба - большая враждебная деревня, один из знаменитых центров угона и «художественной разделки» на запчасти краденых израильских автомобилей. Вади справа от изрытого колдобинами шоссе было усеяно ржавыми скелетами машин. Бэрл остановил «Опель», не доезжая нескольких сотен метров до первых домов. С заднего сиденья он достал небольшой складной велосипед и быстро привел его в рабочее состояние. Затем он открыл багажник. Замотанный клейкой лентой Надир лежал на своем уже ставшем привычным месте. Впрочем, в ленте особой надобности не было - араб еще парил на радужных героиновых крыльях в райских садах своего мусульманского рая. На всякий случай Бэрл сделал еще один укол и только потом снял веревки и кляп. Легко вынув из багажника обмякшее тело, он переместил его на место водителя. Надир тихонько замычал. На лице его расплылась блаженная улыбка. «Прощай, сучара, - сказал ему Бэрл и открыл канистру. - Из грязи вышел, в грязь и возвращайся. Нефиг по Европам разъезжать...»

Через минуту он уже крутил педали, быстро спускаясь к шоссе. «Опель» полыхал на дне вади. BMW ждал Бэрла на стоянке рядом с армейским блокпостом.

Когда, вырuling между бетонами, Бэрл проезжал пост, пожилой резервист в каске наклонился к его окошку «Ты что, сюда из Офарима на велосипеде прикатил? И не страшно?»

«Чего не сделаешь ради похудания, бижу, - улыбнулся Берл. - Зато смотри, в какой я форме...» Он нажал на газ.

Глядя на быстро удаляющиеся задние огни кабриолета, резервист покачал головой. «Видал? Что ты на это скажешь? Чумовое они, эти поселенцы...» «Ясно, чумовые, - согласился его напарник дремлющий на стуле около пулемета - Выселить их всех к ядрене фене и дело с концами. Мы тут, как фраера, на бронированном джипе патрулируем, а этот маньяк, видите ли, на велосипеде разъезжает...» Он сплюнул и закурил: «А тачка тоже не слабая Упакован, видать, по самые уши » «Еще бы, - отозвался первый милиумник. - На них-то наше сраное правительство денег не жалеет. Нет чтобы...» И они углубились в животрепещущую тему раздачи общественных слонов.

Дафна смотрела на него сбоку, приподнявшись на локте. Колеблющийся свет луны бродил по комнате, присаживаясь на постель, прислоняясь к шкафу, подбирая разбросанную в беспорядке одежду. Бэрл приехал поздно, и тем не менее она проснулась еще до того, как услышала шум машины, почувствовав его приближение издали каким-то особенным звериным чутьем. Она выскочила к нему навстречу под морозящий ночной дождик, босиком, в одной рубашке, просясь на руки, как ребенок, изнывая от клубящегося в низу живота желания. И снова они плыли по тягучей и темной, искрящейся под руками воде; они сами были этой водой, медленно вливающейся в гложущие раковины ушей; они плыли тянущим, пьющим, мягкогубым ртом, ортом и миртом, гуртом и топотом; вцепившись друг в друга, как в лодку, они взрывались в дробной, вихрящейся пене водопада...

«Что?» - переспросил он. «Бензин», - повторила она. Это были их первые слова, которыми они обменялись.

«От тебя пахнет бензином. Ты работаешь на бензоколонке?»

«Нет. Я заправляюсь бензином как трактор. На обычном человеческом топливе с тобой не справиться...»

«Напрасные старания, милый. Сегодня тебе это не поможет. Я высосу тебя без остатка, как паучиха. Где ты был? Каждый день я знала, что умру, если ты не приедешь. Я умирала каждый день, и теперь я полна своими смертями. Ты должен выдолбить их из меня, слышишь?»

И снова мерцающий лунный свет бродил по комнате, гладил их сплетающиеся руки, их впечатанные друг в друга бедра, их приклеенные друг к другу животы; скользил по их блестящим от сладкого пота спинам, дрожал в серебряном отливе спутанных каштановых волос.

«Дафна. Я должен тебе что-то сказать...»

«Нет. Потом. Утром. А сейчас мы будем спать. Молчи...»

Они уснули, отказываясь разлучиться и во сне, этом самом одиноком после смерти состоянии человека.

Бэрл проснулся от звука закрываемой трисы. Дафна стояла у окна спиной к нему и осторожно тянула за ремень, изо всех сил стараясь не шуметь. «Зачем нам день? - сказала Дафна, кожей почувствовав его

взгляд. - Давай притворимся, что еще ночь. Что нам стоит?» И они снова занялись любовью, утренней, спелой, сытой и медленной, как осень.

«Дафна...»

«Нет, давай не сейчас, потом...»

Он ласково, но твердо убрал ее защищающую ладонь со своих губ: «Послушай, девочка, это очень важно. Тебе придется уехать из страны. Года на два. Твои родители, друзья... все-все- все будут думать, что ты умерла. Это необходимо, иначе тебе придется умирать по-настоящему».

«Но почему? Ты же их всех перебил?»

Он горько усмехнулся: «Как видишь, не всех. Осталось более чем достаточно. И учти - они хотят тебя найти. Потому что ты теперь для них - единственное существо, которое еще может что-либо прояснить». Она нахмурилась. «А как же Ави и Арик? Гай? Или их тоже прячут?»

«Конечно, - сказал Бэрл, отворачиваясь. - Они уже спрятаны... да так, что надежней не спрячешься».

Речь вползала между ними, растекалась кривыми извилистыми протоками лжи, колыхалась отстойной, болотной зыбью недоверия. Оба чувствовали это, с тоской возвращаясь в серые декорации обыденности из дикого тропического сада близости, из их частного, немого мира на двоих.

«Я даже не знаю, как тебя зовут, - вдруг вспомнила Дафна. - Я даже не знаю, кто ты... Ты ведь не просто убийца? Я видела, как ты убиваешь. Ты наверняка профессионал... Кто ты - наемный киллер?» Она начала всхлипывать. Бэрл молчал. Он вдруг осознал, что все, что ни скажешь сейчас, прозвучит безнадежно плохо, запутает их еще больше, разведет еще дальше. Дафна тихо плакала, сидя на краю кровати, маленькая, испуганная, беспомощная девочка. Все также молча он обнял ее за плечи, притянул к себе, губами отодвинул каштановый завиток с мокрой щеки. «Шш-ш... - шипел он ей на ухо. - Ш-шш...» Станным образом она начала успокаиваться. И вдруг сами собой пришли слова, такие же ничего не значащие, бессмысленные, как и предшествовавшее им шипение и в то же время наполненные каким-то неведомым, целебным и очень нужным им обоим содержанием.

«Никому ни за что не отдам, - шептал он. - Ты моя девочка, ты моя... никому... ни за что...»

Вообще-то Зал заседаний Великого Синедриона помещался, как и положено, на горе Сион, за неприметной, ведущей в полуподвал железной дверью в слепом, загаженном ослами и туристами переулке, между Гробницей Давида и домом Каифы. Но Большой Совет в полном составе собирался нечасто, даже в это, легкое на подъем время. До эпохи воздухоплавания избрание в Синедрион означало обязательное переселение в Иерусалим, иначе собрать необходимый для важных решений кворум было бы просто невозможно.

Теперь Мудрецы слетались со всех концов планеты, не реже двух раз в год - на Суккот и на Песах. Да и в этом, честно говоря, не было особой необходимости, учитывая современные средства связи. Впрочем, кто думает о таких мелочах, как необходимость, когда речь заходит о традиции. А паломничество в Иерусалим в святые дни этих двух праздников почиталось неременной обязанностью для каждого из семидесяти членов Синедриона.

Из года в год, три тысячи лет они собирались там, в тесном каменном подвале, при свете смоляных факелов, масляных ламп, неоновых светильников, старые, мучимые подагрой и ревматизмом люди, управляющие этим миром. Отсюда вершили судьбы народов, тут создавались и рушились империи, возводились на престол и низвергались великие владыки, падали и взлетали биржи, развязывались войны, разрешались казавшиеся вечными конфликты.

Мудрецы вели этот мир по загадочной, заранее predetermined, указанной в Книге Книг дороге. Но даже среди них, семидесяти избранных, только семеро умели прочесть непонятные для непосвященных таинственные дорожные знаки. Умирая, они передавали свое Знание следующим, из уст в уши, из века в век. Невидимые и всесильные, мудрые и жестокие, они всегда простирали над миром свою морщинистую властную длань. Всегда. И в эту минуту - тоже...

Хаим отпустил такси около мельницы. День был труден, и он устал. Освещенные множеством прожекторов стены Золотого Иерусалима возвышались напротив. Справа светилась гора Сион. Старик обратился к ней и вознес молитву. Он просил дать ему силы; он знал, что в этом будет ему отказано. Спустившись от мельницы по блестящей от дождя лестнице, он повернул налево и позвонил около одной из дверей. «Открыто!» - раздался скрипучий голос. Мудрец толкнул дверь и вошел.

Большая комната была жарко натоплена. Книжные стеллажи до потолка окаймляли ее с трех сторон. Четвертая стена представляла собою огромное окно, обращенное к Сионской горе. Тяжелые портьеры были раздвинуты, и Гора сияла во всем великолепии ночной подсветки под искрящимся ореолом дождя. Посреди комнаты возвышался огромный резной стол темного дерева; несколько жестких стульев с высокими спинками и два тяжелых кресла дополняли меблировку. «Проходите, Хаим, садитесь, - произнес сидящий за столом старик, указывая в сторону кресел. - Я сейчас освобожусь. Минутку...»

Он с видимым раздражением тыкал указательным пальцем в клавиатуру ноутбука: «Ну вот, что опять случилось? Вы знаете, Хаим, эти компьютеры просто выводят меня из равновесия. Стоит нажать на что-нибудь не то и пожалуйста, будьте добры начать все сначала. Они называют это «перезапускать». Временами я скучаю по старой доброй пишущей машинке. Она, по крайней мере, не нуждалась в перезапусках семь раз на дню...»

Несмотря на жару, старик был одет в теплый клетчатый домашний пиджак и байковые бесформенные брюки на подтяжках. Высокий, худой, костлявый, с тонкими угловатыми руками, огромным крючковатым носом и длинными седыми прядями, зачесанными назад с высокого лысого лба, он походил на старую птицу-секретаря.

В определенном смысле, это сходство было не случайным - Гавриэль Каган, один из семи столпов Большого Совета, исполнял деликатные обязанности «секретаря по нестандартным операциям». Не то чтобы прочие действия Сионских Мудрецов были такими уж стандартными; созданная на протяжении веков мощная структура существовала параллельно, а зачастую - вопреки законным механизмам общества; она прочно вросла во властные слои правительств, парламентов, судов, она проникла в армейские штабы, в профсоюзы, в банковскую систему; она контролировала прессу и телевидение, колледжи и университеты. Но даже на фоне этой сложнейшей, незримой для непосвященного, тайной работы, операции Гавриэля Кагана выглядели не вполне обычными. Его сеть занималась физическим устранением препятствий, проще говоря - ликвидациями и диверсиями.

Каган еще несколько раз раздраженно ткнул пальцем в клавиатуру и наконец, сдавшись, захлопнул крышку компьютера.

«Черт знает что такое...» - пробурчал он и встал из-за стола. Раскачиваясь на длинных ломких ногах как на ходулях, он переместился в кресло напротив Хаима Каждое его движение сопровождалось сухими щелчками коленных и локтевых суставов.

«Я вас слушаю, Хаим, - сказал он, ерзая в кресле, чтобы устроиться поудобнее. - Что за срочность такая?»

«Габи, я сожалею, о том, что отнимаю ваше время. - начал Хаим. - Это касается все того же амстердамского дела. У нас появилась возможность поймать Абу-Айяда. »

Старший Мудрец вопросительно поднял кустистые брови «Это резидент арафатовской контрразведки в Европе, - поспешно пояснил Хаим - Держит в руках много нитей Сотни агентов. Попортил нам немало крови »

«Ну так что? - нетерпеливо прервал его Каган - Поймать так поймать. И за этим вы пришли сюда? Хаим, если из-за каждого абу-бубу вы будете отвлекать меня от работы, мы далеко не продвинемся... У вас есть достаточно полномочий, чтобы решить этот вопрос самостоятельно»

«Габи, конечно же, я пришел не за этим. Дело в том, что я вынужден просить об изменении в Протоколе »

Каган, щелкнув суставами, наклонился вперед. «Я надеюсь, что у вас есть серьезные основания. Протокол не изменяют каждый день. »

«Мне это известно не хуже, чем вам, Габи, - ответил Хаим с достоинством - Поверьте, я бы не просил, если бы не полагал это необходимым. Речь идет о Протоколе заседания Малого Совета по поводу чистки внешнего круга, связанного с амстердамским провалом. Собственно, решение уже исполнено по всем участникам за исключением одного, вернее одной. Относительно нее я и прошу изменения» «Причины?» - сухо выстрелил Каган.

Хаим помедлил, собираясь с мыслями. Наступал решительней момент объяснения. Он заговорил, стараясь держаться максимально бесстрастно.

«Причины - чисто практического порядка. Один из моих ребят оказался вовлечен эмоционально. Исполнение решение по девушке означает для меня потерю этого солдата. А без него нам не взять Абу-Айяда» «Почему - без него - не взять?»

Хаим чертыхнулся про себя Это был прокол. Он продолжил так же бесстрастно: «Извините, Габи. Я имел в виду - без него взятие Абу-Айяда обойдется нам дороже и с меньшими шансами на успех.»

Каган кивнул: «Понятие.» Он помолчал «Что ж, обманите своего солдата. Я не вижу необходимости изменять Протокол».

Хаим опустил глаза. Он знал, что должен ответить согласием, что никакие возражения уже не помогут, что его молчание говорит против него самого - и не мог заставить себя открыть рот.

«Послушайте, Хаим, - сухо сказал Мудрец - Мне кажется что эмоциональная вовлеченность в данном случае не ограничивается вашим солдатом Я вынужден напомнить вам, что для нас подобные соображения должны быть категорически исключены. Лазайте посмотрим на дело трезво. Ваш парень влип, что же ставит под сомнение его личную надежность. Вы обещали ему спасти его девицу, поместив ее в карантин. Тем самым вы сохранили солдата по крайней мере на время этого карантина. До этого момента вы действовали правильно. Но на этом мои похвалы заканчиваются. Не было никакой причины приходить ко мне с просьбой об изменении Протокола. Вы могли просто продолжить его исполнение, не извещая об этом вашего солдата. Мне странно что я должен объяснять вам столь очевидные вещи»

Хаим молча кивнул. Старший Мудрец встал и подошел к окну. Какое-то время он стоял там, слегка раскачиваясь на своих ходулях, затем сделал Хаиму знак подойти.

«Посмотрите, - сказал он взяв одной рукой за плечо своего собеседника а другой указывая на Горю напротив - Видите, там, над Горой?» Он посмотрел на Хаима, напряженно и беспомощно уставившегося в танцующий над Городом дождь, и горько усмехнулся «Вы не видите. Вы пока не видите. Но это не значит, что там ничего нет. Пока вы просто должны верить мне. Мы с вами солдаты, Хаим Мы – солдаты нерушимого, стройного и ясного плана, направляющего этот мир, не дающего ему свихнуться в тартарары. Этот план трудно понять, временами он противоречит всему нашему душевному строю, опыту, убеждениям; он введом немногим, возможно, - всего лишь Семерым Мудрецам, семерым из пяти миллиардов. Но это не значит, что его нету. Он есть, и мы, его солдаты, не можем позволить себе жалость ни к ни в чем не повинной девушке, ни к чудом выжившему в Катастрофе старику, ни к вашему влюбленному солдату. И хотя в самой этой, такой понятной и такой человеческой жалости нет ничего преступного, она не должна, не имеет права, мешать торжеству Плана...»

Каган снял руку с хаимова плеча и снова повернулся к Горе.

«И уж конечно, она не должна мешать исполнению Протокола, - закончил он сухо. - Идите, Хаим. Идите и исполняйте».

Мудрец молча поклонился и пошел к выходу. У двери он обернулся. Гавриэль Каган по-прежнему стоял к нему спиной, неподвижно глядя в окно, как будто забыв о своем госте. Хаим вышел под дождь. Он испытывал странное чувство облегчения, как будто какая-то тяжесть упала с его плеч. «Упала ли? - поправил он сам себя. - Скорее, ее просто взял на плечи кто-то другой...» Так или иначе, он уже не чувствовал себя таким разбитым, как час тому назад. Быстрой семенящей походкой он спустился к Синематеке и взял такси. Каган же еще долго стоял у окна, обратив к Горе свое бледное, высоколобое, залитое слезами лицо.

8

Не слишком ли перемудрил? Шломо перечитал последнюю главку. Черт его знает... Надо сказать, что подобные сомнения посещали его нечасто, а когда все-таки посещали, то он быстро гасил их решительным напоминанием самому себе, что речь-то, в конце концов, идет о пошлой литературной поденщине, о тексте, измеряемом не качеством прозы, но погонными метрами. Зачем выеживаться? - для Урюпинска сойдет... Тем более, что пока ему еще не приходилось видеть свою бэрлиаду где-либо напечатанной, так что и сантиментов особенных он к ней не испытывал. Деньги идут, и слава Богу...

С другой стороны, не слишком ли круто он завернул с Сионскими Мудрецами? Уж больно скользкая тема, и не хочешь, а заденешь - того за локоток, этого - за задницу... Не обидеть бы Благодетеля - если он еврей, конечно... Хотя, по сути, - отчего тут еврею обижаться? Скорее, гордиться бы надо, раздуть, почем духу хватает, нелепую эту легенду - мол, смотрите все, какие мы, евреи, сильные ребята - весь мир за яйца держит! Не забывайте! Берегитесь! Шломо остановился перед зеркалом и погрозил туда кулаком для пущей убедительности. Погрозил, да и засмеялся - уж больно смешон был этот чудак в зеркале - длинный такой, унылый еврей на пятом десятке, в махровом халате и стоптанных тапочках... еще и грозит кому-то - смех да и только.

«В общем, кончай дурить, Шломо, - сказал он сам себе решительно. - Для Урюпинска сойдет...»

Отправив главу, он выключил компьютер и пошел посмотреть, как там Женька. Женька, понятное дело, дрыхла. Вот уже несколько недель после возвращения из Бразилии она пропадала без дела, болтаясь по бесконечным вечеринкам, дискотекам, кафе, уходя из дому в десять-одиннадцать вечера и возвращаясь под утро. На робкие родительские возражения отвечала решительным указанием на собственную взрослую самостоятельность и свободу, как осознанную необходимость «найти себя».

«Может, и впрямь права девчонка? - говорил жене Шломо после того, как Женька уносила в ночь, во всеоружии своего латиноамериканского загара, чуть сдобренного французским марафетом и зйлатскими фенечками на шее и на запястьях. - Может, и впрямь так и надо? Ну не знает она, чего хочет, ну не знает; что ж ты - убьешь ее за это? Дай ребенку осмотреться, еще успеет ярмо надеть...»

«Ребенку... - фыркала Катя. - Двадцать два года балбеске. Хоть бы на курсы какие записалась...»

Так или иначе, в настоящую минуту Женька, разметав по подушке выбеленные бразильским солнцем волосы, «искала себя» в неглубокой лагуне праведно-младенческого сна. Шломо постоял в дверях, глядя на нее и вследствие странного дефекта зрения видя не взрослую красивую спящую женщину, а двухлетнего ребенка, которого жалко, но надо будить и быстро-быстро одевать, натягивать платье, кофту, штаны и тащить еще сонную, теплую, сладко и недовольно зевающую - в детский садик на соседнем дворе и, скрепя сердце, оставлять там, в пропахшем горелой манной кашей вестибюле, стоящую с отвисшими на коленках пузырями колготок и тоскливо глядящую вслед уходящему папе; кто теперь от кого уходит, девочка?.. Шломо наклонился и тихонько поцеловал Женьку в висок.

«Не пора ли тебе вставать, красивая? Второй час как-никак...»

Женька недовольно заурчала и повернулась на другой бок. Шломо не стал настаивать - пускай ребенок поспит...

Он открыл банку пива и вышел на лестницу. Март катился к раннему в этом году весеннему празднику Песах, и иерусалимская природа, видимо, предпочитая лунный еврейский календарь солнечному европейскому, послушно сворачивала свои зимние порядки. Миндаль уже отцвел, на углу мерказухи вовсю зеленело большое гранатовое дерево, а из жухлых запущенных газонов буйно перла молодая веселая трава. Ну чем не жизнь, а, Шломо? Вот стоишь ты, чистый и радостный, под весенним небом Пупа Земного, с банкой холодного пива в твердой руке, с любимым ребенком, безмятежно дрыхнущим за спиной, с бесценной женой на работе, за которую ей, вроде, наконец-то - тьфу-тьфу, чтоб не сглазить - удалось зацепиться, с очередным, только что законченным Бэрлом в комме: и все слава Богу, здоровы, и долгов немного, и жизнь прекрасна, чудесна, лэха жизнь, за тебя! Он глотнул пива и повернулся спиной к Иерусалиму, не в силах больше встречать грудью волны счастья, накатывающиеся на него из Города, как из моря.

Жаль, что расслабленное сознание даже в такой торжественный момент все-таки подкидывало ему всякие неприятные напоминания, мусор, щепки, выгоревший ветхий плавник мелочь бытовых забот. К примеру, вчера Катя твердо сообщила ему, они званы всей семьей на пасхальный седер к ее начальнику и отказать невозможно.

«Катягорически?» - жалобно спросил Шломо. «Категорически», - рассмеялась она и повернувшись к стоящей у зеркала Женьке добавила: «Кстати, к вам красавица, это тоже относится»

Женька напряглась, но затем взвесив материнскую интонацию, почла за благо не перечить. Она все же закинула пробное вялое «ну маа-ама», однако Катя подавила ее робкое сопротивление в самом зародыше.

«Без всяких «ма-ама» и без всяких «ка-атя», - сказала решительно. - Вы, надеюсь, не хотите, чтобы я снова остался без работы? И потом, это просто неудобно - для них это так кто значит: не будем же мы обижать людей...»

Теперь надо было переться в далекую Нетанию, сидеть та кругу незнакомых людей, слушать, кивать, улыбаться, что-то говорить самому, распевать вместе со всеми непонятные слова Агады, ждать, когда наконец будет дозволено есть, и в итоге трудом выбираться из-за стола, сверх всякой меры оборжавшись разными вкусами... тоска. Шломо вздохнул и снова повернулся к Иерусалиму, надеясь вернуть прежнее ощущение ничем незамутненного счастья. Дудки. Город молча смотрел на него исподлобья своих холмов, видимо обиженный шломиным отношением к одному из самых святых его праздников «Ладно кукситься - улыбнулся Шломо. - Я же в конце концов еду. Причем со всей семьей. » Иерусалим подумал и сменил гнев на милость.

Перед тем, как отправляться в редакцию, Шломо решил забежать к Сене с Сашкой. Сашка жил там вот уже четвертую неделю, изгнанный, как и следовало ожидать, со всех своих прежних пастбищ. В издательстве ему показали на дверь уже на следующий день после публикации памятной статьи. В семье он продержался несколько дольше. Нельзя сказать, чтобы жена не сомневалась вовсе, но общественное давление все же возобладало. С нею перестали здороваться на улице и в лавке. Дети приходили из школы в слезах - одноклассники вдруг стали дразнить их «дегенератами» - по созвучию с незнакомым и непонятным словом «ренегат». Либерманы - семья дегенератов... В общем, через пару недель такой веселой жизни супруги сели на кухне, поговорили спокойно, без слез и пришли к очевидному решению. Сашка собрал чемодан, поцеловал насупленных детей и отбыл в гостеприимную Мерказуху, на скудные сенины харчи.

В первый же вечер друзья отметили новоселье рекордным даже по прежним временам количеством выпитой водки. Пили втроем - Катя отказалась присоединиться по принципиальным соображениям. Больше всех крушение сашкиной жизни переживал Шломо. Он даже всплакнул по этому поводу, открывая третью по счету бутылку «Голда».

«Не плачь, Славик, - успокоил его Сашка. - Это не последняя. У Сени в морозилке еще два «Кеглевича», а в буфете - «Балантайнс» заныкан. Правда, Симеон? Я все вижу...» И он погрозил пространству совершенно пьяным пальцем. До «Кеглевичей» дело, впрочем, не дошло, потому что почувывая недоброе Катя разогнала компанию, забрав домой мужа и затолкав в постель Сашку. Сеня лечь отказался, заявив, что он еще будет рр-раб-ботать, и действительно, сел за компьютер, где незамедлительно заснул, положив щеку на клавиатуру.

Так ознаменовалось начало нового этапа в Сашкиной жизни, который, при ближайшем рассмотрении, оказался вовсе не таким трагичным, как это виделось Шломо. Газеты печатали его даже с большей охотой, чем прежде, обретая таким образом столь милый сердцу редакторов «баланс мнений» - ведь обличительный антиссионистский пыл «нового» Сашки в известной степени уравновешивал общий правый уклон русскоязычной прессы. В дополнение к этому у Саши Либермана появились новые друзья.

Прежде всего, шум специфически «русского» скандала докатился и до погруженного в собственные сытые дрязги общеизраильского ивритоязычного истеблишмента. Для них история сашкиного «изгнания» из лагеря ненавистных поселенцев пришлась как нельзя кстати. Крупная израильская газета опубликовала большой материал под броским заглавием «Изгой». Особый упор в статье делался на беспардонную нетерпимость правых, без колебаний разрушивших семью и выкинувших человека на улицу только за то, что он осмелился бросить им в лицо горькую правду. Фотография Сашки с детьми красовалась на развороте субботнего приложения. Подпись гласила: «Увидит ли он теперь своих детей?» Изобразительный ряд статьи венчался комбинацией из двух других фотографий. На первой, с надписью «здесь он жил в разладе с собственной совестью» была представлена роскошная вилла, долженствующая, видимо, изображать дом среднего поселенца, ибо ничего общего с конкретным сашкиным домиком в Долеве у нее не было. Второй снимок с похвальной реалистичностью отображал запущенную мерказушную сенину берлогу с заросшей окурками пепельницей на переднем плане. Текст под фото перекликался с предыдущим: « а теперь он живет здесь, но совесть его чиста!»

Сеня, прочитав, рассмеялся: «На свободу - с чистой совестью » Потом, отсмеявшись, добавил: «Знаешь, Сашка, не будь я бы подумал - ну и сука... Но поскольку я с тобой знаком, то и думаю я иначе. Ты не сука, ты - просто мудака.»

На Сеню обижаться было не принято, Сашка и не обиделся. В эти недели он жил в каком-то иступленном опьянении своей новой жизнью, новыми знакомствами, новыми возможностями. Его стали приглашать на телевидение, брать интервью, спрашивать его ученое мнение по всевозможным поводам; он определенно становился величиной всеизраильского значения.

«Вот видишь, как просто стать звездой, - язвительно говорила мужу Катя. - Достаточно всего лишь сосучиться. Погоди, его еще и на хлебную должность пристроят, попомни мое слово... »

«Ты несправедлива, Катюня, - возражал Шломо. - Можно утверждать, что Сашка заблуждается. Можно сомневаться в правильности его логики. Одно для меня несомненно - он искренен. Да, он поменял свои убеждения.

Ну и что? Разве это преступление? Человеку свойственно ошибаться, верно? Значит, человеку свойственно менять свои убеждения. Разве не так? Во всяком случае, я уверен, что Сашка сделал это в результате мучительного внутреннего развития, а вовсе не для всех этих коврижек».

«Не смей меня, Славик, - отвечала Катя. - Фу-ты ну-ты - мучительное внутреннее развитие... Я щас прямо заплачу... Кризис переходного возраста у твоего Сашеньки. Помноженный на общую природную

мудаковатость. Прибавь к этому бабу его страшную, которую он и не любил-то никогда. Конечно, не любил что ты за голову хватаешься... Он тогда программу отъезда выполнял, если ты помнишь: покупал пианино, стоял в очереди на мотоцикл, учился вождению и искал жену».

«Ради Бога, Катя, - стонал Шломо. - При чем тут жена и мотоцикл?»

«Конечно, - уверенно продолжала Катя, гремя посудой в раковине. - Конечно. И вообще, знаешь, что я тебе скажу? - Она решительно поворачивалась к мужу, вытирая руки кухонным полотенцем с петухами. - Просто за время своего диссидентства он привык мелькать в центре событий. Эмиссары из-за бугра, топтуны под окнами, видики на продажу, запретлит пачками, шубы с сапогами, адреналин ведрами... Он на эту жизнь подсел, как на иглу. Он с тех пор нормально жить не может, инвалид хренов. Жертва диссидентства».

«Как ты можешь так говорить? - Шломо пускал в ход последний козырь. - Если бы не героические усилия таких, как Сашка, мы бы еще сидели с тобой в тоталитарном Союзе. Это они разрушили Систему, такие вот сашки...»

«Сам-то ты в эту чушь веришь? - презрительно парировала Катя. - Бодались телята с дубом, а теперь говорят, мол, это мы его завалили... Смех, да и только».

«Что ж, по-твоему, он сам упал, этот дуб?»

«Может и сам... А может, ему снизу корни съели. Кто? - а черт его знает. Может, мы с тобой, Славик, и съели. В одном я уверена - телята эти бодливые тут ни при чем. Какой с мудаков прок?»

Шломо смолк, подавленный катиным напором. За всю их совместную жизнь ему удалось победить в споре с Катей лишь однажды, когда, еще до свадьбы, он убеждал ее не делать аборт. Да и то если говорить честно, большой его заслуги в том не было - скорее всего, она тогда сама, вполне сознательно, дала себя уговорить...

Шломо услышал спор еще с лестничной площадки. Кричал, конечно, Сашка; Сеня отвечал ему вполголоса, лениво растягивая предложения и интенсивно расчесывая правой рукой левую щеку.

«Промывка мозгов? - возмущенно вопрошал Сашка. - А у нас мозги не промыты? У него, - он ткнул пальцем в кстати подвернувшегося Шломо. - У него мозги не промыты? Мы, выпускники сталинско-брежневских университетов, как же мы любим похвалиться нашим иммунитетом к промывке мозгов! Мол, мы-то стреляные воробьи, нас-то на мякине не проведешь... Только лажа это все, вранье. Конечно, насчет «партия наш рулевой» или, скажем, - он пощелкал пальцами, подыскивая пример. - Скажем... »

«Слава КПСС! - пришел к нему на помощь Шломо. - Все на уборку урожая! Генетика - продажная девка империализма! Из всех искусств для нас важнейшим...»

«Во-во, - прервал его Сашка. - На все это дерьмо у нас, конечно, иммунитет имеется, кто же спорит. Но, тем не менее, мозги у нас промыты плотно и основательно. Вот ты скажи, - обратился он к улыбающемуся Шломо. - Как насчет защиты Отечества, подвига во имя Родины... Это все как - хорошо? Плохо? Нет, ты скажи, не стесняйся...»

«Да не стесняюсь я, что ты, право, как петух какой-то наскакиваешь, - отодвинул его Шломо, все еще улыбаясь. - Конечно, защита Отечества - это хорошо. Только при чем тут промывка...»

«Ага! - торжествующе вскричал Сашка, как будто поймав его на чем-то. - Ага! Ты видишь, Сенечка? Промыты мозги, промыты... Десятилетия советской пропаганды не прошли даром! Не зря все эти падлы, все эти ждановы-сусловы работали; вот тебе результат! Отечество-хренечество... родина-уродина... Хрень это все, поймите. Одна ешь в этом мире ценность - человек. Все остальное - чушь, шелуха, газетный блеф; всем остальным можно подтереться, если, конечно, не боитесь жопу запачкать...»

«Возможно, - лениво ответил Сеня и потянулся за сигаретой. - Возможно и так... Только пропаганда этой твоей позиции - тоже промывка мозгов. Хотя и в противоположном направлении. Мол, гуманизм, свобода личности, самореализация, геи с лесбиянками, все люди братья... Впрочем, «все люди - братья» звучит как-то по-шовинистски, правда? Ладно, не тушуйся, брат, давай заменим это на «все негры - сестры»... Что, тоже плохо? Ну не знаю...»

«Хорошо, - согласился Сашка. - Насчет промывки согласен. Только промывка промывке рознь. Мы противопоставляем фашистическую промывку. Мы ж вас спасаем, дураков.»

«Мы - это ты со Слизняком?» - насмешливо осведомился Сеня и пустил в потолок струю дыма

«А хоть бы и так, - с вызовом ответил Сашка. И кстати, у этого вполне достойного человека есть фамилия так что ни к чему называть его этим мерзким прозвищем, в особенности когда он не может тебе ответить »

Шломо насторожился: «При чем тут Слизняк. Сеня?» Так на их внутреннем жаргоне именовался некий депутат, создавший несколько лет тому назад организацию под скромным названием Институт Демократичен Плюрализма. Прозвище «Слизняк» ему дала Катя, когда политические пристрастия новоиспеченного депутата еще не вполне просматривались.

«За что ты его так невзлюбила, Катя? - удивлялся тогда Шломо. - Он выглядит не хуже других «русских» Зато как на иврите чешет!»

«Скользкий он какой-то, - уверенно отвечала Катя - ты только на рыло его масляное глянь. Иуда-иудой...»

Шломо ухмылялся «Катюня, Иуда - весьма распространенное еврейское имя...»

Зато потом, когда выяснились источники финансирования «Института», катиному торжеству не было предела «Нег. ну ты видишь, как я его раскусила? - торжествовала Катя. - Сволочь гадкая... Он только что террористам патроны не покупает »

«При чем тут террористы, Катя? - урезонивал ее Шломо. - Если Европа хочет пропагандировать в Стране определенную точку зрения, в этом нет ничего противозаконного. »

«Как же! Ничего противозаконного! А то они не знают, что на их деньги закупается оружие и пластиковая взрывчатка! Ты видел арабские учебники, где Израиля нет на карте? - Они печатаются в Европе и за европейские бабки! И твой Слизняк подъезжает из того же корыта. Что за пакость... тьфу! Иуда, Иуда и есть.»

В те дни Женька еще служила в армии - катину горячность можно было понять.

«В самом деле, при чем тут Слизняк, Саша? - невинно осведомился Сеня. - Расскажи другу дорогому...»

Сашка молча развел руками, хрюкнул, начал что-то говорить, передумал и нервно прошелся по комнате. «Расскажи, расскажи, что ты стесняешься, - издевательски подначивал его Сеня. - Спой, светик, не стыдись »

«А мне стесняться нечего, - вызывающе сказал Сашка - Нашлись моралисты на мою голову. » Он еще раз прошелся по комнате и наконец остановился перед Шломо «Видишь ли, Славик, - неловко начал он, глядя в угол. - Мне предложили читать курс лекций в Институте Плюрализма. По теме «Нравственный выбор журналиста» » Он замолчал «И подтолкнул его с дивана Сеня. - И?.. Заканчивай, чего уж там » «И... я согласился »

Кто-то вдруг хлопнул ладонями в шломиной голове, притопнул и, высоко вскидывая колени, запел: «подружка моя, ты не сомневайся...»

«Эй, Славик, что ты молчишь, скажи что-нибудь, - позвал его Сеня. - Ты смотри, Саш, как его тряхануло... Впечатлительный ты наш.»

Шломо и в самом деле молчал, не к месту улыбаясь и тщетно пытаясь справиться с внутренним своим топотуном, на высокой ноте выводящим: «...я пойду его встречать, а ты одевайся!» Сашка по-прежнему стоял истуканом: потом, так и не дождавшись шломиной реакции, развел руками и начал кружить по комнате

«Смотри, Александр, - солидно сказал Сеня, закуривая. - Оставляя в стороне твое присоединение к Слизняку, которое и в самом деле выглядит несколько... э-э-э... чрезмерным даже на фоне твоих нынешних духовных исканий, я должен заметить, что твои рассуждения по поводу промывки мозгов все же не вполне корректны. Ты говоришь: «или-или». Либо промывка националистическая, либо промывка гуманистическая. Надо только выбрать - которая из них лучше. Так?» Сашка кивнул.

«А если я, к примеру, не хочу никакой промывки? - продолжил Сеня. - Ни-ка-кой. Если мне в равной степени наплевать и на идеалы сионистского Отечества и на прекрасные идеалы гуманизма? Для меня - высшая ценность - Я. Сам. Разве плохо? Шкурно, зато честно. Чем не вариант?» «Подружка моя, ты не сомневайся...» - задумчиво пропел Шломо.

«О! - радостно подхватил Сеня. - Вот и царь Шломо прорезался. Скажи уже что-нибудь, порадуй нас откровениями верного мужа и друга...»

«Где уж мне с моими промытыми мозгами, - все так же задумчиво отозвался Шломо - Хотя, знаете. Вот вам несколько наблюдений моего филистерского сознания. Во-первых, твой, Сеня, вариант - совсем не третий, потому что Сашкин гуманизм в итоге сваливается именно к провозглашенному тобой шкурничеству. А как же иначе? Все человечество любить - это уж больно неконкретно, сплошной туман. А собственная шкура - вот она, родная, всегда под рукой. Так что себялюбие - это гуманизм на практике.

Во-вторых, если уж выбирать между двумя промывками... Я не вижу ничего плохого в защите своего дома, семьи, друзей, Отечества, коли на то пошло. Да и при чем тут промывка мозгов? Разве не естественно защищать группу, к которой принадлежишь? Волки дерутся за свою стаю, муравьи - защищают свой муравейник. До смерти, заметьте, защищают. У них что - тоже мозги промыты?»

Сашка в отчаянии хлопнул себя руками по бедрам: «Но ты-то не муравей, не волк! Ты человек, тебе затем разум и даден, чтобы изжить в себе психологию стаи!»

«С чего ты взял? А может, - как раз таки затем, чтобы эту стаю получше организовать, защитить? Ты пел что-то о самореализации. Но настоящая самореализация бывает только в рамках группы. Или во имя группы. Если, конечно, не брать нашего Сенечку в качестве обратного примера... Он-то реализовался в полной мере, не так ли, Сеня?»

В комнате наступило молчание. Потом Сеня погасил сигарету и, прищурившись, посмотрел на Шломо: «Спасибо тебе, Славик, на добром слове. Чаю хочешь?»

«Не за что, - смущенно ответил Шломо. - Сам спросился. А чаю не надо, я уже на работу опаздываю. Так что мы с подружкой пойдем...»

«С какой подружкой?»

«Да есть тут одна приставучая...» - и он вышел, напевая накрепко привязавшуюся «подружку».

«Подружка моя, ты не сомневайся - я пойду его встречать, а ты одевайся. Или - раздевайся? Черт его знает... Подружка моя...» В голове его было пусто и звонко, и не хотелось ни о чем думать.

9

В Барселоне Бэрл остановился в неприметном отеле «Сити Парк», в десяти минутах ходьбы от вокзала «Сантс». На этот раз сюрпризов не было. Чемодан ждал его в платяном шкафу. Вытряхнув на кровать незатейливое содержимое верхнего отделения, Бэрл щелкнул потайным замочком второго дна и приступил к осмотру своего арсенала. Помимо обычной «беретты» с глушителем и спецпатронами, чемодан содержал недурной набор штурмового оружия - гранаты, укороченный десантный «узи» и девятимиллиметровый

«ерихо» с обычным снаряжением. Бэрл остался доволен. «Беретта», незаменимая в быстрых контактных ликвидациих, мало чего стоила в открытом бою. Тут Бэрл предпочитал оружие израильского производства.

С членами своей группы он встречался в маленьком открытом кафе, там, где кривая Авенида де Мадрид, побыв какое-то время короткой и куцей Авенидой де Берлин, окончательно превращалась в Авениду де Париж - прямую, длинную и ухоженную. Бэрл пришел на встречу заранее, но оба парня уже были на месте, поджидая его за крайним столиком. «Привет, ребята, - улыбнулся он, присаживаясь. - Меня зовут Бен. Кто на этот раз вы?»

Они уже встречались несколько раз по разным поводам, в разном составе и под разными именами. Все трое принадлежали к внутреннему кругу и нередко дублировали друг друга, иногда даже не подозревая об этом.

«Стив». «Джеки».

«Сойдет, - согласно кивнул Бэрл. - Надо бы выпить за знакомство. Что вы такое глушите? Пиво? В такое-то время дня и года? Кто вас только обучал...» Он махнул рукой официанту: «Эй, бижу! Принеси-ка мне Мартель и эспрессо».

«Не у всех есть русские корни, Бен, - саркастически заметил Джеки, ладно сложенный, жилистый парень восточной наружности. - Есть и такие, что этот французский клопомор на дух не переносят...»

«...предпочитая затариваться травкой», - жизнерадостно закончил за него Бэрл. Все трое расхохотались.

«Ладно, ребята, - сказал Бэрл, пригубив коньяку. - Давайте переходим к делу. Прежде всего - у всех все в порядке? Все штатно?» Его собеседники кивнули.

«Отлично. Персонаж - Абу-Айяд, живой, по мере возможности. Думаю, я не должен объяснять вам, кто он... Вот и славно. Сюжет - завтра вечером он ждет своего приятеля на ферме около Гироны. Помимо него, там может быть до шести грязных. Установка на них - обычная. Я подбираю вас на железнодорожной станции Гироны в шестнадцать сорок. И не забудьте захватить с собой свои» игрушки. Вопросы?»

«Источник сюжета?» - спросил Стив. Бэрл помолчал. Вообще говоря, он те обязан был отвечать на этот вопрос. Но и тихарить особой причины не было.

«Источник - тот самый приятель, которого Абу-Айяд ждет на ферме. В настоящее время горит себе - не сгорает в адовом серном пламени. Чего и другу своему желает...» Бэрл помрачнел, вспомнив свои ночные бдения с нагероиненным Надиром в подвале на улице Шамир.

«Итак, до завтра, - он допил коньяк и встал. - Постарайтесь не слишком надуваться пивом. Замедляет реакцию».

Назавтра, около девяти утра Бэрл вышел из здания гиронского вокзала. Машина ждала его на близлежащей стоянке. Это был обычный для здешних мест пикап «Пежо», с маленьким кузовом и двойной кабиной. Почти не сверяясь с картой, Бэрл выехал из города в северном направлении и свернул налево, к невысоким зубцам Пикррнейских предгорий. Узкое шоссе петляло между разрозненными хуторами и маленькими деревеньками, ощутимо забираясь наверх, в горы Сьерра-де-лас-Медас. Проехав с полчаса, Бэрл увидел нужный ему указатель. Еще несколько километров узких горных долин, и вот, наконец, справа, в сотне метров от грязной грунтовой дороги, перед ним возникла небольшая, ничем не примечательная усадьба, отгороженная от чужих глаз прямоугольником пыльных кипарисов.

Бэрл проехал мимо, не замедляя хода. Пока он не мог пожаловаться на точность описаний, данных ему покойным Надиром. Дай-то Бог, чтоб и дальше так... Лощина вильнула вправо и начала сужаться. Лучше не придумашь, - порадовался за себя Бэрл. Он свернул с дороги на еле заметный проселок, забиравший вверх по крутому склону невысокого лесистого отрога, окаймлявшего лощину с севера. Проселок закончился небольшой лужайкой; дальше ехать было невозможно. Бэрл приткнул пикап под деревом, вышел и осмотрелся. Как он и предполагал, по гребню хребта, меж густыми зарослями дикого кустарника, вилась вполне утоптанная тропинка. Пройдя по ней несколько сот метров, Бэрл увидел сквозь путаницу веток знакомые очертания кипарисного каре. Усадьба лежала перед ним, как на ладони. Бэрл устроился поудобнее и вынул бинокль из рюкзака.

Двор был пуст, не считая двух машин - раздолбанного пикапа и пыльной белой «тойоты-королла». Вся усадьба состояла из каменного двухэтажного дома с плоской крышей и бревенчатого гумна на высоком кирпичном цоколе. Никакой живности Бэрл не заметил; в особенности его порадовало отсутствие собаки. Отчасти это уже характеризовало нынешних хозяев усадьбы - все знакомые Бэрлу арабы испытывали стойкую неприязнь к собачьему племени; впрочем, собаки платили им тем же.

Ближе к полудню из дома, потягиваясь, вышел высокий парень в куртке, сел в «тойоту» и завел двигатель. Потом показался второй, повозился у двери с замком и присоединился к первому. «Тойота», переваливаясь на колдобинах, выбралась на грунтовку и укатила в сторону Гироны. Это выглядело настоящим приглашением. Бэрл поразмыслил и решил не отказываться. Он осторожно спустился со склона, расчищая путь от сухого валежника и шатких камней, помечая удобные места и обозначая обход естественных препятствий. Спустившись до самого низа, он недовольно покачал головой, вернулся наверх по своим следам и снова отрепетировал спуск. Он проделал эту операцию четырежды. прежде чем остался доволен результатом. Теперь можно было заняться домом.

Бэрл посмотрел на часы. По его расчетам, до возвращения хозяев оставалось не более двадцати минут. Надо было поторопливаться. В несколько прыжков он преодолел травянистый выгон, отделявший край зарослей от заднего ряда кипарисов. Дом высился перед ним, неожиданно большой, защищенный мощными решетками на окнах подвала и первого этажа. Задняя дверь, прежде незамеченная Бэрлом, была заперта изнутри. Он поднял голову. Окно наверху было приоткрыто, и сквознячок выдувал наружу белую занавеску,

словно сам дом сигнализировал о добровольной сдаче невероятному бэрлову везению. Думать было некогда. Бэрл решительно вскарабкался к окну, влез внутрь, и, не медля ни секунды, понесся по дому, фотографируя сознанием расположение комнат, мебели, размеры простреливаемых пространств и расстояния между углами.

Наконец он очутился в кухне, с внутренней стороны заднего входа. Опять удача! Дверь не закрывалась на засов - только на большой врезной внутренней замок. Теперь оставалось найти ключ. Твердо веря в свою звезду, Бэрл выдвинул ближайший к двери ящик кухонного буфета. Бинго! Он торжествующе вставил ключ в замочную скважину, дважды повернул и распахнул дверь настежь. И замер.

Прямо перед ним стоял молодой араб в бейсбольной шапочке и с глуповатой улыбкой, застывшей на безбородом, окаменевшем от неожиданности лице. «Ты кто?» - спросил он Берла и полез рукой за спину. «Моше Даян», - ответил Бэрл шепотом, на втором слоге ударяя парня по ушам обеими руками, отчего, вероятно, тому не привелось расслышать фамилию героического израильского полковника. Бэрл подхватил обмякшее тело араба и втащил его в дом. Откуда он тут взялся, черт его забери? Спал на гумне? Больше неоткуда - к дому точно никто не подъезжал, Бэрл бы услышал... Он выругал себя за идиотскую непредусмотрительность - надо же, полезть в дом, забыв проверить гумно! Так и надо дураку - раскатал губу от невиданной прухи, так лезущей на него с самого утра...

Кляня себя за детскую ошибку, Бэрл волочил араба в гостиную. Не давая ему придти в себя, он взгромоздил его на стул и, близко глядя в глаза, зашептал горячим шепотом: «Я - твоя смерть, бижу, понял? Смерть, понял? Понял?»

Араб кивнул в ужасе, не в силах отвести расширенных зрачков от душного бэрловского взгляда.

«Меня слушать надо, понял? На, пиши, пиши же, ну...» - Бэрл придвинул лежащий на столе блокнот и сунул ручку в дрожащие пальцы парня. «Пиши: «уехали жрать, а меня бросили?» Вопросительный знак поставь, быстро. Теперь дальше: «скоро вернусь». Молодец. Теперь напиши свое имя. Как тебя зовут? Халед... Приятно познакомиться, Халед». И на этой оптимистической ноте Бэрл свернул ему шею.

Подняв тело, он отнес его на заднее сиденье стоявшего во дворе пикапа. Времени уже совсем не оставалось. Бегом Бэрл вернулся на кухню. Схватив со стола бутылку масла, он аккуратно смазал петли, замочную скважину и ключ. Вытер масло рукавом куртки. Закрыл дверь на ключ снаружи. Сунул ключ в карман. Поднял с земли пистолет и кепи Халеда. Бегом - к пикапу. Выезжая на грунтовую дорогу, Бэрл с беспокойством посмотрел в зеркало заднего обзора. Дорога на Гирону была пуста. Он дал газу в противоположном направлении.

На свой наблюдательный пункт Бэрл вернулся через полчаса. Белая «королла» уже стояла во дворе. Один из арабов, раскорячившись посреди двора, громко звал Халеда, сложив руки рупором и обратясь к лесистому хребту. Казалось, он смотрел прямо на Бэрла. «Хале-ед! - кричал араб. - Йа Хале-е-ед!»

«Что ты вопишь, кретин, - чертыхнулся Бэрл. - Спит он, твой Халед. Скоро и ты уснешь, недолго уже осталось...» Второй араб вышел из дома, держа в руках блокнот. Они еще постояли там какое-то время, оживленно жестикую и очевидно осуждая недисциплинированного соратника. Бэрлу стало скучно. Он вдруг обнаружил, что зверски проголодался. Вернувшись к своему пикапу, он выбрался на шоссе и поехал в сторону, противоположную усадьбе, рассчитывая вернуться в Гирону круглым путем через Амер. Не стоило лишний раз искушать судьбу, мелькая туда- сюда перед окнами дома. Там ведь, небось, скучая по Халеду, все глаза проглядели, на дорожку-то глядячи.

«Каталонский экспресс» из Барселоны прибыл в Гирону точно по расписанию. Бэрл подъехал к выходу из вокзала, как раз когда первые пассажиры начали выходить в город. Он остановился около Стива, прикуривающего сигарету и, перегнувшись через сиденье, распахнул дверцу: «Поехали, Стивви. И брось ты эту соску. Ты ведь уже большой мальчик. А где твой приятель?»

«Сейчас выйдет, - хладнокровно ответил Стив, затягиваясь. - Попросился в туалет, по-маленькому. Я пустил».

«Молодец, - одобрил Бэрл. - Забота о личном составе украшает командира. А вот и Джеки. Говорил я тебе вчера, сынок, - не надувайся пивом... »

«Что за люди, - сокрушенно заметил Джеки, забираясь в кабину. - Пописать не дадут последний раз в жизни...»

Бэрл и Стив суеверно переглянулись. Эта шутка была, на их вкус, совершенно лишней.

Выехав из города, Бэрл остановился. На листе бумаги он нарисовал план дома и подробно описал его. Стив и Джеки внимательно слушали. Остальное он договаривал по ходу движения - Бэрл надеялся успеть вернуться на место до приезда главного действующего лица. Возвращался он тем же круглым путем, в объезд усадьбы. Халедов пикап стоял там, где Бэрл оставил его - на лужайке, в конце тупикового проселка. Свою машину Бэрл снова припарковал под деревом, капотом в направлении выезда.

«Стив, Джеки, - сказал он, глуша мотор, - очистите от падали вторую тачку. Только снимите с него куртку. Она нам сегодня еще пригодится».

Был уже седьмой час, когда они оказались на наблюдательном пункте. В сгущавшихся сумерках Бэрл сразу различил джип «террано», уткнувшийся своим тупым носом в кипарисы рядом с «короллой». В гостиной на первом этаже горел свет. В доме явно были новые гости. Вопрос - сколько?

«О'кей, - сказал Бэрл. - Действуем, как договорились. Скорее всего, их в доме шестеро, включая Аяда. Стив, после того, как войдем, бери левую часть гостиной. Джеки, въезжай вальяжно, не торопясь. Перед поворотом с шоссе просигналь дважды - пусть знают, что хозяин едет. По комплекции ты почти неотличим от Халеда, плюс куртка и кепи, плюс темнота. Проблем быть не должно. К тебе выйдут, скорее всего, двое. Оба

твои. Кончай с ними, проверь гумно, только быстро, и - к нам через главный вход. Дальше - по обстановке. Напоминаю еще раз - Айяд нам нужен живым. Так что постарайтесь не попортить продукт. В крайнем случае - по ногам и в плечи. Остальные - мусор. Ферштейн?»

Быстро темнело. Они подождали еще с час. Наконец Бэрл кивнул: «Джеки, братишка, давай вперед, с Богом. Куртка и кеги в пикапе. И ты это... не очень-то прыгай. Побереги связки, чтобы не было как тогда, в Дортмунде...» Джеки улыбнулся: «Не нервничай, Бен, все будет в порядке. Увидимся...» Он бесшумно исчез в темноте. Бэрл сделал знак Стиву, и они начали осторожный спуск по размеченному маршруту. Через пять минут они стояли, прижавшись к стене у задней двери. С шоссе донесся шум неторопливо приближающейся машины. Бэрл переложил «узи» в левую руку и достал ключ. Он отчетливо слышал, как кто-то протопал по лестнице вверх. Пикап свернул на подъездную дорожку и просигналил дважды. Бэрл повернул ключ в замке почти синхронно со вторым сигналом. Щелчок замка хлестнул их по натянутым нервам. Они прислушались. В доме были, видимо, поглощены приближающимся пикапом. «Ну? - громко спросил кто-то из гостиной. - Что там?» «Халед, собака, - ответили сверху. - Ну я ему шею намылю, маньяку...»

Бэрл услышал, как отворилась входная дверь, и кто-то вышел навстречу паркующейся машине. Двое. Укороченная М-16 у каждого; они несли винтовки как чемоданы, в опущенной правой руке. Бэрл видел их со спины, приближающихся к пикапу, к Джеки, который, не торопясь, вылез с противоположной стороны кабины и теперь, опустив голову, делал вид, что возится с чем-то на заднем сиденье.

«Халед, йа маньяк! - сердито позвал его один из арабов, подойдя к машине метров на пять. - Кто ж так делает, собака ты этакая?»

Джеки выпрямился и вышел из-за машины. В каждой руке он держал по «узи». «Зачем же так ругаться? - удивленно и мягко спросил Джеки на чистом иврите. - За это вас папа сейчас отшлепает...» И открыл частый огонь одиночными с двух рук.

В следующую секунду Стив с Бэрлом уже стояли на пороге гостиной. С этой стороны их там явно не ждали. «Стоять! - крикнул Бэрл. - Бросай оружие!» Трое арабов, уже собиравшихся выскочить из комнаты в сторону входного холла, ошарашенно обернулись. Моментально идентифицировав Абу-Айяда, Бэрл прыгнул на него, полностью полагаясь на Стива, который в этот момент шпиговал рваными кусочками свинца двух других обитателей гостиной. Они даже не успели поднять автоматы. Абу-Айяд быстро пришел в себя и бешено сопротивлялся, но Бэрл был сильнее. Он уже оседлал противника и заламывал ему назад руки, когда сверху раздалась пулеметная очередь. «Черт! - вспомнил Бэрл. - Наверху...» Он оглянулся на Стива. Тот бежал вверх по лестнице, выдергивая зубами гранатную чеку. Бэрл прижал айядову голову к полу и, высвободив руку, надавил на сонную артерию. Араб отключился. Наверху с короткими промежутками прогремели три взрыва. С потолка посыпалась штукатурка. Бэрл вытащил из кармана моток клейкой ленты и начал вязать Абу-Айяда. Локти. Кисти рук. Сверху с бешеной скоростью скатился Стив и бегом бросился во двор. Ноги в коленях. Щиколотки. Рот. Бэрл поднялся с пола и, подобрав «узи», осмотрел первый этаж. Никого. На двери, ведущей в подвал, висел амбарный замок. Черт с вами... Он вернулся в гостиную. Со второго этажа по лестнице валил дым - там явно начинался пожар. Бэрл поднял за ремень спеленатого Абу-Айяда: «Пойдем, бижу... Не дай Бог угоришь. Ты у нас теперь на вес золота...» Он вдруг понял, почему всеми своими подсознательными силами оттягивал момент выхода во двор. Джеки...

Джеки лежал у входа в гумно, там, где его настигла пулеметная очередь. Хватало одного взгляда на его развороченный крупным калибром живот, чтобы понять, что жизни в нем осталось немного. Стив подложил ему что-то под голову и теперь сидел рядом, слегка раскачиваясь из стороны в сторону. Бэрл подошел, волоча за собой Абу-Айяда. Он поднял его повыше, так чтобы Джеки видел и с силой швырнул на землю, искренне надеясь сломать ему при этом позвоночник. Затем он наклонился над умирающим. «Видел, Джеки-бой? - спросил он. - Вот он, этот кусок дерьма. Стоит ли он грязного ногтя с твоего мизинца?»

«Бен, - прошептал парень, выдувая кровавые пузыри углями ссохшегося рта. - Бен, я не Джеки. Меня зовут...»

«Шш-ш... - прервал его Бэрл. - Не говори. Меньше трепешься - здоровее будешь...»

Джеки улыбнулся. «Не ко мне, бижу. Я - уже не буду». Он вдруг начал смеяться, мучительно морщась и булькая растерзанными внутренностями: «Я ж вам говорил... последний раз... я тогда и в самом деле последний раз пописал... говорил... а вы... мать вашу...»

«Еврейский юмор», - сказал Бэрл без улыбки. Джеки еще раз булькнул, дернулся и умер.

Бэрл обернулся на дом. Верхний этаж уже полыхал вовсю. «Стив, - сказал он, дергая напарника за руку. - Эй, Стив! Быстро, «тойоту» к гумну...» Подняв мычащего и дергающегося Абу-Айяда, он перетащил его на заднее сиденье пикапа и вернулся к Стиву:

«Давай, парень, шустрее... Джеки уже не вернешь. Ну-ка помоги...» Вдвоем они осторожно положили Джеки на капот «тойоты» и загнали ее в сарай. Отвинчивая крышку бензобака, Бэрл окинул взглядом помещение и присвистнул:

«Э, да тут целый арсенал!» И в самом деле, стеллажи вдоль стен были уставлены ящиками оружейного содержания. Но времени разбираться с этим подробно не было. Хотя усадьба и стояла на отшибе, нашумели они изрядно. Звуки боя наверняка были слышны в близлежащих деревнях. Требовалось сматываться, и побыстрее. Стив чиркнул зажигалкой, и они выскочили из гумна. Через минуту их пикап выехал на дорогу, оставляя за собой пылающую усадьбу.

Местная полиция поворачивалась не быстро. Бэрл со Стивом успели сменить халедов пикап на бэрлов, успокоив при этом Абу-Айяда хорошим уколом снотворного и плотно запаковав его под задним сиденьем, а дорога оставалась такой же пустынной, какой и была полчаса тому назад, когда все, за исключением Халеда, были еще живы. Они уже проехали Амер, когда до них донеслось эхо далекого взрыва. «Ого, - сказал Бэрл. - Взрывчаткой они запаслись на пять фатхов и десять хамасов... То-то шуму будет в завтрашних

газетах; бьюсь об заклад, что все спишут на басков. Стив, да не молчи ты, скажи хоть слово, я так с ума сойду».

«Я с ним в одном взводе служил, - сказал Стив глухо. - В «Голани». Вместе Ливан прошли. Три года в одной палатке... И вот - даже не похоронил. Сжег, как собаку... »

«Знаешь что, - сказал Бэрл. - Лучше уж молчи».

Проехав Англес, они еще раз поменяли машину, переложив свой груз в багажник «пассата». Груз мычал, но в целом вел себя смирно. Через час за окнами замелькали огни отелей и кемпингов Коста Брава. Севернее Бланеса Бэрл свернул к берегу и припарковался возле одинокого красного «мондео». Море перед ними сияло огоньками далеких и близких яхт. Бэрл трижды мигнул фарами. Одна из яхт, стоявшая не более чем в миле от берега, мигнула в ответ. Бэрл вздохнул: «Ну вот и все, Стив. Надеюсь, мы с тобой еще увидимся».

Стив молча кивнул.

«Жаль, что Джеки так не повезло, - продолжил Бэрл. - Я понимаю, что это плохое утешение, но все мы когда-нибудь так кончим... Возьми отпуск, мой тебе совет. Отдохни...» Стив снова кивнул.

От яхты отвалил катер и стал приближаться к берегу. «Нам пора», - сказал Бэрл. Они пересели в «мондео». Ключ торчал в замке зажигания. Бэрл развернул машину и погнал в сторону барселонского аэропорта. В кармане у него был билет на ночной рейс в Цюрих. Стив летел во Франкфурт.

10

«Сколько можно собираться? - недовольно сказал Шломо. - Теперь мы точно опоздаем. Неудобно...»

Он сидел в кресле, вытянув ноги перед включенным на русский канал телевизором и беспомощно наблюдал за Катей и Женькой, которые вот уже битый час металась между единственным семейным платяным шкафом, стоящим в спальне и единственным большим зеркалом, висящим в салоне. Они успели уже дважды перемерить все туалеты и теперь пошли по третьему кругу, оживленно обсуждая при этом каждую перемену одежды.

«Ах, папа, - досадливо бросила ему Женька, проносясь мимо в направлении спальни. - Когда ты наконец привыкнешь? В Израиле не опаздывают только фраера». «А я и есть фраер, - упрямо отвечал Шломо. - Поздно мне на урку переучиваться». «Славик, подбери ноги... - это уже Катя, бегущая противоположным курсом. - Я все время о тебя спотыкаюсь, неужели непонятно?»

Шломо обиженно подобрал под себя ноги. Телевизор талдычил про Чечню. Потом перешли на погоду. В Питере шел дождь.

Подскочила Женька: «Папа, застегни мне браслет. Да не так... Вот эту штучку - сюда...» Шломо, старательно сопя, склонился над ее рукой.

«А сам-то ты когда одеваться думаешь? - спросила Катя из ванной. - Нас подгоняешь, а у самого еще конь не валялся...»

«Ну вот, начинается, - подумал Шломо. - Похоже, теперь они и по мою душу освободились...»

Он вцепился в подлокотники кресла и сказал с фальшивым металлом в голосе: «Я уже давно одет».

«Папа, ты что, с ума сошел? - фыркнула Женька и, встав перед зеркалом, изогнулась невообразимой дугой, отыскивая на себе еще не вполне исследованные места. - Нельзя же идти в этом на пасхальный седер!» Она развела руками, следя за траекторией браслета. «Мама, ты слышала? Скажи ему... »

Катя высунулась из ванной. «Слава, прекрати эти глупости. Идти в этом совершенно невозможно...» Они произносили это свое «в этом» таким тоном, как будто Шломо был одет не в обычные свои брюки со свитером, а в ирокезский наряд с перьями и боевой раскраской. Сопротивляться было бессмысленно.

«Что же я, по-вашему, должен надеть?»

«Как будто тебе надеть нечего! - возмутилась Катя, ловя щеточкой норовившие ускользнуть ресницы. - Пожалуйста, не строй из себя несчастного!»

Шломо ненавидел собираться в гости.

«Надень голубую рубашку с ромбиками - ту, что я купила тебе в «Полгате», помнишь?... и жакет», - смилостивилась Катя. Шломо, кряхтя, встал с кресла и пошел переодеваться.

Когда он вернулся в салон, его встретили две ослепительные улыбки. Покончив с обычным зеркалом, Катя и Женька нуждались в живом отражении их безусловной и победительной красоты. Шломина реакция на этом этапе играла роль живого зеркала. Эту роль он знал назубок, исполняя ее мастерски и с удовольствием. Главное условие тут заключалось в том, чтобы не жалеть красок. Чем грубее и чудовищней выглядела лесть, тем довольнее оставались его самодержавные властительницы. В конечном счете это положительно сказывалось на самом Шломо. А потому, увидев знакомые вопрошающие улыбки, он немедленно вкл ючил программу выполнения социального заказа, то есть, пошатнулся и заслонил глаза ладонью с растопыренными пальцами, щурясь, как от нестерпимо яркого света.

«Вау! - воскликнул он сдавленным голосом. - Вау! И еще раз вау! На этот раз это просто невыносимо. Нельзя быть столь подавляюще красивыми! Вас обеих нужно бросить в тюрьму! Хотя и это не поможет - вы расплавите камни и решетки вашей громокипящей прелестью!» Гм... неплохо, неплохо... Ему самому понравился лихо закрученный комплимент. Тем не менее, проверив сквозь растопыренные пальцы реакцию своих женщин, он обнаружил, что чего-то все-таки не хватает. Что ж, приходилось вновь прибегать к ненавистному штампу.

«Все мужики там будут ваши!» - воскликнул Шломо, недоумевая, отчего столь затертый и, если говорить честно, идиотский текст пользуется у публики столь неизменным успехом. Наградой ему стали сияющие глаза его ненаглядных повелительниц.

«Ну, - спросил он робко. - Теперь уже поехали? Раньше сядем - раньше выйдем...»

«Даже не надейся, - сурово ответила Катя. - Пока «Хад Гадья» не споешь не выйдешь».

Они отъехали от Мерказухи в начале шестого. Движение было почти как в час пик - накрашенный и разодетый Народ Израиля торопился на Пасхальный Седеер. На проспекте Бегина Катя, вместо того, чтобы свернуть направо, к выезду на первое шоссе, продолжила прямо, в сторону Рамота.

«Смотри, Катюня, перестреляют нас на этой дороге, - сказал Шломо. - Хотя, если уж погибать, то лучше всем вместе...»

Бейт-хоронское шоссе, спускающееся от Иерусалима параллельно главной дороге на Тель-Авив, было в последние месяцы беспокойно. Арабы обстреливали автомашины, несколько человек погибло. ЦАХАЛ усилил патрулирование в районе близлежащих деревень, и пару недель тому назад ликвидировал банду, как крыс. Но в точности, как крысы, они могли вдруг проклюнуться на другом, а то и на том же участке. По этой самой причине в последнее время шоссе пустовало, даже днем.

«Да, мама, - недовольно заметила Женька. - Зачем лезть на рожон? Мне лично умирать не хочется, даже когда все вместе.»

«Перестаньте скулить, бобики, - весело ответила Катя. - Охота вам в пробку лезть? Сами ведь говорили, что опаздываем. А тут мы с ветерком доедем, вот увидите...»

Еще бы - полицейские радары на бейт-хоронском шоссе не водились...

Начался дождь, несильный, но уверенный в своей основательности, из тех, что приходят на несколько часов, а если повезет, то и на всю ночь. «Хорошо бы так», - подумал Шломо. От сильных ливней проку было мало - в течение получаса они обрушивали на измученную засухой страну океаны bestолковой воды, которая тут же выплескивалась в сытое Средиземное море, прихватив с собой полдюжину автомобилей и затопив по дороге пару-тройку тель-авивских или ашдодских кварталов. Этот же долгоиграющий неторопливый дождяра поил, а не топил, насыщая водой трудный, ссохшийся глинозем Земли Обетованной, просачиваясь в подземные резервуары, а главное - наполняя совсем обмелевший за последние годы Кинерет.

Хотя, если честно, трудно представить себе что-либо более мощное и значительное, чем гроза с ливнем в Иерусалиме. Шломо прикрыл глаза, вспомнив одно из самых ярких своих впечатлений, когда буря застигла его поздним вечером почти ночью, в квартале Нахлаот. Он вспомнил потоки воды, несущиеся по узким горбатым улочкам в желтом свете испуганных фонарей; водопады, низвергающиеся из боковых переулков; вихрящиеся водовороты площадей; черно-золотые стены притихших домов; тускло мерцающую под слоем воды мостовую. И яростный скорпион молнии, серебряный на черном, растопыривший на полнеба свои острые члены, грозный миру смертоносным жалящим хвостом. И гром, оглушительный до треска в ушах, гром-грохот, гром-молот, заслоняющий своей черной великанской тушей даже эту ужасную молнию, вызвавшую его к жизни из невозможных вулканических подземелий... И восторг, ни с чем не сравнимый восторг, размером с этот ливень, с эту молнию, с этот гром; пьянящее чувство равновеликости буре и никакого, ну просто никакого страха - потому что тут, в Его Доме, тут, в Месте, где живет Хозяин, не может случиться ничего плохого...

Он открыл глаза оттого, что машина остановилась. Последний светофор на выезде из Гиват-Зеэва.

«Проснулся, дорогой? - приветствовала его Катя. Она миновала поворот на Рамаллу и резко увеличила скорость. - Ты лучше спи дальше, а то ведь начнешь сейчас нудеть под руку...»

«Как же, уснешь тут, когда ты фигачишь под сто сорок, - сказал Шломо. - Пожалей хоть машинку, она ведь вот-вот развалится...»

Их старенький «уно» и впрямь уже не подходил для таких нагрузок. Он стонал всеми своими сочленениями, звенел клапанами, скрипел рессорами и вообще протестовал, как мог.

«Катя. Ну Катя...» Бесплезно. Ничто не могло ослабить безжалостного давления катиной правой ноги, утопившей педаль газа в полу несчастного «фиатика».

«Мама, - поддержала отца Женька. - Может и впрямь не надо? Дождь все-таки...»

«Какие вы все-таки зануды», - вздохнула Катя и слегка отпустила педаль. «Уно» радостно хрюкнул, поняв, что есть шанс выжить и попытался сползти на сто десять. Но не тут-то было.

Катя пустила в ход последний аргумент. «На высокой скорости в машину труднее попасть, - заметила она тоном штабного стратега. - А если будем еле-еле тащиться, то нас только ленивый не подстрелит...» И она снова пришпорила свою несчастную клячу. Через десять минут они уже подъезжали к бетонадам блокпоста «Маккабим». Ровно месяц тому назад на этом самом месте взорвался очередной террорист-самоубийца. На счастье, тогда обошлось всего тремя ранеными.

Блокпост знаменовал собой пересечение «зеленой черты». Опасный участок шоссе закончился, и Шломо вздохнул свободнее. «Слава Богу, - сказал он с облегчением. - Теперь хоть поедем нормально». «Перестань, Славик, - отозвалась Катя. - Не так уж это и страшно. Там уже пару месяцев как не стрельба - ответил Шломо. - Арабская стрельба меня волнует меньше, чем наш водила. И когда у тебя, наконец, права отнимут...» Катя рассмеялась. Она любила машину, скорость, легкое и затягивающее чувство дороги. Шломо тоже водил, но, когда они ехали куда-нибудь вдвоем, вопроса о том, кому рулить, не стояло. «Кстати, по поводу прав, - вспомнила Катя. - Сегодня утром слышала по радио, как Слизняк распространялся насчет прав арабского народа Палестины. Так он там вскользь так упомянул друга твоего сердечного, Сашеньку. Мол, работает

у него в кормушке... ну, институт этот опереточный, помнишь?»

Шломо неохотно кивнул. «Помню...»

Катя выдержала паузу. «И это все? - спросила она, не дождавись продолжения. - Вся твоя реакция? «Госдепартамент отказался опровергнуть или подтвердить...»? Скажи уже что-нибудь. Наверняка ты об этом знаешь».

«Знаю».

«И до сих пор ему руку подаешь? Водку вместе выпиваешь? О судьбах человечества с ним треплешься? Смотрите, господин Шломо Вельский, как бы не замараться. Так ведь к нам приличные люди ходить перестанут».

«Как ты не можешь понять, - сказал Шломо. - Саша - мой ближайший друг. Я не могу засунуть собаке под хвост все, что связывало нас в прошлом, только из-за того, что его политические убеждения отличаются от твоих».

«Ну вот, опять я во всем виновата! Даже в том, что твой друг скурвился...»

«Перестаньте ссориться», - жалобно попросила Женька с заднего сиденья.

«При чем тут мои убеждения? - возмущенно сказала Катя. - Разве непонятно, что эти подонки открыто помогают врагу? Как можно задавить террор, когда они морально подпитывают террористов? Ты помнишь этого гада, неделю назад, на Кинг Джордж? Того, что взорвал женщину на пятом месяце беременности? Чтобы сделать такую вещь, одной бомбы мало, нужно еще и сознание моральной правоты. Твой Саша, конечно, бомбы не подкладывает... Он по части морали работает, дружок твой хренов».

«Катя, - устало сказал Шломо. - Ну что ты меня мучаешь? Ну не могу я ним расплеваться, не могу. В особенности сейчас, когда он у Сени из милости подъедается, безо всяких средств к существованию. Сама подумай...»

«А вот не жалко мне его, - зло процедила она, вцепившись в руль. - Не жалко. Женщину ту молодую - жалко. И ребенка ее не родившегося. И мужа ее, вместе с ней погибшего. И двоих малолеток, что дома с бэбиситтером остались, пока папа свезет маму на ультрасаунд. Их вот мне жалко. А Сашу твоего - нет. Ничего с ним не случится - дерьмо не тонет. Вот и джоб себе отхватил - все, как я тебе говорила.»

В глазах у нее стояли слезы. Шломо погладил ее по руке: «Ну не надо, Катюня, ну что ты? Все ведь хорошо... Вот, на праздник едем...»

Женька предостерегающе подключилась сзади: «Мама, прекрати немедленно, у тебя сейчас глаза потекут».

Катя вдруг как-то беспомощно всхлипнула: «Я боюсь... Я так боюсь, что с нами что-нибудь случится... Все эти взрывы и выстрелы, и все это каждый день, каждый божий день...»

«Ну вот, - нравоучительно отметила Женька. - Потекли. Я же предупреждала...»

Они проехали Глилот и свернули на Приморское шоссе. Дождь продолжал идти, размеренно и мощно, как чемпион по спортивной ходьбе. «Ладно, хватит о грустном, - решительно объявил Шломо. - Давайте лучше о чем-нибудь другом. К примеру, что это за дом, куда мы едем?»

Катя поперхнулась, перестала хлюпать носом и, наконец, улыбнулась мужу самой очаровательной из своих улыбок.

«Славик, ты только не сердись, - сказала она преувеличенно бодро. - Я все хотела тебе сказать, да как-то к слову не приходилось. Это вовсе не дом. Мы едем в ресторан. Рафи заказал там места на всю нашу контору...»

«Ну, знаешь, - возмутился Шломо. - Это просто... это просто...» Он не находил слов.

«Но почему? Какая тебе разница, где сидеть - в чьем-то доме или в ресторане?»

«Да при чем тут это? Знай я, что речь идет о ресторане, где, кроме нас, будет еще пара сотен людей, я бы ни за что не пошел. Но ты ведь мне пела о смертельной обиде семейному седеру твоего босса! Знаешь, что это, дорогая моя? - Гнусный обман и больше ничего!»

«Славочка, во-первых, контора у нас маленькая, так что седер действительно как бы семейный. Во-вторых, я и впрямь немного схитрила, но ведь иначе тебя было не вытащить. Я вот тебе не говорю, а там чуть не каждую неделю то брит, то свадьба, то бар-мицва, то похороны. Сил нету. И на все надо ходить. И все бабы с мужьями ходят, только я все время одна, как безмужняя. Неудобно. Тем более, у меня муж во-он какой хороший... Ведь хороший? Хороший?»

Шломо упрямо мотнул головой, уклоняясь от ее руки. Но улыбка уже дергалась в складке его губ. Он был органически неспособен сердиться на свою жену более нескольких минут.

«Правильно Женька говорит - фраер я ушастый, - сказал Шломо. - Вертишь ты мною, как хочешь. И всегда вертела...»

«Папа, а чего ты так переживаешь? - вмешалась Женька. - Тебе же лучше. В большой компании сачкануть легче. Скажешь пару раз «амен» и дело с концами».

Бельские въехали в Нетанию и теперь медленно продвигались по направлению к морю. Ресторан, по словам Кати, был расположен возле самой площади Независимости. Этот район города кишел гостиницами, ресторанами и кафе; каждое заведение предлагало свои услуги по празднованию Песаха, и поэтому все прилегающие к площади улицы представляли собой одну сплошную автомобильную пробку. Надо было подумать и о стоянке. Катя и Женя с негодованием отвергли шломину идею поставить машину где-нибудь в отдалении и пройти пешком. И в самом деле, дождь угрожал свести на нет все их труды по наведению маршфета. Веря в свою шоферскую звезду, Катя искусно лавировала между машинами, гудками и веселыми водительскими перебранками, метр за метром продвигаясь к цели. Наконец, они достигли площади.

«Забудь слово «стоянка» всяк сюда въезжающий... - мрачно сказал Шломо. - Говорил я вам...»

«Слава, перестань нудеть под руку, - жестко оборвала его Катя, огибая кафе «Йотвата» и зорким взглядом обозревая окрестности. - Вот! Вот! Что я вам говорила!» И она коршуном рванулась на свободное место справа от дороги.

«Катя, - простонал Шломо. - Но это же въезд во двор. Мы не можем тут парковаться...»

«Еще как можем, - уверенно ответила Катя. - Все уже сидят по домам, так что мы тут никого не блокируем. Максимум - оставим им записку с телефоном под ветровым стеклом. Позвонят - выйдешь и дашь проехать. Вон наша дверь - почти напротив...» Она указала на ярко освещенный вход под длинным, далеко выдающимся на улицу козырьком.

«Как же они позвонят, когда праздник? - Это был последний, но сильный аргумент. - Религиозные по праздникам не звонят».

«Ха! - с легкостью парировала Катя. - Религиозные по праздникам и не ездят!»

Шломо понял, что карта его бита. Угроза полицейского рапорта легко отметалась очевидным «кто же пишет рапорты по праздникам?» Он вздохнул и покорился неизбежному.

Бригада людей в черных кипах начала свою печальную работу по сбору фрагментов человеческих тел с полу, со стен, с окрестных деревьев - ибо все должно быть предано земле из уважения к Тому, по чьему подобию сотворен человек...

Прямо на мостовой, недалеко от входа в «Парк», стояла детская коляска, их тех, что делаются специально на близнецов. Они и сидели в коляске, эти близнецы, мальчик и девочка, не более года, в праздничной кружевной одежде, одни - среди занятых своим жутким делом взрослых. Видимо, их вынесли из зала в самом начале, да так и забыли здесь, под дождем. Бог весть, что случилось с родителями - факт, что малышкой никто не искал.

Они сидели молча, и это было страшнее всего. Маленькие дети - одни, без мамы, под дождем, холодно - должны бы плакать... Эти же были тихи и неподвижны, как две куклы. Вокруг крутились синие и красные мигалки; с воем подъезжали и отъезжали амбулансы, несли раненых; плакали и кричали люди, ища и оплакивая своих. А эти сидели себе, в своих мокрых кружевах, среди всего этого воющего, рыдающего, кричащего балагана - молча, отдельные в своей нездешней, какой-то даже безмятежной отрешенности. Пока наконец кто-то, оттолкнув нацелившегося в них камерой оператора, не увез коляску в гостиницу «Максим» напротив, где разместился импровизированный полицейский штаб.

В гостинице «Максим» составляли списки пострадавших, собирали свидетельские показания, пытались опознать безымянных. Трудно было ожидать, что у людей, севших за стол пасхального седера в нетанийской гостинице, будут документы в карманах. У большинства их и не было. Поэтому погибшие оставались неопознанными дольше обычного.

Шломо пришел в себя, когда его, лежащего на насилках, загружали в амбуланс, где уже сидели двое пострадавших от контузии стариков. Секунду-другую он фокусировал сознание и вдруг разом все вспомнил.

Надо найти Катю. Надо найти Катю. Он вырвался от удерживавших его санитаров, выскочил из машины и огляделся. Вокруг повсюду под непрекращающимся дождем, вели и несли на носилках раненых. Поперек входа в «Парк» была натянута желтая пластиковая лента Шломо подошел к полицейскому у дверей.

«Мне нужно туда, - сказал он, указывая внутрь. - У меня там жена» Полицейский осторожно протянул руку и взял его за плечо «Тебе туда не нужно, брат, - сказал он сочувственно. Там пусто. Одни саперы. Всех уже вынесли».

«Где же моя жена? - спросил Шломо беспомощно. - Я обязан ее найти»

«Поищи там, - полицейский указал на гостиницу «Максим», - Там наверняка знают. И знаешь что, брат? Возьми себя в руки. Все будет в порядке, вот увидишь.» Шломо кивнул, повернулся и шаткой походкой направился к «Максиму». Полицейский смотрел ему вслед, качая головой.

«Фамилия, имя? - человек за столом проверил списки. Дойдя до конца, он проверил еще раз с самого начала и отрицательно покачал головой - Нет, среди эвакуированных в больницы она не значится. Подождите секунду... Давид!»

Подошел бородатый парень в дубоне.

«Давид, возьми его к вещам. Авось там что прояснится...»

Прошли «к вещам» - маленькой кучке дамских сумочек, бумажников и кошельков, сваленных на соседнем столе.

«Вот она, - сказал Шломо, указывая на катину сумочку и не зная, радоваться этому или наоборот - Это сумочка моей жены. Что это значит?»

«Вы можете взять ее, - остановил его бородач. - И, пожалуйста, идите за мной».

Они снова вышли под дождь, направляясь через дорогу к газону слева от гостиницы «Парк», туда, где Шломо незадолго до этого оставил Женьку. Где незадолго до этого Женька оставила Шломо. Теперь там был длинный ряд белых пластиковых мешков. На газон выходила боковая часть зала, бывшая когда-то сплошной стеклянной стеной. Взрыв вдребезги разнес стекла, искорежил рамы переплетов, выдавил наружу декоративные карнизы, и белые полотнища занавесей, уцелевшие по причине своей легкости, колыхались теперь над газоном, над страшными пластиковыми мешками над Женькой в одном из этих мешков как ресницы на ее ослепшем лице, как крылья огромных птиц, как прощальные взмахи платков вослед на всегда ушедшим.

Бородач остановился напротив одного из мешков.

«Как вас зовут? - спросил он - Шломо Бельский... Послушайте, господин Бельский. Скорее всего, у меня нет для вас хороших новостей. Я прошу вас приготовиться к самому худшему. По нашим данным, ваша жена погибла, и я прошу вас опознать ее тело».

Он наклонился и расстегнул мешок. Шломо увидел слипшиеся от крови волосы, катино платье, знакомое тонкое запястье памятное только им двоим серебряное колечко грузинской чеканки. Он закрыл глаза. Бородач спросил жестко «Она?» «Она - ответил Шломо, не открывая глаз - Закройте дождь все-таки. »

Он шел, не разбирая дороги, сопровождаемый равнодушным равномерным, как маятник, дождем. На площади ветер с моря ударил его по щеке, грубо толкнул в плечо и уже больше не отставал, приплясывая вокруг, воя и задираясь. И это было хорошо, потому, что хоть чуть-чуть отвлекало от дикого визга циркульной пилы, перемальвающей его мозг, царапающей изнутри воспаленную подкорку. Если бы это было возможно, он снял бы голову с плеч и нес бы ее в руках, лишь бы отделить от себя этот пульсирующий, визжащий сгусток боли. Он давно уже вымок до нитки, но не чувствовал этого. Он видел перед собой только чередующиеся плиты набережной, равномерны, как дождь, как боль, как обороты пилы.

Набережная вела его на юг, уводя прочь от страшного места, где одним махом разбилась вся его жизнь, лопнули основы его бытия, распались скрепы смысла его существования, разогнулись скобы его души. Кусты шушукались ему вслед; деревья отшатывались от аллеи при его приближении; стойки забора над обрывом судорожно вцеплялись в железные перекладины. Набережная была безлюдна в это время и в эту погоду; один во всем мире, он шел, переступая от плиты к плите, и фонари, истекающие дождем, провожали его рассеянным светом.

Аллея уперлась в забор, он повернул налево, затем снова направо, бессознательно следуя древнему правилу ищущих выход из лабиринта. Пила в голове продолжала визжать, и он сжал виски руками, стараясь уменьшить мучительную вибрацию. Дорога тем временем пошла вниз, поворачивая на север, спускаясь к берегу моря, к песчаным пляжам Нетании. Не видя всего этого, он просто шел, обходя препятствие справа, и если прежде этим препятствием было ограждение над обрывом, затем забор и дома, то теперь - высокая песчаная стена или каменная круча, а море шумно дышало слева... теперь-то он заметил... да, вот оно, море, слева.

Длинный пологий спуск вывел его к нелепому бетонному замку на песке - беспорядочное нагромождение ни с чем не связанных стенок, странных, замкнутых на себя лестниц, разомкнутых арок, ворот, распаханых в никуда. Внутри этого бедлама гнездились несколько кафе, душевые, раздевалки, офисы береговых властей. Сейчас все это было пусто, закрыто; он был один на огромном пляже, не считая дождя и ветра, один на один с темной махиной моря, встающей перед ним во весь свой гигантский рост.

Он увидел море и пошел к нему, интуитивно зная, что наконец- то нашел что-то соразмерное его боли, похожее на нее по размаху и силе, а потому - способное победить ее, эту боль, или хотя бы немного уменьшить. Море ворочалось перед ним, старое, ворчливое море много повидавшее на своем долгом веку. Оно смотрело на вошедшего в него человека, поворачивая его так и эдак, как будто прикидывая, что же с ним делать. Оно умело забирать людей, это море, выхватывать у них дно из- под ног закручивать их до беспамяतства водоворотами в десятки метрах от берега, втягивать их в себя мощной струей, швырять с размаху на камни волнорезов. И теперь оно лениво качало этого человека на ладони, взвешивая, как с ним поступить - взять себе или выбросить вон на мокрый береговой песок.

А он просто лежал на этой ладони, лежал и смотрел вверх, на равномерно падающий дождь, на беспроглядную вечную темноту, чувствуя, как стихает, смолкает, гаснет пылающая в голове боль, радуясь этому, готовый ко всему, кроме возврата на землю, забравшую у него двух его девочек.

11

«Я тебе что скажу, Шломо. В любой армии самое главное - справедливость, - назидательно говорит Яшка. - Это я тебе свидетельствую, как человек, служивший и тут и там. Давай, закурим, что ли ...»

Они закуривают шломинога «Марлборо» Майское солнце припекает, и хотя здесь, в тени от заброшенного каравана на самом краю обрыва, относительно прохладно, двигаться категорически не хочется. «Категорически» Шломо, не глядя, нащупывает камешек справа от себя и запускает его в безупречно голубое небо между ними и Рамаллой Камень неохотно взмывает вверх и тут же торопливо ныряет назад, в свою привычную пыльную жизнь в кустарнике на склоне вади.

«Закон есть закон, - продолжает Яшка. - Но и борзеть тоже не надо. Ты ведь меня понимаешь?» Кивать лень, поэтому Шломо просто мигает ближним к Яшке глазом.

«Нас - пятеро, вас - трое, так? - говорит Яшка, загибая пальцы - Получается восемь, так?» На это Шломо не реагирует по причине очевидности

«Делить на два - это четыре смены, так? - Яшка сжимает пальцы в кулаки - Какого же беса твой Менахем требует с нас пять? Это ли не борзость? Нет, ну ты скажи, скажи...»

Шломо пожимает плечами «Да мне-то - пофиг дым, Яша, - говорит он вразяжку. - Чихать я хотел на все эти несуразности. У меня с математикой никогда не ладилось. И потом - вы тут милуимники. а я - за бабки как чего же ты от меня хочешь, мил человек?..»

Яшка кивает понимающе - мол, ясное дело, что с тебя взять. И затягивается, щурясь на нестерпимое самарийское лето.

«Так-то оно так, - отвечает он, снимая свою армейскую панаму и вытирая ею пот с лица и шеи. - Так-то оно так, только борзеть-то тоже не надо».

«Это верно, - соглашается Шломо. - Борзеть не надо...»

Они охраняют маленькое поселение к северу от Рамаллы - пятеро пожилых резервистов, призванных приказом Генштаба ввиду особой ситуации. Пятерых мало, но больше армия не дает. Поэтому сами

поселенцы вынуждены дежурить в очередь, закрывая три дополнительных «человеко-ружья». Кто и впрямь дежурит собственной персоной, а кто и покупает услуги «платных сторожей», таких, как Шломо. Второй вариант встречается чаще, ибо всех устраивает самым замечательным образом. Для работающего поселенца отгул на работе стоит, как ни крути, дороже двухсот шекелей, что приходится платить «наемнику». Для самого Шломо, хотя деньги и невеликие, но на хлеб-водку хватает; харчи, опять же, наполовину казенные, армейские, да и жилье, считай, бесплатное - чего еще одинокому человеку надо?

Да и для равшаца Менахема, каждый день заново ломающего голову - как прикрыть ветхой заплаткой из пяти изношенных солдатиков и троих разношерстных ополченцев круглосуточную оборону драного во многих местах забора, отгораживающего поселение от нависшей над ним Рамаллы, да от четырех враждебных деревень, да от заезжих воров-гастролеров... и для него, Менахема, постоянный «наемник» Шломо куда предпочтительней что ни день меняющихся поселенцев. Тем более, что человек он вроде, надежный, во всяком случае, пока не подводил...

«Шиву» Шломо отсидел нечувствительно. Он вообще мало что помнил из прошедшей пасхальной недели. К примеру, как оказался дома, в Мерказухе, на попечении у Сени с Сашкой Правда же заключалась в том, что его, полубессознательного, вытащили из воды и сдали на руки полиции случайные люди, уверенные, что имеют дело с незадачливой самоубийцей. Да и можно ли было подумать иначе о человеке, настойчиво и слепо бредущем прямо в пасть бурлящему морю-людоеду? Тем более, что само море, по странной людоедской прихоти, отчего-то раз за разом отвергало идущую ему в руки добычу, упрямо выплевывая человека на берег, как пророка Иону много сотен лет назад.

Спасению Шломо не сопротивлялся, хотя на вопросы не отвечал и вообще в контакт не входил. В кармане вязаного жакета полиция обнаружила мокрые, но все еще читабельные документы, на поясе - ключи от машины и, проявив редкую сообразительность, связала явление «пророка Ионы» со взрывом в гостинице «Парк». Шломо перевезли в местную больницу и госпитализировали с диагнозом «тяжелая форма шока». К концу второго дня он начал разговаривать, односложно и безразлично. В связи с этим лечение было признано успешно завершённым, и пациента отпустили домой. Забирали его Сашка с Сеней; они же протаскивали Шломо через необходимую процедуру опознания в Абу - Кабире. Ловкий в бюрократических делах Сеня выправил нужные бумаги. Сашка читал кадиш на похоронах. В течение всего этого времени Шломо вел себя спокойно и отрешенно, с готовностью марионетки исполняя требуемые от него несложные действия. Потом его, наконец, оставили в покое, в мерказушной квартирке, уложив в постель, где он и провел, почти не вставая, следующие трое суток, лежа попеременно то с закрытыми, то с открытыми, но равно невидящими глазами. Сашка не отходил него, ночуя там же и время от времени пытаясь впихнуть в него еду, которую Шломо брал или отвергал одинаково безразлично.

Утром четвертого дня Сашка проснулся от звяканья тарелок на кухне. Шломо, гладко выбритый и одетый, мыл накопившуюся за неделю грязную посуду.

«Ну и слава Богу, - сказал Сашка. - Наконец-то встать соизволили. Ты уже завтракал?»

«Нет еще, - ответил Шломо, не оборачиваясь. Он поставил в сушилку последнюю тарелку и, вытирая руки кухонным полотенцем, подошел к сашкиному дивану. - Саша, ты меня извини, но я хочу тебя кое о чем попросить...»

«Конечно, конечно, - с готовностью откликнулся верный Сашка, спуская ноги на пол. - Какие извинения, Славик, ты что, с ума сошел?»

«Я очень ценю то, что вы с Сеней для меня сделали, - все так же спокойно продолжил Шломо. - Но ты не можешь тут больше оставаться. Возвращайся, пожалуйста, к Сене. Я теперь и один управлюсь. Большое тебе спасибо за все».

«Э-э... - озадаченно протянул Сашка. - Ты уверен? Если ты за меня беспокоишься, то - зря. У меня уйма времени, я на работе отпуск взял, неделю. Так что мы тут с тобой еще погудим. Как когда-то...» Он заговорщицки подмигнул.

Шломо на подмигивание не ответил. Напротив, его интонация стала еще более официальной. «Ты меня не понял, Саша, - сказал он. - Твой отгул тут совсем ни при чем. Просто Катя не хочет, чтобы ты у нас бывал. Уж извини. Придется нам видеться на нейтральной территории. Я зайду к Сене. Позднее. А пока что, будь добр...» Он сделал рукой движение в направлении двери.

Сашка ошалело смотрел на старого друга. Перед ним стоял какой-то новый Бельский, сухой, безразличный, даже неприязненный. «Хорошо, Славик, - сказал он вслух преувеличенно бодро. - Как скажешь. Но хотя бы в сортир сбегать ты мне разрешишь, на прощанье?»

«Конечно, - без улыбки ответил Шломо. - Только постарайся не задерживаться». Он вернулся к раковине - домывать вилки.

С тех пор они особо не разговаривали. Иногда Шломо заходил к Сене, но общался при этом только с ним, практически игнорируя Сашку.

«Что ты на это скажешь? - жаловался Сене Сашка. - Я все понимаю, трагедия и все такое прочее... но я-то тут при чем? Как будто я виноват в том, что произошло...»

«Не хочешь тебя расстраивать, Сашуня, - отвечал ему Сеня, стряхивая пепел с сигареты. - Но, скорее всего, именно тебя он и винит - не прямо, так косвенно».

Сашка пожимал плечами. «Что я тут делаю, в этом гадюшной Мерказухе? - спрашивал он сам себя, бегая по комнате под насмешливым сениным взглядом. - Давно пора переселяться в Тель-Авив. И к работе ближе...»

Сашкина политическая деятельность к тому времени вступила в упорядоченную фазу. К чтению лекций в Институте Плюрализма прибавилась должность пресс-секретаря. Теперь он был на зарплате; организовывал митинги против оккупации арабских земель; пел на площадях песни мира вместе с тысячами кибуцников участвовал в шествиях в защиту прав сексуальных меньшинств. Короче, завелись деньги у Саши Пибермана, впервые в жизни, можно сказать, завелись. Разъезжал он теперь на казенной «мазде» и как-то естественно перешел с «голда» на «абсолют» Сеня, впервые увидев «мазду», насмешливо прищурился: «Смотри, Сашок, какая интересная закономерность. Пока ты был поганым националистом, то чуть не с голоду помирал. А как гуманистом-плюралистом заделался, так прямо как сыр в масле катаешься.

О чем это говорит? - О том, что база у тебя теперь - все прогрессивное человечество, а не мелкая горстка еврейских скупердеев. А ведь давно замечено: чем база ширше, тем морда толще... Так что - правильной дорогой идете, товарищи!»

Насмешки насмешками, но от «абсолюта» Сеня не отказывался. Хотя и сашкины попытки обратить его в новую веру отвергал - мол, стар я, Сашуня, для этой суеты... разве что в лесбияны гожусь - по причине необъяснимой тяги к женскому полу... да и это, честно говоря, уже в прошлом. И все же Сашку не покидало ощущение, что сенино отношение к нему изменилось... какой-то оттенок странный появился... презрительный, что ли? Да нет, навряд ли; откуда?., почему?., быть такого не может, чтобы на а политичного пофигиста Сеню как-то влияли его, сашкины, идейные метания. Уж кому-кому, а Сене все эти дела всегда были до самой далекой лампочки. И тем не менее, какая-то едва различимая брезгливость мерещилась Сашке в насмешливом сенином взгляде за качающейся струйкой сигаретного дыма. В общем, надо переезжать. И побыстрее.

Шломо же тем временем пытался собрать воедино разлетевшиеся обломки собственного бытия. Прежняя, реальная и надежная картина жизни вдруг распалась, как разом обветшавшая панорама; казавшийся таким глубоким и многозначительно туманным рисунок заднего плана прорвался, обнаружив грубую искусственность грунтованного холста и неструганые доски каркаса; ближние фигуры выглядели топорно сработанными, неумело раскрашенными муляжами, и тусклое ничто сквозило сквозь дыры в размалеванных небесах. Он чувствовал себя единственным живым существом на смотровой площадке этого кишачего манекенами полуразвалившегося балагана. Его знобило от сквозняков, мутило от чужих запахов, и он тщетно искал выход, не видя и боясь обнаружить его.

На работу в редакции «Вестника» Шломо так и не вернулся; в то же время и дома он оставаться не мог. Незримое, но почти физически осязаемое присутствие Кати и Женьки не давало ему дышать. Каждая вещь, каждая выбоина на полу, каждое пятно на стене глядели на него женькиными глазами, обращались к нему катиным голосом. Сначала это даже радовало его, хотя и сбивало с толку в исполнении повинности повседневного существования. Потом - стало мешать; он понял, что еще немного и - рехнется окончательно, что так нельзя, что, если уж черт знает по чьей воле он остался жив, если уж был он выплюнут на берег по странной прихоти людоеда, то надо как-то соответствовать... хотя, собственно говоря, почему?.. - да потому что иначе лишалось смысла все, включая и гибель его девочек. А так... авось и выпадет ему понять, откуда ноги растут, в чем он, дальний этот смысл; ведь зачем-то же он тут оставлен?

Он стал уходить из дому, изнуряя себя дальними прогулками, спускаясь с гиловской горы к Пату и следуя дальше, в направлении тихой Рехавии и городского центра. Он шел, захватив бутылку воды и пару ломтей хлеба, равно безразличный к огнедышащему зною первых весенних хамсинов и к пронизывающей свежести последних весенних ночей.

Он шел, чуть подавшись вперед, глядя в землю, в асфальт, в мощный тротуар, просто переходя от плитки к плитке, от трещины к трещине, от ямки к ямке, напряженно ища в этой монотонно меняющейся неизменности столь необходимую ему сейчас подсказку, знак, указатель. И Город с беспомощной жалостью смотрел на ползущего по нему муравья, точно зная, что он, Город, не сможет ему помочь, не сможет дать ему ничего, кроме смерти или сумасшествия.

Иерусалим, Ерушалаим, Ир Шалем - особенный город. Нет в нем романтических набережных, да, собственно, и реки-то нету. А город без реки - это уже, почитай, рангом ниже, на первый сорт не потянет. Старая часть, обнесенная опереточной стеною, скучна и грязновата. Ветхие турецкие постройки, колониальные бараки времен британского мандата - воистину, жалкий, презренный сор. На всем, что создано здесь человеческими руками, лежит неистребимый отпечаток временности. В этом-то все и дело, во временности. Люди чувствуют себя здесь, как жильцы на съемной квартире. Кто же будет вкладывать собственные средства в застройку арендованного дома? Вот и кладется заплата на заплату - тут башенка, там чердак, здесь занавеска... - а ну как завтра придет Хозяин и прикажет все немедленно снять и выметаться к чертовой матери?

Все это так, только временность жильцов к самому Городу не относится. Если и впрямь мы, люди, уберемся с этих холмов вместе с нашими стенами, крестами и полумесяцами, Иерусалим останется, не сгинет, как сгнули прочие вавилоны. Ибо он населен и без нас. Присутствие Хозяина в этом месте ощущается сильно и явственно. Невозможно спутать ни с чем другим происхождение необычного праздника, который рождается в сердце когда, перевалив через Бет-Хоронский перевал и поднимаясь от Гивоны в сторону могилы пророка Самуила, вдруг замечаешь далеко внизу, с правой стороны шоссе, мелькающие между придорожными кустами белые кварталы Города, где живет Бог.

Это Город неба, прозрачного настолько, что сквозь дрожащую голубизну его можно увидеть самые дальние смыслы и сути. Это Город земли, горькой на вкус и заскорузлой на ощупь, сухой и строгой, как вдова в черном платке. Он зовется Ир Шалем - Город Цельного, и из сотен имен, данных ему людьми, это -

самое верное. Оттого нет лучше места на Земле для цельного сердца для цельной души. Оттого нет страшнее, опаснее места для людей с расщепленной душой и смятенным сознанием. В мощное поле его тяготения нельзя попасть в разобранном виде...

В один из апрельских вечеров Шломо обнаружил себя на пешеходной улице Бен-Иегуда, в праздном, прогулочном сердце города. Был тот переходной, тревожащий душу час, когда ранние сумерки шелковыми складками спускаются с медленно чернеющего свода, и свет уличных фонарей выглядит особенно беспомощным и неуместным в странном колеблющемся полумраке. Но делать нечего - когда-то ведь надо их зажигать. Подождите еще с полчаса... и вот уже лживые сумерки уступают место честной уверенной ночи, и приунывшие было фонари обретают наконец то, чего им так не хватало - темноту.

Устав от дневных скитаний по городу, Шломо присел на каменную скамью и огляделся. Мерцающая мостовая из бело-розового иерусалимского камня была уставлена столиками кафе двери ярко освещенных лавок широко распахнуты, нарядная веселая толпа лениво слонялась взад-вперед, клубясь и завихряясь вокруг лотков, артистов и музыкантов. На свободном пяточке крутили сальто уличные акробаты; блестящие ромбики на их трико мелькали, как разноцветные стекляшки в детском калейдоскопе. Жонглеры перебрасывались пылающими булавами; мрачный шпагоглотатель сосредоточенно вдвигал длинное сверкающее лезвие в страдальчески раззявленный рот; застывшие на импровизированных постаментах статуи оживали, склоняясь в галантном поклоне в ответ на серебряную монетку, брошенную к их мраморным туфлям. Отовсюду звучала музыка, квакающий свинг приткнувшегося неподалеку саксофониста нервно напрыгивал на безразличную «умца- умцу» транса, тумкающую из жонглерских магнитофонов; даа-а-ро-гой длинную, да ночью лунную летел аккордеон толстого массовика-затейника на углу, а в десяти метрах от него тонко плакала скрипка, прижавшись к плечу очкастой девицы, плакала, умоляя купить, наконец, эту папиросу, вот уже век как безуспешно продаваемую на всех перекрестках мира.

Но похоже, что и здесь, в разноголосой праздничной суете, никому дела не было до залежалой папиросы... переходи на травку, скрипачка! А еще лучше - на жратву какую или питье; только глянь - вся толпа вокруг жует... или пьет, или курит. Как будто только попробовав на язык, откусив, проглотив, затянувшись, можно ощутить вкус этой странной, ускользающей, мимо бегущей жизни, захватить ее внутрь, сохранить, запастись впрок.

Солідняки ковыряли лобстеров в дорогих ресторанах; народ попроще жевал стейки, запивая их красненьким; за столиками уличных кафе дули пиво и уминали салаты; девушки сосредоточенно сгребали ложкой сливочную шапку с огромных, похожих на бригадины, капучинных вазонов; их суровые пятнадцатилетние капитаны многозначительно курили, посасывая горлышко «хейникена» и глядя вдаль нахмуренным взором. Любители фалафеля нагружали килограммы съестного в разинутые зевы пит, чтобы затем вцепиться в это сочащееся всеми земными соками сооружение и насыщаться, урча и разбрызгивая вокруг себя струи соусов, стручки перца, огрызки соленых огурцов и ошметки красной капусты. Брезгливые интеллектуалы, отодвинувшись подальше от фалафельщиков, вели умную беседу за чашечкой «эспрессо», зажав фарфоровыми зубами эбонитовые мундштуки своих вересковых трубок.

Даже армейские патрули, стоящие ближе к площади Сиона во всеоружии своих пыльных джипов, хрипящих переговорных устройств и готовых к немедленному бою автоматов, даже они, угрожающее прищуриваясь в окружающее гульбище, лузгали при этом семечки, мастерски сплевывая шелуху так, чтобы она ложилась ровным красивым слоем, без куч и проплешин. Даже карманники, шнырявшие тут и там и по роду работы обязанные держать руки свободными, даже карманники - и те перемалывали челюстями терпеливую жевательную резинку.

Кто же польстится на твою дряхлую папиросу в этом жующем и глотающем мире, дорогая скрипачка?

Шломо достал из сумки свой хлеб и присоединился к жующим. Он ел, поглядывая по сторонам, остро желая быть как все, жевать в такт - как маршировать - левой, левой, левой... Увы, старания были напрасны - кусок не лез в него, раскорячившись в сухом горле, как запикиваемый в «воронку» пьяница. Хуже того - он вдруг почувствовал, как мягкий душный комок отчаяния подкатывает с противоположной стороны, снизу, с юго-востока, откуда-то из подсердечной области. Стало трудно дышать, и он всхлипнул, хватая воздух ртом и руками. Парочка голопузых лолит, жующих на ходу чипсы из пакетика, со смехом шарахнулась в сторону. Шломо попробовал взять себя в руки... и не смог. Это Город наконец-таки принял за него всерьез.

Город давно следил за ним, сначала с жалостью, затем со все возрастающим раздражением, а в последнее время так и просто с откровенной неприязнью. Как лес отвергает больное животное, как степь посылает волчью стаю по следу хромой лошади, отбившейся от табуна, так и Город пытался избавиться от бесцельно кружащего по нему муравья, нарушающего своим беспорядочным перемещением стройную осмысленность прочих движений. Тротуарные плиты топорщились под его спотыкающимися ногами; канавы преграждали ему путь; тяжелые двери подстерегали его, чтобы поразить неожиданным запахом; куски арматуры, выползая из стен, цепляли его своими ржавыми щупальцами; автобусы, хищно припадая на передние лапы, подкрадывались к нему на переходах. Но упрямец не понимал намеков. И вот теперь он забрался сюда, расселся в самом сердце светлого городского праздника, отравляя воздух зловонным дыханием своей беды, пугая веселую толпу гноем своих незаживающих ран. Это было уже чересчур. Город протянул руку к скорчившемуся на каменной скамье человеку, взял рукой его сердце и сдавил.

Шломо понял, что умирает. Он оглянулся, ища подмоги, продираясь сквозь давящую боль в груди и застилающие глаза слезы. Он не хотел умирать; это было бы неправильно, потому что тогда лишалось смысла все, включая и... Он поднял себя со скамьи и качнулся к телефонной стойке.

На счастье, Сеня сразу взял трубку. «Где ты? - спросил он, не дослушав шломиного полузадушенного хрипа. - Стой там, никуда не уходи, я сейчас приеду. Никуда не уходи!»

Он выскочил их дома в чем был, заклиная Бога и судьбу - как можно скорее послать ему редкое в этих местах такси. Машина стояла прямо у спуска из Мерказухи, как будто ожидая его. Они рванули в центр по необычно пустым улицам, и светофоры встречали их немигающими зелеными глазами на протяжении всего пути от Гило до Бен-Иегуды. Шофер без звука согласился ждать, пока Сеня найдет и приведет товарища.

На обратном пути Шломо молчал, обессиленно откинувшись на сиденье, вслушиваясь в уходящую, отпускающую его боль.

«Всегда бы так, - заметил таксист, сворачивая налево на Пате. - Ни одного красного светофора за всю поездку! Что они, все разом поломались, что ли?»

«Мне надо уехать, Сеня, - сказал Шломо, глядя на вырастающие перед ними отвесные стены Гило. - Хотя бы ненадолго. Недалеко и ненадолго. Иначе я совсем с катушек слечу».

Сеня хмыкнул, разминая сигарету и неодобрительно косясь на развешанные по салону запреты курить. «Не бойсь, Славочка. Сейчас чего-нибудь придумаем. Сегодня ты у меня ночуешь, хорошо? Мудачок-то наш съехал вчера - нашел себе квартиру в Тель-Авиве. А я уже привык, что у меня перед глазами кто-нибудь маячит... скучно как-то одному. Ты уж уважь старика, хоть на одну ночь, идет?»

«Идет...» - Шломо улыбнулся: слишком многие сенины подружки пали жертвами коронной просьбы «уважить старика на одну ночь»... Улыбка была первой с той мартовской ночи в Нетании.

Дома Сеня открыл холодильник и достал початую бутылку «абсолюта». «Ну вот, - сказал он, разливая. - Кончатся богатые денечки. Придется возвращаться на «голдовку». Вот только добьем это порождение плюрализма... »

Затем он уселся, поджав ногу, на диван, закурил и придвинул к себе телефон.

«Кстати о нашем яром плюралисте - есть у меня одна идейка. Авось поможет по старой дружбе...» Он набрал сашкин номер.

Сенина идея была проста и красива - пристроить Шломо на временное жительство в одно из поселений к северу от Рамаллы, в часе - полутора езды от Иерусалима. Обычно в таких местах всегда можно было снять пустующий караван - за ничтожные деньги, а то и совсем бесплатно. Кроме того, по нынешним временам, когда профессия сторожа снова стала супер-дефицитной, Шломо мог с легкостью добывать себе пропитание, наемничая на охране поселения. Это даже превращало его в желанного гостя с точки зрения «равшаца» - ответственного за безопасность. Для реализации плана требовалось задействовать старые сашкины связи доплюралистического периода. И снова все прошло на удивление гладко, как будто и тут действовало давешнее явление «зеленых светофоров». Назавтра, ближе к вечеру, Шломо уже въезжал на своем «фиате» в ворота поселения Тальмон, расположенного в древней еврейской области Беньямин, на территории, которую теперь Сашка именовал «оккупированной».

12

После ночных дежурств Шломо просыпается в полдень. В принципе, можно бы поспать и подольше, но к двенадцати асбестовый караван раскаляется до невозможности. Формально Шломо делит жилище с пятью милуимниками, но фактически они тут почти не бывают, предпочитая ночевать дома и наезжая в Тальмон только на время дежурств. Тем не менее, с точки зрения армии, все пятеро стоят на полном довольствии, так что голодать Шломо не приходится. Койка, матрац со спальником, кофе, чайник, да полный холодильник - что еще надо человеку?

Проснувшись, Шломо заваривает кофе и выходит наружу, в ярко-голубой простор самарийского полдня. Он садится на землю, привалившись спиной к стене, так, чтобы максимально захватить скупой клочок тени, ставит рядом с собой чашку, закуривает и погружается в покой и ясную целесообразность раскинувшегося перед ним мира. Плавные линии холмов, прихотливые извивы шоссе, заросшие курчавым кустарником вади, неприхотливые прямоугольники оливковых рощ и виноградников, красная черепица домов на соседней вершине... И над всем этим - сияющее полотнище неба, расшитое слепящими солнцами по бело-голубому полю.

Шломин караван на вершине Хорешы - самой высокой горы Биньямина; на западе ясно видна прибрежная равнина, взлетно-посадочная полоса аэропорта Бен-Гурион, небоскребы Большого Тель-Авива, и далее, на север - кварталы Петах-Тиквы, пляжи Нетании, высокие трубы Хадерской электростанции. А с другой стороны, на юго-востоке - Рамалла, запертый в шакальем своем логове Арафат, враждебные пригороды и деревни - Эль-Бире, Бетуния, Мазра-эль-Кабалия, Эйн-Киния... Два мира. И Шломо - прямо между ними, со своим раскаленным караваном, чашкой остывшего кофе и третьей за это утро сигаретой. Прозрачный ветерок гуляет по Хореше, на небе ни облачка, и дивным светом залита наша благословенная Земля, с запада на восток, и с севера на юг, и так, и эдак, и с поворотом наискосок - как ни посмотри. И цепь наших поселений, от Долева до Халамиша, плывет в этом световом океане, на вершинах холмов, как на воздушных подушках, дразня ярко-красными крышами невыносимую синеву неба.

Тальмон стоит, как Рим, на семи холмах. Домов в нем, правда, поменьше, но ведь и Рим не сразу строился... Шломо смотрит на соседнюю гору. Где-то там ходит сейчас его новый приятель Вилли, топчет чахлый газончик вокруг детского сада. Днем детские сады - главная забота сторожей, лакомый кусочек для гиен из Хамаса, для шакалов из Фатха, для крыс из Исламского Джихада. Четыре часа Вилли уже отбомбил, осталось еще два, потом Шломо меняет его на боевом посту. Жарко. Вилли останавливается, пьет воду из фляжки, вытирает пот со лба и продолжает свое добросовестное кружение.

Другой бы сел себе в тенечек, вытянул ноги, отдохнул... другой, но только не Вилли. Потому что Вилли - немец. То есть натуральный немец, белобрысый и курносый. Его полное имя - Рейнхардт Мюллер, и происходит он из немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия. Там он себе и жил, шнапс-пиво пил, белыми сосисками закусывал и знать не ведал о дальнем клочке земли, поlyingающем хамсинами, зноем и ненавистью. И все было бы в его жизни хорошо, когда б не выпала невозможная комбинация у верховного тевтонского бога Вотана. Кости ли он бросал, пасьянс ли раскладывал или за рычаг «однорукого бандита» дергал...

только познакомился юный Рейнхардт с курчавым существом женского пола в драных джинсах и мятой футболке. Познакомился и пропал.

Была она художницей, звали ее Рива, и приехала она в город Дюссельдорф по своим малярным делам - изучать немецкую живопись в собрании Вестфальского музея. Немцев Рива не любила априори, объясняя это исторической памятью, хотя какая, к черту, историческая память на немцев может быть у израильтjанки йеменского происхождения? В общем - чистый снобизм, типичная заносчивость молодых, сильных и красивых израильских сабр, свято уверенных, что весь мир именно им и принадлежит. Впрочем, Германия Риве нравилась, хотя и не так, как родная Рош-а-Айн. Один Рейн чего стоил... и тихие летние вечера над рекой, и виртуозные роллеры на набережной, и столики кафе со светлым «кельшем» в красивом бокале, и дивные кафедральные соборы Кельна и Аахена, и веселая космополитическая толпа на Маркетплац... погоди- ка... где-то я этого парня уже видела... А потом она вдруг поняла, что «этот парень» ходит за нею уже неделю, неотвязно, как голодный пес за хозяйкой.

Следуя проверенной армейской методике решать проблемы немедленно в момент их возникновения, Рива подозвала Рейнхардта к себе и спросила, какого, собственно, беса?.. Парень, запинаясь, но на вполне гладком английском объяснил ей, что он не может без нее жить, а потому просит выйти за него замуж. «Ага, прямо сейчас, - ответила ему Рива. - Вот прямо сейчас все брошу и выйду...» Парень просиял от счастья, и она поняла, что так просто этот фильм не закончится.

Рейнхардт осаждал ее с наследственным германским упорством, закаленным в горниле многих войн, включая Тридцатилетнюю. И хотя что-то подсказывало ему, что на этот раз тридцати лет не понадобится, морально он был готов и на большее. Медленный Рейн пел им свои песни, нежная Лорелея мыла длинные волосы в его ласковых водах, призрак великого Гейне обнимал за плечи влюбленные парочки на Кенигсallee. Победительная любовь молодого Мюллера простерла соловьиные крылья над Дюссельдорфом... И Рива сдалась. Впрочем, вручая ключи от крепости счастливому победителю, она выговорила почетные условия капитуляции. Во-первых, о проживании в Германии не могло быть и речи. Закончив практику в музее, она возвращалась в Израиль. Точка. Если уж Рейнхардту так приспичило, что он готов следовать за нею на край света, - пожалуйста. Пусть сворачивает тут свои дела и приезжает.

Во-вторых, Рейнхардт должен был стать своим в Стране. И кратчайший путь к этому лежал через Армию обороны Израиля. Проще говоря, от немецкого гражданина Рейнхардта Мюллера, не знавшего ни слова на иврите, требовалось пойти добровольцем в ЦАХАП... Излагая все это своему неистовому поклоннику, Рива рассчитывала привести его в понятное замешательство. Как бы не так!

Улыбка Рейнхардта стала только еще шире. Он много слышал о легендарной эффективности израильской армии и будет счастлив отдать ей какие-то жалкие несколько месяцев - в знак бесконечной благодарности стране, взрастившей такое неимоверное чудо, как Рива.

Что же касается дел, то сворачивать ничего не придется - он готов уехать хоть завтра... Рива пожала плечами, поняв, что, как ни беиься, а от судьбы не уйдешь.

Что может быть дальше от зеленых лугов, дубовых рощ и прохладных перелесков родной Германии, чем раскаленный плац в сердце пыльной пустыни Негев, в разгар августовского хамсина? А ведь именно там, на плацу, ровно через год новоиспеченный доброволец ЦАХАЛа рядовой Рейнхардт Мюллер ел глазами грозного старшину из породы садистов. Старшина сразу выделил его невинную физиономию в строю тертых калачей израильского производства, возвращавших старшине его грозный взор с привычной сабровской наглостью, хотя и несколько смягченной страхом потери субботнего отпуска. «Имя?» - спросил он, остановившись перед странным новичком. Рейнхардт сказал. «Как, как?» Рейнхардт повторил. «Знаешь что... как тебя там... - сказал старшина задумчиво. - Так не пойдет. Своим именем ты ставишь в тупик командира. А в тупике командиру находиться нельзя...»

«А если он зашел туда сделать пи-пи?» - спросил кто-то из дальнего конца третьего ряда. «Шараби, - сказал старшина, не оборачиваясь. - На эту субботу ты не выходишь... А тебе, солдат, придется придумать какую-нибудь кликуху полегче...» Лицо его исказилось непривычным выражением мыслительного усилия. Из строя посыпались подсказки и предложения: «Капут... Чайник... Гитлер... Ганс... Лось...»

Старшина вдруг просветлел. «Молчать!» - прикрикнул он на взвод. Все дружно заткнулись. Рейнхардт покорно ждал своей участи. «Вилли! - сказал старшина. - Ты будешь теперь Вилли». Все посмотрели на бывшего Рейнхардта и удивились - а ведь и впрямь - Вилли! Как это они раньше не распознали?.. Вот ведь старшина... вот ведь мастер...

Армейские клички прилипчивы. С тех пор Вилли слышал имя «Рейнхардт» только от собственной жены, да и то лишь в случае особо торжественных ссор. Недлинную свою трехмесячную службу он прошел с легкостью, хотя так и не смог до конца привыкнуть к царящим в ЦАХАЛе порядкам, не переставая поражаться той странной смеси бесшабашного бардака, чудовищной бюрократии и совершенно неожиданной, причудливой, уверенной инициативы, которую представляла собой израильская армия, да, собственно говоря, и вся израильская жизнь. Но деваться было некуда, и, побряхтев да поворочавшись, Вилли как-то приспособился.

Сначала он учительствовал, преподавая немецкий в средней школе, затем закончил курсы экскурсоводов и стал открывать своим бывшим соотечественникам красоты Земли Израиля. Это ему нравилось и приносило неплохой заработок; но вот началась война, и туристы кончились. Пришлось возвращаться в школу. Школу Вилли не любил, так что призыв в милуим воспринял с радостью и уже дважды добровольно продлевал свой срок. Шломо, выслушав виллину историю во время одного из длинных совместных ночных дежурств, сразу почувствовал в нем родственную душу. Они оба принадлежали к одному и тому же клубу потерявших свое прежнее имя.

Менахем подъехал к каравану без трех минут два. Шломо забрался в джип и пристроил между коленями длинную М - 16 с магазином внутри. Армейские правила запрещают ходить по населенному мирному месту со вставленным внутрь автомата магазином. Таким образом магазин в положении «внутри» был как бы признанием военного, опасного статуса места. И это признание парадоксальным образом сочеталось со спокойным и приветливым бытием поселения с хозяйками развешивающими белье в ухоженных палисадника со стуком мяча на баскетбольной площадке, с двумя мамашами сцепившими языки на углу Цветочной и Масличной улиц автоматически катая при этом взад-вперед выдавшие виды коляски с дрыгающимися и агукающими малышами.

«Как жизнь, мужчина? - спросил Менахем и улыбнулся. - Еще не наскучило тебе у нас?»

«Да мне- то не наскучило - в тон ему ответил Шломо - Вопрос - не слишком ли я вам надоел, » Оба рассмеялись.

«Послушай Шломо, приходи к нам в эту субботу Ярдена обещала приготовить снегшибательную, неземную рыбу».

«Спасибо Менахем. Но я уже обещал Эльдаду - этот шабат я у него. И передай Ярдене, что хотя и любая рыба - неземная, ее - неземная в особенности».

Они подъехали к Вилли угрюмо переминающемуся с ноги на ногу у входа в детский сад.

«Хей, мальчуган, - приветливо сказал Менахем, останавливая джип - За что тебя выгнали из садика? Написал в штанишки? Ай-я-яй Такой большой мальчик .»

Вилли виртуозно выругался, грамотно комбинируя арабский мэг с ивритскими замечаниями относительно моральных качеств воображаемой хромой сестры обобщенной матери собеседников «Вы опоздали на две с половиной минуты!»

«Брось, Вилли, - Шломо похлопал его по плечу - У тебя часы спешат »

«Ага. - мрачно заметил Вилли - Они у меня уже четырнадцать лет спешат. С тех пор, как я в Израиле. А мне еще мясо замачивать »

Он покрутил своей круглой головой и сменил, наконец, гнев на милость «Ладно, я поехал Шломо только, ради Бога, не опаздывайте. Как закончите с Яковом - сразу ко мне О'кей? Менахем. ты тоже присоединяйся »

Художественное жарение мяса на мангале было одной из главных виллиных страстей. Он влюбился в это чисто израильское времяпрепровождение, как в Риву, - без остатка и с первого взгляда. Как и в случае с Ривой загадочные истоки этой страсти терялись где-то в дебрях его германской души, подобно истокам лесного ручья поблескивающего в буреломе шварцвальдской чащи. И подобно воде из этого ручья чиста была виллина страсть. Сказать что он был гурманом, так нет. По правде говоря, ему всегда было решительно все равно, чем, как и где питаться. В мангальном деле его интересовал процесс, возведенный в ранг высокого мастерства. Это было искусство ради искусства, в чистейшем и бескорыстнейшем его варианте.

За углями Вилли ездил в дальнюю арабскую деревню Умм-Цафа, ибо, по его глубокому убеждению, хороший результат достигался исключительно на базе угля из местных древесных пород с труднопроизносимыми арабскими названиями. Породы эти произрастали, как уверял Вилли, только в старом лесу рядом с Умм-Цафой, так что, следуя этой логике, настоящий мангальный стейк или шашлык был принципиально невозможен где-либо за пределами Израиля, разве что жители деревни наладят экспорт своего уникального угля за границу, поняв, наконец, на каком сокровище они, дураки, сидят. Лес и в самом деле был стар, красив и, вероятно, помнил еще царя Давида. Одна беда - с началом войны ездить в Умм-Цафу стало небезопасно, даже учитывая то, что персональный виллин араб-угольщик считался у Мюллеров чуть ли не другом семьи. Поэтому Рива взяла с Вилли слово, что поездки за углем прекратятся - до лучших времен. Слово-то Вилли дал, но ездить к угольщику продолжал, тайком, хотя и не так часто, как раньше. Конечно... не жарить же на магазинном., его и углем-то назвать язык не поворачивается... профанация какая-то... Нет, позволить себе такой мерзости Вилли не мог.

Виллин мангал представлял собою чудо мангального ремесла. В нем не было новомодных электронных наворотов с искусственными турбоподдувами и прочей дребеденью, о которой Вилли говорил с презрительной усмешкой старого гитарного мастера, глядящего на выставленный в витрине провинциального магазина грубый электрический ширпотреб. Линии мангала были просты и благородны, как скрипка Страдивари; тяга сильна и естественна, как дыхание атлета. Ни один, даже самый безответственный ветерок, не пролетал мимо виллиного мангала, не заскочив в него хотя бы на минутку. Излишне говорить, что мангал был сделан на заказ, по точным виллиным чертежам, плоду многомесячных библиотечных исследований; кованое железо деталей Вилли привез из глухой турецкой глубинки, из-под молота усатого деревенского кузнеца, так что получившийся продукт был не просто уникальным; это был продукт, сработанный на сто процентов вручную, ни в коей своей части не оскверненный прикосновением промышленных домен, прокатных станков, электрических резаков и прочих многотиражных производителей

дешевки. Эта была сугубо штучная вещь, штучная, как любое высокое искусство, как Кельнский собор, как рисунок Дюрера, как fuga Баха. Как Мангал Вилли.

Понятно, что о Вилли и его Мангале ходили легенды. Другой бы делал на этом деньги... другой, но не Вилли. Не такой он был дурак, этот немец, чтобы повесить на святыню ценник, тем самым обесценив ее. На этот праздник души он приглашал только друзей, полагая их присутствие необходимой частью общего действия, подпитывая собственное сознание значительности происходящего их поначалу любопытным затем - почтительным, а под конец - благоговейным вниманием к священнодействию Верховного Жреца. Конечно, находились злопыхатели, уверявшие, что получают не худшие шашлыки на обычном жестяном мангале, раздувая электровентилятором магазинные угли по десять шекелей пакет... Что ж... Не каждому дано понять разницу между «Мадонной с цветком» и Мадонной с микрофоном. Вилли жалел таких завистников-ненавистников. Он, например, точно знал, что чувство вкуса находится не на языке, а в голове. А коли так, то можно ли распробовать нежнейший стейк, когда голова гудит от черной и горькой зависти?

Сегодня вечером Вилли планировал ввести в свой храм нового друга - Шломо. Совместными усилиями они подгадали дежурства таким образом, чтобы Яков и Шломо, закончив смену, могли прибыть прямо к алтарю. После трапезы все трое должны были вернуться в Тальмон для ночной вахты. Как это происходило всегда в дни Мангала, Вилли начал морально готовиться с самого утра, исподволь подготавливая душу к встрече с прекрасным. Поэтому даже малейшие неувязки, типа двухминутного опоздания, раздражали его, ибо указывали на некоторое несовершенство мира, абсолютно неуместное ввиду существования в нем Мангала.

Менахем досадливо прищелкнул языком. «Спасибо, Вилли. Ты не представляешь, как бы мне хотелось посидеть с вами. Да разве ж тут выберешься...»

«Ты в кровать-то хоть иногда заворачиваешь? - сочувственно спросил Вилли. - Смотри, жена скоро из дому выгонит... Ей ведь муж нужен, а не кентавр...»

Менахем мрачно кивнул. Он и впрямь почти сросся со своим джипом. Он забыл, когда в последний раз спал более четырех часов кряду - даже если удавалось добраться до постели, подмигивающая в изголовье рация могла в любой момент выдернуть его из-под одеяла. Да и насчет жены Вилли попал в самую точку - Ярдена уже давно требовала от него уйти с этой сумасшедшей, опасной, семь дней в неделю, двадцать четыре часа в сутки, работы. Или хотя бы вытребовать себе отпуск... Он посмотрел в сторону Рамаллы и вздохнул.

«Ладно, не вздыхай, - рассмеялся Вилли. - Вот как повесим Арафата, я тебе каждую неделю шашлыки буду жарить. Обещаю...» Он хлопнул Менахема по плечу и пошел к своему старому «кадету».

«Эй, Вилли... - остановил его рэвшац. - Погоди-ка... Ты как домой едешь? Через «почту» или через Нахлиэль? Если через «почту», езжай осторожней. Там вроде опять банда завелась. Вчера ночью машину из Долева обстреляли. Слава Богу, все целы...»

Вилли и Яков жили в поселении, расположенном ближе к Тель-Авиву. Из Тальмона туда можно было попасть двумя дорогами. Первая, более короткая, через Нахлиэль, проходила только по «территориям» и занимала не более получаса. Вторая, в объезд, через перекресток, именуемый на местном жаргоне «почта», была на четверть часа дольше. Перед каждой поездкой из дома в Тальмон и обратно Вилли и Яков прикидывали, каким путем ехать на этот раз. Объездная дорога имела несколько меньшую протяженность неприятных участков. Тем не менее, она не во всех случаях считалась безопаснее короткого пути. Все тут зависело от конкретной утренней или вечерней сводки.

Как правило, шоссе на «территориях» относительно безопасны: ну, бросят камушек, разбросают гвоздиком на повороте или выставят на асфальт полуметровые глыбы... короче - мелочи, традиционные арабские народные забавы. Но время от времени на том или ином участке заводится банда. Заводится, как вши, как парша. Начинают обычно скромно - бутылка с зажигательной смесью, дальняя одиночная очередь по автобусу. В этот момент важно не запустить, в точности, как со вшами. Иначе насекомые размножаются, наглюют, и тут уже хлопот не оберешься. Армия устраивает засады, подключается разведка и служба безопасности... глядишь - и вывели заразу. Гниды, конечно, остаются, но все же наступает некоторое спокойствие - до появления новой банды.

Вот и сейчас, ночной обстрел долеговой машины знаменовал наступление беспокойного периода на «почтовом» направлении. Интересно, - подумал Шломо, - Менахем не говорит определенно: мол, езжай, Вилли, через Нахлиэль. И это тоже характерно для поселенческой жизни. Потому что, если подстрелят Вилли на нахлиэльской дороге, будет у Менахема причина казнить себя за роковой совет. Оттого и рекомендация дается в условном наклонении - если, мол, решишь ехать так, то «езжай осторожнее»... Хотя, откровенно говоря, как может тут помочь осторожность, если вдарят по тебе с двадцатиметрового обрыва, да с трех «калачей», да по пристрелянной точке? Один расчет на везение...

Менахем и Вилли уехали. Шломо закинул за спину автомат и неторопливо двинул по привычной патрульной тропинке. Рация хрипела на разные голоса из кармашка на поясе; дети щебетали в песочнице детского сада; солнце палило вовсю, джип Менахема мелькал между холмов... в общем, все было в точности, как всегда, с самого основания мира.

Стейки были, как и положено, великолепы. Мангал высился на умеренно продуваемом месте, в глубине небольшого палисадника. Вилли произвел последнюю, овощную загрузку, разложив над уже затухающими углями ломтики баклажанов и помидоров. Пускай подвялятся. Он озабоченно покосился на опустевший угольный пакет. На следующую жарку уже не хватит. Надо звонить Нидалю.

«Вилли! - позвала его Рива. - Хватит уже кочегарить. Иди к столу».

«Вот-вот, - присоединился к ней Яшка. - Иди сюда, давай выпьем...» Он плеснул водку в стаканы.

Тишайший вечер стоял над ними, держа в руке пригоршню придорожных фонарей. Душная дневная жара ушла, и пряный горьковатый запах самарийской земли беспрепятственно поднимался к луне, смешиваясь с ароматами виллиных воскурений. Летучие мыши неслышно носились вокруг, резко сворачивая и виртуозно выхватывая из рассеянного лунного света ночных мотыльков и прочую глупую мошкару. Далеко внизу на дорогу вышла лиса, принюхалась к вечеру и потрусила по своим делам, по-дворняжьи посовываясь вперед левым плечом.

Наконец Вилли подсел к столу. «Лехаим!» Все дружно выпили.

«Шломо, - напомнил Яшка. - Скажи уже что-нибудь. А то хозяин подумает, что тебе не понравилось... »

Шломо набрал в грудь воздуха. «Дорогой Вилли! - торжественно начал он. - Дорогой Вилли! Я думал, что меня ожидает тут мясо, стейки и шашлыки. Я был неправ, Вилли. К мясу все это не имеет никакого отношения. Высокое искусство - вот это что. И ты, Вилли, большой художник. И слов у меня нету. Не потому, заметь, что мой ивритский словарный запас ограничен, нет. На русском, коим я владею вполне профессионально, мне было бы так же трудно выразить свои чувства. Потому что об искусстве не говорят. Искусством живут. Дай я пожму твою руку. Они расцеловались, шумно и с чувством.

Яшка снова разлил. «За такую речь надо выпить».

«Не слишком ли много будет, господа сторожа? - насмешливо спросила Рива. - Вам же еще служить сегодня, помните?»

«А водка службе не мешает, - уверенно сказал Яшка. - Вот помню, в Ливане был у нас случай. Стоим мы, значит, недалеко от Триполи, - наш танковый батальон и рота автоматчиков из «Голани». Стоим прямо так; в чистом поле палатки поставили, да колючкой обнесли, да пару вышек соорудили. Зима, дождь, грязюка непролазная, холодрыга, особенно по ночам. А сторожить надо, потому как вокруг всякого дерьма понаmeshано - видимо-невидимо. И «амаль», и «шмамаль», и «хизбалла», и арабы всех оттенков. И все так и норовят нам карачун устроить. Шломо, давай закурим твоих... »

Яшка закурил и продолжил: «Легко сказать - сторожить... А посиди-ка ночку на вышке, да в дождь, да в штормовой ветер, да в холод собачий... бр-р-р... Как вспомню, так мороз по коже. Добавь к этому, что днем мы тоже не бездельничали. Бывало, привезут снаряды - давайте, хлопцы, разгружайте... А каждая такая дура весит... мало никому не покажется. И вот побегаешь так до вечера - руки отваливаются, ноги не носят, весь в грязи, как чушка поганая, дождь льет, холод... Тут бы побыстрее душ горячий принять, да в койку, в спальничек родимый на рыбьем меху, под все одеяла, куртки и дубоны, что ты в состоянии найти и на себя нагрузить. Авось согреться удастся... Ан нет, солдатик, не видать тебе всего этого коечного рая. Бери теперь, как есть, ружжо и дуй, сердечный, во-он на ту вышку, сторожить.

- Как так?! Очередь-то, вроде, не моя? Мне ж только утром заступать...

- А командир тебе: Очередь-то, может, и не твоя, да вот Мики заболел. Аппендицит. Увезли час назад на вертолете. Так что кончай эти разговорчики в строю и - вперед. Тебя сменят. - Когда сменят? - А когда сменят - тогда и сменят... - Вот так. И ползешь, делать нечего, на сраную эту вышку, и сидишь там, полумертвый от усталости и от холода, не зная даже примерно, когда же этот ад кончится. До сторожения ли тут, скажите на милость? Тут бы дожить до пересменки...

В общем, впадаешь в такое безразличие, что все тебе - до балды, включая самого себя. Глаза сами закрываются. Накажут - пусть; в тюрьме, на нарах такого мучения не предвидится. Убьют - черт с ним, нехай убивают, чем так жить. Страх нет никакого. Если б только о моей жизни речь шла, дрых бы я на каждом дежурстве, как миленький. Одна лишь мысль о ребятах как-то удерживает. Спят они там, в палатках, под горой одеял, и ты вроде как их бережешь, охраняешь от сучьих этих выползков. Как представишь себе, что заходят арабы в палатку и режут ребят тепленькими, в спальниках - так и сон вроде улетучивается.

Но все равно есть предел силам человеческим. Неизбежно наступает момент, когда даже ребята не помогают. И тут-то хорошо, коли есть у тебя последний, самый надежный, самый верный друг и помощник. Водка. Достоешь из кармана заветную фляжечку... понюхаешь... экий дерibas! аж передергивает. И чего это она такая теплая на таком-то холоду?... Короче, поначалу недружелюбное у него лицо, у последнего твоего помощника. Но как зальешь его внутрь, да выдохнешь дикий его выхлоп, да прислушаешься... О-о... Тут-то и начинается. Вот он, побежал, побежал по душе босыми ножками. Вот потекли по жилам огненные ручейки... Глядишь, и вроде веселее стало, а что теплее, так это точно. И мокрая темень вокруг уже не так темна, и ветер уже не так сильно лупит тебя по мордам, и смена вот-вот придет, и, главное, есть у тебя еще полфляжки... А ну-ка... - точно, булькает. Короче, жить еще можно. Великая это вещь, водка, доложу я вам. Давайте-ка выпьем водки за водку...»

Вилли охотно разлил водку по стаканам. Выпили. Яшка задумчиво хрустел соленым огурцом. «Все, что ли?» - спросил Шломо. «Какое там «все», - отозвался Вилли. - Я эту историю про Фимку-пулеметчика уже в пятый раз слушаю».

«А ты не слушай, коли неинтересно - сказал Яшка. - Во-он, Шломо ни разу не слышал. Я ему и рассказываю. Ты тут так, сбоку припека...

В общем, Шломо, - продолжил Яшка, подчеркнуто игнорируя бестактного Вилли. - В общем, был там среди «голанчиков» некто Фима Гольдин, земляк наш из Риги. Случай, надо сказать, редкий - нашего брата тогда все больше в танковые части посылали или в артиллеристы. Как этот Фима в боевую пехоту попал - одному Богу известно. Может, оттого, что здоров был, как конь. Так или иначе, его там все любили, даже прощали ему маленькие его странности. Например, Фима травку не курил, даже гашиш не уважал, а уж этого в Ливане было прямо-таки навалом. За го вот выпить он был не прочь при любых обстоятельствах Все нормальные люди косяк потолка забили и сидят, дымят, а Фимка - знай себе водку из фляжки хлещет Ребята поудивлялись, поудивлялись, да и привыкли. Пойми их, «русских»

Удивлялись-то они летом, а как зима пришла, так и удивляться перестали. Ведь косяк, он хоть и пускает душу по облакам, но греть ее как водка, не может. Не та калорийность. Вот тут-то и пришлось ко двору фимины фляжка. И чем хуже была погода, тем популярнее становился среди «голанчиков» наш, советский образ жизни Короче, где-то к Пуриму спустил Фимка всю свою родную роту включая офицерский состав. На травку уже никто не смотрел, как в патруль идти или на вышку лезть - так все дружно по сто грамм ищут только и слышишь «буль-буль» да «дзынь- дзынь» по всему лагерю.

А тут и Пурим подоспел, светлый праздник освобожденного еврейства.

А в Пурим как известно, обычай требует напиваться. Причем в стельку. Ну ладно, не в стельку, но, по крайней мере, так, чтобы не отличить злодея Амана от праведника Мордехая. То есть, все-таки, - в стельку. Надо сказать, что к этому моменту рота была уже на сто процентов готова к выполнению боевой задачи. Интенсивные фимины тренировки не прошли даром. Конечно, многие навыки пока отсутствовали - далеко не все еще научились разливать «по булькам», вслепую; «провести» стакан на неподвижном кадыке умели лишь особо способные; обилие еды мешало отточить сложную технику «занюхивания» Тем не менее, было ясно, что рота способна встретить праздник на вполне достойном уровне.

Так оно и случилось. Конечно, праздник - праздником, а дело - делом. Кому-то выпал несчастный жребий патрулировать или сторожить. Эти выпили свои сто грамм и ушли в дождливую ночь. Зато остальные оттянулись по полной программе. Фима старался больше всех. Как главный спец и вдохновитель он просто обязан был подавать личный пример. В общем, к моменту, когда пришло время вставать из-за стола, а точнее - выпадать из-за стола в койку, сержант Гольдин был ближе всех к горизонтальному положению. И тут произошло нечто непредвиденное. Сверху пришел приказ удвоить патрули - именно в честь праздника. Начальство решило обезопаситься на случай, если враги вдруг попробуют проверить нашу пуримскую бдительность. Надо сказать, что в чем-то начальники оказались правы - бдительность в дупель пьяной роты оставляла желать много лучшего...

Что прикажете делать в такой ситуации? Фима ощущал себя главным вдохновителем пьянки, как ни крути, на нем и повышенная ответственность. В общем, вызвался он добровольцем Доставшийся ему дополнительный пост был особенно труден. Почему? Да потому, что - дополнительный, а значит - необорудованный. На черта его оборудовать, если он дополнительный?

Если, как правило, нет там никого? Если поставили его только на случай прямой вражеской атаки? В общем, не было там ничего, за исключением неглубокой ямки, да невысокого бруствера из мешков с песком, да пулемета по имени МАГ. А значит, нельзя там ни стоять, ни сидеть, а можно только лечь в ямку, за бруствер, да смотреть себе в амбразуру, в непроглядную, однообразную темь.

Вот тут-то и загрузил наш Фимук... Лег он в эту неглубокую ямку, ставшую по случаю дождя вполне глубокой лужей, глянул в черную дырку за хоботом пулемета и понял, то есть однозначно понял, что шансов нет. Что заснет он неминуемо, вопрос только - когда. Потому что, если хотя бы стоя или сидя... - это еще куда ни шло, и пусть пулеметный ствол двоится перед пьяными его глазами - по крайней мере, со сном можно бороться. Но лежа, да с килограммом водки в непутевой голове... И все же, отдадим должное железному фиминому организму. Все-таки он был настоящий конь, ломовик породистых еврейских кровей. Заснул он только под утро.

Но, даже засыпая, Фима повел себя в высшей степени ответственно. Дело в том, что он заранее решил для себя - если пойму, что - все, кранты, засыпаю - дам я пулеметную очередь в белый свет, как в копеечку, чтоб как бы сигнал подать. Чтоб знали, что на меня больше рассчитывать не стоит. В буквальном смысле - жертвовал собою пацан. Потому что за такое дело суд и, как минимум, месяц военной тюрьги были ему обеспечены. В общем, как стало чуть-чуть светать, понял Фима, что кончился боересурс его терпения. Стали ему мерещиться какие-то неясные контуры, не то фигуры, не то призраки... веки неудержимо смыкались... Последним усилием передернул он закованными пальцами затвор МАГа, надавил на спуск и отключился.

Помните, был такой рассказ о связисте, в предсмертном усилии зажавшем зубами порванный телефонный кабель? Так, что потом не смогли разомкнуть челюсти - так и хоронили парня с куском провода во рту? Мне именно этот случай вспомнился, когда сбежались мы по тревоге к фиминому окопчику. Мужик был в полной отключке, вообще ни на что не реагировал. Спал, что называется, мертвецким сном. Но палец его на спусковом крючке было просто не разогнуть. Оттого-то и очередь была такая длинная - стрелял, пока патроны не вышли. В общем, кое-как отсоединили мы Фиму от пулемета. Отсоединили и на командира смотрим. А командир стоит - зверь зверем. Что вы, говорит, на меня уставились? Несите этого пьяного ишака в палатку. Завтра, как проснется - немедленно ко мне, вместе с командиром роты. Плюнул так яростно и ушел, досыпать. Ну, думаем, - все, погорел наш Фима по-крупному... Месяцем тюрьмы тут не обойдется».

Яшка взял вилку и подцепил ею ломтик баклажана. Затем, тщательно примериваясь, он аккуратно разрезал ломтик на примерно равные части и, не торопясь, съел их одна за другой. Потом прицелился на другой ломтик, но передумал. Вместо этого он вынул еще одну сигарету из шломиной пачки, медленно размял и очень вдумчиво раскурил. Шломо терпеливо ждал продолжения рассказа. Вилли улыбнулся «Верить ли, Шломо, каждый раз он в этом месте паузу делает Артист ты, Яков Тебе бы по телевизору выступать .»

Яшка не удостоил его ответом. Он задумчиво следил глазами за фигурами высшего пилотажа, которые вычерчивала в ночном воздухе эскадрилья летучих мышей. Он явно чего-то ждал. Шломо наконец догадался «Ну а дальше-то что, Яков?» - спросил он как можно подобострастнее

Яшка удовлетворенно кивнул. «Дальше-шмальше - протянул он. - А дальше было просто. Сразу как рассвело, увидели мы на проволоке, в пятидесяти метрах от фиминой позиции, троих арабонов. Точнее сказать, решето из троих арабонов. Сколько их всего там ночью было, сказать трудно. Были, видимо и

раненые, потому что потом нашли кровь по следам их отхода. А может, трупы особо дорогие уносили. Вот так, Шломо. А вы говорите - водка...» Он опять замолчал.

«Ну а что Фима?»

«А что Фима. Фима наутро не помнил ничего. То есть совсем ничего - ни как в койку попал, ни как из пулемета стрелял, даже сам факт своего боевого дежурства не помнил, даже как из-за стола вставали. Последнее его воспоминание - это как пили за то, чтобы Арафат своим языком поганым подавился. И все - после этого - полный провал Черная дыра...»

«А суд? Тюрьма? Сколько он в итоге получил за все это?»

Яшка усмехнулся. «Много получил Знак отличия за храбрость, внеочередное звание и недельный отпуск в зилатской гостинице Командир-то не дурак оказался. Тут ведь все зависело от угла зрения - как на этот случай посмотреть. Сам посуди: одно дело - пьянство во вверенной тебе части, да еще на посту; и совсем другое - доблестное отражение вражеской атаки с тремя убитыми у них и без малейших потерь у нас. Ты бы что выбрал?..»

«Послушай. Яков, - сказал Вилли. - Я вот чего не понимаю как это никто не стукнул? Всегда ведь находится какой-нибудь пакостник, что жаловаться бежит. Тот - чтобы командиру насолить, этот из идеологических соображений, а третий - просто из гадской своей природы. Что ж это за база у вас была такая из ряда вон выходящая, что ни одного добродетеля не нашлось?»

«Почему ты думаешь, что не нашлось? Нашлось, и еще как. Во -первых, была анонимная жалоба в дивизию, во-вторых - телефонный звонок корреспонденту. Мне потом Фима рассказывал, как его в военную полицию вызывали. Только у него на это был очень простой ответ заготовлен. Вы, он им сказал, сами-то в эту невероятную выдумку верите? Чтобы я с пьяных глаз, в полном отрубе, отбил вражескую атаку? Это что, по-вашему, кино? Рембо по-израильски? Они и отстали. Действительно ведь, невероятно. Вон, даже ты мне не веришь...»

«Яшка, - сказал Шломо. - А где он сейчас, твой Фима? Вот ты бы привел его к Вилли на шашлык, чтоб без вопросов...»

«Если бы это было возможно... - печально ответил Яшка. Нету Фимы Гольдина. Мы вот тут сидим, водку пьем, а он...» Яшка печально махнул рукой.

«Погиб?»

«Умер. Два года тому назад. От цирроза печени...»

В Тальмон возвращались к полуночи, втроем, на виллином «кадете». Яшка дремал на заднем сиденье. Ехали через Нахлиэль. После того, как миновали Офарим, Вилли достал из бардачка старый пистолет с деревянными накладками на рукоятке, передернул затвор и сунул оружие под колено.

«Вальтер, - сказал он в ответ на удивленный шломин взгляд - Времен второй мировой. В комиссионке купил,»

Шломо усмехнулся про себя парадоксальности момента. Они ехали в немецкой машине с памятным именем «опель-кадет» по территории округа Биньямин, среди враждебных арабских деревень. И за рулем сидел не кто-либо, а чистокровный вестфальский немец, держа наготове старый «вальтер», из каких шестьдесят лет тому назад другие немцы стреляли в наши беззащитные затылки. Там, под Бобруйском, в лесных ямах, осталась почти вся отцовская семья.

«Через две недели приезжает мой отец, - сообщил Вилли, как будто откликаясь на шломины мысли. - Он у нас почти каждый год по месяцу гостит. Его послушать, так дом не разваливается только оттого, что он тут ежегодно порядок наводит. Говорит, такого балаганиста, как я, свет не видывал. Представляешь? Это я - балаганист. Видел бы он Якова...»

Шломо рассмеялся. Вилли и в самом деле славился педантичностью. Каков же тогда батя?

«А при чем тут Яков? - подал голос Яшка. - Видел он Якова еще как. И в гостях у меня сидел. Так что не надо, своим-то... Не слушай его, Шломо. Батя у Вилли - мировой старикан. Земляк наш, кстати...»

«Как так?!»

«А так. Он из украинских немцев-колонистов. Родители в сталинских лагерях сгинули, а его, мальчика, вишь - не додали. Но русский еще помнит, хотя и с трудом. Пытался он мне свою эпопею рассказывать, так я и половины не понял. Просил Вилли перевести, а он отказывается».

Вилли хмыкнул. «Ничего, ничего... Мне так спокойнее - от греха подальше. Пусть лучше тихо-мирно сарайчик подправляет да навес над крылечком строит. А то ведь с Яковым свяжется - беды не оберешься».

«Какой беды? — недоуменно спросил Шломо. - Ему сколько лет, твоему старику?»

«Семьдесят четыре. А дурости - на все сто двадцать. В прошлый его приезд как раз Риву камнями обкидали. Ничего страшного - пара булыганов по капоту и один по крыше. Отделались небольшими вмятинами да малым испугом Вмятины - ерунда, моему «кадету» не привыкать, он и так весь обдолбанный. А вот ривин испуг, хотя и малый, все равно неприятно. Даже поплакала немножко. В общем, увидел мой дед эти слезы и начал из угла в угол ходить. Я ему - дед, успокойся, а он все ходит и ходит... Наконец, смотрю, начал в моем армейском шкафу копать. Ты, говорю, чего ищешь? Ты, говорю, скажи, может я чем помогу. А он и отвечает: дай, мол, сынок, гранату. Всего-то одну и надо...»

«Ты что, говорю, совсем сдурел, старый? На черта тебе граната? А теперь слушай, что он мне в ответ лепит. Я, говорит, возьму гранату, пойду в деревню и взорвусь там около мечети ихней. Я, говорит, и в самом деле старый, тут ты прав, сынок, все равно мне вот-вот помирать, так хотя бы чтоб не пустым предстать перед Господом... Представляешь?»

Яшка сзади залился смехом. «Атомный старик! Я ж говорил...» «Во-во, - мрачно кивнул Вилли. - Только послушай его, Шломо... Я, честно говоря, этой атомной смеси - отец мой с Яковом - больше всего боюсь. С другими- то у него общего языка нету. Поначалу был он у меня тише травы; постучит молоточком, повозится в огороде и сидит, довольный, на солнышко смотрит. А как узнал, что есть в поселении «русские», что даже сосед мой дорогой Яков родом из Кишинева, словно подменили старика. Мы, говорит, с Яковом организуем тут команду из десятка-другого земляков и отлупим арабов так, что век будут помнить. Смех и грех »

«А чего ты удивляешься? - подначил Яшка. - Вера в силу русского оружия у твоего бати воспитана личным опытом».

Вилли не то хмыкнул, не то поперхнулся. «Да, господин Зильберман, - сказал он наконец, обращаясь к Яшке по фамилии. - Сегодня вы особенно тактичны. »

«Ладно, - Яшка примиряюще положил ему рук на плечо. - Ну извини, брат, сморозил. Ты на меня, кстати, тоже сегодня бочку катил. Так что мы квиты»

Дорога повернула, и перед ними засветились огоньки семи тальмонских холмов

На въезде в поселение они разделились Шломо охранял этой ночью свою Хорешу; Вилли и Яков патрулировали на соседних вершинах. На горе было ветрено и прохладно. Шломо забежал в караван за курткой, навьючил на себя хитрое сооружение из ремней и карманов, содержащее фонарь, магазины, флагу и прочий положенный по штату инвентарь, повесил на шею свою потертую М-16. Выходя из дому, он посмотрелся в зеркало и остался доволен. Вид был самый что ни есть бравый Шломо притопнул ногой в крепком армейском ботинке и вышел

Ночь лежала на земле, растянувшись от края до края, черная и неслышная, как кошка. Арабские деревни внизу были темны, лишь зеленые огоньки минаретов мерцали, как гнилушки на болоте. Тут и там на вершинах холмов светились еврейские поселения; цепочки фонарей вились вокруг них желтыми ожерельями. Шломо неторопливо хрустел гравием по патрульной тропинке. Он чувствовал себя прекрасно; спать совсем не хотелось. Чудесно проведенный вечер трепыхался в груди смешливым щекочущим существом. Это существо подбрасывало ему картинки, как дровишки в печку - вот торжественное лицо Вилли, склонившегося над Мангалом; вот Яшка, как всегда, расстрелявший у него все сигареты под завораживающий аккомпанемент своей мягкой молдавской скороговорки; вот тонкий ривин профиль, черная буря ее волос, острый локоть, веселые огоньки в непроглядном мороке опасных тайманских глаз...

Шломо остановился над обрывом, вглядываясь в темноту вади. Внизу, за бесформенной массой кустарника угадывалась старая грунтовая дорога, смутно белели дома Эйн-Кинии. Вдруг что- то привлекло его внимание. Странный блик, неясное движение рядом с каменистым распадком метрах в ста пятидесяти от забора. Шломо всмотрелся пристальней. Нет, вроде ничего, просто показалось. Он уже собрался продолжить движение, уже повернулся, на всякий случай, краем глаза, не выпуская из виду подозрительное место, и тут сердце его упало. Блик снова промелькнул... вон там, слева от большой глыбы песчаника.

Усилием воли заставляя себя двигаться неторопливо, Шломо перешел к ближайшему сгустку тени, присел и достал рацию. Во рту его было сухо, не хватало воздуха, кровь барабанила мамбо в висках. Он еще никогда не был в бою и теперь элементарно боялся. «Спокойно, Шломо, спокойно, - увещевал он сам себя. - Немедленно прекрати панику, ты, сукин сын!» Он прибавил еще несколько матерных ругательств пообиднее. Как ни странно, это помогло. По крайней мере, хотя бы дыхание несколько наладилось. Теперь уже не стыдно было говорить по рации.

«Неве-Тальмон от Хореша, - позвал он, стараясь звучать как можно обычнее. - Как слышно?»

«Я - Неве-Тальмон, - ответил насмешливый виллин голос с соседней горки. - Слышу тебя отлично. А если ты будешь говорить чуть погромче, то я даже смогу разобрать некоторые слова... В чем дело, Шломо? Почему ты еле шепчешь?»

«Я - Хореша, - сказал Шломо чуть погромче. - Вижу подозрительное движение к юго-западу от меня, в распадке, как раз между нами. Вилли, взгляни-ка со своей стороны, будь другом».

«Нет проблем. Только я сейчас на другой стороне холма. Подожди, минуты через три я буду на месте».

Рация замолчала. Шломо наставил на распадок автомат и устроился поудобнее. После короткой беседы с Вилли страх непонятным образом улетучился. Он даже ощутил какой-то охотничий азарт. Вот только глаза начали совсем некстати изменять. Они слезились от напряжения; какие- то искры и звездочки вспыхивали и гасли по всему полю; между ними неторопливо проплывали длинные прозрачные червяки... Теперь Шломо навряд ли различил бы давешние блики. Он усиленно поморгал, затем протер глаза правой рукой, с сожалением оторвав ее от автомата, даже закрыл веки на несколько секунд... Ничего не помогало.

«Хореша, Хореша - от Неве-Тальмона! - это был Вилли. - Шломо, определи точнее, где и что ты там видишь?»

Шломо начал объяснять. У него появилось странное чувство, что он зря беспокоит людей, попусту отвлекает их от дела, от сна, от отдыха. Не дай Бог, еще Менахем услышит их переговоры; небось, ведь только прилег, бедняга.

«Нет, - решительно сказал Вилли. - Ты уж меня извини, но ничего я не вижу. То есть распадок вижу, но ничего в нем нет».

«Ладно, - виновато ответил Шломо. - Извини, брат. Наверное, это яшкины рассказы на меня так подействовали... »

«Опять я виноват! - это уже был Яшка. - Ничего, Шломо, года через три научишься отличать дикого кабана от дикого араба. Хотя, честно говоря, разница не так уж и велика. Так что не расстраивайся...»

«Я - Яд-Яир, - вмешался армейский радист, работающий на той же частоте. - Кончайте засорять эфир! Погуляли и хватит, самое время помолчать».

«Затыкай своей подруге, салага!» - возмущенно парировал Яшка.

Ответа не последовало. Рация еще пару раз хрюкнула и замолчала. Шломо встал, отряхнулся и подошел к обрыву. Все было тихо, распадок невинно лежал перед ним, пустой и безмолвный. Вот стыдоба-то! Весь мир переполошил... Шломо плюнул и пошел прочь с дурного места.

13

Вилли проснулся в одиннадцатом часу. Дом был тих и пуст; в пятницу дети обычно возвращались к часу дня, вместе с Ривой, учительствующей в той же школе. А пока... пока Вилли был предоставлен самому себе. Он с удовольствием шлепал босыми ногами по прохладному каменному полу, с хрустом потягиваясь, зевая, радуясь всем своим существом тому редкому моменту Богом санкционированной праздности, когда некуда спешить, когда все тип-топ, когда дети здоровы, жена любима, и жизнь легка, как тюлевая занавеска на распахнутом в светлое утро окне.

Впрочем, долго прохладжаться без дела Вилли не привык. Сооружая себе яичницу с луком, из трех яиц, на телячьей колбасе, он прикидывал, как бы ему поумнее распорядиться негаданной свободой. Конечно, можно было удивить Риву, занявшись самому предсубботней уборкой. Можно было... да только как-то не хотелось... да и зачем? В семье Мюллеров подготовка к субботе была не повинностью, а, скорее, игрой - с шутками, розыгрышами и прочей веселой суетой, в которой принимали участие все, включая собаку. Так что уборка не годилась. Что же тогда?

О! Ну конечно! Как же он мог забыть?! Уголь. Стареешь, Вилли, стареешь, вот уже и вещи из дырявой головы выпадать начали... Ведь еще вчера, готовя стейки для Шломо и Якова, решил он про себя непременно и как можно скорее затариться большой партией угля. Лучшего момента не придумаешь - если он успеет обернуться туда-сюда, а потом спрятать пакеты в подвале, пока Ривы нету, то все останется шито-крыто. Вилли покончил с завтраком и позвонил Нидалью. Судя по голосу, Нидаль был рад его слышать. «Привет, Вилли! - он говорил на иврите с тяжелым арабским акцентом. - Как жизнь? Как здоровье?»

«Здравствуй, Нидаль, дружище. Спасибо, у меня все в порядке. Как у тебя? Все ли здоровы? Семья? Дети?»

«Слава Аллаху, все здоровы. С работой сейчас туговато, но как-то выживаем. Тебе, случаем, не надо ли чего починить-построить?»

«Нет, Нидаль, спасибо. Ты же знаешь, всеми этими делами у меня отец заведует. Приезжает через две недели. Мне бы угольку. Как у тебя с этим?»

«Ну вот... - рассмеялся Нидаль. - Твой старик у меня весь хлеб отбивает. А уголь есть. Мне сейчас делать нечего, так я его полный сарай нажег. Приезжай, забирай. Я бы тебе сам подвез, да моя «субара» совсем развалилась...»

Вилли медлил с ответом...

«Эй, Вилли, - сказал Нидаль, читая его мысли. - Если уж ты меня боишься, то это совсем край. Ты ж мне как брат, клянусь глазами Аллаха, как ты можешь?»

«Конечно, Нидаль, о чем речь, - смущенно ответил Вилли. - Но ты ведь сам знаешь, какая ситуация. В тебе-то я уверен...»

«Ладно, давай тогда сделаем так, - сказал Нидаль после минутного раздумья. - Я вывезу пакеты за деревню, метрах в ста от шоссе. На самом шоссе не могу - там армия ездит; увидят меня с пакетами - пристрелят, глазом не моргнут. А без пакетов можно. Там я тебя и подожду, у поворота. Лады?»

«Лады». Предложенный Нидалем вариант выглядел вполне приемлемым. Дружба дружбой, но заезжать в деревню Вилли не хотелось - а вдруг там сейчас какое-нибудь сволочь с «калачами» бродит. И его пристрелят, и Нидаля... «Подготовь мне тогда килограммов пятьдесят. Если я подъеду через часик, успеешь?»

«Нет проблем, Вилли. Жду тебя у поворота через час. Пока».

Их знакомство началось десять лет тому назад, когда Вилли надумал выкопать и оборудовать подвал под домом. Посоветовавшись с Яшкой, он пригласил арабскую бригаду из тех, что работали в поселении с момента его основания. Многолетняя репутация должна была служить гарантией качества, но Вилли не особенно обольщался на этот счет. Годы жизни на Ближнем Востоке, если и не изменили строение его немецких глаз, то, по крайней мере, приучили к необходимости смотреть на мир расслабленным взглядом аборигена.

Сейчас Вилли с усмешкой вспоминал потрясение, которое он испытал в свое время, войдя в новый дом и впервые увидев кривые до безобразия углы и неровно положенную плитку. Прибежавший на его крики араб-подрядчик никак не мог взять в толк, чем же Вилли, собственно говоря, недоволен. И в самом деле, метр был в полном порядке, с крыши не капало (поскольку дом предусмотрительно сдавался летом), окна-двери открывались и закрывались, хотя и делали это весьма неохотно, с визгом и возражениями. Но в общем и целом, качество строительства полностью соответствовало просторным левантийским стандартам.

Поэтому арабский подрядчик, выслушав виллины претензии с подобающим принципу «клиент всегда прав» пиететом, покивав и пообещав немедленно принять меры, счел эти претензии глупым барским капризом и, естественно, палец о палец не ударил, чтобы хоть что-нибудь исправить. Проблема тут заключалась не в злой воле или в неумении строителей. Арабский каменщик, конечно же, обладал достаточной квалификацией для того, чтобы вывести угол прямо, а не криво. Он просто не полагал это достаточно важным; кривизна не резала ему глаз; он искренне не понимал, чего от него хотят.

Принимая работу, Вилли заранее настраивал себя на особенно беззаботный, пофигительный лад: главное - здоровье, так что нечего нервничать по пустякам. Старательно отводя глаза от волнистых «плоскостей» и загогулистых «прямых линий», он неловко совал «мастерам» их деньги и быстрее звал Риву - для врачевания души. Истинная дочь Востока, Рива не разделяла виллиных страданий по поводу качества исполнения. Ее глаза тоже отказывались замечать все эти несущественные глупости. Окинув удовлетворенным взглядом то, что, по глубокому виллиному убеждению, являлось преступлением против самого понятия «строительство», Рива восторженно хлопала в ладоши и говорила:

«Замечательно! Вот видишь, я ты боялся... смотри, как здорово получилось! Так... значит, сюда мы поставим софу, сюда - шкаф... Погоди, а чего ты такой пристукнутый? Случилось чего?»

«Да нет, - отвечал Вилли и в самом деле успокаивался. - Все в порядке, дорогая». Даже самая кривая кривда выпрямлялась в его глазах, будучи осыпана одобрением Ривы.

Легко понять виллино изумление, когда на этот раз он обнаружил неожиданно ровную штукатурку и выстроившийся по струнке кафель. Он минут пять водил ладонью по идеальной поверхности стены, гладил шахматный рисунок керамики, ласкал взглядом отвесную линию угла. Он просто не верил глазам.

«Что-нибудь не в порядке, хозяин?» - встревожился бригадир.

«Кто штукатурил?» - спросил Вилли. «Эти стены - Нидаль, а ту, дальнюю - я...» Вилли перешел к дальней стене и вздохнул с облегчением. Мир снова вернулся на круги своя. Бригадирова стена была, как и положено, кривой и горбатой. «Нидаль у нас новенький, - виновато сказал бригадир.

- Если тебе не нравится его работа, я переделаю...» «Нет-нет, - поспешил успокоить его Вилли. - Все отлично, спасибо большое...»

Расплатившись, он подошел к Нидалю и взял у него номер телефона. С тех пор они виделись регулярно, в особенности после того, как выяснилось, что Нидаль живет в Умм-Цафе, близко к драгоценным угольным запасам. Любую работу он выполнял с какой-то нездешней аккуратностью и странным для этих мест стремлением к совершенству. В остальном неотличимый от своих товарищей, по этому показателю Нидаль выглядел настоящим инопланетянином. Вилли долго ломал голову о причинах столь необъяснимой флуктуации, пока не выяснилось, что происходит Нидаль совсем не из этих мест, что родился и вырос он в Аргентине, куда эмигрировал в конце пятидесятых его отец-иорданец там же получил школьное образование и, наконец, вернулся вместе с семьей на Ближний Восток во времена израильского экономического бума за год до войны Судного дня. Неисповедимы пути волочения человеческого...

Они подружились; Вилли не раз гостил у Нидаля в деревне. Нидаль частенько заворачивал к нему на чашку кофе; иногда устраивали пикник на две семьи в знаменитом угольном лесу. С началом катаклизмов «мирного процесса», когда вдохновенные борцы за арабскую свободу стали взрывать автобусы с израильтянами на улицах Иерусалима, Тель-Авива и Афулы, общения поубавилось. Вилли уже не рисковал появляться в Умм-Цафе боясь наткнуться на нож или пулю местного «миролюбца». А для Нидаля так и вовсе настали нелегкие времена. Возможности передвижения арабов даже в пределах «территорий» оказались сильно ограниченными. Пытаясь подавить банды Фатха и Хамаса, армия перекрывала дороги, блокировала сообщение между арабскими городами и деревнями. Работы не стало; нормальная жизнь безнадежно нарушилась.

Но даже и тогда они регулярно перезванивались; Вилли, чем мог, старался помочь старому приятелю. Несколько месяцев тому назад он был разбужен ночным телефонным звонком. Младшая, двухлетняя дочка Нидаля задыхалась в крупнопозной горячке. Как раз накануне в округе произошел очередной теракт, погиб поселенец, и теперь армия, перекрыв дороги, преследовала банду. В этих условиях было практически невозможно пробраться в рамальскую больницу. В полном отчаянии Нидаль позвонил Вилли; девочка умирала у него на руках

Вилли не колебался ни минуты. Он сел в машину, приехал в деревню и повез Нидаля с дочкой в израильскую больницу. На первом же блокпосту Нидаля ссадили - у него не было необходимых документов для пересечения «зеленой черты». Вилли привез девочку в «Асаф-а-

Рофе» и просидел остаток ночи в реанимации; наутро Рива сменила его. На четвертый день, принимая из рук Вилли спасенного ребенка, Нидаль заплакал «Ты мне теперь брат, Вилли. - сказал он. - А ей - второй отец...»

Дорога была пустынной; проехав с десяток километров, Вилли встретил лишь один грузовик, нутжно таскавший огромные глыбы песчаника из близлежащей каменоломни. Дальше, слева и справа, пошли широкие стометровые полосы выкорчеванных под корень оливковых рощ. Вилли с сожалением поцокал языком, как он делал каждый раз, проезжая мимо этого места. Масличное дерево живет долго - сотни лет. Приземистое и приземленное, морщинистое и пыльное, далекое от иллюзий и поэтических фигур, оно простирает свои узловатые ветви над почвой, недоверчиво поглядывая на слепящее небо. Это дерево свято, как часть, как плоть от плоти породившей его Земли Израила. Оттого и не трогали их так долго, хотя бандиты регулярно обстреливали дорогу, прячась за деревьями, уходя от погони в обманчиво прозрачных лабиринтах оливковых рощ. Не трогали, даже когда пролилась первая кровь, когда первые раненые были увезены с шоссе воющими амбулансами. Все жалко было деревьев, все рука не поднималась... И только смерть, сильная смерть спустила с поводка бульдозер. Потому что нет ничего сильнее смерти. «Сильна, как смерть, любовь», - сказано в ТАНАХе. Почему именно «как смерть»? Потому что нет ничего сильнее смерти. Вон он, памятник, справа от дороги, там, где застрелили Яира из Халамиша, на глазах у матери, чудом оставшейся в живых... После этого и вырубали деревья. Потому что нет ничего сильнее смерти

Вилли миновал длинную петлю около Наби Салех и подъехал к лесу Умм-Цафа. Лес высился слева, справа простиралось глубокое вади, спускающееся к шоссе Рамалла-Шхем. Еще три минуты пути, и вот он - поворот на деревню. Нидадь сидел на придорожном камне, поджидая Вилли. Почему-то он остался сидеть, даже когда виллин «кадет» остановился вплотную к нему «Привет, - сказал Вилли. - Давно ждешь?» «Минут десять», - ответил Нидадь без улыбки. «Ну так что, так и будешь сидеть или поедем загружаться?» Нидадь как-то неохотно поднялся с камня, и сел в машину. «Послушай, Нидадь, не тяни, - поторопил его Вилли. - Давай, говори, куда ехать. Мне еще надо успеть перетащить все в подвал, пока Рива не вернулась».

«Езжай туда, к дереву», - сказал Нидадь, указывая на большую шелковицу впереди по проселку, метрах в двухстах от шоссе. Вилли тронул машину

В тени шелковицы стоял стреноженный осел, философски обзревая недостижимые заросли чертополоха, там, далеко, на противоположном склоне оврага. Его мягкие мохнатые уши шевелились в такт неторопливым мечтам. «Тут», - сказал Нидадь Они вышли из машины, и Вилли огляделся, ища пакеты с углем.

«Туда», - сказал Нидадь и, не оглядываясь, направился к высившейся неподалеку груде камней. Вилли последовал за ним, удивляясь необъяснимой мрачности друга.

«Эй, Нидадь! Что-нибудь случилось?» Нидадь не ответил ничего. Из-за кучи вышел бородатый человек с черно-белой клетчатой куфией на плечах. В руках он держал автомат.

Вилли остановился. Он понял, что происходит что-то очень страшное, что кажущаяся обыденность обстановки - полуденная знойная тишина, пустынное шоссе, медленный коршун в небе, шелковица, осел - принадлежат уже какому-то другому миру, тому, где раньше и он сам, еще минуту тому назад, жил, ходил, ездил, дышал, любил Риву. Что вышедший из-за кучи человек с автоматом - уже самим фактом своего появления - создает какую-то новую, страшную, угрожающую реальность, меняет что-то кардинальное в его, виллином, настоящем и будущем. Он с ужасом почувствовал, что новая эта реальность начинает засасывать его в свою черную воронку, отзываясь ухающей сосущей тошнотой в низу живота.

Вилли обернулся назад, на машину, как бы цепляясь за последний якорь, связывающий его с прежним. Около машины стояли еще двое, невесть откуда взявшиеся, с автоматами Калашникова в расслабленно опущенных руках. Они улыбались. «Ну что, еврей, попался? - говорил один из них, постарше, заросший до глаз густой черной бородой. - Стой, где стоишь. Сейчас поедем, погуляем». Он спросил что-то по-арабски, обращаясь к Нидадю. Нидадь ответил. Бородач кивнул и полез в бардачок «кадета».

«Ого! - насмешливо сказал он, взвешивая на руке виллин «вальтер». - Да ты опасен! Того гляди, всех нас перестреляешь...» Они рассмеялись, все четверо, включая Нидадю. Только тут до Вилли дошло, что Нидадь - с ними заодно, что помощи ждать не от кого, что он в ловушке. Он посмотрел на своего старого приятеля. Нидадь ответил ему прямым взглядом, не отводя спокойных, ничего не выражающих глаз. Хотя нет, какое-то выражение в них было, в этих глазах. Так смотрит охотник на попавшего в силочку зайца; с таким безразличным любопытством глядит крестьянин на прижатую пружиной мышеловки амбарную крысу.

«Ладно, хватит, - сказал старший бородач, отсмеявшись. - Садись в машину...» Он сделал шаг в сторону Вилли. Что-то щелкнуло в виллиной голове. Сковылавший его доселе панический страх вдруг одним махом преобразился в бешеную энергию побега. Бежать! Он прыгнул в сторону, разученным в юности регбийным ударом оттолкнул бросившегося на него араба и, петляя, побежал в сторону шоссе. Сзади послышались крики. Вилли бежал что было сил, как бегут во сне, не оглядываясь, впившись взглядом в спасительную полосу асфальта. Она быстро приближалась, а вместе с нею - и его прежний, старый мир, дом, дети, Мангал, Рива...

Он сначала упал и только потом услышал очередь, перебившую ему позвоночник. Попробовал вскочить и - не смог. Он перестал чувствовать ноги. Зато и боли не было тоже. Вилли с удивлением отметил этот отрадный факт. А, собственно, чему тут удивляться? - спросил он кружащего в небе коршуна, - ведь смерть сильнее боли... Не было и страха. Он спокойно смотрел на подбежавших арабов и ждал.

«Что же ты наделал, глупец? - сказал бородач, глядя на него сверху. - Посидел бы неделю-другую в подвале, глядишь - обменяли бы твою задницу на сотню-другую наших. А теперь кому ты такой нужен?»

Нидадь что-то сказал по-арабски. Бородач неохотно ответил. Они начали спорить, размахивая руками, вознося кверху указательные пальцы и качая перед носом друг у друга сложенными в щепоть кистями.

«Торгуются», - подумал Вилли и перевел глаза на коршуна. Ему вдруг захотелось увидеть осла, и он изо всех сил скосил вправо, но не увидел ничего, даже кроны шелковицы. Теперь ему оставался только коршун. Ну и ладно, - подумал он и улыбнулся. Чего тут переживать; все равно, смерть сильнее всего. Арабы закончили спорить. Бородач вынул растрепанную пачку стошечелевых банкнот, отсчитал несколько штук и дал Нидадю. Тот сунул деньги в карман и пошел в сторону деревни.

Бородач снова посмотрел на Вилли и покачал головой. Видимо, какая-то новая мысль пришла ему в голову. «Йа, Нидадь» - позвал он. Нидадь вернулся. Они снова начали спорить. Бородач совал Нидадю в руки виллин пистолет; Нидадь упорно отсылался, цокал языком и мотал головой. Наконец бородач вынул деньги. На третьей бумажке Нидадь сломался и взял «вальтер».

«Ну все, еврей, - сказал бородач. - Сейчас ты умрешь. Молись, если хочешь».

«Я не еврей», - сказал Вилли.

Бородач поморщился: «Зачем врать перед смертью? Если уж тебе все равно умирать, так хоть умри мужчиной. Молиться будешь?»

«Буду», - сказал Вилли.

Он вдруг ощутил совершенно точное знание важности, необходимости этой молитвы. Если бы только речь шла о последних в жизни и в адрес жизни сказанных словах - еще куда ни шло, можно было бы и опустить -

столько разных, дурных и умных, слов было им переговорено, что малая эта предсмертная добавка не могла ни прибавить ни убавить ровным счетом ничего. Но в том-то и дело, что речь тут шла о первых словах. О первых словах, сказанных в адрес смерти, сильной смерти, держащей сейчас на коленях его непутевую, молитв не помнящую голову. И в этих словах была безусловная важность, ибо с них начинался его новый, неизвестный этап...

«Ну? - прервал бородач ход его мысли. - Ты уж извини, но со временем у нас туго. Вот-вот патруль приедет...»

«Сейчас, друг, - сказал Вилли. - Полминуты».

С молитвой была проблема. За исключением известных ему из книг двух загадочных. слов «отче наш», Вилли не знал никакой христианской молитвы. Конечно, можно было бы сказать только два этих слова, но у Вилли имелись серьезные сомнения относительно «отче», которого он произвольно отождествлял с собственным, решительно не подходящим к моменту, батей...

«Ну?» - поторопил его бородач.

Вилли кивнул. Слова вдруг сами пришли к нему на язык.

«Шма, Израэль!» - сказал он и закрыл глаза.

Бородач кивнул Нидалью, тот поднял выдавший виды «вальтер» времен Второй Мировой и выстрелил.

Потом они разошлись - трое хамасников быстро спустились в овраг к ждущему их там джипу; Нидаль отправился домой, в деревню. В кармане у него лежали тысяча двести шекелей. Это было много меньше обещанного, но даже так он мог накопить муки, круп и сахара на несколько месяцев вперед. А там, глядишь, и работа подоспеет.

14

Шломо сменился в восемь, когда уже стемнело. Он сразу же заскочил в караван - принять душ и переодеться. Надо было торопиться - Эльдад пригласил его на субботнюю трапезу, а это означало, что без него там за стол не сядут. Он вытащил из чемодана мятую белую рубашку и на скорую руку прошелся по ней утюгом. Потом отыскал кипу. Как и у всякого временного клиента, вспоминающего о кипе лишь по специальным поводам, она не держалась на шломиной голове, соскальзывала с волос и вообще вела себя чересчур самостоятельно. Шломо быстро и без удовольствия выкурил сигарету - просто, чтоб накуриться впрок, и, придерживая кипу рукой, вышел наружу.

Он успел в самый раз - люди уже выходили из синагоги - единственного каменного строения в Хореше, уставленной рядами обветшавших караванов. Люди останавливались на площадке перед входом, желали друг другу мирной субботы, не без труда собирали разыгравшихся детей, с криками и смехом носившихся вокруг, и, белея рубашками в темноте вечера, чинно отправлялись по домам, к накрытому субботнему столу. На востоке желтел огромный тыквенный диск луны; первые, самые яркие звезды весело подмигивали всякому, кто догадывался задрать голову вверх; Царица-Суббота тихо спускалась в мир с быстро чернеющего неба, величавая и нежная, как невеста.

Шломо увидел Эльдада - тот шел по тропинке от синагоги, рука об руку со своим старшим, мальчиком лет восьми, важно вышагивающим рядом с отцом. Преисполненный торжественности момента, он снисходительно, даже с оттенком некоторого презрения посматривал на младшего брата, вприпрыжку бежавшего следом, то и дело останавливаясь, чтобы получше рассмотреть встретившиеся на пути цветной камушек, странный осколок стекла или стреляную гильзу.

«Шабат шалом, Эльдад! - сказал Шломо. - Шабат шалом; дети».

«Шабат шалом, Шломо! - радостно отвечал Эльдад. - Знакомься, это мой старший, Двир. А этот бандит, что за мою спину прячется - твой тезка, тоже Шломо. Ему - четыре года. Вообще - то у меня их пятеро, но ты сегодня увидишь только троих - Сарит и Моше гостят у моих родителей, в Кфар-а-Роэ... Но что ж мы стоим... заходи, дорогой, заходи...»

Эльдаду было на вид лет тридцать - тридцать пять. Среднего роста, крепко сбитый, с густой рыжей бородой колечками, он ступал твердо, говорил, не торопясь, четкими законченными предложениями, и вообще, имелась в нем какая-то неуловимая крестьянская повадка - и в неуверенном покое больших рук, все время как бы стесняющихся своего безделья, и в том, как он принохивался к ветру, определяя, когда же, наконец, закончится хамсин; и в том, как он ощупывал землю, решая, включать ли уже драгоценный полив. Мечтой Эльдада было насадить виноградник на южном склоне Хореша, построить давяльню и делать вино, «не хуже, чем в Бордо».

Увы, нынешняя ситуация отнюдь не способствовала осуществлению его планов. В основном, он помогал Менахему в охранной его службе, получая за это мизерную зарплату и с трудом сводя концы с концами. Хорошо еще, что жена, Цвия, подрабатывала в местном детском садике, иначе пришлось бы им совсем туго, с пятью-то детьми. Впрочем, судя по неизменной улыбке на эльдадовом лице, эти проблемы не мешали ему жить в полном согласии с душою, Богом и сотворенным Им миром.

Они вошли в караван. Несмотря на то что, в каждой детали этого, по сути, временного жилища, начиная с крылечка, были видны отчаянные попытки хозяина хоть как-то облегчить и обустроить их нелегкий быт, отчетливый отпечаток безнадежно безденежной бедности лежал на всем содержимом этого крохотного трехкомнатного вагончика. На всем, за исключением праздничного субботнего стола, стоявшего посреди общей комнаты. Это был поистине царский стол! Роскошные серебряные подсвечники соперничали своим блеском с яркими язычками субботних свечей, отражаясь вместе с ними в слепящей белизне чудной прахмальной скатерти. По снежному скатертному полю бежали диковинные орнаменты, обгоняя друг друга и сплетаясь вокруг дорогих столовых приборов с затейливыми семейными монограммами. Сдержанным

благородством мерцали фарфоровые тарелки. С ними спорил беспечный хрусталь высоких бокалов, легкомысленно гонявшийся за каждым, даже самым незначительным лучиком. Инкрустированный графин с вином сиял рубиновым светом; две пышные халы, покрытые вышитой накрахмаленной салфеткой, венчали это потрясающее зрелище.

Шломо не знал, что сказать. Он вдруг почувствовал себя неподобающе, чересчур скромно, одетым. Этот стол заслуживал, по меньшей мере, шелкового фрака и бриллиантовой булавки в тщательно повязанном галстуке.

«Шломо, садись, пожалуйста», - Эльдад указал на единственное в доме кресло.

Шломина неловкость еще более возросла.

«Эльдад, - сказал он смущенно. - Это же твое место... Может, будет лучше, если я сяду туда, на диван?..»

«Послушай, Шломо, - улыбнулся Эльдад. - Ты, как человек не совсем религиозный, не очень-то в курсе субботних обычаев... Для хозяина дома - огромная честь вернуться из синагоги к субботнему столу в сопровождении гостя». Шломо покорился.

«А еще с тобой пришли два ангела, - дернул его за рукав четырехлетний тезка. - Правда, папа?»

«Правда, правда, - ответил Эльдад ласково. - Молодец, малыш. Субботний гость всегда приводит с собой двух ангелов, и теперь они будут вместе с нами справлять нашу Субботу». 194

Из смежной комнатки, покормив и уложив младшую полугодовалую дочку, вышла Цвия, и все расселись вокруг стола. Хозяин дома освятит вино и произнес молитву над халами, преломив их и раздав всем по куску.

Батарея салатов сменилась фаршированной рыбой; затем подоспел бульон и тушеные овощи; курица уступила место телятине в кисло-сладком соусе; пирог и фруктовые десерты венчали это царское пиршество. Приступая к очередному блюду, Шломо не мог не думать о том, что, учитывая очевидную бедность хозяев, роскошь их субботнего стола могла быть достигнута только за счет жесточайшей экономии в течение всей остальной недели. В определенном смысле это выглядело нелепо... С другой стороны, он все больше и больше ощущал очарование этого праздника, удивительную одухотворенность, с которой родители и дети исполняли непонятный ему ритуал. Еда не была главной в этом процессе; скорее наоборот, собственная значимость и красота Субботы требовала и от еды соответствующего изменения, отличия от повседневного образца. Что же тогда было главным? Семья? Видимо да. Ведь в течение недели каждый занят своей бесконечной текучкой - работой, домашними делами, уроками, ссорой с соседским Хаимке, построением замка в песочнице и его последующей охраной, заездом на трехколесных велосипедах, мечтами о собаке, погоней за кошкой... Где уж тут остановиться; хотя вечерами и сталкиваются друг с другом, как бильярдные шары на суконном поле, трудно назвать это общением - ведь все немедленно снова разлетаются по своим лузам.

Но вот приходит Суббота, и они снова вместе, начиная с общего дела подготовки к ее встрече и кончая торжественными проводами вечером завтрашнего дня. Они были вместе, они были одной командой, и, видимо, именно это чувство помогало им ощутить радость и спокойную осмысленность бытия.

И по вечной эгоцентрической манере человека сворачивать все на себя, Шломо подумал о своей уничтоженной семье, о собственной, развороченной, в руинах лежащей жизни. Ему вдруг остро захотелось остаться одному, выйти из-за стола в прохладную ночь, скупо освещенную луною, звездами и субботними окнами с колышущимися огоньками свечей, сесть где-нибудь в сторонке, закурить и соскользнуть в самый низ, в самую бездну отчаяния, где, как он точно знал, есть последний, крайний, уголок, отчего-то поразительно похожий на счастье.

Эльдад хлопнул его по плечу: «Ну, Шломо, что же ты не подпеваешь?»

«Слов не знаю», - коротко ответил Шломо.

Посидев еще минут пять, он стал благодарить хозяев, намереваясь уходить. Но Эльдад и не думал отпускать гостя. «Нет, Шломо, - сказал он решительно. - Ты не можешь уйти, прежде чем не поможешь мне решить один вопрос из недельной главы».

Шломо вздохнул. Взглянул на гуж... теперь придется отрабатывать по полной программе... Он сделал последнюю попытку вырваться. «Ну что ты, Эльдад... Как я могу тебе помочь в том, в чем ничего не смыслю? Я ведь даже не имею понятия, какая именно нынче недельная глава. Ты уж уволь меня, неученого».

«Э нет, - продолжал настаивать Эльдад. - Ученые толкования мне и так известны - они в книгах записаны. Меня твоё житейское мнение интересует, как человека свежего... А насчет главы - не беда, я тебе сейчас в двух словах расскажу. Да ты, наверное, об этом и сам слышал - про разведчиков...»

Шломо пожал плечами. Он и впрямь помнил эту известную библейскую историю о двенадцати разведчиках, посланных Моисеем из пустыни в Землю Обетованную - разузнать, что к чему и рассказать народу, только- только из Египта вышедшему, что его ожидает там, на конечной остановке.

«Слышал, - сказал он. - В общих чертах...»

«Я тебе напомню, на всякий случай. Разведчики вернулись через сорок дней. Десятеро из них принесли плохие вести - мол, хоть и хороша земля, но уж больно сильны тамошние народы - все, как на подбор, великаны, - не одолеть. Двое других пытались успокоить народ, говоря, что все будет в порядке, но народ поверил большинству, испугался и решил вернуться в Египет. За это Бог покарал их сорокалетним скитанием в пустыне - пока не выпрут все те, кто отказался исполнить Его волю...»

«О'кей, - кивнул Шломо. - Ну и что? Что тут неясно?»

«Видишь ли, согласно Танаху, десятеро говорили, что эта земля пожирает живущих на ней. Что ты об этом думаешь?»

Шломо почувствовал, что кровь приливает к затылку и сотнями мелких иголочек покалывает изнутри. Он посмотрел на Эльдада, но тот внимательно изучал рисунок на скатерти. Что ж...

«Я думаю... - начал Шломо, не сводя глаз с хозяина дома, - я думаю, что даже двум оставшимся праведникам было нечего на это возразить».

«Это так, - согласился Эльдад, по-прежнему глядя в стол. - Когда Калев и Иегошуа возражали десятерым, они действительно говорили только о возможности одолеть местные народы. Тем не менее, слова о пожирании названы в Танахе клеветой».

«Что за чушь, - резко сказал Шломо. - Какая клевета? Взять хоть тебя, Эльдад. Таких, как ты и Цвия, называют «солью земли», и это, заметь, положительная характеристика. Для чего же существует соль, как не для употребления в пищу? Употребления в пищу кем? Понятно, кем - землей. Соль - чья?.. Соль - земли. Так что съедят вас за милую душу. И не только вас - всех. Вот я, Эльдад, - простой неученый еврей; таких называют «ам а-арец», народ земли. Ты только послушай: «ам». Так говорят, когда хотят показать, будто что-то заглядывают - а-ам... и нету. И после этого ты еще утверждаешь, что эти слова разведчиков - клевета?»

Он остановился и перевел дыхание. Над столом повисла тишина. Эльдад молчал, дети испуганно смотрели на отца, Цвия, спиной ко всем, стояла, опустив праздные руки в раковину с грязной посудой. Шломо стало нестерпимо стыдно. Что он тут делает, в этом мирном, теплом гнезде, он, ошметок нетанийского взрыва, с головы до ног обвешанный кровавыми кусками того пасхального вечера? Еще ладно - Эльдад с дурацкими его вопросами, но при чем тут дети, Цвия? Уж их-то мог бы оставить в покое со своими людоедскими откровениями...

Шломо принужденно улынулся, ища способ исправить положение.

«На самом деле, - продолжил он смущенно, - все это поедание - фикция. Когда человек умирает, его кладут в землю, и она как бы съедает его. Вот и все. И потом, что это меняет: поедает... не поедает?.. Разве для нас есть какая-нибудь разница?»

Счастливая мысль вдруг пришла ему в голову. «Вот скажи, Эльдад, насколько я помню эту историю, когда народ услышал о наказании, то все дружно раскаялись и хотели отмотать пленку назад - мол, прости нас, Господи, бес попутал, вот они - мы, на все готовые? Даже в бой полезли - сражаться за Землю Обетованную. Было такое?»

«Было, - ответил Эльдад. - Так оно и было. Поднялась часть народа на гору, думая, что тем самым исполняет волю Бога. Но Бога уже не было с ними. Поэтому разбили их враги, обратили их в бегство и гнали почти до полного истребления».

«Почему же такая жестокость со стороны Всевышнего? - спросил Шломо. - В чем их преступление? Почему то, что еще вчера было правильным, вдруг стало преступным сегодня?»

«Потому что божественная воля изменилась, - ответил Эльдад. - Потому что Бог уже назвал свой приговор - сорок лет в пустыне. Потому что, после этого приговора, пытаюсь влезть на гору, они снова грешили против желания Бога». «Вот именно! - воскликнул Шломо. - В этом-то и дело! Есть План, которому мы обречены следовать, так или иначе. Можешь лезть на гору или на стенку - все равно, против Плана не погрешь. То есть, переть - то можно, только Плана не изменишь, только лоб расшибешь. И логики тут никакой: ведь еще вчера лезть на гору было вполне правильным и божественно-корректным, а уже сегодня - дудки, получай по морде... А может и есть она, логика, да вот известна она только тому, кто План этот написал... Правильно?»

Эльдад пожал плечами. «Не знаю... Насчет логики - тут есть разные мнения, а вот по поводу Плана - вроде правильно...»

«Ну и ладно, - обрадовался Шломо. - Мне и этого достаточно. Какая тебе разница, что именно эта земля с тобой делает, если ты находишься в ней согласно Плану? Может, так и должно быть, чтобы эта, родная, обетованная земля тебя съела? Может, ты ей тоже обетован, как пища ее единственная? Может, помрет она с голоду без тебя? И ведь действительно, разве не помирала она без нас все эти две тысячи лет?»

«И потом - допустим, что пойдешь ты против Плана, как те, что на гору полезли. Допустим, скажешь: не хочу я быть ничьей пищей, я сам по себе, отстаньте от меня с людоедскими вашими претензиями... Только поможет ли это? Все равно ведь сожрут - чужие ли страны, пучина ли морская, волки ли в лесу... А то - и настоящие людоеды на заброшенном острове в Тихом океане... »

Шломо хищно оскалился, изображая тихоокеанского людоеда, и дети с готовностью рассмеялись. Напряжение спало.

«Шломо, - сказала Цвия. - Тебе надо в ешиву поступать. Из тебя рав получится - на загляденье...»

«Спасибо, Цвия, - поблагодарил ее Шломо. - Поздно мне этим делом заниматься. Вот тезка пусть учится». Он потрепал по затылку мальчика, распрощался с хозяевами и вышел на улицу.

Луна уже забралась высоко; в ее белом свете Шломо, не торопясь, шел к своему каравану.

План, - думал он. - План... План с большой буквы. Совсем как у Кагана, костлявого Старшего Мудреца в твоей нелепой бэрлиаде. Смех, да и только. Но ведь как все гладко получилось... И что интересно - никто доказательств не спрашивает - что Эльдад - живой бородач во плоти и крови, что выдуманный Мудрец Хаим в твоих же «урюпинских рассказах». Отчего так? Скажи людям, что входить они должны через переднюю дверь, а выходить через заднюю - потребуют доказательств, будут спорить до хрипоты, всю душу тебе и себе вытрясут, да и не согласятся в конце концов, разделятся на десяток партий, объявят смертельную войну, друг друга перебьют, двери эти злосчастные сожгут, но к согласию не придут. А скажи что-нибудь совсем нелепое, но таинственным, неведомым, Верховным Планом освященное, к примеру: завтра, согласно Плану, всем левшам- бухгалтерам - смерть, а одноглазым велосипедистам - бессмертие... и никто спорить не станет. Скатают аккуратно нарукавники и пойдут писать завещание.

А почему? Видели они этот План? Знают его автора? Шломо усмехнулся. Ну, относительно «урюпинских рассказов» все как раз таки ясно. Автор «урюпинского» Плана ему известен. Ему, но не Хаиму. Хаим-то знать не знает, что сочинен этот таинственный План, как, впрочем, и сам он, Хаим, отнюдь не могучим и ужасным демиургом, а вовсе наоборот - затраханым литературным негром, двадцать центов за слово в базарный день! Ха!..

Хотя, на самом-то деле, если разобраться, то чем он, Шломо, не демиург, не создатель? Разве не властен он своею мощною рукою над им же придуманным миром «бэрлиады»? Властен и еще как! Кого хочет - казнит, кого хочет - милует. К примеру, вот Дафна висит сейчас на волоске; от кого ее жизнь зависит, если не от Шломо-демиурга? Вот она, ее жизнь молодая, ее любовь сумасшедшая, вот они - телепаются на шломиной ладони, вот они - дергаются на ниточках, привязанные к уверенным пальцам Шломо-кукловода...

Он вдруг обнаружил, что давно уже стоит под фонарем, пристально глядя на свои руки с растопыренными пальцами.

- Э-э-э, Шломо, стоп, - сказал он сам себе. - Стоп, братишка. Ты говори- говори, да не заговаривайся. Так ведь недолго и в психушку загреметь. Там, небось, полны палаты такими демиургами... Хотя с Дафной-то надо бы завершить. Нехорошо ее так оставлять. Какой там был План относительно Дафны?..

А был ли план? Честно говоря, плана не было; приступая к очередной порции «бэрлиады», Шломо никогда не представлял себе, куда именно завернет его сюжет. Конечно, предварительные наметки имелись всегда, но они столь часто менялись под давлением естественной логики событий, что называть их планом язык не поворачивался. Тем не менее, согласно этим предварительным наметкам, Дафна должна была умереть. Да-да... именно так он и планировал это тогда, вечность тому назад. И именно с этим он был категорически не согласен сейчас, стоя на Хореше, под фонарным столбом с болтающимися на нем луной и лампочкой. Категорически...

Ради такого дела вполне можно было бы написать еще одну главу... даже две. Конечно, она должна остаться жить, причем жить счастливо, встретиться с Бэрлом... какой-нибудь остров в теплом море... чемодан денег... как-нибудь уж выведет Шломо свой сюжет в нужную сторону. Демиург он, в конце концов, или не демиург? Вот только вопрос - как посмотрит на это Благодетель? Хотя, какое ему, Благодетелю, дело? Когда-то ведь это должно было кончиться? Пусть теперь ищет себе другого негра. Пожалуй, надо бы написать ему письмо - мол, примите, уважаемый неизвестный друг, последнюю главу «бэрлиады»; мне не хотелось бы, чтобы такое развитие событий показалось Вам неоправданным нарушением нашего соглашения; а потому, упреждая возможные упреки, отмечу, что денег мне с Вас не надобно, мне они сейчас ни к чему; за сим прощайте, с наилучшими пожеланиями, Ваш дядя Том.

И все. Шломо облегченно кивнул и оторвавшись, наконец, от фонаря, пошел к своему каравану. И компьютер тут найти не проблема - можно попросить у Менахема. А вообще-то, если честно, пора бы тебе, Шломо, сгонять в Мерказуху. И не только в Дафне дело - надо бы шмотки поменять, да и большая стирка не помешает. Заодно и Сению повидашь...

Сначала он увидел менахемский джип, стоявший с работающим мотором на площадке перед караваном, а уже затем и самого Менахема, бегущего к нему со стороны.

«Шломо, где ты ходишь? Я тебя везде ищу... Быстро - бери оружие и поехали. Быстро!»

«Что случилось, Менахем?»

«Вилли убит. Не стой столбом, собирайся, быстро!»

15

Они неслись по темному шоссе, и ошалевшие повороты шарахались от них в придорожный кустарник. После Нахлиэля Менахем нарушил молчание.

«Рива пришла домой в полвторого. Вилли не было. Она решила, что его срочно вызвали в Тальмон. Попыталась дозвониться; телефон не отвечал, но это еще ни о чем не говорит - здесь есть проблема с приемом... В шесть начала тревожиться всерьез, позвонила Якову; он ничего не знал. Взяла у Якова мой телефон. Я постарался ее успокоить, но на всякий случай сообщил центру связи. В восемь она позвонила снова - от Вилли ни слуху ни духу. Я спросил, есть ли что-нибудь конкретное, что особенно ее беспокоит? Она заплакала и рассказала про уголь и про этого араба из Умм-Цафы... как его - Нидаль? Тут уже я поднял на ноги весь район. Через полчаса патруль из Халамиша обнаружил его на въезде в Умм-Цафу. Мертвым. Очередь в спину и пуля в лицо. Суки...» Менахем ожесточенно плюнул в проносящиеся мимо дома арабской деревни Бейтилу.

«Суки! Суки! Как можно верить арабу? Арабский друг хуже двух гадюк...

И вы тоже с Яковым хороши... могли бы уж объяснить ему, что почем, вместо того, чтобы шашлыки жрать на халяву. Что он понимает в нашем дерьме - немец... »

Шломо заплакал. На счастье, Менахем не мог видеть его лицо в темноте кабины. Минут через пять, на подъезде к Халамишу, Шломо приоткрыл окно, и ветер высушил слезы.

Перед Умм-Цафой шоссе было перекрыто. Менахем коротко переговорил с командиром блокпоста, их пропустили. Процедура первого опознания уже закончилась; Яшка, обхватив руками голову, сидел на придорожном камне. Шломо молча шел рядом. Сразу вслед за ними подъехал амбуланс, и санитары задвинули внутрь черный пластиковый мешок с тем, что раньше звалось «Вилли». По склону ходили люди, что-то искали, что-то мерили, что-то писали в маленьких блокнотах. Подошел Менахем.

«Яков, Шломо, пойдете...» Они встали, не спрашивая зачем.

Деревня казалась вымершей; двери и ставни настороженно глядели на вооруженных людей и притворялись стенами. На улицах стоял густой запах горелого мусора. Шедший рядом со Шломо автоматчик в каске, совсем мальчишка, выругался: «Как на свалке... Хотя нос затыкай!»

«Привыкай, Коби, - откликнулся другой, видимо, постарше и поопытнее. - Это у них везде так. Мусор-то девать некуда. Раньше мы вывозили, а теперь - некому...»

На площади, перед наглухо запертой лавкой, остановились. Командир взвода достал карту и справлялся по ней, светя себе фонариком. «Если вам Нидаля, то это направо, - вдруг сказал Яшка. - Я его дом знаю».

«О'кей... - офицер свернул карту. - Показывай». Калитка была не заперта, и они беспрепятственно вошли в просторный двор.

«Окружить дом не хочешь? - подсказал командиру Менахем - Не сбежал бы, сукин сын...»

«А куда он денется? - уверенно ответил офицер. - Деревня уже час как оцеплена - мышь не проскочит».

Он негромко постучал в дверь. Дом молчал, испуганно сжавшись и уйдя в себя. Офицер постучал сильнее.

«Открывай, падла! - крикнул Менахем. - Открывай, хуже будет!»

Офицер обернулся к нему, как на пружине: «А ну - отставить! Тут команду я, понятно? Вы здесь для опознания, так что отвалите в сторонку и помалкивайте. Понят?»

Менахем угрюмо кивнул и отошел. Яшка положил ему руку на плечо, успокаивая: «Не гоношись, Менахем. Это ж парашютисты, белая кость. Были бы «голанчики», и разговор был бы другой...»

«Нидадь, - громко сказал офицер, обращаясь к притаившемуся дому. - На твоём месте я бы открыл. Ты же понимаешь, что мы все равно войдем, так или иначе. В твоих интересах, чтобы дверь при этом осталась цела. Тебя сейчас возьмут на допрос; как семья будет жить со сломанной дверью все это время?»

За дверью загремели засовы; затем она отворилась. Нидадь, в длинной галабии, стоял на пороге. Лицо его было спокойно.

«Зачем же ломать? - он приветливо улыбнулся. - Я и так открою. Извини за задержку, офицер. Спали мы; пока проснешься... сам понимаешь...»

«Нет проблем, - равнодушно ответил офицер. - Ты бы свет зажег, зачем на гостях экономить?»

«Какой свет? - усмехнулся Нидадь. - У кого есть деньги - за свет платить? При свечах живем...»

«При свечах, так при свечах. Бери-ка всю свою хамулу и выходи строиться во двор. Чтоб души живой в доме не осталось».

«Зачем, офицер? Дети спят, жалко. Да и что такое случилось, что вы меня среди ночи потрошите? Я слышал, убили кого-то рядом с деревней. Ну и что? Я-то тут при чем?»

Офицер покачал головой. «Это ж сколько вопросов, Нидадь... Не волнуйся, все тебе объяснят. В ШАБАКЕ допросы очень информативные... а уж следователи там объяснять умеют... любой вопрос - по косточкам, как говорится. Так что можешь смотреть в будущее с оптимизмом. А пока - выводи семью. Обыск будет в доме. Ничего не случится, если посидят пару часиков во дворе».

Обитатели дома начали выходить наружу. Их оказалось неожиданно много: младшие братья Нидаля, несколько древних старух и стариков, одного из которых вынесли вместе с лежанкой, женщины разных возрастов, множество детей, смотревших на солдат со смешанным чувством ненависти и страха. У мужчин проверили документы, связав руки за спиной, усадили вместе с подростками на землю отдельно. Они сидели молча, угрюмо потупившись. Вся их повадка свидетельствовала, что с этой процедурой они более чем знакомы. Женщины, напротив, что-то кричали, плевались, насакивали на солдат, хватаясь за стволы автоматов. Младшие дети ревели в голос. Старики бессмысленно шурились в свете солдатских карманных фонарей.

Нидаля поместили отдельно от всех, сковав наручниками и замотав глаза фланелевой повязкой. Когда гвалт стал совсем невыносимым, офицер подошел к нему и сдернул повязку.

«Посмотри-ка на меня, приятель, - сказал он. - Пока что мы были с тобой друзьями, но если ты немедленно не пресечешь этот спектакль, то мы серьезно поспорим».

Нидадь кивнул и что-то крикнул; шум прекратился как по мановению палочки дирижера.

«Вот так-то лучше, - удовлетворенно хмыкнул офицер. - Экое владение оркестром! Может, ты и не Нидадь вовсе? Может, твоя фамилия Баренбойм?.. Да, кстати, мы ж тебя и не опознали-то по всем правилам...»

Он оглянулся, ища Якова и Шломо.

«Эй, ребята, давайте-ка сюда! Кто тут из вас его знает? Поговорите со старым приятелем...»

Яшка подошел и присел на корточки напротив связанного. «Привет, Нидадь, - сказал он. - Как жизнь?»

«Привет, Яков. Что, и тебя призвали на службу? Вилли тоже здесь?»

Яшка кивнул, изучающе глядя на спокойное и приветливое лицо Нидаля: «Угу... И Вилли здесь. Пока еще... Ты мне скажи, а то я запомню: как твою дочку зовут, ту, которую Вилли тогда от смерти спас? Хана?»

«Ханан, - поправил его Нидадь, не отводя глаз, все так же приветливо и открыто. - Да вон она сидит, там, со всеми».

«А-а-а... - протянул Яшка. - А теперь объясни...» Голос его вдруг сорвался, и Яшка не смог закончить фразы. Он опустил голову и некоторое время молча покачивался с пятки на носок, пытаясь овладеть собой. Шломо увидел, что незнакомый человек в штатском, пришедший вместе с ними и сейчас внимательно наблюдающий за сценой, придвинулся поближе, встав на расстоянии вытянутой руки от Яшки.

Тем временем Яшка справился с голосом. «А теперь, - попробовал он снова. - Объясни... объясни...» Какое объяснение он хотел получить, так и осталось неизвестным, потому что Яшка вдруг взвыл дурным страшным воем и, прыгнув на Нидаля, вцепился ему в горло. Но штатский был начеку. Он схватил Яшку за

правую руку, офицер - за левую, и общими усилиями им удалось оторвать его от полузадушенного, кашляющего араба и оттащить в сторону. Яшка бился у них в руках и диким голосом выкрикивал угрозы и ругательства, мешая русский мат с ивритом и арабским.

«Ты что, парень, с ума сошел? - сказал ему штатский, когда Яшка, наконец, обмяк и перестал дергаться. - Хочешь из-за этого дерьма в тюрьму угодить? Ну, задушишь ты его... и что? О семье подумай...»

«Ты Вилли не знал... - как-то устало ответил Яшка. - Тебе не понять. А гнойнику этому поганому - не жить. Слышишь меня, ты, падла вонючая? Не жить тебе... Не думай, что, когда тебя через пару месяцев выпустят в связи с каким-нибудь «мирным процессом», будь он проклят... не думай, что ты тут свободно по земле ходить будешь. И гаденышей всех твоих передадим, до одного... у-у-у, змеиное отродье...»

Нидаль прокашлялся. «Эй, офицер, - просипел он, с трудом проталкивая слова через помятое горло. - Я требую, чтобы эти угрозы были записаны в протоколе ареста. Я свои права знаю...»

«Вы вот что, ребята, - сказал офицер. - Шли бы вы отсюда, от греха подальше. Опознать вы его, как я понимаю, опознали, причем даже на ощупь. Значит, больше вам тут делать нечего».

Менахем, Яшка и Шломо вышли со двора на улицу.

«Зря ты сорвался, Яков, - сказал Менахем. - Этот штатский - из ШАБАКА. Теперь, что тут ни случись - всё на тебя вешать будут. Еще и какое-нибудь «еврейское подполье» соорудят. Да чего там долго ждать - вот увидите, уже в завтрашних газетах будут заголовки: «Попытка линча на территориях» или «Армия спасает палестинца от самосуда поселенцев». Потом по радио полдня будут говорить об опасности правого путча, а правые депутаты будут извиняться и осуждать. И все из-за твоей глупости».

«Да я понимаю, Менахем, - тихо ответил Яшка. - Я ж как мог держался. Но когда они меня прямо напротив этой морды поганой посадили... тут уж я не смог. Ну не смог, ну что тут поделаешь... Ты ж не знаешь, чем для меня Вилли был...»

Они шли посредине неровной, в кочках и колдобинах, деревенской улицы, и скорчившиеся по обеим сторонам дома проводжали их ненавидящим взглядом задраенных окон.

За деревянной следственная группа сворачивала свое оборудование.

Оцепление еще стояло; тут и там люди еще бродили с фонарями по склону и окрестным кустам, но большая часть машин и армейских джипов уже разъехалась. Яшка тоже засобирился. Он уже попрощался, даже сел в машину и завел мотор, как вдруг снова вышел и подошел к Шломо, ожидавшему Менахема около тальмонского джипа. Они крепко обнялись.

«Вот так... - приговаривал Яшка, прижав мокрую щеку к шломиной шее.

- Вот так... Нету больше... Вот так...»

Потом Яшка уехал. Шломо мучительно хотелось курить, но свое курево он забыл в караване. Мало на что надеясь, скорее просто стараясь чем-то себя занять, он огляделся вокруг в поисках огонька сигареты. Увы... Но вот тот человек... Он снова взгляделся в массивную фигуру человека, сидевшего на том же придорожном камне, на котором сидел Яшка, когда они только приехали. Где-то он его уже видел, этого мужика. Вот только где?.. Шломо усиленно ворошил память, но ничего не получалось. Подошел Менахем, и они тронулись в обратный путь.

«Что ты все молчишь, Шломо? - сказал Менахем. - По- моему, ты за все это время ни слова не вымолвил. Нельзя так. Ты говори, неважно что, только говори. Слова, они пар выпускают. Яшка вон, - разрядился на всю катушку. Конечно, глупость он сделал со своей истерикой, но, с другой стороны - даже это лучше, чем твое глухое молчание. Прямо, как могила...»

Шломо кивнул.

«Да ты не кивай, ты говори! - закричал Менахем. - Говори!»

Шломо опять кивнул.

«Вспомнил», - сказал он твердо.

«Что вспомнил?»

«Да так, одного парня там встретил, все вспомнить не мог, откуда он мне знаком. А теперь вспомнил. Да ты смотри лучше на дорогу, а то и мы накроемся. Хватит смертей на сегодня... А за меня не волнуйся, Менахем, я в порядке...»

Шломо и в самом деле вспомнил. Он действительно знал этого парня; даже, можно сказать, знал превосходно, хотя и не встречались они ни разу в жизни. Это был Бэрл.

Это был Бэрл. И несомненный этот факт представлялся решительно невероятным. Какое он имел право появиться самостоятельно, независимо от воли Шломо, его создателя? Разве не он, Шломо, определял каждый шаг Бэрла, каждое движение, самый ритм его дыхания? Вопрос этот требовал немедленного прояснения. Тут Шломо возлагал особую надежду на обмен письмами с Благодетелем. Так или иначе, надо было как можно скорее добраться до компьютера. Когда? Назавтра намечалось несколько свободных часов в середине дня. Вот завтра-то все и выясним, - успокоил он сам себя. - А пока - спать; утро вечера мудренее...

Но сон не шел к нему. Раненое сознание мельтешило, не желая успокаиваться, подсовывало непрощенные образы; дорогие, любимые лица, странно искажаясь, мешались с какими-то незнакомыми, чужими, неприятными физиономиями, и все это крутилось в распухшей голове, то ускоряясь, то замедляясь, как приступы рвоты. Сердце тоже никак не могло найти удобный ему ритм - оно то пускалось вскачь диким невыносимым наметом, то вдруг съезжало на глухую неровную рысцу, пропуская удары, а то и вовсе пропадая на секунду-другую.

Поворочавшись с полчаса, Шломо встал, достал из холодильника бутылку водки, налил стакан и выпил разом, как воду, наслаждаясь отвратительным вкусом, с каждым глотком возвращавшим его в мир прочной и привычной стабильности. Потом он закурил и распахнул окно. В караван хлынул влажный ночной воздух, густо замешанный на молочном коктейле лунного света. Сердце, смущенное столь массивной атакой, притихло, прикидывая, на что реагировать прежде - на водку, на сигарету или на избыток кислорода... В тревожном лунном мерцании еще мелькали тут и там давешние лица и козы морды, но все реже, все расплывчатей, все дальше, пока не растворились окончательно в теплом водочном тумане. Шломо удовлетворенно кивнул. Теперь можно было возвращаться в койку. Он посмотрел на небо. Рваные массы облаков напоздали на луну; похоже, погода ломалась, завтра снова предстоял хамсин. Пора спать. Он повернулся и в ужасе замер. Сигарета выпала у него изо рта и покатила по полу, рассыпая искры на грязном линолеуме.

Огромная темная фигура заслоняла вход в его комнатенку.

«Ты бы поднял сигаретку, бижу... - сказал Бэрл. - Нехорошо, так ведь и караван спалить недолго. Этот асбест горит, как спичка. Даже выскочить не успеем...»

Шломо не шевельнулся.

«Экий столбняк на тебя напал, - ухмыльнулся Бэрл. - Ты уж извини, что я без стука. К тому же ты и дверь не запираешь, так что удивляться неожиданным гостям не приходится».

Он сделал мягкий неслышимый шаг, поднял сигарету и аккуратно загасил ее в раковине. «Только не зажигай свет, бижу. Нам ведь и так светло, правда?»

«Правда... - дар речи медленно возвращался к Шломо. - И прекрати называть меня этим словом, жлоб».

«Ладно, не буду, - с готовностью согласился Бэрл. - Ты - Шломо, так? Шломо Вельский. А я - Михаэль. Будем знакомы». Он протянул руку.

«Слушай ты, жлобина, - Шломо цедил каждое слово. - Яйца ты будешь крутить хромой сестре своей прабабушки, когда они у нее вырастут. Михаэль... Фу-ты ну-ты... Зовут тебя Бэрл, ты проживаешь в Иерусалиме, в Гило, на улице Шамир и едешь на понтовом кабриолете BMW. А кроме того, я знаю о тебе все, включая количество родинок на твоей нахальной заднице. Так что прекрати разыгрывать агента 007 и переходи прямо к делу. Как ты здесь оказался и кто тебя послал?»

Бэрл выглядел озадаченным. Он несколько раз прошелся взад-вперед по комнате, затем взглянул на часы. «Окей, - сказал он наконец и уселся на стул. - Извините меня, Шломо. Меня не информировали о степени вашей посвященности. Но, видимо, на это были определенные причины. Моей вины в этом нет, что делает ваш гнев совершенно неуместным. Вы должны понимать, что я всего лишь выполняю свои обязанности. Не более того».

И в самом деле, - подумал Шломо. - Он-то тут при чем? Что это я на него бочку качу? Он ведь всего-навсего курьер, черноработчий, посыльный на побегушках... «Вы правы, Бэрл, - сказал он вслух. - Извините меня за неоправданную агрессию. Конечно же, вы ни в чем не виноваты. Продолжайте».

«Ну, и слава Богу, - облегченно вздохнул Бэрл. - Согласно Протоколу, я должен показать вам кое-что. Мы выходим минут через десять. Оденьтесь во все темное; обувь - что-нибудь помягче».

«Куда мы идем?»

«Это тут, недалеко. Не спрашивайте, сами все увидите».

Они вышли из каравана. Луна то скрывалась в медленно копошащихся облаках, набрасывая на гору непроницаемое черное покрывало, то высывалась в рваные прорехи, серебря их по краям и выхватывая из мрака горстку караванов, драный проволочный забор, комы кустарника, окаймляющие каменистый провал оврага. Шли, пережидая редкие светлые моменты, как бы играя с луною в прятки. На юго-западной окраине поселения остановились. «Смотри, - сказал Бэрл, - видишь тот распадок?»

«Конечно, - ответил Шломо. - Я к нему уже несколько ночей присматриваюсь. Один раз даже чуть не всполошил тут весь сектор - показалось, что кто-то там мелькает. Блики какие-то...»

«Блики, блики... - передразнил его Бэрл. - Ты уж меня извини, но с такими сторожами, как вы, нужно спать в стальном сейфе. И то не поможет - украдут... Вас ведь пасут, дураков. Там ведь, что ни ночь, араб лежит, а то и двое, смотрят на вас в бинокль... а то и в оптический прицел. Вот тебе и блики...»

«Откуда ты знаешь?»

«Видел. А скоро и ты увидишь. Давай-ка сюда, к стеночке. Слышишь - твой приятель шкандыбает. Тоже - «сторож»... прости Господи... Ты только посмотри на него... опупеть можно».

Теперь и Шломо услышал шаги одного из своих сменщиков. Эрез, резервист лет пятидесяти, медленно шел по патрульной тропинке. Автомат нелепо болтался у него за спиной на чересчур длинном ремне. В руке Эрез держал портативный радиоприемник; даже с расстояния в пару десятков метров можно было разобрать звуки программы «Ночные птицы. Беседы с радиослушателями». Загребая ногами гравий тропинки, Эрез прошел мимо и скрылся за поворотом.

«Ну, что скажешь? - возмущенно прошипел Бэрл у него над ухом. - В двухстах шагах лежит террорист, а этот хмырь даже по сторонам не смотрит. Ночная птица... Куда такие птицы годятся? Даже на суп не пустишь по причине преклонного возраста».

Шломо пристыженно молчал. Сам он немногим отличался от Эреза.

«А что ты предлагаешь? - сердито спросил он. - Ставить вместо нас элитных командос?»

Но Бэрл уже сменил тему. «Теперь слушай меня внимательно, Шломо. У нас есть примерно полчаса, пока эта развалина закончит свой круг. Хватит за глаза и за уши. Мы сейчас берем немного вправо и спускаемся туда, вон к тому камню. Главное запомни: ты идешь за мною, шаг в шаг, то есть делаешь в точности то же, что и я. Я пойду не быстро, так что успеешь без проблем. Понятно?»

«Нет. Ты так и не объяснил мне, какая у нас задача. С камнем я понял, а что потом?»

«Как это что? - удивился Бэрл. - Ну ты даешь... Снимем его потихоньку, заберем оружие и вернемся. Сам-то он нам ни к чему, а вот автомату его цены нет. Ладно, хватит базарить, пошли... значит, шаг в шаг...»

Они взяли в сторону и вышли на патрульную тропинку несколько западнее. Забор в этом месте был повален; Бэрл вытащил из кустов широкую доску и положил ее на кольца колючей проволоки. Еще пара секунд, и они уже спускались по склону вглубь вад, обходя справа злосчастный распадок. Шломо не испытывал никакого страха. Его вера в способности Бэрла была поистине беспредельной. Гм... Честно говоря, это было довольно таки странно, учитывая, что он сам же эти способности и изобрел... Но времени на раздумья не оставалось; он шел за своим ловким и бесшумным первым номером, всецело поглощенный задачей наступать на те же самые камни, хвататься за те же самые ветки, совершать те же самые экономные, уверенные движения. Через некоторое время Бэрл остановился. По его знаку Шломо присел под большой глыбой песчаника.

Он узнал эту глыбу; она стояла на краю распадка, именно с другой ее стороны видел он те позавчерашние подозрительные блики. Бэрл наклонился к его уху. «Сейчас мы с тобою поменяемся местами. Сделай еще полшага и выглядывай из-за камня. Он лежит с другой стороны, ногами к нам; увидишь его ботинки слева, в одном шаге от тебя. Давай».

Взявшись за руки, они бесшумно поменялись местами. Шломо осторожно выглянул из-за глыбы. В шаге от него, лицом вниз, неподвижно лежал человек. Судя по всему, он спал, положив голову на руки. Рядом угадывались автомат М-16, бинокль и еще что-то, возможно, прибор ночного видения.

Шломо сделал шаг назад и поманил Бэрла: «По-моему, он спит».

«Конечно, спит, - прошептал Бэрл. - Какова дичь, таков и охотник. Уж не знаю, чем цель этого наблюдения, только большую часть ночи они дрыхнут без задних ног. Часика через два он рассчитывает проснуться и отправиться восвояси. Не думаю, что это у него получится».

«Как ты будешь его убирать?»

«Я? Я? - бэрлов шепот выражал крайнюю степень удивления. - Если бы я собирался его убирать, то, поверь мне, я сделал бы это давным-давно; во всяком случае, для этого мне не требовалось тащить сюда тебя со всеми этими ухищрениями... Его должен убить ты, Шломо. Ты. Вот этой самой штукой».

Он опустил руку к голени и вытащил короткий трехгранный стилет с небольшим шариком вместо рукоятки.

Шломо покачал головой: «Нет. Я не смогу».

«Сможешь. Он ведь не просто тут ночует. Он пришел убить. Он вчера убил Вилли. Он убил твою семью. Давай без истерик, Шломо».

Шломо протянул руку и взял стилет. «Как?»

«Во-первых, постарайся быть спокойным - я тебя боюсь, так что бояться нечего. Во-вторых, иди осторожно, смотри только под ноги. Подойдешь к нему сбоку и присядешь на корточки на уровне лопаток.ставишь острое под основание черепа, вот сюда... - Бэрл показал место. - И ударишь сверху, двумя руками. И все. Если ударишь хорошо, клиент умрет мгновенно и безболезненно. Всем бы такую смерть пожелал. Если промажешь, придется ему помучаться. Так что прояви человеколюбие... Иал-ла, вперед».

Шломо сделал несколько шагов и присел на корточки, сбоку от спящего араба. Он ощущал полное спокойствие; нет, не так... он ощущал себя Бэрлом - вот оно, точное слово! И это незнакомое чувство определенно нравилось ему. Он помедлил - не потому, что боялся совершить убийство, а потому, что желал продлить этот момент полного владения собою, ситуацией и расprostертым перед ним врагом. Бэрл тронул его сзади за плечо и показал на часы. Шломо кивнул. Он нацелил острое в заросшую курчавым волосом шею и ударил. Стиллет вошел по самую рукоятку; потеряв равновесие, Шломо ткнулся вперед, уперся коленями в тело араба и уловил его короткую предсмертную судорогу, мелкую дрожь конечностей, последнее, бессознательное трепыхание жизни, затухающие сигналы мертвого уже мозга...

Бэрл подхватил его сзади и помог подняться.

«Все. Возвращайся за камень. По дороге вытри руки об его штаны...»

Шломо посмотрел на руки. Они действительно были в крови.

Бэрл обтер рукоятку стилета воротом рубахи убитого. Затем он перевернул тело и быстро обыскал его. Два магазина к автомату... Пистолетик и патроны к нему... С таким арсеналом парень и впрямь мог позволить себе спать спокойно. Бэрл оставил пистолет, забрав только автомат и магазины.

Они вернулись к забору тем же путем.

16

Наутро Шломо проспал свою смену. Такого с ним еще не случалось. Сердитый Менахем, с трудом растолкавший его в половине девятого, отнес случившееся за счет вчерашнего потрясения, вызванного гибелью Вилли, и не стал его особо отчитывать. Наскоро умывшись и находясь еще в полубессознательном состоянии, Шломо поискал кроссовки, не нашел, с отвращением натянул постылые армейские ботинки и, нахлобучив панаму, вышел сторожить. В голове было пусто до гулкости. Он ковылял по патрульной тропинке, щурясь на жаркое хамсинное марево и не глядя по сторонам. Думать решительно не хотелось, как не хочется открывать полученный по почте конверт, в котором не может ничего, кроме плохих либо очень плохих вестей.

Конверт... Конверт можно отложить; можно запихнуть его куда подальше, даже как бы нечаянно сунуть в мусорное ведро... авось как-нибудь образуется, обойдет стороной... Но знание, которое Шломо носил в себе, оставалось при нем так или иначе, шевелилось в низу живота, поднималось вверх, неудержимое, как приступ тошноты. Сначала он вспомнил о Вилли, и это было ужасно. Вилли, Вилли, еврейский немец...

Есть такое понятие - недвижимость. Это то, что не движется и не двинется никогда, то, что прибито метровыми гвоздями, приковано пудовыми цепями - не оторвать. Это - точка опоры для Архимеда, то, что есть и будет всегда, во веки веков. Так вот, у Иерусалима есть недвижимость в душе любого еврея. Еврейскими душами жив небесный Иерусалим. Ему клянется своею десницею каждый еврейский жених. Его поминуют евреи в своих молитвах. Об его камни высекается драгоценная искра вдохновения, живущая в еврейском сердце.

Но сколько их было, немецких евреев, поместивших родную Германию на то заветное место в душе, что по праву принадлежит Святому Городу? Миллионы... Ей, Германии, пели они свои песни, предназначенные Иерусалиму, украденные у него. Ей они отдавали божественное пламя своего таланта, предназначенное Иерусалиму, украденное у него. Ради нее они жертвовали самой своею жизнью, предназначенной для Иерусалима, украденной у него... Стоит ли вспоминать, что они получили взамен... да и много ли заработаешь, торгуя краденым?

И вот теперь - эта странная инверсия, еврейский немец Вилли, как маленький пфенниг, деликатно положенный старой фрау Германией на вторую, пустую чашу весов... О чем думал он в свои последние минуты, какими были последние его слова? Шломо покачал головой. Конечно, Вилли думал о Риве, о детях. А слова... Видимо, посылал их куда подальше, своих убийц; плевал в бородатые их морды, в их шеи, поросшие черным курчавым волосом... И тут в голове у Шломо вдруг рухнула последняя плотина, и все странные, страшные события второй половины прошедшей ночи хлынули в сознание, затопляя его, как наводнение затопляет замершую в ужасе равнину.

Он вспомнил Бэрла, сидящего на придорожном камне, Бэрла в караване, гасящего в раковине шломину сигарету, Бэрла, бесшумно скользящего с камня на камень, Бэрла, вытирающего рукоятку стилета, торчащего из поросшей черным курчавым волосом шеи... Он вспомнил себя, свою неожиданную ловкость, пьянящее чувство контроля, власти; он вспомнил предсмертный трепет зарезанного им человека, и этот трепет отозвался в нем сейчас тяжелым рвотным позывом.

Все это было слишком невероятным, чтобы быть правдой. Скорее всего, это был просто сон; ну конечно, это был сон... он просто заснул тогда, вернувшись с Менахемом и немного поворочавшись в постели; все остальное, вплоть до утра, было всего- навсего порождением его дремлющего, пораженного виллиной смертью сознания. Приведа себя к этому выводу, Шломо испытал осторожное облегчение. Воистину, сон разума рождает чудовищ..

Но для полной уверенности надо было кое в чем убедиться. Быстрым шагом он направился к юго-западной границе поселения.

Склон лежал перед ним в иссушающей хамсинной жаре, экономно поджав листья кустарника и выставив навстречу палящим лучам безразличные бока камней, пустой и мирный, как всегда. Распадок и глыба песчаника справа от него тоже выглядели как обычно; над оврагом висела ленивая разморенная тишина, когда даже у мух нет никакого желания жужжать и вообще высовывать хоботок из тени; даже птицы попрятались от безжалостного солнца; все живое, затаившись, ждало вечера, чтобы вдохнуть, наконец, глоток чистого свежего воздуха вместо нынешнего сухого раскаленного выхлопа. Так что можешь успокоиться, Шломо: привиделись тебе ночные твои приключения. Пить меньше надо.

Он уже повернулся, чтобы уходить, и тут сердце его упало. Большая черная ворона с карканьем взлетела из распадка, снизу, и примостилась на глыбе, посовываясь боком туда-сюда, и резко топорща угловатые крылья. Ну и что?.. Подумаешь, ворона... Но тут Шломо вспомнил о кроссовках, которые он искал сегодня утром, да так и не нашел. Там, во сне, Бэрл заставил его выбросить эти самые кроссовки. Во сне ли? Шломо резко повернулся и направился к воротам. Сон... не сон... как в кино, ей- Богу... Хватит ходить вокруг да около - сейчас он узнает точно, что к чему. Он быстро пересек поселение, вышел за его пределы и спустился по шоссе шагов на двести. Справа, под откосом, в двух километрах по прямой, лежала арабская деревня Мазра-эль-Кабалия; слева поднималась отвесная пятиметровая стенка, поросшая снизу сухим колючим кустарником.

Шломо перепрыгнул через неглубокий кювет. Кустарник доходил ему до пояса. Шломо продирался к стенке сквозь путаницу упрямых веток, хватавших его за одежду, как женщины хватаются за уходящих на войну. Сердце его сильно билось - то ли от волнения, то ли от физического усилия в такую жару; за ушами стучало, пот заливал глаза. Внизу обнаружилась неширокая, заваленная камнями, горизонтальная расщелина. Шломо откинул ногою несколько камней, наклонился и пошарил под стенкой. Автомат был там. Автомат был в точности там, где они его спрятали этой ночью, неучтенный, немеченный, незаконный автомат с двумя полными магазинами.

Проехав Шилат, он повернул налево, в сторону Бейт-Хорона. Шломо ехал в Иерусалим, в Мерказуху, к компьютеру, к электронной почте, к последней своей надежде хоть как-то прояснить ситуацию, решительно вышедшую из-под контроля. Он просто не знал, как можно расценить необъяснимые события прошедшей ночи. Откуда он взялся здесь, в реальности, этот Бэрл, мифический, литературный персонаж, плод шломиного воображения? Почему он вдруг решил, что может управлять им, своим создателем? Как он сказал тогда в караване?... - «согласно Протоколу».

Протокол! Протокол Сионских Мудрецов... Экая бодяга, экая чушь! Не сам ли Шломо изобрел эти протоколы, этих мудрецов, для своей бэрлиады? Всех этих хаимов и каганов? Какого же черта они всплыли сейчас со своим Протоколом, самостоятельно и без разрешения? Стоп, Шломо, стоп. Если всплыл Бэрл, то нету никакой причины, почему бы не всплыть и прочим деталям «урюпинских рассказов». Кроме того, если уж быть точным до конца, то и сказка о «протоколах сионских мудрецов» изобретена совсем не им. Разве не

существовала эта история задолго до него, скользкая, странная фальшивка, написанная так и не установленным автором, неведомо для каких целей?

Написанная так и не установленным автором? Погоди, погоди... Но ведь и шломина бэрлиада - для всех, кроме самого Шломо, - тоже написана неизвестным «кем-то»; ведь согласно договору с Благодетелем, Шломо заранее отказался от авторства и от попыток проследить судьбу своего опуса. Таким образом, текст был обречен на безотцовщину с самого рождения... Любопытное сходство... Кстати, откуда вообще возникла у него эта идея - использовать Мудрецов в качестве хозяев и заказчиков Бэрла? Этого Шломо не помнил. Слишком много времени прошло, да и как упомнишь, откуда родился литературный замысел? Возможно, толчком был случайный разговор с приятелем, а может, статья в газете, или - подвернувшаяся под руку книжка... Когда б вы знали, из какого сора... В одном Шломо не сомневался: Мудрецы действовали в его «урюпинских рассказах», начиная с самых первых страниц. Как знать, не этим ли и приглянулась шломина бэрлиада Благодетелю?

Сколько вопросов... Все они, конечно, представляли немалый интерес, но выглядели совершенно второстепенными по сравнению с главным, большим вопросом. Как получилось, что Шломо сам, собственной персоной, вляпался в этот непонятный расклад? То, что Бэрл и Мудрецы действуют теперь самостоятельно, необъяснимо, но еще куда ни шло: мало ли чего есть непонятного на этом свете? Но то, что они вовлекают в свою орбиту самого Шломо, выглядело пугающе, особенно в свете конкретных последствий вчерашней ночи. Почему он, Шломо, так безвольно подчинился им во всем, не задавая лишних вопросов? А может быть, там, в распадке, вместе с Бэрлом, действовал какой-то другой, незнакомый ему Шломо?

Он горько усмехнулся. Зачем себя обманывать... Вы и есть убивец, Родион Романыч... А насчет подчинения... Сам же смеялся вчера, от Эльдада выйдя, над глупой склонностью человека верить во всякие Верховные Планы! Еще как смеялся... Ну как же - сам-то он себя тогда за демиурга держал, за того именно, кто Планы эти пишет! Только вчерашней же ночью превратился грозный демиург в обыкновенную пешку, в послушного статиста в чужом сюжете, почитаемом им до того за свой собственный...

Если разобраться, то в этой-то подмене и есть корень его возмущения; из-за этого-то вы и переполошились, господин Вельский, - обидно терять иллюзии, вот и все. Но ситуация-то, на самом деле, стара, как мир: каждого «Хозяина Собственной Судьбы» рано или поздно тыкает жизнь мордой в лужу, как нашкодившего кутенка - мол, очнись, парень, может, и есть тут Хозяин, да только не ты! Вот и Родион Романыч, к месту помянутый, тоже думал поначалу, что именно он - автор сюжета, а в итоге кем оказался? Статистом оказался, как и ты, дорогой Шломо. Так что не один ты в этом дерьме сидишь, успокойся и не гони такую волну - захлебнешься.

Город принял его ласково, виновато заглядывая в глаза, как бы извиняясь за недавнюю ссору. Но можно ли сердиться на Иерусалим? Шломо был рад встрече; он открутил вниз стекла своего драндулета и с наслаждением вдыхал знакомый горько-ватый воздух. Не соблазнившись кратчайшим путем, он поехал вокруг, через Университет и Музей Израиля, с удовольствием останавливаясь на каждом светофоре, по-приятельски кивая каждому углу, камню и дереву, радостно вслушиваясь в особое, сдержанное звучание Города. Он возвращался домой.

Старая Мерказуха, как молодая Ярославна на башне, приветливо махала ему навстречу платочками развешенных на просушку простыней, рубашек и прочего нижнего белья. «Шломо... Шломо...» - перешептывались обветшавшие лестницы, шурша подошвами стоптанных шлепанцев.

«Да это же Славик! Славик!» - Сеня спешил к нему через улицу от продовольственной лавки. Два пластиковых пакета с миллионом пачек сигарет «Нельсон» болтались по обеим его сторонам, как тюки на вьючном животном. Подбежав к Шломо, Сеня бросил пакеты наземь, отчего несколько Нельсонов высыпались на асфальт, звеня орденами и треуголками. Они обнялись.

«Дай-ка посмотреть на тебя сблизии... - Сеня слегка отодвинулся, все еще держа Шломо за руки. - Худой... черный... здоровый... прямо Лоуренс Аравийский! Все? Вернулся?»

«Да пока нет, Сенечка. Приехал постираться, вещички собрать кое-какие, а заодно и тебя повидать... Как ты тут? Почему без сигареты?»

«Выпала! Была во рту, да как тебя увидел, так рот и раскрыл, не подумавши... Ну, пошли в дом, что ж мы тут стоим...»

Они собрали Нельсонов и пошли в дом. На своей площадке Шломо остановился.

«Сенечка, я сначала сюда, хорошо? Стирку заряжу, то да се... А потом сразу к тебе, ладно? Жди где-то через полчаса».

Квартира пахла домом. Шломо открыл балконную дверь и распахнул окна. Старенький компьютер включился не сразу, недоуменно пошумел застоявшимся диском, но в конце концов сменил гнев на милость. Только теперь Шломо вспомнил о том, что счета за телефон вот уже три месяца как не плачены. Так что шансов попасть в Интернет было немного. На всякий случай он все же щелкнул по иконке. О чудо! Модем проныл свою монгольскую песню и подсоединился. Как же так? Неужели Сеня оплатил счета? Конечно, Сенечка, милый друг... больше некому... Шломо вошел в свой почтовый ящик и начал просматривать почту.

В основном, это был обычный мусор, который он удалял, не читая, ориентируясь на заголовки и имена отправителей: реклама, «выгодные» предложения разного рода, «верные» способы разбогатеть, всевозможные воззвания и прочая белиберда. Было несколько писем с соблазнами от друзей, разбежавшихся по всему миру: из России, из Штатов, из Европы. Ребята из «Вестника», отчаявшись связаться с ним по телефону, звали вернуться...

Письмо от Благодетеля было датировано вчерашним числом. Дойдя до этой строчки в списке писем, Шломо чуть-чуть было не стер ее по инерции. Ведь и в самом деле, нечасто баловал его Благодетель своими

посланиями; собственно говоря, не баловал вообще. Первое письмо, то самое, начальное, с предложением работы, оставалось пока что единственным, если, конечно, не брать в расчет регулярные денежные переводы. И вот... Шломо смотрел на строчку, не решаясь щелкнуть по ней, чтобы раскрыть письмо. Он встал, закурил и прошелся по комнате. Надо же... причем именно вчера, в точности когда началась вся эта чертовщина!

Шломо подождал, пока голова начала кружиться от чересчур жадных затяжек, и открыл письмо. Там стояло:

«Уважаемый автор! Настоящим извещаем Вас об окончании наших договорных отношений. Примите наши наилучшие пожелания».

И все. Шломо перечитал письмо несколько раз, но, как ни читай, оно не содержало ничего, кроме трех нейтральных предложений. Никаких тебе объяснений, ничего, даже подписи никакой... Как поленом по морде. Уж хоть бы обратились по-человечески... Шломо... господин Бельский... как-нибудь... все-таки столько месяцев переписки, столько труда, столько текстов! «Уважаемый автор»! Вот же суки!

Шломо возмущенно щелкнул по клавише «Ответ». Он писал, исправляя, стирая и мучаясь над каждым словом.

«Уважаемые господа!

Принимая во внимание длительность и безупречный характер наших отношений, я не думаю, что заслужил столь пренебрежительное отношение к моей скромной персоне. Вы не заинтересованы более в моих услугах, и я ни в коей мере не оспариваю ваше несомненное право на это. В то же время я полагаю, что мой понятный интерес к прошлому и будущему использованию моих текстов является также вполне легитимным. Памятуя условия нашего договора, я не настаиваю на детальном описании. Но вы и не можете оставлять меня в полном неведении.

Меня вполне удовлетворяют несколько общих намеков. К примеру: «Ваши тексты печатались в газете». При этом вы можете не указывать, где и в какой газете. Либо: «Ваши тексты не предполагались быть напечатанными. Они призваны служить учебным пособием для начинающих писателей, как типичный образец бездарной бульварной литературы». И так далее. Я не думаю, что моя просьба чрезмерна. Нет нужды говорить, что я обязуюсь хранить ваш ответ в секрете, в полном соответствии с условиями нашего договора, в точности так, как я действовал по сей день.

С глубоким уважением,

Шломо Бельский».

Он отослал письмо, откинулся на спинку стула и закурил новую сигарету. Вот так. Коротко и с достоинством. А то что же - утереться и забыть? Ну уж нет. Интересно, что они ответят, бобики паршивые? И когда?.. Придется теперь время от времени заскакивать к Менахему - просматривать почтовый ящик. Шломо прошел в ванную и начал возиться со стиральной машиной. Компьютер звякнул, сигнализируя о получении нового сообщения. Что такое? Шломо вернулся в комнату. Почтовый сервер извещал о том, что не может доставить его письмо по причине отсутствия адресата. Указанный адрес неизвестен. Шломо обессиленно опустился на стул. Просить Менахема не придется; кем бы ни был неизвестный Благодетель, его прежний почтовый ящик более не существовал.

17

Распрощавшись с Сеней, Шломо собрался и сел в машину, намереваясь вернуться в Тальмон. Он миновал Малху и свернул на проспект Бегина. Ехал медленно, по крайнему ряду, в глубокой задумчивости ни о чем, не прислушиваясь к ночному бормотанию радио. Видимо поэтому он зазевался и свалился с шоссе направо вместо того, чтобы продолжить прямо, в сторону Рамота. В этом еще не было ничего страшного, если бы ближний объезд не перекрыли, как назло, из-за ночных дорожных работ. Досадуя на свою неловкость, Шломо поехал по большому кругу.

На перекрестке с Бен Циви надо было поворачивать налево, но зеленый светил прямо, и Шломо совершенно неожиданно для самого себя последовал воле светофора, продолжив вперед, на Рамбам, в Рехавию. Странное дело - хотя до того все его действия выглядели случайными, на узких улочках Рехавии он вдруг начал осознавать, что существует некая вполне определенная цель его нынешних блужданий. Делая правый поворот на Керен Кайемет, Шломо уже более или менее знал, куда ему.

Он припарковался почти под самой мельницей и прошел на смотровую площадку. День был труден, и он устал. Освещенные множеством прожекторов стены Золотого Иерусалима возвышались напротив. Справа светилась гора Сион. Спустившись от мельницы по блестящей в свете фонарей лестнице, он повернул налево и позвонил около одной из дверей. «Открыто!» - раздался скрипучий голос. Шломо толкнул дверь и вошел.

В большой комнате было прохладно. Книжные стеллажи до потолка окаймляли ее с трех сторон. Четвертая стена представляла собою огромное окно, обращенное к Сионской горе. Тяжелые портьеры были раздвинуты, и Гора сияла во всем великолепии ночной подсветки. Посреди комнаты возвышался огромный резной стол темного дерева; несколько жестких стульев с высокими спинками и два тяжелых кресла дополняли меблировку.

«Проходите, Шломо, садитесь, - произнес сидящий за столом старик, указывая в сторону кресел. - Я сейчас освобожусь. Минутку...» Он с видимым раздражением тыкал указательным пальцем в клавиатуру своего ноутбука: «Черт бы побрал эти компьютеры! Вечно не хочешь, да нажмешь что-нибудь не то... Вы знаете, Шломо, это просто выводит меня из равновесия. Помните, были времена старых добрых пишущих машинок? Они, по крайней мере, не нуждались в перезапусках по десять раз на день... Перезапуск! Слово-то какое изобрели...»

Старик был одет в клетчатый домашний пиджак и байковые бесформенные брюки на подтяжках. Высокий, худой, костлявый, с тонкими угловатыми руками, огромным крючковатым носом и длинными седыми прядями, зачесанными назад с высокого лысого лба, он походил на старую птицу-секретаря.

«Позвольте? - сказал Шломо, подходя к столу. - Я в этом кое- что понимаю».

«Пожалуйста, пожалуйста...» - Гавриэль Каган с готовностью отодвинулся.

Шломо начал щелкать мышкой, пытаясь вывести из ступора почтовую программу. Вроде бы после вчерашней ночи удивляться было уже нечему, и, тем не менее, он не мог отделаться от чувства нереальности происходящего. Он видел себя со стороны, как в кино, сидящим в доме им же придуманного персонажа, в то время как литературный его герой, во плоти и крови, нетерпеливо дышит ему в затылок. Ну не чертовщина ли? Шломо усмехнулся. «Наверное, надо перезапустить», - последовал робкий совет сзади.

«Не стойте над душой, Габи. Это займет еще минуту-другую. В общем, вы сами виноваты - не надо было давить на все клавиши подряд. В вашем возрасте следовало бы быть намного терпеливее».

Старик раздраженно хмыкнул. «Молодой человек, я был бы вам очень обязан, если бы вы называли меня Гавриэль. Наше недолгое заочное знакомство еще не дает вам права...»

Шломо расхохотался. «Недолгое?.. заочное?..» Ну и наглец! Это он мне, своему создателю, папаше, можно сказать...

Он набрал в грудь воздуха, намереваясь выложить нахальному старикану все, что он о нем думает, да так и застыл с приоткрытым ртом, глядя на монитор выпученными от изумления глазами. Компьютер, высвободившись наконец от длинного ряда противоречивых команд, взмахнул длинной гривой закрывающихся окон и, прогнав по экрану несколько невнятных текстов, остановился на одной из входных папок почтовой программы. Папка именовалась «Шломо Вельский» и содержала - строчка за строчкой - все главы шломиной «бэрлиады», расставленные в хронологическом порядке, с первой по последнюю.

«Эй, Шломо! Что с вами? - Каган осторожно потряс его за плечо. - Что случилось? - он взглянул на экран. - В чем дело? Чего-нибудь не хватает?»

«Вы... вы... - выдавил из себя Шломо. - Вы были получателем текстов?»

«Ну конечно. Я думал, вы сами догадались, оттого и пришли.»

— Каган пожал плечами. Суставы сухо щелкнули. - А что же, по- вашему, я имел в виду, говоря о нашем заочном знакомстве, если не эту переписку? Кроме этого мы с вами, вроде бы, не имели случая встретиться...»

«Где тут у вас туалет?» - спросил Шломо. Он вдруг ощутил острую потребность сунуть голову под струю холодной воды.

Когда Шломо вернулся в комнату, старик уже снова сидел за столом, по-птичьи выцеливая клавиши ноутбука.

«Послушайте, Шломо, - сказал он, не поднимая головы. - Я вынужден просить вас перейти к делу. Мое время, увы, сильно ограничено. Вы ведь хотели что-то выяснить, не так ли?»

«Хотел - не то слово, - хмыкнул Шломо, усаживаясь в кресло.

— Давайте начнем с текстов. Как я сейчас понимаю, они с самого начала не предназначались для публикации?»

Каган пожал плечами.

«Отчего же? Конечно, правильнее было бы назвать применение ваших текстов реализацией. Мы их, скажем так, претворяли в жизнь. Но это ведь тоже, в определенном смысле, - публикация... Как автору, вам жаловаться не на что... »

«Хорошо. Тогда объясните для начала: почему вы использовали именно меня? Не могли найти кого-нибудь получше? Зачем вам эта бульварщина, эти пошлые шпионские страсти, всемирный заговор и прочая белиберда? Это ведь так низкопробно... Ну ладно - я... я и писал-то эту бодягу для Урюпинска, долларов ради. Но вы-то про какой-то План с большой буквы толкуете».

Старик рассмеялся. «Зря вы так недооцениваете Урюпинск, Шломо. Вы, возможно, полагаете, что истинная реальность отображается Толстым или Фолкнером. Ошибка, молодой человек. Реальность - это именно Урюпинск. Жизнь намного ближе к бульварному роману, чем к «Войне и Миру». Она проста до невозможности. Люди действуют согласно элементарным схемам, причем вариантов - раз, два и обчелся. Так что ваши упражнения нас вполне устраивали. До поры до времени».

«До поры до времени? Когда же я перестал вас устраивать?»

«Э-э-э, так не пойдет, Шломо. Вы же знаете ответ; не делайте наш разговор скучным».

«Я перестал вам подходить, когда превратился в участника, - сказал Шломо. - Когда уже не мог больше производить бульварщину. Так?»

Каган кивнул. Они помолчали.

«Как хотите, Гавриэль, но все это выглядит совершенной фантазмагорией. Получается, что вы пишете мировую историю руками рядовых, случайных людей. При всем роскошном демократизме данного подхода, он выглядит невозможным на практике. Судите сами - реальные события непрерывны, следуют одно за другим сообразно определенной логике. А у вас? К примеру, вот меня вы уволили без выходного пособия. А есть ли у вас гарантия, что ваш следующий, случайный литературный негр продолжит начатую мной линию точно с того же места, где я ее оборвал?»

Шломо развел руками.

«Нет у вас такой гарантии, и быть не может. Это во-первых. Во-вторых, как можно полагаться на свободную волю случайного борзописца? Он ведь вас по своей прихоти в такие дебри завести может... Как же тогда План? Или нет его вовсе?»

Мудрец презрительно фыркнул. «Что за чушь вы несете... Вы знаете, Шломо, этот вопиющий набор глупостей говорит о том, что мы рановато с вами расстались. Вы мне еще лекцию по диалектическому материализму прочитайте, для полного комплекта. Какая свобода воли? О ком вы это, о себе. Перечитайте-ка сотворенный вами шедевр: сплошные штампы, избитая пошлятина сотни раз читанные перепевы... Свобода!.. Вон там, в прихожей зеркало висит, сходите туда, посмотрите на себя, чтобы в чувство прийти. Вы же из заранее проложенных желобков ни разу не выскакивали - ни в жизни, ни, тем более, в писаниях ваших! Свобода воли!.. Фу-ты ну-ты... »

Каган издевательски покрутил кистями рук. «Поверьте мне, дорогой мой писатель, в неизведанные дебри вам никого не завести. Прежде всего потому, что нет туда тропинок, а вы ведь без тропинок - никуда. Так что прихотей творца, как вы изволили выразиться, опасаться не приходится. А за План не беспокойтесь. Откуда ж, по-вашему, все эти тропинки с желобками взялись?»

«Это во-вторых, - насмешливо продолжил он, передразнивая шломину интонацию - А во-первых, не надо так волноваться за столь дорогую вашему сердцу непрерывность истории. Ваш преемник пишет на удивление похоже. Как и все ваши предшественники. Желобки-то те же... Есть, конечно, мелкие нестыковки, но кому они мешают? Главное, чтобы План не страдал. А что именно произойдет в дальнейшем с вашей несчастной сексапильной студенткой... кого это волнует?»

«Меня волнует, - твердо сказал Шломо. - Меня волнует. Такой уж я дуболом, дешевка базарная, грош за пучок. Вы уж, ваше высококобое величество, извините меня, букашку несмысленную. Где уж мне понять ваших Планов громадьё? Ваших помыслов шаги саженьи? Одна у меня просьба нижайшая к вашему благородию - не давите шагами этими меня, червя недостойного, во прахе пресмыкающегося Мне, дураку, лишь бы пожрать, да выпить - и вся недолга но жить, тем не менее, хочется. И другой букашке я тоже сочувствую что делать, по одной тропинке ползаем, по одному желобку, как вы справедливо заметили. Так что волнует меня дальнейшая судьба несчастной сексапильной студентки, которую зовут, между прочим, Дафна; да, как видите, и имя у нее имеется - вот ведь какая деталь несущественная... »

«Прекратите этот балаган, - прервал его старик - Обидеться изволили? Только при чем тут я, уважаемый? Я, что ли, ее убивал? Я, не вы? Кто ее, по-вашему, раздавил, эту букашку? Вы и раздавили. Вы и есть убивец, Вячеслав Ефимович. Так что оставьте, пожалуйста, вашу истерику».

«Как вы можете меня обвинять? - закричал Шломо. - Разве я знал, что речь идет о живых людях? Разве я знал, что все это - взаправду?..» Он осекся и замолчал.

Каган печально покачал головой.

«Конечно, не знали, - мягко сказал он - Только вряд ли это вас утешит. Видите ли, Шломо, вас с детства учили, что слова - шелуха, в лучшем случае описывающая реальность, а в худшем - искажающая ее. Но это не так. Слова - это и есть наша реальность. Реальностью называется то, что названо, не более того. Вещи и предметы начали свое отдельное существование с того момента, как Адам дал им первые имена. Так и вы - дали имя своей Дафне, дали ей имя и пустили жить, как рыбу в аквариум.

Впрочем, этим ваша ответственность и ограничивается. Дальше от вас мало что зависело: помните? - желобок... »

Шломо кивнул. Его слегка мутило, хотелось на свежий воздух.

«Идите, - сказал Мудрец - Мне надо работать. Приходите на следующей неделе»

18

«...в иерусалимскую ночь». Вот ведь закрутил! N. удовлетворенно прищелкнул языком и закрыл крышку ноутбука. Всего месяц он связан с таинственным работодателем, а уже послал ему несколько вполне объемистых посланий. И, соответственно, получил свои несколько сотен евро за каждую посылку. Но разве только в деньгах дело? Он работал больше за интерес; его самого отчаянно занимала эта история, невесть как зародившаяся у него в голове и теперь регулярно выплескивающая свои невероятные события на белый лист компьютерного экрана. Видимо, это и называется вдохновением - когда пишется как бы само по себе, когда не надо вымучивать события, придумывать людей, строить сложные планы.

Поначалу он еще придерживался всех этих глупостей классического писательства, как положено, по сорбоннскому учебнику. Сюжетная линия, прорисовка персонажа, речевая характеристика. Но тщательно расчерченные в блокноте схемы немедленно разлетались на куски уже на втором абзаце. Герои повествования, стоило им только открыть рот, начинали нести полную отсебятину, не имеющую совершенно никакого отношения к заранее заготовленным текстам. И ведь, что интересно, получалось совсем неплохо... Так что теперь N. садился за клавиатуру, не имея ни малейшего понятия, куда именно заведет его сюжет.

В этом-то и заключалась вся прелесть ситуации. Конечно, у него и в мыслях не возникало никаких претензий на литературную славу. Да и можно ли было назвать это сочинительством, принимая во внимание странный, почти медиумный характер всего процесса? N. предпочитал видеть в себе не писателя, а, скорее, первого читателя некоего захватывающего триллера. Если за это еще и деньги платят, то надо быть полным болваном, чтобы отказаться. К тому же и гордиться, в чисто литературном отношении, было особенно нечем. По совести говоря, получалась-то чушь собачья, однодневка, низкопробная беллетристика; хорошо ли серьезно человеку ставить свое имя под такой белибердой? Гонкуровскую премию за нее определенно не дадут.

Слава Богу, из природной осторожности он скрыл с самого начала свое имя под нарочито нейтральным псевдонимом N. Хотя никто не может поручиться, что тексты печатаются именно под этим псевдонимом. Да и печатаются ли вообще? И если да, то - где? Условиями договора ему запрещалось интересоваться подобными вопросами. Ну и ладно... какая разница? Небось, тискают где-нибудь на Мартинике в местной воскресной газетке. Тема все-таки модная во все времена, как стройные ноги, - зловещий заговор, власть над миром, таинственные протоколы сионских мудрецов... Такое всегда продается.

Надо бы, конечно, как-нибудь и самому в Израиль выбраться; не все же газетами да Интернетом пробавляться. Однажды он там уже был, в сохнутувской поездке для старшеклассников, но, по молодости лет, не запомнил ничего, кроме одуряющей жары и вулканического кибуцного траханья. Сейчас бы самое время обновить впечатления. Не то, чтобы была в этом какая-то производственная необходимость - для Мартиники и так сойдет... просто самому интересно - осмотреть, наконец, виденные только на карте места.

Ведь сюжет еще только завязывается... Скажем, Нидадь может вернуться из тюрьмы, освобожденный, допустим, за согласие сотрудничать с ШАБАКом. Зачем его возвращать? Ну как же - надо ведь как-то пускать в ход припрятанный на Хореше автомат, а иначе - что он там попусту в расщелине ржавеет? А дальше? То есть, Нидаля мы, конечно, оприходуем, но что Нидадь - мелкая птица... А может, оставить Бэрла стрелять, а Шломо перевести в Мудрецы? Ведь, если разобраться, то в Мудрецы ему сейчас самая дорога: один, без семьи, никаких обязательств ни перед кем... разве что Сеня... ну да от Сени можно как-нибудь избавиться, не проблема...

Жена позвала его из столовой. Время было выходить к обеду.

Леон Агулянский

Леон (Леонид Ильич) Агулянский родился в 1959 году в Ленинграде, в семье служащих. В 1982 году окончил 1-й Ленинградский медицинский институт им. Павлова. С 1982 года, после окончания ординатуры по урологии, работал урологом в клиниках ЛЛМИ. С 1988 года проживает в Израиле.

После окончания резидентуры по урологии в Медицинском центре Шива Тель-Ха Шомер (Израиль) в 1998 получил звание уролога-специалиста с правом на частную практику. Работал в медицинских центрах Барзилай и Волгфсон (Израиль).

С 2002 работает в собственной клинике в г.Холон (Израиль). С 1992 по 1994 служил врачом на кораблях Военно-Морского флота Армии Обороны Израиля. Во время военной службы окончил курсы морской и подводной медицины.

С 1994 ежегодно призывался на военные сборы в качестве врача ВМф. Провел более 3000 часов в море в рамках различных военных операций.. Соавтор монографии «Хронический простатит». Автор книги «Простата и ее болезни», выдержавшей два издания на русском языке и переведенной на иврит. Автор и соавтор 28 научных публикаций, двух изобретений и 30 рацпредложений. Член союза писателей Израиля. Автор романа «Нерусская рулетка», повестей: «Воронка», «Вспышка», «Визит в Зазеркалье», рассказов: «Водная гладь», «Не умирай любовь».

Леон Агулянский С высоты птичьего полета

Отец умер в понедельник. Его больное, оперированное сердце остановилось в тот день недели, который он ненавидел всю свою жизнь. Будучи еще не старым, он схоронил жену, от рака груди. К радости Артура, единственного сына и наследника, не привел в дом новую хозяйку. Были связи с несколькими приятельницами. Но эти периодические встречи ни к чему не обязывали. На кладбище появились родственники, о существовании которых Артур не знал. Говорили красивые речи. Вспоминали, как вместе с усопшим играли в песочнице, пока их родители играли в шахматы. Женщины сморкались и утирали слезу. Старуха с интеллигентным лицом обняла и сказала, что ей не хватило немного упорства, стать женой безвременно ушедшего. Уже на следующий день начались звонки каких-то представителей и каких-то адвокатов. Интересовались наследством - банковским счетом и Вилой с участком. Артур с детства не любил этот дом. Вернее, с того дня, когда чуть не наступил на большую змею на газоне. Годы шли. А чувство враждебного присутствия и опасности в доме не проходили.

Последние шесть лет они с Юлей снимали неплохую квартиру в центре города. У отца бывали только в субботу.

Судьба вдруг предоставила возможность распрощаться с отцовским домом раз и навсегда.

Верхняя пуговица белой сорочки на шее адвоката была расстегнута. Темно-синий галстук чуть распушен. Я, адвокат Колесников. - представился он. - Мне поручено вести наследственное дело по имуществу вашего отца. - Он взглянул на Артура поверх элегантных очков.

- Когда можно будет продать дом? - Артур открыл электронную записную книжку.

- Через полгода.

- Что? Почему так долго?

- Закон. В течение шести месяцев другие претенденты могут заявить свои права на наследство.

- Таких нет. - Артур посмотрел на часы.

- Не будьте так уверены. Подпишите. - Колесников положил перед наследником несколько документов.

- Что это?

- Ваша доверенность на меня для ведения дела и прочие формальности. Артур пробежал глазами по строкам. Не обнаружив ничего, вроде: "отчуждение прав", "получение денег", "раздел имущества", широко расписался.

День прошел в беготне по конторам и инстанциям. Оказалось, что и половины дел не сделано. Придется брать еще пару выходных.

Юля пришла с работы пораньше. Зачем-то учинила уборку. Много болтала, громко смеялась и лезла обниматься. На заявление Артура:

- Да, не брошу я тебя. Не брошу. Выпалила:
- Дурак!

Удалилась в спальню. И всю ночь пролежала, отвернувшись, периодически глубоко вздыхая и всхлипывая.

Но, как говорится, человек определяется не сказанием, а деянием. Они оставались вместе. От назойливых старых и новых приятельниц Артур отмахивался как от мух.

Шесть месяцев прошло быстро. Объявилось несколько соискателей прав на наследство. Но завещание отца касалось только Артура, единственного сына. Вскоре наследник получил заветный документ, а адвокат – "жирный" чек за проделанную работу.

Юля капала на мозги - не продавать дом. Сдать в аренду. Уверяла, что через двадцать лет он будет стоить в два раза больше. Очевидно, видела себя женой с перспективой на счастливый брак на ближайшие двадцать лет.

В какой-то момент Артур засомневался. Но, получив справку оценщика о стоимости дома, стал непреклонен. На эти деньги можно было купить достойную квартиру. Остальное заложить в банк под проценты. И больше никогда не работать.

Юле идея не нравилась. Женское чутье подсказывало, что уходить на работу, оставляя дома скучающего мужа - дело небезопасное. Каждый вечер она пилила Артура. Дескать, не работать нельзя. Это разрушает здоровье и психику. Если человеку незачем просыпаться утром, он рано стареет, теряет память. И так далее. Однажды Артур ответил очень тихо:

- Юля, хватит.
- И посмотрел исподлобья так, что у девушки холод пробежал между лопаток.
- Делай что хочешь! – она пожала плечами. – В конце концов, кто я тебе, чтобы указывать.
- Я найду, чем себя занять.
- Надеюсь, что это будет "чем" а не "кем".
- Время покажет.
- Буду поздно. - бросила она выходя, и хлопнула дверью.

По дороге в очередную контору Артур застрял в пробке. Река автомашин медленно вдавливалась в проем строящегося моста. На обочине сквозь утреннюю дымку вспыхивали огоньки сварочных аппаратов. С другой стороны огромная лебедка забивала сваи в грунт. Каждый удар отдавался в сидении автомобиля. С тех пор, как начали строить, поездка по этой трассе стала невыносимой. Зато возле моста дорога поднималась, открывая взору район небоскребов слева. Большинство домов были построены под офисы. Но один из самых высоких был жилым. На стене шестидесятиэтажного здания красовался, помытый дождем стэнд: "Элитное жилье". Артур взглянул на верхние этажи. Представил, какой вид может открываться из окна. И принял решение.

Пока автомобильная лавина не затянула под мост, набрал номер телефона, что был на плакате. Приятный женский голос сообщил:

- Осталось две квартиры. На тридцать втором и пятьдесят восьмом. Обеими квартирами сегодня уже интересовались. Если заинтересованы, поторопитесь.

Как добрый знак солнце сверкнуло между серых туч.

Только через час удалось выбраться из пробки и съехать с трассы. Вокруг дышала стройка. Трещали отбойные молотки. Жужжали лебедки.

Самое время покупать. - подумал Артур перешагивая через полный воды след от колес самосвала.

- Когда здесь начнут газоны подстригать, будет вдвое дороже.

Девица, похожая на фотомоделю, встретила в конторе на первом этаже.

Рассказала о проекте. Показала макет квартала.

Мужчина кавказской внешности проводил в квартиру на пятьдесят восьмом. При подъеме в скоростном лифте закладывало уши. Артур шагнул на бетонный пол. Голые стены выглядели мрачно.

Не квартира, полуфабрикат, - подумал Артур. Но когда подошел к окну и увидел панораму города, сомнений не осталось.

Автомобильная трасса из-за скопления машин была похожа на металлический ремешок часов, положенный на землю. Дальше, до самого горизонта - дома, дома, дома. Окна других комнат выходили на противоположную часть города. Слева вдалеке начинался парк, совсем как зеленое море.

- Меня устраивает. - Заявил Артур конторской модели, вернувшись в офис.
- Чудно. Внесете всю сумму или только задаток. Ссуду на оставшиеся квартиры мы не даем.
- Ссуда не нужна. Я продаю дом. - Артур пожалел, что ляпнул.
- Вот как. Где?
- Здесь. - Артур ткнул пальцем в карту города.
- Хороший район. Мы могли бы обсудить вопрос приобретения у вас недвижимости. Хотите? - она достала мобильный телефон, демонстрируя готовность позвонить.
- Нет.

- Правильно. - она чуть подалась вперед, улыбнулась и доверительно понизила голос. - Мы даем много ниже номинальной цены. Лучше продавайте сами. Только осторожно. Чтобы "кидок" не получился.
- У меня адвокат такой, что любого загрызет.
- Вот и хорошо. Это сумма задатка. - она вручила Артуру документ. - Внести до 12:00 завтра.
- Сделаю. - Артур взглянул на сумму и уже начал думать, как ее организовать.
- Внесете задаток, начнем оформление. Квартира, фактически, ваша.

Новость прозвучала для Юли как приговор. Губы затряслись. На глаза навернулись слезы. Ей, выросшей в тесной квартирке с окнами, выходящими на соседний дом, было трудно отказаться от идеи проживания в доме с участком. Змей и крыс она была готова переловить голыми руками. Разочарование девушки было слишком велико, чтобы можно было его скрыть. Не дослушав восторженный рассказ Артура о виде из окна, она убежала в спальню и разрыдалась. В своем воображении он пошел утешать. Обнимал Юлю за плечи, разворачивал к себе, говорил: "Ну, все, все, все. Но поймал себя на мысли, что вовсе не хочет этого делать. Не так уж эта женщина важна, чтобы решать за меня. Представилась возможность избавиться от страшного дома. Подняться в самое небо, откуда и солнце, и тучи, и праздничный салют как на ладони. Ни лая собак. Ни шума моторов. Ты паришь над городом. А он лежит у твоих ног. Отказаться? Ради чего? Ради нее? - Артур улыбнулся. - Это глупо. Чудовищно. Наконец, смешно, он надел пальто и вышел, не сказав ничего.

Весь день моросил холодный дождь. Порывистый ветер выворачивал зонтики и срывал шляпы. А теперь стоял тихий вечер.

Машина Артура оказалась зажатой между двумя иномарками у тротуара. Хозяин старого Форда уезжал на работу в пять утра. Парковался вплотную спереди. Пришлось вырывать короткими движениями вред-назад.

Артур ехал по вечернему городу. Тянуло туда, к небоскребу - посмотреть как он. Что делает перед сном.

Пробка перед мостом была не меньше, чем днем. Вспышки сварочных аппаратов горели ярче в темноте. Гигантский молот все загонял сваи в грунт. Дом смотрел на город светящимися окнами. Площадка вокруг сияла в лучах прожекторов. Рабочие в строительных касках неторопливо делали свою работу.

Автомобильная пробка на этот раз оказалась кстати. Домой не хотелось. Выяснение отношений с Юлей было сейчас "не в тему". Артур вспомнил, что с утра ничего не ел. Светящаяся вывеска "Суши бар" подмигнула далеко впереди. То что надо. - подумал Артур. В ресторане было полно народу. Девушка в японском наряде проводила к дальнему столику. Видя сомнение клиента, порекомендовала, что заказать.

Ресторанный зал был полон гомоном молодых людей. Много симпатичных, даже красивых лиц. Не в красоте дело. Эти люди явились сюда получить удовольствие. Этот вечер, маленький подарок судьбы, они умели принять и оценить. Не то, что Юля, привыкшая экономить, урезать, копить и во всем себя ограничивать. В ресторане девушки улыбались. Иногда, даже громко смеялись. А у Юли вечно лицо, будто ей не здоровится.

Заказ принесли быстро. Было вкусно. Уходить не хотелось. Заглянув в счет, поданный в кожаных корочках, Артур усмехнулся. Даже от половины этой суммы у Юли случилась бы истерика.

Часы показывали два ночи, когда Артур вернулся домой. Юля смотрела в окно, сложив руки на груди. На стук двери не обернулась.

- Я ухожу. - начал Артур довольно уверенно. - Квартира проплачена на год вперед. Нам не по пути. Давай обойдемся без сцен.

- Уходишь прямо сейчас?

- Какое это имеет значение?

- А прощальная ночь? Не чужие ведь.

- Не чужие. - сказал он неуверенно.

- Пошли, - прошептала она, сдерживая слезы.

Юлины старания в постели были отчаянной попыткой удержать Артура. Но он был уже далеко. Красавец-небоскреб притягивал. Перед глазами была панорама города с высоты птичьего полета. В ушах еще звенел девичий смех из Суши бара. Утро засветило в окно, как бы говоря: "Все, ребята. Пора по норам".

Отцовский дом проданся быстро. Покупатель не торговался. Он оказался из тех, для кого тысяча и десять тысяч долларов - примерно одна сумма.

Артур расплатился за квартиру в небоскребе. Заказал внутреннюю отделку. Приплатил за срочность. Оставшиеся деньги закрыл в банке под проценты.

Шла отделка квартиры. Подрядчика рекомендовала фотомодель с первого этажа. Узнав, что Артур один, стала проявлять к нему неприкрытый интерес. Взгляды потеплели. Улыбка сделалась приветливой.

Чтобы не крутиться под ногами ремонтников, Артур улетел на Канары. На недельку. Почему нет? В первый же день оказался в объятиях двух немочек с нулевой грудью. И понял, что жизнь удалась.

К его возвращению квартира была почти готова. Кое-что пришлось исправлять. Но, в целом, квартира "заиграла". Особенно радовал вид из окна. В зависимости от времени суток и погоды вид менялся, открывая взору новые детали.

Однажды днем Артур понял, что у небоскреба есть недостатки. Оба скоростных лифта не работали. На втором этаже запустили в эксплуатацию SPA-центр с бассейном. В сауне "закоротило". Вырубилось питание лифтов.

Пришлось искать себе занятие на время ремонта. От идеи подъема по лестнице Артур отказался. Все равно, лучше, чем отцовский дом. - думал он сидя в кафе неподалеку.

В памяти всплыл детский кошмар - змея, затаившаяся на газоне. У нее была треугольная головка и темные квадратики на спине. Когда маленький Артур чуть не наступил на нее, змея изогнулась восьмеркой и

зашипела. Изготовилась к броску. В этом звуке и изгибе тела была угроза, смертельная опасность. Прежде Артур видел змей только на картинках учебника зоологии. А еще раньше на иллюстрации к сказкам Калевалы. Там богатырю наказали вспахать ноле, кишашее гадюками.

Что-то связывало детский кошмар и с этим новым домом. Потенциальная скрытая опасность. Угроза жизни таилась в этих этажах и этих окнах.

Картина прояснилась, когда на экране телевизора возникли кадры кинохроники. Два самолета один за другим врезаются в небоскребы- близнецы в Нью-Йорке. Густой дым валит из окон. С верхних этажей люди зовут о помощи. Надежды спастись нет.

Пострашнее змеи в траве. - Артур допил остывший кофе. Расплатился и пошел к выходу. В доме сумели запустить только один лифт. На базисном этаже ждать пришлось долго. Поднявшись в квартиру, Артур подошел к окну. Эму сделалось дурно. Пейзаж уже не казался чарующим взор. А сотни метров до поверхности земли внушали ужас.

В Нью-Йорке люди махали своей одеждой из окон верхних этажей. Не помогло. Дом горел. Они задыхались и выбрасывались в окна. Кинокамера запечатлела их летящие и разбивающиеся тела. Все это ужасно! - Артур ощутил холод в груди. Он сел за компьютер и, набрав слово "парашют", нажал Enter.

Оказалось не так дорого. Заказал. Привезли уже на следующий день.

Но цветной рюкзачок с ляжками не прибавил уверенности в завтрашнем дне. Артур силился представить, как надевает "это" на себя. Забирается на подоконник и... Прыжок в окно не шел в голову.

Он записался на прыжок с парашютом в сопровождении инструктора. Заплатил. Прошел инструктаж. Но прыгать отказался.

Надо будет - прыгну. - утешал он себя. - Теоретически представляю.

Открыли SPA. Артур купил абонемент. Пошел. Познакомился с соседями, с верхних этажей. Оказалось, что пятидесятилетний, молодящийся банкир Фридман живет с молодой женой этажом ниже. Услышав, как Артур распорядился свободным капиталом, долго смеялся, мотая головой. Взятая научить уму-разуму. Многое из того, что он рассказывал, оказалось полезным. А главное, Артур открыл для себя, что очень богатых людей не устраивает: просто жить. Они тяжело работают, шевелят мозгами и днем, и ночью, чтобы заработать еще. Артур пока не понял, для чего это нужно. Но постепенно стиль жизни обитателей дома стал его собственным. По совету Фридмана он вложил деньги в какую- то компанию. Стал получать какие-то проценты. Их тоже стоило куда- то вложить, чтобы опять получать. И так далее до бесконечности. Дни проходили в заботах о преумножении капитала. А ночами было тревожно. Ибо слишком высоко, слишком далеко от земли.

Однажды, сидя в бурлящем джакузи. Артур открылся Фридману, что беготня за процентами наскучила.

Тот понимающе кивнул.

- Есть другая форма извлечения прибыли, - начал он, - более динамичная, но более рискованная. Нужно построить схему, которая в короткий период, день два, принесет большой доход. Только базироваться она должна на всплеск эмоций, связанный с неординарным событием или катаклизмом.

Тогда в джакузи Артур не понял смысла витиеватой фразы банкира. Прозрение наступило дома при виде упакованного в мешок парашюта.

План действий сложился в голове мгновенно. Он был дерзок. Но отказаться от него не представлялось возможным.

Уже на следующий день привезли двадцать парашютов. В одной из четырех комнат Артур оборудовал склад. Оказалось, что если мешки с парашютами складывать в виде поленицы до потолка, комната может вместить очень много. Склад пополнялся каждые два дня.

Соседям с верхних этажей Артур рассказал, что "вложился" в торговлю парашютами в авиаклубе. Временно держит у себя небольшую партию товара. - Кроме того, - добавлял он, усмехаясь, - в таком высоком доме парашют - вещь бесполезная. Вот в Нью-Йорке люди искали спасения, выбрасывались просто так. А могли бы с парашютом.

Рекламная компания результатов не дала. Никто не захотел приобрести спасительный мешок с ляжками.

Выждав еще неделю, Артур приступил к выполнению плана "б". Пробрался в прачечную на минус первом. Засунул между тюками с бельем газету, обернутую рубероидом, и поджег. Приехала милиция. Оказалось, что работница прачечной, Фатима обезвредила дымовую шашку. Увидев собаку на поводке и милиционера. Артур забеспокоился. Нужно было позаботиться - рассыпать молотый перец на полу.

Нечего бояться. - Думал он. - Вряд ли кто-то поверит, что жилец решит поджигать свой дом. Будут искать чужаков, террористов, бомжей. Пусть ищут.

Комната-склад была забита дорогостоящим товаром до отказа. Артур бродил по коридорам и подсобкам, ища, что бы поджечь. И не просто поджечь, а наверняка, без осечки.

Еще две попытки запалить склад полотенец SPA не имели успеха. Помешала бдительность работников.

Артур уже потерял надежду. Однажды, в ожидании лифта, он увидел электромонтера, закрывающего щиток на стене.

Убедившись, что нет посторонних глаз, Артур вставил ноготь в прорезь замочка и повернул. За дверцей оказался щиток с автоматическими пробками. От него вверх отходило множество проводов.

Проводка - то, что надо. - пронеслось в голове. - Он щелкнул зажигалкой. Пламя лизнуло обшивку. На белом пластике образовалось черное пятнышко. Из него вырвался зеленоватый язычок пламени. Раздался чуть слышный хлопок. Пламя с треском устремилось вверх по проводу. Артур захлопнул щиток. Нырнул в подошедший лифт. Нажал кнопку с цифрой 58. Мысль, что лифт застрянет. А ему предстоит быть зажаренным, как цыпленок в гриле, была настолько ужасной, что в животе начались колики. Внезапно

захотелось в туалет. К счастью, лифт открыл двери на пятьдесят восьмом. От волнения Артур не мог попасть ключом в замок.

Обратной дороги нет. Надо будет прыгать. Эх, зря отказался от прыжка с инструктором. Зря! - он влетел в квартиру и выглянул в окно.

Внизу было тихо. К подъезду подъезжали машины. Из них выходили люди и направлялись в парадную. Они еще не знали о надвигающейся беде.

Проводка горела быстро. Зеленоватое пламя бежало вверх. Изоляционная оболочка взрывалась и разлеталась на куски. Один из лифтов застрял на пятьдесят восьмом. Второй принял людей и застыл на базисном этаже.

Нижние этажи начал заполнять едкий дым. Запах горелого пластика распространился по лестнице. Закрытые в лифте колотили в дверь. Вывали о помощи. Вахтеру удалось открыть двери и освободить их.

Сработали дымоулавители. Противопожарные оросители на этажах начали заливать пол. Это не помешало огню распространяться по изоляции.

По сигналу пожарной тревоги первые четыре машины ринулись на борьбу с огнем. Но на подъезде к строящемуся мосту застряли в пробке. Ни вой сирен, ни приказы громкоговорителя не смогли освободить проезд. Водителям, стоящим в пробке в четыре полосы, некуда было деться. Взлететь в воздух или испариться они не могли.

План "Б" стремительно развивался. За дверью слышались беспокойные крики. Кто-то пытался спускаться по лестнице. Но лестничная шахта заполнилась дымом. Отключилось электричество. Первым постучал в дверь Фридман.

- Пятьдесят тысяч за каждый. - выпалил Артур, не дожидаясь вопроса.

- Кредитную карту принимаешь? - выдавил Фридман сквозь одышку.

- Ты что, рехнулся?! Только наличные. Торопись. Я выбрасываюсь!

- Мне четыре. - Фридман рванулся к выходу, но вернулся, - Да. И как пользоваться.

- Ясно дело. - Артур метнулся в комнату-склад. Распаковал и надел на себя парашют.

- Сто тысяч зеленую. - Фридман сунул в руки Артура полиэтиленовый пакет с названием какой-то фирмы.

- Это спереди. Вот так - сзади. Здесь застегнуть. Нырять подальше от стенки. Дергать за это кольцо. - проинструктировал Артур. - Держи четыре мешка. Все. До встречи на земле.

- Стой! Еще желающие есть. Я скажу, чтобы наличные готовили.

- Давай! - Артур забежал в кладовку. Вытащил самый большой чемодан. Раскрыл его у входа в склад парашютов. Первая выручка легла на кожаное дно.

Подхватив несколько парашютов, он поспешил к двери. Вид толпящихся соседей с пакетами в руках придал уверенности.

- Внимание! - ораторствовал Артур. - Это спереди. Это сзади. Кольцо здесь. Подальше от стены! Чемодан заполнялся. Народ все прибывал.

- Фридманы уже выпрыгнули. - слышалось в толпе.

- Они везде первыми. - съязвил кто-то.

- Не напирайте, не напирайте! Вы что?! Имейте совесть! Мы раньше были, - слышалось с лестничной клетки.

Расчет Артура оказался правильным. Практически у каждого в загнишке оказалась сотня тысяч долларов. Пришло время тратить.

Пожарной команды все не было. Люди делали свой первый в жизни прыжок. У всех получалось. Время поджимало. Едкий запах горелой проводки усилился. Стало тяжело дышать. Под руководством Артура люди прямо у него надевали парашюты и выбрасывались в окно гостиной. Скоро у окна скопилась очередь из нерешительных. Не каждый может так запросто сигануть с парашютом в окно.

Собственный парашют мешал двигаться. Артур "толкнул" его кому-то за тридцать тысяч. Стоящие в очереди видели, как надевать парашют на примере тех, что перед ними. Дело пошло веселее. Места в чемодане осталось немного. А парашютов еще меньше.

- На всех не хватит! - крикнул Артур в толпу.

В это мгновение стоимость одного парашюта удвоилась. Артур пожалел, что не сделал это заявление раньше. В очередной раз он подбежал к чемодану. Перехваченные резинкой пачки купюр легли в ряд. Вдруг Артура обожгла мысль, от которой снова захотелось в туалет: Как я буду прыгать с чемоданом? Вот идиот! Чеками надо было! Чеками! В карман бы сунул. И все.

Люди прыгали. Артур выглянул наружу. Толстая женщина, приземлившись, не могла встать на ноги.

Подвернула ногу. - Подумал он. - Не беда. Главное, на земле. В чемодане почти не осталось места. А парашютов - последний ряд.

- Сколько еще? - крикнул он в дверь.

- Восемь, - ответили ему.

- Есть на всех!

- Слава Б-гу. - ответил женский голос.

Последний жилец выбросился. Ветром его отнесло в сторону трассы, где рядом с автомобилями стояли люди, наблюдая неслыханное зрелище.

Чтобы закрыть молнию полного купюр чемодана, пришлось залезть на него коленями.

Только бы молния не разлетелась. - подумал Артур и заметил, что продал все парашюты, не оставив для себя.

Он сел на пол. Разразился истерическим хохотом. В квартиру пробрался дым. Артур закашлялся и заплакал.

Вся жизнь промелькнула перед глазами. Школа, каток перед домом, камин в отцовском доме, мама, от постели которой пахло лекарствами. Дым прибывал.

Вдруг он услышал стук винтов вертолета. Высунулся в окно. Воздушные потоки от ротора ударили в шею. Увидеть вертолет не удалось. Перед окном болталась веревочная лестница. Артур попробовал дотянуться палкой с зажимом для половой тряпки. Не удалось. Слишком далеко.

Он рванулся в кладовку. Вернулся со сплиннингом, который приобрел по настоянию одного из соседей, но еще не опробовал на рыбалке.

Только с третьего, раза удалось "закинуть" удочку. Леска обмоталась вокруг лестничной перекладины. Осталось лишь подтянуть лестницу к себе взобраться на нее. Перекладина оказалась холодной. Вырывалась из рук в воздушных потоках. Артур забрался на подоконник. Оседлал лестницу и только тогда вспомнил, что оставил чемодан. Вместе с лестницей его втянули в кабину вертолета.

- Артур! - крикнула Юля, повиснув у него на шее.

- Ты здесь? Откуда? - крикнул он ей в ухо.

- По радио сообщили о пожаре. На дорогах пробки. Наняла частный вертолет. Обещала, что ты заплатишь?

- Заплачу. У меня целый чемодан наличных, - засмеялся Артур.

Врачебная ошибка

Стрелка настенных часов в клинике показывала полседьмого. Самое тяжелое позади. Первые три часа амбулаторного приема иногда кажутся вечностью.

Игорь часто смотрел на циферблат. Злые стрелки обычно не торопились. Ненавистный экран компьютера поглощал быстро набираемые строки. В них приступы болей, рези и частые позывы. Чьи-то диагнозы-судьбы нажатием на Enter загонялись в память электронного чуда.

В семь - последний пациент по записи. Но, судя по голосам через стену, все стулья в комнате ожидания заняты. В подтверждение этому в дверном проеме, вслед за выходящим пациентом сверкнули две пары коленок.

Так было вчера, и позавчера, и месяц, и год назад. Вот уже больше десяти лет. Поворачивая ключ в замке зажигания, Игорь часто спрашивал себя: как, когда и почему частная клиника, предел мечтаний любого врача, стала кошмаром.

В последние годы работа доктора Ольховского соответствовала термину "каторга" в стиле "Бурлаки на Волге". К концу рабочего дня Игорь, действительно, чувствовал себя бурлаком. С той лишь разницей, что не имел права на сон. Пациенты считали нормальным позвонить ночью- спросить, выяснить, уточнить. На вопрос: "Почему в такой час?!" - отвечали: "А вы не отвечайте. Ответили, значит, я правильно сделал, что позвонил".

Действительно, вырубить бы мобильник, да в дальний угол его! Но нельзя. В частной больнице лежат оперированные. Связь необходима. Без нее нельзя.

Игорь выезжал на работу в семь. Вид людской лавины на колесах, едущей на работу, успокаивал. Хуже вечером. Осознавать, что граждане уже давно вернулись с работы, вывели собак, поужинали и теперь ломают голову: какой канал смотреть по "ящику", особенно тяжело. Иногда, даже невыносимо.

Шай, бухгалтер, тоже свои пять копеек вставляет. Дескать, семьдесят процентов заработка - в налоги. Зачем работать так много и тяжело? А как не работать? Предел мечтаний, ведь. Чтоб его! Но "предел мечтаний" превратился в каток. Полжизни Ольховский толкал его в гору. А теперь бежал впереди, боясь остановиться. При этом жизнь пронеслась мимо как пейзаж за окном несущегося поезда, в котором душно, тесно.

Игорь искал спасения от "настигающего катка". Уменьшал часы приема. Но пациенты являлись без записи, как в гастроном. Сидели и ждали.

- Не смогли записаться. Мы подождем. Может, доктор примет в конце смены. - говорили они.

Принимал. Куда деваться. Не отправишь же людей, приехавших тремя автобусами.

День отпуска тоже не приносил спасения. Пациенты доставали звонками на мобильный. Искренне удивлялись: как это доктор сегодня не в клинике! Выходной проходил в страхе перед грядущими буднями. Страх был ненапряжным. Посещение клиники больными на следующий день выглядело как взятие Бастилии.

Желанная, любимая, ревнивая медицина перестала быть смыслом жизни. Ольховский был зол на нее и еще больше на себя. Лучшие годы прошли в дежурствах, экзаменах, борьбе за клиентуру. И что же теперь? Полтинник, седые виски, давление, радикулит и два стента в коронарных сосудах. Работа с утра до ночи. Большой заработок, от которого, после налогов остается шиш.

Операции тоже опостытели. Операционная начала раздражать. Стоять у стола уже тяжело. Вскидывать потом на каждый звонок: не кровит ли, как анализы и что с катетером - еще тяжелее.

А пациенты все идут и идут. Поток негатива, агрессивности, разочарования. Эти волны надо встречать, как гранитная набережная: красиво, прочно, уверенно. Погасить, распределить, отразить. Почти каждый день пациенты входят, считая себя здоровыми. Лелеют планы на ближайшее и дальнейшее будущее. Получив результаты биопсии, выходят онкологически больными. Где будущее? Где планы? Где мечты? Теперь - облучение или химиотерапия.

Вот и сегодня. Человеку семьдесят. Молодой, по нынешним понятиям. Сделал УЗИ. Метастазы в печени. Случайная находка. Сидит и плачет. Слезы по щекам размазывает. Что скажешь ему? Чем утетишь? Все там будем? Или: помоложе вас умирают?

Утром открыл компьютер. Там все красно от результатов гистологии. Если помечено красным - это рак. Если черным - можно жить. Пока можно. Всех этих "помеченных красным" надо пригласить в клинику. Принять без очереди. Снести возмущенные крики записанных. Сообщить диагноз. Объяснить, что это значит. Сообщиться, объясниться. А он в шоке. Понятное дело. Слушает, не слышит. Только глаза таращит. Завтра припрется без очереди опять. Только с женой и детьми. У каждого негатив. Каждый - волной о набережную - трах! Опять надо погасить, распределить, отразить.

Горько осознавать в пятьдесят, что ошибся в выборе профессии. Сел не в свой поезд. Протиснулся в вагон. Сумел найти место присесть. Сидишь, едешь. Другие завидуют. Жизнь удалась. Только выглянув в окно, понимаешь, что едешь не в своем поезде неизвестно куда. И не просто едешь. Еще и не свое место занимаешь.

Это заключение проросло из глубины сознания недавно. Ольховский понял, что не может дальше быть хорошим врачом. Не осталось жизней умирать с каждым погибающим больным. Не осталось терпения - сопереживать мучениям живых. Кончился позитив - противостоять негативу. Сколько раз он, будучи смертельно уставшим, не мог уснуть, встретив тяжелый клинический случай. Как оперировать после бессонной ночи.

Пациентка рассказала. Много лет назад лежала в крупной столичной клинике. У зав. отделением, академика, умер больной на столе. Доктор отработал свои часы и, на глазах пациентов, облепивших окна, отправился в кинотеатр напротив. Пациенты объявили ему бойкот. Зря! Зря объявили! Вот, кто должен работать в медицине. Спать ночью, невзирая ни на что. А утром, со свежей головой, оперировать дальше. Дальше! Дальше! Дальше!

Игорь часто делился своей бедой с женой, врачом-гистологом. Говорил прямо:

- Я как сапожник. Принесли ботинки - починил. Принесли другие - тоже. Принесли третьи - отказался. Ремонту не подлежат. На выброс.

Виктория понимала. Кивала молча. Старалась на эту тему - как можно меньше. Права. Налоги грабительские. Но на достойное существование хватает. Правда, не остается времени тратить деньги и иметь удовольствие от процесса. Утешала:

- Скопим. Уйдем на пенсию пораньше. Много ли нам надо.

- Утром - сендвич, днем сосиску, вечером - бутерброд с килькой и рюмку водки. - любил повторять Игорь.

Подкопили. Подсобрали. Настроение улучшилось. Надежда дотянуть до пенсии в своем уме и на ногах забрезжила вдалеке.

Светлое будущее пожрал экономический кризис. Солидная сумма в пенсионном фонде обзавелась знаком "минус" спереди или, просто стерлась.

- Никто не виноват. Кризис. Все пострадали. - утешил страховой агент. - Вы же зарабатывали проценты на своих сбережениях. Теперь потеряли. Снова заработаете.

- Правильно. Только потеряно в сто раз больше, чем заработано, уточнил Игорь.

В сто раз. Не восстановить никогда. Никогда!

Пришлось оставить мечту. Закусить удила и - вперед.

Вика из лучших побуждений надавила на секретаршу Игоря - раскидать пациентов на другие дни. Вырвали недельный отпуск. Дольше нельзя. Нельзя-а-а! Если больше недели, можно не возвращаться. Больные вообще не дадут выйти из клиники. Будешь работать до инфаркта или психушки.

Поехали в Москву. Лучше бы не ездили. Повстречались с институтскими друзьями. Те медицину побросали. Сдают помещения в аренду. Налоги - тринадцать процентов. Упакованы. На Мерседесах, Бентли да Ягуарах по Тверской рассекают. Дети за границей учатся. Сами голову ломают, чем заняться и куда отдыхать податься.

Игорь стал молчаливым. Потерял аппетит. В прикроватной тумбочке снотворные появились. Вылетели из Домодедово. Самолет лег на крыло, подставив под иллюминатор загородные дома нуворишей. Погас сигнал "Пристегнуть ремни". Запахло мясной подливкой. Стюардессы покатали между рядов кресел тележки с едой. Игорь получил свой поднос. Горячее даже не открыл.

- Что?! - спросила Вика немного резко.

- Все! Баста! Так продолжаться больше не может. - ответил Игорь тихо.

- Согласна. - Вика осушила пластиковый бокал красного вина. - Что предлагаешь?

- Надо думать.

- Давай, - она нажала красную кнопку вызова.

- Слушаю вас, - стройная девица с волосами, аккуратно собранными в пучок на затылке, склонилась с дежурной улыбкой.

- Два бокала красного вина, - попросила Вика.

- И два водки. Безо льда, пожалуйста, - добавил Игорь.

- Водки нет, - девица подняла тонко выщипанную бровь. - может, виски?

- Пойдет, - ответил Игорь.

Заказ был принесен незамедлительно. Самолет качнуло. Кубики льда стукнули с пластик стаканов.

- Давай пить, а то болтанка может начаться. - Игорь выпил обе порции. Поставил стаканчики один в другой.

- На пособие по безработице мы не потянем. - Виктория посмотрела в иллюминатор. Моя зарплата уходит на погашение квартирной ссуды. Ещё платить и платить, - она отпила вино. - В Москве мы уже чужие. Та,

наша Москва уплыла большим кораблем. В метро толкаться отвыкли. На машине теперь не поездишь. Пробки. ГАИшникам давать надо. Не по нам это все.

- Понимаешь. Не могу я с таким отношением к медицине продолжать в ней работать.
- Я тебя умоляю. Ты уважаемый врач с колоссальным опытом. Пациенты не зря штурмуют вою клинику.

Мы оба знакомы с врачами, которых близко нельзя подпускать к больным.

- Некоторых - так просто - за решетку, причем немедленно.
- Мне плевать на других. Не могу я больше видеть больных. Не могу!
- Смотри в компьютер.
- И слышать их не могу.
- Сам больше говори. Они пусть отвечают: "Да, нет, нет, да".
- Они пьют мою кровь. По капле.
- Сам себя накручиваешь. Будь проще.
- Тебе хорошо. Смотришь в микроскоп. Никаких пациентов. Одни диагнозы.
- Шестьдесят стекол на поднос ложится. А подносы один на другом - в полметра высотой - конструкция.

Вечером глаза закрываю. Многослойный эпителий вижу с малигнизацией.

- Но этот эпителий с тобой не разговаривает. Ничего от тебя не требует. И в претензии к тебе быть не может.
- Что верно, то верно.
- Знаешь, как вспомню, что завтра опять в клинику - дурно становится.
- Поешь. Стынет вон. Закуси. А то с утра водкой по пустым кишкам. Ты что, вообще?
- Помнишь, когда последний раз в театре были?
- Вчера.
- Да, нет. - он махнул рукой. - До этого.
- Лет пять назад. Сам же не хотел. "Гастрольный чёс", "халтура".
- Просто нет сил - куда-то идти, кого-то видеть, кого-то слышать! На необитаемый остров бы - в самый раз.
- Лучше, домик в лесу. Меня берешь с собой.
- Мечты, мечты.
- Представляешь, воздух, утренняя прохлада, роса, щебетание птиц, журчание реки, лес. - Виктория улыбнулась.
- И ни одной рожи вокруг.
- Меня взять обещал.
- Возьму. Слушай. Всю жизнь чего-то добиваемся. Чего? Зачем? По большому счету человеку так мало надо.
- Что, именно, тебе нужно, дорогой? - Виктория допила вино.
- Чтобы мне не компостировали мозги.
- Жизненного пространства?
- Много не надо. Два на два. Но его не нарушать! В него не вторгаться! На него не посягать!
- Это... Это слишком много. Есть дети. Всё не повзрослеют. Есть родители, уже, как дети. Есть друзья и знакомые. Все они жаждут общения с тобой.
- Особенно, твоя мама.
- Мама, это не только твоя проблема.
- Меня это утешает.
- Когда людям не дают, они берут силой.
- Что делать?
- Чернышевский.
- Я серьезно.
- Ты зажрался. - она передала подносы стюардессе. - Живи и радуйся тому, что у тебя есть и тому, что ты сам!
- Думал, мы понимаем друг друга. - Игорь передал стюардессе свой поднос.
- Я все понимаю. Больше, чем Ты думаешь.
- Моя жизненная энергия достойна лучшего применения. А сам я - лучшей участи.
- Нельзя, дорогой, думать только о себе.
- Пятьдесят лет не думал. Все неудобно, да неловко. Положительного героя из себя разыгрывал.
- Убедительно получилось.
- Все. Занавес.

Самолет тряхнуло несколько раз, и начало раскачивать. Зажегся сигнал: "Пристегнуть ремни". Эту же просьбу на трех языках продублировал женский голос по трансляции.

- "По кочкам, по кочкам, по гладенькой дорожечке"...
- "И в ямку бух" - закончил цитату Игорь.
- "В ямку бух" еще рано, дорогой. Вся жизнь впереди. Но учиться заново поздно. И то, что у тебя есть сегодня, не бросают! Не для того мы сидели на помидорах с маслом и лапше. Копейки считали и учились день и ночь, чтобы эти долбаные экзамены сдать.
- Достигли. - Игорь усмехнулся. - Что делать, если это стало невыносимым.
- Не можешь изменить ситуацию. Измени свое отношение к ней. И, знаешь, хватит капризничать. Будь проще. И люди потянутся к тебе! - она надела наушники и уставилась в экран телевизора. Глаза наполнились слезами. - сняла наушники, и, не отрываясь от экрана, спросила очень тихо:

- Что ты предлагаешь?

- Не знаю. Жизнь покажет. Течением вынесет. Мы думаем, что можем влиять на свою судьбу. Но кто-то ее меняет, с нами не посоветовавшись.

Немного помолчали. Потом вспомнили московские похождения. Вздремнули. Разбудила стюардесса. Попросила выпрямить спинки кресел.

Самолет коснулся шасси посадочной полосы. Пассажиры захлопали. Рады, что живы.

Липкая жара ударила в лицо на выходе из аэропорта. Вереница такси медленно ползла к выходу, забирая пассажиров. Через двадцать минут были дома.

Только бы не сорваться, когда теща полезет обниматься. - подумал Игорь, поворачивая ключ в замке. Полезла. Сдержался. Включил мобильный телефон. "В вашей ячейке сто двадцать три новых сообщения", - известил женский голос.

Пациенты жаждут общения. Утром дорого заплачу за отсутствие в клинике. - Игорь швырнул мобильник в кресло и пошел в душ.

В последние годы Ольховский страдал бессонницей. Виной тому бесчисленные суточные дежурства в больнице. В эту ночь почти не сомкнул глаз. Проигрывал в голове сценарий, как утром не явится в клинику. И никогда больше не явится. Не явится. И все. Сама "неявка" выделась ясно. А дальнейшие события развиваться никак не хотели.

В семь пятнадцать утра десяток пациентов уже патрулировали у входа в клинику. Все они явились пораньше - влезть без записи, пока не начался прием. Под конец явятся еще человек десять без записи. Легче их принять, чем отказать. Так и не научился за долгие годы работы отказывать. Раньше одиннадцати вечера дома не видать, - думал Игорь, отвечая на приветствия и открывая клинику.

Трудно работать первый день после отпуска. Правильно сказала одна медсестра:

- Никто так не нуждается в отпуске, как только что из него вернувшийся.

В кошельке еще российские деньги. Перед глазами Тверская-Ямская, а где-то в глубине сознания театральное действие на сцене.

В первый день особенно остро чувствуешь всю несправедливость бытия, нелепость добровольной каторги.

Больные шли плотным потоком. За стеной слышалась перепалка секретарши с напирющими без очереди. Она держала фронт. Молодец.

Ко мне заходят по одному. А каково ей одной против толпы страждущих, - думал Ольховский. - Только не сорваться. Только не наорать на кого-нибудь. Только дотянуть до конца приема.

- Яночка. - позвал он в переговорное устройство.

- Да. - "Мне только спросить", "А мне только рецепт!", "Я уже час жду своей очереди!" - слышалось на фоне.

- Все телефоны - после приема.

- Закончим поздно. Неудобно звонить в такое время.

- Значит, утром. Объясни ситуацию.

- Утром опять будет толпа.

- Ну, придумай что-нибудь.

- Не впервой. - "Я вам сказала, сидите и ждите, как все!" - контратаковала она на кою-то из пациентов.

В десять вечера пробок нет. Быстро ехать опасно. Задержан так, что реакция может подвести. В окнах дома светятся голубые экраны. День ушел и больше не вернется. Усталость и опустошение достигли предельного уровня. Все тело болит. За поздним ужином не только говорить, думать уже нет сил. Даже поставлена виски не помогли уснуть.

С утра давит в висках и болит затылок. Измерить давление времени нет. Надо ехать в клинику. Иначе пробки. Не доберешься.

Яна, секретарь, открыла клинику заранее. И уже закаляла терпение пациентов непринужденной беседой. Ольховский вошел быстрым шагом, бросив "Доброй утро" на ходу.

Он обычно входил стремительно. Чтобы кто-то не схватил за рукав и не прицепился с вопросами.

Пять минут на включение компьютера. Еще пять на получение сообщений. И началось.

Головная боль мешает сосредоточиться. Пациенты, говорящие громко, усиливают страдание. Но плохо слышащие - совсем беда. Повторять несколько раз одно и то же громко, да еще обнаружить, что услышанное не понято - несправедливо, страшно, жестоко.

Через пару часов Игорь ощутил головокружение и тошноту.

- Яночка, стакан воды, не сочти за труд. - сказал он в переговорник.

Женщина вошла со стаканом воды. Только сейчас Ольховский заметил, что она сделала завивку и покрасилась. Они работали вместе уже пятнадцать лет. Утром в толпе больных едва имели возможность сказать:

- Привет. Как дела?

А поздним вечером бежали домой каждый доживать свою жизнь.

- Все в порядке? - спросила она.

- Спал плохо. - Игорь выпил залпом.

- Может, кофе, покрепче?

- Нет. С кофе в туалет начнет гонять. Некогда бегать.

- Слушай, тут одна дама записалась. Говорит не по болезни. По личному делу.

- Я не депутат - по личным делам принимать. Больных вон невпроворот.

- Что делать с ней? Час ждет. Сидит. Не выступает.

- Приму.

В кабинет вошла пожилая женщина. Живой взгляд и умело наложенный макияж льстили ее возрасту.

- Здравствуй, доктор, - она присела и улыбнулась. - У вас много посетителей. Постараюсь быть краткой.

- Слушаю вас. - Игорю было приятно среди толпы страждущих побеседовать с кем-то на отвлеченную тему.

- Я, Светлана Чистая, бывшая активистка партии "Наш дом".

Слово "бывшая" внушало надежду, что пропаганды не будет.

- Недавно мы, целая группа русскоязычных товарищей, вышли из партии.

Игорь чуть не спросил: "Почему?". Но вовремя остановился. Мало ли причин.

- Поведение верхушки не соответствует нашим представлениям о морали. - продолжала женщина.

Я бы сказал короче. - Поймал себя на мысли доктор: "Верхушка аморальна". Но это я, чья жизнь расплывалась по минутам. Я. чье лишнее слово может привести больного к приступу красноречия. Я, чье отставание от графика, вместо тридцати минут, составит час.

- Недавно мы заседали, определяли дальнейший путь. - она поправила прическу.

- И что? - Игорь заметил, что разговор ему интересен.

- Если найдется достойный лидер, к нам присоединятся ещё многие. На ближайших выборах мы сможем баллотироваться отдельным списком.

- В добрый час. - Ольховский взглянул на экран компьютера. Это было знаком, что беседа затянулась.

- Мы перебрали кандидатов, - поспешила продолжить Чистая. - остановились на вас.

- Что-о-о? - Ольховский широко улыбнулся.

- Вас это удивляет?

- Н-нет. - Игорь не покривил душой.

- Вы известный врач, человек с принципами, честлюбивы. Наш.

- Слушайте, - Игорь провел ладонью по лбу. - Я тут с больными не справляюсь.

- Есть много хороших врачей. И совсем немного достойных людей, способных возглавить политическое движение. Вот мои координаты, - дама положила на стол визитную карточку. - Если позволите, я позвоню завтра.

- Всего хорошего. - пробурчал Игорь и прочитал на визитке: "Чистая Светлана Андреевна, ответственный секретарь движения "Мы здесь навсегда".

Еще много пациентов зашли в кабинет. Много диагнозов-приговоров было оглашено в этот день. Но Светлана Чистая с ее бледно-голубыми глазами и элегантно уложенными волосами никак не выходила из головы.

По дороге домой совсем не чувствовалось усталости. Не хотелось есть. Игорь торопился рассказать жене о странном предложении. Анекдот, курьез или добрая шутка. Какая разница.

Виктория третий день болела гриппом. Взять больничный не позволяла годами воспитанная склонность к самопожертвованию ради спасения больных. От просмотра стекол с препаратами жизнь пациентов не зависела. Но хронические: "некому работать" и "как же без меня" заставляли смотреть в микроскоп слезящимися глазами, при этом чихая и кашляя. В тот вечер болезнь достигла кульминации. Вику трясло крупной дрожью. Аспирин не помогал. Разболелись суставы.

- Я. как клиницист, запрещаю тебе завтра идти на работу. - Игорь положил руку ко лбу жены.

- Надо дожить до завтра. - прохрипела она.

- Чаю с медом?

- Пила уже.

Игорь не мог держать в себе предложение Чистой. Присел на край кровати и все рассказал.

- Соглашайся. - Вика пожала плечами. - Тебе же надоело быть врачом.

- Надоело?! Еще не придумано слово, могущее описать мое состояние.

- Чтобы зарегистрироваться на выборах отдельным списком, нужно представить двадцать тысяч подписей в поддержку кандидата.

- Откуда такие познания.

- Газету читаю в обеденный перерыв.

- Если каждый из моих пациентов распишется, соберется гораздо больше. А если их мужья и жены - ого-го.

- Ну ладно. Пошутили и хватит. Похавать - сам что-нибудь, в холодильнике. Я полежу. Ладно? Виски оказался горьким. Ветчина сухой. Помидорный салат безвкусным. Игорь налил стакан чаю с медом и принес жене.

- Вик. - тихо позвал он.

- М-м-м? - отозвалась она, не поворачиваясь.

- Сколько получает член парламента?

- Треть от твоего нетто.

- Не жирно.

- Масса льгот. Поездки бесплатно. Личный автомобиль, водитель. Связи, влияние, внимание, возможности... Если два срока высидишь - пенсия достойная.

- И не надо пациентам в задницу лазить с утра до ночи.

- В задницу лазить придется. Без этого в парламенте делать нечего.

Жестокий будильник разрезал затаившееся утро. Жизнь, расплывавшаяся по минутам началась вновь. Душ, бритва, рубашка, галстук. На кофе - всего пять минут.

- Надеюсь, вчера ты пошутил. - Вика откусила кусочек галеты. Мелкие крошки осыпались на блестящий мрамор столика.

- Зачем встала? К чему этот героизм? Думаешь, кто-то его оценит? Кто-то скажет спасибо? Нет. Наоборот. Сляжешь с пневмонией, скажут: "Дура. Сама виновата. Кто просил ломаться?" И вообще, знаешь, вот мы, каждый из нас, уйдем завтра. На пенсию или в "ямку бух". Ни одна сволочь, ведь, не вспомнит.

- Это не причина уходить с работы, дорогой. Не хочешь за идею, за копейку паши! - она встала и, стуча каблуками, направилась к выходу. Звякнули ключи от машины, взятые Викторией с подставки на трюмо. "Пока", - раздалось, прежде чем хлопнула дверь.

Больные штурмовали кабинет с новой силой. Яна держалась молодцом, хоть и хлюпала носом и чихала.

Свалится с гриппом, вот будет весело. - подумал Ольховский. Он положил перед собой мобильный телефон. Все проверял, не отключен ли. Ему казалось, что сегодня пациенты смотрят на него иначе. С большим доверием. С большей надеждой. А он чувствовал большую ответственность за них и за их семьи. Лица уже не казались столь ненавистными. А голоса не вызывали внутреннего протеста. Он ждал. Очень ждал звонка Чистой.

Телефон зазвонил ровно в двенадцать.

- Да. - поторопился ответить Игорь.

- Доктор Ольховский, здравствуйте. Говорит Светлана Чистая.

- Здравствуйте.

- Итак, вы согласны?

- Да, - выпалил Ольховский и сам удивился столь быстрой реакции.

- Отлично! У меня два радостных сообщения, - она выдержала паузу.

- Я слушаю. - Ольховский знаком отправил за дверь очередного пациента, вошедшего в кабинет.

- Я уже собрала триста подписей в вашу поддержку.

- Так уж и триста?

- Нет. - она рассмеялась. - Не триста. Двести восемьдесят шесть.

- За день?

- Чуть больше. Далеко пойдете.

- И в ямку бух...

- Что, простите?

- Нет. Это я так.

- И вторая новость. Не менее важная. - она снова не торопилась продолжить.

- Да. Яна, я на телефоне. - ответил Ольховский на сигнал переговорного устройства

- Нашелся спонсор, который оплатит регистрационный взнос. Я вас познакомлю.

- Что просит взамен?

- О! Вопрос ребром! Клянусь, вас ждет большая политическая карьера.

Вновь пикнуло переговорное устройство.

- Игорь, меня сейчас убьют. - взмолилась Яна.

- Держись. Важный разговор. Поважнее твоих больных.

- Они твои. Не мои.

- Наши.

- Ладно. Недолго, пожалуйста.

- Не буду вас отвлекать от работы. - продолжала Чистая. - Пока не буду. Я оставлю у Яночки специальный бланк. Начинайте собирать подписи ваших больных. На стене разместим плакат с агитацией. Не возражаете?

- Нет.

- До свидания, товарищ по партии.

Игорь обедал в просторном кафе в десяти минутах езды от клиники. Всегда брал куриный шашлык и салаты. На чай оставлял вдвое больше принятого. Официанты уважали его за это и называли: "господин доктор".

Надо бы и их всех подписать. - выходя, Ольховский спохватился, что забыл заплатить.

- В другой раз. - начальник смены махнул рукой.

Стану членом парламента, вообще платить не придется. - шагая к стоянке машин, он поймал себя на мысли, что даже в Москве, во время отпуска, не был на таком подъеме.

В клинике уже толпился народ. Над красавицей Яной висел небольшой плакат. С него на народ смотрели грустные умные глаза доктора Ольховского. Чуть заметная улыбка, будто намекала: "Я то знаю, где собака зарыта". Снизу наискосок было широко написано: "Партия "Мы здесь навсегда". Голосуйте за доктора Ольховского".

Раздумываясь Яна быстро вписывала данные голосующих и показывала им где расписаться в бланке. Народ все прибывал. Пациенты, явившиеся по записи и без, увидев набитую людьми приемную, впадали в истерику. Но, узнав, что половина здесь расписывается за доктора, бежали за родными и знакомыми. Вели их расписаться.

От боли в груди Вика морщилась и ойкала при кашле.

- Ты, что серьезно, что ли? - спросила она, видя сияющую физиономию мужа. - Или любовницу завел? Если это столь улучшает твоё настроение, я не против. Только без материальных претензий потом.

- Почти две тысячи подписей. - сказал Игорь доверительно понизив голос.

- Что? Ты что рехнулся?

- Попрошу выбирать выражения в разговоре с будущим президентом. - Игорь улыбнулся.

- Так я и думала. - Вика потрогала лоб. - Лучше шизофрения, чем инфаркт. Впрочем, как знать. Ничего. Подлежим. Проходя, она положила руку мужу на плечо.

- Вика, сядь! - Игорь весь напрягся, уставившись в пустую чайную чашку.

Вика молча уселась напротив. Уперла кулачки в подбородок. Ее густые рыжие волосы были спутаны. Почти черные глаза слезились. Кончик носа был красным от насморка.

- Ты... Ты как себя чувствуешь?

- Тебя заклинило? Галлюцинируешь, что ещё в клинике?

- Клиника никуда не убежит.

- Так, так. Интересно.

- Это мой шанс вырваться из этой страшной душной каморки.

- Для чего ты дорогущий кондиционер туда поставил?

- Больше не видеть пациентов. Никогда! Понимаешь? Никогда!

Ее глаза погрузнели, лицо ещё больше осунулось. - Это красивая мечта, дорогой. Не путай её с реальностью. А реальность - это ссуды, которых мы с тобой набрали великое множество. Да, да! Набрали! Ибо нет у нас папы с мамой, что могут отстегнуть на квартиру. Свою квартиру в Москве бесплатно отдали. Теперь она миллион стоит. - Вика отвернулась, сдерживая слезы.

- Мы не можем изменить прошлого.

- Гениально! - она покачала головой.

- Но не использовать этот шанс я не могу. Понимаешь?

- Конечно, понимаю. Кстати, в нашей больнице многие готовы расписаться за тебя. Дерзай. Ох. Хреново мне. Пойду лягу. - она отправилась в спальню.

Игорь еще долго сидел один. Картины из будущей жизни всплывали перед глазами: заседания, голосования, речи, встречи. Теща выплыла из своего угла в качестве жестокой объективной реальности. Прodefилировала на кухню якобы налить чаю. На самом же деле или подслушивала, или почувствовала ветер перемен в семье. В разведку поползла. На наводящие вопросы получила лаконичные ответы и убралась восвояси.

Предвыборное собрание движения "Мы здесь навсегда" проходило в баскетбольном зале недалеко от клиники.

Выйдя к микрофону, Ольховский заметил, что ведет за собой партию, целиком состоящую из своих пациентов. Они улыбались и махали ему, дескать: "Доктор, я здесь. Я за тебя. Я с тобой!"

Видя знакомые лица, Ольховский быстро справился с волнением и произнес главную в своей жизни речь. Говорил о чести и долге перед избирателями. О необходимости поправить личные интересы во благо страны. И закончил необходимостью объединения всех русскоязычных в политическую силу. Овация взорвала душный зал. Люли кричали: "Браво! Мы с тобой! Так держать!" и "Ни шагу назад!" Некоторые плакали то ли от боли, то ли от эмоций.

Настал заветный день выборов. По городу расклеили плакаты с умной улыбкой Ольховского. Надпись поменяли на: "Доктор Игорь Ольховский - наш кандидат, наша надежда!"

Весь день Ольховский провел в штабе движения. С кем-то обнимался. Обещал не забыть. Пожимал чьи-то влажные руки. Пресловутое "по чуть- чуть за близкую победу", начатое утром на голодный желудок после тяжелого дня, свалило с ног. Виктория доставила мужа домой и уложила в постель. Он захрапел задолго до объявления предварительных результатов голосования по телевидению.

Игорь проснулся по привычке в шесть утра. Многолетняя привычка: жизнь по минутам" погнала в душ, потом - рубашка, галстук, кофе.

За столом сидела Виктория с красными от бессонной ночи глазами. Она взглянула на мужа и улыбнулась.

- Поздравляю, дорогой. Пять голосов.

- Что, что, что-о-о? - Ольховский присел напротив. - Ты шутишь. Я собрал больше двадцати тысяч подписей. Это одно место в парламенте.

- Факт остается фактом.

- Где же эти тысячи. Где мои пациенты. Почему не голосовали.

- Дорогой, какой же пациент захочет добровольно лишиться хорошего врача?! Игорек, ты победил на выборах. Поздравляю.

- Ни хрена себе, победа! - он замотал головой, не в силах поверить. - Никто! Никто из такой армии народу! А ты? - он посмотрел в улыбающиеся глаза Виктории.

Я голосовала против.

На что жалуемся

Действующие лица:

С т ё п а - 40 лет, водитель машины скорой помощи; К о л я - 30 лет, врач скорой помощи;
О г у р ц о в а - 45-50 лет, пациентка; А г у т о в а - 40 лет, пациентка; П а ш у т и н - 50-60 лет,
пациент; О л ь г а - 35-38 лет, подруга Коли; С н е г у р о ч к а - 25-30 лет; Л а к о в - 40 лет, хозяин
квартиры; Ж а н н а - 38 лет, хозяйка квартиры, его жена; З а б о л о ц к а я - 60 лет, пациентка;
К о с т я - 40 лет, пациент, однокашник Стёпы; Л е н а - 40 лет, жена Кости, однокашница Степы;
Г о л о с К а т и , диспетчера станции Скорой помощи слышен по трансляции.

На авансцене два стула, стоящие рядом - это салон машины скорой помощи. На левом стуле лежит баранка автомобиля. Сбоку подвешена телефонная трубка рации. В глубине сцены - диван, пара стульев и

стол. Это типовая комната в квартире новостроечного дома. Одни и те же актеры могут играть роли пациентов. Место действия значения не имеет. Время действия - Новогодняя ночь.

Сцена 1

Станция скорой помощи. Слышны объявления по трансляции.

Голос Кати по трансляции. Семнадцатая, семнадцатая, на выезд! Почему еще заявку не забрали?! Доктор Лосев! Коля!

Появляется Коля в (белом халате, с чемоданчиком врача в руке, под мышкой папка с документами, на шее стетоскоп.

Коля (отмахнувшись). Да, взял я заявку! (Подходит к "машине".) Федя еще козла не забил. Нельзя же такую партию оставить. (Разведя руками.) Ка-а-ать, ты же "не первый год замужем".

Голос Кати по трансляции. Я ему покажу козла! Стёпа! Степан!

Голос Стёпы из-за кулис. Катя, не трюнди! Иду я! Иду!

Голос Кати по трансляции. Водитель семнадцатой, срочно на выезд! Время пошло! (Тише.) Погоди, Степан Андреич, я до тебя доберусь!

Появляется Стёпа.

Стёпа. Я второй год до тебя добираюсь. Но тебе врачей подавай. Дура. Что с них возьмешь- то (указывая на Колю.) Ни поговорить, ни выпить. То они в больнице устали, то у них разлад в семье, то зарплата не устраивает. Интеллигенция. Тьфу! Мало платят, садись за баранку - делом займись! (*Садится на левый стул. Берет баранку в руки.. Поворачивает ключ зажигания. Слышно, как, запустился мотор. Коле.*) Чего не садишься, Коль? Заслушался? Давай! Поехали! Тебя больные ждут.

Коля садится на стул рядом.. Ставит чемоданчик. Рядом пристраивает папку с документами.

Коля. Науки тридцать пять. Вход со двора.

Стёпа. Во дворе, небось, снегу навалило. Убирать некому. Все за праздничным столом. Только мы в Новогоднюю ночь... Как идиоты, ей Богу!

Коля. Ладно тебе! Все жребий тянули. Не повезло.

Стёпа. Мне не везет второй год подряд! Вместо того чтобы на даче душой отойти, да водочкой отогреться, катайся по заснеженным улицам. Все гуляют. Ты один трезвый, как дурак. Еще твою кислую рожу всю ночь наблюдать. Интеллигент! Чего стряслось-то? Жена не дала?

Коля. Жена в роддоме на сохранении. Прошлой ночью в больнице дежурил...

Стёпа. Да-а-а. В больнице, конечно, никто не да-а-аст... если не попросишь.

Коля. В больнице некогда...

Стёпа. Теперь это называется "некогда".

Коля. Как маятник: приемный - отделение, отделение - приемный.

Стёпа. (*делает сексуальные покачивания тазом.*) Вперед - назад, туда - обратно.

Коля. Ага. Меня. Всю ночь.

Стёпа. Заплачу сейчас.

Коля. (*махнув рукой.*) Что ты понимаешь?!

Стёпа. Это ты ни хрена не понимаешь! Интеллигенты! Учились, молодость просрали. Теперь за копейки корячитесь.

Коля. Призвание.

Стёпа. В свободное время, небось, книжки читаете, да в театры бегаете.

Коля. Бывает.

Стёпа. Себя изводите. Жизни не видите. Вот ты знаешь, что такое: придти утром на озеро. Лунку просверлить. Сесть. Забросить снасть и почувствовать, как окунь потянет на глубине. А с мороза - горячей картошечки с чесноком под водочку.

Коля. Слушай. Со вчерашнего вечера ни крошки во рту.

Стёпа. Теперь уже подхарчиться негде. Ладно. На станции чаю напьемся. Слышь, доктор, я у Катки большую ампулу выпросил для тещи. Давление у нее. Самую большую... Как это?

Коля. Сульфат магнезия.

Стёпа. Во-во. От давления, ведь, правда?

Коля. Только колоть надо в ягодицу.

Стёпа. Мне еще ее голой задницы не хватало. Хотя, уколоть бы ее надо, только не шприцем, а шпагой. Поскольку ни шприца, ни шпаги не оказалась. Накапал ей в рюмку всю ампулу.

Коля. Ты не понял. От давления магнезию надо колоть.

Стёпа. А если выпить?

Коля. Слабительное.

Стёпа. *(улыбнувшись и мечтательно посмотрев вверх.)* Нормально! Знал бы, снотворного бы добавил.

Коля. Кстати о поносах.

Стёпа. Наш район вышел в передовые?

Коля. Что там за история была на прошлой неделе.

Стёпа. Можно сказать, не история, а история болезни. Ехали с Леной ночью по Гражданскому. Четверо пьяных молодцов тормознули нас. Боковое стекло разбили. Мне по челюсти. Ленку стали вытаскивать. Я под сидение за монтировкой. А ее сменщик, видать на дачу утащил...

Коля. И что?

Стёпа. Инструмента нет. Я их - диагнозом."В машине, - кричу, - больной со смертельной формой поноса! Весь салон обгадил. Даже запах опасен для жизни!" Они ноздрями потянули и врассыпную.

Коля. А запах был?

Стёпа. Я подсуетился.

Коля. Это ты мастер.

Стёпа. Организм такой.

Коля. Шел бы на трактор.

Стёпа. Поговорить не с кем. Скучно. Ишь, снег-то валит и валит. Через пару часов во двор будет не захватить. Ножками пойдешь по сугробам.

Коля. Прорвемся. Врачом это тебе не баранку крутить.

Раздается сигнал рации. Коля поднимает трубку.

Коля. Семнадцатая... Что?! (подпрыгивает на стуле.) - Шутишь?! Не может быть!.. Рано же еще!.. Сколько?.. Три двести? Нормально! Хорошо! Спасибо, Катя! (возвращает трубку на место, шлепает Степу по плечу.) Стёпа! Стё-ё-ёпа! У меня родился сын! Сын, ты понимаешь?! Подарок на Новый Год (приоткрывает дверцу, высовывается наружу, кричит.) Ура-а-а!

Женский голос из-за кулис: Чего безобразничаете? Еще "Скорая помощь" называется. Люди ждут, а они тут под окнами разорались.

Коля. *(высовывается из кабины, машет таксисту).* Эй, друг, тормозни, прижмись *(показывает жест с оттопыренным большим пальцем и мизинцем.)* Есть чего в багажнике - подзаправиться. Не-е-ет! *(мотает головой.)* - Пш-ш-ш-ш-ш *(показывает, как пена вырывается из бутылки шампанского.)*

Мужуина подходит. Вручает Коле бутылку шампанского. Получает деньги. Удаляется.

Стёпа. Пей один. Мысленно с тобой *(вздыхает.)* Эх, пропащая жизнь. Один день в году и то...

Коля. Завтра напьешься *(откупоривает бутылку, не разлив ни капли.)*

Стёпа. Завтра не пить, поправляться надо.

Коля. Ну, за прибавление семейства! *(Выпивает треть бутылки из горлышка,, морицится.)*

Стёпа. Что? Прокисло?

Коля. Я вообще-то не любитель *(смотрит на этикетку бутылки..)*

Стёпа. Не любитель, значит, профессионал *(запускает двигатель.)* Нам еще ехать. Ты пей, а я пока анекдот расскажу, по теме. Слушай. *(Во время рассказа Коля постепенно допивает шампанское.)* Пошел Василий Иванович в школу. Домашнее задание получил - написать сочинение на тему: "Как я провел выходные". Написал. Принес. Учительница вызвала: читай. Читает:

"Проснулись. Дотянули до десяти. Отстояли с Петькой очередь в гастроном. Взяли портвейна бутылку и...". "Нет, нет, нет, - кричит учительница. Это не годится. Так нельзя".

"Но так мы провели выходной", - отвечает Василий Иванович. "Это понятно. Напишите в иносказательной форме". Чтобы не явно, а намеком, обиняками, значит.

Всю ночь Василий Иванович корпел над сочинением. Утром приносит. Читает:

"Проснулись с Петькой. Еле дождались, когда книжный магазин откроется. Очередь длинную отстояли. Купили две книги. Зашли в ближайшую парадную и сразу прочитали. Показалось мало. Пошли, купили еще две газеты. Прочитали до последней строчки прямо у киоска. Ветер, холодно. А настроение хорошее. Душа знаний требует. Хорошо у киоска ребята знакомые очутились. Дали одну книжонку дочитать. Неплохая. Оттуда пошли на рыбалку. Петька место прикормил. Поймали таких жирных рыбин, что до сих пор крючки чистим" *(Пауза.)*

Степа смотрит на Колю. Тот спит, уронив голову на грудь. Степа выглядывает в окно, пытается рассмотреть название улицы и номер дома.

Стёпа. Науки, Науки. Так. Тридцать три, тридцать пять. Приехали *(глушит мотор. Треплет доктора за плечо. Одевает ему на голову меховую шапку.)* Эй, Коля, доктор! Док горевич! Докторидзе! Докторенко! Докторуга! Просыпайся, давай. Квартира двести восемьдесят пять, шестой этаж. *(Шлепает палкой с документами по голове доктора.)* Лифт должен быть. Ну!

Коля. глубоко вздыхает во сне, жуёт губами, поднимает брови, пытаясь открыть глаза, силится проснуться, но обмякает, громко захрапев.

С т ё п а . *(обнимает баранку).* Так. Чего делать будем? Скандал на весь район. С работы полетит. И че? На другую станцию пойдет, Все равно, неприятно. В личном деле накалякают. Не посмотрят, что ребенок родился... Ладно. Прорвемся. *(Стаскивает с Коли белый халат. Надевает. Снимает с шеи Коли стетоскоп. Прилаживает у себя на шею. Смотрится в зеркачко заднего вида. В отчаянии сплевывает. Берет чемоданчик, папку с документами. Выходит из машины.)* Гаснет свет.

Сцена 2

Огурцова, интересная женщина средних лет, полулежит на диване. Ее ноги накрыты пледом Степа входит в белом халате с чемоданчиком и папкой документов в руках На шее стетоскоп. Останавливается, смотрит по сторонам.. Чувствует себя неловко.

О г у р ц о в а . Здравствуйте, доктор *(при слове "доктор" Степа вздрагивает.)* Заходите,

С т ё п а . *(сквозь одышку).* - Лифт у вас не работает.

О г у р ц о в а . Да. Извините, доктор, все никак не починят. Дотянули до праздника. Теперь ищи их, свищи. Садитесь, пожалуйста. Вот стул.

С т ё п а . *(присаживается, ставит чемоданчик на колени).* На что жалуемся? *(Нахмурил брови, почувствует неладное, смотрит в зал, ища подсказки).* Болит, тошнит, рвет, дерет, нос, понос, зудит... пи... пи... пройдет *(Пауза.)*

О г у р ц о в а . Часто бегаю. Иногда не добегаю.

С т ё п а . Зачем бегаете? Я, вот, бегать не могу. Задыхаюсь. Лишний вес *(хлопает себя по животу.)*

О г у р ц о в а . Никуда не годится, доктор. Надо худеть. Я вам диету хорошую порекомендую. А я, вот, бегаю. Как же не бегать, если гоняет?

С т ё п а . Кто гоняет? *(Смотрит по сторонам.)*

О г у р ц о в а . . Я в разводе *(вздыхает.)* Меня уже давно никто не гоняет. *(Пауза.)*

С т ё п а . *(сраздражением).* Не пойму я вас. Так, гоняет или не гоняет.

О г у р ц о в а . Конечно, гоняет.

С т ё п а . Кто?

О г у р ц о в а . Не кто, а что.

С т ё п а . Что?

О г у р ц о в а . Моча.

С т ё п а . Моча это... Это к некрологу. Я больше по поносам специалист. *(Раскрывает папку с бланками.)* Давно это у вас?

О г у р ц о в а . Два дня.

С т ё п а . *(доверительно.)* Два дня это ерунда. У меня тещу по квартире двадцать лет гоняет. Как такси перед глазами туда - сюда, туда - сюда!

О г у р ц о в а . Разменяйтесь.

С т ё п а . Она все надеется, что меня в "скорой" КАМАЗ заплющит. А я, что у нее бензин кончится.

О г у р ц о в а . Живете надеждой.

С т ё п а . Разве это жизнь с ней. У Надьки моей то голова болит, то живот. Все завтра, да отстань! Одно расстройство.

О г у р ц о в а . Не так поняли. Я имела в виду: "Надежда умирает последней".

С т ё п а . Не-е-ет. Последней из всех нас умрет теща! *(Пауза..)* Почему раньше к врачу не пошли? Нового Года ждали?

О г у р ц о в а . Думала, пройдет. Не проходит. Пёки в канале. Когда мочусь, здорово трусит, и ноги покрываются цыпками.

С т ё п а . *(с облегчением вздыхает, улыбается, смотрит в зал. С сознанием дела указывает себе на низ живота. Убедительно кивает. Огурцовой.)* Предварительный диагноз: воспаление мочи.

О г у р ц о в а . Тут Новый Год на носу. *(Степа подходит, осматривает нос Огурцовой.)* Решила не оттягивать.

С т ё п а . *(усмехнувшись).* Оттягивать вредно. Вот Гитлер в казематах Берлина "оттягивал свой конец". *(Пауза.)* И что из этого вышло?

О г у р ц о в а . Врачи, ведь, тоже люди. Могут выпивши оказаться. Знаете...

С т ё п а . *(с вздохом).* Знаю, знаю.

О г у р ц о в а . Решила до Нового Года. Вы на меня не сердитесь?

С т ё п а . *(открывает чемоданчик врача).* Нет... Нет у меня таблеток. Слабительное только. Укол делать не будем. Так ведь?

О г у р ц о в а . Не знаю. Вам виднее. Вы доктор.

С т ё п а . Много пить. Ничего острого. Никаких спиртных напитков. Теплую грелку между ног. В понедельник к участковому врачу *(захлопывает папку.)*

О г у р ц о в а . *(откидывает плед)* Так что, и живот не посмотрите?

С т ё п а . *(испугавшись).* Нет, нет! Что вы?!

О г у р ц о в а . Да, понимаю. Врачебный опыт. Диагноз ясен без осмотра.

С т ё п а . Руки холодные с мороза. Могу вам кишки простудить.

О г у р ц о в а . Говорят, скоро диагнозы будут на расстоянии ставить.

С т ё п а . Врачам не придется ездить по домам.

О г у р ц о в а . Жаль.

С т ё п а . С грелкой между ног поосторожнее.
О г у р ц о в а . Что это значит?
С т ё п а . Чтобы не лопнула или не протекла. Знаете, у нас один сильный обжог получил. Жена ацетон в унитаз вылила. А он сел, папиросу выкурил, и - в унитаз. Фейерверк, пёки на коки себе устроил. *(Пауза.)*
О г у р ц о в а . Ужас какой! Мне даже в туалет расхотелось. И рези прошли. 246
С т ё п а . Видите, "гоны" и "рези" прошли. С "пёками" к участковому завтра. Рентген мочи сделаете.
О г у р ц о в а . Вы такой душевный.
С т ё п а . Я не психиатр, я... я тороплю. Тороплюсь я.
О г у р ц о в а . . Поговорите со мной. Отогрейтесь. Здорово как рассказываете. Коротко, а сколько информации. Сразу видно: скорая помощь. Мне, действительно, лучше.
С т ё п а . Я пойду. Вызовы... вызова... В общем, ждут меня еще.
О г у р ц о в а . Спасибо, доктор. И с Новым Годом вас! До свидания! *(Гаснет свет.)*

Сцена 3

На авансцене два стула *(машина "Скорой помощи")*. Коля храпит, развалившись на стуле. Степа появляется счастливый, окрыленный успехом. Глубоко вздыхает, взмахивает кулаком, как футболист, забивший гол. Подходит. Садится в машину. Запускает двигатель. Берет трубку рации.

С т ё п а . Шестнадцатая? Шестнадцатая. Катя? Спишь, что ли?!
Г о л о с К а т и из рации (похоже на голос по трансляции). Шестнадцатая слушает.
С т ё п а . *(улыбнувшись)*. У кого это ты шестнадцатая?
Г о л о с К а т и . Не у тебя, дурак!
С т ё п а . Я не дурак. Я. между прочем... между прочем... водитель скорой помощи.
Г о л о с К а т и . Ты че, пьяный что ли?
С т ё п а . Мы на смене. Нам *(смотрит на Колю)* нельзя. Чем болтать, принимай отзвон с Науки, тридцать три. Острое воспаление мочи. На месте.
Г о л о с К а т и . Повторное?
С т ё п а . Неповторимое.
Г о л о с К а т и . Почему Коля не докладывает?
С т ё п а . Охрип твой Коля. Знаками объясняется.
Г о л о с К а т и . Денежными?
С т ё п а . Завидуешь? Дура ты, Катя, одно слово "шестнадцатая"!
Г о л о с К а т и . Как это он тебе "воспаление мочи" знаками передал.
С т ё п а . На станции покажу.
Г о л о с К а т и . Небось, от мороза скукожилось все. *(Пауза.)*
С т ё п а . Очки наденешь.
Г о л о с К а т и . Ладно. Записывай. Лермонтовский 30, квартира 6.
С т ё п а . *(с вздохом)* Принято. *(Вешает трубку рации на место. Коле.)*
Дрыхнешь, гад! *(Пытается его растолкать. Коля бурчит что-то невнятное. Вяло отстраняется. Снова обмякает, храпит. После короткой паузы Степа решает продолжить свои попытки разбудить Колю. Хватает его за грудки. Собирается трясти. Замечает, что держит лацканы. Разглаживает и расправляет их, сна^гла на Коле, потом на себе. Обнимает баранку. С мечтательной улыбкой смотрит в зал.)* Поспи еще. Проспись. Меня на Лермонтовском тридцать ждут. Очень ждут! *(Гаснет свет. Слышны звуки городской улицы. Веселые крики прохожих)*

Сцена 4

На диване лежит Агатова. полная женщина средних лет, с влажным полотенцем на лбу. Входит Стёпа в облиии доктора. Осматривается.

С т ё п а . Здравствуйте. В... Врача вызывали?
А г а т о в а . В затылке набрикает, в висках техкает, перед глазами - гулочки. Давление у меня!
С т ё п а . Та-а-ак *(с облегчением вздыхает, смотрит в зал, улыбается, знаками показывает, как смазал бы спиртом ягодицу пациентки, и сделал бы укол.)*
А г а т о в а . А как же не быть давлению, если муж от меня то на работу, то на рыбалку.
С т ё п а . *(вздрагивает при слове "рыбачка")*. Так, так, так. Та-а-ак! С этого места поподробнее! *(Подходит к^краю сцены, повторяет, будто вспоминая.)* "Рыбалка - бухалка. Жена - не нужна. Муж не дюж, жену поутюжь" *(Пауза.)*
А г а т о в а . Что вас интересует?
С т ё п а . Кем работает?
А г а т о в а . Водителем.
С т ё п а . *(оживившись)*. Я тоже... вот... с шофером катаюсь.
А г а т о в а . Нет. Он водитель метро.
С т ё п а . Метро другое дело. В снегу не забуксуешь, колесо не проколешь. Старухи под колеса не лезут. ГАИшников нет. Жаль, курить нельзя.
А г а т о в а . Работает в ночную смену. А утром выспится и бегом на рыбалку.
С т ё п а . И что?

Агатов а. А то! Я думаю, это не рыбалка, а с какой-нибудь стерлядь ю обнималка. А у меня вот сто шестьдесят на девяносто!

Стёпа. Сами измеряете?

Агатов а. Пока вас дож десья околет ь можно.

Стёпа. Тяжелый случай. Измерьте мне тоже (освобождает руку.)

Агатов а. *(ловко накладывает манжету, измеряет ему кровяное давление, вышимае т из ушей стетоскоп.)* Сто сорок на сто. Затылок не болит?

Стёпа. Бывает, когда в бане об косяк...

Агатов а. *(подходит к столу, подает Степе таблетку).* Вот. Импортное. Один раз перед сном. Держите. Можете прямо сейчас.

Стёпа. Спасибо. Меня теща лечит отрав ами, то ест ь отварами. *(Пауза.)* А у вас тяжелый с ту чай *(показывает на тонометр.)* Баллоны перекачены.

Агатов а. В больницу не поеду! Там одни старики *(поправляет волосы)* И как я мужа оставлю с этой стерлядь ю.

Стёпа. Что вы, женщины понимаете?! *(Шлепает папкой по столу или тумбочке.)* Как можно променять рыбалку на "с женой в кровати валялку"?!

Агатов а. И вы туда же! А еще доктор, интеллигент ный человек!

Стёпа. Ложитесь!

Агатов а. Что-о-о?!

Стёпа. Закрывайте глаза и слушайте. Сеанс гипноза. *(Расхаживая по комнате.)* Раннее утро. Белый туман.

Агатов а. *(кивнув).* Похож на обман.

Стёпа. Вода темная, гладкая.

Агатов а. Он светлых любит.

Стёпа. Донки уже заброшены.

Агатов а. Жены по домам сидят, как дуры!

Стёпа. Колокольчики молчат.

Агатов а. Кто ж на кровать колокольчики вешает?! *(Пауза.)*

Стёпа. Ни одна "стерлядь" наживки не касается.

Агатов а. Как же?! Им только дай! Заглотят! *(Пауза.)*

Стёпа. Зябко. Тихо. Костерочек. Васька всегда умеет с первой спички, даже если дождь. Привезти котелок - это Пашкина обязанность. Однажды забыл. Мы его чуть не убили. Вода закипает медленно, тягуче. Самое время достать нож и открыть братскую могилу.

Агатов а. Групповуха, что ли?! *(Пауза.)*

Стёпа. Братская могила – это килечки в томате. Ножом их под брюшко, да на хлебушек. Не просто, а чтобы на краешек. А рядом... Рядом ма-а-аленький маринованный огурчик. Катька, Сашкина жена маринует. А он таскает потихоньку из банки. Еще не все. В воде у нас что?

Агатов а. Рыба.

Стёпа. Правильно. Но рыба не у нас. Она, собака, не клюет. А у нас в воде бутылек затаился. Мы его цап из воды. Попа-а-ался, голубчик!

Агатов а. *(с вздохом).* Я так и знала.

Стёпа. Открыва-а-ааем и в кружки. По чуть-чуть. Слышите. Это как поплавок, когда клюет: "По чуть-чуть, по чуть-чуть". По глоточку. И такое тепло, такое счастье-то по кишкам. И вот тут то, двумя пальчиками берешь и в рот *(показывает.)*

Агатов а. Как вам не стыдно! А еще доктор!

Стёпа. Вы правы. Не двумя. Тремя. Двумя держишь бутерброд, а средним придерживаешь огурчик и о-о-о-п ля!

Агатов а. Ой, слушайте *(в сердцах отбрасывает мокрое полотенце.)* У меня от вашего рассказа аж голова прошла. Зато кишки забурлили. Я ему сейчас, наконец-то, изменю. Пойдемте!

Стёпа. Э-э-э, гражданочка, Я вам не шаровая опора на замену.

Агатов а. На кухню! Я его макароны с колбасой пожарю. Вместе съедем! А то сил уже никаких! *(Выходят. Слышен треск, горячей сковородки, на которой что-то жарится. Одобрительные возгласы, которые слышатся, как, сексуальные.)*

Сцена 5

Стёпа сидит в машине рядом со спящим Колей.. Смотрит на него, собирается разбудить, но останавливается. Оставляет его в покое. Говорит в трубку рации.

Стёпа. Шестнадцатая? Шестнадцатая? Ответьте семнадцатой. *(Слышны отдаленные крики "Ура", шум празднику. На фоне звучит грустная музыка.. Она не соответствует радостным возгласам).*

Голос Кати. *(чувствуется веселье, на станции тоже звон бокалов и оживленные возгласы).*

Говори, Стёпа. Стёпа. Что за шум? Голос Кати. Старый Год провожаем. Стёпа. *(грустно).*

Извини, помешал. Голос Кати. Да, ладно, чего там! Стёпа. Отзвон прими. Голос Кати. Давай.

Стёпа. С Лермонтовского тридцать. Голос Кати. Да.

Стёпа. Гипертрахический кризис. Половая недостаточность.

Голос Кати. Пол, что ли забыли настелить?

Стёпа. Линолеум у них.

Голос Кати. Что еще?

С т ё п а. Голодный психоз, острая фраза.
Г о л о с К а т и. Рецидивирующий.
С т ё п а. Да. Псих-рецидивист на почве голодания. На месте. Г о л о с К а т и. Чем лечили?
С е д а ц и е й?
С т ё п а. Да. Седацией. Сели на кухне. Дали по Макаронам с колбасой. Г о л о с К а т и. Ладно.
З а п и с ы в а й.
С т ё п а. Хоть бы часок передышки дала, Кать. Совести у тебя нет. Г о л о с К а т и. Нет передышки,
С т ё п а. Загнется кто-нибудь от инфаркта. Вам же по шапке будет. С т ё п а. Ладно. Давай.
Г о л о с К а т и. Бутлерова пятнадцать, квартира пять. С т ё п а. Принял (*возвращает трубку рации на место.*)

Сцена 6

На диване сидит Пашутин. мужчина среднелет. Рядом маленький стол или тумбочку. На ней лекарства. Слышен звонок, в дверь.

Г о л о с С т ё п ы. Здравствуйте. Доктора вызывали? Ж е н с к и й г о л о с (*возмущенно.*) Еще в прошлом году. Помереть можно, не дождавшись!

Г о л о с С т ё п ы. . . Врачей мало. Делаем все возможное. Ж е н с к и й г о л о с. Пальто вешайте. В дальнюю комнату. Появляется Степа.

С т ё п а. Здравствуйте. "Скорую" вызывали? П а ш у т и н. Новый Год. А у нас телевизор полетел. С т ё п а. На Старый Год "Огонек" повторять будут.

П а ш у т и н. И то верно. Надо бы Деда Мороза, а я "скорую". С Новым Годом, доктор. Извините, что не вовремя. Присаживайтесь.

С т ё п а. (присаживается на стул). На что жалуемся?

П а ш у т и н. (постукивая пальцем по груди). Мотор барахлит.

С т ё п а. (оживившись). Так, так, так. (Открывает папку, записывает.) Что? Глохнет? Пашутин. Бывает.

С т ё п а. Масло ест?

Женский голос из-за кулис (на фоне гремят кастрюли). Он без масла не может. Всё ест с хлебом. А на хлеб масло намазывает.

П а ш у т и н (повысив голос). Даша. Не мешай, пожалуйста. Оставь нас с доктором.

С т ё п а. Техосмотр давно проходили?

П а ш у т и н. Техосмотр? Да. Вон кардиограмма на столе.

С т ё п а. Хорошо (*разворачивает ленточку кардиограммы, пытается понять, где верх, где низ.*) О-о. Да, да, да. Ну, ну. Та-ак. Ух ты! Да-а! (Протягивает ленточку между пальцев, вглядываясь в линию.) Н-да. Не очень. Но, ничего (*сворачивает ленточку, кладет на стол*) Капот поднимите.

Пашутин откидывает одеяло или плед, поднимает майку.

С т ё п а. (*приставляет стетоскоп к его груди*). Клапана стучат.

П а ш у т и н. Митральный не в порядке. Вы не вставили стетоскоп в уши.

С т ё п а. Зачем? И так слышно. Менять не думали?

П а ш у т и н. Операция серьезная. Боюсь.

С т ё п а. (*глядя в потолок*). Да. Весь движок надо разобрать, чтобы до клапанов добраться. Аккумулятор менять? (*пытается нащупать пульс на запястье Пашутина.*)

П а ш у т и н. Аккумулятор? Аккумулятор на кухне вон, посуду моет. Менять его уже поздно. Степа (*удивленно указывая за кулисы*). Аккумулятор?

П а ш у т и н. (*кивая*). Ак-ку-му-ля-тор! Мои зарплаты аккумулирует. Выдает по капле.

С т ё п а. А, это тогда не аккумулятор, карбюратор. Он топливо прысь, прысь, когда и куда надо.

П а ш у т и н. Точно!

С т ё п а. Коленчатый вал не подводит?

П а ш у т и н. Есть такое дело. К дождю колени болят. С ног валюсь. Вот и получается "вал коленчатый".
(Пауза.)

С т ё п а. Прокладки меняете?

П а ш у т и н. Прокладки мой аккумулятор использует. Реактивы подтекают. (Пауза.) Мне пока не надо.

С т ё п а. Что с цилиндром?

П а ш у т и н. Цилиндр? Цилиндр есть (*указывает на маленькое ведерко рядом с диваном.*) Это с утра. На анализ не годится.

С т ё п а. Свечи меняли?

П а ш у т и н. (*доверительно понизив голос*). У меня только одна... Никуда уже не годится. Замене, к сожалению, не подлежит. Благо дело, аккумулятор не в претензии. Сцепление, знаете.

(Пауза..)

С т ё п а. Может, поршень отказал?

П а ш у т и н. Определенно. Бегаю каждый час, а хожу только раз в неделю.

С т ё п а. Я Вам дам одну ампулу выпить. Сразу просифонит. П а ш у т и н. *(смотрит в ведерко).*

Аккумулятор заряжается. С т ё п а. Ничего. Пусть аккумулирует. А как насчет реле? П а ш у т и н. Реле? *(Трогает лицо.)* Рыле опухает. Как мочегонное забуду принять, утром смотреть жутко. *(Пауза.)* С т ё п а. Как с ходовой?

П а ш у т и н. Одни воспоминания. Болезни, таблетки, возраст. Давно уже не "ходок". Тридцать лет в один гараж въезжаю *(кивает за кулисы.)* И то могу заглохнуть по дороге. *(Пауза.)* С т ё п а. Ручной газ не пробовали?

П а ш у т и н. *(понижив голос).* А что, медицина рекомендует? С т ё п а. Не исключает.

П а ш у т и н. Знаете, доктор, мне полегчало. Даже укол не нужен. Отпустило *(поглаживает грудь.)* Вот что значит, хороший врач!

С т ё п а. Ну и ладошки. Поеду на следующий вызов. *(Кладет бумаги в папку, встает, собираясь уходить.)* Последнее. Зима. Надо бы тормозную жидкость...

П а ш у т и н. *(хлопнув в ладоши).* О! Точно! Как же я забыл! Тормозните. Доктор. Даша, принеси нам водочки и закусь! *(Гаснет свет.)*

Сцена 7

На авансцене два стула - машина "Скорой помощи". Спящий Коля ворочается, ища удобного положения, жуёт губами, чавкает. Появляется Стёпа. Медленно идет к машине. Ему навстречу выбегает снегурочка.

Снегурочка. *(кричит).* Помогите! Спасите! Скорая! Доктор! *(Поскальзывается.)*

С т ё п а. *(удерживает ее, чтобы не упала).* Что ж ты, голубушка, на тормоз-то жмешь в такую погоду. На оленях лучше...

Снегурочка. Доктор, спасите! Умоляю! Пожалуйста! *(Трясет Стёпу за плечи.)*

С т ё п а. *(указывает на Колю).* Да я тут...

Снегурочка. *(задыхаясь).* Последний вызов! В этом доме! *(указывает за кулисы)* Последний! А Сашка перебрал. Дед Мороз хренов! Добудиться не могу. Не одной же идти. Да и боязно.

С т ё п а. Ясно. Тащи шубу, шапку. Только быстро.

Снегурочка. Спасибоочки! *(Целует Стёпу. На его щеке остается помадный след. Снегурочка убегает.)*

С т ё п а. *(к залу).* Дедом Морозом еще полбеда. Вот звездой на елке не смогу. Нет. Геморрой у меня. *(Пауза.)*

Появляется Снегурочка с шубой Деда Мороза. Помогает Стёпе одеться. Это должно выглядеть смешно. В завершение напяливает на Стёпу шапку с бородой..

Снегурочка. Надо бы валенки стащить. Да Сашка ноги отморожит. Козел! *(Махнув рукой.)* Сойдет. Бери мешок. Пошли! *(Начинают идти вокруг сцены.)*

Снегурочка. Слушай, доктор *(семенит рядом мелкими шажками, чтобы не поскользнуться.)*

С т ё п а. *(басом).* Что, внученька, умелая рученька?

Снегурочка. Ты клиентов заболтай. А я в туалет юркну. Не могу больше. С прошлого года терплю.

С т ё п а. Чего терпела-то?

Снегурочка. Снегурочка. Не на снегу же.

С т ё п а. Зачем на снегу. Не собака ведь.

Снегурочка. При чем здесь собака. Вот дурной-то!

С т ё п а. Знаешь, теща моя на дачу явится, простынет и начитает под каждым кустом. Ну, как собака, ей Б-гу. Территорию метит. *(Пауза.)* Ты тоже, зашла в квартиру. Попросись в туалет.

Снегурочка. Ага. Детишки думают, Снегурочка из снега. А она пошла - им в туалете нагадила. Сказку испортила на всю жизнь.

С т ё п а. Надо Снегурочкам памперсы выдавать.

Снегурочка. Холодно. Мороз. Наденешь, потом не снимешь.

С т ё п а. И то верно. Ладно. Отобьемся. Чего говорить-то надо?

Снегурочка. Какая разница. Дети спят наверняка. Родители вдетые. Зайдем, подарки вручим. Все. Да. С подарками конфуз случился. Сашка мешок с подарками как гигиенический пакет использовал. Ну, как у вас, врачебная ошибка.

С т ё п а. Преступная халатность. Вот сволочь а! *(Продолжает нести мешок с подарками, брезгливо отстраняя от себя.)*

Снегурочка. Очень надеюсь, что он не использовал мешок как памперс.

С т ё п а. Это уже не важно. А что в мешке то?

Снегурочка. Заяц и медвежонок.

С т ё п а. Не повезло им.

Снегурочка. Сашка - собака еще на мешок уселся. Медвежонку башку свернул. С т ё п а. Вывих шейных позвонков. В Пьяную травму надо везти.

Снегурочка. Слышь. "Скорая", но подарки вручить надо. Понимаешь, надо. И все!

С т ё п а. Вручим. Мы на "Скорой" не из таких переделок выбирались.

Недавно вот четверо хулиганов напали. Ночью. Водитель мой от страха обделался. А я им так наkostenялял, что разбежались в разные стороны. Только пятки сверкали.

Снегурочка. Как это пятки могут ночью сверкать?

Стёпа. В мы им вслед фарами осветили.

Снегурочка. (переминаясь с ноги на ногу). Ой, пошли, слушай. Не могу больше. *(Уходят. Гаснет свет).*

Сцена 8

На сцене стол, четыре стула вокруг. На столе выпивка и закуска. За столом Лаков, мужчина средних лет, в майке или футболке и трикотажных штанах, изрядно выпивший. Рядом его жена, Жанна, женщина средних лет. Ее праздничные одежда и прическа истрепались. Она тоже пьяна, но меньше. Раздается звонок в дверь.

Лаков. *(кричит пьяным, голосом).* Открыто!

Жанна. *(одергивает его)* Ш-ш-ш! Тише ты! Дети спят!

Лаков. А. Да. Да. *(Хриплым, шепотом..)* Не заперто. Не заперто. Не заперто!

Входят Стёпа и Снегурочка.

Стёпа. *(клянясь в пояс).* С Новым Годом поздравляем!

Снегурочка. *(кланяясь в пояс).* Счастья, радости желаем!

Стёпа. И пока спать не легли...

Снегурочка. Вам подарки принесли *(выкладывает на стол плюшевых медвежонка и зайца.)*

Лаков. *(пьяным, голосом),* А почему у них такой помятый вид?

Жанна. И чем они так воняют?

Снегурочка убегает за кулисы

Стёпа. *(авторитетно).* Понимаете, Новый Год. Они сами напились и облевались.

Лаков. *(нюхает у зайца между ног. Слышно, как, снегурочка мочится в туалете и спускает воду).* И обоссались. *(Понимаяще кивнув.)* Перебор. Бывает. Утром за пивком сгоняем. И все будет в ажуре. *(Повысив голос).* А теперь, ответная р-р-рэч! *(Встает в позу чтеца.)* Итак. Внимание.

Появляется счастливо улыбающаяся Снегурочка.

Снегурочка. *(Стёпе на ухо).* Не бойся. Он долго не протянет.

Лаков. Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты!

Жанна. *(машетруками).* Тише! Тише! Дети спят!

Лаков. Ты подарки нам принес, пидар-р-рас проклятый?! *(Указывает пальцем на игрушки на столе, хохочет, согнувшись пополам.)*

Стёпа. *(обнимая Снегурочку).* Праздник удался! Поцелуемся, внученька! 254

Снегурочка. *(отстраняясь).* Курить хочу. И во рту как кошки нагадили.

Лаков. *(подходит с двумя стаканами водки в руках, вручает Стёпе и Снегурочке, поворачивается и берет третий стакан).* На посошок!

Стёпа. Не, не. Мы на работе.

Лаков. Да какая это работа. Удовольствие одно. Сказка! Ну, давай. Мы рождены, хоть нас и не спросили!

Снегурочка. *(Стёпе).* Скорее выпьешь, скорее выйдешь. Упустишь момент, придется хором петь.

Стёпа и Снегурочка выпивают. Лаков выпивает, крикает, занюхивает зайцем *(нюхает у зайца между ног).* Подходит с бутылкой водки, наполняет стаканы.

Лаков. Еще по одной, и споем на четыре голоса!

Стёпа. Нет. Нет. Мы пойдем *(направляется к двери.)*

Лаков. *(кричит).* Стоя-а-ать! А кто ж вас пустит?! *(Расплывается в улыбке.)* Снегурочка. *(Стёпе).* Держи себя в руках. А то он тебе бороду на одно место наматает.

Стёпа. Пусть сначала найдет.

Снегурочка. Все в интеллект ушло? Интеллигенция!

Стёпа. *(указывая за кулисы.)* У меня там шофер замерзает в кабине!

Лаков. О! *(взмахнув пальцем как дирижерской палочкой.)* У том, как в степи ямщик замерзал. Давай!

Снегурочка. *(запевает).* Степь, да степь круго-о-ом. Путь далек лежи-и-ит... *(Все четверо хором)* Там в степи-и глухой за-амерза-ал ямщик. *(Продолжают петь.)*

Лаков. *(размазывая слезы счастья по лицу).* Праздник удался!

Жанна. Идите. Спасибо! С Новым Годом!

Сцена 9

На сцене машина "Скорой". Коля продолжает спать внутри. Появляются Стёпа и Снегурочка, перемещаются на край сцены. Ёжатся на холодном ветру. Освещение создает иллюзию снегопада.

Снегурочка. *(стаскивает шубу со Стёпы).* Спасибо тебе! Выручил.

Стёпа. Да, чего там...

Снегурочка. Держись. До утра далеко еще.
Стёпа. Слышь, а ты в жизни-то кем работаешь?
Снегурочка. Пескоструйщица.
Стёпа. *(указывая за кулисы)*. Это я слышал.
Снегурочка. Дурак ты! Фасады домов песком чистим. Под напором.
Стёпа. А зовут тебя как?
Снегурочка. До утра я Снегурочка. Прощай, Дедушка, борода из ваты *(уходит)*.
Стёпа забирается в кабину "Скорой". Коля бурчит что-то невнятное и отворачивается.

Стёпа. *(в трубку рации)*. Шестнадцатая? Шестнад... Стоп. Что там было-то у меня? Ямщик, туалет, нет, это халтура подвернулась. А что? Да. Мужик с "мотором". Как это у них называется?!

Голос Кати. Шестнадцатая слушает.

Стёпа. С Бутлерова пятнадцать. Стоно-кадрья.

Голос Кати. На месте?

Стёпа. На месте.

Голос Кати. Записывай...

Стёпа. Жопа ты, Катя!

Голос Кати. На себя посмотри. Зарплату получаете? Работайте, давайте! Полуостровский двадцать пять. Квартира тридцать.

Стёпа. *(посмотрев на часы)*. Тьфу!

Голос Кати. Не "тьфу". А принял. Все!

Стёпа. *(запускает двигатель. Крутит баранку. Едет. Говорит сам себе)*. Три часа ночи. Ненавижу. Самое хреновое время. *(Достает листок, бумаги из кармана Коли. Разворачивает. Читает.)* Уже не ночь. Еще не утро. Глаза закрываются и слезятся. Пощадь просят. Затекает спина. От усталости тошнит и кружится голова. Тело становится беззащитным перед холодом. Язык заплетается и отказывает память. Голод перемешивается с отвращением к еде. Кажется, ночь не кончится никогда. *(Достает авторучку. Дописывает, диктуя вслух.)* И очень, очень, очень! Ну, невозможно хочется курить! Нет! *(Зачеркивает. Пишет и диктует.)* Курить хочется так, что можно просто ох... *(продолжение шепчет и дописывает. Ставит точку. Складывает листок. Возвращает в карман Коли.)* Вот, примерно, так. *(Толкает локтем храпящего Колю.)* Да, не храпи ж ты так! Имей же совесть. Интеллигенция!

Сцена 10

В комнате стол, на нем электрический чайник и пара чашек. На диване лежит Ольга, молодая стройная женщина. Она голая. На голове шапочка снегурочки.. Рядом плед или тонкое покрывало. Темно. Слышен скрип двери.

Голос Стёпы. *(тихо)*. Есть кто живой? *(В слабом свете видно как, Стёпа пробирается в комнату.)*

Голос Ольги. *(страстно)*. Ныряй!

Стёпа. Здесь что, бассейн?

Голос Ольги. Прорубь!

Стёпа. Я плавать не умею.

Голос Ольги. Зато долбить мастер! *(Внезапно зажигается свет. Ольга лежит голая с распростертыми объятиями.)* С Новым Годом, любимый!

Стёпа жмурится от внезапно зажженного света.

Ольга. *(накрывается покрывалом. На лице ее ужас. Хриплым голосом)*. Ты кто-о?

Стёпа. Я - Дед Мороз. Переоделся в доктора только что.

Ольга. Я закричу!

Стёпа. Кричи: а-а-а! Я горло посмотрю. *(Ставит чемоданчик на пол.)* - На что жалуемся?

Ольга. Где Коля?!

Стёпа. Я за него.

Ольга. *(изумленно качает головой)*. Вы за него быть не м-м-ожете!

Стёпа. *(обиженно)*. Это еще почему?

Ольга. Я узнавала. Он на смене. На этой машине *(кивает в сторону)*. Ехал ко мне. Ошибка исключена!

Стёпа. Ну, знаете, бывает, вызов передают другой бригаде. *(Присаживается на стул рядом.)* Так, я вас слушаю. На что жалуемся?

Ольга. Что-то случилось. Вы скрываете от меня! Говорите!

Стёпа. Ничего не случилось. Стойте. Случилось. Конечно же, случилось! У него утром родился сын!

Ольга. *(разочарованно)* Сын... Отвернитесь. Я оденусь. *(Стёпа встает, отворачивается. Ольга надевает халат.)* Можно *(закуривает, руки ее трясутся. Пожав плечами, грустно.)* Сын. Какое счастье. Мне надо было его подловить раньше. Раньше ее. Все не решалась. Поддалась на его уговоры: "Да потом, да не сейчас, да уйду от нее"... А сам на двух свадьбах плясал, одновременно. *(Пауза.)* Сама во всем виновата. Кофе хотите?

Стёпа. Да.

О л ь г а. *(тихо, сдерживая слезы, кивнув в сторону стола).* Пошли.

Присаживаются у стола.

О л ь г а. *(тушит сигарету в пепельнице. Кладет растворимый кофе в чашки).* Сахар положить?

С т ё п а. Две.

О л ь г а. Вы, наверное, голодный. У меня салат вот. Оливье новогодний. Будете?

С т ё п а. Спасибо. Я на диете.

О л ь г а. Я тоже. Для него старалась. Он любит с зеленым горошком. *(Наливает воду из чайника в чашки..)*

С т ё п а. Не знаю, чем утешить вас...

О л ь г а. Посидите со мной. Мне очень плохо. *(Пауза.)* Думала, встретим Новый Год. Не приехал. Даже не позвонил.

С т ё п а. Работа...

О л ь г а. Да. Работа, конечно важнее. Вам же больных спасать надо. А вас кто спасет? Бегаете по вызовам. Ни тебе денег, ни тебе спасибо.

С т ё п а. *(с гордостью).* Призвание.

О л ь г а. В кои веки договорились Новый Год вместе. Полчаса всего, но вместе. Нет. Не вышло. Не положено нам...

С т ё п а. Будут праздники еще...

О л ь г а. Шампанское сама открыла. Вылилось пеной. Ничего почти не осталось. Пейте кофе. Остынет. Курите, если хотите. *(Пауза.)* Меня зовут Ольга.

С т ё п а. А я - Степан. С Новым Годом, Ольга. С новым... *(пожав плечами)* счастьем.

О л ь г а. С Новым Годом. *(Пауза..)* С т ё п а. Мне надо идти. Водитель мерзнет там

один. О л ь г а. Стёпа, могу я вас попросить о чем-то? С т ё п а. Конечно.

О л ь г а. Я хочу изменить ему... с вами. Нет, не подумайте, что я... Просто хочу отомстить.

С т ё п а. Зря вы так, Оля. О л ь г а. Совсем не нравлюсь вам, доктор? С т ё п а

а. Ты красивая. Очень. О л ь г а. Так, в чем же дело?

С т ё п а. Не знаю как тебе, а мне не за что мстить своей жене. Хоть она иногда и ведет себя как настоящая стерва.

О л ь г а. Вот, за это и отомстите. И еще за будущие обиды. Авансом. С т ё п а. Водитель замёрзнет. О

л ь г а. Не успеет. Мы быстро.

С т ё п а. Знаешь, я не мстительный. Я, вообще, добрый. Мягкий. Мягкий

я.

О л ь г а. Понимаю. Бобик не гавкает *(встает со стула.)* С мягким, конечно не отомстишь. Не повезло.

(Пауза..) С т ё п а. А мы уже отомстили. О л ь г а. Вот как. Не заметила.

С т ё п а. Я заметил. У тебя там *(кивком головы1 указывает на нижнюю часть тела Ольги.)* елочкой выбрито.

О л ь г а. А. Значит, не зря старалась. Ладно. Беги. Да. По бабушке тебя как?

С т ё п а. Степан Андреич. О л ь г а. С Новым Годом тебя, Степан Андреич! С т ё п а. И тебя!

О л ь г а. *(по-дружески хлопает его по плечу).* Давай. Все.

Сцена 11

На сцене машина "Скорой". Коля продолжает спать, сидя внутри. Появляется Стёпа. Садится в салон автомобиля. Запускает двигатель.

К о л я. *(открывает глаза, смотрит вокруг).* А? Что? С т ё п а. *(смотрит на Колю с сожалением).* Нормально все. Спи *(изображает пальцем пистолет, делает "пух". Коля закрывает глаза. Ворочается, жуёт губами. Стёпа вновь изображает пальцем пистолет.)* Контрольный в голову, пух!
Коля обмякает, начинает храпеть.

С т ё п а. *(берет трубку рации.. Про себя).* Какой диагноз сообщать? Острое разочарование, острое нарушение жизнеобращения или рецидивирующая подлянка? *(Подносит трубку куху.)* Шестнадцатая?

Г о л о с К а т и. Что так долго?! Коля всегда на этом адресе застревает!

С т ё п а. Тяжелый случай.

Г о л о с К а т и. Диагноз?

С т ё п а. Острое нарушение.

Г о л о с К а т и. Нарушение чего?

С т ё п а. Всего. Короче, ёлкой придавило... между ног. *(Пауза.)*

Г о л о с К а т и. На месте или в стационар?

С т ё п а. На месте.

Г о л о с К а т и. Ладно. Записывай. Луначарского двадцать пять, квартира сто двадцать три..

С т ё п а. Принял *(возвращает трубку рации на место.)*

Коля открывает глаза. Бурчит, что-то невнятное. Указывает рукой - ехать вперед и направо. Вновь отключался, уронив голову на грудь.

Г о л о с К а т и . Семнадцатая?!

С т ё п а . *(грустно)*. Катя, катя, по что на нас катишь? Не спится тебе женщина!

Г о л о с К а т и . На пенсии отоспимся.

С т ё п а . Если доживем.

Г о л о с К а т и . Езди осторожно - доживешь. Коля слышит?

С т ё п а . Слышит, ответить не может. Я за него.

Г о л о с К а т и . Было два звонка на станцию. Люди говорят: не впервые "неотложку" вызываем. Но чтобы такой душевный доктор, сердешный, это впервые. Поговорит, все болезни как рукой снимает. Даже гипертонический криз.

С т ё п а . Сердешные это не мы. Это кардиологи.

Г о л о с К а т и . Только, спрашивают, почему у доктора руки бензином пахнут.

К о л я *(залу)*. Потому, что я его для своего "запорожца" отливаю. *(В трубку.)* Коля спрашивает: будет ли ему прибавка к зарплате.

Г о л о с К а т и . Да, ладно, ребята. Кто вам прибавит-то?! Кому вы, на фиг, нужны. Работайте.

С т ё п а . *(возвращая трубку рации на место)*. Вызывают, значит нужны.

Сцена 12

В комнате диван, пианино, стол, пара стульев. На стульях, разбросана одежда. На пианино нотные листы

Анастасия Заболоцкая, расхаживает, напевает. Звонок, в дверь. Заболоцкая, кладет скрипку и смычок, на диван, спешит за кулисы. Возвращается, ведя Степу под руку.

З а б о л о ц к а я . Доктор! Уважаемый, доктор! Пожалуйста в гостиную!

С т ё п а . *(замечает пианино, смотрит на потолок, качает головой)*. Бедные соседи. Заболоцкая. Садитесь, доктор *(театральным, жестом указывает на диван)*.

С т ё п а . *(присаживается на диван, облакачивается. Он устал. Глаза начинают слипаться. Борется со сном Засыпает. Вздрагивает. Как будто нажимает ногами на тормоз и сцепление)*. Куда, под желтый, сука! Э-э-э, то есть, на что жалуемся? *(открывает папку с документами)*.

З а б о л о ц к а я . Видите ли, доктор... *(рассхаживает перед ним, потирая руки..)*

Степа засыпает, во сне переключает скорость рычагом коробки передач. Крутит баранку.

З а б о л о ц к а я . Я... Я, конечно, очень извиняюсь. Но вы должны меня понять. Не сомневаюсь, поймете. Ведь, вы интеллигентный человек.

На слове "интеллигентный человек" Стёпа вздрагивает как ошпаренный, просыпается.

С т ё п а . Я постараюсь.

З а б о л о ц к а я . *(гордо)*. Я - Анастасия Заболоцкая, жена композитора Заболоцкого. Вы, несомненно, знаете его произведения.

С т ё п а . Э-э-э. *(Чувствует приступ тошноты. Преодолевает рвоту.)*

З а б о л о ц к а я . Ну, как же?! *(Напевает.)* Там, тара рам, тарара рам, пам, пам, пара ра.

С т ё п а . *(испуганно)*. Предварительный диагноз уже есть. Мне... мне надо бригаду вызвать... специалистов. Позвонить бы *(ищет глазами телефон.)*

З а б о л о ц к а я . Муж умер пять лет назад. Вы, конечно, помните.

С т ё п а . Ну, как же, как же.

З а б о л о ц к а я . Я решила продолжить его дело.

С т ё п а . Умереть? *(Опомнившись, прикрывает рот.)*

З а б о л о ц к а я . А вы шутник. *(Театрально.)* Но шутить со смертью грешно, мой друг *(грозит пальцем.)*

С т ё п а . *(умоляюще)*. Так, на что жалуемся-то?

З а б о л о ц к а я . Выслушайте меня. Прошу вас. Я ждала весь вечер. И вот вы здесь, передо мной.

С т ё п а . *(про себя скороговоркой..)*Если полезет, бью головой. Потом на станции разберемся. *(Громче)* Мне бы телефончик.

З а б о л о ц к а я . Я дам вам свою визитную карточку. Но потом. Сначала выслушайте. Не перебивайте.

С т ё п а . *(выдавливая из себя)*. Да-а!

З а б о л о ц к а я . Вот уже год, как я сочиняю музыку.

Стёпа с выражением лица, будто ему больно или вот-вот заплачет, начинает молиться шепотом, глядя в потолок.

З а б о л о ц к а я . Нет, вы не подумайте. Не шлягеры какие-нибудь. Это настоящая, серьезная, не побоюсь сказать, классическая музыка *(садится за пианино.)*

На лице Стёпы ужас. Он молится шепотом быстрее.

З а б о л о ц к а я . Вот! В Новогоднюю ночь ангелы прошептали мне финал! Вся пьеса сложилась. Высветилась в единую картину. Нет. *(Кокетливо улыбувшись.)* Не картину, картинку!

С т ё п а . Мне бы телефончик.

Заболоцкая. Доктор, вы первым услышите мое произведение. Первым! Сжимает кулак и встряхивает им. *(При этом Стёпа подпрыгивает, схватывается за мужские принадлежности и ойкает.)*

Заболоцкая. Какое счастье! Поворотом телефонного диска можно вызвать интеллигентного человека-врача. Нет. Вы не врач.

Стёпа. *(испуганно)*. Как не врач?!

Заболоцкая. Вы добрый волшебник! Итак, слушайте! *(Играет на пианино.)*

Стёпа. *(сначала сжимает виски, потом мотает головой, начинает плакать. Изображает руками как, схватил бы ее за холку и бил бы носом по клавишам. Внезапно.)* Бра-а-аво! Bravo! Здорово! Класс! Клёво! Отпад! Меня разобрало! Извините! *(Выбегает за кулисы. Слышно как его рвет. Спускается вода в унитазе. Стёпа возвращается сильно уставшим.)*

Заболоцкая. *(сдерживая слезы)*. Вам нравится. Но вы еще не слышали финала...

Стёпа. Прошу вас. Оставьте для меня эту загадку. Я дослушаю в физгармонии с оркестром.

Заболоцкая. *(начиная плакать, присаживается на диван)*. Вас проняло.

Стёпа. Впечатления слишком сильны. Опять надо в туалет.

Заболоцкая. *(рыдая)*. Я сама не могу дотерпеть до финала.

Стёпа. *(указывая за кулисы)*. У вас туалетная бумага кончилась. *(Пауза.)* Нужно идти. Вы разбередили мне душу. Прощайте! *(Идет к, выходу.)*

Заболоцкая. *(театрально)* Стойте! *(Стёпа вздрагивает, замирает.)* Вы не можете уйти просто так.

Стёпа. *(достает кошелек)*. Сколько?

Заболоцкая. *(угрожающе)*. Садитесь. Сяд-те-е!

Стёпа. *(присаживается на диван. Встает подходит кроялю вставляет стетоскоп в уши и прикладывает к деке инструмента. Заболоцкая, спешит сесть за клавиши. Знаком Стёпа просит озвучить. Заболоцкая ударяет по клавишам. Стёпа вздрагивает, громко.)* Ой, бля! *(Пауза.)*

Заболоцкая. Ах, простите *(тихо перебирает пальцами по клавишам.)*

Стёпа. Н-да. *(Заправским жестом вынимает стетоскоп из ушей,, вешает на шею.)* Это, знаете ли... *(ккачает головой.)* Все очень запущено...

Заболоцкая. *(виновато)*. Да. Вы правы. Настройщик все не идет. И соль западает *(щелкает глухой клавишей.)*

Стёпа. Не держите солонку на инструменте! *(Пауза..)*

Заболоцкая. Доктор, как вам показалось моё форте?

Стёпа. Фортэ? Не всем фортит и не всегда. Чаше колбасит. *(Пауза..)*

Заболоцкая. А вот был тут отрывочек пьяно...

Стёпа. Пьяно у меня в машине дрыхнет. *(Пауза..)*

Заболоцкая. Может играть ниже на полтона?

Стёпа. Наша машина полтонны тянет не фиг делать.

Заболоцкая. Скажите, доктор. А-а-а...

Стёпа. *(с надеждой на близкое избавление)*. Да?

Заболоцкая. Как насчет легато... у меня?

Стёпа. *(окинув ее взглядом с головы1 до пят)*. Легато... предпочитаю дома с женой. *(Пауза.)*

Заболоцкая. Да, да, да. Как романтично! А что вы скажете насчет стаккато?

Стёпа. Стакан-то? Я за рулем. Ой! То есть, я, когда за рулем, не пью. Но сегодня можно. Только, по чуть-чуть...

Медленно гаснет свет. Слышен шум воды, спущенной в туалете.

Сцена 13

Коля храпит в машине "Скорой", запрокинув голову назад. Стёпа сидит рядом

Стёпа. *(говорит в трубку рации)*. Катя, мы подаем с ног. Пощади.

Голос Кати по рации. Все устали. А женщинам какво? Немного осталось. Непокоренных семь, квартира тридцать два.

Стёпа. Принято *(возвращает трубку рации на место. Про себя.)* Композиторша. А вместо туалетной бумаги газета нарезанная в кармашке. Еще пару вызовов, и хорэ! Не надо торопиться отзваниваться. Дотянем до восьми *(смотрит на часы)* Хотя, Катька-сука может и без двадцати вызовов дать. Сколько раз наши врачи так на основную работу опаздывали. Пашут за гроши. Каково идти работать в больницу после ночи на "скорой". А без халтуры не протянешь. Верно, говорю, Коль? Какая странная ночь. Люди зовут нас, потому что им одиноко. От одиночества страдают. А вместе им тесно. И так плохо и эдак нехорошо. А что если, действительно, инфаркт или прободная язва? Что тогда? Ничего! Придется Колю сдавать. Другого вызывать... Да. Как иначе? *(Пауза..)* Непокоренных семь. Знакомый адрес. *(Запускает двигатель. Начинает ехать.)* Через Гражданский напрямик. Здесь прошли детство и юность. Вон девятиэтажка у пустыря - книжный магазин. Каждый вечер мини "толчок" у входа. Кто-то книги продает, чтобы сбежать за бутылкой. Кто-то копит деньги, чтобы купить томик. Вон, гастроном рядом. Всегда битком народу. В винном отделе пару раз в год Жигулевское бывает. Каменный пол у прилавка вытоптали. Зимой постоянно лужа от таящего снега. В следующем доме аптека. Большая, просторная. Но того, что нужно никогда нет. А вот и электротовары. Там работает Дима. *(Вспоминая.)* Дима, Дима... Да. Пидор странный, капризный и нервный... Но модно подстриженный. Чисто побритый. Может записать Пинк Флойд за трояк, а также за

червонец придержать хороший магнитофон, когда отгрузят со склада. В угловом доме парикмахерская. Там всегда очередь и несет одеколоном. Во дворе Зиновий Исаакович, принимает стеклотару. Зачем это нужно старому человеку? Здесь же, зимой ставили борта из неструганых досок, заливали каток. А с балкона третьего этажа прожектор освещал лед до самой ночи. Как быстро без светофоров-то. Вот и Непокоренных. Когда-то на нем вспороли асфальт и постелили новый. Для Никсона старались, чтобы его в дороге не растрясло. Сколько милиции и войск нагнали в оцепление! А Никсон прошмыгнул в закрытой машине. И нет его. Сколько лет прошло. А будто вчера... Приехали. *(Гаснет свет.)*

Сцена 14

На сцене диван, стул и пара стульев. На столе пепельница с окурками. На диване лежит Костя. Люда беспокойно расхаживает по комнате, смотрит на часы.

Люда . Ну, обнаглели совсем. Три часа, как вызвала. Не едут. Наверное, пьяные все. Напились и дрыхнут.

К о с т я . Ладно. Не мелькай перед глазами. Обойдемся.

Слышен звонок, в дверь. Люда идет открывать. Возвращается вместе со Стёпой.

Люда . Давно ждем.

С т ё п а . Людей не хватает.

Люда . Понимаю. Мы виноваты. Слишком много нас. Вот больно.

С т ё п а . *(подходит, садится рядом).* На что жалуемся?

К о с т я . Степа? Ты, что ли?!

С т ё п а . Ну, допустим, я... *(вглядывается в лицо Кости.)*

К о с т я . Не узнаешь?

С т ё п а . Костя...

К о с т я . Не Костя, а Кока! Склероз, что ли? Эх ты! За одной партой сидели. За одной девчонкой ухаживали! Не признал?!

С т ё п а . Помню я. Все помню *(рукопожатие.)*

К о с т я . Вот оно как, значит. Слышал, что водилкой. А ты, оказывается, врачом. Молоток! Всех за пояс заткнул.

С т ё п а . Да, ладно. Прямо, заткнул. Ну, чего у тебя?

К о с т я . Печень. Камушки зашевелились.

С т ё п а . После шампанского, небось.

К о с т я . Говорил жене: водочки плесни. Нет: Новый Год, Новый Год! Как встретишь, так и пройдет. Встретил. Шампанское теплым было. Открыли. Пших!

Пена. Все наружу. Кота облили. Сладкий весь. Заболеет теперь. Не посмотришь?

С т ё п а . Не обучен.

К о с т я . Жаль. Теперь, вот, печень. Короче, встретили.

С т ё п а . Укол или в больницу хорошую по блату?

К о с т я . Грелку приложил. Отпустило уже. На. Пощупай *(оголяет живот.)*

С т ё п а тискает живот Кости, слушает живот стетоскопом.

К о с т я . Ой, холодный. *(Указывая на Лену.)* Живот - на живот, и все пройдет.

Люда . Зачем тогда доктора вызывал?

К о с т я . Люд, это же Степка! Не узнаешь? Мы с ним из-за тебя на танцах подрались!

С т ё п а . Люда? *(всматривается в ее лицо.)*

Люда . Степка. И врач "скорой" - никогда бы не поверила.

С т ё п а . . Это почему?

Люда . На уроках зевал...

К о с т я . На переменках газету, свернутую в трубочку курил. Люда. Взрослого из себя корчил.

С т ё п а . Каждый из себя что-то корчит. Ой, ребята, сигареткой угостите. Умираю.

Закуривают.

С т ё п а . Ты изменилась, Люд *(жестом спросит разрешения зазначить пару сигарет.)* Люда. Вы тоже, мальчишки, из прыщавых юношей - в тараканы беременные.

К о с т я . Жить такая. А я - кинооператором на студии...

С т ё п а . Да ну?!

К о с т я . Закончил отделение киноинженеров. Ну, поработал, там, снимал кое-что: "Война и мир", "С легким паром", "Звезда пленительного счастья". Нелегко, брат. Режиссеры, они же козлы. Командуют. А сами ни хрена не понимают. Я им все подсказывать должен: свет, звук, камера, мотор. Накрутишь пленки. Потом сиди - режь, кромсай. То сиськи оголенные, то слова нецензурные, то политически невыдержанно.

С т ё п а . Здорово!

К о с т я . Над каждой минутой съемки неделю работаем, представляешь? Зато потом фестивали, Канны, Ялты и прочие Гагры начинаются. Правда, комиссия может посмотреть и написать: "полная хренатень"! Вся работа - коту под хвост. *(Показывает под стол.)* Кот вон облился. Теперь пьяный ходит. *(Пауза.)* Ну, а

как ты устроился? Впрочем, если в Новогоднюю ночь ходишь по квартирам и щупаешь животы, это нельзя назвать "устроился".

С т ё п а. Ошибаешься (*поправляет стетоскоп на шею.*) Спасение жизни, это знаешь... Это дело непростое. Но почетное. Нередко, даже, опасное.

К о с т я. Да ты что?

С т ё п а. А то! Бывает, едешь на вызов. Ночь. Хулиганы дорогу перекроют. Надо выйти - каждому объяснить, что нехорошо задерживать машину "Скорой". Или едешь на инфаркт, а тебя сумасшедшая крышкой рояля прибить норовит. Еще, бывает, сексуальные хулиганки всякие: сначала кофе, потом, черт знает что предлагают.

К о с т я . Степка, закончатся праздники, давай к нам на студию. Сценарий будем писать!

С т ё п а. Некогда мне. Много вызовов. Больные ждут. Врачей не хватает.

Л ю д а. Да уж. Нелегко всю ночь ездить по адресам - задницы прокалывать.

С т ё п а. Задницу проколоть - ума много не надо. Ты попробуй иглой в вену.

К о с т я. Да-а-а!

С т ё п а. Еще, бывает, прямо в сердце колем.

К о с т я. Иди ты!

С т ё п а. Это когда мотор заглох, не заводится.

К о с т я. Ох, и сериалище мы с тобой закатаем! Ну, ну, продолжай. Я погрузиться должен в атмосферу.

Л ю д а. (*Стёпе*). Слышь, тебе если в туалет надо, подожди малость. Сейчас можешь в такую атмосферу погрузиться. (*Пауза.*)

Л ю д а. И погружаться незачем. Вот недавно приезжаю на вызов. Человек лежит: верхняя часть на лестничной клетке, остальное - в квартире. Уже не дышит.

К о с т я. Ласты клеит.

С т ё п а. Это тебе не эгшхандр, какой-нибудь, а самый, что ни на есть...

Л ю д а. Кирдык!

С т ё п а . Точно, инфаркт миокарда, по-нашему! (Берет со сгола и показывает нож.) Острый. Я вот так вот беру шприц. И в сердце бац! Впрыскиваю.

Л ю д а. Через пальто-о-о?

С т ё п а. Не. Через пиджак. Длинной иглой.

К о с т я. А если в бумажник попадешь?

С т ё п а. Бумажник кожаный?

К о с т я. Ну.

С т ё п а. Хорошая игла через любую кожу идет. Иглы на станции Степаныч точит с утра до ночи.

Л ю д а. И что?

С т ё п а. Что, что! Очнулся. "Спасибо, доктор", - говорит.

К о с т я. Мог бы и на коньяк дать.

С т ё п а. . Как он даст?! Бумажник иглой пробит.

К о с т я. Круто, Степа, круто. Правда, что скоро без лекарств будут лечить?

С т ё п а. Уже лечим.

Л ю д а. Это как?

С т ё п а. Убеждением.

Л ю д а. Тут один по телевизору всю страну лечил. На его челку как посмотрят... У кого что было, все рассасывается. Чего откуда не выходило - прет без спросу. Бабы перестают по магазинам носиться. Мужики бросают пить. У меня самой две родинки и бородавка рассосались.

С т ё п а. Это что. У нас водитель, Леха, после сеанса рассосался. Как начал портвейн сосать. Остановиться не мог. Три фугаса высосал. Кузнечиков начал ловить - на закуску.

Л ю д а. Кузнечики еще не страшно. Бывает, до змей допиваются.

К о с т я. Со змеями надо осторожно. Не наступай на нее (указывает на Люду.) И она не тронет.

С т ё п а. Ладно, Кока, поехал я. Больные ждут. Еще два инфаркта, астервенция и выворот кишок. До конца смены успеть надо. Бывай (*встает, направляется к выходу.*)

К о с т я. (*кричит вдогонку*). Степа! Главное, жизнь удалась, а?

С т ё п а. (*останавливается, оборачивается*). Однозначно, старик.

Л ю д а. (провожая Стёпу, тихо). Вахтером он на киностудии. (*Гаснет свет.*)

Финальная сцена

Стёпа в халате с чемоданчиком в руке медленно идет из глубины сцены к залу. Постепенно к нему присоединяются остальные актеры.

Голос диктора . Еще много лет Степан будет подруливать к дверям парадных и ждать, когда доктор вернется и сообщит диагноз по рации.

Эта странная ночь растворилась в утреннем свете.

Новый Год уже наступил. Коля проспится и оформит ночные вызовы. Запишет жалобы и поставит диагнозы. Схлопочет выговор. Но у него родился сын. Это главное...

А вы... вы зовите нас. Звоните, когда вам плохо и хорошо, когда неправильно быть одному, когда даже крик отчаяния услышать некому. Мы приедем, ночью и днем, в жару и мороз. Плевать на усталость! Нас вызывают, значит, мы нужны!

Венское лето

Взлетная полоса превратилась в серую ленту и осталась позади.

— Третий не взлетел. - прохрипела рация. Продолжать выполнение задания! Возвращайтесь парни, - добавил колонэль (Колонэль - чин в английской армии. Соответствует полковнику) тихо.

Бомбардировщики построились в пятиугольник.

Зеленые холмы оборвались морской линией. Белые штрихи волн, казалось, застыли на месте. Еще мгновение. Берег растаял в утренней дымке. Вокруг море. Только море.

Франция уже занята союзными войсками. Можно лететь над Ла Маншем по кратчайшему пути. Совсем недавно летали вдоль берега, оцетинившегося стволами зениток. Выискивали, где бы проскользнуть на материк. Теперь проще. Хотя, на войне ничего просто не бывает.

Опять летели бомбить Вену.

Прямо по курсу обозначился берег.

Теперь курс на юго-восток. Машины легли на левое крыло и снова выровнялись. Пару часов, можно расслабиться. Потом - резко на восток. И тогда жизнь превращается в мгновения. Сердце метрономом отсчитывает время. Мысли становятся ясными. Восприятие острым, как у хищного зверя.

Пятерка Галифаксов (Галифакс - тяжелый бомбардировщик Королевских Воздушных сил Великобритании времен второй мировой войны) резала весеннее небо.

Ясная погода хороша для прицельного бомбометания. Но куда не годится, если войдешь в сектор обстрела зенитна. А если на горизонте появятся длинноносые Мессеры (Мессер - сокращенное название Мессершмитта - истребителя Люфтваффе времен второй мировой войны) - итс вери бед (Итс вери бед - это очень плохо (англ.)). В облаке не спрячешься. Надо принимать бой. Но куда нам против истребителей? Мы большие тяжелые. Пока развернешься. Мессер три круга нарежет.

— Билли? - позвал Генри Стоун, командир первой ведомой машины.

— Йес, сер! - послышалось в наушниках.

— Надеюсь, сегодня останешься без работы, малыш.

Этот двухметровый "малыш" подбил два Мессера при налете на Гамбург. Может, повезло. А может, действительно, потрясающая реакция. Нажал на гашетку пулемета за секунду до того, как истребители мелькнули в прицеле.

Война кончается. - Стоун смотрел на молодую зелень полей, ползущих назад под брюхом самолета. - Не хочется умирать. И убивать не хочется. Мы не колем врага штыком. Не видим, как он падает, сраженный выстрелом. Не видим, как наши бомбы отрывают кому-то ноги или хоронят заживо под обломками Домов. Не видим. Убеждаем себя: не видим, значит, нет. Прилетели. Отбомбились. Улетели.

— Внимание! Десять минут до пересечения границы, - послышалось с головной машины.

Вена, Вена, Вена. - Стоун вздохнул. - Был один раз. Проездом. Красиво. Я, Артур Стоун, сын профессора консерватории, Герберта Стоуна, полечу бомбить этот город. Такое даже в страшном сне не могло присниться.

Увидеть венскую оперу, тем более, побывать внутри не удалось. Отец рассказал, что главный архитектор здания, не выдержав жестокой критики, повесился. Его помощник умер от сердечного приступа. Нет ни авторов, ни критиков. А театр стоит. Считается одним из красивейших в Европе.

Немцы сняли с берлинского направления и перебросили в город танковый корпус. По данным разведки колонна прибыла ночью. Её и предстояло, если не разбомбить, то, как следует потрепать.

Стоун не пошел по стезе отца. Окончил летное училище. Стал кадровым офицером. Выполнение приказа было для него не только обязанностью, но делом чести. Приказы, ведь, не обсуждаются. Йес, сэр, и - вперед.

Не обсуждаются. Но, зачем бомбить танковый корпус немцев? Вену собираются брать русские. Пусть молотят друг друга. Зачем бомбы тратить, да зениткам подставляться? - Стоун посмотрел на карту.

Пересекали границу. Пока тихо. Теперь - прямым курсом на Вену. Осталось совсем немного. А наведения все нет. Видно, наземные корректировщики не нашли цель. Или на связь не вышли. Это плохо. Очень плохо. Не годится тяжелым машинам кружиться над городом в поисках колонны. - размышлял Стоун под мерный гул моторов.

— Лисен ап! (Лисен ап - внимание (англ.)) - послышался голос Гаррисона, командира звена. - Танки на площади перед Венской оперой. Квадрат 12В. Предельная точность, господа. Предельная! Приготовиться!

— Мессеры, слева тридцать! - доложил штурман.

— Занять позицию для отражения атаки, - голос Гаррисона казался совершенно спокойным.

Бомбардировщики расположились на разной высоте, чтобы при ведении огня не задеть друг друга.

Началось! - Стоун заметил несколько серых черточек на фоне голубого неба.

— Билли, готовься, малыш, скомандовал он.

— Нес, сер, - ответил молодой голос.

Послышалась длинная очередь.

Тройка истребителей резанула воздух над головой, промчавшись наискосок.

— Мажешь, Билл. На тебя не похоже. - Стоун тоже пытался говорить спокойно.

Под острым углом зашли, сэр.

— Опытные. Ничего. Угол мы исправим.

Мессеры легли на левое крыло далеко справа, сверкнув стеклянными колпаками на солнце.

— Билл.

— Йес, сэр.

— Они зайдут сверху. Целься слева, сто десять. Я "сломаю" вправо. У тебя всего несколько секунд, малыш.

Описав круг, два истребителя выровнялись и под тем же острым углом пошли атаковать.

От напряженного взгляда в "паутину" прицела у Билли начали слезиться глаза. Несколько пуль стегнули обшивку самолета. Машину качнуло вправо. Билли нажал гашетку пулемета. Успел заметить, как в прицеле промелькнули вражеские самолеты.

— Годится, Билл, - заявил Стоун обыденным тоном.

Мессеры сверкнули на солнце позади. Один лег на левое крыло, уходя. Другой начал терять высоту. За ним потянулась дорожка черного дыма.

— Должен быть третий. - прохрипел голос Билли.

— Третий садится на поле, слева двадцать, - доложил штурман. - Поломался или Билл его задел.

— Повоевали, теперь - работать, господа, - послышался голос командира головной машины. - Четыре минуты до цели.

Внизу поползли пригороды Вены. Язычки пламени блеснули из рожицы. Глухие хлопки слышались вокруг. По корпусу будто ударили хлыстом.

— Приборы в норме, - доложил штурман.

Еще несколько снарядов разорвались вокруг головной машины, оставив маленькие облачка. Внезапно стало тихо. Внизу показались широкие улицы и старинные дома. Яркая зелень парка оказалась прямо по курсу.

— Следовать за мной! - приказал командир. Машины легли на левое крыло, отдаляясь от парка.

Правильно, - Стоун выровнял машину в строю. - В парке наверняка зенитная батарея.

На цель зашли с севера. Танки серыми коробками занимали всю площадь. Зенитная батарея открыла огонь. Штурман прислонился лбом к тубусу бомбового прицела и затаил дыхание.

Головная машина освободила бомбовый груз.

— Сейчас! - скомандовал штурман.

Стоун нажал кнопку.

Тяжелые бомбы вырвались наружу. Качнулись. Расположились носом вниз. Устремились на город.

Весь полет и воздушный бой - все ради четырех секунд атаки.

Объятая дымом площадь осталась позади. Сколько убито и сколько подбито выяснится потом. А сейчас надо вернуться. Долететь и сесть на родном аэродроме.

Он был один. Зашел со стороны солнца. Когда штурман увидел ненавистный силуэт истребителя на фоне ярких лучей, было уже поздно. Послышались глухие хлопки. Длинная очередь прошла крыло и кабину. Малыш Билли и штурман были убиты на месте. Самолет начал терять высоту, заваливаясь на левое крыло. Прежде, чем машина загорелась, Стоун успел выпрыгнуть из кабины и дернул за кольцо парашюта.

Пришла весна. Яркое солнце слепило уставшие от бессонницы глаза. Ночью было прохладно. А днем, если безветрие - хоть загорай. Обмундирование еще не сменили на летнее. Люди шли в бой и погибали в ватниках и зимних шапках. Действительно, не до переодеваний. Воевать надо. Наступать. Европу освобождать. Фашистского зверя добить в его логове.

За плечами Третьего Украинского было взятие Будапешта и освобождение Венгрии ценой больших потерь.

На пути к австрийской границе лежал маленький городок. Красные черепичные крыши теснились на высоком холме. А вокруг склоны холма были исчерчены рядами виноградников.

Разведка доложила, что на подходах к городу оборонительных сооружений и окопов нет. Значит, снова штурм города и уличные бои.

Лейтенант Сафонов командовал штурмовым отрядом. Две трети личного состава, одно из орудий и танк он потерял при взятии Будапешта. Сам получил ранение в руку. Но остался в строю. Людьюми дополнили. А вместо танка и второго орудия - одни обещания.

— Что думаешь. Тэнго? - Сафонов передал бинокль своему заместителю Тенгизу Долидзе.

— Виноградники жалко, - ответил тот, глядя в бинокль.

— Новые вырастут.

— Э! Что ты понимаешь, слушай? Это тебе не кусты какие-нибудь. Виноград. Винный. Понимаешь? - Тэнго вернул бинокль.

— Понимаю, понимаю.

— По дороге надо наступать.

— Щас! Дорога, небось, пристрелена и заминирована. По склону пойдём.

— Э, по склону! Куда, по склону, дорогой?! В виноградниках земля рыхлая. За виноградной лозой не скроешься. А сама она как колючая проволока. Что ты, слушай?

— Да. По этой лозе за танком бы в самый раз пойти.

— Нет у тебя танка, дорогой. Да и не втиснется он на улочки города.

— И то верно. Что предлагаешь, Долидзе? - командир спрятал бинокль в кожух.

— По дороге, дорогой. По дороге.

— Ладно. Попрошу саперов.

— О! Молодец, слушай!

— Ночью дорогу прощупают. А ты с первым отделением будешь их прикрывать.

— Слушаюсь, дорогой.

— Давай. Темнеет уже.

Ночью похолодало. Бойцы спали, прижавшись друг к другу. Отделение Долидзе с саперами пошли к дороге и растворились в темноте.

По Украине шли в валенках, - думал Сафонов, глядя в звездное небо. - Вроде зима ещё была. Только пересекли границу- весна, солнце, никакого снега. Все цветет. Надо идти вперед. А у людей валенки намокли. Солдат с мокрыми ногами - плохой солдат. И не уйдешь далеко с такой тяжестью- то на ногах. Шли, сколько могли. Потом начали валиться с ног. Одного- двух расстреляли для острастки. Не помогло. Лежат. Говорят: "Стреляйте. Дальше не пойдем". Переобулись на подступах к озеру Балатон. Шли и погибали в новых сапогах. Утром в атаку. Своих осталось мало. Пополнение - молокососы. Двадцать пятого года рождения. Пойдут в бой. Кто останется лежать в этом городе? Кто дальше пойдет?

— Дорога проверена, - доложил Долидзе. - Немцы в городе. Какими силами - не знаю.

— Ладно, - поднимай людей. - Сафонов встал, надел планшет через плечо.

Восходящее солнце осветило зеленые линии виноградников на склонах вокруг старинного городка.

Первым в атаку поднялся штрафной батальон. Они наступали широкими цепями. Огонь артиллерии прижал их к земле. Дивизионная батарея ударила по огневым точкам противника. Штрафники снова поднялись в атаку. Вблизи окрестных домов их встретил пулеметный огонь. Ряды наступающих таяли на глазах. Остатки батальона подавили пулеметы и овладели двумя домами на окраине города.

Зеленая ракета взвилась в небо над расположением полка.

— Пошли! - скомандовал Сафонов.

Отряд двигался по дороге. Бойцы толкали вперед орудие, скрываясь за ним от пуль снайперов. На флангах наступали соседи. Виноградные лозы рубили саперными лопатками. Минометный обстрел усилился. За спиной слышались залпы дивизионных орудий. Взрывы снарядов затушевали свежий пейзаж и уютный городок.

В город ворвались почти без потерь. Щиток орудия надежно защищал от осколков и пуль. Артиллеристы свое дело знали. Наводили быстро. Подавляли пулеметные точки с первого выстрела. Автоматные очереди слышались с флангов.

Уже через три часа большая часть городка была взята. Сопротивление немцев стало ослабевать.

Было еще светло, когда последняя улица вывела на окраину города. Нетронутые виноградники тянулись до берега небольшой реки.

— Западный склон, - объявил Долидзе.

— Без тебя знаю! - огрызнулся Сафонов.

— Виноград другой и вино другое...

— Ой, слушай, винодел, не до тебя. Занять оборону! - крикнул лейтенант.

Немцы отступили. На средневековый городок опустился тихий вечер.

Орудие установили на узкой улочке, продолжающейся в виноградники на склоне. Отряд расположился в двух каменных домах, из окон которых просматривался весь склон за городом.

Стемнело. Оживленные возгласы бойцов и женский писк в одном из домов означали, что воины добрались до трофеев.

— Смотрите не обожритесь! - кричал Сафонов бойцам, уминающим ломти хлеба с корейкой. - Чтобы заворот кишок не случился.

О беде возвестил хрипловатый голос Тэнго Долидзе:

— Сухое. Трехлетней выдержки. Бочки старинные.

— Что? Говори толком. - Сафонов положил трубку рации.

— В подвалах домов бочки с вином.

— Так.

— Я им говорю: не пьют вино из касок. Не пьют! А они не слушают!

— То-то, я думаю, что это затихли мои соколы?

— Лежат пластом. Все, клянусь!

— Товарищ лейтенант, - слышалось из темноты со стороны орудия, - смениться нам пора. А смена не идет.

— Смотрите в оба. Будет вам смена.

— Я тут флягу набрал. Попробуешь? - Долидзе отвинтил пробку.

— Веди. - Сафонов надел фуражку.

Узкие каменные ступени вели в большой подвал. Прохладный воздух пах старым деревом. В свете большой керосиновой лампы открылось ужасное зрелище. Большинство солдат лежали на полу. Остальные сидели, подпирая спинами гигантские бочки. Несмотря на замечание Долидзе, пили вино из касок.

— У нас в деревне таких больших подвалов нет, - сказал Тэнго.

— Вста-а-ать! Смирно! - заорал Сафонов.

— За победу, командир, - ответил пьяный голос из глубины подвала.

— Расстреляю собственными руками, - он выхватил пистолет, щелкнул затвором.

— Стреляй, - ответил другой голос. - Целься получше, чтоб наповал.

— Пошли, - Сафонов толкнул плечом Долидзе.

Они спешили вверх по ступеням навстречу ночной прохладе.

— Вино так не пьют. Я говорил им. Не слушают, - голос Тэнго звучал обиженно.

— Тэнго?

— Слушаю, командир.

— В подвалы никого не пускать.

- Как не пускать, дорогой?! Всё, в подвалах. Всё кроме боевого охранения.
- Суки! - Сафонов впился зубами в кулак. - Суки! Вояки, хреновы!
- Что делать будем, командир? - Долидзе захлопнул тяжелую дверь подвала.
- Молиться.
- Молиться политрук запрещает, дорогой.
- Будем молиться, чтобы немцы не полезли до утра.
- Не полезут. Мы им хорошо накостыляли. Только утром ребята проснутся и снова к кранам припадут.

Трассирующие пули прочертили черное небо. Несколько одиночных выстрелов раздалось со стороны немцев.

- Товарищ лейтенант, комполка, - молодой солдат протянул Сафонову трубку аппарата связи.
- Сафонов у аппарата, - доложил командир.
- Доложить обстановку! - голос полковника был необычно встревоженным.
- Бойцы моего отряда нашли подвалы с вином...
- Сколько из отряда стоит на ногах?
- Только часовые.
- Слушай внимательно, командир. В этом городе в каждом доме бочки с вином. Всех, кто может воевать и кто проспится, поставить в оцепление. В подвалы никого больше не пускать. За неподчинение расстрел на месте. Понял?!
- Так точно! - ответил лейтенант.
- Выполнять!

Сафонов вернул трубку на место.

- Долидзе, придется тащить их наружу. Подвал запереть.
- Все подвалы не запрешь, командир.
- Пошли.

Они успели вытащить из подвала с десяток бойцов. Со стороны немцев слышались автоматные очереди.

- Оружие, к бою! - крикнул Сафонов в темноту. - Осколочным, огонь!

Оружие успело выстрелить дважды, прежде чем автоматные очереди застрекотали совсем рядом.

Бой был недолгим. Остатки дивизии отступили из города. Долидзе среди них не оказалось.

Немцы закрепились в городе. Преследовать отступающих на открытой местности не решились.

- Решением военного трибунала приговариваются к расстрелу. - Читал высокий худой майор перед строем бойцов, оставивших город. Они стояли молча, без ремней и без оружия.

На Сафопова приговор не произвел никакого впечатления. Голос майора звучал как-то отдаленно. А все сказанное не подходило к ситуации. Он думал о товарищах, своих подчиненных, оставшихся там. в подвале.

- Заменить отбыванием срока в штрафном батальоне. - заключил майор.

Их посадили на землю за рощей из странных деревьев. Кора светлосерая. Ветви тянутся строго вверх. Листья совсем не пахнут зеленью и весной.

Часовые, необстрелянные юнцы из пополнения, смотрели с интересом на арестантов, понюхавших пороху.

- Эй, славяне, чё, правда в городе вино рекой? - крикнул часовой, держа винтовку под мышкой.
- Закусона тоже хватает, - ответил кто-то.
- Боец, кто так держит винтовку! - одернул его Сафонов.
- Но, но, но! - огрызнулся боец. Однако повесил оружие на плечо.

Ночью прошел дождь. Утро встретило холодом. Винный городишко едва угадывался в тумане. Штрафники ежились от холода.

- Ниче, щас сугреетесь, - крикнул тот самый майор. - Стройся!

Получили винтовки со штыком. Патронов по две обоймы.

- Стройся! - майор встал перед штрафниками. - Завтрак не предлагаю. Провиантом в городе разживетесь. Ну, а задача простая: овладеть городом. Напра-во. Шагом марш!

Они наступали цепями, вызывая огонь вражеской артиллерии на себя. Вошли в полосу минометного обстрела. Мины рвались повсюду, перепыхивая изуродованные виноградные плантации.

Сафонов бежал вперед, пригнувшись. Совсем близко разорвалась мина. Тело солдата, бежавшего справа разметало в клочья. По лицу хлестнула теплая жидкость. Шум боя будто отдалится. Зато удары сердца и собственное хриплое дыхание слышались отчетливо.

Первая цепь залегла под очередями пулеметов. Пули свистели совсем близко, поднимая фонтанчики земли и кося остатки виноградника.

И окопаться-то нечем, - подумал Сафонов, прижимаясь к земле.

Пулеметная очередь ударила совсем близко. Мелкие камушки обожгли лицо.

Сафонов положил на бок перед собой тело сраженного штрафника. Оно еще хранило тепло от бега. Сотрясалось, принимая в себя хищные пули.

За спиной слышался залп дивизионной батареи. Множество взрывов подняли грунт впереди. Сафонов успел вытащить из кармана убитого обойму с патронами, прежде чем слышалось: "В атаку, вперед!"

Артиллерия снова грохнула за спиной. От взрывов земля дрогнула под ногами.

Еще сотню метров и - штыковая. - подумал Сафонов, поднимаясь в атаку.

Штрафники ворвались в город без больших потерь. Немцы стреляли плохо. Движения их были медлительны, иногда бессмысленны. Пулеметный расчет на перекрестке сдался в плен. Одного взгляда

оказалось достаточно, чтобы понять: немцы тоже не устояли перед вином. Сколько их, сидящих, лежащих и отступающих нетвердой походкой удалось перестрелять и заколоть штыком!

Скоро патроны кончились. Сафонов наткнулся на немца, который руками пытался удержать кровь, хлынувшую из шеи. Лейтенант прикончил раненого штыком. Наклонился подобрать его автомат и почувствовал запах алкоголя.

Вслед за штрафниками в город вошли основные силы дивизии. Шум боя ослабел и стих.

Сафонов нашел своё оружие. Оно стояло на месте в целости и сохранности. Вокруг лежали бойцы его отряда. У входа в злосчастный погреб ничком лежал Гэнго Долидзе. Его тощая спина была прошита автоматной очередью.

В погребе было тихо. Среди тел убитых красноармейцев храпело несколько пьяных немцев. В дальнем углу щелкнул затвор. Сафонов успел выстрелить первым. Крича от отчаяния, он прошёл очередью спящих врагов. Бросил автомат, упал на колени и сказал:

— Господи, да что же это такое!

Дивизии была поставлена задача - выбить немцев из города, развить наступление на запад и занять оборону за пределами города. Но солдаты застряли в винных погребах. Поднять их в атаку не могли никакие угрозы. Уставшие люди пили вино залпом и валились с ног. Командиры потеряли контроль над ситуацией. Привычный инструмент воинской дисциплины: трибунал и расстрел на месте не действовал.

Спустившись в один из подвалов, политрук Кожевников выхватил наган, угрожая своим подчиненным расправой.

— Встааать! - кричал он, - пристрелю!

— Стеляй! - ответил ему пьяный голос. - Завтра похмелимся и встанем. - Кто-то из солдат для убедительности щелкнул затвором.

Политрук разрядил свой наган в винные бочки. Выстрелы прозвучали с тройной силой в подвальных стенах. В наступившей тишине послышалось, как винные струи из прострелянных бочек хлынули на каменный пол.

Солдаты ринулись к бочкам. Ложились и подставляли под струи рот.

Политрук вставил в барабан пистолета один патрон, извел курок и приставил дуло к виску.

— Не надо, капитан, - послышалось из дальнего угла. - Лучше выпей с людьми за Победу. А завтра в атаку сходим.

Город-ловушка четыре раза переходил из рук в руки. Люди научились стоять против танков, но не могли устоять перед сухим красным вином. Они устали воевать. Устали убивать и умирать.

Перед четвертым штурмом поступил приказ: у каждого подвала выставлять охранение. Охотников за вином расстреливать на месте.

Город взяли почти без потерь. С охраной подвалов, в общем, тоже получилось. Роковой сюрприз ждал на железнодорожной станции. На запасной ветке стоял состав из цистерн с вином. Прежде чем весть о нем разнеслась по дивизии, взвод саперов успел взорвать состав. Казалось, все по плану. Но вино потекло по улицам города рекой. Бойцы припадали к земле, и пили из луж. Уже через час дивизия, утратила боеспособность.

Ситуацию спасли танки генерала Рыбалко. Фланговым ударом они разбили группировку немцев на южных подступах к городу. Освобождение Венгрии завершилось.

Войска Первого и Второго Украинских фронтов двигались на Вену. Пополнялись и доукомплектовывались на ходу.

Чтобы избежать разрушений, было решено атаковать с трех направлений. При этом оставить узкое горло на севере для отхода немцев под натиском наступающей Красной армии.

Бронислава окончила курсы связисток летом сорок первого. Воевала под Смоленском и Москвой. Другие девушки работали на ключе побойчее. И с расшифровкой справлялись лучше. Но Бронислава была заслуженным фронтовиком. Большинство её соратниц остались лежать на полях сражений. А она чудом выходила из самых страшных мясорубок без единой царапины.

Она была стройна. Туго затянутый ремень подчеркивал фигуру. В осанке были достоинство и элегантность. Взгляд голубых глаз таил особый свет, жизненную энергию. Носила волосы длиннее, чем положено. Не торопилась прятать их в пилотку, при появлении офицера. Ей прощали. Меж собой называли "Заговоренная". А, вместо "сержант Глозман - звали просто и ласково: "Броня".

Название маленького австрийского городка даже не пытались запоминать. Зачем? Все равно скоро наступать. Штаб расположился в большом каменном доме на центральной площади.

Отделение связи развернули в просторном зале с каменными лестницами по бокам. Расставили. Подсоединились. Подключились. Опробовали. Все в порядке.

— Девчата! - послышался голос Степаныча из интендантского взвода. Я молочком разжился. Налетай! - он поставил на каменный пол ведро.

Девчонки пили, смакуя каждый глоток. Нашлись и сухари из черного хлеба.

— Не отравили бы нас австрияки-то, - над губой у Веры осталась белая полоска молока.

— Типун тебе на язык, - сказал кто-то.

В Венгрии после того, как связистку местные зарубили, поодиночке выходить запретили. Австрийцы нас цветами тоже не встретят. Да, девчонки. Как Будапешт брали, не дай Бог. Сколько их артиллерией утюжили. Все равно мало. Наши сунутся на перекресток. А их там фаустпатронами из окон. Дома раздолбают. Они - из подвалов - в упор.

— Ничто не сравнится с Курской дугой, - вздохнула Броня.

Девушки притихли. Услышать о Курской дуге из уст очевидца доводилось не каждому.

- Было жарко, - продолжала Броня, - снарядами все перемолотили так, что никакой зелени не осталось. Сплошной дым, да пыль в глаза.

Новые части прибывают и сразу в окопы. А там уж столько народу побитого лежит, что земли не видно. Полчаса боя, и нет целой роты. Гони новую в окоп. А танки все напирают и напирают.. Перед окопами их столько горело, что из-за дыма солнца не видать.

- Броня, а правда, говорят, ты Маршала Жукова видела? - спросил кто-то из девушек.
- Напористый мужчина. Козырек на глаза надвинут. Невысокий. Плотный. Вошел стремительно. "Доложить обстановку!" - говорит...
- И что? - не выдержала Вера.

Выслушал доклад. Вот так пальцем - на каждого: "В штрафбат, в штрафбат, в штрафбат". На меня указывает. "Вас что-то развеселило?" - спрашивает. А мне, правда, смешно. Штрафбат, не штрафбат. Всех молотят без разбору. Полчаса в бою - убит или ранен. "Молодец! - говорит, - Не теряешь бодрость духа. Связь давай!" Связь еще работала. Только успела передать сообщение, как бабахнет совсем рядом. И ещё, и ещё. Он, как ни в чем не бывало, вышел из блиндажа. Не успели мы опомниться, немцы прорвались. Пехота лезет на нас... Совсем близко залегли. Гранатами забросали. Очнулась в госпитале. Ни одной царапины. Контузия только. Наши контратаковали. Штаб отбили. А в живых только я одна.

- Девчата, начштаба скоро будет. Не расслабляться! - Капитан Павел Доронин поправил фуражку на голове. Ребром ладони проверил, что звездочка по середине. - Бронислава, пилотку надень. Чай, не на балу.
- Слушаюсь! - она щелкнула каблуками и озорно сверкнула глазками.
- Связь, чтоб была. Смотрите у меня! - он одернул гимнастерку, пройдясь большими пальцами вокруг ремня, и шагнул наружу.

Доронин был командиром взвода связистов. Всегда побрит, опрятен, сапоги начищены до блеска. Встречая начштаба, прикладывал руку к козырьку:

- Докладывает капитан Доронин!

И была в этом длинном "ррр" сила и уверенность в себе. Правда, под прицелом голубых глаз Брони нередко пасовал. Голос становился мягче. На гладко выбритых щеках появлялся румянец смущения. Сослуживицы завидовали Броне. А сама она, будто не замечала расположения командира. От парного молока с сухарями потянуло в сон.

- Эх, бабы, - потянулась Вера. Сейчас бы в баньку с Дорониным, чтобы за одно и спинку потер.
- Все в ружье! - послышался крик Доронина снаружи. - Тревога!

Он вбежал в зал.

- С орружием, за мной быстро! - он выскочил наружу.

Девушки, похватав винтовки, устремились к выходу.

- Стрройся! Слушай мою команду!
- Баня накрылась, - прошептала Вера на ухо стоящей рядом девушке.
- По дороге прямо на нас движется колонна немцев. Приказываю выдвинуться на сто метров вперед. Занять оборону на дороге. За мной!

Девушки бежали, придерживая карабины, чтобы не набить синяк на бедре. Впереди двое офицеров и пожилой солдат с автоматом занимали позицию по обочинам дороги. Молоденький лейтенант перекидывал пистолет из руки в руку. Вынимал магазин с патронами, проверял и снова вставлял.

- Занять оборону! - Доронин ладонью очертил предполагаемый рубеж для удержания.
- Шульга и Никитина остались в штабе - подмогу вызывать, - доложила Броня.
- Молодец, Бронислава. - Доронин, надвинул фуражку на глаза. - Пилотку, все-таки, надень.
- От пули не спасет. - она улыбнулась.
- Выполнять! - прошипел он.
- Слушаюсь! - она собрала волосы в пучок и надела пилотку.

Колонна показалась из-за поворота. Немцы шли медленно, безразлично.

Совсем не так наступает пехота.

- Подпустить ближе! - скомандовал Доронин. - Патроны беррречь! Стрелять наверняка!

В этот момент нервный лейтенант выскочил на дорогу и, не целясь, выстрелил из пистолета в направлении колонны.

Немцы остановились, но не залегли.

- Лейтенант, ложись! Сдуррел?! - крикнул Доронин.

Но лейтенант выстрелил снова.

Немец без каски во главе колонны помахал руками. Что-то крикнул. Разобрать не удалось.

- А, испугались, суки! - кричал лейтенант, распаясь. - А ну, давай, подходи! Давай! - он махнул рукой, вызывая колонну на себя.

Колонна начала двигаться.

- Приготовиться к бою! - крикнул Доронин. Подбежал к офицеру и схватил его за шею.
- Ну, все, все. Давай, со мной. Пошли. Все, - уговаривал он молодого человека, который начал вырываться и истерически хохотать. Пришлось оглушить его ударом кулака в висок. Обмякшее тело Доронин взвалил на плечо и оттащил на обочину дороги.

Сзади слышались щелчки затворов.

- Не стреляя-а-ать! - крикнул Доронин, не будучи уверен в правильности команды. Броня уже набрала воздух, чтобы крикнуть: "Огонь!"

Пройдя еще несколько метров, немцы начали складывать оружие на обочине. Гора автоматов и фаустпатронов росла на глазах. А колонна все приближалась.

— Взво-од, слушай мою команду! Встать по обочинам дороги. Конвоировать пленных. Собрать на площади перед штабом.

Немцы с интересом всматривались в бледные от ужаса лица девушек. Связистки впервые видели врага так близко.

Немцев посадили на мостовую перед входом в штаб. Доронин не знал, что делать с такой массой народу. Они могли бы легко отобрать карабины у девчонок. Перебить всех. Завладеть штабом. Занять оборону. Но эти люди не хотели больше воевать. Они сидели, тихо переговариваясь.

Ждать пришлось недолго. Грузовик затормозил перед площадью. Отделение автоматчиков высыпалось из кузова. Лейтенант с малиновыми петлицами построил немцев в колонну и под конвоем увел вслед за медленно едущим грузовиком.

Вот когда Доронин почувствовал, что смертельно устал. Совсем, как после боя. По его команде связистки заняли место у аппаратов. Девушки возбужденно обсуждали случившееся. Хвалили командира. А Вера сказала:

— Доронин все перепутал. Надо было мне кричать "ложись". А он - лейтенанту. Вот чудак.

Вскоре послышался грохот танков, идущих по дороге на запад. Начштаба так и не появился. Было приказано сворачиваться и выдвигаться вперед в пригород Вены.

Генрих Фрич был потомственным музыкантом. Окончил консерваторию по классу виолончели. Но вскоре открыл в себе талант дирижера. Коллеги не отговаривали. Каждый лелеял надежду занять его место в оркестре. Фрич понимал, что рискует оставить один из знаменитых оркестров Европы. Но отказаться от идеи стать дирижером уже не мог. Франц Кругер, руководитель оркестра, на удивление коллег, поддержал становление нового дирижера. Его самого часто приглашали работать с оркестрами Европы и Америки. Фрич продолжал работать с венским оркестром в его отсутствие. И справлялся неплохо.

Начало войны застало Кругера в Нью-Йорке, откуда он так и не вернулся.

С приходом нацистов оркестр стал выступать реже. Половина оркестрантов оказалась в концлагерях. Урезанный состав звучал не так, как хотелось. Зал нередко использовался для митингов и собраний членов нацистской партии. А камерный состав оркестра играл на вечеринках у офицеров вермахта.

В годы войны Фрич, как мог, поддерживал оркестрантов. Но они постепенно разбежались. Оркестр таял на глазах. Будучи не в силах сохранить оркестр. Фрич сконцентрировал усилия на поддержание здания Оперы в приемлемом состоянии.

Фричи жили на втором этаже добротного дома в пяти минутах от Оперы. Возвращаясь утром с рынка, где выменял старинные часы на кулек сахарного песка, Генрих услышал рев танковых моторов и заглянул на площадь. Скопление техники ничего хорошего не сулило. Он вернулся домой с дурным предчувствием.

Анна, его жена, поднялась на ступени складной лестницы за тушенкой в стеклянной банке. Послышался рев моторов самолетов. За последний год венцы привыкли к нему. Сначала гул с неба. Потом упадут бомбы. Взрывы унесут чьи-то жизни. Одни дома рухнут. Другие будут гореть. И так почти каждый день.

Нужно спуститься в подвал, - подумала Анна. Взрыв оказался таким мощным, что банка выскользнула из рук и разбилась о кафельный пол. Вожделенный запах распространился по кухне. Спускаясь, женщина поскользнулась на своем же деликатесе и шлепнулась на спину, поранившись осколком. От второго и третьего взрывов все зазвенело. Казалось, еще мгновение, и здание рухнет. Осыплется, как песочный домик. Еще несколько взрывов послышались чуть дальше. Гул самолетов удалялся. Можно жить до следующего налета.

Только теперь Анна почувствовала боль от стекла, впившегося в спину. Генрих помог встать.

Отто Кранц, ветеринар, живущий на первом этаже, наложил швы и заклеил рану. Потом сообщил, что союзники разбомбили Оперу.

Артур накинул пальто, схватил шляпу и, не попрощавшись, выскочил наружу.

Пожарная машина, завывая сиреной, обогнала его. Танки выруливали с площади, стуча гусеницами по брусчатке. Несколько машин горело, испуская черный дым. Слева глазам дирижера предстало ужасное зрелище. Часть купола здания Оперы была снесена. Из окон вырывался огонь. Пожарные удерживали шланги, из которых били толстые струи воды. Подъехали еще две машины. Пожарные раскатали шланги и начали качать воду. Люди отчаянно боролись с огнем. А тот уверенно побеждал.

Фрич стоял, держа шляпу в руке. Фасад знаменитого здания почернел. Разрушенный купол и языки пламени, взрывающиеся окна, все это казалось нереальным.

Огонь потушили к вечеру следующего дня. Уникальный реквизит, костюмы, кулисы, все было уничтожено.

Жена была против. Даже утроила мужу сцену. Но Фрич пошел на площадь. Тянуло взглянуть в черные глазницы мертвого театра.

От стен еще исходило тепло. Неподалеку, стоя на скамейке, перед толпой зевак ораторствовал полный человек в длинном плаще:

— Это союзники! Со-юз-ни-ки! - он указал шляпой в черноту вечернего неба. - Представляете, что здесь устроят русские?! Кровь потечет рекой по нашим улицам! Не пускать их! Любой ценой. Лучше смерть на баррикадах!

Стоун приземлился на распаханное поле недалеко от добротного хутора. Купол парашюта, вместо того, чтобы спокойно лечь на землю, набрал ветра, повалил летчика с ног и потащил за собой.

Боль резанула в правом боку. Стоун нащупал липкую от крови железку, торчащую из лётного свитера. Лёг на спину. Освободился от ремней парашюта. Попробовал вытащить осколок. Железяка не поддавалась. Стоун ухватился за нее покрепче и, сжав зубы, выдернул.

Он очнулся на мягкой постели в комнате с крашеными стенами. Окно украшали занавески с красным узором.

Пульсирующая боль напомнила о ранении. Очень хотелось пить. Губы пересохли. Язык прилип к небу. Стоун попытался встать. Взвыл от боли и закрыл глаза, боясь пошевелиться.

— Найн. найн, найн (Найн - нет (нем.), - приятная женщина средних лет показала жестом руки, дескать, лежи, не дергайся. Вассер? (Вассер - вода (нем.)

Летчик кивнул.

Вода в фарфоровой чашке была такой холодной, что ломила зубы.

Стоун выпил все. Поблагодарил по-немецки. Он вырос в семье, где говорили на трех языках, одним из которых был немецкий.

Хозяйка обрадовалась возможности общаться.

— Артур Стоун, офицер Королевских Воздушных сил Великобритании, - представился он.

— Я - Катрин Шульц, - она улыбнулась. - Младший сын увидел парашют и нашел вас на поле. Парашют я оставлю себе. Не возражаете?

- её соломенного цвета волосы были собраны в узел на затылке. На лице

- загар, как у всех сельских жителей. Губы тонкие, как у настоящей леди. Под глазами морщинки.

— Конечно.

— В хозяйстве пригодится.

— А где старший сын?

— Погиб на фронте, - её лицо погрузнело.

— На восточном?

— Под Витебском - в сорок первом.

— А муж?

— Умер. Давно. Малокровие.

Снаружи послышался шум проехавшей машины.

— Я вас спрячу. В подвале. Отсидитесь до подхода русских.

— Мне даваться в руки русским нельзя, - он приподнялся на локте - выглянуть в окно. Боль заставила лечь.

— Вы же союзники.

— Наш союз продлится недолго, - он поморщился, ища удобное положение. - отлежусь немного и уйду.

Вам надо переодеться. Вот. Старшего сына. - она положила на стул светлую рубаху и брюки.

Стоун попытался снять свитер. Но застонал от боли.

— Я помогу. - Катрин стянула свитер и все, что было под ним. Вид мужского тела заставил сердце биться быстрее. - Знаете, - она остановила взгляд на ране с запекшейся кровью вокруг, - отец всегда посыпал раны сухим мылом.

— Как это? - усмехнулся летчик.

— Натирал на мелкой тёрке и посыпал.

— Помогало?

— Всегда. Сделать?

— Если не трудно.

Катрин обработала рану, как учил отец.

— Спасибо. Ночью я уйду? - пообещал Стоун.

— Куда? - она укоризненно посмотрела на него, покачала головой и улыбнулась. - К немцам? Русским?

— К австрийцам, - летчик пожал плечами.

— Я австрийка. Правда, мама была наполовину полькой.

— Когда стемнеет, я уйду. Если немцы найдут меня здесь, вам не поздоровится.

— Скажу, что вы - мой любовник. Из соседней деревни. Согласны?

— В соседней деревне говорят с английским акцентом?

Она засмеялась и махнула рукой. - прикинетесь заикой. На всех языках сойдет.

Ночью Артура вырвало. Потом случился жар. Летчик бредил и метался в постели. Утром пропотел и ослабел.

Края раны покраснели и опухли, будто обожженные крапивой.

Ноги не слушались. Вязли в каменном полу, как в болоте. Человека, бегущего спереди, надо было догнать. Догнать, во что бы то ни стало. Остановить? Убить? Пленить? Не понятно. Сначала догнать. Он бежал, напрягая все силы. Чертыхался и проклинал свое тело, такое нерасторопное, тяжелое и вязкое. Враг остановился и повернулся. Светло-желтые выпученные глаза, широкое лицо, блестящая лысина. Улыбнулся, показав щербинку зубов. Откуда шпага в его руке? Поздно. Он вонзает оружие глубоко и больно. Отбрасывает шпагу. Она звенит и катится по каменному полу. Очень больно. Очень. - Артур открыл глаза. Блестящий пинцет звякнул по донышку белого тазика.

— Рана нагноится. - Лысый мужчина в круглых очках вытирал руки полотенцем. - Воспаление поползет по стенке живота. И тогда конец.

— Что же делать? - послышался взволнованный голос Катрин.

— Нужно отдать его русским.

- Русским нельзя.
- Немцы окапываются. Им не до раненых летчиков сейчас.

Кулиев рванул правый рычаг на себя, а левый вперед за секунду до того, как снаряд фаустпатрона устремился в проем между башней и корпусом танка. Ракета хлестнула по броне и взорвалась позади.

Танк снёс витрину и переборки кафе углового здания. Развернулся орудием к баррикаде на улице и замер. Потолок обрушился. Арматура с остатками бетона прикрыла боевую машину гигантским одеялом.

Еще один снаряд ударил в нависший потолок. Взорвался, но, образовав дыру в бетоне, только раскачал его.

- Кулиев, кто приказал сворачивать?! - прокричал в микрофон шлема командир танка.
- Виноват, товарищ командир. Фаусты в пятидесяти метрах.
- Четверка, четверка, я второй, - позвал командир.
- Слышу тебя, второй, - прохрипели наушники.
- В пятидесяти метрах - баррикада с фаустниками. Не пролезть.
- Понял. А пехота где?
- Сафонов здесь со своим взводом.
- Дай-ка мне его.
- Сафонов! - командир высунулся из башенного люка. - Тебя комполка. Погоны Сафонова выгорели, оставив след от лейтенантских звездочек, которые отсутствовали, как и положено в штрафбате.
- Командир взвода, Сафонов, - он приложил к уху шлем, полученный от танкиста.
- Послышалась очередь крупнокалиберного пулемета. Пули ударили в стену. Сафонов присел на корточки.
- Сафонов, поднимай взвод. Чтобы через пятнадцать минут баррикада была нашей.
- Слушаюсь! - Сафонов бросил шлем в руки танкиста - Эй, котлета, жареная.
- Да, пошел ты! - командир танка поймал двумя руками и надел шлем.
- Огоньком не поддержишь?
- Сделаю, - он захлопнул крышку люка.
- Взвод! - Сафонов взвел затвор автомата. - Слушай мою команду. Короткими перебежками вдоль домов - на баррикаду. Приготовить гранаты...
- Танковая башня повернулась влево. Орудие изрыгнуло осколочный снаряд.
- Что ж ты не предупреждаешь, сука! - Сафонов зажал уши, помотал головой и крикнул:
- Взво-о-од, за мной.

Они бежали вдоль домов, используя все, что могло укрыть от пулеметных очередей. Танк выпустил еще два осколочных, взметнувших верхнюю часть баррикады.

— Впер-р-ред! Гранаты давай! Гранаты! - кричал Сафонов. Добежали всего с десятком бойцов. Они перебрасывали гранаты через баррикаду. Множество взрывов сливались в один.

- Давай! - крикнул Сафонов.

Штрафники взобрались на баррикаду, поливая очередями. Сафонов сразил ударом приклада в лицо выскочившего навстречу немца. И только в следующее мгновение заметил, что это щуплый пацан в шапке с мягким козырьком. Он откинулся навзничь, так и не выпустив автомата из рук. Рядом лежал худощавый офицер. Лицо было спокойно. Серые глаза мертвым взглядом уставились в небо. Среди кирпичного лома барахтался человек в серой германской шинели. Он всхлипывал, как обиженный ребенок. Его лицо было белым, как мука. Оторванная рука неподвижно лежала рядом.

Сафонов нацелил автомат ему в грудь и нажал на спусковой крючок. Затем поднялся на вершину баррикады. Просигналил танкистам: все чисто. Танк рванул с места. Нависший потолок кафе обвалился.

- Кулиев, вперед! - командир припал к смотровому устройству. Оставшиеся четверо во главе с Сафоновым залегли на краю баррикады.

Танк навалился гусеницами на вал из битого кирпича. Поднял ствол орудия до максимума и скатился на площадку с разобранной брусчаткой.

Танковая гусеница накатила на детонатор. Взрыв оказался такой силы, что даже броня не уберегла танкистов.

Вечером их вытащили из танка и похоронили в парке вместе со штрафниками, которым были возвращены воинские звания и награды.

- Посмертно. Еще одна улица Вены была взята.

В квартире Фрича было два туалета. Эта роскошь понадобилась Фон Гранцу, предыдущему владельцу. Сам он жил в загородном доме. Здесь же, в тайне от жены, селил фавориток из числа артисток варьете или оперетты. Уже после приобретения квартиры. Фрич заметил, что высокий стеллаж легко накатывается на вход в туалет, превращая его в потайную комнату со всеми удобствами. Видимо, здесь прятались легкомысленные артистки или их любовники от ненужных свидетелей.

Марк Дорфман жил на набережной в дорогом еврейском квартале. Банковское дело - отцовский бизнес, его не интересовало. Юноша окончил лондонскую консерваторию и стал виртуозным кларнетистом. В оркестре его не любили. Музыканты жили скромно, экономя на одежде и поездках за границу. А Дорфман вырос в богатой семье. В деньгах никогда не нуждался. Мало того, был желанным гостем на вечеринках еврейской знати. Исполнял хасидские мелодии. Получал за это хорошие деньги, которые даже не считал.

Мама прочила Марку в невесты Хану Ландау, дочь ювелира. Но болезненная худая девушка с трагическим выражением лица ему не нравилась. Дорфман по натуре был человеком веселым. Оттого кларнет в его руках звучал солнечно, озорно и заливно. Иногда на репетициях Марк тянул ноты по-хасидски. Оркестранты улыбались. А Фрич грозил кулаком.

В тайне от родителей Марк навещал Катрин Шульц, улыбчивую деревенскую женщину. Крестьянка, шикса (Шикса не еврейка (идиш), да ещё в матери годится - семья никогда не одобрила бы такую связь. Но Марку нравилась Катрин. Она ни к чему не стремилась. Принимала жизнь, не пытаясь ее изменить. И умела радоваться каждой ее минуте. Всегда была в настроении. Во время кульминации выгибалась дугой и громко хохотала.

Катрин устраивали встречи с этим мальчиком. Ради нее он жал на педали велосипеда, добираясь на хутор целый час в любую погоду. От него пахло дорогим одеколоном. А курчавые волосы были жесткими и оставались сухими под дождем.

Они были вместе, когда нацистские молодчики громили еврейский квартал. Утром Катрин отправилась доить коров. Марк приехал в театр на репетицию. О том, что родителей забили палками, а тела увезли неизвестно куда, узнал от Фрича. По указанию дирижера просидел до темна в подсобке Оперы. Потом оказался в потайной комнате в квартире дирижера.

Они каждый день отгораживались от страшного мира. Подолгу тихо разговаривали. Марк тосковал по игре на кларнете, который прихватил с собой. Фрич уговорил его играть в воображении. Играть, поднеся инструмент к губам, но, не извлекая звуков. Марк играл. Играл целыми днями. Вскоре научился играть, даже без инструмента в руках. Его примеру последовал Фрич. Он мысленно дирижировал симфоническим оркестром. Репетировал, делал замечания, распаялся и кричал на музыкантов, что сфальшивили или вступили не вовремя. Он стал чаще заглядывать в партитуры. До поздна засиживался в каморке Дорфмана.

В тот роковой день Фрич шагнул за стеллаж, едва сдерживая слезы.

— Марк, они разбомбили Оперу. - сказал он тихо.

— Маэстро, - Дорфман улыбнулся и развел руками. - Оперу разбомбить нельзя.

— О чем ты, Марк?! Она сгорела! Сгорела до тла!

— Можно спалить здание Оперы. Но не Венскую Оперу. Не то, что она для нас. Ибо она здесь, - он постучал пальцем по высокому лбу. - И если мы с вами играем "Волшебную флейту", не издавая ни единого звука, здесь, в потайном туалете, значит, опера вечна. Понимаете? Вечна! Это нечто большее, чем мы. Больше, чем война. Больше, чем бомбежка. Больше, чем пожары и вой сирен снаружи!

— Фрич молчал, сдерживая слезы. Молчал, хоть был согласен с каждым словом кларнетиста.

Штурм Вены продолжался десять дней. Многие исторические здания уцелели. Только Опера стояла молчаливым укором жестоким людям, которым приспичило убивать друг друга.

Выстрелы и грохот танковых моторов стихли. В окнах домов появились бело-красные австрийские флаги.

Марк вышел из своего убежища. В обнимку с кларнетом прошелся вальсом по гостиной. Распахнул окно. Присел на подоконник и сыграл еврейскую мелодию.

Прохожие поднимали головы и махали ему, улыбаясь. Ветер, пахнущий свободой, дымом и весной ударил в лицо.

У ветеринара Ото Кранца Марк выпросил велосипед и поехал к Катрин.

По улицам строем шли солдаты Красной армии. На перекрестке девушка в длинной шинели и зимней шапке регулировала движение военной техники, идущей на север. Подчиняясь сигналу регулировщицы. Дорфман остановился рядом с грузовой машиной, кузов которой был накрыт брезентом. Девушка посмотрела музыканту в лицо. Усмехнулась. Повернулась боком и просигналила: "ехать".

Двигаться пришлось вдоль колонны русской пехоты. Эти люди шли дальше подставляться под пули и бомбы. Но их лица светились радостью.

Весна. - Марк вздохнул полной грудью, поравнявшись с цветущим сливовым деревом. - Теперь всё будет по-другому. Всё.

Дом Катрин показался на пригорке. Он вовсе не пострадал за годы войны. Прохладный ветер полоскал белье на веревке. Картофельное поле было вскопано. Огромные вороны чинно расхаживали по нему, ища, чем бы поживиться.

Марк постучал в дверь. Катрин ойкнула, улыбнулась и повисла на шее. После длинного поцелуя она прошептала, отстраняясь:

— Постой. Да, постой же. Я не одна. Пойдем. Познакомлю.

Марк почувствовал холод в груди. Шагнул в дом.

Осунувшееся лицо человека, лежащего на постели, не могло принадлежать сопернику, пылкому любовнику. Увидев Марка, он вопросительно посмотрел на хозяйку. Та одобрительно кивнула:

— Свои. Марк- музыкант.

Некоторое время мужчины смотрели в лицо друг другу.

— Капитан Артур Стоун. Королевские Воздушные силы Великобритании.

— Самолет упал за лесом. А он приземлился у меня в поле, - добавила Катрин.

— Как дела, капитан? - спросил Марк по-английски.

— Дальше надо воевать. А у меня рана воспалилась. Каждую ночь озноб бьет. Марку стало ясно, откуда в доме чистюли Катрин потягивает гнилым мясом.

— Фельдшер лечить отказался. Сказал: "Операция нужна". - Катрин подала кружку воды летчику и кивнула Марку, дескать, отойдем.

— На дорогах русские обозы. Они движутся на север. - Марк указал рукой в сторону окна.

— Отказывается. Не может он попасть к русским. Устрой его в больницу, Марк. Главврач друг твоего отца. Помнишь, ты рассказывал.

— Всех евреев убили или увезли эшелонами. Родители тоже погибли. Меня всю войну прятал Фрич- наш дирижер.

— Чего же ты не приехал? Я бы спрятала тебя.

— Тебе было кого прятать.

— Ревнуешь? Да.

— Правильно делаешь. Он мне нравится.

— Похоже, ему скоро понадобится священник.

— Помоги. Надо что-то придумать.

— Я поговорю с ним. - Марк шагнул в комнату и присел на табурет возле кровати.

— Вы - музыкант... - Стоун взглянул на собеседника.

— Кларнетист. Работаю в венской Опере.

— Контрамарку не устроите? Давно мечтал побывать.

— Не были?

— Нет. Отец рассказывал. Кстати, он тоже музыкант.

— Пойдите, пойдите, профессор Стоун? Герберт Стоун?

— Да-а-а! - летчик приподнялся на локте.

— Профессор Герберт Стоун, - Марк посмотрел в пол, улыбнулся, покачал головой, не в силах поверить, и сказал. - Профессор Стоун был моим учителем в лондонской консерватории.

— Что вы говорите!?

— Как он?

— Сердце пошаливает.

— Привет передавайте.

— Непременно. - Артур закрыл глаза и поморщился от боли.

— Я слышал, вам нужна операция. Русские...

— Нет. Только не русские. Помогите мне добраться до союзников на Западном фронте. Они должны быть... нет далеко. Нереально. Нереально. Может, кто-то из австрийских врачей?

— Я попробую. Кстати, здание Оперы разбомбили союзники. Не ваша работа, случайно?

— Моя. - Стоун закрыл глаза.

Марк отправился к выходу. Но Катрин схватила его за руку. Затащила в соседнюю комнату и опрокинула на кровать.

Стоун думал, что бредит, услышав недвусмысленные стоны женщины.

У ворот городской больницы стояли русские солдаты. Брезентовые фургоны с красным крестом выезжали и въезжали во двор, заполненный ранеными, лежащими на носилках и просто на мостовой.

Та же картина была в госпитале Святого Георгия и в Еврейской больнице. В уцелевших домах еврейского квартала на набережной квартировались русские солдаты. Единственный, кто мог помочь, был Фрич. К нему и поспешил Марк Фридман, вырulingая между танков и военных фургонов.

Майор Кондратьев появился в штабе после взятия Вены. У него были густые брови и огромные черные глаза. Он был ниже ростом и плотнее Доронина. Пыль на носках сапог его не смущала. Верхняя пуговица кителя иногда была расстегнута. А фуражка сдвинута на затылок. В его улыбке была независимость, сила, уверенность. Голос с легкой хрипотцой создавал впечатление тамады на свадьбе. На связисток смотрел с легкой усмешкой в глазах. Чем покори́л их всех в первый же день.

Окунувшись в тепло его глаз, Броня поняла, что пропала. Она начала подкрашивать брови сажей сгоревшей щепки. Натирала губы рукавом, чтобы были краснее. Крутилась у входа в штаб в надежде лишней раз столкнуться с Кондратьевым. Но когда сталкивалась, тушевалась и боялась заговорить. Остальные девушки тоже старались. Их надежды рухнули, когда приехала младший лейтенант Кольшева или кондратьевская ППЖ (ППЖ -полевая походная жена). Судя по всему, Кондратьев её безумно любил и даже побаивался.

Взвод связисток возненавидел обоих. Только Броня не оставляла надежды заполучить майора.

Войска Первого Украинского фронта развивали наступление на Берлин.

Спротивление немцев возрастало. Штаб не сворачивали и не выдвигали вперед по нескольку дней.

Ранним утром Доронина вызвал начальник дивизионной разведки.

— Майор Доррронин по вашему пррриказанию явился, - доложил он, как обычно.

— Вот, что, майор, - к нему подошел полный человек в погонах майора НКВД. Помял папиросу, дунул, закурил, - вернешься в Вену.

— А как же Берлин, товарищ полковник? - обратился Доронин к начальнику разведки.

— Возьмут без тебя. - сказал полковник и кивнул в сторону особиста, дескать, не отвлекайся. - Знакомься: майор Радченко из Москвы.

— В Вене тебя ждет важная работа, - продолжал майор. - Пошли-ка, пройдемся. Автомат возьми, - он вручил автомат Доронину.

Майское утро пахло свежестью и молодой зеленью. Они побрели по обочине дороги вдоль колонны машин, идущих на Берлин.

Вена останется австрийцам. Об этом подписано международное соглашение, - говорил майор. - На какой-то период она будет разделена на оккупационные зоны: американскую, английскую и нашу.

Функционирование нашей зоны будет обеспечивать воинский контингент. Основная задача- демонстрация нашего военного присутствия. Второстепенная - помощь населению в ликвидации последствий войны. Но главная: войти в контакт с интересными для нас людьми. Присмотреться к союзникам. Найти среди них желающих нам помочь.

— Разве без их помощи мы не победим?

— Эх, майор, майор. Берлин скоро падет. С Гитлером будет покончено. Вот тогда и начнется наша война. К будущему противнику надо присмотреться. Узнать о нем побольше. Ты, ведь, был учителем английского в школе.

— В военном училище, - поправил Доронин.

— Тем более, - полковник швырнул окурок в кювет. - Собирайся. Бумаги твои уже готовы. Можешь взять с собой одну из связисток. Уже решил кого?

— Так точно!

— Ну? - особист склонил голову на бок.

— Глозман Бронислава.

— А с нормальной фамилией нет никого, что ли?

— Никак нет.

— Ладно. Пошли обратно. Я тебе по дороге политинформацию прочитаю.

С Броней случилась истерика. Девушки отказывались понимать: "какого черта ей ещё нужно". Она же не представляла, как сумеет отказаться от своих претензий на роль ППЖ майора Кондратьева.

Желая скрыть слезы отчаяния, она выбежала наружу и попала в объятия Веры. И разрыдалась у неё на плече. Вера обняла и сказала:

— Аккуратный красивый мужик. Не пьяница и не бабник. Образованный. Да другого такого во всем полку не сыщешь. Он же тебя нарочно с собой берет.

— Мне Кондратьев нравится. - всхлипывала Броня.

— Кондратьев, - она вздохнула. - Кондратьев делает то, что его лейтенантша прикажет. Думаешь, война? Её место освободится?

— На все воля Божья.

— Дело говоришь. Бери мужика в охапку и дуй с ним в Вену. Война для тебя, считай, кончилась.

За Дорониным прислали виллис с двумя автоматчиками. Девчонки грузились в фургоны - переправляться на другой берег небольшой реки, вслед за наступающими частями. Настало время прощаться. Обнялись. Поцеловались. Присели на дорожку. По машинам. Вперед.

Позже стало известно, что взвод связистов на том берегу погиб во время контратаки немцев.

Дорога в Вену была забита наступающими войсками. Приходилось съезжать на обочину. Пропускать колонну танков. Смеркалось. А до города еще ехать и ехать. Решили переночевать на хуторе у дороги.

Хозяйка с соломенного цвета волосами, обрадовалась, увидев русских солдат.

Не должна женщина быть рада появлению чужих солдат в доме. Да еще на ночь глядя. - Доронин открыл застезжку кобуры.

Они вошли с Броней. Автоматчикам Доронин велел проверить нет ли засады вокруг.

Хозяйка, действительно, была рада. За стол не пригласила. Сразу подвела к кровати. На белых простынях метался человек и бредил по- английски.

— Английский летчик, - пояснила она.

Доронин открыл планшет и записал все, что рассказала Катрин.

— Эй, Куликов, Демченко! - крикнул Доронин солдатам, обсуждающим прелести хозяйки, сидя на лавочке у входа, - Дуйте на дорогу. Остановите машину медсанбата. Из-под земли достаньте.

— А если они не... - спросил Куликов, неохотно вставая.

— Выполнять!

Стоун тихо стонал, когда его переключивали на носилки. Санитарная машина стояла у входа. Катрин потирала руки. Даже если летчик умрет, это уже не на её совести. Сын Катрин не хотел выпускать руку Артура. Ему так не хватало мужского присутствия в доме. Летчик учил английским словам. Рассказывал о самолетах и о музыке. Эмоции мальчика натолкнулись на резкое: "Отцепись, гаденыш!" - брошенное сержантом Демченко. Солдат был зол на судьбу, уводящую из теплого дома. От хозяйки, которую можно было попробовать уговорить.

Брюшко скальпеля рассекло кожу, пройдя через старую рану. Запах гнилого мяса наполнил операционную.

Петру Васильевичу Суханову приходилось оперировать в самых неприспособленных условиях. Сделать максимально возможное в палатке, блиндаже, на лесной поляне - это и есть военно-полевая хирургия.

В июне сорок первого он успел окончить четвертый курс саратовского мединститута. Война заставила доучиваться на практике. Многое не получалось. Не раз думал застрелиться, понимая, что не справляется. Но рядом стояли коллеги. Они верили в хирурга и в то, что он делает.

Дороги войны привели в венскую больницу, где был развернут тыловой госпиталь Первого и Второго украинских фронтов. Просторные операционные, обшитые светло-серым мрамором, столы, меняющие положение и хирургические инструменты высочайшего качества, что еще нужно хирургу, умеющему и желающему работать.

— Плохо. Совсем не кровит, - Суханов углубил разрез.

— Что ты хочешь? Гангрена брюшной стенки. Еще может проникающее оказаться. - операционная сестра подала тампон.

— Будем иссекать до здоровых тканей. Пока не начнет кровить, как положено.

— Зря ты согласился его взять без очереди, - сказала операционная сестра тихо. - У меня три чистых операции со вчерашнего дня ждут. После этой твоей ревизии операционную час проветривать и мыть придется. - Эх, Петя, Петя! нквдешника испугался.

— С тебя не спросят. Потому смелая такая. Лапчатый пинцет дай. Рана на животе Стоуна приобрела вид глубокой воронки. Живых тканей все не видно.

— Ещё отдельную палату ему предоставь. Люди вон во дворе лежат. А им отдельную палату.

— Ординаторскую отдам. Пока.

— Сам где спать будешь?

— С тобой.

— Счастье какое!

— Они его охранять должны. Чтобы не сбежал.

— Сбежишь тут. На бегу кишки надо придерживать.

— Знаешь, что раненые про тебя говорят?

— Не интересно!

— Нинка насыплет в рану салицилки, мертвый заплачет.

— Здесь бы тоже не помешало.

— Нет. Гипертонический поставлю.

— Петь! С гипертоническим каждые три часа перевязку надо делать. Иначе толку никакого. Кто оперировать будет?

— Прорвемся.

Очередной тампон, помещенный в рану, окрасился кровью.

— Англичанин, а все как у нас, видишь? - Суханов заполнил рану тампоном, смоченным соевым раствором.

— Красивый.

— Повязку давай. Тоже мне, леди из под Рязани.

— Молодой, здоровый. Может, вытянет. В Лондон свой вернется.

— До Лондона ему еще далеко.

Летчика поместили в ординаторскую. Суханов с Ниной оперировали всю ночь. Стоун не приходил в сознание. Жар и сильнейший озноб забирали его последние силы. К рассвету температура упала. Крупные капли пота выступили на лбу. Белье стало мокрым. Стоун открыл глаза и попросил воды. "Летчик пришел в себя", - сообщили в операционную.

— Значит, днем его надо снова брать на операцию. Чистить дальше. Пока гангрена не остановится.

— Слышь, Петь, - взмолилась Нина, - не бери его на стол. Дезинфицировать придется. Время потеряем. В койке перевяжи, да почисти.

— А наркоз?

— Потерпит. Не барышня.

Рана Суханову понравилась. Иссекать дополнительно пришлось совсем немного. Стоун терпел, стиснув зубы. Он навсегда запомнил лицо врача с глубоко посаженными маленькими глазками и смешно выступающей верхней губой.

Боль оказалась сильнее, чем можно было ожидать. Но это не было пыткой или приведением приговора в исполнение. Стоун понимал, что нужен живым. Вот откуда внимание медперсонала и автоматчик, сидящий у двери.

Заговорить с этим малым, лицо которого было покрыто крупными веснушками, не удалось. Медсестры делали вид, что не слышат. А доктор Суханов знал лишь несколько слов по-английски.

Рана очистилась. Начала заживать. Боль из пульсирующей превратилась в жгущую. Головокружение и дурно та прошли. Вернулся аппетит. Однажды даже приснился домашний омлет с ветчиной.

Встану на ноги. Отправлюсь домой. Отец, наверняка, не знает, что я жив, - думал Стоун, рассматривая охранника, неподвижно сидящего у двери. - Надо отправить письмо.

Стоун выпросил у медсестры бумагу и карандаш. Написал самое главное. Всего несколько строк. Сложил. Написал адрес и вручил доктору Суханову, явившемуся делать перевязку-экзекуцию.

— О'кей, - сказал доктор и сунул письмо в карман халата.

Майор Доронин целыми днями носился на виллисе по городу. Очерченные на карте границы советской оккупационной зоны, должны были реализоваться на местности в виде проволочных ограждений и блокпостов. Павел Петрович с удивлением наблюдал, как союзники не торопятся "закрывать" свою зону. Вскоре стало ясно, что в патрулировании улиц с целью обеспечения порядка, нет необходимости. Австрийцы вели себя достойно. Грабить и убивать друг друга им в голову не приходило. Стрелять в спины русским тоже не намеревались.

Броня работала связистом в штабе генерала Покровского, коменданта советской зоны. Он был в годах. Тот факт, что Броня - ППЖ Доронина, не портил его отношения к девушке. Когда Павел явился к нему с заявлением оформить отношения с Брониславой, разочарованно развел руками и сказал:

— Ты чего, Паш? Я тебе хотел очередное звание. По должности положено и вообще. А ты себе жену с такой фамилией оформляешь?

— Ничего, товарищ генерал, - Доронин улыбнулся, - в майорах похожу.

— Походи, походи. - генерал надел очки и написал на уголке заявления: "Разрешаю".

Думали сыграть свадьбу с гармошкой, тушенкой и спиртом, налитым из фляги в армейские кружки. Но генерал заявил, что первая советская свадьба в Вене, это не только свадьба, но и политическое событие. Велел Доронину подыскать ресторан или кафе для торжества.

Павел неплохо изучил свою часть города. Ни одного сохранившегося ресторана припомнить не мог. Генерал решил арендовать большую квартиру.

Виллис заглох у входа в добротное здание. Фасад был поврежден осколками. Но все окна были целы и даже сверкали чистотой. Водитель остался копаться под капотом. Доронин вошел в парадную с двумя автоматчиками.

В квартире первого этажа пахло медикаментами. Полная женщина заявила, что герр доктор отдыхает. Поднялись на второй этаж.

"Артур Фрич" - прочитал Доронин на золотистой табличке двери. Он нажал на кнопку звонка.

Лицо женщины, открывшей дверь, вытянулось от ужаса. Она пыталась что-то сказать. Начала заикаться и попыталась захлопнуть дверь.

— Невежливо, мамаша! - один из солдат вставил ногу в дверной проем.

— Заходите. - послышалось из глубины коридора. - Высокий мужчина в роговых очках, с седыми длинными волосами, зачесанными назад, взял женщину за плечи и отстранил от входа.

По-русски говорите? - Доронин с интересом посмотрел на хозяина. Его лицо казалось абсолютно спокойным.

— Изучал, - ответил тот и, чуть наклонив голову, посмотрел вверх очков.

— Позволите? - Доронин кивнул в коридор.

— Да. Пожалуйста.

Одного из сопровождающих Доронин оставил у двери. С другим прошел в гостиную и велел присесть на стуле у двери.

— Пожалуйста, - хозяин указал на стул с высокой спинкой. - Говорите медленно. Я не все понимаю.

— Откуда знаете русский? - Доронин присел на стул.

— Я музыкант. Дирижер. Руководитель оркестра венской Оперы.

— Разве это требует знания русского?

— Русские очень много сделали в классической музыке. Много критической литературы написано по-русски. Язык пришлось учить.

— Я, наверное, зря вас побеспокоил, - Доронин собрался встать и уйти.

— А что вам надо?

Ищем квартиру для свадьбы.

— Понимаю. А что, моя не подходит?

— Годится.

— Буду рад. Я помогу вам. Вы поможете мне.

— Чем могу я вам помочь? - Доронин насторожился.

— Мне ничего не нужно. А вот оркестранты бедствуют.

— Всем нелегко.

— Хотите, мы сыграем на свадьбе? Соберу несколько человек.

— Нужно посоветоваться.

— Чья свадьба?

— Моя.

— Поздравляю. Все правильно. Жизнь должна продолжаться. Передайте тому, с кем вы советуется, что я с удовольствием предоставляю свою квартиру для торжества.

— Спасибо. - Доронин встал, одернул гимнастерку под ремнем. - Я пришлю людей - все организовать.

— До свидания. - Фрич хотел подать руку для прощания, но не решился.

Доронин взял под козырек и щелкнул каблуками.

Фрич закрыл дверь на замок и прислушался к удаляющимся шагам русских по лестнице.

— Что ты придумал?! - причитала Анна, жена Фрича. - Всю квартиру разнесут. Из паркета костры станут жечь!

— Не станет такой аккуратный майор паркет ломать.

— Зачем это тебе, Генрих?! - не успокаивалась хозяйка.

— Оркестру помочь хочу. Связи нужны.

Через неделю играли свадьбу. Генерал Покровский произнес длинную речь. Вспомнил погибших героев, доблестных союзников, честных австрийцев. Чуть не забыл поздравить молодых. За длинным столом было тесно. Фрича с женой посадили ближе к двери. Скоро генерал со своей свитой откланялись. Провожая, Доронин представил Покровскому Фрича.

— А почему бы, господин Фрич, нам не восстановить работу венской Оперы? - сказал Покровский, похлопал дирижера по плечу и, уже выходя, добавил. - Пал Петрович, зайди утром, обсудим.

Без генерала стало веселее. Звон бокалов громче. Голоса слышнее. Потом, закурили и начали петь.

Утром Доронин стоял в кабинете генерала Покровского.

— Садись, Пал Петрович. Потолкуем, - генерал сел на стул для посетителей. - Дело тут не военное, а совсем наоборот. Здание Оперы находится в нашей зоне. Кому, как ни нам восстановить работу этого культурного учреждения. А? Петрович?

— Так точно! - Доронин привстал.

— Сиди, Сиди, Паша. Ты человек образованный. Языками владеешь. Тебе и поручаю это дело. Срок два месяца. На премьеру пригласишь. В королевскую ложу. Что нужно, обращайся. Помогу.

- Разрешите идти? - Доронин встал.
- Ступай майор. Ступай.

Из штаба Доронин поспешил к Фричу. Тот, будто предчувствовал, ждал. Из дома не выходил.

Они сели в гостиной у окна. Весеннее солнце пыталось утешить раненый город. На подоконнике ветеринара Отто Шульца свистел и щелкал клювом огромный серый попугай. Среди издаваемых им звуков можно было узнать звонок телефона, сигнал трамвая, автомобильный гудок и вой сирены.

- Мне поручено заняться восстановлением работы венской Оперы, - начал Доронин.
- Это прекрасно! - воскликнул Фрич и взмахнул руками, как перед оркестром.
- Времени мало. Два месяца. Отсрочки не будет. Приказ.
- Понимаю. - Фрич задумался. - Пойдемте, господин майор.

До площади шли молча, наслаждаясь весенним теплом. От здания оперы исходил запах пожарища.

— Знаете, начал Фрич, - когда загорелся театр, из него выходили крысы. Не бежали, нет. Организованно выходили. Все.

— Отступали, - кивнул Доронин.

— Переселялись. всю жизнь проработал в театре и не думал, что в этом здании столько крыс. Мне рассказали, что они шли потоком, лавиной. Даже машины остановились, когда они пересекали улицу.

— Куда они ушли?

— Не знаю. Какая разница. В Опере их больше нет.

— От театра мало что осталось. - Доронин посмотрел на обгоревшие стены, прикрываясь ладонью от солнца. - Тут отремонтировать несколько лет придется.

— Да. Эти стены не скоро услышат звучание оркестра.

— Что будем делать?

— Переселяться, как крысы. - Фрич улыбнулся. - Здание придется восстанавливать. Спешка здесь неуместна. Но опера, это, прежде всего, не здание, а люди, коллектив.

— Что предлагаете?

— Восстановить работу Оперы в здании - "Фолькс-опер" ("Фолькс- опер" - Народная опера (нем.)). Я слышал, оно почти не пострадало. Прогуляемся пешком? Погода хорошая.

— Подъедем. Время дорого, - Доронин махнул своему водителю, припаркованному виллис неподалеку.

Ехали долго. Пришлось объезжать улицы, с неразобранными баррикадами и подбитой техникой.

Наконец виллис затормозил в сквере перед зданием Народной оперы.

— Ну, что я говорил?! - Фрич встряхнул руками, будто поднимал оркестр на поклон. Вставить стекла кое-где и все. Идемте.

Внутри ждал неприятный сюрприз. В полу партера зияла большая дыра. Взглянув на потолок, майор получил подтверждение своим опасениям.

— Маэстро, - сказал он, - подождите меня снаружи. Проведу небольшую разведку.

Фрич молча кивнул и повиновался.

Доронин спустился по деревянной лестнице в подвальное помещение. На массивной двери висел большой замок. Пришлось возвращаться за водителем. Не без труда удалось взломать замок и открыть дверь.

— Надо бы новый замок повесить, - сказал Доронин и присвистнул, оценив размеры авиационной бомбы, застрявшей в переборках подвала.

— Чистое попадание, - сказал водитель.

Союзники, - кивнул Доронин и прикрыл дверь.

— Тяжелая авиационная бомба застряла в подвале, - сообщил майор сидящему в виллисе Фричу.

— Я понял, что эта дыра не от молнии, - ответил тот. - Что будем делать?

— Саперов позовем.

Доронин был немало удивлен, видя, что генерал рад известию. Покровский расхаживал по кабинету, потирая руки, и улыбаясь.

— Здоровая, говоришь. Носом вниз. А что написано?

— Неразборчиво. Не хотел ближе подходить.

— Это ты молодец. Петрович! Молодчина! - генерал хлопнул майора по плечу. - Тебе бы за такое дело звезду на погоны. Но ты же упрямец у меня. Упрямец, а?! - он потряс Доронина за плечи. - За сохранность этой игрушки отвечаешь головой. Сюда уже вылетели саперы из Москвы. Они же ее и заберут. Сувенир, понимаешь ли, оборонного значения.

Бомбу разминировали и вытащили уже на следующий день. Сувенир улетел в Москву. Доронин получил от генерала стройматериалы и взвод саперов для ремонтных работ.

Фрич целыми днями носился по городу в поисках оркестрантов. Удалось собрать не всех. Но достаточно, чтобы выступить в камерном варианте.

Появился кларнетист Марк Фельдман. Привел двух скрипачей. Один прятался у какого-то фермера в Альпах. Другой чудом выжил в концлагере.

Саперы починили крышу. Начали ремонтировать пол.

Фрич собрал оркестр на первую репетицию. Люди были рады вернуться к профессии. Но оркестр не звучал. Причиной тому дыра в потолке, нарушающая акустику. Командир саперов чинить потолок отказывался. Говорил: работа не по профилю, надо специалистов вызывать. Время шло. Специалисты все не ехали.

Оркестранты начали разбегаться. Разруха. Надо искать себе пропитание.

— Люди голодают, - пожаловался Фрич Доронину. - На репетиции приходит все меньше музыкантов. Знаете, что сказал наш Квазимодо?

— Квазимодо?

— Ах да. Вы, наверное, не знаете. У каждого оркестра есть хозяйственник. Он смотрит за порядком на сцене, чтобы стулья были для всех и стояли в правильном порядке. Выкатить рояль. Подвинуть литавры. Все это его забота.

— Почему Квазимодо?

— Не знаю. Как правило, это человек с физическими недостатками, но очень сильный и выносливый.

Квазимодо - в любом оркестре Квазимодо, во всем мире.

— Что же изрек наш Квазимодо?

— О! Это гениально: "Моцарта в тарелку не положишь", представляете? Только это вовсе не смешно. Чтобы люди репетировали, им надо платить. Не деньгами, так продуктами.

— Я попробую что-то сделать. - пообещал Доронин.

Утром он положил на стол генерала просьбу о выделении средств для оркестра. Но того, что получил, оказалось мало.

Неизвестно откуда появился капитан интендантской службы. Предложил пленных немцев - классных ремонтников с архитектором во главе. Не бесплатно, разумеется. Доронин и Фрич тянули с ответом. Оплачивать "левого" подрядчика было нечем.

Фрич поделился своими переживаниями с кларнетистом Дорфманом. Тот выслушал и ответил коротко, но уверенно:

— Деньги будут. Только потом. Не смотрите на меня косо.

Услышав фамилию доронинской жены, Дорфман, проникся к майору большим уважением. С первой же встречи они подружились. Кларнетист попросил в свое распоряжение фургон с отоплением. Сквер Народной оперы, как раз, граничил с английской оккупационной зоной. Дорфман добился соглашения сторон разместить вагончик в буферной зоне. Вскоре в окна вагончика зажглись красные светильники. А в объятия девиц яркой внешности устремились клиенты. Сначала военнослужащие с обеих сторон являлись, переодетые в штатское. Но вскоре преодолели стеснение и зачастили при погонах и наградах. Платили тушенкой, керосином, яичным порошком и спиртом.

Музыкантам назначили ежедневный паек. Дорфман организовал в помещении театра небольшой продуктовый склад. Артисты вернулись к репетициям.

Рана заживала медленно. Болела только при движениях и во время перевязки. Доктор являлся каждое утро. Заходил в палату. Здоровался. Ставил на тумбочку блестящий подносик с инструментами и тампонами. И начинались мучения. Каждое прикосновение к ране отдавалось болью. Она стреляла в поясницу и ногу. А в конце экзекуции бок горел. Будто злой доктор поставил в рану тлеющий уголь. Стоун пытался заговорить с врачом. Спрашивал, зачем беспокоить заживающую рану. Но Суханов только улыбался в ответ и твердил: "О'кей, о'кей!"

Пленный австриец, фельдшер Генрих объяснил, что для быстреего заживления рану после нагноения надо выскабливать специальной ложечкой с острыми краями. Еще он слышал, что доктору велено поставить летчика на ноги как можно скорее. В ответ на просьбу Стоуна переправить записку в английскую зону, сказал:

— Пощадите. У меня жена и дочь в Зальцбурге.

Никого другого привлечь на свою сторону не удалось. Стоун начал обдумывать побег. Автоматчик конвоировал его в туалет три раза в день. Окно над сливным бачком оказалось слишком узким. Надежду внушал коридор со сводчатым потолком. В нем всегда было полно раненых. Люди слонялись из конца в конец, опираясь на костыли и палки. Присаживались на койки, стоящие вдоль стены. Болтали с лежащими ранеными. Громко хохотали. Иногда пели.

Утром зашел Генрих, как всегда, посмотреть повязку и сделать влажную уборку в палате. Стоун пожаловался, что устал от безделья. Хочет скатывать бинты после стирки. Их стирал пленный румын, вращая за мощную ручку огромный барабан, заполненный моющим раствором. Генрих передал, кому следует. Получил разрешение. Принес летчику целый мешок высушенных бинтов.

Сначала руки обработать спиртом, - напутствовал он. - Потом расправляете бинт на тумбочке. Ладонью скатываете в валик. Важно, чтобы торцы оставались ровными. Вот спирт, - он поставил на тумбочку маленький пузырек. - Через час зайду - принять работу.

Стоун обработал руки спиртом. Охранник у двери посмотрел укоризненно и бросил:

— Тфу ты, Господи! Добро переводит!

Стоун кивнул и закупорил флакончик резиновой пробочкой.

Первый моток вышел не очень. Дальше - лучше. Пока охранник зевал, удалось сунуть под подушку пару мотков. Стоун работал целый день. Занятие наскучило. Но Генрих остался доволен. Обещал завтра новую партию бинтов.

Близилось время посещения туалета перед сном. Потом - смена караула.

Стоун открыл флакончик со спиртом. Понюхал и подмигнул охраннику. Тот зачем-то осмотрелся по сторонам и чуть заметно кивнул. Стоун вылил жидкость в свою кружку и вручил солдату. Тот принял чарку. Показал рукой: дескать, отвали, обратно, на койку. И выпил все одним глотком. Занюхал рукавом. Бросил кружку в руки летчика.

Уже через десять минут лицо охранника покраснелось. Глаза осоловели и начали слипаться.

— Эй, товарищ, - позвал Стоун и указал на то место, где носят наручные часы. - Тойлег пожалста.

Солдат встал. Пошатнулся. Потянулся. Толкнул дверь. И дружелюбно ответил:

— Дава-а-ай!

Они пошли по коридору. Гуляешь. Федюня. - бросил кто-то из раненых, заметя нетрезвую походку охранника.

Закрывшись в туалете. Стоун забинтовал голову и лицо. Открыл защелку двери и громко застонал.

— Ты че? - Федюня проснулся в туалет. Удар ребром ладони в шею оглушил охранника надолго. Стоун усадил его на унитаза. Вытащил магазин с патронами из автомата. Бросил в бачок с водой. Вышел. Осторожно притворил дверь.

Прихрамывая на правую ногу, он прошел по коридору на лестницу. Держась за перила, осторожно спустился на первый этаж. У широких деревянных дверей стоял часовой. Стоун повернулся к нему спиной и побрел обратно, в сторону широкой каменной лестницы. С ним буквально столкнулся австриец-Генрих. Взглянул в глаза летчика. Узнал и уже открыл рот сказать: "Стоун, что вы здесь делаете?"

— Куда, Генрих? - опередил его Стоун.

Фельдшер не ответил. Только показал глазами и кивком головы: "в конец коридора и вниз".

— Спасибо, - шепнул Стоун уходя.

Металлические двери в конце коридора были закрыты на ключ. Слева каменные ступени вели в подвальное помещение. Стоун, убедившись, что не замечен, спустился вниз. Подвальная дверь была закрыта на засов. Сзади слышались шаги и мужские голоса. Стоун открыл засов и проник внутрь.

В подвале было прохладно. Стоял неприятно-сладковатый запах.

Предчувствие не обмануло. В темноте летчик наткнулся на человеческое тело, лежащее на полу. Еще несколько трупов лежало вдоль стен.

Так, - он сел на пол, упершись спиной в холодную стену. - На воротах госпиталя, наверняка, блокпост. Надо выезжать в катафалке. Вот, только, как мертвым прикинуться?

Щелкнул замок. Вторая дверь, что напротив, отворилась. Пахнуло вечерней свежестью. Прежде, чем зажглась лампочка на потолке, Стоун успел рас тянуться и застыть на полу. Краем глаза он увидел двух пожилых мужчин в шинелях вермахта, без погон. Они вкатили в подвал металлическую каталку. Подняли и уложили на нее ближе к двери тело. Голова умершего гулко ударила в жест носилок.

Снаружи слышались крики и вой сирены. Щелчки затворов слились с топотом ног.

Пленные вышли наружу - удовлетворить любопытство.

Боль резанула горячим ножом в ране, когда Стоун стаскивал мертвеца с каталки. Взобраться на нее и лечь лицом вниз оказалось куда легче.

Вскоре переполох вокруг госпиталя стих. Стоун лежал, прижавшись щекой к железу. Каталка натыкалась колесами на мелкие камушки. Холодный металл ударял то в скулу, то в висок. Внезапно каталка остановилась. По команде: "Айне, цвай (Айнс, цвай - раз, два (нем.) носилки опрокинули его на дно телеги. Снова резануло в ране. Через пару минут "Айне, цвай" слышалось снова. Окоченевшее тело бухнулось рядом. Впереди фыркнула лошадь.

— Стоя-а-ать! - крикнул возница.

Стоун медленно переместился на край телеги, чтобы не быть задавленным телами. Через полчаса телегу накрыли брезентом. Спереди слышалось:

— Но, пошла-а-а!

Телега дернулась и покатила.

Брезент защищал от холодного ветра. Но пальцы ног замерзли и потеряли чувствительность.

Телега на резиновых колесах катила по городу. Вена спала. Лишь проходящие мимо автомобили, нарушали тишину. Приподняв край брезента, Стоун увидел, что находится на узкой улочке с односторонним движением. Он перемахнул через борт телеги и мягко прыгнул на холодную брусчатку. Прижался к стене, провожая глазами телегу, таящую в темноте.

Услышав шум колес приближающейся машины, летчик юркнул под арку старого дома и прижался к стене. Грузовик с автоматчиками в кузове прополз мимо.

Вот, я и в Вене, - усмехнулся Стоун. - В больничном халате и босиком. В Оперу в таком виде не пустят. Разве, что, сразу на сцену. Он сориентировался по звездам и пошел на запад. На многих улицах освещения не было. Приходилось уклоняться от света фар проходящих машин. Он брел около двух часов. От усталости начала кружиться голова. Бок разболелся и требовал покоя. Стоун знал, что движется в правильном направлении. Рано или поздно придет на границу с английской или американской зоной. Но в грузовиках, проезжающих по улицам, по-прежнему были русские солдаты. Впереди, в желтом свете фонаря, показался вход в сквер. За ним светились несколько окон большого здания. Стоун подошел ближе. Надпись на арке гласила: "Фолькс- опер".

Годится, - подумал Стоун и двинулся к зданию. Обогнул его в поисках служебного входа. И гут увидел вагончик, с красными светильниками в окнах.

Еще лучше, - он направился в учреждение.

Вид странного посетителя разочаровал девицу в шелковом халатике. Она хотела захлопнуть дверь. Но Стоун успел представиться по-английски. Девица кивком головы пригласила внутрь.

— Я сбегал от русских. Мне нужно к своим, - начал он.

— Господин Стоун, - слышалось за спиной, прежде чем захлопнулась дверь. - Я вас еще не выписал.

Стоун медленно развернулся.

— Но, но, но! - доктор Суханов целился из пистолета в грудь пациенту.

— Что здесь делает доктор? - спросил Стоун по-немецки.
— Проверку, - пожал плечами девушка.
— О'кей. довольный собой доктор, пятясь назад, пригласил, дулом пистолета, следовать за собой. Когда Суханов уже поставил ногу на землю, выходя из вагончика спиной вперед, Стоун бросился на него сверху. Но был оглушен ударом приклада в висок.

Очнулся он со связанными за спиной руками. Двое солдат подпирали его своими плечами на заднем сидении виллиса, мчащегося по ночной улице.

Три часа полета показались вечностью.

Куда? - он посмотрел на серые тучи, проплывающие внизу. - В Россию? В Сибирь? Отец был в России задолго до войны. Рассказывал много и интересно. Говорил: "Никто не может по-настоящему представить себе, насколько эта страна огромна". Зачем русским столько земли? Зачем? - Стоун почувствовал смертельную усталость. Но уснуть не мог. Ни с кем из находящихся в салоне заговорить не удалось.

Самолет начал снижаться. Шасси коснулись посадочной полосы. Мелкий дождь приснул в иллюминатор. Унылый лес стоял безмолвным караулом вдоль полосы.

Стоун шагнул на ступеньку трапа. Влажный холод кольнул в лицо. Нет. Это был не лондонский туман, сдобренный выхлопными газами, трубным дымом и подкрашенный светом фар и уличных фонарей. Этот холод был другим. Как укус дикого зверя. Ветер не забирался под воротник, а хлестал колючими каплями в лицо.

Не Сибирь, - подумал летчик, ступая на землю. - До Сибири еще часов пять лететь. Но и не Москва. Впрочем, как знать.

Его посадили на заднее сидение легковой машины. Двое крепких молодцов сели по бокам. Они ехали по ухабистой дороге. По сторонам тянулся все тот же сосновый лес.

Ворота открыл часовой в брезентовой накидке. Знака или номера части на воротах не было. Машина затормозила на небольшой площади, окруженной домами из серого кирпича. Человек в штатском нырнул в парадную одного из домов.

— Вылезай! - сказал один из сопровождающих, вышел из машины и придержал дверцу на ветру.
— Шагай, давай! - крикнул другой, подталкивая сзади.

В комнате было тепло и пахло табаком.

— Я - майор Колышев. - худой высокий офицер говорил по-английски с акцентом. Крупные, желтые от курения зубы торчали из-под усов. Кадык смешно двигался на худой шее при каждом слове. У него были почти бесцветные глаза и сильно приподнятые брови. Майор будто удивлялся всему, что видел вокруг. И удивление не проходило.

По просьбе майора Стоун представился и рассказал свою эпопею после воздушного боя.

— Я офицер армии Великобритании и требую отправить меня домой, - заявил он в заключение своего рассказа.

— Домой. - Колышев достал папиросу и постучал ею по портсигару.

- Домой вам еще рано.

— Разве мы не союзники?

— Союзники, - майор усмехнулся, щелкнул зажигалкой и закурил.

- Зачем же вы нападали на военнослужащих союзных войск? Охранник, потом доктор. Был еще кто-то?

— Зачем меня охраняли?

— Вас лечили. Обеспечивали вашу безопасность. А вы...

— Когда вы отправите меня домой?

— На билет еще заработать надо. Заодно отбыть наказание за выкрутасы ваши.

— Нельзя ли поконкретнее?

— Можно. Но не сегодня. Сегодня ступайте...

— В камеру, - помог Стоун подобрать слово.

— В общежитие. Пока, - майор улыбнулся, еще больше обнажив зубы.

Автоматчик у входа в здание козырнул майору. Длинные половицы скрипели под ногами в коридоре первого этажа. За какой-то дверью звучала тихая музыка.

— Нам наверх. - сказал Колышев и начал подниматься по ступенькам.

В коридоре второго этажа тоже был деревянный пол.

Стоуна удивило, что майор постучал в дверь одной из комнат, прежде чем открыть. Еще он заметил, что в двери нет глазка или тюремного окошка.

— Принимайте пополнение, - сказал майор двум мужчинам, сидящим на койках. - Представлять не буду. Сами познакомитесь. - Майор вышел и закрыл дверь за собой.

— Майор Диниэль Хаггенс. - мужчина с густыми бровями и седыми висками подал руку для приветствия. - Королевские Воздушные силы Великобритании.

— Капитан Шон Стэнли. - коренастый лысеющий мужчина подошел для приветствия. - Военно-воздушные силы Соединенных Штатов.

Пришла очередь Стоуна отрекомендоваться.

— Вот ваша койка. - Хаггенс указал на железную кровать со свернутым на ней матрасом и комплектом белья.

— Где были сбиты, капитан? Спросил американец.

— Над Веной. А вы?

— Над расположением Красной Армии, - ответил Хаггенс.

— Я тоже, - кивнул Стэнли.
— Господа, - Стоун скрипнул пружинами, присаживаясь на кровать, - какого дьявола мы здесь делаем?
— Учим русских летчиков... - Стэнли щелкнул пальцами, подбирая слова.
— Воевать с нами, - помог Хаггенс.
— Вот как. - Стоун задумался. - А они не боятся, что так мы научимся воевать с ними.
— Боятся. - Стэнли подошел к зарешеченному окну. - Мне кажется, с каждым учебным боем я отдаляюсь от дома.

— А удрать нельзя?
— Мы где-то под Воронежем. На одной заправке до границы не дотянуть. Кроме того, собьют.
— На чем летаете? - Стоун раскатал матрац.
— На своих же машинах. Привычно чтобы... Стэнли протер ладонью запотевшее окно.
— Но я бомбардировщик. Меня-то куда? - Стоун посмотрел на коллег.
— Н-да, - Хаггенс присел рядом со Стоуном. - Вы позволите?
— Конечно, - Стоун немного отодвинулся.
— На первом этаже живут немцы, - продолжал Хаггенс.
— Пленные?
— Скорее, трофейные. Авиаинженеры. Специалисты с мировым именем.
— Кстати, достойные господа, - вставил Стэнли.
— Так вот. Эти господа разработали новый бомбардировщик для русских. Боюсь, капитан, испытывать его придется вам.

— Полетать на новом самолете русских. Это... Такая возможность выпадает раз в жизни... Я просто...
— Артур, - лицо Хаггенса стало очень грустным. - Если вы даже увидите новый самолет, русские никогда не отправят вас домой. Тем более, если сядете за штурвал.
— Не знаю, смогу ли отказаться от этого полета.
— Хорошо подумайте, прежде чем согласиться, капитан.

Дождь не прекращался. Была нелетная погода. В здании было тепло. В столовой давали пшеничную кашу с куском сала. Было трудно привыкнуть к черному кислому хлебу с солью и чесноком. Чай был мутный, без вкуса и без запаха. Одна радость, что горячий.

Прогнозы соседей по комнате оправдались. Зубатый майор поставил все точки над "и". Сообщил, что опытный образец готов к полету. Дело за погодой. О согласии летчика даже не спросил.

Вечером того же дня Стоун почувствовал сильное недомогание. Все тело болело. Ноги сделались ватными. Напившись чаю, он отправился в постель. Ночью случился озноб.

Пожилая женщина-врач немного говорила по-немецки. Из ее объяснения Стоун понял, что рана закрылась слишком рано. Не успела очиститься. Раскрыла рубец блестящим зажимом и выпустила гной. Артур почувствовал, что рука ее легкая, а движения быстрые и точные.

Температура упала. Вернулся аппетит. Но повязка сильно промокала. Приходилось дважды в день ходить на перевязки к медсестре.

Это была толстуха небольшого роста с широким лицом и веснушками на носике. Когда она улыбалась, глаза превращались в щелочки. А ямочки на щеках делались глубже. Её имя "Ольга" было похоже на название реки, на которой произошла Сталинградская битва. Но все почему-то называли ее "Оля", что напоминало французское "О ля-ля".

В какой-то момент Стоун поймал себя на мысли, что готов ходить на перевязки и терпеть боль только ради встречи с медсестрой. Оля не была красавицей. Трагедии из этого не делала. Принимала себя и все вокруг без замечаний и претензий. Может, поэтому, от нее исходила жизненная энергия и неподдельная большая доброта.

Каждое утро перед началом репетиции Марк Дорфман заходил в вагончик - забрать выручку у девочек. Старик Лемке, театральный сторож, за банку тушенки в неделю, по заданию Марка, присматривал за вагончиком. Он и сообщил боссу об аресте странного посетителя в халате.

— Эй, бездельницы, - Дорфман уселся на низкий табурет в вагончике. - С самого начала. Со всеми подробностями! Ну!

— Он постучал около двух ночи, - начала Люси. - В больничном халате, босиком. Думала, не пускать. А он по-английски. Решила, что специально нарядился - из английской зоны выйти. Пустила.

— Опиши его.
— Я клиентов не запоминаю.
— А я сейчас как забуду тебе яичный порошок выдать - сразу поумнеешь. - вспылил Дорфман.
— Ну, хорошо, хорошо. Высокий. Худой. Лицо интеллигентное. Лет тридцати, наверное. Сказал, что летчик-офицер английской армии.

— Так. Что еще?
— За бок держался. Раненый вроде.
— Все, красавицы. Приду завтра утром. Работайте, - он забрал мешок с выручкой и пошел в театр.

На репетициях Фрич работал сидя. Квазимодо никогда не забывал поставить для него высокий стул возле дирижерского пульта. Оркестранты еще не пришли. Дирижер был наедине с партитурой.

— Мэстро, есть разговор, - Фельдман поднялся на сцену.
— Давай, Марк, только быстро.
— Невероятная история. Помните профессора Стоуна?
— Как не помнить? Я же тебя рекомендовал к нему на учебу.

- Его сын, военный летчик, был сбит при бомбежке Вены.
- Та-а-к. - маэстро оторвался от партитуры.
- Бежал из госпиталя. Был схвачен русскими в нашем вагончике.
- Так что, гешефт ("Гешефт бизнес (нем., идиш) теперь закроют?
- Этот гешефт не закроет никто и никогда!
- Вот как. Почему?
- Люди - похотливые твари. Бордель для них важнее оперы.
- Но и опера собирает полные залы, Марк. Кстати, зачем ты мне все это рассказал?
- Когда я его найду, возможно, обращусь к вам за помощью.
- Надо бы сообщить старику Стоуну.
- Я отправил письмо. Дойдет ли? Не знаю. Да. До войны во всех больших городах были родственники.

Снимаешь телефонную трубку. Решаешь все проблемы. Что теперь? Записная книжка с именами осталась. А людей нет. Маэстро? - Фельдман посмотрел дирижеру в глаза.

- Что еще, Марк? - Фрич взглянул поверх очков.
- Возможно этот летчик, сын профессора Стоуна, разбомбил нашу Оперу.
- О! Оставьте! - дирижер махнул рукой. - Теперь это уже не важно.

Маэстро Стоун прослезился от счастья, прочитав записку Фельдмана. Он поспешил сообщить новость колонелю, командиру эскадрильи сына.

Скоро на дубовый стол в кабинете очень крупного руководителя в Москве попал запрос англичан о судьбе капитана Королевских Воздушных сил Британии Артура Стоуна. Официальный ответ советской стороны гласил примерно следующее: "О судьбе данного офицера нет никаких сведений".

Погода наладилась. Коллеги Стоуна вылетали на учебные бои два раза в день. Новый самолет барахлил. С взлетной полосы его отправили на доработку. Рана зажила. Но Стоун продолжал ходить к Ольге, якобы для продолжения лечения. Ради нее стал учить русский. И весьма в этом преуспел. Она тоже привязалась к англичанину. Но. пересиливая себя, держала его на расстоянии.

Однажды ее вызвал в кабинет майор Колышев.

Девушка вошла бледная от ужаса. За связь с иностранцем можно было угодить за проволоку или вовсе исчезнуть. А как докажешь майору с колкими глазами, что связи-то и не было.

- Садись, Лагутина, вернее присаживайся, - Колышев указал на стул против стола. - Рассказывай.

- Что? - Ольга сцепила пальцы, чтобы скрыть волнение.

- Все. Все что нам может быть интересно.

- Артур Стоун...

- Вот, умница. Продолжай, - майор присел на край письменного стола. - Ну?

- Он ходит ко мне на перевязки.

- Как рана?

- Рана! Рана! Про другие места пока не спрашиваю! - крикнул майор.

Девушка покраснела. - Зажила уже.

- А чего же он ходит тогда?

- Н-не знаю. Наблюдение.

- Наблюдение, это хорошо. Это правильно. Молодец, Лагутина. Хвалю. Ну, а как он вообще?

- Вообще? Нормально. По-русски уже научился.

- А он тебе по-русски ничего не предлагал? В глаза смотреть! В глаза! - заорал Колышев, наступая на девушку.

- Нет! - она закрыла лицо руками, скрывая слезы.

- Жаль, - сказал майор абсолютно спокойно. - Это жаль, - он щелкнул пальцами и подошел к окну. -

Ты вот что, Лагутина. Будь с ним помягче, да поговорчивее. Поняла меня?

- Да, - Ольга шмыгнула носом.

- Все. Ступай.

Девушка пулей вылетела из кабинета и разрыдалась.

Во время следующей "перевязки" Артур заметил перемену в девушке. Она смеялась чуть громче и говорила чуть быстрее. Но скрыть волнение так и не смогла.

- Моя комната здесь на втором этаже, - сказала она тихо. Первая дверь справа. После десяти. Все. Теперь иди.

Стоун считал минуты до наступления заветного часа. За ужином совсем не ел. Не хотелось. Все вокруг: столы с клеенчатыми скатертями, плетеные корзиночки с черным хлебом, неторопливый говор немцев и скупые фразы коллег стало второстепенным и раздражало.

Большая стрелка настенных часов дернулась и указала на двенадцать.

- Привэт! - бросил он часовому, соскакивая со ступенек крыльца. Тот не ответил.

Дверь в медпункт была закрыта. Артур взлетел по скрипучей лестнице на второй этаж и постучал в первую дверь справа.

Англичанин не был ее первым мужчиной. Ольге было четырнадцать, когда ее изнасиловал пьяный отец. Мама лежала в сельской больнице с воспалением легких. С тех пор отец возненавидел дочь, хоть она и не выдала страшную тайну.

Волосы на груди летчика приятно щекотали шею. Биение его сердца было таким сильным, что передавалось ей. Кровать прогнулась гамаком и начала скрипеть.

- Постой, - прошептала Ольга, стащила матрац на пол и улеглась на него.

Они встречались в ее комнате каждую ночь. Под утро Артур возвращался в общежитие. Часовой делал вид, что не замечает. Только летчики-коллеги подтрунивали, говоря, что Стоуна снова подбили.

Было раннее пасмурное утро, когда Ольга зашла в кабинет майора Колычева.

— Что, беременна? - майор уколол ее взглядом водянистых глаз.

— Нет, - на щеках девушки выступил румянец. - Вот, - она положила на стол листок бумаги, свернутый вчетверо. Адрес на нем был написан по-английски. - Просил отправить, по-возможности. - Ольга отвела глаза в сторону.

— Отправим, - майор развернул письмо и пробежал глазами по строкам. - Иди, работай, - сказал он тихо.

Девушка выбежала, едва сдерживая слезы. Потом весь день молчала. Ночью Артура не пустила. Рыдала в подушку. Утешала себя, что все равно отправить письмо у нее не было никакой возможности.

В письме, написанным красивым убористым почерком, кроме личных данных капитана Стоуна, излагалась его история после воздушного налета на Вену.

Везти письмо в Москву Колычев поручил лейтенанту Ерофееву. Этот молодой человек не успел принять участия в разгроме милитаристской Японии. Конец войны застал его в эшелоне. Но все равно называл себя фронтовиком.

Запечатанное в конверт письмо он положил в планшет. Щелкнул каблучками, взял под козырек, развернулся по уставу и отправился на вокзал.

Кабинет начальника вокзала штурмовала толпа. Многие в военной форме, с наградами и постарше званием. Ерофеев решил штурмовать первый же поезд, следующий в Москву. Уже протиснувшись в тамбур, он обнаружил, что у него срезали планшет.

Пропадать из-за какой-то бумажки не хотелось. В Москве он нашел учительницу английского. Продиктовал ей все, что знал об Артуре Стоуне. Расплатился банкой тушенки и отправился на поиски конверта.

В руках вагонных аферистов и карточных шулеров письмо Артура обрастало все новыми легендами. Его цена повышалась. Последний владелец бумаги, выигравший ее в очко, не сомневался, что держит в руках сообщение американского шпиона. И если бумагу предложить кому-нибудь из иностранцев, можно зажить по-настоящему.

Долго ли, коротко ли, но послание оказалось в Мурманске, где всего за полкило копченой корейки его приобрел английский моряк. Англичанин не прогадал. Папаша Стоун был так рад письму, что отблагодарил моряка по- королевски.

Маэстро поднял свои связи на самом высоком уровне. Мобилизовал все силы и средства. В его кабинете развернулся целый штаб. Звонили телефоны. Составлялись и отправлялись письма. Все ради возвращения сына домой.

В конструкторском бюро трофейных немцев царил переполох. Новый бомбардировщик не смог набрать высоту. Сел в поле. Не взорвался. Но русского летчика-испытателя нашли в кабине мертвым.

Ольга плакала на груди у Стоуна, понимая, что ее возлюбленный на очереди.

— Лучше, чем бесконечные допросы Колычева, - сказал Артур тихо. - То про летную академию, то про аэродромы, то про тактику бомбометания. В самую печенку влезает. Допрашивает. А сам уже всё знает. Не хуже меня.

Оба предчувствовали близкую разлуку. Она пришла на следующий день.

Стоун не мог знать, что причиной взятия его под стражу явился звонок из Москвы. Майор не показывался. Выспросить что-то у часового, приносящего еду, не удалось. Потянулись долгие дни мучительного ожидания неизвестно чего.

Броня быстро привыкла к Вене. И полюбила ее. Климат напоминал 304 родную Винницу. Здесь так же цвели вишни. Так же после дождя выглядывало солнце. Оно светило весело, не обжигая и не утомляя. А вечера были теплыми и тихими.

Быть не ППЖ, а законной женой красавца Доронина гораздо спокойнее здесь. В этом Броня не сомневалась. Началась демобилизация из армии. Девушек, потенциальных разлучниц, в армии почти не осталось. А что будет там, на родине. Мужиков повыбивало. А тут - непьющий педант- майор. Да порвут на куски. И не посмотрят, что женат. Но Пашу, как назло, вызывали в Россию.

— Лететь завтра. - сказал он. - Сегодня - к генералу на инструктаж.

— Не пущу! - крикнула Броня и бросилась мужу на шею.

Доронин снял фуражку. Пригладил волосы. Одернул гимнастерку.

— Разрешите, товарищ генерал? - он заглянул в кабинет Покровского.

— Заходи, Паш. Садись, - для доверительной беседы Покровский предпочитал сидеть не в своем кресле, а за столом посетителей. - Как жена?

— Хорошо. - Доронин присел вслед за генералом.

— Тебе предстоит выполнить очень ответственное задание. Завтра полетишь в Воронеж. Тебя встретят. Доставишь сюда английского летчика. Да, да. - Покровский заметил удивление Доронина, - того самого, которого ты в госпиталь притащил. Что он делает в Воронеже, тебе знать не надо. И никому знать не надо. Особенно, англичанам, которые его запрашивают и дают на нас. Для всех. Ты слышишь. Пал Петрович, абсолютно для всех этот летун бежал из госпиталя. И... - генерал щелкнул зажигалкой и закурил, - был найден мертвым где-то в подворотне на улице Вены. Но прежде, чем это случится, его должны увидеть в Вене живым. Увидеть и опознать. У меня в приемной сидит один майор из Москвы. Он обсудит с тобой подробности.

Генерал вышел.

Московский офицер держался высокомерно. Говорил, как с курсантом.

Стоун должен быть уверен, что его передадут в английскую зону. Здесь, в Вене, он должен встретиться с людьми, которые могут его узнать. Вы поможете ему в этом. Будете сопровождать. Излишне объяснять, что ваше передвижение будет постоянно в поле зрения наших людей. Они же и завершат операцию. И еще одно. Если летчик попытается бежать, операцию придется завершить вам. Иными словами, стрелять на поражение.

Доронин ехал домой с тяжелым сердцем. Заходящее солнце осветило стены домов и зелень парка. Летний вечер не радовал. Затылок болел, как после удара. Ноги стали тяжелыми, будто в кандалах. Не оставляло чувство, что он, майор Доронин, приговорен вместе с английским летчиком. Тем самым, что умирал в доме этой крепкой бабенки с пшеничными волосами. Вера в жизнь, в человечность и справедливость отгоняла тяжелые думы о лишнем свидетеле. Но здравый смысл подсказывал, что самое правильное - в ходе операции, вместе с англичанином, убить и его самого.

Броня будто предчувствовала беду. Искала его взгляда. Но он прятал глаза. Когда собирала его в дорогу, все валилось из рук. А старый потертый чемоданчик не хотел закрываться.

- Ты, ведь, вернешься, Паш? - сказала она тихо, когда присели на дорожку.
- Вернусь, - ответил он после некоторой паузы.

По его ответу Броня поняла, что ее опасения не напрасны.

В самолете уже сидели несколько офицеров. Двое были навеселе. Они громко хохотали, смакуя свои похождения в обществе блондинки с огромной грудью. С грохотом закрылись двери. Взвыли моторы самолета. Он вырулил на полосу. Разогнался и взлетел. Зализывающая раны Вена показалась в иллюминаторе и скрылась за облаком.

Скоро пассажиров укачало. В салоне стало тихо. Доронин был один со своими думами под гул моторов.

Как странно. Годы войны тянулись мучительно. Казались вечностью. Будто целая жизнь. Выход из окружения под Рязанью. Отступление в полном неведении. Страшная зима под Москвой. Потом мясорубка под Курской дугой. Долгожданное наступление. Белорусские болота. Венгрия. Будапешт. Наступая, перепрыгивали через тела убитых. Потом Вена. Казалось, война не кончится никогда. Весть о капитуляции немцев оказалась неожиданной, хотя все её так ждали. Что же дальше? Назначение в Вену к Покровскому. Броня. Ах, Броня, Броня, Броня! Хрупкая красавица с голубыми глазами. Ей бы в киноактрисы. А она в гимнастерку и сапоги, да под бомбежки и пули. Забрал её в Вену. А девчонок наших разбомбили в тот же день на переправе. Выходит, спас. Судьба, и предложение сделал. Не отвечала. Тянула. Почему? Я не их нации? Так, она же комсомолка. Какая разница? Родители её погибли. Одна тетя осталась в Ташкенте. Написал ей. Вроде, как руки племянницы попросил. Думал, письмо не дойдет. Дошло. Разрешила. - Доронин взглянул в иллюминатор. Зелёные поля, расчерченные рощами, тянулись до самого горизонта. - Как быстро потекло время после Победы. Не потекло. Рвануло вперед. Теперь все может рухнуть в одно мгновение. Как странно.

На аэродроме встретил сержант с широкими скулами и раскосыми глазами. Проводил в легковую машину. Сел за руль. Доронин открыл боковое стекло. Здесь пахло не как в Европе. Острее, свежее, крепче. Сосновый лес, придорожная трава, камыш у канавы, мокрая глина по краям дороги, все это пропитывало утреннюю свежесть неповторимым ароматом.

Автомобиль остановился у ворот. Часовой проверил документы. Пропустил. Машина тормознула у входа в каменное здание.

- Майор Колычев. - высокий худой человек протянул руку для приветствия.
- Майор Доронин. - Павел пожал влажную руку коменданта.
- Вот и твой подопечный.

В дверь постучали.

- Разрешите, товарищ майор? - заглянул конвоир.
- Давай, - Колышев махнул рукой.

Доронин обладал прекрасной зрительной памятью. Но Английского летчика узнал сразу.

- Какая встрэца, Майор! - сказал англичанин и улыбнулся.

Доронин, - Павел уже протянул руку для приветствия

— Э, э, э! - остановил Колышев. - Это лишнее. - Вот командировочное предписание. - он вручил Павлу документ. - Распишись здесь, майор, - Колышев подвинул бумагу к краю стола.

Доронин мокнул ручку в чернильницу и расписался.

— Все. - Колышев убрал документ в стол, явно довольный, что сбавил англичанина. - Дуйте на аэродром. Самолет ждёт.

Они летели обратно в Вену тем же самолетом. Несколько гражданских прилепились к иллюминаторам. Наверняка, летели впервые.

Доронин и Стоун сидели лицом друг к другу.

- Что за история? - спросил Стоун по-английски.

Доронин усмехнулся, покачал головой и уставился в иллюминатор.

- Забил инглишь?

— Да, - ответил Доронин. - Все будет о'кей. - Доронин посмотрел летчику в глаза. Стоун понял, что "о'кей" совсем не будет, причем для них обоих.

Стоун обернулся в сторону задремавших пассажиров и щелкнул пальцами, привлекая внимание Доронина. Указал пальцем себе в грудь, глазами в сторону кабины пилота и чуть заметно кивнул, остановив вопросительный взгляд на глазах Доронина.

— Ноу. - сказал Павел очень тихо, но твердо.

— Пес! - успел бросить Стоун, прежде чем ударил Доронина ногой в грудь. Потом вскочил с кресла и рванул в сторону пилотской кабины. Дверь не поддавалась. Он постучал. Когда дверь приоткрылась, с силой рванул ее на себя.

Дуло пистолета и спокойные глаза второго пилота встретили в проеме двери.

— Не балуй, - сказал тихо и указал кивком головы, дескать, на место.

Стоун пятился к своему сидению, подняв руки.

— Все в порядке, майор? - пилот бросил взгляд на Доронина, хватаящего воздух широко открытым ртом.

— Да, - прохрипел Павел.

— Браслеты ему надень.

Доронин достал наручники и приковал ими Стоуна к ручке кресла.

— Все. Отдыхайте. Скоро посадка. - пилот вернул пистолет в кобуру и отправился в кабину.

Вена встретила теплым мелким дождем. Открытый виллис с двумя автоматчиками довез до комендатуры. Рыжий лейтенант принял летчика. Расписался в документах.

Переночуешь здесь. Паша, - голос генерала Покровского звучал взволнованно. - Утром повезешь его на встречу - показать кое-кому. А вечером, Пал Петрович, чтобы как штык мне быть в театре. У нас премьера. "Волшебная флейта". Потолок, правда, еще не покрасили. Но акустика есть. Сядешь рядом со мной. Жену не забудь. Отсюда вместе поедем.

— Слушаюсь!

— Только, Паша, давай задание свое чтоб до конца. Без приключений. Ясно?

— Так точно.

— Зайдёте по этому адресу. - Покровский вручил записку. - Охранников за дверью оставишь. Хозяева - знакомые его отца.

Павел взглянул на адрес. - Товарищ генерал, в этой квартире мы свадьбу играли.

— Да ну?! - генерал взял записку, прочитал, пожал плечами. - Тем лучше. - В парадной этого дома твоя миссия заканчивается, - генерал посмотрел в сторону. - А вечером - премьера. Не забудь.

Было еще светло. Они ехали в том же виллисе. Доронин сидел рядом с водителем. Стоун - на заднем сидении, между двумя охранниками.

На узкой улочке поползли вслед за колонной пленных немцев. Они брели с лопатами и кирками на плече. Остановились у того самого старинного дома, где совсем недавно звенели бокалы и раздавались крики "горько!".

Поднялись на второй этаж и позвонили в квартиру Фрича.

Открыл молодой человек еврейской внешности. Он был одет в белую рубашку с бабочкой и черный фрак. Узнал летчика, обрадовался, но, видя сопровождающих, нахмурил брови и посмотрел на Доронина, не зная на каком языке объясняться.

— Капитан Доронин, - представился Павел. - Майор Стоун, - он указал рукой на летчика. - Вижу, вы знакомы, - продолжил Доронин по-английски. - Можно войти?

— Пожалуйста, - разрядил обстановку Фрич, появившийся за спиной Дорфмана. Он тоже был одет в черный фрак. - Правда, у нас мало времени. Спешим в театр. Премьера. - он указал рукой в направлении гостиной.

— Ждите у двери, - бросил Доронин автоматчикам.

— Как ваша жена? - спросил Фрич.

— Спасибо, - ответил Павел.

— Красивая девушка. Надеюсь увидеть вас на премьере.

— Я тоже. - Доронин убедился, что в гостиной больше никого нет. Окно вдруг вспыхнуло ярким светом. Все вокруг и потухло.

Фрич и Дорфман разом охнули, когда Стоун разбил графин с водой о голову Доронина.

— Мне надо в английскую зону, - сказал летчик тихо обездвиженным от ужаса музыкантам. Они переглянулись. Дорфман глазами указал в коридор. Фрич кивнул.

— За мной, - скомандовал кларнетист.

Он привел Стоуна к своему убежищу, в котором столько пережил, передумал и мысленно исполнил столько мелодий.

Высокий стеллаж легко откатился.

— Сюда. - Дорфман открыл узкую дверь. - Вода в рукомойнике. Водопровод не работает. - сказал он и захлопнул дверь.

Марк застал в гостиной Фрича, склонившегося над Дорониным. Он шлепал офицера по щеке. Тот в себя не приходил.

Посторонитесь, маэстро. Я оплачу, - сказал Дорфман и запустил табуретом фортепьяно в окно.

Охранники с автоматами влетели в гостиную.

— Инглиш - бум! - Марк показал на поверженного майора. - Фить! - указал в разбитое окно.

Один из охранников высунулся из окна, целясь вниз из автомата.

Доронин тихо застонал и повернулся на бок.

Двое в штатском влетели в квартиру. Обыскали все комнаты. До смерти напугали хозяйку, вернувшуюся с рынка. Запихнули музыкантов в виллис и привезли в комендатуру.

Молодой капитан, неплохо говорящий по-немецки допросил их и записал показания.

В кабинет влетел генерал Покровский. Его лицо было красным от ярости.

— Я не позволю срывать премьеру! - кричал он на следователя. - Немедленно отпустить! Нет! Доставить прямо в театр!

— Но, товарищ генерал, - капитан побледнел, - я еще не закончил.

— Так, заканчивай! Машину к подъезду через пять минут! - крикнул он адъютанту, выходя из кабинета.

— Господин генерал. - Фрич привстал.

— Да, маэстро, - генерал развернулся.

— Можно заехать домой - забрать жену?

— Разумеется. Торопитесь, капитан. Времени нет! - он прицелился пальцем в грудь следователя и вышел.

По улицам города шагали патрули. На перекрестках обыскивали машины.

— Ищут. - голос Фрича дрогнул.

— Маэстро, мне кажется, фрау Фрич надлежит остаться сегодня дома - в потайной комнате. Вместо нее поедет летчик.

— Вы с ума сошли, Марк! - прошипел Фрич.

— Нет. Я родился сумасшедшим.

Обезумевшая от страха Анна Фрич была не в силах сопротивляться и даже возражать. Она молча отправилась в потайную комнату, прихватив стакан чаю и вязание.

Пока Стоун брился перед зеркалом, Фрич подобрал для него одежду жены.

Черное платье налезло с трудом. От туфель на каблуке пришлось отказаться. Дорфман успел густо напудрить лицо летчика. Только после водворения на его голову шляпки с вуалью, музыканты поверили в успех.

— Все. Пошли. - сказал Дорфман. - Пройдете с нами за кулисы, - говорил он, спускаясь по лестнице и поддерживая "даму" под локоть. Квазимодо выведет вас в вагончик. Вы там были. Девчонки передадут вас первому же, кто придет из английской зоны. Да хранит вас Господь.

— Скажите, - Стоун смотрел под ноги из-под вуали шляпки. - Почему вы мне помогаете?

— Я должник вашего отца, маэстро Стоуна, моего учителя, - Дорфман открыл дверь парадной.

Зал был полон. Многие из этих людей в военной форме были в Опере впервые. Потом они будут трудиться на стройках пятилеток, кричать ура на первомайских демонстрациях или греться у костра на лесоповале. Потом. А сейчас они встречали аплодисментами маэстро Фрича. Квазимодо, грузный человек без шеи, успел за кулисами стряхнуть пылинку с его плеча. Маэстро шел со счастливой улыбкой на лице мимо вставших для приветствия оркестрантов. Мировая война, английский летчик за кулисами, Анна, сидящая взаперти, все это было призрачно, не важно, далеко. Еще мгновение, он взмахнет дирижерской палочкой и вновь зазвучит вечная музыка. Она пропитает воздух и стены, некрашенный потолок, шинели и погоны военных, сидящих в зале. Она войдет в их душу и останется там навсегда, хотя они того или нет.

Доронин очнулся в госпитале. Голова болела и кружилась. Лоб был холодным от пузыря со льдом. Смотреть в залитое солнцем окно было неприятно. Глаза слезились и просили покоя.

Охранник, сидящий у двери, привстал, заглядывая в лицо. Потом выглянул за дверь и позвал кого-то.

Вошел человек в штатском. Представился. Фамилию Павел не расслышал.

— Говорить можешь? - он открыл блокнот.

— Да. - Павел почувствовал, что во рту пересохло.

— Тогда рассказывай.

— Что?

— Все. Начиная с прилета обратно в Вену, поподробнее.

Доронин закрыл глаза. Все события последних дней вспыхнули в памяти, наложенные друг на друга, как газетные страницы.

— Со дня свадьбы ничего не помню. Ничего. - сказал он тихо.

— Вот как. - следователь был почему-то доволен ответом. - Жену свою не забыл?

- Где она?
- Здесь. Вторые сутки от тебя не отходит. Поправляйся, майор. - он вышел, не закрыв дверь.

Закружилась голова. Послышался шум ветра в ушах. Сдерживая тошноту, Доронин прикрыл глаза и задержал дыхание. Стало легче. Он открыл глаза и увидел свою Броню. Влажные от слез глаза светились радостью. Она сжимала губы, чтобы не разрыдаться.

- Паша, - прошептала она. - Уедем. Домой хоч. Устала.
- Мы люди военные. Куда пошлют, туда поедем, Бронечка. - Павел приложил её ладонь к щеке.

Они прожили большую счастливую жизнь. Доронин остался в армии. Семье пришлось кочевать по казенным квартирам от Сахалина до Полтавы и Москвы. Но везде им было легко, потому что вместе. Никогда не ссорились. И всегда помнили, как обвенчало их венское лето.

Фрич ещё долго руководил венским оркестром. Здание Оперы восстановили. "Волшебная флейта" исполняется и сегодня. Но ту премьеру в зале, наполненном запахом военных сапог, маэстро помнил до конца жизни.

Марк Дорфман уехал в Америку. Связь с ним потерялась.

Маэстро Стоун не дождался сына. Умер от сердечного приступа. Сам Артур Стоун уволился из армии. Женился и занялся страховым бизнесом. За всю жизнь он ни разу не побывал ни в Вене, ни в России. Но так и не смог забыть курносую хохотушку Олю и то длинное венское лето тысяча девятьсот сорок пятого года.

Илан Рисс

Родился в 1950 году в Бишкеке, Кыргызстан. Репатрировался в Израиль в 1978. Работает в Центральном Статистическом Бюро Израиля. Живет в Иерусалиме. Автор книг "Муди и Иисус" (1996), "У разбитого горячего камня" (2008), рассказов на русском и иврите, а также статей по социологии.

Илан Рисс. Жид

На нашем курсе училась китаянка. Ничего в этом удивительного не было даже в те светлые семидесятые, когда уже был виден конец старого мира, а новый мир каждому виделся таким, каким хотелось, и Китай на военной кафедре нашего вуза был провозглашен Врагом Номер Один. Китайку звали Лина. Было в этом и что-то китайское. Ее предки приехали в Россию в начале века, пережили войны, лагеря, революции, много пятилеток и изрядно обрусели от всего этого. Лина во всем была русская, только черты лица китайские. Но в нашем азиатском городе ее лицо вполне сходило за лицо коренной национальности. Пока она не открывала рот и не выяснялось, что она чужая. Национальный был у нее самым большим вопросом, но она об этом не говорила. Понял я это позднее.

Однажды на лекции у меня в руках оказался свежий номер журнала "Юность". Я всегда любил читать этот журнал, а на лекциях тем более. Но в тот день рядом со мной сидела Лина, страдавшая, как и все, от лекционной скуки. Новенький журнал в моих руках вызвал у нее естественную реакцию:

- Дай посмотреть!
- Щас, - пообещал я, не собираясь, конечно, выполнять обещания, по меньшей мере в обозримом на лекции будущем.
- Ты потом посмотришь!
- Нет, ты потом, - твердо стоял я на своем.

Лина потянула журнал к себе, но я не сдался и не выпустил его из рук, и тогда она, раздосадованно отвернувшись, бросила мне:

- Жид!

И сама тут же очень смутилась, прикрыла рот рукой, но слово - оно не воробей, со всеми вытекающими из этого последствиями, хотя данное, конкретно произнесенное ею слово, весьма успешно служит общепринятым синонимом слова "воробей".

Я, скорее всего, забыл бы про этот инцидент, но Лина перестала садиться рядом со мной на лекциях и только издали виновато заглядывала мне в глаза, как бы ждала чего-то. Возможно, какого-то объяснения. Но оно мне было совершенно не нужно. Я не обиделся. Мне было абсолютно ясно, что после Шестидневной войны назвать еврея жидом можно было исключительно по недоразумению. И мне было странно, почему Лина этого не понимала.

Через год после окончания учебы мы встретились с Линой на сельхозработах. Она радостно кинулась ко мне, и в первые дни нашего пребывания там мы все время ходили вместе. Лина постоянно улыбалась мне все той же виноватой улыбкой и при каждом удобном случае повторяла, что она готова сделать для меня все, что бы я ни попросил. А я за ласковым взглядом видел Катю, девушку, тоже работавшую с нами в колхозе. Я, как только увидел Катю, сразу начал о ней думать, но в первые дни нашего пребывания в колхозе Катя рано вечером уходила спать, и заговорить с ней никак не получалось. Катя, высокая, темноволосая и голубоглазая, не была похожа на еврейку, но несмотря на внешность и имя, что-то в ней привлекало мое внимание именно с этой точки зрения.

Однажды в обеденный перерыв мы с Линой пошли в сельпо. За зубной пастой или чем-то еще. Продавец, пожилой киргиз, начал по-киргизски упрекать Лину за то, что она ходит с русским. Мы догадались о содержании его речи, связав несколько знакомых киргизских слов с выражением его лица. Лина раздраженно пожала плечами и довольно невежливым тоном ответила:

— Я не понимаю по-киргизски.

Пожилой продавец сокрушенно забормотал что-то. Наверное, о падении нравов и утрате традиций. А я напрягся, вспомнил несколько известных мне слов из киргизского языка и сказал, тоже по-киргизски:

— Ал кыргыз эмес, что означает "она не киргизка".

— А кто ты? - продавец обратился к Лине по-русски, не удостоив меня взглядом. У него оказался очень хороший русский.

— Китайка.

— Русский с китайцем братья навек! - засмеялся продавец.

— Я не русский, - снова вмешался я.

— А кто? Немец? - он наконец-то взглянул в мою сторону.

— Еврей.

— У меня друг на фронте еврей был. Под Будапештом погиб. - Он помолчал и добавил: - Наша земля гостеприимная. И немцы есть, и евреи. Все равны.

Мы согласились с ним и пошли к нашим кошарам. От сельпо до них было километров пять-шесть.

— Правильно он сказал про то, что у нас все равны... Иногда только мелкие недоразумения бывают, - начала Лина.

Я согласился и с ней.

— Понимаешь, - продолжила Лина, - у меня какая история: для русских я "косоглазая", для киргизов - русская, а китайцев тут нет.

— Понимаю, - сказал я.

Я действительно понимал. В разговорах со мной русские ругали киргизов, а киргизы русских.

— Я поэтому ничья, - усмехнулась Лина, - и поэтому что хочу, то и делаю. Замуж ведь мне идти не за кого.

— Свобода, бля, свобода, бля, свобода, - прокомментировал я словами популярной песни.

Всю дорогу Лина призывно улыбалась мне. А я смотрел на нее и видел Катю.

Вечером, когда все уже легли спать, Лина вызвала меня из кошары. Мы сели с ней у реки на камень.

— Я давно хотела с тобой поговорить. Помнишь, я тебя жидом обозвала? Я понимаю, ты из-за этого на меня до сих пор обижаешься.

— Глупости, - махнул я рукой, - забудь.

— Я виновата перед тобой, но я просто так лягнула, так просто говорят. Я ничего такого не имела в виду. Ты мне не веришь?

— Конечно, верю. Я и внимания не обратил тогда.

— Но ты же помнишь про это?

— Знаешь, это единственный раз, когда мне это сказали. С тех пор как вырос, по крайней мере. Дети так часто кричат. Но они ведь без понятия.

— Ты, правда, совсем не обижаешься?

— Честное слово.

— Обними меня, - попросила Лина.

Я положил ей руку на плечо. Она потянула ее дальше, и я дотронулся до ее груди. Под рубашкой у нее ничего не было, а грудь была большой и тяжелой. И очень приятной на ощупь. Лина повернулась и обняла меня. Но я вспомнил о Кате. И, убрав свою руку, попытался освободиться из ее объятий.

— Что я тебе еще могу сделать, чтобы ты мне поверил? Я не хо тела тебя обидеть... Ты мне всегда так нравился, а я одним словом все сломала, - грустно произнесла Лина, отпуская меня.

— Перестань, - попросил я. - Сколько можно, - я не выдержал, - прямо бред какой-то.

— Значит, ты просто меня не хочешь? - догадалась Лина. - Я такая уродка? - она быстро встала и убежала.

На следующий день она остановила меня и, глядя в сторону, произнесла чуть слышно:

— Ну, просто так, давай попробуем, увидишь, тебе понравится.

Я повернулся и пошел.

— А если б я у тебя денег просила? Убил бы? - зло крикнула она вслед.

Вечером у костра я подсел к Кате. У нее оказалась смешная фамилия - Хотенко. Смешная, доставлявшая ей массу неприятностей, но тоже нееврейская. Однако и вне всякой связи с ее национальностью, после того как я увидел Катю, мне просто больше ни на кого смотреть не хотелось. Наверное, потому что она Хотенко. Так я ей и сказал, а она рассказала мне, почему она Хотенко, запутанную историю времен паспортизации в Советском Союзе, и тогда я узнал, что Катя еврейка, а про меня она и раньше уже все знала. Мы с ней стали болтать в свободное время, а китайка Лина подходила к нам и ужасно радовалась, когда Кате нужно было куда-нибудь уйти. Однажды для всех устроили выходной день и повезли купаться к горному озеру Иссык-Куль, а нас с Катей оставили дежурными. Мы не стали выяснять, почему именно мы должны были остаться. Мы с ней позавтракали и пошли загорать к горной речке.

Зеленый берег у подножия крутого холма, поросший мягкой, густой травой, приятно пружинившей под пледом, обжигающие холодом быстрые струи воды... Накануне вечером мы уже целовались, и перспектива остаться вдвоем виделась нам даже привлекательнее купания в Иссык-Куле, с чем, надо отметить, в жизни

мало что может сравниться. Когда мы по второму разу искупались в горной речке и я начал обнимать Катю, она сказала, что в Израиле, на Синае, загорают топless, то есть в купальниках без верха, и я, наверное, не буду возражать, если она тоже снимет этот самый "верх".

— Сними все, - немедленно согласился я.

Для нас было очевидным, что в Израиле все делается правильно.

— Нет, - сказала она, - в Израиле так не загорают.

— А как загорают?

— Вот так.

Она сидела, обняв колени руками.

— Для здоровья нужно совсем голыми загорать.

— А они там не для здоровья.

— А для чего?

— Женихов соблазняют, - хитро улыбнулась Катя.

— Так ты меня соблазняешь?

— А тебе уже хочется на мне жениться? Действует?

— Действует, - признался я, - хочется, чтоб ты совсем разделась.

— Женись, - твердо сказала Катя. И помедлив, чуть слышно добавила: - Пообещай хотя бы...

— А тогда ты до конца разденешься? - спросил я, стараясь голосом выразить свою полную готовность на все.

— Тогда да, - Катя рассмеялась и откинулась на спину, искоса глядя на меня.

Ее израильская смелость восхитила меня. Я был готов немедленно пообещать ей все и навсегда. Но лежа на спине, она увидела Лину. Она показала на нее пальцем, и тогда Лину увидел и я. Та стояла над нами на крутом холме, отделявшем наш высокогорный пляж от всего остального мира, и презрительно улыбалась. Понятно было, что стояла она там уже давно и все видела и слышала. Катя надела рубашку, и мы пошли к нашим кошарам. Лина шла с нами и объясняла, что у нее в автобусе закружилась голова и она пешком вернулась назад.

Вечером все, как обычно, сидели у костра. Мы с Катей сидели рядышком, чуть поодаль от других, и всем было ясно, что мы теперь вместе. Было уже совсем поздно, когда я пошел за очередной бутылкой водки, холодевшей с утра в горной речке. У реки, между больших валунов, слышался тихий плач.

— Кто тут? Что случилось? - подошел я и увидел Лину.

— Катька красивая, но тебе не дает, - сквозь слезы зло прошептала она, - тебе для меня и одного раза жалко, все для этой евреечки бережешь, а она для тебя трусы за так снять не желает! Вы все жадные! Жиды!!!

Я вытащил из горной речки холодную водку и пошел к костру. Лина плакала.

Эпилог

На следующий день я предложил Кате пожениться. Катя сначала сказала, что она пошутила, но тут же добавила, что раз уж такая интересная идея прозвучала, то она ее обдумает. Думала она до конца нашего пребывания в колхозе, согласилась уже в городе, а поженились мы через год, когда ее мама поняла, что думать уже больше не о чем.

Лину я больше не встречал. Слышал только, что она по-прежнему живет в нашем городе и по-прежнему одинока. Если бы я мог поделиться с ней своим счастьем, я бы поделился... Тогда я не умел, а теперь, кажется, научился.

Первый приз

Как-то так сложилось, что после школы нам с Маринкой всегда было по пути. Мы мед-ленно шли с ней по улицам нашего города, и я рассказывал ей истории из моей жизни, истории, которых никогда не было на самом деле. О некоторых я до сих пор сожалею, что они так и остались выдуманными. Маринка слушала, а когда мы подходили к ее подъезду, подолгу стояли там, она просила рассказать еще что-нибудь.

Трудно поверить, но однажды нам оказалось по дороге к зубному врачу. У нас с Маринкой, несмотря на то что нам исполнилось по тринадцать, еще оставалось по молочному зубу, и эти качающиеся останки раннего детства доставляли нам серьезные неудобства. Обсудив это, мы решили пойти к зубному врачу, а остальное получилось само собой. Мы встретились у входа в поликлинику, моя очередь была сразу после Маринки-ной. Дальше все немного усложнилось: Маринке зуб выдрали, она выскочила от врача счастливая - совсем не больно! А когда я хотел зайти, врач, Аркадий Львович, часто бывавший у нас дома, сказал мне, что у меня не срочно и лучше будет, если я по-дойду через пару часов.

— А как же уроки? - спросил я.

— Уроки? - спросил Аркадий Львович. - Я дам тебе справку, а ты сходи пока погуляй.

— А что с Маринкой? - показал я на нее пальцем, на случай если Аркадий Львович не знает, кто такая

Маринка.

— А что с ней?

— У нее тоже уроки, - объяснил я.

— А-а-а, - сказал Аркадий Львович, - я ей тоже дам справку.

И мы с Маринкой вышли из поликлиники. На улице была весна, все вокруг было чисто вымыто последним снегом и первым дождем и пахло свежестью.

— Пойдем в кино, - сказала Маринка, и тогда я впервые понял, что мужчина сам по себе не способен на грехопадение.

В это время я читал "Библейские сказания" Косидовского.

— Деньги? - неуверенно спросил я, хотя понимал, что деньги в кармане у меня есть и что Маринка про них отлично знает.

Это были деньги, собранные в классе на приобретение альбома ко дню рождения Ильича. За его день рождения отвечали мы с Маринкой. Почему, я уже не помню.

— Обожметса, - сказала она модным тогда словечком, подхваченным из какого-то научно-фантастического рассказа.

Больше вопросов я не задавал.

Перед сеансом мы купили по пломбиру, а когда вышли из кино, то молочного зуба у меня во рту уже не было.

— Сам выпал, - сказала Маринка.

— И я его проглотил, - добавил я.

— Не страшно, - успокоила меня Маринка.

— Ерунда, - согласился я.

— Значит, к врачу нам не надо... - начала Маринка.

— Ни к чему, - подтвердил я.

— Пойдем есть пирожные, - твердо сказала Маринка.

Я снова вопросительно посмотрел на нее.

— У нас хватит, - ответила она тем же тоном. Потом сказала: - Семь бед, один ответ.

Когда мы шли домой, встретили Валентину, самую вредную девочку в нашем классе, которая сразу же стала угрожать нам разоблачением.

— Где это вы шляетесь во время уроков?

В ответ мы показали ей справки из поликлиники, а она заорала:

— Так не бывает! Я выведу вас на чистую воду!

А мы с Маринкой и так уже брели по чистой воде весенних луж, и нам было совершенно все равно, что кричала нам вслед вредная Валентина. Нам было хорошо. Я пересказывал Маринке ковбойский фильм, которого я никогда не видел и которого никто никогда не снимал. Маринка внимательно слушала.

С альбомом, как и предсказывала Маринка, все устроилось. Через несколько дней со-стоялась школьная математическая олимпиада. Первый приз был фотоаппарат "Смена", второй - альбом, как раз такой, какой мы должны были купить, третий я не запомнил. Я специально сделал одну ошибку и уступил первый приз Алексею Твердоходову. Он стал с годами доцентом на кафедре ботаники в университете нашего города.

А меня Маринка похвалила за правильное решение, и мы с ней до поздней ночи клеили картинки из жизни Ленина в альбом и обсуждали, честно ли мы поступаем. Деньги-то мы растратили. Обманывать одноклассников нам стыдно не было, те и сами были хороши, а вот обманывать Ленина... Он был чист, как светлое будущее, а мы очень хотели в светлое будущее. И мы спрашивали себя, что сделал бы Ленин на нашем месте. Я рассказал историю из жизни маленького Ленина, которая никогда с Лениным не происходила. Маринка выслушала про Ленина и спросила, знаю ли я еще что-нибудь. Я не знал. После чего, посоветовавшись, мы пришли к выводу, что мы, конечно, нечестно поступаем. Обманываем. Однако настоящего раскаяния мы не чувствовали. Чувствовали совсем другое. Нам хотелось целоваться. Но вместо этого я рассказал Маринке про одну девочку в пионерском лагере, с которой я там целовался, пока все собирали грибы в лесу. Маринка искоса смотрела на меня и как-то странно покачивала головой. Когда я замолчал, она обиженно сказала:

— Врешь.

Я расстроился до глубины души. Я был готов вместе с ней обманывать одноклассников, учителей и даже самого Ленина, но я не мог себе позволить обмануть Маринку. И вот выяснилось, что я лгу ей, и самое страшное, что она это понимает и что она всегда знала, что я ей лгу. Но раньше она терпеливо выслушивала мою ложь, а теперь чаша ее терпения переполнилась. Я покраснел. Особенно стыдно мне было оттого, что я думал, будто мои рассказы никак нельзя отличить от правды, и вдруг выяснилось, что это совсем не так. Маринка отвернулась и сказала с укором в голосе:

— Я знаю, что ты все время врешь, но зачем про это?

И я крикнул сдавленным шепотом:

— Нам доводилось вместе обманывать других, но никогда друг друга!

Признаться, что я выдумал девочку в пионерлагере, я был не в силах. Вместо этого я рассказал, что эта девочка уехала далеко-далеко и что я совсем не хочу увидеть ее когда-нибудь снова. И глядя в сторону, сбивчиво закончил:

— Потому что я хочу... дружить... только с тобой.

Тогда Маринка подняла на меня глаза и тихо сказала:

— Ну извини. Ты не врешь. Это называется - выдумываешь. И знаешь, я очень люблю тебя слушать. - Потом она еще сказала: - Если бы была олимпиада выдумщиков, я бы присудила тебе первый приз.

И Маринка поцеловала меня.

После этого мы целовались при каждом удобном случае, и истории, которые я рассказывал Маринке, были о чем-то хорошем-хорошем, ожидающем нас где-то рядом и совсем скоро. А вскоре, точнее, очень даже вскоре, Маринка сама, как придуманная мной девочка из пионерлагеря, уехала в какой-то далекий маленький городок, которого не было на картах, куда перевели ее отца-офицера. С тех пор я всю жизнь искал девушку, с которой я мог бы так же легко принимать любые решения и которой я так же легко мог бы

рассказывать про то, чего никогда не было, но ни разу не пытался найти саму Маринку. Наверное, мне было страшно увидеть ее повзрослевшую...

А Ленина теперь только ленивый не пинает.

Мечь

Нина считалась в нашей школе красавицей. Не по справедливости, а потому, что девочек в нашей школе было мало, а красивых совсем не было. Это была школа-интернат с физико-математическим уклоном, красивые девочки редко интересовались математикой, а если и интересовались, то их родители не хотели, чтобы они жили в интернате. Поэтому Нина стала первой красавицей нашей школы. У нее были не очень густые русые волосы, широкие бедра, большой рот с тонкими, бледными губами. Но она была умна, и это делало ее внешность привлекательной. В обычной жизни после окончания школы это стало незаметным, но тогда, в десятом классе, она пользовалась успехом. А Нина, в свою очередь, предпочитала мальчиков, интересовавшихся кино и классической музыкой, а я был силен в физике и любил летом футбол, а зимой лыжи.

Я, как и все, считал ее красавицей, но я еще и влюбился в нее безнадежной первой любовью. Наверное, первая любовь должна быть сильнее, так пишут в книжках, но я делал все, на что был способен. Потерять аппетит я не мог благодаря футболу, потерять сон тоже, спал я и так по три-четыре часа в день, потому что по ночам занимался физикой, отсыпаясь за неделю, но я честно страдал, когда на школьных вечерах она отказывалась танцевать со мной. И страдал тем сильнее, что она говорила, будто это из-за того, что со мной не о чем разговаривать. А я пытался говорить с ней о моей любви. Особенно было обидно, когда я перехватывал ее взгляд и читал в нем легкое пренебрежение, а зачастую даже и презрение ко мне и ко всей моей жизни. За это мне очень хотелось наказать ее, и постепенно, как это иногда случается, жажда мести вытеснила любовь.

После школы я уехал в Новосибирск и поступил там в институт, а она вернулась в свой город и поступила в политехнический. Летом после первого курса я поехал на Сахалин в стройотряд, заработал там почти полторы тысячи рублей, вырос еще на восемь сантиметров, и силы у меня стало, как у Рахметова. И уезжая оттуда, я понял, что делать. Я полетел в ее город, пришел к ней и сказал, что люблю ее. Она ответила, что она всегда знала, что так должно было произойти, и ждала меня. Мне показалось, что ее вкусы и взгляды на жизнь изменились, бытие, подумал я, наверное, действительно определяет сознание. Нина располнела, на лице проступили желтоватые веснушки, волосы были обесцвечены не то химией, не то жизнью, и она совсем не выглядела красивой. Мне даже захотелось простить ее, забыть про свою мечь и немедленно уехать, но она, глядя в сторону, спросила, не слышал ли я чего-нибудь про Родиона Тихоглядова, поступившего во ВГИК. Старая обида наглым кукушонком забила в висках, вытесняя все остальные мысли, я развел руками, сказал "увы" и предложил ей поехать в тот город, в котором все началось, пожить там пару недель, походить по тем улицам, и тогда мы оба поймем, что делать. Она сразу же согласилась, и на следующий день мы улетели.

Старушка, у которой мы сняли комнату, недоверчиво поинтересовалась, для чего нам это нужно, и я сказал ей: "Воспоминания молодости". Она проворчала: "Будут у вас тут воспоминания, будете это лето помнить". Шел конец августа, и все получалось как в модной тогда песне: "...за окнами август... и я знаю, что я тебе нравлюсь, как когда-то мне нравилась ты..." Так я эту песню, во всяком случае, запомнил. На Сахалине Ольга, тридцатилетняя воспитательница детского сада, научила меня искусству любви, а Нина, когда мы в первый раз остались с ней вдвоем, еще у нее дома, прошептала мне на ухо: "У меня был кто-то, но теперь его нет". Я почувствовал себя совершенно свободным, но и еще больше обиженным, потому что мечь уже не могла быть такой полной, как мне хотелось.

Нина любила спать допоздна, а я вставал с рассветом и начинал день с пробежки в лесу. Потом готовил простой завтрак - несколько вареных яиц, большой салат, студеное молоко из погреба. Нина одевалась только после завтрака, мы шли в лес, валялись на траве, ее маленькое, толстенькое, ромбовидное тело не привлекало меня, мною двигала только жажда мести. Обедали мы в одном и том же маленьком ресторане. Вечерами ходили в кино или на концерты классической музыки, мне было нестерпимо скучно с ней, и через неделю я, встав, как обычно, рано, собрался и ушел, оставив Нине двести рублей на тумбочке около кровати.

Билет до ее города стоил в то время намного дешевле. Где-то в глубине души я ждал, что она напишет, позвонит, приедет, будет спрашивать, что случилось, почему, за что. Но она просто исчезла, и я решил, что так оно и лучше. Мне часто виделось, как она в тот день, проснувшись, ждала меня, потом искала, и наконец, найдя деньги, все поняла и долго плакала от жгучей обиды. В эти минуты я чувствовал себя отомщенным.

Через несколько лет я уехал в Израиль. Именно там, через двадцать лет, я вдруг вспомнил Нину и понял, что она и есть мои воспоминания молодости. Я рано женился, много работал, годы прошли, как один длинный вагонный состав. Так стоишь у переезда, вагоны мелькают один за другим, кажется, что ждешь долго, а когда поезд прошел, вспомнить нечего, только вагоны, гадко похожие друг на друга. И тут пришел письмо от Нины. Я сразу подумал: вот, и у нее то же самое, ностальгия и воспоминания, но в конверте была фотография - я в молодости. Нина писала, что когда я ушел, она очень обиделась и обещала себе никогда не видеть меня. Я оставил ее беременной, а она вынуждена была родить - у нее был резус-фактор. Врачи сказали, что эта беременность может оказаться для нее единственной. Она не в обиде на меня - насильно мил не будешь, а мальчик получился очень хороший. Теперь она оказалась в безвыходной ситуации, после автокатастрофы у нее резко пошатнулось здоровье, осталось ей жить от силы несколько

месяцев, а наш сын, Семен, так она его назвала, очень способный, учится на физфаке, но он абсолютно неприспособлен к жизни, голодает, и без нее просто пропадет. Просила помочь ему. Даже небольшая сумма, писала она, будет для него спасением, сто долларов у них стали сейчас целым состоянием. Она не стала бы обременять меня, но она надеется, мне это будет не очень трудно, больше ей обратиться не к кому, ну и все такое прочее.

Первой моей мыслью был философический вопрос, почему я должен помогать именно этому моему сперматозоиду, чем он лучше миллионов других, пролитых мною черт знает где и не имеющих ко мне никаких претензий, не говоря уж о денежных. Потому что Нина вырастила из него человека, а тот стал бедным студентом? Я отправил Нине тысячу долларов, от нее пришло письмо со сдержанной благодарностью, а на мое следующее письмо с чеком поменьше ответ уже не пришел. Я позвонил туда, и Семен сказал мне, что ее уже нет. Еще он рассказал мне, что мать Нины была еврейкой и теперь в следующем месяце он делает алию.

Вскоре Семен приехал. Сначала на наших редких встречах он смотрел на меня точно так же, как его мать в десятом классе, - с легким пренебрежением, и нам так же не о чем было разговаривать, и у меня точно так же копилась обида и зрело желание наказать его за это пренебрежение ко мне. Я точно знал, что можно выждать, выбрать момент и сделать ему больно. Даже большее, чем становилось мне от его пренебрежительных взглядов. Но я больше не хочу мстить кому бы то ни было.

А потом мы с ним очень подружились. Семен оказался умным и добрым. Он так же, как я, любит физику, и мы подолгу беседуем с ним про космологию и квантовые основы сознания. Еще я приучаю его заниматься спортом, и он крепнет прямо на глазах. Мальчики растут до двадцати пяти лет, и мне кажется, что он здорово подрос. Я часто думаю, как все могло бы сложиться, если бы я не ушел тогда в обиду от его матери, но еще чаще мне думается о том, как получилось, что зло посеяло добро...

Александр Хургин

Хургин Александр Зиновьевич — русский писатель еврейского происхождения. Родился 28 октября 1952 года в Москве, в семье врачей - Зиновия Айзиковича и Татьяны Львовны Хургиных. До 2003 года жил на Украине. Живет в Хемнице (Chemnitz), Германия.

Постоянный автор и лауреат премий Московских литературных журналов «Знамя», (1993) «Дружба народов» (1998) «Октябрь» (2003 и 2004), лауреат премии "Литературна скарбница" СП Украины (1991), премии имени Короленко (2001) дважды выдвигался на Букеровскую премию. Печатался также в «Новом мире», «Юности», «Огоньке», «Литературной газете», журналах Литературные записки «Магазин Жванецкого», "Новый очевидец", "фонтан", "ШО", "фабула" и во многих других изданиях.

Автор восьми книг прозы, выходивших в частности в библиотеке журнала «Огонёк» ("Лишняя десятка", 1991), в Московских издательствах «Вагриус» "Ночной ковбой", 2001, «МК-Периодика» ("Бесконечная курица", 2002, «Зебра Е» ("Кладбище балалаек", 2006,).

Участник, антологий: «Вагриус-проза 1992-2002» (Москва, «Вагриус», 2002), «Проза новой России» (Москва, «Вагриус», 2003), «Современная русская проза» (Москва, «Захаров», 2003), «Афористика и карикатура» (Москва, «Эксмо», 2003), „Rutland 21 neue Erzählr" (Mtinchen, „DTV", 2003), „La prose russe contemporaine" (Paris, „Fayard", 2004), „TemaLezarva"(Budapesht, „Gabo", 2005), „Cuentos rusos"(Madrid, „SirueCa", 2006), "Liebe aufRussisch" (BerCin, "VCKtein", 2008)

В Германии публиковался в журнале "Партнер" (Дортмунд) и в еженедельнике "Freitag" (Берлин) переводы на немецкий.

Ночной ковбой

С постом Ильченко, можно сказать, повезло исключительно и на редкость. Не то что другим его сотоварищам, которые по тёмным улицам ходят туда-сюда неприкаянно или ещё что. И вообще ему повезло на старте жизни. Чуть ли не во всём. Потому что тех, кого из института за злостную неуспеваемость отчислили - в армию взяли, в разные рода войск. Тут же без никаких разговоров. А ему вот в милицию удалось поступить. Вместо того. На альтернативной, как говорится, основе. Благодаря усилиям старшей сестры Юлии удалось, приложенным куда следует. И сразу, как только он был принят в личный состав и на довольствие, эту альтернативную милицейскую службу законодательно отменили, признав нецелесообразной. А он до отмены, значит, успел проскочить. И теперь несёт свой долг по защите родины здесь, в ресторане "Ночной ковбой".

Это уже без Юлии, само собой сложилось - что здесь, а не в другом месте. Так как работы по наведению и поддержанию общественного порядка тут особой нет. Да никакой тут кропотливой работы нет практически. Посетителей - будь они хоть в каком непотребном виде - начальство трогать не рекомендует. Практически официально. Так что вся служба в том заключается, чтоб стоять столбом в определённом интерьере и всё. И никуда не соваться. Ради того стоять, чтоб при надобности какой-либо непредвиденной было наглядно видно, что милиция не дремлет, не зря ест свой хлеб, и ситуация в городе находится у неё под неусыпным контролем.

Ни на что другое Ильченко не годится по характеру своему и способностям, а так стоять, для мебели и для виду - он вполне пригоден. Имея крепкие ноги. И он стоит по двенадцать часов. Иногда не приседая всю ночь до утра. У стенки фойе, напротив другой, противоположной, стенки. И перед его глазами всегда сидит нарисованный на этой противоположной стенке ковбой. Он сидит на лошади под названием мустанг и смотрит из-под руки вдаль. А рядом с ним - справа и слева - два его друга. Тоже на лошадях сидят и тоже в ту же самую даль смотрят.

В ресторан приезжают разные люди - и старые, лет сорока, наверно, если не старше, и совсем молодые, его ровесники. Приезжают на больших иностранного производства машинах, с девками разодетыми и разукрашенными, как манекены витринные. И Ильченко, глядя на них при исполнении, думает и не может придумать - ну откуда у них эти машины дорогостоящие, и эти камни сверкающие, и эти девки прекрасные. Он вообще не понимает, откуда всё это на нашей печальной земле и главное откуда такие девки берутся среди женского пола.

Ну, вот он, Ильченко, допустим, в школе учился одиннадцать лет и в институте техническом почти что один год в гуще и среде молодёжи. И там были, конечно, разные девушки. И симпатичные лицом и фигурой - тоже были. Вот Ольга, например, Красильникова. Но чтоб такие! Таких не было даже для блезиру. Таких он никогда раньше не встречал и не видел. До тех пор, пока его на этот постоянный пост не поставили службу нести милицейскую. По телевизору и в кино только видел он таких неопиcуемых красавиц. Но в кино не считается.

А тут они, значит, свободно ходят и причёсываются, и курят длинными пальцами длинные сигареты, и едят и пьют, и в туалет дамский тоже заходят чаще, чем можно было бы от них ожидать. Иногда просто по нужде, а иногда перед зеркалом себя подправит, губы перенакрасит или, как говорится, поблевать. Если лишнего выпьют и съедят. Ильченко их уже на взгляд определяет - зачем то есть они туалет посещают. С какой основной целью. Это легко видеть. Если по столько часов смотреть, за ними исподволь наблюдая. А что ещё ему делать? Кроме как смотреть. Нечего больше ему делать.

И он думает, что если на любого из этих господ припудренных и прилизанных надеть его синюю форму с фуражкой и сюда поставить стоять, то и на них никто, ни одна девка, не обратит никакого своего внимания и пройдёт стороной, как мимо предмета неодушевлённого. И не узнает в лицо, даже если они до того были достаточно знакомы и спали в одной постели не один раз. С другой стороны, если на Ильченко нацепить какой-либо из этих костюмов и галстуков, и этих тувель, то и он ничем не будет отличаться от остальных в зале ресторана. И никто не узнает того, что он по сути милиционер. И официанты вокруг него будут бегать на полусогнутых и всё подносить и наливать в стаканы шампанское с пеной. Вот что форма (или её отсутствие) с человеком способна сделать. Особенно форма рядового милиционера. Конечно, из-за этой его формы на него никто с интересом не смотрит. И никто не замечает его постоянного присутствия. А он смотрит и замечает. От безделья и простоты своих служебных обязанностей.

И ему тоже хотелось бы так вот, как эти, приезжать на красной машине с девкой, выходить размашисто и идти в зал. И там пить и закусывать, и звонить по радиотелефону, культурно отдыхая в свободное от службы время.

А так он в это свободное своё время лежит на диване. И больше ничего не делает. Поскольку нет у него никаких дел. То есть что делать, можно найти. Сестра его Юлия когда приходит, говорит ему, мол помоги на огороде - у неё огород есть в черте города, и они все с него так или иначе кормятся. Так она говорит "помоги", а он ей говорит "я устал" и продолжает лежать. Он, значит, возвращается с дежурства своего ресторанный и ложится спать, чтобы выспаться после бессонной ночи, а когда выспится, то просто лежит. Поест только встаёт, когда мать ему даст еду. А поев, опять ложится. И опять лежит. Такой, значит, у него получается режим дня и образ жизни. Несмотря на возраст девятнадцать лет и три месяца. И нет у него ни машины, ни девки никакой, даже самой завалющейся. О машинах и девках, и о посещении ресторана "Ночной ковбой" в качестве полноправного клиента он может лишь мечтать в своих дурных снах. Хотя сказать, что Ильченко об этом мечтает, вряд ли можно и правомерно. Потому что это в нём не мечты и не грёзы какие-нибудь говорят. Это скорее удивление и непонимание. Непонимание элементарных вещей. Вроде того, почему одним в жизни полагается всё, а другим - ничего? И чем те, у кого есть всё, лучше тех, у кого ничего нет? Или они не лучше, а хуже?

Ильченко думает именно так - что хуже. Наверно, так думать ему больше нравится. Известно же, что хороших людей в мире подавляюще больше, чем плохих - это все говорят - и бедных гораздо больше, чем богатых. Вот оно отсюда как-то и следует. Вывод, в смысле.

Но он, Ильченко, пожалуй, согласился бы не принадлежать к хорошим людям, а к плохим принадлежать. Если при этом у него будет всё, что только душе может быть угодно. Правда, он не знал, что угодно его душе. И ему самому что угодно - тоже сказать так сразу, навскидку, не мог.

Ему вроде и не нужно ничего сверх того, что есть. Ну, может, один или несколько раз приехать в "Ночной ковбой" на серьёзной машине и с красивой девкой. А так - и нет у Ильченко никаких особых несбыточных желаний. С постом ему очень повезло. Пост лёгкий у него и необременительный - стой себе, никого не трогай, и все обязанности. И от армии повезло Ильченко отвертеться и не служить где-то там вдали от дома. И, что немаловажно, работой он навсегда обеспечен. Невзирая на всеобщий кризис экономики. Платят, правда, за его работу, то есть службу, до смешного мало и для жизни недостаточно. Если на американские деньги пересчитать, как это теперь модно и принято, получится около тридцати их долларов или по-нашему - "у.д.е." - условных денежных единиц, значит. Зато формой одежды обеспечивают. И пайком один раз в месяц небольшим продуктовым. И за квартиру платит льготу предоставляют в пятьдесят процентов от общей суммы. У других и этого ничего нет в помине. И между прочим, оружие ему доверяют табельное. На время дежурства. Зачем и почему он подвергается этому высокому доверию, Ильченко в известность не ставят. Раз инструкция "ни во что не вмешиваться". Видимо, для порядка. Мол, положено представителю исполнительной власти на государственной службе пребывать во всеоружии, значит, должен пребывать. И Ильченко всегда стоит в "Ночном ковбое" с пистолетом системы Макарова на боку. И пистолет у него всегда заряжен. Одной полной обоймой. Что должно бы придавать Ильченко уверенность в себе. Оружие всегда придаёт уверенность. В особенности молодым мужчинам. Конечно, если не знать, что не

только ты, но и многие другие мужчины вокруг тоже вооружены до зубов и опасны. Ильченко об этом не знал. Хотя мог бы догадаться. Или хотя бы присмотреться. Не к девкам, как он это делал из праздности, а к их, так сказать, кавалерам и спутникам. Было бы больше толку. А с другой стороны, какой такой толк мог бы быть? Всё равно ему не положено вынимать этот свой пистолет из кобуры и тем более стрелять из него в кого бы то ни было. Да и не смог бы он, наверно. Они же какие ни есть, богатые, а всё равно люди. Живые и здоровые существа. Он только мог рисовать в уме оптимистические картины - что вот он подходит к тому, допустим, толстому, вынимает своего Макарова и выпускает ему в брюхо пол-обоймы минимум. А девку его победно уводит с собой. Куда уводит, Ильченко не думал. Уводить её было, если подумать, некуда. И в его воображаемой картине присутствовало только "уводит". И всё, без уточнений и адресов.

Зачем её уводить, Ильченко тоже представлял себе слабо и неопределённо. Не знал он, что надо делать с такими красивыми девушками. Он и вообще не знал, что надо с ними делать. С любимыми. Хоть с красивыми, хоть с уродками. Не было у него подобного опыта, чтобы он мог знать. Ну, как-то так вышло. Не успел он в свои первые девятнадцать лет приобрести этот жизненно важный опыт общения полов. Здесь у него было всё впереди. Если, конечно, было. Поскольку служит он в ресторане "Ночной ковбой", и никто на него не смотрит, ни одним взглядом не удостаивая. Так можно и всю жизнь прослужить. Никем не замеченным. Тем более после работы Ильченко идёт домой, к матери, ложится и лежит до тех пор, пока снова не приходит ему время на работу идти. Вернее, не на работу, а на службу.

А придя, он стоит себе по инструкции, никого не трогает, с пистолетом.

И его никто не трогает.

Потому что хороший на его долю пост достался. Таких постов во всём городе раз два и обчёлся. И некоторые сослуживцы ему от всего сердца завидуют.

День рождения

Сначала в самом центре города путь Зуеву преградил миссионер- агитатор из секты "Евреи за Иисуса Христа".

— Вы еврей? - спросил миссионер, обнажив английский акцент.

— Пока еще нет, - ответил Зуев, который шёл на день рождения и нёс подарок - он сам его изготовил, собственноручно, и теперь нёс.

Миссионер не понял ответа Зуева. А Зуев и сам сначала его не понял. А когда понял, остановился прямо посреди проезжей части проспекта имени Маркса-Энгельса и в потоке машин рассмеялся. И путь ему преградил милиционер из патрульно-постовой службы города - города денег, чугуна и стали.

— Вы пьян? - спросил патрульно-постовой милиционер у Зуева.

— Пока ещё нет, - ответил Зуев, и милиционер ему поверил, как себе. Что тоже было смешно.

Потом Зуев рассказал всё это Модзалевскому. И они посмеялись в закрытом помещении вдвоём. А посмеявшись, пошли на день рождения вместе. Естественно, купив в рыбном магазине красного портвейна. Потому что новорождённый очень любил и уважал портвейн. Причем именно красный портвейн. И именно крымский. А белый портвейн, даже крымский, он не любил и тем более не уважал. Говорил "для меня если портвейн белый, он уже не портвейн, и я к нему равнодушен, как евнух второй степени".

Зато к женщинам именинник был не равнодушен. Еще неравнодушнее, чем к красному портвейну. И Зуев с Модзалевским подарили бы ему женщину. С удовольствием и от всей души. Да вот дешёвую женщину дарить им не хотелось из принципа, а на дорогую у них не было никаких денег из-за грянувшего летом финансового кризиса. Который впоследствии оказался не финансовым, а экономическим. Правда, если быть честным до конца, то в феврале яйца, масло и женщины слегка подешевели. Не ощутимо для простого человека и труженика, но всё- таки. Видно, предложение незначительно превысило спрос. Или жизнь стала налаживаться и входить незаметно для живущих в какое-то русло. Но это вряд ли. Потому что, где это русло? Кто его видел? Да и привыкли мы жить без русла и вне его. Приспособились. И хорошо, можно сказать, выглядим.

Особенно Зуев выглядит хорошо. Он всегда и во всём одет элегантно. Сегодня - тоже. Модзалевский рядом с ним просто одет, по-спортивному, а Зуев - нет. Зуев - элегантно. Не менее элегантно даже, чем манекен в витрине шикарного магазина "Майкл Нечипоренко и сыновья". Где выставлена напоказ мужская одежда от какого-то кутюр - костюм поверх рубашки с галстуком, а сверху плащ жёлтого цвета. Заканчивается вышеупомянутый манекен в вышеупомянутом магазине почему-то шеей.

Зуев остановился перед витриной, обозрел это печальное зрелище и сказал:

— Смотри. Это я.. Только без головы.

— Ты лучше, - сказал Модзалевский. - В смысле, выглядишь.

Зуев согласился с Модзалевским:

— Конечно, лучше, - сказал он. - Я же - с головой.

Модзалевский не стал возражать против очевидного и неоспоримого, он только достал из кармана фотоаппарат "мыльницу", поставил Зуева так, чтобы манекен служил ему контрастным фоном, и нажал на спуск.

Раздался выстрел, и Зуев стал оседать.

— Эй, ты чего? - не понял Зуева Модзалевский.

— Испугался? - сказал осевший Зуев. А Модзалевский объяснил ему, что он не испугался. Он не понял. Откуда взялся и прозвучал выстрел?

— Ну, мало ли, - сказал Зуев. - Ты что, выстрелов никогда не слышал? Может, убили кого. А может, дети резвятся, балуются и хулиганят.

— Дети - наше завтра уже сегодня, - сказал Модзалевский и спрятал фотоаппарат в карман. И вздохнул тяжело и грустно.

У него были причины вздыхать так, а не как-нибудь по-иному. Поскольку Модзалевский являлся отцом сына. Рос его сын и по дням, и по ночам, и ещё быстрее, чем рос - он взрослел.

Зуев тоже был и являлся отцом. И тоже сына. Но взрослого, выросшего ранее. Так как Зуев был старше Модзалевского годами. Хотя Модзалевский был мудрее с рождения. И, проходя мимо рынка, он сказал:

— Давай, - сказал, - ещё и цветов купим жёлтых.

Зуев на это открыто удивился - мол, зачем мужику цветы вообще и жёлтые в частности? А Модзалевский сказал:

— Мужик, не мужик - какая разница? Когда речь идёт о цветах.

И они купили имениннику цветов. Раз уж так всё как-то сложилось.

— Дядь, дай пять копеек, - сказал пацан в кепке.

Зуев осмотрел пацана сверху донизу и пять копеек не дал. А дал четыре.

Тут их и повязали. Подошли люди в штатской форме и сказали:

— Ваши документы.

— А что такое? - спросил Зуев. - Война началась с врагами или чрезвычайное положение ввели в страну?

И Модзалевский сказал:

— Да. Чего это мы должны ходить на день рождения к знакомым с документами? Они и так нас узнают. Мы с цветами идем. И с подарками.

Тут Модзалевский встряхнул сумку, и бутылки зазвякали в ней, биясь друг о дружку боками.

Ну, стражи закона, конечно, быстро им втолковали, что они - и Зуев, и Модзалевский - несмотря на свою арийско-славянскую внешность, подозрительно похожи на лиц кавказской национальности, и этим всё сказано.

— Какой-какой национальности? - переспросил у стражей Зуев. Но стражи Зуеву не переответили. Они его повели. И Модзалевского повели с цветами. Следом за Зуевым.

Может, стражей закона и порядка портвейн чем-нибудь привлёк. А может, подарки. Но не цветы. Это точно. Потому что цветы им на хрен без надобности. Особенно при исполнении. А портвейн и подарки Зуев с Модзалевским решили не отдавать ни за что и бороться за их сохранение до последней капли пота и крови. Слава Богу, никто у них не пытался ничего отнять. Их просто привели в районный участок, заставили собственноручно и добровольно написать бумагу автобиографического содержания, три часа продержали без суда и следствия, а также без причины - и выпустили, вернув желанную свободу. И им ничего не оставалось делать, как уйти. Хотя по-хорошему надо было бы на этих стражей жаловаться в народный суд и требовать с них возмещения морального ущерба: на день рождения-то Зуев с Модзалевским так и не попали. В смысле, вовремя. Это же им ущерб? Ущерб.

К слову, сам день рождения практически ничего собой не представлял, и говорить о нём нечего. Если по большому или гамбургскому счёту. Может быть только, закончился он не совсем традиционно: тем, что именинник объявил во всеулышание о своём уходе вместе с гостями из родного дома. С целью найти другой дом, где его будут любить, ждать и главное уважать таким, каков он есть с головы до пят.

Бессменная именинникова жена на эти его слова не обиделась и вообще, можно сказать, не прореагировала должным образом. Никаким образом она не прореагировала. Только сказала "иди-иди, тоже мне Лев Толстой нашёлся - среди шумного бала, случайно". Она привыкла к подобным и бесподобным выходкам своего мужа-именинника. Совместная жизнь никому не проходит даром, вырабатывая привычки, в том числе и дурные.

И гости собрались и оделись, и именинник оделся тоже.

Стали прощаться с хозяйкой, говоря ей "всё было вкусно". Как будто приходили лишь затем, чтобы определить достоинства праздничных блюд. А также их недостатки.

И как раз этот скорбный, можно сказать, момент праздника застали отпущенные Зуев и Модзалевский. Так что они проходить в квартиру уже не стали - чтобы не разуваться, - а на пороге виновника торжества и всего остального при помощи подарков поздравили. Они ему подарки -- вручили. Хорошие подарки. Оригинальные. И с любовью выполненные. Не так, как зачастую бывает, купят имениннику коробку конфет - грильяж в шоколаде, - а у него зубы вставные через весь рот. Десять лет уже.

И цветы Зуев с Модзалевским виновнику закончившегося торжества тоже вручили.

— Возьми цветы с собой, - сказал Модзалевский.

— Зачем мне там, в новом доме, цветы? - сказал виновник. - И по улице с ними таскаться желания у меня ни малейшего.

А Зуев сказал:

— Возьми. Тебя в троллейбусе будут уважать.

Этот аргумент убедил именинника. Он любил, чтоб его уважали повсеместно.

Потом они шли по городу. Шумной компанией размером с толпу. И с цветами, как с флагом. Модзалевский время от времени вынимал из кармана "мыльницу" и автоматически фотографировал всех подряд со вспышкой.

Возле телевизионного магазина остановились. Магазин уже не работал. По случаю позднего времени. А огромный телевизор в витрине - работал. В режиме прямого эфира. И ведущий как раз спрашивал у телекорреспондента "чем там занят вечерний город".

— Город занят праздничным досугом, - отвечал телекорреспондент ведущему.

- Хорошо, - сказал, получив этот ответ, ведущий. - Нет, не хорошо,
- сказал он, - а прекрасно! - и закончил прямой эфир, довольный собой и тем, что его закончил.
- А Зуев с Модзалевским извлекли на свет божий портвейн. Они предусмотрительно не обнародовали его в доме именинника (так как в доме именинника не говорят о портвейне), и теперь портвейн пригодился и пришёлся кстати. Потому что толпа в неровном свете голубого экрана пустила его по кругу, еще больше роднясь и сближаясь с именинником. И сближалась она до тех пор, пока портвейн естественным путём не иссяк.
- Дядь, дай пять копеек, - услышал Зуев у себя за спиной. Там стоял давешний пацан в кепке.
- Я тебе уже давал, - сказал Зуев.
- Пацан пригляделся к Зуеву.
- А, точно, - сказал он. - Давал. Но четыре копейки.
- Зуеву стало стыдно, он покраснел и дал пацану еще копейку. А именинник добавил от себя полтинник.
- Гулять так гулять, - сказал он.
- Гулять - не строить, - сказал Зуев, а пацан от греха подальше исчез. Чтоб не отняли полтинник, когда опомнятся.
- Знаешь, о чём я жалею больше всего? - спросил именинник у Зуева и сам ответил: - О том, что у нас при себе хрустальных бокалов не было - богемского стекла, - и мы не смогли насладиться не только вкусом, но и цветом портвейна. Рубиновым и глубоким.
- Зуев понял именинника, так как даром понимания он обладал недюжинным. Понял и посочувствовал ему. В смысле - утешил. Сказав, что, конечно, тут есть о чём пожалеть. Но в жизни, к счастью, ещё и не такое бывает.
- Что там у вас в жизни бывает? - вступил в разговор Зуева с именинником Модзалевский.
- День рождения, сказал Зуев.
- К сожаленью день рожденья только раз в году, - спел Модзалевский и навёл на Зуева свою "мыльницу". - Последний кадр, - сказал он. И нажал на спуск.

Я выбрал такую жизнь

Жил себе человек. Как и все в СССР, жил. Получил высшее образование по специальности "горные машины и комплексы" и работал себе сначала на шахте, потом на заводе. Но была у этого человека странная страсть. После основной работы, он садился за стол и... писал. Нет, не анонимки, а рассказы, и рассылал их в московские журналы и газеты. Их публиковали в "Литературке", "Крокодиле", ещё где-то. А в 1989 году "Огонёк" взял да и напечатал три его рассказа. С тех пор и началась писательская карьера Александра Хургина. Хотя какая у писателя может быть карьера?

А вот биография все-таки должна быть. С этого и началось наше знакомство с гостем апрельского номера, автором семи книг прозы, постоянным автором Московских журналов "Знамя", "Октябрь", "Дружба народов" и других, лауреатом премий им. В. Короленко Национального союза писателей Украины, журнала "Знамя", Международного литфонда, не членом Союза писателей Украины Александром Хургиным.

Т.Т.: - Александр, нужна ли писателю биография?

А.Х.: - Возможно, что и не нужна. Вопрос, как прожить без биографии. Родился, вырос - делал ты что-то, не делал, хоть всю жизнь на диване пролежал - всё равно какая-никакая, а биография.

Если же вы имеете в виду бурную жизнь, сильные ощущения и т.п., то, по-моему, лучше всех о связи жизненного опыта и писательства сказал Иосиф Бродский (цитирую по памяти, то есть передаю смысл высказывания своими словами): "Можно прожить интереснейшую жизнь, воевать, пройти лагеря и не написать ни строчки, а можно провести ночь с женщиной и написать "Я помню чудное мгновенье"".

Т.Т.: - Вы довольны своей судьбой??

А.Х.: - Я доволен ею хотя бы потому, что быть ею недовольным - глупо. Другой всё равно не будет.

Т.Т.: - Вы были озорным подростком?

А.Х.: - Я был эдаким хорошим, правильным, озорным подростком. Я участвовал в набегах на сады и огороды, мог увести класс с урока бродить по замёрзшему Днепру, при этом я всегда понимал, что поступаю нехорошо.

Т.Т.: - А что больше всего запомнилось из "нехорошего"?

А.Х.: - М-да. Человек, он так устроен, что всё нехорошее быстро забывает. Поэтому будем считать, что я забыл.

Т.Т.: - Ну, а из хорошего?

А.Х.: - Некоторые люди устроены как-то не по-людски, они всё хорошее забывают, а всё плохое помнят до старости. Так вот я, кажется, из этих некоторых.

Ф.Т.: - Когда вы почувствовали себя взрослым?

А.Х.: - Никогда над этим не задумывался. Я не знаю, почувствовал ли я себя взрослым вообще. У меня взаимоотношения с собственным возрастом сложные.

Ф.Т.: - То есть до сих пор проказничаете?

А.Х.: - К сожалению, всё менее весело. Человек должен ощущать свой реальный возраст. Когда молодой чувствует себя стариком - это плохо. Но и когда старик чувствует себя молодым - не лучше. Во всяком случае, в глазах окружающих он выглядит обычно старым дураком. Так вот, я не чувствую своего возраста. И уже начинаю понимать, что это не есть хорошо.

Ф.Т.: - Должен ли писатель оставаться ребёнком?

А.Х.: - Писатель никому и ничего не должен. Разве что, по Ильфу - "писатель должен писать".

Ф.Т.: - Литература - это игра, серьёзное занятие или всё-таки кое-какой заработок?

А.Х.: - У всех по-разному. Я могу говорить только о себе. То, что не заработок - вернее, заработок, но очень уж кое-какой - это факт. Я никогда не жил на литературные заработки, поскольку я бы на них помер с голоду. Я же не пишу детективов. Не потому, что плохо к ним отношусь (я к ним никак не отношусь), а потому что не умею. А заработки в толстых московских журналах заработками назвать трудно. Чтобы было понятнее - это, скажем, публикуешь в одном из самых престижных журналов большой рассказ, получаешь гонорар, к слову, за вычетом 30% подоходного (как с иностранца), и можешь купить себе на него десяток этих самых журналов. Московские издательства тоже платят скромненько, они себе цену знают.

Ф.Т.: - Что заставило вас взяться за перо?

А.Х.: - Вы представляете себе хотя бы приблизительно, что такое чесотка? Не дай Бог, конечно. Так вот, писание буковок на бумаге для меня - это разновидность чесотки. Чешется - я чешу. Перестало чесаться - вроде вздохнул свободно, неделю пожил, думаю, что же оно не чешется? Почему? Может, вылечился? Что же теперь делать? И этот вопрос меня действительно пугает. Поскольку я не представляю, чем можно заниматься, куда девать время, если не писать.

Ф.Т.: - Вы пишете для себя или для читателя?

А.Х.: - Я же говорю - чесотка. Когда думаешь о ком-то? Только о себе. Да и не должен пишущий думать, для кого он пишет (если речь не о коммерческой литературе, там как раз должен). Это тот, кто хочет читать, должен думать, что бы ему выбрать, что ему по душе. Выбрать сейчас есть из чего. Хочешь - Донцову читай, хочешь - Акунина, хочешь - Кафку или Хайдеггера.

Ф.Т.: - Л вы кого читаете, кроме себя, конечно?

А.Х.: - Себя я как раз не читаю. К тому времени, когда выходит журнал или книга, тексты, опубликованные там, становятся мне неинтересными. И читать их я физически не в состоянии, по мне - так они написаны плохо.

А кого читаю? Я всю жизнь читал достаточно много. Сейчас больше 332 перечитываю. Чехова, Гоголя, Булгакова, Добычина, Платонова - бесконечно. То же самое с прозой, именно прозой, Пушкина, Лермонтова, Пастернака, Мандельштама, то же с Бродским и Довлатовым. Впрочем, современных авторов я тоже читаю. Время от времени мною овладевает интерес - что люди сегодня пишут? И я прочитываю авторов пять-десять. Успокаиваюсь, что пишут и неплохо пишут - и опять возвращаюсь к перечитыванию. Потом опять интерес одолевает. Ну, и так далее.

Т.Т.: - Вы считаете себя русским писателем, живущим в Украине или украинским писателем, пишущим по-русски?

А.Х.: - Начнём с того, считаю ли я себя писателем. Обычно, когда я задумываюсь над этим, что бывает крайне редко, я отвечаю себе: "Вот помру, посмотрим, писатель я или не писатель". А русским, украинским... Не мною сказано, что существование "писатель" не терпит никаких прилагательных, бессмысленно выглядит даже "хороший писатель", потому что если он плохой, он просто не писатель. Но одно прилагательное "писатель" все-таки терпит: это обозначение языка, на котором он пишет. Я пишу на русском языке, и ни место жительства, ни национальность, ни политические взгляды значения тут не имеют.

Т.Т.: - Хотели бы перебраться в Москву? Там, наверное, больше перспектив...

А.Х.: - Если бы я хотел, я бы давно это сделал. Я родился в Москве, и у меня в течение жизни была не одна возможность уехать туда и там жить. Но я думаю, что если бы я это сделал, я бы по сей день писал юмористические рассказы для 16-й полосы Литгазеты и какого-нибудь современного заместителя "Крокодила".

А перспективы? Вы, видимо, говорите о быте. Конечно, если все время торчать на глазах у издателей, жить можно по-иному. Выступить перед читателями можно, за границу ездить, в премиальных междусобойчиках участвовать, на фуршеты ходить - словом, жить, полнокровной литературной жизнью и быть на переднем крае литпроцесса. Но меня это не очень привлекает, я по характеру человек провинциальный. Если же вы, говоря о перспективах, имеете в виду количество публикаций, то назовите мне хотя бы одного московского писателя, которого четыре-пять раз за год публикуют только толстые журналы. Другие публикации и книги можно не считать. Так что у меня иные проблемы - написать. А то нечего будет этим журналам предложить. И в Днепрпетровске писать мне пока удается - тьфу, тьфу, тьфу.

Т.Т.: - Да, творческий кризис - это серьезно. Что или кто вас вдохновляет? Ведь, как, сказал Гете, вдохновение - это не селедка, которую можно засолить на многие годы

А.Х.: - Мне трудно спорить с Гёте. И что такое "творческий кризис", я не знаю. Как понимать эти слова? Мол, конечно, кризис, но всё-таки не простой, а творческий? Нет, кризис, он и есть кризис. Это когда месяцами кажется, что ты не способен написать ни слова, что никогда не писал и понятия не имеешь, как это делается. А когда кризис проходит, меня вдохновляет всё, что угодно. Например, кошка.

Т.Т.: - Насколько ваши рассказы автобиографичны?

А.Х.: - Неважно это. Никого это не волнует. Кроме тех, с кого они написаны. Да и их не волнует. Потому что мои персонажи меня не читают. Вот, к слову, более короткий ответ на вопрос "почему не уехал в Москву?" - я столько лет остаюсь в Днепрпетровске потому, что живу здесь среди своих персонажей. Не скажу, что я всегда получаю от этого большое удовольствие, иногда я от этого даже блюю, но как-то так вышло, что я выбрал такую жизнь, а не другую. Или она выбрала меня.

Ф.Т.: - Доставляет ли вам удовольствие чтение рецензий на ваши творения?

А.Х.: - Вы знаете, в жизни столько удовольствий, что получать их от чтения рецензий, да ещё на свои творения, - это уже извращение какое-то в особо изощрённой форме. Другое дело, что мне безразлично мнение трёх-четырёх человек. Один-два из них - критики. И они, в отличие от основной критической массы (извините за каламбур) кое-что понимают в литературе.

Ф.Т.: - Некоторые критики относят ваши произведения к. "другой прозе". Каковы к, этому относитесь?

А.Х.: - Я радуюсь, что не к другой поэзии.

Ф.Т.: - Вам бы хотелось, чтобы ваши рассказы и повести изучали в школе?

А.Х.: - Мне бы очень этого не хотелось. Потому что изучение литературы в школе навсегда отбивает у детей охоту читать. Видите, я даже не о себе беспокоюсь, а о детях. И, казалось бы, ничего мне в этом смысле не угрожало. Но вдруг издательство "Вагриус" при поддержке российского министерства культуры выпустило четырехтомную антологию "Проза новой России" и, кроме всего прочего, рекомендует пользоваться ею при изучении современной прозы в школах, причем в сельских. Я в этой антологии есть. Но так как я по алфавиту в четвертом томе, будем надеяться, что до меня не дойдут. Остановятся на Солженицыне.

Ф.Т.: - Ваше отношение к^славе?

А.Х.: - Это называется - не знаю, не пробовал.

Ф.Т.: - Хотелось бы попробовать?

А.Х.: - Нет. Я консерватор, и любые серьезные перемены в жизни - в лучшую сторону или в худшую, безразлично - мне даются тяжело.

Ф.Т.: - Л главное произведение в своей жизни уже написали?

А.Х.: - Боюсь, что да. Очень возможно, что ничего лучше "Страны Австралии" я уже не напишу. Хотя пробовать буду.

Ф.Т.: - Каковы отдыхаете и где?

А.Х.: - Да, в общем, никак. Мне скучно отдыхать. На море я могу провести безболезненно четыре дня, на пятый меня охватывает тоска, и приходится бежать. Чтобы не утопиться.

Ф.Т.: - В игорных домах доводилось время проводить?

А.Х.: - Нет. Мне - скучно играть в карты, на бильярде, в шахматы, в кегли, в компьютерные игры, мне скучно играть во всё. Кроме того, играя, я просто физически ощущаю, как бессмысленно уходит время. Которого у меня не так много осталось. Пятьдесят лет - это пятьдесят лет. Да и проиграю я обязательно с моим еврейским счастьем. А проигрывать я не люблю.

Ф.Т.: - Вам вообще, везёт в жизни?

А.Х.: - Нет, я не везунчик. Скорее, наоборот. В советские годы на мне всегда всё заканчивалось: колбаса, пиво, штаны, билеты. Сейчас я из горы рубашек какой-нибудь приличной фирмы вынимаю одну с криво пришитой манжетой. Потом оказывается, что эта рубашка была одна- единственная на всю партию и, как просочилась в продажу, неизвестно. Нет, я не везунчик.

Т.Т.: - За границей бывали? Каковы ваши впечатления о тамошней жизни?

А.Х.: - За границей я был один раз в жизни. Шесть лет назад немцы пригласили восьмерых пишущих порусски авторов - в том числе Григория Остера, Татьяну Толстую, Сергея Вольфа - и устроили в Берлине небольшой фестиваль новой русской литературы.

Впечатлений было много, но судить после недели пребывания в стране о тамошней жизни я не рискну.

Т.Т.: - В каких странах вам хотелось бы побывать?

А.Х.: - Я не турист по натуре. И ездить, смотреть достопримечательности у меня желания нет. А вот пожить в Нью-Йорке, Париже, Берлине, Иерусалиме, возможно, Шанхае я бы не прочь.

Т.Т.: - В какую страну хотели бы эмигрировать?

А.Х.: - Я не хочу эмигрировать ни в какую страну. И если эмигрирую, то мне придётся это сделать, не имея желания, а имея конкретные, очень веские причины.

Т.Т.: - Расскажите о своем хобби, если оно есть, конечно.

А.Х.: - Нету.

Т.Т.: - А как^на счет рыбки поудить или на охоту с дробовиком выдвинуться?

А.Х.: - Нет, это совсем не по мне. Я не могу разрывать рот рыбёшке крючком. А уж выстрелить в кого-нибудь живого - я не знаю, сколько мне для этого нужно выпить.

Т.Т.: - Что-нибудь экстремальное пробовали: прыжки с парашютом, полёты на дельтаплане, поездки "зайцем" в электричке?

А.Х.: - В основном, я летал "зайцем" на дельтаплане и прыгал с парашютом с электрички. Ну, и в шахте тоже работал. Правда, недолго - три с половиной года.

Т.Т.: - Жизненное кредо (девиз, лозунг...).

А.Х.: - Не прячьтесь от жизни, она вас все равно найдёт.

Т.Т.: - Любовь - это экстрим?

А.Х.: - А это - в кого повезёт (или не повезёт) влюбиться. Бывает - экстрим, а бывает - покой и отдохновение душе... говорят.

Т.Т.: - Вы влюбчивый человек?

А.Х.: - На данный момент я, слава Богу, любящий человек. И знаете, я никогда не думал, что в пятьдесят лет с женщиной бывает настолько(!) хорошо... Часто хорошо - не бывает. А настолько(!) - бывает. Вы уж, пожалуйста, мне поверьте. Из уважения к моим сединам.

Т.Т.: - Верите в любовь с первого взгляда?

А.Х.: - Я не знаю, во взгляде ли тут дело. Но бывает, даже не увидишь женщину (темно, допустим), а почувствуешь - искра проскочила. И становится ясно - любовь нагрянула нечаянно, смяться не удастся.

Ф.Т.: - Говорят, сейчас купить можно всё. Любовь тоже?

А.Х.: - Сейчас говорят много всяких глупостей. Купить можно далеко не всё. Это банально, но нельзя купить здоровье. Когда у вас от неизлечимой болезни умирает близкий человек, вы можете иметь миллионы, а что толку?

Что до любви, то купить можно женщину, а не любовь. Мужчину тоже можно купить. Но это на любителя.

Да всё же давно известно, чего тут разглагольствовать? Ну, озолотите женщину, которой вы противны, ну будет она с вами спать, давась от приступов тошноты, дальше что? Дальше - всё.

Ф.Т.: - *Л как^относиться к деньгам?*

А.Х.: - Когда они есть - никак. Я о них не думаю. Когда их нет - отношусь плохо. Не столько к деньгам, сколько к тому, что их нет.

Ф.Т.: - *Сколько нужно денег для полного счастья?*

А.Х.: - Читайте классику. Для счастья - сто рублей, для полного счастья - шесть тысяч четыреста.

Ф.Т.: - *Л существует ли оно - счастье?*

А.Х.: - Полное? Если вы это всерьёз, попробую ответить. Абсолютно счастливым может быть только абсолютный идиот. А относительно счастливыми бываем мы все - кто минут пятнадцать за жизнь, кто три дня, кто год.

Ф.Т.: - *Мечта, которая сбылась?*

А.Х.: - Мечта, которая сбылась - это не мечта, это одни грустные воспоминания.

Ф.Т.: - *Что для вас свобода? Могут ли деньги сделать человека независимым?*

А.Х.: - Деньги могут сделать человека жадным, капризным, толстым. Но не свободным. Люди, у которых много денег - хотят они того или не хотят

- становятся рабами денег. Деньги диктуют им всё - от круга общения, до образа жизни.

А для меня свобода - это... Ну давайте я сформулирую так: свобода - это осознанная необходимость её отсутствия.

Ф.Т.: - *В одном из ваших рассказов, кажется, "Под куполами" случается трагедия из-за "Оливье", вернее, из-за его отсутствия в качестве сытной закуски. Л чем вы закусываете, чтобы не пасть лицом в салат?*

А.Х.: - Я, несмотря на небольшие габариты, выпить могу довольно много и в салате ещё не бывал. Мне всё равно, чем закусывать, лишь бы было чем закусывать. Лучше, если это мясо, хорошая селёдка, маслины, огурцы, картошка. Да, чуть не забыл - "Оливье". "Оливье" - это святое, а салат из крабовых палочек - обман трудового народа. Но превращать закуску в еду не обязательно. Поскольку вкусно поесть под очень умеренную выпивку - это отдельное, другое удовольствие.

Ф.Т.: - *Л тосты любите провозглашать? Может, одним поделитесь.*

А.Х.: - Я не то, чтобы люблю, но могу при случае выдать какой-нибудь экспромт, особенно, если сходу, когда пришёл, а там уже всё в разгаре. Жаль, я не запоминаю своих экспромтов. А вот чужой тост, слышанный с полгода назад, я запомнил. Выглядело это так. Встал человек, обернулся к виновнику торжества, поднял рюмку и сказал: "Я хочу выпить... И это, 336 собственно, всё, что я хочу сказать".

Ф.Т.: - *Ну, тогда и любимый анекдот расскажите напоследок.*

А.Х.: - Пришёл человек к врачу. Говорит: "Понимаете, доктор, у меня нет детей". Доктор говорит: "Посмотрим, сделаем анализы, будем лечить". А человек ему: "Но это у меня наследственное. У моего прадеда не было детей, у деда не было, у отца тоже не было". Доктор: "Погодите, погодите. А вы откуда?" "Я? А я из Киева".

Лев Ларский

Лев Ларский (1924-2004) родился в СССР. Участвовал во Второй мировой войне. После окончания Редакционно-издательского факультета МПИ в 1952 году стал художником- оформителем В 1973 году переехал в Израиль, где участвовал в создании первого еже-недельника на русском языке, в организации и выпуске журнала «Время и мы» и ряда других русскоязычных изданий. В 1977 году в журнале «Время и мы» публиковалась автобиографическая повесть Льва Ларского «Здравствуй, страна героев». В 1979 году повесть вышла отдельной книгой в новой редакции под названием «Мемуары ротного придурка» и завоевала необыкновенную популярность. В 1981 году в журнале «Время и мы» (номер 59) был напечатан отрывок^из продолжения «Мемуаров» - «Партия наш рулевой». В 1982 году Лев Ларский издал вторую книгу своей автобиографической повести - «Ротный придурок в рядах КПСС».

«Здравствуй, страна героев»

...Историю делают не всякие там людовики-мудовики. Историю делают трудящие и служащие...

М. И. Хухалов

ПРОЛОГ

Не знаю, крылось ли в этом какое-то предзнаменование роковых событий? Но факт остается фактом: почему-то накануне войны все бросились играть в шахматы.

Сперва началась настоящая шахматная война, и в этих боях я тоже принимал участие. Шахматная эпидемия охватила всю Москву - даже нашу пролетарскую окраину на шоссе Энтузиастов. Свиристествовала она и в средней школе № 407 (что у Горбатого моста), где я учился тогда в девятом «А» классе.

Во дворе нашего дома почти стихла пулеметная дробь костяшек домино, сопровождавшаяся обычно густым матом работаг, забивавших все выходные дни флотского козла. Мат, правда, не утих, но теперь сквозь него - ежели прислушаться - про-бывались возгласы «шах!!».

Надо отметить, что благородная игра потеснила на нашем дворе не только флотского козла, но даже картежную игру - запрещенные милицией «очко» и «буру».

Наш сосед по квартире Федор Ефимович Разнодуев или просто дядя Федя, человек солидный, ужасно занятой - и тот заразился шахматной горячкой. Но жена его, тетя Дуся, женщина очень бойкая - она прежде работала кондуктором трамвая, - не одобряла новое увлечение мужа. Дядя Федя вынужден был скрывать от нее свою шахматную страсть, он говорил жене, будто допоздна задерживается на каких-то там важных заседаниях, а на самом деле после работы засиживался в своем тресте за шахматной доской. Он ведь у нас заделался важной шишкой: советская власть выдвинула дядю Федю из простых вагоновожатых в руководство трамвайным движением всей столицы! (Прежние «лидеры» трамвайного движения оказались связанными с врагами народа, были разоблачены и арестованы НКВД.)

Однажды сосед попросил меня позаниматься с ним азами шахматной теории. Как он сам мне признался, ему очень хотелось утереть носы «энтим инженерам» в Мострамвайтресте. Показать им, что, мол, их начальник тоже не лыком шит, хотя и без высшего образования. И вот, улучив момент, когда тетя Дуся отправилась в выходной день по магазинам, мы с соседом засели за учебник Капабланки разбирать простейшие дебюты.

Было воскресенье, 22 июня 1941 года. В 12 часов дня за мной должны были зайти мои друзья-приятели со двора - Атаман, Колдун и Сопля. Мы договорились съездить в Центральный парк культуры и отдыха им. Горького и потом прогуляться на Воробьевы горы, чтобы дать там вчетвером торжественную «Аннибалову клятву», как в свое время сделали Герцен и Огарев. Это была очередная затея Колдуна по случаю того, что Атаман, самый старший из нас, призывался в Красную армию, и такая клятва - по мысли Колдуна - скрепила бы нашу дружбу до гробовой доски.

Все утро я показывал дяде Феде простые дебюты и эндшпили.

— Ты смотри, Левка, в шахматах закон прямо как в жизни: только простая пешка может пройти в самую главную фигуру, в ферзи! - изумлялся дядя Федя. Мы с ним так увлеклись, разбирая сицилианскую, что даже не заметили, как в квартиру вернулась тетя Дуся и застала нас на месте преступления.

— Опять ерундой занялся, а в очередях-то знаешь что творится? Соль расхватывают, спички, мыло. Бабы говорят, война будет! - закричала она на дядю Федю.

— Дарья, брось панику разводить. Вместо того чтоб баб несознательных слушать, газеты бы лучше читала, - сказал дядя Федя, складывая шахматы и делая мне знак retirроваться.

— Тетя Дуся, войны не может быть, это просто бабские сплетни. Кто на нас теперь полезет-то? - поддержал я соседа.

— Сплетни-то сплетни, а дыма без огня не бывает, - возразила тетя Дуся.

— Не понимаю, куда милиция смотрит? Почему эту бабскую трепотню в очередях не пресекают? - возмутился вдруг дядя Федя. - И дым у них уже повалил, и огонь запыхал. А между прочим, на днях только в сообщении ТАСС было сказано ясно: советско-германскую дружбу происки империализма не нарушат...

Но на тетю Дусю наши доводы не подействовали. Она схватила кошелки и авоськи и ушла, в сердцах хлопнув дверью.

— Знаешь, Левка, сам Хозяин, говорят, все сообщения ТАСС лично утверждает, - многозначительно сообщил сосед. (Как это тогда было принято в ответственных и полуответственных кругах, Хозяином дядя Федя величал товарища Сталина.) - ТАСС - это, брат, тебе не «Агентство ОБС» - Одна Баба Сказала...

И тут мы немного переключились с шахматной теории на текущую политику. Дядя Федя по секрету сообщил мне, что вчера вечером он не играл в своем тресте в шахматы, а действительно допоздна просидел на закрытом докладе для руководящего актива, который читал лектор из ЦК!

— Всемирно-исторические события надвигаются, Левка. С Германией мы сейчас сближаемся еще крепче. Советско-германский военный договор скоро будет против всего мирового империализма, к этому дело идет... Соображаешь? Во, сила-то будет! Вместе с немцами все буржуйские страны раздолбаем...

— Дядя Федя, значит, мы вместе с немцами будем японских самураев бить? И белофиннов, если они опять на нас нападут?... - полюбопытствовал я.

— Ну, Левка, в политике ты, брат, слаб, не то что в шахматах! - снисходительно усмехнулся сосед. - Какие там самураи, бери выше: по самой Америке вместе с немцами вдарим опосля того, как Гитлер с Англией управится...

У меня аж дух захватило от слов соседа. Я представил себе, как ошарашу Атамана, Колдуна и Соплю, когда на Воробьевых горах под страшным секретом сообщу им эту новость.

— Дядя Федя, ведь Америка со всех сторон окружена океанами... Как же мы на нее нападём, через Берингов пролив? А что после будет, когда мы Америку захватим? - спросил я.

— А это, брат, не нашего с тобой ума дело. На то у нас Хозяин есть, а у немцев Гитлер, докладчик из ЦК прямо так и подчеркнул: товарищ Сталин и Адольф Гитлер - самые великие фигуры истории. Если две такие-то голы вместе соберутся, все вопросы порешат, - ответил сосед.

Тогда я спросил дядю Федю насчет товарища Тельмана. Почему же тогда немцы держат его в тюрьме и не отдают нам?

— Докладчик сказал, что между нами и немцами пока разногласия имеются по ряду вопросов. К примеру, мы за пролетарский интернационализм, а они, значит, за национализм и против евреев. Мы как поем? «Вставай, проклятьем заклейменный...», а немцы - «Германия превыше всего». Но в главном пункте мы с немцами едины, на общей платформе стоим. Мы за социализм, против мирового капитала, и немцы тоже, - разъяснил мне сосед. И в этот момент появился Колдун. Заглянув в комнату, он крикнул: «Дядя Федя, радио скорей включите! Передавали, что в двенадцать будет какое-то важное сообщение...»

Сосед крутанул ручку репродуктора - кто-то уже говорил напряженным голосом, мучительно запинаясь посреди слов, «..на... а... пала на нашу стра... н... ну!» - услышал я. Следующих слов я не расслышал, потому что дядя Федя вскочил из-за стола и зацепил шахматную доску, с грохотом полетевшую на пол.

— Война!!! - закричал Колдун.

Глава I. ВЗВЕЙТЕСЬ, КАСТРАТЫ.

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ, КИТАЙСКИЙ ИМПЕРАТОР И МОЯ НЯНЯ

Карл Маркс, между прочим, друг моего детства, защитник и покровитель, как-то отметил, что все события повторяются дважды. Сначала как трагедия, потом как фарс.

Оглядываясь на свою жизнь, я замечаю, что у меня почему-то события большей частью повторяются в обратном порядке: сначала как комедия, а впоследствии как драма.

Одно из двух - либо старик подкачал со своей теорией, либо у меня все не как у людей. Наверное, моя покойная бабушка была права, когда однажды в сердцах сказала, что у меня «еврейское счастье».

Когда я родился в Стране Советов, никто не имел права радоваться, все обязаны были плакать, все прогрессивное человечество погрузилось в глубокий траур. В Москве на всех домах висели траурные полотнища, звучали похоронные марши и скорбное рыдание осиротевшего пролетариата:

*Замучен тяжелой неволей,
Ты славную смертью почил.*

И моя мама, произведшая меня на свет в роддоме имени Клары Цеткин, вместо того чтобы обрадоваться моему рождению, тоже горько плакала - скончался великий вождь и учитель трудящихся и угнетенных всего мира, основатель партии нового типа и Советского государства - Владимир Ильич Ленин, или просто Ильич.

...Странное совпадение - мой папа родился в год смерти Его Императорского Величества Государя Императора Всея Руси, чего-то еще, Царства Польского, Великого Князя Курляндско-го, Лифляндского и, насколько мне помнится, Эстляндского - Александра III, а моя дочь Алла родилась в год смерти великого вождя советского народа и всего социалистического лагеря (включая Царство Польское и ряд других), величайшего полководца всех времен и народов и корифея всех наук - Иосифа Виссарионовича Сталина. Судя по всему, в нашей семье знали, когда рождаться, однако, не углубляясь в семейную генеалогию, вернусь в объятую горем Красную столицу, в гостиницу «Астория» на Большой Тверской улице, где в те годы размещалось общежитие-коммуна Военной академии рабоче-крестьянской Красной Армии. Я появился на свет Божий в тот самый момент, когда мой папа председательствовал на торжественно-траурном митинге коммунаров, посвященном светлой памяти бессмертного и вечно живого вождя. При всем этом, однако, папа не остался безучастным к факту моего рождения. Прямо на заседании он внес предложение назвать меня в честь усопшего, но вечно живого вождя, и коммунары его единогласно поддержали - «учитывая текущий момент и задачи мирового пролетариата», как было записано в резолюции. И вот здесь получилась осечка, которая спустя много лет дорого обошлась моему папе. После смерти Ленина среди его верных учеников и последователей сразу же вспыхнула внутрипартийная борьба, и папина партъячейка тоже раскололась на враждующие фракции: ленинцев- сталинцев, ленинцев-троцкистов, ленинцев-бухаринцев и т. д. Из-за этой свары ни одно из предлагаемых для меня имен не собирало большинства. Какие только имена не придумывались - Виль, Вилен, Владилен, Ленистр, Левопр, Леснам, Лемар... Дело грозило затянуться до бесконечности. Когда мне исполнился год, моя беспартийная мама потеряла терпение, плюнула на фракционную борьбу и резолюции, пошла в загс и записала меня просто Львом. Не в честь Ленина и вовсе не в честь Троцкого, - в чем ее сразу же обвинили, а в честь своего любимого папы и моего дедушки ребе Лейба (Льва) Финкельштейна, погибшего от рук петлюровцев.

Если бы моя бедная мама, умершая совсем молодой в 1932 году, могла себе представить последствия своего политически непродуманного шага, она бы предпочла, чтоб я остался безымянным на всю жизнь. В 1936 году на отца поступил донос. Сообщалось, что одиннадцать лет тому назад, председательствуя на партсобрании, он провалил ленинскую резолюцию и принял троцкистскую. Не знаю, правда ли это, но отец всегда говорил, что мама со своим Львом его здорово подвела. Папина карьера трагически оборвалась.

Несколько слов о папе. На известной картине Народного художника СССР Б. Иогансона «Выступление В. И. Ленина на III съезде комсомола» среди героических персонажей (на втором плане), к которым обращается вождь с историческими словами «Учиться, учиться и учиться!», можно заметить молодого человека в командирской форме и в пенсне, обмотанного бинтами. Этот портрет написан с фотографии моего папы, делегата исторического съезда Григория Ларского (Поляка), большевика-подпольщика и одного из организаторов комсомола.

Мой папа сразу же последовал завету Ильича. С революционным пылом он учился, учился и учился. Он окончил курсы при военной секции Коминтерна, Военную академию, Институт красной профессуры и еще что-то, проучившись в общей сложности пятнадцать лет, не считая хедера на Молдаванке. Стойкого большевика не сломали ни тюрьмы, ни пытки. Невзирая ни на что (он потерял зрение), папа оставался

твердокаменным ленинцем и впоследствии, еще при жизни, был допущен в полный коммунизм («персоналка» союзного значения, кремлевская столовая плюс инвалидность первой группы).

...Себя я более или менее отчетливо помню с пятилетнего возраста.

И снова какое-то странное совпадение в нашем семействе: мой папа начал помнить себя с кишиневского погрома, тетя помнила себя с погрома в Одессе, куда вся семья бежала из Кишинева, старший брат папы дядя Марк начал помнить себя с погрома в Белой Церкви, откуда они бежали в Кишинев.

Я тоже помню себя с погрома... в Китае, откуда папа, мама и я бежали в Москву.

Это было в 1929 году, когда вспыхнул советско-китайский конфликт из-за КВЖД (Китайско-Восточная железная дорога) и китайцы напали на советское консульство в Тяньцзине, где мы в тот момент обитали.

Почему мой папа после академии оказался в Китае, в должности младшего сотрудника торгпредства? На этот вопрос я не могу ответить. Наверное, для того, чтобы изучать китайский язык, для практики (другого практиканта, папиного приятеля, китайцы почему-то повесили).

У папы вроде неприятностей не было, он носил две фамилии: Ларский и Поляк. Ларский - был его псевдоним, партийная кличка, его большевистская фамилия, а Поляк - это настоящая фамилия нашей семьи.

Так вот, на его счастье, китайцы не догадывались, что скромный товаровед «мистер» Поляк и комбриг Красной Армии товарищ Ларский - одно и то же лицо, мой папа. Такие манипуляции папа совершал не впервые. Еще во время гражданской войны ему удалось обвести вокруг пальца деникинскую и британскую контрразведки, которые за ним охотились. В одном случае он выкрутился, доказав, что он никакой не Ларский, а Поляк, а в другом, наоборот, - что он не Поляк, а Ларский.

Забегая вперед, отмечу, что с органами НКВД-МГБ у него этот фокус почему-то не удался. Он пострадал и как Ларский (за мнимое участие в троцкистской оппозиции), и как Поляк (безродный космополит), и, доживи папа до 70-х годов, он, возможно, пострадал бы и в третий раз за обе свои фамилии вместе как агент мирового сионизма (троцкист плюс космополит).

Мне кажется, что под конец своей жизни, когда папа совсем ослеп после неудачной операции, он начал немного прозревать.

Один из его близких друзей и сподвижников по революционной борьбе как-то спросил напрямую: «Гриша, может, зря мы все это затевали?»

Отец, вечно воинствующий ленинец, на этот раз промолчал.

Когда я, уже будучи в солидном возрасте, читал в газетах о бесчинствах хунвейбинов, пережитый мною погром всплывал перед глазами.

Из-за высокой железной ограды консульства летел град камней и палок. Слышался свист и крики многотысячной толпы. Мама была в панике. Мы долго сидели и дрожали от страха.

Мама потом рассказывала, что все было, как при еврейском погроме в Одессе, когда убили моего дедушку, но с той разницей, что не русские громили евреев, а китайцы громили русских. Я тогда очень переживал за своего любимого плюшевого мишку и боялся, как бы китайцы у меня его не отняли.

Видимо, вследствие пережитого в детстве инцидента всю жизнь меня не покидало смутное чувство беспокойства и тревоги, связанное с китайцами. И в Москве, когда мы переезжали с квартиры на квартиру, я каждый раз интересовался, а не будут ли нас на новом месте громить китайцы?

О Китае мне в детстве долго напоминали две вещи - коврик над моей кроватью с фигурками картонных китайцев, обтянутых разноцветным шелком, они загадочно улыбались в своих длинных халатах с широкими рукавами. Потом в китайцах стали заводиться клопы, и коврик пришлось выбросить.

И еще монета с дырочкой, которую мама мне повесила на шею как талисман. Эту монетку мне дал на счастье сам диктатор Чжан Цзолинь, тогдашний властитель Северного Китая. Мама как-то гуляла со мной в селтльменте и встретила его случайно в окружении телохранителей и многочисленной свиты.

Диктатор соблаговолил обратить внимание на мою персону, потому что я был, как утверждала мама, очень красивым и у меня были длинные льняные волосы, вьющиеся крупными кольцами.

После смерти мамы талисман куда-то затерялся, видимо, вместе с моим счастьем.

Еще от Китая сохранилась у меня до самой войны дворовая кличка Левка-Китаец.

Став взрослым, я о своем пребывании в Китае предпочитал не упоминать (так же, как и о некоторых других печальных фактах своей биографии) во избежание лишних вопросов в отделе кадров. В многочисленных анкетах, которые каждому приходилось заполнять, в графе «был ли за границей» я ставил прочерк либо писал: «в период Отечественной войны в составе советских войск». Эта предосторожность, возможно, спасла меня в свое время от вынужденного признания в связях и с Чжан Цзолинем, и с бывшим китайским императором, о чем и пойдет сейчас речь.

В Китае у меня была няня, которая воспитывала самого китайского императора! Она даже показывала родителям какую-то китайскую грамоту, подтверждавшую этот факт. Но после того, как в 1911 году свергли императора, ее попросили из дворца, и бывшая аристократка запыла с горя. Родители сразу это не обнаружили, а нянька свой порок, разумеется, скрывала, и вообще она вела себя с ними довольно надменно, как и подобало особе, близкой ко двору китайского императора.

Мама за нее очень держалась - ведь няньки, воспитывавшие китайских императоров, на улице не валялись - и полностью ей доверяла. Моей маме очень льстило, что я воспитываюсь, как китайский император.

Она не подозревала, что эта старая обезьяна с маленькими ножками-копытцами ее обманывала и вместо того, чтобы водить меня в высшее общество, где дети разговаривают только по-английски и по-французски, как она утверждала, таскала по портовым притонам и злачным местам, о которых в приличном семействе даже не принято упоминать.

Совершенно случайно мой папа это обнаружил, и нянюку выгнали. В результате моего «императорского воспитания» я обучился, как попугай, ругаться почти на всех языках и подбирать валявшиеся на улице чинарики.

Согласно семейному преданию первым словом, которое я произнес, было «коминтерн» (после чего я и был признан вундеркиндом).

Он будет вторым Бухариным! - в один голос заявили окружающие.

Когда мы приехали из Китая, папа, к своему ужасу, обнаружил, что я не могу определенно сказать, кто такой Ленин (!!!), не имею понятия о том, что такое партия (!). Не говоря уже о пятилетке, промфинплане, пролетариате, нэпе, Днепрогэсе...

...Первый урок политграмоты, который я буду помнить до конца жизни, начался с посещения Мавзолея Ленина. Я еще продолжал все мерить китайскими мерками, поэтому Мавзолей - невзрачное деревянное сооружение (тогда он был временным), немного смахивавшее на древнюю пагоду эпохи Мин, - на меня впечатления не произвел. Куда ему было до гробниц китайских императоров! Разумеется, лежащего под стеклом Ленина я принял за китайца - он ведь и вправду похож, а недвижно стоявших на часах красноармейцев - за восковые куклы, стоящие в императорских гробницах. Папа мне уже объяснил, что Ленин - вождь всех трудящихся и что он умер, когда я родился.

Но вот что такое партия, я никак не мог себе представить. Папа долго со мной мучился и наконец процитировал Маяковского.

— «Партия и Ленин - близнецы-братья...» Понимаешь? «Мы говорим партия - подразумеваем Ленин, мы говорим Ленин - подразумеваем партия». В общем, партия и Ленин - это одно и то же.

— Значит, партия тоже лежит в гробу и ее сторожат куклы с ружьями? - спросил я, но вместо ответа неожиданно получил затрещину.

— Заруби себе на носу: Ленин жив, и партия жива! А ну, повтори три раза: «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!» - закричал папа.

— Ленин умер, ты сам сказал! - заупрямился я и тут же получил вторую затрещину... (Должен сказать, что до этого папа никогда меня не бил.)

— Я никому не позволю в семье большевика антипартийную линию тянуть! - разбушевался папа. Он велел мне залезть под кровать и пригрозил, что я буду там валяться до тех пор, пока не скажу три раза «Ленин жив, и партия жива».

Но я уперся, как осел:

— Почему Ленин жив, если он умер, когда я родился?

— А ну говори: «Ленин жив, и партия жива!» - кричал мне папа под кровать.

— Почему, почему?.. - рыдал я в темноту.

— Давай без «почему»! Так надо, понял? Раз надо - значит, надо! - настаивал папа.

Под кроватью оказалась моя китайская черепаха Синь, потом к нам примкнул Вундеркац, тогда еще котенок. Сколотив подпольную «антипартийную группировку», я не особенно скучал, пока не почувствовал, что мне надо в уборную. Я терпел-терпел, но... раз надо - значит, надо. Пришлось прокричать трижды:

— Ленин жив! И партия жива!

— Вот так. Битие определяет сознание, - сказал мне в назидание папа, перефразировав известное утверждение будущего друга моего детства и покровителя Карла Маркса.

Таким образом, еще в дошкольном возрасте я понял, что Ленин и партия неразрывно связаны, и зарубил себе на носу главный постулат демократического централизма: раз надо - значит, надо (без всяких «почему»). После папиного урока политграмоты по крайней мере тридцать лет слово «надо» производило на меня гипнотическое действие. Когда партия говорила «надо», я не спрашивал «почему?». Значит, надо, и точка.

Как я уже упоминал, я рано остался без мамы. Папа с таким усердием грыз гранит марксистско-ленинской науки, что не мог уделить мне времени, и в Москве у меня появилась новая няня, которая и занялась моим дальнейшим воспитанием. Она никогда императоров не воспитывала - только кур, телят, поросят и прочую живность, водившуюся в их хозяйстве до того момента, когда всю их деревню стали «сгонять в колхоз», как она выражалась.

Когда телят и поросят отобрали, она поехала в город и начала выращивать и воспитывать меня. Имя у нее было очень романтическое - звали ее Татьяной Лариной, и так же как пушкинская героиня, она не привлекала своей красотой очей. Пришла она к нам неграмотная, в лаптях и деревенской одежде. Она долго не могла привыкнуть к городской жизни, ходила в церковь, постилась, говела, папу называла «хозяином». А когда мама, «хозяйка», умерла, няня поклялась Христом-Богом не бросать меня, сиротинушку, пока я не подрасту. И хотя к ней однажды даже сватался пожарный, няня клятву не нарушила. Пожарный походил, походил и переключился на другой объект. Впоследствии он заделался большой шишкой, чуть ли не наркомом РСФСР, и няня, я думаю, в глубине души сожалела, что дала ему от ворот поворот.

Первое время в Москве у нас не было своего угла, и мы с моей китайской черепахой Синь кочевали по знакомым. Жили в Даевом переулке возле Сухаревой башни. По Сретенке несло, как из бочки, запахом квашеной капусты, соленых огурцов и тухлой селедки, а в нашем доме пахло подгорелым молоком, кошками и татарами, они жили прямо в коридоре, куда выходили двери всех квартир.

Из всех достопримечательностей старой Москвы самое громадное впечатление на меня производил храм Христа Спасителя - в те времена самое высотное, выражаясь по-современному, здание столицы.

Разрушение храма явилось для моей няни страшной трагедией. Она утверждала, что когда храм разрушат, придет «анчихрист» и настанет конец света. Ее несколько не утешало то обстоятельство, что на месте этого старорежимного храма, возведенного в честь царей Романовых, будет построен новый

коммунистический храм в честь вождя Октябрьской Революции - Дворец Советов, самое величественное сооружение во всей истории. Что он будет выше Вавилонской башни и египетских пирамид, и он будет настолько гигантским, что с пальца вождя, указывающего путь в коммунизм, смогут без труда взлетать самолеты, пилотируемые отважными сталинскими соколами.

В этой истории мой друг и наставник Карл Маркс, безусловно, оказался прав, ибо события действительно повторялись сначала как трагедия, а затем приняли явно комичный оттенок. Храм Христа Спасителя сломали, но вместо храма Ленина построили искусственный водоем круглой формы, напоминающий арену цирка с водной пантомимой на Цветном бульваре. И единственный, кто там вздымал вверх палец, - это комик Юрий Никулин, а бывшие сталинские соколы, вышедшие на пенсию и сидевшие среди публики с внуками на коленях, бурно хохотали, глядя на пантомиму (человечество, смеясь, расстается со своим прошлым, как сказал мой друг детства Карл Маркс).

Но я, кажется, уклонился в сторону от повествования о моей няне, которая растила меня до четырнадцатилетнего возраста, как говорится, не за страх, а за совесть.

В ее деревне Кобивке Рязанской области, где я не раз проводил летние каникулы, меня считали чуть ли не своим, деревенским. Я неплохо играл на балалайке, на деревянных ложках, любил петь деревенские песни вместе с няней (это мне на фронте очень даже пригодилось). Песни большей частью почему-то были про участь заключенных.

*В воскресенье мать-старушка К воротам тюрьмы пришла..
Своему родному сыну Передачу принесла...*

или:

*Луна зашла, все тихо стало. Воронеж спит во тьме ночной, А в
одиночке номер восемь Сидит преступник молодой.*

Я больше всего любил песню про зарезанного купца:

*...А утром рано на рассвете Стучится в сенца к ней мертвец:
«Отдай, старуха, мои деньги - Ведь я зарезанный купец!»*

Потом няня ушла от нас устраивать свою жизнь, поступила куда-то работать. Мог ли я предположить, что не в воду канула, а делала секретную военную карьеру!

Я на войне не заработал ни одной лычки, а моя няня намного обошла меня в чинах.

Объявилась она только после смерти моего отца в 1966 году, но это была уже не моя прежняя Татьяна Ларина. Она уже выслужила пенсию, но без дела не сидела, прирабатывала как приходящая домработница в обеспеченных семьях, у всяких профессоров, писателей.

Няню мы приняли с большим почетом. Жена приготовила угощение, выпили за встречу, был устроен домашний концерт в ее честь: старшая дочь Алла исполнила фугу Баха в переложении для фортепиано, младшая Наташа - бессмертного бетховенского «Сурка» на скрипке.

Няня прослезилась.

Уходя, няня сказала: «Хотя я и партейная стала, член КПСС, а в церковь опять хожу».

КАРЛ МАРКС И ДОХЛЫЕ ЛЯГУШКИ

В 1930 году папа получил жилплощадь в новом доме на окраине Москвы, «у черта на куличиках», как выразилась мама. Дом наш находился за Рогожской заставой и Горбатым мостом, на шоссе Энтузиастов.

Наш новый П-образный корпус из красного кирпича, с громадным внутренним двором, тогда одиноко высился среди пустырей и мусорных свалок. Ближайшим населенным пунктом были «американские» дома или просто «Америка» (говорили, что их построили по американским проектам), а за шоссе, на том месте, где потом появились общественная уборная и памятник М. И. Калинину, теснились утлые бараки. Здесь жили «сизари» - сезонники из деревни, работавшие на новостройках. Бараки еще назывались «Шанхаем».

Окраина наша была сплошь пролетарской. Новостройки заселялись преимущественно рабочими с «Серпа и Молота», «Москабеля», «Компрессора», «Нефтегаза», перебравшимися в новые пятиэтажные дома из страшных трущоб Дангауэровки, Старообрядческой и Владимирской слобод.

Многодетные семьи перебирались с подсобным хозяйством, включая и мелкий рогатый скот, на балконах визжали поросята и кудахтали несушки... Трамваи ходили только до Рогожской заставы, и путь оттуда по шоссе Энтузиастов до наших домов был и долог, и небезопасен. Хулиганы из окрестных слобод и шайки бездомных беспризорников с энтузиазмом грабили и раздевали путников, бывало, и резали финскими ножами.

Мой папа, выходя на шоссе Энтузиастов, всегда носил с собой заряженный браунинг с запасной обоймой, а однажды ему даже пришлось извлечь пистолет из кармана.

Что и говорить, шоссе наше не пользовалось доброй славой. В царские времена по нему под конвоем шли, звеня кандалами, славные революционеры-большевики, направляясь в отдаленные восточные районы.

В начале Отечественной войны революционеры-большевики с куда большим энтузиазмом устремились на Восток по Владимирскому тракту, переименованному в их честь в шоссе Энтузиастов.

Двор наш буквально кишел ребятей, кричащей, свистящей, дерущейся, играющей в войну, в лапту, в чижика, в городки, в салочки...

Долгое время, словно инопланетный пришелец, я вел наблюдение из окна своей комнаты за этим муравейником, не решаясь высунуть нос.

Но меня тянуло туда как магнитом, и я, преодолев наконец робость, попытался вступить в контакт с этим кишащим под окнами миром.

Кончилось это для меня весьма прискорбно. Не успел я выйти во двор, как тут же был окружен босоногой и голопузой ватагой, тарасившей на меня глаза. С криками «Буржуй!» они бросились отрывать от моего матросского костюмчика блестящие пуговицы с якорями.

— Я не буржуй! - вскричал я.

— А кто же ты? - спросил меня самый здоровенный из них. Я не знал, как объяснить им, и ответил: «Мы приехали из Китая». Что тут поднялось! Сбежался весь двор.

— Смотри, китаец! Китаец! Он косой! Лягушек жрет!

Тотчас появилась дохлая расплющенная лягушка, и предводитель, ткнув мне ее в лицо, приказал: «А ну, китаец, жри! Жри по-хорошему, не то хуже будет!» А что могло быть хуже?!

К счастью, в этот момент появилась няня, и ватага бросилась врассыпную. Но дохлую лягушку все-таки успели затолкать мне за шиворот.

После этого нянька ходила за мной неотступно, а мальчишки орали издали: «Китаец! Нянькин сын! Погоди, мы тебя еще накормим!»

В школе учительница Галина Ивановна объясняла мальчишкам, что в нашей Советской стране нельзя так дразниться, ведь у нас все люди между собой равны - и русские, и татары, и китайцы, и даже негры!

Она объяснила всем, что я вовсе никакой не китаец, а еврей - у нее это записано в классном журнале.

Вот так впервые я узнал, что я еврей, и был настолько ошеломлен этим открытием, что даже описался прямо на уроке.

Однако мальчишки не перестали дразнить меня китайцем, правда, теперь они к этой кличке прибавили позорный эпитет «обоссанный» и продолжали донимать меня дохлыми лягушками.

Итак, ужас расовой дискриминации я испытал с раннего детства, но не как еврей, а как «китаец».

Когда мы с няней гуляли в садике возле храма Христа Спасителя, я слышал, как другие няньки судачат о евреях. Одни говорили, что евреи хорошие люди, не пьют водку и платят жалованье в срок, другие - что евреи плохие, жадные, каждую копейку считают. Одна нянька рассказывала, будто евреи, когда разговаривают, размахивают руками и даже подпрыгивают, вроде бы порхают, как куры. Поэтому их и называют «пархатыми».

За разъяснениями я обратился к папе. Он объяснил, что национальности никакого значения не имеют, это просто пережиток царизма и проклятого прошлого. Когда я вырасту и стану взрослым, сказал он, никаких национальностей не будет.

И папа рассказал мне кое-что...

Он сам раньше при царизме был евреем, но стал большевиком. Правда, национальность у папы еще сохранялась как пережиток проклятого прошлого, и этот пережиток по наследству перешел и ко мне. Таков закон природы: у самого Карла Маркса подобный пережиток тоже оставался.

Папа спросил меня, понял ли я все это?

Но у меня назрел еще один вопрос.

Папа, а евреи лягушек едят? - спросил я.

Я не ожидал, что мой папа так будет реагировать. Он даже покраснел и стал на меня кричать: «Кто тебе это сказал? Отвечай! Ты знаешь, что за такие слова в девятнадцатом году к стенке ставили? Кто тебе сказал эту антисемитскую гадость?! Я приму меры! Ты знаешь, что сам Карл Маркс, наш вождь и великий учитель, был тоже еврей?»

Честное слово, я не знал до этого разговора, что мы с Карлом Марксом, оказывается, оба евреи! А главное, я узнал, что, в отличие от китайцев и французов, евреи лягушек не едят и никогда не ели.

Теперь стоило кому-нибудь только заикнуться насчет китайцев, как я тут же задавал вопрос и обидчики затыкались.

Я не китаец, а еврей! - заявлял я. - Сам Карл Маркс, самый главный вождь, был тоже еврей! Что же он, по-твоему, лягушек ел? Да?

Никто не решался сказать, что сам Карл Маркс, самый главный вождь, ел лягушек!

После моего вопроса даже отпетые хулиганы поджимали хвосты и затыкались.

Я крепко держался за Карла Маркса, и он меня здорово выручал в детстве. Благодаря папиному воспитанию я в детстве не делал большой трагедии из того, что я еврей, ведь с возрастом это у меня должно было пройти! Надо только немножко потерпеть.

ЗАКОН ДВОРА

Неписанный Закон Двора был элементарно прост и жесток. Согласно ему, все делились на три категории - на своих, или «огольцов», живущих в нашем дворе, чужих, или «вахлаков», живших на чужих дворах, и «лягавых», которые якшаются с чужими ребятами или с дворниками и милиционерами. Закон гласил: держись «огольцов», бей «вахлаков» и «лягавых»! «Лягавых» можно было бить без всяких правил, даже лежащими.

Действовал Закон Двора автоматически, а тех, кто его нарушал, карал беспощадно. Если пацан не держался со своими, его били и «свои» и «чужие»: первые - потому что он не заслуживал доверия и тотчас же переходил в категорию «лягавых», а вторые - потому что «свои» за него не заступались.

Если «свои» нарушали Закон и не били «лягавых», «лягавые» размножались, они могли совершить во дворе переворот и захватить власть. Тогда они сами становились «своими», а бывшие «свои» сразу переходили в категорию «лягавых», и поделом - не хлопай ушами! Но Закон при этом продолжал действовать с точностью часового механизма. Никаких других законов двор не признавал: ни законов, которые выдумали милиционеры и дворники, ни тех, которым учили школьные учителя и пионервожатые. В школе, куда волей-неволей нужно было ходить, тоже действовал Закон Двора. Он был сильней и живучей

школьных правил и пионерского устава. Наши «огольцы» законно гордились своим двором. Ведь именно с нашего двора вышел сам Николай Королев, Король, как его с гордостью называли «огольцы», знаменитый боксер, чемпион СССР в тяжелом весе!

Правда, и «американцы» хвастались тем, что у них проживает герой- челюскинец, а также овчарка Леда с двумя золотыми медалями.

- Подумаешь, герой! - презрительно усмехались наши. - Король как одной левой въедет вашему челюскинцу по зубам!

Что же касается овчарки, то хотя на нашем дворе таких собак не водилось, зато была корова, которая проживала на четвертом этаже, в ванной комнате. Ее там держала многодетная милиционерша, чтобы не украли. И в этом вопросе мы «американцев» переплюнули, потому что такой коровы, которая жила бы на четвертом этаже без лифта, не то что в «Америке», а во всей Москве больше не было.

«Американцы» еще хвалились тем, что у них живет какой- то большой писатель, который печатает настоящие стихи, кажется Гусев.

В нашем дворе тоже был свой поэт - сапожник Булкин. Он сам сочинил такие стихи: «Много счастья, много радости товарищ Сталин нам принес», и сам же их пел на мотив популярной песни «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля»...

Возможно, «американский» поэт был более знаменитым, чем наш Булкин, зато наш Булкин передвигался исключительно на четвереньках, потому что всегда был в дрезину пьян.

Когда я учился в четвертом классе, мой дядя привез из заграничной командировки подарок для меня - шикарные туфли невиданного заграничного фасона на толстой подошве из натурального каучука! Это была не обувь, а прямо музейный экспонат, их жалко было надевать на ноги, хотелось только любоваться, нежно гладить ярко-оранжевую кожу и вдыхать исходивший от них незнакомый аромат.

К моему сожалению, туфли имели один недостаток: они оказались малы в подъеме и сильно жали, поэтому нянька разрешила мне их надевать на улицу, чтобы разносить.

В те времена Москва щеголяла в ширпотребовской обуви, да и за той надо было стоять в очередях. У наших «огольцов» ботинки вообще считались роскошью - они бегали в здоровенных отцовских опорках да обносках, вечно «просивших каши», а летом вообще босиком.

Мое появление в новых туфлях произвело настоящий фурор. Молва о невиданном чуде заграничной науки и техники дошла и до «Америки» и до «Шанхая»!

Я ходил, окруженный почетным эскортом, не спускающим зачарованных глаз с моих ног, а многие хотели потрогать туфли руками, понюхать кожу, попробовать на зуб подошву. И вот тогда Лешка- Черный, атаман всего нашего двора, тот самый, который когда-то пытался накормить меня дохлой лягушкой, подошел ко мне и спросил: «Китаец, хочешь быть «огольцом»? Скажешь, что я за тебя, и пальцем тебя никто не тронет! Процедура посвящения в «огольцы» состоялась на Старообрядческом кладбище. Я ел могильную землю и повторял за Атаманом слова «огольцовской» клятвы.

Лет шесть спустя, когда писарь в III армейском запасном полку, куда прибыл наш маршевый эшелон, задал мне неожиданный вопрос: «Где и когда принимал воинскую присягу?» (такой пункт в красноармейской книжке обязательно должен был быть заполнен - иначе юридически ты не мог считаться военнослужащим), я так растерялся, что чуть было не брякнул: «В Москве на Старообрядческом кладбище в 1936 году!»

После того как я стал «своим», моя слава сделалась достоянием нашего двора, а туфли - предметом особой гордости «огольцов» и откровенной зависти «вахлаков». Никто не знал, чего стоило мне это бремя славы - туфли мои не разносились и зверски жали ноги. Зато во дворе я прочно занял место сапожника Булкина в ряду достопримечательных личностей, после знаменитого боксера-тяжеловеса Николая Королева и милиционерской коровы, которыми гордился наш двор, а сапожник Булкин был так ошарашен качеством заграничной продукции, что даже бросил пить и, видимо, вследствие этого умер.

Когда я вернулся с войны живым и почти невредимым, знавшие меня с детства откровенно недоумевали, как такой растяпа, неумеха и хилак, «нянькин сынок» и «книжный червяк» ухитрился не погибнуть и не загнуться на фронте?

Конечно, мне повезло, но секрет не только в этом. Думаю, что многим я обязан также нашему двору, в котором вырос и где прошел долгий и тернистый путь от презираемого всеми отщепенца до своего «огольца».

Когда во время войны я попал в армию и очутился на фронте, я страшно растерялся - совсем не потому, что я был трусливее всех и дрожал за свою шкуру, а потому, что оказался ник чему не приспособленным, не мог пристроиться к тому делу, за которое мечтал пролить свою кровь и даже пожертвовать жизнью.

Может быть, так получилось из-за того, что голова моя была набита тогдашней школьной премудростью, что я чересчур начитался для своего возраста, чересчур перемудрил. А на войне все оказалось совсем не так, как я себе это представлял по газетам, книгам, кинофильмам и сводкам Совинформбюро.

А на фронте если солдат не пристроится вместе с другими к делу, то быстро начинает доходить и погибает, пропадает ни за понюх табаку.

Как многие другие бедолаги, я мог бы скатиться по этой горестной дорожке до самого конца, если бы не понял простую истину, которая меня и спасла: любое воинское подразделение - это то же самое, что наш двор, где царит точно такой же неписанный закон: «держишь «своих», бей «чужих» и «лягавых». И если не придешься ко двору, не станешь своим «огольцом» среди солдат - хана тебе, крышка. Ничто тебя не спасет - ни патриотизм, ни воинский устав, ни всесильный устав партийный, ни Бог, ни царь и не герой...

...ОТ ТАЙГИ ДО БРИТАНСКИХ МОРЕЙ КРАСНАЯ АРМИЯ ВСЕХ СИЛЬНЕЙ

Я не пошел в своего родителя. Учиться, учиться и учиться я ужасно не любил. Больше всего я любил болеть, потому что тогда можно было не ходить в школу, а, лежа в кровати, читать интересные книжки или просто мечтать. Я не симулировал, а действительно очень часто простуживался и болел. Стоило кашлянуть или пожаловаться на головную боль, как меня тут же укладывали в постель и вызывали тетю. Тетя приезжала после работы со своим знаменитым черным чемоданчиком, в котором лежали клизма и медицинские банки. Моя тетя работала бухгалтером-плановиком, но считала, что разбирается в медицине лучше любого врача. У нее была своя собственная теория: по ее мнению, самым лучшим средством от всех болезней являются клизма и банки. Из двух зол я выбирал меньшее и предпочитал клизму школьным занятиям.

Помимо того что я не любил учиться, я ужасно не любил пионерские сборы и старался сбежать с них. Забывал надевать красный галстук, ненавидел пионерский строй, потому что никак не мог попасть со всеми в ногу, путаясь в строю под стук барабана и совершенно неприличные звуки, извлекаемые из трубы горнистом Васькой. Кроме того, я не понимал слов пионерского гимна:

Взвейтесь, кастраты, в синие ночи, мы - пионеры, дети рабочих...

Когда я спрашивал пионервожатую Любу, что означает слово «кастраты», она не могла объяснить этого. Просто так поется, и все. (Только спустя годы я узнал, что следовало петь «взвейтесь кострами».)

Так, с песней о кастратах во дворе школы № 2 у Горбатого моста, на шоссе Энтузиастов, я впервые познакомился с ненавистным мне строем. Мог ли я тогда подумать, что во время войны, будучи признанным совершенно не годным к строевой службе, я тем не менее пройду в солдатском строю несколько тысяч километров от Северного Кавказа до самой Германии? И что строй станет для меня буквально родным домом - в строю я научился спать, есть и пить, отправлять естественные надобности. Единственное, чему я не научился, так это ходить в строю, как положено солдату. Много раз я отставал от строя и терял своих, а однажды, во время наступления в Крыму, даже притопал в Симферополь в то время, как моя часть пошла на Алушту. Должен сказать, что к этой моей слабости в роте привыкли и моя пропаша не вызывала особого беспокойства, потому что ротный знал, что рано или поздно я объявлюсь, живой или мертвый. Я даже чуть было не попал на парад Победы 9 мая 1945 года на Красной площади в Москве, если бы по своей привычке не отстал от части именно в тот момент, когда отбирали кандидата (меня, безусловно, послали бы и как москвича, и как полкового ветерана).

Сколько я себя помню, я всегда мечтал стать военным, как мой папа в гражданскую войну или дядя Марк, который был комиссаром 45-й дивизии Крапивянского. Комдив 45-й дивизии Крапивянский, известный в гражданскую войну красно-партизанский деятель на Украине, погиб в «период нарушения ленинских норм». Его революционные и боевые заслуги приписаны теперь «украинскому Чапаеву» Н. Щорсу, своевременно погибшему еще в период гражданской войны.

Дядя Марк получил именной маузер от Реввоенсовета с надписью: «Товарищу Миронову за беззаветную отвагу в борьбе с врагами мировой революции». Самыми радостными днями в году, ожидаемыми мной с нетерпением, были праздники 1 мая и 7 ноября. В эти дни дядя Марк брал меня с собой на Красную площадь смотреть военные парады, и каждый раз эти зрелища приводили меня в неопишуемый восторг. Я наблюдал, как мощь Красной Армии с каждым годом росла.

Помню, как на одном из парадов маршал Ворошилов сказал в своей речи, что Красная Армия теперь стала самой механизированной в мире и на одного бойца у нас приходится в два раза больше лошадиных сил, чем в армиях Франции, Англии и Германии. (Товарищ Ворошилов, видимо, имел тогда в виду «лошадиные силы» в буквальном смысле, т. е. конский состав, а не мощность моторов.)

Когда на Красную площадь со штыками наперевес выходила Пролетарская дивизия, у меня буквально захватывало дух от этого марша и от гордости за нашу непобедимую армию. Однажды я увидел, как в маршировавшем ряду вдруг упал красноармеец, но дивизия продолжала идти как ни в чем не бывало. Я спросил дядю Марка: куда же он делся? Но тут показали пушки, и я позабыл про упавшего красноармейца...

Мне также очень нравилось, как проносились по площади конники с шашками наголо, в развевающихся бурках, каждый эскадрон на одинаковых конях, как проезжали пулеметные тачанки - «наша гордость и краса».

За конницей на Красную площадь выезжали танки - зеленые чудовища с бородавками заклепок. Они ползли неудержимой лавиной, и мне казалось, что в мире нет силы, способной их остановить. И обычно в этот момент в небе появлялись самолеты. Рев их моторов сливался с грохотом танковых гусениц, перекрывал и музыку, и возгласы ликования, несшиеся с трибун. Сперва проносились «сталинские соколы» - самолеты-истребители, затем из-за спиной Исторического музея медленно выплывали многомоторные бомбовозы.

Но самое впечатляющее было «на закуску», как выражался дядя. После прохода танков площадь на минуту пустела, и тут из-за Исторического музея вырывались на нее две громадины: сверхтяжелые танки «Иосиф Сталин» и «Клим Ворошилов», настоящие сухопутные дредноуты на гусеничном ходу с несколькими орудийными башнями и многочисленными пулеметами! Дробя каменную брусчатку, чудовища с невероятным грохотом проносились по Красной площади и, минув храм Василия Блаженного, сворачивали направо, на набережную Москвы-реки.

Трибуны ахали, присутствующие на параде иностранные дипломаты и военные атташе что-то возбужденно лопотали.

- Отцу народов и вдохновителю всех наших побед - ура! - разносилось из репродукторов, и все подхватывали этот клич.

А над площадью неслось: «Вдаль от тайги до Британских морей Красная Армия всех сильнее!», «Если завтра война, если завтра в поход - мы сегодня к походу готовы!»

На парадах я стоял с дядей Марком с правой стороны от Мавзолея Ленина и видел товарища Сталина!

После парада начиналась демонстрация, продолжавшаяся до самого вечера, но из-за меня дядя уходил с Красной площади пораньше. Мы шли с ним по набережной к Каменному мосту, у которого, оцепленные красноармейцами, виселись две громады под брезентами. Это были секретные сверхмощные танки «Иосиф Сталин» и «Клим Ворошилов». Отсюда они уезжали поздно ночью, чтобы никто их не видел.

Дядя Марк мне как-то сказал, что за границей подобных танков не имеется. Мой дядя знал что говорил. Как мне стало известно впоследствии, гигантские танки «Иосиф Сталин» и «Клим Ворошилов» действительно являлись уникальными в своем роде сооружениями, предназначенными для парадов и для «психической атаки» на иностранных дипломатов. Их броню можно было прострелить из карманного пистолета.

Я долго находился под впечатлением парада, воображая себя то скачущим на коне подобно маршалу Ворошилову, то проносящимся на танке «Иосиф Сталин».

Своими мечтами я ни с кем во дворе не делился. Не хотел, чтобы надо мной подтрунивали, мол, тоже вояка, нянькин сын! Все знали, что я драться не люблю и не умею. Прямо скажу, силой и ловкостью я никогда не отличался. К тому же рано стал носить очки, а в школе был освобожден от уроков труда, физкультуры и военного дела, потому что врачи нашли у меня какой-то шум в сердце.

Одно время мне даже бегать запретили, но кто мне мог запретить мечтать? В глубине души я все-таки надеялся, что когда вырасту, то смогу осуществить свою мечту. Ведь пелось в песне из кинофильма «Веселые ребята»:

Когда страна прикажет быть героем, У нас героем становится любой...

- Если им может быть любой, значит, и я могу? - задавал я себе вопрос.

Я любил не только мечтать, каким я вырасту героем, но и поиграть в войну. Конечно, не так, как играли в войну наши «огольцы» с «американцами»: кидались камнями, стреляли друг в друга из рогаток и разбивали до крови носы. Нет, я любил это делать дома, в своей уютной комнате, без всякой драки. Мы играли вначале вдвоем с Сережкой- Колдуном, он был очень малорослый и в настоящих драках тоже не участвовал. И еще иногда к нам присоединялся Мирчик-Сопля. Но чаще Мирчик-Сопля только смотрел, потому что он был лишний - сражаются между собой только два войска.

Наши войска состояли из моих старых игрушек, из шахматных фигур, шашек, домино, карандашей и других предметов, все шло в дело - надо было строить крепости, расставлять артиллерию. Одна сторона была «красные», другая - «белые».

Вскоре мы забросили игрушки и шахматные фигуры и занялись более серьезным делом - игрой в штаб. Мы стали рисовать цветными карандашами всякие стрелки, линии и кружки, обозначавшие военные действия.

Мы перепачкали наши школьные атласы и учебники, где были карты, потом сами начали выдумывать всякие карты и наносить на них обстановку. Там, где были «красные», мы рисовали стрелы и линии красным карандашом, а «белых» - синим. Смысл всей работы заключался в том, что она была страшно секретной и все должно было храниться в тайне.

Мы решили дать настоящую законную клятву по всем правилам, что никогда никому не выдадим нашей тайны. Поздно вечером, в проливной дождь, отправились на Солдатское поле, напротив клуба завода «Компрессор», и ели там землю.

На следующий день Мирчик заболел, у него поднялась высокая температура. Он испугался и рассказал обо всем своей маме, та прибежала к нам и устроила няньке страшный скандал, заявив, что мы с Колдуном насильно заставляли Мирчика есть землю и что она этого так не оставит, пожалуется в милицию и подаст в суд. К нашему счастью, Мирчик на следующий день выздоровел, но наша тайна стала известна всему двору на потеху «огольцам». Атаман окрестил нас с Сережкой «мудрецами» и «чернильными вояками». С Мирчиком, который оказался предателем, «лягавым», после этого случая мы надолго порвали отношения. Конечно же, моим детским фантазиям не суждено было сбыться - я не стал ни генералом, ни прославленным героем. Но наши военные игры, безусловно, дали мне определенные навыки в руководстве крупными воинскими со-единениями и даже всеми вооруженными силами в масштабе государства, о чем еще пойдет речь.

А предвоенное увлечение шахматами, принесшее мне во дворе почетную кличку Левка-Ботвинник за чисто внешнее сходство с прославленным гроссмейстером, тоже сыграло свою роль в моей фронтовой судьбе. С настоящей, взаправдашней, а не понарошной штабной игрой я, например, столкнулся вскоре после прибытия на фронт, мне даже довелось быть одним из ее участников. Правда, я позорно провалился, проиграл - не хватило знаний и опыта.

ГОСУДАРСТВО КГБ

...Мысль о создании собственного государства впервые пришла в голову Сережке-Колдуну, он был маленький и щедушный, но ужасно башковитый. Тогда как раз появилась книжка писателя Льва Кассила «Кондуит и Швамбрания», где рассказывалось, как мальчишки придумали себе во время революции свое собственное государство Швамбранию и играли в него. Вот Колдун и предложил заняться новой игрой вместо игры в штаб, которая уже нам наскучила.

Играть мы решили не точно, как в книжке, а по-своему. Те ребята жили в старинные времена, еще при царе, а мы ведь живем при советской власти, когда строится социализм, а в будущем даже будет построен коммунизм. Мы так и постановили, что наше государство, в которое мы начинаем играть, будет называться «Коммунистическим Государством Будущего», или, сокращенно, КГБ - так же как Союз Советских Социалистических Республик называется сокращенно СССР. К сожалению, Сережка-Колдун пропал без вести на фронте под Ленинградом в 1942 году. Он бы смог подтвердить, что это словцо мы с ним первые выдумали еще за двадцать лет до того, как оно официально появилось и снискало себе такую широкую известность.

По аналогии со Швамбранией, граждане которой назывались швамбранами, граждане нашей страны КГБ именовались кеgebенами.

У нас было все, как в самом настоящем государстве: были вожди, разумеется, мы с Сережкой-Колдуном, кеgebенский Верховный совет и правительство - пошли в ход китайские болванчики, которых когда-то мама любила собирать и привезла из Китая целую коллекцию. Если такого болванчика один раз щелкнуть по башке, он мог качать своей башкой целый час, как живой. Была армия - шахматные фигуры - маршалы и командиры, пешки и шашки - соответственно, рядовые, был Верховный Суд - по совместительству мы с Сережкой, и был враг народа - Мирчик- Сопля, которого мы судили как троцкистско-зиновьевского двурушника и иностранного агента, подражая взрослым. Тогда в Москве начались процессы над врагами народа, и все об этом только и говорили. Мирчи- ка мы снова приняли в нашу компанию, но при условии, что он будет у нас врагом народа и тем искупит свою прошлую вину. Надо сказать, что он старался играть свою роль добросовестно, безотказно признавался в самых ужасных заговорах против КГБ и в своих связях с иностранными империалистами. За это мы его простили и назначили наркомом НКВД, а на роль врага народа приспособили нашего кота Вундеркаца. Кот был злой, царапался и кусался, его надо было изловить, а это было не так уж просто, а затем накрыть решетчатым ящиком из-под яблок, сверху на ящик мы еще клали несколько увесистых томов Маркса или Ленина из папиной библиотеки, иначе Вундеркац мог легко опрокинуть ящик и вырваться из своей тюрьмы.

Вундеркац, разумеется, в преступлениях не признавался, хотя за ним водилось немало грехов, он не умел говорить по- человечески, зато в тюрьме орал и бесился, как самый настоящий враг народа и шпион.

Игра наша, конечно же, велась в строгой тайне - так было интересней, - никто во дворе не должен был о ней знать, но Мирчик, разумеется, опять проболтался и выдал нашу тайну самому Лешке-Атаману.

Мы играли обычно у нас дома, так как у меня была отдельная большая комната, где нам не мешали взрослые и мы могли вытворять все что вздумается.

И вот Атаман, законный властитель нашего двора, пожелал, чтобы я его позвал к себе посмотреть, что там химичат его мудрецы.

Лешка-Атаман считался самым сильным не только в нашем дворе. Ни в «Америке», ни в «Шанхае» никто не мог с ним сравниться - в шестнадцать лет он уже, как взрослый, работал молотобойцем на «Серпе и Молоте», ему ничего не стоило одним мизинцем выжать двухпудовую гирию! Правда, в школе он доучился только до четвертого класса и в каждом классе сидел по два года.

Делать было нечего. Пришлось пригласить Атамана посмотреть на нашу игру. Нянька опасалась впускать «этого бандюгу» в квартиру - она боялась, что он что-нибудь стянет, но Атаман меня ни разу не подвел.

Он явился преисполненный достоинства, как и положено настоящему атаману, снисходящему к такой мелюзге, как мы с Колдуном, не говоря уж о Сопле, который был на два года младше нас. Держался он сперва развязно, по-хозяйски осмотрел мою комнату, потом заглянул без спроса в папину... и оторопел. Вся спесь вдруг с него слетела, и он превратился из Атамана просто в большого растерянного подростка.

Оказалось, что он в жизни никогда не видел, чтоб у кого- нибудь в комнате было так много книг. Я объяснил ему, что мой папа - красный профессор, научный работник, экономист, знает четыре иностранных языка, и поэтому у него четыре тысячи книг.

Лешка, так и не осиливший в школе таблицы умножения, преисполнился необычайного почтения к моему папе и перестал презрительно относиться к нам, «мудрецам».

Более того, он напросился, чтобы мы приняли его в свою игру, и мы, конечно, предоставили ему самый высокий пост в нашем КГБ. Ведь он был самым старшим из нас и по возрасту, и по положению, а главное, он был настоящим пролетарием, работал на «Серпе», не то что мы.

Сережка-Колдун сказал, что в коммунистическом государстве самое главное - диктатура пролетариата, и предложил назначить Атамана главным пролетарским диктатором, который будет командовать всем нашим государством, а мы должны будем ему подчиняться.

В нашем государстве Атаман установил такой же закон, какой действовал во дворе. Сколько мы его не убеждали, что при коммунизме будет другой закон и все будут равны, он этой идеи уразуметь не мог. Не доходило до него, хоть кол на голове теши!

У Атамана были свои аргументы: разве может он, Атаман, быть равным Сопле? Ведь он Соплю одним щелчком может пришибить. Или разве могут быть «огольцы» равны «лягавым»? Разве могут эти «американские вахлаки» и «сизари из Шанхая» быть равными нашим новодомовским «огольцам»?

В разгар наших игр случилось непредвиденное: у Мирчика- Сопли, нашего наркома НКВД, арестовали папу, коммуниста из Румынии. Мирчик сказал нам, что его папу арестовали по ошибке, получилось какое-то недоразумение. Но он, бедняга, был так расстроен случившимся, что ушел с поста наркома НКВД и вообще прекратил играть в нашу игру.

Вскоре после наркома НКВД такая же участь постигла и военного наркома, то есть меня. На этом наше коммунистическое государство будущего распалось.

Как известно, я в дальнейшем не стал крупным военным деятелем, Сережка-Колдун пропал без вести, не успев стать министром иностранных дел или большим дипломатом, о чем он мечтал. Мирчик тоже не стал

славным чекистом, его жизнь трагически оборвалась в Таганской тюрьме, куда он угодил за попытку ограбления хлебной палатки в голодном 1943 году.

Атаман пока еще не стал главным пролетарским диктатором. Правда, фамилия его время от времени прожальзывает в официальных сообщениях вместе со словами «ответственный работник ЦК КПСС». И кто знает...

В начале его послевоенной карьеры мы встретились пару раз. Один раз у него дома на Покровке, когда в семейном кругу за бутылкой «Московской» я рассказывал о своих военных приключениях. Вторая встреча была в райкоме, где он работал заведующим промышленным отделом. Он помог мне тогда с жильем. Тогда же он мне и признался, что почувствовал вкус к партийно- государственной деятельности именно с нашей детской игры, которая явилась переломным моментом в его юности.

Как-то я еще раз заходил в райком, но мне сообщили, что Алексей Васильевич уже не работает там - направлен на учебу в Высшую партийную школу.

Атаман вышел на орбиту, наши пути навсегда разошлись. Спустя много лет мы столкнулись случайно лицом к лицу на Ленинском проспекте, возле моего дома. Он вышел из «Зоомагазина» с клеткой, в которой что-то трепыхалось, и направился к проезжей части, а я шел, мучимый тяжелыми раздумьями, по тротуару. На его властном лице, словно высеченном из камня, красовались стильные очки с дымчатыми стеклами, на лацкане джерсового костюма алел депутатский значок.

От неожиданности я вскрикнул: «Атаман»!

Каменная маска мигом слетела с его лица.

- Китаец, ты еще здесь?! - спросил он не то радостно, не то удивленно.

Сначала его вопроса я не уловил.

— Как видишь...

— А мы с женой тебя вспоминали недавно, на День Победы, как ты воевал. Я еще сказал: «Где мой Левка-то, небось умотал уже к своим в Израиль». «Израиль» он произнес с сильным ударением на последнем слоге.

Атаман торопился: у внучки день рождения! Напротив магазина его ждала черная «Чайка», из машины он махнул мне.

— Ну бывай, привет семейству...

Я еще долго стоял, глядя вслед удаляющейся «Чайке» с цековским номером.

Почему Атаман наперед знал то, что еще только смутно бродило во мне? Может, потому, что набрался он марксистско- ленинской науки, которая позволяет все предвидеть? Может, даже диссертацию защитил на тему о пролетарском интернационализме? Нет, просто остался Атаман верен неписаному Закону Двора, но теперь в масштабе всамделишного государства, а не игрушечного; Закону, согласно которому я по пункту пятому давно уже не числюсь в категории «своих».

ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ И ПИРОГИ С КАПУСТОЙ

В школьные годы я очень досадовал, что так поздно родился и поэтому не смог участвовать в Октябрьской революции. Не штурмовал Зимний, не брал Перекоп... Как я завидовал своему папе, которому довелось делать революцию, сражаться за советскую власть и бороться в подполье с буржуями! Я завидовал и папиным товарищам - его соратникам по большевистскому подполью. Какие это были интересные люди! Правда, они не были такими учеными, как папа, но зато были очень веселыми, шумными и... немножечко жуликоватыми - одним словом, они были одесситами.

С папой они держались почтительно, а со мной на равных. Я очень любил, когда они приходили в гости и рассказывали всякие забавные истории про Котовского и Мишку-Япончика.

По телефону они разговаривали так: «Говорят из подполья. Наверное, это квартира Гриши Ларского?» Наша Таня никак не могла уразуметь смысл слова «подполье», она думала, что речь идет о подполе под избой.

— Чего они все в подполе-то прячутся? - недоумевала она и к этой шумной компании относилась с подозрением. Даже пересчитывала после них чайные ложечки.

А папа после визитов друзей-«подпольщиков» иной раз недосчитывался каких-нибудь книг в своей библиотеке. Это его огорчало.

Собирать книги папа очень любил. Но он собирал не всякие книги, а главным образом литературу о революции. Еще в те времена, когда мы жили у Сухаревой башни, ему удалось приобрести на толчке редкие издания первых дней революции. Из Китая ему тоже удалось привезти кое-что. Он собирал и старые газеты революционных лет, давно исчезнувшие журналы, речи всех вождей и все издания их сочинений, материалы партийных дискуссий и различных оппозиций...

Хотя меня такие книжки тогда не интересовали, папа запрещал мне и близко подходить к полкам. Однажды я услышал, как один его приятель- чекист спросил:

— Гриша, зачем ты держишь у себя эту макулатуру - Троцкого, Шляпникова?

— Для истории, - ответил папа.

— Ты можешь в такую историю влипнуть, что я тебе ничем не смогу помочь, - сказал приятель.

После этого папа привел столяра, и тот приделал к полкам фанерные дверцы, запиравшиеся на ключ. Книг теперь не было видно, и утащить их никто не мог. Библиотека его насчитывала несколько тысяч книг, для удобства папа сделал на дверцах наклейки с надписями: «Экономика», «Политика», «Философия» и т. д. А на целой стене была только одна наклейка: «Великий Октябрь». Вся революция хранилась на тех полках!

Реликвией, которая была мне доступна, являлся «черный альбом»

- наш семейный фотоальбом в черном переплете под крокодиловую кожу. Когда-то давно его завела мама, сама умевшая фотографировать. В альбоме нашем не было прекрасно отретушированных фотографий с расфуфыренными «старорежимными» родственниками - с пережитками проклятого прошлого было покончено навсегда. С его страниц веяло духом революции.

...Вот возле старинного автомобиля в картинных позах застыли люди в шляпах и галстуках, но с винтовками и пулеметными лентами на пиджаках. На лозунге, который держит молодой человек в пенсне (мой папа!), надпись: «Вся власть Советам!»

«Боевая дружина мыловаренного завода. Одесса, март 1917 г.» - значится в углу снимка.

А вот «группа участников большевистского подполья». Снимок сделан уже после революции, мой папа тут не такой молодой, он сидит на стуле во втором ряду в военной форме. Бородатый военный с орденами в верхнем ряду - главный комиссар Красной Армии Гамарник. Вот целая картина во весь альбом: на фоне изображены знамена, серп и молот со звездой, скрещенные шашки! Слева надпись: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», справа - «Даешь мировую революцию!» Но в центре почему-то большое чернильное пятно, под которым угадывается силуэт какого-то человека. С большим усилием мне все-таки удалось расшифровать замазанную подпись: «Организатор и вождь Красной Армии, председатель Реввоенсовета Республики тов. Троцкий». По обе стороны чернильного пятна множество кружочков, и в каждом голова в шлеме, папахе или фуражке, с усами или без усов... В одном из кружочков

- мой папа, без очков и совершен-но на себя непохожий. Был и мамин снимок на гражданской войне с надписью: «Эвакогоспиталь 9-й армии. 1920 год». Мама там совсем молодая, в белой косыночке с крестом. Был снимок Дяди Марка у бронепоезда. Дядя был сфотографирован на грузовой платформе, прицепленной впереди паровоза. На ней стояли странные люди с винтовками: австровенгры, китайцы, одесситы... «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» - было написано на откидном борту.

Наш паровоз, вперед лети,, В Коммуне остановку, Другого нет у нас пути, В руках нас винтовку.

На кухне у нас плита топилась дровами и ванна тоже. И вот однажды на масленицу, когда по деревенскому обычаю наши соседи по квартире и Таня собрались печь пироги и блины, папа попросил их вместо дров топить плиту и ванну старыми книжками из его библиотеки, поскольку, мол, ему надо разгрузить полки для более нужных книг. (Как я узнал впоследствии, как раз в это время у папы начались крупные неприятности по партийной линии.) Несколько дней подряд в нашей квартире пылали топки с утра до вечера. И блинов хозяйки напекли, и пирогов с капустой. Напарились, набанились вдоволь и настирали белья.

...Когда папу пришли арестовывать, шкаф с наклейкой «Великий Октябрь» был почти пуст. Там обнаружили лишь сочинения Ленина и Сталина. «Черный альбом» с революционными снимками при обыске забрали, а ведь в нем были почти все мои детские фотографии, которые мама сама снимала в Китае.

ГОСУДАРСТВО МОЕЙ БАБУШКИ. Я И МАРШАЛ ТУХАЧЕВСКИЙ

Когда мы с нашей пролетарской окраины за Рогожской заставой приезжали на трех трамваях к моей бабушке (ездили мы к ней каждый выходной, такое уж у нее было правило, чтобы в эти дни все ее дети и внуки собирались на обед есть фаршированную рыбу), мы как будто попадали из СССР в какую-нибудь заграничную страну, куда-нибудь в Германию или даже Америку...

Каждое независимое государство, большое или маленькое, имеет свою территорию, на которую иностранцев пускают только по специальным пропускам-визам, имеет охраняемые границы, собственную армию в отличной от других армий военной форме и, конечно, собственное правительство.

Государство, в котором жила моя бабушка вместе с дядей Марком, старшим братом папы, вполне удовлетворяло всем этим условиям. Оно занимало довольно обширную территорию по улице Серафимовича, между Большим и Малым Каменным мостом, почти напротив Кремля через Москву-реку, границы его были надежно защищены высокими железными решетками с острыми пиками и железными воротами, которые бдительно охраняла вооруженная стража. Иностранцев пропускали на территорию по специальным пропускам, которые оформлялись со всеми строгостями: с предъявлением паспортов, печатями, подписями и отметкой времени прибытия и убытия. Это было государство с собственной армией, более многочисленной, чем в Великом Княжестве Люксембург, одетой в черные фуражки, черные куртки, черные брюки и белые перчатки. Что же касается правительства, то, собственно говоря, все население этого государства и состо-яло из правительства, его чад и домочадцев.

В Москве оно так и называлось - Дом правительства или сокращенно ДОПР.

Многоэтажная громадина с тремя огромными внутренними дворами, собственным универмагом, двумя кинотеатрами, клубом, с многими сотнями шикарнейших квартир с фантастическими удобствами: горячей и холодной водой, газом, мусоропроводом, с рядами сверкающих черным лаком и никелем автомашин заграничных марок - «бьюиков», «шевроле», «паккардов», «линкольнов» у подъездов - так вот, высилась эта громадина среди убогих, замызганных домишек старого Замоскворечья, как неприступная крепость.

Это было государство в государстве.

Дядя Марк был ответственным работником в Наркомате оборонной промышленности, и поэтому ему вместе с бабушкой дали там квартиру. До этого он работал за границей, был советским торгпредом в Швеции и Чехословакии. Теперь его внешнеторговые заслуги приписаны популярному киноактеру Тихонову, сыгравшему роль некоего Крайнова (если не ошибаюсь) в кинофильме «Человек с другой стороны», где шла речь о первой внешнеторговой операции в Швеции - закупке паровозов и вагонов.

Он был холостяком. Дядя всегда брал бабушку с собой за границу - она была дока по части коммерции, ведь много лет ей приходилось делать хозяйственные закупки на одесском Привозе.

После наших шумных дворов, где с утра до вечера стоял крик и гам, где по крышам носились голубятники с шестами, где после работы все взрослое население со страшным стуком забивало козла, где пели под гармонию «Кирпичики», «Когда б имел золотые горы», «Хазбулат удалой» и плясали «цыганочку», двор в бабушкином доме казался мне вымершим. Он был весь покрыт начищенным асфальтом, кроме газонов с цветочными клумбами и надписями «Ходить запрещается», или «Сорить запрещается», или «Шуметь запрещается».

Интересно мне было только в квартире у бабушки, особенно в комнате дяди Марка, служившей ему кабинетом и спальней. Там между стенкой и письменным столом обычно стоял целый ряд настоящих винтовок и охотничьих ружей разных систем. Некоторые из них были с надписями: «Маршалу товарищу Климу Ворошилову от коллектива Тульского оружейного завода» или «Маршалу С. М. Буденному от рабочих Ижевского завода». Оружие было незаряженным, и дядя Марк разрешал мне с ним играть.

Разумеется, ни Лешка-Атаман, ни Сережка-Колдун не верили тому, что я держал в собственных руках винтовку Ворошилова, Буденного или Тухачевского, но я не мог привести их в Дом правительства, чтобы они смогли собственными глазами убедиться в истинности моих слов.

А я был ужасно горд: кому еще в стране выпала честь держать в своих руках оружие всех маршалов!

Помимо винтовок и пистолетов я мог видеть и самого маршала Тухачевского, который жил в бабушкином подъезде. Однажды мы даже с ним вместе спускались в лифте.

Конечно, Тухачевский был не таким знаменитым, как Ворошилов и Буденный, про него не было песен и маршей, но все-таки он был маршал! К тому же он был громадного роста и казался мне похожим на какого-то былинного богатыря или витязя из сказки - когда выходил из подъезда в высоком остроконечном суконном шлеме и длинной, до самой земли шинели с золотыми звездами на воротнике и двумя рядами блестящих пуговиц. Он был такой мужественный, что даже гражданские вытягивались перед ним в струнку и отдавали ему честь.

Бабушка говорила: «Товарищ Тухачевский - самый военный мужчина во всем СССР!»

Как-то мы стояли внизу с дядей Марком и ждали лифта. Когда лифт спустился, оттуда вышел обычный человек без шапки, в пальто и в костюме.

Вдруг вахтер Степан Афанасьевич, который всегда с револьвером на боку сидел за столиком у внутреннего телефона - он жил в особой квартире на первом этаже рядом с лифтом, - вскочил как угорелый, бросился к двери подъезда и замер там, щелкнув каблучками и взяв под козырек. Дядя Марк, такой солидный, в шляпе, тоже вдруг вытянулся и взял под козырек - оказалось, что этот человек был Тухачевский. Я его не узнал и был очень удивлен - как это маршал может ходить в обычной одежде? Если бы он мне встретился на улице, я даже не подумал бы, что этот обычный дяденька - маршал Тухачевский!

Впоследствии, когда Тухачевский оказался «врагом народа» и шпионом, этот случай не давал мне покоя. Я был убежден, что он действительно шпион: иначе зачем ему надо было переодеваться? Это очень подозрительно.

Разумеется, я больше уже не хвастался, что видел Тухачевского. В армии на политбеседах нам часто говорили: «Как хорошо, что вся эта банда изменников и предателей - Тухачевский, Якир, Косиор, Уборевич - еще до войны была своевременно разоблачена и уничтожена. Нельзя себе даже представить, что произошло бы, если бы эти шпионы в момент вероломного нападения фашистской Германии оказались в рядах Красной Армии! Надо сказать спасибо товарищу Сталину за то, что он, с присущей ему мудростью, предотвратил эту страшную опасность и спас нас всех от гибели!»

Когда я слышал это, меня аж мороз продирает по коже. Я вспоминал Тухачевского в пальто и мысленно благодарил товарища Сталина за его мудрость. И еще я думал: как хорошо, что никто не знает, что я видел этого изменника и даже один раз ехал с ним в лифте, - меня бы разорвали на куски...

Дядя Марк был начальником отдела Наркомата, к которому относились всякие конструкторские бюро и институты. С известным конструктором советской авиации профессором Туполевым он был не только связан по работе, но и дружил. Туполев иногда бывал у него - специально заходил поесть бабушкину фаршированную рыбу, как он утверждал. Бабушку он называл «мамашей» и любил поговорить с ней за жизнь. Он был очень веселым человеком, любил пошутить.

Своих детей у дяди Марка не было, и он был очень привязан к племянникам, а ко мне в особенности после того, как умерла моя мама.

Бабушка стала таять буквально на глазах. У нее обнаружили рак.

Наши семейные сборы пришлось отменить. Удары, обрушившиеся на нашу семью, начались с бабушкиной смерти. Из всех несчастий самым ошеломляющим явился для меня арест дяди Марка. Он был арестован по так называемому делу Туполева.

После похорон бабушки дядя Марк оказался в кремлевской больнице с сердечным приступом. Прямо оттуда его забрали в Бутырскую тюрьму.

Как обычно, от меня все это долго скрывали. Все взрослые в нашем семействе трогательно оберегали друг друга от всяких волнений и неприятностей. Когда у папы начались неприятности, это стали скрывать от бабушки, чтобы она не нервничала и не переживала. Когда выяснилось, что у бабушки рак, это стали скрывать от дяди Марка, потому что у него большое сердце и т. п. А в конце концов получалось только хуже. Верховодила этой тайной политикой тетя. Что касается меня, то у нее вообще была такая теория, что детям нечего совать нос в дела взрослых. Поэтому от меня пытались скрыть все - и арест отца (в этот момент я жил в деревне у няньки), и смерть бабушки, и арест дяди Марка.

Как только меня не обманывали, на какие только не шли ухищрения ради моей же пользы - чтобы меня уберечь, что бы я не страдал. А я, между прочим, все знал, нянька мне все выкладывала. Она по простоте своей этой тетиной политики не понимала и считала, что в семье ничего нельзя друг от друга скрывать.

Массовые аресты в Доме правительства начались еще при жизни бабушки. По словам тети, умирая, бабушка сказала: «Наш вождь, товарищ Сталин, делает революции аборт».

Катастрофа бабушкиного государства произошла на моих глазах. Конечно, оно не провалилось на морское дно, как Атлантида, и не было разрушено извержением вулкана подобно Помпее. Если бы в 1937-1938 годах существовало атомное оружие, то можно было бы даже предположить, что в Доме правительства тогда взорвалась нейтронная бомба, уничтожившая человеческие жизни, но не повредившая сам дом. Он по-прежнему высится возле Большого Каменного моста, а об испарившихся его обитателях напоминают лишь несколько мемориальных досок на его угрюмых стенах. Хорошенький дом: поговаривают, будто в полнолуние по нему бродят призраки, пугая до смерти теперешних жильцов: призрак любимца партии Бухарина, призрак славного маршала Тухачевского, призрак вождя социалистической промышленности Куйбышева и сотни других. Если бы мой друг детства и наставник Карл Маркс проживал в Доме правительства, он скорее всего сам бы оказался в рядах этой бессмертной гвардии, и тогда, возможно, по-иному зазвучал бы его бессмертный лозунг: «Призрак бродит по Европе, призрак коммунистов».

Дядя Марк погиб на Колыме в 1943 году, примерно в то время, когда я высаживался на Керченский плацдарм. О гибели его мы узнали лишь через пять лет.

А на кратком свидании с тетей в больнице Бутырской тюрьмы он сказал: «Я ни в чем и ни перед кем не виноват, если я погибну, то знайте - меня оклеветали».

Глава II. ОБОРОНА МОСКВЫ И ТАШКЕНТА ОКОПНЫЙ ФРОНТ И ПАНИКА В МОСКВЕ

Вернусь к полудню рокового дня 22 июня 1941 года...

«Война? - пронеслось у меня в голове. - Неужели японцы на нас напали? Или опять белофинны полезли, мало им было разгрома на линии Маннергейма?»

Но из репродуктора донеслись наконец слова, которые сознание мое отказывалось воспринимать после беседы с дядей Федей. ...Фашистская Германия?!

Я стоял как в столбняке и очнулся от голоса тети Дуси, ворвавшейся в комнату.

— Начальнички... вашу мать! Раззявы, все проглядели, все прос... али... Бабы говорят, немцы-то под Смоленском уже! - кричала она, наступая на совсем опешившего дядю Федю.

— Что ты мелешь, Дарья! Не может такого быть, Хозяин не допустит, - бормотал дядя Федя.

— Да пошел ты в ж... со своим «хозяином»! Бабы говорят - сбег он, твой «хозяин», неизвестно куда, - выпалила тетя Дуся.

— Типун тебе на язык, Дарья! - ахнул сосед и побежал в коридор к телефону.

— Сколько же народу-то теперь понапрасну побьет, а кто отвечать за это будет?! - закричала ему вдогонку тетя Дуся. Но вопрос ее так и остался висеть в воздухе.

Замечу к слову, что не только один дядя Федя не ответил на невольно вырвавшийся у жены вопрос (который тогда у всех был на устах). Даже самая передовая в мире марксистско-ленинская историческая наука и по сей день ничего вразумительного по этому поводу не сказала. Что же касается переданного тетей Дусей сообщения «Агентства ОБС» о том, что Хозяин сбежал «неизвестно куда», то оно действительно оказалось вымыслом.

Как теперь известно из некоторых источников, товарищ Сталин 22 июня 1941 года из столицы не выезжал. Он настолько был потрясен вероломством Гитлера, что погрузился в черную меланхолию, предоставив расхлебывать кашу своим верным соратникам.

Из-за коварного хода вчерашнего «союзника и друга» товарищ Сталин на время утратил дар творческого мышления. К оценке сложившейся ситуации он подошел сугубо догматически, решив, будто мировой капитал станет теперь на сторону фашизма против Советской страны.

— Все конечно! - якобы сказал великий вождь.

Но почему-то империалистическая буржуазия стран Запада, вопреки учению Ленина - Сталина, поступила наоборот и протянула СССР руку помощи в борьбе против фашистского агрессора. И колесо Истории снова закрутилось в нашу пользу, по направлению к «светлому будущему» человечества.

Товарищ Сталин, как известно, не отверг протянутой ему руки мирового капитала и схватился за нее двумя руками, руководствуясь пословицей «Война все спишет».

Не помню, что было после речи товарища Молотова. По всей вероятности, я побежал вместе со всеми получать противогазы и бумажные светомаскировочные шторы. Наверно, запасал воду во все ведра, кастрюли и склянки, таскал песок и копал щели во дворе...

К вечеру позвонила тетя и велела мне ехать к папе в больницу - он лежал в Первой Градской. В центре Москвы, где мне надо было пересест на другой трамвай, творилось что-то невообразимое. Кузнецкий мост, Неглинка, Столешников переулочек кишели людьми. Колоссальные очереди, сквозь которые с трудом удавалось прорваться, толпились у ювелирных и комиссионных магазинов, банков и сберкасс.

Тетя устроила в больнице семейный совет, на котором большинством голосов было решено, что мне нечего теперь одному болтаться в городе и я должен буду поехать в пионерский лагерь.

Для меня, человека, уже получившего паспорт и брившегося, находиться в этой сопливой шарашке с ее знаменитым девизом «Солнце, ветер, онанизм укрепляют организм!» было унижительно. Последующие три дня я находился у тети.

24-го числа я поехал к себе в Новые дома, намереваясь зайти к Колдуну и оставить соседям ключи от нашей комнаты. Я не подозревал, что ни Колдуна, ни Соплю не увижу никогда.

В городе теперь было больше порядка, это я наблюдал из окна трамвая. На улицах установили репродукторы, из которых разносились русские народные песни в исполнении хора им. Пятницкого и сводки Совинформбюро, сообщавшие о страшных потерях немецко-фашистских войск.

Я тогда со дня на день с нетерпением ожидал, когда объявят о контрударе нашей доблестной Красной Армии.

Размышляя о том, кончится ли война к моему возвращению из пионерлагеря, я вошел в наш подъезд, где столкнулся с дворником Макаровым.

— Который раз за тобой сегодня хожу, - недовольно пробурчал дворник. - Давай, расписывайся...

Я расписался где-то огрызком химического карандаша и получил листок оберточной бумаги, оказавшийся повесткой. С изумлением я прочитал, что Ларский Лев Григорьевич, 1924 года рождения, согласно постановлению Мосгорисполкома должен явиться 24 июня 1941 года на сборный пункт по такому-то адресу к шести часам вечера, имея при себе паспорт или метрическое свидетельство, две смены нижнего белья, два полотенца, одеяло и запас продуктов на несколько дней... В конце повестки значилось: «За неявку в указанный срок или уклонение от явки вы будете привлечены к строгой ответственности по законам военного времени».

Глянул на ручные часы - было без пяти минут шесть!

— Дядя Прохор, я же не успею! - в ужасе закричал я, но дворник лишь пожал плечами - это его не касалось.

Я вихрем ворвался домой и стал метаться по квартире. Вещи мои, выстиранные, выглаженные, заштопанные и упакованные в чемодан и рюкзак, находились у тети на Елоховской. Не долго думая, я схватил школьный портфель и набил его грязным бельем из чулана, захватил одеяло и папино пальто, Перешитое из шинели. Тетя Дуся на ходу сунула мне немного денег, батон хлеба и бутылку кефира.

Колонна грузовиков уже выезжала со школьного двора, когда я туда прибежал. К счастью, я оказался среди ребят из нашего дома. Никто не знал, куда нас повезут и зачем, - в армию мы еще не годились.

Долго грузовики тряслись по всей Москве, пока не приехали на какую-то товарную станцию. Было уже темно, когда нас, словно стадо баранов, стали загружать в вонючие теплушки.

На исходе третьего дня войны наш товарный состав тронулся и поехал в неизвестном направлении. Вместо пионерского лагеря я очутился на окопном фронте вместе с сотнями тысяч других московских школьников, студентов, домохозяек, работников умственного труда и заключенных исправительно-трудовых лагерей. Сооружалась гигантская оборонительная система, состоявшая из нескольких линий. История еще не знала такого размаха землекопных работ: к западу от Москвы вся земля в радиусе 250 километров была изрыта противотанковыми рвами, утыкана дзотами, опутана колючей проволокой... Казалось, там сам черт ногу сломит, не то что фашистские танки!

«Если все наши рвы и окопы вытянуть в одну линию, то можно опоясать ими земной шар! - с гордостью заявил на митинге начальник укрепрайона. - Врагу никогда не прорвать нашу неприступную оборону!»

Сперва наш школьный стройотряд копал противотанковый ров возле станции Ярцево на железной дороге Москва - Смоленск. (Бои, говорят, шли уже в Смоленске!) Честно признаюсь, мой личный вклад в дело обороны Москвы не был особенно значительным. За все время я в общей сложности выкопал что-то около 9 кубометров грунта - при дневной норме 3 кубометра. Как обычно, мне не везло: с первого же взмаха я ткнул лопатой себе по ноге и вышел из строя на целый месяц. Потом я болел ангиной, а когда снова взялся за лопату, то из-за трудового энтузиазма стер себе в кровь ладони.

Когда мозоли зажили, в уже пострадавшую ногу попали маленькие осколки от фашистской бомбы, сброшенной с самолета. Причем попали только в меня - больше никто не пострадал. Школьники из нашего стройотряда откровенно завидовали мне: фронтовое ранение! Я уже мысленно представлял себе, какое внушительное впечатление произведу на девочек, если войду в свой 10 «А» класс, опираясь на палочку, как раненый фронтовик. Ранение казалось пустяковым, даже перевязку мне не сделали, только помазали йодом.

Вдруг поднялась стрельба и началась паника. Ничего нельзя было понять. Одни кричали, что фашисты прорвали наш фронт, другие - что фашисты сбросили десант парашютистов. С криками «Нас окружают!» окопный фронт побежал по направлению к Москве, побросав лопаты. Я побежал вместе со всеми, однако на второй день отступления нога у меня распухла и я почувствовал сильный жар. Если бы не Кабан, оголец с нашего двора, я бы, наверное, пропал. Он притащил меня в какой-то военный госпиталь, где мне собрались отпиливать ногу. Меня уже положили на операционный стол, но тут опять поднялась паника: «Немцы!» Врачи разбежались, а Кабан уволок меня в сарай к одной старухе, на мое счастье оказавшейся деревенской колдуньей. За мои ручные часы (подарок тети к шестнадцатилетию) и три рубля старуха исцелила заражение посредством толченого «чертова пальца», подорожника и воровбы. Мы с Кабаном решили вернуться домой в Москву, но на станции Вязьма случайно встретили остатки нашего отряда. Нас включили в «истребительный батальон», который во время паники тоже наполовину разбежался. Мы должны были охранять железную дорогу от фашистских парашютистов и диверсантов, но оружия у нас не было.

В начале осени я попал еще в одну панику и драпал почти 200 километров - от Вязьмы до самой Москвы. Вместе с нами бежали и красноармейцы, и командиры, причем никто не понимал, откуда вдруг взялись фашисты и как они прорвались через нашу непроходимую гигантскую оборону, которую сотни тысяч людей воздвигали все лето. (Мои мытарства на окопном фронте впоследствии были отмечены медалью «За оборону Москвы».)

- Кто виноват, что такая катастрофа? Может, в правительстве оказались враги народа? - недоумевали все.

В Москву я попал неожиданно. Наша команда, человек тридцать школьников и студентов, вышла в лесу к полустанку, где толпились молочницы с бидонами, ожидавшие пригородный поезд, - это оказалась ветка Белорусской железной дороги. Через два часа я был уже в самом центре столицы, на улице Горького, блестящей чистотой, как в мирное время. К нашей радости, никаких развалин и пожарищ в центре не оказалось, хотя фашистская авиация совершала регулярные налеты на Москву. Город выглядел, как в

праздники, - девушки были в нарядных платьях, на улицах все время слышалась музыка, доносившаяся из репродукторов.

Однако спустя две недели я попал в третью панику, едва не решившую исход Второй мировой войны.

МАРСИАНЕ... НА ШОССЕ ЭНТУЗИАСТОВ

15 октября тетя настояла на том, чтоб я привел в порядок нашу квартиру в Новых домах. Там никто не жил - соседка тетя Дуся эвакуировалась с детьми в свою деревню в Тульскую область и очутилась... на оккупированной территории, а сосед дядя Федя и папа записались в ополчение и находились на казарменном положении. Между тем на папину комнату зарился дворник Макаров, у которого было двенадцать душ детей... Тетя решила, что не мешало бы мне там появляться.

Все стекла в нашем 4-м корпусе вылетели от взорвавшейся поблизости фашистской бомбы, и вместо них в окна вставили фанеру. Битое стекло никто не удосужился убрать, и мне предстояло этим заняться...

Войдя в свою комнату, я по привычке сперва схватил первую попавшуюся книгу - это оказалась «Война миров» Герберта Уэллса. Конечно, в этот вечер ни о какой уборке речи уже не шло...

Ночью мне приснилось, что по шоссе Энтузиастов за мной гонятся марсиане в своих вращающихся вышках, - так на меня подействовала картина панического бегства лондонцев от инопланетных пришельцев. Но мне, разумеется, и в голову не пришло, что я сам вскоре стану очевидцем картины, которая превзойдет фантазию Уэллса...

16 октября в 11 часов утра, когда я уже дочитывал книгу, в квартире раздался телефонный звонок - звонил папа из своего «казарменного положения».

— Лева, слушай меня внимательно! - сказал он странным голосом.

- Возьми небольшой чемодан, рюкзак, портфель и сложи туда теплую одежду, белье и полотенца... Оденься как следует и приходи с вещами на шоссе... Будешь меня ждать у моста под часами. Я выхожу с Волхонки пешком. Трамваи не ходят...

— Что случилось?! - закричал я, похолодев от страшной догадки.

— Всем партийцам и советскому активу приказано покинуть город,

- ответил папа и повесил трубку.

У меня сердце упало: только что слышал сводку Совинформбюро, вроде все в порядке... Под Севастополем подразделение лейтенанта Воробьева взяло вражеского «языка», на Северо-Западном фронте отбиты все атаки, враг потерял много техники... По радио, как обычно, пел хор им. Пятницкого, но вдруг передача оборвалась и диктор объявил, что через несколько минут выступит кто-то из Моссовета.

...Теперь вернусь назад, чтоб рассказать о том, какой разговор произошел у моего папы (с его слов) перед тем, как он мне позвонил. Утром 16 октября папа находился в своем институте мирового хозяйства на Волхонке, 14. Вдруг его вызвал комиссар Коммунистического батальона доктор исторических наук В. Мирошевский, папин соратник по гражданской войне (батальон ополчения был сформирован по месту работы из сотрудников академии).

— Гриша, дело швах! Я сейчас из местного комитета, немецкие танки в двух-трех часах хода от города, а у нас войск нет для прикрытия! «Наверху» паника, в МК полный бардак! Москва брошена на произвол судьбы, - огорошил папу бледный как смерть Мирошевский.

— Не может быть! Где же фронт? Где резервы?! - ахнул папа.

— Фронт развалился, обороны нет, резервы, как нас обнадежили в МК, находятся в пути. Первые эшелоны с сибирскими дивизиями якобы к Рязани скоро подойдут...

— Но это вредительство! - закричал папа, бывший комбриг Красной Армии. - Немецкие танки могут сегодня ворваться в город, а дивизии потребуется еще два-три дня, чтоб развернуться... Надо всех людей бросать на баррикады!

— Гриша, всем коммунистам и советскому активу приказано покинуть Москву и уходить на Восток. Сам понимаешь, что это означает...

— Москву нельзя сдавать, это безумие! Япония нам ударит в спину, - прошептал папа, принимая валидол.

— Гриша, мы сейчас выступаем в неизвестном направлении, а на весь батальон пять винтовок и три нагана... Ты нам только обузой будешь с твоим здоровьем, сейчас же выбирайся из города! - сказал комиссар, и они навсегда расстались.

Доктор В. Мирошевский - специалист по истории Латинской Америки - погиб под Москвой от немецкого артогня. (Об этом разговоре мой папа, твердокаменный большевик, рассказал мне лишь спустя 20 лет, так он хранил доверенную ему военную тайну!)

...Теперь вернусь с Волхонки на шоссе Энтузиастов, в наши Новые дома, в квартиру № 121 в 4-м корпусе, где я лихорадочно выполнял папины инструкции, собираясь в дорогу и одновременно ожидая выступления по радио не то председателя Моссовета, не то какого-то его заместителя.

«Отец города» почему-то не выступил, как это было объявлено, а радио стало хрипеть и... вообще смолкло.

Наскоро собрав вещи и на всякий случай подпоясав по-военному пальто старым папиным ремнем с зажимной пряжкой, который он привез из Китая, я побежал в военкомат узнавать, что же происходит. Военные ведь должны быть в курсе дела.

Однако военкомат, находившийся в нашем доме, оказался закрытым. Валялись в беспорядке брошенные картонные папки, ветер носил по двору бумаги и золу от догоравших костров - все указывало на поспешную эвакуацию.

Я бросился со всех ног к Колдуну, моему дружку, жившему над нами. Когда я ворвался в его квартиру, мне в нос ударил запах пирогов с капустой. На кухне у них дым стоял коромыслом - пеклось, жарилось, шкварилось, словно на свадьбу. Колдун сказал, что сегодня у них большой сабантуй: во-первых, на работу больше не надо ходить - всех рассчитали и выдали деньги на три месяца вперед; во-вторых, с самого утра в магазинах продукты раздают без карточек, задаром, и, в-третьих, сосед дядя Коля аккуратно сегодня именинник... А тут и сам дядя Коля заявился, таща полный ящик поллитровок «Московской особой» - и выпивка обеспечена!

— На складе «Пищеторга» по два кило масла в одни руки дают! - возвестил он. - А на «Компрессоре» муку «выбросили»!

— Дядя Коля, правда, что наши уходят из Москвы? - спросил его я.

— Уходят ваши или приходят, а жрать-то все равно надо, - ответил дядя Коля.

Лично он никуда не собирался уходить, кроме магазина.

Колдун тоже побежал вместе с соседями - занимать очередь. Мы на ходу попрощались (в 1942 году он был призван в армию и пропал без вести на Волховском фронте).

...Взяв вещи, я пошел по Центральному проезду мимо громадной толпы у «Продмага» № 20 и булочной, в которых наша пролетарская окраина отоваривалась дармовыми харчами. Люди куда-то бежали с авоськами и сумками, откуда-то тащили ящики и мешки, в общем, шел продовольственный ажиотаж. Когда я вышел на шоссе Энтузиастов к условленному месту, часы показывали четверть первого. Папы еще не было, но, по моим расчетам, он вот-вот должен был подойти.

Не могу описать свои расстроенные чувства, с которыми взирал я на перспективу шоссе Энтузиастов, начинавшегося от Заставы Ильича, на Горбатый мост, нашу школу № 407 и военные склады напротив школы. Все происходившее на моих глазах казалось мне совершенно нереальным, как в каком-то дурном сне.

...Я стоял у шоссе, которое когда-то называлось Владимирским трактом.

По знаменитой «Владимирке» при царизме гоняли в Сибирь на каторгу революционеров - это мы проходили по истории. Теперь революционеры- большевики сами по нему бежали на восток - из Москвы. В потоке машин, несшемся от Заставы Ильича, я видел заграничные лимузины с кремлевскими сигнальными рожками: это удирало большое партийное начальство! По машинам я сразу определял, какое начальство драпает: самое высокое - в заграничных, пониже - в наших «эмках», более мелкое - в старых «газиках», самое мелкое - в автобусах, в машинах «скорой помощи», «Мясо», «Хлеб», «Московские котлеты», в «черных воронах», на грузовиках, в пожарных машинах...

А рядовые партийцы бежали пешком по тротуарам, обочинам и трамвайным путям, таща чемоданы, узлы, авоськи и увлекая личным примером из Москвы беспартийных большевиков и советский актив. Я тоже должен был влиться в ряды этих сосредоточенно спешащих людей, на лицах которых было написано: «Раз надо - значит, надо; приказ партии есть приказ!»

Однако папа не приходил, тогда как стрелки на часах, под которыми я стоял, показывали уже час дня. От центра до Новых домов можно было дойти самое большее за полтора часа, я начал волноваться... Между тем авангард бегущих из города, судя по всему, уже проследовал мимо меня. Если мерить военными мерками, то в общей сложности дивизии две различного начальства проехало. И повалил «второй эшелон» из пеших совслужащих - прямо по шоссе, вперемешку с машинами.

«Но куда же девался папа?» - с тревогой думал я. А папа, позвонив мне, в начале двенадцатого вышел из своего института, Держа путь через центр Москвы к Заставе Ильича. Когда он подошел к Охотному ряду, народ уже валил по улицам, как во время праздничной демонстрации (таша вместо лозунгов вещи и мелкий скарб или везя свое добро на детских колясках). Откуда-то все узнали, что дороги из Москвы перерезаны фашистами, кроме шоссе Энтузиастов. От площади Дзержинского до площади Ногина вместо десяти минут папа шел целый час - столько народу бежало. На площади скопилась колоссальная толпа; когда папу уже выносило оттуда, вдруг у здания ЦК один за другим раздались два взрыва. (Папа уверял, что перед взрывом слышал характерный свист снарядов тяжелой артиллерии - значит, стреляли с расстояния не свыше 25 километров.)

На площади началась форменная «ходынка», толпа в панике шарахнулась, давя упавших. Папу чуть не затоптали, он сильно ушиб ногу, а главное, потерял очки, без которых был как без глаз. В таком состоянии он из Москвы уже все равно не мог бежать. Выбравшись кое-как из толпы, он решил добраться на Елоховскую к тете, так как туда было идти в два раза ближе, чем до Новых домов.

На наше счастье, моя героическая тетя осталась в Москве, поскольку она была беспартийная и несознательная. К тому же она боялась бросить свою жилплощадь и пост ПВО на своей крыше, которую считала самым главным участком Великой Отечественной войны. В пятом часу вечера, когда уже стемнело, папа буквально на ощупь приковылял к ней. Тетя же думала, что мы уже уехали, поскольку ни в папином институте, ни у нас в квартире к телефону никто не подходил. (Удивительное дело: не было электричества, радио молчало, а АТС продолжала работать.)

...Но откуда я мог знать, что папа находится у тети? Я продолжал стоять под часами у моста при пересечении Казанской железной дороги с шоссе Энтузиастов, по которому, все нарастая и нарастая, катился поток беженцев. В нем уже все смешалось: люди, автомобили, телеги, танкетки, тракторы, коровы - целые стада из пригородных колхозов гнали! Грохот гусениц, крики, гудки, мычание и бляение скота - все слилось в сплошной гул. Я уже почти потерял всякую надежду, что папа придет, и не знал, как быть. Бежать вместе со всеми, пока не поздно? Плюнуть на все и вернуться домой или ждать еще? Я не мог понять, что случилось с папой.

В три часа дня на мосту произошел затор, и движение остановилось. Сразу образовалась толпа, которая стала разливаться, как вода перед запрудой. У моста началась страшная давка, и меня просто-напросто отнесло от часов.

Тогда я испугался: вдруг папа все-таки придет, а меня нету! Со страшным усилием я пробился обратно к часам и уцепился за их столб, но при этом посеял в толпе чемодан (или его у меня выдернули из рук?..). Чтоб меня больше не относило, я, взяв портфель в зубы (рюкзак у меня висел за спиной), вскарабкался на столб под самый циферблат, встав ногами на цокольную муфту на высоте человеческого роста. Так я повис над толпой, обхватив столб, а потом, вспомнив, что у меня на пальто ремень, пристегнулся им к столбу и освободил руки.

«Неужели и вправду Москву сдадут, как в 1812 году?» - ужаснулся я. До меня никак это не доходило, хотя на моих глазах происходило не что иное, как массовое бегство. Глядя на нашу школу у Горбатого моста, я вдруг вспомнил про свое сочинение на последних экзаменах, которое написал на «пять с минусом»: «Образ Кутузова и образ Наполеона в романе Л. Толстого «Война и мир». Разве мог бы я подумать, что через каких-нибудь четыре месяца мимо нашей школы побегут из Москвы сотни тысяч людей? Если бы кто-нибудь тогда сказал такое, так его арестовали бы как врага народа!

Но что же это получается: выходит, История вернулась в 1812 год? «А как же будет с коммунизмом?» - промелькнула у меня мысль. Увы, я находился не на заседании школьного исторического кружка, а висел на столбе над бушевавшей толпой, штурмовавшей узкий мост через Казанскую железную дорогу. Люди буквально по головам лезли через мост, где образовалась пробка, в то время как железную дорогу можно было перейти под мостом - в Новых домах все так ходили, несмотря на несчастные случаи. Напрасно я кричал об этом со своего столба, никто меня не слушал, все рвались только вперед, по головам...

Но главное - вместо того чтобы спихнуть с моста застрявшие грузовики и ликвидировать пробку, все первым делом бросались захватывать на них места. Шел форменный бой: те, кто сидел на грузовиках, отчаянно отбивались от нападавших, били их чемоданами прямо по головам... Атакующие лезли друг на друга, врывались в кузова и выбрасывали оттуда оборонявшихся, как мешки с картошкой. Но только захватчики успевали усесться, только машины пытались тронуться, как на них снова бросалась следующая волна... Несколько раз машины переходили из рук в руки, но напор толпы достиг такой силы, что грузовики перевернулись вместе с дерущимися и полетели с моста под откос...

В пять часов вечера я решил, что дальше ждать бесполезно и надо бежать вместе со всеми, пока не поздно. Было уже темно, страх охватывал меня все сильнее и сильнее. Я не видел, что творилось на шоссе, лишь слышал жуткий гул, который все нарастал.

Но когда я хотел отстегнуться от столба, чтобы слезть вниз, то не смог этого сделать: заржавевшая пряжка бульдожьей хваткой защемила зубьями ремень и никак не отщелкивалась! Я обломал себе ногти до крови, бился и рвался как сумасшедший, кричал, плакал, звал на помощь - все напрасно. Мимо меня бежали тысячи людей, давясь на узком мосту, но никто не влез на столб и не протянул мне нож, чтоб перерезать ремень... Все думали лишь о своем спасении, а до меня никому не было никакого дела - висишь, ну и виси себе... Может, моих криков о помощи даже не было слышно в общем гуле.

Ремень плотно прижимал мой живот к железному столбу, который книзу утолщался. Положение мое становилось отчаянным. Неужели так и висеть до утра? А если фашисты войдут в Москву?

При мысли об этом я с новой силой начинал звать на помощь, но в конце концов совершенно охрип и обессилел. Никогда в своей последующей жизни я не переживал столь ужасных часов, как вечером 16 октября 1941 года на шоссе Энтузиастов, вися на столбе над потоком бегущих из Москвы людей.

Наконец, выбившись из сил, я погрузился в какое-то полубморочное состояние и очнулся, когда яркая вспышка прорезала тьму: с территории военных складов со свистом взвилась сигнальная ракета и повисла над шоссе, осветив все мертвенно-зеленым светом. Я оцепенел. На какое-то мгновение передо мной как наяву предстала фантастическая картина из «Войны миров» Уэллса, которую я утром дочитывал...

«Галлюцинация началась, я сошел с ума!» - пронеслось в моем мозгу: напротив нашей школы стояли два марсианина!

Но тут же я понял, что это никакие не марсианские башни, а просто сторожевые вышки у ограды военных складов. Однако начавшаяся на шоссе паника передалась и мне.

«Что означает эта ракета?! Это фашисты или, может, взрывают склады, чтоб оружие и боеприпасы не достались врагу? - подумал я в отчаянии. - Если склады взорвут, тогда конец... все вокруг будет уничтожено!» Я вспомнил, как в сентябре под Вязьмой взорвались артиллерийские склады, - земля тряслась в радиусе десяти километров. Но если подходят фашисты, то должен быть бой, стрельба... Никаких зарниц и вспышек, как в Смоленской области, не видно, не было даже обычного налета фашистской авиации, не стреляли зенитки и не светили прожекторы... Люди на шоссе Энтузиастов уже мчались бегом, судя по гулу. Мне казалось в темноте, будто вся Москва побежала.

В отчаянии я подумал, что ракета была не иначе как сигналом к взрыву складов. Но теперь я не психовал, а стал трезво анализировать: почему же проклятая защелка заела? Подтянулся повыше к самым часам, где столб был потоньше и ремень так сильно не натягивался. На ощупь тихонечко нажал на защелку, и - о чудо! - она открылась! Но главное чудо произошло, едва я спустился со столба, - где-то рядом послышался крик: «Лева! Лева!» Без сомнения, это кричал папа! Я тоже стал кричать, и через минуту мы столкнулись нос к носу.

- Зайдем домой, надо поискать мои старые очки... Я не в состоянии идти, мне необходимо прилечь на несколько минут, - сказал папа.

Мы выбрались из потока бегущих, и я повел ослепшего и хромавшего папу домой. Сам я тоже еле плелся после многочасового висения на столбе. Мы вернулись домой ровно в двенадцать часов ночи. Так окончился исторический день 16 октября 1941 года, возможно, решивший судьбу человечества.

Каким же чудом папа оказался ночью под часами?

Оказывается, они с тетей каждые четверть часа звонили домой в надежде, что я туда вернусь, устав ждать папу. В восемь часов вечера тете неожиданно позвонил старый папин друг Кондрашов, работавший в военной газете «Красная звезда».

Он позвонил на всякий случай, не надеясь кого-либо застать. «Войну проср...ли, обстановка такая, что надо живому или мертвому скорее уходить!» - сказал он папе. (В конце войны он пропал без вести на фронте.)

И папа с тетей пустились в путь в кромешной тьме. Тетя служила ему поводырем, хотя сама видела, как курица. Они пошли к Новым домам через Лефортово и Старообрядческую и, конечно, заблудились. Где-то в районе кладбища их ограбили пьяные хулиганы - у тети сняли наручные часы, отняли сумку с провизией, которую она готовила нам в дорогу. У папы отобрали бумажник со всеми деньгами. Слава Богу, что не прирезали...

Проплутав по каким-то трупобам, они наконец вышли на Авиамоторную улицу и присоединились к людям, направлявшимся на шоссе Энтузиастов, но тут ухитрились друг друга потерять. Тетя отстала и, побоявшись идти одна, зашла к своей сослуживице, проживавшей поблизости. А папа держался в толпе, ни зги не видя. Его довели до шоссе Энтузиастов прямо к мосту, у которого я висел на столбе, но нас разделил поток беженцев. Как раз в тот момент взвилась злополучная ракета, вызвавшая невероятную панику. Папу затянуло в поток и перенесло через мост. Он оказался по другую сторону железной дороги за клубом завода «Компрессор». Вернуться назад у него была только одна возможность: круглым путем через Дангауэровскую слободу. До сих пор для меня остается загадкой: как он смог вслепую добраться, всего два раза упав и не поломав ног и рук? Подойди он к часам на минуту позже, мы бы разминулись, и кто знает, как сложилась бы моя судьба?

«АНАРХИЯ - МАТЬ ПОРЯДКА»

Второй исторический день - 17 октября 1941 года начался шумно. Ночью в квартире стоял грохот, как от стрельбы зениток, с потолка сыпалась штукатурка от топота дяди Коли и всех соседей Колдуна, отплясывавших под гармонь «камаринскую». За стеной в смежной квартире орал пьяный хор: «Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин и Ворошилов в бой нас поведет...» (Но думаю, что не за здоровье товарищей Сталина и Ворошилова там выпивали.) В квартире под нами тоже шла свистопляска... В общем, московская пролетарская окраина гуляла на полную катушку, в то время как по шоссе Энтузиастов в панике бежали из города советские энтузиасты.

Разумеется, нам с папой было не до веселья. Я никогда не видел его - одного из организаторов ленинского комсомола и бывшего комбрига Красной Армии - в таком плачевном состоянии.

— Все должно было быть не так!.. Теперь ударит Япония!.. - вскрикивал папа, хватаясь за голову.

Мы прилегли прямо в пальто, чтобы хотя бы чуть-чуть передохнуть. Я поставил будильник на час ночи, хотя ни о каком сне и речи не могло быть: попробуй усни при такой-то свистопляске! Но только я прилег - и как в яму провалился. Пережитое потрясение и страшная усталость сделали свое дело.

...Когда я проснулся, стояла полная тишина. Почуввав неладное, я вскочил и отодвинул светомаскировочную штору, завешивавшую окно, - через форточку ударил яркий солнечный свет...

— Папа, мы проспали! - в ужасе закричал я: будильник показывал двадцать минут десятого... Папа тоже спал как убитый.

— Взгляни скорей на улицу! - сказал он очнувшись.

Я встал на подоконник, так как, кроме форточки, все окно было закрыто фанерой, и с замиранием сердца посмотрел вниз. Во дворе никого не было (видимо, народ отсыпался после гулянки), из-за угла соседнего дома, как обычно, торчал хвост очереди, стоявшей у продмага № 20.

— Открой форточку и прислушайся как следует: не слышно ли стрельбы или грохота? - сказал папа.

Я открыл форточку и прислушался - стояла необычная тишина. Никаких выстрелов, никакого грохота танковых гусениц и даже обычного шума уличного движения не было слышно. Погода была изумительная, ярко светило солнце... Но как узнать, фашисты в Москве или нет? Вдруг Москва уже захвачена, пока мы спали? В этот момент позвонил телефон, и обстановка выяснилась. По тетиному голосу я сразу определил - Москва еще наша!

Тетя кричала, чтобы мы скорей шли к ней на Елоховскую. Оказывается, она нам утром сто раз звонила, но только один раз папа снял трубку и бросил ее - папа же, хоть убей, этого не помнил! Тетя кричала, что из папиного института нам ночью тоже звонили, но мы с папой проспали все на свете; институт эвакуировался с Казанского вокзала без нас, а по шоссе Энтузиастов ночью уже все убежали кто мог. Надо срочно узнавать, куда уехал институт, и догонять его...

Папа принялся звонить по всем телефонам: в свой институт, в президиум Академии наук, в райком, в Моссовет, даже в ЦК...

В институте оставался лишь один подвыпивший завхоз, который не был «в курсе», как он выразился, в президиуме телефон был все время занят, а в других местах вообще никто трубку не снимал. Ничего не узнав, мы опять собрали вещи и пошли к тете, жившей как раз неподалеку от вокзала. На шоссе Энтузиастов уже не бурлил многотысячный поток беженцев. Лишь отдельные группки плелись по нему, но не из Москвы,

а в Москву - видимо, не успев далеко убежать. Следы панического бегства были видны повсюду: у моста, где я ночью висел под часами, лежали перевернутые автомашины, обочины были усеяны растоптанными чемоданами и тряпьем, везде валялись обрывки газет...

...Более чем странное зрелище представляла собой Москва днем 17 октября 1941 года, когда мы с папой шли из Новых домов на Елоховскую. Солнце светило высоко, но не стояла милиция на перекрестках, не шагали по тротуарам комендантские патрули с красными повязками, проверявшие документы у прохожих, а пьяные валялись прямо посреди опустевших улиц.

...С добрым утром,, милый город.

Сердце Родины моей...

Кипучая, могучая, никем не победимая,

Москва моя, страна моя, ты - самая любимая! -

каждый день пели по радио.

Теперь Москву никак нельзя было назвать «кипучей», «сердце родины моей» замерло.

...От тети мне сразу же пришлось идти через центр и через весь город в Нескучный сад, где находился президиум Академии наук СССР. На обратном пути оттуда я прошел по Садовому кольцу от Серпуховской площади до Земляного вала. Потом я ходил на Казанский вокзал, потом стоял за мукой в Гавриковом переулке, в общем, весь день я был на ногах, колеся по опустевшей Москве.

Конечно, насчет папиного института я ничего не узнал - президиум Академии наук из Нескучного дворца ночью уехал в Куйбышев. Осталась какая-то секретарша, посоветовавшая туда написать, но как можно было написать, если почта не работала? К Казанскому вокзалу меня вообще не подпустили, он был оцеплен военными, но больше в городе я военных не видел. Никакие воинские части не передвигались по улицам, нигде не строились противотанковые заграждения, радио молчало, газеты не вышли, а население проявляло активность главным образом у продуктовых баз и магазинов, растаскивая остатки запасов продовольствия.

Однако день не прошел безрезультатно. Благодаря тете у нас появилась возможность уехать по железной дороге. Одной тетинной соседке приходился родственником или знакомым какой-то генерал, и ее по благу брала в свой эшелон солидная военная организация - Академия Генерального штаба им. Ворошилова. Собственно говоря, сам генерал ночью сбежал в Уфу вместе со всем личным составом академии, но должен был еще выехать второй эшелон с хозяйственной частью. И вот тетя, узнав об этом, тут же решила, что и папе надо уехать в Уфу.

Однако родственниками-генералами мы похвалиться не могли - дядя Семен Урицкий, папин двоюродный брат, начальник Разведупра Красной Армии, был арестован как враг народа, другой двоюродный брат, дядя Миша, тоже был арестован на Дальнем Востоке как японский шпион... И папины друзья, с которыми он кончал военную академию РККА, тоже почти все были репрессированы в 1937-1938 годах. С такой родней нас и близко к Академии Генштаба не подпустили бы, не говоря о том, что и сам папа был в опале. Тетя побежала в Академию Генерального штаба просить за своего больного брата, отставшего от института... И по распоряжению начальника академии нас взяли в эшелон из гуманных соображений наряду с генеральскими тещами, брошенными впопыхах в Москве во время ночного бегства, и с женами некоторых слушателей, в связи с войной направленных на фронт. (Точнее, начальник согласился взять одного папу, а тетя побоялась ему сказать, что нас двое... Но меня она об этом не сочла нужным предупредить. Из-за тетинной «военной хитрости» в академии меня обзвали придурком.)

...А в Москве после бегства органов советской власти, коммунистов и активистов наступила анархия. Поскольку радио молчало и газеты не выходили, сводки Совинформбюро о положении на фронтах не объявлялись, и никто просто-напросто не знал, что творится. К примеру, о том, что 16 октября наши оставили Одессу, я узнал только через несколько дней. А о том, где под Москвой в середине октября находились немцы, я узнал лишь спустя 15 лет, после XX съезда КПСС, - до этого точная боевая обстановка продолжала оставаться засекреченной...

Чем занимались покинутые родной партией, правительством и милицией москвичи 17 октября 1941 года? Опохмелялись после ночной гулянки, стояли в очередях и улучшали свои жилищные условия, переселяясь на освободившуюся жилплощадь. К примеру, дворник Макаров со своими двенадцатью душами детей сразу же захватил нашу квартиру и стал ее отапливать папиными книгами, будучи уверен, что мы убежали из Москвы.

До самого вечера я стоял в очереди за мукой в Гавриковом переулке и слышал все сообщения «Агентства ОБС» (Одна Баба Сказала), заменившего полностью советское Информбюро и ТАСС. Бабы говорили, будто товарищ Сталин «сбег неизвестно куда». (Правда, потом утверждалось, что вождь народов оставался на боевом посту до конца, но в таком случае он где-то затаился и своего присутствия ничем не обнаруживал.)

Должен подчеркнуть, что сообщения «Агентства ОБС» касались продовольственных вопросов, а не политики. Активность граждан была направлена на поддержание распорядка, заведенного в очередях (не зря, видимо, батька Махно утверждал, что анархия мать порядка). В очередях за дармовым продовольствием царил подлинное народовластие. Из стоявших в «хвостах» стихийно создавались временные органы самоуправления, которые били по мордам нарушителей, пытавшихся прорваться без очереди, и следили, чтобы каждый, чья очередь подошла, не брал больше нормы, установленной по общему согласию.

К примеру, в Гавриковом каждый мог брать в подвале мешок муки, но, когда моя очередь подошла, перед самым моим носом вдруг задние постановили: давать мешок муки на двоих - чтоб всем досталось! Я взял мешок на пару с какой-то старушкой, пришлось его тащить к ней домой и там делить...

Хотя не было никакой милиции, за три с лишним часа, что я провел в очереди, не вспыхнуло ни крупной драки, ни большого скандала - видимо, благодаря отсутствию наиболее активной части населения, успевшей убежать вчера из Москвы.

В общем, к тете я заявился весь в муке, как мельник, но с солидной добычей, которая ее зимой здорово поддержала.

Однако за пределы очередной народной самоуправление не распространилось, не создавались, скажем, комитеты, которые брали бы власть на местах, не организовалось Временное правительство из оппозиционных элементов - не до этого было, каждый думал только о том, как бы отовариться. Да откуда могли взяться элементы, способные захватить власть? Ведь все враги народа - троцкисты, зиновьевцы, бухаринцы, каменевы и прочие двурушники и агенты империалистических разведок были заблаговременно ликвидированы или отправлены в ГУЛАГ еще до войны!

Кстати, муку разбирали со склада кондитерской фабрики имени Парижской коммуны, а я о Парижской коммуне делал доклад на школьном историческом кружке, когда в 8-м классе учился. Я на ней, можно сказать, собаку съел - десятки книг прочитал и даже произведения классиков марксизма. Ведь семьдесят лет назад, во время франко-прусской войны, правительство тоже бежало из Парижа, когда к столице Франции подошли немцы. Но пролетариат не в очереди устремился, а на баррикады, и власть в Париже захватила Коммуна. Ясное дело почему: во Франции не было морально-политического единства, как в СССР, и народ восстал против правительства. Если бы, скажем, версальцы ликвидировали всех коммунаров заблаговременно, еще до франко-прусской войны, то никакой Коммуны в Париже не образовалось бы, так же как и в Москве 17 октября 1941 года. Просто не было бы власти, а парижские пролетарии стояли бы себе по очередям, как москвичи, не рассуждая о государственных делах. Мол, об этом «наверху» позаботятся те, кому следует, мы люди маленькие, а «сверху» оно виднее...

Учитель М. И. Хухалов твердил нам на уроках истории: если империалисты нападут на СССР, то пролетариат повернет оружие против собственных буржуазных правительств и установит в капиталистических странах советскую власть. Так учит марксизм-ленинизм. Но почему-то когда фашисты вероломно напали на СССР, ни в Англии, ни в Америке социалистические революции не вспыхнули. Даже французский пролетариат и тот не поднялся на баррикады, как во времена Парижской коммуны. Наоборот, буржуазные правительства поспешили на помощь СССР - вот тебе и пролетарский интернационализм.

А тут в очереди «Агентство ОБС» передало, будто в Германии революция началась и Гитлер «сбег неизвестно куда!!!». И я в это поверил, так как с самого начала войны ожидал восстания немецкого пролетариата в тылу врага. (Но когда радио заговорило, Совинформбюро, увы, это сообщение не подтвердило...)

17 октября 1941 года закончилось тем, что тетя извлекла чемодан, который ей удалось увезти из Дома правительства после ареста дяди Марка в Кремлевской больнице. Ввиду чрезвычайного положения и нашей с папой плохой экипировки тетя выделила нам из дядиного гардероба добротное заграничное обмундирование. Правда, для разъездов в теплушках и вокзальных ночевок оно мало подходило - это были смокинги и лакированная обувь, в которых дядя когда-то хаживал на дипломатические приемы. Но за неимением другого пришлось этим обходиться. Пока мы с папой добрались до его института - эта эпопея продолжалась полгода, - из-за своей одежды мы немало неприятностей натерпелись, так как нас принимали за иностранных шпионов.

«МОЙ МИЛЕНОК ВАСЕНЬКА...»

...Весь день 18 октября я просидел вместе с папой в коридоре академии, по которому сновали интенданты и бойцы комендантской роты. Только один раз мы выходили на улицу, когда сообщили, что на углу открылась парикмахерская после двухдневного перерыва. Часовой нас выпустил постричься и побриться.

Я из окна наблюдал, как улица постепенно оживлялась. Во-первых, появились военные. Несколько раз проезжали грузовики с красноармейцами в полном боевом снаряжении, озиравшимися по сторонам. Сразу бросалось в глаза, что они впервые в жизни в Москву попали.

А главное, вновь заговорило радио, и сразу настроение у всех повысилось. Сперва оно несколько раз принималось хрипеть и вдруг рявкнуло что есть мочи:

ММой миленокВасенька

Лучше всех_парней!

Нету парня ласковей, нету веселей!

Все интенданты бросились к репродуктору слушать сводку Совинформбюро, но ничего особенного не передавали. Только какие-то новые направления прибавились - «нарофоминское» и «волоколамское», а в Севастополе опять наши взяли «языка». После стали передавать военные марши и призывы к трудящимся города Москвы, которые, видимо, из-за паники не успели передать позавчера, 16 октября: «Все на защиту столицы! Грудью стоим родную Москву!» и т. д. и т. п.

«Да здравствует Коммунистическая партия - боевой авангард советского народа! - провозглашало радио. - Трудящиеся столицы, поможем фронту самоотверженным трудом! Теснее сплотимся вокруг партии, правительства и лично товарища Сталина, ведущего весь советский народ от победы к победе!»

Наконец, по радио объявили приказ о назначении генерала армии Жукова командующим обороной Москвы.

- Теперь дело пойдет, Жуков наведет порядок! - взбодрились интенданты.

...Мне уже совсем было расхотелось уезжать из Москвы - раз все опять налаживается. «Сердце Родины моей» вроде бы снова стало биться. Но в поисках туалета я забрел в какой-то закоулок коридора и услышал доносившийся из-за двери крик: «Противник в районе Тушино, когда же, черт возьми, будет подан эшелон?!» Кричал бригадный комиссар Калинин - какой-то родственник всенародного старосты, назначенный начальником эшелона.

«Фашисты в Тушино?!» - меня аж мороз по коже продрал. Я так перепугался, что даже папе не решился об этом сказать: ведь в Тушино, возле канала, жили наши родственники! Потом я решил, что ослышался, - не может быть, чтобы враг так близко к Москве подошел, на трамвае можно доехать...

Весь остаток дня 18 октября 1941 года прошел в томительном ожидании. Наконец дело сдвинулось с мертвой точки: это было видно по тому, как забегали интенданты. Генеральские тещи говорили в кулуарах, что якобы дают эшелон по личному приказу самого Жукова, назначенного командовать в Москве, что сегодня же мы уедем.

Но уезжали мы утром 20 октября с пригородного перрона Казанского вокзала. Интенданты беспокоились: фашистская авиация налетала на Рязань, железную дорогу бомбили...

Слава Богу, пронесло - опасный участок пути наш эшелон благополучно миновал. Мы ехали из столицы Родины Москвы, встречая по пути воинские эшелоны, спешащие на запад. Вечером 20 октября на одном из разъездов к нам подбежали бойцы со встречного эшелона и стали спрашивать: «Неужели правда, что фашисты приблизились к Москве на 250 километров? (Если бы так было!) Как же такое допустили?!»

Это были сибирские стрелки с Дальнего Востока, одетые в овчинные полушубки. Их дивизия стояла против японской Квантунской армии и теперь перебрасывалась против немецко-фашистской армии. Они даже не знали, что в действительности под Москвой стряслось, но кто тогда толком знал настоящую обстановку?

УФА, «ТАМАРАХАНУМ» И ГИПЕРБОЛОИД

Мои последующие фронтовые злоключения меркнут по сравнению с неудачами, постигшими меня в глубоком тылу.

Начались они с Уфы... Папиного института там, конечно, не оказалось, и никто не знал, где он. Президиум Академии наук сбежал в Куйбышев - туда же, куда и правительство. Но Куйбышев стал закрытым городом, туда пускали только по специальным пропускам. У нас же никаких пропусков не имелось...

Папа писал письма, но почта работала так плохо, что ответ можно было ждать целый год...

В общем, мы с папой попали в заколдованный круг, из которого не было выхода. Хоть в Москву возвращайся, но туда уже путь был закрыт. На наше счастье, в Уфу также сбежал Коминтерн, который имел особую связь с Куйбышевом. А папа когда-то там работал и даже лично знал самого Мануильского, члена ЦК. Пробраться к такой шишке оказалось непросто.

Папе очень помог дядин смокинг, знание английского и японского и опыт разведчика. Самое интересное, что Мануильский его сразу узнал и очень удивился: он думал, что Ларского-Поляка расстреляли еще в 1937 году!

Так или иначе, он пообещал папе узнать, куда уехал институт» и дал ему записку в «закрытую» коминтерновскую столовку. Если бы не эта записка, папа, вероятно, помер бы в Уфе с голоду: он ведь не работал и не получал продовольственных карточек...

Но сколько можно сидеть на чемоданах в ожидании ответа из Куйбышева? (Который пришел через три месяца, и еще месяц ушел на то, чтобы добиться разрешения на проезд в Ташкент, где оказался папин институт.)

...Под угрозой голодной смерти я временно устроился на Моторный, скрыв, что имею репрессированных родственников, и влился в ряды рабочего класса. Меня оформили учеником слесаря, однако из-за близорукости и рассеянности я оказался совершенно неспособным к такой работе, требующей определенной точности.

Тогда я был переведен чернорабочим в бензомойку - отмывать от масла детали, из которых собирали авиационные моторы М-35. На такую работенку посылали одних лодырей, а я очень стремился помочь фронту и работал за всю бригаду. Бригадир меня очень хвалил.

Из Германии прибыла новая бензомоечная машина (завод был оснащен новейшим немецким оборудованием, поставленным фашистской Германией. Задержавшиеся в пути машины продолжали поступать и во время войны), и я первый ее освоил. Бригадир пообещал, что если дальше так дело пойдет - моя фамилия появится на Доске почета!

Но в самый ответственный момент я, как всегда, заболел и, к своему несчастью, не успел попасть в стахановцы...

Я так ослабел, что не смог утром подняться с кровати. Врач сказал: это от переутомления и недоедания, надо полежать недельки две.

Еще бы! Смена-то продолжалась 24 часа (через день), во время работы отдыхать я себе не мог позволить - когда враг наступает на всех фронтах! - а ел я за смену один раз. Но я предпочел не лежать, а кое-как доплетаться до городской читальни, где было тепло и светло, и весь день блаженствовать, перечитывая Марка Твена, Конан Дойла, Фенимора Купера... В нашей каморке, которую папа снял, стоял собачий холод - папа рассчитывал, что к зиме мы с ним уже будем в знойном Ташкенте, и поэтому не обратил внимания на такую деталь, как отсутствие печки.

Удар, от которого я долго не мог оправиться, обрушился на меня в тот миг, когда я после болезни вернулся на работу.

.От города до завода было 18 километров, туда в 6 утра шел рабочий поезд. Народу набивалось как сельдей в бочке, даже на подножках висели. Если бы не теснота, многие просто замерзли бы особенно эвакуированные, которые были плохо одеты. Окна-то в вагонах были выбиты, а мороз доходил до 50 градусов!

... В то утро я совершенно околел, даже ног не чувствовал. Когда вошел в проходную, очки мои от тепла сразу запотели. Негнущимися руками я налил из титана кружку кипятка и залпом ее выпил - чтобы из сосульки превратиться в образцового бензомойщика.

... А когда очки отпотели, первое, что бросилось мне в глаза на доске объявлений, был приказ об отдаче Ларского Л. Г. под суд за опоздание - в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР об ответственности за нарушение трудовой дисциплины в военное время...

... Дело было так.

Однажды я подоспел к поезду чуть позже и не смог влезть в вагон. Остался висеть на подножке, откуда меня какие-то хулиганы - из наших же заводских - на ходу поезда спихнули... Я не угодил под колеса только потому, что это был последний вагон. Упал в снег. Пришлось до завода топтать километров десять по железнодорожной насыпи...

Конечно, я сразу рассказал бригадиру, почему опоздал, но бригадир меня успокоил: это, мол, не по моей вине, он сам переговорит с мастером и все уладит. Я и успокоился...

И тут оказалось, что пока я болел, бригадира взяли в армию, и с мастером он, видимо, не разговаривал. А главное - суд уже состоялся заочно, и меня автоматически приговорили к шести месяцам заключения (по месту работы) содержанием 25 процентов зарплаты. Причем приговор обжалованию не подлежал...

Я был так подавлен происшедшим, что от отчаяния в отделе кадров расплакался.

Мне говорили: «Сам виноват, надо было подать рапорт начальнику цеха!»

Меня утешали: «Скажи спасибо, что легко отделался!» А я с горя опять заболел - не смог даже ходить. Меня под руки отвели на заводской медпункт, где я пролежал два дня с высокой температурой.

... Когда я не вернулся после смены с завода, папа решил, что я замерз в рабочем поезде. Мы жили рядом с вокзалом, и мимо нашего дома каждый раз оттуда провозили замерзших, сложенных на санях, как дрова, и накрытых рогожами. Папа уже разыскивал меня в морге...

... Не буду описывать все наши злоключения в городе Уфе, за тысячи километров от фронта. Для меня это был самый страшный этап войны. Если бы не сердобольные хозяева, у которых мы снимали комнату, разрешавшие греться у их печки, я бы, наверно, той зимы не пережил... Злой рок преследовал нас и при отъезде из столицы советской Башкирии.

Во-первых, когда папа наконец получил вызов из своего института, уехавшего аж в Ташкент, из-за моей болезни ехать мы не смогли. А во-вторых, я продолжал числиться на заводе, куда посылал заявления об увольнении.

Однако на мои заявления следовали категорические отказы: во-первых, я осужден как уголовный преступник и до отбытия срока ни о каком моем увольнении не может быть и речи; а во-вторых, по законам военного времени увольнения вообще отменены и самовольный уход с предприятия приравнивается к дезертирству...

Никакие причины и никакие справки во внимание не принимались. Но папа не мог бросить меня в Уфе совершенно ослабшего, и оставаться со мной он тоже не мог - так как от коминтерновской столовки его в конце концов открепили, а на работу никуда не брали.

Попав в безвыходное положение, мы с папой при содействии наших квартирных хозяев, зять которых служил в отделении милиции, бежали темной ночью из Уфы! Я еле ходил, и хозяйка везла меня на санках вместе с нашими вещами. В моем паспорте не было печати об увольнении с завода - меня задержали бы при первой же проверке документов, а таких проверок в пути предстояло множество. Но хозяйский зять достал справку, что у меня украли паспорт. Он же обеспечил нам посадку в прямой поезд до Ташкента и даже лежащее место на третьей (багажной) полке. Папе пришлось устроиться прямо на полу - вагон был битком набит эвакуированными (не считая многомиллионных легионов вшей, ехавших без билетов и справок из милиции).

Эвакуируясь в Уфу, я не мог даже предположить, что нас с папой занесет в Ташкент. В тот самый пресловутый Ташкент, который и во время и после войны навяз у всех в зубах. С тех пор в народе прочно укоренилось мнение, будто все евреи скрывались во время войны в Ташкенте. Подобные разговорчики я слышал не раз и на передовой. В немецких листовках, которые я иной раз на фронте читал из чистого любопытства, без «жидов, окопавшихся в Ташкенте», никогда не обходилось.

... Я мог бы не признаваться, что побывал во время войны в Ташкенте: ведь иные читатели этого мне могут не простить. Но я глубоко убежден, что потомки придут к выводу: Ташкент в разгроме фашистского врага сыграл не меньшую роль, чем Сталинград! Не будь у нас такого глубокого тыла, война наверняка была бы проиграна.

Что же касается евреев, окопавшихся в глубоком тылу, то, по моим наблюдениям, это в основном были не евреи, а еврейки с детьми, мужа которых воевали в Красной Армии, а также старики и всякие больные. Конечно, среди работавших в тылу инженеров и других специалистов имелось много евреев - именно они-то и смогли организовать заново военную промышленность, без которой Советская армия не в состоянии была бы воевать.

К примеру, у дяди Марка был друг - еврей с русской фамилией Ванников, с которым они много лет вместе работали в оборонной промышленности. В начале тридцатых годов Ванников был директором Тульского оружейного завода, основанного еще Петром Первым, а дядя работал его заместителем. Одно лето мы с няней у него гостили, жили на даче под Тулой, в Ревякино, где обычно отдыхало заводское начальство. Там очень много евреев работало, начальником одного из цехов был брат Кагановича, главным инженером тоже был еврей...

В Москве Ванников жил неподалеку от Дома правительства, в маленькой тесной квартирке в старых домах (хотя он был очень «ответственным» работником). Я там бывал с дядей: у Ванникова был сын моего возраста, с которым я «водился».

Перед войной Ванников тоже был арестован, но ему повезло. В начале войны Сталин приказал освободить его из лагеря, и этот эск-еврей был назначен наркомом, ответственным за производство боеприпасов для Красной Армии - патронов, снарядов, бомб, мин и т. п. Всю войну Ванников руководил этой промышленностью и блестяще со своей работой справился - после войны Сталин поставил его во главе атомной промышленности.

Производство танков тоже организовал министр-еврей, которому Сталин дал чрезвычайные полномочия, и тот создал в тылу свою «танковую империю», выпускавшую знаменитые «тридцатьчетверки». А сколько евреев было среди конструкторов советского вооружения, среди директоров и главных инженеров военных заводов!

Друг моего папы Марк Власов в войну возглавлял крупнейший комбинат по производству цветных металлов в Средней Азии.

Он приглашал меня приехать из Ташкента к ним в Хайдаркан и обещал устроить на очень интересную работу. Если бы я его послушал, то, наверно, принес бы намного больше пользы во время войны.

Разумеется, в эвакуации я всей душой рвался на фронт, это была главная моя мечта. Но, увы, такое уж у меня счастье: чем сильнее я стремился на фронт, тем больше от него удалялся...

Лежа на багажной полке, я коротал время, мечтая о ратных подвигах, а поезд уносил меня за тысячи километров от боев в самый глубокий тыл.

Однако уже шел 1942 год, и я надеялся, что как только приеду в «хлебный город Ташкент», то быстро поправлюсь, и когда мне исполнится восемнадцать лет, буду призван в Красную Армию.

После разгрома фашистов под Москвой я опасался лишь одного: что Красная Армия окончательно разгромит врага до моего призыва и мне не достанется повоевать. Я не мог себе простить злополучный отъезд из Москвы, который считал причиной обрушившихся на меня бед.

В Ташкент мы прибыли истерзанные легионами вшей, против которых все средства были бессильны, и умирающими с голода. Папа рассчитывал в дороге кое-какие вещи поменять на продукты, но из-за кражи чемодана в Сталинграде мы этой последней возможности лишились.

Когда меня доставили в общежитие папиного института, показавшееся мне роскошным дворцом, то поначалу приняли за «блокадника», доставленного из осажденного фашистами Ленинграда, - настолько я был истощен.

В Ташкенте мы жили в «Тамарахануме» - так именовалась балетная школа имени народной артистки Узбекской ССР Тамары Ханум, превращенная в общежитие для научных работников, эвакуированных из Москвы и Ленинграда.

...Культурная жизнь в «Тамарахануме» не затухала и в грозный для страны момент. То выступал молодой композитор Тихон Хренников, написавший музыку к сонетам Шекспира, то известный пианист Эмиль Гилельс, то знаменитый актер Михоэлс...

Однажды было объявлено, что сам Алексей Толстой согласился выступить на очередном вечере.

...Впечатляющим было его появление в зале: среди тощих дистрофиков- тамараханумцев, доходивших на жиденькой баланде, он выглядел каким- то инопланетным пришельцем. Огромный, краснорожий, с тройным подбородком и необъятным задом, он стал читать отрывки из своей новой драмы «Иван Грозный», распространяя вокруг себя запах марочного коньяка и дорогого табака.

А как он читал! Думаю, что Алексей Толстой изображал царя Ивана не хуже артиста Черкасова, игравшего эту роль в фильме Эйзенштейна «Иван Грозный», поставленном по драме Толстого...

Не буду скрывать того, что в эвакуации находился вместе с людьми, впоследствии сыгравшими видную роль в социалистическом лагере и международном коммунизме. Конечно, я не мог знать, что, скажем, лысый молодой человек, за которым всегда неотступно следовала его мамочка, станет министром в правительстве ГДР, а Фишер из Института мировой литературы (впоследствии «презренный ревизионист») возглавит австрийскую компартию... В нашу комнату (палату № 6), где мы с папой обитали вместе с двумя десятками сотрудников его института, частенько навещали доктор Васил Коларов и Стелла Благоева - будущие руководители социалистической Болгарии. Они навещали своего больного товарища. Я имел честь спать (как «иждивенцу» мне койки не полагалось, а только тюфяк) почти под кроватью будущего деятеля ВНР Эрне Гере и его супруги, к которым заходил друг - немец по фамилии Ульбрихт.

Имелись и другие деятели ликвидированного товарищем Сталиным Коминтерна, случайно уцелевшие в период нарушения ленинских норм. Потом их из Ташкента перебросили в Восточную Европу, в наши «трофейные» государства. И бывшие обитатели балетной школы - тамараханумцы заплясали под советскую дудку.

Я честно признаюсь, что лично у меня особых заслуг в глубоком тылу не было. Числился я там в категории «иждивенцев» и получал самую маленькую хлебную карточку. В общем, похвалиться мне вроде бы нечем.

Но спустя три месяца я настолько оправился, что начал ухаживать за девицей, работавшей на почтамте. Однако не девушки занимали мои мечты - я с нетерпением ждал повестки из военкомата. Даже ходил туда и спрашивал: почему меня не призывают, не забыли ли обо мне? Я только и мечтал о фронте, ожидая призыва в армию. Я считал себя обстрелянным человеком, несмотря на то что и винтовки в руках не держал.

Честно говоря, я и войны-то не видел, хотя побывал во многих передрягах, мотаясь от Смоленска до Москвы. Но теперь другое дело - в армии я попаду на настоящую войну...

И тогда на фронте я совершу какой-нибудь подвиг, а если потребуется, отдам свою жизнь за Родину и лично за товарища Сталина. Если я погибну, то на моей груди обнаружат письмо с адресом: «Москва, Кремль, товарищу Сталину», в котором я сообщу товарищу Сталину о страшной ошибке, допущенной НКВД в отношении дяди Марка.

Я не сомневался: как только мое окровавленное письмо доставят товарищу Сталину, он сразу же вызовет кого следует и прикажет удовлетворить мою просьбу.

- У такого героя, - скажет товарищ Сталин, - родственники не могут иметь никакого отношения к предателям Родины и троцкистским двурушникам.

Если же я стану героем, но не погибну - еще лучше. Я лично обращусь к товарищу Сталину.

Правда, план этот рухнул по вине моей тети: если бы я ее не послушался и пошел в батальон к дяде Феде, нашему соседу по квартире, я бы попал на фронт еще в 1941 году. (У меня и мысли не возникало, что меня могут в армию не призвать.)

Но меня постиг еще один удар: для военной службы меня признали непригодным из-за плохого зрения. Мне выдали «белый билет», каковым мои мечты были перечеркнуты...

Когда я оправился от этого страшного удара, у меня созрел другой план: стать ученым и изобрести гиперболоид, подобный описанному в книжке Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина». При помощи моего «луча смерти» Красная Армия сокрушит любого врага. Но для этого надо сначала окончить институт.

Решив, что все мои несчастья происходят из-за того, что я бежал из Москвы, я нанялся в вагон-ресторан «кухонным мужиком» (по большому благу через папиных одесситов-подпольщиков), чтобы в этом вагоне вернуться в Москву к тете. Ведь тетя сказала, что, как только мыс папой разыщем его институт, я могу приехать к ней в Москву и поступать как мне угодно, хотя считала, что с моим слабым здоровьем мне на фронт идти нельзя. Сразу же простужусь и заболею, не говоря уж о моей близорукости.

Но в Москве спустя три дня после того, как я предъявил «белый билет» для оформления прописки, мне пришла повестка о призыве в ряды Красной Армии!..

Судьба снова предоставила мне шанс, который я не захотел упустить. Тетя готова была бежать в военкомат, устроить там скандал, чтобы выяснить недоразумение и не дать отправить на Фронт племянника с очками -7,5 диоптрии, но на этот раз я оказался мужчиной и не позволил ей над собой командовать...

Перед угрозой фронта тетя настаивала на гиперболоиде, я же заявил, что гиперболоид от меня не убежит, и ратные мечты вспыхнули в моей груди с новой силой.

МАНЬЯК ГИТЛЕР И ЧУТЬЕ ТОВАРИЩА СТАЛИНА

В военном лексиконе всякие длинные наименования обычно заменяются сокращенными словами.

Например, в свое время заместитель народного комиссара по военно-морским делам для краткости назывался «замкомпомордел». Слово «придурок» - это тоже аббревиатура, оно расшифровывалось так: пристроившийся дуриком к командному составу.

Среди комсостава этим емким словом стали называть всяких выскочек и выдвиненцев на высокие командные должности, которых в предвоенные годы после сталинских чисток в Красной Армии расплодилось особенно много. Это время в учебниках по истории называется «периодом нарушения ленинских норм». Тогда наиболее квалифицированный и способный командный состав Красной Армии, имевший боевой опыт и прошедший через академии, был передислоцирован из военных лагерей и штабов в спецлагерь НКВД и там ликвидирован за редким исключением. Таким исключением, на его счастье, оказался разжалованный полковник Рокоссовский, который, говорят, имел стеклянный глаз вместо настоящего, выбитого ему в период нарушения ленинских норм в спецлагере. Этот тщательно скрываемый им недостаток (как истинный военный, Рокоссовский, говорят, был большим сердцем и одерживал успехи не только на поле боя) не помешал ему быстро продвигаться на войне от полковника до маршала и стать одним из самых прославленных полководцев Второй мировой войны.

У папы было много друзей и знакомых из высшего комсостава, с которыми он когда-то учился в Военной академии. Вероятно, они были не менее компетентными в военном деле, чем Рокоссовский, и не менее успешно могли бы противостоять кадровым генералам вермахта. Они не стали маршалами по причине все тех же нарушений ленинских норм.

Нашими соседями по дому оказались старые друзья нашей семьи, комбриг Николук и его жена, комбриг Минская, вероятно единственная в истории женщина-генерал, «бой-баба», как называла ее няня. Как и Рокоссовский, они были поляки. Мы очень дружили с семьей комбригов. Их дети Ленка и Фелка были на несколько лет младше меня. В 1937 году супруги-комбриги были переведены в Харьковский военный округ и там арестованы, а Ленка и Фелка попали в детдом.

Из папиных друзей-военных я так же близко знал дядю Павла, папиного друга еще со времен гражданской войны. Он носил два «ромба», жил на Чистых прудах в военном доме, который потом стал называться генеральским. С его сыном Шуркой я дружил. Дядя Павел не раз бывал за границей, с маршалом Тухачевским он был связан личной дружбой, за что и поплатился. Его обвинили в утрате бдительности. Дядя Павел уцелел, после реабилитации он даже получил генеральский чин, но служить не стал. Во время войны он был сослан в Красноярский край, все его просьбы об отправке в действующую армию даже в качестве рядового были отклонены. Кстати, его бывший адъютант, случайно избежавший ареста, на фронте стал генерал-лейтенантом.

Ответственный пост в Красной Армии занимал наш родственник, Урицкий, живший с дядей Марком и моей бабушкой по соседству в доме правительства. Когда я его видел в последний раз, он носил три

«ромба» и был начальником Главного разведывательного управления. В 1938 году его расстреляли. Не могу себе представить, чтобы такой живой, энергичный и волевой человек, каким был комкор Урицкий, располагая данными о назначенном на 22 июня нападении немцев, мог бы спокойно ждать развития событий, не смея противоречить товарищу Сталину, Убежденному в благородстве своего верного союзника Гитлера.

Говорят, у товарища Сталина было чутье на врагов народа - не знаю верно ли это, но из всех папиных друзей-приятелей по Войной академии не был арестован лишь один А. Власов. Когда перед военной для высшего комсостава были введены генеральские звания, он оказался в числе первых советских генералов. В числе первых он и изменил товарищу Сталину. Это свидетельствует о том, что и товарищ Сталин иногда ошибался в людях.

Папа в свое время рассказывал, что в академии Власов очень хромал по политическим дисциплинам и обычно «сдирал» у него конспекты по марксизму и политэкономии. Слово «эмпириокритицизм» он никак не мог выговорить. Его политическая отсталость, по-видимому, все-таки дала о себе знать впоследствии. Как известно, Власов, будучи способным военным, в политике действительно оказался полным придурком.

Втайне я мечтал стать военным, поэтому жадно прислушивался к разговорам взрослых на военные темы, приставая к ним со всякими дурацкими вопросами... А спустя каких-нибудь пять-шесть лет я столкнулся на фронте с генералами «новой» формации. Когда я мысленно сравнивал этих людей с теми блестящими военными, память о которых была у меня еще свежа, то они и вправду казались мне не настоящими генералами, а какими-то серыми, убогими придурками, случайно надевшими генеральскую форму.

Разумеется, мне, рядовому солдату, не пристало судить об их полководческих талантах, зато на этот счет я слышал немало убийственных отзывов штабных офицеров.

У меня же был один критерий, по которому я судил о военных. Все папины друзья-военные, арестованные в 1937-1938 годах, были заядлыми шахматистами. Один из них утверждал, что военный, который не играет в шахматы, - это ноль без палочки. Мальчишкой в 12-13 лет я играл в шахматы уже на приличном уровне и, бывало, побеждал некоторых военных специалистов в шахматных баталиях.

Представить себе генерала, даже не имеющего понятия о шахматной игре или, в лучшем случае, играющего на уровне слабого третьеразрядника, я не мог. Это в моей голове не укладывалось.

Обычно все штабные оперативники в шахматы играли. Начальник оперативного отдела штаба 3-го горнострелкового корпуса полковник Кузнецов был довольно сильным шахматистом. Неплохо играл и начальник оперативного отдела штаба 128-й гвардейской горнострелковой дивизии подполковник Иванов, мой хороший приятель, несмотря на нашу разницу в возрасте и чинах.

И подполковник Иванов, и полковник Кузнецов были прекрасными специалистами своего дела, но почему-то карьеры не сделали. А они могли бы стать, на мой взгляд, настоящими генералами. На их долю выпала участь штабных ишаков, вывозивших на своих горбах самую тяжелую и неблагодарную работу, а почести и награды доставались вышестоящему начальству, которое их цепко при себе держало и не было заинтересовано в продвижении по службе столь ценных работников.

Конечно, среди генерал-придурков попадались и дельные мужики, которые в ходе войны, учась на своих ошибках, превратились в прославленных военачальников. Но сколько миллионов советских солдат они угробили зря, обучаясь «сталинской науке побеждать»?!

Готовясь к войне, Гитлер в отношении своего генералитета «ленинских норм» не нарушал. Он украл у товарища Сталина его мудрый лозунг «Кадры решают все!» и офицерский корпус германского Вермахта не уничтожил. В результате этого хитрого маневра он получил большой перевес на первом этапе войны. Товарищ Сталин жестоко отомстил Гитлеру за плагиат, он предпринял ответный маневр: бросил на чашу весов столько десятков миллионов жизней советских людей, сколько потребовалось, чтобы эта чаша склонилась в нашу пользу.

Жалкий маньяк Гитлер с его больной фантазией оказался неспособен на ответ, потому и кончил плохо - отравился крысиным ядом в своем логове под развалинами имперской канцелярии в Берлине.

Однако спустимся с небес и вернемся к нашим придуркам. Этот термин употреблялся не только для обозначения определенной категории лиц командно-начальствующего состава. Придурками также именовали некоторых солдат и сержантов, пристраивавшихся в тылу и считавших дурачками тех, кто погибал на передовой. Народ это был хваткий, прагматически настроенный, но, как говорят, в семье не без урода.

Глава III. ГОРЬКОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ ПРИДУРОК-ИДЕАЛИСТ

Как только я был мобилизован в армию, нашу команду из военкомата препроводили на пересыльный пункт, помещавшийся в школьном здании на Переведеновке.

В школьном вестибюле толпилась самая разношерстная публика. Были такие, как я, в гражданской одежде, с узлами, рюкзаками, чемоданами и даже домашними авоськами. Были солдаты с вещмешками, видимо, выписанные из госпиталей. В толпе шныряли какие-то темные личности в грязных ватниках, своим видом никакого доверия не внушавшие. Были и деревенские, сидевшие, как клуши, на своих громадных «сидорах», да еще державшиеся за них обеими руками.

Сопровождающий сразу же предупредил: «За вещами глядеть в оба - на пересылке много блатарей из заключения!»

В толпе я заметил высокого мужчину средних лет, очень выделявшегося своей интеллигентной внешностью, который, в свою очередь, обратил внимание и на меня. Мы оба были в очках. Я бы не решился подойти к нему первым, хотя сразу почуял в нем единственную родственную душу среди всего этого сброда. Высокий джентльмен подошел ко мне сам.

— Чекризов, Всеволод Иванович, - представился он.

Я назвал себя.

— Лева, держитесь вместе со мной, со мной не пропадете, - сказал мне Всеволод Иванович таким тоном, будто нянчил меня с пеленок.

Я был весьма изумлен, увидев в его авоське складные удочки, мормышки, черпачки, сачки и другие принадлежности для рыболовства, включая баночки с наживкой. В моем же рюкзаке при ходьбе гремели и перекатывались внутри доски шахматные фигуры, которые я взял с собой в армию. (Но шахматы - это все-таки не удочки.) Не только я, вся толпа глядела на эти удочки с таким ошалелым изумлением, что никто даже не решился спросить Всеволода Ивановича, зачем он их взял.

Не успели мы с ним перебраться несколькими словами, как раздалась команда: «Строиться!»

Держаться вместе с моим странным компаньоном мне не удалось. Нас сразу же разлучили из-за его высокого роста. Он оказался в строю правофланговым, а я где-то в середине.

Я представлял себе, что первым делом будут выяснять, кто служил в армии, кто бывал на фронте, имел ранения, кто пулеметчик, танкист или санитар.

К моему разочарованию, старшина почему-то не стал вызывать обстрелянных людей.

— Парикмахеры... два шага вперед! - скомандовал он. Несколько человек вышли из строя.

— Отойти в сторону! - скомандовал старшина. И парикмахеры отошли в сторонку и стали закуривать.

За парикмахерами последовали сапожники, плотники, повара...

После поваров были вызваны печники, истопники и стекольщики, затем старшина скомандовал: «Художники, два шага вперед!»

И вот я увидел, что мой новый знакомый с удочками и мормышками отмахал два саженных шага, причем сделал и мне знак последовать за ним. Я не был художником и считал себя не вправе выйти из строя. Тогда Всеволод Иванович сказал старшине, указывая на меня: «Мы с ним оба художники».

— Раз художник, чего стоишь? Оглох, что ли? - зарычал старшина. - Два шага вперед!

Видя мое замешательство, Всеволод Иванович сделал несколько шагов в мою сторону и, довольно бесцеремонно дотянувшись своей длинной рукой до моего плеча, вытолкнул меня из строя.

— Он со странностями, не обращайтесь внимания, - сказал Всеволод Иванович старшине.

Когда он меня дернул, шахматы в моем рюкзаке загремели

— Что это там у тебя гремит? - удивился старшина.

— Фигуры... - объяснил я.

Старшина смерил меня удивленным взглядом.

— Фигура? А яйца у тебя тоже гремят?!

После этого мы присоединились к парикмахерам, сапожникам и истопникам под громкий хохот всего строя.

— Лева, вы ведете себя несолидно. Мы договорились, что будем держаться вместе, - укоризненно сказал Всеволод Иванович.

— А если узнают, что я не художник? В каком я окажусь положении? - спросил я.

— Вы действительно ребенок, Лева. Ответственность беру на себя я, пусть вас угрызения совести не терзают. Вы помните, как Остап Бендер работал на пароходе художником?

Я, конечно, помнил, как великий комбинатор Воробьяниновым выдавали себя за живописцев и изобразили такой транспарант, что едва унесли ноги с парохода. Мне такая перспектива явно не улыбалась.

И тут раздалась команда: «Придурки, выходи строиться!»

Парикмахеры, сапожники, жестянщики, портные, повара встали на то место, где только что стоял строй, который куда-то увели.

— Художники, а вас это не касается? - крикнул старшина. - Эй ты, фигура с яйцами...

Всеволод Иванович, не закончив рассказа, миглом пристроился к парикмахерам и жестянщикам, а вслед за ним и я.

Тогда я и представить себе не мог, какую роковую роль в моей жизни сыграют милейший Всеволод Иванович Чекрызов и «воинский чин», к которому он меня приобщил. Ведь именно благодаря незабвенному Всеволоду Ивановичу я избрал себе профессию и стал на скользкий путь художника советской книги.

Демобилизовавшись после войны и будучи принятым в Московский энергетический институт, я его разыскал через адресное бюро. Всеволод Иванович проживал на Метростроевской, рядом со станцией метро «Дворец Советов», и пришел в неописуемый восторг, когда я к нему явился в солдатской гимнастерке, увешанный семью медалями.

Узнав, однако, что я собираюсь стать физиком и уже зачислен на электрофизический факультет МЭИ, он в ужасе закричал: «Лева, вы губите свой талант! Вы должны поступать в художественный институт, это говорю вам я!» На его письменном столе стоял большой портрет Ильи Ильфа с собственноручной надписью писателя: «Моему любимому Севе: что посеешь, то и пожнешь».

Мог ли я не посчитаться с мнением человека, которого так любил сам Илья Ильф, столь почитаемый мной!

Я плюнул на МЭИ и решил перейти в Московский полиграфический институт на художественно-оформительский факультет.

...В распределенке Всеволод Иванович развил бурную деятельность: он доставал краски и материалы, необходимые для оформительской работы, денно и ночно был в бегах и хлопотах. Под мастерскую нам отвели химический кабинет. Спали мы с ним на столах, служивших прежде для школьных опытов. Когда он стал меня учить тайнам художественного мастерства, то неожиданно обнаружилось, что я рисую намного лучше своего учителя.

- Лева, вы талант! - заявил он. - Когда вы станете знаменитым художником, не позабудьте сказать, что это я открыл вас.

Наше безбедное существование на пересылке вначале омрачалось недовольством начальства, которое никаких результатов наших трудов не видело.

Но Всеволод Иванович это предубеждение без особого труда развеял и, по его словам, с начальством установил неплохие отношения. А с замполитом он якобы даже договорился вместе поехать на рыбалку.

В школе я по рисованию не очень успевал и эти уроки не любил. Зато на других уроках всячески изгалялся, рисуя карикатуры на учителей. Особенно мне удавался наш директор школы Михаил Петрович Хухалов, кавказский человек, являвшийся на уроки истории в черкеске с газырями и с громадным кинжалом на поясе. Михаила Петровича я рисовал во всевозможных ракурсах, даже верхом на свинье в одежде Юлия Цезаря, по имени которого его прозвали. Он преподавал историю, а Юлием Цезарем его звали за то, что когда он излагал историю убийства этого тирана, то для иллюстрации материала выхватывал из ножен кинжал и кричал: «Юлия Цезаря убили кинжалом!» Его любимой фразой была: «Историю делают не всякие там людовики-мудовики. Историю делают трудящие и служащие, - сказал товарищ Сталин». И вот, вспомнив на Переведеновке свое недавнее школьное развлечение, я решился нарисовать сатирический плакат и повесить его в вестибюле, чтобы все видели, что не только парикмахеры, но и художники в поте лица трудятся.

На большом листе бумаги, который откуда-то раздобыл Всеволод Иванович, горячо поддержавший мою идею, я изобразил Гитлера верхом на свинье. Когда я изображал в таком виде Хухалова, все приходили в дикий восторг, так как знали ненависть нашего директора к этим неблагогодным животным. Стоило свинье из соседних барачков зайти на школьный двор, как Михаил Петрович, рыча, словно тигр, срывался с урока и несся во двор, чтобы покарать нарушительницу школьной границы.

Гитлеру я тоже пририсовал хвост и вдобавок рога и сделал подпись: «Не так страшен черт, как его малюют, - сказал товарищ Сталин».

Товарищ Сталин действительно сказал в какой-то своей речи такие слова про негодяя Гитлера, потерявшего человеческий облик, и они все время цитировались в газетах.

Но вечно ходивший «под мухой» замполит нашей пересылки газет не читал, это и сыграло роковую роль в оценке моей художественной идеи.

В восторге от открытого у меня таланта Всеволод Иванович, как драгоценную ношу, понес мое произведение замполиту, но вернулся от него белый, как бумага.

- Лева, - еле выговорил он дрожащими губами, - вас приказали немедленно отправить в маршевую роту. Зачем вы приписали туда товарища Сталина? Вы не можете себе представить, что я сейчас пережил... Если бы я не сказал этому идиоту, что подарю ему свой фотоаппарат взамен вашего плаката, мы бы вместе загремели под трибунал.

В доказательство он представил мне клочки бумаги, оставшиеся от плаката. На всякий случай мы стали рвать эти клочки на еще более мелкие кусочки, чтобы нигде и никогда не осталось вещественных доказательств.

Всеволод Иванович был расстроен неблагоприятным для меня поворотом событий значительно больше меня. Он чувствовал себя передо мной виноватым и, когда я уходил с пересылки, даже пытался всучить мне свои удочки и мормышки, стремясь заглядеть свою вину, но это богатство мне было ни к чему.

- Лева, - сказал он на прощание, - куда бы вы ни попали, обязательно скажите, что вы художник. И если будут спрашивать парикмахера или художника, смело выходите из строя.

С Переведеновки до Казанского вокзала, откуда я уже однажды отправлялся из Москвы в глубокий тыл, а теперь надеялся отправиться на фронт, наша маршевая команда топала пешком. Всеволод Иванович долго провожал меня, неоднократно повторяя свое напутствие. Но я решил не следовать совету Всеволода Ивановича.

Наша маршевая команда поехала не на фронт, а в тыл, еще более удаленный от фронта, чем Москва, - в город Горький, бывший Нижний Новгород.

Нас привезли в 193-й запасной стрелковый полк резерва Главного командования, из которого уже посылали на фронт маршевое пополнение.

Но это еще полбеда. В запасном долго не держали. Беда произошла, когда меня из-за моих очков послали на комиссию. Правда, на комиссии я симулировал, притворялся, будто вижу лучше, чем на самом деле, но полностью обмануть врачей мне не удалось. Мне дали нестроевую статью, написав, что в военное время я «ограниченно годен с коррекцией», то есть в очках, и могу быть использован только в тылу.

В результате получилось ни то ни се: ни фронта, ни гиперболоида... Если бы я знал, что так случится, я бы, наверное, послушал тетю и выбрал гиперболоид, а не Марьину Роцу под городом Горьким, где мне предстояло бесцельно околачиваться до конца войны в качестве придурка при клубе 3-го запасного батальона.

После истории со злополучным плакатом я поклялся никогда жизни не брать в руки кисть, но и с бухты-барахты назваться парикмахером у меня не хватило смелости. С другой стороны, ординарцы со своими данными я явно не годился. Бравый солдат Швейк был не по моей части. Вот и получилось, что не оказалось у меня другого выхода, как последовать наказу незабвенного Всеволода Ивановича, последними словами которого были: «Лева, если будут вызывать художников, выходите из строя».

Диплома об окончании Академии художеств предъявлять не требовалось, а мой новый начальник, замполит 3-го запасного батальона старший лейтенант Дубин, в изобразительном искусстве, по его чистосердечному признанию, «ни х... не петрил» (до армии он был колхозным бригадиром).

И все же, когда меня определили в бригаду художников при батальонном клубе, я ужасно испугался, что буду разоблачен. Но в этой «артели богомазов», как ее называл замполит Дубин, и был лишь один настоящий художник. Однако и он обычно отсутствовал писал портреты полкового начальства. Все прочие были талантливыми самородками. Один, например, Хряков, был специалистом-профессионалом по Ленину. Правда, он умел рисовать портрет Владимира Ильича только в одном ракурсе, а именно в том, в каком он был изображен на «красненькой» тридцатирублевке. Портрет великого вождя этот самородок насобачился рисовать, изготавливая фальшивые купюры. В результате он много лет проработал художником в ГУЛАГе, опять же числясь специалистом по Ленину. А теперь благодаря Владимиру Ильичу Хряков по пути на фронт прочно осел в запасном полку.

Другой самородок был специалистом по гербам и эмблемам боевой славы. Он напрактиковался в своей области, подделывая печати и бланки.

Кроме бывших заключенных, считавших себя профессионалами, было несколько художников-любителей, мнивших себя гениями. Они в основном разглагольствовали на темы об искусстве и пили разведенную спиртовую политуру, употребляющуюся в качестве разбавителя для красок.

В этой теплой компании, только и думавшей о том, как бы не угодить на передовую, я сразу же стал объектом насмешек из-за своих мечтаний о фронте.

Даже сам замполит Дубин, которого богомазы, конечно окрестили Дубиной, поднял меня на смех, когда я обратился к нему с просьбой об отправке меня в маршевую роту.

- Сиди и не рыпайся со своими двойными рамами! На фронте ты нужен, как мерину х... Одна помеха, - ответил он мне со своей деревенской непосредственностью.

В моем положении нормальный придурок не сетовал бы на судьбу. Клубные художники, баянисты, кинемеханики жили вольготно, полковой распорядок и строй их не касались, ибо они опекались политчастью. Наиболее солидные люди даже обзавелись временными семьями и ночевать ходили в город. Но для придурка-идеалиста, каковым был я, такая жизнь казалась невыносимой. Сидеть в глубоком тылу и малевать лозунги в то время, как на фронтах гремят бои и солдаты ходят в атаку?

Как я завидовал солдатам маршевых рот, покидавшим полк с лихой песней:

*Ордена-медали нам страна вручила. Это знает каждый наш боец Мы
готовы к бою, товарищ Ворошилов, Мы готовы к бою, Сталин - наш отец
Эх, в бою за Родину, в бой за Сталина, Боевая честь нам дорога. Кони
сытые бьют копытами Встретим мы по-сталински, врага...*

У богомазов была своя жизнь и свои песни, в которых они, правда, обращались к товарищу Сталину и Ворошилову, однако на свой лад. Чокнувшись разведенной политурой и запершись, они весело запевали в своем клубном бараке:

*Ордена-медали нам них.. не дали. Это знает каждый наш боец Мы не
хочем в бой, товарищ Ворошилов. Мы е... фронт, Сталин - наш отец...*

«ГОРЬКОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

Несколько слов о нашем запасном 193-м резерва Главного командования стрелковом полку, в котором я прослужил почти полгода. Стоял он в громадных лагерях в районе Марьиной Рощи в одном только нашем батальоне насчитывалось больше солдат, чем в целой фронтовой дивизии. Непрерывным потоком шло от нас пополнение на Запад, 193-й запасной был известен на всех фронтах Отечественной войны, но называли его не полком резерва Главного командования, а «Горьковским мясокомбинатом».

Однажды я вместе со школой был на экскурсии на Московском мясокомбинате имени Микояна и могу удостоверить, что это прозвище не было уж таким беспочвенным, - производственный процесс, который нам показывали, действительно очень напоминал распорядок запасного полка резерва Главного командования. Наш полк представлял собой огромное предприятие по производству пушечного мяса. Со всех концов страны поезда доставляли на его главный распределительный пункт разношерстное человеческое сырье, где оно перемешивалось, обдиралось догола, обстригалось и очищалось от волосяного покрова и пропускалось через вошебойки, бани и каптерки. Обработанное таким образом сырье уже в виде полуфабриката поступало на батальонные конвейеры, где доводилось до солдатских кондиций, проходя через плацы, стрельбища, пищеблоки, фильтры особого отдела. Затем «готовая продукция» приводилась к присяге и погружалась в эшелоны, отправляющиеся к местам назначения. На фронте готовая продукция перемалывалась, так сказать, жерновами войны, разделялась на две части: одна часть ложилась в братские могилы, другая - в госпитали.

Славная была шутка: «На войне у солдата два выхода - либо в «наркомзем», либо в «наркомздрав». После «наркомздрави» солдаты опять попадали на полковой распределительный пункт, и процесс начинался сначала.

Личный состав полка делился на три категории: постоянный временный и придурочный. К постоянному составу относилось все начальство начиная от командира отделения и кончая командиром полка. Переменный состоял из массы, непрерывно проходившей по полковому конвейеру, а придурочный состав выполнял функцию рабочих на конвейере или обслуживал начальство. Приуменьшить роль придурочного состава было бы глубокой ошибкой. Если бы, к примеру, придурки забастовали, как эксплуатируемые рабочие при капитализме, наш «Горьковский мясокомбинат» тотчас бы встал и перестал посылать пополнение на фронт. Но, поскольку при социализме забастовок не может быть, это исключалось.

Статус придурков был необычным, ибо они существовали только фактически, а юридически их как бы и не было. Более того, приказом наркома обороны придурки были строжайше запрещены, их должны были истреблять, словно вшей, путем отправки на передовую.

Вышестоящие политические инстанции вели с придурками борьбу не на жизнь, а на смерть. Они без конца слали в наш полк ревизоров, инспекторов, проверяющих, целые комиссии, которые месяцами проводили расследования, пытаясь придурков выявить, изловить и уничтожить. Однако на моей памяти ни один придурок так и не был захвачен живьем, несмотря на то что, согласно секретным сведениям, поступавшим в вышестоящие политические инстанции, в нашем полку расплодилось невероятная тьма сапожников, парикмахеров, жестянщиков, столяров, портных, печников, художников, а также заштатных писарей, кладовщиков, каптенармусов, бухгалтеров и даже специалистов по самогонварению, укрывавшихся от передовой.

Агентурные данные, которыми располагало Главное политуправление, указывали на то, что где-то в делях Марьиной Роши придурки гнали самогон в промышленном масштабе, оборудовав для этой цели небольшое предприятие и используя в качестве сырья казенное продовольствие.

Специальная комиссия расследовала это дело и ровным счетом ничего не обнаружила, хотя и понесла человеческие жертвы. Рассказывали, что комиссия допустила просчет, отправившись на поиски самогонщиков без противогазов. В результате, когда она приблизилась к предполагаемому местонахождению подпольного завода, алкогольные пары (являвшиеся побочными отходами производства) вызвали у членов комиссии такое опьянение, что один из них, потеряв равновесие, упал в пруд и утонул. Пока его товарищи после опьянения пришли в себя прошли целые сутки, и утонувшего спасти уже было поздно.

Комиссии по борьбе с придурками работали во всех батальонах, рылись в штабных списках и документах, шныряли по всему расположению.

Видимо, работа у проверяющих была настолько суетная, что за какую-нибудь неделю они успевали износить не первого срока обмундирование, в котором к нам прибывали. Во всяком случае, убывали они из полка, как правило, в новеньких, с иголки шинелях, хорошо пригнанных по фигуре, и специально пошитых для них хромовых сапогах. Вместе с тощими портфельчиками с зубными щетками и бритвами они увозили с собой в Москву солидные тючки с американскими консервами и бутылками марьинощицкого первача для передачи вышестоящему начальству взамен так и не обнаруженных придурков.

Этот удивительнейший феномен природы объяснялся очень просто: все полковые придурки, за исключением нестроевиков, числились в списках переменного состава. Сапожник Васья в списке значился вторым номером ручного пулемета 1-го отделения 3-го взвода 4-й стрелковой роты, портной Сашка - стрелком, ординарец Берлага - связным и т. д. и т. п. Днем они сапожничали и портняжничали, обслуживая начальство, или гнали для него самогон, а ночевать ходили в ротные землянки, где за ними держали места, приличествующие ротной интеллигенции.

Проверяющие применяли одну и ту же тактику, которая в полку давным-давно была известна: среди ночи поднимали роту по тревоге и сверяли наличный состав со списками. Получалось полное совпадение, что и удостоверялось соответствующими актами. Все пулеметчики, стрелки и связные находились на своих местах.

Конечно, начальству в некоторых случаях приходилось идти на жертвы и придурков, которые его поили и обували, также бросать в пасть войне.

«Горьковский мясокомбинат», как и всякое соцпредприятие, работал неритмично из-за перебоев с поставками живого сырья. Иной месяц под угрозой срыва оказывался план «по валу», и во избежание этого срыва прорехи в спешном порядке затыкали парикмахерами, портными или поварами. Их отправляли на фронт с маршевыми ротами, где они и значились в списках стрелками, пулеметчиками или разведчиками.

Я И РЯДОВОЙ АЛЕКСАНДР МАТРОСОВ

Однажды такая участь чуть было не постигла артель богомазов, которые здорово подвели замполита Дубину. Богомазы так загуляли на чьей-то свадьбе в Канавине, что позабыли явиться в часть на работу. Когда Дубина пришел в нашу мастерскую, там находился лишь один я.

- Политотдел приказал всем батальонам провести митинги, - сообщил мне замполит. - Надо объявить про нового героя Александра Матросова и подготовить выступления рядового и сержантского состава, а также прислана резолюция, которую будем принимать. Художникам тоже дадено задание - поспеть нарисовать к митингу портрет героя по газете. - И он дал мне свежий номер «Комсомольской правды» с указом за подписью Калинина о присвоении звания Героя Советского Союза рядовому Александру Матросову, закрывшему своей грудью амбразуру вражеского дзота и геройски погибшему.

В газете была напечатана очень плохая фотография - трудно было разобрать черты лица - и рисунок какого-то известного художника, изображающий момент подвига, когда герой бросается на амбразуру - небольшое окошко на уровне груди, откуда торчит рило немецкого пулемета.

После скандала на Переведеновке я избегал заниматься рисованием. В артели я был в ампула шрифтовика и мальчика на побегушках, а также подсобника - мыл кисти и разбавлял краски.

Я объяснил Дубине, что для портрета у меня не хватит таланта, я специалист только по лозунгам. До митинга оставалось два часа, а богомазы не являлись. Обстановка накалялась.

- Я с этими бля...ми чикаться не буду! Хватит, лопнуло мое терпение!
- орал замполит. - Одни только неприятности из-за них по наглядной агитации на последнем месте в полку. Все краски пооблезли, не разберешь ни х... Политуру только жрать могут. Всех в маршевую загоню!

- И меня? - с надеждой спросил я разбушевавшегося Дубину.

Замполит устался на меня ошалело.

- Х... с тобой! Ежели портрет будет к сроку - и тебя отправлю! - пообещал он.

Должен сказать, что подвиг Александра Матросова меня потряс - ведь он осуществил то, что было моей тайной мечтой. Я взял кисть и на большом листе загрунтованной фанеры, приготовленном Хряковым для очередного Ильича, нарисовал черной краской портрет Матросова. Я даже не глядел на тусклую фотографию в газете. Нарисовал героя таким, каким себе представлял.

Мой портрет понравился всем, и прямо на митинге замполит от лица командования объявил мне благодарность, после чего раздались громкие аплодисменты в мою честь.

Я не знаю, что со мной произошло, не могу этого объяснить. Хотя меня Дубина не назначил выступать, я вышел и произнес речь. Первый и, кажется, последний раз в своей жизни.

Не помню, что я говорил, но смысл моего выступления свелся к следующему: вместо того чтобы целыми днями бороться со вшивостью и ловить придурков, надо бросить все силы на украшение новой, прямой, как стрела, дороги, по которой маршевые Роты будут уходить на фронт. По одну сторону надо установить громадную звезду Героя Советского Союза, по другую - орден Ленина, а в самом начале - огромный щит с изображением бессмертного подвига Александра Матросова... Дорогу я предложил назвать «Аллеей героев имени Александра Матросова».

Это был триумф.

" Ларский, ты что, сам допер? - не раз потом у меня допытывался Дубина, который и в Москве-то ни разу не был и даже не слышал о Дворце Советов и о гигантском Ленине, с пальца которого должны были взлетать «сталинские соколы». Правда, он мне рассказывал, что и у них в райцентре поставили довольно большой памятник Ленину с протянутой рукой, но после того, как на этой руке повесился какой-то алкаш, вместо Ленина поставили Сталина с рукой на груди.

Более внушительных монументов ему не довелось видеть. Мои масштабы его просто огорошили: я предложил орден Ленина и золотую звезду сделать высотой в пятьдесят метров!

Возможно, во мне заговорила кровь далеких предков, строивших пирамиды в Древнем Египте. Но об этом замполит Дубина знает, конечно, не мог. Правда, комбат распорядился снизить высоту монументов с пятидесяти до десяти метров.

- Если эти херовины попадают на маршевое пополнение, кто будет отвечать? - резонно спросил он.

С учетом этого замечания мой план за подписями командования батальона был послан в полк и получил у начальства самую горячую поддержку.

Командованию батальона была объявлена благодарность за ценный почин, а другим батальонам было приказано брать с нас пример и тоже построить «Аллею героев».

Так в один миг из безвестного придурка при клубе я сделался выдающейся личностью батальонного масштаба.

Мне, как автору плана, командование поручило руководить созданием «Аллеи героев». Комсомольская организация батальона взяла шефство над стройкой. В помощь мне был придан Целый штаб во главе с комсоргом батальона. Половина придурков была освобождена от будничных работ и передана в мое распоряжение. Кроме того, нам придали 2-ю стрелковую роту, саперный взвод, бригаду плотников и столяров, артель богомазов и даже настоящего художника Гайдара, окончившего в Москве ВХУТЕМАС. Он-то и должен был возглавлять создание гигантского панно, изображавшего подвиг Матросова.

Надо отдать должное командованию, которое отнеслось к созданию «Аллеи героев» как к боевому заданию. Многие операции, в которых мне впоследствии пришлось участвовать на фронте, не планировались с такой тщательностью. По приказу начальника инженерной службы полка для расчистки просеки был применен подрывной способ. Подготовка к операции заняла около десяти дней, каждые два часа в штабе батальона раздавался телефонный звонок - сверху запрашивали о выполнении графика. В связи с предстоящими взрывными работами в городской газете «Горьковская правда», а также по радио было объявлено о возможных взрывах в Марьиной Роще, население призывалось сохранять спокойствие (на Горький уже совершались налеты немецкой авиации). Разумеется, о целях взрыва не сообщалось, - как и любая военная операция, создание «Аллеи героев» было засекречено.

Я командовал операцией, в которой участвовало больше солдат, чем было во всем нашем 323-м Гвардейском Краснознаменном ордена Богдана Хмельницкого горнострелковом полку, с которым мне довелось пройти от Северного Кавказа до границ Германии.

Так я встретился со вторым, после Всеволода Ивановича Чекризова, человеком, сыгравшим решающую роль в моей судьбе. Им оказался рядовой Александр Матросов, благодаря которому я возглавил крупную военно-политическую операцию, а затем, несмотря на белый билет, угодил в гущу войны. Замполит тянул с выполнением своего обещания, хитрил, мол, было сказано, что пошлю вместе с богомазами, а они остались, значит, и ты вместе с ними. Богомазы же прониклись ко мне горячей любовью.

Судя по реакции Дубины на их загул в Канавине, они бы наверняка загремели на фронт, если бы не моя «Аллея героев».

Дубина сработал, как мина замедленного действия, и неожиданно вспомнил о своем обещании в тот момент, когда у меня был в разгаре мой первый роман со студенткой Любой из Горьковского мединститута. Я еще не успел разобраться в своих чувствах, зато отлично понял, что связной, посланный за мной в середине ночи Дубиной, прибыл совсем нехстати.

Больше всех спросонок переполошились богомазы, но, поняв, что приказ их не касается, они от всего сердца принялись мне помогать снаряжаться.

Когда я запыхавшись прибежал в штаб, Дубина уже нервничал - очередной маршевый эшелон вот-вот должен был отправиться со станции Горький-Товарная, а комсорга, лейтенанта Зимина, в последний момент отправили в госпиталь с острым приступом аппендицита.

— Боец Ларский, - обратился ко мне замполит, - учитывая ваше желание и политическую сознательность, а также руководящий опыт при создании «Аллеи героев», командование направляет вас комсоргом эшелона.

...В кузове мы тряслись вдвоем с каким-то незнакомым лейтенантом. Я долго не мог прийти в себя, все происшедшее казалось мне сном. И вдруг до меня дошел весь трагизм ситуации: ведь я даже не комсомолец, а Дубина послал меня комсоргом. И я струхнул не на шутку.

Комсорг - это тебе не парикмахер или художник, за такой обман по головке не погладят... Надо бы рассказать начальнику эшелона? Но не сразу, а когда отъедем от Горького, чтобы не отправили назад, решил я и уж было чуть-чуть успокоился, как заговорил незнакомый лейтенант.

— Я оперуполномоченный Особого отдела, фамилия моя, допустим, Лихин. О тебе, товарищ новый комсорг, мне уже все известно, все твои данные. Работать будем вместе.

Лейтенант заговорил о каких-то донесениях, которые я должен буду тайно подавать ему на больших стоянках, что я также должен буду передавать ему донесения от других лиц из разных теплушек, в которых мне придется бывать под видом проведения комсомольских мероприятий.

Вначале я вообще не понял, о чем речь, но интуиция мне подсказала, что я влип в такую историю, из которой непросто будет выбраться.

КОМСОРГ «ОПЕРАТИВНИК»

Что такое маршевый эшелон? Маршевый эшелон - это очень длинный товарный поезд, состоящий из теплушек (на которых написано «сорок человек или восемь лошадей»), одного пассажирского вагона и, естественно, паровоза, который везет весь состав на фронт.

В каждой теплушке в этом случае вместо восьми лошадей едут сорок солдат. Солдаты знают, что их рано или поздно привезут на фронт, но не знают на какой - это военная тайна.

Не знают они также и ответа на роковой вопрос: куда именно они попадут - в «наркомзем» или в «наркомздрав». Поскольку этот гамлетовский вопрос гложет их души на всем пути на фронт, они на всякий случай торопятся урвать от жизни все, что может сгодиться на пропой. Кроме казенного имущества, терять им нечего. Иные даже решают отправиться в «наркомздрав» прямо из эшелона, минуя фронт, то есть выбрать из двух зол меньшее, пока не поздно.

В пассажирском вагоне едет бригада сопровождающих офицеров. Это, так сказать, офицеры-экспедиторы, в функцию которых входит доставка готовой продукции из «Горьковского мясокомбината» на место назначения.

Но офицеров-экспедиторов, как и солдат, тоже гложет неизвестность. Они не знают, вернутся ли они обратно в запасной полк за новой партией или пойдут под Военный трибунал, если не довезут груз до места. Поэтому они и пьют без просыпа всю дорогу, а потом пьют на радостях, если все кончается благополучно, - обмывают приемо-сдаточный акт.

Не дремлет лишь оперуполномоченный Особого отдела, имеющий в каждой теплушке несколько пар глаз и ушей.

Чтобы дезориентировать противника, маршевый эшелон длительное время совершает сложные железнодорожные маневры: меняет направление движения, делает виражи и петли, и только после того как он окончательно собьет вражескую агентуру с толку, начальник эшелона вскрывает секретный пакет, где указано точное место назначения.

В отличие от обычного товарного состава, путь которого измеряется количеством пройденных километров, движение маршевого эшелона измеряется количеством совершающихся в пути ЧП (чрезвычайных происшествий). Чем больше ЧП, тем больше у сопровождающих шансов загреметь в офицерский штрафбат.

- Хорошо тебе, комсорг! - бывало, говорил мне в минуты отрезвления мой шеф, парторг эшелона, лейтенант Лихин. - Твое дело телячье: обосрался и на бок. Какой с тебя спрос? Тебе и терять-то нечего...

Можно было понять лейтенанта Лихина и прочее сопровождающее эшелоны начальство.

Что ни день, на их головы валились все новые ЧП, одно страшнее другого. По мере продвижения к фронту людские потери росли не только за счет отстававших от эшелона.

Однажды весь наш эшелон чуть было не был уничтожен из-за массового отравления клещевинной. На какой-то станции маршевики обнаружили платформу с этими зернами, из которых производят касторовое масло, применяемое в медицине в качестве сильнодействующего слабительного средства. Клещевину разворовали и стали тайком варить в теплушках, а она в неочищенном виде оказалась ядовитой.

В результате сорок человек (что эквивалентно восьми лошадям) было в Армавире отправлено в госпиталь в тяжелом состоянии, пятеро из них погибли. Прочие отделались сильным расстройством желудка, и еще несколько дней за нашим эшелонам тащился по железнодорожному полотну след «медвежьей болезни».

После следующего ЧП наш маршевый эшелон из пополнения для передовой едва не превратился в пополнение для венерического госпиталя.

Недремлющие глаза донесли оперуполномоченному, что на теплушечные нары «просочились неизвестные б...ди», которых маршевики укрывают от глаз начальства. Была объявлена боевая тревога, как при воздушном налете. По сигналу «Воздух!» эшелон остановился в открытом поле, и весь личный состав повыскакивал из теплушек. При помощи таких чрезвычайных мер подпольные пассажирки были выявлены и заключены под стражу. К ужасу начальства, ни у одной не оказалось справки о прохождении медицинского осмотра! Возможно, лишь потому, что сдача маршевого пополнения была оформлена сразу же после этого

ЧП (когда его последствия еще не успели выявиться), сопровождающая бригада не была отдана под трибунал.

Я уж не упоминаю здесь о целом ряде мелких ЧП, наподобие произошедшего в Сталинграде. Там несколько наших маршевиков, вооружившись железными ломками, пристукнули трех солдат-часовых, охранявших вагоны с продовольствием. Они почти уж было очистили эти вагоны, но Лихину, на этот раз с моей помощью (о чем еще пойдет речь дальше), удалось настигнуть грабителей на месте преступления.

С обмундированием тоже вышло ЧП.

Эшелон наш отбыл с «Горьковского мясокомбината» в конце весны. Спустя полтора месяца, летом 1943 года, маршевое пополнение было доставлено на юг, в район Кавказа. Но, видимо, в целях дезориентации противника маршевикам было выдано зимнее обмундирование, будто они следуют на север в Заполярье, где стоит сорокаградусный мороз. Все были одеты в валенки, ватники, рукавицы, теплое белье и вязаные подшлемники. А прибыли мы на Кубань в тридцатиградусную жару. Зимнее обмундирование по пути пропили за ненадобностью: было ясно, что по прибытии на место все равно переобмундируют в летнее.

После выгрузки из эшелона наше маршевое пополнение по внешнему виду смахивало на легендарных чапаевских бойцов (из кинофильма братьев Васильевых), застигнутых врасплох белогвардейцами. Некоторые пропились до исподнего белья, на других оставались лишь стеганые ватные портки...

Во всех бесчисленных ЧП особенно отличились «мои» комсомольцы, которые, как им и положено, всегда были впереди. И я, их новый комсорг, оказался тоже не на высоте - отстал от эшелона и нагнал его лишь в Сталинграде, вернее, он меня нагнал, потому что я оказался там раньше. Только большой опыт по части отставаний от эшелонов и поездов, приобретенный мной при эвакуации, помог мне не потеряться.

Я отстал из-за Лихина, который после нашего с ним разговора в машине из лейтенанта почему-то превратился в младшего сержанта. Я его, конечно, узнал, но на всякий случай сделал вид, будто не узнаю.

Между прочим, я оказался между двух огней. В теплушке, где ехал, мне сразу же заявили: «Эй, комсорг, если кого-нибудь заложить - пойдешь под колеса, понял?!» Я прекрасно помнил, как на нашем дворе, в Новых домах, «огольцы» обходились с «лягавыми».

Но и Лихин не думал отступаться. Однажды он меня прижучил на остановке в станционной уборной и потребовал объяснения.

— Комсорг, ты что это в прятки играешь? Почему не работаешь? - спросил он.

Я пробормотал что-то, мол, замотался с комсомольцами, нету времени.

— На следующей станции чтобы ждал меня за водокачкой. Придется потолковать, - сказал он.

На следующей стоянке оказалась не одна водокачка, а целых две, причем не рядом, а в разных концах. А Лихин мне не сказал, у какой водокачки его ждать. Я долго стоял у одной водокачки, потом решил пойти к другой - может быть, он там?

А эшелон тем временем уехал.

Я подумал, что Лихин мне нарочно приказал ждать, чтобы отомстить. Отставание от эшелона приравнялось к дезертирству, так что я мог бы здорово поплатиться, если бы меня зацапал комендантский патруль.

Что было делать? Я пошел в железнодорожную комендатуру на станции и рассказал, по какой причине отстал - разминулся с опером. Меня не арестовали, а выдали путевой лист до Вологды и продаттестат, чтобы я своим ходом догонял эшелон. Уже в Вологде путевой лист переписали на Сталинград.

Когда Лихин меня увидел, его лисья физиономия удивленно перекосилась, по-видимому, он уже занес меня в список дезертиров. Что же касается невыполненных комсомольских мероприятий, то здесь обошлось благополучно, мое двухнедельное отсутствие комсомольцами вообще не было замечено.

И все-таки на Лихина поработать мне пришлось. В Сталинграде я передал ему тайком свое первое донесение, которое, правда, не было связано с политикой. Произошло это так. Один из моих соседей по нарам предложил пойти с ним прогуляться, «подышать воздухом», как сказал он. Мы с ним стали ходить по путям рядом с эшелонами, он мне с упоением заливал всякие истории. Потом вдруг попросил меня постоять, подождать его пару минут и нырнул под вагон на другую сторону состава. А вместо него вынырнул ко мне какой-то солдат и шепнул: «Комсорг, я знаю, что ты оперативник... наши пришли троих солдат, вагон взломали!» И тут же скрылся под теплушкой.

Я стоял в полном замешательстве. Тут сосед опять появился со своими историями, взял меня под руку и повел подальше от эшелона к продпункту. И только сейчас я сообразил, что он специально мне вкручивал шарики, как человеку Лихина. И тут я увидел оперативника собственной персоной. Он крутился возле продпункта в форме младшего сержанта, я решил сообщить ему об услышанном. Отлучился в уборную и там написал записку. Проходя мимо Лихина, я незаметно ее сунул ему в карман.

Я выполнил свой гражданский долг и от ужаса не находил себе места. Завидев Лихина, я сразу же нырнул под вагон, опасаясь, что он начнет приставать со своим сакраментальным вопросом: «Почему не работаешь?»

Но, видимо, после случая с водокачкой Лихин понял, что с таким придурком, как я, каши не сварить, а мое донесение насчет грабежа он вообще не считал за работу.

Половину нашей теплушки составляли отпетые рецидивисты. Я попросился в нее, потому что встретил там знакомых придурков - сапожника Ваську и портного Сашку, долго кантовавшихся в нашем батальоне. В своей компании ехать было как-то веселее. Вместе мы держались и прибыв на фронт. Оказались в одной стрелковой роте и в одном взводе.

Что касается оперуполномоченного, называвшегося Лихиным, то после ЧП с грабителями мне ему донесений передавать не пришлось, и я с ним расстался, так и не выяснив, у какой же водокачки он мне назначил свидание.

...Между прочим, этот вопрос я ему задал спустя четверть века, когда встретил его в Коктебеле возле Дома творчества Союза советских писателей. Я сразу его узнал - благо он не особо изменился, только немного оплешивел. Был он без сержантских погон, в гражданской тенниске и тортиках, однако, судя по всему, работа у него была прежняя. Он околачивался на набережной среди писательской братии, подсаживался к инженерам человеческих душ то на одну скамеечку, то на другую и делал вид, будто занят чтением газеты.

Из великих писателей в Доме творчества пребывал Борис Полевой с супругой, к которому Лихин, неясно почему, проявлял особый интерес. Меня так и подмывало ему сказать: «Товарищ Лихин, зря теряете время - это ж наш человек».

Как-то я его встретил возле дачи, которую мы обычно снимали. И вот решил ему представиться.

— Моя фамилия Ларский, - сказал я. - Мы с вами ехали в одном эшелоне из Горького в 1943 году. Помните ЧП в Сталинграде? А еще помните, вы встречу мне назначили у водокачки, но почему-то не пришли?

— Нет, не припоминаю, - ответил он. - Много их было-то, эшелонов и ЧП.

Между прочим, он сообщил, что вместе с товарищем по работе снимает койку в Доме Волошина. Почему именно в Доме Волошина, я так и не понял: то ли это место казалось ему наиболее подходящим для дислокации своей опергруппы, то ли решил слегка подмухлевать на суточных - ведь оперативник тоже человек, и ничто человеческое ему не чуждо.

Глава IV. ПРИДУРПЧНАЯ КАРЬЕРА ОРДЕНА-МЕДАЛИ НАМ СТРАНА ВРУЧИЛА...

До конца жизни не забуду ночную панораму Керченского плацдарма, которая открылась передо мной, когда наше маршевое пополнение прибыло к месту переправы. Это было что-то грандиозное, сравнимое, быть может, с извержением Везувия в последний день Помпеи. У меня дух захватывало. Судя по всему, приближался мой звездный час.

Было приказано не курить, чтобы не выдать противнику наше месторасположение. Погрузка на катера происходила в напряженной обстановке, в страшной спешке. Я ночью плохо видел, а тут еще вспышки меня ослепляли, но я крепко держался за своих друзей Ваську и Сашку, чтобы не потеряться. И вот наконец катера двинулись к крымским берегам, туда, где гремел страшный бой. Однако в эту ночь нас в бой не бросили. Нас водили по каким-то оврагам и склонам, строили, перекликались по фамилиям. Видимо, происходил заключительный этап сдачи маршевого пополнения. Роту, в которой находились мы с Васькой и Сашкой, построили на открытом ветру бугре, где нас уже ждали «покупатели». Они ходили в темноте вдоль строя и кричали:

- Саратовские есть?
- Тамбовские есть?
- Рязанские есть?
- Курские есть?

Каждый командир роты искал своих. Сашка был из Днепропетровска, Васька - сумской, я - москвич, но таких не выкликнули.

Не знаю, почему Сашка закричал: «Есть курские!»

- Сколько вас? - спросили из темноты.
- Трое! - ответил Сашка.

Итак, вместе с Сашкой и Васькой я был зачислен в «курские». Мы пролезли в какую-то дырку и втиснулись в груды спящих прямо на земле тел.

Утром, проснувшись, я, ожидавшим чего-то сверхгероического был страшно разочарован: вместо захватывающей дух феерической картины я увидел унылые холмы без единого деревца и непролазную грязь, в которой копошились перемазанные с ног до головы люди.

Я с Сашкой и Васькой оказался в 4-й стрелковой роте, которой командовал пожилой капитан Коломейцев. Когда наше пополнение утром построили, чтобы распределить по отделениям и взводам, я к своему изумлению обнаружил, что портной Сашка из рядового превратился в... старшину, а сапожник Васька, бывший самым зяблым придурком в запасном полку, произведен в... сержанты! Свои солдатские погоны они снимали и достали из вещмешков старые, соответствующие их фронтовым званиям. Вот тогда-то я впервые уразумел, о чем писал уже выше, отчего придурки в нашем запасном полку так и не были пойманы ни одной комиссией. Не успел я прийти в себя, как в строю из комсорга маршевого эшелона - офицерская должность! - превратился во второго номера ручного пулемета системы Дегтярева в стрелковом отделении, которым командовал Васька, во взводе, помощником командира которого ротный назначил Сашку.

Всем раздали винтовки и боеприпасы, а я в запасном, кроме кисти, никакого оружия в руках не держал, не говоря уж о стрельбе... Что же касается ручного пулемета системы Дегтярева, то я даже не знал, с какого бока к нему подойти, хотя до войны познакомился с самим Дегтяревым, когда мой дядя работал на Тульском оружейном заводе. Но как-никак в детстве я, бывая в гостях у бабушки в Доме правительства, играл в дядиной комнате с оружием маршалов, так что имел представление что такое затвор.

.Стандартный вопрос ротного писаря сержанта Забрудного «Где и когда принимал воинскую присягу?» привел меня в полное замешательство. Ведь по не зависящим от меня причинам я не прошел торжественной церемонии принятия воинской присяги перед тем, как внезапно загремел в маршевый эшелон за полтора часа до его отправления.

Как я мог заявить, что воинской присяги не принимал?! (Такой пункт в красноармейской книжке обязательно должен был быть заполнен - иначе юридически я не мог считаться военнослужащим.)

Я не хотел обманывать Родину. К примеру, в запасном, когда писарь Григорьев предложил мне переменить национальность и записаться русским, я на такое не пошел, и вовсе не потому, что мне было жалко поставить ему за это четвертинку водки.

— Фамилия у тебя нехарактерная, по-русски говоришь правильно, нос только тебя подводит... Давай запишем, что отец русский, а мать грузинка? Учти, попадешь евреем к фашистам в плен - тебе хана! Да и среди наших тоже такие есть, которые евреев ненавидят еще пуще, чем фашисты... Я же для твоей пользы стараюсь, дурная ты голова, знаешь, сколько я вашего брата в православных «перекрестил»? - говорил мне Григорьев.

«Нет, не нужна мне мать-грузинка, хочу быть перед Родиной честным!» - решил я тогда.

Но теперь я вынужден был Родину обмануть. Я так растерялся, что ляпнул не подумавши: «Присягу принял 23 февраля 1942 года, в день Красной Армии...»

— Еще в армию не призвался, а уже присягу принял? - усмехнулся писарь.

— Простите, я перепутал - 1 Мая! - поправился я. (Так я и провоевал незаконно до конца войны...)

— Судимость имел?

Опять пришлось выкручиваться и врать. Не мог же я признаться, что убежал с оборонного завода, где был осужден по закону военного времени...

— Как насчет репрессированных родственников? - добил меня писарь роковым вопросом.

Когда я уходил в армию, тетя мне твердила: «Лева, заруби себе на носу, что никаких репрессированных родственников у тебя не было, нет и не будет! Ты понял? Иначе будешь иметь неприятности».

Вместо того чтобы ответить так, как меня инструктировала в Москве, я стал мямлить, что, мол, родственников со стороны давно умершей мамы совершенно не знаю и поэтому не могу точно на данный вопрос ответить...

— Ты мне шарики не крути, я вашу нацию знаю! Сука буду, я тебя не расколю! - окрысился на меня писарь.

Он буквально прохода мне в роте не давал - так меня возненавидел...

На мое счастье, как только полк вступил в бой, Забрудный исчез - якобы выбыл по болезни в медсанбат.

Перед вступлением в бой на Керченском плацдарме, после того как нам выдали по «сто грамм», ансамбль дивизионных придурков исполнил перед нами свой коронный номер «Марш Энтузиастов»:

Здравствуй, страна героев,

Страна мечтателей, страна ученых...

и я вместе со всем полком подхватывал вдохновляющий припев:

Нам нет преград ни в море, ни на суше.

Нам не страшны ни льды, ни облака...

Под свист снарядов я, согласно моему плану, принял решение повторить подвиг Матросова. Тогда я еще не знал пословицы «Солдат предполагает, а начальство располагает». Поэтому никакого подвига я не повторил по не зависящим от меня причинам. Во-первых, полк наш находился в резерве и вступил в бой в самый последний момент. Во-вторых, в этот самый момент я в качестве пищеносца был отправлен в тыл, в помощь старшине. К тому времени, когда я вернулся, таща для всего взвода термос с баландой и мешок твердого, как булжжик, хлеба, высота 99 (Темирова гора) была взята и фашисты отступили до самой Керчи. Но тем не менее за этот бой, в котором я участия не принимал, я по ошибке был награжден медалью 3 БЗ («За боевые заслуги»). Оказывается, на наблюдательном пункте нашего полка находился сам маршал Ворошилов и приказал наградить всех участников взятия важной высоты. Как и все в нашей роте, я получил выписку из наградного приказа, но как я мог повесить на грудь незаслуженную награду?

Я попытался объяснить это недоразумение командиру роты, но капитан Коломейцев обозвал меня придурком.

- Высокая правительственная награда - это тебе не х... собачий. А ежели ее не заслужил, то заслужи! - рывкнул он.

Медаль «За боевые заслуги» солдаты в шутку окрестили «За половые заслуги», поскольку ею обычно награждали солдаток, работающих в тылах. Но у меня даже никаких половых заслуг перед Родиной не было!..

...Капитан Котин, начальник штаба полка, свалился в мой окопчик, как с неба, изрядно меня при этом помяв. Это был весьма плотный мужчина с лицом бульдога, но оказался он весьма общительным и компанейским. Свой парень, партизан, воевал раньше в тылу у фашистов. Обратив внимание на мои очки, он сразу же заявил, что в штабе ему нужны грамотные люди и он берет меня к себе, как только полк выйдет из боя. Тут же он записал мои личные данные и, переждав обстрел, бодро уполз из моего окопчика.

Капитан оказался человеком слова. Правда, вызвал он меня не в штаб, а к себе в землянку для сугубо конфиденциальных переговоров. Как офицер, он мог, согласно уставу, приказать мне все, что ему угодно, а я, рядовой боец, обязан был его приказ беспрекословно выполнять.

Короче, ему требовался человек, который смог бы вместо него чертить штабные схемы с боевой обстановкой: генерал назначил какую-то штабную игру («черт их знает, этих армейских, в партизанах он в игрушки не игрался»), а по рисованию в школе он получал одни двойки.

С другой стороны, перед начальством тоже неохота было опростоволоситься.

Тут я вспомнил нашу игру в «штаб», как мы с Сережкой- Колдуном и Мирчиком-Соплей лихо малевали синие и красные стрелы. У меня это здорово получалось.

Я взяла помочь капитану, а он, в свою очередь, дал партизанское слово, что будет по гроб жизни благодарен и в долгу не останется. Меня немного смущала моральная сторона нашей сделки, все-таки...

— Ерунда! - рассмеялся капитан. - Война все спишет. Не обманешь - не проживешь. Главное в военном деле - достичь успеха, а победителей не судят.

Разумеется, я не переоделся в форму капитана Котина и не пошел вместо него на штабную игру. Капитан Котин был там собственной персоной в числе всех штабных офицеров, расположившихся у КП командира дивизии, а я притаился метрах в се-мидесяти от них, в старой стрелковой ячейке, вырытой под большим камнем и надежно замаскированной сверху с помощью капитанского ординарца. Ординарец должен был осуществлять между нами связь: приносить мне записки от капитана с конкретным заданием и его топокарту с обстановкой, а от меня приносить ему ту же топокарту и нарисованные мной на листах блокнота схемы (само собой, он должен был соблюдать различные приемы конспирации, чтобы это выглядело так, как будто сам капитан Котин своей собственной рукой эти схемы чертит).

Пришел генерал, и мы стали играть.

Ординарец грелся наверху на камне, а я сидел, скрючившись, в глубокой сырой норе, работать было неудобно, на бумагу сыпалась земля.

По сигналу своего капитана ординарец время от времени направлялся к нему с фляжкой или с зажигалкой, чтобы дать прикурить. Бумаги, свернутые в трубочку, он нес в рукаве шинели и незаметно передавал шефу.

Вначале игра шла весьма успешно.

— Мы впереди всех, всем полкам нос утерли! - докладывал мне сверху ординарец. - Сам генерал говорит, учитеесь, мол, у капитана Котина. Вот это, говорит, штабная культура.

В последнем задании либо сам Котин перепутал север с югом, либо я что-то напутал - в моей берлоге совсем темно стало, а я и без того плохо видел. Но тогда я об этой ошибке не подозревал. Ординарец понес схему, но его возвращения я так и не дождался. Я сидел в норе до самой ночи, оконечел, как цуцик, от холода и сырости. Потом я выбрался оттуда, долго плутал по каким-то чужим тылам, пока не разыскал расположение нашего полка. Только под утро добрался я до штаба и узнал, что капитан Котин только что сдал дела и уехал со своим ординарцем принимать командование каким-то другим полком. В отношении меня он никаких распоряжений не оставил.

Впоследствии я узнал, что, опростоволосившись на этой штабной игре, он чуть было не проиграл свою карьеру. Выручила партизанская смекалка. Последняя его схема вызвала дружный хохот всех присутствующих на разборе задания.

— Капитан Котин, вы что, больны? Или перебрали из своей фляжки, видно, часто прикладывались?! - кричал на него генерал. - Вместо того чтобы ударить по противнику, вы правым флангом бьете по соседу справа, а левым флангом - по собственным тылам и своему штабу. Как прикажете это понимать?!

Котин не растерялся.

— Виноват, товарищ генерал, перебрал самую малость. Болен, радикулит замучил.

Ему сошло, учли «штабную культуру», а мне ротный влепил три наряда вне очереди в караул за то, что отсутствовал на вечерней поверке...

И пошла у меня по прибытии на фронт полоса неудач.

Я был готов к великим подвигам, но отнюдь не к тому, что увидел, то есть серым, унылым, как станет ясно, будням, именно из-за этого я снова оказался в придурках, но на этот раз уже не в тылу, а на фронте.

САГА О КОМАНДИРСКОМ КОЛЕСЕ

Вначале меня послали вместе со стрелковым отделением в боевое охранение на самый берег моря. Там находился сооруженный немцами блиндаж, где мне установили ручной пулемет. Дежурили по двое, остальные спали. Место было совершенно безлюдное. Лишь изредка по берегу моря проходил раненый с передовой или препровождали немца, только что взятого в плен.

Когда нас направили в наряд, начальник полкового караула сказал, что мы будем держать самый южный фланг советско- германского фронта, поэтому наше задание очень ответственное. Погода стояла очень хорошая, и я, отдежуриив свою смену, решил умыться морской водой. Снял шинель и разделся до пояса, сложив обмундирование на пляже. Сверху я положил свои очки, которые берег пуще глаз, и накрыл их ушанкой. Затем я по торчащим из воды камням отошел в море на несколько метров, умылся до пояса и вернулся. Обмундирование лежало на месте, но моей комсоставской ушанки с настоящей красной звездочкой не оказалось. А самое страшное - не оказалось очков!

Конечно, я поднял на ноги весь караул, все искали мои очки и ушанку, но поиски оказались безрезультатными.

Мне говорили: «Сам виноват, какой дурак оставляет свое обмундирование и уходит?» Но ведь кругом же не было ни души!

Конечно, если бы кто-то был, я бы так обмундирование не оставил, еще на Переведеновке я узнал: «Все, что плохо лежит, - убежит». Такой в армии закон.

Ребята вспомнили, что проходил какой-то тяжелораненый, когда я раздевался. Нижняя челюсть у него была начисто оторвана, язык телепался на груди... Неужели в таком состоянии человек может красть?! Ну взял бы ушанку - да зачем она ему, он, может, и жив-то не останется. А очки-то ему вовсе ни к чему... Нет, на этого тяжелораненого я не мог грешить.

Потеря очков совершенно меня убила. Впоследствии я получил контузию, затем был ранен в живот, к счастью, не тяжело. Но этот удар для меня был намного болезненней, он надолго вывел меня из строя. Какой я был солдат без очков? Я же ничего не видел, а ночью вообще был слепым на 100 процентов!

Командир взвода этого понять не мог.

- Раз тебя прислали на передовую, значит, видишь, - сказал он. - Слепых сюда не присылают.

И тут же отправил меня в следующий наряд. По уставу я сначала должен был выполнить его приказание, а потом мог жаловаться.

Вместо моей комсоставской ушанки с красной звездочкой с серпом и молотом старшина дал мне сплюснутый блин, пропахший лошадиным потом, - видимо, он служил для подкладки под подпругу, чтобы у лошади не было потеростей. Звездочку он тоже мне выдал - жестяную, вырезанную кое-как из банки от американской тушенки. На ней вместо серпа и молота оказались буквы «MADE IN USA». Для солдата потерять шапку - самое позорное дело, вот меня старшина и наказал.

Второй наряд был у склада боеприпасов. На инструктаже караула нам сообщили пароль. Было приказано стрелять по любому, кто на пароль не отзывается, даже если это будет сам командир полка. Я сказал начальнику караула, что на посту стоять не могу. Днем я могу увидеть приближающегося человека, а ночью нет.

Карнач (караульный начальник) распорядился поставить меня на пост днем, а к ночи сменить. Склад помешался в землянке, на дне глубокого оврага, выходящего к морю. Это был старый склад, с которого еще не успели все вывезти на другое место. Кроме меня, там никого не было. Как только стало смеркаться, в овраге сразу стемнело, и я ничего не видел. По моим расчетам, мое время давно уже истекло, а смена все не приходила.

Я стоял на посту как слепой. На всякий случай я кричал через каждые несколько минут: «Стой, кто идет?!» Но в овраге не было ни души. Наверно, разводящий про меня просто позабыл, а самовольно я не имел права уйти с поста. Тогда я решил еще немного подождать и, если смена не придет, дать сигнал тревоги - выстрелить из винтовки три раза. Я стал считать до тысячи и только досчитал до семисот, как вдруг винтовка сама рванулась из моих рук, а я от неожиданности упал и сильно ударился о камни. Кто-то выстрелил три раза, затем послышался сильный топот - это прибежал по тревоге караул с разводящим.

Обезоружил меня сам дежурный по полку, который решил обойти караул. Он спустился в овраг, когда я уже перестал кричать и считал. Не услышав окрика, он решил, что часовой уснул, и стал ко мне подкрадываться. Он подошел ко мне вплотную, а я его не видел. Дежурный по полку был в полной уверенности, что я на посту спал, и приказал меня арестовать и доставить в штаб. Это было Ч П! За сон на посту полагался трибунал.

При разбирательстве карнач и разводящий, видимо, перепугавшись, что им может тоже влететь, отрицали, что я их предупреждал и просил ночью меня на пост не ставить.

Но мой взводный подтвердил пропажу у меня очков, хотя тоже считал меня симулянтом.

Потом меня допрашивал сам командир полка. В тот момент эту должность занимал подполковник Кузнецов, видимо, человек он был незлой. Мне пришлось ему рассказать всю свою историю, как я попал из запасного полка на фронт.

Подполковник ужасно ругал этих «тыловых крыс», как он выразился. Присылают на фронт «всяких придурков», с которыми только одна морока.

Под трибунал меня решили не отдавать, но не знали, что со мной теперь делать и куда пристроить. Наконец определили дневальным в офицерскую землянку, где ночевали помощники начальника штаба.

Им не полагалось ординарцев. Я должен был приносить им еду с офицерской кухни и караулить их вещи. В землянке была печурка и немного дров, в мои обязанности входило ее топить под вечер и греть офицерский чай.

Когда дрова кончились, я отправился на поиски топлива, но так его и не раздобыл. Нигде не валялось ни одной щепки или чего-нибудь мало-мальски годного на растопку.

На Керченском плацдарме даже старый бурьян весь истопили, земля была голой, будто саранча все объела. Топку для полковых кухонь специально привозили с другой стороны, из Темрюка.

Вечером офицеры устроили мне скандал за то, что я со своими обязанностями не справился.

- Раз тебя поставили дневальным, ты обязан печку топить. Какой же ты солдат, если дров не сумел раздобыть! - заявил мне помощник начальника штаба по разведке.

Он вывел меня из землянки и сказал, указывая куда-то в темноту: «Возле землянки командира полка стоит бречка. Ползи туда по-пластунски, чтобы часовой не заметил. Вынешь чеку из задней оси и снимай большое колесо, только по-тихому. И обратно его таким же макаром приволоки, мы его в землянке разобьем, на два раза хватит подтопиться».

Я ответил ему: «Товарищ капитан, я в темноте ничего не вижу, и вообще я воровать отказываюсь. Как командир полка будет ездить без колеса?»

— Командир полка и без твоих забот проживет, а ты о нас должен позаботиться, на х..ра ты нам тогда нужен?! - сказал в сердцах помощник начальника штаба по разведке и сам нырнул в темноту. Примерно через час он вернулся, таща колесо.

— Совести у тебя солдатской нет! - зло пробурчал капитан. - По твоей милости я, офицер, как свинья, должен был в грязи валяться. Раз ты такой честный, тебе греться на ворованном тепле не положено. И вообще, катись-ка ты лучше от нас к е... матери! Без тебя обойдемся...

После того как офицеры меня прогнали, я был переведен в полковой обоз.

ГДЕ ЖЕ «СВОИ»?

Раньше мне никогда не приходилось красть. Даже моя китайская няня, водившая меня в мои пять лет в тыньцинские бардаки, и та считала воровство самым смертным грехом. Теперь, по прошествии четверти века, я могу чистосердечно признаться, что, несмотря на полученное воспитание, мне доводилось участвовать и в кражах, и в грабежах, особенно в тот период, когда я был писарем в стрелковой роте.

Собственно говоря, и по закону двора у чужих также красть не возбранялось. Это было мне с детства известно. Например, в школе можно было красть все, что хочешь. И если бы не наш директор, Михаил Петрович Хухалов, который жил в школьном дворе и ходил, не расставаясь с холодным оружием, пролетарская окраина растащила бы школу «по винтику, по кирпичику», как пелось тогда в популярной песне «Кирпичики».

Способствовали воровству и наши шефы с завода «Москабель», снабжавшие школу старым оборудованием и инструментом для занятий по труду и поставлявшие в школьную столовую алюминиевую посуду.

Казенное оборудование на социалистическом предприятии всегда находится под угрозой хищения. Похищенная собственность на первом этапе коммунизма, как правило, шла членам коллектива на пропой. Поэтому для обеспечения общественного контроля и в помощь милиции на получаемом нами заводском инструменте был выдавлен глубокий штамп: «Украдено с «Москабеля».

Разумеется, эта информация предназначалась для взрослых строителей социалистического общества. Дети не понимали воспитательного значения этих слов и воспринимали их буквально: раз все равно ворованное, значит, и нам не грех утащить! И тащили, несмотря на хухаловский кинжал.

Впрочем, во дворе я мог считаться «своим» и без воровства. От меня требовалось лишь не «лягавить». На фронте совсем другое. На фронте я был солдат, а у солдата должна была быть солдатская совесть. У своих - не воруй, а только у чужих.

Когда я отказался стащить для офицеров, с которыми я находился вместе, полковничье колесо, то тем самым пограл святая святых - эту самую солдатскую совесть.

Однажды я, правда, чуть было не «слягавил» по милости своего друга детства и защитника Карла Маркса. Служил я тогда писарем в саперной роте, и оперуполномоченный Особого отдела Скопцов сыграл на моей преданности пролетарскому интернационализму с целью получить «лягавую» информацию о мародерстве в нашей роте.

Выпивая как-то со своим закадычным другом, командиром роты Семькиным, он услышал из уст последнего слова, прозвучавшие для него как вызов. «Мои люди, - сказал Семькин, - меня никогда не продадут!» Затем они поспорили по этому поводу на пол-литра. Как всегда, на меня выпал жребий стать орудием в руках особиста. О том, как я повел себя в этой ситуации, я еще расскажу, ибо, как известно, любую историю, в которой замешан особист, в два слова не уложишь. А пока вернусь к своим разочарованиям.

Прежде всего я разочаровался в своих дружках Ваське и Сашке. Мы, трое придурков из запасного полка, сговорились держаться вместе. Вместе пошли в одну роту, выдав себя за «курских». А получилось, что оба отвернулись от меня в беде, когда у меня украли очки. Из-за этого, еще числясь в ротных списках, я выбыл из строя. У Васьки в отделении стало не хватать одного бойца, и он зашипел на меня, как змей: «Из-за тебя мое отделение на первое место не может выйти! Знал бы, что ты такая б...дь, никогда бы с тобой не связался!»

Сашка ему вторил более интеллигентно:

- Ты нас таки подвел. И зачем я тебя притащил на свою ж... Теперь взвод не сможет выйти на первое место!

Дружки заделались типичными службистами-хохлами, и обращаться к ним я должен был только официально: «товарищ старшина» или «товарищ сержант». Сашка в роте, вместо того чтобы защищать меня перед начальством, сам еще на меня наступал. Самым железным аргументом было у него: «дружба - дружбой, а служба - службой». Однако впоследствии ему самому пришлось обратиться ко мне во время боев за Севастополь. Тогда я был уже в саперной роте и в трофейных очках, бежал на передовую с очень срочным донесением к полковому инженеру. Сашка окликнул меня, попросил воды - он лежал, раненный в бедро. Санитары сделали ему перевязку и должны были за ним вернуться. Повторяю - донесение мое было очень срочным, но я не мог ответить ему: «Дружба - дружбой, а служба - службой». Воды у меня не было, а до ближайшего колодца пришлось бежать километра три. Колодец оказался весь вычерпан. Пришлось спускаться вниз, на самое дно, по веревке... В общем, когда я вернулся с котелком воды, он меня даже не узнал, был в бреду. И тогда, к своему удивлению, я узнал, что Сашка мне вроде бы приходится своим. Несмотря на то что он выдавал себя за хохла, он ни с того ни с сего начал бредить на идише (у нас в доме идиш был секретным языком, который тетя употребляла в конспиративных целях, когда хотела скрыть что-то от меня или от няни). Единственная фраза, которую я понял из Сашкиного бреда, была: «Гейт ир ин дер эрд мит айре мициес» (что на солдатском жаргоне означало: а пошли вы все на х... с вашими добрыми намерениями). До сих пор не могу понять, кому он адресовал эти слова, почти испуская дыхание. Не так я представлял фронтовую дружбу. Я думал, что окажусь среди своих в буквальном смысле этого слова, как будто бы во дворе в Новых домах. В моем представлении на войне граница между своими и чужими совпадала с передовой: по ту сторону были чужие, или враги, по нашу - свои. По наивности я всех их валил в одну кучу, раз они все наши, советские. Но оказалось, что свои своим рознь.

Читатель, вероятно, помнит, какая катастрофа меня постигла в связи с таинственной пропажей моих очков. В какую-то минуту мне казалось, что «увести» их мог только уэллсовский человек-невидимка, но все произошло куда проще: очки, как и ушанку, увели солдаты того самого отделения, с которым я был во внеочередном наряде. Просто отделение это оказалось из другой роты, в глазах которой я, разумеется, никак не был своим. Замечу к слову, что история с Сашкой меня кое- чему научила. Своих подпольных единоплеменников, которых я потом встречал немало, я научился распознавать и за нос водить себя больше не давал. Разобравшись более или менее в людях, я всей душой потянулся к животным, когда меня списали из стрелковой роты в обоз. Животные по крайней мере не скрывали своей национальности и не воровали.

Кое-какой опыт общения с миром животных я имел в детстве. Я уже упоминал, что у меня была черепаха Синь, величиной с суповую тарелку. Я с ней разговаривал по-китайски, и она меня понимала. Папа мне как-то объяснил, что черепахи живут очень долго, и поэтому моя Синь обязательно доживет до тех времен, когда во всем мире построят коммунизм. Но, к ее несчастью (а может, и к счастью), моя любимая черепаха до коммунизма не дожила. Из-за няни, которая была заражена «пережитками проклятого прошлого», как говорил папа.

Няня приехала к нам из деревни зимой, а черепаха в это время спала где-то под кроватью. Весной она проснулась и, к ужасу няни, стала ползать по комнате. Разумеется, няня, с ее богатым воображением, решила, что это нечистая сила, сатана, схватила икону и стала черепаху крестить, чтобы изгнать сатану вон. Когда же это не помогло, она шваброй вытолкала беднягу Синь на балкон и сбросила ее с пятого этажа.

Был у меня еще кот Вундеркац в амплуа троцкистско-зиновьевского двурушника. Правда, в отличие от троцкистско-зиновьевских двурушников, которых товарищ Сталин почти всех перевел в период нарушения ленинских норм, кот Вундеркац дожил до глубокой старости, ничуть не поумнев. Ужившись с Вундеркацем, я на этом основании решил, что смогу поладить и с конями и что они будут меня слушаться.

«СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ...»

Прежде чем рассказать о своей службе в полковом обозе, я вкратце опишу историю, предшествующую моему переводу.

Читатель уже знает, что мне страшно везло на всякие ЧП. Но такого ЧП не только мне, но и всем его многочисленным участникам, думаю, никогда больше в жизни не довелось пережить. Оно обошлось без человеческих жертв, но страху нагнало такого, что еще долгое время и у нас в полку, и в вышестоящих политинстанциях при одном воспоминании о нем дрожь проходила по коже. Многие мысленно благодарили судьбу за то, что все обошлось (только мысленно, поскольку Особый отдел сразу же после ЧП взял со всех подписку о неразглашении).

Дело едва не приняло политический характер со всеми вытекающими отсюда последствиями. Немало полетело бы голов, немало бы начальства загремело в архипелаг ГУЛАГ, столь талантливо описанный Солженицыным.

К счастью, параллельно с особым отделом этим ЧП занимался аппарат ЦК, и рутина партаппарата взяла верх. Дело приняло обычный в таких случаях ход: шумиха, неразбериха, выявление виновных и, наконец, наказание... невиновных. Из-за вкравшейся в текст решения канцелярской описки - вместо нашего «323-го полка» написали «319-й» - карающая десница прошла мимо нас и обрушилась на другое подразделение, в котором никакого ЧП не произошло.

Но приказ есть приказ, и 319-й горновьючный полк за срыв важнейшего политического мероприятия был расформирован и вычеркнут из списка боевых частей Советской армии. Я тоже давал подписку о неразглашении, но полагаю, что за давностью времени эту тайну теперь можно открыть: В НАШЕМ ПОЛКУ, В ПРИСУТСТВИИ ПРИБЫВШЕЙ ИЗ МОСКВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ БЫЛО СОРВАНО ИСПОЛНЕНИЕ НОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГИМНА СОВЕТСКОГО СОЮЗА!!!

Расскажу, однако, по порядку. О том, что прибывает комиссия сверху, мы определили по консистенции водки, в которую стали меньше доливать воды, а также по проблескам жира в баланде. Когда же нас неожиданно отвели в резерв командования, передислоцировали в самый глубокий тыл, какой только был возможен в условиях Керченского плацдарма, прошел слух, что прибудет лично товарищ Сталин. Последующие приготовления вроде бы подтверждали это предположение. В полк прибыл и был поставлен на офицерское довольствие духовой оркестр в парадной форме, сверкающий десятками труб и тромбонов. Следом за ним приехал фронтовой вокальный ансамбль во главе с каким-то заслуженным артистом Грузинской ССР в чине майора.

Подразделениям было приказано построиться для проверки голосов, после этого наш полк оказался на время переформированным в огромный академический хор. К моему собственному удивлению, у меня были обнаружены вокальные данные (видимо, сказалась наследственность: мамин дядя со стороны бабушки был кантором в Одесской синагоге). Благодаря этому я оказался в первом ряду первых голосов. Каждому солдату под расписку - чтобы не искурили - выдали листок с текстом государственного гимна СССР, и начались разучивания, спевки и репетиции.

Наконец под большим секретом нам объявили, что слухи о предстоящем прибытии товарища Сталина на Керченский плацдарм неверны, но приедет очень высокая правительственная комиссия, проверяющая исполнение нового государственного гимна СССР на всех фронтах. Политбюро и лично товарищ Сталин придадут пению гимна исключительно важное политическое значение. Комиссия будет проверять по одному полку на каждом фронте, и наш полк специально выделен для показа как гвардейский. Задача - не уронить чести фронта и выйти на первое место.

Конечно, и командование и солдаты изо всех сил старались эту задачу выполнить. Нужно было показать правительственной комиссии, что на нашем плацдарме каждый стрелковый полк может исполнить государственный гимн СССР не хуже Краснознаменного ансамбля песни и пляски имени Александра. На генеральной репетиции присутствовал сам член военного совета генерал-полковник Мехлис и остался доволен.

Все было приготовлено к приему комиссии, вплоть до воздушного и артиллерийского прикрытия на случай вражеского обстрела или налета авиации на расположение полка. Комиссия должна была прибыть к вечерней поверке, во время которой планировалось вынести боевое знамя и исполнить гимн. Но день ее

прибытия держался по понятным причинам в секрете. Место торжественного построения тоже оказалось засекреченным.

Наши саперы работали день и ночь, оборудуя расположение полка. Была сооружена триумфальная арка, построен блиндаж с надежным перекрытием. Однако их труд оказался напрасным. Чтобы дезориентировать вражескую разведку, место построения в последний момент переменили.

Командование и политорганы, отвечавшие за проведение мероприятия и предусмотревшие решительно все, упустили из виду мелочь, которая и сыграла роковую роль.

Вначале все шло по плану. Как только над Азовским морем спустилась ночь, послышался рокот моторов. Это были «виллисы» с комиссией, прибывшей в сопровождении охраны. Кто персонально в нее входил, так и осталось тайной. Смотр проводился ровно в полночь. Я, честно говоря, ничего не видел, но слышал все очень хорошо.

Начались переключки и рапорта, как на обычной вечерней поверке. Затем дежурный по полку отдал рапорт заму по строевой части майору Хавкину, на свое несчастье, временно исполнявшему тогда обязанности командира полка. Майор Хавкин отпартовал председателю правительственной комиссии, что полк готов к исполнению государственного гимна Союза ССР. Затем последовала команда: «К выносу боевого знамени», и барабаны в оркестре забили дробь. Знамя должно было быть вынесено в центр построения, где стояла полковая рота автоматчиков. Их теперь изображал армейский вокальный ансамбль, которому по этому случаю повесили автоматы.

И вот трубы и тромбоны повели величественную мелодию государственного гимна, а рота автоматчиков во главе с заслуженным артистом Грузинской ССР запела первый куплет: «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки могучая Русь...» В этом месте вступили мы. «Да здравствует созданный волей народов великий, могучий Советский Союз...» - запел я вместе со всеми первыми голосами. Затем подключились вторые голоса, и весь хор мощно грянул припев под звон литавр и грохот барабанов: «Славься, Отечество наше свободное...»

Но как только запевающая группа начала второй куплет, оркестр словно рехнулся. Не только я, весь полк решил, что музыканты тронулись. Трубы и тромбоны взревели дикими голосами и пошли валять кто в лес, кто по дрова... И вместо величественной мелодии началась такая какофония, что пение стало невозможно продолжать. Хор попытался переорать оркестр, чтобы как-то спасти положение, но сорвался и смолк на словах «нас вырастил Сталин...».

И только тогда кто-то догадался, что дело совсем не в оркестре, а в том, что в лощине заорало стадо ишаков. Пока их уgomонили и разогнали, правительственной комиссии и след простыл...

Говорили, будто охрана, не разобравшись, приняла ишачи- ный рев за сирены воздушной тревоги, и комиссию срочно эвакуировали из зоны непосредственной опасности.

На этом смотр окончился, правительственная комиссия вылетела на другой фронт, и весь полк и причастное к этому мероприятию вышестоящее политначальство в страхе ожидало, что же теперь будет.

Лично для меня это кошмарное ЧП окончилось тоже неожиданно. После того как я не удержался в штабных из-за истории с полковничьим колесом, меня по окончании смотра решили вообще списать из полка. Но вдруг я был вызван к комсorghу полка лейтенанту Кузину:

— Решено укрепить партийно-комсомольскую прослойку в обозе, - сказал лейтенант. - Комсомольское бюро рекомендует направить тебя во вьючный взвод. Ты парень подкованный политически и по-русски говоришь, а у нас в обозе одни елдаши собрались, всякие там туземцы и татары. Говоришь с ними по-человечески, а они в ответ: «Моя твоя не понимает». В общем, после ЧП морально-политическое состояние надо срочно поднимать, а также изжить позорные факты скотоложства и прочие упущения в комсомольской работе.

В обоз я не отказывался идти, я всегда любил лошадей, но убедить Кузина в том, что никогда не был комсомольцем, оказалось невозможно.

— Как так не был? Ты же комсorghом эшелона ехал. Факт! Ежели комсомольский билет утерьял, имей мужество честно признаться, как нас партия учит. Дадим строгача, а после снимем, когда оправдаешь доверие...

В конце концов пришлось «честно признаться», что утерьял комсомольский билет, чтобы от Кузина отвязаться. Мне выдали новый «взамен утерьянного» и вклеили строгий выговор с занесением в учетную карточку.

Я всегда боялся вступать в комсомол, так как при этом надо было рассказывать автобиографию и заполнять анкеты с роковым для меня вопросом: «Есть ли репрессированные родственники?»

Когда я уходил в армию, тетя мне твердила: «Лева, заруби себе на носу, что никаких репрессированных родственников у тебя не было, нет и не будет! Ты понял? Иначе будешь иметь неприятности». А тут такое случилось, что я пошел в комсомол без всяких анкет!

ИШАЧИНАЯ ДИВИЗИЯ

Итак, я стал служить в горно-вьючном транспортном взводе в качестве комсомольской прослойки между елдашами и ишаками. Не знаю, прав ли был Кузин насчет позорных фактов скотоложства - в отношении нацменов такое предубеждение почему-то бытует до сих пор (по-моему, это просто отрывка великодержавного шовинизма). Но насчет того, что с елдашами трудно было договориться, он оказался прав.

Во вьючном транспорте в основном оказались нацмены с Кавказа, насколько я понял - сплошь зараженные предрассудками и пережитками прошлого в их отсталом сознании. Политрабату с ними

проводить было довольно трудно, поскольку они вообще по-русски ни в зуб ногой не понимали либо делали вид, что не понимают. Только исполнявший обязанности командира взвода сержант Мамедиашвили кое-что кумекал, но и с ним установить контакт было почти невозможно. Он был весь увешан медалями и держался с таким высокомерием, будто командовал не несколькими десятками ишаков, а по крайней мере кавалерийским корпусом.

И все-таки я отважился к нему подступиться.

— Москва! - сказал я, показывая на свою грудь.

— Еврей? - понимающе переспросил сержант.

Я не стал скрывать свою национальность, подобно Сашке.

— Еврей. Из Москвы, - подтвердил я.

— Еврей из Москва - плахой чэлавек! - презрительно сказал Мамедиашвили и больше не удостоивал меня разговором.

Между прочим, многие из ишачников (так в обозе называли солдат, работавших с ишаками, в отличие от коноводов) носили подобные же фамилии: Намиашвили, Утиашвили, Додашвили. Зная знаменитую грузинскую фамилию Джугашвили, которую прежде носил товарищ Сталин, я не сомневался, что все они из грузинских племен, и только много позже, когда я уже эмигрировал в Израиль, установил, что все они были моими братьями, с которыми я объединился на своей исторической родине.

Ишаки сперва меня тоже не признавали. Это были те самые животные, из-за которых случилось ЧП, и теперь они находились в обозе как на положении штрафников. Конечно же, нельзя было бы обвинять этих животных в том, что именно они виноваты в срыве важнейшего политического мероприятия, которому придавало такое большое значение политбюро и лично товарищ Сталин, но все же определенная доля вины на них легла.

Ишаков не таскали по Особым отделам, так как даже Особый отдел, который обычно знает, что к чему, не решился заподозрить их в преступном умысле. Но определенные оргмеры в отношении них были приняты без промедления: специальным приказом по полку, последовавшим сразу же после ЧП, ишаки впредь и навсегда были удалены от мест построений личного состава не менее чем на два километра.

Приказ предназначался не столько для ишаков, сколько для высоких обозных инстанций, откуда после ЧП могли последовать всякие ревизии.

Исполнение этого приказа и было возложено на меня - я должен был пасти ишаков в светлое время суток - от рассвета до заката. В темное время суток за ишаков отвечали елдаши под командованием Мамедиашвили. Они под покровом темноты гоняли ишаков со склада боеприпасов на передовую и обратно, доставляя патроны, мины и снаряды.

Другая мера, в приказе не упомянутая, покарала ишаков куда чувствительнее. Полковой начпрод сразу же после ЧП, проявив политическую сознательность, приказал снять ишаков с Фуражного довольствия и полностью перевести на подножный корм.

- Где ж это видано, где ж это слышано, чтоб ишаков кормили овсом? - заявил он, перефразируя известное стихотворение Маршака. - Мы коням лучше норму прибавим.

Эта непродуманная мера едва вторично не привела к трагическим последствиям как для полка в целом, так и для меня лично.

Начпрод не учел того обстоятельства, что подножный корм в это время года почти отсутствовал, а работа у ишаков была тяжелая - несмотря на свой малый рост, они поднимали грузы большие, чем кони, но о последствиях начпродовского приказа позже.

Пока лишь замечу, что, находясь в обозе, я пришел к заключению: институт придурков в армии настолько всеобъемлющ, что охватывает не только личный, но и конский состав. Это было очень заметно в нашем обозе при сравнении статуса коней с положением ишаков. Ишаки трудились в поте лица, но фуражное довольствие и почет доставались коням. «Кони сытые бьют копытами, встретим мы по-сталински врага!» - пелось в песне. Не думаю, чтобы поэты Лебедев-Кумач или Фатьянов решились бы даже упомянуть ишаков. Особенно рядом с именем товарища Сталина.

Ишаки были изгнаны и из наградной документации. Дело в том, что при оформлении подвига, согласно канцелярской традиции, которой строго следовали писаря, герою полагалось произнести возглас: «За Родину, за Сталина!» Но разве писарь (если он в здравом уме) посмел бы, к примеру, написать в наградном листе: «Гвардии сержант Мамедиашвили с возгласом «За Родину, за Сталина!» прорвался на ишаках сквозь вражеский заслон. И сержанта Мамедиашвили «усаживали» на коня...

Говорят, Мамедиашвили по получении наградного приказа был возмущен допущенной несправедливостью и даже ходил жаловаться замполиту. «Ишак работал, - заявил он, - а лошадь награда получил?!» Но его протест был оставлен без последствий.

Таким образом, в нашем обозе кони являлись как бы придурками-ветеранами, их жизнь тщательно оберегали. Если конь отдавал концы, назначалась комиссия, приезжал дознаватель: не была ли допущена преступная небрежность? Могли и к ответственности привлечь, и в штрафную сунуть, если дознавателю не поставишь пол-литра. А ишаков списывали в сход, как простых солдат, без всякого отчета. С этими животными мне все-таки удалось наладить контакт. Наблюдая за щакками, я обнаружил, что они тоже отличаются друг от дружки по породам, словно люди по национальностям. Мои выводы подтвердил ветфельдшер Мохов.

Оказалось, что когда-то, до войны, полк стоял в горах на границе с Китаем, и часть ишаков происходила оттуда. Это были маленькие пятнистые существа, ужасно голосистые. Орала они, как иерихонские трубы. Другая порода была из Ирана, где полк стоял до войны. Иранцы были черной масти и тоже орала, но тише

китайцев. Еще были серые, обычные ишаки, наши, советские, из Средней Азии и с Кавказа. Эти предпочитали помалкивать. Я обнаружил, что в стаде верховодят китайцы и жожаком, которому все беспрекословно подчиняются, является одноухий ишак по кличке Хунхуз.

Вспомнив свою черепаху Синь, я решил поговорить с ним по-китайски, может быть, он меня поймет? Правда, китайские слова я почти начисто позабыл. Однажды, когда он чесался боком о камень, я спросил: «Шиза ю?» («Блохи есть?» По-китайски это было одно из матерных ругательств, которых я набрался в портовых забегаловках, куда меня таскала моя китайская няня.) В ответ Хунхуз стал энергично чесаться об меня - значит, понял!

Я припомнил еще несколько матерных китайских слов... В отличие от Мамедиашвили и елдашей, он меня признал своим, и стадо стало мне повиноваться.

Однако Хунхуз оказался существом коварным и моим доверием злоупотребил. И все из-за начпрода, лишившего ишаков Довольствия.

В один прекрасный день ко мне зашел ветфельдшер Мохов поиграть в шахматы, и мы с ним немного увлеклись. Хунхуз, улучив момент, побежал в расположение полка, а за ним все стпдо. Когда я хватился, ишаков и след простыл. Голодные ишаки прорвались на продсклад и успели уничтожить весь запас лаврового листа и махорки.

Но самое страшное произошло не на продскладе, а в палатке где хранилось полковое знамя. В поисках съестного ишаки прогрызли брезент за спиной у спокойно дремавшего часового дотянулись до полкового знамени и стали его жевать. Если бы им удалось сжевать наше боевое гвардейское знамя до конца, наш полк за его утрату на этот раз уже не избежал бы расформирования! А я бы не избежал трибунала, может быть, меня бы даже расстреляли.

Не знаю, что было бы со мной, если бы не заступился лейтенант Кузин, который, несмотря на строгач с занесением в личное дело, сразу же зачислил меня в комсомольское бюро, так сказать, в свою «номенклатуру».

Ветфельдшер Мохов тоже здорово меня выручил, представив в штаб акт, подтверждавший, что ишаки в момент этого ЧП из-за голода находились в невменяемом состоянии по вине начпрода. Так печально для меня окончилась обозная идиллия.

Но мне повезло. Именно в этот момент лейтенанту Кузину 420 потребовалось укрепить комсомольскую прослойку в похоронно- трофейной команде, и я был переброшен туда.

Чтобы не возвращаться больше к обозу, позволю себе забежать вперед и сообщить читателю о не совсем обычной судьбе нашего горновьючного транспорта и его дальнейшем боевом пути после моего ухода.

Дело в том, что и после Второй мировой войны в отношении наших ишаков была допущена очередная и при том вопиющая несправедливость. «Никто не забыт, ничто не забыто», - гласит известный патриотический лозунг. В связи с этим я не могу не вспомнить, что читал рассказ о верблюде, который в составе одной из воинских частей дошел до Берлина. О роли собак я уже не говорю. Но вряд ли кто-нибудь встречал в литературе упоминание о наших гвардейских ишаках. (Для меня туг вопрос не только в ишаках, но и в принципе!)

Конечно, не все, воевавшие на 4-м Украинском фронте, слышали о такой 128-й гвардейской горнострелковой дивизии, переброшенной туда из Крыма. Много было гвардейских дивизий с трехзначными номерами. Но я берусь утверждать, что почти все, воевавшие на нашем фронте, слышали о знаменитой «Ишачиной дивизии». Так вот, могу сообщить, что «Иша- чинная дивизия» - это и есть 128-я гвардейская, благодаря ишакам вошедшая в неписаную историю Великой Отечественной войны. В официальной истории ишакам места не оказалось - все их заслуги, как всегда, приписали коням. Возможно, кое- кто до сих пор не может простить им ЧП с государственным гимном или факт пленения их врагом? Или то обстоятельство, что часть из них в результате военных действий занесло в империалистическую Америку, где их потомки проживают и по сей день?

Кому, к примеру, из числа историков Второй мировой войны известно, что в Воронцовском дворце, где состоялась знаменитая Ялтинская конференция с участием Черчилля, Рузвельта и товарища Сталина, располагалась до этого наша полковая конюшня? Конечно, этот факт сам по себе ни о чем не говорит и ни в какой связи с мировой политикой вроде бы не находится.

Но если внимательно проанализировать ход конференции, на которой товарищ Сталин объегорил и президента Рузвельта, и Уинстона Черчилля, навязав им условия послевоенного раздела мира на сферы влияния и добившись от них ряда уступок, то невольно могут возникнуть некоторые аналогии относительного порядка.

Я имею здесь в виду нашумевшее по всей дивизии ЧП в нашей полковой конюшне. Солдаты тогда посмеялись до слез. (Надо отметить, что в результате решений Ялтинской конференции пролили слезы десятки миллионов людей, но отнюдь не от смеха.)

Началась вся эта история, когда кобыла замполита ожеребилась каким-то длинноухим ублюдком пятнистой масти. Ветфельдшер Мохов утверждал, будто отцовство в данном случае явно принадлежит ишаку. Офицерские коноводы сперва подняли его на смех: мол, ишак ввиду его малого роста не может покрыть кобылу и такое утверждение просто оскорбительно для лошадиного достоинства. Тогда ветфельдшер установил в конюшне специальное наблюдение и составил акты, доказывавшие, что ишаки вполне могут покрывать кобыл, если при этом используют подставки и таким образом сравниваются с кобылами в росте. Подставкой ишаку вполне могут служить мраморные лестницы Воронцовского дворца, садовые скамейки. постаменты от статуй либо просто какой-нибудь ящик, каковой хитрый ишак изловчится подтащить зубами к кобыле. Ветфельдшер объяснял поведение ишаков, ссылаясь на учение академика

Павлова. Он приводил известный пример с обезьяной, которая доставала лакомство при помощи ящика и палки.

- Труд создал из обезьяны человека, а из человека - ишака. Следовательно, ишак тоже происходит от обезьяны и как обезьяна действует, - утверждал Мохов.

Шутки шутками, а ведь если разобратся, то товарищ Сталин объегорил в Воронцовском дворце Рузвельта и Черчилля тоже при помощи хитрости?

ПРИДУРОК ПРИ «НАРКОМЗЕМЕ»

Видимо, факт рождения под сенью смерти великого вождя и учителя в какой-то мере предопределил и мою фронтовую судьбу. По ее воле я временно оказался в полковой похоронно- трофейной команде, на этот раз в качестве комсомольской прослойки между все теми же елдами, работавшими в ней могильщиками, и беднягами, кого безжалостная война определила в «наркомзем».

«Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины» - эти бессмертные слова товарища Сталина, согласно похоронной инструкции, надлежало писать на каждом фанерном обелиске, венчающем и «братские могилы лиц рядового и сержантского состава, и персональные захоронения останков состава командно- начальствующего». Так гласила инструкция. А старшина Поликарпыч, командовавший елдами, к словам товарища Сталина каждый раз присовокуплял от себя: «Упокой, Господи, души рабов своя» и крестился на пятиконечную звезду под временным фанерным обелиском.

Хотя в братских могилах лежали не только православные но и магометане, и евреи, старшина был твердо убежден, что в небесной канцелярии разберутся и каждый будет определен куда ему положено.

... Я попал в эту шарагу в разгар похоронной страды, наступавшей всегда после выхода полка из боев и отвода его во второй эшелон на отдых. Поэтому мне лопатой работать уже почти не досталось. Лопату я вскоре сменил на перо и был переброшен в помощь писарю, буквально выбивавшемуся из сил от титанической работы. Для тех, кто не знает, сколько формальностей и проблем встает на пути человека, отправившегося в мир иной, и сколько хлопот падает на голову его близких, вернусь к похоронным проблемам, и даже не военного, а семейного порядка. Похоронные проблемы были сложны, а там, где что-то осложняется - пусть извинит меня читатель за цинизм, - появляется придурок. Спустя много лет после войны я буквально сбился с ног, когда хоронил своего папу. Эта эпопея, которую я окончил в рекордный срок, менее чем за год, стоила мне, наверно, нескольких лет жизни, не говоря уж о деньгах, израсходованных на многочисленные поллитровки и закуски. Чтобы увековечить память своего папы, старого большевика с дооктябрьским партстажем, персонального пенсионера и почетного комсомольца и пионера, я совершил почти невозможное и только благодаря своему военному опыту в похоронной команде. Несмотря на отказ председателя Моссовета товарища Промыслова предоставить моему папе соответствующее его революционным заслугам место в крематории, он это место получил. Директор крематория даже пошел со мной на спор, заявив, что ставит девяносто девять против одного, что мои хлопоты будут напрасными. И он проиграл.

Конечно же, он решил, что я бог знает кто, а дело было очень простое: один мой приятель из «Московской правды» позвонил в Управление бытового обслуживания кому следует и резолюция была получена.

К слову, когда я зашел к директору напомнить о нашем пари, оказалось, что его уже посадили. Этот номенклатурный работник МК партии по совместительству направлял деятельность похоронных кадров определенным образом. Как именно, я не могу отказать себе в удовольствии изложить в деталях.

После того как под звуки полонеза Венявского и рыданий родственников гробы с телами покойных спускались в преисподнюю и створки в полу смыкались, сотрудники крематория, сидевшие в подвале, приступали к работе. Покойников раздевали догола, и похоронный инвентарь вновь поступал в продажу, а выручка делилась.

На кремацию в таком виде уходило меньше электроэнергии, и директор, помимо прочего, получал большие премии за экономию, а крематорий по результатам соцсоревнования был награжден переходящим Красным знаменем ВЦСПС. Когда я был студентом Московского полиграфического института и руководил бригадой агитаторов по выборам в Верховный Совет СССР, моей бригаде достался тот еще участок - общежитие Треста похоронных погребений, находившееся в Безбожном переулке. В бараке жили могильщики и могильщицы - женщины тоже трудились на этом нелегком поприще.

После окончания рабочего дня похоронщики веселились. Гульба была такая, что барак ходуном ходил, мат стоял - хоть топор вешай, и мои агитаторши, девочки из приличных семей, даже близко к этому вертепу не решались приблизиться.

Барак был затоплен нечистотами, громадные крысы кишмя кишели в нем. Избиратели-могильщики в один голос заявили мне, что голосовать за депутата блока коммунистов и беспартийных не пойдут, если у них в бараке не вычистят выгребную яму. Депутатом у нас был знатный слесарь с завода «Калибр», зачинатель всесоюзного почина передовиков.

Я бросился в райисполком, обивал пороги, писал заявления, однако, кроме обещания включить мою яму в план ассенизационно-ремонтных работ, ничего не добился. Выборы уже были на носу, и дело для меня запахло порохом. Тогда я пошел к избирателям и попросил их меня не подводить, как бывшего собрата. Мое фронтовое похоронное прошлое (и пара бутылок «плодоягодного» в придачу) в конце концов выручило: избиратели-могильщики все, как один, явились на выборы еще до открытия избирательного участка, где

оказались операторы кинохроники. Мы попали в киножурнал «Новости дня» в кадр «Они были первыми», который долгое время демонстрировался во всех кинотеатрах.

Работа моей бригады агитаторов была отмечена почетной грамотой МК ВЛКСМ.

Трудности и проблемы, связанные с увековечением памяти павших в боях за Родину, носили иной характер, но тоже требовали от бойцов похоронного подразделения полного напряжения всех сил. Я имею в виду не только работу по выносу тел с поля боя и рытье могил в каменистом грунте. В вышестоящие похоронные инстанции требовалось представить горы формуляров, актов, отчетов с приложением копий топографических планов и схем захоронений. Каждое фронтовое кладбище должно было быть точно привязано к географическим координатам. Каждая могила точно пронумерована на плане, каждый захороненный опознан, сверен с учетными данными и обозначен двойной нумерацией.

Списать солдата в расход ротному писарю ничего не стоило, - проставляли соответствующую цифру, и дело с концом. Но чтобы списать его в вечность, на вечную славу, писарям похоронной команды приходилось трудиться по трое суток без сна. И если бы, например, стихийное бедствие стерло кладбище с лица земли, то по документации и планам, хранящимся в секретных архивах, все равно можно было бы безошибочно разыскать, где захоронен солдат Иванов, сержант Петров или лейтенант Сидоров, и увековечить их имена.

Именно так я себе это и представлял, иначе зачем же на каждого покойника писать столько бумаг, да еще с грифом «секретно»?

Но вот много лет спустя меня потянуло к местам боевой славы: я хотел взглянуть на бывший Керченский плацдарм вспомнить былые времена. Не скрою, за эти годы многое изменилось. Развалины превратились в жилые дома, выросли деревья. Я разыскал место, где у меня украли очки, и даже неглубокую ямку, где был блиндаж, в котором мы сидели в боевом охранении. Но кладбище героев, над созданием которого мы все так самоотверженно поработали, провалилось как сквозь землю. Оно пошло под застройку, на этом месте воздвигли новый магазин «Сельпо» и пивной ларек.

Правда, в удалении, километрах в полутора, я заметил обелиск, сооруженный из камня и окруженный массивными чугунными цепями: «Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины», но о самих героях позабыли упомянуть.

Потом я пошел на то место, где погибла вся 16-я армия в конце 1942 года. Думаю, тысяч двадцать, а может, и тридцать там погибло. Глядя на безымянный обелиск, я вспомнил слова лучшего, талантливейшего поэта нашей советской эпохи Владимира Маяковского, которому было «наплевать на бронзы многопудье и мраморную слизь». Но, как мы все теперь знаем, солдаты 16-й армии, как и сорок миллионов других, погибли не зря.

Пускай нам общим памятником будет

Построенный в боях социализм.

Социализм-то, конечно, социализм, но почему все-таки прославляют неизвестных солдат (даже без указания фамилии), а имена известных со всеми формулярами хранятся в секретных архивах?

Такое положение в будущем может привести к определенному конфузу.

Когда я находился в Ташкенте, в эвакуации, в нашем «тамарахануме» (дом, куда поселили сотрудников Академии наук СССР, был построен для балетной школы имени народной артистки Тамары Ханум) жил очень интересный ленинградец, потом переселившийся в Москву, доктор Герасимов. Он по черепу мог восстановить точный портрет человека. Тогда он, к примеру, вылепил Тамерлана. После войны он по черепу восстановил облик князя Юрия Долгорукого, основателя Москвы, памятник которому был воздвигнут перед Моссоветом в честь 800-летия города.

А после того как памятник воздвигли, выяснилось, что Юрий Долгорукий-то был монголоидного происхождения, то есть относился к желтой расе. Тогда у нас с китайцами была «дружба навеки», памятник оставили. К чему я это все говорю? Может быть, через сто лет любознательные потомки захотят по методу профессора Герасимова восстановить портрет Неизвестного солдата. И вот тогда-то мы и можем оказаться перед лицом определенного конфуза: где гарантия, что Неизвестный солдат не окажется евреем?

На Керченском плацдарме моя похоронная деятельность окончилась в феврале 1944 года, незадолго до нашего наступления и освобождения Крыма.

Поскольку я был бойцом похоронно-трофейной команды, я хотел бы упомянуть об одной довольно многочисленной категории военнослужащих, тоже приписанных к «наркомзему».

Теперь-то об этом можно говорить открыто, но во время войны если кто-нибудь посмел бы заикнуться, что помимо «наркомздрава» и «наркомзема» для солдата есть третий выход, ему бы Особого отдела не миновать. Но третий выход имелся, и именно в него, спасаясь от «наркомзема», незаконно улизнули несколько миллионов человек.

Нет бы поступить в «наркомзем» и способствовать «повышению урожайности колхозных полей в качестве удобрений», как говаривал наш особист капитан Скопцов. А эти предатели посмели нарушить присягу и сдались в плен!

С другой стороны, и маньяк Гитлер такую ораву кормить не собирался. Он нахально потребовал через международный Красный Крест, чтобы товарищ Сталин взял советских военнопленных на свое довольствие. Товарищ Сталин отказался это сделать, несмотря на то что в числе военнопленных находился его родной сын Яков, от первого брака. Он остроумно заметил, что никакой Яков в природе вообще не существует, есть только предатель Родины.

Поскольку предатели Родины числились за «наркомземом» не в качестве придурков, а в качестве покойников, никакого довольствия им не полагалось, и как только они оказывались в нашем распоряжении, их прямым ходом отправляли в тот же «наркомзем» по назначению.

Я - САПЕРНЫЙ ПРИДУРОК

Как я отмечал, вспоминая своего друга детства и покровителя Карла Маркса, в моей жизни почему-то все происходило наоборот.

«Сапер ошибается только дважды: первый раз, когда идет в саперы, и второй - когда подрывается и кончает могилкой», - говорил командир саперной роты гвардии капитан Семькин. Я, можно сказать, начал с конца - пришел в саперы «из могилы». Возможно, только поэтому год спустя не подрывался вместе с майором Семькиным, тогда уже начальником инженерной службы полка.

После моего падения с пьедестала в качестве создателя «Аллеи героев» имени Александра Матросова до самого дна придурочной иерархии кривая моей солдатской карьеры снова пошла вверх.

Собственно говоря, полковой инженер капитан Полежаев приметил меня давно, поскольку инженеру требовался солдат, умеющий чертить и рисовать. Но из-за кражи моих очков все сорвалось. И вот неожиданно-негаданно я снова прозрел! Правда, не полностью, но мог уже, к примеру, вблизи узнавать людей и даже знаки различия на погонах. На свое счастье, я нашел какие-то странные немецкие очки, хранившиеся в проржавевшей железной коробке, которая валялась среди так называемых трофеев в одной из наших повозок. Очки были необычной формы, огромные и с тесемками вместо «оглоблей», поэтому в них меня часто принимали за переодетого немца и задерживали для Уяснения личности. На передовой в них вообще появляться было опасно - могли свои же и подстрелить.

Прозрев, я на радостях схватил альбом, краски и нарисовал первое, что мне пришло в голову: сержанта Мамедиашвили верхом на Хунхузе, на котором он обычно ездил. Просто, как колоритную фигуру, без всякого умысла. Рисунок мой с подписью «Командующий гвардейскими ишаками» пошел по рукам и имел в полку колоссальный успех. Сам Мамедиашвили, вместо того чтобы обидеться, пришел в восторг и забрал рисунок себе. Пусть читатель представит себе мое состояние, когда спустя год, листая украдкой немецкий журнал, издаваемый на русском языке для власовцев и «восточных добровольцев», я узрел в нем... свое произведение, под которым красовалась моя собственноручная подпись «Л. Ларский»(!!!) Под моим рисунком было напечатано: «Командир истребителей- «ишаков» верхом на осле». (Как известно, «ишаками» называли советские истребители И-16. Видимо, немецкая пропаганда перепутала наших ишаков с самолетами.) Добавлю, что наш горно-вьючный транспорт в то время числился пропавшим без вести. В конце войны Мамедиашвили объявился с частью елдашей и ишаков, бежав из плена.

Между похоронно-трофейной командой и саперной ротой оказалось много общего. Только саперы рыли не братские могилы, а НП (наблюдательный пункт), КП (командный пункт) командира полка и землянки для начальства. Что же касается трофеев, то у саперов эта работа была налажена намного лучше, чем в похоронно-трофейной команде. Саперы шли впереди, поэтому и трофеи брали первыми. На любом объекте они могли написать слово «мины!», которого было достаточно, чтобы избавиться от всех прочих претендентов. Трофеи трофеями, а жизнь все-таки дороже.

Конечно, полковое начальство, которое само жаждало приобщиться к завоеванному имуществу, подозревало о таких хитростях и время от времени пыталось саперов «раскулачить», как выражался наш замполит Пинин.

Трофеями у нас ведал сам старшина роты по кличке Мильтстарая милицейская лиса. В гражданке Мильт был станичным милиционером на Дону и по совместительству подрабатывал конокрадством.

Когда-то он сам занимался раскулачиванием, отыскивал запрятанное кулаками добро и его реквизировал. Как припрятать от начальства трофеи, его учить не надо было. На фронте существовал термин «организовать трофеи» от немецкого слова «organisieren».

У нас «организацией» трофеев занимался большой специалист по части отчуждения социалистической собственности сержант Бессеневич (или Бес, как все его называли). До армии Бес был высококвалифицированным вором-рецидивистом и прибыл на фронт из Воркутлага, и естественно, трофейные операции обычно поручались отделению, которым он командовал.

Содружество представителей двух миров - уголовного и милицейского, как это обычно бывает, приносило хорошие плоды. Трофеи делились между всеми саперами согласно основному принципу социализма: «От каждого по способностям - каждому по его труду».

Когда было разрешено посылать с фронта трофейные посылки, Мильт занялся этим делом вместе с ротным парторгом; в порядке установленной очередности и в соответствии с социалистическим принципом наша партийно-милицейская прослойка собирала каждому саперу посылку и отправляла через полевую почту на адрес его семьи.

Мне тоже что-то выделили, но я от своей очереди отказался по принципиальным соображениям (так как это добро попросту отбиралось у местного населения), хотя семье моей тети что-нибудь из этого добра не помешало бы в те годы.

К моим чудачествам к тому времени в роте уже привыкли, но на этот раз мне пришлось поочередно объясняться с парторгом и старшиной. Со своей принципиальностью я дошел до того, что первым полез объясняться с руководством. Речь моя выглядела примерно так.

- В Крыму мы брали трофеи на немецких складах, это я еще понимаю, - сказал я парторгу. - В Германии - тоже трофеи. А мы ведь грабим трудящихся чехов и поляков. Разве это пролетарский интернационализм?

Парторг непонимающе посмотрел на меня и вдруг сказал: «А что, по- твоему, товарищ Сталин дурее нас с тобой? Раз на посылки разрешение дадено - нечего тут мудрить! Наша кровь подороже ихнего добра. Ты советский патриот или кто?»

Мильт после со мной поговорил.

— Ларский, хошь философию разводить - твое дело. Другим больше достанется. Но сор чтоб из избы не выносил. Капитану Скопцову чтобы ни-ни... (Замечу вскользь, что Мильт по совместительству был в роте резидентом капитана Скопцова, полкового особиста. Он-то хорошо знал, что капитану можно говорить, а что нельзя.) О работе возглавляемой Мильтом агентурной сети Скопцова, в которую, как комсорг, входил и я вместе с парторгом, речь пойдет впереди. Хочу только добавить, что парторг о нашем с ним разговоре насчет пролетарского интернационализма тут же доложил особисту. Он также просигнализировал в комсомольское бюро полка о наличии у меня «нездоровых настроений».

Вернусь, однако, к своей деятельности ротного придурка.

Полковой инженер взял меня в саперную роту в качестве заштатного писаря и связного против воли Мильта. Донской казак, он был закоренелым антисемитом и к евреям относился с неким суеверным ужасом, подобным страху перед тарантулами. Однако, по его собственным словам, он умел с собой совладать, и чувства свои выражал весьма деликатно. Я, например, никогда от него не слышал слова «жид», а всегда - «ваша нация».

— Я вашу нацию наскрозь вижу, - обычно заявлял Мильт. - Как воротишься в Москву-то опосля войны, небось сразу в правительство полезешь!

— Б...дь буду, не полезу, товарищ старшина! - божился я, но Мильт продолжал свое. Знал бы он, что я давным-давно побывал и в «наркомах» и в правительствах, и все это уже пройденный этап моей жизни. Но мало-помалу Мильт все-таки уразумел, что моя работа укрепляет позиции капитана Семькина в вышестоящих инстанциях. Мильт держался на капитане, стало быть, в конечном счете и я работал на него. Поэтому скрепя сердце он примирился с моим существованием.

Работа же моя заключалась в том, что я вел всю отчетность и документацию за полкового инженера Полежаева, который, будучи в обиде на судьбу, время от времени впадал в запой. То ли он был в плену, то ли в партизанах, но направление в полк он воспринял как несправедливое понижение по службе. К тому же и дивинженер оказался его бывшим подчиненным, и этот факт еще больше бередил его душевную рану. В трезвом виде Василий Титович Полежаев был человеком весьма остроумным и интеллигентным, но в период запоя страшно буйствовал, и если, не дай Бог, в руках у него оказывалось оружие, подступиться к нему бывало просто опасно.

— Я офицер германской армии! - кричал Василий Титович и стрелял в приближавшихся.

Он успел обучить меня составлению боевых донесений, схем и планов и затем на долгое время отошел от дел, предоставив мне полную свободу действий, и был очень доволен тем, что мне придется дурачить дивинженера, подделывая его подпись.

А я стал регулярно и в срок доставлять дивинженеру боевые донесения, отчеты и всю прочую документацию. Дело дошло до того, что наш полк начали ставить в пример по части инженерного обеспечения. Приказом 428 командира дивизии полковому инженеру и командиру саперной роты была объявлена благодарность. Василий Титович смеялся до слез над дивинженером.

— Во, как мы его у...ли!

А дивинженер прекрасно знал, кто составляет боевые донесения и их подписывает, но притворялся, будто не знает. Зато с его писарем Чернецовым, составлявшим сводки для корпусного инженера, мы работали в открытую.

— По минам не дотягиваем, - говорил, к примеру, Чернецов. - Сколько там у тебя в полку снято?

— 256 снято, из них 31 противотанковая, - отвечал я.

— Накинь еще сотни полторы!

Я накидывал, что мне стоило?

Если по земляным работам не дотягивали, я тоже подкидывал ему в отчет кубов 100 или 200 - сколько требовалось. Вот так мы и вышли на первое место среди саперных подразделений во всем корпусе!

Мои схемы очень нравились в вышестоящих штабах, и моего шефа постоянно хвалили за «штабную культуру». Правда, в отличие от капитана Котина, за которого я играл в штабную игру, Полежаев действительно обладал штабной культурой и, если бы захотел, мог делать всю эту работу намного квалифицированной меня. Но из-за своих «вынужденных отпусков» он без меня просто не мог. И когда наконец был назначен дивинженером 318-й Новороссийской дивизии, намеревался забрать с собой и меня. Но встали на дыбы командир роты и наш дивинженер.

«Пока у меня Ларский, я за полк спокоен, - заявил дивинженер. - Если даже ни одного сапера не останется, работа не остановится: все отчеты будут в порядке...»

И я понял, что на фронте один придурок, умеющий писать донесения, равен как минимум целой роте!

Когда я отправился с передовой в тылы относить донесение дивинженеру, шеф поручил мне попутно секретное задание. Он дал мне пустую флягу и записку к начпроду - Мильт не должен пронюхать об этой операции, у моего шефа со старшиной по части спиртного сложные расчеты.

Я сделал, как мне было приказано. На обратном пути я зашел в ротную хозяйку - у старшины сидел гость, сержант-придурок со склада. С Мильтом мы ладили как кошка с собакой, поэтому я очень удивился, когда он пригласил меня к столу и поднес чарку водки.

Разговор коснулся Василия Титовича, причем старшина всячески его расхваливал и превозносил. Мол, интеллигентный человек с высшим образованием, не чета прочим...

— Беда только с ним - пьет по-страшному и пьяный на рожон лезет, под пули. А у него жена, - сокрушался старшина.

— Беречь такого человека надо, чтоб не пропал по пьянке, - поддакнул ему придурок со склада. Между прочим, есть у Василь Титовича друзья, которые плохую услугу ему оказывают. Водкой его снабжают, - заметил старшина.

— Да вот он сидит, фляжку-то за пазухой припрятал, - указал на меня кладовщик.

Пользуясь моим замешательством, а также тем, что от выпитой чарки меня малость развезло, они заморочили мне голову, и, руководствуясь гуманными соображениями, я отдал старшине инженерскую флягу.

Василию Титовичу мне пришлось соврать, будто начпрод отказал в его просьбе...

Разумеется, старшина растрепал эту историю по всему полку, мой обман был разоблачен. Я сказал шефу, что взял грех на душу ради спасения его жизни, но Василий Титович моих оправданий не принял.

— И ты, Брут, меня продал? Кому? Этому сексоту Мильту! - сказал он. - Хотели к ордену тебя представить за высоту 718, но раз ты скурвился - получишь медаль.

Я расстался с Василием Титовичем, который убыл из полка, так и не простив мне старой обиды. И по сей день мне становится неловко, когда я вспоминаю об этом случае.

Глава V. БОЕЦ «НЕВИДИМОГО ФРОНТА» Я И РЫЦАРИ РЕВОЛЮЦИИ

С детства я привык относиться к славным чекистам со священным трепетом. Они чем-то выделялись среди всех папиных друзей-военных, хотя носили такую же форму с «ромбами», португепями и кобурами. Печать суровости лежала на их мужественных лицах, а работа их была овеяна страшной тайной. Среди папиных товарищей по подполью в период гражданской войны было несколько рыцарей революции, работавших в ЧК под руководством «Железного Феликса», а затем занимавших ответственные посты в НКВД.

Правда, судьба сыграла с ними злую шутку - в период нарушения ленинских норм эти люди, безжалостно каравшие врагов революции, сами превратилась в эков ГУЛАГа. Но, тем не менее, их облик навсегда врезался в мою память. Именно такими, как дядя Тарас, дядя Чернов или дядя Додя, я представлял себе и других чекистов.

Дядя Тарас особенно поражал меня своей солидностью, а также тем, что он жил в башне над зданием НКВД со стороны Лубянского проезда. Квартира его находилась на самой верхотуре! Пройти к ним в гости было еще сложнее, чем в Дом правительства, вооруженный красноармеец конвоировал нас с папой, будто арестантов, и сдавал дяде Тарасу под расписку. (Вряд ли мой папа тогда предполагал, что конвоиры будут приводить его в эту чекистскую обитель уже не в качестве гостя, а в качестве подследственного.)

Квартира дяди Тараса очень напоминала расположенный возле Лубянки Политехнический музей. Даже в «Государстве моей бабушки» я не видел ничего подобного. Например, на кухне красовался специальный электрический шкаф, в котором хранились всякие вкусные вещи - черная икра, семга, балык, шоколад и прочие деликатесы. И в этом шкафу в самую жаркую погоду стоял такой мороз, что вода могла замерзнуть! Или еще одно чудо: электрический патефон вместе с радио, размером с буфет. Причем пластинки в нем, как это было только в Политехническом музее, менялись сами, без помощи людей.

Пока папа с дядей Тарасом вели серьезные разговоры о политике, я не мог оторваться от этого чуда.

Другой папин товарищ-чекист, дядя Чернов, также всегда разговаривал с папой о международном положении или о революции. Он жил в обычном доме без охраны, хотя тоже занимал высокий пост. Ему очень неудобно было ездить на своем «Бьюике» из центра к нам на шоссе Энтузиастов, и поэтому он агитировал папу перейти на работу в НКВД.

- Гриша, давай я устрою тебя научным референтом к товарищу Ягоде. Зарплата, конечно, не наркомовская, но зато

квартиру получишь в центре, машину будешь иметь и все прочее, - предлагал он папе.

Слава Богу, что папа не согласился, иначе он наверняка разделил бы судьбу самого товарища Ягоды.

Мы у Черновых часто бывали, я дружил с его сынишкой, носившим странное имя Эссиля. Он рассказал мне по секрету, что в его папу стреляли враги народа, и поэтому он поверх военной формы всегда надевал пальто и ходил в простой кепке - такая опасная у него была работа.

Третий папин товарищ из НКВД - дядя Додя - работал не в Москве, но каждый раз, когда приезжал в командировку, обязательно заходил к нам поговорить с папой, чтобы быть в курсе мировой политики или посоветоваться с ним по семейным делам. В этой области мой папа разбирался куда слабее, чем в марксистской теории, но дядя Додя так уважал папу за его ученость, что все равно хотел знать его мнение. Он хорошо знал не только папу, но и всю нашу семью, а с моей тетей в юности вместе работал в типографии. Находясь в большевистском подполье при белогвардейцах, он поручал тете кое-какие секретные задания, хотя она была беспартийная. По старой памяти тетя называла его Додей, как когда-то в подполье. Она часто вспоминала о его отчаянной храбрости. Действительно, у дяди Додя вид был такой, что каждому становилось понятно, что это за человек. Для меня он был человеком из легенды, от которого веяло романтикой революционного подполья.

Любопытна послевоенная судьба этих людей. В период массового нарушения ленинских норм дядя Тарас был направлен на Дальний Восток инспектировать ГУЛАГ, но командировка его затянулась на десять лет по той причине, что из комиссара госбезопасности он превратился в заключенного. Через десять лет он снова превратился из заключенного в чекиста и прямо в лагере получил звание полковника, но когда возвращался в Москву к семье, умер от инфаркта, не доехав двадцати километров до столицы, возле станции Томилино.

Дядя Чернов тоже кончил трагически. Правда, это был Уникальный случай: его осудили после XX съезда КПСС на пятнадцать лет за нарушение им ленинских норм. Возможно, его тоже пустили бы в расход, но было учтено, что ленинские нормы он нарушал по личному указанию товарища Сталина, занимаясь вплотную «ленинградским делом». А вот дядя Додя действительно оказался молодцом. В период нарушения ленинских

норм ему так не хотелось угодить в ГУЛАГ, что он ни больше ни меньше как скрылся в подполье, умело используя свой опыт периода гражданской войны. Весь НКВД был поставлен на ноги, два года беглого чекиста разыскивали по всей стране, но он оказался неуловимым. Из разных городов на имя товарища Сталина шли от него письма, в которых он заверял вождя в своей преданности и полной невиновности. В конце концов дядя Додя сам сдался «органам», надеясь, что товарищ Сталин за него заступится. Трудно гадать, как сложилась бы его судьба, если бы не грянула война и не потребовалось срочно организовать разведцентр на оккупированной врагом территории. И тогда товарищ Сталин мудро решил поручить это ответственное задание дяде Додю. И, как говорят, при этом логично заметил:

- Если этот человек обвел вокруг пальца наши «органы», то фашистское гестапо он и подавно обведет.

Дядя Додя блестяще справился с заданием, стал прославленным «партизанским» командиром. Настоящее его имя широко известно - дважды Герой Советского Союза полковник Дмитрий Медведев, знаменитый писатель, лауреат Сталинской премии и прочее. Кстати, уже после смерти знаменитого партизана и писателя тетя «раскололась» и выдала страшную тайну, что она выполняла поручения дяди Додя не только в деникинском подполье, но и в сталинском, и многие письма, которые, по расчетам Додя, должны были растрогать товарища Сталина до слез, сочиняла именно она и сама же их конспиративно отправляла, почему-то чаще всего из Малаховки.

«РЫБКА ИЩЕТ...»

Наш особист Скопцов был чекистом нового, военного поколения. От него я не слышал пламенных коммунистических лозунгов, он не любил рассуждать о марксизме-ленинизме и с презрением отзывался о всяких политработниках - «попах», как он их обычно называл. В своей чекистской работе все явления окружающей действительности он объяснял не марксистской диалектикой, как папины друзья, а куда проще: «Рыбка ищет, где поглубже, а человек - где получше».

За эту половицу капитан Скопцов получил в полку прозвище «Рыбка ищет», и так его за глаза все называли.

Даже внешность капитана Скопцова совершенно не соответствовала облику настоящего чекиста, каким я его обычно представлял. Он скорее был похож на смазливую продавщицу, причем довольно кокетливую, краснощекую, с нежными ямочками на щечках. Должен сказать, что в личном обаянии ему отказать нельзя было. (Между прочим, в полку поговаривали, будто капитан Скопцов женщина, но работает «под мужика» по соображениям оперативного порядка.)

Вообще-то во всей нашей ишачиной затруханной дивизии «Рыбка ищет», пожалуй, и впрямь выглядел «светлой» личностью. Когда он бывал на людях, улыбка не сходила с его нежного личика, и какая улыбка! Мне думается, что Джимми Картер (которого, говорят, за его улыбку и выбрали в президенты) и тот не смог бы так лучезарно улыбаться. При встречах с симпатягой-особистом я и сам не мог удержаться - так заразительна была его сияющая улыбка. Она передавалась, как зевота, и я скалился, хотя на душе у меня в этот момент скребли кошки.

Эти качества капитана Скопцова еще ярче выступали на фоне угрюмой медвежьей фигуры его зама, старшего лейтенанта Зяблика, прозванного Немым - от него на людях никто не слышал ни слова. Когда Немой мрачной тенью следовал за своим сияющим шефом, Колька Шумилин, наш ротный повар, обычно не выдерживал и шептал мне: «Вот муж с женой идут». Но мне было не до смеха.

С капитаном Скопцовым знакомство у нас состоялось в общем порядке, путем фильтрации через Особый отдел сразу же по прибытии нашего маршевого пополнения на Керченский плацдарм.

Ночью мы были распределены по ротам, а наутро нас опять собрали вместе, отвели на какой-то косогор к одинокой землянке и велели располагаться надолго. Было нас человек двести. В землянку вызывали по одному. Процедура затянулась до глубокой ночи. Подобно санчасти, проведенной тут же поголовный телесный осмотр на вшивость и гонорею, Особый отдел проводил осмотр наших грешных душ.

Не стану вдаваться в подробности, что такое Особый отдел. Хочу лишь посоветовать читателям послевоенного поколения: если какой-нибудь убеленный сединами ветеран будет уверять вас, что во время войны он с Особым отделом не имел ничего общего и что слал всех этих «оперов» к е... матери, - не верьте этому «герою», ибо, как правило, сетей Особого отдела никто не миновал. Так, на «Горьковском мясокомбинате» каждый маршевик, присягнув на верность Родине и лично товарищу Сталину, давал дополнительную присягу Особому отделу и вместе с ней подписку о неразглашении. Присяга Особому отделу тоже начиналась словами: «Я, гражданин Советского Союза...» Какой же советский гражданин в военное время мог позволить себе уклониться от священной обязанности содействовать органам СМЕРШа в выявлении вражеских лазутчиков? (Только открытый враг мог на это пойти в порядке саморазоблачения.)

Как читателю уже известно, первым, с кем я столкнулся после своего неожиданного назначения комсоргом в маршевый эшелон, был особист, назвавшийся Лихиным.

Первым из полковых чинов, который со мной беседовал по прибытии нашего маршевого пополнения на Керченский плацдарм, оказался тоже особист - капитан Скопцов.

Когда же я на фронте после ранения угодил в «наркомздрав», прежде чем меня осмотрели врачи, со мной обстоятельно побеседовал госпитальный регистратор (тот же особист, но в белом халате поверх формы). А если бы, к примеру, мне не повезло и я отправился бы в «наркомзем» как павший в боях за Родину, - и тогда бы «опер» не оставил меня в покое, поскольку он обязан был исходить из предположения, что я

сдался в плен или дезертировал с передовой.

Но продолжу рассказ о вечно сияющем капитане Скопдове.

— Мягко стелет, сука, да жестко спать! - так отзывался об обаятельном особисте Бес. Конечно, у блатного глаз был наметан на оперативных работников.

Забегая вперед, скажу, что по окончании войны капитан Скопцов «постелил» Бесу не так уж мягко: десять лет на тюремных нарах! По уголовному делу за убийство лейтенанта-пограничника на почве ревности. «Рыбка ищет» терпеливо выжидал, когда для Беса подвернется хорошая статья. Бес его недооценил и за это жестоко поплатился, думая, что не оставил улики.

Дело в том, что капитан Скопцов был в полку, пожалуй, самым азартным «махальщиком». На фронте игра в «махнем не глядя» стала повальным увлечением. Правила ее были простые. Желавшие махнуть должны были быстро сунуть руку в свой карман и, зажав в кулаке первую попавшуюся вещицу, обменяться друг с дружкой, после чего разрешалось посмотреть, что кому досталось. В конце войны чего только не было в солдатских карманах. Один «промахал» золотые часы на сломанную зажигалку, другой на какую-нибудь пуговицу вымахал серебряный портсигар с немецкой монограммой...

Капитану Скопцову везло. Не было случая, чтобы он «промахался».

— Ну, махнем! - предлагал он чуть ли не каждому встречному со своей обворожительной улыбкой и, как правило, за сущую безделицу получал ценный трофей. Вот ведь какой был счастливец! Часто он вообще махался пустым кулаком или фигой (что, естественно, было против правил). Но, кроме Беса, никто не отваживался махаться с самим начальником Особого отдела кукишем.

— Чтобы я лягавому в лапу давал? Не было этого и никогда не будет! - категорически заявлял Бес в ответ на увещания Мильта, считавшего, что с особистом отношения портить не стоит.

Но у блатного была своя воровская этика. Капитана Скопцова даже в глаза называл по-тюремному «гражданином начальником», а тот лишь улыбался застенчиво. Но, как я уже говорил, Бес «промахался» в своей неразумной игре с Особым отделом.

Со мной капитан Скопцов с первого же взгляда нашел общий язык, заметив шахматную доску, выпирающую из моего рюкзака. Не знаю, чем он занимался с другими солдатами, по очереди спускавшимися в землянку, но мне он сразу же предложил сгонять партию в шахматы.

Двести человек снаружи полтора часа ждали, пока мы с ним сыграли подряд три партии: первую, к моему удивлению, я проиграл, вторую - выиграл с большим трудом, а в третьей мы согласились на ничью. Наши силы оказались примерно равными. К его явной досаде, он, видимо, привыкший к шахматным победам, так и не смог меня в дальнейшем переиграть. Капитан Скопцов стал моим шахматным врагом, как говорится, не на жизнь, а на смерть. Может быть, поэтому я и задержался так долго в саперной роте, несмотря на его постоянные угрозы отправить меня обратно в стрелки. Наш с ним общий язык касался только шахмат.

По другим вопросам, которые попутно интересовали капитана Скопцова, у нас возникли серьезные разногласия.

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ

Судя по поведению капитана Скопцова, можно было подумать, будто начальник нашего СМЕРШа занимается в полку чем угодно, за исключением ловли шпионов и предателей. Однако это впечатление было обманчивым. Во всех полковых подразделениях, начиная от штаба и кончая похоронной командой, днем и ночью кипела напряженная тайная работа бойцов «невидимого фронта».

О том, насколько успешно возглавляемая капитаном Скопцовым агентурная сеть боролась со шпионажем, могла свидетельствовать его неширокая грудь, на которой ордена росли словно грибы после дождя. А ведь известно, что ордена так просто не давали. Боевые дела, за которые получали награды полковые разведчики, саперы, артиллеристы, сражавшиеся с врагом в открытом бою, широко пропагандировались политчастью. Репортажи о подвигах с портретами наших героев печатались в дивизионной многотиражке.

За что награждали капитана Скопцова и его подчиненных, никто в полку не знал. Дела их были совершенно секретными и не подлежали ни малейшему разглашению. Каждый, кто так или иначе соприкасался с работой Особого отдела, обязан был давать специальную подписку, что сохранит все в тайне, иначе будет привлечен к строжайшей внесудебной ответственности.

Мне тоже приходилось давать подписки о неразглашении, но, несмотря на это, я чистосердечно признаюсь в том, что сам являлся одним из бойцов «невидимого фронта» и агентом капитана Скопцова в саперной роте.

Читатель не должен страдать из-за того, что в юности меня заставляли давать всякие подписки.

Задания оперуполномоченного Особого отдела старшего лейтенанта Зяблика я выполнял, еще находясь в обозе. Но с настоящей чекистской работой мне довелось соприкоснуться после того, как был в принципе решен вопрос о переводе меня из похоронно-трофейной команды в саперы.

Тогда я среди ночи был вызван к капитану Скопцову и побежал к нему с шахматами, думая, что он жаждет взять реванш за проигранную мне в прошлый раз партию. Наши турниры происходили обычно в ночное время, когда особист работал. Я же ночью ужасно хотел спать, что давало ему известное преимущество.

На этот раз «Рыбка ищет» вызвал меня по другому делу.

- Ларский, я к тебе давно присматриваюсь и хочу поручить задание. Предупреждаю: задание особо опасное, с риском для жизни. Если дрожишь за свою шкуру - лучше не берись. Оставайся в похоронной команде, там поспокойнее. Как говорится, рыбка ищет, где поглубже, а человек - где получше.

Больше меня, пламенного советского патриота, нельзя было подковырнуть. Конечно же, я взялся за это задание, тем более что оно действительно оказалось настолько важным, опасным и секретным, что у меня даже дух захватило...

— В саперной роте выявлен немецкий шпион, заброшенный вражеской разведкой в наши ряды, - сообщил особист. - Кто он, нам известно, но мы хотим для начала тебя проверить: сам- то ты в состоянии обнаружить врага среди наших людей? Причем так обнаружить, чтобы враг ни о чем не заподозрил. Ни в коем случае нельзя его спугнуть!

— Раз выявлен шпион, почему его сразу не арестуют? - удивился я.

— В нашем деле горячку пороть нельзя, - объяснил особист. - Семь раз отмерь, один - отрежь. Ты в саперной роте будешь человек новый, со свежим глазом, вот мы и хотим не только тебя, но и себя еще разок проверить. Шпиона ликвидировать мы всегда успеем, главное - держать его под наблюдением.

...Итак, я прибыл в саперную роту с важным секретным поручением. Капитан Скопцов задал мне задачу потруднее иной шахматной: среди сорока человек личного состава распознать хорошо замаскировавшегося вражеского лазутчика. Справлюсь ли? Не испорчу ли все дело по неопытности? Откровенно говоря, при этой мысли сердце у меня замирало в груди.

Читатель должен принять во внимание, что в мои школьные годы детективная литература не была так распространена, как в нынешние времена, а телевидения не было и в помине. Конечно, я читал про Шерлока Холмса и Ната Пинкертон (в дореволюционном издании) и смотрел до войны кинофильмы «Партбилет», «Ошибка инженера Кочина» и некоторые другие, где фигурировали вражеские шпионы и диверсанты. Но моя детективная «подготовка» была явно недостаточной для столь важного задания, и, естественно, я очень волновался. Из сорока человек поручиться я мог только за себя.

Вспомнив Шерлока Холмса, я решил действовать его дедуктивным методом. Первым, с кем я встретился, был сам командир саперной роты капитан Семькин - мы с ним шли от штаба в расположение роты и по пути разговорились. К моему удивлению, капитан оказался почти моим ровесником. Он с гордостью рассказывал мне о своей роте, о том, какие у него геройские ребята в саперах, что старшина у него самый лучший в полку, и поэтому ему все завидуют. «Моя рота», «мои люди», - все время говорил юный капитан, откормленный, румяный и кудрявый хлопец. Безусловно, он не мог быть вражеским лазутчиком, и я тотчас исключил его мысленно из числа подозреваемых. Но следовало исключить еще 38 подозреваемых, чтобы остался один, - это и будет шпион...

Пока мы шли к Аджимушкайским каменоломням, где располагалась рота, к нам присоединились еще два сапера. Пятнадцатилетний Жорка - он был воспитанником, «сыном полка». Второй, похожий на цыгана, с медалями на груди - ротный повар Колька Шумилин. Оба несли хлеб со склада.

Капитан сообщил мне с гордостью, что Колька - самый старый ветеран в полку, он до войны еще здесь служил!

«Раз такое дело, повар, конечно, не может быть вражеским агентом, - подумал я. - А Жорка вообще не в счет».

Таким образом, оставалось исключить 36 человек.

Я не рассчитывал обнаружить врага сразу и поэтому не смог скрыть свое замешательство, когда столкнулся с ним лицом к лицу, едва мы пришли в расположение роты. С трудом я овладел собой, стараясь не возбудить у него подозрений. У меня не было никакого сомнения в том, что это и есть он - вражеский шпион.

Дальнейшие наблюдения только подтверждали безошибочность моего вывода. Поведение его было явно шпионским: он за всеми следил, прислушивался к разговорам, всюду заглядывал и подглядывал.

Капитан Скопцов оказался прав: вражеский лазутчик действительно замаскировался здорово, пробрался каким-то образом на должность старшины и нагло хозяйничал в роте.

Судя по хвalebным отзывам о нем нашего командира, шпион сумел вкрясться к нему в доверие.

Поручая мне задание, капитан Скопцов сказал, что я свои наблюдения должен буду изложить в письменной форме, и я стал делать заметки в своем блокноте. В частности, мне показались очень подозрительными отношения шпиона с сержантом Набилиным, ротным парторгом. Они между собой без конца шушукались, Набилин скрытно передавал ему какие-то бумажки, которые тот прятал в свою полевую сумку. Ординарец командира тоже сунул ему бумажку, причем старался это сделать незаметно для меня.

Когда еще один солдат что-то передал ему тайком, я встревожился уже не на шутку. Шпион не сидел сложа руки, он действовал, вел тайную работу - в этом сомнения не было.

Если капитану Скопцову все это известно, почему он не принимает мер? Почему он выжидает?

С нетерпением я ждал встречи с особистом, но он, видимо, не торопился меня вызывать. По моему мнению, тянуть с ликвидацией шпиона никак нельзя было. Написав обстоятельное донесение с фактами и выводами, я по пути в штаб дивизии, куда меня послал инженер со своим донесением, занес его в Особый отдел и передал старшему лейтенанту Зяблику - поступить иначе я не мог под грузом тяжелой ответственности (капитана Скопцова в этот момент не оказалось). Откуда мне было знать, что моя инициатива смешала все карты особисту! Читатель, вероятно, поймет мое состояние, когда после моего возвращения в роту лазутчик вдруг отозвал меня в сторону. Я был готов ко всему, кроме того, что услышал...

— Заходил капитан Скопцов, не застал тебя. Велел сказать, чтобы ты все свои донесения отдавал мне, - заговорил он, прощупывая меня взглядом.

— Какой капитан? Какие донесения? Ничего я не знаю, - пробормотал я в полной растерянности.

— Не знаешь, так знай: я в роте не только старшина, но еще имею поручение от Особого отдела. А ты у меня будешь в подчинении. Понял? Давай свое донесение, я сам его капитану передам.

И только тут я сообразил, что вместо немецкого шпиона по ошибке нарвался на лазутчика капитана Скопцова! Почему капитан меня не предупредил сразу? Теперь мне только не хватало, чтобы этот тип узнал, за кого я его принял, и стал сводить счеты.

- Передайте капитану Скопцову, что донесение я еще не написал, - соврал я первое, что пришло в голову.
- Как это не написал? Чего же ты тогда чиркал втихую? Ты у меня дурочку не валяй, я вашу нацию наскрозь вижу! - вдруг взъелся он. (Так я познакомился с Мильтом, о котором я уже писал.)
- При чем тут нация, товарищ старшина! Что вы себе позволяете! - возмутился я, готовясь было призвать на помощь своего друга детства и покровителя Карла Маркса.
- А при том... Чтобы не смел Скопцову сообщать то, что ему знать не обязательно. Донесения ему пиши, но по-умному. Сор чтобы из избы не выносил - наш командир роты этого не любит. (Кстати, за свою двойную игру с капитаном Скопцовым старшина впоследствии здорово поплатился.)

КРУГОМ АГЕНТЫ...

Мильт почему-то решил, что у полкового инженера для меня работы будет недостаточно, и подкинул мне еще нагрузку, назначив по совместительству помощником повара вместо Жорки, которого перевел к ездому. Повар наш, ветеран полка Колька Шумилин, оказался ужасно разговорчивым. Он сообщил мне, что за время его службы в полку сменилось двенадцать командиров и десять начальников штаба! Колька знал все их интриги с санинструкторшами, все полковые сплетни.

Когда же я закинул удочку насчет вражеских шпионов - а вдруг он что-нибудь подозревает, - Колька без всяких обиняков рубанул: не агент ли я капитана Скопцова? По правде говоря, я и сам не знал своего статуса, но врать Кольке не стал и под страшным секретом рассказал ему о своем задании.

— Не дрейфь, я тоже агент, - с подкупающей искренностью сообщил мне Колька. - А насчет шпиона не переживай: это Скопцов тебя на пушку взял. Он новеньким всегда про шпио на заливает, чтобы следили за всеми в оба. Такая у него система, - объяснил Колька и рассказал мне всю подноготную о наших бойцах «невидимого фронта». Я узнал всех наших агентов - все, кого я разоблачил в своем донесении, оказались пособниками «шпиона» Мильта. Особо предупредил он насчет «сына полка» Жорки, который каждое услышанное слово в точности передает особисту.

После всего этого я понял, какая у капитана Скопцова была система, и решил держаться от него подальше.

Не тут-то было!

Не получая новых донесений, особист, как всегда, вызвал меня ночью поиграть в шахматы, но вместо шахмат повел со мной другую игру. Я намеревался честно отказаться от поисков шпиона, мотивируя это своей неспособностью к тайной работе. Я полагаю, что мое абсурдное донесение прекрасно подтверждает мою неспособность, и ожидал, что «Рыбка ищет» меня поднимет на смех. Однако особист сразу же предротвратил мою рокировку, сделав «ход конем».

Капитан Скопцов неожиданно начал меня хвалить, сказав, что «дебют» у меня отличный и он ожидает дальнейших донесений в том же духе.

- Враг может пойти на хитрость, прикинуться нашим человеком, работающим по заданию Особого отдела, может просить у тебя донесения, якобы для передачи мне, - задним числом выкручивался «Рыбка ищет». - В этом случае пиши ему для отвода глаз о ком-нибудь, к примеру, возьми на прицел этого воспитанника Жорку - знаешь, шустрый такой паренек? Пусть шпион думает, что мы ему доверяем.

В общем, особист ловко пришел мне еще одно задание, подсунув своего наушника Жорку, чтобы он каждое мое слово ему передавал.

Но этот его ход я тотчас раскусил благодаря информации, полученной от Кольки.

Мне стало ясно, что по-хорошему капитан Скопцов от меня не отвяжется, и я решил переменить тактику: отказываться все равно бесполезно, просто не буду выполнять его задания.

Так я и поступил.

От Жорки я пытался держаться подальше, но он сам прилип словно банный лист. Все он обо мне хотел знать, прямо в душу лез: что почем в Москве, кто мой папа, сколько этажей будет во Дворце Советов, где мой папа работает и сколько получает и т. д. и т. п.

Ко всему прочему он набился мне в напарники - есть из одного котелка. Отказать мне ему было как-то неудобно: все-таки сирота, «сын полка»...

Капитан Скопцов, конечно же, мою тактику разгадал. Если в шахматах мы с ним были на равных, то в игре, в которую он меня старался втянуть, он был гроссмейстером, а я - полным пижоном. Он все предвидел на двадцать ходов вперед.

- Если мои задания не будешь выполнять - загремишь в стрелковую роту. В «наркомзем» пойдешь, прямым ходом на удобрения для колхозных полей! - начал он меня шаховать. - Я дармоедов не собираюсь держать в придурках, на передовую пошлю. Рыбка ищет, где поглубже, а человек - где получше. Сделай вывод, если ты человек...

Но «Рыбка ищет» опять со мной промахнулся, он имел дело не с обычным придурком, с которым его доктрина срабатывала без осечки, а с придурком-идеалистом. Я готов был работать не за страх, а за совесть, если бы в роте действительно были настоящие вражеские шпионы и предатели, а он хотел превратить меня в «лягавого» - как это называлось в нашем дворе...

Капитан Скопцов не отправил меня на передовую по соображениям шахматной этики: счет нашего матча был в мою пользу, и он считал своим долгом отыграться.

Моя жизнь была поставлена на шахматную доску, и, естественно, я за нее упорно боролся. Противник превосходил меня в комбинационной игре, а я его - в позиционной и дебютной теории. На мое счастье, он упорно предлагал хорошо известный мне вариант сицилианской партии и поэтому не имел успеха. Для него

это, видимо, имело принципиальный характер - перед отправкой в «наркомзём» разложить меня именно в сицилианской партии. (После нашего турнира мне эта сицилианская так осточертела, что я вообще забросил шахматы.)

А тем временем комсорг полка лейтенант Кузин назначил меня комсоргом роты вместо выбывшего по ранению сержанта Утиашвили.

— Кто же нам должен помогать, если не партийно-комсомольский актив? - спросил меня особист, поставив мне «мат» своим вопросом.

Итак, перехожу к теме, которая покажет меня читателю не с лучшей стороны. Возможно, некоторые с презрением отвернутся или даже станут бросать в меня камнями, но я хочу поглядеть, как они сами повели бы себя на моем месте. Если выкладывать все начистоту, то скажу, что еще до того, как капитан Скопцов подцепил меня на крючок со «шпионом», я уже выполнил задание старшего лейтенанта Зяблика (Немого). Он был оперуполномоченным по тылам и хозяйственной части, а сам капитан Скопцов занимался спецподразделениями: разведчиками, саперами, связистами, артиллеристами и т. п. В каждом стрелковом батальоне тоже был свой опер. Таким образом, обоз относился к Немому, и он у нас время от времени появлялся.

Когда я смотрю бесконечные телевизионные серии, я иной раз мысленно представляю, какой фурор произвела бы зловещая фигура нашего обозного опера, появившись он на мировом телеэкране! Я имею в виду не его мрачную внешность. В этом увальне с медвежьей походкой ни один человек не заподозрил бы поистине дьявольской хитрости.

Итак, звали его Немым, но в том, что он все-таки немного говорит, я убедился вскоре после того, как был назначен пасти ишаков. Он ко мне подошел и, постояв, наверное, целый час молча, наконец произнес: «Ешак - он и есть ешак» и ушел, но затем вернулся и спросил: «Говорят, они тебя слушают?»

Не подозревая подвоха, я постарался продемонстрировать свои способности в области дрессировки. Он опять ушел и снова вернулся.

— Чтобы орали, им можешь приказать? - спросил он.

Я ответил, что смогу - это, мол, не так уж сложно, и рассказал ему про уголок Дурова в Москве, куда меня няня часто водила в детстве.

Опять Немой ушел и снова вернулся.

— А ну покажь. Пуцай орут! - приказал он.

Я начал подражать ишачиному крику, пытаюсь спровоцировать Хунхуза на ответ. Хунхуз в стаде был запевалой, но тут даже своим единственным ухом не повел.

Наверно, раз десять Немой уходил и возвращался туда-сюда, я уже сам был не рад, что расхвастался ему, будто могу заставить ишаков кричать. Он вцепился в меня медвежьей хваткой и стал допытываться: где я был при исполнении государственного гимна, когда заорали ишаки? Могли кто-либо другой из обоза приказать им это сделать в злонамеренных целях? Поскольку я пел в хоре, мое алиби было несомненным.

— Продолжай следственный эксперимент! - распорядился Немой. Дал мне под расписку свои карманные часы и велел записывать, когда именно ишаки орут и откликаются ли на мой крик.

Пару дней я без успеха кричал по-ишачиному, вконец сорвав себе голос. Только потом я понял, в чем тут секрет: ишаки орали в определенные часы, словно петухи! Если заорать в их время, то они откликались.

Мои записи (вместе со своими часами) Немой у меня забрал, взяв с меня подписку о неразглашении и предупредив почему-то, чтобы я о наших с ним делах даже его начальнику капитану Скопцову не проговорился.

СИСТЕМА КАПИТАНА СКОПЦОВА

Перед тем как поведать читателю о своей деятельности в качестве бойца «невидимого фронта», я хотел бы остановиться на некоторых секретных аспектах этой важнейшей работы. Дело в том, что система капитана Скопцова - как, впрочем, и вся работа Органов - базировалась на придурках, из числа которых и вербовалась агентура. Солдату, который шел в атаку, было наплевать на весь «невидимый фронт», а придуркам было что терять, и Особый отдел это обстоятельство использовал.

Вакантные придурочные должности он, как правило, заполнял своими людьми, подлинными патриотами, подобно рыбке вечно ищущими, где поглубже и где получше.

Отдел капитана Скопцова именовался «Особым», но работа его строилась на тех же принципах, что и работа всех отделов и служб, включая инженерную службу, при которой я состоял в придурках. В первую очередь она имела определенный объем, каковой должен был выполняться «по валу», то есть в общем и целом.

Если шпионов не было, план «по валу» всегда можно было вытянуть за счет количества выжимаемых из агентуры донесений и за счет объема писанины. Поэтому система капитана Скопцова и базировалась главным образом на придурках, око-лачивавшихся в тылах. Но как тогда эти придурки могли бесперебойно поставлять информацию, если они были оторваны от боевого состава? Да очень просто: они писали донесения друг на друга!

За все время моего пребывания на фронте я только однажды видел, как поймали настоящего шпиона, причем Особый отдел в этом случае очень здорово опростоволосился.

Тогда из-за ссоры со старшиной я был изгнан из ротного хозяйства и поставлен в строй, что мне дало возможность на некоторое время выскользнуть из системы.

...Итак, мы рыли блиндаж для командира полка, а шпион к нам подошел и попросил закурить. Потом он спросил: не знаем ли мы, где находится такая-то часть? Он сказал, что выписался из госпиталя и вот, мол, разыскивает своих. Это был пожилой солдат, судя по виду, из хозяйственных придурков. Ему посоветовали обратиться в штаб. С вечера, когда саперная рота заступила в полковой наряд, мне достался пост у штаба. Особый отдел размещался там же, и, стоя на посту, я через полуоткрытую дверь видел, что происходило у особистов. Какой-то лысый человек стоял, растопырив руки, в одних кальсонах - я было вначале подумал, что его на вшивость проверяют. Потом я узнал в нем того самого, как выяснилось, шпиона, который искал своих.

Вокруг него суетились все наши особисты и еще несколько приехавших из дивизии на «Виллисе». Прощупывали каждую складку одежды, буханку черного хлеба разрезали на кусочки... Потом его провели мимо меня со связанными руками и увезли на «Виллисе».

Подробности этого дела сообщил мне на следующий день всезнающий Колька, хотя его и близко не было около штаба. Самое интересное то, что шпион сам пришел в руки к особистам; ничего не подозревая, он попался на глаза старшему лейтенанту Зяблику, который его сразу же распознал, но не подал вида. Зяблик доложил капитану Скопцову, а тот, в свою очередь, позвонил в дивизию. После этого ни о чем не подозревающего шпиона завели в комнату Особого отдела, где и арестовали. В шинели у него нашли власовские листовки, и он во всем сознался. Когда же его повезли на «Виллисе» в Особый отдел дивизии, он где-то на повороте в лесу сиганул из машины и дал стрелкача в одних кальсонах, со связанными руками... Особисты открыли пальбу, искали, но его и след простыл.

Тем не менее поимка шпиона была нашим особистам засчитана, и они получили по медали «За отвагу».

Однако вражеские шпионы и лазутчики попадались не на каждом шагу, но придурочная система всегда обеспечивала капитану Скопцову выполнение плана «по валу». Если агенты писали друг на друга, это совсем не означало, что система полностью работала вхолостую. Особый отдел держал под подозрением всех и каждого, в том числе и свою агентуру. В нашей роте, например, среди агентов был выявлен предатель. Он был арестован на основании моих донесений. Как это произошло, я сейчас расскажу.

Когда я был подключен в «систему», капитан Скопцов дал мне задание наблюдать за ординарцем полкового инженера Щербинским. (Как сообщил мне Колька, Щербинский прежде долгое время был ординарцем самого капитана Скопцова, а теперь все ему сообщал о своем непосредственном начальнике полковом инженере Полежаеве). По возрасту он годился мне в отцы. Я долго не мог понять, что же мне нужно сообщать о нем. Но особист давил: «Где работа, комсорг? Опять хандришь? Смотри, рыбка ищет, где глубже».

Излюбленной темой разговоров на фронте были воспоминания о довоенной жизни. Один, к примеру, рассказывал, как резал поросят на Октябрьскую, другой - как уделал Ньюку на Пасху, третий - как жена ему мариновала огурчики под чекушку... - в нашей роте все жили интенсивной духовной жизнью.

Щербинский донимал меня нескончаемыми воспоминаниями о своем дореволюционном детстве: как он остался круглым сиротой, как его взяла на воспитание богатая вдова, которую он стал употреблять с четырнадцати лет. И вот я решил эту романтическую историю, включая вдову, изложить капитану Скопцову.

К моему удивлению, особист эту клюкву проглотил с одобрением.

«Повесть» о детстве Щербинского я не закончил в связи с тем, что меня перевели из придурков в строй, о чем я уже упоминал. Через какое-то время его тоже поставили в строй, но меня его дореволюционное прошлое уже не интересовало.

Однажды получилось так, что нас вдвоем отправили на задание, правда не на передовую, а в тылы. В условленном месте мы должны были встретить приданных нашей роте дивизионных саперов и показать им дорогу на наш участок. Просидели мы с ним до самого утра где-то в поле у часовни, но никто так и не пришел, и наутро мы вернулись к своим.

Ночью между нами, двумя бойцами «невидимого фронта», был разговор: «Давай, Ларский, уйдем к е... матери. Война скоро кончится, где-нибудь перекантуемся... Если в роту не вернемся - подумают, что убили»,

- предложил Щербинский.

Но я уже был стреляный воробей и тут же решил, что это провокация. Либо капитан Скопцов его подговорил, либо Мильт, который жаждет свести со мной счеты.

— Ты что, тряхнул?! - возмущился я. - Дезертировать предлагаешь?

— Вот, ты сразу дезертировать. Пристроимся к хозяйству, пересидим, стал он выкручиваться. Но под конец все-таки предупредил, чтобы я капитану Скопцову - ни слова. Свидетелей не было, и капитан ему поверит больше, чем мне.

Я подумал: «Как бы не так! Я не сообщу, а ты меня и продашь...» И чтобы себя застраховать, я все выложил капитану Скопцову, с которым отношения у меня стали более чем прохладными. Но оказалось, что бывший ординарец начальника Особого отдела, его правая рука, его агент, и вправду намеревался дезертировать, но передумал и решил отправиться в «наркомздрав». Он прострелил сам себе руку, не подозревая, что на основании моего донесения за ним уже давно следит «сын полка» Жорка.

ПРОЛЕТАРСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ И СОЛДАТСКИЕ ШТАНЫ

Теперь я расскажу историю о том, как капитан Скопцов «купил» меня на пролетарском интернационализме.

Это произошло вскоре после моего разговора с парторгом роты насчет наших грабежей среди освобождаемого от фашистского ига населения (я уже упоминал о споре между особистом и капитаном Семькиным, самонадеянно заявившим, что его люди никогда его не продадут). Единственный, кто знал об этом споре, был, конечно, Колька Шумилин, он мне потом обо всем рассказал.

Дело было так. Однажды особист меня вызвал поиграть в шахматы и, когда партия перешла в эндшпиль, начал разговор.

— Сердце обливается кровью от того, что творится. Разве этому нас учили Маркс, Энгельс, Ленин и товарищ Сталин? Как будут нас вспоминать в тех странах, которые мы освобождаем от фашистов? Грабим, мародерствуем, насилуем... Что по этому поводу думаешь, Ларский?

Капитан Скопцов подцепил меня под самую душу, и я ему выложил все, что у меня на душе накипело. Я уже знал, что с «Рыбкой ищет» надо держать ухо востро, но когда речь шла о пролетарском интернационализме, мне было на все это наплевать. Тут «Рыбка ищет» меня и купил.

— Насчет безобразий на фронте и ограбления трудящихся полностью с тобой согласен, - сказал он, выслушав мой пламенный монолог. - Но почему о своей саперной роте умолчал? Разве у нас с тобой нету фактов мародерства и грабежа?

Рассказать ему об этом означало бы подписать себе смертный приговор. Бывший уголовник Бес не остановился бы ни перед чем, если бы узнал, кто его продал...

«Рыбка ищет» как будто прочитал мои мысли.

— Разглагольствовать мы умеем, а как до дела доходит - мы в кусты, шкуру свою спасаем. Если бы наши отцы так поступали, и революции бы не было, и трудящиеся в нашей советской стране до сих пор бы стонали под гнетом буржуазии.

Прежде я никогда не слышал от особиста подобных речей. Лучше бы он меня по-матерному выругал!

Кровь бросилась мне в лицо, я вспомнил папу, дядю Марка и его маузер. Я, сын революционера, испугался какого-то уголовника?!

— Будут факты, товарищ капитан! - пообещал я, хотя внутри у меня все при этом похолодело.

— Завтра принеси в письменной форме в три часа дня, - закруглился капитан Скопцов.

И тут, наверно, он поторопился объявить командиру роты о своем успехе. Еще не прошло и дня до того, как я должен был прийти с фактами к особисту, как ко мне подошел Милы и сказал:

— Кто продал-то, ты небось? Кроме тебя некому, я вашу нацию наскрозь вижу!

Мне было все равно, я уже свыкся с мыслью, что долго не проживу, но зато погибну не как придурок, а как борец за пролетарский интернационализм.

В назначенное время я явился к капитану Скопцову с бумажкой в кармане, на которой было записано несколько фактов мародерства и бандитизма в нашей роте. Он усадил меня почему-то посреди комнаты на табуретку, а сам сел за стол. Сзади него расположился Немой - это меня несколько удивило, обычно он при наших беседах не присутствовал.

В нескольких метрах от меня, за занавеской, стояла кровать. И вот я сквозь очки рассмотрел, что из-под занавески высовывается что-то блестящее. Это был сапог со шпорой, а во всем нашем гвардейском полку в шпорах щеголяли только два человека: ветфельдшер Мохов и командир саперной роты капитан Семькин. Я сразу догадался, что именно он спрятался за занавеской, но не подал вида.

Необычность обстановки меня насторожила, я стал подозревать что-то неладное. Зачем спрятался ротный?

— Значит, вы, боец Ларский, заявляете о фактах мародерства в саперной роте? - необычно громким голосом спросил «Рыбка ищет». - Давайте их сюда!

Он протянул руку за фактами, но тут я сообразил, что разыгрывается какая-то комедия, не имеющая никакого отношения к пролетарскому интернационализму, поэтому погибать мне не стоит.

И я тоже стал комедию ломать.

— Какие факты, товарищ капитан? Никаких фактов у меня нету.

«Рыбка ищет» аж побелел, от меня такого фортеля он не ожидал.

— Ты что, шуточки решил со мной шутить?! О чем мы вчера говорили?

— Мы говорили вообще о пролетарском интернационализме...

— Я тебе, б...дь, покажу пролетарский интернационализм! - заорал «Рыбка ищет». - Я тебе...

Пока он бушевал, я смотрел, как трясется занавеска, из-под которой торчал сапог. Командир роты, торжествуя, видимо, умирал со смеху, зажав рот.

В свою очередь «Рыбка ищет» пообещал, что мне этот номер просто так не пройдет, и отпустил меня.

По-иному отреагировал на происшедшее капитан Семькин: «Что-то, я гляжу, Ларский у нас плохо обмундирован, - сказал он старшине. - Выдай ему новый комплект!»

Так я променял пролетарским интернационализм на солдатские штаны и гимнастерку. С Карлом Марксом, моим другом детства и покровителем, у нас отношения с тех пор стали портиться.

«КАРА БОСКА»

В последнюю военную весну наш полк отвели на отдых в небольшое селение у польско-словацкой границы. Местечко не было разрушено войной, но жителей оттуда выселили. До нас здесь уже стояла какая-то часть, и все было обчищено - хоть шаром по-кати. Искателям трофеев поживиться здесь было нечем.

Саперная рота облюбовала для постоя усадьбу местного ксендза. Ксендз, румяный старик, прекрасно говоривший по-русски, вместе со своей прислугой еще оставался в пустом доме, ожидая, когда приедет телега и заберет их. Все имущество его состояло из книг. Когда же телега приехала, прислуга ксендза вдруг

бросилась прочь, и тому пришлось ехать без нее. Ксендз сказал, что несчастная старуха сошла с ума. Старуху по-том видели, она пряталась на кладбище.

Между тем наш Бес лишился сна и покоя: какое-то шестое чувство подсказывало ему, что в разграбленном селении спрятана крупная добыча. Прощупав и проверив миноискателем усадьбу ксендза, Бес наткнулся на небольшой клад: ящик церковного вина!

Тогда он заявил капитану Семькину, что ксендз определенно где-то запрятал все имущество костела, и попросил людей для поисков. Конечно, капитан был не против того, чтобы разжиться трофеями, но с людьми обстояло туго. Один саперный взвод был послан охранять заминированный мост у передовой, а другой занят на разных работах. Бес предлагал поискать под костелом. Капитан сам принимал участие в поисках вместе с лейтенантом Теминым и парторгом. Они ничего не обнаружили. Бес подошел к ротному и по-блатному процедил: «Капитан, с тебя пол-литра. Дело на мази».

Оказалось, что в бетонном фундаменте один из проходов был искусно замурован с обоих концов! Как Бесу удалось это обнаружить? За котелок каши тайну ему выдала сумасшедшая старуха, умиравшая от голода.

Сейчас же был разработан план «операции». Повару Кольке Шумилину, бывшему подрывнику, поручено было рассчитать и подготовить заряд ровно такой силы, чтобы пробить бетонную стену полуметровой толщины. Лейтенанта Темина со взводом инженер постарался пропихнуть во внеочередной полковой наряд, и взрыв должен был произойти во время его дежурства: лейтенант тогда доложит командиру полка, что в костел якобы угодил немецкий дальнобойный снаряд. Для пущей правдоподобности Кольке Шумилину и мне поручалось произвести отвлекающий маневр - устроить два взрыва где-нибудь за селом, чтобы имитировать обстрел. Старшине надо было обеспечить транспорт для доставки трофеев в расположение роты. Предполагаемые трофеи решено было спрятать в погребе, на двери которого я специально написал «Склад ВВ. Вход воспрещен!» и нарисовал череп.

В тот момент, когда производилась трофейная «операция», мы с Колькой в роте отсутствовали. Поехали с нашей кухней кормить взвод, охранявший мост, и по пути подорвали две пачки взрывчатки, как нам было приказано. Взрыв в костеле мы слышали. Колька размечтался. Никогда в жизни у него не было ни костюма, ни настоящей полуботинок. И вот он поведал мне свою заветную думку: он хотел вернуться после войны в свою деревню не в солдатской форме, а в гражданском шевиотовом костюме и желтых полуботинках...

На обратном пути Колька вдруг соскочил с повозки и подобрал валявшуюся на обочине старую противотранспортную мину. Нужна она ему была как собаке пятая нога... Он сказал, что, мол, штуковина эта с каким-то секретом, мол, капитану будет любопытно на нее взглянуть. Возвратившись в усадьбу ксендза, мы сразу поняли по лицам наших, что операция прошла успешно. Я видел, как из подвала вышли смеясь Бес со старшиной, а Колька туда спустился.

Едва я успел войти в дом, как он закачался, словно при землетрясении. Меня швырнуло на пол. Когда я пришел в себя и выбежал наружу, на месте подвала дымилась огромная воронка...

В подвале находилась целая бочка взрывчатки, больше ста килограммов. Только я один знал, почему она взорвалась: сработала злополучная мина, которую Колька принес...

Вместе с командиром роты погибло у нас пять человек. От Кольки нашли лишь одну ногу и медаль «За оборону Кавказа». А все трофеи были уничтожены взрывом.

ЧП расследовал сам капитан Скопцов, но до «операции» в костеле он так и не докопался. После этого взрыва саперная рота из полуразрушенной усадьбы ксендза перешла в другой дом, а в усадьбу вернулась сумасшедшая старуха. Мы слышали, как она кричала: «Кара Боска! Кара Боска!»

- Накаркала, старая карга, - ругался Бес.

Тогда я подумал, что если бы Бог послал наказание, то по справедливости погибнуть должны были не капитан и Колька, а Бес со старшиной.

КАК Я СТАЛ ВОРОМ И ВСТУПИЛ В РЯДЫ ПАРТИИ ЛЕНИНА - СТАЛИНА

После трагического ЧП, унесшего в братскую могилу получившего майорское звание юного Семькина, Кольку и еще нескольких старых саперов из нашей роты, капитан Скопцов свою угрозу осуществил: меня перевели в стрелковую роту.

Новый полковой инженер капитан Брянский с особистом отношении портить не захотел и отдал меня без всякого сопротивления.

В полку меня уже все знали, так что не успел я появиться во 2-м стрелковом батальоне, как меня сразу же назначили ротным писарем. И снова я столкнулся с Особым отделом в лице батальонного опера лейтенанта Забрудного, между прочим, моего старого знакомого.

Когда я прибыл в полк, Забрудный был ротным придурком и тоже ходил в писарях. Потом он заболел поносом и надолго выбыл в медсанбат, кантовался в дивизионных тылах, затем попал на какие-то курсы особистов и возвратился в полк младшим лей-тенантом. Этот ухарь был явным антисемитом.

- Я вашего брата знаю! - говорил он всегда, подобно Мильту. (Кстати, Забрудный был казак, но с Кубани.)

В стрелковой роте доверенным лицом Особого отдела являлся писарь, через которого опер держал связь со своими людьми. Теперь пришлось работать в системе лейтенанта Забрудного, а она ни в какое сравнение с системой капитана Скопцова не шла - Забрудный в основном пьянствовал.

Старшиной роты оказался сержант Волков, который отсидел пять лет за групповое изнасилование. Он, конечно, тоже оказался агентом Особого отдела, и мы с ним договорились друг дружку не продавать Забрудному.

Ротному писарю-каптенармусу приходилось заниматься не столько писаниной, сколько хозяйственными вопросами, боеснабжением и оружием. И тут запросто можно было загреметь в штрафную роту. Потери личного состава в боях были очень высокими. Оружие, числившееся за убитыми и ранеными, кровь из носу нужно было возвращать на полковой склад, а его всегда недоставало, потому что его бросали где попало.

Старшины и писаря подбирали его, где только могли - и на передовой и в тылах.

Но в нашей роте дефицита не было. Моему старшине пригодился тюремный опыт, он просто-напросто оружие воровал там, где оно плохо лежало. А что было делать?

Мне тоже в этих операциях приходилось участвовать. Мы уезжали обычно на ротной повозке в тылы, подальше от передовой - там ротозеев было больше. Однажды, например, у артиллерийской батареи все винтовки сперли. Пока старшина заговаривал зубы артиллеристам, наш ездовой охепками перетаскивал их оружие в повозку, а я в это время стоял на шухере.

Но не только мой старшина был такой хитрый. Воровство оружия приняло столь массовый размах, что по армии вышел приказ: оружие сдавать на склады только в соответствии с номерами, которые записаны в ротных ведомостях.

Но мой старшина и тут нашел выход - на складе у него были свои ребята. Он их взял на «водочное довольствие», и в благодарность они засчитывали ему оружие с чужими номерами.

Вскоре, когда мы уже были в Силезии, из-за больших потерь и нехватки офицерского состава наш батальон переформировали. Из трех рот сделали две, и меня перевели во вторую роту. Я тут был и за писаря, и за старшину, но с работой справлялся - в роте всего-то насчитывалась треть людей. И вот как-то у меня образовалась большая недостача оружия. Ночью, при переходе батальона на другой участок, присланный к нам новый командир роты не сориентировался в обстановке и приказал окопаться спиной к противнику. Когда на рассвете немцы открыли огонь, половина роты полегла, остальные отступили и окопались на новом месте. Оружие погибших - в том числе ручной пулемет - оказалось брошенным на ничейной полосе, и, разумеется, никто не хотел за ним лезть. Лейтенант был в полной растерянности от случившегося, оставшиеся солдаты его приказаний не выполняли. Он мне сказал: «Тебе оружие сдавать, ты и лезь за ним...»

Что мне оставалось делать? На следующую ночь перестрелки не было, и я пополз к оставленной позиции, ориентируясь по зареву пожара где-то в наших тылах. Действуя на ощупь, я собрал винтовки, а ручной пулемет нащупать никак не мог. Долго я ползал по передовой, как крот, измучился вконец. Несколько раз возвращался обратно, потом опять лез - пока не наткнулся на этот проклятый пулемет. Я его уволок осторожно, чтобы противник не услышал шума, потом перенес на повозку и, ни о чем не подозревая, свез на склад артснабжения.

Наутро меня разбудил посыльный лейтенанта Забрудного. У него я застал старшину Волкова и начальника артсклада. Все втроем они набросились на меня: ах ты, е... твою мать, умнее всех хочешь быть, у своих начал уводить...

Оказывается, пулемет-то был из роты Волкова! Как это получилось, я и сам не знаю. Видимо, я отклонился в сторону, когда полз, а пулеметчик в этот момент заснул. Поднялся переполох - решили, что немцы пулемет утащили. Утром Волков приезжает на склад сдавать оружие и надо же - видит свой пропавший пулемет.

Мои объяснения Забрудный поднял на смех.

— Целый год симулировал, обдуривал всех: «не вижу». А как пулеметы с передовой воровать - видит лучше всех!

Они составили акт, но я отказался его подписать.

— Все равно ты у меня не открутишься, в штрафную все равно упеку, - злорадствовал Забрудный. - Я всегда капитану Скопцову говорил, что ты придуриваешься с этими очками, а он не верил. Кто прав оказался?

Но в штрафную меня так и не упекли. В батальоне уже почти не оставалось народа. Каждый солдат был на счету. Приказано было всех уцелевших объединить в одну роту. Старшиной оставили Волкова, а меня направили в строй, вторым номером к злополучному пулемету, который я сослепу украл.

А Волков меня продал оперу, нарушив наш уговор.

— Ты лягавый! - сказал я ему. - Раз такое дело, я про тебя тоже все расскажу. Ты же по-настоящему оружие воровал.

— Я не лягавый, я тебя продал законно, - ответил он. - Мы уговаривались, когда были в одной роте, а потом у каждого стал свой интерес, когда по разным ротам разошлись...

Он действовал по закону двора. Моя угроза его лишь рассмешила:

— Не позабудь рассказать, что сам участие принимал. На шухере-то кто стоял?

В последний день моего пребывания на фронте, перед моим ранением, когда я находился в стрелковой роте вместе с венвольными, на передовую приполз батальонный парторг лейтенант Кваша, изрядно хлебнувший для храбрости. Я долго не понимал, что ему от меня надо.

— Форму номер семь заполни, тебе говорят! - твердил он, суя мне какие-то бумажки и огрызок химического карандаша.

У меня и мысли не было, что он прибыл в партию меня оформлять! О партбилете я тогда и мечтать не мог (не говоря уже о репрессированных родственниках, существование которых я скрывал из-за «кражи»

злополучного пулемета батальонный опер Забрудный «дело» на меня состряпал, и только нехватка на передовой «штыков» спасла меня от трибунала). Поэтому я был уверен, что парторг меня спяну с кем-то спутал. А тот не отставал:

— Боец Ларский, форму номер семь заполни, тебе говорят! Заявление приложим, а автобиографию опосля.

— Товарищ лейтенант, это ошибка, я в настоящий момент недостойн... Вчера меня в штрафную хотели, а сегодня в партию? В нашей роте имеются более достойные кандидатуры... Ефрейтор Рождественский, к примеру, кавалер ордена Славы, - доказывал я ему.

— Ларский, тебе русским языком говорят: Политотдел приказал перед форсированием Одера в каждом подразделении произвести прием... Усек? В вашей 1-й роте все сплошь сифилисные, кроме одного тебя, а «дела» сифилитиков Политотдел категорически не утверждает. Ефрейтор Рождественский вдобавок к сифилису триппер еще подцепил. Так что давай мне форму номер семь, не подводи батальон! - пристал парторг. И начал мне объяснять, что-де с одним триппером в партию еще можно оформить, но если прием ефрейтора Рождественского не утвердят, так батальонные показатели... тью-тю!

Вот в какой ситуации я неожиданно оказался, не зная, радоваться или наоборот... Подведешь батальон - на этот раз уже и начальство не простит: «наркомзем» обеспечен. В партию вступать - страшно. Батальонный опер лейтенант Забрудный такой хай может поднять: «Я ихнего брата знаю! Их под трибунал, а они «ейн-цвей» - и в партию!» Как начнет копать, чего доброго, и до моих репрессированных родственников докопается...

При этой мысли у меня мурашки по спине забегали. Я решил, что терять все равно уже нечего, и, нарушив строжайший запрет тети, сказал парторгу начистоту:

— Товарищ лейтенант, я всей душой с нашей родной партией, но мой папа два года просидел за троцкизм, а дядя арестован за связь с предателем Туполевым.

— Ты кому об этом говорил? - тут же спросил парторг.

— Нет, вам первому. Мне тетя запретила это рассказывать, - признался я.

Ты мне ничего не говорил, я ничего не слышал, понял? - сказал парторг. - Тетин приказ выполняй, война спишет. В анкете мне чтобы о родственниках ни-ни!

— Вы чему меня учите? - искренне возмутился я. - Партию обманывать!

— Обманывать?! Ежели так по-бюрократически подходить, как ты, то и принимать некого будет в ряды, - ответил парторг и сообщил доверительно, что и сам он тоже свое социальное происхождение скрывает: отец держал лавку, а он в анкетах указывает - «из семьи крестьянина-бедняка».

Парторг, как говорится, прижал меня к стенке, но все же, чтобы и батальон не подвести, и себя, я предложил ему компромиссное решение.

— Товарищ лейтенант, ежели погибну в этом бою за Родину и лично товарища Сталина, прошу тогда считать меня коммунистом, - заявил я. (С мертвого ведь не спросят за сокрытие родственников...)

— погоди, погоди. А как не погибнешь, что я с показателями буду делать? Давай по всей форме, - заартачился парторг, и, чтоб от него отвязаться, я ему форму номер семь заполнил. Но в заявлении так и написал:

«Если погибну за Родину и лично товарища Сталина, прошу считать меня членом Коммунистической партии». Завещание это я хотел спрятать у себя на груди, однако парторг решительно возразил:

— А как в тебя снаряд прямым попаданием ударит? Тью-тю, ищи- свищи завещание, а мне отчитываться.

Не подозревал я тогда, что батальонный парторг лейтенант Кваша такой сволочью окажется и, чтобы смухлеть на показателях, посмертно зачислит меня в партию.

На передовой я пробыл всего два дня, на третий меня ранило. К этому времени от нашей роты, вернее батальона, осталось тринадцать солдат, один станковый пулемет и один ручной. Никакого начальства над нами не было, ни офицеров, ни сержантов. Когда лейтенант был тяжело ранен, он приказал пока командовать мне.

А какой я был ночью командир, когда сам ходил на привязи за своим первым номером? В саперной роте мне сплели специальный поводок из бикфордова шнура: одним концом я цеплял его за свой ремень, другим - за ремень напарника, являвшегося моим поводырем.

Ранило меня ночью на другой стороне Одера, который мы днем форсировали по взорванному мосту. Нас накрыло минометным огнем, я закричал: «Вперед! Бегом!» - чтобы выйти из- под обстрела.

В этот момент вспыхнул взрыв, совсем рядом. Первый номер с пулеметом упал и потянул меня за собой. Поводыря убило, а я вначале даже не почувствовал, что ранен, но когда от него отцепился, то из-за сильной боли даже не смог бежать следом за сво-ими. Я понял, что ранен в живот. Стал обдумывать, как мне быть. Если ждать тут до утра, я могу отдать концы.

Спасение пришло, как с неба. Вдруг послышался шум мотора и приглушенный мат. Это оказались заблудившиеся артиллеристы с противотанковой пушкой, они совсем было заехали к немцам, хорошо, что я предупредил. Меня подобрали в машину и за-везли в какой- то медсанбат чужой дивизии. Из медсанбата перевезли в армейский госпиталь, в город Бяла Вельска.

Глава VI. БЛЕДНАЯ СПИРОХЕТА - ОРУЖИЕ ВРАГА КАНТОВКА В «НАРКОМЗДРАВЕ»

Итак, будучи ранен в стрелковой роте, я попал в медсанбат, а затем в армейский госпиталь, стоявший в городе Бяла Вельска, неподалеку от границы между Польшей и Чехословакией.

Признаюсь честно: чего я больше всего боялся на фронте, так это госпиталя. Не столько вражеские пули и снаряды меня пугали, сколько операционный стол и хирург в белом халате со скальпелем в руке. Еще я ужасно боялся, что если меня контузят, то в госпитале через меня будут пропускать электрический ток - об

этом я еще наслышался в запасном полку. Я заранее дал себе клятву: ни за что не попадать в госпиталь с контузией, лучше умереть! В детстве я, как-то решив попробовать, какого вкуса электричество, лизнул штепсельную розетку - вкус этот мне запомнился на всю жизнь.

Во время боев в Карпатах меня и вправду контузило. Вместо того чтобы отправиться в госпиталь и пройти лечение, я отлеживался две недели в ротной хозяйке под телегой, а потом два года заикался.

За геройский патриотический подвиг меня наградили орденом Славы III степени, а он давался не каждому (разумеется, об истинной причине своего героизма я умолчал).

Мильт, мечтавший о такой награде, был уязвлен в самых лучших чувствах.

- Ваша нация у казачества славу увела! - заявил мне этот старый конокрад, будто «наша нация» «увела» его кобылу.

Как я ни боялся госпиталя, но все же, когда меня ранило в живот, я там оказался. Если бы осколок попал куда-нибудь в руку или в ногу, я, может быть, опять побоялся бы пойти в госпиталь и за свой патриотизм получил бы орден Славы II степени. Мильт такого удара, наверно, не пережил бы.

Но теперь вопрос стоял о жизни или смерти, а помирать мне очень не хотелось в мои двадцать лет, да и как-то обидно было отправляться в «наркомзем», когда победа уже не за горами. Откуда я мог знать, что ранение неопасное? Это выяснилось только в госпитале, когда сделали рентген.

В медсанбате же никакого рентгена не делали, там действовали на глазок. Раненых клали на операционные столы и «обрабатывали» по конвейерной системе, как в разделочном цеху мясокомбината.

Ну и натерпелся же я страху!

Случайно санитары положили меня на последний стол. Попади я куда-нибудь в середку, скальпель хирурга автоматически обработал бы меня в общем потоке.

С замиранием сердца я наблюдал, как он, кромсая направо и налево, приближался ко мне. Но на последнего раненого У него не хватило сил, выдохся. Тяжело дыша и обливаясь потом, как загнанная лошадь, хирург отшвырнул нож и пошел отдыхать, спихнув меня в госпиталь, где я находился всего месяц и был выписан в выздоравливающий батальон.

Таким образом, в ремонтно-починочном цехе войны я прошел лишь текущий ремонт, а не капитальный, длившийся месяцы, а то и годы.

Мне думается, что для читателя не представляет большого интереса описание палаты, где я лежал, и всяких медицинских процедур, тем более что на эту тему написаны целые романы и поставлены кинофильмы.

В своих мемуарах я коснусь малоосвещенных в литературе сторон «наркомздрави». Я полагаю, что без придурков «наркомздрав» как таковой немислим и в мирные дни.

Не успели меня принести в приемный покой госпиталя, как какой-то человек в белом халате с криком «Лева! Родной!» бросился ко мне. С большим трудом я узнал в нем «дракона» Ваську, бывшего своего командира отделения, с которым мы вместе ехали на фронт из «Горьковского мясокомбината»

Васька так разжирел на госпитальных харчах, что сам на себя стал не похож. По его словам, он уже год кантуется в госпитале, живет как у Христа за пазухой, лучше, чем в санатории. Числится слесарем-водопроводчиком и начальству сапоги тачает. На врачихе женился!

Васька тут же распорядился положить меня без всякой очереди в самую лучшую палату на самое лучшее место...

Но меня ожидал еще один сюрприз: ко мне в палату заявился... Сашка! Оказывается, он здесь кантуется с тех пор, как его ранило. Конечно, он не помнил, как я его поил водой, но ко мне он отнесся, словно родной, будто никогда не гонял меня, как собаку.

Старшинские погоны Сашка опять сменил на солдатские, но зато в госпитале он был далеко не последним лицом - начальником хлеборезки. Сашка заверил меня, что в его власти не выписывать меня из госпиталя сколько угодно, с начальством, мол, он вместе выпивает и гоняет в преферанс, у него здесь все свои. Так мы опять собрались втроем.

Как-то в нашей «Ишачиной дивизии» была объявлена тотальная мобилизация, и некоторых придурков под горячую руку загребли на передовую. Даже одного из своих ординарцев генерал отправил на передовую, чтобы показать пример всему начальству. Все эти придурки попали в стрелковую роту, где я был писарем, и в первом же бою выбыли в «наркомздрав». Многих из них я тоже повстречал в госпитале в добром здравии. Кто пристроился в ординарцы к начальству, кто при кухне состоял или на складе, один стал чтецом при клубе, другой - баянистом. А многие просто отдыхали от ратных трудов, числясь выздоравливающими, то есть соображая насчет выпивки и баб.

Вид у всех был просто цветущий. За все годы войны только в «наркомздраве» довелось мне наблюдать такое скопление упитанных, краснолицых и самодовольных людей, всегда в меру подвыпивших, о чем свидетельствовал исходивший от них запах алкогольных паров. Спирт из госпитальных запасов зря не пропадал.

Кстати, в послевоенные времена очень похожая публика вместо госпиталей стала прохладиться в санаториях и пансионатах закрытого типа. Застиранные бязевые халаты они сменили на махровые импортные, и попахивать от них стало уже не денатуратом, а марочным коньяком. Это была все та же придурочная братия, но перековавшая мечи на орала. Приверженность их к «наркомздраву» общеизвестна. Я уже не говорю о высокопоставленных придурках, для которых созданы персональные здравницы на всех курортах, но и для мелкой придурочной сошки созданы условия, которые рядовым строителям коммунизма и не снились.

Однажды, находясь в Железноводске в задрипанном санатории «Ударник», предназначенном для рядовых язвенников и гастритников, я случайно проник в цеховскую здравницу «Горные ключи», специально

сооруженную для партийных придурков не особо высокого пошиба: секретарей райкомов, всяких «замов» и «помов» и техперсонала. Видимо, в наказание среди этой сошки был помещен тогда и разжалованный член Политбюро, человек с самой длинной в СССР фамилией И-примкнувший-к-ним-Шепилов, которого я имел удовольствие лицезреть, когда он в гордом одиночестве прохаживался по дороге вокруг горы Железной.

В цеховский храм затащил меня один знакомый придурок - по большому благу доставший туда путевку, - чтобы продемонстрировать мне, какая жизнь будет при коммунизме. Ведь в «наркомздраве» для придурков уже создано светлое будущее. Я увидел дорогие ковры, хрустальные люстры, мебель красного дерева с инкрустациями, портьеры из натурального бархата и портреты членов Политбюро. Товарищ сообщил мне по секрету, что под санаторием имеется прекрасно оборудованное бомбоубежище с бильярдным залом. Я думаю, что этот факт должен бы заставить призадуматься стратегов Запада: если во Второй мировой войне придурки сыграли весьма важную роль, то в условиях термоядерной войны они могут превратиться в решающий фактор.

Не дай Бог, вспыхнет термоядерная война. Живая сила воюющих армий может быть уничтожена, но придурки-то все равно уцелеют. Перекантуются где-нибудь в «наркомздраве» и опять возьмутся за решение всемирно-исторических задач, как это уже было после Второй мировой войны. Не в колхоз же им, в самом деле, идти ишачить.

НА ТРЕТЬЕМ ФРОНТЕ

Теперь рассмотрим другой вопрос: за счет кого же пополнялся «наркомздрав»?

— За счет раненных на фронте, - может сказать читатель.

Действительно, с фронта непрерывным потоком поступали в «наркомздрав» раненные вражескими пулями и осколками, а также контуженные.

Однако наряду с этим потоком неудержимой лавиной поступали раненные иного рода.

Любовь побеждает смерть! - когда-то гениально заметил товарищ Сталин (Орфография приводится в гениальном сталинском написании).

На войне смерть всегда набирает силу, поэтому извечная битва любви со смертью приняла особенно ожесточенный характер. Действия на сердечном фронте резко активизировались в конце войны, когда Советская армия приступила к выполнению освободительной миссии за пределами государственных границ СССР, а союзники открыли на Западе Второй фронт против немцев. Маньяк Гитлер вынужден был перебросить часть своих сил с советско-германского фронта.

- Вперед, на Запад! - сказал товарищ Сталин. Однако в своем победном наступлении Советская армия натолкнулась на мощный «контрудар» со стороны сердечного фронта, приведший к массовому выходу из строя нашей живой силы. «Наркомздрав» был переполнен.

Видимо, не зря в «наркомздраве» этот активизировавшийся сердечный фронт стали именовать третьим фронтом, ведь наши потери на нем намного превышали потери и союзников и немцев, вместе взятых, на Втором фронте. Поскольку такое положение серьезно угрожало боеспособности советских войск, помимо «наркомздрава» на третий фронт были переброшены все политорганы. Издавались секретные приказы, согласно которым выбывшие из строя на третьем фронте приравнивались к дезертирам, самострельщикам и членовредителям. После излечения в «наркомздраве» их должны были направлять в штрафные роты.

Но куда там! Потери росли как снежный ком, и ни о каких штрафных ротах и думать уже не приходилось: по меньшей мере половину офицеров туда пришлось бы послать, а кто бы тогда солдатами командовал?

В первую голову на третьем фронте отличался цвет армии, наиболее боевые и отважные рубаки. Но и придурки им не уступали, используя свои позиции и свою накопленную в тылах мужскую силу. В общем, любовь не только смерть побеждала, но, если быть до конца откровенным, на фронте любовь косила всех без разбора, в том числе и самих политработников - кто знает, сколько прекрасных и высокоидейных армейских коммунистов пало жертвами морального разложения.

Третий фронт, как и другие фронты, имел своих выдающихся героев. Отличился на нем и прославленный маршал Рокоссовский, но особенно выделялся своими подвигами дважды герой Советского Союза гвардии генерал-лейтенант авиации Василий Иосифович Сталин, которого по праву можно считать верховным придурком Советской армии.

Солдатская молва разносила по всем фронтам легенды о любовных похождениях и кутежах сына гения человечества и величайшего полководца всех времен и народов. До поры до времени не была предана огласке беспримерная деятельность на третьем фронте ближайшего сподвижника вождя народов маршала Советского Союза Лаврентия Павловича Берии. Только когда благодаря бдительности таких же верных ленинцев было неопровержимо установлено, что маршал Берия еще с семнадцатого года являлся замаскированным дашнаком, муссаватистом и платным агентом мирового империализма, вскрылось, что Лаврентий Павлович иногда позволял себе изменять жене. В общей сложности он проделал это с 857 женщинами, как об этом со всей партийной прямотой сообщил партии наш ленинский ЦК.

Будучи всего лишь ротным писарем, я в высоких сферах не вращался. Только в период своей недолгой штабной карьеры случайно соприкоснулся с сердечными делами генерала Веденина, командира нашего корпуса, содержавшего личный гарем, которому мог позавидовать турецкий паша средней руки. Генеральского адъютанта в штабе так и называли: «начгар» (то есть начальник гарема). Этот «начгар» всем хвастался ночными генеральскими победами: трахнули эту, трахнули такую-то, каждое утро об этом всем докладывал, видимо, желая таким способом поднять престиж генерала.

Конечно, полковое начальство подобной роскоши себе позволить не могло, но и среди него тоже было немало героев третьего фронта. Именно на этом фронте наш полк потерял одного из храбрейших своих

командиров, отчаянного сорвиголову гвардии подполковника Наджабова, которого пришлось основательно госпитализировать. Ходили слухи, будто его даже разжаловали за венболезни.

Я буду говорить о том, что знаю, и расскажу, как пополняла «наркомздрав» моя рота. Начну с боевых потерь, а затем коснусь и сердечных.

Поскольку в мемуарах следует придерживаться строгой документальности, я приведу секретные данные о движении численного состава нашей стрелковой роты в процессе боя.

Из этих средних данных читатель может видеть, что основные потери (до 60% личного состава) рота несла, едва вступив в соприкосновение с врагом. В штабах почему-то существовало предвзятое мнение, будто в первую очередь выбывали из строя необстрелянные люди, а опытные вояки оставались и ходили в атаки и контратаки.

Состав	Перед боем	Спустя 15 минут	В ходе выполнения
офицерский	4	1	1
сержантский	14	5	3
рядовой	42	20	15
конский	1	1	1
Всего:	60+1	26+1	19+1

Но дело-то обстояло как раз наоборот, о чем свидетельствовала ротная ведомость учета личного состава и боевых потерь (так называемая книга «наркомзема» и «наркомздрави»), согласно которой бывалые вояки, только что выписанные из «наркомздрави», тотчас же возвращались обратно. Такое даже правило у придурков было заведено: в первый день боя с нетерпением поджидали они, когда старшины и писаря вернутся с передовой: водку мы получали на все 60 человек, то есть 6 литров, из расчета по 100 граммов на душу. К нашему приезду на передовой оказывалось от силы человек 25, остальных как ветром сдувало при первых же выстрелах, и они гурьбой устремлялись в «наркомздрав» с легкими пулевыми ранениями в конечностях.

Таким образом, излишек водки составлял у нас литра три с половиной! Конечно же, мы его обратно на склад не сдавали.

В последующие дни излишек составлял максимум пол-литра, и мы - старшина, я и ездовой - по-братски его распивали. Так что учет боевых потерь велся по двойной «бухгалтерии» - и по ведомости, и по водке.

Но почему все-таки основное пополнение уходило в «наркомздрав» в первые же минуты боя? Оттого, что в эти минуты происходили наижарчайшие схватки? Честно говоря, не совсем так. Однажды на формировке я случайно подслушал, как два наших солдата - Иван Нечипоренко и Федя Мерзляков - тайком уговаривались.

— Ваня, значит, как в бой вступим, ты зараз мне в руку, а я те в ногу.

— Постой, Федь, - возражал другой, - ежели я сперва те в руку, как же ты с одной руки-то стрелять будешь? Заместо ноги в башку мне угодишь!

— Вань, прошлый раз-то как у нас было? Ты мне в ногу, я те в руку, а теперь давай поменяемся. Чтобы по-честному.

— Тогда ты первый должен в меня стрелнуть.

— Значит, зараз, я те в ногу, а опосля ты мне в руку...

На том они, видно, и поладили.

После этого я понял, почему именно в самом начале боя столько народу в «наркомздрав» улечучивается. По мере того как война подходила к концу, система «ты мне в ногу, я те в руку» распространялась все больше. Это можно было определить по бидону, в котором водки оставалось все больше и больше. Естественно, и пьянка в тылах возрастала.

О потерях личного состава на третьем фронте расскажу на примере саперной роты, где я пробыл больше времени, чем в стрелковой.

Разумеется, без женской темы в солдатских разговорах никогда не обходилось, но с практикой обстояло хуже.

Не зря саперы называли себя «каторжниками войны». А малокалорийное питание тоже сердечным похождениям не способствовало.

— Жив будешь, но бабу не захочешь! - любил говорить повар Колька, разливая по котелкам баланду.

Но, вопреки всему, саперная рота была достойно представлена на третьем фронте. Нашу честь поддерживала сборная команда, за которую вся рота болела, радовалась ее победам и глубоко переживала неудачи.

Капитаном команды по праву считался Мильт, самый многоопытный бабник - каким и полагалось быть донскому казаку, да к тому же еще станичному милиционеру. Мильт хвалился, что у самого начальника райотдела молодую жену отбил!

Центральным нападающим единогласно был признан Бес, на счету которого числилось больше всего побед, за ним тянулись молодые сержанты и командир второго взвода лейтенант Григорьян со своей бородой, смахивающий на ассирийского царя Навуходоносора.

Командир роты играл больше роль судьбы, поскольку он в похождениях не участвовал и всегда жил солидно, имея персональную ППЖ.

Читатель, конечно, догадывается, что я относился к разряду болельщиков, причем не особо искушенных, прямо надо сказать: мой первый роман со студенткой Любой в городе Горьком, оборвавшийся из-за неожиданной отправки на фронт, дальше совместного посещения кино зайти не успел.

Правда, у меня оказалась ее фотокарточка - Люба попросила срисовать ее портрет - с полустертыми словами на обратной стороне: «Каво люблю, тому дарю» (подозреваю, что эта дарственная надпись предназначалась не для меня). Тем не менее Любина фотокарточка в роте имела потрясающий успех, и мне даже завидовали - мол, у такого очкарика-недотепы какая девушка красивая!

Даже наша ротная ППЖ Нюрочка о моем выборе отзывалась одобрительно. Романтическую любовь она считала делом святым и со всей решительностью защищала меня от подковырок.

Нюрочка была в роте санинструктором, так сказать, представителем «наркомздрава», и по совместительству являлась также объектом коллективных атак нашей команды.

Вообще-то у нас в полку придурочных донжуанов было хоть отбавляй, но она ими не особенно тяготилась: ведь еще до армии она работала по самой древнейшей профессии на Краснодарском вокзале и тайны из этого не делала. Ее груди, бедра и ягодницы, по всеобщему свидетельству очевидцев, были покрыты искуснейшей татуировкой. Например, на одной половине эпинштейна (так изысканно называл эту часть ее тела Милът) была изображена кошка, а на другой - мышка. По словам тех же очевидцев, когда Нюрочка ходила, кошка догоняла мышку, как живая!

Однажды сам командир полка майор Кузнецов из чистого любопытства решил взглянуть на Нюрочкины «картинки» и так ими пленился, что забрал Нюрочку из нашей роты к себе и произвел в свою личную ППЖ.

Таким образом она и вознеслась в полковые гранд-дамы, распоряжалась командирским адъютантом и ординарцами, как хотела, говорили, что и сам майор попал к ней под каблук.

Краснодарский вокзал и саперную роту она уже не вспоминала, поплеывая на нашу команду с высоты своего положения, и лишь для Беса делала исключение.

Потом у майора Нюрочку отбил какой-то дивизионный начальник, и она пошла наверх - в конце войны ее видели в машине с каким-то генералом, всю увешанную медалями.

Потеряв фронтową подругу, ротная команда подалась на сторону - к этому времени наш полк попал за границу - в Европу.

Я надеюсь, что читатель великодушно простит мне отсутствие походов на третьем фронте, каковые, вероятно, обогатили бы мои мемуары. Это объяснялось не только моей застенчивостью и малой осведомленностью в сердечных делах, но главным образом паническим страхом перед венерическим госпиталем. По рассказам побывавших там «канареечников» - «канарейкой» ласково называли гонорею, самую распространенную награду за сердечные успехи, - им впрыскивали в берцовую кость лошадиную дозу скипидара. После этого «канарейка» улетала, но многие по нескольку дней лежали без сознания, а затем ползали на карачках целый месяц, пока приходили в себя. Поймать «канарейку» - это было еще полбеды. Можно было запросто обзавестись и бледной спирохетой, которая, проникая в организм, откусывала носы и высасывала мозги.

Волков бояться - в лес не ходить! - посмеивались солдаты, бесстрашно атакуя освобождаемый от фашистского ига прекрасный пол. Я же из-за своей мнительности дал себе зарок - к сердечным делам приступить лишь по возвращении домой.

(Между прочим, когда я женился, моя покойная теща, в годы войны работавшая врачом в тыловом госпитале, потребовала от меня, как от фронтовика, справочку от венеролога).

Но на фронте разве можно было от чего-либо зарекаться? Однажды я чуть было не угодил в объятия к Нюрочке, к которой испытывал лишь отвращение, хотя она мне и покровительствовала. Это случилось в самый страшный момент моей жизни, когда резерв нашей саперной роты был окружен немцами на высоте 718 в Карпатах. Мы оказались в старых окопах, оставшихся со времен Первой мировой войны, где заняли круговую оборону.

Боеприпасы кончились, но немцы, на наше счастье, об этом не догадывались. Вместо того чтобы просто подойти и взять нас в плен, суетились внизу, перестраиваясь для последней атаки, а их пулемет не давал нам поднять головы. С Нюрочкой нас было тринадцать душ, направлявшихся строить НП для командира полка. Дыхание смерти уже коснулось нас, казалось, спасения нет. Но и в этот последний миг любовь не отступила перед смертью. Я не видел, как это началось, когда оглянулся - за моей спиной сопела и барахталась куча тел, из-под которых доносился Нюрочкин голос.

- Ребята, еврейчика пустите, - ходатайствовала она за меня, - помрет ведь не поемшись...

Какая-то неведомая сила едва не бросила меня в сопящую кучу, но тут немецкий пулемет вдруг захлебнулся, и лейтенант Григорьян, не успев натянуть штаны, бросился из окопа с криком: «Второй взвод, за мной!» Возможно, немцы, перезарядившие пулемет, оторопели из-за того, что мы в таком неприличном виде их атаковали... Все произошло в считанные мгновения. Двое немцев бросились бежать, троих мы перебили лопатами и с трудом унесли ноги, скрывшись в лесном завале.

Насколько мне помнится, еще один шанс я, к своему счастью, упустил, но уже не с Нюрочкой, а с очаровательной гражданской паненкой Зосей из польской деревеньки в Краковском воеводстве. Дело было так. Когда мы пришли в дом, отведенный для ночевки инженеру, там оказались две смазливый полячки. Инженер, бывший «под мухой», облюбовал себе хозяйку дома, а мне и своему ординарцу Женьке приказал заняться паненками. Но нам с Женькой в тот момент было ни до чего, от усталости мы просто падали с ног и заснули как убитые.

Вечером уже изрядно подвыпивший инженер нас растолкал и устроил разгон:

— Эх вы, баб-то проспали, минометчики их увели! Вы саперную роту позорите. Чтобы паненок мне обработали, иначе я вас из саперов повыгоняю! - пригрозил он.

В общем, честь роты надо было поддержать. Когда паненки вернулись, Женька, не долго думая, полез к ним в кровать, под перину, а там спало все семейство - и мама, и папа, и бабушка с бабушкой! Я, конечно, постеснялся так поступать и попросил Женьку послать одну паненку в прихожую, где никого не было. Эта самая Зосья упрасивать себя не заставила и тут же явилась с намерением отдаться. Вот-вот это должно было совершиться, как вдруг дверь на улицу настежь распахнулась, и в прихожую ворвалась разъяренная Александра Семеновна, ППЖ командира нашей роты, крича на весь дом: «Здесь капитан с этой рыжей курвой? Они к инженеру пошли, я знаю!» - она имела в виду Катю, бывшую до нее ППЖ у командира и недавно вернувшуюся из госпиталя. Александра Семеновна стала обыскивать все углы, даже под кровать заглядывала. Меня сейчас же послали искать капитана. Так что приказ инженера я выполнить не успел, однако сожалел об этом недолго.

Через несколько дней после этой ночевки та же Александра Семеновна, фельдшер полковой санчасти, вызвала меня и без обиняков сказала: «А ну-ка, скромник, скидай штаны! Б...дь твоя из прихожей всю минометную роту «канарейкой» наградила».

После того как мы начали свою освободительную миссию в Польше, потери нашего полка на третьем фронте резко возросли. В связи с этим был проведен партийно-комсомольский актив. Выступал инструктор политотдела, призывавший повысить морально-политическое состояние всего личного состава перед лицом венерических болезней, которые, как он выразился, «льют воду на мельницу Гитлера». Коммунисты и комсомольцы, вдохновляемые мудрым руководством Сталина, должны быть в авангарде борьбы. Выступал и комсорг полка лейтенант Кузин.

Бледная спирохета - оружие врага! - заявил он. - Наша боевая стенная печать должна ударить по ней со всей беспощадностью.

Эта директива касалась непосредственно меня. Я был по совместительству редактором ротного «Боевого листка», за оформление которого не раз получал благодарности. «Боевой листок» выпускался на специальных бланках, на них типографским способом был напечатан заголовок с портретом товарища Сталина и девизом «За нашу советскую Родину!». Оставалось только вписать туда заметки на злободневные темы. Но я придумал новый, метод. Вместо нудных заметок, которые никто не читал, я рисовал портрет какого-нибудь ротного героя, отличившегося в бою, и писал всего несколько слов: «Берите пример с гвардии сержанта такого-то!» Такие «Боевые листки» пользовались большим успехом. Герои потом забирали их себе и свои портреты посылали домой либо любимым девушкам.

Я долго ломал голову над тем, как ударить по бледной спирохете. И вот на ум пришли слова любимого поэта моей юности В. Маяковского, который когда-то «вылизывал чахоткины плевки шершавым языком плаката».

Подражая великому поэту и художнику, я решил «шершавым языком плаката» пройти по сифилису. На бланке «Боевого листка» я изобразил целый плакат под названием «Бледная спирохета - оружие врага!» Для пушего страху бациллу я изобразил в виде отвратительного дракона, которого держит на цепи вражеская рука с фашистским знаком.

Этот «Боевой листок» не только в нашей роте, но и во всем полку пользовался необычайной популярностью. Его даже перепечатала дивизионная многотиражка. Конечно, в первую очередь была отмечена работа нашей политчасти, но и меня не обошли - представили к медали «За боевые заслуги».

Казалось бы, такая удача открывала путь к дальнейшей карьере. Окрыленный успехом, я думал над следующим «Боевым листком», где решил пройти «шершавым языком» по трипперу. Но, как это у меня всегда бывало, за успехом последовал срыв. Читатель, вероятно, помнит, как печально окончился мой первый опыт в области политической сатиры на Переведеновке. И снова подвел товарищ Сталин. Где-то в высоких политинстанциях (чуть ли не в Главном политуправлении), куда занесло мой «Боевой листок», в нем обнаружили грубую идеологическую ошибку, пропущенную нижестоящими политорганами. Их внимание было обращено главным образом на солдатский член в зубах у бледной спирохеты, а тот факт, что в заголовке рядом с этой непристойностью присутствует изображение товарища Сталина, от их внимания ускользнул. В итоге у нас в дивизии полетели два редактора со своих постов за политическую близорукость: редактор дивизионной многотиражки «За Родину, за Сталина!» и редактор ротного «Боевого листка», то есть я. На мою должность назначили Нюрочку, которая рисовать совсем не умела, но зато сочиняла стихи. Первое ее произведение начиналось так: «Моральный облик повышай, спирохету убивай».

Между тем мой удар по бледной спирохете почему-то привел к противоположному результату - саперная рота стала нести от нее все большие потери. Как от нее, так и от «канарейки». И счет им открыл не кто иной, как «сын полка» Жорка! Мильт, разоблачив и предварительно выпоров ремнем, свез его в медсанбат, откуда тот вернулся лишь месяца через два. Но, видимо, ни Мильтов ремень, ни скипидарная инъекция ему впрок не шли. В следующий раз он ухитрился подхватить где-то бледную спирохету и выбыл с ней в госпиталь.

Следом за Жоркой два лучших сержанта поймали по «канарейке», затем в венерический госпиталь выбыли наш помком-взвода и ездовой из хозяйечки, за ним ординарец инженера, за ординарцем - самый опытный минер... Семнадцать процентов личного состава потеряли саперы на третьем фронте.

А как обстояло дело в стрелковой роте? В последние месяцы войны, когда я там находился, обстановка на третьем фронте резко изменилась, так же как это произошло с Румынией и Болгарией, повернувшими оружие против фашизма. Из союзника врага третий фронт превратился в ударную силу, обеспечившую нашу победу.

К этому времени в стрелковых частях с личным составом создалось тяжелое положение. Иной раз вместо пехоты фронт приходилось держать артиллерии: если бы противник был в состоянии нанести нам контрудар, это могло бы привести к катастрофическим последствиям. И тут ввели в действие колоссальные резервы

третьего фронта, находившиеся на излечении в «наркомздраве». Венбольные были брошены в бой, что сыграло свою роль в разгроме фашистского врага.

Например, наш стрелковый батальон последнее время пополнялся в значительной степени именно за их счет. Вначале были сложности - здоровые солдаты не хотели находиться вместе с сифилитиками и больными гонореей, опасаясь заразы. Проводились политбеседы, в которых разъяснялось, что враг специально раздувает панику и сеет страх перед венерическими болезнями, чтобы подорвать боеспособность советских войск. Советская медицина с успехом их излечивает, и ничего страшного нет. А от больных заразиться нельзя - зараза, мол, не передается через котелок, а лишь через бабу. Но большинство здоровых солдат было заражено предрассудками на этот счет, и, чтобы поднять моральный дух войск, командование произвело переформирование, отделив здоровых от больных. Во второй роте, где я был писарем, оказались одни сифилитики, которых пообещали после победы вернуть на дальнейшее излечение. Несмотря на это, они были очень недовольны.

— Мы товарищу Сталину напишем, чтобы он знал, как с нами поступают! - возмущались сифилитики. - Больных не имеют право посылать на передовую, нет такого закона! Пусть сперва вылечат!

У них был старший - танкист Барзунов, который писал жалобы и в политчасть ходил, пытался что-то доказать.

— Почему здоровый может погибать за Родину и товарища Сталина, а сифилисный - нет? - спрашивал его начальник штаба батальона лейтенант Степанов, носивший всегда пистолет за поясом.

Однажды Барзунов отказался подчиниться приказу лейтенанта, и тот застрелил его на глазах у всей роты.

Но в общем наши сифилитики воевали не хуже других. Бойцы третьего фронта наверняка сражались и в войсках, штурмовавших Рейхстаг и водрузивших над ним знамя победы.

НА ПОСТУ КОМЕНДАНТА ГОРОДА...

Победу я встретил в выздоравливающем батальоне, но, разумеется, даже тут у меня не обошлось без ЧП - я уже подчеркивал, что у меня все получалось не как у людей. Когда на радостях шла повальная пьянка, я сидел под арестом в подвале комендатуры в весьма приятном обществе сдавшихся в плен немецких солдат и изловленных полицейских, а также членов городской управы, встречавших хлебом-солью советские войска.

Что же такое стряслось в этот день, навсегда вошедший в историю человечества, когда ликующие толпы заполнили улицы и площади Москвы, Нью-Йорка, Лондона, Парижа; когда столица нашей Родины салютовала воинам-победителям, а великий вождь и гениальный полководец всех времен и народов товарищ Сталин поздравил советский народ с победой? Как удалось коварному врагу в такой момент подбросить в нашу бочку меда свою гнусную ложку дегтя?

Конечно, мне, рядовому солдату выздоравливающего батальона, случайно оказавшемуся свидетелем этой вылазки врага, результаты расследования не могли быть известны. Я только знаю, что расследованием этого дела занимались не какие-нибудь оперы вроде нашего Скопцова или Зяблика, а полковники и генералы, неожиданно нагрянувшие в трофейных «мерседесах».

Меня выписали в выздоравливающий батальон, когда война подходила к концу. Сводки Совинформбюро сообщали о боях за Рейхстаг, и в госпитале уже готовились обмывать победу. Компании придурков запасались впрок спиртным и закуской - великий день вот-вот должен был наступить. Во всех корчмах места были забронированы заранее.

И в этот решающий момент вдруг пришел приказ переходить на новое место. Госпиталь перебрасывали «вперед, на Запад», поближе к фронту. Как растревоженный улей загудел наш «выздоровливающий», который должен был двигаться на новое место первым. Естественно, начали обмывать расставания и прощания. Добрая половина прекрасного пола Бяла Вельска вышла нас провожать. И батальон пополз со скоростью черепахи, не укладываясь ни в какие графики. И вот начальство, чтобы успеть подготовить место, послало вперед небольшой авангард под командой коменданта госпиталя. Конечно, комендант набрал в команду прежде всего кантовавшихся в выздоравливающем батальоне придурков. Я туда попал по протекции Васьки и Сашки. При этом команда не топала пехом, как все, а добиралась до места на попутном автотранспорте, для удобства разбившись на мелкие группы.

Народ уже был прилично поддавший на проводах. В нашей команде оказался непонятно откуда взявшийся моряк с баяном, так что мы не скучали, пока добирались до сборного пункта.

Комендант встречал всех подъезжавших у развилки шоссе дорог, одна из которых вела в город Тржинец, согласно дорожному указателю, находившийся в 23 километрах.

Туда нам и надлежало следовать.

Из начальства за старшего с нами пошел только сержант, а комендант и другие офицеры отправились к регулировщикам на блядоход, пообещав завтра утром подскочить в Тржинец на попутной машине и ждать нас на КПП.

Но мы прибыли в город не к утру, а лишь под вечер. Пока шли, команда наша не пропускала ни одной придорожной корчмы. Заночевали мы в городке, где не оказалось ни одной живой души. Дома стояли полные 462 добра и всевозможных припасов, шнапса, вина и пива. Уж там-то мы попирировали!

Если бы не хмель, то, конечно, мы бы обратили внимание на то, что дорога совершенно безлюдна и мост перед городом взорван. Но пьяному, говорят, и море по колено, не то что речушка.

Водную преграду мы форсировали на «ура» и с разудалой песней под баян вступили в город Тржинец. Моряк почему-то затянул «Песню военных корреспондентов», особенно любимую всей придурочной братией за ее припев:

Эх, с наше повоюйте,

С наше покочуйте...

Мы и не подозревали, распевая во все горло: «...С ручкой и блокнотом, а то и с пулеметом первыми врывались в города...» что мы и вправду являемся «первыми советскими войсками», вступившими в этот город. Правда, пулемета у нас не было - на сорок человек был только один автомат у сержанта. Откуда мы могли знать, что из-за штабной неувязки госпиталь был направлен в город, еще не освобожденный от врага? Лишь позже выяснилась причина этого недоразумения: город оказался на стыке двух армий и из-за нарушения взаимодействия оказался обойденным наступавшими советскими частями. Да наша придурочная команда и на пушечный выстрел не посмела бы приблизиться к нему, знай мы, что в нем засели вооруженные до зубов подразделения фольксштурма.

На наше счастье, немцы отступили из города в тот самый момент, когда мы под баян бесстрашно форсировали водную преграду. Единственной опасностью, которую некоторые из нас все же создавали, в том числе и я, была встреча с комендантским патрулем. Всю нашу нетрезвую компанию он мог бы отконвоировать на губу. Поэтому, вступив в город, мы для порядка разобрались в строй, с воодушевлением продолжая пение.

Судя по восторженной реакции местных жителей, наши песни им очень нравились, а мы уж, конечно, старались вовсю: мол, знай наших.

— Держись, паненки - «выздравбат» идет! - кричал моряк, наяривая на баяне.

Мы вышли на большую площадь, запруженную сбежавшимся со всех сторон народом. Путь нам преградила трибуна, обтянутая наспех красной материей и украшенная портретами и флагами. В первую очередь всем бросился в глаза большой портрет товарища Калинина в массивной золотой раме, а уж потом портрет товарища Сталина, вырезанный из старой газеты и наклеенный над ним.

Все это было так неожиданно, что мы даже немного оторопели. Строй наш смешался, и песня оборвалась.

— Братцы, вроде не туда зашли? Поворачивай оглобли! - закричал моряк.

Но тут суетившиеся у трибуны гражданские двумя группами направились к нам. Каждая несла по караваю хлеба на белых рушниках. На одном рушнике было написано на скорую руку «Мшаста просемь», а на другом - «Дабро пажаловат». Мы еще больше растерялись, но выручил всех Срулевич, бывший генеральский парикмахер, когда-то раненный в задницу (он видел не раз, как генералу подносили хлеб-соль).

Выйдя вперед, он принял буханки и расцеловался с отцами города, после чего, смахнув слезу, прямым ходом полез на трибуну.

Только тогда мы поняли, что это ведь нас встречают! Об истинной причине столь торжественной встречи никто не догадывался. Все решили, что население захотело уважить нас как раненых бойцов, проливших свою кровь в боях с фашизмом. Многие спяну так расчувствовались, что даже заплакали. От избытка чувств моряк стал бить себя в грудь и материться.

Пока Срулевич, как полагалось в подобных случаях, трепался о международном положении, все оживленно рассматривали шикарный портрет всесоюзного старосты.

— Вон какой почет Михал Иванычу за границей! - с гордостью говорили солдаты.

Чем-то родным и домашним веяло от этого портрета, напоминавшего о мирных довоенных днях. Во время войны о всесоюзном старосте почти и не вспоминали, он даже никакого воинского звания не имел.

В общем, как-то так само по себе произошло, что всеобщий староста на этом стихийном митинге оказался в центре всеобщего внимания. И когда Срулевич, сообщив с трибуны о том, что он представлен к званию героя за то, что прикрыл своим телом генерала во время бритья, провозгласил здравицу в честь товарища Калинина, все дружно грянули «Ура!». Моряк с возгласом: «Михал Иваныч, родимый ты наш!» полез на трибуну прямо с баяном.

— Граждане и гражданочки, братья и сестры, примите пламенный краснофлотский привет от лица всего экипажа тральщика «Калинин» в моем лице, - начал он и закончил свое выступление песней «Любимый город может спать спокойно», которой бурно заплодировала вся площадь.

Затем выступил один портной, он оказался земляком Михаила Ивановича, происходил из Калининской области. Его стали качать на радостях.

Я тоже выступил с небольшим предложением, которое, однако, вызвало такую бурю восторга, что, наверное, с полчаса все не могли успокоиться: площадь, на которой происходил митинг, я предложил назвать в честь Председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Калинина. Когда все высказались и воздали Михаилу Ивановичу должное, подошел черед городских властей благодарить нас за освобождение города от фашистов. Вот тогда-то мы разинули рты и мгновенно отрезвели.

— Братва, - обратился к нам моряк, - раз такое дело - сматываемся отсюда, пока не поздно... Если немец пронюхает, что мы из выздоравливающего, да еще безоружные - нам хана! Немцы вернутся и перебьют нас, как котят.

Срулевич заявил, что за взятие города нам полагается геройское звание, поэтому отступать нельзя. Он явно метил в дважды герои.

— Нас...ть я хотел на твои звания, мне жить охота! - возразил ему моряк.

Мы зашли в оставленную немцами комендатуру, и команда, как самого грамотного, выбрала меня исполняющим обязанности коменданта города. Собственно, я должен был подневалить до утра в комендатуре, а утром встретить наших офицеров, видимо, здорово загулявших. Моряк почему-то вызвался остаться со мной в наряде, еще я оставил Срулевича, которому сержант передал свой автомат. После этого наша выздоравливающая команда отправилась отмечать взятие города, уговорившись собраться завтра в комендатуре. Ребята пошли нарасхват, каждый житель старался затащить кого-нибудь к себе в гости.

Срулевича я поставил на пост у дверей комендатуры. Немецкую вывеску мы отодрали и установили наш указатель «Хозяйство Раппопорта» - как и прочие воинские части, госпиталь обозначался по фамилии начальника. У нас оказалась целая пачка фанерных стрел, которые мы позабыли расставить по дороге в город. Теперь мы их поприбивали вокруг комендатуры, чтобы нашим с похмелья легче было ориентироваться.

Покончив с этим делом, моряк завалился спать в казарме, а я расположился в кабинете немецкого коменданта, где постоянно звонил телефон и кто-то настойчиво спрашивал по-немецки «герра Хауптмана», хотя я каждый раз посылал его по-русски куда подальше...

Так я и задремал за столом, совершенно не подозревая о том, что на мои солдатские плечи свалится колоссальная ответственность, что по воле судьбы мне действительно придется некоторое время исполнять обязанности первого советского коменданта города, называвшегося по-польски Тржинец, по-чешски Терезин, по-немецки Терезиенштадт. Офицеры так и не заявили, а выздоравливающий батальон припелся в город на вторые сутки после появления в нем нашей команды. Немного ранее с другого направления появились войска 1-го Украинского фронта. Мимо города проходило шоссе, по которому советские войска потоком устремились на Прагу, не заходя к нам. В районе шоссе население было мобилизовано на дорожные работы, но в самом городе никакое начальство не показывалось...

А между тем обстановка в городе была накалена до предела. По Мюнхенскому соглашению он еще до войны от Чехословакии отошел к Германии, а во время войны туда переселилось много немцев из Польши, выдававших теперь себя за поляков. Местные судетские немцы объявили себя чехами. Городской магистрат состоял из поляков, утверждавших, будто город должен принадлежать Польше. Он создал вооруженную милицию, носившую бело-красные повязки - цвета польского государственного флага. Польские и советские флаги развевались над ратушей и над большинством домов.

В свою очередь чехи образовали свой магистрат, который объявил город чешским, а польскую власть незаконной. Чехи тоже создали вооруженную милицию с нашивками цветов чешского государственного флага и над своими домами вывесили чешские и советские флаги.

Враждующие стороны с нетерпением ожидали появления в городе советских военных властей, исходя из принципа: «Вот приедет барин, барин нас рассудит...» Но «барин» не появлялся, а националистические страсти все накалялись и грозили перейти в вооруженное столкновение.

Не только политическая, но и военная обстановка в районе города была довольно опасной. В прилегающих к нему горах сосредоточивалась крупная группировка немецких войск, которая затем отказалась подчиниться приказу о капитуляции и продолжала сопротивляться советским войскам до 16 мая. Многие немецкие солдаты, проживавшие в городе, приходили ночевать домой. Им ничего не стоило перестрелять нашу выздоравливающую команду, вооруженную одним автоматом. К тому же в окрестностях на господствующей высоте располагался большой санаторий для офицерского состава немецких военно-воздушных сил. Оттуда время от времени постреливали крупнокалиберные пулеметы.

Должен сказать, что обо всем этом я в тот момент ничего не знал, и обстановка для меня стала проясняться лишь в ходе выполнения обязанностей военного коменданта. А в этой работе мне здорово помог опыт государственной деятельности, приобретенный в детстве.

Итак, очнувшись я от криков, доносившихся снаружи, - это Срулевич отбивался от наседавшей на него толпы, желавшей пройти к советскому коменданту. Я объявил, что, мол, комендант выехал встречать войска и сможет принимать население только завтра. Но заваруха не утихла, гражданские стали просить, чтоб их принял «заступник пана коменданта», то есть заместитель. Я тогда приказал Срулевичу пропускать ко мне в порядке очереди и на всякий случай разбудил моряка.

Конечно, я не предполагал, что мне придется улаживать международный конфликт между Польшей и Чехословакией. Первой прорвалась ко мне польская депутация, а следом за ней чешская. Думаю, что отцы города понимали, что простой солдат не может решить их спор, но тем не менее каждая из делегаций пыталась перетянуть меня на свою сторону, прибегая при этом к взаимным обвинениям в сотрудничестве с фашизмом. Дело грозило дойти до рукоприкладства, и я просто растерялся, не зная, как выпутаться из этой неприятной истории.

Положение спас моряк.

— Не х...я нам тут баланду травить. Придет начальство, пусть и разбирается, кто там из них у немцев служил и чей город. А пока пусть на губе позагорают, - предложил он.

Так мы и поступили. В подвале комендатуры находилось помещение гауптвахты. Враждующие делегации были туда водворены и заперты на засов. Забегая немного вперед, сообщу, как решился этот международный конфликт. На следующий день через город прошел саперный взвод чехословацкой армии. Саперы куда-то торопились, в городе не задержались, но по пути командир взвода объявил, что Терезин принадлежит Чехословакии, и приказал своим солдатам посрывать все польские флаги. После этого отцов города я из кутузки выпустил, но она у нас не пустовала: повалили сдаваться в плен немецкие солдаты, прятавшиеся и выжидавшие поворота событий. Они складывали оружие к ногам Срулевича, а моряк препровождал их на гауптвахту, предварительно освободив от часов, авторучек и портсигаров.

Прибудет начальство - разберется!

Помню одного долговязого немца, заявившегося с вывеской: «Я ест немецки комунист!» До прибытия начальства решили на всякий случай его тоже отправить в кутузку. Двое грузин из нашей команды, вернувшись из гостей, привели какого-то плюгавого гражданского, крича, что они, мол, поймали генерала! Один кацо торжественно нес расшитый золотом мундир с эполетами, другой - шпагу. Оказывается, они случайно заглянули в хозяйский шкаф и обнаружили там генеральскую форму.

Цивильный доказывал, что он никакой не генерал, а всего лишь доброволец-пожарный и состоит в городском обществе пожарных. Но грузины настаивали на своем, ибо на мундире оказался значок с изображением... фюрера. Несчастливого пожарного все-таки посадили в кутузку, и не знаю - отпустили ли его потом.

Конечно, не всех приходилось арестовывать. Заявлялись какие-то люди, утверждавшие, что они антифашисты и хотят сделать важное сообщение - большей частью это были кляузы на соседей. Не внушавшие никакого доверия личности предъявляли справки, в которых подтверждалось, что такой-то действительно выполнял разведздание для Советской армии. Один тип потребовал с меня на этом основании 2000 злотых!

Начальство наше все не заявлялось, а у меня уже голова пошла кругом от этих комендантских дел. А тут еще новая напасть: толпа женщин, громко крича, выбежала с узлами и чемоданами на площадь и, опрокинув заслон Срулевича, ворвалась в комендатуру: это были наши советские бабы, находившиеся в лагере неподалеку от города!

Услышав о приходе Советской армии, они устремились в город, подобно саранче очищая все на своем пути и набивая захваченным у местных барахлом свои узлы. Трудно описать, что творилось, и вот тут-то, в самый критический момент, и подоспел наконец «выздоровливающий». Сложив сам с себя комендантские обязанности, я отправился вместе с моряком и Срулевичем в гости.

ДЕЛО АНАРХИСТА КРОПОТКИНА

Проснулся я среди ночи от стрельбы. На улице было светло, как днем, от сигнальных ракет, взлетавших над городом во всех направлениях. Сквозь беспорядочную пальбу слышались истошные крики. В доме не оказалось ни души - ни радушных хозяев-чехов, ни наших ребят. Меня занесло в одну компанию с моряком, Срулевичем и сержантом, но я раньше всех вышел из строя и очутился под столом.

С похмелья я перепугался не на шутку, решив, что немцы ворвались в город и все бежали, бросив меня одного.

Я бросился прочь из дома, но в дверях столкнулся с каким-то лейтенантом и двумя солдатами с винтовками. Это были наши.

- Товарищ лейтенант! Ребята! Что стряслось? - закричал я. - Почему стрельба?
- Брось дурочку валять! Какой части? Как фамилия? - отбрил меня лейтенант.
- Рядовой 2-й роты выздоравливающего батальона Ларский! - ничего не соображая, доложил я.
- Тебя-то нам и надо. Обыскать его! - приказал он солдатам.

Без ремня и обмоток меня повели под конвоем сквозь ликующую толпу.

— Виват! Ура! Победа! Да здравствует товарищ Сталин! - кричали военные и гражданские, обнимаясь, целуясь и выпивая прямо на улице.

И тут до меня дошло.

— Победа! Ура! - заорал я, как оглашенный, и, не помня себя, рванулся было в толпу.

— Ни с места! Отставить разговоры! - крикнул лейтенант.

Совершенно обалдевшего меня впахнули в подвал, где среди арестованных находилась почти вся наша команда.

Чувствую, что пришло время прервать повествование и объяснить, что же произошло в городе Тржинце в канун Дня победы. Почему в самый разгар веселья прибыли следователи по особо важным делам? Какое событие привело к неожиданным массовым арестам?

Думаю, что подобного ЧП не знала не только история Великой Отечественной войны, но и вообще советская история. Как установили органы, личность, изображенная на портрете в позолоченной раме и оказавшаяся в центре внимания нашего стихийного двухчасового митинга, никакого отношения к Михаилу Ивановичу Калинин не имела. Более того, эта личность, злонамеренно (видимо, в провокационных целях) выставленная рядом с товарищем Сталиным, не имела отношения ни к ЦК нашей партии, ни к советскому правительству. Но зато, как установили органы, не исключена возможность, что нити вели к белогвардейскому подполью и окопавшемуся в Лондоне правительству Миколайчика.

КАК УСТАНОВИЛА СОВМЕСТНАЯ ЭКСПЕРТИЗА КРИМИНАЛИСТОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ МГБ И СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ, РЯДОМ С ТОВАРИЩЕМ СТАЛИНЫМ БЫЛ ВЫВЕШЕН ПОРТРЕТ АНАРХИСТА КРОПОТКИНА!

ЧП было настолько вопиющим, что следствие не считало даже возможным упоминать фамилию отца русского анархизма, а при допросах употребила формулу «портрет неизвестного лица».

Почему-то в связи с этим портретом таскали больше Срулевича.

— Срулевич, напрасно отпираетесь, мы все знаем! - слышал я за дверью крик следователя, ожидая своей очереди.

Позже Срулевич мне рассказал, что еще немножко, и он бы подписал признание в том, что он завербован международным анархистским центром и через его агентов эмигрантским правительством Миколайчика.

В разгар допроса Срулевича я с ужасом вспомнил, что Михаил Иванович был не при галстукке, как он обычно на всех портретах изображался, а в черной «бабочке»!

Но я вовремя понял, что если я поделюсь своими наблюдениями со следователем, меня упекут подальше, чем Срулевича, за потерю бдительности. И на вопрос лейтенанта, чем-то напоминавшего Мильта, с чего это мне вдруг взбрелось назвать площадь в честь Калинина, я ответил: «Так ведь на митинге портрет Михаила Ивановича висел».

— Мы те покажем такого Михаила Ивановича! Приволокли врага народа да еще рядом с товарищем Сталиным повесили!

После допроса нас загнали в подвал, и неизвестно, сколько бы мы там просидели, если бы вдруг не ожил мертвецки пьяный моряк и не потребовал, чтобы его отвели в галюн. На него зашикали со всех сторон и попытались урезонить, мол, дело шьется с Кропоткиным и Калининным.

— Да е...л я вашего Кропоткина вместе с Калининным! - заорал он и ударил в дверь с такой силой, что она вылетела.

Часовых у двери не оказалось. Выйдя из подвала, мы обнаружили, что опергруппа, расследовавшая ЧП, уехала в неизвестном направлении, не оставив после себя никаких следов.

Чем кончилась история с Кропоткиным, я не знаю, но поговаривали, что в городе Тржинце начались повальные аресты, и вскоре три эшелона поляков было отправлено в Сибирь.

РОДИНА-МАТЬ И БЛУДНЫЕ СЫНЫ

...Победу, наверное, отмечали бы без конца, но на четвертый день вышел строжайший приказ прекратить пьянку и восстановить по всей армии порядок.

Госпитальное начальство постаралось поскорей избавиться от нашей команды, первой вступившей в город Тржинец, поскольку мы оказались причастными к какому-то ужасному ЧП, о котором толком никто ничего не знал. Нас послали в запасной полк, но война кончилась, и, горлая песни под баян, мы теперь направлялись не ближе к фронту, а ближе к дому.

В запасном полку мы застали такую картину, что подумали было - чудится с перепою!

В центре расположения полка стояла огромная полевая баня, в которую, топя подкованными сапогами, шли потоком немецкие солдаты с шевелюрами, а выходили из бани... наши «иваны», оболваненные под нулевку, в обмундировании и обмотках. По команде они строились и с песней «Красноармеец был герой, на разведку боевой» расходились по своим подразделениям как ни в чем не бывало. Все это происходило на наших глазах, прямо как в цирке. Это была самая забавная метаморфоза, которую я только видел на фронте, и были это не немцы, а блудные дети - власовцы, которые вновь вливались в ряды родимой армии.

Когда я прибыл в свой полк, у нас этих «бывших» было полным- полно, и они наивно ожидали скорой демобилизации. Однако комедия переодевания в советскую форму, конечно, окончилась трагедией. Когда наш полк вернулся из Чехословакии в Закарпатье, власовцев быстренько переодели из солдатской формы в арестантскую.

Это двойное переодевание оказалось блестяще проведенной СМЕРШем операцией, благодаря которой десятки тысяч «блудных детей» не выскользнули из железных объятий Родины-матери. Надо сказать, что во время победного возвращения некоторые власовцы, политически более подкованные - бывшие коммунисты и комсомольцы, пытались дезертировать на Запад. Из нашей роты тоже ушло двое бывших политработников. Другие надеялись на прошлые заслуги в рядах Советской армии и первым делом принялись писать в Президиум Верховного Совета СССР. Но все их слезные послания попадали, разумеется, не к всесоюзному старосте Михаилу Ивановичу Калинин, а к нашему полковому особисту капитану Скопцову.

Наверное, единственными власовцами из числа вернувшихся на родину, которых не упекли в «Архипелаг», были наши ишаки, попавшие в плен в Карпатах вместе с Мамедиашвили. На этот раз Особый отдел решил не перегибать палку и не зачислять их в категорию изменников Родины. Под их маркой как-то чудом проскочил и сержант Мамедиашвили, благополучно демобилизовавшийся в первую очередь по возрасту.

Разумеется, прежде я никому не признавался в том, что меня знал самый главный власовец - сам генерал Власов! Дело прошлое, теперь я могу рассказать, как мы с папой встретили его перед войной у станции метро.

Станция метро «Дворец Советов» находилась поблизости от Наркомата обороны и от Академии Генерального штаба, поэтому возле этой станции можно было видеть новых советских генералов с красными лампасами.

И вот однажды у метро нас окликнул высокий дяденька в генеральской форме с какими-то диковинными, громадными орденами на груди.

— Гриша! Сколько лет, сколько зим... - сказал он папе. - А тебя я помню, когда ты еще под стол пешком не ходил, а только родился, - сказал он мне. - Когда-то я с твоим папой и твоей мамой в одной комнате ютился, они на диване спали, а я на полу.

Папа дал мне денег, чтоб я сходил купил себе мороженое.

Не знаю, о чем они говорили с генералом в сквере.

Потом папа мне сказал:

— С этим дядей я вместе учился в Военной академии, его фамилия Власов. Он тоже жил в Китае.

— Это он в черном альбоме такой смешной, стриженный наголо, в пенсне и с усами? - спросил я папу. А я еще подумал: где я его видел?

Власов - не редкая фамилия, и, столкнувшись на фронте с власовцами, я, конечно, подумал, что папин приятель к ним никакого касательства не может иметь. Но однажды в немецком окопе я подобрал любопытства ради власовскую листовку с портретом и сразу же понял, что это именно тот Власов, а не какой-нибудь другой.

На передовой каждый мог попасть в плен, а при моей подслеповатости я лишь чудом этой участи избежал. Окажись я в плену - меня либо сразу же прикончили как еврея, либо отправили в лагерь смерти. Причем СМЕРШ все равно зачислил бы меня в категорию «изменников Родины».

А вдруг мне пришлось бы обратиться за помощью к самому Власову? Интересно: спас бы он меня?

Но вернусь к запасному полку, где я расстался с моряком и Срулевичем. Спустя несколько дней после победы я радостно шел в свою часть, стоявшую под Прагой. Я во что бы то ни стало хотел, выйдя из госпиталя, вернуться в свою родную «Ишачиную дивизию», с которой прошел боевой путь от Керченского плацдарма до Одера.

Я шел, мечтая о скорой демобилизации, возвращении в Москву и о поступлении в институт. А навстречу мне скакал на лошади оперуполномоченный Особого отдела, теперь уже старший лейтенант Забрудный, в новой шинели и хромовых сапогах.

Он очень удивился.

— А, беглец! Сам решил явиться? Это хорошо, это зачтется тебе... - как-то странно он приветствовал меня.

Я оторопел.

— Я не беглец! Иду из госпиталя после ранения. У меня все справки есть.

— А ну, покажи! - приказал Забрудный.

Я сдуру отдал ему все справки и больше их не видел.

— Е...ть я хотел твои справки! Ты с передовой дезертировал! И через санчасть не проходил! Я сейчас на блядоход еду. Мне с тобой заниматься недосуг. Явишься к комбату и доложишь, что я приказал тебя взять под стражу до утра! - орал он. - С пулеметом у тебя было недоразумение? И теперь тоже? Теперь ты, пархатый, у меня не отвертишься...

Он пришпорил лошадь и ускакал.

Безусловно, какая-то невидимая сила помогала мне выпутываться из бесчисленных неприятностей. Я даже сам этому удивлялся. Но в первый раз я подумал, что Бог, наверное, есть, когда на следующий день по всей дивизии стало известно о возмутительном ЧП со старшим лейтенантом Забрудным из Особого отдела.

Произошло следующее.

Вечером командир дивизии гвардии генерал-майор Колдубов, герой Советского Союза, проезжая на машине в штаб, чуть не сбил чью-то лошадь, плохо привязанную к крыльцу. Возмущенный генерал вошел в дом вместе со своим ординарцем выяснить, кому лошадь принадлежит. Принадлежала она старшему лейтенанту Забрудному, которого генерал слегка потревожил в кровати. Опер, разгоряченный любовью, отвесил всеми уважаемому генералу оплеуху.

Эта Богом посланная оплеуха и спасла меня от новых неприятностей со стороны Особого отдела. Забрудного тогда же скрутили и наломали ему бока. Был трибунал, и вначале ему дали семь лет. Но Особый отдел своего выгородил. Дело было пересмотрено, и Забрудному оставили только разжалование.

Глава VII. НЕИСЧЕРПАЕМАЯ ТЕМА

О ВЛИЯНИИ ПФС НА МАССОВЫЙ ГЕРОИЗМ

Теперь, дорогие читатели, от высокой стратегии спустимся к продовольственно-фуражному снабжению (ПФС) на ротном уровне. Должен отметить, что этот вопрос совершенно не разработан военно- исторической наукой. (И. В. Сталин обошел его в своих трудах, так как, будучи генералиссимусом, не состоял на солдатском пищевом довольствии.) Естественно, я могу этот вопрос осветить лишь с точки зрения бывшего ротного придурка (впоследствии окончившего первый курс вечернего Университета марксизма-ленинизма при Центральном доме работников искусств.)

Насчет роли ПФС существуют различные мнения. Друг моего детства и покровитель Карл Маркс утверждал, к примеру, что пища является самым необходимым условием, без которого классовая борьба невозможна. Исходя из этого, марксизм-ленинизм учит, что при капитализме недостаток пищи приводит к революционным ситуациям (восстание на броненосце «Потемкин, Ленские события в 1912 году и, наконец, Февральская революция в 1917 году, начавшаяся с демонстраций петроградских женщин и окончившаяся падением царского режима).

Но известный марксист, академик Евгений Варга придерживался несколько иного мнения: революции, контрреволюции, войны и прочие социальные бедствия происходят оттого, что многие люди едят больше, чем следует. Кстати, академик Варга за несколько лет до Второй мировой войны выдвинул оригинальную теорию о том, что фашистская Германия не в состоянии вести войну из-за нехватки у нее полезных ископаемых и продовольствия.

Как известно, теорию академика Варги опроверг лично товарищ Сталин. Великий вождь, в соответствии с советско-германским договором, предоставил в распоряжение маньяка Гитлера крайне необходимое для войны сырье и продовольствие. Но теория академика Варги была вновь взята на вооружение в период Великой Отечественной войны. На ее основании газеты писали, что в Германии положение с продовольствием намного хуже, чем в СССР, поскольку у нас колхозы, а у фашистов и колхозов даже нету. Немцы, мол, уже с голоду до того дошли, что сосиски стали делать из древесных опилок, а пиво варят из... каменного угля. Мол, фашистская армия на одних эрзацах сидит, в самой Германии немцы всю кору с деревьев объели...

Сошлюсь на такой бесспорный военный авторитет, как Наполеон. Великий полководец придавал исключительное значение продовольственно-фуражному снабжению войск, о чем свидетельствует его крылатая фраза: «Путь к сердцу солдата лежит через желудок».

Однако наш замполит майор Пинин придерживался иного мнения.

– Путь к сердцу солдата лежит через политинформацию! - категорически заявлял замполит, выражая точку зрения Главного политуправления Красной Армии и ЦК. И сам полковой начхоз гвардии капитан Ковбаса не раз подчеркивал: «Наркомовская норма не для того дадена, чтоб кормить нашего советского бойца как на убой!»

МЕТОД ОБОНЯТЕЛЬНОЙ ЛОКАЦИИ

Но я своим путем подошел к выявлению роли пиши, пользуясь разработанным мной на фронте «методом обонятельной локации». Правда, на этом методе я погорел и гарнизонная медкомиссия признала меня симулянтом, когда я просил о демобилизации из-за плохого зрения.

– Знаем мы эти еврейские штучки! Почему тогда боевые награды нахватал, почему не попал в плен к врагу, ежели так уж плохо видишь? - спросил меня председатель комиссии под общий смех.

– Не попал в плен, потому что ориентировался по г...ну, товарищ полковник! - рубанул я по солдатски.

– Ага, ты опять придуришься?! Кругом... марш! - взъелся на меня полковник.

А между тем я ведь сказал ему истинную правду. Кто-кто, но он-то, как врач, должен был знать, что по дерьму можно многое определить. Моя теща, чтоб за примером далеко не ходить, работавшая участковым врачом, всегда говорила: «Каков стол, таков и стул».

Одним словом, мой метод обонятельной локации основывался на том, что на передовой, как правило, отсутствовала канализация. Наиболее действенен он был в ночное время, когда я видел как слепая курица, но зато все запахи чужались намного острее, чем днем. Метод был очень несложен. В положении «лежа» следовало перевернуться на спину, чтоб удобнее было поднять повыше ладонь, предварительно ее послунив. Таким способом точно определялось направление ветра. Затем нос надо было повернуть по ветру, держа его невысоко над землей, и как следует принюхаться. Если несло нашим советским дерьмом - значит, в той стороне наши, если немецко-фашистским - там враг! Соответственно и направление выбиралось, куда ползти. Вот и все.

Конечно, вся соль заключалась именно в том, чтоб определить, советским дерьмом несет или фашистским. Ведь ошибка могла привести к роковым последствиям. Но эту разницу мог постичь любой человек с нормальным обонянием - разве в мирной обстановке мы зачастую не определяем по запаху, где находится общественный туалет? Разве многие при этом не чувствуют на расстоянии, где мужской туалет, а где женский?

В общем, разница в немецко-фашистском «букете» дерьма и «букете» советском была настолько вопиющей, что ошибка просто-напросто исключалась. (Пусть простят мне читатели столь неэстетичные материи

- война есть война.)

Если в изречении моей покойной тещи - да будет ей земля пухом

- проследить обратную связь, то выходит, что солдатское дерьмо в конечном счете отражает социальные системы воюющих государств и их военно-промышленный потенциал.

Но можно ли на основании этого метода определить, какая из сторон победит в войне? Оказывается, можно. Обобщив свой фронтовой опыт ротного придурка, я пришел к следующему парадоксальному выводу: массовый героизм находится в обратно пропорциональной зависимости от еды. (Иначе говоря, чем сытнее солдатская жратва - тем ниже охват личного состава массовым героизмом и наоборот.)

Разве всемирно-историческая победа Красной Армии над немецко- фашистскими войсками не служит убедительным подтверждением моего вывода?

Взять, к примеру, Керченский плацдарм, где наша Отдельная Приморская армия вела бои с фашистами почти пять месяцев, после чего перешла в наступление и освободила от врага южный берег Крыма.

НАРКОМОВСКАЯ НОРМА И ФАШИСТСКИЕ СОСИСКИ

Основным продуктом питания личному и конскому составу Приморской армии служила так называемая «шрапнель», или, попросту говоря, ячмень, который полевые кухни из-за нехватки на плацдарме топлива могли доваривать лишь до степени посинения. Дальнейшая варка совершалась солдатскими желудками, которые с этой задачей не справлялись (с вытекающими последствиями). К шрапнели полагалось мясо и жиры в виде N-ного количества граммов американской тушенки. Кухонные придурки клятвенно уверяли, будто получаемую с продсклада тушенку закладывают в котел, но в баланде лишь изредка проскальзывали слабые отблески жира. (Придурки божились, будто импортный продукт обладает способностью растворяться в баланде без остатка, сохраняя при этом все свои калории.)

Солдатский хлеб состоял из той же перемолотой шрапнели с какими-то неорганическими добавками. Буханкой такого хлеба можно было уложить фашиста в рукопашном бою - настолько крепка была корка. Под коркой же обнаруживалась быстро затвердевшая масса, с виду смахивавшая на конский навоз. Кстати, лошади хлеб этот есть отказывались: он ужасно вонял мазутом, который целыми кусками был в него вкраплен. Дело в том, что ПАХ (полевая армейская хлебопекарня) работала на мазуте, распыляемом форсунками, но топливо из-за технических неполадок не полностью сгорало в печах, падая на хлеб. Кроме хлеба и шрапнели солдату выдавалась горсть гнилой хамсы, около 30 граммов мокрого сахарного песку, четверть пачки махорки и 100 граммов сильно разбавленной водки. Кормили два раза в сутки, причем на передовую посиневшая «шрапнель» доставлялась пищеносцами уже в остывшем виде...

Не зря такая шутка ходила на Керченском плацдарме: «Что надо сделать, чтоб фашистов победить без всякого боя? Надо их, гадов, посадить на нашу наркомовскую норму - через месяц вся немецкая армия

капитулирует от поноса и язвы желудка!» (За эту шуточку немало солдат в СМЕРШ замели.) Полковая санчасть была переполнена доходягами и дистрофиками...

И тем не менее 11 апреля 1944 года пехота совершила с плацдарма феноменальный марш-бросок, преследуя отступавшего врага. С невиданным массовым героизмом 75 километров отмахала - с полной боевой выкладкой! - в результате чего стерла себе ноги и вышла из строя. (Дальнейшее преследование продолжал танковый десант.)

Хочу отметить, что в этой операции особо отличился доходяга Конкин из нашей саперной роты, не вылезавший из санчасти из-за дизентерии.

Он даже ухитрился обморозиться при температуре 0 градусов! Так вот, этого дистрофика послали в караул, и он каким-то образом захватил немецкую автомашину со штабными офицерами - здоровенными верзилами, каждый из которых мог бы его щелчком пришибить. А может, они сами захотели сдаться в плен, но так или иначе, рядовой Конкин за геройский подвиг был представлен к ордену Красной Звезды, после чего он из-за поноса снова выбыл в санчасть и в роту не вернулся. О подвиге Конкина в газете писали, он во всей Приморской армии стал известен.

Это не первый случай, когда в критические моменты именно дистрофики отличались, совершая героические подвиги. Наиболее активные боеспособные вояки почему-то быстрее отсеивались, а эти - по своей хилости - оставались в бою до последнего. Сытому в «наркомзем» неохота, естественный инстинкт самосохранения властно повелевает ему дрожать за свою драгоценную шкуру. Гамлетовский вопрос «Быть или не быть?» стоит перед ним во всей остроте, отрицательно воздействуя на его патриотизм, преданность делу Ленина - Сталина, морально-политическое единство и массовый героизм. Голодному же не до гамлетовского вопроса, ему лишь бы чем-нибудь брюхо набить. К тому же голодного почему-то намного сильнее вошь заедает, больше мучает триппер и особенно понос. Инстинкт самосохранения у него притуплен. Из кого составлялось боевое ядро, бравшее высоту или ходившее в контратаку? Как правило, из самых голодных доходяг.

К этому любопытному явлению я в дальнейшем еще вернусь, а сейчас перехожу к немецко-фашистскому ПФС. Пока мы под Керчью стояли в обороне, откуда наши солдаты могли знать, как у врага со жратвой? В основном из политинформаций и газет узнавали, что немцы вместо мяса жрут опилки. Правда, некоторые из плененных фашистов на голодающих вовсе не смахивали: у нас на весь наш полк только один толстяк был (сам начхоз гвардии капитан Ковбаса), а среди плененных подобные боровы пудов эдак на шесть-семь не так уж редко встречались.

Случилось однажды ЧП, когда в расположение нашего полка ночью заехала немецкая полевая кухня, запряженная ослами, но без поваров. В ней тоже оказалась «шрапнель», но не синяя, а доваренная до полной кондиции и, главное, напополам с мясом, а вовсе не с опилками. Запах от немецкой «шрапнели» такой шел, что наши солдаты, как голодные волки, на эту кухню набросились и давай из нее черпать - кто котелком, кто каской, кто прямо шапкой...

А тут откуда ни возьмись оперы из СМЕРШа: «Кто разрешил отравленное фашистское варево жрать?!» Приказали всем фашистскую кашу немедленно выкидывать в море, а тех, кто успел ее съесть, забрали в карантин. Все обошлось, но СМЕРШ взял с этих счастливиц подписки о неразглашении вражеской каши - чтоб держали в секрете сведения о фашистском ПФС. Но когда наша Отдельная Приморская армия перешла в наступление, эта тайна стала явной. Солдаты сами столкнулись с вражеским снабжением, захватывая в Крыму немецкие продсклады, кухни, консервные заводы и отбирая у плененных НЗ, состоявший из увесистых консервных банок с самым разнообразным содержанием. Каких только консервов в солдатских ранцах не попадалось: колбасный фарш, плавленые сыры, сосиски (немцы так насобачились набивать их опилками, что от свиных их нельзя было отличить), зеленый горошек, ветчина, джемы, паштеты, сгущенное молоко, тушенка, маринованный перец, шпроты, мармелад... Это не говоря уж о сигаретах, плитках шоколада, галетах, конфетах! О целых бутылках вина с красивыми этикетками! О маргарине, который можно было есть, как сливочное масло! О пачках меда, не уступавшего по вкусу настоящему!

Ей-богу, в мирное время в нашем «Гастрономе» на шоссе Энтузиастов я не видел подобного разнообразия продуктов, какое имелось во вражеском ПФС.

Без преувеличения можно сказать, что немецкий солдат получал такую «наркомовскую норму», какая в Красной Армии полагалась лишь генералам. (Разумеется, наших генералов от пуза кормили, но формально им тоже полагалась определенная норма.)

Таким образом выявилось, что отступавший враг имел подавляющее превосходство по части жратвы, но при этом терпел поражение от наших изголодавшихся войск.

О ВОЗДЕЙСТВИИ ПФС НА КОНСКИЙ СОСТАВ

Так же обстояло и с трофейным конским составом. В артбата-рее на радостях впрягли огромных бельгийских битюгов, а наших, советских одров просто побросали. Сперва битюги, как тракторы, тянули, но спустя всего две недели они уже копыта откинули: у немцев ведь эти бегемоты привыкли жрать по мешку отборного овса зараз и на наркомовской норме, положенной советскому коню, даже собственных копыт не смогли таскать. Ничего не попишешь, пришлось батарейцам опять впрягать наших одров, еле копыта таскавших... и пушки поехали!

И в полковом обозе заграничные битюги быстренько копыта откинули, продемонстрировав тем самым на примере конского состава превосходство советского общественного строя (это явление можно было бы назвать «копытолизмом» - от слова «копыто»). Дело в том, что буржуазный конь на одном голом питании привык работать, в то время как для советского коня решающее значение имел моральный стимул в форме солдатского мата, а также фактор социалистического принуждения в виде кнута (на личный состав

аналогичное воздействие производили политорганы и СМЕРШ.) Этим и объясняется то, что наши клячи как ишаки вкалывали на наркомовской норме. А буржуазный конь к битью не так привычен, ежели его с плеча стегануть вдоль и поперек, он в амбицию становится или вообще норовит на брюхо лечь. К тому же он русского мата не понимает ни в зуб копытом...

О РОЛИ МАТА ВО ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОБЕДЕ

...Поскольку речь коснулась мата, я должен сделать небольшое отступление, чтобы больше к этому феноменальному отрицательному явлению не возвращаться. Но здесь я хочу подчеркнуть его положительную роль в Великой Отечественной войне. Больше того, я беру на себя смелость утверждать, что, если бы личный состав Красной Армии не взял на вооружение мат, Красная Армия не выстояла бы против фашистского врага в критические моменты Великой Отечественной войны. Говоря по-научному, Красная Армия пользовалась особым каналом для передачи матерно закодированной информации, в то время как у врага подобный канал отсутствовал, несмотря на его техническое превосходство в области связи.

Матерная информация передавалась и принималась безотказно, в любой боевой обстановке. Она отличалась краткостью, смачностью, а главное - высоким эмоциональным накалом. Емкость ее поистине безгранична, одним словом из трех-пяти букв передаются любые чувства и состояния: благородная ярость к врагу, советский патриотизм, преданность делу Ленина - Сталина, радость, горе, восторг, отчаяние, удивление - все что угодно.

Матом отдавались боевые приказы и распоряжения, матом и поощряли, и распекали личный состав... С матом на устах совершались героические подвиги, с ним ходили в атаки и контратаки. Он облегчал муки проливших кровь за Родину. И даже в любви объяснялись матом. В общем, мобилизующее и организующее воздействие мата на личный и конский состав недооценивать нельзя. В суматохе и грохоте боя при возникновении неожиданных ситуаций только на мате и выезжали...

Я мог бы привести достаточно примеров из практики саперной и стрелковой рот, когда мат спасал положение в бою, но по понятным читателю причинам этого сделать не могу. Должен подчеркнуть, что и на фронте матерная информация передавалась исключительно в устной форме, в результате чего писаря должны были переводить ее на «цензурный» язык, которым писалась документация. К примеру, командир второго стрелкового взвода нашей роты лейтенант Гмырь, поднимая своих бойцов в атаку, кричал (прошу извинения за многоточия):

- Встать, б..., кому говорят... в... м!.. Перестреляю!.. А ну, вперед! Ура-а... твою м... нехай!!!

Я же, составляя наградную на лейтенанта, переводил это так: «С возгласом: «Вперед! За Родину-мать и лично товарища Сталина... Ура!!! Смерть фашистским оккупантам!» - гвардии лейтенант Гмырь повел свой взвод в атаку, в которой личный состав проявил массовый героизм, захватив огневые позиции врага...»

Так что вряд ли сохранились письменные источники, которые когда-нибудь донесут до потомков живую речь участников Великой Отечественной войны - наподобие того, как «Слово о Полку Игореве» донесло до нас речь древнерусских воинов.

В отношении же массового героизма можно сказать, что он без мата был бы просто невымыслим. Мат также оживлял политработу на ротном уровне, способствуя доходчивости до масс большевистской агитации и пропаганды.

К примеру, наш батальонный парторг лейтенант Кваша, который меня в партию оформил, вообще считал, что материализм происходит от слова «материться», а истмат означает - «истинная матерщина». Этот «идеолог», проводя в ротах политбеседы, без «истмата» двух слов не мог связать.

Конечно, затронутая мной тема требует специального исследования, я же не являюсь ни языковедом, ни психологом. Итак, вернемся к ПФС, чтоб рассмотреть важнейший его аспект, непосредственно связанный с массовым героизмом.

ВОЗДЕЙСТВИЕ СЛАВНОГО ГОРЮЧЕГО

Как я уже указывал, в состав наркомовской нормы входило 100 граммов водки крепостью 40°, выдаваемой личному составу действующей армии. Прежде хочу оговориться: я рассматриваю лишь положительное воздействие спиртного на моральные факторы, сыгравшие решающую роль в победе.

Всем известно, что спиртное способно усиливать советский патриотизм, благородную ярость к врагу, преданность идеалам коммунизма. Оно повышает готовность к подвигу и к самопожертвованию. «Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем...» - так пелось в популярной патриотической песне. В этом плане, надо признать, спиртное дает больший эффект, чем политработа, положительно воздействуя на массовый героизм. Однако от наркомовских 100 граммов подобный эффект не получался, учитывая к тому же, что личному составу водка выдавалась пониженной крепости и обычным явлением был недолив.

По опыту стрелковой роты я полагаю, что оптимальная норма для повышения массового героизма личного состава составляет 200 граммов, или один стакан (из расчета крепости водки в 40°). Но для дальнейшего поддержания массового героизма эту норму необходимо выдавать дважды в сутки при каждом кормлении подразделения.

Что касается офицерского состава, на котором в бою лежит наибольшая ответственность, то командирам взводов в боевой обстановке обычно наливали полную флягу емкостью 800 граммов, а командир роты обеспечивался по потребности.

К слову, о роли фляги в Великой Отечественной войне мало написано, а она заслуживает того, чтоб скульпторы увековечили ее в монументах

- наравне со знаменитым танком Т-34. Ведь фляга помогала командирам поднимать в атаки и контратаки личный состав и успешно выполнять боевые задачи.

... С автоматом в одной руке и флягой в другой - таким мне запомнился командир нашей 4-й стрелковой роты капитан Коломейцев в бою за высоту 99 (Темирова гора) под Керчью. Командир нашего 323-го горнострелкового полка гвардии майор Барабаш тоже крепко прикладывался к фляге, отбиваясь вместе со штабом от прорвавшихся на КП фашистов. И сам генерал-майор Колдубов, командир нашей 128-й гвардейской Туркестанской горнострелковой дивизии, прикладывался к фляге, когда неожиданно оказался со своим штабом в боевых порядках пехоты во время вражеской контратаки. Так или иначе, генерал не растерялся - за этот бой он получил звание Героя Советского Союза.

Одним словом, без фляги не обходилось на всех уровнях командно- штабной работы - начиная от взвода и кончая Ставкой Верховного главнокомандования. Вероятно, у читателя возникнет вопрос: каким образом эти фляги командно-начальствующего состава наполнялись

- в то время как и рядовому, и генералу полагалось лишь 100 граммов водки? Откуда же дополнительная водка появлялась, которая повышала массовый героизм и уровень оперативно-штабной работы? Отвечаю.

Водку эту раздобывали ротные придурки самыми всевозможными способами: выкраивали за счет разбавления водой (и добавления горьких химикалий), за счет недолива солдатам с помощью мерок уменьшенной емкости, за счет невыдачи непьющим и т. д. и т. п.

Был еще способ - во время боев держать на ротном довольствии некоторое количество «мертвых душ» с целью получения на них водки и жратвы. Каждый ротный писарь ежедневно в 6.00 утра обязан был представить в штаб батальона строевую записку, где указывался численный и боевой состав подразделения. И вот в этой строевой записке я занижал боевые потери, в результате чего едоков в роте оказывалось на целое отделение больше, чем было в действительности (а иной раз и на целый взвод!). В общем, тех, кто выбывал в «наркомздрав» и «наркомздрав», я снимал с довольствия с опозданием на сутки. Никто меня не мог проверить в суматохе боя - да и кто бы стал проверять? Начальство, которому от этой махинации водка шла? Но если едоков в роте оказывалось больше, то «штыков» в бою соответственно оказывалось меньше, чем числилось. За обман солдат меня бы сняли с должности писаря, за обман ПФС - в штрафную бы сунули, а тут дело пахло расстрелом...

К чему могла привести подобная порочная практика добывания водки, видно из несложного подсчета: ежели в период боевых действий в каждой стрелковой роте числилось хотя бы одно отделение из «мертвых душ», то в батальоне уже недоставало взвода, в полку - целой роты, в дивизии - батальона (!), в корпусе - полка (!!), в армии - дивизии (!!!), на фронте - корпуса (!!!!), а на всех фронтах Красная Армия недосчитывала двух-трех армий (!!!!!). Однако мне думается, что эта недостача личного состава с лихвой компенсировалась повышением массового героизма за счет полученного на мертвых душ спиртного.

В свое оправдание могу лишь сказать, что пополнение офицерских фляг славным горючим являлось священной обязанностью ротных старшин и писарей, по выполнении которой командование судило бы об их соответствии или несоответствии занимаемым должностям. А как я мог в строй вернуться с моей-то близорукостью, да еще без очков?

Теперь коснусь того, как рядовой и сержантский состав обеспечивал себя дополнительным спиртным для поднятия массового героизма. Придурки выдавали солдату лишь наркомовские 100 граммов (а фактически не более 2/3 от этого, учитывая разбавление и недолив), где же он брал остальное? Конечно, можно было водку у гражданских приобрести по цене 800 рублей бутылка, но откуда у солдата такие деньги, когда его денежное довольствие составляло 40 рублей в месяц? Оставалось лишь на трофеи рассчитывать да на солдатскую смекалку. Хотя такая практика способствовала повышению массового героизма, но, с другой стороны, она была чревата Ч П, приводившим к потерям личного состава и нарушениям воинской дисциплины. Свидетелем подобного ЧП я оказался во время освобождения нашими войсками города Алушты в марте 1944 года.

Ворвавшись на территорию винсовхоза «Путь к коммунизму», солдаты бросились штурмовать громадные чаны с вином. Вино лилось рекой в буквальном смысле этих слов... но в его потоках, увы, немало солдат захлебнулось. Были жертвы и в результате вспыхнувшей шальной перестрелки, и в чанах потонуло несколько человек. Слава Богу, что враг в этот момент отступал, но если бы фашисты перешли в контрнаступление

- случилась бы большая беда...

Саперная рота в этом наступлении захватила в качестве трофея большую бочку выдержанного портвейна, но, к сожалению, ценный трофей удержать не удалось - его отбили у нас придурки из ПФС во главе с самим капитаном Ковбасой. Дело было так.

При вступлении нашего полка в оставленный фашистами Ай-Гурзуф саперная рота первой подоспела к винзаводу № 2. Саперы написали на всех входах «Мины!», чтоб посторонние не совались, и начали «разминирование». Конечно, искали главным образом вино, никаких мин не оказалось, и полковой инженер приказал выставить напоказ старые корпуса от немецких мин - для остротки!

Сам полковой начхоз капитан Ковбаса и старший оперуполномоченный СМЕРШа капитан Скопцов очень интересовались результатами «разминирования», но, конечно, саперы держали находку в тайне. Полковой инженер капитан Полежаев разработал хитроумную операцию с целью обмануть бдительность начхоза и СМЕРШа. Он якобы наложил дисциплинарное взыскание на командира 2-го взвода лейтенанта Темина, послав его вне очереди в полковой наряд, а лейтенант заступил в наряд вместе со всем взводом. Таким образом караул оказался из наших людей, что позволило ночью скрытно перебросить бочку портвейна из подвала винзавода в ротную хозяйкею. Ей-богу, ни одно боевое задание так самоотверженно не выполнялось: сорокаведерную бочку на руках поднимали, откуда сила бралась! Бочка была замаскирована на повозке, где перевозили минно-подрывной резерв и где согласно инструкции должен был пост стоять. К ней провели тонкий резиновый шланг, по которому вино поступало непосредственно в рот личному составу,

причем дозу отпускал старшина, зажимая шланг, когда считал это нужным. (Такая тщательная конспирация соблюдалась во избежание выноса вина из расположения роты.)

Поскольку со старшиной отношения у нас были натянутые, он отпустил мне лишь несколько глотков волшебно-влаги. А сержанту Шлыкову - первому обнаружившему бочку под грудой старой клепки - такую «клизму» поставил, что того от портвейна развезло. И надо же было сержанту нарваться на самого начхоза капитана Ковбасу, который по обонятельной локации сразу усек, в чем дело. Сержант спьяну раскололся и выдал начхозу тайну... На следующую ночь Ковбаса со своими придурками выкрал у нас бочку портвейна, обойдя опера. Кому было жаловаться?

Более опасный оборот принимало дело, когда в качестве трофея солдаты захватывали не портвейн, а метиловый спирт, употребляемый врагом для технических целей. Во 2-й стрелковой роте целый взвод им отравился и выбыл в «нарком-здрав» - к счастью для солдат, отравление оказалось не смертельным, но трое человек временно ослепли. А в соседней с нами минометной роте жуткое ЧП произошло: вся рота в полном составе выбыла в «наркомзем», отравившись этим проклятым пойлом...

Должен все же отметить, что в малых дозах это мерзкое вещество было не опасней одеколона или политуры для разведения красок либо амортизационной жидкости, которая употреблялась в артиллерии. В малых дозах метиловый спирт неплохо влиял на массовый героизм, вполне заменяя водку. Я сам его пил, разбавляя сладким чаем, и не отравился. Однако мог ли солдат в бою точно соблюдать безопасную дозировку? До этого ли ему было, когда он одной ногой, можно сказать, стоял в «наркомземе», а другой - в «наркомздраве»?

— Погибать, так с музыкой! - говорили солдаты, повышая настроение с помощью метилового спирта.

В общем, любые вещества, заменявшие спиртное, солдаты охотно употребляли - лишь бы поднять массовый героизм. И зависимость массового героизма от спиртного была прямой: чем спиртного больше, тем героизм выше (но, разумеется, если доза превышала два стакана, действия личного состава могли выйти из-под контроля политорганов и СМЕРШа.)

ЖЕЛУДОК И МОРАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО

Но представим себе, дорогие читатели, что получилось бы, если бы советского солдата ПФС не держало в «черном теле», а посадило бы на генеральскую норму? Разве стойкость и боеспособность Красной Армии увеличились бы? Безусловно, нет!

Дорвись наши солдаты до генеральской житухи - такая бы деморализация пошла, такая пьянка, что пропили бы и всемирно-историческую победу, и лично самого товарища Сталина. А голодный солдат, к тому же измотанный на маршах без сна и отдыха, на любой героизм способен...

Представлю это примерами...

Когда я после ссоры со старшиной Мильтом был поставлен в строй (с сохранением за мной писарских обязанностей), моим напарником стал ефрейтор Чернов - мы с ним на пару получали котелок баланды и сухой паек. Несколько слов о Чернове. В роте он считался лучшим воякой, посылался на задания в тыл врага, был награжден двумя орденами Славы и являлся кандидатом на представление к Славе I степени. Этот ротный герой постоянно мучился от голода, парень был здоровый, и наркомовской нормы ему лишь на один зуб хватало. К тому же бедняга страдал язвой желудка - у него иной раз так живот схватывало, что он аж белел весь и на землю ложился... Я же, наоборот, был едок слабый - даже хлеб у меня оставался. Помимо хлеба Чернову от меня еще махорка перепадала. В общем, я для него напарник был выгодный, и он меня очень оберегал.

Однажды старшина выдал всем НЗ, строго-настрого запретив без приказа его есть: НЗ был с настоящим салом, такое мы впервые получали!

Помимо сала в него входили две пачки горохового концентрата и две буханки хлеба - все это я сложил в свой вещмешок, зная, что Чернову продукты доверять нельзя: съест без приказа, не утерпит. А на следующий день наш взвод неожиданно напоролся на немцев. Когда мы шли копать наблюдательный пункт для командира полка, вдруг ударил фашистский пулемет и прижал нас к земле, не давая головы поднять. Взводный тогда крикнул, чтоб Чернов выдвигался вперед и подавил огневую точку врага. Но Чернов первым делом подполз ко мне. «Лев, давай сало съедим, жалко, ежели пропадет», - прошептал он, глотая слюну. Ему не жизни было жалко, а сала... Мне в тот момент не до сала было, откровенно говоря, но я без слов отдал ему пакетик, в котором, судя по надписи, было запечатано 125 граммов соленого свиного сала, полагавшегося нам на двоих. Чернов, мигом вытащив из-за голенища нож, попытался его разрезать. Но не тут-то было: в пакетике оказался кусок окаменевшей свиной шкуры, покрытый волосами и солью, нож ее не брал.

— Давай сосать по очереди, сперва я, потом ты? - предложил Чернов, отчертив ножом мою половину.

— Соси, - согласился я, и он, засунув в рот свою часть и зачмокав, полез под ураганным пулеметным огнем вперед.

Через несколько минут раздался взрыв фанаты и пулемет смолк: Чернов выполнил приказ, но в момент броска гранаты был убит наповал. Так он и погиб со шкурой в зубах и так был похоронен - зубы не удалось разжать... Тут и обнаружилось, что НЗ он вскрыл самовольно и поэтому на орден Славы I степени не потянул - за героический подвиг ефрейтор Чернов посмертно был награжден орденом Отечественной войны 1 степени.

Дивизионная многотиражка напечатала очерк о его подвиге, где говорилось, что Чернов погиб с возгласом «За Родину, за товарища Сталина!», а получив приказ, целую патриотическую речь толкнул, идя на самопожертвование, подобно Александру Матросову. Но как он мог речь толкать и возгласы произносить, когда у него в зубах была зажата эта шкура? Он даже материться вслух не мог.

Конечно, каждый солдат, который голодал и которому наркомовской нормы не хватало, старался какой-нибудь еды раздобыть: кто картошку воровал на огородах, кто кур, кто грибы собирал или ворон стрелял. Некоторые конину ели - с убитых лошадей, иные рыбу глушили гранатами.

О другом распространенном способе рассказал мне Петька Курицын, с которым мы после войны вместе демобилизовались из рядов Советской армии. Петька служил в саперном батальоне, занимавшемся разминированием в прифронтовой зоне. Наркомовская норма у них была жиже, чем на передовой, а водки им вообще не полагалось. Петька говорил, что совсем дошел бы с голодухи, если бы его верный друг Кабыздох не выручал. Дело в том, что Петькин батальон разминировал при помощи собак, которые тоже состояли на довольствии в ПФС. Солдатам на их псов выдавали собачью норму, но Петька своего друга не объедал: он вместо большого пса завел себе совсем малюсенького, который в кармане шинели умещался. Мины тот обнаруживал даже лучше, чем большой, но жрал совсем мало, и львиная доля его собачьей нормы Петьке перепадала. Как мне помнится, и в нашем полковом обозе кое-кто за счет ишаков подкармливался - когда там зерно выдавалось от ПФС. Елдаши, к примеру, варили себе плов из ячменя - в общем, каждый как мог солдатскую смекалку проявлял, чтоб желудок чем-нибудь наполнить.

Но в стрелковых ротах подобными способами невозможно было подкармливаться: там ни собак, ни ишаков на довольствии не держали - только 1 (один) обозный конь полагался для Перевозки ротного хозимущества, который на наркомовской фуражной норме сам еле копыта таскал.

На освобождаемое от фашистского ига гражданское население особо рассчитывать солдатам не приходилось, наоборот чаще население у полевых кухонь подкармливалось. Но когда Красная Армия, выполняя свою освободительную миссию, перешла государственную границу СССР и вступила на территории оккупированных фашистской Германией капиталистических стран, положение в корне изменилось. От освобождаемого от фашистского ига заграничного населения солдатам стало поступать продовольствие, позволявшее им обходиться без ПФС. Результаты не замедлили сказаться: морально-политическое единство личного состава и массовый героизм резко снизились, боеспособность войск упала. Все усилия политорганов, СМЕРШа и придурков из ПФС выправить положение ни к чему не приводили. И тогда товарищ Сталин внес новый вклад в сокровищницу марксизма-ленинизма, разрешив личному составу действующей армии брать трофеи и пересылать их полевой почтой в тыл на адрес семей. Таким образом, на заключительном этапе Великой Отечественной войны вступил в действие фактор материальной заинтересованности, вызвавший небывалую волну массового героизма не только на передовой, но и в тылах.

Трофеи-то главным образом придуркам перепали да тыловому начальству, которые целыми вагонами их хапали (особенно СМЕРШ отличался).

Но вернусь к ПФС, чтоб показать, каким образом повышение солдатского рациона привело к понижению морально-политического состояния нашей 2-й стрелковой роты и других подразделений 128-й Гвардейской Туркестанской горнострелковой дивизии.

Дивизия, действуя в составе 18-й армии (начальником политотдела которой, как я узнал спустя четверть века, был полковник Л. Брежнев), в сентябре 1944 года перешла советско-чехословацкую границу и во время наступательных боев в Восточной Словакии получила удар, который вывел наше ПФС из строя. Удар этот был нанесен не вражеской авиацией и не артиллерией противника, а пшеничным хлебом, выпекавшимся местным населением. В селах охотно снабжали наших солдат этими вкуснейшими караваемыми из крупчатой муки. Такого белого хлеба многие солдаты и в глаза никогда не видали даже в мирное время. Правда, солдаты самых старших возрастов утверждали, что подобный сорт и в России имелся при царе Николае: сожмешь его, а он потом сам расправляется.

Помимо белого хлеба солдат и молоком всегда угощали, и сало в каждом доме имелось - да какое! Розовое, в полторы ладони толщиной...

Как голодные волки, накинулся личный состав на эту райскую жратву, после которой воняющий мазутом пээфэсовский хлеб просто в горло не лез, а на баланду и смотреть не хотелось. Солдаты свои постылые черствые буханки выбрасывали прямо на дорогу, туда же кухонные придурки и полевые кухни освобождали, так как вся баланда оставалась в котлах.

Отказ от наркомовской нормы сразу же привел к ЧП политического характера. Личный состав на почве белого хлеба с салом буквально рехнулся. Общее настроение выразил рядовой 2-й стрелковой роты Иванов, который учинил скандал - вместо благодарности за угощение, - заорав на освобожденных от фашистского ига заграничных жителей: «У меня в колхозе баба с детьми с голода околевают, а вы тут белый хлеб жрете, буржуи проклятые?! Да зачем за вас кровь-то проливать, зачем вас освобождать-то? Это нас освобождать надо!»

Конечно, Иванова в СМЕРШ замели - только его и видели... Но в подразделениях участились случаи дезертирства и самострела (под видом несчастных случаев при чистке оружия). Политорганы переполошились. Был созван по тревоге партийно-комсомольский актив дивизии, что практиковалось чрезвычайно редко. На этот актив и я побежал, поскольку по совместительству с обязанностями писаря и помкашевары являлся также ротным комсоргом. Об особой важности мероприятия свидетельствовало и то, что с докладом выступал не Кто-нибудь из политотдельских придурков, а сам Колдубыч - как солдаты величали гвардии генерал-майора Колдубова, командира нашей дивизии, пользовавшегося большим авторитетом. Вот ему и было поручено восстановить покачнувшуюся веру личного состава в превосходство советского общественного строя. Колдубыч призвал партийно-комсомольский актив немедленно провести во всех подразделениях политинформацию и довести до сердца каждого солдата его слова.

— К сожалению, в наших рядах оказались отдельные несознательные люди, которые, впервые столкнувшись с зарубежной действительностью, решили, что при капитализме, мол, население лучше

живет, чем в нашей, советской стране. Но они глубоко ошибаются, товарищи! - заявил генерал под аплодисменты активистов (откровенно говоря, тоже так думавших).

И он сообщил, что бывал в этих местах в Первую мировую войну рядовым солдатом русской армии и что эта местность особая - по ней судить о капитализме нельзя. Не зря она называется «Золотой долиной»: ее войны обходили стороной, здесь никогда не было разрухи, поэтому население живет зажиточно. А дальше на запад - все беднее и беднее...

После генерала инструктор политотдела майор Вайнилович прочитал нам лекцию «Марксизм-ленинизм об абсолютном и относительном обнищании трудящихся при капитализме», затем был проведен инструктаж агитаторов.

Все силы партийно-комсомольского актива дивизии были брошены на проведение политинформации и политбесед о текущем моменте. Но лишь благодаря авторитету Колдубыча положение немного удалось выправить. ЧП пошли на убыль, показатели массового героизма перестали снижаться. Когда же дивизия вновь двинулась в наступление, то оказалось, что Колдубыч малость сплеховал: чем дальше на запад, тем население жило не хуже, а вроде бы, наоборот, лучше, чем в Восточной Словакии. Невзирая на фашистскую оккупацию, население домашним консервированием увлекалось. В подвалах домов солдаты обнаруживали целые горы стеклянных банок. Какой только снеди в них не было: телятина, гусятина, поросятина, курятина...

Ясно, что солдаты домашнее жаркое предпочитали нашему ПФС. Как я уже говорил, массовый героизм удалось поддержать с помощью трофейного ажиотажа.

Каждый старался первым в населенный пункт ворваться, за трофеи солдаты в огонь и воду шли. Чудеса совершали! Что там говорить: накануне всемирно-исторической победы вся Красная Армия превратилась в одну сплошную трофейную команду.

Это привело к тому, что абсолютное и относительное обнищание трудящихся при капитализме произошло на наших глазах, подтвердив марксистско-ленинскую теорию.

РОЛЬ ПРИДУРКОВ

Теперь перехожу к прямому влиянию придурков на массовый героизм. Хочу напомнить читателям, что, называя массовый героизм важнейшим фактором победы, верховный главнокомандующий генералиссимус Советского Союза товарищ Сталин подчеркивал при этом, что массовый героизм Красной Армии - совершенно новое явление в истории, свойственное лишь советскому общественному строю.

Суть массового героизма выражают слова популярной советской песни:

«Когда страна прикажет быть героем, у нас героем становится любой...»

Что касается боевых потерь, то чем выше боевые потери, тем, следовательно, шире охват личного состава массовым героизмом. Поэтому ответственность за высокий процент боевых потерь с командования снималась. Ежели солдаты сами прут на рожон из патриотических побуждений, стремясь отдать свои жизни за Родину и лично товарища Сталина, то почему командир роты и комбат должны под трибунал идти?

В нашей 2-й стрелковой роте перед форсированием Одера 51 процент личного состава на массовый героизм списали: командир роты спяну ночью не сориентировался в обстановке, в результате чего солдаты окопались спинами к врагу. Немцы на рассвете вдарили из пулеметов, и полроты как не бывало: кто в «наркомзем» отправился, кто в «наркомздрав», оставшиеся отступили. На массовый героизм не только роты списывали, а целые армии. К примеру, под Керчью 16-я армия полегла в 1942 году. Когда мы в 1944 году наступали, жуткая картина предстала перед глазами, по сравнению с которой вереша-гинский «Апофеоз войны», где изображена целая гора черепов, ничто. На голой холмистой местности до самого горизонта как будто траву скосили косой: но то была не трава, а цепи красноармейцев, скошенные пулеметным огнем фашистов.

Перли прямо в лоб на пулеметы - во весь рост, плечо к плечу - под воздействием политорганов, ПФС и «славного горячего».

«Массовый героизм - любой ценой!» - таков был подход Ставки и политорганов к данному вопросу, а что касается потерь - так война не на жизнь, а на смерть. Когда требовала обстановка, для поддержки массового героизма Красной Армии использовались войска НКВД, открывавшие огонь по отступавшим частям, как это имело место при обороне Сталинграда.

— Война все спишет! - говорили придурки, списывая личный состав 16-й армии в расход по причине проявленного им массового героизма.

Вот тут мы и подходим к влиянию фантазии ротных придурков, в частности писарей, на массовый героизм в подразделениях. Дело в том, что данные по массовому героизму представлялись в политчасть батальона. А на основании батальонных сводок мой кореш Мироненко, придурок при полковой политчасти, составлял «Отчет о политико-моральном состоянии личного состава 323-го Гвардейского горнострелкового полка», который в соответствующий срок представлялся в политотдел дивизии. Дивизионные придурки в свою очередь составляли отчет по дивизии, направляя его в вышестоящие политорганы, и, наконец, придурки в Главном политуправлении на основании фронтовых отчетов составляли сводный «Отчет о политико-моральном состоянии личного состава Красной Армии», который представлялся в Политбюро.

— Но при чем тут фантазия писарей? - может спросить читатель.

Во-первых, при том, что основным показателем охвата массовым героизмом являлась так называемая «награжденность» личного состава, которая выводилась путем деления суммарного количества орденов и медалей личного состава на его численность. По этому показателю о командире роты судили, достоин ли он продвижения по службе. А командир роты в свою очередь по

«награжденности» судил о работе писаря: на месте тот или надо другого грамотея подыскать, который ловчее сможет наградные листы составлять? Подвиг подвигом, но нужно уметь так его расписать, чтоб, скажем, вместо ордена не пришел приказ на медаль. Поэтому ротный писарь, чтобы не загреметь из придурков в строй, проявлял творческую фантазию при составлении наградных листов, поднимая тем самым показатели массового героизма в подразделении. К примеру, я в бытность заштатным писарем саперной роты с помощью известной доли фантазии - чего другого, а этого мне было не занимать - поднял «награжденность» и вывел роту на первое место в полку по охвату личного состава массовым героизмом (и следовательно, политико-воспитательной работой).

В то же время в разведроты командиры менялись как перчатки, не справляясь с работой. И все потому, что у их писаря Коли Серегина фантазия дальше пресловутого «взятия языка» не шла. Коля сменил перо на штык, и новый придурок оказался более смышленным: разведроты по «награжденное» стала наступать нам на пятки.

Во-вторых, статусы правительственных наград были так сформулированы, что подвиги приходилось подгонять под установленные шаблоны, соответствующие тем или иным орденам и медалям. А тут от писаря тоже требовался полет воображения и, если хотите, отвага - поскольку ему приходилось преодолевать пропасть между утвержденным Президиумом Верховного Совета СССР статусом и фронтовой действительностью.

Вот типичный пример. Писарю надо составить наградную на рядового Иванова. Учитывая, что Иванов впервые участвовал в бою и при этом остался в строю, командир роты поначалу представляет его к медали «За отвагу», чтоб тот в следующем бою старался себя не хуже вести, если хочет орден заработать. (Два боя в пехоте редко кто выдерживал без отправки в «наркомзем» или «наркомздрав».)

Но, согласно формальному статусу, медалью «За отвагу» награждались лица, уничтожившие в бою вражескую огневую точку (то есть пулемет) или до трех солдат противника либо нанешие врагу иные эквивалентные потери в живой силе и технике. А чтобы, скажем, орден Отечественной войны II степени получить, требовалось уже целую пушку уничтожить, или подбить вражеский танк, или захватить в плен офицера, сообщившего важные сведения, и т. д. и т. п.

Таким образом, для того чтобы рядовой Иванов получил свои честно заслуженные в бою награды, писарь должен был сочинить ему какие-нибудь подвиги с обязательными патриотическими возгласами, предназначенными для инстанций, издающих приказы о награждениях (мол, штабные придурки не решатся отказать в награде, если солдат уничтожил липовую огневую точку с возгласом: «За Родину, за Сталина!»).

Читатель ошибается, если думает, что ротные писаря в бою только и занимались тем, что строчили наградные. Тогда не до этого было. Лишь когда полк выходил из боя и штаб батальона спускал приказ: «К 24.00 представить наградной материал на отличившийся личный состав», придурки давали волю своей фантазии. Бывало и так: ни командира роты, ни взводных в строю не оставалось, только несколько доходяг имелось в наличии, которые даже не знали, кто в бою отличился. Но приказ есть приказ, и к 24.00 наградные в штаб представлялись. А из поступившего от рот наградного материала с описанием подвигов личного состава политчасть черпала данные для отчетов в вышестоящие политорганы.

К примеру, лично я за год пребывания в саперной роте в качестве заштатного писаря с помощью фантазии и трофейной авторучки «подавил» до 50 огневых точек врага, подрывал на минах в общей сложности три артиллерийские батареи, дивизион танков типа «Тигр», несколько автоколонн с пехотой противника, уничтожив и взяв в плен до батальона фашистов. Вот на что был способен всего один ротный придурок!

Но в полку-то не одна рота имелась, а больше двух десятков, и в каждой свой придурок находился, который тоже фантазировал как мог, повышая, с одной стороны, «награжденность», с другой - потери врага. У моего кореша Мироненко, придурка при полковой политчасти, по отчетам выходило, что наш гвардейский горно«ишачинный» полк за каждую боевую операцию в среднем уничтожал и брал в плен до двух фашистских дивизий. (Поскольку массовый героизм присущ лишь советскому социалистическому обществу!)

СОЛДАТСКАЯ ГРУДЬ И АМБРАЗУРА

Общеизвестно, что в Красной Армии помимо массового героизма существовал и героизм личный, которого - я это особо подчеркиваю - моя теория не касается. Целая дивизия Героев Советского Союза сражалась на фронтах Великой Отечественной войны, однако и к личному героизму придурки иной раз тоже прикладывали руки.

Взять хотя бы подвиг рядового Александра Матросова, известный всему миру. Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР о присвоении ему звания Героя Советского Союза (посмертно) рядовой Матросов закрыл своей грудью амбразуру вражеского дзота и обеспечил успех боя, пожертвовав своей жизнью.

Но, не подвергая ни малейшему сомнению личный героизм рядового Матросова и отдавая дань его бессмертному подвигу, все же рискнем задать вопрос: можно ли солдатской грудью шириной не более 40 см закрыть пространство шириной более 3 метров? Любопытный читатель может сам вычислить ширину амбразур дзота путем решения несложной геометрической задачи со следующими условиями.

Дзот - это деревоземляная огневая точка, или оборонительное сооружение из дерева и земли для защиты пулемета и пулеметного расчета из 2-3 человек от огня полевой артиллерии. Чтобы выдержать прямое попадание 3-дюймового снаряда, его земляные стены должны иметь толщину не менее 3 метров. А сектор обстрела пулемета должен составлять 120° - дзот с меньшим сектором обстрела пехота просто-напросто обойдет с флангов.

Иными словами, амбразура дзота представляла собой открытый дощатый ящик в форме усеченной призмы, что видно из прилагаемой схемы.

В саперной роте мне не раз приходилось иметь дело с вражескими дзотами - разумеется, уже с пустыми, оставленными фашистами, - я их срисовывал и обмерял по заданию дивинженера подполковника Рязанова. Так что я интереса ради пробовал бросаться на амбразуры различными частями тела.

Думаю, читатель сам убедится: для закрытия амбразуры дзота потребовалось бы целое стрелковое отделение в составе пяти- шести солдат. Причем это лучше было бы не грудями сделать - чтоб головы не мешали, - а, наоборот, задами, поглубже усевшись на край амбразуры, как на скамейку, и плотно сдвинувшись, чтоб закрыть доступ света в дзот.

Конечно, все отделение героически погибло бы... Но дзот был бы блокирован, что позволило бы пехоте продвинуться вперед.

Впоследствии мне довелось видеть картины и рисунки, изображавшие подвиг Матросова: амбразуры на них были нарисованы с вопиющим нарушением немецкого устава инженерной службы и подогнаны под ширину груди героя.

Вот к чему привело недомыслие придурков, составлявших наградную...

Как известно, в авиации процент Героев Советского Союза был намного выше, чем в пехоте, но на то там и «сталинские соколы». И придурки в авиации были более интеллигентные, чем в стрелковых ротах: они таких подвигов попридумал и, противоречащих законам аэродинамики, что в конце концов политорганы вынуждены были ограничить фантазию лишь количеством сбитых самолетов и числом бомбовылетов. Сбил столько- то «мессершмиттов» - получай Героя, и точка. Но и в этом направлении у авиационных придурков фантазия неплохо работала, о чем свидетельствует хотя бы присвоение звания дважды Героя Советского Союза сынку товарища Сталина Василию, который лишь пустые бутылки сбивал, развлекаясь во время кутежей.

Но все же на личный героизм придурки значительно меньше влияли, чем на массовый, ибо количество Героев Советского Союза лимитировалось. Существовал, скажем, лимит по национальностям, которого Президиум Верховного Совета СССР строго придерживался. Разумеется этот порядок нарушали евреи, которых в числе Героев Советского Союза оказалось больше, чем было отпущено по лимитам. Постепенно выяснилось, что некоторые евреи совершали героические подвиги, скрывая свою национальность.

К примеру, в нашем 323-м гвардейском «горно-ишачином» полку, несмотря на все старания придурков, никто на звание Героя не потянул, хотя воевали мы не хуже других. Поговаривали, будто ни одного Героя у нас нет из-за пресловутых ишаков, или иначе горно-вьючного транспорта, который нас ослабил на весь фронт.

ВМЕСТО ВЫВОДОВ

Итак, дорогие читатели, почему же Красная Армия победила? Разве не потому, что японский микадо, к нашему счастью, не открыл второй фронт против СССР, а напал на Америку? И разве не потому, что советское ПФС и политорганы обеспечили охват пехоты массовым героизмом, о котором говорил корифей наук и отец народов?

Читатели могут сказать: «Героизм героизмом, но разве советские танки Т-34, превосходившие фашистские «Тигры», разве прославленные «катюши», штурмовая авиация и прочее - разве все это не сыграло решающую роль в победе?»

Разумеется. Но имела бы Красная Армия столько танков, «катюш» и другого вооружения, если бы не советский общественный строй с его Органами? Ведь не только ГУЛАГ с миллионами рабов - вся страна превратилась в гигантский трудовой концлагерь. Сложно было в те воистину героические годы не оказаться в разряде подсудимых, заключенных или штрафников.

Я ведь тоже был осужден! Эвакуировавшись с папой в конце 1941 года в Уфу, я был там мобилизован на военный завод, где работали за баланду и кашу по 24 часа в сутки. Проработав буквально несколько дней, я был отдан под суд за небольшое опоздание и приговорен к шести месяцам принудработ с удержанием 25 процентов зарплаты. (Разумеется, эту судимость я впоследствии скрывал.)

А «катюши» действительно сыграли в победе над фашистским врагом роль, которую трудно переоценить. Я имею в виду не только прославленные гвардейские минометы, но и личные «катюши» образца 1941 года (до новой эры), состоявшие на вооружении советских солдат. Те самые, которыми и в Отечественную войну 1812 года русские солдаты пользовались, чтобы прикурить самокрутку: кремень, кресало и фитиль. Спичек- то ПФС солдатам не выдавало...

Нет, не зря отец народов и корифей наук утверждал, что всемирно- историческая победа означает в первую очередь победу советского общественного строя.

СИМУЛЯНТ

Кончилась война. Выполнив свой долг перед Родиной, я решил демобилизоваться, поскольку во время войны был признан непригодным к военной службе и получил «белый билет». Однако гарнизонная медкомиссия, когда во всем мире уже смолкли пушки, признала меня симулянтом.

- За что вы получили медаль «За отвагу»? - спросили меня.
- За высоту 718. Вырвались из вражеского окружения! - доложил я, не понимая, к чему комиссия клонит.
- А орден Славы за что?
- За Карпаты. Был контужен в бою, но не покинул строя!
- Орден Красной Звезды тоже получили на передовой?

- Так точно! Заменяю раненого командира, - отпрапортовал я, из-за близорукости не различая лиц членов комиссии. Комиссия, посоветовавшись, объявила решение:
- Рядовой Ларский, 1924 года рождения, признан годным для прохождения строевой военной службы в рядах Советской Армии!

Глава VIII. НА БАНДЕРОВСКОМ ФРОНТЕ

БЕЛОБИЛЕТНИК-СТРОЕВИК...

Не подозревал я, что батальонный парторг лейтенант Ква-ша таким гадом окажется! Поскольку я в своем последнем бою попал не в «наркомзем», а в «наркомздрав», я решил, что тем самым эпизод с моим оформлением в партию исчерпан, и, откровенно говоря, о нем позабыл. Откуда я мог знать, что в моей жизни произошло знаменательное событие, определившее мою послевоенную судьбу? Если бы демобилизация не сорвалась, я так бы и приехал к папе без партбилета и, вполне вероятно, так бы никогда и не узнал, что в День Победы был посмертно принят в партию и навечно зачислен в списки дивизионной парторганизации.

Но фамилия моя оказалась в списке симулянтов, и политотдельские придурки случайно обнаружили, что симулянт Ларский числится также в списке героически погибших коммунистов.

Когда меня вызвали в политотдел дивизии («Небось лозунги писать», - решил я), начподив подполковник Борин огорошил меня с места в карьер.

— Во-первых, поздравляю, товарищ рядовой, с принятием в ряды партии Ленина - Сталина! - произнес он с видом, ничего хорошего не предвещавшим. - А во-вторых, где же совесть ваша партийная? Почему своевременно не доложили, что ошибочно погибли за Родину?

— Почему меня приняли, я ведь жив?! - закричал я. - Товарищ подполковник, это недоразумение!

— Уставом партии исключение посмертно принятых не предусмотрено, - заявил подполковник. - Хотя ведете вы себя недостойно погибшего за Родину коммуниста. Взять хотя бы позорный факт симуляции...

— Товарищ подполковник, это недоразумение! Я не симулянт, гарнизонный окулист подтвердил, что я не пригоден к военной службе, - возразил я.

Но начальник политотдела не захотел даже взглянуть на мои бумаги.

— Что-то слишком много у вас недоразумений, рядовой Ларский! Учитывая это, мы решили еще разок проверить ваш патриотизм и преданность делу Ленина - Сталина, - сказал подполковник. И добавил многозначительно: - В боевой обстановке...

— Товарищ подполковник, я ведь демобилизоваться должен как непригодный к военной службе! - оторопел я, а в голове промелькнуло: «С Японией война закончилась, неужели в Грецию хотят послать?!»

— Пока ваш вопрос политорганы не решат, вы все равно демобилизоваться не сможете! - оборвал меня подполковник. - А решение этого вопроса будет зависеть от того, как вы себя проявите на новом месте службы.

Мне стало ясно: политотдельские придурки решили перепихнуть меня вместе с моим не предусмотренным Уставом партии «делом» в какую-нибудь чужую часть - пусть тамошние придурки ломают себе голову, как со мной быть. Но «боевая обстановка»?

Подполковник все разъяснил.

— Верховный главнокомандующий генералиссимус Советского Союза товарищ Сталин поставил перед Прикарпатским военным округом боевую задачу: ликвидировать бандгруппы бандеровцев - местных буржуазных националистов, еще орудующих на территории Советской Украины...

Я аж похолодел. «Хорошенькую свинью подложил мне лейтенант Кваша, живьем в партию оформил вместо погибшего за Родину, чтоб смухлевать на показателях. Ему что! Он демобилизоваться успел, а мне расхлебывать», - невесело подумал я.

— На Станиславщине, где стоят части нашей 38-й армии, наблюдается повышенная активность противника...

Я с замиранием сердца ждал, чем же подполковник кончит.

В частях нашего корпуса развернулся почин патриотов-добровольцев, желающих принять участие в ликвидации бандеровских банд. Товарищ Ларский, политотдел рекомендует также и вашу кандидатуру. Надеемся,

вы вернете доверие партии, - закруглился подполковник.

— Служу Советскому Союзу! - рявкнул я. Что мне еще оставалось делать?

— Так вместо демобилизации и гражданской жизни я снова загремел на фронт после того, как смолкли пушки и наступил наконец долгожданный мир.

Воинскому уставу, дракону-старшине и ненавистному строю я решил предпочесть должность придурка при полковой политчасти - благо свою солдатскую карьеру начинал «богомасом» на Переведеновке и блестяще продолжил на «Горьковском мясокомбинате». О роли наглядной агитации в политмассовой работе я не буду распространяться. Скажу лишь, что в мирные дни мне жилось привольнее, чем в военные годы. Вместо вонючей политуры, которой разводили краски, мы с полковым агитатором лейтенантом Ивановым пили закарпатскую горилку, выменивая ее на кумач. Дефицитную материю, которая пользовалась спросом у сельских баб, мы выкраивали за счет экономии на лозунгах - что, впрочем, особого ущерба наглядной агитации не наносило.

Словом, я нашел вроде бы свое место в рядах Советской армии и в мирных условиях. Оставалось лишь скрепя сердце ждать приказа о демобилизации да пить горилку, чтобы скрасить ожидание... Что еще было делать в закарпатской глуши?

Так бы я и прождал еще пять лет, если бы не загремел на Бандеровский фронт... Вот как подвели полученные на войне правительственные награды, из-за которых меня в мирное время признали годным к строевой службе!

Должен сказать, что и впоследствии на гражданке мне с ними не везло. Стоило мне в День Победы «Славу» нацепить, как тут же какой-нибудь бухой советский патриот привязывался: почему, мол, в Ташкенте покупал? Однажды меня при всех солдатских «железках» в отделение милиции свели - настолько боевые награды с моей «безродно-космополитической» внешностью не гармонировали, по мнению бдительных граждан.

Однако вернусь к своим военным похождениям в мирные дни, которые оказались не такими уж мирными...

НА ЗАСЕКРЕЧЕННОЙ ВОЙНЕ

Некоторые читатели могут спросить: «О каком таком Бандеровском фронте идет речь?»

Помню, как надо мной иронизировали, когда я после демобилизации рассказывал москвичам боевые эпизоды. Никто это всерьез не принимал.

— С какими это ты «бандеровцами» после войны сражался? С шайкой Остапа Бендера?

Да и неудивительно: ведь в газетах о боях на Бандеровском фронте ни полслова не писали, никаких сводок «От Советского информбюро» по радио не передавалось. Даже артиллерийских салютов, к которым москвичи так привыкли, не производили в честь побед советских войск над бандеровцами. И не оглашались приказы верховного главнокомандующего генералиссимуса Советского Союза и величайшего полководца всех времен и народов товарища Сталина, в которых он объявлял благодарности личному составу, - вот ведь как все было засекречено! Оно и понятно: наступило мирное время, военные мероприятия на территории СССР стали государственной тайной, не подлежащей разглашению (ибо это наносит вред обороноспособности перед лицом израильско-американо-китайских поджигателей войны). Поэтому война на Бандеровском фронте не вошла в учебник по истории СССР, хотя она длилась дольше, чем Великая Отечественная.

По причине секретности не отмечается и всемирно-историческая победа над бандеровцами. И проживая в столице СССР, я ни малейшего понятия не имел о проведенной в конце сороковых годов на Бандеровском фронте боевой операции под кодовым наименованием «Трембита».

В этой грандиознейшей секретной операции, не знающей себе равных во всей военной истории, принимали участие войска пяти военных округов и трех округов погранвойск, две речные флотилии, соединения внутренних войск МВД, конвойные части, железнодорожные войска, а также крупные соединения польской и чехословацкой народных армий (действовавших на своей территории).

Вот, дорогие читатели, что такое секретность! Конечно, мои воспоминания о Бандеровском фронте немного могут приоткрыть. Будучи там рядовым солдатом мотострелкового подраз. деления, я не знал ни боевой обстановки, ни оперативной информации. Но опыт Великой Отечественной войны позволял мне делать некоторые выводы.

Должен сказать, что и на самом Бандеровском фронте царила обстановка полной секретности. Даже командование толком не знало, где творится. Естественно, в целях конспирации Бандеровский фронт обозначался шифром «ПрикВО» (Прикарпатский военный округ), однако это был никакой не округ, а именно фронт, называвшийся прежде 4-м Украинским и состоявший из нескольких действующих армий.

Я, к примеру, попал в 38-ю армию, которой командовал генерал-полковник Москаленко (впоследствии маршал), а штаб ее стоял в городе Станиславе (ныне Ивано-Франковск).

...На меня Станислав произвел впечатление фронтового города, недавно освобожденного советскими войсками. (Хотя война-то уже кончилась, а город больше года как был освобожден.) Повсюду кишели военные, сновали патрули, по дорогам передвигались войска и обозы, конвоировались пленные бандеровцы - преимущественно старики да женщины с детьми, взятые в качестве заложников, ехали машины с ранеными солдатами и с гробами, спеша в «наркомздрав» и в «наркомзем». В общем, знакомая картина. Правда, не было слышно грохота артиллерийской канонады, но так же пахло гарью, как, бывало, на фронте, а на горизонте стояли столбы дыма. Многие военные носили зеленые фуражки - это были пограничники. На фронте мы их не видели, они, как говорили, в тылах сидели, в заградотрядах - чтоб стрелять по своей пехоте, ежели она будет отступать без приказа...

Одним словом, не особо веселое впечатление город на меня произвел, особенно автомашины с гробами...

Я приготовился к худшему, думал, что сразу нас в самое пекло бросят: спереди бандеровцы, а сзади - «зеленые фуражки». Либо «наркомздрав», либо «наркомзем»...

Но все пошло по заведенному в армии распорядку.

Нашу маршевую команду привели на распредпункт, и точно так же, как когда-то на Переведеновке, перед строем вышел старшина и стал выкликать придурков.

- Парикмахеры! Шаг вперед... Напр-раво! Шагом марш!
- Плотники! Шаг вперед... Нале-во!..
- Печники! Шаг вперед...

И через несколько минут почти вся наша доблестная комсомольская команда воинов-ветеранов, прибывшая на борьбу с «фашистскими прихвостнями-бандеровцами», превратилась в придурочную стройбригаду, направленную в распоряжение Военторга на предмет текущего ремонта офицерского ресторана «Киев».

Я, не дожидаясь, когда старшина выкликнет художников, примкнул к своему корешу Петьке Курицыну, который объявился печником, - мы с ним уговорились держаться вместе.

Ресторан 1-го разряда «Киев» неподалеку от штаба армии находился. Судя по всему, тут не рядовая военторговская забегаловка помещалась

- шикарные залы (с кабинетами для генеральского состава), оркестр, красивые официантки, охрана, которую несли солдаты комендантского взвода.

Петька сразу в обстановке сориентировался и боевую задачу себе поставил: пристроиться придурком к комендатуре ресторана. И глядь

- из печников в слесаря переметнулся и стал мастером на все руки: и замки стал чинить, и часы, и зажигалки. Я такими талантами не блистал, а наглядной агитации в ресторане не требовалось. Тогда я вызвался меню художественно переписывать, со всякими там завитушками да вензелями, которые офицерам очень нравились.

Одним словом, нас прикомандировали к комендантскому взводу, и мы с Петькой остались в придурках при ресторане, когда всю нашу строительно-ремонтную команду перебросили на какой-то другой, менее интересный объект.

Так что поначалу и на Бандеровском фронте мы совсем неплохо устроились. Пожалуй, нелегко было в Советской армии более симпатичное местечко для прохождения действительной солдатской службы подыскать, чем военторговский ресторан 1-го разряда «Киев». Правда, в Станиславе бандеровцы запросто могли из-за угла подстрелить, когда вечером девушку провожаешь. Ни одной ночи без какого-нибудь ЧП не обходилось... Даже в наш ресторан бандеровцы повадились ходить под видом офицеров - и это несмотря на то, что наряд СМЕРШа при входе у всех документы проверял. А как их можно было от наших отличить, если они в действительности советскими офицерами были? Ведь кое-кто из местных украинцев, всю войну в Красной Армии провоевав, после демобилизации к бандеровцам подался...

Другие офицеры к бандеровцам примкнули в период фашистской оккупации, еще до появления на Западной Украине советских партизан - поскольку им некуда было больше податься. В прикарпатских лесах много наших пряталось. Бежавших из лагерей военнопленных бандеровцы в свою армию принимали. Вот так и оказались среди украинских националистов и русские, и грузины, и евреи (разумеется, свою национальность скрывавшие), и другие представители многонационального советского народа. Поскольку же СМЕРШ их рассматривал как предателей и изменников Родины, им уже ходу назад не было... Каждый знал: ежели от бандеровцев перебежать к своим - в лучшем случае всю жизнь за Полярным кругом придется «загорать», с белыми медведями. Либо сразу в «наркомзем» отправят...

При мне в нашем ресторане оперы из СМЕРШа целую компанию накрыли: подполковника, майора и двух капитанов. Правда, бандеровцем, как следствие показало, являлся только майор, пробравшийся на должность заместителя начальника одного из наших гарнизонов. Одновременно он большую должность занимал в бандеровском штабе.

Насчет их штаба тоже было много толков. По одним данным, он вроде бы в непроходимом Черном лесу располагался, в самой чащобе. Но имелись также сведения, будто бандеровский штаб дислоцируется в самом Станиславе, где-то в районе штаба 38-й армии и нашего ресторана.

Однажды бандеровцы чуть было не украли самого командующего генерал-полковника Москаленко, который каким-то чудом на карачках от них ускользнул. Говорят, намеревались заставить его, как хохла, командовать по совместительству всей ихней армией, насчитывавшей якобы до 60 тысяч штыков.

...Впоследствии много писали о знаменитом советском разведчике Герое Советского Союза Кузнецове, который прекрасно владел немецким языком и выдавал себя за фашистского обер-лейтенанта на основании поддельных документов. Кузнецов так искусно играл роль чистокровного арийца, что фашисты и не подозревали, что он - советский шпион.

А у нас в Станиславе бандеровские шпионы еще почище, чем Кузнецов, орудовали. И не только под видом старших лейтенантов, но и майоров, и даже полковников. Причем не фальшивые документы имели, а настоящие - вплоть до собственных партбилетов. Что же касается языка, то они на таком чистейшем мате шпарили, что в их принадлежности к великому русскому народу и сомневаться не приходилось. (Кстати, ведь сам Кузнецов-то пал от руки бандеровца, выдававшего себя за советского офицера.)

Так или иначе, обо всем, что в нашем штабе происходило, бандеровцы еще раньше узнавали, чем командование наших гарнизонов, стоявших по всей Станиславской области. Их штаб в тесном контакте с нашим работал.

Однажды тревога в городе была объявлена по всему гарнизону. Ресторан закрылся, комендантский взвод «в ружье!» подняли, офицеры, не доев гуляш, отправились по команде «бегом!» в свои части и подразделения. Нам было приказано занять круговую оборону, но через два часа приказ отменили: оказалось, что этот запоздалый переполох был вызван проникновением крупной бандеровской бандгруппы, которая накануне проследовала через город в неизвестном направлении.

Причем о вероятном ЧП так никто и не узнал бы, если бы бандеровцы сами не позвонили в наш штаб по городскому телефону и не объявили благодарность нашему командованию «за содействие в успешной передислокации их войск в заданный район». Дежурный офицер всерьез этот сигнал не воспринял решив, что кто-то из сослуживцев его разыгрывает. Но на следующий день выяснилось, что в указанное время

действительно проходила воинская часть номер такой-то. Стали уточнять, а части-то под этим номером в нашей 38-й армии нету! Тут и забились тревогу...

Очевидцы рассказывали: действительно, вчера под вечер, прямо на нашей улице Ленина какой-то полк шел. Однако никому и в голову не пришло, что это не наш полк, а бандеровский. Все время войска проходили, а ничего такого подозрительного в глаза не бросилось. Вроде бы все чин по чину было: впереди полковник ехал - Герой Советской Союза, на вороном жеребце и с адъютантом, за ним знаменосцы зачехленное знамя несли (кто мог знать, что это бандеровское знамя?), за знаменем подразделения следовали, «Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин» пели, за подразделениями - артбатарея, кухни, обоз, санчасть...

Вот такая запутанная обстановка на Бандеровском фронте была. Но если уж наши войска от войск противника не всегда можно было отличить, то с гражданским населением еще хуже дело обстояло. Тут уже действительно невозможно было разобраться, кто бандеровец, а кто свой. По этому вопросу в нашем ресторане «Киев» два мнения существовало. Одни считали, что местные - все сплошь бандеровцы, особенно на селе, другие же - что местные только наполовину бандеровцы: днем социализм строят и лишь ночью за обрезы берутся...

Конечно, в самом Станиславе наши войска, пограничники и милиционеры обстановку в общем и целом контролировали. Как-никак Станислав - областной центр, там обком партии, Управление МГБ, штаб армии - одним словом, все начальство. И драмтеатр имелся, не говоря уже о кинотеатре, и библиотека, и пединститут со студентками.

Фронт фронтом, но мирная жизнь тоже существовала и сулила приятные перспективы, поскольку я при ресторане состоял почти что на положении вольнонаемного.

В городе я встретил знакомых, осевших здесь после демобилизации, и в частности Нюрочку, бывшую нашу ротную ППЖ, которая после войны не вернулась на Краснодарский вокзал, а заделалась - ни больше ни меньше - инструктором по кадрам в горисполкоме! Нюрочка по-приятельски пригласила меня в гости, но я ее любезностью не воспользовался - к этому времени я уже ухаживал за студенткой Валею, приехавшей из Воронежа.

Роман у меня с ней зашел дальше, чем со студенткой Любой в городе Горьком, но так же внезапно оборвался из-за очередного поворота моей придурочной карьеры.

МЕЖДУ БАНДЕРОВЦАМИ И «ЗЕЛЕНЫМИ ФУРАЖКАМИ»

...Где-то за лесами слышалась отдаленная ружейно-пулеметная стрельба, гремели взрывы. Политотдельский офицер доставил нас 496 с Петькой в мотострелковую часть специального назначения. Из Станислава мы куда-то в Стрыйский район попали, но нашли только штаб - подразделения были приданы погранвойскам и совместно какую-то операцию проводили. А сопровождающий имел приказ определить нас непосредственно в строй, чтоб мы на этот раз от выполнения патриотического долга не увильнули.

В штабе нас приняли на довольствие, оружие выдали, все как на войне, и зачислили в 1 -й мотострелковый взвод. Но когда мы подоспели на место, бой уже закончился, и сопровождающий сдал нас под расписку командиру взвода лейтенанту Леплянскому. Так начался заключительный этап моей службы в рядах Советской армии.

Давноужемирноевремянаступило, аявместофизико-математического факультета, куда мечтал поступить после войны, опять оказался на передовой, где пули свистят. Если бы не Петька, все бы обошлось: он до того обнаглел на ресторанных харчах, что прямо в политотдел заявился. Репрессированных Родственников у него не было, ничего он от партии не скрывал, а прямо так и говорил: «Я после демобилизации в колхозе ишачить не собираюсь, там с голоду сдохнешь. Мне «красная книжечка» нужна на хорошую должность устроиться». Так нас и обнаружили и из ресторана бросили на бандеровцев - оказалось, что политотдельские придурки нас повсюду разыскивали, не подозревая, что мы укрываемся в ресторане «Киев», где они каждый вечер пьянствовали...

Нас с Петькой поставили в строй пулеметчиками, его первым номером, меня - вторым. Везло мне на эти «вторые номера»: когда я попал на фронт, меня назначили вторым номером, под конец войны тоже оказался вторым номером, и на Бандеровском фронте опять во вторые номера сунули. Но я ведь ни разу из этого проклятого пулемета так и не выстрелил!

Честно признаюсь, не очень-то мне приятно было из теплой конторы ресторана попасть зимой в горно-лесистую местность и вновь испытать на своей шкуре все военные прелести. В войну я почему-то о смерти не думал - как-то не верилось, что меня могут по-настоящему убить. Но в мирное время на Бандеровском фронте я страха натерпелся больше, чем за всю Великую Отечественную войну. Там хоть передовая была, но были и тылы, а здесь враг повсюду находился. Бандеровская пуля, неизвестно откуда прилетевшая, в любом месте могла настичь и строевого солдата, и нестроевого придурка. Я все время боялся, что погибну за Родину уже взаправду...

Но пусть читатели не думают, будто я один так за свою шкуру дрожал и что лишь мне одному сослепу за каждым кустом бандеровцы мерещились. Как раз наоборот: мы с Петькой в нашем 1 -м мотострелковом взводе в героях ходили. Как-никак участники Отечественной войны, старые окопные волки, увешанные боевыми наградами. А взвод состоял из одних «салаг» 1927 года рождения, которые боевое крещение лишь на Бандеровском фронте получили. Под стать им был и взводный, лейтенант Леплянский, прозванный солдатами Бобиком. Бобика мы быстро приручили: Петька стал у него связным, а я - как бы военным советником, и во взводе мы заделались почетными придурками-ветеранами, освобожденными от нарядов. Однако нашим жизням тоже постоянно опасность угрожала. Два грузовика американской марки

«Студебеккер», на которых взвод передвигался, имели существенный недостаток: американские капиталисты не учли, что машины на Бандеровском фронте будут действовать, борта сделали небронированными. В засаду попадешь - либо «наркомзем», либо «наркомздрав»... Думаю, что проницательные читатели из сказанного сами сделали вывод: на Бандеровском фронте шла настоящая партизанская война! Да, хотя этот факт был строжайше засекречен, дело обстояло именно так. Но если в период Великой Отечественной войны партизаны нападали на фашистских оккупантов, то на Бандеровском фронте партизанские действия велись против Советской армии-освободительницы, которая вновь воссоединила Западную Украину с СССР, согласно договору с фашистской Германией о разделе Польши, заключенному в 1939 году.

Мало того, неблагодарные бандеровцы совершенно беспардонно украли тактику у наших славных партизан, упорно не желая вливаться в братскую семью советских народов. В ответ на это советское командование было вынуждено применять против бандеровцев ту же тактику, которую фашистские оккупанты использовали против наших доблестных народных мстителей. Война есть война...

Конечно, между действиями немецко-фашистских и советских войск существовала принципиальная разница. Фашисты исходили из своих империалистических целей, а мы - из пролетарского интернационализма и борьбы за мир.

Фашисты бросали отборные части эсэсовских головорезов против наших славных партизан, а у нас против бандеровцев Действовали «часовые Родины» - пограничники.

К примеру, в операции, на которую мы с Петькой опоздали, «зеленые фуражки» в первом эшелоне находились, а наша часть их с тыла прикрывала.

...Мы подоспели к шапочному разбору: бандеровское осиное гнездо было уже стерто, можно сказать, с лица земли, а закаченных бандеровцев, в основном баб, стариков да пацанов, «зеленые фуражки» конвоировали к месту заключения.

По рассказам наших солдат, ЧП началось с танцульки в сельском клубе, где был убит пограничник. Якобы дело было так. Компания «зеленых фуражек», в тот вечер провожавшая демобилизовавшегося товарища, пришла на танцы повеселиться. Ну и конечно, девчонок стали лапать или что-то в этом роде. Вдруг свет погас, и в этот момент на пограничников было совершено нападение.

Двое спаслись бегством и подняли на погранзаставе тревогу. Когда подмога подоспела, на месте происшествия обнаружили лишь избитых до полусмерти и обезоруженных гуляк, один из которых скончался... На беду, это был демобилизованный.

Конечно, «зеленые фуражки» село оцепили и потребовали, чтоб жители выдали убийц и оружие. А когда срок ультиматума истек, то были приняты соответствующие меры.

Как выяснилось уже после операции, нападение совершили школьники (среди которых и пионеры оказались - «юные ленинцы» и даже комсомольцы!) под руководством директора местной школы, оказавшегося бандеровцем. Несколько пацанов схватили и отдали под трибунал, но большинство участников нападения скрылись вместе с захваченным у пограничников оружием.

Солдаты нам с Петькой рассказывали, что «зеленые фуражки» в отместку все село дотла спалили, а в дома, откуда жители отказывались выходить, бросали гранаты. Сколько народу из- за этого погибло, никто не считал - может, сто душ, а может, пятьсот... Даже скотину всю перестреляли, включая кур, чтоб бандеровцам больше неповадно было нападать.

После операции наш взвод патрулировал на Стрыйском шоссе, затем нас бросили в горы, в район Калуша, на прочесывание местности. Здесь мы понесли серьезные потери: один наш «Студер» ночью сгорел по непонятной причине, двое солдат бесследно пропали без вести на посту - то ли дезертировали, то ли бандеровцы их украли.

Самых бандеровцев захватить не удалось, хотя тут находился их «партизанский край», где советской власти фактически не существовало. В райцентре советские органы действовали под защитой нашего гарнизона, но параллельно с ними бандеровские органы функционировали. К примеру, работал райвоенкомат, а вся молодежь, подлежащая призыву в ряды Советской армии, оказывалась... в бандеровских отрядах. Местный бандеровский райвоенком даже объявил нашему благодарностью за хорошую допризывную подготовку молодого пополнения.

Работали конторы «Заготзерно», «Заготскот», но продовольствие шло не в государственные закрома, а в бандеровское ПФС...

Собственно говоря, наша боевая задача в том и состояла, чтобы перерезать коммуникации бандеровского ПФС, или, попросту, ловить баб и пацанов, таскавших в лес хлеб и прочее. Но если днем еще можно было за этим как-то уследить, то ночами патрулировать все равно бесполезно было. С наступлением темноты бандеровцы начинали хозяйничать, а мы оборону занимали до утра, чтоб пограничники нас с бандеровцами не спутали.

Такие ЧП имели место. Вообще «зеленые фуражки» нагло себя вели с нашим братом, с пехотой: мол, здесь их погранзона и они тут главные. Они имели право нас задерживать и проверять - вдруг мы бандеровцы? Документы требовали предъявлять, награды переворачивали: нет ли на оборотной стороне трезубца... (в качестве своих наград бандеровцы якобы наши ордена и медали использовали, только на оборотной стороне ставили свой знак). Причем издевались еще, власть показывали над «косопузой пехтурой». Чуть что - в свою комендатуру наших солдат и даже офицеров забирали, а мы их не имели права забирать, они ведь чекисты!..

Понятно, нашим солдатам не очень такое отношение нравилось, не говоря уж о том, что «зеленые фуражки» считали, будто только они имеют право к местным вдовицам навешиваться. На этой почве дело до вооруженных столкновений доходило. Однажды сержант из нашей части на почве ревности пристрелил лейтенанта-пограничника и дезертировал, а пограничники в отместку двух наших солдат застукали у какой-то молодницы, свалив это на бандеровцев. Наша братва вроде бы тоже в долгу не осталась... Одним словом, на два фронта воевали - и против бандеровцев, и против «зеленых фуражек».

Надо сказать, что и бандеровцы к «зеленым фуражкам» иначе относились, чем к нам. Они им спуска не давали, когда захватывали. А у наших, как утверждали, только оружие отбирали и документы, после чего отпускали на все четыре стороны. Конечно, от бандеровцев в часть уже не возвращались, а ежели кто и вернулся по глупости, то под трибунал прямым ходом пошел...

Будь военное время, может, все выглядело бы не так трагично, но в мирные дни воевать не очень-то хотелось. Просто не представляю себе, как бы я выдержал на Бандеровском фронте еще несколько лет - до приказа о демобилизации личного состава 1924 года рождения. Но в связи с историческим событием огромной политической важности, к которому приближался весь советский народ, моя демобилизация ускорилась.

ОПЕРАЦИЯ «ВЫБОРЫ»

Этим событием, к которому полным ходом шел советский народ - победитель под мудрым предводительством генералиссимуса Советского Союза товарища Сталина, явились первые послевоенные выборы в Верховный Совет СССР.

Перед войсками Бандеровского фронта была поставлена боевая задача: обеспечить проведение выборов в соответствии с самой демократической в мире сталинской Конституцией. Мотострелковая часть, в которой я служил, для проведения избирательной кампании была передислоцирована в район Санок - Стрый, а наш взвод на время выборов был придан одной из агитбригад Станиславского обкома партии, чтоб обеспечивать ее действия в сельских районах.

- Для вас, товарищи, выборы будут экзаменом на политическую зрелость, - заявили нам в политчасти. Свою первую избирательную кампанию я начал вторым номером ручного пулемета при агитбригаде. (В последующих избирательных кампаниях, которые проводились каждые четыре года, я уже обходился без пулемета, но опыт, полученный на выборах на Бандеровском фронте, очень помог мне в агитработе.) Что же касается нашего с Петьюкой ручного пулемета системы Дегтярева, то он в агитработе с сельскими избирателями (они же бандеровцы) играл не последнюю роль. Без огневого прикрытия подразделения лейтенанта Леплянского агитбригада вообще не решилась бы от обкома оторваться. Наш «Студер» с тремя стрелковыми отделениями солдат неотлучно сопровождал ее автофургон и пикап с кинопередвижкой. Во время встреч с избирателями два стрелковых отделения занимали круговую оборону возле агитпунктов или сельских клубов, а одно оставалось в резерве, помогая гражданским в организации мероприятий и вывешивании наглядной агитации - предвыборных лозунгов и плакатов с портретами всенародного депутата товарища Сталина.

Дело только за избирателями оставалось, однако они не валили валом на беседы о сталинской Конституции и не спешили ознакомиться с «Положением о выборах». Когда наша автоколонна прибывала в какое-нибудь село, агитаторы, кроме глухих стариков да ребятишек, никого в хатах не заставляли...

Но запланированные мероприятия не отменялись, поскольку аудитория всегда имелась: ведь наш взвод тоже из избирателей состоял, плюс гражданские из агитбригады, плюс местное население в лице какой-нибудь древней бабки или деда. Сложнее было списки избирателей проверять. Тут уже приходилось применять военную хитрость, чтоб помочь местному активу справиться с этой нелегкой задачей.

Два стрелковых отделения заранее выдвигались вперед к намеченному населенному пункту и перекрывали пути к лесу, чтоб избиратели не могли скрыться. Только после этого агитбригада под прикрытием стрелкового отделения на «Студере», используя фактор внезапности, появлялась в селе. Конечно, наиболее проворным избирателям с риском для жизни удавалось прорываться сквозь наш заслон и уклоняться от своих гражданских обязанностей. Чересчур строптивых под ручки приходилось доставлять на участок или в агитпункт и там устанавливать их личность.

Были случаи, когда избиратели, не желая отмечаться в списках, оказывали вооруженное сопротивление. К примеру, ефрейтору Султанбекову раскроили череп колуном, а двое солдат были серьезно ранены крупной дробью из охотничьего ружья... Еще двое наших, находясь в наряде, пропали без вести.

В общем, в период предвыборной кампании наше подразделение понесло серьезные боевые потери, выполняя поставленную задачу.

И у агитаторов тоже ЧП случилось: их художник, который избирательные участки оформлял, сбежал к бандеровцам, прихватив списки избирателей. Дело до того дошло, что лозунги вынужден был малевать сам начальник агитбригады, инструктор обкома партии Власюк, между прочим, бывший партизан.

Видя, как он мучается, я однажды - без отрыва от пулемета - помог один избирательный участок оформить. Узнав, что прежде я служил в богомазах при полковой политчасти, Власюк через обком и политотдел добился приказа командования «О прикомандировании рядового 1-го мотострелкового взвода Ларского в распоряжение начальника агитбригады № 3 по выборам в Верховный Совет СССР».

Таким образом, избавившись наконец от проклятого строя, я временно перешел под начало Власюка и вновь заделался придурком, сменив пулемет на кисть.

Поскольку наглядная агитация на селе систематически уничтожалась избирателями (они же бандеровцы), работать мне приходилось не покладая кистей, чтоб возобновлять исчезавшие лозунги и призывы отдавать свои голоса за кандидатов сталинского блока коммунистов и беспартийных.

Дело прошлое, открою тайну, в которую кроме меня были посвящены лишь Петька Курицын да наш взводный лейтенант Леплянский (Бобик). К исчезновению наглядной агитации не только бандеровцы имели касательство, но и Петька с Бобиком. Пропавшие якобы лозунги попадали ко мне, и я их подпалыл, после чего солдаты их вывешивали как новые, а кумач, который мне Власюк на лозунги выделял, превращался в горилку - по тому же методу, что и в Закарпатье.

На Бандеровском фронте «наркомовских» ста граммов уже не выдавалось в связи с мирным временем, однако «славное горючее» было солдатам крайне необходимо для поднятия «массового героизма» - ввиду подстерегавшей каждого смертельной опасности. Вот и пришлось нам солдатскую смекалку применить, чтоб выйти из положения. Между тем Петька, занимавшийся превращением средств наглядной агитации в местный «бандеровский» самогон, заявил, что, мол, бабы очень просят полотно и готовы за него в два раза больше горилки наливать, чем за кумач. А как говорил друг моего детства Карл Маркс, «спрос рождает предложение». Вот я и предложил Власюку нарисовать к выборам монументальный портрет всенародного кандидата в депутаты товарища Сталина в полной форме генералиссимуса Советского Союза и установить его в райцентре у избирательного участка.

Я предложил портрет сделать размером 5х4 метра, для чего должно было потребоваться 20 квадратных метров полотна плюс еще столько же - на случай, ежели будет переделка.

Если бы дело выгорело, этот резерв предполагалось пустить на пропой, чтоб всем взводом обмыть победу сталинского блока коммунистов и беспартийных и достойно отметить всенародный праздник - День выборов в Верховный Совет СССР.

Власюк ухватился за эту идею. Выборы были уже на носу, а работа с избирателями на сельских агитпунктах, как говорится, горела ярким пламенем. Да и сами агитпункты иной раз горели - в буквальном смысле этого слова... В обкоме ценную инициативу немедленно поддержали, и мой портрет превратился в гвоздь программы, вокруг которого закрутилась вся агитработа. Из каких-то обкомовских фондов на портрет было выделено 40 метров дефицитного полотна, на мебельной фабрике срочно сделали огромную раму, всех агитаторов Власюк послал в Станислав добывать необходимые краски и материалы...

Конечно, масштабы были не столь грандиозными, как на «Горьковском мясокомбинате», когда я соорудил Аллею героев имени Александра Матросова.

В моем распоряжении находился один лишь Петька Курицын, которого мне выделили в помощь. Помещение, где мы работали, охранялось усиленным нарядом нашего взвода, чтобы бандеровцы не сорвали столь важное политическое мероприятие.

Теперь все зависело от меня, а мне портретов товарища Сталина еще никогда не доверяли рисовать. Откровенно говоря, я даже не знал, как к такой монументальной работе подступиться. Власюк дал мне в качестве образца почтовую открытку с портретом товарища Сталина работы художника Карпова. Но монументальный портрет, увеличенный в 50 раз (!), решили установить на таком месте, где товарищ Сталин получался отвернувшимся от избирателей! Поэтому мне предстояло не только увеличить открытку до огромных размеров, но и при этом перевернуть изображение, чтоб всенародный депутат смотрел не влево, а вправо, прямо на избирателей, которые в День выборов придут отдавать свои голоса за кандидатов сталинского блока коммунистов и беспартийных.

Ну и намучился же я! Пришлось буквально вслепую портрет рисовать, увеличивая его по клеточкам. Отдельные детали, к примеру глаз, ус, орден, я еще различал, но не видел, как все это вместе получается. Издали я из-за своей близорукости тоже не мог понять: похож товарищ Сталин сам на себя или нет? Приходилось полагаться на не особо квалифицированное мнение Петьки, который корректировал мою кисть - где «перелет» и где «недолет». Трое суток мы от портрета не отходили, пока не закончили, даже спали возле него. А когда показали начальству, то оно пришло в полный восторг и уверяло, что вождь народов еще более похож, чем на открытке. Особенно его мундир с погонами, орденами и пуговицами.

Меня все поздравляли, а Власюк сиял словно именинник. Нам с Петькой дали увольнительную на сутки - передохнуть после такой тяжелой и ответственной работы. Власюк же со своей стороны пообещал исхлопотать нам благодарность командования и отпуска.

В общем, Петька решил, что заветный партбилет у него, можно сказать, почти в кармане, и предложил отметить успех. На пять метров полотна из оставшихся у нас двадцати мы ночью крепко гульнули вместе с Бобиком, а день проспали как убитые, не зная, что на наш избирательный участок нагрянул кандидат в депутаты Верховного Совета СССР и УССР член Политбюро генерал-лейтенант Никита Сергеевич Хрущев в сопровождении свиты и охраны.

Местное начальство перепугалось насмерть, ожидая разноса, но положение спас монументальный портрет всенародного депутата, который был товарищу Хрущеву продемонстрирован в качестве доказательства успешной подготовки ко Дню выборов. Портрет стоял в сарае, а мы с Петькой в этот момент спали за портретом, накрытые «сэкономленным» обкомовским полотном.

Власюк доложил высокому руководству, что монументальный портрет товарища Сталина нарисован самодеятельным художником-солдатом, не назвав при этом моей фамилии. Я в свою очередь тоже не подозревал, что Никита Сергеевич находился всего в нескольких метрах от меня (обо всем происшедшем я узнал со слов Власюка и лейтенанта)...

Хрущев одобрительно оглядел мое произведение:

— Какой лозунг будет даден к портрету?

Власюк вразумительно не смог ответить.

— Не продумали, товарищи! - заметил Хрущев и с ходу выдал длиннющий текст и на русском, и на украинском языках.

Уходя, он дал еще одно указание относительно портрета: «Блеска мало! Краску надо подпустить под золото, чтоб мундир мне на Отце блестел, как у kota яйца! Народу это ндравится...» И Никита Сергеевич укатил продолжать свою инспекционную поездку, а местное начальство и агитаторы, придя в себя, бросились его указания выполнять (вдруг опять нагрывает?!).

Лозунги, которые Хрущев дал, я быстренько написал, а вот с бронзовой краской катастрофа произошла.

ПОСЛЕДНЕЕ ЧП

На нашем участке Бандеровского фронта все было почти готово к выборам, оставалось лишь вывесить перед избирательным участком мой «шедевр» - портрет всенародного депутата, верховного главнокомандующего генералиссимуса Советского Союза, величайшего полководца всех времен и народов товарища Сталина. Солдаты уже вкопали два громадных столба, соединенных перекладиной, к которым должны были крепиться пятиметровый портрет и лозунги, но внезапный приезд правительственной комиссии спутал нам весь график.

Чтобы выполнить указание товарища Хрущева, требовалась бронзовая краска, а у меня она имелась лишь в акварельном наборе в мизерном количестве, которого не хватило бы на одну пуговицу на мундире вождя. Вообще с красками дело обстояло плохо. В нашем распоряжении было три дня, и Власюк всю свою агитбригаду послал в Станислав с наказом раздобыть блестящую бронзовую краску во что бы то ни стало. Однако агитаторы вместо бронзовой краски привезли лишь алюминиевую «под серебро». Но не мог же я генералиссимуса Советского Союза изобразить в серебряных погонах административно-хозяйственной службы?! За такой «блеск» по головке бы не погладили...

Портрет не вывешивался, а тем временем по селу поползли слухи, что, мол, перед избирательным участком «москали» поставили виселицу для тех, кто откажется идти голосовать. Столбы действительно смахивали на виселицу, поэтому решили хотя бы лозунги на них вывесить - слева на русском языке, справа - на украинском, чтоб последние избиратели не сбежали в лес к своим бандеровцам.

Из-за этой проклятой краски, которой у меня было полно в бытность мою полковым богомазом в Закарпатье, назревали большие неприятности.

И вот у меня возникла идея: смотаться в свой бывший полк - якобы за краской - и попутно друзей навестить. Попросить вдвоем с Курицыным командировку надвое суток, если краску привезем - ко Дню выборов мундир товарища Сталина заблестит...

Петька мою идею горячо поддержал, у него в Ужгороде дивчина осталась, и он был рад возможности уладить кое-какие сердечные дела. Власюк же, который буквально с ног сбился из-за этой краски, дал в обком телефонограмму с требованием, чтоб командир взвода охраны выделил в его распоряжение автомашину с отделением солдат для поездки за необходимой краской. Ввиду особой политической важности и срочности дела он решил сам возглавить операцию.

Вскоре последовал звонок из штаба - лейтенант Леплян-ский получил соответствующий приказ. С инструктором обкома поехали я, Петька, шофер Файзуллин и еще четверо солдат с пулеметом: в связи с предстоящими выборами в Верховный Совет на перевале усилилась активность бандеровцев, нападавших на воинский транспорт.

Мы ужасно торопились, но машину то и дело задерживали пограничные патрули, стоявшие на дороге. Перед выборами «зеленых фуражек» нагнали видимо-невидимо, они всю местность оцепили и выпендривались, показывая свою власть. В конце концов Файзуллин погнал «Студер» не останавливаясь, и мы лишь помахивали пограничникам, пренебрегая их знаками. Мы ведь с важным заданием ехали.

...Вдруг дорогу нам преградил бронетранспортер, откуда вылезли пограничный майор с лейтенантом, а из-за деревьев Целый взвод «зеленых фуражек» выскочил с автоматами: в общем, попали в засаду...

— Сдавайтесь! - закричал нам лейтенант. - Бросай оружие и выходи по одному!

Власюк выскочил из кабины:

— Товарищи, ошибка! Мы не бандеровцы, едем по срочному заданию обкома партии...

— Серый волк тебе товарищ! - заорал майор, наведя на Власюка пистолет. - Руки вверх, считаю до трех!..

Тот поднял руки, а лейтенант стал его обыскивать и, конечно, вынул из его кармана... ручную гранату, которую инструктор обкома всегда с собой таскал по партизанской привычке. После этого лейтенант развернулся и врезал Власюку по уху...

Тогда выскочил Файзуллин: «Товарищ майор, разрешите обратиться...», но «зеленые фуражки» тут же скрутили его, а затем и всех нас.

Конечно, они быстро установили, что мы солдаты, а не бандеровцы, но заявили, что мы арестованы за неподчинение контрольно-пропускным постам и за то, что едва не сбили пограничника при исполнении обязанностей. Власюка же с его злополучной гранатой от нас отделили как гражданское лицо.

Если бы не мундир товарища Сталина, и шоферу и всем нам за решеткой сидеть. Однако пограничное начальство не решилось брать на себя ответственность за столь деликатное дело, как позолота мундира всенародного депутата. Часа через три мы были отпущены из-под стражи, но почему-то без Власюка. Лейтенант, сбавив тон, сказал, что постам дано указание нашу машину больше не задерживать, но посоветовал на ночь глядя через перевал не ехать. (В таком случае мы могли спокойно возвращаться назад.)

Я принял решение ехать, не дожидаясь Власюка, чтобы не терять времени. За четверть часа до нас на перевал пошла воинская автоколонна, следовавшая на Мукачево. Файзуллин дал полный газ, чтоб догнать ее. Дорога петляла, поднимаясь в гору, и вдруг в сумерках на последнем повороте какие-то солдаты опять преградили нам путь, размахивая автоматами и что-то крича. Мы подумали, что это снова пограничники выпендриваются. Шофер притормозил, а Петька с машины обложил их трехэтажным да еще прикрикнул:

- Брысь с дороги, вас что, приказ не касается?!
- Какой еще приказ?! - закричали те.
- Мы за краской для товарища Сталина! Понятно?! - заорал Петька.
- Видал я твоего Сталина в фобу! А ну слась!!! - услышали мы.

«Бандеровцы!!!» - пронеслось у меня в мозгу. В этот момент шофер не растерялся и дал такой газ, что мы со скамеек полетали в кузов и оружие у всех попадало из рук.

Вслед нам поднялась пальба, но наш «Студер» успел вырваться из бандеровской засады. Видимо, бандеровцы по коле сам били: машину стало заносить. Вдруг кузов дал резкий крен, и я полетел за борт...

Очнулся я в палате Коломыйского военного госпиталя в День выборов в Верховный Совет СССР и узнал, что машина наша перевернулась и мы почти все попали в «наркомздрав», за исключением шофера Файзуллина - бедолага в «наркомзем» угодил...

У меня оказалось сотрясение мозга, перелом левой ключицы и правой руки; у Петьки обе руки тоже не действовали на нервной почве. Еще двое ребят получили тяжелые травмы.

Так мне и не удалось довести мундир всенародного депутата до блеска в соответствии с указанием товарища Н.С. Хрущева. При выполнении этого задания я выбыл из строя в бою с бандеровцами, выполнив до конца свой патриотический долг перед Родиной.

В День выборов мы, пятеро героев Бандеровского фронта, как и весь советский народ, отдали свои голоса за кандидатов сталинского блока коммунистов и беспартийных. За меня и двоих, еще не пришедших в сознание, проголосовал Петька, опустив наши бюллетени в переносную урну зубами. Наблюдавшие эту картину члены избирательной комиссии не смогли сдержать слез...

Читатели ошибаются, ежели полагают, будто прискорбное ЧП, из-за которого я едва не загремел в «наркомзем» в мирные дни, было последним в ряду моих фронтовых злоключений. Вроде бы все обстояло благополучно: прямо в госпитале медкомиссия наконец признала меня полностью непригодным к военной службе, и мне снова выдали «белый билет».

Но перед самой демобилизацией я опять чуть было сотрясение мозга не получил, когда узнал, что в День выборов в Верховный Совет СССР попал в ЧП пострашнее бандеровской засады, за которое в лучшем случае мог угодить в ГУЛАГ заодно с бандеровцами...

По словам лейтенанта Леплянского, приехавшего нас навестить уже спустя месяц после выборов, дело было так.

Когда он получил телефонограмму о нападении бандеровцев на нашу автоколонну и о боевых потерях, было решено портрет всенародного депутата вывесить на всеобщее обозрение без позолоты - за неимением другого выхода. Пятиметровый портрет целые сутки возвышался над всей округой, олицетворяя «морально-политическое единство советского народа под солнцем самой демократической в мире сталинской Конституции», как восторженно откликнулась на это событие районная многотиражка.

На избирательном участке, охрана которого была поручена нашему взводу и взводу погранвойск, шли последние приготовления к выборам. И только в этот момент, когда ничего уже нельзя было изменить, в портрете всенародного депутата генералиссимуса Советского Союза товарища Сталина вскрылась вопиющая ошибка. Никто - ни лично товарищ Н. С. Хрущев, ни обкомовское и райкомовское начальство, ни агитаторы, ни избирательная комиссия, ни сам я, наконец, художник от слова «художник», не заметили, что на портрете мундир товарища Сталина застегнут по-женски, на левую сторону! Мало того, высокие правительственные награды висели на мундире в обратном порядке, в нарушение установленного Президиумом Верховного Совета статуса: звезда Героя Советского Союза оказалась на правой стороне и т. п.!

На избирательном участке поднялась паника, начальство, проклиная горе-художника (то есть меня), заметалось, не зная, что предпринять: ежели дефектный портрет снять, избиратели это неправильно истолкуют, ежели оставить - кто за это ответственность понесет? Стали звонить в обком, мол, как быть?! А из обкома их словно обухом по голове: бывший начальник агитбригады Власюк, арестованный Органами, оказался уполномоченным самого Бандеры по нашему избирательному округу! В связи с этим в район направляются дополнительные части погранвойск и работники Госбезопасности для срочной проверки бланков избирательных бюллетеней... Портрет было приказано не снимать до прибытия представителей Органов.

Честно признаюсь: Власюк, в распоряжение которого я был выделен, никакого отношения к этой ошибке не имел. Ошибку я совершил, перевернув слева направо весь портрет и не учтя при этом, что стороны мундира не абсолютно симметричны. Будь на товарище Сталине обычный китель без орденов - даже очень бдительный чекист этот ляпсус мог проглядеть.

Лейтенант Леплянский признался мне, что последняя ночь перед выборами в Верховный Совет СССР была, пожалуй, самой кошмарной в его юной жизни.

Он совершенно растерялся из-за этих ЧП, свалившихся на его голову: машина попала в засаду, начальник оказался банде - ровцем, с портретом товарища Сталина вышел страшный скандал... А тут еще сообщили, что ночью надо ожидать нападения. И действительно, в полночь кто-то обстрелял наш пост - один солдат был ранен. Лейтенант приказал открыть ответный огонь по бандеровцам, но это оказались не бандеровцы, а прибывшее к пограничникам подкрепление...

Мало того, воспользовавшись поднявшейся суматохой, неизвестный злоумышленник поджег злополучный портрет всенародного депутата, предварительно плеснув на него соляжкой. Портрет вспыхнул - через минуту перед избирательным участком одни столбы торчали.

За это ЧП на лейтенанта Леплянского было наложено дисциплинарное взыскание, поскольку он не обеспечил надлежащую охрану объекта. Слава Богу, что портрет товарища Сталина все равно был с дефектом.

Но выборы на нашем избирательном участке прошли без инцидентов, по результатам мы вышли на первое место в области, и командование это учло. Лейтенант отделался десятью сутками ареста...

Если бы случайно задержанный «зелеными фуражками» инструктор обкома партии Власюк на поверку не оказался бандеровцем, вина за это ЧП упала бы на мою бедную голову. И ничто бы меня не спасло: ни отсутствие на месте происшествия, ни то, что я в этот момент, ни о чем не подозревая, еще находился в бессознательном состоянии в Коломыйском госпитале. За такую тягчайшую политическую ошибку, какую я допустил в спешке (по своей малоопытности в области монументальной наглядной агитации и расхлябанности), во время Великой Отечественной войны были приговорены к расстрелу несколько редакторов областных и республиканских газет!..

...Я тогда поклялся никогда в жизни монументальной наглядной агитацией больше не заниматься.

Еще одно потрясение я пережил, когда в госпитале услышал по радио, что по нашему избирательному округу приняли участие в голосовании 97,3 процента избирателей, из них 98,7 процента проголосовали за кандидатов сталинского блока коммунистов и беспартийных!

Откровенно говоря, эти проценты меня огорошили. По моей прикидке, на Бандеровском фронте от силы пять процентов избирателей приняли бы участие в голосовании, да и те не за товарища Сталина, вождя народов, голоса отдали бы, а за своего вождя Степана Бандеру.

Я ведь еще не знал, что превосходство советской социалистической демократии, и в частности избирательной системы, в том и заключается, что в любой ситуации блок коммунистов и беспартийных непременно собирает почти 100 процентов голосов.

Как достигалось столь монолитное сплочение разношерстных советских граждан, я узнал лишь на третьих выборах, когда сам попал в члены участковой избирательной комиссии (меня выдвинули, чтоб избавиться от молодого специалиста на работе). Секрет оказался весьма прост. Как только по окончании голосования комиссия собралась было приступить к подсчету голосов, в помещение вошли сотрудники Органов и предложили нам сходить куда-нибудь, чтоб «обмыть» очередную победу сталинского блока коммунистов и беспартийных.

- Небось измаялись за день, чего доброго, ошибетесь при подсчете, а мы никогда не ошибаемся, - пошутили сотрудники Органов.

Но ведь Органы не шутят, и мы без лишних вопросов свои обязанности им передоверили. Нас, правда, предупредили: «Мол, не подводите, товарищи, соблюдайте меру, в вырезвители не попадайте - завтра рано утром акты надо подписывать...»

А я, как всегда, подвел. Утром очнулся неизвестно где, пока опохмелялся, пока добрался до избирательного участка - дело было во городе во Казани, - время уже шло к обеду. Я думал, большие неприятности буду иметь, но ничего, сошло... Акты подписал уже после того, как Центральная избирательная комиссия объявила результаты выборов. Эта процедура оказалась чистой формальностью, и без актов «наверху» все уже было известно.

Я по наивности решил, что сотрудники Органов, закончив за нас подсчет голосов, сообщили результаты в Центральную избирательную комиссию по телефону. Но более опытные товарищи меня на смех подняли: мол, Органы к этому делу никакого касательства не имеют, у них своя, особо секретная работа с избирательными бюллетенями. К примеру, устанавливают личности тех, кто фамилии кандидатов перечеркнул либо позволил себе всякие нецензурные выражения писать на бюллетенях.

- А что касается процента проголосовавших, то этот процент еще до выборов нам спускается «сверху», в соответствии с планом, поэтому от подсчета голосов он несколько не зависит, - разъяснили мне члены нашей избирательной комиссии, имевшие большой опыт.

Тогда-то я и понял наконец, почему на Бандеровском фронте почти 100 процентов избирателей (они же бандеровцы) проголосовали за кандидатов сталинского блока коммунистов и беспартийных! Должен сказать: первые в моей взрослой жизни выборы в Верховный Совет действительно явились для меня подлинной школой советской социалистической демократии.

Феликс Кривин

Феликс Давидович Кривин (род. 11 июля 1928, Мариуполь (Донецкая область) — советский детский писатель, поэт, прозаик.

Родился 11 июля 1928 года в городе Мариуполь. В 1933 году семья переехала в Одессу.

В 1945 году после эвакуации приехал в Измаил, где работал ученикам моториста, а затем мотористом на самоходной барже «Эдельвейс» Дунайского пароходства; ночным корректором, а затем «Придунайская правда» (здесь были опубликованы его первые стихи), радиожурналистом Измаильского областногорadioкомитета, окончил вечернюю среднюю школу. В 1951 году окончил Киевский педагогический институт В 1951—1954 — работал учителем в Мариуполе, там же женился. В 1954—1955 — жил в Киеве.

В 1955 году переехал в Ужгород. Работал редактором Закарпатского областного издательства. В 1962 году был принят в Союз писателей Украины. В Москве вышла книга «В стране вещей», в Ужгороде — «Карманная школа».

В 1990 году — лауреат республиканский премии имени В. Г. Короленко. В 1998 году — выехал на постоянное место жительства в Израиль, проживает в Беер-Шеве.

Феликс Кривин — автор десятков книг, вышедших начала 1960-х годов в различных издательствах Советского Союза. Сотрудничал с Аркадием Райкиным, для которого писал интермедии.

В 2001 году в Москве, в издательстве «ЭКСМО-Пресс», в серии «Антология сатиры и юмора» (том 18) вышла книга «Феликс Кривин» (670 страниц).

В 2006 году — лауреат независимой литературной «Русской премии» Подкарпатской Руси.

СКАЗКА О КНЯЗЕ ГВИДОНЕ САЛТАНОВИЧЕ

Жизнь идет тяжелым шагом, прямо, криво и зигзагом, чтобы тяжестью своей не всегда давить людей. Только к острову Гвидона жизнь не слишком благосклонна: плачет мать, грустит жена, не отходят от окна.

Как уплыл по океану князь Гвидон - и в воду канул. Сколько лет прождали зря - нет ни князя, ни царя.

Гонит юная супруга мысли черные про друга: может, болен? Может, пьян? Может быть, Гвидон - Жуан?

А мамашу мучат мысли, что сынок не знает жизни. Он добряк, он доброхот, он такой Гвидон, Кихот!

Белка, старая пройдоха, между тем живет неплохо, но орешки не грызет, а на рынок их везет. Там дают за них скорлупки - и не нужно портить зубки. С рынка белка - на базар, закупает там товар и опять спешит на рынок, волоча вагон корзиночек. Словом, вертится, как все, в нашем общем колесе.

А ребята Черномора не выходят из дозора: что увидят, то упрут - вот и весь дозорный труд. И тоскует производство, и клянет свое сиротство: на десятки верст вокруг не найдешь рабочих рук. Если молвить без обмана, руки все в чужих карманах, где куют и стар и мал оборотный капитал.

А Гвидонова супруга от тоски и перепуга так худа и так бледна, словно в лебедя она начинает возвращаться... Только б с мужем попроситься. Где он, милый? Где же он? Нет, не едет князь Гвидон.

А давно ли было дело, что во лбу звезда горела и под пышною косой плавал месяц золотой? И звезда, и месяц в скупке за проклятые скорлупки. Тридцать три богатыря не теряли время зря, поработали на суше, потрясли людские души и нырнули в моря гладь капиталы отмывать.

Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет, на кораблике купцы приготовили концы. И на острове Гвидона их встречают благосклонно: пушки с пристани палат, но не точно, не впопад, все тяжелые снаряды с кораблем ложатся рядом, не в гостей, а в честь гостей в ожиданье новостей. И рассказывают гости, перебив знакомы кости: в мире есть страна одна, издали не видна, и вблизи, пожалуй, тоже - разве только в день погожий, но хватает места всем, кто приехал насовсем. А вокруг другие страны, так обширны, так просторны, их объехать - тяжкий труд, но народ живет и тут - мужики, а также бабы, называются арабы. Ходят в шелковых штанах, да поможет им Аллах. А у них посередине, между небом и пустыней, между сушей и водой государство Божежмой.

Много званых и незваных в той земле обетованной. Среди прочих там, пардон, поселился князь Гвидон.

Рассказав такие вести, поклонившись честь по чести, корабельщики-купцы дружно отдали концы.

А ребята Черномора для большого разговора тот же час легли на дно с Черномором заодно и пустились строить планы о земле обетованной. Хороша она, земля, особенно издали.

Волны катятся на берег из Европ и из Америк... Да, пустил он здесь росток, этот ближний всем восток. Даже гордые арабы к этим землям сердцем слабы: так и смотрят - глядь-поглядь! - где бы тут обетовать.

Эта жуткая картина в сказке только середина. Но зачем смущать сердца? Обойдемся без конца.

НАПУТСТВИЕ В ДРУГУЮ ЖИЗНЬ

Быть может, станешь ты рекой, тогда глядеть придется в оба: не разливаться широко - иначе можно стать потоком.

Быть может, станешь ты костром, тогда пылай. Но не мешало б не подниматься высоко - иначе можно стать пожаром.

Да, это, право, нелегко любую жизнь прожить без риска - ни широко, ни высоко, ни далеко, ни слишком близко.

ЦАПЛЯ № 1

Когда лягушке цапли доверили кормило, доверие ни капли ее не удивило. Она сидела в кресле, расставив ноги-грабли, и наслаждалась лестью: «Вы истинная цапля!»

Заботливая свита ей угождала рьяно, кормя ее досыта, поя ее допьяна. Не нужно ни таланта, ни знания, ни силы, чтоб превратить кормило в кормило и поило.

Но на душе тревожно и не смешно ни капли, когда совсем несложно лягушке выйти в цапли.

ПЛАСТИЛИНОВАЯ БЫЛЬ

Пластилиновая память - не игрушка, не каприз. Скольких этими зубами заяц до смерти загрыз. А теперь кладет на полку, если нечего погрызть. Был он волк, но смяли волка. Потому что это - жизнь.

Где его бывала сила? Где он, леса властелин?

Ничего, что прежде было, не запомнил пластилин.
Из клыков слепили уши, трансформировали пасть и велели старших слушать, потому что это - власть.
Не ему б ушами хлопать да усами рисковать, у него огромный опыт всякой твари кровь пускать.
Может, зайцем быть недолго? Наша жизнь полна чудес. Может, снова слепят волка?
Потому что это - лес.

ИСПОВЕДЬ СЛЕГКА ТРЕЗВОГО ЧЕЛОВЕКА

Я гут встретился с быком, был я раньше с ним знаком - то ли виделись в Москве, то ли в Питере. И сидим мы с ним вдвоем то ли курим, то ли пьем, рассуждаем, есть ли жизнь на Юпитере.

А Юпитер - это я, дома у меня семья, и на службе у меня положение. Нет, постой, не так, старик. Он Юпитер, а я - бык. Вот какие с ним у нас отношения.

Извините, гражданин, или я сижу один? Разве мы с тобой, кретин, не приятели? Ты Юпитер, а я бык, ты к хорошему привык, все по батюшке тебя, не по матери.

У тебя такая жизнь, что куда ни повернись и о чем ни заикнись - мигом сделают. Не дозволено быку, а тебе - мерси боку! И Европа для тебя - лебедь белая...

Ну чего ты лезешь в крик? Ты Юпитер или бык? Или мы с тобой, мужик, просто жители? Я один или вдвоем? Мы тут курим или пьем? Мы о чем?

Да все про жизнь...

На Юпитере.

Может, эта жизнь легка, но не та, что у быка. Та мне нравится пока чуть поболее. И хоть что-то на веку не дозволено быку, но ведь счастье-то, оно - в недозволенном!

ОХОТА НА БЕКАСА

Один смекалистый бекас в охотничьем сезоне весь продовольственный запас назначил к обороне. Построил крепость из харчей и зажил там, в середине, вдвоем с напарницей своей, своей родной нететкой.

А за стеною - страшный суд: снаряды и фугасы, стрельба, пальба - идет в лесу охота на бекаса.

Но он и цел, и невредим, живет себе в охотку.

— Давай немного поедим, - советует нететка.

— Молчи! Не накликай беды! - бекас ворчит сердито. - У нас еда не для еды, а для самозащиты.

А тут - гремит со всех сторон, ну просто нету спасу! Вокруг охотничий сезон, охота на бекаса.

— Вот так живешь... какая честь? К тому же век короткий... А если даже не поесть... - печалится нететка.

Ничто бекаса не спасет, ему не будет жизни. Грызет нететка и грызет. И наконец - догрызла.

Лежит он, лапки вверх задрал, безропотно и кротко. И кто там прав, а кто не прав, но голод - он не тетка. Хоть выстрой крепость до небес, и это не поможет. Когда снаружи враг не съест, то изнутри изгложет.

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Любит заяц детектив, чтоб кидало в дрожь, чтобы страх в него входил, как под сердце нож. Любит он читать о том, распалая страх, как под каждым под кустом притаился враг.

И в такой-то час невзгод видит он себя, как по лесу он идет, кобурой скрипя.

Волк петляет впереди, путая следы. Ну, бандюга, погоди, мать твою туды!

И ныряет волк во тьму, в лоно тишины, прижимается к стволу вековой сосны, а другие два ствола на него в упор.

Волк басит:

— Твоя взяла, гражданин майор!

Пасть приходится закрыть и потупить взор.

— Разрешите погодить, гражданин майор?

А майор ему:

— Шалишь! Ну тебя совсем! Погодишь, как загудишь этак лет на семь!

Любит заяц детектив, чтоб под сердце нож. Там он смел и справедлив, там он всем хорош. Ну, а в жизни он другой, сам себе не люб. Выбивает дробь ногой, зубом бьет о зуб. Не вписать ему в актив выправку и стать...

Дайте зайцу детектив, чтоб героем стать!

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ

1. Моление Ироду

Любят слабых гордые сердца, оттого любовь и правит миром.

Пуще сына, брата и отца возлюбил младенцев грозный Ирод.

Он над ними и вздыхал, и млел, государством правил - им в угоду. Взрослым людям на его земле от младенцев не было проходу.

И однажды почта принесла всю в слезах и подписях бумагу:

«Ирод, Ирод, отойди от зла, сотвори какое-нибудь благо!»

Грозный Ирод на расправу лих, и, не видя в мягкости резона, он для блага подданных своих объявил младенцев вне закона.

Побрели младенцы по земле, сырые, без крова и призора... За последних десять тысяч лет не было подобного позора.

И опять молениям нет числа, за бумагой следует бумага: «Ирод, Ирод, отойди от зла, сотвори какое-нибудь благо!»

Ирод все же царь, а не злодей, хоть и срывы у него не редки. Перестал преследовать детей, приказал им выдать по конфетке. И - дабы в дальнейшем избежать толков и досужих разговоров, он младенцев приказал держать в специальном доме - под запором.

Но опять молениям нет числа, от просящих не ступить и шагу: «Ирод, Ирод, отойди от зла! Сотвори какое-нибудь благо!»

Никуда не спрятаться от просьб, от петиций никуда не деться...

Вот тогда оно и началось, это избиение младенцев.

Тяжела ты, шапка, тяжела! Снова все клянут и укоряют:

«Ирод, Ирод, отойди от зла, ничего взамен не сотворяя!»

2. Торжество победителей

Династию Тан сменила династия Сун.

И это случилось в таком-то году и часу, в такой-то столице одной из таких-то стран.

Династия Сун сменила династию Тан.

И все ликовали, плясали, кричали ура и дружно кивали, что, дескать, давно бы пора, судили, рядили, обиды свои вороша, - к династии Тан у людей не лежала душа.

Династию Сун сменила династия Мин.

Четыреста лет пронеслись над страной, как один. Четыреста вепрей голодных в дремучем и темном лесу. Династия Мин сменила династию Сун.

И сразу - как будто все из лесу вышли на свет. Подумать ведь только: не шутка - четыреста лет! Страна веселилась, на время забросив дела. Династия Сун, видно, здорово всех допекла.

Династию Мин сменила династия Цин.

На это имелось немало серьезных причин.

Как солнце из ночи, как клин, вышибающий клин, династия Цин сменила династию Мин.

Вот радости было в таком-то году и часу, в такой-то столице одной из таких-то стран! Династия Цин - это вам не династия Сун, она далеко не династия Мин или Тан!

Ох, как далеко от династии Цин до Мин! Как будто меж ними незримо пролег океан...

Так все говорили, вздыхая без всяких причин, тайком вспоминала династию первую - Тан.

3. Врем реформ

Два дня, которых не хватает февралю, были отняты у него и добавлены к августу.

На исходе прошлой эры стало холодать. Ну такая атмосфера хуже не видать Просто жуткие примеры, верится с трудом. Накануне новой эры - и такой содом!

Цезарь тут же принял меры, подтянул войска. Не теплеет атмосфера - экая тоска! Все воюют - страны, веры, в мире нет тепла. В мире холодно и серо - скверные дела.

И не раз об этом Цезарь прямо говорил, говорил, что до зарезу миру нужен мир. Но все так же приходили сообщения с мест, что, мол, нету мира в мире, есть один зарез.

Небывалые размеры страха и вражды. Не теплеет атмосфера, долго ль до беды? И народы, и державы пьют из чаши зла. Хоть земля горит пожаром - в мире нет тепла

И тогда великий Цезарь климат изменил: он февраль слегка урезал, август удлинил. Сделал зиму он короче лето растянул и, не думая о прочем, отбыл на войну.

4. Служба спасения

Утопающий хватается за соломинку, и соломинка чувствует, как непрочен, как зыбок этот мир, и понимает, что она в нем - единственная соломинка, за которую можно еще ухватиться, она осознает, что, если бы не она, все к черту пошло бы ко дну, - да-да, пошло бы ко дну, - так думает она, идя ко дну вместе с утопающим.

ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ

Принцесса на горошине, и нечего скрывать: горошина подброшена в принцессину кровать. Ну что же тут хорошего? Опаснейший сюжет: горошина подброшена на шелк и креп-жоржет.

Но поутру прохожие вдруг стали замечать: горошина подброшена в принцессину кровать. Была б она подброшена в кастрюлю или в таз, как это ей положено, - тогда бы в самый раз. А чтобы сытой задницей поверх продукта спать - уж ты прости красавица, как это понимать?

Ругаются прохожие в стране гороха нет, еще не огорошены детсад и горсовет, и ничего похожего в сельмаге не сыскать, - они ж ее, горошину, подумайте, - в кровать!

С кого за это спрошено? Кому держать ответ за каждую горошину, которой в супе нет, за каждую картошину, что разлетелась в дым, за каждую галошину, в которой мы сидим?

Ругаются прохожие и поминают мать

- Принцесса на горошине, а мы не можем спать!

ПОХОРОНЫ

Иногда муравьи по ошибке хоронят жувыхтоварищей.

Биологический эксперимент

Приходят к муравью друзья, печально хмурят брови:

- Хотим тебя похоронить, прости на этом слове.
- Да что вы, братцы! Я живой! Зачем вы сняли шапки?

Качают братцы головой, заламывают лапки

- Наш милый брат! Наш добрый друг! Нам бесконечно жалко!

И муравья они берут, влекут его на свалку.

Но он не мертвый, он живой, во здравии и силе, а потому идет домой, а не лежит в могиле.

Приходят к муравью друзья:

- Старик ты нас не понял. Мы выплакали все таза, а ты не похоронен.

И, высказав такой упрек, берут его под ручки:

- Да кстати, мы тебе веночек купили в счет полочки.

И вслед за этим без труда, без лишней проволоочки, они ведут его туда, где можно ставить точку.

Но он не мертвый, он живой и жить еще способен, а потому идет домой, а не лежит во гробе.

Приходят к муравью друзья:

- Да что ж это такое? Уже протоптана стезя к молчанью и покою. Будь другом! Не сочти за труд!..

И, к уговорам глухи, они опять его берут. Ну, словом, в том же духе.

Из всех гробниц, из всех могил сбегал домой покойник, покуда не сообразил, что там лежать - спокойней. Никто тебя не теребит, никто не докучает, и все живые муравьи в тебе души не чают.

С тех пор упрямый муравей лежит вдали от дома. И кто-то его друзей, смеясь, сказал другому:

- Как будто парень не дурак, а главного не понял. Других хоронят разве так! А он - смотрите - помер!

РАЗМЫШЛЕНИЕ У КРЕПОСТНЫХ СТЕН С ПОДВЕДЕНИЕМ ИТОГОВ

Эта старая крепость все рыцарей ждет, хоть для боя она старовата. Но мечтает она, чтобы брали ее так, как крепости брали когда то. Чтобы было и страха, и трепета всласть, и сомнения, и мысли преступных. Чтоб она, подавляя желание пасть, долго-долго была неприступной.

Дорогая, ты слышишь вокруг тишина, ни снаряды, ни бомбы не рвутся. Мы с тобою в такие живем времена, когда крепости сами сдаются.

ЛЮБОВЬ - ЭТО ПОНИМАНИЕ

На свете жил один король, он был не гений, не герой, хотя был многих званий удостоен, но разговаривать привык с людьми на ты, с собой на вы. «Мы...» - говорил, и прочее такое.

Король еще не старым был, и он однажды полюбил бесхитростную девушку Наташу.

- Наташа, - говорит король, - сегодня двери нам открой, сегодня, говорит, - ты будешь наша.

Наташа задрожала вдруг, и на лице ее испуг, и щеки зарумянились стыдливо:

- О, государь мой, как мне быть? Я вас готова полюбить, но не могу я... с целым коллективом.

Король ответил, пошутив:

– Мы уважаем коллектив, и мы готовы с ним считаться даже. Но в твой гостеприимный дом сегодня мы одни придем.

- А сколько вас? - сконфузилась Наташа.

Король внезапно замолчал и сразу как-то заскучал. И проворчал:

– С тобой не сварить каши... Сегодня ночью дверь закрой! - сердито приказал король и полюбил смышленную Дуняшу.

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЛЮБВИ

Говорил мужчина даме:

- Есть закон теплообмена. И тепло, что между нами, исчезает постепенно.

Но другой закон угоден даме был. Она сказала:

- До сих пор еще в природе ничего не исчезало.

И мужчина вдохновенно поддержал подруги мнение:

– Это верно. Во вселенной всё, как в камере хранения. Где-то там, за неба краем, кто-то вспыхнет с новой силой...

Для того и остываем, чтобы им тепла хватило.

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

Жил на свете султан по прозванию Карем. У султана Карема имелся гарем: шестьдесят четыре персоны, все крикливы, ленивы и сонны.

Настоятель гарема, красавец Селим, называвший гарем не «гарем», а «горим!», умолял султана Карема отпустить его из гарема.

Он учиться хотел. Но султан отвечал:

— Что такое, Селим? Почему заскучал? Ты, что предан работе всецело, оставляешь любимое дело? Каждый хочет учиться, - добавил Карем, - но не это от нас ожидает гарем. Об учении думать не время: посмотри, что творится в гареме.

А в гареме такое, что Селим наводил бы порядок до самых сединок. Но собрал он сознательных женщин и нарек их советом старейшин. Эти мудрые женщины, знавшие толк в чувстве долга и в том, чего требует долг, неуспянно и неустанно направляли желанья султана. Только тех отбирал для супруга совет, кто имел и заслуги, и выслугу лет, кто был сдержан, уравновешен, в мыслях скромен и в страсти безгрешен.

И султан загрустил от порядков таких:

— Что-то стал ты, Селим, затирать молодых. Правда, старость почтенна, но все же ты дорогу давай молодежи.

А Селим уж и рад продвигать молодежь, только где молодую такую возьмешь, чтоб она подошла по заслугам и годами была, как старуха?

И все чаще султан уходил в кабинет, говоря, что для радостей времени нет, что в его, государевой, власти не свое, а народное счастье.

Но заметил, заметил дотошный совет: он впускал посторонних к себе в кабинет. Стоит только окну раствориться, как в окошко сигает девица.

Что тут можно добавить? Гарем под рукой, а супруг изменяет гарему с другой. Тут - открыто сказать не пора ли? - возникает вопрос о морали. Был с султаном серьезный, большой разговор. Пригласили его на персидский ковер и просили его объясниться: что он делает с этой девицей?

От такого вопроса увяла трава. Что-то мямлил султан, подбирая слова, и о чем-то смущенно просил он... Но любовь придала ему силы.

— Я люблю эту женщину! - крикнул Карем. - И любить ее буду до гроба!

И султан распустил нелюбимый гарем, а Селима послал на учебу.

ПРАВДА - ТОРЖЕСТВУЕТ

1.

Вышла правда в сверкающий зал - из забвенья, из тьмы, из тумана, отвели для нее пьедестал, тот, что раньше служил для обмана. Натерпелась она на веку, надорвала сермяжные жилы, ну и хочется быть наверху. А чего же? Она заслужила.

И она улыбается в зал, как всегда, и проста, и желанна. Возвышает ее пьедестал - тот, что раньше служил для обмана.

2.

Сколько было радости! Туш. Цветы.

Удивлялись искренне:

— Это ты?

Сомневались дружески:

— Ну, даешь! Неужели правда? А может, врешь?

И в душе почувствовав: не к добру, - отвечала правда:

— А может, вру. Правда-то я правда, да только я не вдохну не выдохну без вранья.

Растерялись граждане как опять? Как же, чтобы правда и стала врать? Но один очкастый прошел вперед.

— Так она ж, товарищи, врет, что врет. Если ты товарищи, врешь, что врешь, это правда чистая, а не ложь!

Тут, конечно, мысли у всех взброд:

— Ну, а если врет она, что врет, что врет?

— Или даже больше, - шумел народ, - врет она, что врет она, что врет, что врет?

— Наврала с три короба, а лжи ничуть?

— Ну, загнул очкастый, не разогнуть! Это ж чтобы правды на грош набрать, сколько ж полагается нам наврать?

ВЫБОР ГЕНИЯ

Науке просто повезло с Ньютоном, что не был он бездельник и глупец, не говорил с начальством грубым тоном, не разбивал доверчивых сердец, что отличался скромным повеленьем, был чист и безобиден, как дитя, всем будничным, житейским тяготеньям всемирное навеки предпочтя.

Науке просто повезло с Ньютоном, что он не пил и в карты не играл, не нарушал общественных законов и тех, что сам в природе открывал

Когда бы он присвоил чьи-то деньги и за растрату угодил в тюрьму, закона мирового тяготенья, конечно не доверили б ему.

И кто б сегодня знал тогда Ньютона? Не допустил бы просвещенный век, чтоб открывал всемирные законы морально ненадежный человек

РАВНОВЕСИЕ В ПРИРОДЕ

Кочуют деньги по дорогам - и золотой и медный грош. То их скопится слишком много, то их со свечкой не найдешь.

Подобно им кочуют мысли - случайный гость и частый гость. От денег мысли не зависят, они всегда кочуют врозь

И будет вечно, как бывало с тех пор как существует свет: где много денег, мыслей мало, где много мыслей - денег нет.

ПУТЬ ИСТИНЫ

Шумер собрался истину сказать. Хотел ее изобразить на камне. Нашлось немало истин под руками, но только камня негде было взять

И египтянин пил из родника, наполненного мудростью и силой. Ему б куска папируса хватило, но не хватало этого куска.

А древний грек? Ведь этот древний грек избородил всю Грецию кругами. Но было даже в городе Пергаме с пергаментом неважно, как на грех.

И в наши дни заботится прогресс об истине, как о великом благе. Но что же делать, если нет бумаги? Для истины ее всегда обрез.

СЛОВО СОВРЕМЕННОКОВ О ГОСПОДИНЕ ДЕ ВОЗЕ, СЕКРЕТАРЕ ФРАНЦУЗСКОЙ АКАДЕМИИ НАДПИСЕЙ И ХРАНИТЕЛЕ КОРОЛЕВСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ МЕДАЛЕЙ

Когда грядущий человек заявит вам на всем серьезе, что все, чем славился наш век, давным-давно почило в Бозе, - не удивляйтесь: этот Воз - наш знаменитый современник, он занимает крупный пост в одной из крупных академий.

Сегодня на вершине он, отечества великий отпрыск. Все надписи со всех сторон к нему стекаются на подпись. Его король благодарит, и - на приеме ли, на бале - всегда он помнит: Боз хранит его коллекцию медалей. И он спокойно кофе пьет и возлежит в удобной позе. Уверен он: не пропадет все то, что почивает в Бозе.

Недаром он, мудрейший Боз, лауреат различных премий. Его бы называли: босс, - когда б он жил в другое время. При этом он почтенный Боз, хоть от других людей отличен, ничуть не задирает нос, он очень прост, демократичен. К нему - об этом знают все - пришел ничем не знаменитый не то Руссо, не то Руссе - фамилия его забыта, но он пришел и был спасен, и говорят, что в нашем веке Руссе. нет, все-таки Руссо как будто делает успехи. И может статься, что потом, когда-нибудь - в стихах ли, в прозе, - он всем поведает о том, что в наши дни почило в Бозе.

ДЕМОСФЕН

На греческой площади людно. Усталый и спавший с лица, какой-то оратор приبلудный тревожит умы и сердца.

Афинское жаркое лето, его не отыщешь, оно давно уже кануло в Лету, куда-то на самое дно.

Кольцом окружала столицу, столетья над нею встают. А там, у подножья толпиться ахейский рассеянный люд.

А в центре, как огненный кратер, как пламя что рвется из тьмы, грохочет, клокочет оратор, тревожа сердца и умы.

Но что-то не видно тревоги, скучает ахейский народ и прямо оратору в ноги опивки лениво плюет.

И зря вдохновения реки струит исступленный пророк.

Эх, греки, эх, древние греки вам даже и древность не впрок.

УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ

Строптивому судьба не тетка, ему повсюду неуют: где кроткому дают на водку, строптивного за пьянку бьют. Строптивного жена не любит, и дети у него не мёд. Где кроткие выходят в люди, строптивный голову свернет. Не сядет он в машину «Волга», ногами кормится, как волк. Живут строптивные недолго: по-чертыхался и умолк. А кроткий всеми уважаем: работа, крепкая семья. С ним ласкова жена чужая - та, что строптивому своя.

КОГДА ЖЕ РАК СВИСТНЕТ, А РЫБА ЗАПОЕТ?

Жила на свете собака. Простая такая собака. Но верящая, однако, что свистнет когда-нибудь рак.

Приходят такие мысли в унылой собачьей жизни: что вот, мол, когда рак свистнет, наступит счастье собак.

Она отыскала рака. Простого такого рака. Но он не свистел, а плакал, печально скрививши рот. И рак объяснил со всхлипом, что скажет судьбе спасибо тогда, когда встретит рыбу, которая запоет.

Ну, рыбу они отыскали. И тоже нашли в печали. Они ее утешали, а после учили петь. И рыба, вытянув губы, запела сипло и грубо, что легче, мол, дать ей дуба, чем жизнь такую терпеть.

Поскольку рыба запела, а это уже полдела, собака ждать не хотела и тут же за рака взялась. Она то журила рака, то с ним затевала драку, ну, словом, к раку собака свою применила власть.

И рак еле слышно свистнул, как будто от боли пискнул, как будто от страха взвизгнул испуганный жизнью рак.

Посвистывал рак уныло, и рыба тоскливо выла, но все же не наступило заветное счастье собак.

Какая ж причина, однако, что все это кончилось крахом? На то ни одна собака ответа не даст, не взыщи.

Прекрасны поиски счастья, опасны происки счастья. А что до приисков счастья - ну что же, ищи. Свищи.

ЧЕРНАЯ ДЫРА

В черных дырах время и пространство меняются местами..

Практическая астрономия

Жил старик.

Он прожил сотню верст, сотню лет вспахал и обработал. Годы были трудные, хоть брось: то песок, то камень, то болото. Ну кому такое по нутру? Возроптал старик на эти вещи. И его отправили в дыру, что его дыры еще похлеще.

Двадцать верст он прожил в той дыре, а потом его вернули в эту. Голова, конечно, в серебре, и в душе уже давно не лето.

И еще минуло двадцать верст, жизнь пришла к положенному краю. Старику пора бы на погост, а старик живет, не помирает.

Жизнь ему немалая дана и, как оказалось, не напрасно. Заглянул в газеты - вот те на! Поменяли время на пространство!

Катаклизм подобный в мире звезд иногда случается. Не часто. Старику теперь его сто верст - будто приусадебный участок. Для него переменялся свет, и куда его болезни делись! А поскольку он не нажил лет, то теперь он снова как младенец.

Он выходит из дому с утра, вечерами на печи не дремлет.

Вот и все. А Черная дыра - попросту название деревни.

И старик уходит за сто верст, бодрый и ни капельки не старый...

Многие мечтают в мире звезд: поменять бы годы на гектары!

ВОСПОМИНАНИЕ О КАЗАНОВЕ

Сколько в мире женщин - тех, что не про нас! До отказа их, но суть не в этом. Казанова плакал, получив отказ, потому что он привык к победам. И не раз хотел покончить он с собой, добираясь до жены соседа. Затянуть на шее шарфик голубой, - потому что он привык к победам. Мы не казановы, и во цвете лет нас не сломят мелочные беды. Поражений в мире больше, чем побед, но из них мы делаем победы. Мы умеем делать радости из бед, нас судьба за горло не ухватит. Сколько поражений нужно для побед? Не горюй! На нашу долю хватит.

НОЧЬ

Вышла ночь на улицу купить керосину, город весь обегала, тычась в магазины. Все напрасно, все темно, на дверях запоры... Только слышно: в темноте шевелятся воры.

РАЗМЫШЛЕНИЯ

О дороге...

Равнодушно стелется дорога. Только прямо. Прямо и вперед. Прошлое кричит вдогонку: «С Богом!» Будущее терпеливо ждет. Время, время, это неспроста ведь мы в тебе, как узники в тюрьме: стоит только буквы переставить - и уже не ВРЕМЯ, а В ЯРМЕ.

О снеге...

Далеко еще весна, но притихший лес не дремлет: снега белая листва распустилась на деревьях. Как приятно быть листвою! Снег от счастья леденеет. Может стать, что весной он еще зазеленеет.

О дереве...

Все оно между солнцем и тенью. Два начала в себе храня, все оно - как соединенье солнца с тенью и с ночью дня. Но когда его пламя коснется, содрогнется испуганный лес. Солнце дерева к солнцу взметнется, его день дорастет до небес. А потом все бледней, все короче, день осядет, вершину клоня... Только малая горсточка ночи на руинах сгоревшего дня.

О звездах...

Из глубинной черноты небес, когда больше ждать не станет мочи, звезды возникают как протест будущего дня царящей ночи. Потому что не исчезнет прочь темнота, не сменит зиму лето. Такова космическая ночь, в ней напрасно ожидать рассвета. И звать напрасно к небесам, небеса мертвы и безответны. Тут уж либо загорайся сам, либо стань таким же беспросветным. Главное - развеять этот страх, вспыхнуть мыслью, гневом и талантом... И сгорают звезды на кострах, как всегда сгорают протестанты.

О разговорах...

Кто говорит: подошва или снег? Их голоса слились в едином скрипе. Быть может, это слезы или смех, а может быть, простуда, как при гриппе? Кто говорит: песок или волна? Дождь или крыша, в неумолчном споре? Но вот заговорила тишина... Чей это голос - неба или поля? Там ветер заблудился в сосняке, там лист весенний ливнем потревожен... Все говорят на общем языке, который мы найти никак не можем.

О кругах времени...

Изгибы ли это, изломы пути, фантазия времени или усталость, но то, что манило тебя впереди, в какой-то момент позади оказался. А ты не заметил. Нелепый финал нарушил святые законы природы: так быстро ты гнал, что все обогнал - и лучшие чувства, и лучшие годы. Они неподвижно стоят позади, а ты все уходишь, уходишь куда-то... Пора возвращаться на круги свои, но круги не круги уже, а квадраты. **О цветах**

Как различить, где белое, а где черное? Как распознать, где черное, а где белое? К белой вершине тропинка взбегает горная, к черной земле снежинка жметя несмелая... Черные дни тоскуют о белых ночах, белые ночи вздыхают о черной темени. И голова, что белеет на ваших плечах, видится черной в каком-то далеком времени... Белым по черному - это времени след. Черным по белому - это листы газеты. Буквы спешат. И тоскует вопрос по ответу - так же, как где-то по вопросу тоскует ответ.

ОДНАЖДЫ

Я начал сказку так: «Однажды Заяц...»
Потом чуть-чуть помедлил, сомневаясь.
Потом, сомнения преодолев,
я начал сказку так: «Однажды Лев...»
Потом сравнил я эти два «однажды», сообразил,
что так бывает с каждым,
кто в чём-то струсив, в чём-то осмелев,
однажды заяц, а однажды - лев.
Конечно, львом нетрудно стать, когда ты
устроился на львиную зарплату
и гаркаешь на всех не хуже льва,
употребляя львиные слова.
Конечно, зайцем можешь стать легко ты,
когда тебя грозятся снять с работы,
соседи травят, у жены мигрень
и в школу вызывают каждый день.
Всё это так знакомо... Но однажды...
«Однажды» труса делает отважным,
из робких зайцев делает мужчин...
И это - сказки доблестный зачин.
Однажды в сказке может всё случиться,
а кто за остальное поручится?
Ведь даже сказка - в этом весь секрет -
однажды сказка, а однажды - нет.

ВЕЧЕРНИЙ ПЕЙЗАЖ С СОБАКОЙ

Нет ни дуба, ни осины, ни сухого стебля нет, и собака по пустыне ходит, ищет туалет. Вот и вечер на исходе, зажигают звезды свет... Так устроено в природе: что-то есть, чего-то нет.

РИСУНОК

Там где контуры горы
и луны окружность,
жили-были две сестры -
Внешность и Наружность.
Жили - просто никуда:
грубо, косо, криво,
то ли веник и скирда,
то ли хвост и грива.
Не лепился к штриху штрих,
все не так, как надо.
Но уставились на них
два пунктира-взгляда.
И впервые понял мир
красоты ненужность,
глядя, как один пунктир
пронизал Наружность,
и впервые ощутил
красок неуместность
глядя, как другой пунктир
врезался во Внешность.
Что случилось, господа?
Не узнать Наружность.
неприятные для глаз
вялость и небрежность
оказались в самый раз -
подменили Внешность.

Загляденье для души,
лёгкость и воздушность -
до чего же хороши
Внешность и Наружность!
Две подружки, две сестры,
две березки в поле. Это всё видней с горы,
а с луны - тем боле

СЛОВО

А слава - дым, а слово - дом, и в этом доме я живу. Под вечер за моим окном садится солнце на траву, а утром, выспавшись, встаёт и отправляется в полёт вокруг столиц и деревень с весёлой тучкой набекрень. Приходят Прежде и Потом, в мою стучатся дверь интересуясь, где живёт прекрасная Теперь. А я на это: вот те на! Да где ж ей жить ещё, когда Теперь - моя жена?

Я приглашаю в дом гостей, прошу испить вина. И входит в комнату Теперь, садится у окна. Я Прежде знаю с давних пор, мы даже с ним на ты. И потянулся разговор до самой темноты. И ночь стояла у окна, вздыхая о былом. Но где Теперь, моя жена? Она ушла с Потом.

Как много у меня потерь!
И вот - ещё одна.
Ушла она, моя Теперь,
неверная жена.
Ушла, покинула мой дом
а я кричал: «Вернись!»
Проснулось солнце за окном
и устремилось ввысь.
И на пути его крутом
кружилась голова.
Но слава - дым, а слово - дом.
Слова, слова, слова.

И просыпалась жизнь вокруг, как водится, с утра, и Прежде, мимолётный друг, промолвил «Нам пора». И я поднялся, чтоб идти, но распахнулась дверь и встала на моём пути прекрасная Теперь. Другая, новая Теперь, она вошла в мой дом. И другу я сказал «Иди Я как-нибудь потом».

МУЗЫКА

Звук не дошёл до тишины, он где-то пал на полдороге, и были больше не слышны его сомненья и тревоги.

А улица не знала сна, и вот тогда, молчать не в силах, заговорила тишина над звука павшего могилей.

Она над городом плыла, надежда наша и порука.

И это музыка была,
что в мире недоступна звуку.

ЭЛЕГИЯ

А морда просит кирпича отнюдь не для беседы о Тициановых холстах, о ритмах Дебюсси. Нас окружает странный мир, который нам неведом, его услышать и понять едва хватает сил. Но морда просит кирпича не для высоких истин, не для задумчивых страниц, что выстрадал Монтень. Уходит солнце в облака,

и опадают листья, и стынют жаркие слова, и мысль уходит в
тьень. А морда просит кирпича. Безмолвно, безнадежно.
Откуда в мир она пришла? Куда она уйдёт? Но просит морда
кирпича. Когда-нибудь. возможно. Жизнь продолжается.
Всеми настанет свой черед.

Резать так резать

СОЛДАТ ТИМУРА

Я до победы не дорос, мне от нее одни лишь беды. Передо мной сжигают мост, когда я прихожу с победой. Мне, как последнему скоту, брести в пыли, в воде по пояс, - чтоб по ковровому мосту прошел великий полководец

Покуда мы в огне, в бою, пока к победе не пришли мы, мы любим армию свою, мы с ней почти неразделимы Но приближаться к нам не смей, когда с победой мы шагаем Мы перед армией своей, как пред врагом, мосты сжигаем.

Садится солнце за горой, а я бреду в воде понуро, не победитель, не герой - солдат из армии Тимура. И как-то холодно в груди, хотя в бою мне страх неведом...

Пришел с победой он один, а я вернулся без победы Победа сильному верна, она на женщину похожа: добыта многими она, но всем принадлежать не может.

ГЛАС НАРОДА

Еже писах писах совести не в обиду: ныне и присно в веках слава царю Давиду! Слава его словам, слава его идеям! Да будет примером нам, рядовым иудеям!

Еже писах - не зря, больше молчать не в силах: имя Давида царя - чтоб ему пусто было! Если писать всерьез, был он большим злодеем Сколько он бед принес рядовым иудеям!

Всякий отбросив страх, твердо и непреклонно, еже писах, писах: слава царю Соломону! Пусть он живет сто лет, разумом не скудея, - гордость, и честь, и цвет рядовых иудеев!

Еже писах о том, значит, имело место. Был Соломон скотом, сволочь он был и деспот Заняв высокий пост, сколько он зла содеял, сколько он пролил слез рядовых иудеев!

Еже писах, писах искренне, прямо и честно: да будет славен в веках тот, кто займет его место... Будет ли он скотом, будет ли он злодеем, станет известно потом нам, рядовым иудеям.

АНЯ, ПОЕЗД!

В старом анекдоте в ответ на телеграмму: «доктор сказал резать резать» - приходит телеграмма: «доктор сказал резать резать». Как это понимать?

Понимать можно только со знаками препинания: «Доктор сказал резать. Резать?» - «Доктор сказал резать? Резать». Все понятно, если не пожалеть денег на знаки препинания.

В урезанном виде этот анекдот в литературных кругах был воспринят как руководство к действию: «Резать так резать!»

Афоризм Леца: «Некоторые бумеранги не возвращаются». Ну и что? Каков длинный смысл этой короткой речи? Смысла нет, зато была возможность напечатать, а со смыслом такой возможности не было бы. Потому что в неурезанном виде афоризм Леца звучал так: «Некоторые бумеранги не возвращаются. Они выбирают свободу». Вы ж понимаете! Сначала дайте нам из чего выбирать, а потом мы вам напечатаем по полной программе.

Доктор сказал резать? Резать. Он правильно сказал. Резать так резать. Урезать так урезать. Правда, урезание - это как поезд, который может урезать, а может и зарезать. Может доставить мысль к месту назначения, а может высадить ее по дороге.

Можно сократить «Анну Каренину» до двух-слов: «Аня, поезд!» (роман- предупреждение). Дальше резать уже нельзя: каждая из двух половин представит интерес только для словаря, а не для художественного произведения.

Можно обойтись и одним названием. Когда-то были названия - теперь таких уже нет. Вот хотя бы это: «Жизнь и необычайные поразительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего двадцать восемь лет на необитаемом острове у берегов Америки, близ устья великой реки Ориноко, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого погиб весь экипаж, исключая его одного, с изложением его неожиданного освобождения пиратами».

Вот это название. Дальше вроде и нечего писать. Но автор уже расписался, вошел во вкус. Он не мог остановиться, хотя и знал: чувство меры - закон для писателя. И что вы думаете? В результате получился целый роман, который, кстати сказать, пришелся по вкусу читателям. Настолько, что название можно было урезать, как «Анну Каренину», до двух слов: «Робинзон Крузо».

Но не у каждого так получится, и тому, кто не способен написать такой роман, придется ограничиться одними названиями.

Сказка о свободе слова,

которая никакне овладеет членораздельностью.

Сказка о юных девах,

которые влюбляются в огонь, а замужвыходят за пожарников.

Сказка о спящей красавице,

которая была красавицей только у себя во сне, вследствие чего постоянно опаздывала на работу.

Сказка об Идолице Поганом,

которому присвоили знаккачества, после чего оно стало Идолицем Прекрасным и обрело всенародную любовь.

Сказка о красном и сером,

братьях навек, - после того какСерый Волксъел Красную Шапочку.

Сказка о лучшем из двух зол,

которое со временем стало лучшим из трех зол, затем - из четырех, из пяти и так далее, по мере накопления лучшего в государстве.

Сказка о счастье,

которое ни за какие деньги нельзя купить, потому что оно либо на витрине, либо под прилавком..

Сказка о чертенке,
которого повысили за хорошую работу, переведя из преисподней в небесную канцелярию.

Сказка о человеке,
который не мог себе ни в чем отказать, потому что ему во всем отказывали другие.

Сказка о Змее Горыныче,
который, выйдя на тропу демократии, объединил свои головы в парламент, после чего ни одного вопроса не мог решить.

Сказка о завтраке,
который мечтал стать обедом, а став обедом, мечтал статьужином, а ставужином, мечтал, чтоб его наконец оставили в покое и дали спокойно поспать.

Сказка о школе политической борьбы,
обучавшей науке выпрямлять извилины.

Сказка об ошибках,
на которых учились так усердно, что они сделали карьеру, заняв ключевые посты в системе образования.

Сказка о государстве,
в котором воры в законе, а честные люди в загоне, поскольку в любом государстве загон лучше работает, чем закон.

Сказка о джинне,
который вышел из бутылки, но остался маленьким, потому что маленькому легче прожить на зарплату.

Сказка о декабристах,
которые были страшно далеки от народа, но не так страшно, как стали близки большевики..

Сказка о добром молодце,
который самые трудные для отечества годы пересидел в Бутырках, на Соловах на Колыме, откуда уже не вернулся в сказку.

Сказка о белке в колесе,
которая отдала колесу всю себя, все здоровье, всю молодость, в результате чего ей все-таки досталось на орехи.

Сказка о диктатуре,
в девичестве демократии..

Сказка о гласности,
одержавшей сокрушительную победу над свободой слова..

Сказка о пьедестале,
который мечтал о карьере памятнику, но что-то сверху ему мешало.

Сказка о рабочих руках,
которые еще недавно брали под козырек, и вытягивались по швам, а сегодня протягиваются за подаванием и при этом норовят дать по морде.

Сказка об извечной мечте революции
построить такую тюрьму, в которой бы жилось лучше, чем на свободе.

Сказка о светлом будущем,
которое светло только тем, что в него еще не ступала нога человека.

Сказка о стране Нельзя,
в которой жил народ Хочется.

Михаил Фельдман

Михаил Григорьевич Фельдман — русский бард, поэт.

Фельдман Михаил Григорьевич («Генри», «Летчик») родился 20 декабря 1964 году в Москве. Окончил МАДИ (1986). Работал инженером-дорожником в НИИ Гипродор, стихи, и песни начал писать в студенческие годы.

Репатриировался в 1991 году. С 1991 года Михаил живет в Беер-Шеве (Израиль).

Выступать на сцене Михаил фельдман начал в Израиле и довольно быстро стал известен в бардовских кругах. Его «Державинным» был Игорь Губерман, организовавший Мише первый концерт в Иерусалиме в 1998-м году.

Лауреат израильского фестиваля <Фуговка-2000> в номинации «лучший автор».

Выпустил две аудиокассеты «Купе для курящих» и «По мысли режиссера» и музыкальный альбом "Билет на Альфу-Центавра". В 2002-м году была издана книга стихов и песен, предисловие к которой написал феликс Кривин.

Тексты песен Михаила, фельдмана вошли в Антологию израильской авторской песни «Л шарик^летит...» и в Антологию авторской песни (составитель Д. Л. Сухарев).

Михаил фельдман участвовал в записи диска «Иерусалимский альбом», вместе с Юлием Кимом, Дмитрием Кимельфельдом, и Ллександром Медведенко и Мариной Меламед, первый диск из серии «Авторская песня в Израиле», который моментально разошёлся среди почитателей жанра.

В настоящее время Михаил фельдман входит в обойму наиболее популярных бардов Израиля; участвует в группе Творческое объединение «Ристалище» вместе с Михаилом Сипером, Михаилом Волковым, Александром Даяном, Асей Гликсон.

Работает инженером-дорожником.

Куплеты

Приземляется вечер в Шереметьево-2, Утомлённый диспетчер собирает едва. Распоясался клевер, разошёлся урюк, Улетели на север все, кто ехал на юг.

Доминико Авину был прожорлив и туп - Разменял субмарину на Марину и суп. Но зюйд-вест из Турина закружил карусель, - Улетела Марина вместе с супом в Брюссель

Там, где дождик весенний ручейками истёк. Среди сосен и елей заблудился митёк. Безнадёжно и глухо, - ни людей, ни дорог... Своё правое ухо не получит Ван Гог.

Инквизиторы спелись, - все стоят на одном - Чтоб ответил за ересь молодой астроном. Но, взошедши на плаху, подмигнул он звезде. Все, кто слал его на х..., - оказались в п...

Появился в Конгрессе длинноносый комар, И пытался принцессе залететь в пеньюар. Но корсет из засады дал понять комару: На агента моссада есть агент ЦРУ.

В непротопленной ванной я сидел, околев, К этой песенке странной сочиняя припев, Но упрямые строчки мне давались с трудом... Прямо в белой сорочке я был принят в дурдом.

Белые макаки

Там, где бродят зебры и гиппопотамы, — Жили-были негры, хлопали в тамтамы. Жили-были негры, чёрные, как угли, А вокруг шумели каверзные джунгли.

Быт налажен чётко, лук натянут туго, Жили-были негры, кушали друг друга, Но пришли однажды белые макаки, - Это послужило поводом для драки.

Луки против ружей, стрелы против пули, - Битву за свободу негры развернули, Но пришёл какой-то тощий бледнолицый И решил проблему огненной водицей.

Стали негры к белым явно подобнее, - Благо, среди негров не было еврея, Стали мягче к неграм белые макаки — Даже разрешили смешанные браки!

Облачились негры в брюки да рейтузы. Бросили тамтамы, перешли на блюзы. Жили бы и ныне мирно так и сыто, Если б не добились негры плебесцита.

Бросили жилища белые макаки, И ушли в те земли, где зимуют раки, И остались неграм СПИД и гоноррея...

Жаль, что среди негров не было еврея!

Я намедни шибко устал

Я намедни шибко устал,
Взял и прочитал «Капитал», -
Головою сразу поник. Потянуло на броневик.
Взял перо и стал сочинять,
Написал томов сорок пять,
А тезисы предельно просты -
Почта, телеграф и мосты!

Это, батенька, вам не хи-хи, — Это всех революций азы! Если больше не могут верхи, То наверх попадают низы.

Дуют грозовые ветра В городе Свята го Петра, Крошится холодный гранит, И господь царя не хранит. А кругом валяется власть - Яблоку проблема упасть. А мне её поднять по плечу, — Вот она — бери, не хочу.

Это, батенька, вам не хи-хи, — Это всех революций азы! Если больше не могут верхи, То наверх попадают низы.

На вокзал приехал вагон, Позади большой перегон. А вагон залит сургучом,
А сургуч пропах Ильичом. Плачет городская тюрьма По остаткам архицаря, Учится страной управлять Каждая кухарка и ... дрянь

Это, батенька, вам не хи-хи, - Это всех революций азы! Если больше не могут верхи, То наверх попадают низы. Это, батенька, вам не хи-хи, - И не просто плохие стихи, - Это общее горе огромной страны, Мои мысли - мои скакуны!

Ли́ра

На новом месте ЖИТИЯ завяла лира, И стала зыбкой, как дремота конвоира, Рискающего честью и клинком.

На всех частотах и волнах царит затишье, И мысли больше не загнать в четверостишье Ни розгами, ни плетью, ни пинком.

Исчезли робкие симптомы ностальгии. Простите мне, мои кварталы дорогие, Что сны мои богаты чепухой... А, впрочем, что вам до бредовых снов семита, Когда у вас там вся земля дождём умыта, А я здесь в стельку трезвый и сухой?!

Ещё не всю склевали вороны черешню, И голова ещё не вся покрыта плесью, И помыслы ещё стремятся ввысь, Но рифмы те, что были слитны и едины, - Сбежали все, едва дойдя до середины, Как-будто кто-то крикнул «разойдись»!

Но время лечит и плетёт свои интриги, Быть может я надена новые вериги, И лира будет вновь озарена! Прольётся дождь на Богом проклятую сушу, И перестанет искушать больную душу Лирический вопрос: — А на хрена???

Со среды на пятницу

Мы забыли за окном суету-сумятицу, И она забыла нас на какой-то срок. - Это выпало на ночь со среды на пятницу - То ли чьё-то колдовство, то ли просто рок!

В эту ночь напала страсть на Луну-развратницу, И пошёл такой сигнал с грешной высоты... Что за ночь была у нас со среды на пятницу - Я не ведал, что творил — так же, как и ты.

Ты похожа на цветок, я похож на пьяницу - Им всегда недостаёт одного глотка. Мы б уснули в эту ночь со среды на пятницу, Но она была, увы, слишком коротка!

Нам рассвет задул свечу, а какая разница? — Если можешь без огня делать фейерверк. Кто не знал такую ночь со среды на пятницу - Да восполнится тому дождичком в четверг.

На меня друзья ворчат и соседи плятятся, Предо мною срочных дел дружные ряды. А я нарушу свой рефрен... и пошлю их в задницу И с надеждой стану ждать следующей среды!!!

ПЕСНИ БЕЗ МУЗЫКИ

Миша Фельдман привёз в Израиль Россию. Его песни до того пропахли Русью, что у кого-то может сложиться впечатление, что они прибыли в Израиль по поддельным документам. Чтоб развеять это впечатление, лучше всего начать издаека.

В 60-е годы цивилизованный российский мир разделился на физиков и лириков. Поэт Слуцкий, прогремевший стихами, с которых начинался театр на Таганке ("Шагают бараны в ряд. Бьют барабаны. А шуру на них дают сами бараны"), ещё задолго до этих стихов печатно жаловался, что физики в почёте больше, чем лирики, но никакого противопоставления не получилось. Между физиками и лириками установились до того прочные отношения, что физики без лириков уже не могли обойтись и постоянно приглашали их к себе на концерты. И лирики любили перед физиками выступать, потому что здесь их понимали с полуслова. Даже когда лирики, в обход цензуры, вынуждены были писать справа налево, физики это прекрасно прочитывали.

И что сделали физики? Они изобрели для лириков магнитофон. К каждому магнитофону цензора не приставишь. Какой-нибудь захудаленький магнитофончик озвучивал запретной продукцией целую улицу. Отныне читатель, который буквально валился с ног, гоняясь за самиздатом, получал запретные стихи на дому, да ещё в сопровождении музыки.

Цензура ничего поделать не могла, да и не хотела, потому что у цензуры тоже была семья, которая любила песни Высоцкого и Окуджавы, а также - заприте двери! занавесьте окна! - Александра Галича. И у милиции тоже была семья, которая хотела послушать что-то помимо "Утра красит нежным светом". "Широки страны моей родной". Когда страна родная слишком широка, улица создает домашнюю обстановку.

Тут пора спохватиться и вспомнить, что за всеми этими рассуждениями о милиции и цензуре мы как-то потеряли Мишу Фельдмана, ради которого городим огород.

Нет, мы его не потеряли. Просто мы его ещё пока не нашли. Потому что он пока ещё не родился. Странно, не правда ли? Вокруг уже все поют, а Миша Фельдман ещё не родился. Но он уже скоро, уже вот-вот. Он родился в отличной компании, в один год с песнями "На братских могилах", "Пока Земля ещё вертится", "Ваше благородие, госпожа Удача", а также про вышедшего на пенсию кагебиста, размечтавшегося, как ребятушки-вохровцы загоняют Чёрное море в барак. (Песни Высоцкого, Окуджавы и, конечно же, незабвенного Александра Галича.) Всё для прихода Миши Фельдмана было приготовлено: Земля вертелась, госпожа Удача его ждала, и братские могилы и процветающие могильщики не давали забыть, что было с Россией.

И зазвучали песни Миши Фельдмана, а теперь выходит и книжка. Не хочу ничего цитировать, хотя в книге много потенциальных цитат. Например, овладевшее кобылой ощущение полёта знакомо у нас каждой

ломовой лошади. Эти песни можно отделить от музыки, но от живописи отделить нельзя - до того в них всё наглядно и зримо. И еще одна особенность: в этих песнях неформальных мыслей значительно больше, чем неформальной лексики, и это при том, что неформальная лексика в литературе всё больше становится не только формальной, но и нормальной, овладевая умами и сердцами читателей.

Когда Миша поёт (обойдёмся без фамилии, чтоб не затягивать вступительную статью), он улыбается от радости, что поёт такую хорошую песню. И при этом в такт песне покачивает, а в наиболее ударных местах размахивает головой. Как будто ничего сложного: улыбайся, размахивай головой. Но при этом нужно ещё что-то спеть, а перед этим положить стихи на музыку, а ещё до этого написать стихи - вот что самое главное!

Одни кладут стихи на музыку, другие кладут музыку на стихи. В песнях Миши стихи и музыка ложатся рядом, как счастливые любовники. И при этом музыка безумно влюблена в стихи, а стихи позволяют себя любить - такова особенность авторской песни - в отличие от композиторской, где музыка нередко диктует волю стихам. И даже автора стихотворного текста называют текстовиком. Текстовик никогда не издаст тексты отдельно от музыки. Я провожаю песни Миши Фельдмана в стихи. Они родились стихами и опять уходят в стихи. Но как бы далеко они ни ушли, они навсегда останутся песнями.

P.S. Миша Фельдман начал писать песни в тот самый год, когда главный застойный вождь кончил писать указы. А вскоре отпала необходимость писать справа налево (в России, а не в другой стране, где справа налево пишут в самом лучшем и благородном смысле). Но на всякий случай, вдруг чего, Миша прекрасно овладел искусством писать в любую сторону, о чём свидетельствуют его палиндромы. Тут уже на месте любая неформальная лексика. Палиндромы - сами попробуйте! - до того трудно писать, что невольно заматерешься.

Феликс Кривин

Рената Муха

Рената Григорьевна Муха (31 января 1933(19330131), Одесса — 24 августа 2009, Беэр-Шева, Израиль) — детская поэтесса.

Работала на кафедре английской филологии Харьковского университета, защитила кандидатскую диссертацию, автор более 40 научных работ. Занималась исследованиями в области английского синтаксиса, подготовила курс «Матушка Гуыня в гостях у Курочки Рябы» о влиянии английской детской литературы на русскую, разработала методiku «Сказочный английский» об использовании устного рассказа при обучении иностранным языкам.

С 1995 года Рената Муха жила в Израиле, в городе Беэр-Шева. Преподавала в университете и М. Бен-Гуриона. В 2006 стала лауреатом медали общества «ФомЯнуша, Корчака в Иерусалиме».

Автор сборников стихов «Переполох» (с Ниной Воронель, 1968), «Про Глупую Лошадь, Забывчивую Сову, Братьев-Бегемотов, Кота- которыш-не-умел-мурлы1, кать и Котенка-которыш-думал-что-он-тигр» (с Полли Камерон и Вадимом Левиным,, 1993), «Гиппопоэма» (1998), «Недоговорку» (2001), «Бывают в жизни чудеса» (2002). Автор десятков стихотворений для детей и нескольких сборников стихов.

«Герои моих, стихов, — писала она, — звери, птицы, насекомые, дожди и лужи, шкафы и кровати, но детским поэтом я себя не считаю. Мне легче считать себя переводчиком с птичьего, кошачьего, крокодильего, туфельного, с языка дождей и калош, фруктов и овощей. А на вопрос, кому я адресую свои стихи,, отвечаю: — Пишу до востребования».

И говорю это прямо в глаза БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ

- Преувеличивать всё глупо, - сказала Микроскопу Лупа.

ПЕРЕЧИТЫВАЯ КЛАССИКОВ

*Ветер, ветер, ты могуч, Ты гоняешь стаи туч, Ты волнуешь сине море,
Всюду веешь на просторе...*

А. С. Пушкин

Вот вентилятор тоже дует, А ни на что не претендует.

НИКТО СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ

— Мне очень обидно, - сказала Слеза,

— И я говорю это прямо в глаза.

ЗАМЕТКИ ПО ИСТОРИИ

И стала принцесса супругой консорта. (Консорт - тоже принц, Но не первого сорта).

НЕБОЛЬШАЯ ПОТЕРЯ

Как жаль, что в дубраве замолк Соловей И трели его не слышны средь ветвей.

- Ну, это как раз небольшая потеря, - Заметила с ветки Глухая Тетеря.

МОЛЧАЛКА

Я спросила у Волчат, Почему они молчат? А в ответ Волчата молча Говорят с улыбкой волчьей... Но ответы тех Волчат Вас, наверно, огорчат, И чтоб вас не огорчать, Мне придётся помолчать.

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

В руках остались два весла, А лодку речка унесла.

ВОСПИТАНИЕ ТРУДОМ

Мой маленький Ёжик - Весёлый бездельник.

Купить ему, может быть, Ёженедельник? С ним вместе запишем На листике белом Всё, что он хотел, Но забыл и не сделал. А если мой Ёжик Исправится всё же, Тогда ёженедельник Куплю ему позже.

ГИППОПОЭМА

Стихи для бывших детей и будущиx взрослых

ГИППОПОТАМ

В семье у знакомого Гиппопотама Есть Гиппопопапа И Гиппопомама. Но вот в чем вопрос, И достаточно тонкий: А где остальные Гиппопотомки? Спросить - неудобно, Звонить - неприлично, И все это очень Гиппотетично... И хоть не исчерпана Данная тема, Кончается Гиппопопопоэма.

П Р О В О Д Ы

Спокойной походкой Идет по перрону С большим чемоданом Большая Ворона. А рядом с Вороной, Чуть дальше и сбоку, Ее провожает На поезд Сорока И все б это было Совсем хорошо, Если б их поезд Куда-нибудь шел.

С О В А

Всю ночь,
С темноты до рассвета, На ветке Сидела Сова. И песню
Сложила про это. А утром Забыла слова.

С Л О Н Е Н О К

Семейство Слонов Перепугано насмерть - Слононок простужен: И кашель, и насморк. Лекарства достали, Компрессы готовы, Но где продается Платок хоботовый?

С Е К Р Е Т Н А Я П Е С Е Н К А О С Л О Н Е Н К Е

По Борнео и Ямайке Ходит Слон В трусах и майке, Ходит в маминной панаме. Только это - Между нами.

И С П У Г А Н Н А Я П Е С Е Н К А С Л О Н Е Н К А

Мы с мамой В Африке живем, А в джунглях жизнь - не шутка: Там страшно ночью, Страшно днем, А в промежутках Ж у т к о.

В Е Р Б Л Ю Д

Как-то раз В пустыню Гоби Шел Верблюд В ужасной злобе,
Он полдня Шагал до Гоби В диком гневе и тоске. И полдня Шагал по Гоби
В диком гневе, жуткой злобе. И пришел из Гоби - В злобе, Раздражение И песке.

Т А Р А К А Н

Жил в квартире Таракан, В щели у порога. Никого он не кусал, Никого не трогал, Не царапал никого, Не щипал, Не жалил, И домашние его Очень уважали. Так бы прожил Таракан Жизнь со всеми в мире.
...Только люди завелись У него в квартире.

С О Б А К У О Б И Д Е Л И

Я с ними делила и радость и горе. Зачем же такое писать на заборе? А если для них я действительно злая, Я больше не буду. Пусть сами - и лают.
В соавторстве с Александром Адамским

У Ж А Л Е Н Н Ы Й У Ж

Бывают в жизни чудеса - Ужа ужалила Оса. Ужалила его в живот, Ужу ужасно больно. В о т.
А доктор Еж сказал Ужу: "Я ничего не нахожу, Но все же, думается мне, Вам лучше ползать На спине, Пока живот не заживет. Вот".

Ч Е Р В Я К И И Д Я Т Л Ы

"Едят ли Дятлы Червяков?" - Спросил Червяк. И был таков.

КРОКОДИЛОВА УЛЫБКА

Вчера Крокодил улыбнулся так злобно, Что мне до сих пор за него неудобно.

О Р Л Ы

На вершине два Орла Пили "пепси" из горла.

О С Ъ М И Н О Г

Один Осьминог подошел к Осьминогу И в знак уваженья пожал ему ногу.

Я Й Ц О

Все утро в зеркало Яйцо Глядит и думает уныло: "Так где кончается лицо И начинается затылок?"

У Ч Е Н Ы Й

Один наш Ученый, От всех по секрету, Считал, что зима Холоднее, чем лето. Но как-то, Гуляя зимой по аллее,
Он понял,
Что все-таки
Лето
Теплее.

Р А З Г О В О Р

Сказала летом Роща Чаще: "Ты одеваешься кричаще". "Ну что ж, - Сказала Чаща Роще, - Придет зима - оденусь проще"

П Р О С Ъ Б А

"Я Вас очень прошу", - Написал мне Чудак И поставил в конце Попросительный знак.

СТИХИ О ПЛОХОЙ ПОГОДЕ Часть 1

Стояла плохая погода. На улице было сыро. Шел человек по городу И ел бутерброд без сыра.

Часть 2

Стояла плохая погода. На небе луна погасла. Шел человек по городу И ел бутерброд без масла.

Часть 3

Стояла плохая погода. Сердито хмурилось небо. Шел человек по городу И ел бутерброд без хлеба.

Д О Ж Д И К

Дождик тянется за Тучкой, Шепчет Тучке на ходу: "Мама, скучно, Мама, скучно! Мама! Можно я пойду?"

П Р О Г У Л К А

Прохожие сутулятся, И капли на окне. А я иду по улице, А дождь идет по мне.

С О С У Л Ь К А

"По-моему, уже не та я" - Сосулька прошептала, тая.

Д О Р О Г А

...Поутру меня Дорога прямо к дому привела, Полежала у порога, повернулась и ушла.

К Р О В А Т Ь

А где продается такая кровать, Чтоб рано ложиться и поздно вставать?

К О Л Б А С А

Живет на свете Колбаса Вареная, Сама собой неудовлетворенная.

Р Е К А

А под мостом течет Река. Но только без воды пока.

П Е С Е Н К А П Р О М Н О Г О Э Т А Ж Н Ы Й Д О М

В девятиэтажном доме На десятом этаже Никого не селят, Кроме,
Никого не селят,
Кроме,
Тех, кто там
Живет
Уже.

В соавторстве с Вадимом Левиным

ПРО БЕЛУЮ ЛОШАДЬ

Белая лошадь с белым хвостом И черная лошадь с черным хвостом
Вдвоем по поляне Гуляли в тумане
И свежее сено нашли под кустом.

Белая лошадь с белым хвостом,
Сено доев, сообщила о том,
Что сено как сено,
Хотя, несомненно,
Сено не может сравниться с овсом.

И ПРО ЧЕРНУЮ ЛОШАДЬ

Черная лошадь с черным хвостом С ней согласилась, добавив притом,
Что сахар не хуже, И слаще к тому же,

Но реже, чем сено, лежит под кустом. В соавторстве с Вадимом Левиным и Ниной Воронель

КНИЖКИНА КОЛЫБЕЛЬНАЯ

За окошком ночь настала, Где-то вспыхнули зарницы,
Книжка за день так устала, Что слипаются страницы.
Засыпают понемножку Предложенья и слова,
И на твердую обложку Опускается глава.

Восклицательные знаки Что-то шепчут в тишине,
И кавычки по привычке Раскрываются во сне.
А в углу, в конце страницы, Перенос повесил нос -
Он разлуку с третьим слогом Очень плохо перенес.

Недосказаны рассказы, Недоеден пир горой.
Не дойдя до этой фразы, На ходу заснул герой.
Перестало даже пламя Полыхать в полнотном мраке,
Где дракон с одной драконшей Состоит в законной драке.

Никого теперь не встретишь На страницах спящей книги,
Только медленно плетутся Полусонные интриги.
Дремлет юная невеста По дороге под венец,
И заснули середина, И начало и КОНЕЦ

А ДОМА НЕТ ДОМА УЛИТКА

Однажды Улитка Ушла за калитку,

Чтоб Дочке по почте Отправить открытку.

Но только она Дописала до точки, Пришел Почтальон к ней
С открыткой от Дочки.

Сначала он долго Стучал по воротам, Все ждал, что Улитка
Откликнется: "Кто там?"

Потом разглядел Сквозь заборные щели Одну темноту (Да и то еле-еле).

Потом обратился С вопросом к прохожим И всем пролета- И ползающим тоже:

"А где, извините, Здесь ящик почтовый?" А те отвечали: "Почтовый? Ну что Вы?"

Потом он опять Барабанил в калитку, Потом под калитку Подсунул открытку

И так ей сказал На прощанье: "Ну вот что. Пожалуй, пора Возвращаться на почту.
Пойду и скажу, Что Улитки нет дома. Но где же она? У родных? У знакомых?

На речке? В кино? В поликлинике? В бане?" "И стоило столько По мне барабанить?" -

Сказала Калитка. "Вы б лучше вначале Спросили, а после По мне уж стучали.

Я чуть не оглохла От стука и грома! Улитка-то дома, А дома нет дома".

СЕМЕЙНАЯ ДРАМА

В семье Осьминогов ужасная драма: За завтраком ссорятся Папа и Мама,
А бедные Детки стоят на пороге И просят родителей взять себя в ноги.

БАЛЛАДА О ТОМ, КАК РАССТРОИЛСЯ ДОМ ЗА УГЛОМ

За углом построен Дом. Он стоит с большим трудом.

Человек с работы шел, Прихватил с собою пол.

За неделю постепенно Растащили в доме Стены.

А потом и потолок Кто-то взял и Уволок.

В соавторстве с Вадимом Левиным

ОШИБОЧНЫЕ СТИХИ

Рано утром, В полвторого, В полдень

К нам пришла корова, И, не вымолвив ни слова, Молчалива и строга,
Прошептала мне сурово: "Молока не пей сырого" Постояла

И ворота почесала о рога.

ПЕЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ О ВЕРБЛЮДЕ, КОТОРЫЙ НЕ ЛЮБИЛ ГОРЯЧЕГО

Горячую кашу на завтрак Верблюду

Жена насыпает в огромное блюдо. И бедный Верблюд посредине пустыни До ужина ждет,
пока завтрак остынет.

ДИНЕ РУБИНОЙ

Когда человечество было моложе, Дворцы на каналах построили дожи. Века пронесли и их славу умножили. Дворцы устояли, а дожи не дожили.

ДИЕТИЧЕСКАЯ ССОРА

Как много на свете жестоких разлук! Поссорились как-то Морковка и Лук. И грозно Морковка сказала врагу: "Ну ладно, мы встретимся. Позже. В рагу".

ДОРОГОЙ ОТВАЖНЫХ

Однажды

(а может быть - дважды) В дорогу

(а может быть - в путь) Уехал правитель отважный От важных забот отдохнуть.

Рената

Не могу простить себе, что так и не уговорила ее записать блистательные устные рассказы, случаи и сценки, как бы «вдруг» пришедшие на память в разговоре, но абсолютно, филигранно отделанные, до мельчайших деталей и примечаний.

Сейчас говорю себе: в конце концов, надо было их украсть, записать самой и напечатать. Хотя, конечно, без ее неподражаемой интонации, мягкого «украинского» придыхания, без этих эмоциональных взлетов ее взрывной и одновременно певучей речи многое пропадает.

Сколько их пропало, летучих шедевров неопишуемой, искрящейся Ренаты Мухи!

Под конец, когда я уже ясно понимала (хотя и надеялась, надеялась ведь она так отважно сражалась с болезнью!) - понимала, что развязка не за горами, я стала записывать наши телефонные разговоры. Голос ее слабел, но ирония, словесная меткость, образность речи нисколько не потускнели.

Среди прочих историй есть такая, бегло и рвано записанная мною на счете за электричество, история про то, как она победила болезнь в первый раз, много лет назад, хотя американские врачи давали ей сначала три недели жизни, потом - три месяца... («При этом они все время улыбались, Дина!»).

Когда после операции она очнулась от наркоза, над ней стоял улыбающийся профессор. Он сказал:

— Рената, у меня для вас отличные новости. Я думаю, что у вас впереди несколько хороших лет.

— Есть ли у вас вопросы? - спросил он.

— Есть, - сказала Рената. - Один. Филологический. У нас в институте однажды на семинаре возник спор, как следует понимать знаменитое английское «несколько»: один-два? два-три? Или все-таки семь-восемь?

— Знаете, - помедлив, произнес профессор, - я в этом бизнесе сорок лет, и чудес пока не встречал. На вашем месте я бы считал, что «несколько» это два-три, и не строил иллюзорных надежд, что это семь-восемь... Мой вам совет: не начинайте ничего нового, завершите все для вас важное, и совершите то, что всю жизнь хотели сделать, но откладывали на потом.

Повернулся и вышел.

И затем последовали долгие недели мучительного лечения, в течение которых - отлично представляю это, зная Ренату! - она покорила, завоевала своим неисчерпаемым обаянием весь медицинский персонал.

Когда выписывалась, явилась на прием к своему профессору, который должен был дать ей последние наставления.

— Рената! - сказал он на прощание. - Я благодарю вас за ваши усилия по очеловечиванию американской медицины.

И когда она уже взялась за ручку двери, он окликнул ее.

— Рената! Вы помните, что я сказал вам по поводу этих «несколько»? Так вот, повторяю: я сорок лет в своем бизнесе, и с чудесами не сталкивался ни разу. Но если все-таки когда-нибудь такое чудо произойдет, оно произойдет с вами...

И чудо произошло, и Рената много лет после той операции жила полноценной яркой творческой жизнью, написала много замечательных стихов, объездила много стран, преподавала, выступала, дарила любовью и дружбой множество людей: совершала немислимые усилия по очеловечиванию мира.

И когда, несколько лет назад, болезнь возникла снова, у Ренаты уже был опыт борьбы, успешной борьбы. Возможно, именно поэтому она не сдавалась так долго.

Иногда казалось, что она наблюдает со стороны за своей собственной борьбой за жизнь.

В одной из телефонных бесед:

— Вот эта болезнь, которой я болею, она очень добросовестная. Сначала у человека выпадают волосы, потом всякие другие приспособления для нормального существования... и если вы думаете, что человеку не нужны ногти...

По настоянию младшего сына Алеши они поехали в Америку - за «вторым мнением».

Беседуем с Ренатой после возвращения:

— Ну что ж, мы убедились, что израильские врачи ни разу не оказались отставшими. Меня послали на генетический анализ - это там сейчас модно. Кроме того, подвергли строжайшему допросу на предмет того - умер ли кто в семье от рака. А у меня, надо вам сказать, Дина, буквально все со всех сторон умирали от рака. И вот сидит американская врачиха, профессиональная улыбка до ушей, задает вопросы:

— От чего умерла ваша мать?

— От рака.

- Какой она была расы?
- Еврейской.
- От чего умер ваш отец?
- От рака.

Далее следовали вопросы о племянниках, сестрах, братьях, которые все исправно помирили от рака. А врачиха все держала на лице широкую улыбку.

- От чего умер ваш дед со стороны отца?
- От бандитской пули, - отвечаю я, радуясь разнообразию.

Врачиха вытаращивает глаза. Но улыбка приклеена.

- Почему?
- Время было такое, - говорю я. - Была революция.
- А от чего умер ваш дед со стороны матери?
- От бандитской нагайки.

Я смотрю, что врачиха хотела бы драпануть отсюда как можно дальше. Но улыбка на месте.

- То есть как? - спрашивает. - Почему?
- Время было такое. Революция.

И тогда она делает паузу и осторожно осведомляется:

- А зачем они все этим занимались...?

И Рената пережидает мой смех, и говорит спокойно:

- А что делать? Я бы всех их с удовольствием похоронила от рака...

Перебирая эти беглые записочки на случайных конвертах, счетах, четвертушках бумаг, я натываюсь на какие-то записанные мною фразы из разговоров, вроде этой, часто произносимой старой нянькой Ренаты: «Нэ робы, як ты робыш, и нэ будь такою, як ты е!», - и не помню уже, не помню - по какому случаю их записала. Не могла же я сказать ей: - «Рената, помедленней, пожалуйста, я записываю!». А может быть, так и было нужно?

Есть и целые рассказанные ею эпизоды, вроде истории с их другом, врачом из Германии, которого однажды немецкая полиция подвергла интересному наказанию: «Понимаете, Дина, вообще-то он врач, и к тому же святой человек. Это трудно совместить, но у него получается... Так вот, на днях он ехал домой и смеялся, вспомнил за рулем что-то смешное. Оказывается, этого в Германии нельзя. Его остановил дорожный патруль, его сфотографировали, и фотографию повесили на такую доску - она есть в каждом районе, как у нас раньше, помните: «Они позорят наш район!». В Германии обычно на таких вывешивают фотографии проституток»...

Успела записать еще один эпизод: про то, как в молодости на телевидении в Харькове Рената участвовала в программе по изучению английского языка. Играла в «разговорных» сценах то официантку по имени Наташа («была очень убедительна, что вы думаете!»), то еще какую-нибудь четко говорящую по-английски куклу.

— И вдруг директора программ, редактора, главного редактора и режиссера передачи, а также меня, вызывают в Обком. Не Рай! И не Гор, Дина! А Обком. Харьков большой город... «Получили анонимный сигнал о вашей передаче», - говорит Дурасиков. Был такой инструктор. Любил мальчиков, что никому не возбраняется, но одного утопил в бассейне, что уже хуже... Однако все это выяснилось позже, а в тот момент он высадил нас всех по ранжиру и говорит, мол, получили письмо от трудящихся, в котором такая фраза: «И вот эта Наташа с ее глупыми глазами, у нее такой вид, как будто хочет сказать - ой, как я сама себе нравлюсь!».

Рената делает паузу...

— И все эти милые люди, Дина, - продолжает она мягким и даже меланхоличным тоном, - и директор программ, и редактор, и режиссер передачи... вдруг обосрались. Они перестали на меня смотреть. Инструктор Дурасиков их спрашивает: «У нее глупые глаза?»

Я поднялась и сказала: «Нет. Умные».

И все эти кролики замерли и затряслись. Дурасиков помолчал, прокашлялся, выпил воды из стакана и сказал: «Тогда ладно...»

Есть у Ренаты и обо мне два устных рассказа.

Один - про то, как мы познакомились «вживую». Она живет в Безр-Шеве, я - под Иерусалимом. В переводе на российские пространства это все равно, что Севастополь и Екатеринбург. Но однажды меня пригласили выступить в Безр-Шеве. Я и поехала с намерением непременно побывать у Ренаты Мухи.

Так вот, это убийственно точный по интонации, хотя и придуманный от начала до конца устный рассказ. С выкриками, вздохами, жестами,

комментариями в сторону. Буквально все это я передать не могу, могу только бледно пересказать:

Итак, я впервые являюсь в дом, в «знаменитой» широкополой шляпе, с коробкой конфет и подвядшим букетом цветов, которые мне подарили на выступлении.

И вот, «папа Вадик» (муж Ренаты - Вадим Ткаченко) расставляет стол, сын Митя что-то там сервирует... а Рената «делает разговор». Я при этом изображаюсь страшно культурной элегантной дамой, даже слегка чопорной. Кажется, даже в лайковых перчатках, которых сроду у меня не бывало.

Рената, которая волнуется и хочет «произвести на эту селедку впечатление», начинает рассказывать «про Гришку» (есть у нее такой уж точно смешной рассказ).

— Итута вижу, что Дининолицо по мереповествования вытягивается, каменеет и теряет всяческое выражение улыбки. Я продолжаю... Рассказ к концу все смешнее и смешнее... Трагизм в глазах гостыи

возрастает. Что такое, думаю я в панике, ведь точно смешно! Заканчиваю... И вы, Дина, замороженным голосом, сквозь зубы говорите: «Рената, какая же вы блядь!» - Ничего для первого раза, да? А?! (*Ее любимый выкрик: «А?!»*)

— И когда я так осторожно говорю, что в моем возрасте это, пожалуй, уже комплимент... и интересуюсь, чем, так сказать, заработала столь лестное...

Дина сурово обрывает:

— Вы хотите сказать, что этот рассказ у вас не записан?

Я отвечаю:

И этот, и все остальные.

Дина с каменным лицом:

— Конечно, блядь!

Самое смешное, что этот рассказ основан на моем действительном возмущении: каждый раз я - письменный раб, пленник кириллицы, - услышав очередной виртуозно детализированный, оркестрованный колоссальным голосовым диапазоном устный рассказ Ренаты Мухи, принималась ругать ее:

— И это не записано?!

Второй рассказ, - про то, когда я приезжаю в следующий раз, - еще более пикантный.

Как Рената открывает мне дверь, и я спрашиваю с разгоряченным лицом:

— Рената, почему у вашего соседа яйца справа?

Якобы я ошиблась дверью, мне открыл сосед на нижней площадке, и он был в трусах. И что в этом вопросе якобы никакого криминала нет. Оказывается, все английские портные-брючники, снимая размеры, непременно спрашивают клиентов: сэр, вы носите яйца справа или слева?...

... И вот, переночевав у Ренаты, наутро я ухожу, цветы оставляю, конфеты забираю с собой...

В этом месте рассказа я всегда подозрительно спрашивала:

— Конфеты?! Забираю?! Как-то не верится. Это не про меня...

Рената сразу поправлялась:

— Или оставляете... Конфеты, впрочем, говно, - кажется, «Вечерний Киев»... За вами захлопывается дверь, и тут мы слышим страшный грохот! Поскольку вы явились в каких-то умопомрачительных туфлях на гигантских каблуках, то вы и грохнулись как раз под дверь соседа с яйцами. И правильно! Нечего заглядывать, куда вас не приглашают!

У меня почему-то нет ощущения, что Рената исчезла из моей жизни. Так бывает после ухода больших артистов, писателей, поэтов: эманация заполнения пространства личностью такова, что очень долго остается впечатление абсолютного их присутствия здесь и сейчас. Ловлю себя на импульсивном желании позвонить ей и рассказать о недавней поездке в Польшу, о том, что по-польски «еврейская писательница» звучит как «жидовска писарка». Спыхватываюсь, что позвонить не получится... и все-таки по инерции представляю себе комментарии Ренаты: ее жестикуляцию, ее руки, что взлетают и как бы охватывают в воздухе арбуз; ее голос с неподражаемыми интонациями, который звучит во мне, все звучит и звучит, не замирая...

Дина Рибина

Рената Муха: начало следует...

Несерьёзные стихи для любопытного возраста

Эта маленькая хрупкая женщина - поэтесса, которая сочиняет "стихи для бывших детей и будущих взрослых".

Рената Муха родилась в Одессе и это многое в ее творчестве объясняет: парадоксальность мышления, природу юмора, поэтический взгляд на мир. Но к стихам она шла долго. Сначала был окончен Харьковский университет, потом там же - аспирантура, после которой она осталась преподавать английскую филологию. Рената Муха защитила докторскую степень и изобрела собственную методику обучения английскому языку, которую назвала "сказочный английский". Ее даже в Англию неоднократно приглашали, чтобы она им объяснила, как учить их язык.

Лет десять назад Рената Муха приехала в Израиль, поселилась в Безр-Шеве и продолжила преподавание в университете им. Бен-Гуриона, где благополучно трудится и по сей день. Ее стихи печатали и там, и здесь. Но в бывшем Союзе это было возможно лишь в соавторстве, поэтому она сотрудничала с Ниной Воронель, выпустив в 1968 году сборник "Переполюх", а затем с Полли Камерон и Вадимом Левиным выпустила замечательную книгу "Про Глупую Лошадь, Забывчивую Сову, Братьев-Бегемотов, Кота-который-не-умел-мурлыкать и Котёнка-который-думал-что-он-тигр". В Израиле же Рената Муха встретила своего "крестного отца" Марка Галесника, который подвиг ее на издание авторских книг. На сегодняшний день их вышло уже три: "Гиппопоэма" (1998). "Недоговорки" (2001) "Бывают в жизни чудеса" (2002).

С Ренатой Мухой можно говорить обо всем и без конца. Но я все-таки решила начать с "альма-матер" - с Одессы.

— *Корни вашего удивительного юмора, которым пропитаны ваши стихи, - оттуда, из Одессы.*

— В Одессе я родилась. Но потом очень быстро меня перевезли в Сорочинцы. где тоже особый юмор. Поэтому чувство юмора, на которое я не претендую - но оно на меня претендует, мне совершенно некуда было деться! - меня подпирало с обеих сторон: с одной - одесское, с другой - сорочинское.

— *Что для вас самое дорогое в Одессе?*

— Я очень боюсь слова - самое. Жизнь так велика, разнообразна, богата, что определить самое в одном затруднительно. Но... если я там выросла, то мне там дорою всё: дух Одессы, та часть моей личности, которая формировалась одесской родней. Я помню, что мы жили в большом коммунальном дворе, где были представители всех национальностей и носители всех языков. В основном - евреи, но там вместе крутились - вот где был плавильный котел! - греки, немцы, украинцы... Религиозные праздники в этом дворе отмечались все и всеми. И если говорить серьезно, то дух терпимости, толерантности и открытости ко всему у меня остался с детства.

— *То, что Жванецкий пишет об Одессе, совпадает с тем.. каковы ощущаете Одессу?*

— Было бы очень смело с моей стороны сказать, что это совпадает. Жванецкий увидел и прочувствовал это гораздо глубже, тоньше, истиннее... И изложил на только ему присущем языке, в только ему присущем стиле. Но когда я первый раз его слышала - это было в Харькове лет восемнадцать назад - я была потрясена, наверное, больше, чем другие люди, которые не выросли в Одессе. Гак глубоко и не только юмористически он воспринял Одессу. Там, где другие просто смеялись, я немножко про себя даже плакала.

— *А 1 апреля - это для вас праздник?*

— 1 апреля для меня - дата, но почему он праздник? Я вам втайне признаюсь, что у меня появилось такое неуютное чувство, что юмора стало чуть больше, чем надо. Относиться к жизни с юмором - это хорошо. Но я побаиваюсь, например, когда мне приносят журнал или приложение к газете и говорят, что оно юмористическое. В таком случае я, скорее всего, это и не прочту. Я не люблю, когда мне заранее диктуют, что это будет смешно. Я сама для себя решаю - смешно это или нет.

— *Муха - не самая распространенная на свете фамилия. Занимались ли вы генеалогией вашей семьи? Не пытались ли выяснить происхождение вашей фамилии?*

— У меня с этим никаких сложностей не было, потому что это - фамилия моего отца. И если фамилия моей мамы - Шехтман, здесь все ясно, да? Она не вызывает сомнений? Что касается отца, то он родом из Сорочинца, а это - украинское село. Оно знаменито не только Сорочинской ярмаркой, но и Сорочинской трагедией - восстанием 1905 года. Мой дед с той стороны был одним из руководителей, и его потом забили в тюрьме казаки. Говорят, фамилия пополам с кличкой идет оттуда, потому что дед был чернявый, как и отец. Фамилия моего отца - Муха - для украинского села не такая уж редкость. Там много таких фамилий-кличек...

— *Вы пошли учиться в университет на английскую филологию! Чем обуславливался выбор профессии?*

— Я росла в многоязычной среде, и эта среда со мной и вокруг меня на разных языках звучала. Ко времени окончания школы у меня так или иначе на слуху или в разговоре были и русский, и украинский, и идиш, и немецкий, и чуточку французский, а вот английского я совсем не знала. И к тому времени, когда нужно было подавать документы, меня позвали в Харьковский театральный институт, причем без английского я совсем не знала. И к тому времени, когда нужно было подавать документы, меня позвали в Харьковский театральный институт, причем без всяких оснований. Но мама сказала, что ни за что меня туда не пустит. Оставался иняз. Я туда и пошла. О чем, впрочем, не жалею.

— *Давайте перейдем к, вашему детскому поэтическому творчеству...*

— Мы к нему перейдем с трудом, потому что я свое творчество не считаю только детским. Или не только детским. И вообще-то, ежели приглядеться, так оно и не детское. Я так и называю свои стихи - для бывших детей и будущих взрослых - это в шутку, но так оно и есть. И я так нишу не потому, что у меня такая точка зрения, у меня такая точка зрения потому, что я так пишу. Негоже отделять взрослого от ребенка в период накопления поэтического багажа.

— *Я где-то читала, что все мы становимся безнадежно взрослыми, если теряем детскость своей души. Есть взрослые, которые не утратили ее, и вы, безусловно, яркий представитель этого "племени", а есть безнадежно взрослые, которые давно забыли, как они были детьми.*

— Я с этим согласна. Более того, есть люди, которые еще в детском возрасте уже расправились со своей детскостью. А некоторым мамам, когда у них бывают проблемы со своими детьми, я советую по думать: "Так это же я в этом возрасте!".

Не должна уходить детскость. Что значит - уходит детскость? Для этого надо определить это понятие: это благодарность окружающему, восторг перед ним и многое другое, что присуще людям в любом возрасте. Поэтому я не делю поэзию на детскую и взрослую. Тог же Маршак писал стихи и для детей, и для взрослых. А Заходер? Разве это - чисто детский поэт? Он продлил линию, которую начал Маршак. Я думаю, что чисто детским поэтом был Чуковский, когда он писал для детей. Но это не означает, что он не был интересен и взрослым.

— *Если говорить о больших, именах, то узок, круг детских писателей вообще и детских, поэтов в частности. Чем объяснить, что вас так мало?*

— Эта ситуация объясняется, и вполне практическими причинами. В связи со всеми дефолтами издатели в течение многих лет не хотели рисковать и выпускали книги только известных поэтов. Многие писали детские стихи, причем очень хорошие стихи, но остались в тени по известным причинам. А года три назад издатели спохватились и начали искать уже современных детских писателей. Не верю я. что может литература и человечество отказаться от новых стихов для детей, потому что меняется восприятие. Незаметно, но когда-нибудь современных детей перестанут удовлетворять замечательные стихи, которые написаны давно.

— *Трудно представить, что стихи, можно сочинять вдвоем Но вы это делаете, и больше всего с Вадимом Левиным, вашим постоянным соавтором %ак,это началось и как,это технически происходит?*

— Действительно трудно - писать стихи вдвоем. Вот об этом надо бы написать книгу, и даст Бог, мы ее напишем.

История нашего соавторства и забавна, и длинна, и трогательна, и дело не только в том, что у нас очень много совместных стихотворений, хотя у нас их действительно много. Дело в точке зрения, в какой-то совместно высеченной искре. Наше соавторство состоит в том, что мы одинаково слышим этот мир. Я себя называю переводчиком. Я "перевожу" то, что животные, или вещи, или дети воображают, - для всех. Так вот, мы с Вадимом близко владеем "техникой перевода".

А что касается "техники соавторства", то, бывает, что он добавляет в стихотворение только одну строчку или даже одно слово, но это для нас - настоящее соавторство.

И самое главное, наше сотрудничество с Вадимом вызвало к жизни новый жанр, которому я дала название, которым до сих пор горжусь, - "Начало следует".

Дело было так. Когда я познакомилась с Левиным он был уже известным, сформировавшимся поэтом а я никаким поэтом не была и не собиралась быть.

Но у меня было одно стихотворение, а дальше я все придумывала строчки и звонила ему, а он говорил, что хорошо, дописывай. А я говорила

- не могу, помоги. И он начал всюду меня представлять; "Рената Муха, которая называет себя поэтом, но, кроме двух строчек, ничего написать не может и бежит ко мне с криком - Вадик, помогай!"

Слушала я это, слушала и сказала, что "если ты не бросишь издеваться, я буду писать просто двухстрочные стихотворения, и ты мне будешь не нужен". Он сказал: "Ну-ну, попробуй!" И я придумала строчки, которые сейчас уже довольно известны:

*Вчера крокодил улыбнулся так злобно,
Что мне за него до сих пор неудобно. И:
Один осьминог подошел к осьминогу
И в знак уваженья пожал ему ногу...*

И я их принесла Вадиму. И Вадим сказал: "Ого! Я эти две строчки тоже хочу писать". А я ему сказала: "Эти две строчки ты можешь не писать, я их написала". А тогда было время всяких кооперативов. Вадик мне сказал: "Тогда давай делать так: ты пиши две, а я припишу еще две, и мы это назовем - кооператив поэтов". Я послушно спросила: "А какие мне писать две строчки?" Он мне ответил: "Пиши последние, я первые напишу всегда!" Я пошла домой и уже по дороге поймала такую строчку:

*И это для дятла такая наука.
Что он никуда не заходит без стука.*

Это - конец, как вы видите. Я позвонила Левину, он это очень одобрил, сказал - работай дальше. Я говорю: "А начало?" Он сказал: "Не беспокойся! Я вот освобожусь и закончу". Я пошла дальше придумывать последние две строчки. Ну, не придумывать.

Он сказал: "Не беспокойся. Я вот освобожусь и закончу". Я пошла дальше придумывать последние две строчки. Ну, не придумывать а подслушивать у себя. И у меня стали появляться освобожденные две последние строчки:

*Пожалуйста, я откажусь от короны.
А можно сначала доесть макароны?*

И много еще чего было... А Вадик ездил, читал свои стихи, и руки у него никак не доходили написать начальные строки. И потом он сам сказал: "Слушай, это как-то неудобно. Ты пишешь, а я не успеваю. Давай будем выступать вместе, я так и объявлю, что это кооператив поэтов, мои слова еще не дописаны, я буду их стучать ладошками - тра-та-та-тра-та-та-та. А ты свои две строки прочитаешь". И тут я сказала: "А название будет - "...Начало следует". И таким образом у меня уже на сегодняшний день набралось штук двадцать пять таких стихотворений, и я их не публикую - жду, когда человечество напишет первые строчки.

— Но какие-то строки человечество уже придумало?

— С первым - про дятла - произошел следующий эпизод. Однажды, лет пятнадцать назад, Вадим Левин выступал в ЦДРИ в Москве. Я там тоже была, это были его знаменитые встречи с родителями и детьми. Он позвал меня на сцену и сказал, что вот у нас такая история, Рената написала две строчки, а я никак не придумаю две первые, мы сейчас так и читаем. Я завопила: "Начало следует!", он прохлопал две первые строчки, а я прочитала остальные. Народ немного оторопел. Но в зале оказалась Вероника Долина, и она сказала: "Тоже мне проблема придумать две первые строчки", вышла на сцену, отодвинула меня и Вадима, и сказала:

*С утра этот дятел сидел на столбе,
Соседи о нем донесли в КГБ.
И это для дятла такая наука.
Что он никуда не заходит без стука.*

Вот тут мы с залом рухнули. Но вообще-то это такой жанр, что трудно дописать равноценное начало. Мне часто их присылают. Но шедевров среди них было совсем немного. Например, у меня было такое -

С техпор он питается разными кашами.

По-моему - так хорошо. А по-вашему?

К ним мой друг московский литератор Марк Зеликин написал такое начало:

*С яслей ненавидел он манную кашу
И с этим покинул он Родину нашу.*

Лихо? Лихо!

— *Ваша необыкновенная поэтическая нежность, внимание и понимание к, "братьям нашим меньшим" - они не случайны? У вас в доме кто-нибудь живет?*

— У меня любовь ко всем животным. Но у нас дома не живет никто, и вот по какой грустной причине: когда мне было три года, мне купили птичку, и эта птичка умерла. Горе было такое большое, что до сих пор боюсь опять его пережить. Я, как все нормальные люди, к животным отношусь хорошо, но, в отличие от многих нормальных людей, мне кажется, что я иногда их понимаю. Иногда у меня бывает такое чувство, что вот кошка мяукает, а дерево скрипит - вроде они мне жалуются. Но это я наполняю эти звуки содержанием.

— *У вас вышел сборник, который называется "Бывают в жизни чудеса". Вы сами верите в чудеса, случались ли они с вами?*

— Да. То есть я все-таки доктор наук, но целый ряд событий в моей жизни, в жизни других людей, по неожиданности, по емкости, по способности сконцентрировать что-то важное, можно считать чудесами, равно как и стихотворение, которое было заглавием к этому сборнику. Потому что это было первое стихотворение, которое я придумала. И было это без всякой провокации, когда я переходила в городе Харькове улицу Восьмого съезда Советов. Вот такое случилось чудо! А бывают и похлеще чудеса!

— *Скажите, каковы чувствуете, где надо поставить точку?*

— Хороший вопрос! Я скорее чувствую, где точка не поставлена. Я очень верю и в первую строчку и в последнюю. Бывает, приходит последняя строчка, а бывает - нет. Это как повезет. Но когда ее нет, я стих не опубликовываю.

— *В вашей жизни столько интересных, событий! Вы не хотите написать книгу о своей жизни?*

— Очень хочу! Мне про свою биографию надо было бы написать! Все мои добрые и недобрые друзья иногда по-хорошему, а иногда очень по-плохому обвиняют меня в том, что я этого не делаю. И среди них такие замечательные люди, как Феликс Кривин, Дина Рубина, Игорь Губерман - многие. И вот совсем недавно я нашла им ответ.

Дорогие мои друзья! Мне и весело и грустно, Но не письменно, а устно.

Аркадий Белинков

Белинков Аркадий Викторович, прозаик, литературовед (29.9.1921 Москва — 14.5.1970 Нью-Хэвен, штат Коннектикут). Из интеллигентной еврейской семьи. Б. учился в Лит. ин-те, в частности, у В. Шкловского, и в Моск. ун-те. Во время второй мировой войны был некоторое время корреспондентом ТАСС, входил в комиссию, занимавшуюся исследованием разрушений, причиненных нем. войсками историческим памятникам. В это время Б. написал роман Черновик, чувств, антисов. роман, который читал в кругу знакомых. На него донесли, он был арестован, после 22-месячного следствия, приговорен к, смертной казни, замененной благодарной ходатайству А. Толстого и В. Шкловского восемью годами лагеря, где ему было поручено руководить драматическим кружком. Здесь он был снова осужден, на этот раз еще на 25 лет. Осенью 1956 Б. освобожден по амнистии, смог в Москве получить диплом о высшем образовании, некоторое время преподавал в Лит. ин-те, затем занимался лит-ведением, в частности, написал много статей для Краткой лит. энциклопедии напр, статью об А. Блоке. Книга Б. Юрий Тынянов (1961), посвященная жизни и творчеству писателя, получила настолько высокую оценку, что очень скоро вышла вторым изд. Из книги Б. о Ю. Олеше были опубликованы только две главы В 1968 Б. воспользовался поездкой в Венгрию для того, чтобы вместе с женой сбежать оттуда через Югославию на Запад (ср. «Рус. мысль», 1988, 14.10.). Он поселился в США и преподавал в нескольких ун-тах Был членом ПЕН-клуба. Книга об Олеше Сдача и гибель сов. интеллигента (1976), на публикацию которой в СССР у него уже был заключен договор с изд-вом, вышла после его смерти. — Писательский талант Б. был подавлен сов. режимом Ни первый роман Б., из-за которого он попал в лагерь, ни лит. произв., написанные им в лагере, не сохранились. Его лит-ведческие произв. написаны как худож. проза. В книге о Тынянове увлекает дар Б. иносказанием превращать прошлое в современность. В Олеше Б. видит пример писателя, который был не в силах оказывать сопротивление давящей системе и потому погубил в себе художника. Б. обрисовывает Олешу саркастически, показывая его на широком фоне сов. лит. жизни. «Чтобы обойти сов. цензуру, Б. смешивал разл стили: журналистский, лит-ведческий и лит.» (Н. Белинкова). Соч.: Юрий Тынянов, 1961, 2-е изд. — 1965; Поэт и Толстяк, ж. «Байкал», 1968, №1-2; Сдача и гибель сов. интеллигента. Юрий Олеша, Madrid, 1976; Страна рабов, страна господ, «Новый колокол», 1972. Лит.: В. Шкловский, «Лит. газ.», 1961, 8.4.; Л. Левицкий, ж. «Новый мир», 1961, №7; V. Erlich., ж. «Slavic Review», №3, 1970; P. Гуль, в его кн.: «Одвуконь», New York, 1973; M. Friedberg, ж. «Slavic Review», 1977, №2; N. VeCinkova, V. Dunham, в кн.: MERSL, №2 (1978) и ж. «Часть речи», 2/3, 1981/82, с.166- 74; Н. Белинкова Яблякова, ж. «Время и мь», №95, 1987.

ТАК ЯРЫЙ ТОК, ОЛЕДЕНЕВ..

НЕСКОЛЬКО строк из дневника – 16 октября 1964 года, сразу после вечера, посвященного 70-летию Тынянова, в Большом зале ЦДЛ, под председательством Шкловского: «Шкловский:

– Я прошу сказать – здесь ли находится автор единственной книги о Тынянове Белинков?

И тонкий звучный голос раздался:

– Да, здесь.

И Белинков прошел в президиум.

В это время не у одного лишь N, наверно, екнуло где-то в желудке, не один лишь он смутно о чем-то пожалел».

Помню, что называется, как сейчас, как черноволосый бледный человек, похожий издали на Грибоедова, пошел из задних рядов по длинному проходу, устланному ковром, к сцене, со слегка откинутой назад головой, нескрываемо- горделиво. И весь зал, вывернув головы, смотрел, как он идет. Это было зрелище реальной, не дутой, заслуженной славы, которая должна была неизбежно вызвать чувство зависти – не к славе вообще, а к славе неофициальной, подлинной, возможной и для кого-то из сидящих в зале, но не угаданной ими, малодушно упущенной из рук.

Кто сидел на вечере памяти Тынянова? Конечно же, прогрессивная, как принято было говорить, часть Союза писателей, в той или иной степени – люди оттепели. И никто, в сущности, из пишущих о литературе (о драматургах или поэтах – речь иная) не сделал такого прорыва, как Белинков, никто не сумел выжать все возможное из ситуации, просуществовавшей всего несколько лет. А теперь они чувствовали, что уже – поздно. С конца 1962-го начало подмораживать, а в тот день, когда я впервые увидела Белинкова, мы узнали из газет, что кончилось хрущевское десятилетие, и будущее стало неясным.

Для сегодняшнего читателя стоит сказать хотя бы коротко о биографии Белинкова. Он родился в Москве 29 сентября 1921 г., в годы войны учился в Литературном институте; воспользуемся воспоминаниями его сотоварища по институту: «Внешне жизнь Аркадия складывалась сравнительно благополучно. В его семье никого не раскулачили, никого не лишили, никого не арестовали, не было и родственников за границей. Он был единственным сыном, за его спиной стояли не только родители, но и бездетные дядюшки и тетушки. Отец его, Виктор Лазаревич, был крупным экономистом Госплана; мать, Мирра Наумовна, занимала видное положение в Научном центре Детской книги («видное» – быть может, не самое удачное слово для такого не очень уж видного учреждения. – М.Ч.) – отсюда его раннее знакомство с такими писателями, как Шкловский, Корней Чуковский, с художественной интеллигенцией. Дом был наполнен хорошими книгами, не обо всех мы даже и слышали. Ну, а знать живого писателя – не каждый из наших студентов мог этим похвастать. Как настоящий писатель, он работал только на машинке». Для тогдашних студентов Литинститута машинка была недоступной роскошью. Он выделялся среди них своим видом, своими рано сложившимися привычками – «с бородкой, с длинными волосами, в галстук, в шляпе, в костюме от портного, в узконосых туфлях – все на нем ладно пригнано». По-видимому, он держал себя снобистски – в этом слилось и раннее осознание своей жизненной задачи, отделившее его от многих сотоварищей, и то, что он с детства страдал тяжелой болезнью сердца, что, в свою очередь, тоже отделяло его от сверстников.

В институте он написал в качестве дипломной работы роман «Черновик чувств». Защитить диплом Белинков не успел – он был арестован и пробыл под следствием до 5 августа 1944 г., после чего получил восемь лет лагерей. Тот же мемуарист (арестованный два с половиной месяца спустя) свидетельствует: «Многие наши студенты восприняли его арест со злорадством». Белинков успел побыть участником небольшой литературной группы «необарокко»; в нее входили еще четыре человека; всех, кроме одного, ожидали в недалеком будущем лагерь.

Его литературное становление пришлось на начало 40-х годов. Именно в эти годы отечественная литература внутренне приблизилась к рубежу нового цикла. Ожидание обновления обострилось в годы войны – особенно в переломном 1943 году. «Перед заходом солнца» Мих. Зощенко, поэма «Зарево» Пастернака – обе эти вещи, совершенно необычные для тогдашнего литературного контекста, появились было в печати и были остановлены; Пастернаку даже отсоветовали продолжать поэму.

Но стимул первой, несостоявшейся оттепели или «зарева» 1943 года, не ставшего заревом рассвета, не исчез бесследно, он формировал сознание тех, кому суждено было стать реальными участниками реальной оттепели.

В 1956-м году, вернувшись в Москву, Белинков в течение нескольких месяцев закончил Литературный институт и начал писать книгу о Тынянове.

22 октября 1958 г. он напишет Г.Горчакову (еще остававшемуся в ссылке на Колыме), что более всего благодарен людям, тепло его встретившим после возвращения, за то, что они его «методически пилили, точили, сверлили /.../, убеждая в необходимости писать не только в стол».

Возможности ситуации в нашей стране всегда (или, точнее, начиная с 1956 года – с наступлением времени, названного А.Ахматовой «вегетарианским») можно было проверить только наощупь, собственными руками.

Устами неведомых нам добрых советчиков говорила сама телеология времени. С 1953 года, спустя десятилетие после рано погасшего «зарева» 1943 года, поднималась вторая волна обновления.

Снова делалась попытка объединить два потока отечественной словесности – публикуемый и непубликуемый, вывести на поверхность печатной жизни замыслы, подобные тем, воплощению которых с середины 1920-х годов суждена была участь «Собачьего сердца» или «Реквиема»: существование в памяти

немногих слушателей или в рукописном виде в ящике письменного стола автора, откуда, правда, рукописи частично перекочевывали на полки НКВД.

Новый напор середины 50-х породил литературу оттепели.

Белинков не только чувствовал телеологию времени, но вполне отчетливо и прагматически ее осознавал. Об этом свидетельствует его письмо к тому же корреспонденту — из Москвы на Колыму — в январе 1959 года: «В 1959 можно писать книги, которые стоят того, чтобы их писать». Это — четкое и, главное, совершенно точное определение времени. Письмо представляет собой настойчивый совет своему коллеге и товарищу по судьбе, и анализ времени носит практический характер. Аркадий поясняет, что даже неудача с книгой будет означать «только то, что я или немного поспешил, или немного переборщил. Если что-нибудь случится, то я не повешусь и не перестану писать дальше. Я переделаю (не очень) книгу и подожду (немного). Я живу с твердым литературоведческим и физиологическим убеждением, что пришло время решительных, резких, недовольных и остро профессиональных книг». Дело было именно в его — оказавшейся в то время уникальной — уверенности в том, что «пришло время» резких книг, именно резких, а не частично, не половинчато отличающихся и от недавнего, и от складывающегося контекста. Он был одним из первых лагерников, кто захотел не мимикрировать, не слиться с фоном «вольняшек» (то, что называлось вернуться в строй), а выбиться из этого фона, не забыть о том, что с ним произошло, а превратить в фундамент своей литературной позиции. Адресат Белинкова справедливо пишет о писателях — бывших лагерниках: «...Переберите то, что они печатали в это время. Я не берусь их осуждать, но с удивлением узнавал, что авторы этих книг имели лагерную судьбу». Через несколько лет Солженицын, сливший свою судьбу со своим творчеством, заставил забыть об этой характерной для второй половины 50-х неслиянности. Аркадий Бел инков был, пожалуй, первым, кто стал навязывать отечественной печати новую авторскую позицию — не в статье, не в очерке — на пространстве большой книги.

Процитируем дальше письмо января 1959 года — драгоценное свидетельство его анализа ситуации: «Я думаю, что написанная книга и особенно книга, над которой я работаю сейчас (скорее всего — книга об Олеше. — М.Ч.), должна пройти (с трудом и при влиятельном неудовольствии), потому что в истории русской литературы уже начался процесс исчерпанности метода, который удовлетворял общественную потребность на протяжении последних 25 лет.

После многолетней протрации и апоплексии формы пришла как неминуемая догадка, что вред от нее (формы) значительно преувеличен и вообще что-то в ней, наверное, все-таки есть. Это первое.

Второе заключается в том, что после длительного скольжения по холодному льду общих проблем и общих мест на коньках общих слов появился повышенный интерес к атомам образования явления. Становится важным материал, деталь, быт, мелочь, подробность, точные знания, а не только одна правильная идеология. Нужны исторически реальные люди, а не человеческие эквиваленты правильных соображений. Наконец, надо разрушить никогда не существовавшее равенство — хороший человек = хороший писатель (художник, полководец, общественный деятель etc).

Вы, конечно, понимаете, что все это не частные вопросы, а вопросы с серьезными последствиями и важными выводами, вопросы методологии, поэтики, характера материала наших книг и героев их». Белинков описывает то, что стало желаемым публикой (изголодавшейся по плоти исторических явлений — будь то лица или события), допустимым со стороны официоза — и в то же время возможным и даже императивным со стороны самих предполагаемых исполнителей. Он почувствовал и взялся выполнить заказ времени на обновление языка (как способа описания) литературоведения и подходов к объекту. Десятилетием раньше один из тех немногих, по книгам кого Белинков учился писать о литературе, свидетельствовал (позволим себе повторить уже опубликованные нами ранее не имеющие аналогов в столь точном диагнозе ситуации цитаты из дневника Б.Эйхенбаума): «Думаю, что надо пока оставить помыслы о научной книге. Этого языка нет — и ничего не сделаешь. Язык — дело не индивидуальное. Литературоведческого языка нет, потому что научной мысли в этой области нет — она прекратила течение свое /.../. Могу сейчас заняться только идейной биографией (Толстого. — М.Ч.) — и то в свободной, почти художественной форме» (9 декабря 1949 г.); «У меня, очевидно, своего рода травма; научный стиль и жанр стали мне противны. Я перехожу к другому — похоже на то, как поступил Ю.Н. /Тынянов/ в конце 20-х годов: «Смерть Вазир-Мухтара» вместо научной книги о Грибоедове. Поверх доказательств» (27 декабря 1949 г.). Это отношение к научному стилю и жанру продлится несколько лет («Современный язык — камни с надписями, из которых ничего не сделать» — письмо к В.Шкловскому в марте 1950 г.; писать о Толстом и Чернышевском «не для кого. И языка такого сейчас нет» — дневниковая запись от 4 июля 1952 г.; «Писать «терминами», не могу, а языка теперь нет» — запись в дневнике от 13 марта 1953). Белинков как бы переймет это отношение из рук предшественника — и начнет искать новый, иной язык литературы о литературе, обратится от чисто литературоведческих задач к описанию писательского дела в его сложной соотнесенности с личностью писателя. В сущности, он займется той самой «идейной биографией», на которую укажет почти за десятилетие до начала его работы над «Тыняновым» Эйхенбаум как на единственно возможный в сложившихся условиях жанр. Строить язык литературоведения как науки было гораздо более опасно — здесь вступали в силу квазиметодологические ограничители: входящий в эту область сразу претендовал на конкуренцию с «марксистским литературоведением», вел подкоп под него. Область гуманитарной науки была заповедной зоной — вход в нее охранялся, там должна была консервироваться пустота.

Б.Эйхенбаум успел очень восприимчиво проеагировать на изменение воздуха социума; уже через несколько месяцев после смерти Сталина, 18 июня 1953 г., он запишет в дневнике: «Заметил, что стал несколько легче писать». По своим возможностям он был, пожалуй, единственным из старшего поколения отечественных литературоведов (начинавших в 20-е годы новую филологию, которой суждено было стимулировать всю мировую гуманитарную мысль), кто был способен деятельно участвовать в создании

нового языка литературоведения – с вполне законной реанимацией того, что был погублен к началу 30-х. Но жизненного времени не хватило. Эйхенбаум умер в конце того самого 1959-го года, в начале которого Белинков заявит, что именно в этом году «можно писать книги, которые стоят того, чтобы их писать». Он первым из нового поколения сделает широкий шаг в сторону обновления «литературоведческого языка» – хотя, повторим, не в строго научном, а в ином, им же самим и конструируемом жанре.

Впечатление от книги Белинкова «Юрий Тынянов» (подписана к печати 7 октября 1960 г. – таяние снегов еще идет довольно бурно) было огромным. Обращусь еще раз к свидетельству современника: « Книга вызывала не только восторги, но и, несомненно, завистливость. Оказывается, научную книгу можно было написать не обычным волапюком, а живым /.../ языком». Зависть, продиктованная вот этой неузнанностью ситуации, ее действительных возможностей (как будто они могли быть постигнуты иным путем, кроме как экспериментом на самом себе! Как будто ситуация не деформировалась, поддаваясь давлению, – такому, образец которого и дал Белинков!), как видим, совпадает с наблюдением современницы из процитированной в начале этого текста дневниковой записи 1964 года.

К творческим биографиям стали обращаться в те годы пишущие о литературе, чтобы сделать что-то живое (это сохранится надолго – книги серии ЖЗЛ будут опережать не только историческую науку, но в какой-то степени и историко-литературную). Взять на себя единолично задачу преодоления мертвого языка советского литературоведения было почти никому не под силу – до поры до времени. В конце 50-х, во всяком случае, эта пора и это время еще не наступили.

До книги Белинкова, во второй половине пятидесятых годов, быстро сформировался стиль, пользующийся официальным советским словом (привычно двусмысленным, нередко десемантизированным, переполненным эвфемизмами) в осторожно-антиофициозных целях (под девизом «бить врага его же оружием», опровергать ортодоксов, оснащенных цитатами из Ленина, – другими, более раритетными цитатами из него же); так рождалась двусмысленность второй степени. Приведем один из многочисленных ее образчиков – для уразумения предмета наших рассуждений сегодняшним читателем: «Исторической заслугой XX съезда КПСС было разоблачение культа личности. /.../ Вождь был слугой народа, но, когда миллионы хозяев вставали при одном упоминании имени слуги, в этом было что-то очень чуждое тем демократическим традициям, в которых мы воспитаны революцией и советским общественным строем. /... / Административный стиль руководства искусством не способствовал (вместо «подавлял». – М.Ч.) развитию индивидуального стиля художника. Упор делался не на стиль, а на метод. /.../ Теперь уже ни для кого не секрет (обычный оборот тех лет! – М.Ч.), что наше театральное искусство переживает серьезный застой. Люди понимающие поговаривали об этом и раньше, но в период, когда принято было рассматривать наше движение на любом участке только как сплошной победный марш без остановок и обсуждений, их быстро призвали к порядку» (в последней фразе уже очевидна близость к тому обдуманно иронизирующему стилю, который Белинков отшлифует до сияния); это – отрывок из очень продвинутой, если воспользоваться постсоветским речением – калькой с английского, статьи А.Крона «Заметки писателя», появившейся в 1957 г. в также очень продвинутом альманахе «Литературная Москва», детище оттепели.

Рядом рождалось новое, прямое слово – главным и почти единственным его образцом стал язык очерка В.Померанцева «Об искренности в литературе», напечатанного в конце 1953 г. (Недаром Белинков так выделит этот очерк в книге об Олеше). Но этому слову не было суждено развиваться. Только восемь лет спустя, уже не в очерке, а в литературе, возникнет неуклончивое, но остранинное сказом, то есть дистанцией от автора, слово повествователя «Одного дня Ивана Денисовича» – и обозначит, наконец, бесповоротно дважды (в 1940-е и в 1950-е) отсроченное начало нового, второго цикла развития отечественной литературы советского времени.

Но за два года до этого на дрожжах тыняновского слова в «Смерти Вазир-Мухтара» Белинков своим «Юрием Тыняновым» поднял отечественное печатное слово на еще одну ступень двусмысленности – ироническую.

Напомню, что именно во второй половине 50-х годов созревало открытие для многих пишущих о литературе: обнаруживалось, что можно писать с увлечением, с запалом – и не о том писателе, которого принято считать хорошим, а о том, которым ты непосредственно увлечен.

Были ли увлечены своим объектом те, кто писали до нас, вступивших в печатную жизнь в начале 60-х, о Павленко, Бабаевском, Панферове, Кочетове, писали в соответствии с давно принятым, детально разработанным в течение послевоенного семилетия – последнего этапа сталинского режима – регламентом? Об этом должны были рассказать они сами; можно предположить, что это была увлеченность совсем иного рода, чем у следующего за ними поколения. Немало людей заканчивает жизнь, не догадываясь о том, что такое любовь; так литературоведы 40–50-х годов имели совсем иные, чем Белинков, отношения со своим объектом.

Да, нужен был запал. Питать его могла только энергия рождавшегося сопротивления. Белинков сумел воплотить эту энергию в формируемом им способе повествования о страстно увлекавшем его предмете. Его изощренный – с двойным, тройным и более смыслом каждой фразы – стиль, сложившийся в первом издании книги о Тынянове и усложнившийся и обострившийся во втором (1965), не требовал от читателя полного досконального понимания; пожалуй, и не был на него наделен. Язык «Юрия Тынянова» был рассчитан не на понимание, а на воздействие, на заразительность зрелища разрушения догм, в том числе – и догматического стиля.

Что волновало в 1960 году читателей «Тынянова» – итэров и гуманитариев – в одинаковой, пожалуй, степени? Прежде всего – непрерывное, на протяжении всего пространства книги не рвущееся, не опадающее, не перемежающееся пошлостями или пустотами напряженное размышление об избранном предмете. Какой редкостью была в те годы независимая мысль, весьма трудно сегодня объяснить.

Быть может, особенно сильным был эффект от этой книги в негуманитарной аудитории. Более или менее свободомыслящие инженеры, физики и химики наконец-то получили написанную современником-гуманитарием книгу, которую можно было читать (в течение пятнадцати послевоенных лет такой книги в отечественной печати не появлялось).

Подтекст, аллюзии, ирония с огромным спектром адресов и оттенков все было обращено к посвященным, к способным понять. Это, во-первых, повышало самоуважение читателя. Оно подогревалось к тому же захватывающим чувством преодолеваемой опасности, ощущением, что вместе с автором ты, как понимающий тайну его замысла и стиля, до некоторой степени посвященный, морочишь редакторов, цензоров и прочих непосвященных – и объединяешься в этом с другими читателями, тебе неизвестными, но в процессе чтения становящимися твоими и автора сообщниками. И – как следствие – такое чтение, во-вторых, цементировало читательскую аудиторию в некую общность зарождалась общественность, не существовавшая до середины 50-х годов, замененная еще в 20-е годы своим официозным антиподом – «советской общественностью».

Заслуга Белинкова в этом одном из важнейших общественно-культурных процессов «оттепели» – неоценима.

Слово книги о Тынянове оказалось, во всяком случае, на гребне письменной речи эпохи – оно сложно соотносилось с беллетристической традицией, быть может, даже послужило катализатором для кристаллизации иронической прозы (которую возглавил В.Аксенов). Книга же об Олеше дописывалась тогда, когда ироническую прозу уже сменяла деревенская, когда в чести был пафос, когда вновь стремилось конституироваться прямое слово (Ю.Домбровский). И на многих страницах последней книги Белинков заговорит не зыблущимся, размывающим собственный смысл, но воздействующим полным доскональным пониманием; пожалуй, и не был на него наделен. Язык «Юрия Тынянова» был рассчитан не на понимание, а на воздействие, на заразительность зрелища разрушения догм, в том числе – и догматического стиля.

Что волновало в 1960 году читателей «Тынянова» – итэров и гуманитариев – в одинаковой, пожалуй, степени? Прежде всего – непрерывное, на протяжении всего пространства книги не рвущееся, не опадающее, не перемежающееся пошлостями или пустотами напряженное размышление об избранном предмете. Какой редкостью была в те годы независимая мысль, весьма трудно сегодня объяснить.

Быть может, особенно сильным был эффект от этой книги в негуманитарной аудитории. Более или менее свободомыслящие инженеры, физики и химики наконец-то получили написанную современником-гуманитарием книгу, которую можно было читать (в течение пятнадцати послевоенных лет такой книги в отечественной печати не появлялось).

Подтекст, аллюзии, ирония с огромным спектром адресов и оттенков – все было обращено к посвященным, к способным понять. Это, во-первых, повышало самоуважение читателя. Оно подогревалось к тому же захватывающим чувством преодолеваемой опасности, ощущением, что вместе с автором ты, как понимающий тайну его замысла и стиля, до некоторой степени посвященный, морочишь редакторов, цензоров и прочих непосвященных – и объединяешься в этом с другими читателями, тебе неизвестными, но в процессе чтения становящимися твоими и автора сообщниками. И – как следствие – такое чтение, во-вторых, цементировало читательскую аудиторию в некую общность зарождалась общественность, не существовавшая до середины 50-х годов, замененная еще в 20-е годы своим официозным антиподом – «советской общественностью».

Заслуга Белинкова в этом одном из важнейших общественно-культурных процессов «оттепели» – неоценима.

Слово книги о Тынянове оказалось, во всяком случае, на гребне письменной речи эпохи – оно сложно соотносилось с беллетристической традицией, быть может, даже послужило катализатором для кристаллизации иронической прозы (которую возглавил В.Аксенов). Книга же об Олеше дописывалась тогда, когда ироническую прозу уже сменяла деревенская, когда в чести был пафос, когда вновь стремилось конституироваться прямое слово (Ю.Домбровский). И на многих страницах последней книги Белинков заговорит не зыблущимся, размывающим собственный смысл, но воздействующим (и очень сильно!) словом «Тынянова», а впрямую, от первого лица, с суровым пафосом пророка или трибуна – или, еще точнее, разящим словом политического памфлета, не столько иронического, сколько саркастического: «Я утверждаю, что нет таких обстоятельств, при которых душа была бы менее существенна, чем самые дорогие сорта колбасы».

С середины 60-х годов наша словесность (и литература, и литературоведение, и другие области гуманитарного знания) вновь расплелась на две плети, два потока.

Книга Белинкова об Олеше станет последней отчаянной попыткой воздействия (как в конце 50-х – книга о Тынянове – и каким сильным, каким стимулирующим оказалось это воздействие!) на отечественный печатный процесс, попыткой уничтожить границу между рукописным и печатным, между советским и западным печатными станками. Будто последняя волна перед отливом выплеснет на советскую отмель конца 60-х – в разгар «пражской весны», за несколько месяцев до наших танков на улицах Праги – два обломка этой книги в далеком от метрополии журнале «Байкал», и грохот этой волны разлетится по всем интеллигентским кухням огромной страны, а те, кто были лично задеты еще в «Тынянове», кинутся печатно сводить счеты с автором.

Пригодным здесь будет, пожалуй, и другой вариант сравнения – если усилить (вполне правомерно) личный, субъективный характер события.

В уже сомкнувшиеся, затягивающиеся еще почти не видимой ряской застоя (через пять-шесть лет он станет «ясным до галлюцинаций») воды отечественного печатного литературного процесса, начавшего исторгать из

себя все лучшее в самиздат и тамиздат, Аркадий Белинков метнул свой опус, совершенно непечатный, и взбаламутил эти воды до дна (и долго потом оседал песок, долго мыкались без работы с треском уволенные редакторы злополучно прославившегося журнала). Сам Аркадий в это время был уже вне пределов досягаемости его гневных критиков и советской власти — через одну из братских стран он эмигрировал и вскоре оказался за океаном.

От того года в нашем домашнем архиве сохранился грустный документ — газетная вырезка: «Письмо в редакцию. В журнале «Байкал» №№ 1 и 2 за 1968 год помещены этюды критика А.В.Белинкова о творчестве Ю.Олеши со ссылкой, что они являются частью рукописи, подготавливаемой к публикации в издательстве «Искусство».

Издательство «Искусство» сообщает, что эта ссылка не соответствует действительности. Договорные отношения с автором — т. Белинковым А.В. были прекращены в 1967 году. Выпуск этой книги в издательстве не планируется. Б.Савостьянов, директор издательства «Искусство» (Книжное обозрение, 1968. 15 июля. № 24).

Его неудача в Америке (слухи о которой дошли скоро) была, быть может, одним из самых выразительных свидетельств о том железном занавесе, который, едва приподнявшись в 1957—1961 годах, опустился второй раз — и теперь прошел уже не по границе, а по глубинным слоям рефлексии и способов словесного высказывания.

От стремления к ясности мысли и адекватности выражения мы безнадежно ушли в течение шестидесятих годов к языку обиняков, многозначительных и многозначительнейших недомолвок и экивоков. Именно в литературе о литературе этот способ выражения сказался губительным образом и все еще дает себя знать, но это — тема особая. Еще одна особая тема — разрушительные последствия языка аллюзий 1950-х годов для осмысления досоветской и советской истории России. Быстро нащупан был (и усилиями Белинкова едва ли не в первую очередь) способ подцензурной критики советского режима, показавшийся многим (среди них, скажем, публицистам «Нового мира» тех лет) единственным и удачным, — путь обличения «Царской России», за которым каждый читатель должен был угадывать Россию советскую. Так наращивался новый слой лжи — нечувствительно для многих пишущих и читающих. Белинков (разрушая одни конвенции, создавая и укрепляя другие) пошел дальше — он со страстью, неизбежно ему сопутствовавшей, стал писать о преемственности худших черт русского общества — страха, раболепства, притерпелости к насилию — и российской самодержавной власти в советском государстве, в этом видя главные его пороки. В то самое время, когда в работах Ханны Арендт и Раймона Арона демонстрировались и анализировались особенности тоталитаризма как невиданного в истории строя, в самом Союзе эта тема была полностью погребена под аллюзиями, совершенно размывавшими, во-первых, границу между Россией перед первой мировой войной и Россией пушкинского и едва ли не петровского времени, а во-вторых, границу между тем правовым государством, которым была, при всех ее дефектах (и приведших в конце концов к революции), Россия 1910-х годов, и советской империей. В последний год жизни Белинкова — уже зарубежной — в спор с ним на эту тему вступил Роман Гуль («...Скажите, Аркадий Викторович, Вы всерьез это написали? О традиционной подлости русского интеллигентского общества? Или у Вас так, неврастенически сорвалось что-то неудачное?»), бросивший ему и Н.Белинковой, уже после смерти Аркадия, обвинение в «русофобии». Один из истоков (помимо общеизвестных грязных) нынешних мутных полемик — в языке аллюзий далеких уже лет.

Эзопов язык — необычайно изощренный — был войной против простецкого советского языка, в своем роде тоже эзопова («отдельные недостатки», скажем, не подразумевали прямого смысла, а, напротив, стремились вытеснить из сознания представление об общем упадке).

Продолжением (и завершением) дискурса Белинкова и его коррелята — языка официоза — стал дискурс Горбачева: он обладал искусством говорить так, чтобы на слушателя действовал не смысл слов (его порою не было вовсе), а какие-то околотекстовые материи.

Прошло два года; по хрипящему приемнику, сквозь дикое завывание глушилок, голос с характерной «эмигрантской» интонацией прокричал, что в Соединенных Штатах, в Нью-Хевене скончался известный советский литератор Аркадий Белинков. Хотелось увидеть в этот день его незнакомых мне родителей; Аркадий был не просто единственным сыном, но их кумиром. Немыслимыми экивоками договорившись по телефону со знавшим их Володей Глоцером, я встретилась с ним на какой-то далекой станции метро. Очень холодным, помнится, майским вечером мы двинулись, то и дело оглядываясь — нет ли слезки, к незнакомому мне дому.

...Вспоминался Тарту в июне 1967 года, 1-я Блоковская конференция, где я познакомилась с Аркадием, его холодным тоном прочитанный страстный доклад «Олеша и Блок» — и то, как мы, распаленные осуществленным на этой конференции прорывом легальных возможностей публичного слова, собрались на обратном пути в купе у Аркадия и Наташи Белинковых. Вспоминалось и его трогательное, совершенно детское бахвальство — в своей московской квартире, показав нам на безобразный деревянный клин, которым собственноручно забита была дыра от вынутого замка, он абсолютно серьезно объявил: «Знаете— у меня золотые руки!» Это вошло потом в нашу домашнюю семантику... Вспоминалась жесткость его суждений и мягкость его дружеского общения.

Еле двигаясь по комнате, мать Аркадия пыталась показать нам альбом с его детскими фотографиями. Похожий на отставного военного отец старался держаться.

3 ноября 1975 г. мне позвонил Шкловский. В какой-то момент разговора как всегда с ходу заговорил о моей работе и после комплиментов заявил: «Но у Вас слишком много задора ... И еще — я не могу простить вам вашего романа с Аркадием». Прошло пять лет после смерти Белинкова, а он все еще воспринимал наши с А.П.Чудаковым дружеские отношения с ним как предательство: он знал, что следующая обличительная книга Аркадия должна была быть о нем, Шкловском — и что только судьба помешала этому. «Видите ли, —

продолжал он, – в университете (я не сразу поняла, что в американском) Аркадий продержался один семестр. Жену его оставили, а его нет. Потому что там это оказалось никому не нужно. Меня как-то спросили: – Как себя чувствуете? – Как живая лиса в меховом магазине. – Так вот, там все – лисы, там это не надо. И здесь он слишком много кричал. Знаете, у Глеба Успенского есть рассказ: мужик входит в буфет и громко кричит:

– Бутельброду!

Так ему объясняют, что надо говорить тихо. Вот так и Аркадий...

– Но он кричал, когда никто не кричал... (Что не совсем правда. Впрочем, действительно – уже утихало).

– Все равно. Это неприлично. Аркадий – не литературовед. А Вы – литературовед. Вам не нужен этот задор». (Я включаю некоторые реплики, относящиеся ко мне, для того лишь, чтобы показать, как белинковский «задор» продолжал глубоко задевать Шкловского – хотя книга об Олеше со справедливыми и несправедливыми словами и о нем тоже ходила только в самиздате!)

Возможно, до Шкловского дошел уже «Новый колокол», изданный Н.Белинковой в Лондоне в 1972 г., и в его словах был отзвук ее собственных признаний в эссе «Хождение по свободе», посвященном «Памяти Аркадия Белинкова, моего мужа, моего учителя жизни»: «Наши заявления, наши оценки, наши способы выражения определены нашей эпохой и нашей страной. Мы принесли на Запад раздражающую категоричность суждений, неуместную здесь открытость души, непривычно форсированный звук голоса. Иногда мы говорим громче, чем нужно, потому что нас не всегда хотят слушать».

Что имел в виду Виктор Борисович под «задором»?

Аркадий разрушил конвенцию, заключенную было во второй половине 50-х – начале 60-х годов между «прогрессивной» частью литературоведов – и властью и между ними же – и читателем. Эта конвенция заключалась в свою очередь в том, чтобы считать действенной и сохраняющей искусство конвенцию между советским писателем и советским читателем: читатель знал, чего он не может найти даже у лучших советских писателей – и не должен искать. Белинков в книге об Олеше (резко отмежевываясь его от таких поклонников его книги о Тынянове, каким был, например, Шкловский и другие литераторы близкого ему поколения) обнажил условность этих сложившихся связей – и стал оценивать творчество Олеши и его современников помимо них. Он обнажал остов литературных явлений – как бы и не замечая порой, что речь идет уже не о литературе, а о поведении человека в невиданных прежде условиях тоталитаризма.

Отечественная история литературы советского времени в те годы все еще находилась в зачаточном состоянии. Эпоха «оттепели», выгрузив на стол пишущих о литературе немало нового материала, после 1956-го года годного к печатному употреблению, породила вместе с тем немало новых литературоведческих мифов – одним из них был миф о «Гудке» как Афинах советской литературы 20-х годов, как инкубаторе талантов. Разрушение этого мифа – одна из историко-литературных заслуг автора книги об Олеше. В 20-е годы верили (точней, на время поверили), что литература обретается сегодня в малом жанре – либо прямо ориентированном на реальную ситуацию (газетный фельетон), либо работающем «под анекдот» (Зоценко). «Леф» вполне последовательно доказывал, что если исчезла прежняя роль русского писателя – роль властителя дум, теперь перешедшая к партии, то пишущие люди должны оставить романы и сосредоточиться на работе в газете, став прямыми и открытыми проводниками линии партии; в перспективе же все обучатся писать в газете, писатель как особая фигура исчезнет из социальной жизни. Если говорить о тенденции печатной словесности – они определили ее вполне точно, но говорили об этом откровенно в этом и было главное расхождение с официозом. Одна из главных черт тоталитаризма – не открывать своих истинных целей; официоз принял другую версию – оставить писательский цех как по видимости преемственный по отношению к привычной роли писателя в русском обществе, но только слушающий (по велению души) делу партии как делу народа. Эту писательскую роль стал разрабатывать оппонировавший Лефу Горький.

Газета была заведомо политизированным, в целом поставленным на службу советской власти учреждением. Само печатание в ней было отметкой о благонадежности, а работа в штате – как у Ильфа, Олеши, Булгакова – тем более. Говорить о том, что все они «выросли» из работы в газете, не гнушались даже и критики самые прогрессивные – они видели в этом вполне простительную уступку официозу, позволяющую маргиналам эпохи конца 30-х – начала 50-х годов занять достойное место во вновь устанавливающейся в эпоху «раннего реабилитанса» иерархии. Белинков разрушал и эту – новую – иерархию. Его книга развеивала предрассудок «работы в газете», как и ряд других.

Под «задором» Шкловский понимал, я думаю, и эмоцию ненависти. Ненависть Аркадия Белинкова к стране Советов была сосредоточенной и неутраченной-яростной. Можно без всякого преувеличения сказать, что она не покидала его ни на минуту. Он без конца искал новые и новые формы ее выражения, и особенности его работы способствовали этой непрерывности.

Он объяснял мне, что у него всегда в машинке – чистый лист бумаги. Как только ему – чем бы он в этот момент ни был занят – приходит в голову фраза, абзац, удачное выражение, он подходит к машинке, пропускает две чистые строки – и печатает этот кусок текста. Потом, в процессе уже последовательной работы, он разрезал эти листы и обдумывал, в какое место текущей работы годится тот или иной абзац.

Его перо истекало сарказмом – он был основным художественно-риторическим средством Белинкова. К тому же это был редкий, почти не встречавшийся в русской публицистике со времен Салтыкова-Щедрина темперамент. Концентрация яда в его устных и письменных текстах была немалой высока. Конечно, приходят на ум некоторые знаменитые русские журналисты, оказавшиеся после октябрьского переворота или поражения в гражданской войне вне России, но их накал ненависти и сарказма сохраняется на протяжении сравнительно узкого пространства фельетона; вспоминаются и отдельные страницы «Окаянных

дней» Бунина, но в них гораздо больше задыхающейся ненависти, чем изощренного сарказма. У Белинкова и ненависти, и сарказма хватает на сотни страниц.

Последняя его книга многословнее предшествующих. Она, увы, сокращена в настоящем издании едва ли не на 150–200 типографских страниц, но и то трудно поручиться, что каждый открывший ее дочитает до конца. Непрерывное на протяжении сотен страниц обличение так же может утомлять, как и прекраснотушие. Но многословие было уже необходимо автору; оно было производным от его вцепчивости, от неумолимости и детальности его ненависти к деспотизму. Он убеждает читателя, что деспотизм «надо ненавидеть непрерывно, неумолимо, неумолимо, и не отвлекаясь ничем (! – М.Ч.). Не исправляйте его и не старайтесь войти в положение, не пытайтесь понять, не стремитесь простить, посмотреть на него по-новому, переосмыслить и переоценить. /... / Необходимо пристально и пристрастно исследовать фашизм и его всемирные модификации, его пути и его героев, чтобы узнавать его под самым привлекательным именем». Не теряя запала и накала, он наступает на читателя, стремясь его убедить, что «если цветут фанатизм, ханжество, ненависть и самодовольство, если государство вмешивается в частную жизнь людей, если правит бесчеловечность, мстительность, сыск, кара и казни, если народу внушают надменную уверенность в превосходстве его над другими народами, то это фашизм, тирания, деспотизм и их надо ненавидеть страстно, самоотверженно, самозабвенно и не отвлекаясь ничем».

Но можно ли внушить самозабвение, можно ли принудить кого-то ненавидеть не отвлекаясь?.. Заметно было, что и в личном общении неумолимость ненависти Аркадия некоторых утомляла своей монотонностью. Вступая на зыбкую почву рассуждений о национальном (много-много лет назад Сергей Аверинцев на одной из своих лекций о средневековье на истфаке сказал, сокрушенно разведя руками, со своим особенным легким завыванием: «Национальный вопрос – это такой вопрос, где что ни ска-а-жешь, все будет глу-упость...»; ничего более верного об этом предмете я с тех пор так и не слышала), выскажу предположение о возможном национальном оттенке этой неумолимости и непримиримости. Русский человек чаще всего в конечном счете смиряется со злом, на долгую и упорную ненависть ко злу его не хватает.

Я не берусь оценивать, я только размышляю. Да, русский, в общем-то, все готов принять, как-то адаптировать – и самому адаптироваться, он все – даже самое ужасное – способен как-то умять в своих широких объятиях. Может, когда-то фермент непримиримости и содержался в нашей крови (Писарев, Салтыков-Щедрин – разве не русские это характеры в своей безудержности и неумолимости отрицания?), но постепенно оказался вымытым в результате ряда колоссального масштаба чисток – судить не берусь. Знаю только, что с того времени, как я познакомилась с Аркадием 574 и до сей поры, мне казалась его злость необходимым, дополняющим элементом к нашей «всемирной отзывчивости», к этому умению опадать как тесто, гениально изображенному Гончаровым. Наша российская ситуация все еще такова, что не очень-то поощряет к рассуждениям на эти темы, да и сами российские евреи больше всего не любят, чтобы их выделяли по каким бы то ни было признакам (они хорошо знают, что именно бывало связано с любым их выделением из общей среды сограждан). Но, может быть, стоит и здесь стать свободнее?.. Аркадий, во всяком случае, таких разговоров не боялся. Помню его решительные слова, обращенные к нам с А.П.Чудаковым:

- Ну, какие вы русские? Вы тоже евреи!
 - Я русский... – вяло, но твердо возразил Чудаков.
 - Евреи, евреи! Раз вы против этой власти – значит, евреи! Все русские интеллигенты – евреи!
- ...И все-таки его неумолимое презрение доплеснуло до наших дней.

Он писал о том, как всегда «появляются тучи защитников деспотической системы» – в эпохи, когда государство превращается в шайку преступников, связанных страхом за свои преступления^...) У ног этой шайки ползает бездарность различных специальностей, и она защищает шайку, хорошо понимая, что если придет другая шайка, или, что уж совсем катастрофично, у власти окажется демократическое государство, то она (эта бездарность) потеряет приобретенное убийством, предательством, лицемерием, унижением, бесчеловечностью, угодливостью, ханжеством, ложью и другими хлопотливыми способами благополучие».

Некоторые его строки и сегодня напрашиваются на цитирование: «Деспоты это такие люди, которым позволяют быть деспотами. Как только им перестают позволять, они становятся очень милыми людьми, а лучшие представители даже Демократами».

Дойдут ли до сегодняшнего читателя напоенные гневом строки, будут ли восприняты? Издание этой книги – социальный эксперимент. После ее выхода мы узнаем о сегодняшнем российском обществе что-то такое, что нам еще неизвестно. Быть может, читатель отпрянет от зрелища этой когда-то клубившейся и обжигавшей, а сегодня застывшей эмоции?

Эпиграф из Баратынского, избранный Тыняновым для романа «Смерть Вазир-Мухтара», по-видимому, любимого Белинковым и пристальным образом описанного им, может послужить предупреждением к чтению его книги, написанной более четверти века назад, в этой же самой и совсем другой стране:

Взгляни на лик холодный сей, Взгляни: в нем жизни нет; Но как на нем былых страстей Еще заметен след!

Так ярый ток, оледенев, Над бездною висит, Утратив прежний грозный рев, Храня движенья вид.

Мариэтта Чудакова

Смерть поэта

В ПОСЛЕДНИЕ годы жизни писатель начал понимать несправедливость и заслуженность своей печальной судьбы.

Он понял, что обречен, и понял, что сдача была губительной и бесплодной.

Вот что думал о своей судьбе этот слабый, добрый, талантливый, ничтожный, погибающий человек:

«...для меня нет никакого сомнения в том, что во мне все же живет некто мощный, некий атлет — вернее обломок атлета, торс без рук и ног, тяжело ворочающийся в моем теле и тем самым мучающий и меня и себя. Иногда мне удается услышать, что он говорит, я повторяю и люди считают, что я умный... Меня слушает Пастернак и, как замечаю я, с удовольствием. Он слушает меня, автора не больше как каких-нибудь двухсот страниц прозы; причем он розовеет и глаза у него блестят! Это тот гений, поломанная статуя ворочается во мне — в случайной моей оболочке, образуя вместе с ней результат какого-то странного и страшного колдовства, какую-то деталь мифа, из которого понять я смогу только одно — свою смерть».

Эти скорбные строки написаны после всего, перед смертью.

Медленно читаю я эти строки.

Горечь и соль на губах...

Человек сам, сам себя погубил. Ведь дал же ему Бог талант, не великий, но все-таки талант органический и своеобразный, дал ум, не широкий, но пронизывающий, дал наблюдательность, темперамент, ироничность, яркость. И все это он сам погубил, сам, из трусости, из грошового расчета, ничтожного Щеславия, из-за того, что не хватило сил устоять перед лавиной опасностей и ручейком соблазнов. Но ведь были же замечательные писатели, которые устояли. Выстояли же Ахматова, Мандельштам, Пастернак, Булгаков, не уступили, не соблазнились, не испугались. Юрий Олеся не был замечательным писателем. Он не только не сумел выстоять, но ему не за что было стоять.

И когда все рассыпалось, когда уже ничего не осталось когда развеялись концепция и надежда, тогда писатель снова и в последний раз вернулся к началам, к молекуле произведения, к элементу творчества, к разрозненным и расколотым частям мира, к тому, с чего начинается мировоззрение и искусство — к сосредоточенному разговору с самим собой. Я говорю о записной книжке писателя.

Олеся уходит от конфликта в болезнь, в воспоминания, в размышления о своей судьбе. Он пытается что-то понять, что-то написать.

Эта записная книжка теперь называется «Ни дня без строчки» и выдается за новый жанр.

Нового жанра не было.

Была та же записная книжка, но прежняя лишь начинала работу, а нынешняя издается как законченная.

Возвращение к записной книжке произошло из-за того, что ничего не осталось от концепции и надежды, а осталось лишь физиологическое отклонение от нормы, проявляющееся в страсти записывать все, что приходит в голову, попадает на пути, лезет в уши, торчит перед глазами, и без чего не может быть писателя, но чего недостаточно, чтобы быть писателем.

Превращение записной книжки, которую всю жизнь ведет каждый писатель, в книгу «Записная книжка» произошло не только из-за того, что Олеся не мог делать ничего другого, не только из-за безвыходности, в которую его загнали особенности писательской физиологии, болезнь, биография, но еще из-за того, что оно совпало с некоторыми социально-историческими событиями.

Это совпадение случайно, как всякое совпадение, но переосмысление незаконченной наброска в законченный жанр, печатание записной книжки как произведения литературы и возможность заинтересовать многих людей тем, что раньше считалось интересным только одному человеку — автору, возникает лишь при благоприятных внелитературных обстоятельствах.

Внелитературные обстоятельства воздействуют не только на литературу, но и на проблему всеобщего разоружения.

Что же касается искусства, то в живописи, например, они восстановили на некоторое время эскиз как самостоятельное и законченное произведение и стали немного теснить мундиры и колоннады. Со сцены они в некоторых случаях убрали подробности, мелочи. Например, русскую печь. В кино они позволили (иногда) появляться мужчинам в нечищеной обуви и женщинам без собольих боа.

Эти обстоятельства возродили жанр так называемой «лирической прозы».

Возникновение новых жанров особенно важно, потому что при этом происходит крушение и развенчание старых.

Все это связано отнюдь не с пустяками поэтики, а с катаклизмами истории.

Один из устойчивых пунктов социологии жанра состоит в том, что различные исторические обстоятельства не с одинаковой настойчивостью требуют большей или меньшей жанровой чистоты. Модуль чистоты всегда находится в соответствии со строгостью поэтики, которая сама, как легко понять, ничего не требует, а только повторяет распоряжения инстанций, непосредственно отношения к литературе не имеющих. Такова судьба нормативной поэтики, поскольку она становится заведующей художественной литературой: передавать распоряжения, служить на посылках. Нормативная поэтика не терпит жанрового паллиатива и неопределенности. Она требует, чтобы все было ясно: ода, гимн, дифирамб.

Непоколебимая непримиримость к нарушениям поэтического норматива привела к тому, что вне закона оказалось непомерно много такого, что можно было бы прекрасно приспособить к делу.

Было совершенно ясно, что возвращение в лоно сулит большую выгоду, в связи с чем отлучение было снято, и отныне велено было считать, что отринутое нормативу соответствует.

Норматив же был (всему миру известно!) один: реализм, понимаемый неисторично и безмерно узко или неисторично и безмерно широко.

Такое понимание привело к неожиданным и поражающим смещениям. Безмерно узкий реализм признавал только воспроизведение жизни в формах самой жизни, и на этом основании угрюмо не желал глядеть на «Гернику» и фрески Диего Ривера, читать Кафку и Ануйя, а также слушать музыку Хиндемита, Малера, Шенберга, Кшенека, а заодно и Стравинского.

Безмерно широко понятый реализм заявлял, что он не одно из художественных направлений, а столбовая дорога искусства, и, независимо от истории и здравого смысла, ему принадлежит «Илиада», «Нибелунги», «Божественная комедия», «Макбет», «ДонКихот», «Фауст», «Моцарти Сальери», «Двойник», «Темы и вариации», «Tristia», «Поэма Конца» и другие хорошие книжки. Из всего этого следует лишь одно: очевидно, хотя и говорить не о стиле, а о том, что реалистически произведения — это хорошие произведения, а нереалистические — плохие.

Из стилевой категории реализм превратился в оценку качества, в отметку за поведение.

Нормативная поэтика всегда возникает и становится особенно ожесточенной в эпохи беспощадного классицизма. В эпохи разложения стиля начинается безудержное падение нормативной империи, разрушение ее дворцов и замков, расцвет жанров, отвергавшихся в предшествующую эпоху как незаконнорожденные.

Лирическая проза проходит в брешь, пробитую в классицизме, в ампире некоторыми социально-историческими превращениями.

Но все это имеет отношение лишь к тому, что записная книжка Олеша оказалась напечатанной. К тому, что она была написана, это отношения не имеет.

Записная книжка была написана (если причастие «написана» может быть отнесено к записной книжке, которая не имеет начала и не имеет конца, которая пишется всегда) потому, что больше ничего Олеша написать не мог. И потому что больше ни на что Олеша не мог решиться.

Дальше писать только о том, что власть великого ума прекрасна, Олеша, не обладавший большой выносливостью, был не в состоянии. Ему нужно было хоть на несколько минут незаметно пробраться на зеленую лужайку, подышать...

В таких обстоятельствах записная книжка, не предназначенная для печати, обретает особенную sobлазнительность: в ней можно не писать, как прекрасно то, что так отвратительно.

Юрий Олеша был хорошо подготовлен к тому, чтобы перестать писать. Он был достаточно одаренным человеком, чтобы иметь право замолчать. Это понял и это сделал Бабель: перестал писать.

У каждого художника молчание всегда связано с тягчайшими обстоятельствами, с трагическими крушениями, и, если исследователя интересуют не только произведения, но и история литературы, он не может ограничиться анализом лишь того, что писатель написал.

Между «Тремя толстяками» и «Строгим юношей» лежат десять лет, и в эти десять лет были написаны все значительные вещи Олеша.

Двадцать шесть лет прожил Юрий Олеша после «Строгого юноши».

Об этих годах трудно писать из-за скверной литературоведческой привычки думать не о литературе и судьбе писателя, только о произведении.

С такой точки зрения говорить об этом двадцатилетии нет особенной необходимости, потому что лучшие произведения были написаны в предшествующие годы. Поэтому, если раньше речь шла о значительных явлениях искусства, то в этой главе говорится о другом.

Исследование судьбы писателя отличается от аннотированной библиографии тем, что в исследовании, кроме анализа произведений, есть попытка выяснить причины отсутствия их или причины, по которым вместо хороших произведений писатель пишет плохие.

Последняя книга Юрия Олеша «Ни дня без строчки» не была ни возрождением, ни обновлением.

Она была лишь продолжением одной из старых линий его книг.

Это была та же записная книжка, которая сопутствовала писателю всю жизнь, но которую в прошлом у него хватило сил превратить в роман, рассказ или драму, а теперь не хватило. «Ни дня без строчки» это то же, что ранние вещи, но с вытасненным из них хребтом мотивировок и без объединения материала концепцией, единством, сюжетом, героем и намерением.

Об этой вещи нужно говорить потому, что в ней оказались развиты темы и мотивы, которые при других обстоятельствах не были бы решающими.

«Ни дня без строчки» обнаружило в предшествующих произведениях то, что раньше не сосредоточивало внимания. То, что теперь стало единственным возможным, раньше прослушивалось как едва уловимый симптом, и, если бы через четверть века все не кончилось гибелью, было бы лишь одной из тем, естественным автобиографическим мотивом.

Но испуганный и заматавшийся художник разорвал единство, вне которого не существует художественное произведение, и это было неминуемо, потому что ложная концепция не может быть последовательной и связной, и не может это единство создать.

Дело не в том, что мотивы, темы и причины возникновения «Ни дня без строчки» появились очень рано, а в том, что Олеша очень рано стал опасаться, что этим он кончит.

Эти мотивы и темы появились в годы рассказов «Вишневой Косточки» — между «Завистью» и «Строгим юношей», — когда еще оставались возможность, право и желание выбора.

Некоторым из этих мотивов и тем удалось выстоять четверть века и оказаться последними.

Таким устойчивым мотивом, давшим название и объяснение последней вещи, была фраза «Ни дня без строчки».

«Обладание писательской техникой достигается ежедневным и систематическим — как служба — писанием» замечает Олеша в 1930 году.

Четверть века спустя эта мысль кажется ему единственно спасительной: если бы не она, не произошло бы превращения случайных записок в литературу.

Легкое и тревожное предчувствие, скользнувшее в молодости, становится настойчивой и требовательной темой, кажется единственным выходом, делается мотивировкой жанра.

Это произошло перед «Строгим юношей», когда глаза писателя на мгновение встретились с крутящейся в шаге от него смертью, когда он испугался, что каждая его строка может стать последней.

Он навсегда это запомнил. Прошли годы и он записал:

«Однажды я как-то по-особенному прислушался к старинному изречению о том, что ни одного дня не может быть у писателя без того, чтобы не написать хоть строчку. Я решил начать придерживаться этого правила и тут же написал первую «строчку». Получился небольшой и, как мне показалось, вполне законченный отрывок. Произошло это и на следующий день, и дальше день за днем я стал писать эти «строчки»».

Мотивировка «Ни дня без строчки» – технологическая, и поэтому (по представлениям, сложившимся в русской литературе или навязанным ей) за пределы частного дела писателя не выходит.

Слово «однажды», равнозначное в этом тексте слову «давно», вероятно, самое важное, потому что вводит мысль, которую можно принять за случайную, в русло длительных размышлений.

Юрий Олеша день за днем много лет после того, как уже перестал писать обычные художественные произведения (а так как его поэтика никогда не расходилась с традиционной, то настоящими он считал только обычные художественные произведения), начал делать дневниковые записи. Они отличаются от заметок из записной книжки тем, что в записную книжку попадают заготовки для возможного использования в будущем художественном произведении, а записная книжка Юрия Олеши становилась самостоятельным произведением, потому что другого создать он не мог.

В монтаже «Нидня без строчки», сделанном Виктором Шкловским после смерти Олеши, там, где представлялась хоть какая-нибудь возможность, автор монтажа помогал автору текста выбраться из записной книжки, из частного дела.

Виктор Шкловский монтирует записи разных времен так, что они следуют одна за другой, как главы романа. Для того чтобы иллюзия была полной, он, «подготавливая эти записи к печати... дал заголовки к тем наброскам, которые их не имели».

Вот как выглядит такой монтаж:

«НАЧАЛО...»

Мне кажется, что единственное произведение, которое я могу написать в качестве нужного людям произведения, – это книга о моей собственной жизни.

СЛУХ О ТОМ, ЧТО Я НАПИСАЛ АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ РОМАН.

В прошлом году распространился слух, что я написал автобиографический роман...

Очевидно, хотят, чтобы я написал, если верят в слух, который сами распространяют. Может быть, нужно написать, если этого хотят современники?..

Попробовать?

Часовой магазин Иосифа Баржанского.

Часы над улицей.

Стрелки мне кажутся величиной с весла... (Отточие автора. – А. Б.).

ТЕНЬ РЫСАКА.

Я родился в 1899 году в городе Елисаветграде...»

Виктор Шкловский после того, как стал, наконец, писать хорошие, настоящие книги, чего от него и добивались, не понял, не захотел понять, что «Ни дня без строчки» все из отрывков не потому, что Олеша не успел закончить вещь, привести ее в порядок, а потому, что Олеша не мог написать законченную, приведенную в порядок вещь.

Самое поражающее в этом непонимании то, что в годы, когда Олеша писал свои лучшие вещи, далекие от записной книжки, Шкловский с ожесточением, блеском и правом на победу настаивал на разрушении канонических жанров, далеких от записной книжки.

Юрий Олеша писал записную книжку, а Виктор Шкловский старается сделать из нее традиционное «художественное произведение».

А вместе с тем Виктор Шкловский знал, что этого не следует делать. И о том, как это бывает нехорошо, рассказал сам.

Вот что рассказал Виктор Шкловский в годы, когда и он, и Юрий Олеша писали свои лучшие книги, и когда он, Виктор Шкловский, не хвалил не очень хорошие книги Юрия Олеши а ругал его очень хорошие книги:

«Человек, назначенный заведующим одного кино- предприятия, на первом прочитанном сценарии (Левидова) напал на следующую резолюцию: «Читал всю ночь. Ничего не понял. Все из кусочков. Отклонить»».

В отличие от человека, назначенного заведующим кино- предприятием, Виктор Шкловский настойчиво рекомендует принять. Но чтобы не было все из кусочков, а в виде художественного произведения.

Многие записи из «Ни дня без строчки» повторяют мотивы темы, образы, предметы, героев прежних произведений писателя. Иногда почти точно.

Вот начальная запись «Ни дня без строчки».

«Я родился в 1899 году в городе Елисаветграде, который теперь называется Кировоград... Прожил в нем только несколько младенческих лет, после которых оказался живущим уже в Одессе, куда переехали родители. Значительно позже, уже юношей, я побывал в Елисаветграде...»

О моем отце я знал, что он был когда-то, до моего рождения, помещиком...

Мой отец, проигравший вместе с братом довольно большие деньги, вырученные от продажи имения, служил потом акцизным чиновником... Он получал небольшое жалованье, но продолжал играть в карты,

поскольку еще оставались суммы от продажи имени... Быстро окончившееся богатство сказывалось также и в том, что у нас был выездной рысак, черный, с белым пятном на лбу...

Мы поляки и католики. Отец... пьет, играет в карты. Он — в клубе...

Общее мнение, что папе нельзя пить: на него это дурно действует...»

Обо всем этом уже было рассказано четверть века раньше в художественных произведениях «В мире», «Я смотрю в прошлое» и «Человеческий материал».

«Я родился в городе Елисаветграде — некогда Херсонской губернии...

Позже узнал, что в то время у нас был собственный выезд, имелся вороной рысак с белым пятном на лбу...

Папа служил от акциза на водочном заводе.

Лет восемнадцати я побывал в Елисаветграде...

Когда мне было три года, семья переехала в Одессу...»

«Папа играл в карты, возвращался на рассвете, днем спал. Он был акцизным чиновником... Главное было — клуб, игра, он чаще проигрывал; известно было: папе не везет...»

«Мой папа акцизный чиновник, обедневший дворянин, картежник. Мы бедны, но принадлежим к порядочному кругу...»

Кажется, ничего существенного не происходит: автобиографические рассказы 1928, 1930 годов, автобиографический рассказ, написанный четверть века спустя.

Разница лишь в подробностях. Одни подробности сохраняются, другие исчезают, третьи приходят...

Дело не в подробностях, и рассказы 1928 и 1930 годов совсем не то, что рассказ, написанный четверть века спустя.

Ранние рассказы — это произведения, в которых уже начиналась сдача, но еще было несогласие, был протест, были сомнения и поиск.

В позднем рассказе ничего этого нет.

Так же, как в рассказе «Мы в центре города» в сравнении с хлебниковским «Зверинцем» нет обобщения, нет спрятанных прекрасных возможностей, нет поражающего открытия, из-за которого написано художественное произведение, так и в позднем автобиографическом рассказе нет ничего, кроме рассказа о своей жизни.

Поздний рассказ — несущественен. В нем нет значительных художественных идей, какие были в ранних рассказах.

В ранних рассказах были значительные художественные идеи.

«Я вхожу в гостиную, чтобы приветствовать господина Ковалевского. Я иду, маленький, согбенный, ушастый, — иду между собственных ушей... Гость протягивает мне руку, которая кажется мне пестрой, как курица...»

«Впервые в жизни вошло в мой мозг знание о Дон Кихоте, вошел образ человека, созданный другим человеком, вошло бессмертие в том виде, в каком оно возможно на земле. Я стал частицей этого бессмертия: я стал мыслить...

Быть может, можно разделить мужские характеры на две категории: одну составят те, которые слагались под влиянием сыновней любви, другую — те, которыми управляла жажда освобождения, тайная, несознаваемая жажда, внезапно во сне принимающая вид постыдного события, когда человека обнажают и разглядывают обнаженного...

Так начинаются поиски: отца, родины, профессии, талисмана, который может оказаться славой или властью...»

Прошло четверть века и Олеша вернулся к записи, к заметке, к тому, из чего, может быть, удастся сделать художественное произведение.

Олеша возвращается к элементарному, первичному, к ТОМУ что делает человек, когда он готовит материал для художественного произведения и готовится стать художником, или когда он уже не художник.

Он уже ничего не может сказать нового; он может только воспроизводить старое.

Об этом говорит академик А. В. Снежневский: под влиянием некоторых обстоятельств «...внешний мир перестает быть источником новых переживаний, он становится лишь причиной репродукции старых и из числа наиболее привычных. Последнее приводит к ложному восприятию окружающей обстановки, лиц, событий...»

Возвращение к записной книжке произошло не потому, что материал искал жанрового эквивалента, но потому, что у писателя не было иной возможности.

Эта безвыходность, эта вынужденность заставляет думать, главным образом, не о литературных источниках последнего произведения Юрия Олеши.

Источники «Ни дня без строчки» не литературные, как ни соблазнительно видеть их в «Притчах Соломона», «Экклезиасте», «Коране», «Панчатантре», «Максимах» Ларошфуко, «Западно-восточном диване» («Книгаизречений», «Книгапритч») Гете, «Мыслях и афоризмах» Гейне, «Записных книжках» Вяземского, «Дневнике писателя» Достоевского.

Происхождение записной книжки Олеши иное, чем записной книжки Чехова. Чехов в отличие от Олеши делал записи между прочим, между художественными произведениями и без намерения сделать эти записи художественными произведениями. Записная книжка Чехова — чаще всего памяти а я книжка. Она пишется только для себя. Так же далека Олеше и «Записная книжка» Ильфа. В этой записной книжке абсолютно преобладают заготовки. Это то, что еще не попало в книгу или уже не попало, осталось в вариантах, в других редакциях написанной книги.

Если связь «Ни дня без строчки» с «Притчами Соломона», несмотря на разительное, прямо-таки убийственное сходство, представляется все же более или менее проблематичной, а некоторым может показаться даже натянутой, то близость произведения Олеши «Гамбургскому счету» и «Третьей фабрике» Шкловского выглядит гораздо более неоспоримой.

Но в то же время и эта конвергенция не имеет под собой твердой компаративной почвы и не только потому, что Олеша, делая свои «строчки», думал о «Гамбургском счете» не больше, чем о царе Соломоне (что, разумеется, не имеет никакого значения), а потому, что у вещей Олеши и Шкловского разное происхождение и разные задачи.

В эпоху, когда возникало новое искусство и еще не всем было ясно, что его ждет, одним из самых продуктивных путей было превращение нелитературы в литературу. Этим долго и с поразительными результатами занимался Виктор Шкловский. Он писал: «Розанов ввел в литературу новые кухонные темы. Семейные темы вводились раньше; Шарлотта в «Вертере», режущая хлеб, для своего времени была явлением революционным, как и имя Татьяны в пушкинском романе, — но семейности, ватного одеяла, кухни и ее запаха (вне сатирической оценки) в литературе не было».

«Чтобы показать сознательность домашности как приема у Розанова, обращу внимание на одну графическую деталь его книг. Вы, наверное, помните семейные карточки, вклеенные в оба короба розановских «Опавших листьев»... Эти карточки производят странное, необычное впечатление. Если приглядеться к ним пристально, то станет ясной причина этого впечатления: карточки напечатаны без бордюра, не так, как обычно печатаются иллюстрации в книгах... это... производит впечатление не книжной иллюстрации, а подлинной фотографии, вклеенной или вложенной в книгу. Сознательность этого образа воспроизведения доказывается тем, что таким способом воспроизведены только некоторые семейные фотографии, иллюстрации же служебного типа напечатаны обычным способом с оставлением полей».

Виктор Шкловский с неподозреваемой для такой полнаки, как литературоведение, точностью устанавливает закон превращения внелитературных явлений в литературу. Ему удалось показать неостанавливающийся процесс включения в признанную эстетическую систему элементов, подвергавшихся дискриминации в предшествующую художественную эпоху, и изгнание из признанной литературы в литературу второго сорта элементов, которые займут подобающее место в иное время.

Для Юрия Олеши все это не имеет значения.

Все это не имеет значения просто потому, что Шкловский и он говорят о разных вещах.

Закон, установленный Шкловским, имеет отношение только к литературному ряду. Он не распространяется за пределы произведения и не объясняет причин возникновения литературного явления. (Имеется в виду именно этот закон, а отнюдь не вся система Шкловского, которая объясняет много больше чем иные привычно думают. Я говорю, конечно, о работах написанных в 20-х годах.) Изучение текста Юрия Олеши по закону Шкловского представляет несомненный интерес и может быть плодотворным, но ведь речь идет не об изучении текста Олеши, а об исторических и психологических причинах возникновения этого текста.

Виктор Шкловский читал всю ночь (и, наверное, даже не один, а вместе с родными и близкими), но, к сожалению, не понял, забыл то, что в эпоху «Зависти» и «Гамбургского счета» хорошо знал: произведение может быть все из кусочков и быть при этом очень хорошим.

Дело не в том, что один жанр хуже или лучше другого, а в том, что могут быть худшие и лучшие обстоятельства, толкающие художника к тому или другому жанру, и оценка самим художником своего жанра.

Юрий Олеша не высоко ценил свой поздний жанр. Он понимал то, чего не понял, или то, что забыл Виктор Шкловский. Он понимал, что его вынудили к записной книжке безвыходность, беспомощность и отчаяние, а не борьба за новые достижения в поэтике.

Он делал вид, что это роман, потому что он делал вид, что ничего не произошло.

«Ни дня без строчки» не имеют отношения к «Гамбургскому счету», потому что в произведении Олеши нет литературной задачи. Эти записи делались в другую эпоху, когда традиция «Гамбургского счета» была пресечена. Аспект исследования этой книги, мне кажется, должен быть в первую очередь не литературный, а исторический и психологический. Литературное произведение «Ни дня без строчки» происходит не из литературы, а из истории русской общественной мысли. И фотографические карточки своей жизни без бордюра Юрий Олеша вклеивает или вкладывает в книгу не с намерением показать прием. Юрий Олеша пишет «Ни дня без строчки» — нечто неопределенное по жанру и из-за этого (особенно в годы, когда он писал) сомнительное, — потому что не может написать бесспорного, обыкновенного художественного произведения. Потому что произошла непоправимая беда. Об этой беде Юрии Олеша говорит сам:

«Как мне помнится, я мог провести прямую черту, как вертикальную, так и горизонтальную, по бумаге карандашом или пером без линейки. Она была всякий раз абсолютно прямой и абсолютно параллельной как нижней стороне листа, так и боковой...

Это была юность, сила и будущее.

Теперь я не могу даже провести прямой мысли, как явствует из этого отрывка».

Единственная прямая, настойчивая, сквозная линия последней книги Юрия Олеши такова:

«Итак, я совершенно утратил способность писать... Я сочиняю отдельные строчки. Это возможно, когда человек пишет стихи — проза, статья, драма — так не могут быть создаваемы. Я не сочиняю, размахиваясь вперед, а пишу, как бы оглядываясь назад, — не сочиняю, штрихую, строя, соображая, а вспоминаю: как будто то, что я только собираюсь написать, уже было написано. Было написано, потом как бы рассыпалось и

я хочу это собрать — осколки опять в целое. Словом, или надо развязать, как говорится, комплекс, или надо кончать дело».

«...внешний мир перестает быть источником новых переживаний, он становится лишь причиной репродукции старых...»

«Ни дня без строчки» в отличие от произведений-предшественников, не замышлялось как жанр. Это не было сознательным, обдуманым, задуманным литературным поступком. «Ни дня без строчки» родилось не как художественное создание. Книга возникла из-за невозможности, из-за бессилия написать другую, обыкновенную, настоящую книгу с героями, сюжетом, завязкой, развязкой...

«Жизнь — без начала и конца...», «случай», «случайные черты»...

Так складывается, так случилось последнее произведение Юрия Олеши.

В нем нет конструкции, нет замысла, единства, которое иногда образуется сюжетом, иногда героями, иногда темой, материалом, и всегда — последовательным единством главного героя всякого произведения искусства — автором.

Ни одно значительное произведение Юрия Олеши не было закончено, потому что разорванность и непоследовательность его концепции и его взаимоотношений с миром нарушали единство произведения и естественное завершение его. Писатель завершал произведение не концом, а сводил хоть как-нибудь концы с концами.

Отличие «Ни дня без строчки» от других книг Олеши в том, что у этой книги нет не только конца, но и начала.

Бессвязность и противоречивость представлений о взаимоотношениях человека и общества вызвали эту текучесть, эту незаконченность, отсутствие точки отсчета.

«Книга возникла в результате убеждения автора, что он должен писать...»

...ни одного дня не может быть у писателя без того, чтобы написать хоть строчку».

Он стал писать чуть ли не каждый день. Почти каждый день он садился за стол и писал. Это было открытием, которое может не произвести особенного впечатления на людей, привыкших к обычной ежедневной работе, но неожиданное и удивительное для человека с неустойчивой психической организацией.

Все это было так важно, потому что без особенных осложнений заменяло безнадежные (он это хорошо понимал) поиски простым технологическим приемом. Распад личности приостанавливался выполнением несложной обязанности.

Ему нужно было выполненное задание, нужна была опора, чтобы не упасть, простая и близкая цель, осязаемая, реально достижимая, законченный кусок, не беспредельное, необозримое пространство романа, в котором ничего не различимо, темно, страшно.

Так дотягивал умиравший, все понявший Есенин. Я видел клочки бумаги, неровные квадратики, на которых были написаны рифмы: поэту нужно было хоть что-нибудь, — игра, буриме, чтобы зацепиться и протянуть строчку между двумя опорами. Хоть что-нибудь, чтобы заполнить пустое пространство, не сорваться, повиснуть на последних выступлениях жизни.

Юрий Олеша протягивал строку между двумя точками: надеждой и отчаянием. Медленно и неуверенно тянутся дни, строчки.

В напряженной атмосфере ожидания олешинской строчки раздавались тревожные голоса: — Пишет? Ну как? Еще одна фраза? А ты закончил? — Какую? — Господи! Какую!.. «В этот удивительный, обрызганный солнцем день...»

Люди сведущие перечисляли множество произведений Юрия Олеши, над которыми он работал и которые так и не завершил. Ничего особенного в этой незавершенности люди сведущие не обнаруживали: каждый человек уходит, что-то не закончив, не завершив. Ну, не успел человек. Все чего-нибудь не успевают. Толстой умер в восемьдесят два года и то не успел. Гете в восемьдесят три, Вольтер в восемьдесят четыре и вообще еще не приступил. Ну, некогда было. А тут еще «Националы». Вот написал «Три толстяка», «Зависть», потом некогда стало. У каждого человека по-своему развивается его творческий путь.

Сведущие люди не обнаружили в этой незавершенности безнадежность и безвыходность «Ни дня без строчки», попытку ускользнуть от сложных вещей в жанр с особенностями.

Он сам считал, что его книга «это роман», другие считали, что, вероятно, она стала бы «романом духовной жизни писателя», что она «является и биографией писателя, и романом о его времени», что «превосходные «миниатюры»... были не просто разрозненными отрывками, а звеньями одной цепи... Олеша поработал много таких «звеньев», но не успел соединить в целое...».

Увы, «Ни дня без строчки» это не роман, это роман, который не вышел, о котором писатель, мечась в отчаянии, мечтал, умолял и который не мог выйти.

Что же вышло? Строчки, отрывки. Иногда прекрасные, иногда незначительные. Жизнь день за днем, смутная надежда, физиологическая потребность писать, привычка писать, страх оттого, что уже не может писать, ни дня без строчки. Человеку, который когда-то (в те далекие времена, когда были искренность, смелость, концепция, надежда и разрешение) мог хорошо писать, растерявшему все и согласившемуся на все, ничего не осталось. А когда ничего не остается, то человек усаживается на скамеечку у памятника Пушкину и ведет литературные разговоры. Книга Юрия Олеши «Ни дня без строчки» это разговоры на скамеечке. Иногда они очень интересны, иногда не очень. Но к роману они отношения не имеют. Так как Олеша и его коллеги начиная с 30-х годов стали уверять, что роман лучше разговоров, то я должен заявить, что спорю с ними, а не с собой: я уж никак не настаиваю на том, что роман всегда лучше. Роман может быть лучше разговоров только в одном случае: когда он значительнее разговоров. Никаких иных преимуществ у одного жанра перед другим нет. «Table-talk» Пушкина, дневники братьев Гонкур и Ренара, записные книжки

Чехова и Блока, «Путевые картины» Гейне не лучше и не хуже стихотворений, поэм, рассказов, драм и романов этих писателей. Это великие произведения, потому что они написаны людьми, которым было что сказать другим людям.

Для романа или другого законченного произведения нужна концепция, или если ее уже нет, то бесстрашие: сказать об этом, писать о себе, погибающем, падающем, цепляющемся за жизнь, задыхающемся, окровавленном человеке. И это тоже концепция.

Но Юрий Олеша слушать не хотел о бесстрашии сопротивления и понятия не имел о том, что после сдачи наступает гибель.

Не очень значительный человек, не обладавший бесстрашием, не мог написать роман и не мог вести значительный разговор. Но, не уставая, он искал оправдания тому, что не в состоянии создать великое произведение. Скрепя сердце он соглашался на листки из записной книжки, зная, что отрывки, строчки, дневниковые записи имеют право не каждый раз разрешать Мир. И поэтому мы не можем без глубокого уважения относиться к человеку, самая большая и главная книга которого заканчивается такими словами:

«Пусть же фотолюбители работают много, стараясь работать хорошо, разнообразно, запечатлевая людей, их быт, их труд, их путь к светлomu будущему среди событий, среди природы, среди их великой истории».

Эти строчки Юрия Олеши останутся для вечности. Если, конечно, вечность будет советской.

Писатель становился старше, мудрее и качественнее, и поэтому стал писать, идя навстречу пожеланиям трудящихся.

Таким образом, следует отметить, что в высшей степени серьезный разговор с Историей, Вселенной, Богом и Человечеством, который некогда вела великая литература, заканчивается на наших глазах пламенным призывом повышать качество выпускаемой продукции.

«Ни дня без строчки» — книга симптоматичная, сложная и безответственная. О ней трудно говорить, потому что автор оставил нам «груды папок», из которых люди, считающие, что они делают правильно, взяли лучшие, по их мнению, куски и смонтировали эти куски правильным, по их мнению, способом.

Легко допустить, что другие люди отобрали бы иные куски и смонтировали бы их по-иному. Вероятно, они считали бы, что отбирают и монтируют наилучшим образом.

Я не хочу сказать, что вариант, который могли бы сделать другие люди наилучшим образом, был бы прекраснее того, который сделали люди, считающие, что они делают правильным способом. Я хочу лишь сказать, что ни для кого не обязательны заверения в том, что нам предлагают самый верный и замечательный вариант.

Этими оговорками я ни в какой мере не хочу умалить значение работы составителей. Можно спорить о принципах, которые были положены в основу составления, но то, что они сделали, несомненно, имеет огромное значение. Самое главное то, что они опубликовали много новых, ранее неизвестных текстов и решительно улучшили прижизненные публикации.

Так, например, в 1956 году Юрий Олеша напечатал отрывок о Делакруа.

Это был прекрасный отрывок, но чувствовалось, что ему явно чего-то не доставало.

В отдельном издании «Ни дня без строчки», — вышедшем после смерти автора, — составители восполняют пробел:

«Мне кажется, что советскому читателю следовало бы прочесть «Дневник» Делакруа...»

Можно сказать, что составители сделали все, что было в человеческих силах, чтобы дать людям подлинного Юрия Олешу, понимая, как иной раз Юрий Олеша обкрадывал самого себя и советского читателя.

Разные годы, разные люди и разные органы печати отбирали разные вещи. И сам Юрий Олеша всегда стремился создать такие художественные ценности, которые подходили бы всем и всегда.

Это было тонко уловлено составителями.

Я останавливаюсь на их работе подробно и вызывающе, потому что стараюсь понять гораздо более серьезные вещи, нежели отбор вариантов и расположение отрывков.

Я стараюсь понять, почему была написана книга «Ни дня без строчки», а не другая, та, которую Юрий Олеша хотел написать, почему Юрий

Олеша не закончил эту книгу, почему и именно так ее закончили другие, почему эта книга оказалась хуже ранних книг Юрия Олеши и почему она оказалась лучше всего написанного им после книг, имевших значение для русской литературы.

Самое удручающее это то, что все мы ошиблись.

Мы думали, что Юрий Олеша переживал трагедию, крушение, что он писал разбегающиеся во все стороны скорбные строчки, что жизнь его была полна тягчайших противоречий и горчайших утрат.

Теперь мы знаем, что ничего подобного не было.

Оказалось, что Юрий Олеша (не будем лакировать действительность) просто вел неправильный образ жизни, маленько ленился: вместо того чтобы взять себя в руки, немножко посидеть и привести в порядок свои бумажки, аккуратно их переписать, сложить и отнести в издательство, он предпочитал заниматься всякими другими делами, пренебрегая выполнением возложенных на него обязанностей. Обязанности же эти были совсем простыми.

Лучший знаток творчества Юрия Олеши и его круга Виктор Шкловский не поленился, сел за «груды папок, полных вариантами книги «Ни дня без строчки»... Жена писателя... (тоже не из ленивого десятка. — А. Б.) датировала куски новой книги по событиям, описанных в них» и — готово дело. Получилась толстая, настоящая книга, а не какие-то отрывочки.

Так как Виктор Шкловский убедился, что писать толстые, настоящие книги гораздо лучше, чем ненастоящие, составленные не из глав или там частей, а из каких-то кусочков, он сделал то, что не мог

сделать Олеша: Виктор Шкловский делает Олеше толстую, настоящую книгу. Вдова писателя и другие члены семьи покойного должны быть за это Шкловскому очень благодарны.

Для того чтобы сделать такую книгу, пришлось много поработать. «Среди разрозненных фрагментов и кусков надо было уловить замысел книги, понять последовательность частей, внутреннюю связь образов...»

Следом за этим слово предоставляется Ю. К. Олеше, которого В. Б. Шкловский всю жизнь учил, как надо писать и, наконец, выучил.

Выученный Олеша заявляет:

«Книга возникла в результате убеждения автора, что он должен писать... Хотя и не умеет писать так, как пишут остальные».

Итак, выяснилось, наконец, что мы все ошиблись. Мы думали, что Юрий Олеша переживал ужасающую трагедию, что он писал разбегающиеся, как трусы при приближении опасности, строчки, а оказывается, ничего подобного. Если за дело взяться серьезно и долго разбирать рукописи, прибегая к помощи вдовы писателя, которая может датировать все, что угодно, то будет полный порядок: книга получится толстой и настоящей, имеющей большой тираж и оглушительный успех.

Я думаю, что в толстой и настоящей книге, которую мы получили, замысел уловлен не был, последовательность частей оказалась нарушена и внутренняя связь образов осталась непонятной.

Трагедия Олеша не была исправлена Виктором Шкловским и вдовой писателя.

Писатель умер. Осталось очень много папок, которые лежали на столах, стояли на этажерке, а некоторые даже валялись под кроватью. В них были фрагменты и куски. Все это Виктору Шкловскому очень, очень не нравилось. Но опытейший писатель знает, что когда много папок, а в папках много фрагментов и кусков, то их можно складывать разными способами и в конце концов сложить в одну или другую систему. Вот когда фрагментов и кусков мало, тогда уже ничего не сделаешь.

Виктор Шкловский берет папки, вытаскивает из них фрагменты и куски и складывает их без какой бы то ни было претензии на внутреннюю связь, делая лишь что-то вроде обрамления.

Потом снова берет папки, достает из них фрагменты и куски и складывает иначе:

«Детство. Одесса. Золотая полка («это та, на которую ставятся любимые книги»). Удивительный перекресток («...на углу Лаврушинского переулка... Целый отряд советского народа идет в "Третьяковку"...»)

В первом случае мы получаем книгу, которая называется «Ни дня без строки», во втором случае — «Ни дня без строчки».

Первая книга, напечатанная в журнале «Октябрь», кончается так:

«Визит Хрущева во Францию, безусловно, вселил в душу простых французов надежду на то, что война никогда не будет развязана.

Призрак войны теперь не так близко будет стоять за их окнами. Теперь они могут даже увидеть во сне Хрущева, наливающего им из кувшина доброе молоко или веселое вино».

Вторая, напечатанная не в журнале «Октябрь», так:

«Надо написать книгу о прощании с миром...»

Что же это — солнце? Ничего не было в моей человеческой жизни, что обходилось бы без участия солнца, как фактического, так и скрытого, как реального, так и метафорического. Что бы я ни сделал, куда бы я ни шел, во сне ли, бодрствуя, в темноте, юным, старым, — я всегда был на кончике луча»

Это не вполне ясное место исследователи толкуют по-разному.

Наиболее распространенное мнение выразил В. Перцов: «во всем, что он (Ю. Олеша. — А. Б.) ни делал, он «всегда был на кончике луча»».

Мне кажется, что гипотеза авторитетнейшего исследователя, при всей ее соблазнительной убедительности, страдает некоторой абстрактностью и излишней обобщенностью.

Убедившись в невозможности понять это сложное образное сооружение локально, вне широкого социально-экономического контекста и исторических особенностей развития русского интеллигента, я попытался связать генетику этого сооружения с развитием творчества, биографией и психологическими свойствами писателя. Это оказалось, как мне представляется, весьма плодотворным путем, следуя по которому (опуская частности), я обнаружил весьма непосредственный источник. Мне представляется самым правильным сосредоточить дальнейшие поиски вокруг знамени прогресса и криолины в связи с тем обстоятельством, что главное в изучаемом тексте, это характер расположения солнечного луча и Юрия Олеша, то есть тем, что было раньше: солнечный луч или Юрий Олеша.

Многие из записей, составляющих пять почтенных и академических разделов окончательного варианта книги, печатались раньше в других сочетаниях. Может быть, те, другие, сочетания были более правильными, может быть, более правильны эти. Вряд ли эта тайна когда-нибудь будет разгадана.

Пока, мне кажется, можно со всей определенностью сказать только о том, что неправильно. Неправильна попытка сделать обычную книгу из строк человека, который по многим обстоятельствам не умел «писать так, как пишут остальные».

Юрий Олеша боится, что написал что-то такое... второй сорт. Записочки, отрывочки... Он же знает, что это не то. То — это роман. Вот Катаев — это роман, это есть о чем говорить. Вместе же пацанами на Молдаванку бегали. А у кого отметки были лучше? А стихи? У кого была более тонкая душевная организация? А метафоры? Даже говорить не о чем. А теперь Катаев поди-ка... Фу-ты... ну-ты!.. Не подходи! Собрание сочинений, дача, машина... Э-эх... Все сам, все сам... Во всем сам виноват, идиот несчастный. Допустил ошибку. Будь она проклята, эта ошибка. Всю жизнь испортила. Очень нужны были эти его интеллигентские переживания в такую эпоху. Вы подумайте, в такое время, когда на ходу подметки рвут, когда один за

другим строятся такие заводы, такие домны, вместо того чтобы сразу шагнуть в ногу и давить всех, он делал вид, что переживает. Он, вы слышите меня? он, а не эпоха выбирает, он, вы слышите? думает — принимать советскую власть с оговорками или без оговорок. Вы понимаете? А надо было топтать напролом и еще с улицы орать: «Я первый, я, осади, пададь, я захватил!» Это же та же Молдаванка. Не хочешь жить по цуку? Ну и пес с тобой. Спустил в канализацию. Так тебе и надо, идиот несчастный.

Он оправдывает свою книгу, потому что сомневается в ней, не хочет ее, хочет другую книгу. «Писать можно начинать ни с чего... — уверяет он. — Все, что написано — интересно, если человеку есть что сказать... — и предлагает как равноценное: — если человек что-то когда-либо заметил».

О чем же книга «Ни дня без строчки»? О том, что человеку есть что сказать? Или о том, что человек что-то когда-либо заметил? Или, может быть, о том, что писать можно начинать ни с чего?

Олеша клянется, что «Ни дня без строчки» — «это роман», но так как он понимает, что «это» все-таки не совсем роман, то спешит прибавить: «Сюжет его заключается в том, что человек двигался вместе с историей».

То, что «роман», неверно, но и ничему особенно не мешает. Главное, конечно, не «роман», а то, что «человек двигался вместе с историей».

Так как история тех лет, когда двигался этот человек, была противоречива, то решающим приемом организации книги должно было стать противоречивое соединение ее частей.

(Все, что я скажу дальше, уже не имеет значения. Услышав о том, что противоречивость не преодолевается, а серьезно принимается во внимание, или еще пуще того — сознательно вводится, мои современники насторожатся: уж нет ли здесь парадокса и желания сказать что-нибудь такое оригинальное. Чуткими, подвижными носами уловив запах чего-то, по их мнению, похожего на парадокс, мои современники уже ничего больше слушать не могут.)

Противоречивость книги неминуемо возникает не из нарочитого столкновения враждующих друг с другом кусков, специально для этого вытасченных из разных папок, а из строжайше проведенного хронологического принципа организации материала. Единственный серьезный принцип организации всякого литературного материала, в том числе и в научном исследовании, это хронологический. Потому что связь «человек и время», конечно же, более органична, чем, например, «человек и жанр».

Но так как время, и особенно непоследовательное и противоречивое, всегда жаждет порядка, регламента и аккуратности, то Олеша, конечно, выполнить задание не мог. Виктор Шкловский, столь близкий Олеше социально-душевной пластичностью и в то же время значительно более исторически отзывчивый и чуткий, выполнил задание гораздо лучше. Виктор Шкловский с мягкой улыбкой отверг непоследовательность и противоречивость человека, который двигался вместе с непоследовательной и противоречивой историей, и сделал нечто аккуратное, полное порядка и регламента. Виктор Шкловский смог довести до конца то, что уже почти удалось Олеше, потому что никогда не имел собственных непоследовательности и противоречивости, которые были у Олеша, а имел те, которые требовал процесс исторического развития.

Хотя мы знаем, что «жена писателя... датировала куски... по событиям, описанным в них», но из этого вовсе не следует, что именно датировкой мотивирована последовательность кусков. Больше того, это определение опровергается тем, что книга разделена на тематические отделы.

Хорошо известно, что Олеша не писал в начале о детстве, а в конце об удивительном перекрестке. В связи с этим остается совершенно непонятным, зачем вообще было тратить драгоценное время и силы на датировку кусков.

Но оказалось, что все это еще более серьезно, чем представлялось сначала.

Дело в том, что «Ни дня без строчки» это не только не роман, что, сцепив зубы, еще удалось бы стерпеть, поскольку известно, что можно добиться мировой известности даже баснями, но и вообще нечто такое, что скорее следует называть дневником, или записной книжкой, или фрагментами, и еще многими другими словами, и что не удалось завершить.

Незавершенность книги никто не оспаривает, но все громко утверждают, что писатель ее не завершил, потому что не успел, и тихо, — потому что ленился.

С настойчивостью заговорщиков лучшие специалисты по творчеству Юрия Олеша и его круга, топая ногами, утверждают: не успел.

У нас нет никаких квитанций и других документов — воспоминаний соседки, мемуаров дворника дома, в котором писатель жил, рассказа девочки, проходившей мимо этого дома, и других авторитетных свидетельств, опровергающих или подтверждающих, что писатель действительно не успел. В то же время предположение не представляется чем-то совершенно фантастическим. Однако следует оговорить, что, употребляя выражение «не успел», я имею в виду не отсутствие времени для того, чтобы пронумеровать страницы, а отсутствие времени нужного, чтобы понять книгу, соединить фрагменты и куски волей, единством, намерением, личностью. Может быть, действительно, писатель не успел. Такие случаи наблюдались в истории литературы (Бальзак, Гоголь).

Внимательно изучая оставшиеся записи, мы обнаруживаем лишь, что среди них есть очень хорошие и не очень хорошие.

Ничего, что связало бы их волей писателя, единством, серьезным намерением, личностью автора, мы не обнаруживаем.

Переходим ко второму вопросу.

Роль лентяя не раз привлекала к себе внимание историков, но до сих пор была освещена недостаточно глубоко. Это связано с тем, что основные труды по интересующему нас вопросу принадлежат буржуазно-

дворянским историкам, преимущественно реакционно- космополитического или либерально- патриотического лагеря.

Только прогрессивным историкам удалось установить, что значение лени в истории русской культуры сильно преувеличено, и, кроме единичного случая, связанного с деятельностью И. А. Крылова, создавшего, как известно, всего двести четырнадцать басен, пятьдесят восемь стихотворений, а также пьесы в стихах и прозе, критические статьи и очерки, что сравнительно с personalia Н. Шпанова совершенно ничтожно, не является характерным.

Но я не считаю, что академическое и подлинно научное изучение лентяев в истории русской культуры должно быть исключено в качестве самостоятельной дисциплины и что оно не могло бы начаться как раз с Ю. К. Олеси. Впрочем, это уже бескрайняя социально- психологическая тема, и я могу позволить себе коснуться лишь ее литературоведческого краешка.

Отчего же заленился Юрий Олеша?

Он не закончил свою последнюю книгу, потому что в ней чего-то не было, чего-то не хватало, что-то было не то, ну как бы это объяснить? Он никак не мог понять, в чем дело, но чувствовал, что какое-то колесико или там двойной пентод- триод 6 Ф 1 П все-таки забарахлил. Он не понимал, что случилось, думал, что не понимает. В некоторых случаях он останавливался посреди комнаты и выразительно разводил руками. Один раз. Потом, подумав, еще раз. Охотно рассказывал, что старается понять, но не может. Обращался к специалистам. Специалисты говорили: композиция. Другие говорили: архитектурника. В конце концов было установлено, что нужно особенно сосредоточиться на следующем: ритм, темп, психологизм, неологизм, система образов, эвфония. Да, да... эвфония. Все было бы хорошо, если бы не эвфония. Эвфонии не хватает. Может быть, действительно, эвфонии не хватает? Он стоял посреди комнаты. Перед ним была распахнута балконная дверь, было высокое с многоэтажными облаками небо, потом широкая голубая полоса, крыши многоэтажных домов, сбегали вниз в темный рот двора две суживающиеся цепочки окон по торцу дома, он не видел с такой высоты булыжник, как будто воткнутый носом в землю, только голые затылки вверх, нужно разбежаться, удариться грудью, какая там грудь, решетка до живота, да, но ведь это же все-таки он, его стиль, он не может сказать в таком контексте «животом», ну хорошо, хорошо, потом, грудью, вариант: бедром о чугунную решетку и падать, медленно крича, осторожно переворачиваясь в воздухе, можно узнать, что разбился, только по размозженной голове, красная большая, наверное, больше головы масса, мясо, плоская, а тело не видно, что разбилось, оно все в пиджаке и брюках, одна штанина подтянута к колену, по рубашке на груди веточка крови, лучше белую рубашку, рука должна быть неестественно подвернута, но сквозь кровавую массу проглядывает один глаз, сначала его не замечаешь, обязательно (надо записать) какая-нибудь деталь: портсигар, лежащий около глаза, отблеск на огромном глазном яблоке или записная книжка, нет, неинтересная фактура, лучше портсигар, на нем ослепительно сверкает солнце, вариант: часы, но тогда нужно карманные, сейчас не носят, монета, звеня и подпрыгивая, но ведь можно переделать эти куски, в чем же все-таки дело, в чем же все-таки дело, конечно, композиция, потом эвфония, Господи, уже ничего не будет, уже ничего не будет. Катаев, жизнь, сволочь, облака... Да, да, нужно обязательно записать.

Чего-то не было, чего-то не хватало.

Композиция была, ритм был, темп был, система образов, эвфония.

А вот чего-то не было.

Жизнь текла, просачивалась сквозь пальцы, расплзлась, не могла принять форму, устояться в жанре.

Знаете вы, как когда-то, в далекие времена делали сыр?

Я опускаю подробности технологии, проблему себестоимости, портреты, пейзажи, историю вопроса и оставляю только прозрачную аллегория и навязчивую параллель.

Представьте себе деревянный чан. Огромный деревянный чан с невысокими стенками, врытый в землю. В него наливают молоко и сыпят мелко рубленый бараний желудок – сычуг.

Но вот молоко налито, сычуг всыпан. По окружности чана начинают двигаться рабочие и длинными деревянными лопатками вращать молоко.

Ходят долго. Белая воронка скалится отблесками и кажется неподвижной.

Главное происходит вдруг: текучая бесформенная масса медленно густеет, задумчиво останавливается, начиная понимать, что произошло что-то непоправимое.

Тяжело дышит, вздрагивая ноздрями, уставший молодой сыр.

Все стало на место.

Лучшие специалисты думают, что смерть не дала замечательному писателю докрутить молоко. Рука с лопаткой безжизненно повисла над чаном высокого искусства...

Я думаю, что они ошибаются. Юрий Олеша крутил молоко трудолюбиво, долго и безнадежно.

Трагедия была в том, что все текло, расплзлось, что-то он вертел, туда, сюда, метался, все валилось из рук, он знал, что

сколько ни крутись, а роман не получишь, может быть, создать новый жанр? А?

Были папки, полные фрагментов и кусков, их можно было перекладывать, закручивать в неожиданные композиции, нужно только, чтобы это загустело, остановилось, приняло форму. Ничего не выходило. Опускались руки, в рот не лез кусок. Сыра не было.

Прокишшее молоко предательства и измены поблескивало, поплескивало, не густело. Унылыми плевками оно шлепалось на личность писателя, разрушая концепцию и надежду.

А крутил он трудолюбиво и долго. Ворочал тяжелые папки, переделывал фрагменты. У него были навыки, отличная техника, технология, мастерство, трудолюбие, усидчивость, умение владеть собой, привычка напряженно работать.

Все было; не было лишь одного: значительной личности. А без этого у художника самовыражения нет значительного искусства. Только из тщеславия, от ненасытной жажды успеха и зависти хорошие книги написать нельзя.

Многим его одарила природа. Не дала лишь бесстрашия. Бесстрашия написать, что лицемерие, трусость, уступки, попытки обмануть себя и других не принесли выгоды, что ничего из всего этого громоздкого дела не вышло, что произошло самое страшное, что может произойти с талантливым человеком, непоправимое, необратимое: он уже не только не мог издать то, что хотел, но он не мог ничего написать, что нельзя было бы издать.

Все было кончено.

Не было лишь сил признаться в том, что все кончено.

Он мог говорить все что угодно. И он говорил. Он говорил и писал то же, что говорили и писали другие. Не лучше и не хуже других. И все, что он делал, было не лучше и не хуже того, что делали другие незначительные люди. И другие люди были виноваты не больше и не меньше, чем Олеша. И оттого, что их было много, они не были виноваты меньше. И они говорили подлый и злобный вздор, потому что не понимали, что говорят, потому что бессмысленно верили в то, что их заставляют говорить, потому что боялись молчать, потому что им было выгодно это говорить.

Юрий Олеша был незначительным человеком, таким, как большинство людей, он был не хуже и не лучше их, и он повторял вместе с ними подлый и злобный вздор и потому, что не понимал, потому что верил, и потому что заставляли, и потому что боялся молчать, и потому что было выгодно говорить.

Он говорил:

«Те, кого сейчас судят, были прямой агентурой фашизма. Что можно сказать еще? Какая вина может быть еще более страшной? Эти люди воспитывали молодцов с револьверами. Им нужны были люди-маузеры.

В кого они должны были стрелять? В руководителей партии и правительства. Они покушались на Сталина. На великого человека, силы которого, гений, светлый дух устремлены на одну заботу — заботу о народе...

Мы, художники, должны особенно заклеить эту сволочь. Мы — связанные духом с великими художниками прошлого. Мы — наследники благородных, влюбленных в народ людей...

Люди, которых сейчас судят, вызывают омерзение. Особенно, когда думаешь о прекрасном народе Испании, который борется с фашизмом, об интернациональных бригадах. Особенно, когда думаешь о том, как ясен сейчас стал мир, когда говоришь себе: я принадлежу к прогрессивному человечеству.

Особенно, когда вспоминаешь волнение, которое испытывал перед радиорупором, слушая слова великого, спокойного, исполненного чувства правоты вождя...

Никто и ничто не помешает народу жить, побеждать, добиваться счастья! Все враги его будут уничтожены!»

Он все мог сказать. Только одного он не мог сказать никогда: что он пуст, нем, мертв.

Он поворачивался при большом стечении народа во все стороны, и солнце ослепительно переливалось на ярких перьях его метафор.

Когда человеку не хочется уходить (из жизни), он говорит, говорит, говорит без умолку, бегая по темам, предметам, людям, случаям, только чтобы еще немножко задержаться, подождать, как-нибудь отсрочить, еще несколько минут. «Это были очень вкусные штучки, вроде, я сказал бы, огурчиков из теста. Именно так...», «...как полноценны советские дети...», какая замечательная утка, она «вынырнула, отшвырнув движением головы такую горсть сверкающих капель, что даже трудно подыскать для них метафору». Но не такой человек Олеша, чтобы не подыскать для горсти капель или даже для целой утки метафору. И, конечно, сразу подыскивает. Пожалуйста: «Постойте-ка, постойте-ка, она, вынырнув, делает такие движения головой, чтобы стряхнуть воду, что кажется, утирается после купания всем небом!»

Пожалуйста! (раскланивается). А вы, наверно, сомневались, выкручусь я из этого положения или нет. Не беспокойтесь, и не из таких выкручивались.

Жить было невыносимо трудно. Он и знать этого не хотел. Он думал, что все оттого, что нет денег, не дали орден, Катаев, всякая чепуха. Он думал, что там скажут, как следует к нему, автору самых лучших метафор Российской Федерации, относиться. Может быть, просто нужно покрепче крутить лопатку?

Людовик XIV умер через тридцать семь лет после триумфального Нимвегенского мира. Тридцать семь лет великий завоеватель, человек, привыкший к неутрачивающему успеху, прозябал в Версале с осыпающейся штукатуркой.

На голом острове, облитом солнцем, как горячим, жирным бульоном, шесть лет томился Наполеон. (Он плохо обращался с писателями.)

Шодерло де Лакло умер через двадцать один год после того, как написал прославившие его навсегда «Опасные связи». У него было много других дел (интриги герцога Орлеанского, артиллерия Рейнской армии), но двадцать один год он прожил, боясь, что главное дело уже сделано.

Пятнадцать лет прожила мадам де Лафайет после «Принцессы Клевской».

На тридцать два года пережил свой знаменитый роман аббат Прево. Он написал пятьдесят пять томов. Некоторые тома имели успех. Но «Манон Леско» была написана за тридцать два года до смерти, и слава романа загнала все остальные книги писателя в угол, куда ходят только специалисты по французской литературе первой половины XVIII века.

Двадцать шесть лет прожил Юрий Олеша после своей последней настоящей победы, после своего оглушительного, как удар по голове, триумфа — «Строгого юноши».

Это можно сравнить только с положением французского короля.

Их сближало многое. Один был королем, с ног до головы заляпанным прециозными стишками (в годы Расина!), другой был королем метафор. Обоих сближала осыпавшаяся штукатурка.

Жить было трудно, еще труднее было в этом признаться и уж совсем невозможно было признаться (хотя бы самому себе), почему так трудно. Но он знал, что зашел слишком далеко, что слишком много он уступил, что его слабая, жалкая, легко соглашающаяся воля без сопротивления сдалась страху, тщеславию, уговорам, ничтожному успеху. После «Строгого юноши» вернуться к «Зависти» можно было, лишь перечеркнув все написанное за двадцать пять лет. Жизнь проходила, спотыкаясь, кашляя, ворча, вдруг начинала топтать ногами, орать, швырять книги, бить посуду. Художник водил глазами по своей жизни, и красные от бессонницы глаза видели на ней не только благородные шрамы, полученные в справедливых войнах за освобождение русской литературы, но и пятна предательства.

Несмотря на это, он считал, что жить нужно. Нужно было вставать, чистить зубы, беседовать, писать, здороваться, ездить в трамвае.

Петь по утрам в клозете он не мог. Хотя именно в эти годы такая потребность у многих назрела окончательно.

Он вставал, здоровался, писал.

Писал. Почти каждый день строчку.

Эти строчки были полны надежды, потому что снова появилась концепция. Концепция была такая: как бы написать так хорошо, чтобы тебя любил народ и высоко ценили члены редколлегий толстых журналов и члены редсоветов крупных издательств.

Личность автора не соединяла разрозненные куски и фрагменты. Личности не было.

Тогда пришли члены комиссии по литературному наследству с лопатами и решили личность восстановить. Они разложили оставшуюся после писателя бумагу, заинвентаризировали и сделали из нее единство. Это единство аккуратно сложили в папочку, написали на обложке «Ни дня без строчки» и отнесли в издательство «Советская Россия» (Москва, проезд Сапунова, дом 13/15).

Что же важно и хорошо в записях «Ни дня без строчки»? То, что в них есть органическая жанровая характеристика, жанровая вынужденность, строгое соответствие литературных и психологических особенностей автора, материала и жанра, литературное своеобразие, то, что позволили это своеобразие.

Читая хорошую книгу «Ни дня без строчки», мы вспоминаем другую хорошую книгу того же автора, — «Зависть». Сравнивая обе эти хорошие книги, мы приходим к выводу, что «Зависть» — это книга о важнейших для людей вещах — о взаимоотношениях человека и общества, уничтожающего человека, который с этим обществом не согласен, а «Ни дня без строчки» — книга писателя, который делает вид, что ничего особенного не произошло, что ему не за что краснеть, что надо же понимать, в какое время мы живем, что процесс исторического развития предъявляет свои требования.

Движущегося вдоль времени, страдающего, измученного, насмерть перепуганного человека в книге «Ни дня без строчки» остановили и попросили высказаться на следующие темы: 1. Детство. 2. Одесса. 3. Москва. 4. Золотая полка. 5. Удивительный перекресток.

В эти годы страдающий и перетрусивший и умирающий человек жил и писал не так.

Он не писал: 1. Детство. 2. Одесса. 3. Москва.

Он старался писать каждый день, хоть строчку. Только бы писать. И поэтому он писал о разных вещах и вступал в неразрешимые противоречия с жанром, который ему сделают.

После смерти ему сделали жанр. Этот жанр заключается в последовательных высказываниях о различных предметах и явлениях: 1. Детство. 2. Одесса. 3. Москва.

Таким образом, мы получили тщательно составленные тематические подборки.

Например, подборку на тему «Кустарники и деревья».

«Нет ничего прекраснее кустов шиповника!»

Идет прекрасное описание кустов шиповника.

Следующий отрывок:

«...самое прекрасное — деревья» (сосна. —А.Б.).

Идет прекрасное описание деревьев.

Следующий отрывок:

«Береза действительно очень красивое дерево».

Об этом рассказано достаточно убедительно.

Так как Олеша называл «строчками» каждый «небольшой... вполне законченный отрывок»², который он старался сделать сразу, в один день, то следует полагать, что в понедельник он написал про шиповник, во вторник про сосну, в среду про березу.

Имеются и другие подборки.

Например, подборка на тему «Писатели».

«...Александр Грин... Никакая похвала не кажется достаточной, когда оцениваешь его выдумку... он... уникален...»

Любовно рассказывается о выдумке писателя и сообщается, что наша выдумка лучше, чем англосаксонская.

«Томас Манн тонко подмечает...»

На этом примере показывается, что Томас Манн писал хорошо, потому что использовал «подробность в стиле русских писателей».

«Карел Чапек — великий писатель, высокое достижение чешской нации».

К этому надо добавить, что у чехов вообще было много достижений, как в области культуры, так и в сельском хозяйстве.

«Алексей Толстой... Данте... Рабле... Свифт... Чехов...»

Перечисленные авторы оцениваются положительно.

«Художественная сила Хемингуэя исключительна».

Это, несомненно, подмечено необыкновенно тонко.

В подборке о писателях я сделал некоторые пропуски. Так, между Александром Грином и Томасом Манном упоминается Метерлинк («Как нравятся Метерлинк!»), между Томасом Манном и Карелом Чапеком — Оскар Уайльд («Без Уайльда мировая литература... была бы беднее...»).

Есть основания предполагать, что короткие замечания о Метерлинке и Уайльде были сделаны в дни, когда Олеша был загружен другими делами. Поэтому следует считать, что о Грине он писал в понедельник, о Томасе Манне в среду, о Чапеке в пятницу, об Алексее Толстом, Данте, Рабле, Свифте и Чехове в субботу (о них сказано немного: суббота — короткий день), о Хемингуэе — в понедельник (воскресенье — выходной).

Между писателями и деревьями имеется довольно обширная подборка про птиц.

«Элегантная чайка».

«Соловей».

«Видели вы птицу секретаря?»

«...охотиться на голубей...»

«...дятел...»

Это подряд, в четырех отрывках, на четырех страницах. Понедельник, вторник, среда, четверг.

Виктор Шкловский и жена писателя высадили на грядку тяжелую, горькую жизнь задыхающегося от страданий человека. Шиповник, сосна, береза, Грин, Манн, Свифт, соловей, понедельник, вторник, среда...

Все это — замечательное, удивительное, вызывающее восхищение, ни с чем не сравнимое, ослепительное непонимание того, кто был человек, которому сделали книжку, что он написал, как он жил, кто он такой.

Если бы Юрий Олеша так жил и писал, как его представили в монтаже фрагментов и отрывков, извлеченных из груды папок, то он выпускал бы каждый год все ухудшающиеся и все утолщающиеся книги, писал бы монографии о великих писателях, критические статьи, сценарии, очерки, литературоведческие исследования и рецензии, пускал бы публицистические пузыри, переполнил бы кинематографические реки, издавал бы пламенные призывы реформировать русскую орфографию, совершал бы путешествия за границу, председательствовал бы на вечерах и выступал бы по радио и телевидению.

Мне не представляется безупречной авторитетность литературоведческих суждений жены писателя, давшей указание, как следует правильно располагать фрагменты и куски, и мне представляется в высшей степени сомнительным и даже устаревшим библейский способ связывать материал кровным родством: Елизар родил Фениеса; Фениес родил Авишуя; Авишуй родил Буккия; Буккий родил Озию; Озия родил Зерахия; Зерахия родил Мераиофа; Грин родил Манна; Манн родил Чапека; Чапек родил шиповник; шиповник — березу; береза родила чайку; чайка — дятла.

Я говорю с такой непримиримой враждебностью о построении книги «Ни дня без строчки» не потому, что мне не нравятся жена или дятел, но потому, что у меня вызывают отвращение тематические подборки и вообще наведение порядка в художественной литературе.

Кроме того, мне кажется научно более правильным (но это второстепенно) во всякой художественной структуре иметь в виду в первую очередь не материал, не тему, не жанр, а дату. Я думаю, что трагедии «Борис Годунов» ближе написанное в один год с ней лирическое стихотворение «19 октября» со строками «Пора, порал Душевных наших мук не стоит мир...», чем трагедия «Моцарт и Сальери», написанная пять лет спустя.

Призрачно и нарочито единство этой книги.

Оно организовано, как выступления на открытом профсоюзном собрании: ты будешь говорить про перевыполнение, ты про международное положение, ты про экономию и борьбу с браком, а ты про отдельные еще не изжитые до конца недостатки.

Вот как соединены куски в этом открытом для нас собрании записей, которое составители организовали.

«О, эти звериные метафоры! Как много они значат для поэтов!»

Следующий кусок:

«Велимир Хлебников дал серию звериных метафор...»

Или:

«Я еще напишу о Меркурове, который снимал последнюю маску с Льва Толстого и рассказывал мне об этом».

Следующий кусок:

«Я присутствовал, как скульптор Меркуров снимал посмертную маску с Андрея Белого».

Соединять куски только потому, что у них есть нечто общее — звериные метафоры или маски, снятые с покойников, — значит пресечь попытки человека «двигаться вместе с историей», а усадить его за стол составлять «Чтец-декламатор» с нижепоименованными разделами: «Лето», «Столица нашей Родины», «Знаменательные даты», «Памятники архитектуры (старины, Подмосковья)», или «Кто больше назовет городов на букву П».

Фрагменты и куски, напечатанные под названием «Ни дня без строчки», создавались семь лет, и они рассказывают не о «Детстве», «Одессе», «Москве», «Золотой полке» и «Удивительном перекрестке», а о том, что думал и чувствовал художник в 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 и 1960 годах.

Зачем человека, который бы разинул рот от удивления и восторга, если бы увидел такую замечательную книгу, заставили делать то, что он совершенно не в состоянии был делать?

Зачем было записки человека (остаток не уничтоженных в десятилетия, когда ночью вскакивали с постели, жгли, рвали, спускали в клозет всякую исписанную бумагу), его записную книжку, дневник, его спор с самим собой, бормотание, отчаяние, его горе, боль, крик превращать в так называемое

«художественное произведение»? Откуда эта горячая страсть к высаживанию на грядку, выстраиванию во фронт, вытягиванию в линию? Откуда это судорожное обожание производственной дисциплины?

От вспыхнувшей, разгоревшейся и все сжигающей страсти к порядку, к субординации и иерархии, к тому, чтобы все имело свое место и каждый знал свое место, да брал по чину, а чин, чтобы узнавали по поганам, чтобы знали, кто не главный, кто более главный, а кто самый главный, а кто простой человек, создатель всех ценностей.

Старшины, оставшиеся на сверхсрочную службу в литературоведении, плюя на все, ведут свою приходно-расходную книгу. Одни составляют из разрозненных фрагментов Олешу, другие прибирают и упорядочивают незавершенные работы Пушкина.

Составители Олешу проделали огромную, отнявшую годы работу, и в трудные минуты их согревала любовь к подшиванию бумажек. Они работали как надо, будь здоров, так, чтобы комар носу не подточил, ревизор не придрался, комиссия приняла, экспертиза не привязалась, ОБХСС не пришился, чтобы все было как следует. Порядочек.

Но я забыл сказать о том, что, кроме составителей этой книги, был еще автор. Это, конечно, имеет известное значение и не может пройти незамеченным.

Автору этой книги тоже нравились подборки, и когда внимательно эту книгу читаешь, то становится ясным, что некоторые ее темы как-то незаметно, но крайне настойчиво сами складываются чрезвычайно удачно.

Поэтому, кроме подборок о писателях и деревьях, которые сделали за него, Юрий Олеша кое-что сделал сам. Может быть, это лучше было бы назвать не подборками в собственном смысле, а сквозными линиями его жизни и творчества. В отличие от писателей и деревьев, сквозные линии иногда прерываются другими, менее значительными вещами (убийства, Наполеон, теория относительности). Но одна из важнейших тем Олешу, тема, которая занимала его с первого класса Ришельевской гимназии и до последних дней жизни, тема, без которой нельзя понять ни одного произведения, им созданного, ни одной фразы, им сказанной, ни одного поступка, им совершенного, к глубочайшему огорчению читателей, в линию не выделена.

Одна из самых настойчивых, трудных и значительных сквозных линий жизни и творчества Юрия Олешу была линия любви. Я говорю о любви Юрия Олешу к самому себе.

В жизни замечательных людей бывают случаи, когда они с ослепляющей точностью оценивают значение не только других замечательных людей, но и свое собственное. Их мнение и оценки на долгие годы, иногда на десятилетия опережают смутные догадки современников.

Безупречная точность, беспощадность анализа собственной исторической миссии всегда оказываются одним из условий, определяющих пути дальнейшего изучения творческого наследия некоторых замечательных людей. Такая точность самооценки свойственна только людям огромного таланта, поразительной душевной тонкости, сложнейшей нервной организации, безупречного чувства объективности, такта и скромности.

Можно считать доказанным, что всякий большой художник и мыслитель оценивает свой труд и свои взаимоотношения с историей культуры и мировой историей правильно.

За пятьдесят шесть лет напряженной интеллектуальной жизни (1904–1960) и сорок пять лет интенсивного литературного труда (1915–1960) Юрия Олешу (1899–1960) ни на минуту не оставляла мысль о том, сколько он принес пользы человечеству и достаточно ли его за это оценили. Он говорил об этом с лучшими знатоками своего творчества и с широкими кругами населения нашей страны, писал об этом, связывая важнейшую тему с космогоническими концепциями и железнодорожным транспортом.

Для того чтобы не оказаться раздавленным огромным количеством высказываний Олешу о его значении в судьбах русской культуры, в трагедии русского либерализма и других ответственных мероприятиях, я решил систематизировать материал и разделить подборку на четыре группы, каждая из которых имеет строго определенные очертания.

Эти группы было бы правильно назвать так:

- «Как Юрия Олешу любили его лучшие современники».
- «О том, как предстает мой (то есть Юрия Олешу) образ в интерпретации лучших современников».
- «О том, кто и как именно любил меня».
- «О том, как я люблю себя сам».

Как видно из предложенной номенклатуры, мне кажется важным постепенно ввести читателя в тему.

Поэтому раньше чем представить самого Юрия Олешу в образе, который он справедливо считал самым глубоким, очищенным от всего нехарактерного, наносного, нужно показать, как лучшие знатоки его жизни и творчества ощущают, иногда оступаясь в потемках, приближались к истине, которую сам Юрий Олеша распахнул с такой широтой.

Вот что думают и чем поделились с нами лучшие знатоки жизни, творчества, круга и души Юрия Олешу.

Первое место мы по праву предоставляем лучшему знатоку души и круга Ю. Олешу Виктору Шкловскому: «Ю. К. Олеша написал много замечательных книг...

Юрий Карлович создал прекрасные новеллы, пьесы...»

Второе место мы по праву предоставляем лучшему специалисту в различных областях знания, в том числе и творчества Юрия Олешу, Дм. Еремину:

«...в каждом из его фрагментов («Ни дня без строчки». —А Б.) видишь юношескую чистоту души, самобытность и природное остроумие, талантливость художественного восприятия жизни». 602

Для того чтобы осветить образ с разных точек зрения, мы предоставляем слово человеку, который знал Олешу на протяжении полувека и который хорошо понимал, что «...давние связи, идущие в глубь годов, позволяют судить о старом друге более глубоко и объемно, более справедливо».

Этот человек—Л. Славин, и вот как он глубоко, объемно и справедливо судит о старом друге:
«Украшение гимназии, первый ученик, золотой медалист!» «Впоследствии, вспоминая о Багрицком, Олеша писал: «Может быть, Багрицкий наиболее совершенный пример того, как интеллигент приходит своими путями к коммунизму».

В сущности, Олеша писал это и о самом себе, хотя его путь был обрывистее».

«В одном из своих выступлений я назвал Олешу «солнцем нашей молодости» ».

«...еще при жизни вокруг Олеша стала складываться атмосфера легендарности... Его изречения передавались из уст в уста... в лучшие свои минуты Олеша был полон истинного величия».

«Некоторые из миниатюр («Ни дня без строчки». — А. В.) принадлежат к шедеврам нашей литературы... »

«Он как бы остановил движение времени, как останавливают часы, чтобы рассмотреть механизм в подробностях. Это нелегко. Это не каждому дано.

Но Олеша силой своего таланта остановил мир, расчленил его и принялся рассматривать в деталях, как часовщик...

«Ни дня без строчки» — произведение революционное и по содержанию и по форме».

«Пламенная душа Олеша, полная любви...»

«Такой неистовый в своих устных эскападах, в писаниях своих он был скромен до самоуничижения».

Теперь нам интересно услышать, что скажет другой верный друг — Л. Никулин. Л. Никулин говорит:

«Юрий Карлович любил животных, дружил с сиаемским котом по кличке Мисюся».

«Как много он знал, как умел из бездны знаний выбирать что-то важное, чего другие не замечали...»

«Одного добивался Олеша всю жизнь — совершенства. Это была мания совершенства. Он добивался этого даже в небольших статьях, а больше всего в том, что осталось незавершенным. Ко всему, что он писал, он относился взыскательно».

«Олеше очень нравился успех (а кому он не нравится!)...» А вот что рассказывает хозяин квартиры, у которого Олеша «... две или три недели в один из самых мрачных месяцев своей жизни... жил»:

«...не было человека, знавшего его и не поддавшегося его очарованию, потому что талант всегда притягивает».

«...человек... умеющий за письменным столом творить чудеса...» «...книжки рассказов («Вишневая косточка». — А. Б.)... кричавших о могуществе его таланта... »

«...при чтении «Трех толстяков» ощущаешь молодость пера, невоздержанность таланта, которому всего мало и все по плечу».

«...едва я назвал роман («Три толстяка». —А. Б.), которым интересовался, лицо моей суровой собеседницы вдруг осветила детская улыбка, и отвечала она мне уже не по служебному долгу, а по велению сердца».

«Само его мышление было метафорическим. Вот почему о Маяковском он замечает:

«В его книгах, я бы сказал, раскрывается настоящий театр метафор».

Полностью это относится к нему самому. Здесь уже даже не театр, а целый стадион метафор!»

Последнее высказывание представляет особенный интерес для исследователя по двум обстоятельствам. Так как Олеша и его лучшие знатоки твердо уверены в том, что самое главное это метафоры, и искусство измеряется их количеством и достоинствами, то, естественно, чем метафор больше, тем художник лучше. Так как у Маяковского лишь театр метафор, а у Олеша целый стадион, стало быть, Олеша лучше. Второе обстоятельство также не лишено занимательности: оно говорит о глубокой эволюции, которую претерпевает образ Олеша в жизни и творчестве его лучших знатоков. Так, например, И. Рахтанов в 1963 году еще думал, что у Олеша был лишь «Стадион метафор», а в 1966 он уже понял, что этого мало. Теперь он говорит: «Целый стадион метафор».

После выступления хозяина квартиры, мы предоставляем слово хозяину литературы.

Пожалуйста, товарищ Ермилов.

«На подлинно талантливом произведении искусства всегда лежит печать своеобразия. Это целиком относится и к «Зависти»: здесь читатель изумленно прощается с одной неожиданностью, чтобы сейчас же радостно натолкнуться на другую. Здесь любой образ четок, здесь все описания поражают смелостью и необычайной рельефностью, здесь диалоги коротки и оригинальны, здесь подробности, дающие образ человека, всегда новы и остроумны.

Вошел в литературу новый свежий писатель...»

Слово от молодых имеет Владимир Огнев.

Он получил церковно-приходское образование в Литературном институте, поэтому художественные образы производят на него особенно сильное впечатление. Увидев протянутые через все произведения Олеша гирлянды сверкающих метафор, запыхавшийся от восхищения молодой критик аккуратно выписывает в столбик художественные образы, ставшие подлинной классикой:

«...огни», которые, «когда смотришь с моря», «казалось, перебегают с места на место»... «полотенце, извилистое от частого употребления»; анютины глазки, похожие на военные японские маски... ливень ходит столбами за окном — похоже на орган; о гиацинте — кавалькада розовых или лиловатых лодок, спускающихся по спирали вниз, огибая стебель; вынырнувшие гуси «подымают столько воды, что могут одеться в целый стеклянный пиджак; кувшин, покрытый слоем пыли, кажется одетым в фуфайку...»

И это действительно классика. Особенно последний образ: кувшин, покрытый слоем пыли, кажется одетым в фуфайку... Тут уж ничего не скажешь: классика, и больше ничего. На уровне Гоголя. Гоголь так и писал: «Чичиков увидел в руках его графинчик, который был весь в пыли, как в фуфайке».

Несомненно, Олеша писал, как Гоголь. Не хуже. Правда, у Гоголя, кроме графинчика, были еще Чичиков с Плюшкиным, но это несущественно.

Критик так захлебнулся от восторга, что даже не прочитал начала и конца фразы самого Олеша. А вместе с тем читать фразы от начала до конца имеет громадное принципиальное значение. И если бы критик так поступил, то он узнал бы, что это не Олеша, а «Гоголь трижды сравнивал каждый раз по-иному предмет, покрытый пылью: один раз это графин, который от пыли казался одетым в фуфайку, тут и запыленная люстра, похожая на кокон, тут и руки человека, вынутые из пыли и показавшиеся от этого как бы в перчатках».

Ну, не Олеша, так Гоголь. Какое это имеет значение? Благородное потомство (В. Огнев) с открытым сердцем, благородной душой, чистыми руками и верой (с незначительными, трудно различимыми оттенками) в дело, которое возглавляли и возглавляют В. Ермилов, В. Шкловский, Дм. Еремин, Л. Славин, Л. Никулин и многие-многие другие лучшие знатоки, готово бросить к ногам любимого поэта и Гоголя, а если понадобится, то еще и всю германо-романскую, филологию.

Все это не от одного невежества, не от неврастении восторга, не от одного желания услужить, не только потому, что критик, думающий, что его задача хорошо обслужить писателя, никогда не позволит, чтобы ему не понравился знаменитый автор с утвержденной репутацией благородного человека и страстотерпца. Все это потому, что Шкловскому, Славину, Рахтанову и Огневу совершенно достаточно такого благородного человека и страстотерпца. Почему бы им не нахваливать Олешу? Именно такого и нахваливать. Потому что именно такой нужен, который знает меру. Ведь не заводите же им Свифта или Гейне, или Гоголя, или Толстого! Эти-то ведь придут, да как рявкнут, да как загремят! А этого- то лучшим представителям в области Олеша и других областях как раз и не требуется. И рявкают-то они все с ужимочками да с подковыркой, а не так, чтобы прийти и просто, по-товарищески сказать: «Пойдем лучше пособираем немного металлолом. От этого одна только сплошная польза, и для здоровья полезно». Нет, лучше Юрия Олеша для людей воспитанных, обладающих чувством меры и такта, а также безошибочно определяющих поступь истории, не отыскать никого. Поэтому всякого, кто позволяет себе больше, чем следует, эти люди сразу перестают уважать, а в отдельных случаях начинают даже благодарить некоторые институты, которые одни своими колющими орудиями и зданиями, где содержатся люди, не умеющие себя вести, ограждают их от ярости литературных обывателей. Эти люди думают, что Олеша и они это одно, а Дм. Еремин, Л. Никулин и В. Ермилов это другое. Такое заблуждение может возникнуть в умах только очень хорошо подготовленных и обладающих большим жизненным опытом людей. Олешинских пустячков, обрызганных метафорами, им хватает. И этих пустячков Олеша сделал ровно столько и именно такого качества, сколько надо, чтобы почитатель их приобрел репутацию достойного, тонкого, глубоко, иногда мучительно думающего над сложнейшими социальными и философскими проблемами человека, умеющего подняться над случайными и нехарактерными эпизодами исторического процесса.

Теперь мы переходим ко второму разделу, который называется: «О том, каким предстает мой (то есть Юрия Олеша) образ в интерпретации лучших современников».

Этот раздел я решительно сократил, приложив серьезное волевое усилие, чтобы перейти к самому важному: к высказываниям психической организации человека, который написал роман «Зависть» только для того, чтобы к произведениям о могучих человеческих страстях прибавить еще одно, о той страсти, которую он знал лучше всех остальных.

В связи с этим Юрий Олеша никогда не мог успокоиться. Все время думал: известный он или неизвестный. Он писал об этом сам, спрашивал у других. Другие тоже писали.

«Шарж на него был опубликован в газете «Литература и жизнь»».

Когда ему показали газету, он сказал:

«Не может быть, это они ошиблись. Человек, на которого публикуют шарж, должен быть очень популярным».

Вл. Лидин один из первых обратил внимание на эту замечательную особенность Олеша и рассказал о ней:

«Как вы думаете, — спросил меня раз Олеша, как обычно, неожиданно, — занимаю я прочное место в литературе?»

Переходим к следующему разделу: «О том, кто и как именно любит меня».

«Гайдар... меня любил и высоко ставил...» «Мне кажется, что она (Сейфуллина. — А. Б.) любила меня как писателя...»

«Скульптор Абрам Малахин симпатичен, умен, тонок и любит меня».

«Он (Гладков. — А. Б.), как мне кажется, любил меня». «Он (Ильф. — А. Б.) посмеивался надо мной, но мне было приятно ощущать, что он относится ко мне серьезно и, кажется, меня уважает».

«Он (Шолохов. — А. Б.) отозвался о моих критических отрывках с похвалой — причем в интервью, так что во всеуслышание».

«Щукин сказал мне как-то, что из меня получился бы замечательный актер».

«Ему (Катаеву. — А. Б.) очень нравились мои стихи...» Теперь мы подошли к самому ответственному разделу: «О том, как я люблю себя сам».

В этом разделе мы проследим одну из важнейших сквозных линий жизни и творчества писателя — линию любви к самому себе.

Из всех замечательных художников XVIII—XX веков, которых мне пришлось особенно сосредоточенно изучать, только двое — Юрий Олеша и граф Д. И. Хвостов придавали столь серьезное значение своей роли в истории отечественной литературы.

И это заслуживает самого глубокого уважения и пристального внимания. 606

О том, как Юрий Олеша любит себя, он рассказывал всю жизнь, иногда очень обстоятельно, иногда (реже), лишь бросив две-три выразительные фразы, но всегда охотно.

Так как я связал себя границами подборки, то из необъятного материала на эту тему вынужден держаться лишь высказываний, попавших в различные публикации «Ни дня без строчки». Несомненно, это тяжело отразится на качестве моей книги, но, я уверен, другие исследователи, которые придут после нас, изучат тему любви Олеси к самому себе полнее и глубже.

Не желая, однако, пускать эту важнейшую для народного хозяйства тему на самотек, я предлагаю читателям ознакомиться лишь с несколькими высказываниями, не дающими достаточно полного облика писателя, но прокладывающими пути к научному изучению предмета.

Вот некоторая часть высказываний, прокладывающих пути:

«По старому стилю я родился 19 февраля — как раз в тот день, в который праздновалось в царской России освобождение крестьян. Я видел нечто торжественное в этом совпадении; во всяком случае приятно было думать, что в день твоего рождения висят флаги и устраивается иллюминация».

«Я очень сильная фигура детства. Обо мне говорят в парикмахерской, в дворницкой, в греческой мясной лавке (в связи с тем, что ему чуть было не выбили глаз. — А. Б.), в богатых квартирах и бедных».

«Это был самый обыкновенный профессор, необыкновенно было то, что перед ним стояла целая группа хороших поэтов (в их числе Ю. Олеша. — А. Б.)... И где-то еще скребли кошки этого буржуазного профессора по той причине, что молодые поэты, сиявшие перед ним, были на стороне революции — с матросней, с кавалеристами в буденовках, с чекистами».

«Когда я думаю сейчас, как это получилось, что вот пришел когда-то в «Гудок» никому не известный молодой человек, а вскоре его псевдоним «Зубило» стал известен чуть ли не каждому железнодорожнику, я нахожу только один ответ. Да, он, по-видимому, умел писать стихотворные фельетоны с забавными рифмами, припевками, шутками».

«Я как-то удачно сказал себе, что я не иду по земле, а лечу над ней».

«Где-то я писал о морозе, неподвижном, как стены. Это хорошо сказано».

«Вы остригите... Вы хорошо остригите. «Служба крови», например, — это хорошо».

«Я твердо знаю о себе, что у меня есть дар называть вещи по иному».

«В Средней Азии особенно оценили меня за строчку, в которой сказано, что девушка стояла на расстоянии шепота от молодого человека. Это неплохо — на расстоянии шепота!»

«Войдя в известность как писатель, я все никак не мог познакомиться с ней (Анной Ахматовой. — А. Б.). О себе я очень много думал тогда, имея, впрочем, те основания, что уж очень все «признали» меня... (Его знакомят с Ахматовой. — А. Б.). У меня было желание, может быть, задаться. Во всяком случае, она должна, черт возьми, понять, с кем имеет дело... Не знаю, произвело ли на нее впечатление мое появление... Возможно, что, зная о моей славе, она тоже занялась такими же, как и я, мыслями: дать мне почувствовать, кто она».

«Когда-то, очень давно, когда я, как говорится, вошел в литературу, причем вошел сенсационно... »

«Думал ли я, мальчик, игравший в футбол, думал ли я, знаменитый писатель, на которого, кстати, оглядывался весь театр...»

Но особенного внимания заслуживает отрывок, в котором Юрий Олеша от частных замечаний переходит к важнейшему обобщению, в результате чего возникает твердо построенный историко-литературный ряд.

Он начинает не сразу, и сначала, как обычно у Олеси, появляются лишь острые и характерные подробности.

«До некоторых размышлений Томаса (Манна. — А. Б.) мне не дотянуться, — пишет Олеша, — но в красках и эпитетах я не слабее».

В следующем отрывке рассказано о том, что такое Томас Манн и какое место он занимает в истории мировой литературы.

«Умер Томас Манн. Их была мощная поросль — роща с десяток дубов, один в один: Уэллс, Киплинг, Анатолий Франс, Бернард Шоу, Горький, Метерлинк, Манн.

Вот и он умер, последний из великих писателей».

Так как из предыдущего отрывка мы узнали, что Олеша в некотором отношении — в эпитетах и красках — не слабее Томаса Манна, а о красках в другом месте сказано, «...что от искусства до вечности остается только метафора», то становится ясным, что в некотором отношении он не слабее Уэллса, Киплинга, Анатолия Франса, Бернарда Шоу, Горького, Метерлинка. Об Уэллсе Олеша восторженно восклицает: «Я уж не говорю о великом Уэллсе!» Других он тоже очень хвалит. Порицает только Шоу («Я не люблю Бернарда Шоу»). Теперь нам становится ясным, что, будучи в некотором отношении не слабее Манна, Олеша не слабее и всей рощи. (По аксиоме, если две величины порознь равны третьей, то они равны между собой.) Таким образом, мы узнаем, что была мощная поросль великих писателей, один в один: Уэллс, Киплинг, Франс, Шоу, Горький, Метерлинк, Манн, Олеша.

Для того чтобы обилие высказываний на такие ответственные темы не рассеяло внимания читателей, необходимо наиболее капитальные высказывания, разбросанные по этой книге, собрать воедино.

Вот эти высказывания, воссоздающие подлинный облик автора «Зависть» — лучшей книги Юрия Олеси, обладавшей высокой свободой самовыражения. Никогда никем не интересовавшийся, кроме себя, человек написал книгу о себе, книгу-исповедь. И поэтому все, что после «Зависти» сказал Юрий Олеша, мы уже знали от Николая Кавалерова.

Итак, автор «Зависти» говорит:

«У меня есть убеждения, что я написал книгу («Зависть»), которая будет жить века. У меня сохранился ее черновик, написанный мною от руки. От этих листов исходит эманация изящества».

«Когда репетируют эту пьесу, я вижу, как хорошо в общем был написан «Список благодетелей». Тут даже можно применить слова: какое замечательное произведение! Ведь это написал тридцатидвухлетний человек

– это во-первых, а во-вторых, оно писалось в Советской стране, среди совершенно новых, еще трудно постигаемых отношений».

«...Мне приятно думать, что я делаю кое-что, что могло бы остаться для вечности».

«...я, вообще не любящий врать...»

«Я твердо знаю о себе...» – сказал Юрий Олеша подозрительным по ямбу тоном.

Юрий Олеша лежал на клеенчатом диване, отвернувшись от всего мира, лицом к выпуклой диванной спинке. Продолжительные думы Олеши сводились к приятной и близкой теме: «Юрий Олеша и его значение», «Олеша и трагедия русского либерализма», «Олеша и его роль в русской революции».

Человек, который делал отрывки для составителей книги «Ни дня без строчки», давно, в годы, когда вся литература хорошо писала, тоже писал хорошо.

Некогда хорошо писавший человек умер, и после него остались груды папок, в которых встречались хорошо написанные отрывки.

Превращение отрывков в книгу значительно обесценило их, но окончательно не погубило. Это весьма распространенный случай. Лучше, чем литераторам, он знаком сотрудникам Гипрогора, потому что, когда они создают эпохальные архитектурные ансамбли, сметая все на своем пути, то бывают случаи, что в связи с перерасходом сметы по разрушению иногда сохраняются отдельные памятники XII и XVI веков. Так, например, церковь Благовещения (XII век) в Витебске была взорвана только в 1962 году..

А собор XVI века в Уфе – самый древний памятник города – был взорван немного раньше, в 1956 году.

Нам, москвичам, еще тоже кое-что осталось. Мы ходим по столице нашей родины, проходим мимо наземных вестибюлей метро Арбатская и Краснопресненская. Смотрим. Наши глаза широко раскрыты. Ценим то, что уцелело.

Некоторые отрывки из «Ни дня без строчки» прекрасны, как здания 20-х годов, случайно сохранившиеся среди мощных ансамблей последующих десятилетий.

Последняя книга Юрия Олеши обладает неоспоримым достоинством, если сравнить ее с тем, что писал он в течение двух с половиной десятилетий до нее: писатель пытается вспомнить, как он когда-то говорил человеческим языком, и старается, как может, начать снова так говорить.

Для того чтобы художник уже после сдачи и гибели создал несколько прекрасных отрывков, должны были совершиться непоправимые исторические разрушения.

Юрий Карлович Олеша был человеком, который ничего сам не делал. Он лишь плыл в исторических обстоятельствах, с прирожденным изяществом загребая веслом.

Его последнее произведение оказалось лучше тех, которые он писал прежде, только потому что ему позволили сделать это произведение лучше.

Если бы ему позволили сделать прекрасные строки на двадцать пять лет раньше, то он согласился бы еще с большим удовольствием. А если бы ему вообще позволили стать замечательным писателем, то, можете не сомневаться, он с величайшей охотой принял бы это предложение. Но ему такого предложения не сделали, и поэтому замечательным писателем он не стал. Он думал, что для того, чтобы овладеть профессией замечательного писателя, нужно не покладая рук создавать замечательные метафоры. Он не понимал, что нужны более важные вещи: смелость не слушать толпу, все решать самостоятельно, готовность к ежеминутной гибели, ответственность за все человечество, уверенность в том, что когда приходится выбирать между рабством и смертью, то нужно выбирать смерть.

Почему же Юрию Олеше удалось написать несколько очень хороших строк?

Потому что обстоятельства позволили Юрию Олеше написать перед смертью несколько прекрасных строк: уже не было сил не позволять все. Были отборные кадры литературных критиков с атомными боеголовками, были ветераны-лысенковцы, но пощадившие сил в борьбе за уничтожение сельского хозяйства страны, было лучшее в мире метро и «Анна Каренина» во МХАТе, Евтушенко в «Юности», Кочетов в «Октябре», но уже не было сил заставить отдельных студентов Стоматологического института и Торфяного техникума, захлебываясь от восторга, изучать «Марксизм и вопросы языкознания».

И поэтому, хотя Олеша старался писать как только мог плохо, он делал это не до конца искренне и без твердой уверенности в том, что делает самое нужное народу, святое дело, и как только представилась возможность, он сразу перебежал. Хорошо он уже писать не мог, потому что вдруг можно начать писать только плохо, для этого не нужна серьезная работа над собой, но вдруг начать писать хорошо, после того как большая часть жизни отдана на то, чтобы писать плохо, тоже, конечно, нельзя.

Однако последняя работа Олеши оказалась хорошей не только потому, что ей это позволили.

Была еще одна и, может быть, решающая причина, которая высекала из мертвого камня эту вспышку таланта и искренности.

Писатель Юрий Олеша понял, что уже ничего не будет, что все кончено, что он выпал из литературной повозки, потерялся в дороге во время какой-то свары между тупоконечниками и остроконечниками или папафигами и мамафигами, ей-Богу, даже не помню, нет, кажется, между тайшетскими крысятниками и майкудукскими паханами. Он понял, что на смену пришли гораздо более энергичные и лучше понявшие, как именно следует выражать художественными средствами эпоху, деятели литературы и искусства, и тогда, все прокляв, он решил писать для себя.

Это создавало совершенно новую ситуацию: для себя ведь можно писать и хорошо, то есть, плюнув на чрезвычайно распространенное мнение, будто полезно и хорошо как раз то, что написано плохо.

Последняя книга Юрия Олеши «Ни дня без строчки» (1954–1960) написана гораздо лучше, чем «Народ строит свою столицу» (1937), и можно предположить, что преимущества произведения, создававшегося во второй половине 50-х годов, сравнительно с произведением, создававшимся во второй половине 30-х,

связаны с некоторыми изменениями исторических обстоятельств (эти изменения не следует преувеличивать).

Из такого соображения, которое не испугало бы даже учительницу литературы, возникает желание сделать неосмотрительный и решительно расходящийся с реальной историей вывод: в хороших социальных обстоятельствах книги бывают лучше, чем в плохих.

Вывод этот совершенно беспочвенен и легко опровергается домашними средствами. Например: литература реакционной эпохи Николая I была не хуже литературы либеральной эпохи Александра I. Я, разумеется, говорю лишь о самых обыкновенных плохих и самых обыкновенных хороших обстоятельствах, влияющих только на обыкновенных писателей. Конечно, обыкновенный средний писатель в хороших обстоятельствах пишет лучше, чем в плохих, и достоинства средней литературы в хороших обстоятельствах тоже гораздо выше.

В необыкновенных плохих обстоятельствах начинают действовать другие законы. Эти законы уничтожают обыкновенное, но достойное искусство, учреждают палаческое, лживое, угодническое и оставляют лишь нескольких обожженных великих, то есть выстоявших, с отвращением отпрянувших от палаческого, лживого, угоднического, выгодного искусства художников.

Вероятно, многие согласятся с тем, что «Ни дня без строчки» лучше, чем «Народ строит свою столицу», потому что в позднем произведении писателя есть вещи, которые в 1937 году могли бы показаться субъективистскими, путанными, наплевистскими, идейно порочными, вредительскими, изменническими, шпионскими, диверсантаскими и террористическими, что, вероятно, потребовало бы некоторых сокращений и исправлений, после которых книга, несомненно, стала бы еще качественнее.

Для писателя, не обладающего очень большим дарованием, который сам ни на что посягнуть не может, улучшение или ухудшение обстоятельств становится решающим. К большим писателям это имеет несравнимо меньшее отношение, потому что большой писатель – это независимый человек, говорящий не то, что ему велят, а то, что важно для общества и что большой писатель знает несравненно лучше, чем мелкие администраторы, думающие, что именно им известно, в чем смысл бытия.

В судьбе искусства тягчайшую, но еще не истребительную роль играет давление на него чугунного, носорожьего самовластия. Истребление искусства начинается тогда, когда допустимый сопротивлением материалов предел давления бывает нарушен. Духовная жизнь и нравственные границы общества разрушаются, когда государство одерживает безраздельную, гибельную победу над всей растительной, животной и интел-лектуальной жизнью, и наваливается не обыкновенная реакция с обыкновенными ущемлениями, ограничениями и посягательствами, а реакция испепеления.

Реакция испепеления это не та, которая затыкает рты (такую люди не раз стряхивали с себя), а та, которая заставляет эти рты разевать для восторженного обожания.

Тогда искусство заканчивается и начинается художественное оформление великих событий. Искусство приобретает форму громадных триумфальных арок, победоносных эпопей, оглушительных ораторий и других видов завоевания, покорения и уничтожения сердец.

В эпоху такой реакции общество делится на три части (границы частей подвижны): палачей, их помощников (то есть тех, кто не мешает палачам) и истребляемых.

Собственно, такое членение свойственно любой (то есть обыкновенной) реакционной эпохе. Но в эпохи беспробудной реакции (то есть полной ртов, которые считаются разинутыми не с голоду, а от восторженного обожания) происходит решительное перераспределение внутри частей, в результате чего количество палачей и помощников на душу истребляемых резко возрастает.

В такие эпохи возникает обширная научно-исследовательская литература о свободе, принадлежащая перу помощников палачей и дающая, наконец, возможность понять, почему люди должны побольше улыбаться и поменьше разговаривать.

Несмотря на большие усилия и большие успехи в этой области, иногда остаются люди, которые считают, что свобода должна быть такая: право говорить о том, что Иван Грозный убийца, до того, как об этом, взвесив все за и против, сообщат в газете, не исключив возможности, когда понадобится, сообщить о том, что Иван Грозный был великий гуманист.

Почему у одних людей есть право говорить, когда они найдут это нужным, что Иван Грозный убийца, а у других этого права нет?

Что же тогда значит равенство людей?

Почему начальник отдела культуры Фрунзенского райисполкома мог сказать, что Иван Грозный убийца, а я должен был молчать об этом открытии, хотя сделал его гораздо раньше?

Может быть, начальник отдела культуры Фрунзенского райисполкома лучше меня знает историю? Может быть, он умнее и образованнее меня? Может быть. Этого я не знаю и с этим я не спорю. Но ведь право на открытие дается не только образованным и умным и даже не за выдающиеся заслуги. Это естественное право каждого человека, физиологическая реальность, такая же, как язык во рту, руки и ноги, право двигаться, дышать, есть.

Почему начальник отдела культуры Фрунзенского райисполкома решает, что в данный момент следует говорить о выдающихся морально-политических качествах Ивана Грозного, а во втором квартале с. г. следует коснуться некоторых недостатков? Впрочем, обнаружив, что план по некоторым недостаткам угрожающе перевыполнен, он заявляет, что не позволит отдельным очернителям, которые еще не знают жизни, зачеркивать историческое значение опричнины.

Потом является другой начальник отдела культуры Фрунзенского райисполкома и приходит к выводу, что в вопросе об Иване Грозном были допущены серьезные ошибки, в результате которых нашлись охотники ставить под сомнение уже не только Ивана Грозного, но и Павла I, и поэтому с 15-го числа давай-ка

поворачивай оглоблю и люби Ивана Грозного по- старому, а что говорилось и делалось до 15 числа с.г. забудь. И вообще, кто ты такой? Кто тебе дал образование, кормил, учил, сопли вытирал, чье ты жрал сало, чью грудь сосал?

А ты чью грудь сосал? Кто тебе дал право решать, что вредно, а что полезно? Кто дал тебе право разрешать мне говорить это, запрещать то? Никогда не ошибаться? В первом квартале было решено, что Иван Грозный великий гуманист и корифей, во втором было научно доказано, что он сроду никаким гуманистом и корифеем не был, а был, наоборот, палачом и невеждой, в третьем квартале, однако, еще более научно было доказано, что он палачом и невеждой не был, а был гуманистом и корифеем, а в четвертом квартале будет доказано, что все, кто поверили в то, что говорили во втором квартале, должны отчитаться перед коллективом за допущенные ошибки.

Но это, конечно, пока трудно достижимый вариант-максимум. В таких вопросах спешка и кампанейщина совершенно неуместны. Сейчас еще никто не требует безошибочности. Требуется только одно: пожалуйста, не придумывайте индивидуальных ошибок, ошибайтесь, пожалуйста, вместе с начальником отдела культуры Фрунзенского райисполкома.

Неужели действительно есть люди, которые думают, что кто-нибудь серьезно относится к замечательным научным открытиям, каждое из которых лучше предшествующего?

Что нужно для того, чтобы человек повторял за другими, не размышляя, не задумываясь? Нужна вера. Когда нет веры, человек принимается думать, и вот тогда начинается нормальное общественное бытие с борьбой, противоречиями, победой и поражениями. Тогда приходит свобода.

Юрий Олеша начал писать в те годы, когда еще можно было выбирать, по крайней мере, для себя. Еще не произошло того, что лишило впоследствии людей возможности выбора: еще не было соучастия. Соучастия словом, делом, примирением с происшедшим. Еще не было выгоды и страха. Такой выгоды, которая была бы неотразимо привлекательной, и такого страха, который оставлял бы силы только для обожания.

Была жажда свободы в стране рабов, стране господ, уверенность людей в общественном переустройстве, и незаметная быстрая подмена одного идеала другим, таким, который сначала можно было как бы не заметить, а потом примириться с невозможностью что-нибудь изменить, и, примирившись, испугавшись, с ним согласиться. Люди думали, что это и есть революция, а на самом деле это уже было послереволюционное государство.

Юрий Олеша всегда ошибался только с начальником отдела культуры Фрунзенского райисполкома.

Самостоятельно ошибаться он не позволял себе никогда.

Выяснив некоторые спорные вопросы происхождения ошибок, мы подошли непосредственно к вопросу об искренности.

Вопрос об искренности назревал десятилетиями, как экономический кризис, и, наконец, без визы начальника отдела культуры Фрунзенского райисполкома с шипением и треском вырвался наружу.

Это стихийное явление вызвало эпизоотию в рядах художественной интеллигенции, эпидемию в рядах технической интеллигенции и эпидермофитию в рядах других ответственных лиц. В связи с этим вопрос об искренности был резко осужден, но некоторая часть отдельных нехарактерных нигилистов и тунеядцев отвлеклась от творческого труда и предалась размышлениям о смысле бытия в век, когда собака Тузик завоевывает космическое пространство, академик Лысенко утверждает самые прогрессивные методы разрушения сельского хозяйства громадной страны и простые люди не теряют надежды на то, что Иван Грозный бывает не чаще чем раз в десять лет.

Но этот вопрос требует специального исследования. Я, разумеется, не могу анализировать его во всей социально- экономической широте, а остановлюсь лишь на том, что относится непосредственно к моему герою и его кругу.

Однако раньше чем сказать о тяжелых последствиях, вызванных искренностью в организме Юрия Олеши, нужно отразить, как кризис перепроизводства искренности тяжело отразился на Викторе Шкловском.

Услышав, что нынче цены на мамонтов падают, а на искренность растут, Виктор Шкловский написал главу о любви у Шолохова и Хемингуэя с тем, чтобы перейти к главе о любви к Шолохову и сдержанному отношению к Хемингуэю.

Искренность, честность всегда и по самым разнообразным поводам занимала воображение Виктора Шкловского. Но в день, когда он писал вступление к книге Юрия Олеши, он придавал ей особенно большое значение. Он снова и снова возвращается к теме, которая его мучила всегда и особенно последние тридцать пять лет жизни, начиная со статьи «Памятник научной ошибке» (1930) и даже еще раньше, с первой печатной работы «Воскрешение слова» (1914). Лучший знаток искренности и ее круга Виктор Шкловский говорит: «...вся книга написана о нашей жизни, увиденной не до конца, н о ч е с т н о... (разрядка моя. —А. Б.) Юрий Олеша... никогда не сказал компромиссного слова...».

В устах такого знатока предмета, как В. Б. Шкловский, это звучит безукоризненно авторитетно.

Превосходный писатель Э. Казакевич (у которого было все, кроме желания не обманывать самого себя) понял и в блестящей афористической форме сумел выразить сущность взаимоотношений Юрия Олеши с окружающей действительностью. Он писал:

«...В разные времена люди ценят разные качества. Мне кажется, что в наше время передовые советские люди особенно ценят честность».

Юрий Олеша вне всякого сомнения, был самым передовым советским человеком, и поэтому он особенно ценил честность. Другие люди в другие времена придерживались другой точки зрения, а Юрий Олеша ценил честность. Вот, например, когда была рабовладельческая формация, они эксплуатировали рабов и стимулировали бездушие, в эпоху феодализма — вели грабительские войны и всему предпочитали

коварство, в эпоху капитализма — самые низменные инстинкты, и т. д. Юрия Олешу все это даже и не коснулось.

Слова Э. Казакевича о честности, которая сжигала Ю.К.Олешу, относятся к середине 50-х годов. В них необычайно остро и выпукло схвачена историческая производность социальной психологии. Разное время ценит разные качества. С середины 50-х годов передовые советские люди стали ценить честность. До этого времени (середина 40-х годов) они особенно ценили борьбу с космополитизмом. С середины 30-х годов — уничтожение врагов народа и так далее.

Оценив честность в середине 50-х годов, Юрий Олеша, закруглившись с вопросом о приоритете, перестал писать о том, «как прекрасны русские имена и русские лица». Перестал он также писать о том, что «жизнь на советской земле с каждым днем становится лучше...»

Теперь он с недоброй усмешкой и с выстраданным пониманием процесса исторического развития пишет: «Когда я хотел перейти Арбат у Арбатских ворот, чей-то голос, густо прозвучавший над моим ухом, велел мне остановиться. Я скорее понял, чем увидел, что меня остановил чин милиции.

— Остановитесь.

Я остановился. Два автомобиля, покачиваясь боками, катились по направлению ко мне. Нетрудно было догадаться, кто сидит в первом. Я увидел черную, как летом при закрытых ставнях, внутренность кабины и в ней особенно яркий среди этой темноты — яркость почти спектрального распада — околыш.

Через мгновение все исчезло, все двинулось своим порядком. Двинулся и я».

Куда же двинулся Юрий Олеша? Не знаете? А я знаю. Он двинулся к родным и друзьям восторженно рассказывать, какое вдохновляющее событие произошло с ним, что он получил громадный заряд творческой энергии и теперь отдаст заряд весь без остатка этому околышу среди этой темноты, этой беспробудной ночи, и в неподражаемых красках отразит борьбу народа с космополитизмом (середина 40-х годов).

В середине 50-х годов (эпоха честности, охватившей широкие слои населения, в том числе работников торговой сети и творческую интеллигенцию) Юрий Олеша увидел другой автомобиль. Увидев его, он рассказал о нем так:

НАДЕЖДА

Едут лицом на зрителя щеголеватые мотоциклисты эскорта, едет длинный автомобиль, в котором... субъективист и волюнтарист (А. Б.). Люди размахивают флажками, вскидывают руки, кричат:

— Волюнтарист! Волюнтарист! (А. Б.)

Таковы первые кадры кинохроники о приезде субъективиста и волюнтариста (А. Б.) в Париж...

— Волюнтарист! Волюнтарист! (А. Б.)

Еще мы увидим много хроник... Но и тех, что уже прошли перед нами, достаточно для вывода, что встреча была поистине триумфальной.

Что помогло тому, чтобы зажегся, вспыхнул этот триумф?..

...главная, самая важная причина триумфа... в том, что всюду и постоянно, где бы ни был волюнтарист (А. Б.), раздавался призыв ко всеобщему разоружению.

Оцените обстановку. Французы живут в капиталистической стране. Порой они слышат или читают в газетах о том, что войне, возможно, и не мешало бы быть... Есть же в капиталистическом мире люди, держащие войну про запас. Простым людям Франции, слышащим эти разговоры или читающим подобное в газетах, делается страшно: она может разразиться, эта чудовищная война, чья одна бомба разорвется с силой, превосходящей все взрывы со времен изобретения пороха. Угроза войны вполне реальная вещь. Мы знаем, что наше государство никогда не начнет войны. Французы дышат совсем иным воздухом: рядом с ними Аденауэр, мечтающий о реванше, где-то рядом строятся базы, где-то рядом требуют военных кредитов.

И вдруг не в газете, не в хронике кино, а на самом деле, в Париже, в самом их Париже, появляется человек, сильный, уверенный в правде своего мнения — молодой от этой силы и от этой правды, — и говорит, что нужно всеобщее разоружение и что оно возможно...

— Разоружение! Разоружение! Нужно и можно жить в мире!

— Вы слышите? Вы слышите?

— Разоружение возможно! Слышите?

— Мир! Слышите? Мир во всем мире!

У них такие ракеты, такие бомбы, и они за мир! Слышите?, и это вызвало эту бурю радости, которая пронеслась по стране. Мы ничего нового не сказали в данном случае, тем не менее приятно повторить, потому что приятно знать, что самое важное, что может быть сказано на заре нового, атомного века, сказано:

— Разоружение, разоружение и разоружение!

Визит волюнтариста (А. Б.) во Францию, безусловно, вселил в душу простых французов надежду на то, что война никогда не будет развязана.

Призрак войны теперь не так близко будет стоять за их окнами. Теперь французы могут даже увидеть во сне волюнтариста (А. Б.), наливающего им из кувшина доброе молоко или веселое вино».

А через шестнадцать страниц после записок Ю. Олеша в том же номере журнала «Октябрь» напечатаны записки бывшего следователя по особо важным делам Л. Шейнина. И в этих записках сказано:

«...встреча с Парижем...

Отрадно сознание, что... политика борьбы за мир во всем мире, которую так убежденно и смело, так твердо и принципиально ведет наш субъективист и волюнтарист (А. Б.), остается неизменной.

Волюнтарист (А. Б.) всегда честно говорит то, что думает...

Волюнтарист (А. Б.) борется за мир... Он честно говорит то, что думает...

...после визита волюнтариста (А. Б.) во Францию в апреле 1960 года...»

Я не занимаюсь сравнительным анализом двух текстов, но и без специального обследования сходство их не кажется надуманным. Как характерно и как приятно, что наши любимые писатели и наши любимые следователи в нашем любимом журнале дышат воздухом одних и тех же идей!..

Итак, мимо нас проезжают два автомобиля.

Они проезжают, как две исторические эпохи.

Человек, который всегда особенно ценил честность, высоко оценивает каждую из эпох с точностью, на которую способен только вновь утвержденный начальник отдела культуры Фрунзенского райисполкома.

Если бы «Ни дня без строчки» были напечатаны немного раньше, то в них, несомненно, наряду с подборками о деревьях, писателях и птицах, была бы подборка и об автомобилях.

Сегодня 8 марта – Международный женский день. В такие торжественные дни мы привыкли подводить итоги и готовиться к новым победам.

Подводя итоги, следует упомянуть о двух обстоятельствах, которые сыграли решающую роль в судьбе книги «Ни дня без строчки»: первое обстоятельство заключается в том, что автор догадался, что на улице на него не будут указывать пальцем, как на Толстого, на высокие ступени социальной лестницы не пустят, и поэтому можно уже не подличать с неистовостью начинающего преуспевателя, а кое-где действительно быть искренним. Второе обстоятельство состоит в том, что он узнал, будто теперь каждому разрешили писать в ряде случаев лучше, чем раньше, то есть предполагалось (безосновательно), что эту самую искренность санкционировали.

Больше всего восхищает в последней книге Юрия Олеши это то, что ее автора не удалось до конца разрушить другим, и то, что автор не успел окончательно уничтожить себя сам. Именно поэтому такому человеку иногда удавалось не «писать так, как пишут остальные».

Но этот человек знал, что остальные этого никогда ему не позволят, и поэтому он писал, не рассчитывая на то, что остальные это прочтут, и поэтому он писал хорошо или, по крайней мере, старался писать, как мог, хорошо, и иногда это ему действительно удавалось.

Я рассказываю подробно, долго и терпеливо о книге Юрия Олеши «Ни дня без строчки», стараясь, где можно, показать, что это хорошая книга, или, по крайней мере, книга, которая не на много хуже ранних его книг, или что она лучше некоторых книг – своих сверстниц.

Я старался рассказать о причинах появления этой книги, о беде, приведшей к ней, о том, почему она осталась незавершенной, и о том, что она завершена, на мой взгляд, неправильно. Но я нигде не говорю, что это плохая книга или что она много хуже ранних книг ее автора.

Я настойчиво, пользуясь всякой возможностью, старался сказать, что это хорошее произведение и что, благодаря определенным образом сложившимся историческим обстоятельствам, оно выгодно отличается от большого количества очень плохих произведений, написанных Юрием Олешей раньше. Временами оно приближается к тем хорошим или, по крайней мере, достойным произведениям, которые Юрий Олеша написал в молодости. Это произошло потому, что в середине 50-х годов Юрий Олеша и несколько других писателей, которых, конечно, это интересовало, получили некоторую возможность писать и даже печатать в известной мере то, что они думали. Юрий Олеша не злоупотребил такой возможностью, это правда. Но в то же время он и не настаивал в эти годы на том, что прекрасна власть того ума, а уже настаивал на том, что прекрасна власть другого ума.

Все это я старался подчеркнуть, нигде не умаляя значения книги «Ни дня без строчки» и ее автора. Но больше того, что я уже сделал для человека, который пренебрег самым главным, что есть у людей, – свободой, и который поэтому совершил в своей жизни столько недостойных поступков, я сделать ничего не могу.

Юрий Олеша был добровольцем, старшиной, оставшимся на сверхсрочную службу. И поэтому, когда вместо незначительной книги «Ни дня без строчки» уже можно было попытаться написать нечто более серьезное, он не воспользовался этой возможностью, не попытался и предпочел сделать вид, что его творческий путь органичен в своем развитии.

Он думал, что это менее стыдно, чем раскаяние.

Я не знаю, проходили ли в Ришельевской гимназии, где учился Юрий Олеша (а я при встречах так и не успел рассказать ему), один очень важный эпизод из древней истории.

Этот эпизод, может быть, в еще большей степени, чем Олеша, касается других людей, и поэтому я его расскажу.

В древней Иудее, как всюду, были богатые и бедные, и если человек становился совсем бедным, то он продавался в рабство.

«Если продается тебе брат твой, Еврей, или Евреянка, то шесть лет должен он быть рабом тебе, а в седьмой год отпусти его от себя на свободу».

Но, в отличие от других народов, которые считали, что моральные проблемы, связанные с рабством, к свободным людям отношения не имеют, то есть рабы это рабы, а свободные люди потому и свободны, что рабы это другие и на их, свободных людей, психологию владение рабами никакого впечатления не производит, древние иудеи понимали, что рабовладение создает обстоятельства, которые имеют роковые последствия не только для рабов, но и для рабовладельцев.

Поэтому к рабству относились с большой осторожностью, и старались особенно не рисковать.

Однако, не будучи в силу ряда сложных социально-экономических процессов последовательными до конца, рабство терпели, но при этом делали нечто такое, чего не знали другие народы: бедняка, отслужившего шесть лет, из рабства освобождали.

В этом, конечно, не было настоящей, подлинной принципиальности и последовательности, но в то же время было благодетельное внутреннее беспокойство.

«Помни, что (и) ты был рабом на земле Египетской, и избавил тебя Господь, Бог твой; потому я сегодня и заповедую тебе сие».

Жизнь бедняков в рабстве часто была сытнее и легче жизни на воле, голодной и трудной. И попавшие в рабство люди иной раз потихоньку радовались сытой жизни и культурному обществу.

Свобода умирать под мостом им вовсе не казалась столь привлекательной, как это иногда представляется со стороны людям, которые не знают жизни.

Поэтому бедные голодные люди, попавшие в рабство, иногда предпочитали сытую неволю. Шесть лет кончались, но они не спешили домой.

«Если же он скажет тебе: не пойду я от тебя, потому что я люблю тебя и дом твой, потому что хорошо ему у тебя...»

Победители с презрением относились к добровольцам, к рабам по своей воле.

Для того чтобы отличить их от свободных людей, попавших в шестилетнее рабство, им прокалывали ухо шилом.

«...не пойду я от тебя... потому что хорошо у тебя...»

То возьми шило, и приколи ухо его к двери; и будет он рабом твоим на век».

Говорю вам: презрен не раненый пленник, не побежденный борец, не человек, рожденный в неволе, не муж, павший в неравной борьбе, но презрен тот, кто выбрал неволю. Ибо он променял главное, что дано мыслящей плоти – свободу – на жалкую подачку своего господина.

Господи, вразуми людей, пленников, должников, добровольцев, старшин, оставшихся на сверхсрочную службу, научи их, и, может быть, поймут они, что в рабстве нет ни счастья, ни радости, ни покоя и что ни сладкие яства, ни другие плоды земли не сладостны там, где нет свободы, и где нет свободы, там нет любви, радостей жизни, сладких плодов земли и высокого духа.

И если человека превратили в раба и он забыл, или не знает, или не хочет знать, что он раб, то участь его и детей его хуже участи раба, который знает, что он раб, и ищет способа освободиться от ярма своего, от цепи своей.

И потому Моисей сорок лет водил свой народ по пустынным пескам, не отпуская их в дома свои, чтобы родилось новое племя свободных людей, не знавших ярма, и цепи, и плети.

Человек с проколотым ухом писал свои строчки, и он, и другие люди с проколотым ухом не понимали, что только свободный человек может создать хорошие строчки и другие плоды земные, и радости жизни, и любовь, и счастье.

По трудным дорогам истории культуры ходят и ездят писатели, и их социально-историческое развитие всегда находится в строгом соответствии с социально-историческим развитием других пешеходов века.

Пешеходы двигаются в разных направлениях, читают. Одни читают прозу, другие стихи, а есть такие, которые читают «Знание – сила».

Еще больше, чем пешеходы, читают пассажиры.

Нигде в мире вы не увидите такого количества читающих (и не какую-нибудь макулатуру, аДхаммападу, перевод с пали, введение и комментарии В. Н. Топорова. Академия наук СССР, Институт Востоковедения. Памятники литературы народов Востока. М., Издательство Восточной литературы, 1960) в метро, троллейбусе, автобусе, трамвае, электричке, как у нас. Это всегда приводит в бешенство иностранцев (наших врагов) и восхищает наших иностранных друзей. Иностранцы, старающиеся честно разобраться в нашем человеке, с удивлением спрашивают, отчего это: от нестерпимой страсти к просвещению или из-за отсутствия времени читать дома.

Читают пассажиры-современники. Некоторые книги они читают очень внимательно. Особенно про шпионов. Потому что там если упустишь, то потом не поймаешь.

Книгу Юрия Олеши «Ни дня без строчки» тоже прочитали очень внимательно.

Книга эта современникам очень понравилась. Особенно лучшим: вдове писателя, ее сестре, мужу сестры, членам комиссии по наследству, авторам предисловий, друзьям детства и другим людям, ценящим в искусстве смелость, прямоту, благородство и роскошные метафоры.

Мне эта книга тоже понравилась. Хотя и по иным причинам, нежели те, которые вызвали единодушное восхищение лучших моих современников.

Она понравилась очень многим людям, не предвзятым, с хорошим вкусом, читающим много и внимательно.

В связи с этим передо мной встают полные благодарности глаза одного знакомого эскимоса, которому подарили в конце голодной зимы головку чеснока, коробку витамина «С» и бутылочку хвойного экстракта.

Книга Юрия Олеши особенно важна с точки зрения взаимоотношений искусства и времени.

В другую эпоху, например, когда был написан «Король Ричард III», она могла бы пройти совсем незамеченной. Но напечатанная в одном номере журнала «Октябрь» с романом Аркадия Первенцева «Матросы» она начинает волновать наши сердца, сердца читателей, ценящих в искусстве безумную честность, подлинный гуманизм и знание грамматики.

Каждое время ждет своих поэтов, своих трубачей. У каждого времени свои требования, своя культура и свой министр культуры.

В 20-х годах были свои требования и свой министр. В 60-х годах мы имеем другого министра.

Каждое время ждет и получает своих лучших поэтов. Тех, которых оно заслуживает. Были в 20-х годах свои лучшие поэты (Пастернак, Мандельштам, Ахматова, Клюев, Волошин и некоторые другие). Есть и в 60-х свои лучшие поэты.

Каждая эпоха создает свои памятники, выражает себя в них, защищает их, оберегает, охраняет, наслаждается ими. Эпоха Екатерины II создала памятник Петру, эпоха Николая II блистательно выразила свой идеал памятником Александру III и наслаждалась им. Другой эпохе этот памятник не понравился, она отнеслась к нему очень серьезно, не пожелав разбираться еще и в сатире на самодержавие, и выкинула его. Однако не совсем и не навсегда. Свой вариант этого памятника и этого героя, оставив всякие шуточки и сатиру, она установила в Москве и назвала «Юрий Долгорукий».

Но эпоха не только ставит и не только сносит памятники. Она еще и обещает другие. Однако в силу ряда сложных общественных законов не сразу свои обещания выполняет. Так, был обещан, но в силу ряда сложных общественных законов еще не возведен памятник жертвам сталинских побед и палачеств. Может быть, это происходит потому, что обещан он был в одну эпоху, а потом наступила другая? Нет, конечно, не поэтому: ничем одна эпоха не отличается от другой, и потом вообще, почему — две эпохи? Дело совсем не в этом, а в том, что есть большие и есть меньшие возможности: одна эпоха бывает более богата обещаниями, другая менее. Вот и все.

Сравнивая одну эпоху в искусстве с другой, мы можем делать поучительные выводы, на основании которых следует научно планировать дальнейшее развитие литературного процесса.

Кроме тех выводов, которые читатели сделают без меня, и тех планов, которые лягут в основу работы Правления Союза писателей, мне бы хотелось разъяснить, что я с глубоким уважением вообще отношусь ко всяким годам.

Быть может, 20-е годы с их культурой, министерством (наркомпросом) и искусством мне особенно симпатичны, потому что в них уже были ростки того нового, что так великолепно расцвело в 30-х, 40-х, 50-х, 60-х, 70-х, 80-х и т. д. годах? Я отношусь к той эпохе с совершенно особенным чувством, и это поймет всякий дурак, потому что в ней было очарование юности, свежести, трогательности девочки-подростка, девственность цветения, только бутоны, прохладные розовые бутоны, еще неясные в своей внутренней сущности, полные неведомой и загадочной прелести и тайны, когда еще многие не знали, во что они (то есть эти бутоны) распустятся и чем будут пахнуть. Лучшим в 20-х годах было то, что это цветение, этот запах еще не был столь пронзительным и лишенным тайного очарования.

Но книга «Ни дня без строчки», создававшаяся в 50-е годы, нравится людям, среди которых ближайšie родственники, члены комиссии по литературному наследству, авторы предисловий и приятели составляют незначительное меньшинство. Почему же эта книга так нравится остальным людям?

Потому что так не нравятся книги: «Секретарь обкома» Всеволода Кочетова, «Мертвая зыбь» Льва Никулина, «Тля» Ивана Шевцова, «Щит и меч» Вадима Кожевникова, «Хлеб — имя существительное» Михаила Алексева.

Потому что когда люди читают все время только книги, страдающие отсутствием стилистической тонкости, то книга, обладающая стилистической тонкостью, кажется необыкновенно привлекательной, обаятельной, прекрасной и свежей, как бутон. Который еще не распустился. Который обыкновенные читатели Достоевского, Чехова, Хемингуэя, Цветаевой, Фолкнера и Толстого не обязаны и не могут распускать сами.

Главное достоинство книги Юрия Олеши в том, что она лучше других книг.

Одновременно с этим имеется еще одно достоинство: книга Юрия Олеши принадлежит к числу тех, в которых мы особенно ценим не то, что в них есть, а то, чего в них нет.

Она принадлежит к тем никогда не увядающим творениям художественного гения, в которых нет жены, выдающей своего мужа матросам, сына, предающего своего отца, перевыполнения плана производства зерновых, женщин, целомудренных, как заснеженные вершины, мужчин, чистых, как опорожненные поллитровки, председательниц месткома, деятельных, как мясорубки.

И вот оказалось, что могут нравиться и такие книги — без предателей в ореоле героев и без кукурузы, прокладывающей Северный морской путь.

В связи со всем этим бетонные представления о достоинствах и недостатках художественной литературы начинают колебаться.

Непоколебимым остается лишь бетонное представление о том, что нужно и что не нужно читателю. Правда, при этом возникают неожиданности, которые могли бы и озадачить, но не озадачивают.

Например, могло бы озадачить то, что сборник стихотворений «Бег времени» буржуазно-салонной и чуждой нашему народу поэтессы-дамочки Анны Ахматовой, писавшей лишь для узкого круга снотов и гадов, изданный тиражом пятьдесят тысяч экземпляров, разошелся в один день.

Человек движется не со всей историей мира, а с той частицей ее, за которую ухватился, к которой его прибило. За что именно ухватиться, решает в значительной мере сам человек и сам несет ответственность за это решение.

Юрий Олеша сам выбирал свою частицу истории. Он был слабым человеком, и поэтому на его решение влияли разнообразные и не всегда непреодолимые обстоятельства. Он выбрал именно то, что считал для себя наиболее подходящим. Он ошибся, погиб, позволил обстоятельствам себя растоптать, потому что искал успеха, а следовало искать истину.

Но художник должен искать только одного: полного, точного и бескомпромиссного выражения своего намерения.

Таким образом, речь идет о правде искусства.

Правда искусства может не совпадать с истиной жизни и художник может ошибаться; для искусства это значения не имеет. Для искусства имеет значение не правда жизни, а уверенность художника в своей правоте. Поэтому, несмотря на отнюдь не бесспорное утверждение одних людей, что Бог есть, и столь же проблематичное утверждение, что Бога нет, картина Луки Кранаха «Распятие» прекрасна и нравится и тем и другим, независимо от согласия с художником из-за бесспорного художественного аргумента.

В последней книге Юрия Олеши снова появились попытки утвердиться в своей, а не в чужой правоте. Но личность, выражающая себя в своем искусстве, была уже исчерпанной и второстепенной, и поэтому произведение оказалось незавершенным и противоречивым и значительным лишь в тех частях, которые отразили частицы души, уцелевшие от распада.

Если положить историю литературного творчества Юрия Олеши рядом с историей советской литературы, для которой он так много сделал, то станет ясным, как точно Юрий Олеша повторил горы и пропасти своего века, как оба они – писатель и его литература – писали хорошо или плохо в хорошие или плохие годы.

Он был слабым, жалким, талантливым человеком, и он ничего не открыл, чего не открыла бы история литературы, чего не открыли бы за него. Он не возражал времени и его искусству. Он всегда был согласен. Он ничего не нашел, ни на чем не настоял, ни в чем не переубедил никого. У него не было своего определенного и независимого взгляда на мир и не было равных отношений с миром. Он не спорил со Вселенной. Он лишь старался попасть в хороший полк.

Я расскажу вам о смерти поэта.

Юрий Олеша умер так, как скорбно сообщается в некрологах: «после продолжительной и тяжелой болезни».

Он болел двадцать шесть лет, и когда вскрыли его архив, мы стояли растерянные и испуганные, не понимая, как двадцать шесть лет жил этот человек, скончавшийся после продолжительной и тяжелой болезни бесплодия, беспомощности, пустоты и страха.

За месяц до его смерти я сидел на железной бочке во дворе облитого солнцем писательского дома и, щурясь, смотрел на высокий балкон. На балконе стоял Юрий Олеша. Я помахал ему рукой. Он помахал мне. Я сидел на железной бочке посреди писательского двора (тогда я еще не был даже членом Союза писателей!), и одиннадцать этажей писательских жен презирало меня. Олеша бросил окурочку, стараясь попасть мне в глаз. Потом махнул рукой и ушел. Я уже знал, что он махнул рукой на все сразу: на Вселенную, на писательских жен, на международное положение, на книгу о нем, которую я писал, и на бочку, закатившуюся в Замоскворечье. Но я заметил, что рука, махнув, остановилась на некотором расстоянии от бедра. Между ней и смертью поэта осталось небольшое пространство, которое, я знал, Юрий Олеша заполнит литературой.

Никогда за сорок лет литературной жизни у Юрия Олеши не было так много исписанной бумаги. Для того чтобы получилась книга, нужно много, очень много исписанной бумаги. Эту бумагу долго перекалывают с места на место, потом клянутся, что покончат с собой, потом клянутся (и уже совсем определенно), что больше писать не будут никогда. Тогда получается книга. Юрий Олеша перекалывал бумагу с места на место, клялся, что отравится барбамилом, что никогда больше писать не будет. Ничего не помогало. Книга не получалась.

Были исписанная бумага, огромный писательский опыт, влюбленность в каждую строчку писателя, перед которым он преклонялся – Юрия Олеши.

Был замечательный художник, была прекрасная бумага, превосходная пишущая машинка, яркий солнечный день. Книжки не было.

Вечером он позвонил мне.

– О чем вы думали во дворе? О моей смерти?

– Нет, сказал я не наврав, нет. Я думал о том, как вы пишете свою смерть: портсигар около глаза, отблеск на стекле глаза... То есть не так, конечно, а вообще как вы пишете, зачеркиваете, живете. Понимаете?

– Да, да, – сказал Олеша, – возможны варианты: медленно расширяется и останавливается зрачок. Правда, хорошо? Нет, лучше так: маленький выпуклый красный шар глаза. А, как вы думаете?

Двадцать шесть лет писатель уверял, что литература – это метафора, психологизм, неологизм. Потом понял, какую ответственную роль играет эвфония.

Герой «Ни дня без строчки» и автор того же произведения, человек, который не сопротивлялся истории, а только двигался в ее течении, цветок и садовник, узник и каменщик времени, гибнущий художник дописывает свою последнюю трудную строчку.

Последнюю строчку перед гибелью.

«Я еще попрощаюсь с тобой торжественно, выбрав специальную обстановку, а пока прощание на воспоминании...»

Вот одно из черновых прощаний, дорогая жизнь...»

И в этот миг – в мозгу прошли все мысли, Единственные нужные. Прошли – И умерли.

«Ложись!» – крикнул чей-то испуганный голос.

Художник упал на колени.

Но тут же глаза его на мгновение встретились с светящейся трубкой рядом с ним крутившейся бомбы.

Ужас – холодный, исключаящий все другие мысли и чувства, ужас объял все существо его; он закрыл лицо и упал на живот.

И когда жизнь, отношения людей, искусство, любовь, старые привязанности, нравственные представления и иллюзии стали рушиться и гибнуть, и он увидел безнадежный мир, мир лжи, крови, разрушения и смерти, подобный тому, каким предстал он в огне и дыме за сто лет до этого в севастопольских ложементх начинающему писателю, подпоручику легкой № 3 батареи 11-й артиллерийской бригады Л. Толстому, он понял, что так жить невозможно, что все непоправимо, все кончено и он погиб, — и тогда перед ним прошла его жизнь, в которой были прекрасные и чистые дни, и в эти дни он написал лучшие свои страницы, и были отступничество и ложь, которых можно было избежать, удача, которую он так любил и за которую отдал так много, испуг, который он не мог преодолеть, лицемерие, равнодушие, измены и страх.

Воспоминания о прожитой, о погибшей, погубленной жизни — целый мир чувств, мыслей, надежд промелькнул в его воображении.

Он вспомнил, как отец ставит его, мальчика, на подоконник и делится из револьвера; вальс, который он напевал до последней минуты, пришел ему в голову; девочка, которую он любил, явилась ему в воображении, в синем платье, отделанном красной тесьмой; пристав, оскорбивший его в детстве; вспомнились ему нераздельно с этими тысячи других воспоминаний, но чувство настоящего — ожидание смерти и ужаса — ни на мгновение не покидало его.

Во весь горизонт стояла перед ним, тихо приплясывая, смерть.

Бедный и грешный, испуганный, сдавшийся художник умирал, улыбаясь, все понимая, не понимая.

Красный лес косо и быстро встал перед ним. Белое небо качнулось и замерло под его ногами.

Это была удивительная реальность, которая в точности лепится по мечте.

Быстро и резко с дороги поднялся камень и ударил художника в грудь.

1958 — 1968

Периодические издания

А-Я /А-УА

«L'art russe contemporain поn official», «Unofficial Russian art reviuе». Ежегодный альманах, посвященный в основном изобразительному искусству. Изд. в 1980—1986 в Elancourt (France). В 1980—84 вышли №№ 1—6, в 1985— № 1, в 1986— № 7. Материалы авторов, находящихся в СССР, печатались без их ведома. Нумерация сплошная. Тираж не указан. Есть представители в США, Италии, Швейцарии, Японии и Израиле. Рубрики: Критик об искусстве; Мастерская; Наследие; Галерея; История; Интервью; Выставки; Книги. Лит-ра представлена жанром эссе а также лит. творчеством художников. Тексты на русском и английском языках. № 7 открывается статьей Р. и В. Герловиных «Искусство самиздата» о жанре самодельной книги как осознанном худ. объекте в России. Среди авторов: Б.Гройс, В.Пацуков, В.Паперный, А.Синявский и др.

Редакторы: А.Алексеев, И.Шелковский; в 1981 — А.Алексеев, А.Косолапов, И.Шелковский. В редколлегию входили: И.Баскина, Д.Гамбрэлл, И.Голомшток, Б.Гройс, С.Есяян, М.Тупицына-Мастеркова.

АВТОМАРКЕТИНГ

«Информационно-аналитический и литературно-худ. журнал». Учредители — «Отава», А.Е.Гусев, А.И.Дубинская. Издатель — «National Trade Holding». Известен только стартовый номер, вышедший в 1994. Объем — 32 полосы с илл. Тираж и периодичность не указаны. Лит-ра представлена рубриками «Автопроза», «Приключения», «Л итсратур - road» — прозой на автомобильные темы А.Гусева и В.Посошкова. Гл. редактор — Андрей Гусев.

АЛЕФ

«Междунар. журнал». Вых. в Израиле ежеквартально с 1987. Распространяется по подписке в Израиле, США, Европе, Австралии; с 1989, в связи с разрешением ввоза культурно-просветительских материалов из-за границы, — в СССР. Объем — 64 полосы. Тираж не разглашается. Основные рубрики: Почта «Алефа»; Вокруг света; Семь дней; Календарь рус. писателей-евреев; Литература; Детектив; Урок англ. языка. Публикуются произведения израильских авторов а также писателей еврейского происхождения из др. стран. В рубрике «Календарь рус. писателей-евреев» — статьи к годовщинам со дня рождения и смерти известных литераторов. Среди публикаций — воспоминания А.Алексина «Перелистывая годы» (1995), статьи о В. Шкловском (1989) и др.

Гл. редакторы — Б.Реувен, В.Ханелис (1987-1988 гг.), Г.Певзнер (1988— 1991), Д.Шехтер (с 1991).

АЛЬ КОДС

«Образовательно-культурно-просветительская газета. Палестинский голос, затерянный в России». Изд. с 20 июня 1992 на араб., англ. и русском языках. По обвинению в разжигании национальной и расовой вражды, по инициативе Госкомпечати РФ 17.11.1994 издание было закрыто на 9 месяцев; зарегистрировано заново 29.08.1995. Издатель — Шаабан Хафез Шаабан. Объем — 12 полос. Периодичность — 2 раза в месяц. Заявленный тираж на всех языках — 3 000 000 экз. Поддерживает российских националистов и коммунистов. Идеологическое кредо: «чтобы спастись, народам России надо восстать против сионизма». Среди авторов —

поэт И.Савельев, публицисты В.Бушин, Э.Володин. После очередного закрытия преобразована в газ. «Дуэль».

Гл. редакторы рус. издания – Наим Хафез (1992), Камиль Султанов (1992), Лариса Бабиенко (1993–94), Владимир Якушев (1994-1995), Шаабан Х.Шаабан (с ноября 1995).

АЛЬМАНАХ КЛУБА РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Вып. клубом рус. писателей в Нью-Йорке с 1987 по 1991. Среди публикаций «Альманаха-95» с предисловием профессора РБслнапа – роман ЕЛюбина «В поисках Бога», повесть Л.Ясень «Разумеевна», рассказы Н.Коваленко, С.Пустыльника, А.Чистякова, стихи Н.Белавиной, О.Бешенковской, В.Гланца, Е.Клюевой, Слемперта, В.Урина, П.Шуфа и др.

Редакторы – Е.Димер, ЕЛюбин.

АМАДЕЙ

Илл. журнал «в основном для мужчин» АО «Амадей». Изд. в 1994 – 1997. Учредитель – EM Industrie Consulting und Handels GmbH (Германия). Указанная периодичность – 6 раз в год. Печатался в Италии. Имел представительства в Мюнхене, Нью-Йорке, Париже. Вышло 11 номеров. Объем – 208-192 полос, тираж в 1997 – 30 000 экз. Рубрики: Приметы стиля; Фронт; Ното Legens; Блокнот; Мужское дело; Итоги года; Советы Амадея. Лит-ра представлена переводами зарубежных авторов (Б.Виан), эссе Ю.Арапова, В.Шендеровича, Вик. Ерофеева, И.Ахметьева и др., а также интервью с популярными писателями.

АНТИПОДЫ

«Лит.-публицистич. журнал». Изд. в Мельбурне с 1993. Первый из выходящих в Австралии на рус. языке. Объем – 86 полос. Периодичность нерегулярная. Тираж не указывается. Цель журнала – «удовлетворять культурные потребности русскоязычных читателей в Австралии». Рубрики: Социальная страничка; Полемика; Литература; Новые имена; Страницы истории; Австралийские встречи; В Мельбурне; Юмор; Интересно узнать. Среди публикаций в № 1 за 1995 – отрывок из кн. Х.Арендт «Происхождение тоталитаризма», «Гарики на каждый день» И.Губермана, рассказ С.Костырко, стихи Р.Марковой и Г.Дробиза, обзор израильской прессы.

Гл. редактор – Б.Кабов.

АПОЛЛОН-77

Лит. альманах, изданный в 1977 в Париже Михаилом Шемякиным вместе с некоторыми представителями третьей эмиграции. А-77, заимствовав назв. ведущего журн. С.-Петербурга «Аполлон», объединяет (как и тот) авангардистское изобразительное иск-во и лит-ру своего времени, но не достигает высокого духовно-религиозного уровня и качества С. Петербургского журн. В А. на 386 с. форматом в четверть листа журн. начала века помещает стихи, прозу и драматические произв. 55 авторов, причем некоторые из них в первый раз опубл. на Западе. Включены произв. Н. Воронель, Л. Губанова, В. Кривулина, В. Лена, Э. Лимонова, В. Марамзина, Вс. Некрасова, О. Прокофьева, Г. Сапгира, В. Уфлянда, И. Холина, А. Цветкова и др. А. часто упрекали в злоупотреблении назв. Лит.: Г. Струве, «Рус. мысль», 1977, 28.4. и 4.8.; В. Рыбаков, там же, 1977, 17.5.; А. Николаев, там же, 1977, 25.8.

АРЗАМАС

Лит.-худ. журнал. Изд. с июля 1992 в Нью-Йорке Междунар. обществом пушкинистов. Это, по оценке еженед «КО» (17.09.1996), типичный «журнал для среднего читателя». Среди публикаций – статьи и эссе о А.Пушкине, исследования по рус. истории, рассказы Ю.Дружникова и др.

АРИЭЛЬ

«Культурно-худ. обозрение». С илл. Изд. в Иерусалиме отделом культурных связей МИД Израйля с 1962 г. на рус., англ., исп., нем., франц. языках с подзаголовками: «Ж-л совр. израильского искусства и лит-ры» (1989–91), «Журнал израильской культуры» (с 1992). Периодичность: в 1962–1963, 1965–1966, 1975– 1 раз в год, с 1991 г. -три-четыре раза в год. Тираж не указан. Русское издание осуществляется при участии Ассоциации помощи Израильского фонда культуры и просвещения в диаспоре. Лит-ра представлена рассказами и стихами. Среди авторов – Ш.Клейман, С.Захаров и др.

Гл. редакторы – И.Галеви-Левин (1962–1988), Ашер Вайль (с 1989). Редактор рус. издания – С.Тартаковская.

БАЛАГАН

«Израильский юмористический журнал». Вых. ежемесячно с 1993 по 1995 в Тель-Авиве. Издатель – NESLIN TRADING INC. (Израиль) Объем – 30 полос с илл. Тираж не разглашался. Распространялся по подписке и в розницу. Рубрики: Балаганизмы; Светская хроника; От Шекспира до Шапиро; Под небом

Израиля; Карикатуры и проститутки, Наш пьедестул. Среди авторов: В Орлов, В.Токарева, С.Аптов, В.Роньшин и др. Опубликовано произведения: М.Булгакова, В.Высоцкого, С.Довлатова, «Краткий курс истории XX в. в анекдотах, байках, легендах, частушках, мемуарах, преданиях и т.д.» Ю.Борева и др.

Гл. редактор — А.Каневский. В редколлегию входили А.Арканов, Э.Баух, М.Кислянский.

БАЛАГАША

«Междунар. детский юмористический журнал». Приложение к ж-лу «Балаган». Выходил ежемесячно в 1993- 1994 в Тель-Авиве. Объем 14 полос с илл. Тираж не разглашался. Распространялся по подписке и в розницу. Рубрики: Школа Карабаса-Барабаса; Тормашки вверх; Загадочные страницы; По разным странам с Балаганом; Стиховарение. Среди авторов: Э.Успенский, Г.Остер, Б.Заходер. Среди публикаций — произведения Д.Хармса.

Гл. редактор — А.Каневский. В редколлегию входили А.Арканов, Э.Баух, М.Кислянский, З.Симкин, Э.Успенский.

БЕРЕГ

«Журнал Рус. общества в Дании». Вых. в Копенгагене на рус. и дат. языках нерегулярно. Известны №№ 1, 2—3 за 1999. Объем — 74 полосы с илл. Постоянные рубрики: Актуальное интервью; Гостиная «Берега»; Вехи культуры; Это интересно; Записки путешественника; Творческий ракурс; Мир глазами детей; Полезная информация. Публикуются, в частности, стихи и рассказы русскоязычных авторов, живущих в Дании.

Редактор — Нина Гейдэ.

БЕСЕДА

«Бюллетень Рус. Культурно-Благотворительного Общества». Основан в Филадельфии в январе 1953. Известен № 20 (1986, май). Объем — 18 полос с илл. Тираж не указан. Среди публикаций — воспоминания о детстве С. Рождественского, стихи С.Шиленок, В.Чекальской, обращение к рус. эмигрантам В. Соколова-Самарина.

БЕСЕДА

«Религиозно-филос. журнал». Вых. в 1983-88 один-два раза в год в Ленинграде и Париже. Выпущено 7 номеров. Объем — 224 полосы с илл. Рубрики: Религия и философия; Религия и лит-ра; Поэзия; Рецензии; Интервью. Среди авторов — О.Клеман, Б.Гройс, Ж.Батай, Е Шварц, Ю.Мамлеев, В.Лосская, И.Бурихин. В.Аксюциц, А.Жолковский и др.

БОСТОНСКАЯ НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА

«Еженедельник». Вых. в Бостоне (США) с 1995. По ред. заявлению, «задумана и основана Иммануилом Глейзером, Валерием Лебедевым, Владимиром Торчилиным». Литературу представляют стихи И.Глейзера, материалы излит, наследия И.Эренбурга, других рос. авторов еврейской национальности.

БОСТОНСКИЙ МАРАФОН

«Еженедельная газета». Вых. в Бостоне с 1998. Объем — 28 полос. Лит-ра представлена стихами, рассказами, статьями В.Гандельсмана, З.Абдуллаевой и др., а также беседами с писателями, информацией о лит. жизни в России и США.

Издатель и редактор — Ирина Муравьева. Вредсовет входят А.Генис, Б.Парамонов, Л.Штерн, Л.Песок, М.Эпштейн, А.Росин.

БОСТОНСКОЕ ВРЕМЯ

Газета — «Weekly Russian-American Newspaper». Выходила в 1995—97 как бесплатное рекламное приложение к газ. «Новое русское слово» (Нью-Йорк) раз в неделю, по средам, на 8 полосах. В 1997 были изданы 7 выпусков в Чикаго, Филадельфии и др. городах США общим тиражом 10 000 экз. Лит-ра была представлена прозой, поэзией, эссе, статьями о литературе, интервью с писателями. Среди авторов — Г.Владимов, А.Генис, В.Гандельсман.

Президент и издатель — Валерий Вайнберг. Шеф-редактор — Ирина Муравьева.

ВЕДОМОСТИ

Газета. Вых. в Кельне. Лит. произведения печатались на полосе «Лит. гостиная», которая позднее превратилась во вкладыш-приложение «Лит. ведомости» (редактор — Д.Чкония). Среди авторов — О.Чухонцев, Т.Бек, А.Кушнср, В.Кривулин, О.Бешенковская, С.Альтов, А.Кучаев и др.

Редактор — Д.Гершоин.

ВЕК/ВЕСТНИК ЕВРЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

«Лит.-худ. и обществ.-полит, журнал Латвийского о-ва еврейской культуры». Изд. с апреля 1989 в Риге как бюллетень, с 1990 как журнал. Тираж в 1990 – 500 экз.

ВЕРА И ЖИЗНЬ

«Журнал миссионерского союза «Свет на Востоке». Изд. в Германии с 1974 на пожертвования читателей. Известен № 4 за 1993. Объем—30 полос с илл. Тираж не разглашается. Рубрики: Проповедь; Азы христианства; О слове вечном; Из поэтических тетрадей; Письмо с вопросом; Листая старые страницы; Точка зрения; Свидетельство; Нам пишут; Молитесь о них. Среди постоянных авторов: Л.Бледных. Среди публикаций – рассказ Родиона Березова «Вася Шумилин».

Главный редактор – Николай Водневский.

ВЕСТИ

Еженедельная газета. Вых в Израиле. Объем – 24 полосы. Среди публикаций – детективная проза Л.Словина, беседы с писателями.

Шеф-редактор – Эдуард Кузнецов.

ВЕСТНИК

«Единственная в Канаде газета русской общности». Изд. в Торонто с 1941 Федерацией русских канадцев. Выходила еженедельно, с 1942 – два раза в неделю, с 1992 – опять еженедельно.

Издатель Н.Н.Попов. Редакторы: В.Г.Шилов (1965–71), Г.Окулевич (1971–91), А.Россинская, Т.Аткинсон, К.Ильин, А.Тюрин (1991–92), А.Тюрин, Е.Быстрицкая, А.Юровская (1992–94), А.Тюрин, Е.Быстрицкая, А.Стефан и дзе (1994–95), М.Стулова (1995–96), С.Остроумов (1996), О.Брешко, А.Доминский, М.Филиппова (с 1996).

ВЕСТНИК

«Всеамериканский двухнедельный журнал на русском языке». Вых. в 1991–95; с 1991 г. в Owing Mills (USA), с 1993 – в Балтиморе. Известны 124 номера. Объем – 58 полос с илл. Периодичность – раз в две недели. Тираж не разглашался. Рубрики: Новости и мнения; Невыдуманные истории; Книжное обозрение; Анекдоты от Канторовича; Поэзия; Рассказ; Эмигрантские сказки; «Сами о себе»; Колонка юриста; Кроссворд, шахматы; Анекдоты, астрология и др. Среди авторов – В.Гандельсман, Э.Дрейцер, Д.Рубина, К.Сапгир, С.Золотарев, Е.Гордон, А.Плоткин и др.

Издатель – Валерий Прайс, гл. редактор – Виктор Блок.

ВЕСТНИК/DER VOTE

«Журнал Евангелической Лютеранской Церкви в России, на Украине, в Казахстане и Средней Азии». Изд. с 1993 в С.-Петербурге на рус. и нем. языках. Периодичность – 4 раза в год. Объем – 46 полос с илл. Тираж в 1999 – 5 000 экз. Рубрики: Проповедь; Катехизис; Работа с детьми; Культура; Юбилей; Детские страницы; Вопросы и ответы; Новости из епархий; Поиск родных; Книжный уголок; Слова, ведущие к жизни. Печатаются духовные стихи читателей.

Редакторы: Хайкс Вальтер, Арина Шепелева.

ВЕСТНИК

«Русский журнал в Финляндии». Изд. в Хельсинки с 1994 года. Учредитель – Русский культурно-демократический союз в Финляндии. Известны 12 номеров за 1994. Периодичность – ежемесячно. Объем – 8 полос с илл. Распространяется по подписке. Не структурирован по рубрикам. Литература представлена рядом стихотворных и прозаических публикаций. Среди авторов: Э. Иоффе, Э.Сетерган и др.

Гл. редактор – Галина Проница.

ВЕСТНИК ЕВРАЗИИ

«Независимый научный журнал». Изд. с 1995 научно-информационной фирмой «Туран» при поддержке фонда Ф.Науманна (ФРГ). Тираж – 2 000 экз. Рубрики: Пространство; Народы; Безопасность; Евразийство. Среди авторов – Б.Хазанов, Р.Урханова и др.

Гл. редактор – Сергей Панарин.

ВЕСТНИК ОБЩЕСТВА РУССКИХ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ В САН-ФРАНЦИСКО

«Двухмесячный военно-ист. и лит. журнал. Вых. в Сан-Франциско с 1926 по 1992 гг. С 1959 г.- без подзаголовка.

Редакторы: Араксин (Айрапетян) (1984), Д.ГБраунс, А.Н.Князев, Е.А.Монтьев (1985-1989), А.Н.Князев (с 1990)

ВЕСТНИК РУССКОГО ХРИСТИАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Le Messenger. Издатель — «УМСА-Press». Основан в Париже в декабре 1925 года. Изд. до 1939, затем с 1945 года. Название ж-ла многократно менялось: «Вестник русского студенческого христианского движения в Западной Европе» (1925–26); 1927, 1930–36 гг. — «Вестник русского студенческого христианского движения» (1927, 1930–36); «Вестник. Орган русского студенческого христианского движения в Западной Европе» (1928–29); «Вестник. Орган церковно-общественной жизни» (1937–30); 1945–47 гг. — «Вестник церковной жизни» (1945–47); «Вестник. Орган русского студенческого христианского движения в Германии» (1949); 1950–1974 гг. — «Вестник русского студенческого христианского движения» (1950–74). Указание на место издания также менялось: в 1925–48 — Париж; в 1949 — Мюнхен; с 1950 — Париж; с 1953 — Париж-Нью-Йорк; с 1974

— Париж-Нью-Йорк-Москва. С 1990 печ. в России как безгонорарное издание. Периодичность: с 1927 по 1935 и в 1937 гг. — ежемесячно; в остальные годы выходил нерегулярно (в среднем 2–4 номера в год). Нумерация выпусков сплошная (с 1953) Объем — до 380 полос. Тиражи: в 1925 — 300 экз.; в 1927 — 1 350 экз.; в 1970— 1 700 экз.; в 1995 — 5 000 экз. Рубрики: Богословие, философия; Литература и жизнь; Судьбы России. Среди постоянных авторов — А.Солженицын, Г.Айги, Ю.Кублановский, С.Аверинцев, О.Раевская-Хьюз. Среди публикаций — материалы, связанные с Н.Бердяевым, А.Ахматовой, А.Ф.Лосевым, Б.Пастернаком, С.Булгаковым.

Гл. редакторы — Н.Зернов, И.Лаговский (1925–30), И.Лаговский, Г.Федотов (1931–37), АЗеньковский (1937–39), А.Киселев (1949), И.Морозов (1950–1970), Н.А.Струве (с 1970). В редколлегию в разные годы входили: К.А.Ельчанинов, А.Шмеман, В.Зеньковский, Д.Поспеловский, О.Раевская, В.Аллой, С.Аверинцев, А.Богословский, Ю.Кублановский и др.

ВЕЧЕ

«Независимый русский альманах». Продолжает традиции самиздатского журнала «Вече», выпускавшегося Вл.Осиповым в 1971–73 (всего 9 номеров). Изд. в Мюнхене в 1981–96 Российским Национальным Объединением в ФРГ. Выходил ежеквартально, потом

— дважды в год. Вышло 57 номеров. Объем — до 200 полос. Тираж не разглашается. Традиционные рубрики: Проблема для обсуждения; Стихи русских поэтов; Наши юбилеи; Россия и церковь; Материалы по истории русского самосознания; Умалчиваемое и забытое; История русской эмиграции; Русский самиздат; Россия и Запад; Страницы истории; Проблемы для обсуждения; Нам пишут и др. Опубликована, в частности, «Русофобия» И.Шафаревича. Среди авторов — Д.Балашов, М.Назаров, Ст.Куняев, А.Стрижев, В.Карпец, П.Паламарчук. В 1989–90 в качестве лит. приложения было опубликовано в трех выпусках «Прощеное воскресенье» Л.Мончинского. Рубрики в последних номерах: Трибуна «Вече»; Проблемы современной России; Русская церковь сегодня; Философия, культура; Страницы истории.

Редакторы — Е.Вагин, В.Красовский; К.Мосичкин. С 1984 издатель и гл. редактор — О.Красовский. С 1989 работает редакционная группа в Москве во главе с В.Тростниковым.

ВЗГЛЯД

«Независимый русско-амер. еженедельник». Вых. в Нью-Йорке с 1996. Объем — 32 полосы. Литература представлена ист. детективами А.Цывина.

Издатель и редактор — Владимир Цаплин.

В НОВОМ СВЕТЕ

«Еженедельная русско-амер. газета». Изд. в Нью-Йорке при участии газ. «Московский комсомолец» с 1995. Объем — 40 полос. Основу издания составляют перепечатки из «Московского комсомольца», а усилиями американского отделения еженедельник знакомит читателей с событиями, происходящими в США. Литература представлена беседами с писателями (Д.Гранин, Б.Окуджава и др.), а также лит. хроникой.

Шеф-редактор — Наталья Ефимова.

ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС

Русскоязычная газета. Вых. ежемесячно в Алене (Германия) с 1995. Объявленный тираж — 24 000 экз.

ВОЛЯ РОССИИ

Культурно-полит. журн., основанный в Праге социалистами-революционерами (эсерами), группировавшимися вокруг Керенского. С 1924 по 1932 выходил ежемесячно. С 1927 ред. журн. Перемещается в Париж. Позиция В. Р. формулировалась так: «Мы последовательно и неуклонно защищаем демократический социализм против большевистской диктатуры...». Ред. лит. части журн. был Марк Слоним. Важнейшими лит. сотрудниками были А. Ремизов и М. Цветаева, из старших эмигрантов публиковались К. Бальмонт, Б. Зайцев, М. Осоргин и В. Ходасевич, из писателей, некоторое время бывших в эмиграции, — А. Белый и В. Шкловский. В. Р. поддерживала также лит.-ру, появляющуюся в СССР, исходя из того, что «она жива и будет развиваться, несмотря на удары коммунистической диктатуры, тиски цензуры и нелепые попытки вырастить цветы пролетарского иск-ва в оранжереях -> ВАПП и «На посту» (--> Октябрь) (Слоним). В. Р. публиковала произв. Н. Асеева, И. Бабеля, Е. Замятина, Л. Леонова, В. Маяковского, И. Новикова, Б.

Пастернака, Б. Пильняка, К. Тренева, О. Форш, Саши Черного и др. Журн. вел полемику с И. Буниным, З. Гиппиус, А. Куприным, Д. Мережковским и И. Шмелевым. С 1926 В. Р. печатала также произв. молодого поколения эмигрантских писателей, например, В. Варшавского, Г. Газданова, Б. Поплавского и Ю. Терапиано. Наряду с рус. лит-рой и критикой В. Р. публиковала пер. таких западноевроп. писателей, как И. Волькер, Т. Манн, М. Пруст, Р. Роллан и К. Чапек. Лит.: М. Слоним, ж. «Воля России», 1924, № 4 и сб. «Рус лит-ра в эмиграции» (сост. Н. П. Полторацкий), 1972; И. Толстой, ж. «Звезда», 1990, № 8.

ВОЗРОЖДЕНИЕ

ЛИТ.-ПОЛИТ. ж урн., выходивший в Париже в 1949-74. Предшественницей журн. была газ. «Возрождение», выходившая в 1924-35 ежедневно, в 1936-40 — еженедельно и финансировавшаяся тем же меценатом — армянином А. Гукасовым (умер в 1969). Первым ред. газ. В. Был П. Струве, после него — с 1927 — И. Семенов. Ред. ж урн. В. возглавил в 1949 литературовед И. Тхоржевский, после его смерти в 1950 — историк

В. Мельгунов. До 1958 ред. часто менялись, затем во главе ред. Стал князь

С. Оболенский, сначала вместе с Злобиным, с 1960 — с И. Горбовым. Всего за 1949-74 вышло 234 номера. Журн. В. считался рус. национальным органом печати, близким к православной церкви, он возник на почве добровольческого белогвардейского движения времен гражд. войны. С 1924 по 1974 в газ. и журн. В. сохранялось четкое антикоммунистическое направление. В. конкурировал с газ. «Последние новости» и журн. «Совр. записки». Кроме полит. статей В. постоянно печатал лит. произв. и лит. критику. К важнейшим авторам журн. принадлежали И. Бунин, З. Гиппиус, Б. Зайцев, Д. Мережковский, А. Ремизов, В. Смоленский, затем — в обл. религии и философии — Н. Арсеньев, В. Зенковский, В. Ильин. В диссертации Ярослава Томашовского представлены история В., его ред. и гл. авторы, а также дан указатель содержания до августа 1973. Лит.: С. Meier, ж. «Возрождение», № 42-44,

1955; Ja. Tomaszewski. Diss Vanderbilt., 1974.

ВРЕМЯ И МЫ

Журнал. Изд. Виктором Перельманом с 1975. Подзаголовки многократно менялись: Илл. ж-л литературы и общественных проблем (1977–79); Междунар. ж-л литературы и общественных проблем (1981–84; 1995–98); Междунар демократический ж-л литературы и общественных проблем (1985–93); в 1994 гг. — Российско-американский лит. ж-л (1994); Демократический ж-л литературы и общественных проблем (с 1999). Менялось также место издания: Тель-Авив (1975–89); Нью-Йорк-Иерусалим-Париж (1990–91); Нью-Йорк (1992–94); Москва- Нью-Йорк (1994–98); Москва (с 1998). Периодичность: с 1980 — 6 раз в год; в 1995–96 ежеквартально. Нумерация выпусков сплошная. К 2000 выпущено 146 номеров. Объем — 302–134 полосы с илл. №№ 123–126 вышли в 1994 тиражом 20 000 экз.; тиражи в 1995–2000 экз. (с № 130 не указываются). Рубрики: Проза; Поэзия; Россия на перепутье; Аспекты совр. мира, Литература, критика, искусство; Вернисаж; Время и мы. Среди авторов: И. Лисовая, З. Зинник, В. Перельман, Л. Аннинский, В. Шляпентох и др. В редколлегию входят (в 1995) Л. Аннинский, В. Бахчанян, Ю. Брегель, Д. Глэд, Ю. Дружников, Л. Жуховицкий, Е. Пищанский, Я. Засурский, Г. Поляк, Л. Наврозов, В. Рубинзон, И. Сулов, М. Фридберг, В. Шляпентох, Е. Эткинд. Есть представительства и отделения в Москве (зав. центром Л. Аннинский), Израиле, Франции, Германии.

Президент и издатель — Виктор Перельман (гл. редактором короткое время был Лев Аннинский (с ноября 1995).

ВСТРЕЧИ

«Ежегодный поэтический альманах». Изд. в Филадельфии (США) с 1985 как правопреемник альм. «Перекрестки», выпускавшегося в 1977-1984. К октябрю 1996 вышли №№ 1-20. С илл. Среди авторов — И. Ратушинская, Ю. Кублановский, Е. Витковский, Н. Моршен, Л. Владимирова, В. Крейд. В разные годы в редколлегию входили: Д. Бобышев, Р. Герра, В. Крейд, М. Крепе, А. Либерман, В. Шаталов.

Гл. редактор — Валентина Синкевич.

ВСТРЕЧИ

Ежемесячный журн., выходивший с января по июнь 1934 (№№ 1-6, 286 с. в целом) в Париже под ред. Г. Адамовича и М. Кантора. Гл. темой журн. была совр. рус. лит-ра, вместе с тем здесь регулярно появлялись статьи и короткие заметки об изобразительном иск-ве, кино и театре, равно как о нем., франц. и англ. лит-ре и о событиях экономической и полит. жизни. Подобно журн. «Числа», журн. В. был открыт прежде всего для второго поколения первой --> эмиграции. Среди др. авторов в нем публиковались Н. Берберова, Р. Блох, В. Варшавский, Г. Газданов, В. Злобин, Г. Иванов, Д. Кнут, Ю. Мандельштам, И. Одоевцева, Н. Оцуп, Б. Поплавский, Ю. Фельзен, М. Цветаева, А. Штейгер. В критической части журн. кроме обоих ред. постоянно сотрудничали П. Бицлли и В. Вейдле. Встречаются также статьи З. Гиппиус, Д. Мережковского и И. Шмелева. Содержание всех 6-ти номеров собрано в общем указателе.

ГАМБУРГСКАЯ МОЗАИКА

Научно-популярный и лит. альманах. Вых. в г. Гамбург (Германия). Известны вып. 1–2. Постоянные рубрики: Германия – Россия; Экология; Научно-популярные страницы; Гамбург – Мозаика; Лит. страницы. Печатаются в основном произведения русскояз. авторов, живущих в Германии.

Редакторы-составители – Самуэлла и Юрий Одессеры.

ГНОЗИС

Религиозно-филос. и лит. журнал. Подзаголовок с 1995: «Двуязычный журнал литературы, философии и искусства». Изд. в г. Нью-Йорк с 1978; с 1995 – Нью-Йорк–Москва. Периодичность в 1978 – ежеквартально, затем нерегулярно. К 1995 вышли № 1–11. В числе авторов: И.Бурихин, Ю.Стефанов, А.Ровнер, Д.Бобышев, Н.Боков. Среди публикаций: стихи и статьи Г.Адамовича, Б.Поплавского, Л.Червинской, Ю.Терапиано. Редактор – А.Ровнер; позже А.Ровнер и В.Андреева.

ГОЛОС ЗАРУБЕЖЬЯ

Журнал. Изд. в г. Мюнхен в 1976–93 профессором политологии Мюнхенского ун-та В.А.Пирожковой. Периодичность 3–4 раза в год. Вышел 71 номер. Объем 48 полос. Тираж не указан. «Все мы хотели хоть немного помочь свободному русскому слову, – вспоминает В.А.Пирожкова... – Помню, как уже после наступления гласности меня в Москве спросили с удивлением, как у нас на страницах журнала уживались демократы, монархисты, почвенники». № 78/79 вышел в С.-Петербурге в мае 1996. В него включены статьи и воспоминания В.А.Пирожковой «Потерянное поколение», статьи Д.Штурман, протоиерея Димитрия (Константинова), священника о. Виктора (Соколова), Олойко. После выхода журнала в С.-Петербурге гл. редактор сообщила, что «...если журнал заинтересует близких по духу российских авторов, если нам суждено будет издать в Петербурге еще хотя бы несколько номеров, мы переименуем название журнала». Эти планы не были осуществлены.

ГОРИЗОНТ

Православ. журнал для молодежи. Изд. в г. Нью-Йорк. Заявленная периодичность – 3 раза в год. Известен 1-й номер за 1986. Объем 134 полосы. Тираж не указан. Рубрики: Из прошлого; Из недр народных наших; Наше время.

Редактор – Георгий Каллаур.

ГРАНИ

Журнал. Основан в 1946 Е.Р.Романовым. Вып. изд-вом Народно- трудового союза (НТС) «Посев» в Германии с 1946 (с 1990 – в России; учредитель – филиал Коммандитного товарищества изд-ва «Посев»). Подзаголовки менялись: с 1949 – «журнал лит-ры, иск-ва, науки и обществ, мысли»; с 1955 – «журнал литры, иск-ва, науки и обществ.- полит, мысли»; в 1999 – «журнал лит-ры, иск-ва, науки и обществ, мысли». № 1–3 вышли в лагере Менхегоф (около г.Кассель, Германия), затем в Лимбурге, Франкфурте-на-Майне. К 1999 выпущено 192 номера. Первоначально был сориентирован на публикацию авторов второй волны эмиграции из СССР, с сер. 1950-х печатал (часто без их согласия) произведения авторов из СССР. По заявлению редакции, «журнал считает своим долгом способствовать развитию свободной мысли, свободного слова, свободного творчества. В течение полувека журнал способствовал публикации произведений, которые не могли быть изданы на родине из-за цензурных или политических ограничений. Из широко известных авторов в «Гранях» были опубл. произведения А.Ахматовой, Д.Андреева, Л.Бородина, М.Булгакова, И.Бунич, М.Владимова, В.Владимова, А.Галича, З.Гиппиус, В.Гроссмана, Ю.Домбровского, Н.Заболоцкого, Б.Зайцева, Е.Замятина, Н.Коржавина, В.Корнилова, А.Кудрина, С.Левицкого, Н.Лосского, В.Максимова, О.Мандельштама, В.Набокова, В.Некрасова (...). И в новых условиях, уже в самой России, журнал будет следовать прежним принципам, в первую очередь – способствовать публикации произведений, помогающих освобождению от остатков тоталитаризма». Периодичность – ежеквартально. Нумерация сплошная. Объем 270–330 полос. Тираж: 10 000 (1990); 50 000 (1991); 3 000 (1993); 2 000 (1996); 3 000 (1998); 2 000 (1999). Рубрики: Публицистика. Пути России; Писатель и время; Поэзия и проза рус. зарубежья; Дневники. Воспоминания. Документы; Философия. Религия. Культура; Архив «Граней»; Книжное обозрение. Среди авторов: П.Паламарчук, А.Сендеров, Ю.Кулановский, Ю.Кувалдин, А.Кудрявицкий.

Редакторы: Е.Романов, Б.Серафимов, С.Максимов (1946); Е.Романов (1947–52, 1955–61); Л.Ржевский (1952–55); Н.Тарасова (1962–82); Р.Редлих, Н.Рутыч (1982–83); Г.Владимов (1984–86; оставил должность, придя к выводу, что НТС – «организация чрезвычайно подозрительная, вредная и бывшая в использовании по борьбе с демократическим движением. (...) С помощью НТС многие люди были осуждены». («Время и мы», 1996, № 133); Е.Самсонова-Брейтбарт (1987–96); Ю. Малецкий (с 1996); Т.Жилкина (в 1999).

22/ДВАДЦАТЬ ДВА

Общественно-полит, и лит. журнал евр. интеллигенции из СССР в Израиле. Изд. с 1972 обществ.- культурным фондом «Москва–Иерусалим» под покровительством Комитета ученых при обществ. Совете солидарности с евреями СНГ и Сионистского форума. Название указывает, с одной стороны, на 22 буквы ивритского алфавита, с другой – на самиздатский ж-л «Евреи в СССР», из которого вырос «22», сменив его

как раз на № 22. Нумерация выпусков сквозная (к 1996 вышел № 100). Объем 224–240 полос с илл. Тираж не указан. Распространяется по подписке и в розницу. Рубрики: Проза; Поэзия; Иерусалимские размышления; У карты мира; Судьба идей; По поводу; Страницы прошлого; Культура и современность; Размышления над текстом; Люди и книги. Среди авторов: А.Верник, Д.Владимирова, Ю.Колкер, А.Воронель, Н.Воронель, Ф.Розинер, Ю.Милославский. Удостоен премии РН.Эттингер (1984).

Гл. редактор – Рафаил Нудельман (с 1978), а после и по н.в. А.Воронель.

ЕВРЕЙСКИЙ ЖУРНАЛ

Изд. в г. Мюнхен изд-вом «Дом Дубнова». Известен 1-й номер за 1992, где напечатаны, в частности, интервью с И.Бродским и статья Ш.Маркиша о Е.Жаботинском. Соредакторы – Эйтан Финкельштейн, Шимон Маркиш.

ЕВРОПА ЦЕНТР

Независимый еженедельник, изд. в Берлине с мая 1993 под девизом «Везде, где можно жить, можно жить хорошо». Издатель – Хорст-Вольфганг Хаазе. Лит-ра представлена книжной информацией, интервью с рус. писателями, приезжающими в Германию или постоянно живущими в этой стране.

Шеф-редактор – Юрий Зарубин.

ЗЕРКАЛО

Лит.-худ. журнал. Изд. в г. Тель-Авив. Правопреемник издания «Знак времени», ежемес. приложения к ежедневной газ. «Наша страна» (1990–93). До 1996 существовал как «тонкий» иллюстрир. ж-л (№№ 1–32), с 1996

– «толстый» ж-л. Объем 240 полос с илл. Тираж не указан (по заявлению И.Гробман, «ок. 2 000 экз., из которых подписчикам уходит 80%») («Ex Libris НГ», 20.08.1998). Рубрики: Огонь прямого разговора; Поэзия; Проза; Здесь и теперь; Антология израильской прозы; Звенья; Публикации; Былое и думы; Диалог; Тенденции; Акцент; Совр. записки (рецензии). Известен № 1/2 за 1996. Сориентирован прежде всего на русскоязычных писателей Израиля, поскольку, по словам И.Гробман, «культурная и лиг. жизнь в России абсолютно самодостаточна. И мы не стремимся жить этой отраженной жизнью, получать материалы оттуда. У нас суще-ствует своя жизнь – именно израильская. (...)». Авторы наши – Израиль и эмиграция» («Ex Libris НГ», 20.08.1998). Среди авторов: М.Винокур, М.Гробман, К.Кузьминский, А.Петрова, В.Тарасов.

Издатель и гл. редактор – Ирина Врубель-Голубкина (Гробман).

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ

Вып. изд-вами «Лири» и «Скопус» с1999 под эгидой Союза русскоязычных писателей Израиля и творч. объединения «Иерусалимская антология» при поддержке Мин-ва абсорбции, Центра интеграции репатриантов

– деятелей лит-ры и иск-ва, Отдела культуры и Управления абсорбции Иерусалимского муниципалитета и Сионистского форума. Объем 288 полос. Тираж не разглашается. Рубрики: Львиные ворота; Яффские ворота; Шхемские ворота; Американская колония; Улица Жаботинского; Город Давида; Улица Бецалель; Подзорная гора; Новые ворота; Имена. В редколлегию входят: Семен Гринберг, Зинаида Палванова, Дина Рубина, Роман Тименчик, Светлана Шенбрунн. Есть представители в Москве, С.Петербурге, Нью-Йорке и Чикаго. Среди авторов: Елена Игнатова, Игорь Губерман, Юлий Ким, Григорий Канович, Владимир Друк, Лев Аннинский.

Гл. редактор – Игорь Бяльский.

ИЕРУСАЛИМСКИЙ РУССКО-ЕВРЕЙСКИЙ ВЕСТНИК

Библ. издание Научно-исследоват. центра «Рус. еврейство в зарубежье». Изд. с 1997. Заявленная периодичность – 4 раза в год. Вышли 1-й номер за 1997 объемом 36 полос и 3 номера за 1998 объемом 48 полос, затем издание приостановилось. Рубрики: Культурная среда; Съезды, конференции, семинары; Периодика; Издатель и его дело; Зарубежье глазами России; Новые книги. Среди авторов: В.Леонидов, В.Карасик, Ю.Завьялов-Леминг.

Гл. редактор – Михаил Пархомовский.

ИЗРАИЛЬ СЕГОДНЯ

Ежемсс. журнал евр. культуры. Вып. изд-вом «Тарбут». Периодичность – ежемесячно. Объем 34 полосы с илл. Тираж не разглашается. Есть резюме на англ. языке и иврите. Распространяется по подписке и в розницу. Рубрики: День за днем; Экономика, наука, техника; Быт и нравы; Интервью; Лит-ра; Культура; Наша земля; Репортаж; Нам пишут; Информация.

Гл. редакторы – Владимир Ханелис, Феликс Дсктор (с 1986).

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ РОССИЯ

Журнал, изд. в 1993 как напоминание об одноименном ж-лс, выходившем в Париже в 20–30-е гг. Учредитель – коллектив редакции ж-ла. Программная задача – быть «зеркалом отсч. культуры нашего

времени, предоставляя страницы рос. интеллигентам независимо от места их проживания, политических, религиозных, этнических, профессиональных и прочих различий». Известен 1-й номер, в котором, в частности, напечатаны статьи И.Ильина, Г.Явлинского, М.Лемешева, эссе М.Кураева, стихи И.Шкляревского, неопубл. письма Д.Шостаковича. Тираж 20 000 экз.

Гл. редактор – Владимир Любичский.

ИМПЕРСКИЙ ВЕСТНИК/IMPERIAL MESSENGER

Газета, орган информации и связи Рос. имперского союза-ордена. Вых. в г. Рочестер (США) с 1989 под лозунгом: «За веру, царя и Отечество. Мы – русские, с нами – Бог». К 1999 вышли № 1–46. Периодичность – ежеквартально. Объем 20 полос. Тираж не указан. Лит-ра представлена публикациями из рус. классики (Ф.Тютчев).

Редактор в 1998 – Ю.Вахтель, далее не указан.

КАЛЕЙДОСКОП

Еженед. журнал. Изд. в г. Нью-Йорк (США) с 1983. Объем 46 полос с илл. Рубрики: Комментарий редактора; Мы здесь живем; Вокруг света; Случается и такое; Неразгаданные тайны; Человек – человеку; Отвечаем читателям и др. Лит-ра представлена детективами, печатаемыми с продолжением.

Издатель и шеф-редактор – Альфред Тульчинский.

КИНОР

Обществ.-полит и лит. журнал. Вых. в г. Бат-Ям (Израиль). Объем 198 полос. Периодичность и тираж не объявлены. Рубрики: Личность, позиция, творчество; Поэзия, проза; Из дневника редактора; Слово апологии; Наш исход; Из недалекого прошлого. Среди авторов: С.Аверинцев, А.Гордон, Ю.Колкер.

Гл. редактор – Ефрем Баух.

КОЛОКОЛЬ

Лит. журнал. Вып. с 2002 в Лондоне на средства Б.А.Березовского. Известен 1-й номер. Рубрики: Гайд-парк; Словесность; Рус. Америка; Книжный развал; Выпивка и закуска. Среди авторов: К.Кобрин, Ю.Колкер, А.Кушнер, Слурье, В.Паперный, И.Померанцев, Н.Толстая, Л.Штерн, А.Эткинд. Гл. редактор – А.Шлепянов.

КОМИЛЬФО

Альманах мировой культуры. Вых. с 1996 под девизом «Женщина, любовь, эротика». Учредитель – инновац.-внедренч. фирма «Антал». Объем 96 полос с илл. Тираж 30 000. Печатается в Венгрии. Известен 1-й номер, где, в частности, опублик. эротич. произведения Э.По, Г.Миллера, А.Нин, У.Сарояна, Р.Брэдли, Д.Апдайк и др. зарубежных авторов.

Гл. редактор – Руслан Сагабалин.

КОММЕНТАРИИ

Журнал для читателя, адресованный по преимуществу интеллектуалам. Периодичность не указывается. К 1999 вышли №№ 1 – 16. Нумерация выпусков сплошная. Объем 228–244 полосы. Стартовый тираж 10 000; затем 1 000 (1999). Редакция имеет своих представителей в России (С.-Петербург), США, Германии и Швейцарии. Среди авторов: А.Парщиков, Г.Кружков, И.Кутик, О. и А.Флоренские, А.Скидан, А.Бартов, А.Драгомошечко. С 2001 под эгидой журнала изд. книжная серия «Александрийская полка», куда входят произведения авторов, претендующих на «новую элитарность», что в их понимании означает «сосредоточенность на поиске нового вектора экзистенциального письма (на письме как принципе выживания), приятное выстраивание этической и сакральной осей» в сочетании с «принципом элитарной открытости».

Гл. редактор – Александр Давыдов.

КОНТРАПУНКТ

Ежемес. журнал, вых. с 1998 в Бостоне (США) под девизом: «Русская литература. Взгляд из Америки». Известны №№ 1–4, где, в частности, опублик. произведения А.Кушнера, Л.Жуховицкого, Л.Аннинского, Е.Сельца, И.Померанцева. В редколлегию входят: Н.Коржавин, А.Кушнер, И.Померанцев, Д.Рубина, Т.Толстая. Гл. редактор – Михаил Володин.

КОНТИНЕНТ

Ежеквартальный лит. журн. третьей рус. --> эмиграции, выходит с 1974 под ред. В.Максимова (Париж) в собственном изд-ве, находящемся в Берлине, финансируется изд-вом Шпрингера, с №66 за 1991 – «Фильм-ферлаг Консорциум Аверс» Москва (тираж 100000 экз.), с №72 гл. ред. И.Виноградов (№72, 1993, тираж 10000). Назв. Предложил Солженицын. В совет журн. входили в разное время: Н.Горбаневская, Иверни, В.Некрасов, Е.Терновский и др. За время существования журн. редколлегию К. представляли, напр.,

В.Аксенов, И.Бродский, В.Буковский, Галич, П.Григоренко, Н.Коржавин, А.Сахаров, равно как и писатели и журналисты зап. стран. Журн. выходит – или выходил в течение определенного времени – с изменением состава публикаций на нем. (с 1978 под ред. Корнелии Герстен-Майер), франц., англ., голландском, итальянском и греческом языках. К. печатал как произв. авторов, эмигрировавших из СССР после 1970, так и не публиковавшиеся там из-за цензурных препятствий, а также разл. переводные статьи и материалы. Основу журн. составляют лит. произв., им сопутствуют статьи, эссе об изобразительном иск-ве, документы совр. истории, исследования, религиозные трактаты. В номерах 1-66 были опубл. среди прочих произв. Г.Айги, В. Аксенова, Ю.Алешковского, В.Бегаки, Д.Бобышева, Л.Бородина, И.Бродского, И.Бурихина, В.Войновича, А.Галича, А.Гладилина, Ф.Горенштейна, В.Гроссмана, С.Довлатова, ЛДрускина, И.Елагина, Ф.Канделя, М.Крепса, Ю.Колкера, Л.Консона, Н.Коржавина, В.Корнилова, А.Кривулина, Ю.Кублановского, А.Кушнера, И. Лиснянской, Л.Лосева, Ю.Мамлеева, В.Марамзина, В.Некрасова, И.Ратушинской, Л.Ржевского, В.Рыбакова, Саши Соколова, А.Солженицына, А.Терца, С.Юрьенена. Лит.: В порядке дискуссии: Духовные перепутья «Континента», ж. «Вестник РХД», №115, 1975; С.Артамонов, «Рус. мысль», 1976, 4.3.; №12; Конференция «Континента» в Берлине, «Рус.мысль», 1977, 24.11.; Г.Андреев, там же, регулярно с 1982; И. Косинский, «Новое рус. слово», 1984, 27.5.; Л.Лосев, там же, 1984, 8.7.; «Континенту» – 10 лет, «Рус. мысль», 1984, 12.7.; А.Пугач, ж. «Юность», 1989, №12; Б.Кузьминский, «Лит. газ.», 1990, 3.Ю.; В. Максимов, там же, 1992, 7.10.

КРЕЩАТИК

Междунар. лит.-худ. ж-л. Изд. в Германии с 1995 благотворительным Фондом С.Параджанова. Есть представительство в г. Киев. К 2000 выпущены №№ 1–6. Объем 280–282 полосы. Тираж не указан. Постоянные рубрики: Поэзия; Проза; Новые переводы; Контексты: 642 эссеистика, критика, библиография; In metoіam; Латинский квартал. Среди авторов, представляющих в основном лит-ру рус., еир. и укр. эмиграции, Л.Березовчук, Г.Киришбаум, В.Кривулин, В.Печерский, В.Рабичева, Б.Херсонский.

Гл. редактор – Борис Марковский.

КРУГ

Журнал, беспартийный еженедельник. Изд. в г. Тель-Авив (Израиль) в 1988–89. Объем 80 полос с илл. Тираж не разглашался. Рубрики: Мысли; В стране; За рубежом; Беседы в редакции; Круговерть; Идеи и мнения; Другое мнение; Персонажи; Культура; Лит-ра; Фантастика; Лит. Израиль; Роман; Поэзия; Знакомые лица; Фельетон; По странам мира и др. Среди авторов: И.Фоняков, В. Берестов, М.Жванеикий. Опубл. произведения В.Набокова, А.Ахматовой, А.Кристи.

Гл. редактор – Георг Мордель.

КУЛЬТ ЛИЧНОСТЕЙ

Иллюстрир. журнал. Вып. «Компанией Independent-Media – ЗАО Independent-Пресс» (директора Дерк Сауэр, Аннемари ван Гаал) с мая 1998. Тираж 60 000 – 55 000 экз. (1999). Объем 146 полос с илл. Указанная периодичность 6 раз в год. Печатается в Нидерландах. Лит-ра представлена статьями Адельфина, интервью с модными писателями (Вик.Ерофеев, Т.Кириров и др.).

Гл. редактор – Елена Мясникова.

ЛЕВИАФАН (Leviathan)

Лит. журн., три номера которого вышли в 1979 и 1981 в Иерусалиме. Ред. и техническим оформителем рукописного, напечатанного фотомеханическим способом журн. был художник и поэт Михаил Гробман (род. в 1939 в Москве), который в 1971 эмигрировал в Израиль и организовал там группу еврейских художников под назв. «Левиафан». Формат первого номера – в две газеты, двух других – в половину газеты, по 16 страниц. Содержание Л. Также полностью определялось его издателем М. Гробманом. Стихотворения, дневниковые записи Гробмана (с ноября 1963 по декабрь 1964), размышления, часто в форме афоризмов об иск-ве, и репродукции, представляют авангардистское, нонконформистское иск-во Москвы 60-х гг. Одновременно, хотя и во вторую очередь, Л. отражает совр. ему ситуацию в иск-ве еврейско-рус. авангарда Израила 70-х гг. Из поэтов представлены, в частности, моек.: И. Холин, Ст. Красовицкий, Е. Кропивницкий, Э. Лимонов, Вс. Некрасов, Ян Сатуновский, из художников-авангардистов 20-х гг. – Михаил Ларионов и Наталья Гончарова, из художников-современников – Владимир Вейсберг и Владимир Яковлев. Л. по сути космополитичен, заложенная в нем духовная основа – еврейская мистика, иск-во (по Мусоргскому) представляется как средство «разговора между людьми», иск-во будущего – как «инструмент религиозного мировоззрения». Л. отрицает всякий реализм и выступает за иск-во знаков и символов. Подробные именные указатели расширяют возможности использования журн. Как документ, представляющий рус. «левое» иск-во 60-х и ранних 70-х гг. и как вклад в становление национального еврейского, сионистского, совр. иск-ва изд. М. Гробмана среди журн. на рус. языке занимает уникальное место.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЕВРОПЕЕЦ

Ежемес. журнал Союза рус. писателей в Германии. Вых. в г. Франкфурт- на-Майне с апреля 1998. Распространяется по подписке и в розницу. Объем 49 полос с илл. Тираж не разглашается. «Мы рассматриваем себя как часть русских писателей, живущих в Европе», — заявляет редакция, публикующая только произведения членов Союза рус. писателей в Германии и подписчиков. Нумерация выпусков сплошная. Известны №№ 1—35 (2001). Основные рубрики: Проза; Поэзия; Публицистика; Европейские прогулки; Документы; Воспоминания; Юмор; Искусство; Дайджест; Рецензии; Мы и литература; Архив; Глазами современника; Страница редактора. Среди авторов: В.Батшев, В.Кукпин, Б.Рахманин, А.Смогул. Печатаются статьи и рецензии В.Казака, Б.Фраш.

Лг. редактор — Владимир Батшев.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЖУРНАЛЫ

В рус. лит-ре Л.ж. больше, чем во многих др. странах, отражают состояние лит. жизни, т.к. большинство произв. публикуется вначале в журн., а затем — отд. книгами. Если же отд. книга не выходила, то, по крайней мере до-» перестройки это, в соответствии с принципами -- > соц. реализма, было обусловлено скорее полит., нежели эстет, мотивами. Нередко книжное изд. сильно отличалось от журнального варианта; либо автор сам переработал произв., либо это сделал цензор. Некоторые Л.ж. в течение долгого времени сохраняли свои индивидуальные особенности: напр., «Красная новь» к началу 20-х гг. была ведущим лит. органом, объединявшим вокруг себя в первую очередь --» «попутчиков»; парижский журнал «Воля России» находился под управлением эсеров; «Октябрь» под руководством В. Кочетова и после 1956 продолжал догматическую линию в лит-ре, в то время как «Новый мир», руководимый А. Твардовским, опубл. на своих страницах большое количество правдивых, достойных произв. «Совр. записки» считаются лучшим Л.ж. -- >первой эмиграции; «Континент» стал духовным центром эмиграции 70-80 гг. 20 в. Принцип гласности вызвал в сов. Л.ж. огромный подъем. Ред. стали соперничать в первых публикациях до сих пор запрещенных произв., журн. часто печатали противоположные мнения, между ними возникали споры, отражающие размежевание сов. интеллигенции, которая группируется вокруг отд. журн., напр., журн. «Огонек» и «Знамя», с одной стороны, и русофильских — «Наш современник» и «Молодая гвардия», — с др. Новый закон о прессе от 1.8.1990 освободил рус. лит-ру от цензуры, предоставил печатным изд. возможность стать независимыми. «Юность», «Лит. газ.», «Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и др. Л.ж., которые ранее были «органами» СП СССР или СП РСФСР, стали теперь «независимыми» периодическими изд., их следовало только зарегистрировать в Министерстве печати. Учредителями могли быть новые, или те же, что и прежде, юридические лица: в «Знамени» это «трудовой коллектив ред.», в «Новом мире» это, помимо «трудового коллектива», -->Литфонд, в «Театре», кроме «коллектива» — Министерство культуры России, СП и Союз театральных деятелей. Др. журн. остались органами СП или считают его своим учредителем. Изменения в существовании периодики в 1990-91 происходили не без столкновений с функционерами СП, которые пытались противодействовать освобождению многих Л.ж., поскольку СП мог распоряжаться их прибылью. До 1990 тиражи прогрессивных Л.ж. резко возрастали, но в 1991 из-за общего повышения цен и спадающего интереса к публицист, произв. о преодолении прошлого они уменьшились. Перестройка легализовала и распределение эмигрантских журн. В СССР. В 1991 В. Максимов перевел ред. «Континента» в Москву и передал руководству журн. И. Виноградову. В редколлегии сов Л.ж. вошли эмигранты, — те, кто живет в России. Настоящему объединению рус. лит-ры теперь мешали скорее экономические, чем полит, проблемы; однако дифференциация Л.ж. стала в значительно большей мере обусловлена идеологией, чем до перестройки. Вследствие распада СССР и экономических трудностей положение Л.ж. в начале 90-х гг. существенно изменилось. Быстро упали тиражи, доходы от продажи уже не покрывают расходов на подготовку номеров, часто меняется способ издания и сокращается объем. С другой стороны, появляются все новые и новые журн., обзор которых трудно было бы составить даже в самой России. Прежняя система назначения гл. ред. по указанию ЦК КПСС не существует, они теперь избираются демократическим голосованием. В настоящем словаре помещены статьи о след. Л.ж., альм, и газ.: «Аврора», «Аполлон», «Аполлон 77», «Вестник новой лит-ры», «Вестник РХД», «Весы», «Воздушные пути», «Возрождение», «Воля России», «Вопросы лит-ры», «Время и мы», «Встречи», «Грани», «22», «Дружба народов», «Звезда», «Знамя», «Золотое руно», «Ковчег», «Континент», «Красная новь», «Левиафан», «Ленинград», «Лит. газ.», «Лит. и жизнь», «Лит. курьер», «Лит. Россия», «Лит. обозрение», «Лит. современник», «Метрополь», «Мир иск-ва», «Молодая гвардия», «Москва», «Мосты», «Наш современник», «Наше наследие», «Нева», «Новый журн.», «Новый мир», «Огонек», «Октябрь», «Опыты», «Печать и революция», «Рус. записки», «Синтаксис», «Совр. записки», «Совр. драматургия», «Стрелец», «Тарусские страницы», «Театр», «Эхо», «Юность».

МИНУВШЕЕ

Альманах архивных публикаций о русских XX в., продолжающий традиции сб-ка «Память», который составлялся в подполье и в 1978 — 82 вых. на Западе. Группа составителей была законспирирована, авторы и публикаторы выступали под псевдонимами, но КГБ в 1981 нанес удар. Одного из составителей, С.В.Дедюлина, вынудили эмигрировать, другой — А.Б.Рогинский, был арестован и осужден по надуманному обвинению. Как указывает С.Стратановский, «КГБ прибег к шантажу, угрожая не выпустить из лагеря до окончания срока А.Б.Рогинского, если работа над сборником не будет прекращена. Редакция была вынуждена отступить. К тому времени вышло 5 выпусков сборника и был подготовлен 6-й. Его материалы, однако, не пропали, а вошли в первые номера "Минувшего"». («Звезда», 1994, № 4). Первые 12 выпусков

вышли в 1986 – 91 в изд-ве «Atheneum» (Париж), еще 12 (выпуски 13–24) были выпущены в России (М.; СПб., Atheneum; Феникс). В 1990–93 парижские 12 томов переизданы в России репринтно, сначала благодаря усилиям изд-в «Прогресс» и «Феникс», а с 6-го номера – одного «Феникса». Всего вышло 24 тома альманаха, а в качестве 25-го тома в 1999 был выпущен сводный указатель ко всему изданию. Начиная с 6-го выпуска, в «Минувшем» преобладают материалы по истории культуры, публикуемые пол рубриками: Из наследия отечеств, философии; Из истории лит. жизни; Лит-ра и власть; Из истории театра; Материалы по истории кино. В редколлегию входили: Николай Богомолов, Жан Бонамур, Эльда Гарэтто, Александр Добкин, Джон Мальмстад, Ричард Пайпс, Марк Раев, Дмитрий Сегал.

Гл. редактор – Владимир Аллой (до 2001).

МИРЫ

Первый в Израиле журнал фантастики. Изд. П.Амнуэлем и Д.Клугером. Среди авторов: П.Амнуэль, Д.Клугер, Л.Резник, Р.Нудельман.

МОСТ/ГЕШЕР

Ежемес. журнал, ранее вых. как газета. Изд. Междунар. центром по изучению и распространению свр. культуры «Тхия». Тираж 3 000 экз. Среди публикаций: обзоры израильской прессы, описания традиционной евр. жизни, информация для репатриантов. Гонорары не выплачиваются.

МОЯ АВСТРАЛИЯ

Иллюстрир. худ.-познават. альманах. Изд. в Сиднее с 1998. Известны 1-й номер за 1998 и №№ 2, 3 за 1999. Объем до 200 полос. Заявленная периодичность 6 раз в год. Рубрики: Шестидесятник; Эмигрант (журнал в журнале); Странички поэзии; Гость редакции; Религии народов мира; Природа и человек и др. Публикует стихи, прозу и эссе. 3-й номер за 1999 посвящен пушкинскому юбилею. Среди публикаций произведе-ния Виктора Некрасова, Михаила Веллера.

Гл. редактор – Арнольд Сиротин.

МОСТЫ

Лит.-худож. и полит. альм. С 1958 по 1970 вышло в свет 15 сб-ков; номера 1-10 изданы ЦОПЭ (Центральным объединением политических эмигрантов из СССР) в Мюнхене, а после ликвидации ЦОПЭ остальные пять номеров выпущены под грифом «Товарищества зарубежных писателей», а также под личной ответственностью ред. Г. Андреева (наст. имя Г. А. Хомяков), впоследствии переехавшего в США (№13, 14, 1968 и №15, 1970). В лит. разделе М. публиковались стихи и короткие прозаические произв. (большей частью произв. писателей-эмигрантов), воспоминания (напр., Ю. Анненкова, Б. Пильняка, И. Бабеля и М. Зощенко в №9, 1962) и несколько критических и историко-лит. статей Г. Адамовича, Б. Филиппова, Ю. Иваска, Л. Ржевского, Ф. Степуна, Г. Струве (в частности, о газ. «Возрождение» в №3, 1959), В. Вейдле, В. Завалишина (об А. Грине в №1, 1958). Лит.: В. Злобин, ж. «Возрождение», №100, 1960; Г. Андреев, в сб.: «Рус. лит-ра в эмиграции» (сост. Н.П. Полторацкий), 1972; И. Толстой, ж. «Звезда», 1990, №8.

МУЛТА

Журнал рус. лит. и худ. богемы в Париже. Известен своей эпатажностью и, в частности, лозунгом: «Сделаем ненормативную лексику нормативной». Один из номеров выпущен в 1991 в Москве изд-вом ИМА-Пресс (московский соредатор – Игорь Дудинский) Редактор-провокатор – Толстый (Вл.Котляров).

НАРОДНАЯ ЗАЩИТА

Газета, стоящая на национал-коммунистич. позициях. Девиз: «Россия – наша мать. Россия наша жизнь. Россия – наша любовь. Мы очистим Державу от паразитов, называющих нашу Родину своим домом!» Учредитель – С.Н.Гаврюшин. Объявленный тираж в 1995 – 20 000 экз. Периодичность не указана. Объем 16 полос. Среди авторов: М.Алексеев, А.Казинцев, С.Есин.

Редактор – М. Костюк.

НИША

Культурологич. журнал. Изд. в США на англ. и русс. языках. Среди авторов: В.Ерофеев, Е.Попов, Д.Пригов.

НОВАЯ ЕВРОПА

Журнал, междунар. обозрение культуры и религии. Изд. с 1992 в Милане и Москве Ассоциацией «Христианская Россия», изд-вом «ПроPILEи» (затем – «Благовест»), Периодичность не указана. Тираж 5 000 экз. (1992). К весне 1997 вышли №№ 1 – 10. Объем до 150 полос с илл. Рубрики: Взгляд с Востока; Взгляд с Запада; Истоки; Живые лица; Богословие в жизни; Политика; Культура; Хроника; Книжное обозрение;

Памяти ушедших; Из ред. почты. Среди авторов – Н.Славянский, Р.Гальцева. В междунар. обществ. совет входили: С.Аверинцев, В.Борисов, И.Виноградов, М. Витали, Р.Гальцева, Й.Зейферт, О.Клсман, Е.Клочковски, Л.Негри, Ж.Нива, И.Роднянская, В.Страда, Ю.Шрейдер и др. Согласно ред. заявлению, «программа минимум» журнала – попытка возвращения «выпавших из общего русла цивилизаций народов Восточной части Европы обратно в старую семью европейских наций». «Программа максимум» – «идея обновления Европы через возврат прежних оснований». По оценке критики, «возникшая на пересечении религии и культуры, политики и философии, обычаев и традиций, «Новая Европа» – это попытка воссоединения православного и католического миров» («КО», 9.07.1996).

Гл. редактор – Романо Скальфи.

НОВАЯ СТУДИЯ

Рус.-нем. лит.-публицистич. журнал. Изд. в г. Берлин с 1997 как правопреемник ж-ла «Студия», вып. в 1995–96. Периодичность и тираж не указываются. Объем 148–232 полосы. Известны №№ 1–3, где, в частности, опубл. повесть И.Гергенредера «Дайте руку королю!», стихи И.Кабыш, С.Кековой, Т.Плюховой-Якоб, М.Андреева, рассказы А.Слаповского, В.Варжапетяна, заметки С.Боровикова, Л.Бердического и др.

Издатель и редактор – Андреас Мазурков.

НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО

Старейшая ежедневная газета рус. зарубежья, вых. в Нью-Йорке с 1910. Основана И.К.Окунцовым. М.Л.Пасвольским и В.И.Шимкиным, в 1910–20 носила название «Рус. слово». В «НРС» представлена лит-ра всех трех волн эмиграции. В воскресных номерах печатались произведения и критич. статьи И.Бунина, Тэффи, И.Северянина, М.Алданова, А.Ремизова, В.Набокова, Г.Адамовича, Г.Струве, В.Вейдле, М.Слонима, В.Завалишина, И.Елагина, А.Солженицына, И.Бродского, В.Максимова, С.Довлатова, В.Аксенова и др.

Гл. редакторы: И.К.Окунцов (1910–13, 1921–23), М.Е.Вейнбаум (1914–16, 1923–73), Л.М.Пасвольский (1917–20), А.Я.Яковлевич (1920), М.Е.Вильчур (1921), Д.З.Крынкин (1921), И.Л.Дурмашкин-Верующий (1922), Л.В.Фовицкий (1923), А.Седых (1973–93), А.Я.Кречмар (с 1993), Георгий Вайнер.

НОВЫЙ ВЕНСКИЙ ЖУРНАЛ

Информац.-развлекательный ежемес. журнал. Вых. в г. Вена при «Рус. сервис-бюро». Объем 24 полосы с илл. Рубрики: Австрийская мозаика; На встречу с Австрией; Рассказы бывалого; Об австрийских законах, правилах и порядках; Как Вам живется в Австрии; Как Вам понравилось в Австрии. Лит-ра представлена стихами и рассказами русскоязычных писателей, постоянно живущих в Австрии или связанных с ней. Издатель и гл. редактор – Ирина Мучкина.

НОВЫЙ ЖУРНАЛ/THE NEW REVIEW

Рус. лит.-полит. журнал. Основан в 1942 в г. Нью-Йорк писателем М.А.Алдановым, поэтом и меценатом М.О.Цетлиным. Периодичность 4 выпуска в год (с перерывами); нумерация выпусков сквозная. Объем 368–380 полос. Тираж не указан. Распр. по подписке. Рубрики: Проза; Поэтич. тетрадь; Воспоминания и документы; Искусство; Библиография. Среди авторов (последние годы): А.Кторова, А.Бородыня, И.Муравьева, А.Суконик, В.Крейд, В.Синкевич, Л.Пумпянский. В редколлегия входят: С.Голлербах, В.Синкевич, М.Раев, В.Сечкарев, З.Юрьева.

Редакторы: М.М.Карпович (1946–59), Ю.Денике, Н.Тимашев (1959–66), Р.Б.Гуль (1966–76, 1978–86), Ю.Д.Кашкаров (1990–94), А.Сумеркин (1994), А. Крейд (с 1996).

ОКО/’OЕIL

Журнал Рус. ин-та в Париже. Вых. с 1994 (№ 1) в двух версиях – «Око. Вестник» (ежеквартально) и «Око. Хроника» (6 раз в год) на рус. и франц. языках. Учредитель и издатель – ТОО «Museum» (С.-Петербург). Объем 64 полосы с илл. По предуведомлению редакции, «перед вами журнал, в котором под одной обложкой выступают русские и французы, чехи и испанцы, петербуржцы и парижане, москвичи и франкфуртцы, верующие и атеисты, православные и католики – люди, которым небезразлична мировая культура как прошлое, настоящее и будущее человечества». Печатаются стихи, проза, эссе, мемуары, переводы произведений франц. авторов, научная хроника, библиография. Среди авторов 1-го номера: Ю.Кублановский, С.Стратановский, В.Мильчина, М.Мейлах, Ю.Молок. Существуют советы журнала: почетный (И.Берлин, И.Бродский, М.Плисецкая, М.Ростропович, О.Иоселиани и др.), консультативный (М.Окутюрье, Н.Струве и др.) и административный. Редактор – Сергей Дедюлин.

ОМ

Ежемес. иллюстрир. журнал. Основан И. Григорьевым в 1995. Издатель – Publishing Group (Нью-Йорк). Есть представители в США, Великобритании и Франции. Объем 120–200 полос. Тираж не разглашается. Основные рубрики: Безумный мир глазами очевидца; Деша; 14 страниц о достижениях совр. культуры; Тенденции; Идолы; Секс и отношения; Тому, кто хочет быть лучше; А также. По оценке критики, «самый

«продвинутой» журнал для голубых» («Новое время», 1996, № 32). Отмечен двумя премиями муз. масс-медиа «Знак качества» в номинации «Лучший журнал года». Лит-ра представлена рецензиями в рубрике «14 страниц...» (подрубрика «Хорошие книги»), публикациями в нерегулярной рубрике «Память» (С.Кузнецов о Ж.Батае и др.), а также эссе и рейтингами в рубрике «А также» (подрубрика «Колонка»), Среди авторов: В.Ку-рицын, В.Сорокин, Д.Пригов, М.Веллер.

Гл. редакторы – Игорь Григорьев, Анзор Канкулов (с 1998).

ОСТРОВ

Независимый иллюстрир. публицистич. и лит.-худ. альманах, изд. в Берлине с 1995. К 1997 вышли №№ 1–5. Среди публикаций: стихи Б.Ахмадулиной, В.Сосноры, Г.Айги; проза Е.Попова, Т.Щербины, К.Сапгир, В.Ерофеева, В.Димова; вернисажи художника С.Каминской и фотохудожника Э.Ершуна.

Гл. редактор – художник-график и писатель Вячеслав Сысоев.

ПАНОРАМА

Еженед. газета, изд. корпорацией «Альманах» с октября 1980 в г. Лос-Анджелес. Среди авторов: А.Гладилин, И.Губерман, А.Митга, В.Соснора, Д.Бобышев. Редакцией газеты учреждена премия по номинации «Россия без границ» за произведения, напечатанные в ж-ле «Знамя». При газете есть книжный магазин, куда поступают рос. периодика, книги и компакт-диски.

Президент корпорации «Альманах», шеф-редактор и издатель – Александр Половец.

ПАСТОР

Журнал московских концептуалистов. Вых. в г. Кельн тиражом 50 экз. Как свидетельствует ж-л «Итоги», «нарочитая элитарность и подчеркнутый консерватизм оформления дают понять редкому читателю, что он знакомится хоть и с малоизвестными, но вполне классическими худ. явлениями» (1996, № 5).

Редактор – Вадим Захаров.

ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН

Молодежная нью-йоркская еженед. газета. Вых. с 1995. Издатель – компания «Котрапуа». Объем 30 полос. Лит-ра представлена, в частности, перепечатками произведений С.Довлатова, статьями о рок-культуре.

Гл. редактор – Геннадий Кацов.

ПОСЕВ

Журнал, «голос рос. революц. движения». Изд. во Франкфурте-на-Майне с 1945; с 1992 – в России. Учредитель – изд-во «Посев». Девиз: «Не в силе Бог, а в правде!» Периодичность менялась: еженедельно в 1945–67; ежемесячно в 1968–89; 6 раз в год с 1990. Объем 64–48 полос с илл. Тираж: в 1991 – 50 000 экз.; в 1997 – 3 000 экз. Распространяется по подписке и в розницу. Традиц. рубрики: Россияведение; Полит, комментарий; Общество, политика, власть; На острие; За наши права; Право и закон; Философия, мировоззрение; Наука и общество; Наши рецензии и др. Среди авторов – В.Батшев, В.Леонидов. Есть филиалы редакций в С.-Петербурге, Франкфурте-на-Майне, торг. представительства в Австралии, Бельгии, Бразилии, Венгрии, США, Швейцарии. Согласно ред. программе, журнал «поддерживает рос. освободительное движение во всех его гуманных проявлениях; стоит на позициях национально-гос. интересов России; участвует в обсуждении совр. и будущих проблем рос. государства; стремится к выявлению в России конструктивных сил, осознающих необходимость оздоровительных перемен во всех областях жизни страны и готовых к активному участию в их проведении».

Гл. редакторы: А.Светланин (1945–64), А.Артемов (1965–67), Л.Пар (1971), Я.Трушнович (1974–83), Е.Миркович (1984–89, 1993), А.Югов (1990–92), М.В.Горбаневский (1995), А.Штамм (с 1996).

ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛНА/ОСТАННЯ ХВИЛЯ/ULTIMA OLA

Независимый еженед. журнал на рус. и укр. языках. Изд. в г. Буэнос-Айрес (Аргентина) с 1994. Известны № 1 (1994) и № 2 (1995). Периодичность

– еженедельно. Объем 34 полосы с илл. Тираж не указан. Рубрики: Тема недели; Клубы поэзии; Жизнь по-новому; Знакомство с Аргентиной; Духовная жизнь; Жшочш погляд и др. Как сообщает редакция, «идея создать настоящий журнал созревала очень долго. Вся наша редколлегия

– злые читатели, которых не удовлетворяло никакое существующее в Аргентине издание ни на русском, ни на украинском языке. Все они были очень уж односторонних политических взглядов или занимались только какой-то «вечной» проблемой.(...) Мы создавали такой журнал, который нам самим было бы интересно читать». Публикуются русскоязычные поэты, прозаики и переводчики Аргентины и др. стран.

Ответств. издатель – Роберто Верекубов, гл. редактор – Елена Мищенко.

ПОЧТАЛЬОН

Международ. издание на рус. языке в Центральной Европе. Вых. с сентября 1995 в г. Прага (Чехия). Объем 16 полос с илл. Среди публикаций

— воспоминания об А.Вампилове.

Гл. редактор, директор изд-ва — Антон Смекалкин. Председатель ред. совета — Юрий Сенкевич.

РОДНАЯ РЕЧЬ

Лит.-худ. журнал рус. писателей Германии. Вых в г. Ганновер с 1998. Финансируется русскоязычной газ. «Контакт» (редактор В.Марьин). Периодичность и тираж не указаны. Известны №№ 1–3 (1998). Среди публикаций: стихи Д.Чкония, проза О.Бешенковской, Б.Фапькова, пьеса Б.Рацера, эссе В.Батшева.

Гл. редактор - Владимир Марьин.

РОЗА ВЕТРОВ

Лит. альманах. Вып. в г. Тель-Авив с октября 1995 один раз в год изд- вами «Иврус» и «Terra Incognita» в рамках программы «Открытие Израиля» (за счет средств авторов и при спонсорской поддержке нар. артиста СССР и бизнесмена И.Д.Кобзона). Известны вып. 1–3. Объем 220–360 полос. Тираж 500 экз. Рубрики: Метопя; Северные цветы на 1996 год; Южные цветы на 1996 год; Зазеркалье; В поисках реальности; Живи и помни; Опыты; Pro et contra и др. Авторы по преимуществу представляют собою последнюю волну репатриации (Г.Канович, А.Алексин, Л.Гомберг, Ф.Зорин). В 1998 вручались премии альманаха.

Учредитель, издатель и гл. редактор — Марк Котлярский, шеф- редактор московского представительства — Леонид Гомберг.

РОССИЯ/RUSSIA

Журнал. Изд в Италии в 1974–93 в Турине (1974–90), затем в Венеции (с 1991). Объем 212 полос. Тираж не разглашался. Журнал видел свою задачу в анализе наиболее существенных сторон русской культуры. В редколлегию входили Е.Эткинд, Ж.Нива и др. Среди авторов: О. Седакова, И.Серман, И.Виноградов, Е.Эткинд, Л.Долгополов, И.Роднянская, М.Чудакова, Н.Эйдельман, С.Аверинцев.

Гл. редактор: Витторио Страда (с 1991).

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА/LETTRES RUSSES

Журнал. До 1998 назывался RLS («Рус. и сов. лит-ра»). Став своей целью знакомить франц. читателя с рус. лит-рой, еще не переведенной и не изданной во Франции. Основан в Париже группой славистов во главе с Ирен Сокологорски в 1987. Вых на франц. и рус. языках. Периодичность — 3 раза в год (в 1990 ввиду финансовых затруднений редакции не выходил). Объем 70 полос с илл. Тираж 300 экз. Рубрики: Искусство миниатюры; Премия Букера; Памяти Б.Окуджавы; Премия А.Григорьева. В №№ 1–18 опубл. произведения более чем 250 авторов, пишущих на рус. языке, (от Н.Гоголя, Л.Толстого до О.Ермакова, В.Пелевина, Ю.Буйды). Среди публикаций (1999): произведения А.Куприна, Б.Окуджавы, П.Алешковского, А.Азольского, М.Палей, И.Жданова, А.Штейгера.

Гл. редактор — Кристина Зейдунян-Белоус.

РУССКАЯ МЫСЛЬ

Газета. Вых. в Париже с 19.04.1947. Периодичность: в 1947–59 два раза в неделю, в 1960–67 три раза в неделю, с 1967 еженедельно. В 1992 зарегистрирована как рос. средство массовой информации. Печатается в изд-ве «Пресса». Объем 20 полос. Тираж не указывается. По словам А.Гинзбурга, «"РМ", пожалуй, единственная газета, которая аккуратно, преодолевая всякое сопротивление, печатает то, что говорит Солженицын». («Сегодня», 31.03.1995). Лит-ра представлена стихами по преимуществу поэтов-эмигрантов, интервью, критич. обзорами и рецензиями, лит. хроникой. Среди членов редколлегии (с 1979): К.Померанцев, В.Рыбаков, А.Рафальский, А.Некрич, В.Аллой, С.Дедюлин, В.Сендеров, В.Страда, а также М.Геллер, Е.Гениева, Арина и Александр Гинзбург (до осени 1997, когда их увольнение вызвало многочисл. протесты эмигрантской и диссидентской общности). Среди постоянных авторов: А.Курчаткин, Л.Тимофеев, М.Жажоян, И.Муравьева. В 70–80-е гг. выходили несколько специальных приложений к газете, в т.ч. «Лит. приложение». В 2001 распространение газеты в России прекращено по финансовым причинам.

Гл. редакторы: В.А.Лазаревский (1947-53), С.А.Водов (1954-68), З.А.Шаховская (1968-78), С.Н.Милорадович (1978–79), И.Иловайская- Альберти (1979–2000), Ирина Кривова (с 2000).

РУССКИЙ ЕВРЕЙ

Обществ.-лит. журнал, приложение к «Международ. евр. газете». Изд. с 1879, возобновлен в 1996. Учредитель— Танкред Голенпольский. Вых 1 раз в 2 месяца при содействии Рос. евр. конгресса. Объем 16–38 полос с илл. Периодичность — ежеквартально. Тираж 999–1500 экз. В ред. совет вход.: Л.Либединская, Т.Бек, Л.Лазарев, Е.Рейн, А.Городницкий, М.Гейзер. Рубрики: События; Интервью номера; Проза; Поэзия; Критика; Методия; Искусство; Полемика; Былое; Эссе; Встреча для вас; Израильские страницы; Письма; Юмор. Среди авторов: Я.Кумок, О.Царев, Ю.Крелин, Н.Коржавин, Е.Баух.

Гл. редактор — Яков Кумок.

РУССКИЙ КУРЬЕР

Ежемес. журнал лит-ры и иск-ва. Учрежден в феврале 1993. Учредители: Центр совр. рус. иск-ва, изд-во «Прогресс», ТОО «Дар». Известен 1-й номер. Тираж 5 000 экз.

РУССКИЙ ЛИСТОК

Лит.-худ. и обществ.-полит, журнал, издание друзей рус. культуры в Финляндии. Вых. в г. Хельсинки в 1976–88 «для финских граждан рус. национальности и финнов, изучающих рус. язык». Объем 36 полос. Периодичность с 1978 – 2 раза в месяц. Распространялся по подписке. Рубрики: Говорите по-русски; Лит. отдел; Голос истории; Мир искусства; Церковная жизнь; Рус. жизнь в Финляндии; Почтовый ящик «Рус. листка». Среди публикаций: статья «Умеем ли мы читать Пушкина и русских классиков», составленная по материалам З.Люстровой и Л.Скворцова, стихи А.Дольского.

Издатель и редактор – О.В.Дидерихс.

РУССКОЕ ОБОЗРЕНИЕ/PANORAMA RUSSE

Журнал для русскоязычных читателей Западной Европы. Изд. в г. Женева (Швейцария) с 1995 при содействии междунар. благотворительного фонда «Panerus Foundation». Периодичность – ежеквартально. Известны №№ 1–2 за 1995. Объем 80–96 полос с илл. Указанный тираж 25 000 экз. Рубрики: Лидеры России; Мнение социолога; Наука и техника; Культура; История искусства; Люди искусства; Страницы истории; Это было недавно и др. Среди публикаций: статья С.Николаева «Александр Солженицын: вчера, сегодня, завтра», беседа с Н.Михалковым и т.д. Редакция ж-ла считает своей целью «донести до читателя максимально объективную информацию о событиях в политической, экономической, научной, культурной жизни в России с точки зрения как российских, так и зарубежных деятелей и экспертов».

Гл. редактор – Игорь Мещан.

РУБЕЖ

Лит. еженедельник, выходивший в Харбине в 1926-1945. Издавался одноим. лит. группой. Р. редактировал М. Рокотов вместе с М. Спурготом, Е. Кокшаровым и Е. Кауфманом (врачом, который в 1945 сов. оккупационными властями был отправлен в СССР, провел 16 лет в --> ГУЛАГе, а с 1961 до своей смерти в 1971 жил в Израиле). В Р. печатались романы, рассказы и стихи, гл. обр., харбинских и др. рус. писателей Дальнего Востока, а также лит. пер. В число постоянных авторов входили А. Ачаир, А. Несмелое, который также был сотрудником ред., и (в 1932-45) В. Перелешин. В Р. Публиковались также рус. писатели европ. --> эмиграции. С 1992 изд. журн. Р. продолжается под ред. А. Колесова в Москве и Владивостоке. В редколлегию входят и русские, и иностранцы, в том числе Е. Витковский, Б. Можаяев, В. Перелешин, В. Крейд, В. Синкевич, В. Казак, И. Хинрихс.

РУССКИЕ ЗАПИСКИ

Общественно-полит, и лит. журн., который выходил в Париже в 1937-39 (21 номер). Первоначально журн. был задуман как продолжение журн. «Совр. записки», ред. которого – Н Авсенгьев, И. Бунаков, М. Вишняк, В. Руднев – выпустили и три первых номера Р. з. (1937-38), но получилось скорее изд., близкое «Совр. запискам». Р.з. были основаны по инициативе -- > эмигрантской группы, проживавшей в Шанхае, и три первых номера содержали соответствующие специальные публикации. С 4-го номера (1938) и до начала второй мировой войны редакцию журн. возглавлял П. Милюков. Кроме регулярно печатавшихся воспоминаний Милюкова о 1905-06 гг., Р.з. содержат ценные первые публикации многих авторов послереволюционной эмиграции: стихи Д. Кнута, И. Кнорринга, А. Ладинского, Г. Раевского, Ю. Терапиано, М. Цветаевой, А. Штейгера, прозу И. Бунина, Г. Газданова, З. Гиппиус, Б. Зайцева, Д. Мережковского, В. Набокова, М. Осоргина, А. Ремизова, Тэффи.

СВЕТЪ

Журнал, изд. в г. Нью-Йорк с января 1991. К 1992 вышло 10 номеров. Ред. задачи: 1) «знакомить читателей с творчеством тех, кто «плыл против течения» и оказался «не ко двору» не только на родине, но и на якобы свободном и демократическом Западе»; 2) «публиковать книги, широко известные во всем мире, но тщательно скрывааемые могущественными наднациональными силами от русских. В их числе «Майн Кампф» Гитлера, «Сталин против Троцкого» К.Маллапарте, «Кремлевский волк» С.Кагана»; 3) «публиковать правду о Западе – ту правду, которую, увы, перестали замечать большинство сов. журналистов и писателей, размышляющих все больше категориями желудка и потерявших зрение от неоновых огней западной рекламы».

Издатель и редактор – Валентин Пруссаков.

СВОБОДНОЕ СЛОВО/FREE WORD

Ежемес. карпато-рус. журнал. Вых. в г. Нью-Йорк с 1959, позже в г. Маунт-Вернон (с 1969) под разными назв.: «Свободное слово Карпатской Руси» (1961–80); «Свободное слово» (1981 и с 1993); «Свободное слово Руси» (1982–93). Объем 34 полосы с илл. Тираж не разглашается. Нумерация страниц сплошная в годовом издании. Среди публикаций: стихи А.Котомкина и статья о нем к 100-летию со дня рождения, стихи

А.К.Толстого, Н.Рыленкова, С.Есенина, И.Бунина, И.Северянина, отрывки из кн. «Европа и Россия» Н.Данилевского, эссе В.Розанова «Ангел Иеговы у евреев (истоки Израиля)».

Редакторы – М.И.Турыница, Олесь Н.Россич (с 1992).

СИНТАКСИС

Публицистика. Критика. Полемика

Журнал. Изд. М.В.Розановой в Париже в 1978–98. Название перенято у московского самиздатского ж-ла, выходившего под ред. А.Гинзбурга в 1959–60. Заявленная периодичность 4 раза в год. Вышли номера 1–36 (1998). Нумерация выпусков сплошная. Объем 192–216 полос. Тираж не разглашается. Рубрики: Совр. проблемы; В садах рос. словесности; Лит-ра и иск-во. Впервые опубл. все произведения А.Синявского. Среди авторов: Элимонов, С.Соколов, Е.Эткинд, К.Померанцев, И.Голомшток, А.Чернов, Ю.Вишневская, В.Новиков, А.Агеев, И.Померанцев, З.Зиник, Л.Петрушевская, Т.Толстая, А.Кушнер. При ж-ле существовало одноименное изд-во, выпускавшее книги А.Синявского, В.Сорокина и др. В 1995 была учреждена премия «Кассандра», лауреат – Д.Фурман. По оценке М.Розановой, «роль такого издания – роль «маргинала», того, кто входит в данное общество, но входит не до конца, ибо входит и в какое-то другое, поэтому может смотреть со стороны и видеть то, чего не видят ни те, кто смотрит лишь изнутри, ни те, кто смотрит только извне» («Синтаксис», № 36).

Редакторы – Мария Розанова, Андрей Синявский (1978–82); Мария Розанова (с 1983).

СКЛЯНКА ЧАСУ/ZEITGLAS

Частный лит.-худ. журнал. Изд. в г. Канев на рус., укр. и нем. языках. Учредитель–СП «АС-ЛТ1», издатели–А.Апальков и К.Шелнбергер. Объем 160–200 полос с илл. Заявленная периодичность – ежеквартально. Известны №№ 1 – 14/15 (1999–2000). Тираж 500 экз. Рубрики: Проза; Лирика; Эссе; Критика; Галерея; Авторы.

Гл. редактор – Александр Апальков (с 1995).

СЛАВА

Вых. с 1977 в г. Ричмонд (США) под лозунгом: «Слава славян! Достойная слава!» Периодичность – ежеквартально. Объем 40 полос с илл. Тираж не разглашается. Изд. на пожертвования. Распространяется по подписке. По заявлению редакции, «журнал ведет борьбу за Святую Русь против всемирной тирании сионизма». Публикует антисемитские стихи и статьи.

Редактор – Павел Ваулин (Петухов).

СОЛНЕЧНОЕ СПЛЕТЕНИЕ

Молодежный журнал. Изд. в г. Иерусалим с 1998. Периодичность 6 раз в год. Объем 96 полос с цветными илл. Тираж не разглашается. Известны №№ 1–3 за 1997. Рубрики: Отсебятина; Как демоны глухонемые; Post Yerusalem; Драгомания; Галерея; Достоянье доцента; Гамбургские счета. Лит-ра представлена стихами М. Генделева, А. Горенко, Д. Кудрявцева, Й. Регева, прозой А. Муха, Е. Сошкина, а также переводами Катутла, статьями А. Герасимовой, М. Вайскопфа, рецензиями на новые книги израильских авторов.

Редактор – Михаил Вайскопф.

СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ

Культурно-полит. и лит. журн., выходивший в Париже в 1920-40. Первоначально был задуман как ежемесячное изд., наподобие рус. «толстых» журн., но выходило лишь до 6-ти номеров (в 1921), а с 1931 всего 2-3 раза в год. Журн. вынужден был прекратить существование после вторжения немцев во Францию, вышли в общей сложности 70 номеров. Все это время журн. издавался сообща группой первых эмигрантов: Н. Авксентьев, И. Бунаков, М. Вишняк, А. Гуковский (умер в 1925), А. Руднев. С.з. – первый лит.-худож. журн. В. --> эмиграции, он пользовался огромным признанием. В. Ходасевич в 1933 В связи с выходом 50-го номера журн. констатировал: «не будучи ни художниками, ни специалистами- литературоведами они [ред.] в беллетристическом и поэтическом отд. журн. собрали все или почти все наиболее выдающееся, что было написано за эти годы за рубежом» («С.з.», №51, с.440). В лит. части журнала, консультантом которой был Ф. Степун, публиковались, в частности, произв. Г. Адамовича, М.Алданова, К. Бальмонта, Н. Берберовой, И. Бунина, Г. Газданова, З. Гиппиус, Б. Зайцева, Вяч. Иванова, Г. Иванова, Д. Мережковского, В. Набокова (Сирина), М. Осоргина, Г. Пескова, Б. Поплавского, А. Ремизова, Ю. Терапиано, А. Толстого (первый номер журн. открывался его романом «Хождение по мукам»), Ю. Фельзена, В. Ходасевича, М. Цветаевой (в 36 номерах), И. Шмелева, А. Штейгера.

СТАЛКЕР

Альманах. Изд. с мая 1987 в г. Лос-Анджелес (США) Тамарой и Виктором Дубовицкими ежеквартально. Объем 86 полос. Тираж не разглашается. Печ. стихи, проза, эссе. Среди авторов: Е.Шкловский, Л.Владимирова, Ю.Линник, Я.Пробштейн, Е.Аксельрод, Э.Дрейцер. Публикуются отрывки из романа Д.Мережковского «Петр и Алексей», отрывки из дневника царевича Алексея, произведения Лунь Юя и др.

СТАНИЧНЫЙ ВЕСТНИК/THE MESSENGER

Журнал («общеказачья станица имени атамана Каледина»). Посвящен проблемам казачества. Вых. в 1992 в г. Монреаль (Канада). Объем 72 полосы с илл. Тираж и периодичность не указаны. Оpubл. стихи Н.Ту-роверова, А.Донского, Ф.Пестрякова, статьи В.Астафьева. Атаман станицы – Иван Иванович Изверев.

СТЕТОСКОП

Журнал полезного чтения, «маленький журнал уничтожения русской речи за рубежом». Вып. в 1993–98 рус. эмигрантами в Париже при поддержке изд-ва «Синтаксис». Издатели 16-го номера записаны как Митрич и Богатырь. Объем 56–72 полосы с илл. Периодичность 6 раз в год. Известны №№ 1–20. Тираж не разглашается. Часть тиража оформлялась как раритетное издание с приложением оригиналов работ художников. Рубрики (1997): Студия им. Н.Н.Евреина; Голоса ниоткуда: поэзия; Стоп-Арт; Объект реконструкции: архив; Рубрики (1998): Полезные советы для заблудившихся в собственном доме; Исползованные слова; О пользе творчества; Из всех искусств для нас наиболее полезным является кино; Беспольное сетование (быв. Ред. почта). По оценке критики, «журнал пишется, оформляется, сшивается и распространяется, гл. обр., тремя лицами: Ольгой Платоновой, Михаилом Богатыревым и Ириной Карпинской. Их любовь к псевдонимам делает, впрочем, список авторов более разнообразным, а соседство этих имен и псевдонимов с именами всякого рода знаменитостей (Бодрийяр, Сергей Шаршун и т.д.), перепечатки текстов которых помещаются в журнале, придает первым больше солидности и основательности» («РМ», 10–16.04.1997). Среди авторов: Кира Сапгир, Виктор Ивашв, Наталья Горбаневская, Михаил Богатырев, Манук Жажоян, Чу Жой, Алексей Хвостенко, Анри Волохонский.

Редакторы: Михаил Богатырев, Ирина Карпинская (с 1998), Ольга Платонова. Руководитель рос. редакции – Александр Елсуков.

СТРАНА И МИР

Обществ.-полит., экон. и культурно-филос. журнал. Изд. с 1984 в г. Мюнхен Кронидом Любарским и Борисом Хазановым (должность 3-го редактора поочередно занимали Сергей Максудов, В.Меникер, с 1989–Эйтан Финкельштейн). Финансирование, по свидетельству Б.Хазанова, осуществлялось на средства, выделяемые Конгрессом США через посредство Лондонского комитета поддержки рус. свободной печати за рубежом. В 1984–86 изд. ежемесячно, объем 96 полос. С 1987 выходил 1 раз в 2 месяца, объем от 160 до 190 полос. С илл. С 1990 часть тиража (20 000 экз.) печаталась в Эстонии, с 1991 – в России. Тираж не указывался. По характеристике Б.Хазанова, программа ж-ла «была двойкой. Во-первых, журнал был органом правозащитного движения; в этом качестве он обращался прежде всего к сов. читателю, выступал в защиту преследуемых, информировал о нарушениях прав человека в СССР, о судебных процессах над инакомыслящими, о злоупотреблении психиатрией, о тюрьмах и лагерях. Во-вторых, журнал стремился стать чем-то вроде культурно-интеллектуального моста между Россией и Западной Европой, между рус. миром за рубежом и «страной святых чудес», внутри которой этот мир разместился, но от которой в большой мере был отчужден». Обязательные рубрики: Страна сегодня; Полит, обозрение. Выпускались тематич. номера: «Голый бог» (крушение ленинизма), «От тюрьмы да от сумы» (мир концлагерей), «Америке полтысячи лет», «Церковь в мирском граде», «Москва, август 1991» и др. Среди авторов: Е.Эткинд, Б.Парамонов, Р.Бахтамов, А.Быстрицкий, В.Чаликова, А.Стреляный, А.Истогина, Г.Гасанов, С.Лезов, М.Харитонов, О.Седакова. В рубрике «Архив» опубл. дневники Л.Андреева, статьи В.Ходасевича и В.Замятина, мемуары Ф.Степуна, письма Б.Пастернака, предсмертные письма Н.И.Бухарина и т.п. Выпуск журнала прекратился в 1992.

СТРЕЛЕЦ

Альманах лит-ры, иск-ва и обществ.-полит, мысли, вып. изд-вом «Третья волна» (Париж–Москва–Нью-Йорк). Основан как ежемес. ж-л в 1984, преобразован в альманах в 1989, с 1991 выпускался в Москве. К 1996 вышли №№ 1–78. Тираж 1 000 экз. (1996). Объем 320 полос с илл. Рубрики: Проза и поэзия; Лит. критика; Лит. архив; Изобразит, иск-во; Обществ.-полит, мысль и др. Позднее появилась рубрика «Нерусское зарубежье», где стали публиковаться зарубежные авторы. Среди авторов: Вик.Ерофеев, В.Нарбикова, Г.Сапгир, Д.Савицкий, С.Юрьенен, Ю.Мамлеев, Д.Пригов, К.Кедров. Среди публикаций: произведения Б.Садовского, Д.Кнута. По оценке С.Юрьенена, «есть нечто символическое в том, что журнал возник в оруэлловском 1984 году. Тогда по обе стороны границы русской литературой правил эстетический тоталитаризм. Все непривычное подавлялось и в стране, и в зарубежье. Антитоталитарный, принципиально плюралистичный демократ «Стрелец» одним ударом расколол бетон. Новая литература, сидящая дома в подполье или обреченная в эмиграции на иностр. языки, впервые получила возможность выражать себя в полной свободе на родном русском» («Стрелец», 1994, № 2). В 1992 совм. с изд-вом «Третья волна» были учреждены 2 ежегод. премии авторам журнала: имени В.В.Набокова и имени А.И.Солженицына. В редколлегию входили: В.Аксенов, Д.Большев, Г.Владимов, Вик.Ерофеев, В.Крейд, В.Кривулин, Ю.Кублановский, АЛатынина, Г.Сапгир и др.

Гл. редактор и издатель – Александр Глезер.

СТУДИЯ

Независимый рус.-нем. лит. журнал. Изд. в 1995–96 в Берлине. Известны №№ 1–3. С илл. Среди публикаций – переводы рус. поэзии на нем. язык, стихи и проза русскоязычных авторов, связанных с культурой Германии (Д.Рубина, Г.Сапгир, А.Слаповский и др.), воспоминания. По замечанию Е.Тихомировой, характерной особенностью журнала является «его двуязычие: часть материалов печатается на немецком, часть на русском языке. (...)». Некоторые авторы журнала пишут на двух языках: социолог Андреас Вебер, поэт Ольга Денисова, поэт Виктор Шнитке (...). Так или иначе, тексты в журнале существуют на том языке, на каком им «суждено» было родиться» («НМ», 1998, № 2).

Соредакторы – Александр Лайко и Андреас Мазурков.

ТЕРЕМ

Журнал лит-ры и иск-ва, обществ. и православл. мысли рус. зарубежья. Основан в 1946 в Германии Е.Зеленским. Издание возобновлено на базе ж-ла «Православ. дневник». Периодичность – ежеквартально. Объем от 12 до 76 полос. Распр. по подписке. Разделы: Поэзия; Худ. проза; Из лит. наследия; Документы и воспоминания; Православ. мысль; Философия и культура; Православ. дневник; Критика и библиография; Письма в редакцию; Копилка мелочей и др. Цель журнала – «способствовать широкому распространению непредвзятой и объективной информации о жизни Православ. церкви в России и странах рус. рассеяния». Среди лит. публикаций: материалы об А.С.Пушкине, В.Солоухине, И.Одоевцевой.

ФИЛОЛОГИЯ/PHILOLOGICA

Двуязычный (англ.-рус.) журнал по рус. и теоретич. филологии. Вып. с 1994 издат. центром «Гарант». Объявленная периодичность 2 раза в год. В 1994 вышел № 1/2 тиражом 1 300 экз. К 1998 г. вышли №№ 1–7. Тираж 1 000 экз. (1998). Спонсоры – Д.Боски (Лондон), А.В.Каневский (Москва). Рубрики: Fundamenta; Opuscula; Litterarum tabularium; Studiorum tabularium; Controversiae; Versiones; Aestimationes librorum. Программная установка: «Поскольку поставлена цель поддержать научную традицию в период ее упадка, постольку страницы журнала должны быть предоставлены сторонникам любых научных направлений, если только работы удовлетворяют двум основным требованиям: несут на себе печать профессионального дарования автора и остаются в рамках науки в классическом логико-методологическом смысле этого слова» (т. 1). Среди авторов: Ю.Степанов, Н.Богомолов, И.Добрицын, А.Илюшин, И.Пильщиков.

Редакторы – Игорь Пильщиков, Максим Шапир.

ФОРВЕРТС

Еженед. газета для семейного чтения. Изд. в Нью-Йорке как правопреемник одноименного рус.-еврейско-амер. издания, выходившего с 1897. Объем 8 полос. Лит-ра представлена статьями о классиках евр. поэзии и прозы, о новостях культуры США и Израиля.

Шеф-редактор – В.Едилович.

ФОРУМ

Обществ.-полит. журнал. Вып. с 1982 в г. Мюнхен изд-вом «Сучастшь». В 1982–85 выходил 4 раза в год, в 1986–89 – дважды в год. К 1990 вышло 22 номера. Объем 240 полос. Тираж не указан. Распр. по подписке. Рубрики: Проблемы демократия, движения; Архипелаг ГУЛАГ сегодня; Польские нац. проблемы; Религия, философия и этика; Труд – рабочее движение – проблемы самоуправления; Экономика; Культура и время; Письма и документы. Среди авторов: А.Солженицын, КЛюбарский; И.Померанцев, И.Жолковский, С.Максудов, М.Ковалевский, Л.Аннинский, В.Малинкович. В консульт. совет входили: П.Абовин-Егидес, В.Борисов, Б.Вайль, Л.Копелев, КЛюбарский, И.Померанцев и др. Имел представительства в Англии и Израиле.

Ответств. редактор – Владимир Малинкович.

ФОРУМ

Журнал движения кибуцев. Вых. в Израиле. Известны №№ 1–4 за 1988. Распространялся по подписке. Заявленная периодичность – ежемесячно. Объем 30 полос с илл. Тираж 5 000 экз. Не структурирован по рубрикам. Среди авторов: Д.Пригов, Г.Айги, М.Гробман.

Гл. редактор – Барух Шилькрот.

ЧЕРНОВИК

Журнал. Основан как орган лит. и графического авангардизма, затем вып как альманах литературный и визуальный. Изд. с 1989 в г. Нью-Йорк; к декабрю 1998 вышли №№ 1 – 13. Тираж 200–300 экз. Объем 160 полос с илл. Периодичность – дважды в год. Рубрики: Проза; Поэзия; Живопись; Визуал; Пьеса; Графика; Фотография; Коллаж; Критика; Теория; Рецензии; Воспоминания; Антология одного стихотворения; Антология короткого текста и др. Среди авторов: Н.Байтов, С.Бирюков, И.Левшин, В.Рабинович, Е.Мнацаканова. В Строчков, Р.Элинин, А.Сергеев, Н.Медведева, И.Бокштейн, А.Монастырский, М.Гробман. По оценке критики, «это единственное русское периодическое (более или менее) издание, в центре внимания которого неизменно (...) – неофутуристически понятый авангард». («Знамя», 1998, № 7).

Гл. редактор – Александр Очеретянский (с 1989).

REFLECTION/ОТРАЖЕНИЯ

Многоязычный лит журнал. Изд. в США. В 1992–96 вых. под назв. «Reflection – Отражение», с 1997 – совр. название. Периодичность – от одного до трех выпусков в год. Объем 96–120 полос с илл. Тираж 150–300 экз. Публ. авторские произведения на рус. и англ. языках, отражающие двуязычное мышление русской американской интеллигенции. Среди авторов: С.Бирюков, А.Бубнов, Б.Констриктор, Т.Булатов, Ю.Проскуряков, В.Несов. Среди публикаций – рассказ А.Платонова.

Издатель, гл. редактор и художник – Рафаэль Левчин.

Примечания

Эмигрантская литература объединяет, как правило, ностальгические мотивы и протестный жанр. Она своеобразно воплощает известный поэтический образ С. Есенина: "лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянье." ("Письмо к женщине"). Она создается не только для читателя заграничного, но гипотетически предполагает читателя отечественного.

Хатиль мадан - Уютное небо, 2009, октябрь - ноябрь. С. 88 - 89.

Дина Рубина

Биографическая статья - Сб.: Возвращенные имена. Из истории современной литературы. В 2 кн. Б.: "Сорос - Кыргызстан," 2002. Кн.2. С. 396.

Вывеска. Д. Рубина. Итак, продолжаем. - М.: ЭКСМО, 2009. С. 97 - 107.

Интервью. Дина Рубина "Боюсь быть сентиментальной" - В конце недели, 2009, 22 мая. С. 6 - 8.

Олег Юрьев

Биографическая статья - М.: Мосты культуры. 2000. Полуостров Жидятин. Роман. М.: Мосты культуры. 2000.

АлекТарн

Биографическая статья - www.bukvaved.ru

Протоколы сионских мудрецов- Иерусалимский журнал, 2003, № 16. С. 44 - 179.

Леон Агулянский

Биографическая статья - www.agulansky.com

С высоты птичьего полета. Врачебная ошибка. На что жалуемся. Венское лето. Печатается впервые.

Илан Рисс

Биографическая статья - www.magazines.russ.ru Жид. Первый приз. Мечь. Фокус. Дайджест израильской прессы, 2002, 27 ноября. С. 12 - 15.

Александр Хургин

Биографическая статья - www.dic.academic.ru

Ночной ковбой. День рождения. Дыпропетровськ, "Gz", 1999. С. 130 - 138.

Интервью - www.peoples.ru

Лев Ларский

Биографическая статья - Израиль.: Спутник, 2009. Здравствуй, страна героев. Роман. Израиль.: Спутник, 2009.

Феликс Кривин

Биографическая статья - www.dic.academic.ru

Из зарубежных произведений - Иерусалимский журнал, 2003, № 14 - 15. С. 3 - 16, 2008, № 27. С. 178 - 182.

Михаил Фельдман

Биографическая статья - www.dic.academic.ru

Мих. Фельдман. Со среды на пятницу. Стихи, песни, палиндромы. Беэр - Шева. 2003.

Песни без музыки. Феликс Кривин о М.Фельдмане. Мих. Фельдман. Со среды на пятницу. Стихи, песни, палиндромы. Беэр - Шева. 2003.

Рената Муха

Биографическая статья - www.dic.academic.ru

Стихи - Иерусалимский журнал, 2009, № 31. www.jerusalem - korczak home.com

Интервью - www.peoples.ru

Аркадий Белинков

Биографическая статья - В.Казак. Лексикон русской литературы XX века. С. 41.

Так ярый ток, оледенев. Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша. М.: РИК "Культура", 1997.

Периодические издания - Чупринин С.Н. Новая Россия: мир литературы: Энциклопедический словарь - справочник 2.т. Т 2. М - Я. - СПб.: ПРОПОГАНДА, 2003. С. 717 - 920.

В. Казак. Лексикон русской литературы XX века.

Подписано в печать 14.01.2011 г. Бумага офсетная. Формат 84x108^{1/32} Тираж 180 экз. Заказ № 23

Изготовлено в типографии ОсОО "М Махiма" Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Чуй, 110 Тел.: +/996 312/900 435, 902 907. Факс: +/996 312/ 900 407 E-mail: office@maxima.kg

оперативная полиграфия

Н i m a